

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



ALFRED DÖBLIN



BERLIN
ALEXANDERPLATZ

АЛЬФРЕД ДЁБЛИН



БЕРЛИН
АЛЕКСАНДРПЛАЦ



Издание подготовили
А.В. МАРКИН, Н.С. ПАВЛОВА,
Т.А. БАСКАКОВА

Научно-издательский центр
«Ладомир»
«Наука»
Москва

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

В.Е. Багно (заместитель председателя), *В.И. Васильев*, *А.Н. Горбунов*,
Р.Ю. Данилевский, *Н.Я. Дьяконова*, *Б.Ф. Егоров* (заместитель председателя),
Н.Н. Казанский, *Н.В. Корниенко* (заместитель председателя), *Г.К. Косиков*,
А.Б. Куделин (председатель), *А.В. Лавров*, *И.В. Лукьянец*, *Ю.С. Осипов*,
М.А. Островский, *И.Г. Птушкина*, *Ю.А. Рыжов*, *И.М. Стеблин-Каменский*,
Е.В. Халтрин-Халтурина (ученый секретарь), *А.К. Шапошников*,
С.О. Шмидт

Ответственный редактор
Н.С. Павлова

ISBN 978-5-86218-490-7
ISBN 978-5-94451-046-4

© И.В. Алтухова, перевод, 2011.
© Т.А. Баскакова, перевод, 2011.
© А.В. Маркин, перевод, примечания, 2011.
© Н.С. Павлова, статья, 2011.
© Научно-издательский центр «Ладомир», 2011.
© Российская академия наук. Оформление серии, 1948.

*Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом
без договора с издательством запрещается*



Альфред Дёблин
(1878–1957)

БЕРЛИН
АЛЕКСАНДР ПЛАЦ

ИСТОРИЯ
О ФРАНЦЕ БИБЕРКОПФЕ





Эта книга повествует о бывшем берлинском цементщике и транспортном рабочем Франце Биберкопфе. Его выпустили из тюрьмы, где он сидел за старые дела, и вот он снова в Берлине и хочет стать порядочным.

Вначале это ему удается. Но затем, хотя материально ему живется сносно, он оказывается вовлеченным в упорную борьбу с чем-то, что приходит извне, что непостижимо и похоже на судьбу.

Трижды обрушивается оно на нашего героя¹ и ломает его жизненный план. Оно наступает на него мошенничеством и обманом. Но тут он еще справляется, он держится на ногах.

Тогда оно наваливается на него и бьет подлость. Тут ему уже трудно подняться, силы его уже на исходе.

Наконец, оно ударяет в него миной с неслыханной, чудовищной жестокостью.

Теперь наш герой, который стойко держался до последней минуты, окончательно сломен. Он считает игру проигранной и не знает, как быть дальше, его песенка, по-видимому, спета.

Он уже готов радикально покончить с этим миром, когда у него способом, о котором я пока умолчу, снимают с глаз пелену. Ему становится совершенно ясно, из-за чего все так

вышло. А именно – из-за него самого, да это же сразу видно, из-за его жизненного плана, который был ни на что не похож, и вот теперь вдруг выглядит совсем иным, не простым и почти понятным, а высокомерным и наивным, дерзким, но вместе с тем малодушным и бессильным.

Страшная штука, какой была его жизнь, приобретает смысл. Франц Биберкопф подвергся принудительному лечению. В конце мы видим его снова на Александрплац, сильно изменившимся, покалеченным, но зато уж выправленным.

Посмотреть и послушать все это стоит многим, которые, подобно Францу Биберкопфу, пребывают в человеческой шкуре и которым, как и этому Биберкопфу Францу, случается порой требовать от жизни нечто большее, чем только сытое существование².

КНИГА ПЕРВАЯ¹

В начале ее Франц Биберкопф покидает тюрьму в Тегеле², куда привела его прежняя беспутная жизнь. Ему трудно снова устроиться в Берлине, но в конце концов это ему удается, чему он немало рад, и он дает себе клятву быть порядочным человеком.

На 41-м номере в город³

Он стоял за воротами тюрьмы в Тегеле⁴, на свободе. Вчера еще он копал картошку вон там на огороде⁵, вместе с другими, в арестантском платье, а теперь он в желтом летнем пальто;⁶ те там продолжают копать, а он свободен. Он пропускал трамвай за трамваем, прислонясь спиной к красной ограде, и не уходил. Караульный у ворот несколько раз прошел мимо него и указал ему нужный номер трамвая, но он не двигался с места. Игак, страшный момент наступил (страшный, Франц, почему страшный?)⁷, четыре года истекли. Черные железные створы ворот, на которые он поглядывал вот уже целый год с возраставшим отвращением (отвращением, почему отвращением), захлопнулись за ним. Его снова выставили вон. Там, внутри, сидели остальные, столярничали, что-то лакировали, сортировали, клеили, кому оставалось еще два года, кому пять лет. А он стоял у остановки трамвая.

Наказание начинается⁸.

Он передернул плечами, проглотил слюну. Наступил себе на ногу. А затем собрался с духом и очутился в трамвае. Среди людей, ну, давай! Вначале было такое ощущение, будто сидишь у зубного врача, который ухватил щипцами корень и тащит, боль растет, голова готова лопнуть. Он повернул голову назад, в сторону красной ограды, но трамвай понесся с ним по рельсам, и только голова его осталась еще повернутой по направлению к тюрьме. Вагон миновал плавный поворот, — деревья и дома заслонили тюрьму. Показались оживленные улицы, Зеештрассе⁹, люди входили и выходили. В нем что-то в ужасе кричало: берегись, берегись, начинается. Нос у него окоченел, щеки пылали. «Цвельф-ур-миттагсайдунг»¹⁰, «Бе Цет»¹¹, последний номер «Иллюстрирте»¹², «Функштунде»¹³, — «Кто еще без билета?». Вот как, шупо¹⁴ теперь в синих мундирах. Никем не замеченный, он вышел из трамвая, смешался с толпой. В чем дело? Ничего. Держись, изголодавшаяся свинья, не распускайся, не то дам понюхать моего кулака. Что за толчея, что за давка! Как все это движется! Мои мозги, вероятно, совсем высохли. Чего тут только нет: магазины обуви, магазины шляп, электролампочки, кабаки. Ну да, нужна же людям обувь, раз им приходится столько бегать, у нас ведь тоже была сапожная мастерская, не надо забывать. Сотни блестящих оконных стекол. Ну и пускай себе сверкают, нечего их бояться, ведь любое можно разбить, просто они чисто вымыты. На Розенталерплац¹⁵ мостовая была разворочена, он шел вместе с другими по деревянному настилу. Стоит только смешаться с остальными, и все хорошо, и ничего не замечаешь, дружище. В витринах красовались манекены, в костюмах, в пальто, в юбках, в чулках, в башмаках. На улице все пребывало в движении, но за этим — не было ничего! Не было — жизни! У людей веселые лица, люди смеялись, ждали по двое или по трое у трамвайной остановки напротив ресторана Ашингера¹⁶, курили папиросы, перелис-

тывали газеты. И все это стояло на месте, как фонарные столбы, и цепенело все больше и больше. Все это вместе с домами составляло одно целое, все — белое, все — деревянное.

Его охватил испуг, когда он шел по Розенталерштрассе;¹⁷ в маленьком кабачке у самого окна сидели мужчина и женщина: они лили себе в глотку пиво из литровых кружек, ну и что ж, пусть себе пьют, пьют — только и всего, у них в руках были вилки; они втыкали ими куски мяса себе в рот¹⁸, и — хоть бы капелька крови. Судорогой свело его тело, ох, я не выдержу, куда деться? И что-то отвечало: это — наказание!

Вернуться он не мог, он заехал так далеко на трамвае, его ведь выпустили из тюрьмы, он должен был идти сюда, все дальше и дальше.

Это я знаю, вздохнул он про себя, что мне надо идти сюда и что меня выпустили из тюрьмы. Меня ведь не могли не выпустить, потому что наступил срок; все идет своим чередом, и чиновник выполняет свой долг. Ну, я и иду, но мне не хочется, ах, боже мой, как мне не хочется.

Он прошел по Розенталерштрассе мимо универсального магазина Тица¹⁹ и свернул направо, в узкую Софиенштрассе²⁰. Подумал, что эта улица темнее, а где темнее, там лучше. Арестантов содержат в изоляторе²¹, в одиночном заключении и в общих камерах. В изоляторе арестант содержится круглые сутки, непрерывно, отдельно от других заключенных. При одиночном заключении арестант помещается в одиночной камере, но во время прогулки, учебных занятий и богослужения имеет общение с другими. Вагоны трамвая продолжали грохотать и звонить, и один фасад дома тотчас же сменялся другим. А на домах были крыши, которые как будто парили над ними, глаза Франца блуждали поверху: только бы крыши не соскользнули²², но дома стояли прямо. Куда мне, горемычному, идти; он плелся вдоль сплошной стены домов, она казалась бесконечной. Вот я дуралей, отсюда же можно выбраться, еще пять минут, десять минут, а потом выпить рюмку коньяку и посидеть. После звонка заключенные немедленно приступают к работе. Прерывать ее разрешается только для приема пищи, прогулки и учебных занятий в назначенное время. На прогулке заключенные должны держать руки вытянутыми и размахивать ими вперед и назад.

Вот дом, Франц оторвал взор от мостовой и толкнул входную дверь; из груди его вырвалось печальное ворчливое ох-хо-хо. Он засунул руки в рукава, так, братец, так, здесь не замерзнешь. Раскрылась дверь со двора, и кто-то прошел мимо, волоча ноги, а затем остановился за ним. Франц закричал, ему нравилось кричать. Первое время в одиночке он всегда так кричал и радовался, что слышит свой голос, значит, есть еще что-то, значит, не все еще кончено. Так поступали многие из сидевших в изоляторе, кто — в начале заключения, кто — потом, когда чувствовали себя одинокими. Вот они и покрикивали, это было, как-никак, что-то человеческое и утешало их. Итак, наш ге-

рой стоял в вестибюле чужого дома и не слышал ужасного шума улицы, и не было перед ним обезумевших домов. Выпятив губы и стиснув кулаки, он хрюкал и подбадривал себя. Его плечи в желтом летнем пальто были приподняты, как бы для защиты.

Незнакомец остановился рядом с бывшим арестантом и стал его разглядывать. «С вами что-то случилось? Вам нездоровится? У вас что-нибудь болит?», тот, заметив его, сразу же перестал кряхтеть. «Или вас мутит? Вы живете в этом доме?» Это был еврей с большой рыжей бородой²³, низенького роста, в черной велюровой шляпе, с палкой в руке. «Нет, я здесь не живу». Пришлось уйти, а ведь в вестибюле было недурно. И опять потянулась улица, замелькали фасады домов, витрины, спешащие человеческие фигуры в брюках или светлых чулках, да такие все быстрые, юркие, ежесекундно новые, другие. А так как наш Франц на что-то решился, он зашел в проезд одного дома, где, однако, как раз стали отпирать ворота, чтоб пропустить автомобиль. Ну, тогда скорее в соседний дом, в тесный вестибюль рядом с лестницей. Здесь-то уж никакой автомобиль не помешает. Он крепко ухватился за столбик перил. И, держась за него, знал, что намерен уклониться от наказания (ах, Франц, что ты хочешь сделать? ведь ты же не сможешь!) и непременно это сделает, теперь он знает, где искать спасения. И тихонько снова завел свою музыку, свое хрюканье и урчанье, и не пойду я больше на улицу. А рыжий еврей тоже зашел в дом, но сначала было не заметил человека возле перил. Потом услышал его жужжанье. «Ну что вы тут делаете? Вам нехорошо?» Тогда Франц пошел прочь, во двор. А когда взялся за ручку двери, то увидел, что это опять еврей из того дома. «Отстаньте вы от меня! Что вам нужно?» — «Ну-ну, ничего. Вы так кряхтите и стонете, неужели нельзя спросить, что с вами?» А вон там, на улице, уж опять маячат дома, снующая взад и вперед толпа, сползающие крыши. Франц распахнул дверь во двор. Еврей — за ним: «Ну-ну, в чем дело? Не так уж все плохо. Ничего, не пропадете. Берлин велик. Где тысячи живут, проживет и еще один».

Двор темный и окружен высокими стенами. Франц остановился возле мусорной ямы. И вдруг во всю глотку запел, прямо в стену. Снял шляпу, как шарманщик. Звуки отражались от стен. Это было хорошо. Его голос звенел у него в ушах. Он пел таким громким голосом, каким ему ни за что не позволили бы петь в тюрьме. А что он пел так, что стены гудели? «Несется клич, как грома гул»²⁴. По-военному четко, ритмично. А затем припев: «Ювиваллераллера»²⁵, из другой песни. Никто не обращал на него внимания. У выхода его подцепил еврей: «Вы хорошо пели. Вы в самом деле очень хорошо пели. С таким голосом, как у вас, вы могли бы зарабатывать большие деньги». Еврей пошел за ним по улице, взял под руку и, без умолку болтая, потащил вперед, пока они не свернули на Горманнштрассе²⁶, еврей и ширококостый, рослый парень в летнем пальто и со стиснутыми губами, словно его вот-вот вырвет желчью.

Он все еще не пришел в себя

Еврей привел его в комнату, где топилась железная печка, усадил на диван: «Ну, вот мы и пришли. Присаживайтесь. Шляпу можете оставить на голове или снять, как вам угодно. А я сейчас кого-то позову, кто вам понравится. Дело в том, что сам я здесь не живу. Я здесь только гость, как и вы. Ну, и как это бывает, один гость приводит другого, если только комната теплая».

Тот, кого только что выпустили на свободу, остался сидеть один. Несется клич, как грома гул, как звон мечей и волн прибой. Да, ведь он ехал на трамвае, глядел в окно, и красные стены тюрьмы были видны за деревьями, осыпался желтый лист. Стены все еще мелькали у него перед глазами, он разглядывал их, сидя на диване, разглядывал, не отрываясь. Большое счастье — жить в этих стенах, по крайней мере знаешь, как день начинается и как проходит. (Франц, не собираешься же ты прятаться, ведь ты уже четыре года прятался, приободрился, погляди вокруг себя, когда-нибудь должна же эта игра в прятки кончиться!) Петь, свистеть и шуметь запрещается. Заключенные должны по сигналу к подъему немедленно встать, убрать койки, умыться, причесаться, вычистить платье и одеться. Мыло должно отпускаться в достаточном количестве. Бум — колокол — вставать, в пять тридцать, бум — в шесть отпирают камеру, бум, бум — становись на поверку, получай утреннюю порцию, работа, перерыв; бум, бум, бум — обед, эй, ты, не строй рожи, у нас не на убой кормят, кто умеет петь, выходи вперед, явиться на спевку в пять сорок, я, дозвоьте доложить, не могу петь — охрип, в шесть камеры запираются, спокойной ночи, день прошел. Да, большое счастье жить в этих стенах, мне-то здорово припаяли, почти как за предумышленное убийство, а ведь было только убийство неумышленное, телесное повреждение со смертельным исходом, вовсе не так ужасно, а все-таки я стал большим подлецом, негодяем, чуть-чуть не хватило до законченного мерзавца.

Старый, высокого роста, длинноволосый еврей, черная ермолка на затылке, давно уже сидел напротив него. В городе Сузе жил некогда муж по имени Мардохей, и воспитал он у себя в доме Эсфирь, дочь своего дяди, и была эта девушка прекрасна лицом и станом²⁷. Старик-еврей отвел глаза от Франца и повернул голову в сторону рыжего: «Откуда вы его выкопали?» — «Да он бежал из дома в дом. А на одном дворе остановился и стал петь». — «Петь?» — «Да, солдатские песни». — «Он, верно, озяб». — «Пожалуй». Старик принялся его разглядывать. В первый день Пасхи лишь неверные могут хоронить покойника, на второй день могут хоронить и сыны Израиля, то же верно и для первых двух дней Нового года²⁸. А кто автор следующих слов учения Раббанан:²⁹ кто вкусит от павшей птицы чистой, тот не осквернится, но кто вкусит от ее кишок или зоба, тот осквернится?³⁰ Длинной желтой рукой он дотронулся до руки Франца, лежавшей поверх пальто. «Послушайте, не хотите ли снять паль-

то? Ведь здесь жарко. Мы люди старые, зябнем круглый год, а для вас тут слишком жарко».

Франц сидел на диване и искоса поглядывал на свою руку; он ходил по улицам из двора во двор, надо же было посмотреть, что делается на свете. И ему захотелось встать и уйти, глаза его искали дверь в темной комнате. Тогда старик силой усадил его обратно на диван. «Да оставайтесь же. Куда вам, собственно, спешить?» Но ему хотелось прочь. А старик держал его за кисть руки и сжимал ее, сжимал: «Посмотрим, однако, кто сильнее, вы или я. Оставайтесь, раз я вам говорю, — и, переходя на крик, — а вы все-таки останетесь. И выслушаете, что я скажу, молодой человек. Ну-ка, держитесь, непоседа». Затем обратился к рыжему, который схватил Франца за плечи: «А вы, вы не вмешивайтесь. Разве я вас просил? Я с ним и один справлюсь».

Что этим людям нужно от него? Он хотел уйти, он пытался подняться, но старик вдавил его в диван. Тогда он крикнул: «Что вы со мной делаете?» — «Ругайтесь, ругайтесь, потом будете еще больше ругаться». — «Пустите меня. Я хочу прочь отсюда». — «Что, опять на улицу, опять по дворам?»

Тут старик встал со стула, шумно прошелся взад-вперед по комнате и сказал: «Пускай кричит, сколько ему угодно. Пускай делает, что хочет. Но только не у меня. Открой ему дверь». — «В чем дело? Как будто у вас никогда не бывает крика?» — «Не приводите в мой дом людей, которые шумят. У дочери дети больны, лежат вон там в комнате, так у меня шума довольно». — «Ну-ну, вот горе-то, а я и не знал, вы меня уж простите». Рыжий взял Франца под руку: «Идем. У ребѣ³¹ забот полон рот. Внуки у него заболели. Идем дальше». Но теперь тот раздумал вставать. «Да идемте же». Францу пришлось встать. «Не тащите меня, — сказал он шепотом. — Оставьте меня здесь». — «Но вы же слышали, что у него в доме больные». — «Позвольте мне еще чуточку остаться».

Со сверкающими глазами глядел старик на незнакомого человека, который так просил. Говорил Иеремия: Исцелим Вавилон, но тот не дал себя исцелить. Покиньте его, и каждый из нас отправится в свою страну. И меч да падет на халдеев, на жителей Вавилона³². «Что ж, если он будет вести себя тихо, пускай остается вместе с вами. Но если будет шуметь, то пусть уходит». — «Хорошо, хорошо, мы не будем шуметь. Я посижу с ним, вы можете на меня положиться». Старик молча удалился.

Улучшение на примере Цанновича³³

Итак, только что выпущенный из тюрьмы человек в желтом летнем пальто снова сидел на диване. Вздыхая и в недоумении покачивая головой, рыжий ходил взад и вперед по комнате: «Ну, не сердитесь, что старик погорячился. Вы, верно, приезжий?» — «Да, я... был...» Красные стены тюрьмы, красивые,

крепкие стены, камеры, — о как приходится тосковать по вам! Вот он прилип спиной к красной ограде, умный человек ее строил, он не уходил. И вдруг он соскользнул, точно кукла, с дивана на ковер, сдвинув при падении стол. «В чем дело?» — крикнул рыжий. Франц извивался на ковре, шляпа покатила из рук, головой он бился о пол и стонал: «В землю уйти бы, туда, где темнее, уйти...» Рыжий дергал его во все стороны: «Ради бога! Вы же у чужих людей. Того и гляди, придет старик. Да встаньте же». Но тот не давал себя поднять, цепляясь за ковер и продолжал стонать. «Да успокойтесь, ради бога. Услышит старик, тогда... Мы с вами уж как-нибудь столкнемся». — «Меня отсюда никто не заставит уйти...» И — как крот.

А рыжий, убедившись, что не может его поднять, покрутил пейсы, запер дверь и решительно уселся рядом с этим человеком на пол. Обхватив руками колени и поглядывая на торчавшие перед ним ножки стола, сказал: «Ну, ладно. Оставайтесь себе тут. Давайте-ка и я подсяду. Хоть оно и неудобно, но почему бы и не посидеть? Не хотите сказать, что с вами, так я сам вам что-нибудь расскажу». Выпущенный из тюрьмы человек кряхтел, припав головой к коврику. (Но почему же он стонет и кряхтит? Да потому, что надо решиться, надо избрать тот или иной путь, а ты никакого не знаешь, Франц. Вернуться к старому тебе бы не хотелось, в тюремной камере ты тоже только стонал и прятался и не думал, не думал, Франц.) Рыжий сердито продолжал: «Не надо так много воображать о себе. Надо слушать других. С чего вы взяли, что вам так уж плохо? Господь ведь никого из Своих рук не отпускает. Есть ведь еще и другие люди. Разве вы не читали, что взял Ной в свой ковчег, когда случился всемирный потоп? От каждой твари по паре³⁴. Бог никого не забыл. Даже головных вшей — и тех не забыл. Все Ему были одинаково любви и дороги». А тот только жалобно пищал. (Что ж, за писк денег не берут. Пищать может и большая мышь.)

Рыжий дал ему волю пищать и почесал себе щеки. «Много чего есть на свете, и много о чем можно порассказать, когда бываешь молод и когда состаришься. Ну, так вот, я вам расскажу про Цанновича³⁵, Стефана Цанновича. Вы эту историю, наверно, еще не слышали. А когда вам полегчает, то сядьте чуточку прямее. Ведь так у вас кровь приливает к голове, а это вредно. Мой покойный отец нам много чего рассказывал; он немало постранствовал по белу свету, как вообще наши соплеменники, дожил до семидесяти лет, пережил покойницу-мать и знал массу вещей и был умным человеком. Нас было семь голодных ртов, и, когда нечего было есть, он рассказывал нам разные истории. Ими сыт не будешь, но об этом забываешь. Глухой стон на полу не затихал. (Что ж, стонать может и больной верблюд.) «Ну-ну, мы знаем, что на свете не только все золото, красота и радости. Итак, кем же был этот Цаннович, кем был его отец, кем были его родители? Нищими, как большинство из нас, торговцами, мелкими лавочниками, комиссионерами. Старик Цаннович был ро-

дом из Албании и переселился в Венецию. Уж он знал, чего ради переселился в Венецию! Одни переселяются из города в деревню, другие — из деревни в город. В деревне спокойнее, люди ощупывают каждую вещь со всех сторон, и вы можете уговаривать их целыми часами, а если повезет, то заработаете пару пфеннигов. В городе, конечно, тоже трудно, но люди идут гуще, и ни у кого нет времени. Не один, так другой. Ездят они не на волах, а в колясках, на резвых лошадках. Тут проигрываешь и выигрываешь. Это старик Цаннович прекрасно понял. Сперва он продал все, что имел, а потом взялся за карты и стал играть. Человек он был не очень честный. Пользовался тем, что у людей в городе нет времени и что они хотят, чтоб их занимали. Ну, он их и занимал. Это стоило им немало денег. Плутым, шулером был старик Цаннович, но голова у него была — ой-ой! С крестьянами-то ему это не особенно удавалось, но здесь дела его шли недурно. Даже, можно сказать, дела у него шли отлично. Пока вдруг кому-то не показалось, что его обирают. Ну а старик Цаннович об этом как раз и не подумал. Произошла свалка, позвали полицию, и в конце концов старику Цанновичу пришлось со своими детьми удирать во все лопатки. Венецианские власти хотели было преследовать его судом, но какие, думал старик, могут быть разговоры с судом, ведь все равно суд никогда его не поймет! Так его и не смогли разыскать, а у него были лошади и деньги, и он вновь обосновался в Албании, купил себе там имение, целую деревню, дал детям хорошее образование. И когда совсем состарился, то мирно скончался, окруженный общим почетом. Такова была жизнь старика Цанновича. Крестьяне оплакивали его, но он терпеть их не мог, потому что все вспоминал то время, когда стоял перед ними со своими безделушками, колечками, браслетами, коралловыми ожерельями, а они перебирали и вертели в руках все эти вещи и в конце концов уходили, ничего не купив.

И знаете, когда отец — былинка, он хочет, чтоб его сын был большим деревом. А когда отец — камень, то чтоб сын был горой. Вот старик Цаннович своим сыновьям и сказал: «Пока я торговал здесь, в Албании, двадцать лет, я был ничто. А почему? Потому что я не нес свою голову туда, где ей настоящее место. Я пошлю вас в высшую школу, в Падую, — возьмите себе лошадей и повозку, а когда кончите учебу, вспомните меня, который болел душою за вас вместе с вашей матерью и ночевал с вами в лесу, словно дикий вепрь: я сам был виноват в этом. Крестьяне меня иссушили, точно неурожайный год, и я погиб бы, если б не ушел к людям, и там я не погиб».

Рыжий посмеивался про себя, потряхивал головой, раскачивался всем туловищем. Они сидели на полу на ковре. «Если бы теперь кто-нибудь зашел сюда, то принял бы нас обоих за сумасшедших, тут есть диван, а мы уселись перед ним на полу. Ну да впрочем — что кому нравится, почему бы и нет, если человеку хочется? Так вот, молодой Цаннович, Стефан, еще юношей лет двадцати был большим краснобаем. Он умел повернуться и так, и сяк, умел понравиться, умел быть ласковым с женщинами и задавать тон с мужчинами. В

Падуе дворяне учились у профессоров, а Стефан учился у дворян. И все относилось к нему хорошо. А когда он приехал на побывку домой в Албанию — отец тогда еще был жив, — тот тоже очень полюбил его, гордился им и говорил: “Вот, смотрите на него, это — человек, который нужен миру. Он не станет двадцать лет торговать с крестьянами, он опередил своего отца на двадцать лет”. А юноша, поглаживая свои шелковые рукава, откинул назад со лба мягкие кудри и поцеловал старого счастливого отца со словами: “Да ведь это же вы, отец, избавили меня от двадцати плохих лет”. — “Да будут они лучшими в твоей жизни!” — молвил отец, лаская и милоя свое детище.

И в самом деле, у молодого Цанновича все пошло, словно в волшебной сказке, но только это была не сказка. Люди к нему так и льнули. Ко всем сердцам он находил ключ. Однажды он совершил поездку в Черногорию, как настоящий кавалер, — были у него и кареты, и кони, и слуги. У отца сердце радовалось на сына при виде такого великолепия (что ж, отец — былинка, а сын — большое дерево!), а в Черногории его приняли за графа или князя, ему даже не поверили бы, если б он сказал: моего отца зовут Цаннович, а живем мы в деревне Пастровице³⁶, чем мой отец немало гордится! Ему просто-напросто не поверили бы, настолько он умел держаться как дворянин из Падуи, да и похож он был на дворянина и знал их всех. Тогда Стефан, смеясь, сказал: пусть будет по-вашему! И стал выдавать себя перед людьми за богатого поляка, за которого они и сами его принимали, за некоего барона Варту³⁷. Ну, и те были довольны, и он был доволен».

Человек, только что вышедший из тюрьмы, вдруг резким движением поднялся и сел. Он сидел на корточках и сверху вниз испытующе глядел на рассказчика. А затем холодно уронил: «Обезьяна!» — «Обезьяна, так обезьяна, — пренебрежительно отозвался рыжий. — Тогда, значит, обезьяна знает больше, чем иной человек». Какая-то сила снова повергла его собеседника на пол. (Ты должен раскаяться; осознать, что случилось; осознать, что тебе надо сделать!)

«Итак, я могу продолжать. Можно еще многому научиться у других людей. Молодой Цаннович вступил на этот путь, и так оно и пошло дальше. Я-то его уже не застал, да и мой отец его не застал, но представить его себе вовсе нетрудно. Если я, например, спрошу вас, хотя вы только что обозвали меня обезьяной, — между прочим, не следует презирать ни одно животное на свете, потому что они оказывают нам много благодеяний; вспомните хотя бы лошадь, собаку, певчих птиц, ну, а обезьян я знаю только по ярмарке: им приходится, сидя на цепи, потешать публику, а это тяжелая участь, и ни у одного человека нет такой тяжелой участи...³⁸ так вот я вас (не могу назвать вас по имени, потому что вы мне его не сообщили), я вас и спрашиваю: благодаря чему Цанновичи, как старик, так и молодой, — сделали такую карьеру? Вы думаете, что у них мозг был иначе устроен, что они были большие умницы? Так умницами бывали и другие, да все-таки восьмидесяти лет не достигали того, что

Стефан — двадцати. Нет, главное в человеке — это глаза и ноги! Надо уметь видеть людей и подходить к ним.

А вот послушайте, что сделал Стефан Цаннович, который умел видеть людей и знал, что их нечего бояться. Обратите внимание, как они идут нам навстречу, как они чуть ли не сами выводят слепого на дорогу. Что они хотели от Стефана? Ты — барон Варта. — Хорошо, сказал он, пусть я буду барон Варта. Потом ему, или же им, стало и этого мало. Если уж он барон, так почему бы и не еще повыше? В Албании был один человек, знаменитый, который уж давно умер, но которого там почитают, как вообще народ почитает своих героев, и звали того человека Скандербег³⁹. Если бы Цаннович только мог, он бы сказал, что он и есть тот самый Скандербег. Но так как Скандербег давно умер, то он сказал, что он — потомок Скандербега, принял важный вид, назвал себя принцем Кастриотом Албанским и заявил, что снова сделает Албанию великой и что его приверженцы только ждут знака. Ему дали денег, чтобы он мог жить, как подобает потомку Скандербега. Он доставил людям истинное удовольствие. Ведь ходят же они в театр и слушают всякие выдуманные вещи, которые им приятны. И платят за это. Так почему бы им не платить, когда такого рода приятные вещи случаются с ними днем или утром, тем более когда люди сами могут принять участие в игре?»

И снова человек в желтом летнем пальто приподнялся с пола. Лицо у него было печальное, сморщенное, он поглядел сверху вниз на Рьжего, кашлянул и изменившимся голосом сказал:

«Скажите-ка, человек божий, вы не с луны свалились, а? Вы, верно, с ума спятили?» — «С луны свалился? Что ж, пожалуй. То я — обезьяна, то — с ума спятил». — «Нет, вы мне скажите, чего вы, собственно, тут сидите и городите такую чушь?» — «А кто сидит на полу и не желает встать? Я, что ли? А между тем рядом диван. Ну, ладно! Если вам не нравится, я больше не буду рассказывать».

Тогда тот человек, оглянувшись кругом, выгнул ноги и прислонился спиной к дивану, а руками уперся в ковер. «Что, так будет удобнее?» — «Да. И вы можете, пожалуй, прекратить теперь вашу болтовню». — «Как вам угодно. Я эту историю уже часто рассказывал, так что я ничего не потеряю. А вы — как хотите». Но после небольшой паузы тот снова обернулся к рассказчику и попросил: «Так и быть, доскажите вашу историю до конца». — «Ну, вот видите. Когда что-нибудь рассказывают или разговариваешь, время проходит как-то быстрее. Ведь я хотел только открыть вам глаза. Итак, Стефан Цаннович, о котором сейчас была речь, получил столько денег, что мог поехать с ними в Германию. В Черногории его так и не раскусили. И поучиться следует у Цанновича Стефана тому, как он знал себя и людей. Тут он был невинен, как щетунья-птичка. И обратите внимание, он совершенно не боялся людей; самые великие, самые могущественные, самые грозные были его друзьями: курфюрст саксонский⁴⁰, а также кронпринц прусский, который впоследствии про-

славился как великий полководец⁴¹ и перед которым эта австриячка, императрица Терезия⁴², трепетала на своем троне. Но даже и перед ним Цаннович не трепетал. А когда Стефану случилось побывать в Вене и столкнуться там с людьми, которые подкапывались под него, сама императрица вступилась за него и сказала: Не обижайте этого юношу!»

*Неожиданный финал этого рассказа,
который восстановил душевное равновесие человека,
выпущенного из тюрьмы*

Слушатель расхохотался, заржал у дивана. «Ну и номер! Вы могли бы выступать клоуном в цирке». Рыжий смеялся за компанию: «Вот видите? Только, пожалуйста, потише, не забывайте о больных внуках старика. А что, не сесть ли нам все-таки на диван? Что вы на это скажете?» Тот рассмеялся, забрался на диван и сел в уголок; рыжий занял другой угол: «Так-то будет помягче, и пальто не помнется». Человек в летнем пальто в упор глядел из своего угла на рыжего. «Такого чудака я давно уж не встречал», — сказал он. «Вы, может быть, просто не обращали внимания, — равнодушно отозвался рыжий, — потому что их еще довольно много на свете. А вот вы запачкали себе пальто, тут ведь никто не вытирает ног». У человека из тюрьмы, ему было лет 30 с небольшим, повеселели глаза, да и лицо стало как будто свежее. «Скажите, — спросил он рыжего, — чем вы, собственно говоря, торгуете? Вы, вероятно, живете на луне?» — «Пусть будет так. Что ж, давайте говорить о луне».

Тем временем в дверях уже минут пять стоял какой-то мужчина с каштановой курчавой бородой. Теперь он подошел к столу и сел на стул. Это был молодой еще человек, в такой же велюровой шляпе, как у рыжего. Он описал рукою круг в воздухе и пронзительным голосом крикнул: «Это кто такой? Что у тебя с ним за дела?» — «А ты что тут делаешь? Я его не знаю, он не назвал своего имени». — «И ты рассказывал ему всякие небылицы?» — «А хоть бы и так? Тебе-то что за печаль?» — «Значит, он рассказывал вам небылицы?» — обратился шатен к человеку из тюрьмы. «Да он не говорит. Он только бродит по улицам и поет по дворам». — «Ну и пусть себе бродит! Что ты его держишь?» — «Не твое дело, что я делаю!» — «Да я же слышал в дверях, что у вас тут было. Ты ему рассказывал про Цанновича. Другого ты ничего и не умеешь, как только рассказывать да рассказывать». Тогда незнакомец из тюрьмы, который все время не сводил глаз с шатена, ворчливо спросил: «Кто вы, собственно, такой? Откуда вас принесло? Чего вы вмешиваетесь в его дела?» — «Рассказывал он вам про Цанновича или нет? Рассказывал. Мой шурин Нахум все ходит да ходит да рассказывает всякие сказки и только самому себе никак не может помочь». — «Я тебя вовсе не просил мне помочь. Но разве ты не

видишь, что ему нехорошо, скверный ты человек». — «А если даже ему и нехорошо, то что ты за посланец Божий выискался? Как же, Бог только того и ждал, чтобы ты явился! Одному б Ему ни за что не справиться». — «Нехороший ты человек». — «Советую вам держаться от него подальше, слышите? Наверно, он вам тут наплел, как повезло в жизни Цанновичу и невесть еще кому». — «Уберешься ли ты, наконец?» — «Нет, вы послушайте, что за мошенник, этот благодетель-то! И он еще разговаривает! Да разве это его квартира? Ну, что ты опять такое наболтал о Цанновиче и о том, чему у него можно поучиться. Эх, следовало бы тебе сделаться раввином. Мы б тебя уж как-нибудь прокормили». — «Не надо мне вашей благотворительности!» — «А нам не надо паразитов, которые висят на чужой шее! Рассказал ли он вам, что случилось в конце концов с Цанновичем?» — «Дрянь, скверный ты человек!» — «Рассказал, а?» Человек из тюрьмы устало поморгал глазами, взглянул на рыжего, который, грозя кулаком, направился к двери, и буркнул ему вслед: «Постойте, постойте, не уходите. Чего вам волноваться? Пускай себе болтает».

Тогда шатен горячо заговорил, обращаясь то к незнакомцу, то к рыжему, взволнованно жестикулируя, ерзая на стуле, прищелкивая языком, подергивая головой и поминутно меняя выражение лица: «Он людей только сбивает с толку. Пусть-ка он доскажет, чем кончилось дело с Цанновичем Стефаном. Так нет, этого он не рассказывает, а почему не рассказывает, почему, я вас спрашиваю?» — «Потому что ты нехороший человек, Элизер!» — «Получше тебя. А вот почему (шатен с отвращением воздел руки и страшно выпучил глаза): Цанновича выгнали из Флоренции, как вора. Почему? Потому что его разоблачили!» Рыжий угрожающе встал перед ним, но шатен только отмахнулся. «Теперь говорю я, — продолжал он. — Оказалось, он писал письма разным владетельным князьям, что ж, такой князь получает много писем, а по почерку не видать, что за человек писал. Ну, нашего Стефана и раздуло тщеславием, назвался он принцем Албанским, поехал в Брюссель и занялся высокой политикой. Это, видно, Стефана попутал его злой ангел. Явился он там высшим властям, — нет, вы себе представьте Цанновича Стефана, этого мальчишку, — и предлагает для войны, не помню с кем, не то сто, не то двести тысяч — это не важно — вооруженных людей. Ему пишут бумагу за правительственной печатью: покорнейше благодарим, в сомнительные сделки не пускаемся. И опять злой ангел попутал нашего Стефана: возьми, говорит, эту бумагу и попробуй получить под нее деньги! А была она прислана ему от министра с таким адресом: Его высокоблагородию сиятельному принцу Албанскому. Дали ему под эту бумажку денег, а потом-то оно и вышло наружу, какой он аферист. А сколько лет ему было в то время? Тридцать, больше ему и не пришлось пожить в наказание за свои проделки. Вернуть деньги он не мог, на него подали в суд в Брюсселе, тут все и обнаружилось. Вот каков был твой герой,

Нахум. А ты рассказал про его печальный конец в тюрьме, где он сам вскрыл себе вены? А когда он был уже мертв, — хорошенькая жизнь, хорошенький конец, нечего сказать! — пришел палач, живодер с тележкой для дохлых собак, кошек и лошадей, взвалил на нее Стефана Цанновича, вывез за город, туда, где стоят виселицы, бросил, как падаль, и засыпал мусором».

Человек в летнем пальто даже рот разинул: «Это правда?» (Что ж, стонать может и больная мышь.) Рыжий считал каждое слово, которое выкрикивал его зять. Подняв указательный палец перед самым лицом шатена, он как будто ждал определенной реплики, теперь он ткнул его пальцем в грудь, сплюнул перед ним на пол — тьфу, тьфу! «На тебе! Вот ты что за человек! И это — мой зять!» Шатен неровной походкой отошел к окну, бросив рыжему: «Так! А теперь говори ты и скажи, что это не правда».

Стен больше не было. Осталась только освещенная висючей лампой маленькая комната, и по ней бегали два еврея, шатен и рыжий, в черных велюровых шляпах, и ссорились между собою. Человек из тюрьмы обратился к своему другу, к рыжему: «Послушайте-ка, это правда, что тот рассказывал про того человека, что он засыпался и что потом его убили?» — «Убили? Разве я говорил “убили”? — крикнул шатен. — Он сам покончил с собой». — «Ну, пусть он сам покончил с собой», — согласился рыжий. «А что же сделали те, другие?» — поинтересовался человек из тюрьмы. «Кто это те?» — «Ну, были ведь там еще и другие, кроме самого Стефана? Не все же были министрами да живодерами да банкирами?» Рыжий и шатен переглянулись. Рыжий сказал: «А что им было делать? Они смотрели».

Человек в желтом летнем пальто, недавно выпущенный из тюрьмы, этот здоровенный детина, встал с дивана, поднял шляпу, смахнул с нее пыль и положил на стол, все так же не говоря ни слова, распахнул пальто, расстегнул жилетку и только тогда сказал: «Вот, извольте взглянуть на мои брюки. Вот я какой был толстый, а теперь они, видите, как отстают — целых два кулака пролезают, все от голодухи этой проклятой. Все ушло. Все брюхо к черту. Вот так тебя и мурьжат за то, что не всегда бываешь таким, каким бы следовало. Но только я не думаю, чтоб другие были намного лучше. Нет, не думаю. Только голову человеку морочат».

«Ну что, видишь?» — шепнул рыжему шатен. «Что видеть-то?» — «Да то, что это каторжник». — «А хоть бы и так?» — «Потом тебе говорят: ты свободен, можешь идти обратно в грязь, — продолжал человек, выпущенный из тюрьмы, застегивая жилетку. — А грязь-то все та же, что и раньше. И смеяться тут нечему. Это видно и на том, что сделали те, другие. Приезжает за мертвым телом в тюрьму какая-то сволочь, какой-то, будь он проклят, мерзавец с собачьей тележкой, бросает на нее труп человека, который сам покончил с собой, и — дело с концом; и как это его, подлеца, не растерзали на месте за то, что он так согрешил перед человеком, кем бы тот ни был?» — «Ну что вам на это ска-

зять?» — сокрушенно промолвил рыжий. «Что ж, разве мы больше уж и не люди, если мы совершили что-нибудь такое? Все могут опять встать на ноги, все, которые сидели в тюрьме, что бы они ни наделали». (О чем жалеть-то? Надо развязать себе руки! Рубить с плеча! Тогда все останется позади, тогда все пройдет — и страх и все такое!) «Мне только хотелось доказать, что вам не следует прислушиваться ко всему, что рассказывает мой шурин. Иной раз не все можно, что хочется, а надо устроиться как-то по-другому». — «Какая ж это справедливость — бросить человека на свалку, как собаку, да еще засыпать мусором, разве это справедливо по отношению к покойнику? Тьфу ты, черт! Ну а теперь я с вами распрощаюсь. Дайте мне вашу лапу. Вижу, вы желаете мне добра, и вы тоже (он пожал руку рыжему). Меня зовут Биберкопф, Франц. Очень мило с вашей стороны, что меня приютили. А то я уж совсем был готов свихнуться. Ну да ладно, пройдет». Оба еврея с улыбкой пожали ему руку. Рыжий, сияя, долго тискал его ладонь в своей. «Вот теперь вам в самом деле стало лучше, — повторял он. — Если будет время — заходите. Буду очень рад». — «Благодарю вас, непременно, время-то найдется, вот только денег не найти. И поклонитесь от меня тому старому господину, который был тут с вами. Ну и силища у него в руках, скажите, не был ли он в прежнее время резником? Давайте-ка я еще живенько приведу в порядок ковер, он у вас совсем сбился. Да вы не беспокойтесь, я могу один. А теперь стол, та-ак!» Он ползал на четвереньках, весело посмеиваясь за спиной рыжего: «Вот тут на полу мы с вами сидели и беседовали. Замечательное, простите, место для сиденья».

Его проводили до дверей. Рыжий озабоченно спросил: «А вы сможете идти один?» Шатен подтолкнул его в бок: «Что ты его смущаешь?» Человек из тюрьмы выпрямился, тряхнул головой и, разгребая перед собой руками воздух (побольше воздуху, воздуху, больше воздуху — только и всего!), сказал: «Не беспокойтесь. Меня вы теперь можете с легким сердцем отпустить. Вы же рассказали о ногах и глазах. У меня они еще есть. Их у меня никто не отнял. До свиданья, господа».

И пока он шел по тесному, загроможденному двору, оба глядели с лестницы ему вслед. Шляпу он надвинул на глаза и, перешагнув через лужу бензина, пробормотал: «Ух, гадость какая! Рюмку коньяку бы. Кто подвернется, получит в морду. Ну-ка, где здесь можно достать коньяку?»

*Настроение бездеятельное,
к концу дня значительное падение курсов,
с Гамбургом вяло, Лондон слабее⁴³*

Шел дождь. Слева, на Мюнштрассе⁴⁴, сверкали названия кинотеатров. На углу было не пройти, люди толпились у забора, за которым начиналась глубо-

кая выемка, — трамвайные рельсы как бы повисли в воздухе; медленно, осторожно полз по ним вагон. Ишь ты, строят подземную дорогу⁴⁵, — значит, работу найти в Берлине еще можно. А вон и кино⁴⁶. Детям моложе семнадцати лет вход воспрещен. На огромном плакате был изображен ярко-красный джентльмен на ступеньках лестницы, какая-то гуляющая девица обнимала его ноги; она лежала на лестнице, а он строил презрительную физиономию. Ниже было написано: Без родителей, судьба одной сироты в 6 действиях⁴⁷. Что ж, давай, посмотрим эту картину. Оркестрион⁴⁸ заливался вовсю. Вход 60 пфеннигов.

К кассирше обращается какой-то субъект: «Фрейлейн, не будет ли скидки для старого ландшафтurmиста⁴⁹ без живота?» — «Нет, скидка только для детей до пяти месяцев, если они с соской». — «Заметано. Нам в аккураг столько и выходит. Самые что ни на есть новорожденные — в рассрочку». — «Ну, ладно, пятьдесят с вас. Проходите». За ним пробирается юнец, худенький, с шарфом на шее: «Фрейлейн, мне хотелось бы на сеанс, но только чтобы бесплатно». — «Это еще что такое? Позови свою маму, пусть она посадит тебя на горшочек». — «Так как же — можно мне пройти?» — «Куда?» — «В кино». — «Здесь не кино». — «Как так — не кино?» Кассирша, высунувшись в окошечко, стоящему у входной двери швейцару: «Макс, поди-ка сюда. Вот тут желают знать, кино здесь или не кино. Денег у них нет. Объясни-ка им, что здесь такое». — «Вам желательно знать, что здесь такое, молодой человек? Вы это еще не заметили? Здесь касса по выдаче пособий нуждающимся, отделение Мюнцштрассе». И, отгирая юнца от кассы, швейцар показал ему кулак, приговаривая: «Если хочешь, могу сейчас выплатить».

Франц втиснулся в кино вместе с другими. Только что начался антракт. Длинное фойе было битком набито, 90 процентов — мужчины в кепках, которых они не снимают. На потолке — три завешенные красным лампочки. На первом плане — желтый рояль; на нем груды нот. Оркестрион гремит, не переставая. Затем становится темно, и начинают показывать картину. Девчонке, которая до сих пор только пасла гусей, хотят дать образование, чего ради — пока что непонятно. Она сморкается в руку, при всех на лестнице чешет себе зад, и зрители смеются. Франца охватило совсем особое, необычайное чувство, когда вокруг него все стали смеяться. Ну да, ведь это же всё свободные люди, которые веселятся и которым никто не может ничего сказать или запретить, чудесно, и я среди них! Картина шла своим чередом. У эlegantного барона была любовница, которая ложилась в гамак и при этом задирала ноги вверх. Ну и панталончики же у нее! Ай да ну! И чего это публика интересуется грязной девчонкой-гусятницей и тем, что она вылизывает тарелки? Снова замелькала на экране та, другая, со стройными ногами. Барон оставил ее одну, и вот она вывалилась из гамака и полетела в траву, где и растянулась во всю длину. Франц пялил глаза на экран, картина давно уже сменилась, а он все еще видел, как женщина вывалилась и растянулась. Во рту у него пересохло, черт возьми, что это с ним делается? А когда какой-то парень, возлюбленный гусят-

ницы, обнял эту шикарную дамочку, у Франца мурашки забегали по спине, как будто он сам обнимал женщину. Это передалось ему и расслабило его.

Баба! Уже не раздражение и страх, а что-то большее. К чему вся эта чепуха? Воздуха, людей, бабу! Как он об этом раньше не подумал! Стоишь, бывало, в камере у окна и глядишь сквозь прутья решетки на двор. Иной раз пройдут женщины, например, которые идут на свидание или убирать квартиру начальника. И как тогда все арестанты льнут к окнам, как они смотрят, как пожирают глазами каждую женщину. А к одному начальнику отделения приезжала как-то на 14 дней погостить жена из Эберсвальде⁵⁰, прежде он навещал ее каждые 14 дней, а теперь она времени даром не теряла, так что он на службе клевал носом от усталости и еле-еле ходил.

И вот Франц уже на улице, под дождем. Ну, что мы предпримем? Я теперь человек свободный. Мне нужна женщина. Нужна во что бы то ни стало. Какой воздух-то хороший, и жизнь на воле вовсе не так уж плоха. Только бы встать потверже и не свалиться. В ногах у него так и пружинит, он не чувствовал земли под собой. А на углу Кайзер-Вильгельмштрассе⁵¹, за рыночными тележками, сразу нашлась женщина, все равно какая, которую он тотчас же и подцепил. Черт возьми, с чего это у него ноги как ледяшки? Он отправился с ней, от нетерпения до крови кусая нижнюю губу, если ты живешь далеко, я не пойду. Но пришлось только пересечь Бюловплац⁵², миновать какие-то заборы, а потом — во двор и шесть ступенек вниз. Женщина обернулась к нему. Сказала со смехом: «Миленький, не будь же таким торопыгой. Ты мне чуть на голову не свалился».

Не успела она запереть за собою, как он облапил ее. «Послушай, дай мне хоть зонтик убрать». Но он тискал, мям, щипал ее, терся о ее пальто, даже не сняв шляпы. Женщина с досадой бросила зонтик: «Да ну, отстань, миленький!» — «В чем дело?» — спросил он кряхтя и криво улыбаясь. «Того и гляди, платье мне разорвешь. Нового ведь не купишь. То-то и оно. А нам тоже ничего даром не дают. Да ты же меня совсем задушил, дурной! — крикнула она, когда он все еще не отпускал ее. — Рехнулся, что ли?» Она была толстая, маленькая, неповоротливая. Ему пришлось сперва отдать ей три марки, которые она тщательно заперла в комод, ключ сунула в карман. Он не сводил с нее глаз. «Это потому, что я пару годков отбарабанил, толстуха. Там, в Тегеле. Понимаешь?» — «Где?» — «В Тегеле. Так что можешь себе представить».

Рыхлая женщина расхохоталась во все горло. Стала расстегивать кофточку. Я знал двух детей королевских, они полюбили друг друга⁵³. Если пёс с колбасой по канавам — прыг!⁵⁴ Женщина обхватила Франца, прижала к себе. Цып-цып-цып, моя курочка, цып-цып-цып, петушок⁵⁵.

Капли пота выступили у него на лбу, и он громко застонал. «Ну, чего ты стоишь?» — «А кто это рядом бегаёт взад и вперед?» — «Моя хозяйка». — «А что

она делает?» — «Да что ей делать? Там у нее кухня». — «Так, так. Только пусть она перестанет бегать. Чего ей теперь бегать? Я этого не выношу». — «Ах ты, боже мой! Хорошо, пойду скажу ей». Ну, и потный же мужчина попался, скорей бы от него отделаться, ишь, старьей хрыч, поскорей бы его сплавить. Она постучала в соседнюю дверь: «Фрау Призе, да утомнитесь вы на минуточку. Мне тут надо с одним господином переговорить по важному делу». Ну вот, все в порядке. Отчизна, сохрани покой⁵⁶, приляг на грудь мою, но скоро я тебя выставлю.

Уронив голову на подушку, она думала: на желтые полуботинки можно еще поставить новые подметки, Китгин новый жених возьмет за работу две марки, если Китги позволит, я ведь не буду его у нее отбивать, он может, кстати, и выкрасить их в коричневый цвет под тон блузки, хотя она уж старенькая, годится только на заплатки, но можно разгладить ленты, надо сейчас же сказать фрау Призе, у нее, наверно, еще есть огонь, а что она, собственно, на сегодня готовит? Женщина потянула носом. Жареную селедку с луком.

В его голове кружились обрывки каких-то стишков — ничего не понять: суп готовишь, фрейлейн Штейн, дай мне ложку, фрейлейн Штейн. Клецки варишь, фрейлейн Штейн, дай мне клецок, фрейлейн Штейн⁵⁷. Он громко застонал и спросил: «Я тебе, наверно, противен?» — «Нет, почему же? Ну-ка, даешь любовь на пять грошей». Он отвалился от нее в постель, хрюкал, стонал. Женщина потеряла себе шею. «Нет, я, кажется, лопну со смеху. Ну, лежи, лежи, Ты мне не мешаешь, — со смехом воскликнула она, всплеснув жирными руками, и спустила с кровати обтянутые чулками ноги. — Я тут, ей-богу, ни при чем!»

Вон, на улице! Воздух! Дождь все еще идет⁵⁸. В чем дело? Что случилось? Надо взять другую. Но сначала хорошенько выспаться. Франц, что это с тобой такое сделалось?

Половая потенция возникает в результате взаимодействия 1. внутрисекреторной системы, 2. нервной системы и 3. полового аппарата. За потенцию отвечают следующие органы: гипофиз, щитовидная железа, надпочечная железа, предстательная железа, семенной пузырь и придатки яичек. Но главное всего в этой системе половая железа. Она вырабатывает секрет, которым управляется весь сексуальный аппарат от коры головного мозга до гениталий. Эротическое впечатление высвобождает эротическое напряжение в коре головного мозга в область промежуточного мозга, центр активации половой реакции. После этого возбуждение спускается по спинному мозгу. Не без помех, так как возбуждению, едва оно покидает область мозга, предстоит пройти через целый ряд препятствий, которые ставит на его пути психический аппарат, как то: моральные колебания, неуверенность в себе, страх перед неудачей в постели, страх полового акта, страх беременности и проч⁵⁹.

А вечером айда на Эльзассерштрассе⁶⁰. Нечего там долго канителиться, паренек, нечего стесняться. Просто: «Сколько будет стоить удовольствие,

фрейлейн?» А брюнеточка эта хороша, и бедра у нее — честь честью. Пикантная штучка. Если у барышни есть кавалер, она его любит на свой манер⁶¹. «Что так весел, детка? Наследство получил?» — «А то как же? Могу уделить тебе из него галер». — «Идет!» Но все-таки его разбирает страх.

А потом, у нее в комнате, комнатка ничего себе, чистенькая, опрятная, с цветами за занавеской, у девицы есть даже граммофон, и она ему что-то спела, без блузки, в чулках из искусственного шелка от Бемберга, и глаза у нее черные, как смоль⁶². «Знаешь, я певица, кабаретистка. А знаешь — где? Где вздувается. В данную минуту я, знаешь, как раз без ангажемента. Вот и хожу по разным пивным, которые получше, и предлагаю свои услуги. И потом, у меня есть боевой номер. Настоящий шлягер. Ай, щекотно». — «Ну, дай хоть немножко». — «Нет. Убери руки, это портит мне все дело. Мой шлягер — ну, мильй, не надо! — состоит в том, что я устраиваю аукцион, а не тарелочный сбор: у кого есть деньги, может меня поцеловать. Чудесно, а? Тут же, при всех. Не дешевле чем за пятьдесят пфеннигов. Ну, и платят. А ты думал, что? Вот сюда, в плечо. Можешь тоже разок попробовать». Она надевает цилиндр, подбоченясь, трясет бедрами и кукарекает гостю прямо в лицо: «Теодор, что ты подумал, мальчуган, улыбнувшись мне вчера перед сном? Теодор, какой же у тебя был план, когда ты звал меня на ужин с вином?»⁶³

А когда села к нему на колени и закурила папироску, которую ловко вытащила у него из жилетного кармана, то заглядывает ему в глаза, ласково трет ухом о его ухо и нежно воркует: «А ты знаешь, что значит тоска по родине?»⁶⁴ Как она терзает сердце? Все кругом тогда так пусто и холодно». Она напевает, ложится, потягиваясь, на кушетку. Курит, гладит его волосы, напевает, смеется.

Ах, этот пот на лбу! И опять этот страх! И вдруг все смешалось в голове. Бум — колокол, подъем, в 5 часов 30, в 6 часов отпирают камеру, бум, бум — скорее почистить куртку, если поверку делает сам начальник, сегодня не его дежурство. Все равно, скоро выпустят. Тс-с, ты, послушай — сегодня ночью один бежал, веревка еще и сейчас перекинута через наружную ограду, там ходят с ищейками. Франц выпускает стон, голова его подымается, он видит женщину, ее подбородок, шею. Эх, поскорее бы выбраться из тюрьмы. Нет, не освобождают. Я все еще не вышел. Женщина пускает в него сбоку голубые колечки дыма, хихикает, говорит: «Какой ты славный, давай, я налью тебе рюмочку Мампе⁶⁵ — на тридцать пфеннигов». Но он остается лежать, растянувшись во всю длину: «На что мне ликер? Загубили они меня. Вот сидел я в Тегеле, а за что? Сперва у пруссаков в окопах гнил⁶⁶, а потом в Тегеле. Теперь я уж больше не человек». — «Брось! Не станешь же ты у меня плакать. Ну, отклой лотик, большой дядя хочет пить. У нас весело, скучать не полагается, смеются до ночи с вечера, когда делать нечего». — «И за все это — вот такая гадость! Уж тогда лучше бы сразу башку долой, сволочи. Могли бы и меня

сташить на свалку». — «Ну, большой дядя, выпей есё люмоцьку Мампе. Пей Мампе, пока пьется, все позабуди!»⁶⁷

«Ведь только подумать, что девчонки бегали за мной, как овцы, а мне-то на них даже и плевать не хотелось, а теперь вот лежишь колода колодой». Женщина подымает одну из папирос, которые вывалились у него из кармана на пол, говорит: «Что ж, тогда тебе надо пойти к шуцману⁶⁸ и пожаловаться ему». — «Ладно уж, ухожу, ухожу». Ищет подтяжки. И больше — ни слова, и на женщину даже не глядит, а та, слюнявая, курит себе, посмеивается, смотрит на него и украдкой ногой еще папиросы под диван загоняет. А он хватает шляпу и айда вниз по лестнице да на 68-м номере на Александрплац и мрачно размышляет в пивной над бокалом светлого.

Тестифортан, патентованный препарат, товарный знак зарегистрирован за № 365695, средство от полового бессилия доктора Магнуса Гиршфельда и доктора Бернгарда Шапиро, Институт сексуальных наук, Берлин. Главными причинами полового бессилия являются: А. недостаточность функций желез внутренней секреции; Б. слишком сильное сопротивление задерживающих психических факторов, истощение эрекционного центра. Момент, когда страдающий половым бессилием будет в состоянии предпринять новую попытку, может быть определен только индивидуально в каждом отдельном случае. Некоторый перерыв нередко является весьма полезным⁶⁹.

Он наедается досыта и как следует высypается, а на следующий день на улице думает: вот эту бы мне хотелось, да вон ту бы мне хотелось, но ни к одной не подступает. Или вон та, которая перед витриной, этакая ядреная кубышка, тоже была бы для нас подходяща; да нет — не стоит! И снова он сиднем сидит в пивной, ни на одну женщину не глядит, а только ест до отвала и пьет. Теперь, говорит, целыми днями только и буду жрать, да пить, да спать, а жизнь для меня кончилась. Кончилась, кончилась.

*Победа по всему фронту!
Франц Биберкопф покупает телятину*

А когда наступила среда, пошел третий день, он надевает сюртук. Кто во всем виноват? Конечно, Ида. А то кто же? Ей, стерве, он тогда все ребра переломал, потому его и засадили. Добилась своего: умерла стерва, а он — вот, пожалуйста! И ревмя ревет про себя и бежит в холод по улицам. Куда? Туда, где она жила с ним, у своей сестры. По Инвалиденштрассе⁷⁰, затем — за угол в Аккерштрассе⁷¹, напрямиком в ворота, во второй двор. Как будто и не было тюрьмы, не было разговора с евреями на Драгонерштрассе⁷². Это она во всем виновата, где она, эта шлюха? Ничего не видел Франц вокруг себя на улице, а ведь добрался куда надо. Чуть-чуть лицо подергивало, чуть-чуть в пальцах

позуживало, вот сюда и пожалуйте, руммер ди буммер ди кикер ди нелль, руммер ди буммер ди кикер ди нелль, руммер ди буммер⁷³.

Дзинь-дзинь. «Кто там?» — «Я». — «Кто?» — «Да открывай же». — «Боже мой, это ты, Франц?» Руммер ди буммер ди кикер ди нелль. Руммер. Какая-то нитка на языке — надо выплюнуть. Он стоит в коридоре, она запирает за ним входную дверь. «Чего тебе у нас нужно? А ну как тебя кто-нибудь видел на лестнице?» — «Не беда. Пускай. Ну, здравствуй!» И идет себе налево в комнату. Руммер ди буммер. Проклятая нитка, так и не сходит с языка. Он ковыряет пальцем. Но никакой нитки нет, просто такое дурацкое ощущение на самом кончике. Ну вот мы и в комнате, диван с высокой спинкой, а на стене старый кайзер, и француз в красных шароварах вручает ему свою шпагу⁷⁴ — я сдался, сдался⁷⁵. «Чего тебе тут нужно, Франц? С ума сошел, что ли?» — «Ну-ка, я присяду». Сдался, сдался, кайзер возвращает шпагу, кайзер должен вернуть ему шпагу, таков порядок вещей. «Послушай, если ты сейчас же не уйдешь, я позову людей, вызову полицию». — «С какой стати?» Руммер ди буммер. Зачем же Франц так издалека бежал? Нет, раз уж он тут, он тут и останется. «Разве тебя уже выпустили?» — «Да, срок кончился».

И тарарит на нее глаза, и встает: «Выпустили меня, вот я и тут. Выпустить-то выпустили, но в каком виде?» Он хочет объяснить, в каком же это виде, но давится своей ниткой во рту; звуки трубы оборвались⁷⁶, все пропало куда-то, и он весь дрожит и не может даже взвыть, а только смотрит на ее руки. «Чего тебе нужно, Франц? Что-то случилось?»

Вот, например, стояли горы, стояли они многие тысячи лет, и по ним проходили целые армии со своими пушками; или, например, острова, а на них людей видимо-невидимо, в расцвете сил, и всякие там солидные торговые предприятия, банки, заводы, увеселения, балеты, импорт, экспорт, социальный вопрос и тому подобное. И вдруг в один прекрасный день — р-р-р-р-р, р-р-р-р-р, да не с дредноута! потому что он и сам летит к черту, а снизу! Земля делает отчаянный скачок, сладко пел душа-соловушка⁷⁷, корабли — в поднебесье, а птицы — бац на землю. «Франц, я закричу! Слышишь? Пусти меня, пусти, Карл сейчас придет, с минуты на минуту может прийти. С Идой ты вот тоже так начал».

Во сколько ценится жена между друзьями? Лондонский бракоразводный суд вынес по иску капитана Бэйкона постановление о расторжении брака в виду прелюбодеяния жены с его товарищем, капитаном Фербером, и присудил ему в возмещение убытков сумму в 750 фунтов стерлингов. По-видимому, истец не слишком высоко ценил неверную супругу, которая в ближайшее время намерена выйти замуж за своего любовника⁷⁸.

О, есть на свете горы, которые много тысяч лет стояли себе спокойно, и по ним проходили целые армии с пушками и боевыми слонами, но что же делать, если они вдруг проваливаются к черту, потому что внизу начинается:

р-р-р-р-р-рум! Так что нечего и говорить, и пусть все идет своим чередом. Минна не может высвободить руку, и его глаза перед самыми ее глазами. Знаете, такое бывает у мужчины лицо, словно по нему пролегают рельсы, и вот по ним мчится теперь поезд, вон как он мчится, в дыму, курьерский Берлин–Гамбург–Альтона, отходит в 18 часов 5 минут, приходит в 21.35⁷⁹, весь путь – 3 часа 35 минут, и ничего не поделаешь, такие у мужчины уж руки, словно железные, железные! Буду кричать. Ну, и кричала, звала на помощь. Но уже лежала на ковре. Щетинистые щеки мужчины – вплотную к ее щекам, его губы жадно тянутся к ее губам, она старается увернуться, молит: «Франц, о боже, пощади, Франц». И – ей сразу ясно.

Теперь она знает, ведь она же сестра Иды, – так он иногда глядел на Иду. Это Ида в его объятиях, потому он и зажмурился и выглядит таким счастливым. И точно не было этой безобразной потасовки, этого отупения, не было тюрьмы. А был Трептов с кафе Парадиз⁸⁰ и блестящим фейерверком, когда он с ней познакомился и проводил домой, ее, скромную швею, в тот раз она еще выиграла в кости фарфоровую вазочку, а на лестнице он с ее ключом в руках впервые поцеловал ее, и она поднялась на цыпочки; она была в парусиновых туфельках, а ключ упал на пол, и Франц не мог уж больше от нее оторваться. Да, это прежний, славный Франц Биберкопф.

А теперь он снова вдыхает ее запах, там, около шеи, это та кожа, тот же запах, от него кружится голова, чем все это кончится. И у нее, у сестры, какое у нее странное чувство! Что-то такое исходит от его лица, оттого, как он молча прижимается к ней. Она должна уступить: она еще сопротивляется, но вот с ней происходит словно чудесное превращение, с лица сбегает напряженность, ее руки не в силах больше его отталкивать, губы становятся беспомощными. Мужчина ничего не говорит, и она оставляет, оставляет, оставляет ему свои губы, обмякает, как в ванне, делай со мной, что хочешь, растекается как вода⁸¹, хорошо, пускай, я все знаю, ты мне тоже мил.

Очарование, трепет. Блестят золотые рыбки в стеклянном сосуде. Сверкает вся комната, это уж не Аккерштрассе, не дом, и нет силы тяжести, нет центробежной силы⁸². Исчезло, куда-то провалилось, потухло отклонение красных лучей в силовом поле солнца, нет больше кинетической теории газов⁸³, теории превращения теплоты в работу, электрических колебаний, явлений индукции⁸⁴, плотности металлов, жидкостей и неметаллических твердых тел.

Она лежала на полу, металась из стороны в сторону. Он засмеялся и, потянувшись, сказал: «Ну, задуши же меня, если можешь. Я не пошевелюсь». – «Да ты ничего другого и не заслужил». Он поднялся на ноги, смеясь и приплясывая от счастья, восторга и блаженства. Вот трубы затрубили, гусары, вперед, аллилуйя!⁸⁵ Франц Биберкопф опять появился! Франца выпустили! Франц Биберкопф – на свободе! Подтягивая брюки, он переминался с ноги на ногу. Она села на стул, хотела было расплакаться. «Я скажу мужу, скажу Карлу,

надо было бы тебе посидеть еще четыре года». — «Ну что ж, скажи ему, Минна, скажи, не стесняйся». — «И скажу, а сейчас пойду за полицией». — «Минна, Миннакен, ну не будь же такой, я так рад, так рад, значит, я опять стал человеком, Миннакен». — «Я говорю, ты с ума спятил. Тебе и впрямь повредили мозги в Тегеле». — «Нет ли у тебя чего попить, кружечки кофе или чего другого?» — «А кто мне заплатит за передник, гляди — весь разодран». — «Да кто же как не Франц? Он самый! Жив курилка! Франц снова здесь!» — «Возьми-ка лучше шляпу да проваливай! А то Карл тебя застанет, а у меня синяк под глазом. И больше не показывайся. Понял?» — «Адью, Минна».

А на следующее утро он опять тут как тут, с небольшим свертком. Она не хотела его впустить, но он защебил ногу в дверях. Минна шепотом сказала ему в щелку: «Ступай своей дорогой, Франц. Ведь я же тебе говорила». — «Да я, Минна, только из-за передников». — «Какие такие передники?» — «Вот тут, ты выбери». — «Можешь оставить свое краденое добро себе». — «Оно не краденое. Да ты открой». — «Уходи, а то соседи увидят». — «Открой, Минна».

Тогда она открыла; он бросил сверток в комнату, а когда Минна, с метлой в руках, не пожелала войти туда же, он стал один скакать по комнате. «Ух, и рад же я, Минна. Весь день радуюсь. А ночью видел тебя во сне».

Он развернул на столе свой сверток; она подошла поближе и выбрала три передника, но осталась непреклонной, когда он схватил ее за руку. Он убрал остальные, а она стояла перед ним, не выпуская метлы, и торопила его: «Да скорее же. Выметайся». Он кивнул ей еще в дверях: «До свиданья, Миннакен». Она метлой захлопнула дверь.

Неделю спустя он снова стоял перед ее дверью. «Я только хотел узнать, как у тебя с глазом». — «Все в порядке, а тебе тут нечего делать». Он выглядел гораздо здоровее; на нем было синее зимнее пальто и коричневый котелок. «И еще, я хотел тебе показаться, как я вырядился, на кого я теперь похож». — «Мне-то какое дело?» — «Ну, угости меня хоть чашкой кофе». В этот момент сверху стал кто-то спускаться по лестнице, по ступенькам скатился детский мячик, и Минна в испуге открыла дверь и втащила Франца в квартиру. «Постоянка-ка минуточку тут, это верхние жильцы, Лумке, ну, а теперь можешь уходить». — «Хоть бы кофейку выпить. Неужели у тебя не найдется для меня чашечки?» — «Ведь не для этого же я тебе нужна? И вообще у тебя наверно завелись уж какие-нибудь пашни, как я погляжу». — «Да нет же, только чашечку кофе». — «Ох, горе мне с тобой!»

А когда она остановилась в прихожей у вешалки и он умоляюще взглянул на нее, она покачала головой, закрыла лицо красивым новым передником и заплакала: «Ты меня мучаешь, Франц». — «Да в чем же дело?» — «Карл не поверил в то, что я рассказала ему про подбитый глаз. Как, говорит, можно было так ушибиться о шкаф? И чтоб я это перед ним проделала. А ведь так просто подбить себе глаз о шкаф, когда дверь открыта. Пусть сам попробует.

Но вот, не знаю почему, он мне не верит». — «Этого я не понимаю, Минна». — «Может быть, потому что у меня еще и здесь царапины, на шее. Их я сперва то и не заметила, но что ж тут скажешь, когда тебе их показывают, и смотришься в зеркало и не знаешь, откуда они?» — «Га, может же человек поцарапаться — когда, например, чешется или что. И вообще, чего это Карл над тобой так измывается? Я бы его моментально сократил». — «А тут еще ты все приходишь. Эти Лумке тебя, наверно, уж видели». — «Ну, пусть-ка они не больно задаются». — «Нет, лучше уж ты уходи, Франц, и больше не возвращайся, ты на меня только беду накличешь». — «А что, он и про передники спрашивал?» — «Передники я себе давно собиралась купить». — «Ну, в таком случае я пойду, Минна».

Он обнял ее за шею, и она не оттолкнула его. Спустя минутку, когда он все еще не отпускал ее, хотя и не прижимал к себе, она заметила, что он ее нежно поглаживает и, удивленно вскинув на него глаза, промолвила: «Ну, а теперь уходи, Франц». Он легонько потянул ее в комнату, она упиралась, но шаг за шагом подвигалась вперед. Спросила: «Франц, неужели опять все сначала?» — «Да почему же? Я только хочу немного посидеть с тобой в комнате».

Они мирно сидели рядышком на диване и говорили. А затем он ушел, сам, без напоминаний. Она проводила его до дверей. «Не приходи ты больше, Франц», — заплакала она и припала головой к его груди. «Черт знает, Минна, что ты можешь с человеком сделать! Почему бы мне больше не приходиться? Ну, а если не хочешь, то и не приду». Она держала его за руку. Он открыл дверь. Минна все еще держала его руку и крепко сжимала ее. Она держала его руку еще и тогда, когда он стоял уж на площадке. А затем отпустила ее и быстро и бесшумно заперла дверь. Он прислал ей с улицы два больших куса телятины.

*А теперь Франц клянется всему миру и себе,
что останется порядочным человеком в Берлине,
с деньгами или без них*

Он стоял в Берлине уже совершенно твердо на ногах — он продал свою старую обстановку, кой-какие гроши сколотил в Тегеле, кой-что признал у хозяйки и у своего друга Мекка, — когда ему был неожиданно нанесен изрядный удар. Потом-то, правда, оказалось, что удар этот пустяковый. В одно вовсе не скверное утро у него на столе очутилась желтенькая бумажка, официальная, с казенным бланком, отстуканная на машинке:

Полицейпрезидиум, отделение 5, дата и исходящий номер. Просьба при ответе по настоящему делу ссылаться на вышеозначенный номер. Согласно

представленным мне документам, Вы отбыли наказание за угрозы, оскорбление действием и нанесение телесных повреждений со смертельным исходом, а посему являетесь лицом, угрожающим общественной безопасности и нравственности. В виду сего и на основании прав, предоставленных мне § 2 закона от 31 декабря 1842 года и § 3 закона о свободе передвижения от 1 ноября 1867 года, а также законами от 12 июня 1889 года и 13 июня 1900 года, я постановил воспретить Вам со стороны государственной полиции проживание в Берлине, Шарлоттенбурге, Нойкельне, Берлин-Шенеберге, Вильмерсдорфе, Лихтенберге и Штралау, а также в районах Берлин-Фриденау, Шмаргендорф, Темпельгоф, Бриц, Трептов, Рейникендорф, Вейсензее, Панков и Берлин-Тегель, вследствие чего предлагаю Вам покинуть район, в коем проживание Вам воспрещено, в двухнедельный от сего числа срок с предупреждением, что в случае, если Вы по истечении означенного срока окажетесь проживающим в районе, в коем проживание Вам воспрещено, или же вернетесь в таковой, то Вы подлежите и будете подвергнуты на основании § 132 раздела II закона об общем государственном управлении от 30 июля 1883 года денежному штрафу в размере не свыше ста марок, с заменой в случае несостоятельности лишением свободы на срок не свыше десяти суток. Одновременно с сим обращаю Ваше внимание, что если бы Вы избрали своим местожительством один из нижепоименованных, расположенных в окрестностях Берлина, населенных пунктов: Потсдам, Шпандау, Фридрихсфельде, Карлсхорст, Фридрихсгаген, Обершпеневайде и Вульхейде, Фихтенау, Рансдорф, Каров, Бух, Фронау, Кепеник, Ланквиц, Штеглиц, Целендорф, Тельтов, Далем, Ваннзее, Клейн-Глинеке, Новавес, Нейендорф, Эйхе, Борним и Борнштедт, то должны ожидать следующей высылки из означенных населенных пунктов. Подпись. Печать. Форма № 968a⁸⁶.

Здорово его от этого в жар бросило. Но есть такой хороший дом на Грунерштрассе⁸⁷ 1, недалеко от Алекса, патронат для заключенных. Там на Франца посмотрели, посмотрели, спросили то, другое, да и выдали бумажку за подписями: господин Франц Биберкопф состоит под нашим надзором и покровительством, а о Вас мы наведем справки, работаете ли Вы, и Вы обязаны являться раз в месяц на регистрацию⁸⁸. Кончено, точка. Все, все, как по маслу.

Забьт страх, забьты Тегель и красная ограда и стоны и что там еще, — ну их к черту, мы начинаем новую жизнь, со всем старым покончено, Франц Биберкопф снова тут, и пруссаки веселятся, целый день кричат ура.

После этого случая он еще целый месяц набивал себе утробу мясом, картошкой и пивом и сходил к евреям на Драгонерштрассе, чтоб снова поблагодарить их. Нахум и Элизер как раз опять спорили. Они не узнали его, когда он вошел, одетый во все новое, потолстевший и пахнувший водкой, и, почтительно прикрывая шляпой рот, шепотом спросил, всё ли еще больны внуки

старого господина. В кабачке за углом, где он угощал неутомонных спорщиков, они спросили его, какими делами он занимается. «Я да делами? Никакими я делами не занимаюсь. У нас все делается само собою». — «Откуда же у вас деньги?» — «С прежних времен, остатки. Кой-какие сбережения». Он толкнул Нахума в бок и, раздув ноздри и сделав хитрые, загадочные глаза, сказал: «А помните еще ваш рассказ о Цанновиче. Замечательный парень. Молодец. Потом-то его, правда, застукали. Чего вы только не знаете? Вот бы мне тоже выступить таким принцем и учиться в университете. Впрочем, нет, в университет мы не согласны. Может быть, мы женимся». — «Что ж, совет да любовь». — «Приходите на свадьбу. Будут и угощение и выпивка».

Рыжий, Нахум, принялся разглядывать его, почесывая подбородок: «Может быть, вы послушаете еще один рассказ? Ну так вот, у одного человека был мячик, знаете, такой детский мячик, но не резиновый, а из целлулоида, прозрачный, и в нем были свинцовые дробинки. Так что дети могут таким мячиком и греметь, как погремушкой, и бросать. Взял этот человек мячик, бросил его и подумал: ведь в нем свинцовые дробинки, так что можно его бросить, и он не покатится дальше, а останется на том самом месте, куда упал. Но когда человек бросил мяч, то мяч полетел не так, как человек рассчитывал, а подскочил и затем еще откатился чуть-чуть в сторону, так — пальцев на десять». — «Ах, да оставь ты его, Нахум, в покое с твоими рассказами. Очень они ему нужны». А толстый, Франц-то: «Ну, и что же случилось дальше с мячиком? И почему вы опять ссоритесь? Нет, вы взгляните на эту парочку, хозяин, спорят и ссорятся с тех пор, как я их знаю». — «Пускай себе люди остаются такими, какие они есть. Ссориться — полезно для печенки». Рыжий: «Вот что я вам скажу, я видел вас на улице, видел на дворе и слышал, как вы пели. Поете вы очень хорошо. И вы хороший человек. Но только не будьте таким бешеным. Будьте поспокойнее. Будьте терпеливее на этом свете. Разве я знаю, что происходит у вас в душе и к чему готовит вас судьба? Только, видите ли, мячик летит не так, как вы его бросаете и как вам хочется, он летит приблизительно так, и немного дальше, а может быть, и гораздо дальше — почему знать? — или куда-нибудь в сторону».

Толстый откинул назад голову и, широко взмахнув руками, со смехом обнял рыжего. «Ну и мастер же вы рассказывать, ох, мастер! Но у Франца есть кой-какой опыт. Франц знает жизнь, Франц знает, кто он такой». — «Я только хотел сказать, что вы не так давно пели что-то очень невесело». — «Что ж, что не так давно? Что было, то прошло. А теперь мы опять при своих. Мой мячик летит хорошо, понимаете? Знай наших. Ну, адью, да смотрите, приходите на мою свадьбу!»

Таким образом бывший цементщик, а потом перевозчик мебели Франц Биберкопф, грубый, неотесанный парень с отталкивающей наружностью, па-

рень, к которому привязалась красивая девушка из семьи слесаря и который эту девушку сделал проституткой и в конце концов смертельно ранил в драке, снова попал в Берлин и на улицу. Он поклялся всему миру и себе, что останется порядочным человеком. И действительно, пока у него были деньги, он оставался порядочным. А затем у него все деньги вышли, и этого момента он как будто только и ждал, чтобы показать всем, что такое есть человек.

КНИГА ВТОРАЯ

Итак, мы благополучно вернули нашего героя в Берлин. Он принес клятву, и возникает вопрос, не закончить ли нам на этом свое повествование. Финал кажется приятным и незамысловатым, конец напрашивается сам собою, и все в целом отличалось бы великим достоинством — краткостью.

Но это не какой-нибудь первый встречный, это Франц Биберкопф. Я вызвал его к бытию не для забавы, а для того, чтобы пережить его тяжкое, подлинное и просветляющее существование.

Франц Биберкопф перенес суровое испытание, но теперь он, широко расставив ноги, прочно утвердился на берлинской почве, и если он говорит, что хочет быть порядочным человеком, то мы можем ему поверить, — он им и будет.

Вы увидите, как он несколько недель оставался порядочным. Но это до некоторой степени лишь простая отсрочка.

Жили некогда в раю два человека, Адам и Ева. Поместил их туда Господь, создавший животных и растения и небо и землю. А раем был чудный сад Эдем. Произрастали в нем цветы и деревья, резвились звери, никто не мучил других. Солнце восходило и заходило, то же делала и луна, весь день в раю царил одна лишь радость¹.

Начнемте же веселей. Давайте петь и играть: ручками мы хлоп, хлоп, хлоп, ножками мы топ, топ, топ², раз сюда, раз туда, раз кругом, в том нет труда.

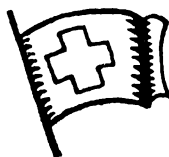
ФРАНЦ БИБЕРКОПФ ВСТУПАЕТ В БЕРЛИН³



ТОРГОВЛЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ОЧИСТКА ГОРОДА И ГУЖЕВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



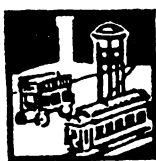
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ПОДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ



ТРАНСПОРТ



СБЕРКАССЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК



ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО



ПОЖАРНАЯ ОХРАНА



ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ ПОДРЯД

О публикации плана земельного участка⁴ Ан-дер-Шпандауэр-Брюкке⁵ 10. Настоящим сообщается, что план расположенного на Ан-дер-Шпандауэр-Брюкке в городской общине Берлин-Центр участка № 10, право собственности на который подлежит долгосрочному ограничению на предмет устройства стеной розетки на фасаде выстроенного на означенном участке дома, выставлен со всеми к нему приложениями для всеобщего с ним ознакомления. В течение предусмотренного законом срока всем заинтересованным лицам предоставляется заявить в объеме своих интересов соответствующие возражения против означенного плана. Равным образом правом представить свои возражения пользуется и председатель вышеупомянутой общины. Возражения в письменной форме подаются в управление Центрального района в Берлине, Центр 2, Клостерштрассе⁶ 68, комната 76; устные заявления заносятся там же в протокол.

— Вследствие договоренности с господином полицейспрезидентом, я представил арендатору охоты, господину Боттиху, впредь до отмены сего, право ружейной охоты на диких кроликов и прочих хищников на участке под наименованием Парк Гнилого Озера в следующие дни 1928 года: охота должна заканчиваться в летнее время, с 1 апреля по 30 сентября, к 7 часам, а в зимнее время, с 1 октября по 31 марта, к 8 часам. О чем и доводится до всеобщего сведения, с предупреждением не ходить на означенный участок в вышеуказанные часы. Обербюргеймейстер, он же заведующий отделом охоты.

— Мастер скорняжного цеха⁷ Альберт Пангель после тридцатилетней деятельности в почетных должностях сложил с себя все почетные обязанности ввиду преклонного возраста и переезда в другой округ. В течение этого долгого времени он непрерывно состоял председателем комиссии по благоустройству, а также и куратором. Районное управление отметило заслуги господина Пангеля в поднесенном ему благодарственном адресе.

Розенталерплац развлекается.

Переменная, скорее ясная погода, один градус ниже нуля. Над Германией распространяется низкое давление, которое положило конец стоявшей до сих пор хорошей погоде. Продолжающиеся незначительные изменения давления указывают на медленное распространение низкого давления к югу; таким образом, погода и дальше будет оставаться под его влиянием. Дневная температура, вероятно, понизится⁸. Бюллетень погоды для Берлина и прилегающих районов.

Маршрут трамвая № 68:⁹ Розенталерплац, Виттенау, Северный вокзал, больница, Веддингплац, Штеттинский вокзал, Розенталерплац, Александрплац, Штраусбергерплац, вокзал Франкфуртераллее, Лихтенберг, дом умалишенных Герцберге. Три берлинских транспортных предприятия — трамвай, воздушно-подземная дорога и автобус — ввели единый тариф. Проезд стоит

для взрослых двадцать пфеннигов, для учащихся — десять. Льготным проездом пользуются дети до 14 лет, ремесленные ученики и учащиеся, студенты, инвалиды войны и лица, не способные к передвижению пешком, по удостоверениям участковых попечителей. Ознакомьтесь с сетью маршрутов. В зимние месяцы воспрещается пользоваться передней дверью для входа и выхода, 39 сидячих мест, 5918, кто намерен выйти, должен предупредить заблаговременно, вагоновожатому воспрещается разговаривать с пассажирами, вход и выход во время движения сопряжены с опасностью для жизни¹⁰.

На самой середине Розенталерплац какой-то человек с двумя желтыми свертками соскакивает на полном ходу с 41-го трамвая, порожнее такси проносится на волосок от прыгуна, вслед ему строго глядит шупо, откуда-то появляется трамвайный контролер, шупо и контролер здороваются за руку: ну и повезло же тому с его желтенькими свертками.

Разные фруктовые наливки по оптовым ценам, д-р Бергель, присяжный поверенный и нотариус, Лукутат¹¹, индийское средство, секрет долголетия слонов, презервативы Фромма¹², лучшая в мире резиновая губка, на что это нужно столько резиновых губок.

От площади ведет к северу длинная Брунненштрассе¹³, по левой стороне ее, не доходя Гумбольдхайна¹⁴, находится АЕГ. АЕГ — колоссальное предприятие, охватывающее, согласно телефонной книге на 1928 год¹⁵: электрическую станцию, центральное правление, NW40, на набережной Фридриха Карла¹⁶ 2–4, местное отделение, иногородное отделение, заводоуправление, проходную контору, Электропромышленный банк, отделение осветительных приборов, отделение связей с Россией, металлургический завод Обершпрее¹⁷, фабрику электроприборов в Трептове, завод на Брунненштрассе, заводы в Геннингсдорфе¹⁸, завод изоляционных материалов, завод на Рейнштрассе¹⁹, кабельный завод в Обершпрее, трансформаторные заводы на Вильгельминенгофштрассе²⁰ и на Руммельсбургершоссе²¹ и, наконец, турбинный завод NW на Гуттенштрассе 12–16²².

Инвалиденштрассе²³ отходит влево. Она ведет к Штеттинскому вокзалу²⁴, куда прибывают поезда с Балтийского моря: Ах, вы весь в копоти — здесь, конечно, пыльно. — Здравствуйте, до свиданья! — Не прикажете ли отнести багаж, пятьдесят пфеннигов. — Но вы прекрасно поправились! — Ну, загар быстро сойдет. — Откуда у людей столько денег на разъезды? — Вот вчера рано утром в маленькой гостинице на одной из темных улиц застрелилась парочка влюбленных, кельнер из Дрездена и замужняя женщина, которая, однако, записалась под чужой фамилией²⁵.

С юга на площадь выходит Розенталерштрассе. На углу ресторан Ашингера, Ашингер кормит людей и отпускает им пиво, концерты, и кондитерская. Рыба — продукт весьма питательный, иной бывает рад, когда у него есть хоть рыба, а другие не могут есть ее, ешьте рыбу, и вы сохраните хорошую фигу-

ру, здоровье и бодрость²⁶. Дамские чулки из настоящего искусственного шелка, только здесь вы получите первоклассное золотое вечное перо.

На Эльзассерштрассе²⁷ загородили всю мостовую, оставив только узенький проезд. За забором пыхтит локомотив. Беккер и Фибих, строительная контора, Берлин В35²⁸. Шум и грохот; вагонетки ходят до угла, где частный коммерческий банк — депозиты, хранение процентных бумаг, текущие счета. Перед банком пятеро рабочих, стоя на коленях, забивают в грунт бульжники.

На остановке у Лотрингерштрассе в трамвай № 4 село четверо²⁹, две пожилые женщины, простолюдин с озабоченным видом и мальчик в теплой шапке и наушниках. Обе женщины едут вместе, это фрау Пюк и фрау Гоппе. Они ездили покупать для старшей, фрау Гоппе, бандаж, потому что у нее предрасположение к грыже. Они заходили к бандажисту, на Брунненштрассе, а теперь едут встречать своих мужей, возвращающихся к обеду. Простолюдин — кучер Газебрук, замучившийся с электрическим утюгом, который он задешево купил для своего хозяина как подержанный. Ему подсунули плохой; хозяин поработал им несколько дней, а затем утюг перегорел, и вот теперь Газебруку велели обменять его на другой, а продавцы не хотят, и он уже третий раз ездит к ним: придется, видно, доплатить из своего кармана. Мальчик Макс Рюст станет со временем жестянщиком, отцом еще семи Рюстов, вступит компаньоном в фирму Халлис и К°, установки и кровельные работы в Грюнау³⁰, на пятьдесят третьем году жизни выиграет на свою четверть билета часть главного выигрыша Прусской лотереи, удалится после этого на покой и скончается пятидесяти пяти лет во время процесса с фирмой Халлис и К° в связи с выходом его из этого дела. Извещение о его смерти будет гласить: 25 сентября, на пятьдесят пятом году жизни внезапно скончался от разрыва сердца мой горячо любимый муж, наш дорогой отец, сын, брат, шурин и дядя Макс Рюст, о чем с глубоким прискорбием извещает от имени осиротелой семьи Мария Рюст³¹. А изъявление благодарности после похорон будет выглядеть так: Ввиду невозможности — каждого в отдельности — за внимание и т. д. настоящим выражаем всем родным, друзьям, а также жильцам дома № 4 по Клейштрассе и знакомым нашу искреннюю благодарность. В особенности благодарим господина Дейнена за его прочувствованное слово...³² Но сейчас этому Максусу всего четырнадцать лет; он только что окончил приходскую школу и едет в консультацию для страдающих недостатками речи, тугоухих, близоруких, отсталых и трудновоспитуемых, где уже часто бывал, так как заикается, хотя и не так сильно, как раньше.

Маленький кабачок на Розенталерплац.

В передней комнате играют на бильярде, в глубине, в уголке, двое мужчин пьют чай и курят. У одного из них дряблые щеки и седые волосы; он в плаще.

— Ну, валийте. Но только сидите смирно, не дрыгайтесь так.

— Нет, сегодня вы меня не затащите к бильярду. У меня сегодня рука неверная.

Седой жует сухую булку, не притрагиваясь к чаю.

— Вовсе не требуется. Нам и тут хорошо.

— Знаю, знаю, старая история. Ну, теперь вопрос решен.

— Кто решил-то?

Его собеседник — молодой, светлый блондин, с энергичным лицом, мускулистый.

— Конечно, и я тоже. А вы думали — только они? Нет, теперь все выяснено.

— Другими словами: вас выставили вон.

— Я откровенно поговорил с шефом, он на меня накричал. А в конце дня мне принесли уведомление, что с первого числа я уволен.

— Вот видите, никогда не надо, в известных условиях, говорить откровенно. Если бы вы поговорили с вашим шефом обиняками, он бы вас не понял, и вы продолжали бы служить.

— Да я еще не ушел, что вы вообразили? Теперь-то я и покажу себя. Думаете, им сладко от меня придется? Ежедневно в два часа я буду являться и отравлять им жизнь, будьте покойны.

— Молодой человек, молодой человек. А я-то полагал, вы женаты.

Тот поднял голову.

— В том-то и подлость, что я ей еще ничего не сказал, не могу и не могу.

— Может быть, дело еще и наладится...

— Кроме того, она в положении.

— Второй уже?

— Да.

Человек в плаще закутывается в него плотнее, насмешливо улыбается своему собеседнику, а затем, кивнув головой, говорит:

— Что ж, отлично. Дети придают смелости. Вам она теперь могла бы пригодиться.

— Она мне совершенно не нужна, — выпаливает тот. — К чему? Я по уши в долгах. Эти вечные платежи. Нет, не могу ей сказать. А тут еще меня просто выперли. Я привык к порядку, а у нас черт знает что делается. Конечно, у моего шефа есть своя мебельная фабрика, и приношу ли я ему заказы для обувного отдела, ему глубоко наплевать. В том-то и вся штука. Чувствуешь себя какой-то пятой спицей в колеснице. Стоишь себе в конторе и спрашиваешь без конца: посланы ли наконец предложения? Предложения? Какие предложения? Да ведь я же вам уже шесть раз говорил! На кой черт я тогда бегая по клиентам? Люди в глаза смеются. Либо ликвидируй этот отдел, либо делай дело.

— Выпейте-ка чаю. Пока что ликвидировали вас.

От бильярда подходит какой-то господин без пиджака, кладет руку молодому человеку на плечо и спрашивает:

— Как вы насчет небольшой партии со мною?

За молодого отвечает старший:

— Он получил кроше³³ в подбородок.

— Бильярд очень помогает против кроше. — С этими словами он уходит. Человек в плаще глотает горячий чай. Приятно попивать горячий чай с сахаром и ромом и слушать, как скулят другие. Так уютно в этом кабачке.

— Вы сегодня не собираетесь домой, Георг?

— Не хватает духу, честное слово, не хватает духу. Что я ей скажу? Я не могу взглянуть ей в глаза.

— Идите, идите и смело взгляните ей в глаза.

— Что вы в этом понимаете?

Старший наваливается грудью на столик и мнет в руках концы плаща.

— Пейте, Георг, или скушайте чего-нибудь и молчите. Кое-что я в этом понимаю. Да. Я эти штучки прекрасно знаю. Когда вы еще под стол пешком гулять ходили, я все это сам испытал.

— Нет, пусть-ка кто-нибудь станет на мое место. Была хорошая служба, а потом взяли да все и изгадили.

— Так вот, послушайте-ка. Я был старшим преподавателем. До войны. Когда началась война, я был уже таким, как сейчас. И кабачок этот был таким же, как сейчас. На военную службу меня не призвали. Таких, как я, им не нужно — людей, которые впрыскивают себе морфий. Вернее говоря: меня все же призвали, я думал, со мной случится удар. Шприц, конечно, у меня отобрали, и морфий тоже. Ну, и попал же я в переплет. Двое суток я еще кое-как выдержал, пока у меня был запас, капли, а затем — до свиданья, Пруссия, я в психиатрической больнице. В конце концов отпустили меня на все четыре стороны. Да что тут долго говорить — потом меня и из гимназии уволили, потому что, знаете, морфий — это такая штука, что иной раз бываешь как в чаду, в особенности вначале, теперь-то это, к сожалению, больше не случается. Ну, а жена? А ребенок? Прости-прощай, родная сторона³⁴. Милый мой Георг, я мог бы рассказать вам романтические истории.

Седой пьет, греет руки о стакан, пьет медленно, с чувством, разглядывает чай на свет: «М-да, жена, ребенок: выходит, как будто это и есть весь мир. Я не раскаиваюсь и вины за собой не признаю, с фактами, а также и с самим собою, необходимо считаться. Не следует кичиться своей судьбой. Я — противник учения о роке. Я не эллин, я берлинец³⁵. Но почему же вы даете остыть чаю? Подлейте-ка рому». Правда, молодой человек закрывает стакан ладонью, но седой отводит ее и подливает ему изрядно из небольшой фляги, которую достал из кармана: «Мне пора уходить. Спасибо, спасибо. Я должен набегаться до усталости и забыть свои огорчения». — «Бросьте, оставайтесь-ка спокой-

ненько здесь, Георг, выпейте малость, а потом поиграете на бильярде. Только не заводите вы беспорядка. Это — начало конца. Дома я не застал ни жены, ни ребенка, а нашел только письмо, что она возвращается к матери в Западную Пруссию и так далее, исковерканная жизнь с таким мужем, позор и так далее, тогда я причинил себе эту царапинку, вот здесь, на левой руке, что уже попахивает покушением на самоубийство³⁶. Но вот, никогда не следует упускать случай пополнить свое образование, Георг; я, например, знал даже провансальский язык, а анатомию, извините! Вот и принял сухожилие за артерию. Я и сейчас не более осведомлен по этой части, но как будто не возникает надобности. Короче говоря: скорбь, раскаяние — все это чушь, ерунда, я остался в живых, жена тоже осталась в живых, ребенок — тоже. У нее появились даже еще дети, там в Западной Пруссии, целых две штуки, я, очевидно, действовал на расстоянии, и все мы живем себе да живем. Розенталерплац меня радует, шупо на углу меня радует, бильярд меня радует. Ну-ка пусть теперь кто-нибудь скажет, что его жизнь лучше и что я ничего не понимаю в женщинах!»

Блондин глядит на него с отвращением: «Ведь вы же настоящая развалина, Краузе, вы это и сами знаете. Какой же вы после этого пример? Вы просто рисуетесь передо мной своим несчастьем, Краузе. Вы же мне сами рассказывали, как вам приходится голодать с вашими частными уроками. Мне бы не хотелось лечь таким в могилу». Седой допивает стакан, откидывается на спинку железного стула, с минуту глядит на молодого враждебно поблескивающими глазами, а затем прыскает со смеху и судорожно хихикает: «Разумеется, не пример, вы совершенно правы. Но я и не претендовал на это. Для вас я не пример. Извольте: муха и точки зрения. Муха садится под микроскоп и кажется себе лошастью. Пусть-ка такая муха попадетс я мне под мой телескоп. Да кто вы такой, господин, как вас, господин Георг? А ну-ка, представьтесь мне: городской представитель такой-то фирмы по отделу обуви. Бросьте, пожалуйста, ваши шуточки. Рассказывать мне, мне, о своем горе, “горе” передаю по буквам: *г* — Георг, *о* — осел, *р* — рохля, сугубая рохля, да, *е* — ерунда. И вообще вы не туда попали, милостивый государь, совершенно не туда попали, совсем, совсем не туда попали!»

Из трамвая маршрута 99³⁷ Мариендорф, Лихтенрадершоссе, Темпельгоф, Галлеские ворота, церковь Св. Гедвиги, Розенталерплац, Бадштрассе, Зеештрассе на углу Тогоштрассе, в ночь с субботы на воскресенье непрерывное сообщение между Уферштрассе и Темпельгофом через Фридрих-Карлштрассе каждые 15 минут, выходит молоденькая девушка. 8 часов вечера, под мышкой у нее папка с нотами, каракулевый воротник поднят до самых бровей, на углу Брунненштрассе и Вейнбергсвег³⁸ она шагает взад и вперед. Какой-то господин в шубе пытается с ней заговорить, она вздрагивает и стремительно переходит на другую сторону. Останавливается под высоким фонарем и всматри-

вается в противоположный угол. Там появляется небольшого роста пожилой господин в роговых очках, она моментально оказывается возле него. Идет, хихикая, рядом. Они направляются вверх по Брунненштрассе.

«Мне никак нельзя сегодня так поздно вернуться домой, право, никак нельзя. Собственно говоря, мне совсем не следовало бы приходиться. Но ведь мне нельзя даже позвонить к вам». — «Только в самых исключительных случаях, если уж непременно нужно. У нас на службе подслушивают. Это же в твоих интересах, дитя мое». — «Ах, я так боюсь, но ведь это же не узнается, вы же никому не расскажете?» — «Никому». — «Если узнает папа или узнает мама — о боже!» Пожилой господин с довольным видом поддерживает ее под руку. «Да с чего б они узнали? Я никому не скажу ни слова. А ты хорошо занималась на уроке?» — «Я играла Шопена. Ноктюрны. Вы любите музыку?» — «Пожалуй. Если на то пошло». — «Мне хотелось бы вам что-нибудь сыграть, когда я как следует разучу. Но я вас так боюсь». — «Однако!» — «Да, я всегда боюсь вас, немножко, не очень. Нет, не очень. Но ведь мне нечего бояться вас, не правда ли?» — «Нисколько. С какой стати? Ты ведь знаешь меня уже три месяца». — «Собственно, я боюсь только папы. Что, если он вдруг узнает?» — «Послушай, детка, ведь можешь же ты, наконец, выйти куда-нибудь из дому вечером одна. Ты же больше не ребенок». — «Это я маме давно уже говорю. И выхожу». — «Вот мы и идем, Тунтхен³⁹, куда нам вздумается». — «Ах, не называйте меня, пожалуйста, Тунтхен. Это я сказала вам только для того, чтобы... ну, просто, так, между прочим. А куда же мы идем сегодня? Помните, я должна быть в девять часов дома». — «Да вот мы уже пришли. Сюда, наверх. Здесь живет один из моих приятелей. Мы можем без стеснения посидеть в его квартире». — «Ах, я так боюсь. Нас никто не увидит? Идите вы вперед. Я приду одна вслед за вами».

Там, наверху, они улыбаются друг другу. Она стоит в уголке. Он снял пальто и шляпу и берет у нее из рук папку с нотами и шапочку. Затем девушка подбегает к двери и выключает свет: «Но только сегодня не долго, у меня так мало времени, мне надо скорее домой, я не буду раздеваться, а вы мне не делаете больно?»

*Франц Биберкопф отправляется на поиски,
надо зарабатывать деньги, без денег
человек не может жить. Кое-что
о горшечном торге во Франкфурте*

Франц Биберкопф сел со своим приятелем Мекком за стол, за которым сидело уже несколько громко переговаривавшихся мужчин, и стал ждать открытия собрания. Мекк заявил: «Ты не ходишь отмечаться на бирже труда и

не работаешь на заводе, а для земляных работ слишком холодно. Самое лучшее — торговать. В Берлине или в провинции. По выбору. Это человека прокормит». — «Осторожно. Как бы вас не задеть!» — крикнул кельнер. Приятели заказали пива. В ту же минуту наверху, над ними, раздались шаги, это господин Вюншель, управляющий с первого этажа, побежал в «Скорую помощь» — с его женой обморок. Тогда Мекк снова заявил: «Пускай я не я буду, но ты только взгляни на этих людей. Какой у них вид, а? Разве похоже, что они голодают? И разве это не порядочные люди?» — «Готлиб, ты знаешь, что, когда дело касается порядочности, я не терплю шуток. Скажи мне, положи руку на сердце: приличное ли это занятие или нет?» — «Да ты погляди на этих людей. Что мне еще говорить? Первый сорт, ты только погляди». — «Мне главное дело, чтоб это было что-нибудь солидное, — понимаешь? — солидное». — «Чего уж солиднее! Подтяжки, чулки, носки, передники, в крайнем случае — головные платки. Прибыль зависит от умения дешево закупить».

На трибуне какой-то горбатый человечек говорит о франкфуртской ярмарке. Следует самым решительным образом отсоветовать иногородним принимать в ней участие. Ярмарка расположена в очень неудачном месте. В особенности плохо приходится горшечному торгу. «Милостивые государыни и милостивые государи и дорогие коллеги! Кто побывал на горшечном торге во Франкфурте в прошлое воскресенье, может вместе со мною высказаться за то, что таких вещей требовать от публики нельзя». Готлиб подтолкнул Франца: «Это он про франкфуртскую ярмарку. Ты ведь туда все равно не поедешь». — «Ничего, он хороший человек, знает, чего хочет». — «Если кто знает Магазиновую площадь во Франкфурте, то во второй раз туда не поедет. Это как пить дать. Это ж дрянь, настоящее болото. Затем мне хотелось бы высказаться, что франкфуртский магистрат тянул дело чуть ли не до самого срока открытия. А затем заявил в таком роде, что, значит, для нас — Магазиновая площадь, а не Рыночная, как всегда. Почему? Потому, говорит, что на Рыночной площади бывает базар, а если и вы еще туда нагрянете, то получится затор движению. Это неслыханно со стороны франкфуртского магистрата, это просто оплеуха! Такие приводить мотивы! Четыре раза в неделю базар, а потому нам туда нельзя! Да почему именно нам? Почему не зеленщику или молочнице? Почему во Франкфурте не строят крытых рядов? С торговцами зеленью, фруктами и другими продуктами питания магистрат обращается не лучше, чем с нами. Нам всем приходится страдать от головоотяства магистрата. Но теперь довольно! Будет! Обороты на Магазиновой площади были незначительны, овчинка выделки не стоила. Какому покупателю охота тащиться туда в дождь и слякоть? Наши товарищи, которые поехали, не выручили даже хотя бы на обратную дорогу. Железнодорожный билет, плата за место, плата за простой, подвоз, то да се. Кроме того, я особенно хотел бы высказаться и представить всему собранию, во Франкфурте уборные такие, что нет сил описать!

Кому пришлось там побывать, тот может кой-что порассказать об этом. Подобного рода гигиенические условия недостойны большого города, и общественность должна это заклеймить, где только возможно. Такие условия не могут привлекать посетителей во Франкфурт и приносят ущерб торговцам. А затем еще эти тесные помещения для торга: сидишь друг на дружке, как седки в бочке».

После прений, в которых досталось и правлению за его бездеятельность, была единогласно принята следующая резолюция:

«Ярмарочные торговцы считают перенесение ярмарки на Магазиновую площадь прямым для них оскорблением. Торговые обороты оказались значительно ниже таковых на прежних ярмарках. Магазиновая площадь совершенно не подходит для устройства на ней ярмарки, так как она не в состоянии вместить все количество посетителей, а в санитарном отношении является позором для города Франкфурга-на-Одере, помимо того, что в случае пожара торговцы погибнут вместе со своим имуществом. Собравшиеся ожидают от городского магистрата перенесения ярмарки обратно на Рыночную площадь, так как только таким путем создается гарантия ее дальнейшего существования. Вместе с тем собравшиеся настаивают на снижении арендной платы за торговое место, так как при данных условиях они не смогут хотя бы приблизительно выполнить свои обязательства и вынуждены будут искать помощи общественной благотворительности»⁴⁰.

Биберкопфа неудержимо влекло к оратору. «Вот это, Мекк, человек, как будто созданный для сего мира». — «А ты попробуй поприжать его; может быть, что-нибудь тебе и перепадет». — «Этого ты не можешь знать, Готлиб. Помнишь, как меня еврей-то из беды вытащили? Ведь я уже и по дворам ходил и Стражу на Рейне⁴¹ пел — вот до чего у меня тогда в голове помутилось. А еврей меня выудили и рассказали мне разные истории. Слова, сказанные хорошим человеком, тоже хорошая штука, Готлиб». — «Ну да, история с этим поляком, Стефаном-то. Эх, Франц, у тебя в голове и сейчас еще винтика не хватает». Тот пожал плечами. «Дались тебе мои винтики, Готлиб. Нет, а ты стань на мое место, да потом уж и говори. Вон тот человечек, с горбом который, — хорош, я тебе говорю, первейшего сорта». — «Пусть будет по-твоему. Но только тебе бы лучше позаботиться о деле, Франц». — «Позабочусь, позабочусь, всё своим чередом. Я ведь от дела не отказываюсь».

Он встал, пробрался сквозь толпу к горбуну и почтительно обратился к нему за справкой. «Что вам угодно?» — «Да вот, хочу вас кое-что спросить». — «Прений больше не будет. Прения окончены. Будет с нас, сыты по горло. — Горбун был, видимо, раздражен. — Что вам, собственно говоря, нужно?» — «Я. Вот тут много говорилось о франкфуртской ярмарке, и вы прекрасно провели свое дело, за первый сорт. Это я и хотел вам сказать лично от себя. Я совершенно с вами согласен». — «Очень рад, коллега. С кем имею удоволь-

ствие?» — «Франц Биберкопф. Мне было очень приятно видеть, как вы справились со своей задачей и всыпали франкфуртцам». — «То есть магистрату». — «За первый сорт. Разделали их под орех. Они теперь и не пикнут. В эту дырку они во второй раз уж не полезут». Горбатый человек собрал бумаги и спустился с трибуны в прокуренный зал. «Очень приятно, коллега, очень, очень приятно», — сказал он. Франц, сияя, распаркался. «Так о чем же вы хотели справиться? Вы член нашего союза?» — «К сожалению, нет». — «Ну, это мы сейчас устроим. Идемте за наш стол». И вот Франц сидит за столом президиума среди раскрасневшихся, разгоряченных голов, пьет, раскланивается, получил в конце концов на руки бумажку. Взнос он обещал уплатить первого числа. Попрощались за руку.

Еще издали помахивая бумажкой, Франц заявил Мекку: «Теперь я — член берлинского отделения союза. Понимаешь? Вот, читай, что тут написано, Берлинское отделение имперского союза германских торговцев в разнос. Хорошее дело, а?» — «Значит, ты теперь торговец текстильными товарами? Тут написано: текстильные товары. С каких же это пор, Франц? И что у тебя за текстильные товары?» — «Да я вовсе не говорил о текстильных товарах. Я говорил о чулках и передниках. А они настояли на своем: текстильные товары. Ну и пускай. Платить я буду только первого числа». — «Чудак человек! А если ты, во-первых, пойдешь с фарфоровыми тарелками или кухонными ведрами. Или, может быть, будешь торговать скотом, вот как эти господа? Ну, скажите, господа, разве не глупо, что человек берет членский билет по текстильной части, а торговать пойдет, скажем, скотом?» — «Если скотом, то крупным я не советую. С крупным скотом тихо⁴². Пусть лучше займется мелким». — «Да он вообще еще ничем не занялся. Факт. Знаете, господа, он только еще собирается. Вы даже можете сказать ему, — да, да, Франц, — чтоб он торговал мышеловками или гипсовыми головками». — «Ну и что ж? Если на то пошло, Готлиб, только бы прокормиться. Конечно, не надо непременно мышеловками, потому что тут слишком большая конкуренция со стороны аптекарских магазинов, которые торгуют разными ядами; а про гипсовые головки почему бы не попробовать распространять гипсовые головки в маленьких городах?» — «Вот извольте: человек берет свидетельство на передники, а уже собирается идти с гипсовыми головками!»

«Да нет же, Готлиб, вы совершенно правы, господа, ты, Готлиб, напрасно хочешь обернуть дело таким манером. Всякое дело надо правильно осветить и надо правильно к нему подойти, как горбатый человек подошел к делу с франкфуртской ярмаркой, которое ты даже и не слушал». — «Да оно меня несколько не касается, и этих господ тоже». — «Хорошо, Готлиб, хорошо, господа, я вовсе и не хочу ставить вам в упрек, но только вот я, что касается моей личности, слушал внимательно и нахожу, что было очень интересно, как он все это осветил, спокойно, но ярко, несмотря на слабый голос, — вероятно, у

него с легкими неладно, — и как все шло в полном порядке, а потом эта резолюция, где все на своем месте, каждый пунктик, тютельница в тютельница, вплоть до уборных, которые им не понравились. У меня же было это дело с евреями, помнишь? Мне, господа, когда я, когда мне приходилось очень скверно, помогли как-то два еврея тем, что рассказали одну историю. Они поговорили со мной, люди очень приличные, которые со мной до тех пор совсем не были знакомы, и рассказали мне историю про одного поляка или что-то в этом роде, и эта была просто история, и все же очень полезная, поучительная для меня в том положении, в котором я тогда находился. Я было подумал: рюмка коньяку дала бы тот же результат. Но почему знать? После этого я опять встал на ноги». Один из скотопромышленников пустил облако дыма и, осклабясь, сказал: «Вероятно, вам до этого здоровенный кирпич упал на голову». — «Пожалуйста, без шуток, господа. Между прочим, вы совершенно правы. Здоровеннейший был кирпичина! И с вами может случиться, что вам на голову свалится этакая штука, и у вас душа в пятки уйдет. С кем греха не бывает? Ну, а что вы будете делать, когда у вас душа в пятках? Вот тогда вы и забегаете по улицам — Брунненштрассе, Розентальские ворота, Алекс. Может случиться и так, что вы бегаєте по улицам и даже названия их прочитать не в состоянии. Тут-то мне и помогли умные люди, поговорили со мной и рассказали кое-что, люди, как говорится, с головой, а потому, знаете ли, не надо ждать спасения только от коньяка или от этих несчастных грошовых членских взносов. Главное дело, чтоб была голова на плечах и чтобы ею пользоваться и чтобы человек знал, что творится вокруг, не то тебя сразу сковырнет. Ну, а с головой-то это еще только полбеда. Вот оно как, господа. Вот как я это понимаю!»

«В таком случае, господин, стало быть, коллега, выпьемте за процветание нашего союза». — «За союз, ваше здоровье, господа. Твое здоровье, Готлиб». Готлиб покотился со смеху: «Чудак человек, да откуда ты, спрашивается, возьмешь к первому числу деньги на членский взнос?» — «А затем, молодой коллега, раз у вас есть теперь членский билет и вы стали членом нашего союза, постарайтесь, чтобы союз помог вам заработать хороший куш». Скотопромышленники смеялись не меньше самого Готлиба. «Поезжайте-ка с вашей бумажкой в Мейнинген⁴³, — сказал один из скотопромышленников, — на будущей неделе там ярмарка. Я стану с правой стороны, а вы — напротив, с левой, и посмотрим, как у вас пойдет дело. Ты себе представь, Альберт, у него есть бумажка, он член союза и стоит у себя в ларьке. Тут возле меня кричат: Сосиски венские, настоящие мейнингенские пряники⁴⁴, и он себе там орет: Пожалуйста, пожалуйста, небывалый случай, член союза, величайшая сенсация ярмарки в Мейнингене! Вот когда люди к нему побегут толпою. Эх, и какой же ты, братец, дурак!» Они хлопали по столу; Биберкопф тоже. Затем он осторожно засунул бумажку в боковой карман и сказал: «Если кто хочет бегать, то по-

купает, конечно, пару сапог. Я вовсе не говорил, что собираюсь делать большие дела. Но голова у меня на плечах есть». Вся компания встала и вышла.

На улице Мекк затеял с обоими скотопромышленниками горячий спор. Торговцы отстаивали свою точку зрения в судебном деле, которое вел один из них. Он торговал скотом в Марке, хотя патент у него был взят только для Берлина. Один из конкурентов встретил его в какой-то деревне и донес на него жандарму. Но тут оба скотопромышленника, ведшие дело сообща, придумали тонкий ход: обвиняемый должен заявить в суде, что лишь сопровождал товарища и делал все по его поручению.

«Платить мы не будем, — горячились оба скотопромышленника. — Мы согласны принять присягу. В суде мы покажем под присягой. Он заявит, что только сопровождал меня, а так бывало уже не раз, и на этом мы примем присягу, и дело с концом».

Тогда Мекк вышел из себя, схватил обоих скотопромышленников за грудки и крикнул: «А что я говорил? Вы же сумасшедшие, вам место в желтом доме. Вы еще будете присягать в таком идиотском деле, на радость тому негодяю, чтоб он окончательно угробил вас? Об этом надо бы написать в газетах, что суд допускает такие вещи, это непорядок, господа в моноклях. Но теперь судить будем мы».

А второй скотопромышленник стоит на своем: «Я же приму присягу, не так ли? Ну, так в чем же дело? Неужели же нам платить, да за три инстанции, а он, мерзавец, будет торжествовать? Этакая скотина завистливая. Нет, брат, у меня он вылетит в трубу!»

Мекк хлопнул себя кулаком по лбу: «Немецкий Михель⁴⁵, тебе место в той самой грязи, в которой ты лежишь».

Они расстались со скотопромышленниками, Франц взял Мекка под руку, и они медленно пошли одни по Брунненштрассе. Мекк грозился вслед скотопромышленникам: «Эдакие бандиты! Такие-то и губят нас. Весь народ, всех нас они губят». — «Ну, что ты говоришь, Готлиб?» — «Сопляки они, вместо того чтобы показать суду кулак, вот сопляки — весь народ, торговцы, рабочие, все без исключения».

Внезапно Мекк остановился и загородил Францу дорогу: «Послушай, Франц, нам надо с тобой поговорить. Иначе я не могу допустить, чтоб ты меня провожал. Ни в коем случае». — «Что ж, валяй». — «Франц, мне необходимо знать, кто ты такой. Взгляни мне в лицо. Скажи мне вот тут, на этом месте, честно и прямо, ведь ты же испытал все это там, в Тегеле, и ты знаешь, что такое право и справедливость. В таком случае право должно остаться правом». — «Это верно, Готлиб». — «Тогда, Франц, скажи, положи руку на сердце: что с тобой там сделали?» — «Можешь успокоиться. Можешь мне поверить: если человек бодлив, то рога ему живо пообломают. Ну, а у нас читали

книги, учились стенографии, играли в шахматы, я тоже». — «Значит, в шахматы ты тоже научился?» — «В скат⁴⁶ мы с тобой еще поиграем, Готлиб. Так вот, сидишь это, сидишь, умишка-то для размышлений не хватает, потому что у нас, перевозчиков мебели, больше насчет мускулов да широкой кости, а все-таки в один прекрасный день возьмешь да и скажешь себе: черт подери, не якшайся ты с этими людьми, иди ты своим путем. Подальше от таких людей! Знал я одного коммуниста, так он толще чем я был, в девятнадцатом, дрался вместе с нами на баррикадах в Берлине⁴⁷. Тогда его не заловили, так он после этого ума набрался, познакомился с одной вдовой и стал работать у нее в магазине. Пронырливый парнишка, понимаешь». — «А как же он к вам попал-то?» — «Да пыгался проверить какие-то свои делишки. Ну, скажи сам, Готлиб, какое нашему брату дело до судов, до полиции, до политики? Мы там всегда стояли друг за дружку, и если кто пыгался кляузничать, то его накрывали втемную. Но все-таки лучше не иметь дела с другими. Это — самоубийство. Пусть они себе, как хотят. А ты оставайся порядочным и сам по себе. Вот мое правило».

«Вот как? — сказал Мекк, холодно взглянув на него. — Значит, по-твоему, остальные пусть убираются к черту? Ну и тряпка ты, ведь от этого мы все погибнем». — «Пусть убирается к черту, кто хочет. Это не наше дело». — «Франц, ты старая, мокрая тряпка, и меня не переубедишь. И тебе еще придется поплатиться за это, Франц».

Франц Биберкопф гуляет по Инвалиденштрассе, с ним его новая подруга, полька Лина. На углу Шоссенштрассе, в воротах, продаются газеты. Там стоят люди, болтают между собой.

«Внимание, здесь останавливаться не разрешается». — «Неужели нельзя уж и картинки посмотреть?» — «Если вам нужно, то купите. А проход зря не загоразивайте». — «Болван!»

Из железнодорожного проспекта. Когда у нас на нашем холодном севере наступает неприятная погода, какая обычно бывает в период между сверкающими снегом зимними днями и первой весенней травкой, нас неудержимо влечет — этому влечению более тысячи лет! — на солнечный юг, по ту сторону Альп, в Италию. Кто настолько счастлив, что может последовать этому влечению⁴⁸. «Да вы напрасно расстраиваетесь. Вы только обратите внимание, как люди одичали: вот, например, какой-то субъект напал на одну барышню в вагоне городской железной дороги и избил ее до полусмерти из-за паршивых пятидесяти марок». — «За пятьдесят марок и я это сделал бы». — «Что?» — «А вы знаете, что такое пятьдесят марок? Нет, вы не знаете, что такое пятьдесят марок. Это — уйма денег для нашего брата, целая уйма, понимаете? То-то же! Вот когда вы будете знать, что такое пятьдесят марок, я буду с вами дальше разговаривать».

Фаталистская речь рейхсканцлера Маркса:⁴⁹ То, что должно наступить, находится, согласно моим воззрениям, в руках Господа Бога, который каждому народу предначертал его судьбу. Поэтому все дела людей остаются несовершенными. Мы можем лишь посильно и неустанно работать согласно нашим убеждениям, и потому я буду верой и правдой служить своему делу на том посту, который ныне занимаю. Позвольте, господа, закончить мою речь наилучшими пожеланиями успеха в вашей трудной и требующей больших жертв работе на благо нашей прекрасной Баварии. Желаю вам счастья в ваших дальнейших стремлениях. Живи так, как ты бы того хотел, умирая, приятного аппетита⁵⁰.

«Ну что, все прочитали, господин хороший?» — «В чем дело?» — «Может быть, придвинуть вам газетку поближе? У меня был тут как-то один господин, так я ему подал стул, чтоб было удобнее читать». — «А вы выставляете свои картинки только для того, чтобы они...» — «Это мое дело, для чего я выставляю свои картинки. Ведь не вы мое место оплачиваете. А таких любителей дармовщинки, которые норовят прочитать газету, не заплатив денег, мне тут совершенно не нужно; они только настоящих клиентов отпугивают».

Любитель дармовщинки отчаливает, пусть-ка он лучше сапоги себе почистит, спит вероятно, в ночлежке на Фребельштрассе⁵¹, садится в трамвай. Не иначе как ездит по фальшивому билету или по использованному: такой-то все перепробует. А если его накроют, будет уверять, что потерял настоящий. Ох уж эта мне шантрапа, вот извольте — опять двое. Придется, видно, сделать решетку. Ну, пора завтракать.

Франц Биберкопф подошел, в котелке, под руку с пухленькой полькой Линой. «Лина, глаза направо, прямо в ворота. Погода не для безработных. Давай посмотрим картинки. Эх, хороши картинки, но только уж больно сквозит в воротах-то. Скажи-ка, коллега, как у тебя дела? Здесь можно насмерть замерзнуть». — «Да ведь здесь и не место греться». — «А тебе, Лина, хотелось бы стоять за такой штукой?» — «Пойдем, пойдем, этот тип так погано ухмыляется». — «Фрейлейн, я только хотел бы заметить, что многим бы понравилось, если б вы вот так стояли в воротах и торговали газетами, так сказать, из нежных дамских ручек».

Порыв ветра, газеты треплются под зажимами. «Ты бы, коллега, приделал хоть зонтик снаружи-то». — «Это чтобы никто ничего не видел?» — «Ну, тогда вставь стекло в раме». — «Да пойдем же, Франц». — «Подожди минуточку. Вот человек стоит тут часами, да не валится от ветра. Нельзя быть такой неженкой, Лина». — «Я не из-за того, а потому, что он так паршиво ухмыляется». — «Это у меня такое уж лицо, фрейлейн. Ничего не поделаешь». — «Слышишь, Лина, он всегда ухмыляется, бедняга».

Франц сдвинул котелок на затылок, взглянул газетчику в лицо и расхохотался, не выпуская Линоной руки из своей. «Он тут ничего не может поделать,

Лина. Это у него от рождения. Знаешь, коллега, какое лицо ты делаешь, когда ухмыляешься? Нет, не так, как сейчас, а как давеча. Знаешь, Лина? Такое, как если бы он сосал материнскую грудь, а молоко-то вдруг возьми да скисни». — «Ко мне это не подходит. Меня вскормили на рожке». — «Все-то вы врете». — «Нет, ты скажи мне, коллега, сколько можно заработать на таком деле?» — «Вам “Роте фане”⁵²? Благодарю вас. Дай пройти человеку, коллега. Посторонись, зашибут». — «А тут у тебя народу целая толпа, коллега».

Лина потащила его за собой. Они не спеша отправились по Шоссепграссе⁵³ к Ораниенбургским воротам⁵⁴. «Знаешь, это было бы дело для меня, — сказал Франц. — Я не так-то легко простужаюсь. Только вот это несчастное выживание в воротах».

Два дня спустя потеплело; Франц продал свое пальто и носит теперь теплое нательное белье, которое каким-то образом заваялось у Лины, стоит на Розенталерплац перед Фабиш и К^о⁵⁵, лучшее мужское платье, готовое и на заказ, аккуратная работа и умеренные цены — отличительные качества нашей продукции. Франц во весь голос хвалит держатели для галстуков:

— Почему, однако, модники из шикарных кварталов носят бантики, а пролетарий не носит? Пожалуйста ближе, господа, еще ближе. Вы, барышня, тоже, вместе с вашим супругом; подросткам вход не возбраняется, плата с них не выше, чем со взрослых. Итак, почему пролетарий не носит бантиков? Да потому, что он не умеет их завязывать. Ему приходится покупать к ним держатель, а когда он его купил, держатель оказывается негодным, и бантика все равно не завязать. Это — мошенничество, оно ожесточает народ и погружает Германию в еще большую нужду, чем та, в которой она уже находится. Почему, например, не носят этих больших держателей для галстуков? Потому что никому не охота навязывать себе на шею мусорные лопаты. Этого не захочет ни мужчина, ни женщина, ни даже грудной ребенок, если б он умел ответить. И вовсе не надо над этим смеяться, господа, не смейтесь, потому что мы не знаем, что происходит в этом милом маленьком детском мозгу. Ах, боже мой, эта милая головка, такая маленькая головка с волосиками, не правда ли, прелесть, но платить алименты. И опять же нечего смеяться, алименты хоть кого изведут. Так вот, купите себе такой галстук у Тица или Вертгейма или если не хотите покупать у евреев, то в каком-нибудь другом месте. Вот я, например, ариец, — он приподымает котелок — русые волосы, красные оттопыренные уши, веселые бычьи глаза⁵⁶. Большие универмаги не нуждаются, чтоб я рекламировал их, они и без меня проживут. А вы купите себе такой галстук, как вот тут у меня, а потом мы с вами сообразим, как вы его будете по утрам завязывать.

Господа, у кого в настоящий момент есть время завязывать себе по утрам галстук и кто не захочет лучше поспать еще лишнюю минуточку? Всем нам

нужно побольше сна, потому что мы должны много работать и мало зарабатывать. Такой вот держатель для галстука способствует вашему сну. Он успешно конкурирует с аптеками, потому что, кто купит такой держатель для галстука, как у меня в руке, тому не нужно ни сонных порошков, ни выпивки на ночь, и ничего подобного. Он спит без убаюкивания, как младенец у материнской груди, потому что знает: завтра не надо торопиться, все, что ему требуется, лежит в готовом виде на комодке, и остается только сунуть его в воротничок. Вот вы тратите деньги на всякую дрянь. Например, в прошлом году вы видели этих жуликов в Крокодиле⁵⁷, впереди можно было получить горячие сосиски, а сзади лежал в стеклянном гробу Жолли⁵⁸, небритый, как будто вокруг рта у него выросла кислая капуста. Это каждый из вас видел, — подойдите поближе, чтоб мне так не напрягать голос, он у меня ведь не застрахован, я не внес еще первого взноса! — так вот, как Жолли лежал в стеклянном гробу, это вы все, небось, видели. А как ему потихоньку совали туда шоколад — это вы не видели. Здесь у меня вы получите добротный товар, это не целлулоид, а вальцованная резина, штука — двадцать пфеннигов, три штуки — пятьдесят.

Сойдите с мостовой, молодой человек, а то еще раздавит автомобиль, и кому ж тогда после вас мокренькое подтирать. Я вам сейчас объясню, как завязывать галстук. Ведь не придется же вбивать вам это в голову кувалдой⁵⁹. Вы сами сразу поймете. Ну вот: с одной стороны вы забираете от тридцати до тридцати пяти сантиметров, а потом складываете галстук, но только не таким манером. Это выглядело бы, будто к стене прилип раздавленный клоп, вроде как обойный клещ, элегантный человек таких галстуков не носит. Затем вы берете мой аппарат. Надо экономить время. Время — деньги. Романтика сошла на нет и никогда не вернется, с этим мы все должны теперь считаться. Не можете же вы каждый день медленно обматывать вокруг шеи эдакую кишку, вам нужна готовая элегантная вещь. Взгляните сюда, это ваш подарок себе на Рождество, это в вашем вкусе, это для вашего же блага. И если по плану Дауэса⁶⁰ вам еще что-нибудь оставлено, то это — ваша голова под котелком, и она должна сказать вам, что эта вещь для вас подходяща, что вы ее покупаете и несете домой, и что она утешит вас в ваших горестях.

Господа, мы нуждаемся в утешении, все, сколько нас тут есть, и если мы глупы, то ищем его в кабаке. Но кто благоразумен, тот таких глупостей не делает, хотя бы уже ради собственного кармана, потому что трактирщики отпускают нынче такую скверную водку, что чертям тошно, а хорошая очень дорога. Поэтому возьмите этот аппарат, пропустите вот здесь узкую тесьму, хотя можете взять и пошире, какую носят педерасты на башмаках, когда выходят марьяжить. Вот здесь вы ее пропускаете, а потом беретесь за этот конец. Настоящий германец покупает только доброкачественный товар, а этот здесь — самого первого сорта.

Лина задает ходу гомосексуалистам

Но это Франца Биберкопфа не удовлетворяет. Он запускает глазенапы во все стороны. Наблюдает вместе с добродушной распустехой Линой за уличной жизнью между Алексом и Розенталерплац и решает торговать газетами. Почему? Да потому, что ему нахвалили это дело, и Лина может ему помогать. Как раз подходящее занятие для него. Раз сюда, раз туда, раз кругом, в том нет труда⁶¹.

«Лина, я не умею говорить, я не народный оратор. Когда я выкрикиваю товар, меня понимают, но это не то, что надо. Ты знаешь, что такое ум?» — «Нет», — отвечает Лина и глупо таращит на него глаза. «Ну так вот, взгляни на этих молодчиков на Алексе или здесь, у них ни у кого нет ума. Вот и те, у кого ларьки или которые ездят с тележками, тоже не то. Они хитрые, продувные ребята, отчаянные, мне ли не знать. Но представь себе такого оратора в рейхстаге, Бисмарка или Бебеля⁶², — теперешние-то ничего не стоят, вот у тех ум, да. Ум — это голова, а не просто башка. А эти, которые с размягченными мозгами, хорошего слова от меня не дождутся. Оратор, так оратор». — «Да ведь ты же и сам, Франц, оратор». — «Да уж мне ли не знать. Какой же я оратор? А знаешь, кто был оратором? Вот не поверишь: твоя хозяйка». — «Швенкша?» — «Нет, зачем. Прежняя, от которой я твои вещи принес, на Карлштрассе»⁶³. — «Ах, та, что возле цирка. Про ту ты мне не напоминай».

Франц таинственно наклоняется вперед: «Это, Лина, была ораторша — что надо». — «Вот уж нет. Пришла, понимаешь, ко мне в комнату, когда я еще лежала в постели, и тащит у меня мой чемодан — из-за того, что я ей за один месяц не заплатила». — «Хорошо, Лина, я согласен, это было некрасиво с ее стороны. Но когда я пришел к ней и спросил, как было дело с чемоданом, она к-а-ак пошла чесать». — «Знаю, знаю я ее чепуху. Мне даже слышать не надо было. А ты уж и уши развесил, Франц». — «Ка-ак пошла она, говорю, чесать! Про параграфы гражданского кодекса, да про то, как она добилась пенсии после своего старика, хотя этот ирод умер от апоплексического удара, что не имеет ничего общего с войной. Потому что с каких же это пор апоплексический удар имеет что-нибудь общее с войной! Это она и сама говорит. И все же добилась, настояла на своем. Вот у нее есть ум, толстуха ты моя. Что захочет, то и сделает. Это тебе побольше, чем заработать пару грошей. Тут можно себя показать, что ты за человек. Тут можно развернуться. Знаешь, я все еще не очухался». — «А что, ты все еще к ней ходишь?» Франц замахал обеими руками: «Лина, сходи-ка ты разок сама. А то хочешь взять чемодан, придешь ровно в одиннадцать, потому что в двенадцать есть еще другое дело, а в три четверти первого все еще торчишь у нее. Она говорит, говорит, а чемодана так и не дает, и в конце концов уходишь без него».

Он задумывается, разводя пальцем узоры в лужице пролитого пива: «Знаешь, я наведуось куда следует и начну торговать газетами. Это хорошее дело».

Она не находит ответа, она слегка обижена. Франц делает, что задумал. В одно прекрасное утро он стоит на Розенгалерплац, она приносит ему бутерброды; в двенадцать часов он шабашит, поспешно сует ей в руки свой короб и отправляется узнать, не выйдет ли у него чего-нибудь по газетной части.

И вот, сначала какой-то седовласый мужчина возле Гакеского рынка⁶⁴ на Ораниенбургерштрассе рекомендует ему заняться сексуальным просвещением. Оно, говорит, производится теперь в широком масштабе, и дело идет довольно хорошо. «А что это такое — сексуальное просвещение?» — спрашивает Франц, и что-то ему не очень хочется. Седовласый показывает на свою вывеску: «Вот, взгляни, тогда не будешь спрашивать». — «Так это ж голые девочки нарисованы». — «Других у меня нет». Молча дымят друг подле друга папиросами. Франц стоит, пялит на картинку глаза, пускает дым в сторону, седовласый смотрит мимо, как будто никого и нет. Наконец Франц переводит взор на него: «Скажи-ка, приятель, неужели это доставляет тебе удовольствие, вот эти девочки и вообще такие картинки? Смеющаяся жизнь⁶⁵. Нарисовали голую девочку с кошечкой. А что ей делать с кошечкой на лестнице? Подозрительная штука. Я тебе не мешаю?» А тот покорно вздыхает на своем складном стуле и сокрушается: ведь есть же на свете такие ослы, этакие долговязые, что твой верблюд, бегают средь бела дня по Гакескому рынку, да еще останавливаются перед людьми, которым не везет, и городят чепуху. И так как седовласый не ответил, Франц снял со щитка несколько журнальчиков: «Можно? Как это называется? Фигаро?⁶⁶ А это? Брак?⁶⁷ А это Идеальный брак?⁶⁸ Это, значит, не то, что просто брак? Женская любовь⁶⁹. И все это можно иметь в отдельности. Тут можно получить массу полезных сведений. Конечно, если есть достаточно денег, потому что все это здорово дорого. И, наверно, не без какой-нибудь заковыки». — «Позвольте, какая тут может быть заковыка? Тут все дозволено. Ничего нет запрещенного. На все, что я продаю, есть разрешение, и никакой заковыки. Такими вещами я не занимаюсь». — «Могу тебя заверить и всегда скажу, что смотреть такие картинки — не очень-то годится. Об этом я бы мог тебе кой-что порассказать. Это портит человека, да, да, портит. Начинается с разглядывания картинок, а потом, когда доходит до дела, то стоит человек чурбан чурбаном, и ничего у него больше естественным путем не выходит». — «Не понимаю, о чем ты говоришь. И, пожалуйста, не брызжи слюной на мои журнальчики, потому что они денег стоят, и не трепли обложки. Вот, прочитай-ка: Не состоящие в браке⁷⁰. Все у меня есть, даже особый журнальчик для них». — «Не состоящие в браке, а неужели же нет таких? Да вот и я сам не женат на польке

Лине». — «То-то же. А вот погляди, что тут написано, верно ли оно, к примеру: Попытка регулировать путем договора половую жизнь обоих супругов и декретировать соответствующие супружеские обязанности, как то предписывает закон, означает отвратительнейшее и недостойнейшее рабство, какое только можно себе представить⁷¹. Ну, что скажешь?» — «Как что?» — «Да правильно ли это или нет?» — «Со мной такого не бывает. Женщина, которая потребовала бы такую вещь. Нет, неужели ж это возможно? Неужто такое случается?» — «Можешь сам прочесть». — «Это уж слишком того. Попадись мне такая, я бы».

Франц в смущении перечитывает фразу, а затем подсакивает и показывает седовласому одно место: «Ну, вот это: Я приведу пример из романа д'Аннунцио, *Сладострастие*⁷², обрати внимание, эту архисвињу зовут д'Аннунцио; это испанец или итальянец или американец. Тут все помыслы мужчины настолько проникнуты далекой возлюбленной, что в ночь любви с женщиной, которая служит ему заменой для той, у него против воли вырывается имя настоящей возлюбленной. Черт знает, что такое! Нет, приятель дорогой, от такой игры я отказываюсь». — «Во-первых, где это написано? Покажи-ка». — «А вот: служит заменой. Это вроде того, как каучук вместо резины. Брюква вместо настоящей еды. Ты когда-нибудь слышал, чтоб женщина или девушка служили заменой? Мужчина берет себе другую, потому что его постоянной у него нет под рукой, а новая это замечает, и дело с концом, и уже женщина и пикнуть не смей? И такую чушь он, испанец, дает печатать? Да будь я на месте наборщика, я бы не стал набирать». — «Ну, ну, ври, да знай меру, добрый человек. Не воображай, что ты со своим умишком, к тому же еще здесь, в сутолоке на Гакеском рынке, можешь понять, что хотел сказать настоящий писатель, да еще испанец или итальянец».

Франц читает дальше: «Великая пустота и молчание наполнили после этого ее душу⁷³. Это ж прямо курам на смех! Пусть-ка мне это кто-нибудь растолкует, кто бы то ни был. С каких это пор — пустота и молчание? В этом я кое-что смыслю, не хуже его, а женщины в его стране тоже, поди, не из другого теста, чем у нас. Вот у меня была одна, так та заподозрила раз что-то неладное — нашла у меня один адрес в записной книжке, так что ж ты думаешь: она заметила и смолчала? Плохо ты знаешь женщин, дорогой мой, если ты так думаешь. Вот бы ты ее послушал. По всему дому стон и гул стоял — до чего она орала. А я никак не мог ей даже объяснить, в чем дело. Она голосит себе да голосит, словно ее режут. Сбежались люди. Уж я рад был, когда оттуда выбрался». — «Послушай, любезный, а ты двух вещей совсем как будто и не замечаешь». — «А именно?» — «Когда у меня берут журнал или газету, мне за нее платят деньги. А если там написана чепуха, то это не беда, потому что читателя в сущности интересуют картинки». Левый глаз Франца Биберкопфа отнесся к этому объяснению весьма неодобрительно. «Женская любовь и Дружба⁷⁴, — продолжал седовласый, — эти не пустословят, а ведут борьбу. Да,

за права человека». — «Чего же им не хватает?» — «Параграф 175⁷⁵ знаешь или нет?» Оказалось, что как раз в этот день состоится доклад в Александрпаласе на Ландсбергерштрассе⁷⁶, где Франц мог бы кое-что услышать о несправедливостях, которым ежедневно подвергаются в Германии сотни тысяч людей и от которых у него волосы встали бы дыбом. Седовласый сунул ему под мышку пачку залежавшихся журналов; Франц вздохнул, взглянул на эту пачку и обещал зайти еще раз. Собственно — думает он, — что мне тут делать? Стоит ли заходить еще раз? Будет ли прок от таких журналов? Надавал мне человек этакую кучу, и изволь-ка тащить ее домой и читать. Ишь ведь, гомосексуалисты, он мне про них журналов только и надавал. Конечно, жаль парнишек, но, в сущности, какое мне до них дело?

Вернулся он восвояси в большом смущении; дело казалось ему настолько нечистым, что он ни слова не сказал о нем Лине, а вечером улизнул от нее тайком. Седовласый газетчик втиснул его в маленький зал, где сидели почти исключительно одни мужчины, большей частью очень молодые, и несколько женщин, но также парочками. Франц целый час не промолвил ни слова, но то и дело прыскал со смеху в шляпу. После десяти часов он не мог больше выдерживать; его подмывало уйти, дело и людишки были чересчур смешные, так много этой братвы гомосексуалистов в одном месте, и он тут же, — Франц пулей вылетел вон, смеялся до самого Алекса. Последнее, что он слышал, был доклад о положении в Хемнице, где, согласно административному распоряжению от 27 ноября, гомосексуалистам запрещается выходить на улицу⁷⁷ и пользоваться общественными уборными, если их застигнут на месте преступления, то с них штраф тридцать марок. Франц стал искать Лину, но та куда-то ушла со своей хозяйкой. Тогда он завалился спать. Во сне он много смеялся и ругался и дрался с каким-то идиотом шофером, который без конца кружил его вокруг фонтана Роланда на Зигесаллее⁷⁸. Постовой шупо уже гнался за машиной. Тогда Франц, в конце концов, выскочил из автомобиля, и машина бешено завертелась и закружилась вокруг фонтана. Это продолжалось без конца, не переставая, а Франц все стоял с шупо и обсуждал с ним, что делать с шофером, который, видно, сошел с ума.

На следующий день, в обеденное время, Франц, как всегда, поджидает Лину в кабачке. При нем — полученная от седовласого пачка журналов. Он жаждет рассказать Лине, сколько приходится страдать таким людям, про Хемниц и про параграф с 30 марками штрафа, хотя это его совершенно не касается, и пусть они себе как хотят, а то, пожалуй, еще и Мекк придет и заставит его что-нибудь сделать для скотопромышленников. Ну нет, извините, оставьте Франца в покое, плевать он на них хотел.

Лиана сразу замечает, что он плохо спал. Потом он робко подсовывает ей журнальчики, иллюстрациями наружу. Лиана с перепугу закрывает рот рукой. Тогда Франц снова заводит речь об уме. Ищет вчерашнюю лужицу пива на столике, но лужицы нет. Лиана отодвигается от него подальше: уж не произо-

шло ли с ним что-нибудь в таком роде, как пишут вот здесь в журналах. Она ничего не понимает — ведь до сих пор он не был таким. Он что-то мямлит и рисует сухим пальцем узоры на белой доске, тогда Лина берет всю эту пачку со стола, швыряет ее на скамейку и встает, как разъяренная менада⁷⁹, они смотрят в упор друг на друга, он — снизу вверх, как ребенок, и она отчаливает. А он остается сидеть со своими журналами и может на досуге размышлять о гомосексуалистах.

Однажды вечером некий лысый господин выходит прогуляться, встречается в Тиргартене красивого мальчика, который сразу берет его под руку, гуляют они этак с часок, и вдруг лысый господин испытывает желание, о, влечение, о, страстную потребность вот сейчас же горячо, бурно приласкать этого мальчика. Лысый господин это уже не раз замечал за собой, он женат, но в данную минуту все — трин-трава, отлично. «Ты — мое солнышко, ты — мое золотко»⁸⁰.

А мальчик такой покладистый. Бывают же такие на свете! «Пойдем, — говорит, — в какую-нибудь маленькую гостиницу. И ты подаришь мне марок пять или десять, а то я совсем прогорел». — «Все, что твоей душе угодно, солнышко мое». И дарит ему весь бумажник. Бывают же такие на свете! Вот это — самая прелесть и есть.

Но в номере проделан в двери глазок. Хозяин что-то увидал и позвал хозяйку, та тоже что-то увидала. И вот они заявляют, что не потерпят у себя в гостинице что-либо подобное, что они видели то-то и то-то, и лысый господин не может это оспаривать. И что они этого дела так не оставят, а ему должно быть даже довольно стыдно совращать подростков, и что они подадут на него куда следует. Появляются еще откуда-то и портье и горничная, скалят зубы. На следующий день лысый господин покупает две бутылки коньяка марки Асбах⁸¹, высшего качества, самого выдержанного, едет будто бы по делам, а сам собирается на Гельголанд⁸², чтобы там в пьяном виде утопиться. Он в самом деле едет на пароходе и напивается пьяным, но через двое суток возвращается к своей старухе, где ничего как будто не произошло.

Да и вообще как будто ничего не происходит целый месяц и даже целый год. Впрочем, нет — происходит — вот что: лысый господин наследует после одного своего американского дядюшки 3000 долларов и может теперь себе кое-что позволить. И вот в один прекрасный день, когда он уехал на курорт, его старухе приходится расписаться за него на повестке в суд. Она ее вскрывает, и там все прописано: и про глазок в двери, и про бумажник, и про милого мальчика. И, когда лысый господин возвращается после поправки с курорта, все вокруг него плачут-разливаются: старуха да две взрослые дочери. Ну, он читает повестку, это ж не может быть, это ж бюрократизм, который повелся еще от Карла Великого⁸³, а теперь добрался и до него. Что ж, все правиль-

но, ничего не скажешь. И вот на суде: «Господин судья, что я такое содеял? Я же не оскорбил общественной нравственности. Я ведь снял номер в гостинице и заперся там. Чем же я виноват, что в двери был проделан глазок? А чего-либо уголовно наказуемого я не совершал». Мальчик это подтверждает. «Так в чем же моя вина? — плачет лысый господин в шубе. — Разве я украл? Или совершил взлом? Я только похитил сердце дорогого мне человека. Я сказал ему: Ты мое солнышко. И так оно и было».

Его оправдали. Домашним от этого не легче.

Дансинг-палас «Волшебная флейта»⁸⁴ с американским дансингом в нижнем этаже. Казино в восточном стиле сдается для закрытых празднеств. Что мне подарить моей подруге на Рождество? Трансвеститы, после многолетних опытов мне удалось, наконец, найти радикальное средство от прорастания бороды и усов. Волосы могут быть уничтожены на любой части тела. Одновременно я открыл способ добиться в кратчайший срок развития настоящей женской груди. Никаких медикаментов, абсолютно верное, безвредное средство. Доказательство: я сам. Свобода любви на всем фронте...⁸⁵

Ясное звездное небо глядело на темные жилища людей⁸⁶. Замок Керкауен покоился в глубоком сне. И только одна белокурая женщина тщетно зарывалась головой в подушки, не находя забвения. Завтра, да, завтра собиралось покинуть ее существо, которое было ей дороже всех на свете. В темной, непроглядной, беспросветной ночи слышался (проносился) шепот: «Гиза, останься со мной, останься со мной (не уходи, не уезжай, не упади, пожалуйста, присядьте). Не покидай меня». Но у безотрадной тишины не было ни ушей, ни сердца (ни ног, ни носа). А недалеко, отделенная лишь несколькими стенами, лежала бледная, стройная женщина с широко раскрытыми глазами. Ее черные густые волосы в беспорядке разметались по шелковому ложу (замок Керкауен славится своими шелковыми постелями). Она тряслась, как в ознобе. Зубы стучали, как от сильного холода, точка. Но она не шевелилась, запятая, не натягивала на себя плотнее одеяло, точка. Неподвижно лежали на нем ее гибкие, окоченевшие руки (похолодевшие, как в ознобе, стройная женщина с широко раскрытыми глазами, знаменитые шелковые постели), точка. Ее блестящие глаза лихорадочно блуждали в темноте, и губы ее трепетали: двоеточие, кавычки, Лора, тире, тире, Лора, тире, кавычки, малюсенькие гусиные ножки⁸⁷, гусиные лапки, гусиная печенка с луком.

«Нет, нет, я с тобой больше не гуляю, Франц. У меня тебе полная отставка. Можешь выметаться». — «Брось, Лина. Я ж отдам ему его пакость обратно». А когда Франц снял шляпу, положил ее на комод — дело происходило в Лининой комнатке — и довольно убедительно облапил свою подругу, она сперва оцарапала ему руку, потом расплакалась и наконец отправилась с ним вместе. Каждый из них взял себе по полпачки вышеупомянутых журнальчиков и

двинулся на боевой участок⁸⁸ по линии Розенталерштрассе, Нойе-Шенгаузерштрассе, Гакеский рынок.

В районе боевых действий Лина, эта миленькая, маленькая, неумытая и заплаканная толстушка, предприняла самостоятельную диверсию а-ля принц Гомбургский:⁸⁹ Мой благородный дядюшка Фридрих Маркский! Наталья! Оставь, оставь! О Боже милостивый, ведь он теперь погиб, но все равно, все равно⁹⁰. Она во весь опор прямехонько ринулась на киоск седовласого. Тогда Франц Биберкопф, благородный страдалец, сдержал свой пыл и остался в резерве. Он стоял на фоне табачного магазина Шрёдера⁹¹, импорт и экспорт, наблюдая оттуда исход завязавшихся боевых действий, причем ему лишь слегка мешали туман, трамваи и прохожие. Герои, говоря образно, сплелись в жаркой схватке. Они нащупывали друг у друга слабые, незащищенные места. С размаха шваркнула своему противнику фрейлейн Лина Пшибала из Черновиц⁹², единственная законная — после двух пятимесячных выкидышей, которых тоже предполагалось окрестить Линами, — дочь земледельца Станислава Пшибалы, пачку журналов. Дальнейшее затерялось в шуме и грохоте уличного движения. «Ишь стерва! Ишь стерва!» — с восхищением простонал радостно потрясенный страдалец Франц, приближаясь в качестве армейского резерва к центру боевых действий. И вот уже перед кабачком Эрнста Кюмерлиха⁹³ встретила его со смехом героиня и победительница фрейлейн Лина Пшибала, распустеха, но очаровательная, и испустила торжествующий крик: «Франц, ему здорово попало!»

Францу это было уже известно. В кабачке она с места в карьер прикинула к тому месту его тела, где по ее предположению находилось сердце, но которое определялось под шерстяной фуфайкой скорее как ключица или верхняя доля левого легкого. Она торжествовала, когда влила в себя первую рюмку гильки⁹⁴, и провозгласила: «А свою пакость он теперь может подобрать на улице».

А теперь, о бессмертие, ты всецело принадлежишь мне, дорогой мой, какое сияние разливается вокруг, слава, слава принцу Гомбургскому, победителю в битве при Фербеллине, слава! (На террасе перед дворцом появляются придворные дамы, офицеры и факелы.)⁹⁵ «Еще рюмку гильки!»

*Хазенхейде, «Новый мир», не одно, так другое,
и не надо делать себе жизнь тяжелее,
чем она есть*

Франц сидит в комнатке у фрейлейн Лины Пшибалы, смеется, шутит, заигрывает. «Знаешь, Лина, что такое лежалый товар?» Он пихает ее в бок. Лина зевает: «Ну, вон Фёльш, подружка моя из магазина грампластинок, все

говорит, что у них одно старье, лежалый товар». — «Да не, я не про то. Вот когда мы с тобой на диване лежим вместе, рядышком, вот тогда ты лежалый товар, ну и я тоже лежалый товар». — «Ишь выдумал!» Лина повизгивает.

Так будем же вновь веселиться, друзья⁹⁶, валле ралле ралле ля-ля-ля, будем веселиться, смеяться, траля-ля. Так будем же вновь веселиться, друзья, вновь веселиться, смеяться, ля-ля.

А потом они поднимаются с дивана, — вы не больны, милсдарь? А то сходите к доктору, — и весело отправляются на Хазенхейде, в Новый мир⁹⁷, где пир горой, где пускают фейерверки и где выдают призы за самые стройные женские ножки. Музыканты сидели на эстраде в тирольских костюмах и увлекательно наигрывали: «Пей, братец мой, пей, дома заботы оставь, горе забудь и тоску ты рассей, станет вся жизнь веселей»⁹⁸.

Музыка так и звала пуститься в пляс, с каждым тактом все больше и больше, и публика, улыбаясь из-за кружек пива, размахивала в такт руками и подпевала: «Пей, братец мой, пей, дома заботы оставь, горе забудь и тоску ты рассей, станет вся жизнь веселей, станет вся жизнь веселей».

Чарли Чаплин присутствовал там собственной персоной, сюсюкал на северо-восточном немецком диалекте, ковылял в своих широченных брюках и непомерно больших ботинках наверху на балюстраде, поймал какую-то не слишком молодую дамочку за ногу и вихрем скатился с ней с горки для катанья. Многочисленные семьи кляксами расположились за столиками. Вы можете за 50 пфеннигов купить длинную палку с бумажной метелкой на конце и при помощи ее установить любой контакт, шея весьма чувствительна, колено тоже, затем вы подымаете ногу и оборачиваетесь⁹⁹. Кого-кого тут только нет! Штатские обоего пола и горсточка рейхсверовцев¹⁰⁰ со своими дамами. Пей, братец мой, пей, горе, тоску рассей.

Курыт вовсю, в воздухе облака дыма от трубок, сигар, папирос, так что в огромном помещении стоит сизый туман. Дым, когда ему становится невмоготу, пыгается улетучиться, благодаря своей легкости, куда-нибудь кверху, и действительно, находит щели, дыры и вентиляторы, готовые пропустить его. Но там, на улице, тьма, холод. И вот дым начинает жалеть, что он такой легкий, он противится своей конституции, но ничего уж больше не поделает из-за одностороннего вращения вентиляторов. Слишком поздно! Дым видит себя окруженным физическими законами. Он не понимает, что с ним такое, хватается за голову, но ее нет, хочет подумать, но не может. Его подхватывают ветер, холод, тьма — только его и видели¹⁰¹.

За одним из столиков сидят две парочки и глядят на проходящих. Кавалер в сером, перец с солью, kostюме склоняет усатое лицо над пышным бюстом полной брюнетки. Их сладостные сердца трепещут, носы втягивают воздух; его нос — над ее бюстом, ее — над его напوماженным затылком.

Рядом хохочет особа в желтом клетчатом. Ее кавалер кладет руку на спинку ее стула. У этой особы выдающиеся вперед зубы, монокль, левый глаз как бы потухший, она улыбается, курит, трясет головой: «Какие ты вещи спрашиваешь!» За соседним столиком сидит или, говоря точнее, прикрывает своей сильно развитой, но скрытой платьем задней частью железное сиденье низкого садового стула молоденькая, совсем птенец, блондинка со светлыми волнами прически. Она говорит слегка в нос и блаженно подпевает музыке, разомлев от бифштекса и трех бокалов пильзенского¹⁰². Она болтает, болтает без умолку и кладет головку на его плечо, плечо второго доверенного одной нойкельнской фирмы, для которого сей птенец является в этом году уже четвертым по счету альянсом, в то время как он сам для нее десятым или даже одиннадцатым, если считать троюродного брата, ее постоянного жениха. Она широко раскрывает глаза, потому что сверху каждую минуту может сорваться и упасть Чаплин. Ее партнер хватается обеими руками за горку для каганья, где тоже что-то случилось. Они заказывают соленые сушки.

Господин 36 лет, совладелец небольшого продуктового магазина, покупает шесть воздушных шаров по 50 пфеннигов за штуку и пускает их один за другим в проходе перед самым оркестром, благодаря чему ему удается привлечь внимание в одиночку или попарно прогуливающихся дамочек, замужних женщин, девиц, вдов, разведенных, — нарушительниц супружеской или иной верности и подобрать себе компанию. В коридоре можно за 20 пфеннигов заняться выжиманием гирь. Взгляд в будущее: Коснитесь химического препарата в круте между обоими сердцами хорошо смоченным пальцем и проведите несколько раз по находящемуся над ним чистому месту, и появится изображение Вашего суженого. Вы с детства стоите на правильном пути. Ваше сердце не знает фальши, и все же Вы своим тонким чутьем распознаете всякий подвох, который хотели бы устроить Вам Ваши завистливые друзья. Доверьтесь и впредь Вашей житейской мудрости, ибо созвездие, под знаком которого Вы вступили в сей мир, будет Вашим неизменным руководителем и поможет Вам приобрести спутника жизни, который сделает Ваше счастье совершенным. Спутник, которому Вы можете доверять, обладает таким же характером, как и Вы. Его сватовство не будет бурным, но тем прочнее будет тихое счастье подле него¹⁰³.

По соседству с гардеробом, в боковом зале, на хорах играл духовой оркестр. Музыканты, в красных жилетах, все время галдели, что им нечего пить. Внизу стоял тучный, добродушного вида господин в сюртуке. На голове у него была странная полосатая бумажная фуражка, не переставая пить, он пытался продеть себе в петлицу бумажную гвоздику, что ему, однако, никак не удавалось ввиду выпитых восьми кружек светлого, двух стаканов пунша и четырех рюмок коньяка. Он пел, обращаясь к оркестру, а затем вдруг пустился танцевать вальс с какой-то старой, невероятно расплывшейся особой, описы-

вая с нею широкие круги, словно карусель. От такого кружения эта особа расплылась еще больше, но проявила достаточно чувства самосохранения, усевшись перед тем, как взорваться, на три стула зараз.

Франц Биберкопф и этот человек в сюртуке встретились в антракте под хорами, где музыканты взывали о пиве. На Франца уставился сияющий голубой глаз, чудный месяц плывет над рекою¹⁰⁴, а другой глаз был слеп. Они подняли свои белые кружки с пивом, и инвалид прохрипел:¹⁰⁵ «Ты, видно, тоже один из этих предателей, а другие сидят на теплых местечках». Он проглотил слюну: «Не гляди мне так пылко в глаза, ну-ка, взгляни на меня. Где служил?»

Они чокнулись, туш, нам нечего пить, нам пить не дают. Бросьте, бросьте, ребята, не бузите, ну выпьем за гемютлихкайт¹⁰⁶. «Ты немец? Настоящий германец? Как тебя зовут?» — «Франц Биберкопф. Как же это ты меня не знаешь?» Инвалид икнул, а затем зашептал, прикрывая рот рукою: «Значит, ты настоящий немец, положи руку на сердце. И не идешь заодно с красными? Иначе ты — предатель. А кто предатель, тот мне не друг». Он обнял Франца: «Поляки, французы, отечество, за которое мы кровь проливали — вот благодарность нации!» Затем он снова собрался с силами и пошел танцевать с уже оправившейся расплывшейся особой все тот же старомодный вальс под любую музыку. Он покачивался и как будто кого-то искал. Франц гаркнул: «Сюда, сюда!» Лина пригласила инвалида на тур; он протанцевал с нею, а затем предстал с ней под ручку перед Францем, возле стойки: «Простите, с кем имею удовольствие, честь? Позвольте узнать вашу фамилию». — «Пей, братец мой, пей, дома заботы оставь, горе забудь и тоску ты рассей, станет вся жизнь веселей».

Две порции айсбайна¹⁰⁷, одна — солонины, дама брала порцию хрена, гардероб, да где же вы раздевались, здесь два гардероба, а имеют ли подследственные арестанты право носить обручальные кольца? Я говорю нет. В Гребном клубе вечер затянулся до четырех часов. А дорога туда для автомобилей — ниже всякой критики, подбрасывает на ухабах, так и ныряешь.

Инвалид и Франц сидят, обнявшись, в буфете: «Я тебе, друг, прямо скажу, понимаешь? Мне урезали пенсию, так что я перейду к красным. Кто изгоняет нас огненным мечом из рая, это архангел, и мы туда уж не вернемся¹⁰⁸. Сидели мы, знаешь, под Гартмансвейлеркопфом¹⁰⁹, я и говорю своему ротному, который так же, как и я сам, из Штаргарда¹¹⁰». — «Шторков¹¹¹, говоришь?» — «Нет, из Штаргарда. Ну, вот теперь я потерял свою гвоздику, ах, нет, вон она где зацепилась». Кто раз целовался на бреге морском под шелест танцующих волн, тот знает, что в жизни милее всего, тот, верно, с любовью знаком¹¹².

Франц торгует теперь фашистскими газетами¹¹³. Он ничего не имеет против евреев, но стоит за порядок. Ибо порядок нужен и в раю, всяк знает исти-

ну сию¹¹⁴. И этих бравых парней, членов Стального шлема¹¹⁵, он тоже видел, и вождей их видел, а это что-нибудь да значит. Он стоит у входа на станцию подземки на Потсдамерплац¹¹⁶ или на Фридрихштрассе у Пассажа¹¹⁷ или перед вокзалом Александрплац. Он придерживается тех же мнений, что и односторонний инвалид из Нового мира, тот, который был там с толстой дамой.

Германскому народу к началу рождественского поста¹¹⁸. Рассейте же наконец свои несбыточные мечты и покарайте убаюкивающих вас призрачными надеждами! Ибо придет день, и восстанет с поля брани с мечом и блестящим щитом правоты своей Истина, дабы повергнуть во прах врагов своих.

«В то время, как пишутся эти строки, происходит суд над рыцарями рейхсбаннера¹¹⁹, которым двадцатикратное превосходство сил позволило во имя их программного пацифизма и соответствующего их убеждениям мужества напасть на горсточку национал-социалистов, избить их и при этом зверски умертвить члена нашей партии Гиршмана. Даже из показаний обвиняемых, которым со стороны закона разрешается, а со стороны партии, по-видимому, предписывается лгать, ясно, с какой преднамеренной жестокостью, столь ярко характеризующей положенный в ее основание режим, было проведено это избиение»¹²⁰.

«Истинный федерализм — это антисемитизм, борьба против еврейства является вместе с тем и борьбой за самоопределение Баварии. Еще задолго до начала огромный зал был переполнен; однако прибывали все новые и новые толпы посетителей. До открытия собрания наш прекрасно сыгравшийся оркестр исполнил лихие марши и другие музыкальные номера. В половине девятого член партии Оберлерер сердечно приветствовал собравшихся, объявив собрание открытым, и предоставил слово члену партии Вальтеру Аммеру»¹²¹.

Братва на Эльзассерштрассе животики надрывает от смеха, когда в обед Франц появляется в пивной, предосторожности ради спрятав повязку в карман. Тем не менее ее у него извлекают. Но он их спроваживает.

Он говорит безработному молодому слесарю, и тот от удивления отставляет свою большую кружку пива: «Стало быть, ты надо мной смеешься, Рихард, а почему? Потому, может быть, что ты женат? Вот тебе теперь двадцать один год, твоей жене восемнадцать, а что ты видел от жизни? Ничего, и даже того меньше. И скажу тебе, Рихард, что если мы будем говорить о девочках, то ты, так как у тебя у самого мальчуган, пускай будешь прав в том, что касается твоего крикуна. А в чем еще. Ну-ка?»

Францовой повязкой завладевает полировщик Георг Дреске, 39 лет, в данное время уволенный с завода. «На повязке, Орге, сколько не смотри, — говорит Франц, — ничего не написано такого, за что нельзя было бы отвечать. Я ведь тоже утек с фронта, не хуже твоего; проделал все честь честью, да что толку. Красная ли повязка у человека, золотая или черно-бело-красная¹²² — от

этого сигара не слаще. Все дело в табаке, дорогой мой, чтоб и оберточный лист и подлист были хороши и чтоб была сигара правильно скатана и высушена, и откуда табак. Вот что я скажу. А что мы такое сделали, Орге, ну-ка?»

Тот преспокойно кладет повязку перед собой на стойку, прихлебывает пиво, говорит не спеша, иногда заикаясь и часто смачивая горло: «Гляжу я на тебя, Франц, и думаю себе, а я тебя ведь давно знаю, с Арраса¹²³ и из-под Ковно¹²⁴, и думаю, значит, что тебя кругом провели и надули». — «Это ты все насчет повязки, что ли?» — «Да насчет всего вообще. Брось-ка лучше. Тебе-то уж, кажется, не пристало бегать в таком виде».

Тогда Франц встает, отодвигает молодого слесаря Рихарда Вернера с зеленым отложным воротником в сторону как раз в ту минуту, когда тот хочет его о чем-то спросить. «Нет, нет, Рихардхен¹²⁵, ты славный парень, но то, о чем мы рассуждаем, касается только взрослых. Хоть ты и пользуешься избирательным правом, все ж тебе далеко до того, чтобы вмешиваться в разговор между Орге и мною». Затем он задумчиво стоит рядом с полировщиком у стойки, а по другую ее сторону, перед полкой с коньяком, стоит хозяин в большом синем фартуке и внимательно смотрит на них, опустив толстые руки в лохань для мытья стаканов. Наконец Франц спрашивает: «Так как же, Орге? Как было дело под Аррасом?» — «А по-твоему как? Сам ведь знаешь. И почему ты дезертировал? А теперь вдруг эта повязка. Эх, Франц, уж лучше я бы на ней повесился. Да, здорово тебя облапошили!»

У Франца очень уверенный взгляд, и он ни на секунду не сводит глаз с полировщика, который начинает заикаться и мотать головой. «Нет, про это дело под Аррасом мне хотелось бы еще от тебя услышать. Давай-ка разберемся. Раз ты был под Аррасом». — «Что ты плетешь, Франц, брось. Да я ничего и не говорил такого, ты, верно, хватил лишнего». Франц ждет, думает: постой, я уж до тебя доберусь, прикидываешься, будто ничего не понимаешь, хитришь. «Ну, конечно же, Орге, под Аррасом мы с тобой были, вместе с Артуром Безе, Блюмом и этим маленьким зауряд-прапорщиком — как его, бишь, звали? Такая у него еще фамилия была смешная». — «Забыл, не помню». Что ж, пусть человек болтает. Он ведь с мухой. Другие это тоже замечают. «Постой, постой, как же его звали, маленького-то этого, не то Биста, не то Бискра, что-то в этом роде». Пускай себе говорит, не надо отвечать, запутается, тогда и сам перестанет. «Ну да, этих-то мы всех знаем. Но только я не про то. А вот где мы были потом, когда кончилось под Аррасом, после восемнадцатого года, когда пошла уж иная потеха, здесь, в Берлине и в Галле, и в Киле¹²⁶, и...»

Но тут Георг Дреске решительно отказывается от дальнейшего разговора, этакая чушь. Не за такой же ерундой приходишь в пивную. «Ах, да брось, а то я сейчас уйду. Рассказывай сказки маленькому Рихарду. Поди-ка сюда, Рихард». — «Ишь, как он передо мной важничает, этот господин барон. Он же водит теперь компанию только с графьями. Как он еще приходит сюда к нам

в пивную, этот важный барин-то?» А ясные глаза в упор глядят в бегающие глаза Дреске. «Так вот, про это я и говорю, аккурат про это, Орге. Стояли мы под Аррасом после восемнадцатого года, полевая артиллерия, пехота, зенитная артиллерия, радисты, саперы или еще кто. Ну, а где мы стояли потом, после войны?» Э, вон он куда гнет, ну, постой, братишка, лучше б тебе этого не трогать. «Знаешь, — говорит Дреске, — я сначала выхлебаю свою кружку, а ты, Франц, про то, где ты потом побывал, бегал или не бегал, стоял или же сидел, справься в своих бумагах, если они при тебе. Ведь торговцу полагается всегда иметь все бумаги при себе». Что, съел? Неужели не понял? Так вот, имей в виду. Но все те же спокойные глаза — в упор в хитрые глаза Дреске. «Четыре года после восемнадцатого я был в Берлине. С самого того времени, как война кончилась. Верно, я бегал, ты бегал, Рихард тогда сидел у матери на коленях. Ну, а здесь мы что-нибудь похожее на аррасское дело заметили, ты, например? Была у нас тут инфляция¹²⁷, бумажные деньги, миллионы, миллиарды, и не было ни мяса, ни масла, хуже, чем до того; все это мы заметили, и ты тоже, Орге, а вот что стало с аррасским делом, ты можешь высчитать у себя по пальцам. Ничего не стало, где уж там! Мы только бегали да таскали у крестьян картошку».

Революция? Развинти древко знамени, убери само знамя в чехол и запрячь всю эту штуку подальше в платяной шкаф. Попроси мать принести тебе ночные туфли и развяжи огненно-красный галстук. Вы постоянно делаете революцию только на словах, ваша республика — просто несчастный случай на производстве.

Дреске думает: Опасный человек! А Рихард Вернер, этот молодой губошлеп, уже снова разевает рот: «Значит, тебе бы понравилось и тебе бы хотелось, Франц, чтобы мы затеяли новую войну, вы бы это живо сварганили на наших горбах. Весело мы Францию побьем¹²⁸. А? Но только тут ты здорово напоролся бы». А Франц думает: Ах ты обезьяна, ах ты арап! Знает человек войну только по кино — раз по башке, и готово.

Хозяин вытирает руки о синий фартук. Перед чистыми стаканами лежит в зеленой обложке проспект. Хозяин, тяжело сопя, читает: Отборный жареный кофе высшего качества! Кофе для прислуги (зерна брак, жареный). Чистый немолотый кофе в зернах 2,29, Сантос гарантированно чистый, Сантос 1-го сорта для хозяйства, крепкий и экономический, Ван-Кампина-меланж, крепкий, прекрасного вкуса, превосходный меланж Мексика, настоящий кофе с плантациями 3,75, доставка не менее 18 кг разного товара бесплатно¹²⁹. Под потолком, возле печной трубы, кружится пчела¹³⁰ или оса или шмель — подлинное чудо природы в зимнюю пору. Его единоплеменников, сородичей, единомышленников и сотоварищей нет в живых, они либо уже умерли, либо еще не родились; это — ледниковый период, который переживает одинокий шмель, сам не зная, как это случилось и почему именно он. А солнечный свет, беззвуч-

но льющийся¹³¹ на передние столы и на пол и разделенный вывеской «Паценгоферское пиво Левенбрей» на две светлые полосы, он древний-предревний, и, собственно говоря, когда смотришь на него, все кажется преходящим и не стоящим внимания. Свет доходит до нас, пройдя икс километров, минуя звезду игрек, солнце светит миллионы лет, задолго до Навуходоносора¹³², до Адама и Евы, до ихтиозавра, а вот сейчас оно заглядывает в окно в маленькую пивную, делится жестяной вывеской «Паценгоферское пиво Левенбрей» на две полосы, ложится на столы и на пол, незаметно продвигается вперед. Солнечный свет ложится на них, и они это знают. Он окрылен, легок, сверхлегок, светозарен, высоко с небес дошел он¹³³.

А двое больших, взрослых животных, двое людей, мужчин, Франц Биберкопф и Георг Дреске, газетчик и уволенный с завода полировщик, стоят у стойки, держатся торчком на своих нижних, облеченных в штаны конечностях и опираются о стойку засунутыми в толстые раструбы пальто руками. И каждый из них думает, наблюдает и чувствует — каждый свое.

«В таком случае ты мог заметить и прекрасно знаешь, что вообще не было никакого Арраса, Орге. Мы просто ничего не сумели сделать. Да, мы это можем преспокойно заявить. Или хотя бы вы, или те, которые участвовали в деле. Не было же никакой дисциплины, никто же не распоряжался, все только грызлись между собою. Я удрал из окопов, и ты со мною, а потом и Эзе. Ну, а здесь дома, когда началось дело, кто тогда удрал? Да все, сплошь. Не было никого, кто бы остался, ты же сам видел, какая-то горсточка, человек с тысячу, так я их тебе даром отдам». Ага, вот он о чем, вот дурак-то. На такую удочку попался. «Это потому, что бонзы, профсоюзные вожди, нас предали, Франц, в восемнадцатом и девятнадцатом году, и Розу убили и Карла Либкнехта¹³⁴. Где же тут сплотиться и что-нибудь сделать. Ты посмотри на Россию, на Ленина. Вот где люди держатся, вот где есть спайка¹³⁵. Но подожди, дай срок». Кровь польется, кровь польется, кровь польется как вода¹³⁶. «Это мне безразлично. Но только с твоими ожиданиями да сроками мир полетит к черту, и ты вместе с ним. Нет, на такую удочку я больше не попадусь. С меня довольно того, что наши ничего не сумели сделать. Этого с меня хватит. Ни вот столечко у них не вышло, взять хотя бы, например, тот же Гартмансвейлеркопф, о котором постоянно болтает один человек, инвалид, который там побывал, ты его не знаешь, даже ни полстолько. Ну, и...»

Франц выпрямляется, берет со стойки повязку, разглаживает ее и сует в непромокаемую куртку, а затем медленно возвращается к своему столику: «Вот я и говорю то, что всегда говорю, пойми, милый человек, и ты тоже, Рихард, заметь себе: ничего у вас с этим делом не выйдет. Не таким путем. Не знаю, выйдет ли что-нибудь у тех, которые вот с такой повязкой. Я этого вовсе и не говорил, но там все же другое дело. Мир на земле, как говорится, и это

правильно, и кто хочет работать, пусть работает, а для всяких таких глупостей нам себя слишком жаль».

И садится на подоконник, трет щеку, озирается, щурясь, по комнате, выдергивает у себя волосок из уха. За угол со скрежетом заворачивает трамвай № 9¹³⁷. Восточное кольцо, Германнплац, Вильденбрухплац, вокзал Трептов, Варшавский мост, Балтенплац, Книпродештрассе, Шенгаузераллее, Штеттинский вокзал, церковь Св. Гедвиги, Галлеские ворота, Германнплац. Хозяин пивной опирается на латунный пивной кран, посасывает и трогает языком новую пломбу в нижней челюсти, вкус как в аптеке, нашу Эмилию придется опять послать летом в деревню или в Цинновиц¹³⁸, в летнюю колонию, девочка опять уж худеет, глаза снова останавливаются на проспекте в зеленой обложке, который лежит криво, он кладет его прямо, с каким-то суеверным страхом, не выносит, когда что-нибудь лежит криво. Селедки «Бисмарк»¹³⁹ в маринаде, нежные, без костей, рольмопсы в маринаде¹⁴⁰, с огуречным гарниром, высшего качества селедки в желе, цельные, отличного вкуса, селедки для жарения.

Слова, шумы, звуковые волны, полные содержания¹⁴¹, плещут туда и сюда по комнате из горла Дреске, заики, который, улыбаясь, глядит себе под ноги: «Ну, тогда желаю тебе счастья, Франц, на твоём новом пути, как говорят попы. Значит, когда мы в январе пойдем с демонстрацией в Фридрихсфельде, к Карлу и Розе¹⁴², тебя уж с нами не будет. Так-так». Пускай себе заикается, я буду торговать газетами.

Хозяин, очутившись вдвоем с Францем, улыбается ему. Тот с наслаждением вытягивает под столом ноги: «Как вы думаете, Геншке, почему это они смылись? Из-за повязки? Нет, они пошли за подкреплением!» Он все о том же. Изобьют его еще здесь. Кровь польется, кровь польется, кровь польется, как вода.

Хозяин все посасывает свою пломбу, надо придвинуть щегленка ближе к окну, ведь такой птичке тоже хочется побольше света. Франц помогает хозяину, вбивает гвоздик за стойкой, а тот переносит с другой стены клетку с беспокойно бьющейся птичкой.¹⁴³ «Ишь какая темь сегодня. Это от высоких домов». Франц стоит на стуле, вешает клетку, слезает, свистит, подымает указательный палец и шепчет: «Не надо теперь больше подходить. Ничего, привыкнет. Щегленок, самочка». И оба умолкают, кивают, глядят, улыбаются.

*Франц — человек широкого размаха,
он знает себе цену*

Вечером Франца в самом деле выпуряют из пивной. Пришел он один, в девять часов, взглянул на птицу — та уже сунула головку под крыльышко, си-

дит себе в уголке на жердочке, и как это такая тварь не свалится во сне. Франц шепчется с хозяином: «Скажите, пожалуйста, — спит себе при таком шуме, что вы скажете, это ж замечательно, вот, должно быть, устала бедная, хорошо ли ей, что тут так накурено, пожалуй, для таких маленьких легких вредно?» — «Ну, она у меня привыкла, здесь, в пивной, всегда накурено, сегодня как будто даже и не очень».

Франц садится: «Так и быть, я сегодня не буду курить, а то еще тяжелее дышать будет, а потом мы немножко откроем окно, она у вас сквозняка не боится?» В это время Георг Дреске, молодой Рихард и еще трое пересаживаются за отдельный столик, напротив. Двоих из этой компании Франц не знает. Больше в пивной никого нет. К приходу Франца у них происходил громкий разговор, шум и ругань. Как только он открыл дверь, они присмирели; оба новеньких то и дело поглядывают на Франца, наваливаются на столик, а потом вызывающе откидываются назад и чокаются. Когда глаза красивые манят, когда стаканы полные блестят, тогда опять, опять есть повод выпивать¹⁴⁴. Геншке, плешивый хозяин пивной, возится с пивным краном и лоханью, в которой полощут стаканы, и не уходит, как обычно, а все что-то ковыряет.

И вдруг разговор за соседним столиком становится громким. Один из новичков разглагольствует. Желает петь песни, ему, видите ли, здесь слишком тихо, а пианиста нет; Геншке кричит ему: «Да для кого же? Дело не позволяет». Что эти люди будут петь, Франц уже догадывается: либо «Интернационал»¹⁴⁵, либо «Смело, товарищи, в ногу»¹⁴⁶, если у них нет в запасе чего-нибудь новенького. Начинается. Ну, конечно, Интернационал.

Франц жует себе, думает: Это они в мой огород. Ну, да ладно, пускай потешатся, только бы не курили так много. А если поют, то не курят, и птичке не такой вред. Но чтоб старик Георг Дреске водил компанию с такой зеленой молодежью и даже не подошел к старому товарищу, этого никак нельзя было ожидать. Этаким старым хреном, женатым, человеком порядочным, а сидит с такими недоносками и слушает, что они болтают. А один из новых уж опять кричит, обращается к Францу: «Ну, как тебе песня понравилась, товарищ?» — «Мне — очень. У вас хорошие голоса». — «Так чего же ты с нами не споешь?» — «Я уж лучше поем. Когда кончу есть, спою с вами, а не то и один что-нибудь спою». — «Идет».

Те продолжают себе разговаривать, а Франц спокойно ест и пьет и думает, почему это Лины еще нет, и как это птичка во время сна не свалится с жердочки, и кто это там трубку курит. Заработал он сегодня недурно, вот только холодно стоять было. А те, за столом напротив, все поглядывают, как он ест. Верно, боятся, что подавлюсь. Был ведь однажды такой случай: съел человек бутерброд с колбасой, а бутерброд, как дошел до желудка, одумался, поднялся еще раз к горлу, да и говорит: Что ж ты меня без горчицы? и тогда уж только окончательно спустился в желудок. Вот как поступает настоя-

щий бутерброд с колбасой, которая благородного происхождения. И только успел Франц проглотить последний кусок и допить последний глоток пива, как с того стола кричат: «Так как же, товарищ? Споешь нам что-нибудь?» Члены они певческого общества, что ли, тогда можно и за вход взять, во всяком случае, когда поют, не будут курить. А мне не к спеху. Что обещано, будет исполнено. И вот Франц утирая нос, течет, понимаете, когда сидишь в тепле, а тянуть не помогает, думает, где это пропадает Лиана, и не съест ли еще парочку сосисок, хотя нет, не стоит, и так все полнеешь, да полнеешь, что бы такое спеть, все равно эти люди ничего не понимают в жизни, но раз уж обещал, так обещал. И вдруг в его голове мелькает фраза, строфа, да это ж стихишки, которые он выучил в тюрьме, их часто говорили, они обошли все камеры. И Франц в ту же минуту замирает, голова у него от жары вся красная, горячая, опустилась на грудь, он серьезен и задумчив. И говорит, придерживая рукой кружку: «Знаю я стихишки, из тюрьмы, их сочинил один арестант, его звали, постойте, как же его звали? Ах да: Домс».

Он и есть. Так у него это вырвалось, ну, да все равно — стихишки хорошие. И вот он сидит один за столиком, Геншке стоит за лоханью, а другие слушают, и никто больше не приходит, потрескивает уголь в буржуйке. Франц, подперев рукою голову, читает стихишки, сочиненные Домсом, и перед ним встает его камера, двор для прогулок, он может это спокойно стерпеть, интересно, какие там теперь парни сидят? Вот он и сам выходит во двор для прогулки, это гораздо больше того, что могут эти люди в пивной, что они знают о жизни.

И он декламирует: «Коль хочешь, человеце новый, субъектом пола стать мужского, обдумай зрело это дело, доколе повитуха смело не извлекла тебя на свет! Сей мир — юдоль великих бед!¹⁴⁷ Поверь же автору сих строк, который уж немалый срок на этом свете хлеб жует! Слова из Фауста. Сказано у Гёте: Жизнь наша только ликованье в эмбриональном состоянии!¹⁴⁸ Правительство — родной отец, на помочах водить нас — спец, и донимает нас мученьем, параграфами запрещений! Во-первых, деньги гнать на бочку, а во-вторых, молчать в платочек. И так живешь ты в отупеньи, в каком-то вечном обалденье. А если хочешь в злой тоске оставить горе в кабаке, в вине иль пиве утопить, должно похмелье после быть. А там и годы в вечность сыпят, подтачивает моль волосы, трещат назойливо стропила, и в членах дряблость, нету силы, уж каша мозговая киснет, все тоньше, тоньше нитка жизни. Уж дело к осени, смекаешь, роняешь ложку, умираешь. Хочу вопрос я предложить: что человек и что есть жизнь? Сказал великий Шиллер так: “Она — не высшее из благ!”¹⁴⁹». А я скажу: для кур насест, загаженный до этих мест».

Его слушают, не прерывая. После небольшой паузы Франц говорит: «Да, это он сам сочинил, из Ганновера он, ну, а я выучил наизусть. Хорошо ведь, подходящая штука для жизни, хоть и горько».

А со стола напротив в ответ: «Вот ты и примечай, что сказано про правительство, которое “родной отец” и водит тебя на помочах. Но вызубрить стишки недостаточно, товарищ, этим делу не поможешь!» Франц все еще сидит, подперев голову, из которой нейдут стишки. «Что ж, устриц и икры нет ни там, ни тут. Приходится зарабатывать кусок хлеба, а это нелегко для бедняка. Надо быть еще довольным, когда имеешь ноги и гуляешь на воле». Те, что за столом, долбят свое, ничего, парень выправится. «Кусок хлеба можно зарабатывать по-всякому. Вот, например, в прежнее время были в России шпикки, так они много денег зарабатывали». А другой новенький гудит, как труба: «У нас и не такие есть, сидят себе на теплых местечках, продали своих товарищей-рабочих капиталистам¹⁵⁰, за это и денежки получают». — «Не лучше проституток». — «Хуже гораздо».

Франц думает о стишках, и что-то подельвают ребята там, в Тегеле, верно, много там новых прибыло, ведь каждый же день пригоняют, партию за партией, а тут эти опять: «Ну, чего ты? Как же у тебя с песней-то? Что ж, так у нас музыки и не будет? Эх ты, наобещал, а потом на попятный». С песней? Извольте: сказано — сделано. Но сперва надо промочить горло.

И Франц берется за кружку и отпивает изрядный глоток, что бы такое спеть; на мгновение он видит, как стоит на дворе и во все горло что-то орет в каменную стену, что это ему сегодня за вещи вспоминаются, что ж такое он тогда пел? И медленно начинает петь, так и льется из его уст: «Был у меня товарищ, я лучше не найду. Труба звала нас к бою, он в ногу шел со мною, со мной в одном ряду!»¹⁵¹ Пауза. Он поет вторую строфу: «Летит шальная пуля, чья-то смерть летит, товарищ зашатался, упал и не поднялся, у ног моих лежит». И — громко — последнюю строфу: «Хотел пожать мне руку — я занят был с ружьем. Не мог пожать я ру-уку, на вечную разлу-уку, но помню я о нем, но помню я о нем».

Под конец он пел во весь голос, откинувшись на спинку стула, протяжно, мужественно и сочно. Те, там за столом, побороли свое смущение, подпевают, хлопают по столу, визжат и паясничают: «Был у ме-ее-ня това-арищ». Но Франц во время пения вспомнил, что, собственно, ему хотелось спеть. Ведь вот стоял он на дворе, а сейчас доволен, что вспомнил, и ему все равно, где он в данную минуту находится, он распелся, ту песню он непременно должен спеть, и оба еврея как будто опять перед ним и опять, конечно, ссорятся, как, бишь, звали того поляка и славного старого господина; нежность, чувство благодарности; и Франц пускает в глубину пивной, словно фанфару: «Несется клич, как грома гул, как звон мечей и волн прибой: на Рейн, на Рейн, на Рейн, родной! Мы встанем крепкою стеной, отчизна, сохрани покой, отчизна, сохрани покой, не отдадим наш Рейн родной, не отдадим наш Рейн родной». Все это осталось позади, это мы знаем, и теперь мы сидим здесь, и жизнь так хороша, так хороша, все так хорошо.

После этой песни компания за столом притихла. Один из новеньких как будто уговаривает других, и все, по-видимому, обойдется тихо и мирно; Дреске сидит, сгорбившись, и почесывает голову, хозяин выходит из-за стойки, поводит носом и садится за столик рядом с Францем. Франц приветствует в конце своей песни всю жизнь, во всей ее полноте, размахивает кружкой: «Ваше здоровье!» — ударяет рукой по стулу, сияет, теперь все хорошо, он сыт, куда же это запропастилась Лина, он ощущает свое полное лицо, он — крепкий человек, в теле, со склонностью к ожирению. Никто не отвечает. Молчание.

Но вот кто-то из той компании перебрасывает ногу через стул, застегивает куртку на все пуговицы, затягивает потуже талию, это один из новых, долговязый, прямой, как палка, парень, вот тебе и на, и айда церемониальным маршем прямо к Францу, ух, Франц, держись, сейчас получишь затрещину, если новый, конечно, намерен драться. А тот — скок! — садится верхом на столик Франца. Ну, Франц глядит, ждет, что будет дальше: «Послушай, как тебя? Ведь тут в пивной, пожалуй, стульев для тебя еще хватит». Но тот указывает сверху вниз на Францеву тарелку и спрашивает: «Ты что жрал?» — «Я говорю, в пивной стульев еще довольно, если у тебя есть глаза. Скажи-ка, тебя, вероятно, в детстве кипятком ошпарили, а?» — «Не об этом речь. Я хочу знать, что ты тут жрал?» — «Бутерброды с сыром, скотина. Видишь — еще и корки тут для тебя валяются, осел! А теперь убирайся со стола, раз ты такой неуч». — «Что это были бутерброды с сыром, я и сам по запаху слышу. Да только откуда они у тебя?»

Но Франц, с зардевшимися ушами, уже на ногах; те, там за столом, — тоже, и вот Франц хватает свой столик, опрокидывает его, и новенький — хлоп на пол вместе с тарелкой, пивной кружкой и горчичницей. Тарелка — вдребезги. Геншке этого уже ожидал, топает по осколкам, орет: «Стойте, стойте! Чтoб у меня драк не было. У меня в заведении драться не полагается. А кто бузит, тот моментально вылетит вон». Долговязый парень успел подняться — отстраняет хозяина. «Отойдите-ка, Геншке. Драки у нас не будет. Мы только немножко посчитаемся. А если кто-нибудь что сломает, он должен заплатить, и дело с концом». Я сейчас уступил, думает Франц, прижавшись к самому окну, перед жалюзи, но теперь я пойду крушить, только бы меня не задела, черт возьми, только бы не тронули; я всем желаю добра, но быть беде, если только кто-нибудь из них сморозит глупость и заденет меня.

Долговязый тем временем подтягивает штаны, ага, значит, собирается начать. Франц уже видит, что произойдет дальше, но как теперь поведет себя Дреске? А Дреске стоит себе и глазеет. «Орге, да что это у тебя за паршивец? Откуда ты такого сопляка выкопал?» Долговязый возится со своими штанами, спадают они, что ли, так пусть пришьет себе новые пуговицы. Долговязый костит хозяина пивной. «Им все можно. Фашистам рот не затыкают. Что бы они ни брехали, они пользуются у нас свободой слова». А Дреске размахивает где-то позади левой рукой. «Нет, Франц, я в это дело вмешиваться не буду,

расхлебывай сам, что ты себе заварил своими поступками и песнями, нет, я вмешиваться не буду, этого еще не хватало».

Несется клич, как грома гул, ах, это та песня, которую он тогда на дворе, и вот люди хотят осквернить ее, хотят рассуждать.

– Фашист, кровопийца! – рычит долговязый, наступая на Франца. – Давай сюда повязку! Ну, живо!

Вот оно, начинается, это они хотят четвером на одного, надо прислониться спиной к окну и прежде всего вооружиться стулом. «Давай повязку, тебе говорят! Не то я сам вытащу ее у тебя из кармана. Я требую, чтоб этот субчик выдал повязку». Другие за ним стеной. У Франца в руках стул. Удержите-ка, прежде всего вон того. Удержите, понимаете! А потом уж я и сам уйду.

Хозяин обхватил долговязого сзади и умоляет: «Да уходите вы! Биберкопф, уходите отсюда, сейчас же!» Это он боится за свое заведение. Стекла, вероятно, не застрахованы, ну что ж, мне плевать. «Ладно, ладно, Геншке, пивных в Берлине сколько угодно, я ведь только подждал Лину. Но почему вы только на их стороне? Почему они выживают человека, когда я каждый вечер сижу у вас, а те двое только в первый раз здесь?» Хозяин, напирая на долговязого, заставил его отступить. Другой из новых, отплеываясь, кричит: «А потому, что ты фашист! У тебя и повязка в кармане. Хакенкрейцлер¹⁵² ты, вот что!»

«Ну так что ж? Фашист и фашист. Я Орге Дреске все объяснил. Что и почему. А вы этого не понимаете, потому и орете». – «Нет, это ты орал, да еще Стражу на Рейне». – «Если вы будете скандалить, как сейчас, да садиться на мой столик, то таким путем никогда не будет покою на свете. Таким путем – никогда. А покой должен быть, чтоб можно было работать и жить, рабочим и торговцам и вообще всем, и чтоб был порядок, потому что иначе нельзя работать. А чем же вы тогда будете жить, вы, горлопаны? Вы же сами пьянете от своих речей! Вы же только и умеете, что скандалить да зря будоражить людей, пока те и взаправду не обзлятся и не накомстыляют вам шею. Кому, в самом деле, охота, чтоб вы ему на мозоль наступали?»

И вдруг он тоже разгорелся, что это с ним поделалось, так и сыпет словами, словно у него что-то прорвалось, и перед глазами плывет кровавый туман: «Ведь вы же преступники, вы сами не знаете, что делаете, эту дурь надо бы у вас из головы повыбить, не то вы весь мир погубите, смотрите, как бы вам не пришло плохо, живодеры, мерзавцы!»

В нем все так и бурлит, ведь он сидел в Тегеле, жизнь – страшная штука, ах, что за жизнь, тот, о котором поется в песне, это знает, и как мне жилось, Ида, нет, лучше не вспоминать.

И он орет и орет под впечатлением этого ужаса, что это тут открывается? Он отчаянно отбивается руками, ногами, надо кричать, надо заглушить это криком. В пивной стон стоит, Геншке остановился недалеко от Франца у столика и не рискует подойти к нему ближе, а тот стоит себе, орет во все горло,

все попеременно, захлебывается: «Так что вы мне ничего и сказать не смеее, никто не может подойти и сказать, никто, потому что мы сами все это гораздо лучше понимаем, не для того мы побывали на фронте и валялись в окопах, чтоб вы тут травлей занимались, смутьяны, надо, чтоб был покой, покой, говорю я, и зарубите у себя на носу — покой и больше ничего (да, в этом все дело, вот мы и приехали, это уж тютельница в тютельную), а кто теперь желает делать революцию и не давать покою, так тех надо повесить, хотя б на целую аллею (черные столбы, телеграфные, длинный ряд по Тегелершоссе, я-то уж знаю), тогда поймете, когда будете болтаться на столбах, тогда, небось, поймете. Так вот, запомните это и поймите, что вы делаете, преступники. (Да, таким образом будет покой, так они утомонятся, это — единственное средство, и мы до этого еще доживем.)»

Бешеный, оцепеневший — наш Франц Биберкопф. Он в ослеплении выкрикивает слова охрипшим горлом, его взгляд застеклился, лицо посинело, вспухло, руки горят, он брызжет слюною, словом — человек не в себе. И при этом пальцы судорожно вцепились в стул, но он только держится за стул. А вдруг он сейчас возьмет стул и начнет им громить направо и налево?

Внимание, промедление опасно, р-р-разойдись, заряжай, огонь, огонь, пли.

При этом человек, который стоит тут и орет, видит себя самого, слышит себя, но как бы издалека¹⁵³. Дома, эти дома опять хотят обрушиться, а крыши вот-вот соскользнут на него, но нет, не бывать этому, пускай лучше и не пробуют, все равно им, преступникам, это не удастся, нам нужен покой.

В нем бродит мысль: вот-вот начнется, и я что-нибудь сделаю, схвачу кого-нибудь за глотку, нет, нет, я свалюсь, грохнусь на пол — сейчас, в следующую минуту. А я-то думал, что мир успокоился, что наступил порядок. И в сумерках сознания этого человека нарастает ужас: что-то, видно, разладилось в этом мире — уж слишком грозно стоят те там, напротив, он переживает происходящее в каком-то ясновидении.

Но ведь некогда в раю жили два человека, Адам и Ева¹⁵⁴. А раем был чудный сад Эдем. И резвились в нем звери и всякие птицы.

Ну, уж если этот человек не сумасшедший. Нападавшие останавливаются в нерешительности, и даже долговязый только усиленно сопит носом и подмигивает Дреске: не сесть ли лучше снова за стол да завести другой разговор? И Дреске, заикаясь, говорит в наступившей тишине: «Так, значит, Франц, т-т-теперь ты, может быть, п-п-пойдешь своей дорогой, Франц, мо-ожешь опустить стул, ты теперь до-до-довольно наговорился». Во Франце что-то стихает, гроза пронеслась мимо. Пронеслась. Слава богу, пронеслась! Его лицо бледнеет, спадает.

А те стоят у своего столика, долговязый уже сел и пьет пиво. Лесопромышленники настаивают на таком-то пункте договора¹⁵⁵, Крупш предоставляет своим пенсионерам умирать с голоду, в Германии полтора миллиона безработных, за две недели число их возросло на 226 000¹⁵⁶.

Стул выпал у Франца из руки, рука обмякла, голос его звучит как всегда, он стоит, опустив голову, те там его больше не волнуют: «Ладно, ухожу. С нашим удовольствием. А до того, что происходит у вас в головах, мне дела нет».

Те слушают, не достаивая его ответом. Пусть презренные подлецы-ренегаты с одобрения буржуазии и социал-патриотов обливают грязью советскую конституцию¹⁵⁷. Это только ускорит и углубит разрыв революционных рабочих Европы с шейдемановцами¹⁵⁸ и так далее. Угнетенные массы – за нас!

Франц берет за шапку: «Мне жаль, Орге, что мы разошлись таким образом, из-за такого дела». Он протягивает Дреске руку, но тот не берет ее и молча садится на свое место. Кровь польется, кровь польется, кровь польется, как вода.

– Ладно, тогда я пойду. Сколько с меня, Геншке? И за кружку, и за тарелку тоже.

Таков порядок. На 14 детей – одна фарфоровая чашка. Распоряжение министра Хиртцифера по вопросу об улучшении быта детей: опубликованию не подлежит. Ввиду недостаточности имеющихся в моем распоряжении средств предлагаю принимать во внимание лишь те случаи, когда не только количество детей особенно велико, например, достигает 12, но и когда тщательное воспитание детей, ввиду общих экономических условий, требует совершенно особых жертв и все же проводится образцово¹⁵⁹.

Кто-то затягивает Францу вслед: «Славься в победном венке, селедкин хвост с картошкой в горшке»¹⁶⁰. Пускай парень сотрет у себя с зада горчицу. Жаль, что не попался он мне под руку. Но Франц уже надел шапку. Ему приходит на память Гакеский рынок, гомосексуалисты, седовласый газетчик с его журнальчиками, и, как ему не хотелось, секунда колебания, он уходит.

Вот он на улице, на морозе. У самой пивной – Лина, только что подошла. Они идут медленно. Охотнее всего он вернулся бы назад и объяснил бы своим противникам, какие они безумцы. Ну да, безумцы, им просто морочат головы, а сами по себе они вовсе не такие, даже этот долговязый, нахал-то, который шлепнулся на пол, даже и тот не так уж плох. Они просто не знают, куда девать избыток сил, свою горячую кровь, у них слишком горячая кровь, а доведись им побывать там, в Тегеле, или вообще что-нибудь пережить, у них в мозгах-то и прояснилось бы, да еще как.

Он ведет Лину под руку, озирается на темной улице. Могли бы, кажется, зажечь больше фонарей. И что это людям постоянно нужно, сначала гомосексуалистам, до которых ему нет дела, теперь, вот, красным? Какое мне до всего этого дело, пусть сами со своим говном разбираются. Оставили бы человека сидеть, как сидит, так нет же, даже пива спокойно выпить не дадут. Эх, пойти бы теперь назад и разнести этому Геншке всю его лавочку. И снова загораются и наливаются кровью глаза у Франца, снова вздуваются жилы на лбу и пухнет нос. Но это проходит, он цепляется за Лину, царапает ей кисть руки,

Лина улыбается: «Это, — говорит, — ты можешь спокойно делать, Францекен. Вон у меня теперь какая хорошенькая царапинка на память о тебе».

«Давай кутнем, Лина, в эту паршивую пивную я больше не пойду, будет с меня, курят там, курят, а в клетке сидит этакий маленький щегленок и чуть не задыхается, а им все нипочем». И он объясняет ей, насколько он был только что прав, и она тоже это находит. Они садятся в трамвай и едут к Янновицкому мосту¹⁶¹, в танцевальный зал Вальтерхена¹⁶². Он едет в том, в чем был, и даже Лине не дает переодеться: хороша, говорит, и так. А толстушка, когда они уже ехали в трамвае, выгатила из кармана листок, совсем измятый. Это она принесла Францу. Это — Вестник мира, воскресный выпуск¹⁶³. Франц говорит, что таким листком не торгует, жмет ей руку и восхищается красивым названием и заголовком статьи на первой странице: «Через несчастье — к счастью!»¹⁶⁴

Ручками мы хлоп, хлоп, ножками мы топ, топ, рыбы, птицы, весь день — рай¹⁶⁵.

Вагон трамвая трясет, Франц и Лина, склонившись над листком, читают при тусклом свете лампочки стихотворение на первой странице, которое Лина отметила карандашом: «Лучше вдвоем» Э. Фишера: «Не лучше ли вдвоем идти по жизни тяжкому пути, вдвоем-то лучше идти! Ведь оступиться так легко и до беды недалеко, покуда ты один идешь, покуда друга не найдешь. Коли душа твоя чиста, зови в попутчики Христа. С тобой повсюду и везде, поможет он в любой беде. Дороги знает он и все пути, подскажет он тебе куда идти»¹⁶⁶.

Пить-то все-таки еще хочется, думает между прочим во время чтения Франц, двух кружек мало, а от разговоров тем более в горле пересохло. Затем ему вспомнилось, как он пел; он почувствовал себя дома и стиснул Лине локоть.

Та чует утреннее благорастворение воздушных. Проходя по Александрштрассе на Гольцмарктштрассе¹⁶⁷, она мягко прижимается к нему: Не объявить ли им себя в скором времени настоящими женихом и невестой?

*Вот он какой,
наш Франц Биберкопф!
Под стать античным героям!*

В этом Франце Биберкопфе, бывшем цементщике, перевозчике мебели и так далее, а в настоящее время газетчике, почти сто кило живого веса. Он силен как кобра¹⁶⁸ и снова состоит членом атлетического клуба. Он носит зеленые обмотки, башмаки с гвоздями и непромокаемую куртку. Денег вы у него

много не найдете, они поступают к нему постоянно, но мелкими суммами, тем не менее пусть-ка кто-нибудь попробует его задеть.

Мучают ли его, после того, что было — Ида и так далее — угрызения совести, кошмары, тревожные сны, терзания, эринии¹⁶⁹ времен наших прабабушек? Ничего подобного! Необходимо учесть изменившееся положение. В свое время преступник был человек, проклятый Богом (откуда ты это знаешь, дитя мое?) перед алтарем, например, Орест, который убил Клитемнестру¹⁷⁰, и имя-то такое, что не выговоришь, но ведь, как-никак, она была его мать. (Да вы, собственно, про какой алтарь толкуете? Ну-ка, найдите у нас церковь, которая оставалась бы открытой ночью!) То-то, я и говорю, что положение изменилось. Хой-хо, агу его — разевают на него пасти страшные чудища, косматые ведьмы со змеями в волосах, собаки без намордников, в общем довольно несимпатичный зверинец, но добраться до него не могут, потому что он стоит у алтаря: это, знаете, такое было у античного мира представление; и вся эта нечисть пляшет вокруг него, в том числе и собаки. Без арф, как поется в песне, происходит эта пляска эриний¹⁷¹, которые затем обвиваются вокруг преступника: умопомешательство, смятение чувств, словом — подготовка для желтого дома.

Нет, Франца Биберкопфа они не мучают. Так и запишем, приятного аппетита, с повязкой в кармане, он выпивает, у Геншке ли или в другом месте, одну кружку пива за другой, пропуская между ними рюмочку очищенной, так что сердце радуется. Таким образом, бывший перевозчик мебели, а ныне газетчик Франц Биберкопф из Берлина, в конце 1927 года существенно отличается от прославленного древнего Ореста. В чьей шкуре быть лучше?

Франц убил свою невесту Иду, фамилия тут, извините, ни при чем, в расцвете ее лет. Началось это дело во время крупного разговора между Францем и Идой в квартире ее сестры, причем перво-наперво были слегка повреждены следующие органы женщины: кожа на носу, на самом кончике и посередке, находящаяся под нею кость с хрящом, что, однако, было обнаружено лишь в больнице и сыграло затем не последнюю роль в суде, и, наконец, плечи — правое и левое, на них оказались легкие ссадины и кровоподтеки. Но затем объяснение молодых людей приняло более оживленный характер. Выражения «потаскун» и «сутенер» привели крайне щепетильного в вопросах чести, хотя и сильно опустившегося Франца Биберкопфа, весьма расстроенного в тот день еще и по другим причинам, в невероятное возбуждение. В нем трепетала каждая жилочка. В руки он взял только небольшую мутовку для сбивания сливок, потому что он уж и тогда тренировался и растянул себе при этом сухожилие на руке. И вот эту самую мутовку с проволочной спиралью он мощным двукратным размахом привел в соприкосновение с грудной клеткой Иды, своей партнерши в вышеупомянутом разговоре. Грудная клетка Иды была до того дня совершенно целой, без малейшего изъяна, чего, однако, нельзя было сказать о всей маленькой осо-

бе, крайне миловидной и привлекательной, кстати: живший за ее счет мужчина подозревал не без оснований, что она собиралась дать ему отставку в пользу некоего появившегося на ее горизонте бреславльца¹⁷². Как бы то ни было, грудная клетка миловидной девицы оказалась неприспособленной к столь стремительному соприкосновению с мутовками. Уже после первого удара Ида взвизгнула ай! и крикнула Францу, не: Сутенер поганый, а: Опомнись! Что ты делаешь? Вторая встреча с мутовкой последовала при неподвижном положении тела Франца и после четверти оборота вправо со стороны Иды. В результате какой-то встречи Ида вообще больше ничего не сказала, а только как-то странно, рыльцем, раскрыла рот и взмахнула обеими руками.

То, что произошло за секунду до этого с грудной клеткой молодой женщины, тесно связано с законами ломкости и упругости, действия и противодействия. Без знания этих законов оно вообще непонятно. Тут придется прибегнуть к следующим формулам:

Первый закон Ньютона гласит: Каждое тело пребывает в состоянии покоя до тех пор, пока действие какой-либо силы не заставит его изменить свое состояние (это относится к ребрам Иды). Вторым законом Ньютона о движении гласит: Изменение движения пропорционально действующей силе и имеет одинаковое с ней направление¹⁷³ (действующая сила — Франц, вернее — его рука и кулак с содержимым). Величина силы выражается следующей формулой:

$$f = \text{clim} \frac{\Delta v}{\Delta t} = cw.$$

Вызванное силою ускорение, то есть степень вызванного ею нарушения покоя, выражается формулой:

$$\Delta v = \frac{I}{c} f \Delta t.$$

Согласно этому, следует ожидать, да оно так и было в действительности: спираль мутовки сжалась и удар был нанесен непосредственно деревянной рукояткой. А на другой стороне, так называемой инертной или противодействующей, получилось: перелом 7-го и 8-го ребер по задней левой подмышечной линии.

При таком соответствующем духу времени рассмотрении всех этих обстоятельств можно прекрасно обойтись без эриний. Можно шаг за шагом просле-

дить, что сделал Франц и что претерпела Ида. В этом уравнении нет неизвестного. Остается только перечислить стадии начатого таким образом процесса: потеря со стороны Иды вертикального положения и переход ее в горизонтальное как следствие сильного толчка и одновременно затруднение дыхания, сильная боль, испуг и физиологическое нарушение равновесия. И тем не менее Франц убил бы, как разъяренный лев¹⁷⁴, эту столь близко знакомую ему порочную особу, если бы из соседней комнаты не примчалась ее сестра. Перед визгливой бранью этой бабы он немедленно ретировался, а вечером его уже сцапали неподалеку от его квартиры во время полицейского обхода района.

«Хой-хо-хой!»¹⁷⁵ — кричали древние эринии. О ужас, ужас, что за вид — проклятый Богом человек у алтаря, с обагрёнными кровью руками¹⁷⁶. Как эти чудища хрипят: Ты спишь? Прочь сон, прочь забытьё! Вставай, вставай! Его отец, Агамемнон, много лет тому назад отправился походом на Трои. Пала Троя, и запылали оттуда сигнальные огни¹⁷⁷, от горы Иды через Афон зажглись смолистые факелы до самого Киферского леса¹⁷⁸.

Как прекрасно, к слову сказать, это огненное донесение из Трои в Грецию! Какое величие — это шествие огня через море; это — свет, сердце, душа, счастье, экстаз!¹⁷⁹

Вот вспыхивает темно-багровое пламя и заревом разливается над озером Горгопис¹⁸⁰, его увидел страж и кричит и радуется, вот это жизнь, и вспыхивает следующий костер, и передаются дальше радостная весть и возбуждение и ликование, все вместе, единым взлетом через залив, в стремительном беге к вершине Арахнейона¹⁸¹, и, накалившись докрасна, все сливается в неистовых кликах: Агамемнон возвращается!¹⁸² Что ж, с такой постановкой мы тягаться не в силах. Тут нам приходится спасовать.

Мы пользуемся для передачи донесений кой-какими результатами опытов Генриха Герца¹⁸³, который жил в Карлсруэ, рано умер и, по крайней мере на фотографии в Мюнхенском музее графики, носил окладистую бороду. Мы посылаем радиogramмы. Мы получаем на больших станциях переменные токи высокой частоты. При помощи колебательного контура мы вызываем электрические волны. Колебания распространяются сферически. А затем там есть еще катодная лампа и микрофон, мембрана которого колеблется то чаще, то реже, и таким образом получается звук точь-в-точь такой, какой поступил перед тем в аппарат¹⁸⁴, это поразительно, утонченно, каверзно. Восхищаться этим едва ли возможно; эта штука действует — вот и все!

То ли дело сигнализирующий смоляной факел при возвращении Агамемнона.

Он горит, он пылает, в каждое мгновенье, в каждом месте он чувствует, он возвещает: Агамемнон возвращается! — и все вокруг ликует. Тысячи людей воспламеняются в каждом месте: Агамемнон возвращается! И вот их уже десять тысяч, а по ту сторону залива — сто тысяч.

Однако вернемся к сути дела. Агамемнон у себя дома¹⁸⁵. Но тут получается уж что-то совсем иное. Клитемнестра, заполучив мужа обратно, предлагает ему выкупаться. В ту же минуту обнаруживается, что она — невероятная дрянь. Она набрасывает на него в воде рыбацью сеть, так что он не в состоянии пошевелинуться, а в руках у нее топор, который она захватила с собой будто для того, чтоб наколоть дров. Муж хрипит: «Горе мне, я погиб!»¹⁸⁶ Люди спрашивают: «Кто это там себя оплакивает?»¹⁸⁷ А он: «Горе мне, горе мне!» Но античная женщина-зверь убивает его, не дрогнув бровью, а потом еще и похвально: «Покончила я с ним; рыбацкой сетью опутала его я и дважды нанесла удары. Когда ж, вздохнув два раза, вытянулся он, последним, третьим я ударом отправила его в Гадес»¹⁸⁸. Старейшины огорчены, но все же находят подходящий для данного случая ответ: «Восхищены мы смелостью твоих речей»¹⁸⁹. Так вот какова была та античная женщина-зверь, которая, вследствие супружеских утех с Агамемноном, родила мальчика, нареченного при появлении на свет Орестом. Впоследствии она была убита этим плодом вышеупомянутых утех, а убийцу терзают за это эринии.

Совершенно иначе обстоит дело с Францем Биберкопфом. Не прошло и пяти недель, как его Ида умерла в Фридрихсхайнской больнице от сложного перелома ребер с повреждением плевры и легкого и последовавших затем эмпиемы плевры¹⁹⁰ и воспаления легкого, боже мой, температура не понижается, Ида, на кого ты похожа, поглядишь в зеркало, боже мой, ей приходит конец, каюк, крышка. Ну, произвели вскрытие, а затем зарыли ее в землю на Ландсбергераллее¹⁹¹, на три метра вглубь. Умерла она с ненавистью к Францу, а его неистовая злоба к ней не укротилась даже и после ее смерти, потому что ее новый друг, бреславец, навещал ее в больнице. Теперь она лежит под землей¹⁹² уже пять лет, вытянувшись на спине, и доски гроба уже прогнили, а сама она растекается жижею, она, которая когда-то танцевала с Францем в кафе «Парадиз», в Трептове, в белых парусиновых туфельках, она, которая так много любила и болтала, теперь она лежит, не шелохнется, просто — ее больше нет.

А он отсидел свои четыре года. Тот, кто убил ее, гуляет на свободе, живет себе, процветает, жрет, пьет, извергает свое семя, распространяет новую жизнь. Даже сестра Иды не избежала его. Конечно, когда-нибудь и ему придется расстаться с жизнью. Все умрем, все там будем. Но ему до этого еще далеко. Об этом он знает. И что пока он будет продолжать закусывать в пивных и на свой манер воздавать хвалу раскинувшемуся над Александрплац небу: С каких это пор бабушка твоя играет на тромбоне¹⁹³ или: Мой попугай не любит яйца всмятку¹⁹⁴.

А где теперь красная ограда тегельской тюрьмы, так пугавшая его, он еще никак не мог оторваться от нее? Привратник стоит у черных железных ворот, вызывавших когда-то у Франца такое отвращение, ворота по-прежнему на

своих петлях, никому не мешают, по вечерам их запирают, как это делают со всякими порядочными воротами. Сейчас до обеда перед ними стоит, покуривая трубку, привратник. Светит солнце, все то же самое солнце, о котором можно в точности предсказать, когда оно будет находиться в той или иной точке. Покажется ли оно вообще — зависит от облачности. Из трамвая № 41 как раз выходят несколько человек с цветами и маленькими пакетиками в руках, вероятно, направляются в санаторий, который виднеется вон там, прямо и налево по шоссе; люди, по-видимому, сильно зябнут. Деревья стоят черным рядом. А в тюрьме все еще сидят в камерах арестанты, работают в мастерских, прогуливаются гуськом по двору. Строгое предписание: выходить в часы отдыха не иначе как в котах¹⁹⁵, шапке и шейном платке. Обход камер начальником: «Каков был вчера ужин?» — «Мог бы быть лучше, а порции больше!» Но об этом он не хочет слышать, представляется глухим. «Как часто сменяют постельное белье?» Будто он и сам не знает.

Кто-то из одиночников пишет: «Впустите сюда солнце. Это — лозунг, раздающийся ныне во всем мире. И только здесь, за стенами темницы, не нашел он еще отклика. Неужели же мы не стоим того, чтобы нам светило солнце? Система расположения тюремных зданий такова, что стороны некоторых флигелей круглый год не освещаются солнцем, северо-восточные стороны флигелей. В эти камеры не попадает ни одного луча, который передал бы их обитателям привет из внешнего мира. Из года в год эти люди должны работать и хиреть без живительного солнечного света»¹⁹⁶. Тюрьму собирается осматривать какая-то комиссия. Надзиратели бегают из камеры в камеру.

Другой пишет: «В прокуратуру при ландгерихте. Во время слушания моего дела в уголовном отделении ландгерихта председательствовавший в заседании господин председатель ландгерихта сообщил мне, что после моего ареста какой-то неизвестный приходил ко мне на квартиру, Элизабетштрассе 76, за моим вещами и таковые унес с собою. Это обстоятельство установлено данными дела. Ввиду же того, что это установлено данными дела, должно было быть произведено по требованию полиции или прокуратуры соответствующее расследование. Мне ни с какой стороны ничего не сообщалось о похищении моих вещей после моего ареста, пока я не узнал об этом в день слушания моего дела. Ввиду изложенного прошу господина прокурора уведомить меня о результатах расследования или же выдать мне на руки копию имеющегося в деле протокола на предмет предъявления иска о возмещении убытков, если со стороны моей квартирной хозяйки была допущена небрежность»¹⁹⁷.

Что же касается фрау Минны, сестры Иды, то ей живется неплохо, благодарю вас, вы очень любезны. Сейчас 11 часов 20 минут, она как раз возвращается с рынка на Аккерштрассе, — это большое желтое городское зда-

ние, имеющее выход и на Инвалиденштрассе. Но она предпочитает выход на Аккерштрассе, потому что тут ей немножко ближе к дому. Она купила свиную голову, цветной капусты и немного сельдерея. Перед рынком она покупает с воза еще большую жирную камбалу, а также пакетик ромашки; потому что — почем знать? — ромашка всегда может пригодиться¹⁹⁸.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Здесь Франц Биберкопф, этот порядочный, благонамеренный человек, переживает первое потрясение. Его обманывают. Удар нанесен метко...

Биберкопф поклялся, что хочет остаться порядочным человеком, и вы видели, как он целыми неделями действительно остается им, но это до некоторой степени лишь отсрочка. Жизнь находит это, в конце концов, слишком деликатным и коварно подставляет Францу ножку. А ему, нашему Францу Биберкопфу, такой поступок кажется со стороны жизни не особенно корректным, и в течение изрядного времени ему претит такое гнусное, собачье, противоречащее всем добрым намерениям существование.

Почему жизнь поступает с ним таким образом, он никак не может понять. Ему предстоит пройти еще долгий путь, пока он это поймет.

Вiera еще на гордых конях¹

Так как приближается Рождество, Франц меняет свое амплуа, теперь он торгует разным случайным товаром, специализируется на несколько часов утром или после обеда по части шнурков для ботинок, сперва один, а потом в компании с Отто Людерсом. Этот Людерс уже два года безработный, жена его стирает. Познакомила Франца с ним Лина-толстуха, он приходится ей дядей. Летом он ходил две недели в качестве сэндвича для Рюдерсдорфских мятных лепешек², с султаном на голове и в ливрее. Франц и Людерс бегают по улицам, заходят в дома, звонят в квартиры, а потом где-нибудь встречаются.

Как-то раз Франц Биберкопф приходит в пивную. Толстуха уже там. Он в особенно хорошем настроении. Жадно поедает толстухины бутерброды и, еще прожевывая их, заказывает для всех троих свиные уши с горошком. Толстуху он тискает так, что она после свиных ушей отчаливает, вся красная от стыда. «Вот хорошо, что толстуха-то убралась, Отто». — «Что ж, ей есть куда. Не все же ей таскаться за тобою».

Франц облакачивается на стол и глядит на Людерса как-то снизу вверх. «Ну, а как ты думаешь, Отто? Что случилось?» — «А что?» — «Угадай». — «Да что? Говори уж».

Два бокала светлого, один лимон. В пивную, отдуваясь, вваливается новый посетитель, вытирает тыльной стороной руки нос, кашляет. «Чашку кофе». — «С сахаром?» — спрашивает хозяйка, перемывая стаканы. «Нет. Но поживее».

По пивной проходит молодой человек в коричневой кепке³, ищет кого-то глазами, греется подле буржуйки, ищет и за Францевым столиком, а затем спрашивает рядом: «Не видели ли вы тут одного человечка в черном пальто с коричневым меховым воротником?» — «А что, он часто бывает здесь?» — «Да». За столиком тот, который постарше, обращается к своему бледному соседу. «С коричневым меховым воротником?» — «Много их тут ходит с такими воротниками», — ворчливо отзывается тот. «А вы сами откуда? Кто вас послал?» — спрашивает седой молодой человек. «Да не все ли вам равно? Раз вы его не видели». — «Потому что здесь много бывает народу с коричневыми меховыми воротниками. Надо же знать, кто вас посылает». — «С какой стати я буду рассказывать вам о своих делах?» — «Но если вы его спрашиваете, — волнуется бледный, — был ли тут такой-то человек, то может же он вас тоже спросить, кто вас сюда прислал?»

Молодой человек стоит уже у другого столика. «Хотя я его и спрашиваю, — говорит он, — вовсе не его это дело, кто я такой». — «Позвольте, раз вы его спрашиваете, то и он может вас спросить. А не то вам нечего и спрашивать». — «Да с какой же стати я буду говорить ему, какие у меня дела?» — «В таком случае ему нечего говорить вам, был ли тут такой человек».

Молодой человек идет к двери, обращается: «Если уж вы такой хитрый, то и оставайтесь таким». Распахивает дверь, исчезает.

Те двое за столиком: «Ты его знаешь? Дело в том, что я его не знаю». — «Его никогда здесь не бывало. Черт его знает, что ему нужно». — «Он, по-видимому, баварец». — «Он? Нет, он с Рейна. Из Рейнской области».

А Франц весело скалит зубы, улыбается изыбшему, жалкому Людерсу: «Эх ты, не можешь догадаться. Ну, спроси же, есть ли у меня деньги». — «А что, есть?»

Сжатая в кулак рука Франца уж на столе. Он слегка приоткрывает кулак и гордо ухмыляется: «Ну-ка, сколько тут?» Людерс, этот жалкий человек, весь подавшись вперед, посасывает дуслистый зуб: «Две десятки? Черт!» Франц бросает бумажки на столик. «Что, здорово? Это мы, брат, сварганили в пятнадцать — двадцать минут. Не дольше, пари?» — «Послушай, ты уж не». — «Да нет же, нет, с чего ты взял? Нет, под столом да с заднего хода у нас дела не делаются. Все — на честность, Отто, начистоту, по-хорошему, понимаешь».

Тут они начинают шептаться, Отто Людерс придвигается к Францу вплотную. Оказывается, Франц позвонил к какой-то особе — шнурки для ботинок не понадобятся ли, для себя, для супруга, для деток? Она посмотрела шнурки, потом на него посмотрела, поговорили в коридоре, она вдова, еще хорошо сохранившаяся, он ее спросил, нельзя ли чашечку кофе, потому что нынче такая стужа на дворе. Выпили кофе, вместе. — Ну, а потом — еще кой-что было. Франц дует себе в кулак, смеется в нос, почесывает щеку, подталкивает Отто коленом: «Я у нее даже весь мой хлам оставил. А она разве что заметила?» — «Кто?» — «Как кто? Толстуха, конечно, потому что при мне никакого товара не было». — «А пускай замечает, продал все, и дело с концом, где же это было?»

Франц свистит: «Туда, — говорит, — я еще раз схожу, да только не так скоро. Это на Эльзассерштрассе, вдова она. Понимаешь, братец, двадцать марок, это ж хорошее дело». Они едят и выпивают до трех часов, Отто получает пятачку, но не становится от этого веселее.

Кто это крадется на следующее утро со шнурками для ботинок недалеко от Розентальских ворот? Отто Людерс. Он ждет на углу у Фабиша, пока не видит, что Франц удаляется по Брунненштрассе. Тогда он — шмыг вниз по Эльзассерштрассе. А вот и тот самый номер дома. Может быть, Франц уж там, у нее? И как это люди могут так спокойно ходить по улице? Надо будет постоять немного в подъезде. Если появится Франц, надо будет сказать, да что же такое сказать? Как сердце-то бьется. Еще бы, раздражают человека целый день, заработка нет, врач не находит никакой болезни, а наверняка что-нибудь есть. А эти отрепья — хоть помирай, все та же старая одежонка, с военной службы. Ну, теперь навверх.

Он звонит: «Не нужно ли, мадам, шнурков для ботинок? Да нет, я хотел только спросить. Скажите... Да вы послушайте...» Та хочет закрыть дверь, но он просунул ногу, не пускает. «Дело в том, что я пришел не от себя, а мой

приятель, вы уж знаете, который был здесь вчера, оставил у вас свой товар». — «О, боже!» Она открывает дверь. Людерс входит и быстро запирает за собою. «В чем же дело? О, господи!» — «Ничего, ничего, мадам. Чего вы так дрожите?» Он и сам дрожит, он так внезапно попал сюда, а теперь дела не остановишь, будь что будет, ничего, все образуется. Ему бы следовало быть теперь поласковее, да нет голоса, перед ртом, под носом появилась как будто проволочная сетка и тянется по скулам к самому лбу, если онемеют скулы, пропал человек. «Мне велено только взять товар». Дамочка бежит в комнату, хочет принести пакет, а Людерс уже и сам на пороге. Она, захлебываясь, говорит: «Вот ваш пакет. Господи, господи...» — «Благодарю вас, покорнейше благодарю. Но почему же вы так дрожите, мадам? Здесь же так тепло. Так тепло. А не дадите ли вы и мне чашечку кофе?» Только бы устоять, говорить без умолку и ни за что не уходить, выдержать до конца.

Дамочка худенькая, субтильная, стоит перед ним, стиснув руки: «Он вам еще что-нибудь говорил? Что он вам говорил?» — «Кто? Мой приятель?» Говорить, говорить, не переставая, чем больше говоришь, тем больше согреваешься, и сетка щекочет теперь уж только самый кончик носа. «Да больше он ничего не говорил. Чего ж ему еще говорить, про кофе, что ли? А товар — товар я уже получил». — «Я только загляну в кухню». Это она со страху, на что мне ее кофе, кофе я и сам себе сварю, даже еще лучше, а в трактире подадут готовый, это она просто хочет улизнуть, погоди, мы тоже еще тут. Хорошо, что мы в квартиру вошли, быстро устроилось. Но все же Людерсу страшно, он прислушивается, выглядывает за дверь, на лестницу, наверх. Возвращается в комнату. Плохо выспался сегодня, ребенок все кашлял, всю ночь напролет, ну, посидим, что ли? И он садится на красный бархатный диван.

На этом диване у нее и произошло это дело с Францем, а теперь она варит кофе мне, надо снять шляпу, пальцы-то какие холодные — как лед. «Вот вам чашка». А страх-то ее разбирает, дамочка ничего себе, хорошенькая, как тут не согрешить, не попытаться. «Что же вы сами не пьете? За компанию?» — «Нет, нет, скоро жилец придет, который у меня эту комнату снимает». Это она, значит, хочет меня спровадить, где у нее тут жилец, должна была бы хоть кровать стоять. «Только и всего? Бросьте. Жилец раньше обеда не вернется, ведь он же на работе. Да, больше мне мой приятель ничего не рассказывал, велел только забрать товар, — сгорбившись, Людерс с наслаждением прихлебывает кофе. — Кофе-то какой горячий. А на улице сегодня холодно, что ж ему было мне еще рассказывать? Разве это правда, что вы вдова, это так и есть?» — «Да». — «Значит, муж ваш умер? На войне убили?» — «Послушайте, я занята. Мне надо готовить». — «Ах, дайте мне еще чашечку. Куда вам торопиться? Такими молодыми мы уж с вами больше не встретимся. А что, детки у вас есть?» — «Уходите, пожалуйста. Вещи вы уже получили, а у меня нет времени». — «Ну, ну, не сердитесь, еще, того гляди, полицию вызовете, из-за меня вам это можно и не делать, я и так уйду, вот только допью чашку. И что

это у вас вдруг времени нет? На днях у вас хватило времени, сами знаете на что. Впрочем, как хотите, я не таковский, я уйду».

Нахлобучивает шляпу, встает, сует сверток со шнурками под мышку, медленно подходит к двери, вот уже миновал ее и вдруг быстро оборачивается: «А денежки? Пожалуйста-ка». Левая рука вытянута, указательный палец подманивает. Дамочка прикрывает рукой рот, маленький Людерс подходит вплотную: «Только крикни у меня. Видно, деньги даешь только, когда имела мужчину? Что, видишь теперь? Все знаем. Между приятелями секретов не бывает». Этакое свинство, сука проклятая, еще и траур носит, охотнее всего залепил бы ей в морду, ничем не лучше моей старухи. У дамочки лицо пылает, но только справа, слева оно белее снега. В руках она держит портмоне, перебирает в нем пальцами, а широко раскрытыми глазами уставилась на шупленького Людерса. Ее правая рука протягивает ему монетки. Выражение лица у нее неестественное. Палец Людерса продолжает подманивать. Она высypяет ему в ладонь все, что в портмоне. Тогда он возвращается в комнату, к столу, стаскивает с него красную вышитую скатерть и прячет к себе за пазуху, дамочка кричит, не в силах выдать ни звука или хотя бы раскрыть рот, стоит, не шелохнется, у двери. Он хватает еще две подушки с дивана, затем айда в кухню, выдвигает ящик кухонного стола, роется в нем. Эх, одна старая оловянная дрянь, ну, а теперь ходу, не то еще подымется шум, крик. Тут дамочка хлоп на пол без чувств, выметайся живо.

По коридору, осторожно закрыть входную дверь, вниз по лестнице и — в соседний дом.

Сегодня навьлет прострелена грудь⁴

Это было в чудесном раю. Воды кишели рыбою, на земле произрастали деревья, резвились звери земные и морские и птицы.

Но вот что-то зашуршало в листве дерева. Змей, змей, змей высунул голову из листвы, змей жил в раю, и был он хитрее всех зверей полевых, и заговорил он, заговорил с Адамом и Евой⁵.

Неделю спустя Франц, с букетом в тонкой бумаге, неторопливо подымается по лестнице, думает о своей толстухе, упрекает себя, хоть и не совсем всерьез, останавливается, а ведь хорошая она у меня девушка, верная, так что брось ты эти штучки, Франц, ах, ерунда, это ж для дела, дело есть дело⁶. Он звонит, улыбается в предвкушении, ухмыляется, еще бы, горячий кофе, хорошенькая куколка. Вот кто-то идет, это она. Он приосанивается, держит наготове перед деревянной дверью букет, там, за дверью, закладывают цепку, сердце его колотится, в порядке ли галстук, ее голос спрашивает: «Кто там?» А он, со смешком: «Поч-таль-он».

Узкая черная щелка в дверях, видны глаза, он нежно наклоняется, улыбается, размахивает букетом. Тр-рах. Дверь захлопывается, запирается. Тр-р-р-р, задвигается задвижка. Черт возьми! Дверь заперта. Вот стерва! Стой, значит, как дурак. Что ж это она, с ума спятила? А может быть, не узнала? Все в порядке: коричневая дверь, коричневая филенка, Франц стоит на площадке лестницы, галстук на месте. В чем же дело. Просто не верится. Надо еще раз позвонить, или лучше не звонить? Он смотрит на руки — ага, букет, куплен только что на углу, за одну марку, вместе с шелковой бумагой. Звонит еще раз, два раза, очень долго. Вероятно, хозяйка квартиры еще возле самой двери, заперлась и ни гу-гу, затаила дыхание, выдерживает Франца на площадке. А ведь у нее остался весь товар — марки, пожалуй, на три будет, неужели ж так оставить, бросить? Вот теперь кто-то там зашевелился, это она ушла на кухню. Черт знает, что такое!

Спустился с лестницы. Снова поднялся: надо еще раз позвонить, надо убедиться, вероятно, она меня не видела, не узнала, приняла за кого-нибудь другого, за нищего, много их шляется. Но, очутившись перед дверью, он не звонит. Апатия. Только стоит ждет. Та-ак, значит, она, значит, не откроет, хотелось бы, по крайности, знать. В этом доме, стало быть, больше торговать не будем, а что делать теперь с букетом, целая марка на него истрачена, придется выбросить. И вдруг он звонит еще раз, словно по команде, и спокойно ждет, так и есть, она даже к двери не подходит, знает, что это он. Тогда остается только передать через соседей записку, надо же как-нибудь получить обратно товар.

Он звонит в соседнюю квартиру, но там никого нет. Хорошо, напишем записку. Франц подходит к окну, отрывает белый уголок от газетины и пишет огрызком карандаша: «Раз вы не открываете, я хочу свой товар обратно, сдайте его Клауссену, на углу Эльзассерштрассе».

Сволочь ты, сволочь, если б ты только знала, что я за человек и как я раздался с одной такой же штучкой, ты бы не ломалась. Ну, ладно, там видно будет. А следовало бы взять топор да высадить дверь. Записку он осторожно просовывает в щелочку над порогом.

Весь день Франц ходит мрачный. На следующее утро, перед тем как ему встретиться с Людерсом, трактирщик передает ему письмо. Это от нее. «Больше ничего не было?» — «Нет, а что?» — «Пакета с товаром не приносили?» — «Нет, вот только письмо какой-то мальчик принес, вчера вечером». — «Вот как? Что ж, может быть, мне надо самому сходить за товаром».

...Минуты две спустя Франц подходит к окну рядом со стойкой, опускается на деревянную скамью, письмо у него в безжизненно повисшей левой руке, он плотно сжимает губы, бессмысленным взглядом глядя поверх стола. Людерс, этот негодяй, появляется как раз в ту самую минуту, замечает Франца, видит, как тот сидит, эге, это с ним неспроста, и шмыг обратно за дверь.

К столу подходит хозяин: «Почему же Людерс убежал? Он ведь еще не забрал своего товара». Франц сидит да сидит. Да разве такое бывает на свете?

Ноги у него, как отрубленные. Нет, ничего подобного во всем мире не найти. Неслыханная, небывалая вещь. И никак не встать, ни за что. А Людерс пусть себе бежит, раз у него ноги есть, он и бежит. Вот мерзавец-то, даже и представить себе нельзя.

«Послушайте, Биберкопф, не хотите ли коньяку? Умер у вас кто-нибудь, что ли?» — «Нет, нет». Что это он говорит? Не разобрать, словно ватой уши заложило. Но хозяин не отстает. «Почему Людерс так скоро убежал? Не обидят же его тут. Бежит, будто в него стреляют». — «Людерс? Вероятно, у него дела. Да, коньяку». Франц опрокидывает рюмку в рот. Мысли так и разбегаются. Черт возьми, что это такое написано в письме? «Вот у вас тут конверт упал. Не хотите ли просмотреть утреннюю газету?» — «Благодарю вас». Он раздумывает дальше: хотелось бы знать, в чем тут дело с этим письмом, и почему она пишет такие вещи? Ведь Людерс рассудительный человек, отец семейства. Франц старается понять, как все это произошло, и при этом голова у него тяжелеет и падает, как во сне, вперед, трактирщик думает, что Франц просто устал, но это какая-то особенная бледность, ширь и пустота, в которой скользят ноги Франца, и он падает туда, как мешок, повернувшись влево, все ниже и ниже, на самое дно.

Франц лежит головой и грудью на крышке стола, смотрит из-под руки на стол, дышит на него, крепко обхватив руками голову: «А что, толстуха, Лина-то, уже здесь?» — «Нет, она ведь приходит только к двенадцати». Верно, верно, сейчас еще только девять, я еще ничего не заработал, и Людерса тоже нет.

Что ж теперь делать? И вдруг осенило, и он до боли закусил губу: это же возмездие, это за то, что его выпустили, когда другие еще копают картошку на тюремном огороде рядом с большой свалкой, а ему приходится развезжать на трамваях, проклятие, ведь там было вовсе не плохо. Он встает, надо выйти на воздух, отстранить все это от себя, только не поддаваться панике, все пройдет, я твердо стою на ногах, и до меня не так-то легко добраться, не так-то легко. «Когда придет моя толстуха, передайте ей, что у меня умер родственник, я получил печальное известие, дядя или что-нибудь в таком роде. А в обед я сюда не приду, так чтоб она меня не ждала. Сколько с меня?» — «За одну кружку, как обыкновенно». — «Так, так». — «А пакет вы здесь оставите?» — «Какой пакет?» — «Ишь, как вас проняло, Биберкопф. Ну, да не унывайте, будьте мужчиною. А пакет я вам сохраню в целости». — «Какой такой пакет?» — «Ну, ступайте-ка на свежий воздух».

Биберкопф уже на улице. Хозяин глядит в окно ему вслед: «Пожалуй, приведут его сейчас же назад. Ну и дела! Подумать — такой крепкий человек. То-то толстуха глаза выгаращит».

Перед домом стоит небольшого роста бледный человек, правая рука у него на перевязи, кисть — в черной кожаной перчатке. Он уже с час стоит тут, на самом солнцепеке, и не решается подняться к себе. Он только что из больни-

цы. У него две дочери, уже большие, а мальчик был у него последний, четырех лет, и вот умер вчера в больнице. Сперва это была простая ангина. Доктор сказал, что сейчас зайдет еще, а сам пришел только под вечер и сразу заявил: подозрителен по дифтериту, в больницу. Мальчик пролежал там месяц, уже совсем было поправился и вдруг заболел скарлатиной. А через два дня, вчера, умер, сердце не выдержало, сказал главный врач.

Человек стоит у ворот, жена будет кричать и плакать, как вчера, всю ночь, и упрекать его, что он не взял мальчика из больницы три дня тому назад, когда тот был уже совсем здоров. Но ведь больничная сестра говорила, что у него еще есть в горле бактерии и что раз в квартире живут другие дети, то опасно. Жена сразу же не хотела верить, но ведь возможно, что случилось бы что-нибудь с другими детьми. И вот он стоит. У соседнего дома о чем-то кричат и ругаются. Вдруг этот человек вспоминает, что в больнице, когда он привез туда ребенка, его спросили, была ли ребенку вприснута противодифтеритная сыворотка. Нет, говорит, не была. Целый день все ждали прихода врача, а он явился только вечером, и сразу — в больницу.

Человек этот, инвалид войны, немедленно припускается почти бегом, пересекает улицу, мчится до угла, к врачу, говорят, доктора нет дома. Но он орет, что сейчас время дообеденное, и доктор должен быть дома. Дверь приемной распахивается. Лысый, толстопузый господин вглядывается в него, а затем уводит его к себе в кабинет. Человек стоит, рассказывает про больницу, ребенок умер, доктор жмет ему руку.

«Вы ж заставили нас ждать всю среду, с утра до шести часов вечера. Мы два раза посылали к вам, а вы не шли». — «В конце концов я же пришел». Инвалид снова принимается орать. «Я калека, мы на фронте кровь проливали, а нас заставляют ждать, думают, с нами все можно». — «Да вы присядьте, успокойтесь. Ведь ваш ребенок умер вовсе не от дифтерита. В больнице сплошь да рядом случаются такие заболевания из-за переноса заразы». — «Несчастный случай, несчастный случай! — орет инвалид. — А нас заставляют ждать, будто мы уж и не люди, пускай, значит, наши дети околевают, как мы сами околевали».

Полчаса спустя инвалид медленно спускается с лестницы, вертится возле своего дома туда-сюда на солнышке и наконец подымается к себе. Жена возится у плиты. «Ну что, Пауль?» — «Ну что, мать?» Поникнув головами, они берутся за руки. «Ты еще не обедал, Пауль? Я тебе сейчас подам». — «Я ходил к тому доктору, поговорил с ним насчет того, что он не пришел к нам в среду. Будет он меня помнить». — «Да ведь наш Паульхен умер вовсе не от дифтерита». — «Это безразлично. Я так ему и сказал. Но если бы ребенку сразу сделали впрыскивание, его не пришлось бы отправлять в больницу. Вообще не пришлось бы. А ведь доктор не явился. Ну, я ж его и проучил. Надо ж и о других подумать, чтоб такие вещи не повторялись. Может быть, это каждый день бывает, почем знать». — «Да уж ешь ты, ешь. Что же тебе доктор-

то ответил?» — «Он, знаешь, человек не плохой. Тоже — не молодой ведь, а целыми днями приходится ему бегать и работать. Сам понимаю. А случится беда, ничего не поделаешь. Мне он дал выпить рюмку коньяка, чтоб я успокоился. И супруга его тоже вышла». — «А ты верно очень орал, Пауль?» — «Нет, совсем нет; только вначале, а потом у нас все было тихо-мирно. Он и сам согласился, что сказать ему об этом следовало. И он вовсе не плохой человек, но об этом ему надо было сказать».

Его сильно трясет, пока он ест. Жена плачет в соседней комнате, затем они вместе пьют за плитой кофе. «Это настоящий, Пауль». Он нюхает кофе в чашке: «Сразу по запаху слышать».

*А завтра в сырой могиле,
нет, мы сумеем воздержаться*

Франц Биберкопф исчез. В тот день, когда он получил то самое письмо, Лина отпрашивается после обеда к нему на квартиру. Она связала ему коричневую жилетку и хочет потихоньку положить ее ему на кровать. И вот, поверите ли, сидит человек дома, когда обычно он в это время торгует, в особенности же теперь, перед Рождеством, сидит у себя на кровати, придвинув к ней стол, и возится с будильником, который для чего-то разобрал. Лина сперва было испугалась, что он дома, и, пожалуй, заметил у нее эту жилетку, но он ни на что не обращает внимания, все только глядит на стол да на будильник. А ей это как раз и к стати, так что ей удалось живым манером спрятать жилетку около самой двери. Но затем он так мало говорит, что это с ним, никак с похмелья, и что это он делает за лицо, такого у него никогда не было, только все ковыряется со своим паршивым будильником, да и то будто спяна. «Да ведь будильник был у тебя совсем в порядке, Франц». — «Нет, нет, он был испорчен, знаешь, все как-то хрипел, звонил не вовремя, ну да я найду, в чем дело». И то мудрит чего-то над ним, то положит его и начинает ковырять у себя в зубах, а на нее даже и не глядит. Тогда она убирается восвояси, ей становится как-то не по себе, пускай сперва проспится. А когда вечером возвращается, то его уж и след простыл. Расплатился, сложил пожитки, забрал, полностью рассчитался, и как она должна теперь отметить его из дома: выбыл, не дав сведений. Вероятно, скрывается от полиции, а?

После этого прошло 24 ужасных часа, пока Лине удалось, наконец, отыскать Готлиба Мекка, который может ей помочь. Этот Мекк тоже переехал на другую квартиру, так что Лина обегала после обеда чуть ли не все питейные заведения, насилу нашла его. Он понятия ни о чем не имеет, что могло случиться с Францем, у Франца здоровые мускулы, человек он с головой, так отчего бы ему раз-другой и не отлучиться? Не натворил ли он чего-нибудь

такого? Нет, абсолютно исключено. Тогда, может быть, у нее с Францем произошел маленький скандал, а? Да ничего подобного, я же ему еще и жилетку связала. На следующий день Мекк отправляется к бывшей Францовой хозяйке, потому что Лина не отстает от него. Да, Биберкопф сломя голову взял и выехал, тут что-нибудь неладно, всегда он был весел, еще и в то самое утро, тут, видно, заварилась какая-нибудь каша, в этом ее, хозяйку, не разубедить, ведь все, все забрал с собою, ни бумажки после него не осталось, сами взгляните. Тогда Мекк говорит Лине, чтоб она не беспокоилась, уж он это дело расследует. Пораскинул он умом и тотчас же верхним чутьем старого торговца напал на след и отправился к Людерсу. Тот сидит у себя в норе со своим ребенком; а где Франц? Франц, твердит упрямо Людерс, бросил его, даже остался ему кое-что должен, забыл, вероятно, с ним рассчитаться. Этому Мекк уже никак не может поверить, разговор у них продолжается больше часу, но из Людерса ничего не выгнать. Вечером Мекк и Лина застают его в пивной, что напротив его дома. И тут-то дело налаживается.

Лина ревет и дает кой-какие указания. Людерс, говорит она, во всяком случае должен знать, где Франц, потому что еще утром их видели вместе, и Франц же наверное что-нибудь сказал, хоть словечко. «Ничего он не говорил». — «Значит, с ним что-нибудь случилось?» — «С ним да случилось? Просто, натворил что-нибудь и скрылся, только и всего». Нет, ничего он не натворил, Лине ничего такого не втолкуешь. Он ничего худого не сделал, в этом она голову даст на отсечение, и надо заявить в полицию. «Что ж, ты думаешь, он заблудился, а теперь его нашли и привели в участок?» Людерс смеется. Уж очень эта маленькая толстуха убивается. «Ах, что же нам теперь делать, что нам делать?» Наконец Мекку, который сидит молча и знай наматывает на ус, становится невмоготу, и он делает Людерсу знак головой. Он хочет поговорить с Людерсом наедине, потому что так все равно ничего не получится. Людерс выходит с ним из пивной. В лицемерной беседе они доходят по Рамлерштрассе почти до самой Гренцштрассе.

И вот там, где так темно, что хоть глаз выколи, Мекк неожиданно набрасывается на маленького Людерса. Он избил его ужасно. Когда Людерс, лежа на земле, попробовал было закричать, Мекк достал из кармана носовой платок и засунул его ему в хайло. А затем велел подняться и показал мальшу свой открытый нож. Оба задыхались. Тогда Мекк, еще не придя в себя от возбуждения, посоветовал тому убираться подобра-поздорову, а завтра разыскать Франца. «Как ты его, стервец, отыщешь — мне все равно. Но если ты его не отыщешь, то мы возьмемся за тебя втроем. Не бойся, тебя мы уж найдем, паренек. Хоть бы и у твоей старухи».

Бледный и молчаливый вышел на следующий вечер по знаку Мекка маленький Людерс из пивной, и они уединились в задней комнате. Прошло несколько минут, пока хозяин зажег для них газовый рожок. И вот они стоят

друг против друга. Мекк спросил: «Ну, что? Был?» Тот кивнул. «Вот видишь. Ну, и?» — «Нет никакого “и”». — «Что же он сказал? И как ты вообще докажешь, что был у него?» — «Ты, Мекк, видно, думаешь, что он должен был проломить мне голову, как ты? Нет, на этот раз я подготовился». — «Ну, так в чем же дело?»

Людерс молча подошел ближе: «Выслушай меня, Мекк, и сообрази. Если хочешь доброго совета, то я тебе скажу, хоть Франц и твой друг, но из-за него тебе не стоило вчера со мной таким манером разговаривать. Ведь это ж было чуть ли не смертоубийство. Причем между нами ничего до сих пор не было. А уж из-за него и подавно не стоит».

Мекк уставился на него, ой, влепит он сейчас этому негодяю, как вчера, и пусть хоть при свидетелях, сколько бы их там ни было. «Ну да, он же совсем спятил. Разве ты ничего не заметил, Мекк? У него, видно, не все дома». — «Перестань, перестань. Это мой друг. Ты перестань, ради бога, у меня даже поджилки трясутся». Мекк садится, и Людерс рассказывает.

Он застал Франца между пятью и шестью; живет он совсем рядом со своей прежней квартирой, тремя домами дальше, люди видели, как он вошел туда с картонкой и парой ботинок в руках, и ему действительно сдали комнатку наверху в боковом флигеле. Когда Людерс постучался и вошел, Франц лежал на кровати, свесив на пол ноги в сапогах. Его, Людерса, он узнал, потому что под потолком горела лампочка, это, стало быть, Людерс, вот он, негодяй, чего это он? У Людерса в левом кармане нож, и руку он держит в кармане. А в другой руке деньги, несколько марок, которые он кладет на стол, болтает то, се, юлит туда, сюда, а голос-то хриплый, показывает шишки, которые набил ему Мекк, вспухшие уши и чуть не плачет от досады и злости.

Биберкопф сел на кровати; лицо у него то совсем жесткое, то дрожат в нем какие-то жилочки. Он указывает на дверь и тихо говорит: «Вон!» Людерс положил перед ним несколько марок и, вспомнив Мекка и его угрозы, просит расписку, что был у него, или не наведаться ли самому Мекку или Лине? Тогда Биберкопф встает во весь рост, в ту же секунду Людерс шмыг к двери и держится за ручку. А Биберкопф идет наискосок в глубину комнаты, к умывальнику, берет умывальную чашку и — что вы на это скажете? — с размаху выплескивает из нее воду через всю комнату прямо Людерсу под ноги. От земли ты взят и в землю возвратишься⁸. У Людерса даже глаза на лоб вылезли, он отскакивает в сторону, нажимает на ручку. Тогда Биберкопф берет кувшин, воды в нем еще много, много воды у нас, смоем всю грязь, от земли ты взят, и с размаху — в того, который еще стоял у двери и которому холодная, как лед, вода попадает за воротник и в рот. Тут уж Людерс дает ходу, захлопывает за собой дверь и был таков.

А в задней комнате пивной он ядовито шепчет: «Свихнулся человек, сам видишь, чего тебе еще». Мекк спрашивает: «Какой номер дома? У кого он живет?»

Потом Биберкопф поливал да поливал свою комнату. Брызгал рукою во все стороны — все должно быть чисто, все прочь, вот теперь еще открыть окно, и пусть дует, чтобы чужого духу тут не было. (Никаких обваливающихся домов, никаких соскальзывающих крыш. Все это осталось позади, Раз Навсегда Позади!) Когда стало холодно, он с недоумением уставился на пол. Надо бы убрать, подтереть, а то еще протечет нижним жильцам на головы, пятна пойдут. Потом закрыл окно и растянулся на кровати. (Умер. От земли ты взят и в землю возвратишься.)

Ручками мы хлоп, хлоп, хлоп, ножками мы топ, топ, топ.

Вечером Биберкопф в этой комнате уже не проживал. Куда он выехал, Мекку установить не удалось. Маленького Людерса, который был полон злобой решимости, он повел в свою пивную к скотопромышленникам. Они должны были выпытать у Людерса, что такое собственно произошло и что это было за письмо, которое передал Францу лавочник. Но Людерс не поддавался и смотрел таким затравленным зверьком, что они беднягу в конце концов отпустили. Даже сам Мекк сказал: «Он свое уж получил».

Мекк рассуждал так: Франца либо Лина обманула, либо он рассердился на Людерса, либо что-нибудь еще. Скотопромышленники говорили: «Людерс — жулик и плут, в том, что он рассказывает, нет ни слова правды. А может быть, он и в самом деле сошел с ума, Биберкопф-то. Странности у него были уже и тогда, помните, когда он взял себе торговое свидетельство, а товара у него еще и в помине не было. Ну вот, а теперь оно и проявилось, после каких-нибудь неприятностей». Но Мекк стоял на своем: «Это могло броситься у него на печеньку, но не на голову. Голова — абсолютно исключена. Ведь он же атлет, рабочий тяжелого физического труда. Он был первоклассный перевозчик мебели, роялей и тому подобное, у него это не могло броситься на голову». — «Как раз у таких-то оно и бросается на голову. Голова у таких людей особенно чувствительная. Голова у них работает слишком мало, и чуть что — она сейчас же и сдает». — «Ну, а как обстоит у вас, скотопромышленников, с вашими судебными делами? Вы же все — народ крепкий». — «У скотопромышленника мозги прочные. А то как же? Если бы наш брат вздумал расстраииваемся. Что люди заказывают товар, а затем отказываются от приемки или не желают платить, — это случается в нашем деле чуть ли не каждый день. У людей, видите ли, никогда нет денег». — «Или есть, да не наличные». — «И это бывает».

Один из скотопромышленников взглянул на свой грязный жилет: «Я, знаете, пью дома кофе с блюдечка, вкуснее, знаете, только вот каплет». — «А ты подвяжи себе детский нагрудничек». — «Чтоб моя старуха меня засмеяла? Нет, это у меня руки начинают трястись, вот, погляди».

А Франца Биберкопфа Мекк и Лина так и не находят. Они обегали пол-Берлина, но этого человека не нашли.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Собственно говоря, с Францем Биберкопфом не произошло никакой беды. Рядовой читатель удивится и спросит: в чем же дело? Но Франц Биберкопф — не рядовой читатель. Он замечает, что его принципы, как они ни просты, содержат какую-то ошибку. Он не знает, в чем она состоит, но уже одно то, что она есть, повергает его в глубочайшее уныние.

Вы увидите здесь, как этот человек пьянствует и вот-вот погибнет. Но это еще не так страшно, Францу Биберкопфу предстоят более крупные неприятности.

Горсточка людей вокруг Алекса

На Александрплац разворачивают мостовую для подземки¹. Люди ходят по доскам. Трамваи идут через площадь на Александрштрассе и по Мюнцштрассе до Розентальских ворот. Направо и налево — улицы. На улицах — дом к дому. И дома эти, от подвалов до чердаков, набиты людьми. Внизу — магазины и лавки.

Кабачки, рестораны, фруктовые и овощные торговли, колониальные товары и гастрономия, отпуск лошадей и экипажей, декоратор и живописец, мастерская дамских нарядов, мука и зерновые продукты, автогараж, пожарное товарищество: преимущества пожарного насоса с маленьким двигателем — простота конструкции, легкость обслуживания, малый вес, малый объем. — Германцы! Никогда ни один народ не был обманут более гнусно, никогда ни одна нация не была введена в заблуждение более позорно, более недостойно, чем германский народ². Помните, как 9 ноября 1918 года из открытого окна здания рейхстага Шейдеман обещал нам мир, свободу и хлеб?³ А как было выполнено это обещание?! — Водопроводная мастерская, трудовая артель принимает на себя мытье окон в домах, сон есть лечебное средство, Райские кровати Штейнера⁴. — Книжный магазин, библиотека современного человека, наши полные собрания сочинений выдающихся писателей и мыслителей входят в состав библиотеки современного читателя. Они — великие представители европейской духовной жизни. — Закон о защите прав квартиронанимателей — простой клочок бумаги. Цены на квартиры неуклонно повышаются. Среднее сословие ремесленников выбрасывается на улицу и таким образом удушается, судебный исполнитель пожинает обильную жатву⁵. Мы требуем общественных кредитов в размере до пятнадцати тысяч марок для кустарной промышленности и немедленной отмены всяких описей имущества у кустарей. Встретить предстоящее тяжелое испытание вполне подготовленной — таково желание и долг каждой женщины. Все помыслы и чувства будущей матери обращены к еще нерожденному ребенку. Поэтому правильный выбор питания для будущей матери является особенно важным. Настоящее карамельно-солодовое пиво Энгельгардта⁶ отличается более всякого другого напитка приятным вкусом, питательностью, легкой усвояемостью и освежающим действием. — Обеспечьте детей и семью, застраховав свою жизнь в Швейцарском Обществе страхования жизни в Цюрихе. — У Вас душа радуется! У Вас душа радуется, когда Вы обставляете свою квартиру мебелью известной фабрики Геффнера. Все, о чем Вы мечтали, как об идеале комфорта и уюта, оказывается превзойденным чудесной действительностью. И сколько бы ни прошло лет, эта мебель продолжает ласкать взор, а ее прочность и практичность радуют Вас снова и снова...

Охранные общества охраняют всё⁷, их агенты ходят повсюду, проникают всюду, видят всё, проверяют контрольные часы, несут охрану и ночные дежур-

ства в Берлине с пригородами и в других городах. Товарищество для охраны складов и помещений в Германии, дежурная часть по охране складов и помещений в Берлине и пригородах, бывший отдел охраны Хозяйственного объединения берлинских домовладельцев, центральная охрана Берлин-Вестен, общество Охрана, общество Шерлок, Шерлок Холмс — полное собрание сочинений Конан Дойля, общество для охраны складов и помещений в Берлине и других городах, воспитатель Ваксман, воспитатель Флаксман⁸, прачечное заведение, белье напрокат Аполлон, прачечное заведение Адлер принимает стирку всякого носильного и постельного белья, специальность — тонкое мужское и дамское белье.

А над торговыми заведениями и позади них находятся жилые помещения, дальше идут дворы, боковые флигели, задние флигели, поперечные флигели, садовые флигели. Это — Линиенштрассе, а вот и дом, куда, как в нору, забился Франц Биберкопф после своей скверной истории с Людерсом.

На улицу выходит шикарный магазин готовой обуви, с четырьмя большими окнами-витринами, покупателей обслуживают шесть барышень, конечно, если есть кого обслуживать; получают они около 80 марок в месяц каждая, а в лучшем случае, когда доживут до седых волос, — 100 марок. Этот шикарный, большой обувной магазин принадлежит одной старухе, которая вышла замуж за своего управляющего; с тех самых пор она спит в комнатке за магазином, и живет ей неважно. Он — молодец-мужчина, дело поставил на должную высоту, но вот беда: ему нет еще и 40 лет, и, когда он поздно возвращается домой, старуха лежит и не может сомкнуть глаз от злости. — На первом этаже живет адвокат. Принадлежит ли дикий кролик в герцогстве Саксен-Альтенбург к животным, на которых распространяется Положение об охоте?⁹ Ответчик не прав, оспаривая мнение ландгерихта, что дикий кролик в герцогстве Саксен-Альтенбург должен быть причислен к животным, на которых распространяется означенное Положение. Какие животные подлежат правилам этого Положения и какие могут быть истребляемы свободно — этот вопрос получил в отдельных германских государствах весьма различное разрешение. При отсутствии особых указаний в законе он решается на основании обычного права. В проекте Положения об охоте от 24.02.54 дикий кролик еще не упоминался. — В 6 часов вечера в конторе появляется уборщица, подметает, обтирает линолеум в приемной. На пылесос у господина присяжного поверенного все еще не хватает денег, этакий сквальга, причем он даже вовсе и не женат, и фрау Циске, которая называет себя экономкой, это отлично знает. Уборщица старательно чистит и трет, она невероятно худа, но гибка, и трудится в поте лица для своих двоих детей. Значение жиров для питания: жир покрывает выступы костей и защищает лежащую под ними ткань от давления и толчков, поэтому сильно исхудавшие субъекты жалуются на боль в подошвах при ходьбе¹⁰. К данной уборщице это, впрочем, не относится.

За письменным столом сидит в 7 часов вечера присяжный поверенный Левенхунд и работает при двух настольных лампах. По уголовному делу А 8 780–27 по обвинению Гросс: представляя при сем доверенность, выданную мне обвиняемой фрау Гросс, честь имею просить о выдаче мне общего разрешения на свидание с заключенной. — Фрау Евгении Гросс, Берлин. Многоуважаемая фрау Гросс, я уже давно намеревался навестить Вас, однако вследствие того, что завален работой и, кроме того, не совсем здоров, никак не сподобился. Рассчитываю быть у Вас в ближайшую среду и прошу Вас вооружиться до тех пор терпением. С совершенным почтением. На письмах, денежных переводах и почтовых посылках должен быть указан адрес отправителя и номер заключенного. Адресовать следует так: Берлин NW 52, Моабит 12a¹¹.

— Господину Тольману. По делу Вашей дочери я вынужден просить у Вас дальнейшего взноса гонорара в сумме 200 марок. Хотя бы частями. — Многоуважаемый господин присяжный поверенный, так как мне очень хотелось бы навестить мою несчастную дочь в Моабите, но я не знаю, к кому обратиться, то убедительно прошу Вас устроить, чтобы я могла туда приехать. И вместе с тем написать прошение, чтобы я могла посылать моей дочери два раза в месяц передачу, съестные продукты. Пребываю в ожидании Вашего скорейшего ответа в конце этой или в начале будущей недели. Фрау Тольман (мать Евгении Гросс). — Присяжный поверенный Левенхунд встает, с сигарой в зубах, глядит в щель между половинками занавески на светлую Линиенштрассе и раздумывает, позвонить этой особе по телефону или не звонить. Половые болезни по собственной вине¹², оберландгерихт во Франкфурте I, С 5. Если даже менее строго судить о нравственной допустимости половых сношений для неженатых мужчин, все же необходимо признать, что в правовом отношении налицо имеется элемент виновности, что внебрачное половое общение, как говорит Штауб¹³, является экстравагантностью, связанною с известными опасностями, и что нести последствия должен тот, кто позволяет себе такую экстравагантность. Согласно этому, Планк¹⁴ рассматривает вызванное внебрачным сожительством заболевание военнообязанного как следствие грубой с его стороны неосторожности. — Он снимает трубку, пожалуйста станцию Нейкельн, номер такой-то.

Второй этаж: управляющий и две толстые супружеские четы — его брат с женой и его сестра с мужем и больной девочкой.

Третий этаж, полировщик мебели, мужчина 64 лет, с лысиной. С ним живет его разведенная дочь, ведет хозяйство. Этот жилец каждое утро с грохотом спускается по лестнице; сердце у него плохое; он скоро выйдет на пенсию как нетрудоспособный (склероз венечных сосудов¹⁵, перерождение сердечной мышцы¹⁶). В молодости он занимался греблей, а что он может сейчас? Читать по вечерам газету, покуривать трубку, а дочь в это время, конечно,

должна судачить с соседками на лестнице. Жены у него нет — умерла в 45 лет, была бойкая, горячая, все ей было мало, понимаете, а потом с ней вдруг что-то такое случилось, может быть, через год у нее наступил бы климактерический период, а она, ничего не сказав, пошла к акушерке, от нее — в больницу, да так оттуда и не вышла.

Рядом с ним — токарь, человек лет тридцати, у него маленький сынишка и одна комната с кухней, жена умерла от чахотки, сам он тоже кашляет, ребенок весь день в детском очаге¹⁷, а вечером отец заходит за ним. Когда мальчик уже спит, отец готовит себе чай, возится до поздней ночи со своим радио, состоит председателем Общества радиолюбителей и не в состоянии заснуть, пока не закончится вся передача.

Далее — кельнер с одной особой, комнатка с кухней, очень чистенькая, а на газовом рожке — колпак с бисерной бахромой. Кельнер бывает дома до двух, спит или играет на цитре, в то самое время, как присяжный поверенный Левенхунд носится, высунув язык, в черном таларе¹⁸ по коридорам ландгерихта 1, 2 или 3, в комнату присяжных поверенных, из комнаты присяжных поверенных в зал заседания, из зала заседания, откладывает дела, просит о вынесении заочных решений. Невеста кельнера служит на контроле в одном универмаге. Так она по крайней мере говорит. Этого кельнера, когда он был еще женат, страшно обманывала жена. Но она снова и снова умела утешить его, пока он, наконец, не сбежал. Он снял где-то угол, но все приходил к жене, а в суде был тем не менее признан виновной стороной, потому что ничего не мог доказать и злонамеренно покинул жену. После этого он познакомился в Хоппегартене¹⁹ со своей теперешней, которая охотилась там на мужчин. Ясно, того же калибра женщина, что и его первая, только похитрее. А он ничего не замечает, когда его невеста чуть ли не каждую неделю бывает в отъезде, якобы по делам службы, с каких же это пор контролерши разъезжают по другим городам, ну допустим, у нее особенно ответственная должность. В данную минуту кельнер сидит у себя на диване с мокрым полотенцем на голове, плачет, а она должна за ним ухаживать. Он поскользнулся на улице, упал и очень сильно ушибся. Так он по крайней мере говорит. Просто ему кто-то что-то сболтнул. Она в этот день на службу не идет. Неужели он что-нибудь заметил, было бы жаль, такой славный дурачок. Ну да ничего, уж как-нибудь с ним поладим.

На самом верху живет торговец кишками, там, конечно, скверно пахнет и много детского крика и алкоголя. Наконец, рядом с ним — пекарь с женой, которая работает накладчицей в типографии и страдает воспалением яичника. Что эти двое имеют от жизни? Ну, во-первых — друг друга, а затем — театр или кино в прошлое воскресенье и, наконец, время от времени — собрание в союзе или визит к его родителям. И больше ничего? Ах, пожалуйста, не больно-то задавайтесь, господин хороший. Ко всему этому можно до-

бавить еще хорошую погоду, плохую погоду, экскурсии за город, стояние возле теплой печки, завтраки и так далее. А вы-то что имеете от жизни, господин капитан, ваше превосходительство, господин жокей? Ну, так и нечего вам задаваться.

*Биберкопф под наркозом,
Франц забился в нору, Франц
ни на что не желает глядеть*

Франц Биберкопф, берегись, что должно получиться от такого невозможного образа жизни? Нельзя же все только лежать да лежать у себя в комнате, бессмысленно уставившись в одну точку и пьянствовать, пьянствовать...

А кому какое дело, чем я занят? Захотел лежать, уставившись болван болваном в одну точку, и буду лежать, хоть до послезавтра... Он грызет себе ногти, стонет, ворочает голову на потной подушке, сопит... Пролежу так до послезавтра, если не надоест. Только бы эта баба у меня топила. Ленивая она, думает только о себе.

Голова его отворачивается от стены, на полу какая-то каша, лужа... Блевотина. Должно быть, я сам. И что только человек у себя в желудке таскает. Тьфу! В сером углу – паутина, ею мышью не поймаешь. Водички бы выпить. Кому какое дело. Ох, поясница болит. Войдите, фрау Шмидт. Между паутинами, там, наверху (черное платье, длинные зубы). Это ж ведьма (спускается с потолка). Тьфу! Какой-то идиот спросил, почему я вечно сижу дома. Во-первых, говорю я, идиот вы этакий, какое право вы имеете меня спрашивать, во-вторых, какое ж это «вечно», когда я с 8 и до 12 нахожусь здесь. А потом в пивнухе. А тот в ответ: я пошутил, говорит. Нет, нет, так не шутят. Кауфман это тоже сказал, пусть он к нему и обратится. А я, может быть, так устрою, что в феврале, да, в феврале или марте, – нет, в марте вернее...

...Не потерял ли ты своего сердца в природе? Нет, там я его не потерял. Правда, мне чудилось, будто извечный дух готов был увлечь меня, когда я стоял перед альпийскими исполинами или лежал на берегу рокошущего моря. Тогда что-то вздымалось и бушевало и во всем моем существе. Сердце мое было потрясено, но не терял я его ни там, где гнездятся орлы, ни там, где рудокопы добывают скрытые в недрах земли металлы...²⁰

...Где же тогда?

Не потерял ли ты своего сердца в спорте? В бурливом потоке юношеского движения? В горячих политических схватках?..

...Нет, не там...

...Значит, ты его нигде не терял?

Значит, ты принадлежишь к тем, которые нигде не теряют своего сердца, а оставляют его себе, тщательно его оберегают и консервируют?..

Путь в сверхчувственный мир, публичные лекции²¹. День поминовения усопших:²² Все ли кончается со смертью? Понедельник, 21 ноября, 8 часов вечера: Можно ли еще в настоящее время верить? Вторник, 22 ноября: Может ли человек измениться? Среда, 23 ноября: Кто есть праведник перед Господом? Обращаем особое внимание на постановку декламаториума «Павел»²³.

Воскресенье, семь сорок пять.

Добрый вечер, господин пастор. Я — рабочий Франц Биберкопф, живу случайным заработком. Прежде был перевозчиком мебели, а сейчас — безработный. Дело в том, мне хотелось вас о чем-то спросить. А именно, что можно сделать против рези в животе? Подымается все что-то такое кислое. Ух, опять! Ф-фу! Вот ядовитая-то желчь. Конечно, от пьянства это. Простите, извините, что обращаюсь к вам на улице. Я понимаю, это неудобно, что вы — при исполнении служебных обязанностей. Но что же мне делать с этой ядовитой желчью. Должен же христианин помогать ближнему. Вы ведь хороший человек. А в рай я не попаду. Почему? Спросите фрау Шмидт, которая все время спускается с потолка. Но мне никто не имеет права что-нибудь сказать. А если существуют преступники, то кому об этом и судить, как не мне. Преданный до гроба, Карлу Либкнехту мы в этом поклялись, Розе Люксембург протягиваем руку²⁴. Я попаду в рай, когда умру, и они преклонятся предо мною и скажут: это — Франц Биберкопф, преданный до гроба, германец, человек неопределенных занятий, преданный до гроба, гордо вьется черно-бело-красное знамя²⁵, но сей человек сохранил это про себя, не стал преступником, как другие, которые хотят быть германцами, а сами обманывают своих сограждан. Будь у меня под рукою нож, я всадил бы его в живот. Да, я это сделаю. (Франц беспокойно ворочается в кровати, бьется.) А теперь ты собираешься бежать к пастору, паренек. Э-э-эх, паренек! Если это доставляет тебе удовольствие и если ты еще в состоянии скрипеть. Эх, ты! Преданный до гроба, нет, господин пастор, не буду марать рук об него, не стоит, таким мерзавцам даже в тюрьме нет места, я-то был в тюрьме, я-то это во как знаю, первейшее дело, первосортный товар, трогать руками не допускается; не место там подлецам, в особенности таким, как этот, который посовестился бы хоть перед своей женой да и перед всеми добрыми людьми.

Дважды два — четыре, тут ничего не попишешь.

Вы видите перед собой человека, простите, что я вас на пути к служебным обязанностям, но у меня такие боли в животе. Впрочем, я сумею сдержаться. стакан воды, фрау Шмидт. Всюду эта дрянь должна совать свой нос.

*Франц бьет отбой,
Франц играет обоим евреям
прощальный марш*

Франц Биберкопф, сильный как кобра, но нетвердо стоящий на ногах, встал и пошел на Мюнцштрассе к евреям. Пошел он туда не прямым путем, а сделал огромный крюк. Этот человек хочет со всем покончить. Начисто. Итак, снова пошли, Франц Биберкопф. Погода сухая, холодная, ветреная, кому охота стоять теперь где-нибудь в воротах, быть уличным торговцем и отмораживать себе пальцы на ногах. Преданный до гроба. Хорошо еще, что человек выбрался из своей конуры и не слышит больше этого бабьего визга. Вот он, наш Франц Биберкопф, вон он шагает по улице. Все пивные пусты. Почему? Вся шпана еще спит. Хозяева пивных могут пить свою бурду сами. Акционерную бурду. А нам что-то не хочется. Мы дуем шнапс.

Франц Биберкопф спокойно продвигал свое тело в серо-зеленой солдатской шинели²⁶ сквозь гущу людей — скромных домохозяек, покупавших с возов овощи, сыр и селедку. Луку зеленого, луку!

Что ж, люди делают, что могут. Дома у них дети, голодные рты, птичьи клювики: хлоп-хлоп, стук-стук, открываются, закрываются.

Франц прибавил шагу, завернул за угол. Вот так — свежий воздух. Мимо больших витрин он прошел спокойнее. Сколько стоят сапоги? Лакированные башмачки бальные, должно быть, красиво выглядят на ноге, этакая цыпочка в бальных башмачках. Обезьяна-то Лиссарек, старик чех с большими ноздрями, там, в Тегеле, чуть ли не каждый месяц получал от жены, или кто бы она ни была, пару чудных шелковых чулок, то пару новых, то пару ношенных. Смехота! И хоть укради их, а подавай ему чулки. Вот раз мы его и накрыли, как у него чулки были надеты на грязные ноги, а он, стервец, глядит себе на ноги, возбуждается, и уши у него горят, умора. Мебель в рассрочку, кухонная мебель с рассрочкой платежа на 12 месяцев.

Биберкопф удовлетворенно проследовал дальше. Лишь время от времени он был вынужден обращать внимание на тротуар. Тогда он тщательно глядел себе под ноги, всматриваясь в гладкий, твердый, прочный асфальт. А затем его взор быстро взбегал по фасадам домов и убеждался, что они стояли неподвижно, не шевелясь, хотя, собственно, у такого дома масса окон, и он легко может качнуться вперед. Потом это передастся крышам и увлечет их за собою, так что и они закачаются. Начнут колебаться, раскачиваться, трястись. И могут соскользнуть косо вниз, как песок, как шляпа с головы. Ведь они же все, все укреплены под уклоном на своих стропилах, весь ряд. Правда, они прибиты гвоздями к толстым бревнам, а затем их еще держит толь, смола. Мы встанем крепкою стеной, не отдадим наш Рейн родной²⁷. Здравия желаем, господин Биберкопф, мы идем с вами, старина, выпятив грудь, выпрямив спину, по

Брунненштрассе. Бог всех людей милует, мы ведь граждане германского государства, как говаривал начальник тюрьмы.

Кто-то в кожаной фуражке, с дряблым бледным лицом, выпятив нижнюю губу, сцарапывал мизинцем маленький прыщик у себя на подбородке. Рядом, немного наискосок от него, стоял другой человек, с широкой спиной и отвислым задом брюк. Оба занимали весь проход. Франц обошел их кругом. Тот, который был в кожаной фуражке, стал ковырять пальцем в правом ухе.

Франц с удовольствием отметил, что все люди спокойно шли по улице, возчики выпружали товар, соответствующие учреждения заботились о домах, несется клич, как грома гул, что ж, можем и мы тут идти. На углу на тумбе для объявлений, красовались желтые афиши с большими черными латинскими буквами: «Ах, жил ли ты на Рейна прекрасном берегу?»²⁸, «Король полузащиты»²⁹. Пять человек стояли тесным кругом на асфальтовой мостовой и, взмахивая молотами, раскалывали асфальт. Э, да того, который в зеленой шерстяной фуфайке, мы знаем, определенно, значит, он нашел работу, что ж, это и мы можем, когда-нибудь в другой раз, работа немудреная: молот держишь в правой руке, взмахиваешь им, подхватываешь левой и — вниз, р-раз! Мы — рабочий люд, мы пролетариат³⁰. Правой вверх, левой подхватывай, р-раз, правой вверх, левой подхватывай, два. Осторожно, стройплощадка, работы ведет Штралауская асфальтовая компания³¹.

Он принялся лавировать вокруг, вдоль гудящего трамвайного пути, воспрещается соскакивать во время движения! Подожди! Пока вагон не остановится! Движение регулируется полицейским, какой-то почтальон спешит все же прошмыгнуть. Ну а Францу спешить некуда, он же собирается только зайти к евреям, и они от него не уйдут. А сколько грязи пристало к сапогам, впрочем они и так-то были нечищены, потому что кому же их чистить, уж не фрау ли Шмидт, она палец о палец не ударит (паутина на потолке, кислая отрыжка. Франц посасывает небо, поворачивает голову в сторону витрин: автомобильное масло Гаргойль, мастерская по вулканизации автошин, модные дамские прически, пиксафон, патентованное средство для рощения волос³²). А не могла ли бы почистить сапоги толстуха Лина? И в ту же минуту Франц ускорила шаг.

Мошенник Людерс, письмо той дамочки, я тебя ножичком в брюхо-то еще пырну. — Охосподихосподи, Франц, брось ты эти мысли, хорошо, мы сумеем сдержаться, сволочи, мы о такую мразь мараться не будем, довольно с нас, насиделись мы в Тегеле. Ну, что тут еще: мужское платье, готовое и на заказ, это во-первых, а во-вторых — обивка автомобильных корпусов, автопринадлежности, тоже важно для быстрой езды, но только не слишком быстрой.

Левой, правой, левой, правой, вперед, не спеши, торопиться некуда, фрейлейн. Все равно, как шупо при несчастном случае. Что это значит? Поспешись, людей насмешись. Кукареку, кукареку, поют петухи. Франц повеселел, и все встречные лица казались ему привлекательнее.

Теперь он уже с радостью углубился в знакомую улицу. Дул холодный ветер, смешанный то с теплыми испарениями подвалов, то с запахом фруктов, то бензина. Асфальт зимою не пахнет.

У евреев Франц просидел на диване с добрый час. Они говорили, и он говорил, они удивлялись, и он удивлялся. Чему же он удивлялся, когда сидел на диване, и они говорили, и он сам говорил? Да тому, что он там сидел и говорил, и они говорили, и больше всего удивлялся самому себе. А почему он удивлялся самому себе? Он заметил и понял это сам, он констатировал это, как счетовод констатирует арифметическую ошибку. Просто взял и констатировал.

Дело было решенное; и тому решению, которое он нашел в себе, он и удивлялся. В то самое время, как он глядел собеседникам в лицо, улыбался, спрашивал и отвечал, это решение было уже готово и гласило: Пускай они себе говорят, что хотят; на них талары, но они не пасторы, это просто лапсердаки, ведь они же из Галиции³³, из-под Львова, сами рассказывали, они хитрые, но меня не проведут. Я сижу у них здесь на диване, но дел с ними иметь не буду. Вот и все.

В последний раз, когда Франц был тут, он сидел с одним из них на полу, на ковре. Интересно было бы еще раз попробовать. Но нет, не сегодня, дело прошлое. Поэтому мы и сидим, точно пригвожденные, и во все глаза глядим на евреев.

Что ж, человек не машина, больше своих сил дать не может. Одиннадцатая заповедь гласит: не будь дураком. А хорошая у братьев квартира, простая, без затей, без роскоши. Ну да этим Франца не удивишь. Франц умеет сдерживаться. Прошло то времечко. Спать, спать, у кого есть кровать, у кого ее нет, ложись на паркет³⁴. Теперь с работой покончено. От этого человека больше не ждите работы. Если в насос набьется песку, то сколько ни качай. И вот Франц выходит на пенсию, но без пенсии. Как же это так, думает он про себя, поглядывая на краешек дивана, пенсия да без пенсии?

«А если у человека столько силы, как у вас, если он такой здоровяк, то он должен благодарить Создателя. Что ему сделается? Разве нужно ему непременно пьянствовать? Может, заняться не тем, так другим. Может, например, пойти на рынок, стать перед лавками, стать у вокзала; как вы думаете, сколько содрал с меня намедни такой вот человек, когда я на прошлой неделе ездил на один день в Ландсберг, ну, как вы думаете, сколько? Угадай, Нахум, человек с эту дверь, настоящий Голиаф³⁵, храни меня Бог. Пятьдесят пфеннигов. Да, да, пятьдесят пфеннигов! Слышите — пятьдесят пфеннигов! За малюсенький чемоданчик, снести как отсюда до угла. Я-то сам не хотел нести — день был субботний. И вот этот человек содрал с меня пятьдесят пфеннигов. Я на него так посмотрел. Вот и вы могли бы — постойте, я знаю дело для вас. Нельзя ли будет у Фейтеля, у хлеботорговца, скажи-ка, Нахум, ты ведь знаешь Фейтеля». — «Самого Фейтеля — нет. Знаю его брата». — «Ну да, он же торгует

хлебом. А кто его брат?» — «Сказано — брат Фейтеля». — «Да разве я знаю всех людей в Берлине?» — «Брат Фейтеля? Человек с капиталом, как у...» От не-удержимого восхищения он замотал головою. Рыжий воздел руки и втянул шею: «Ой, что ты говоришь. А ведь он из Черновиц!» Они совершенно забыли про Франца. Они усиленно задумались над богатством Фейтелева брата. Рыжий, шмыгая носом, в волнении шагал по комнате. Второй мурлыкал, как кот, излучал довольство, саркастически улыбался ему вслед, щелкал ногтями: «М-да!» — «Замечательно! Что ты на это скажешь?» — «Все, что идет из той семьи, — золото. Золото — это даже не то слово. Зо-ло-то!» Рыжий походил взад-вперед и, потрясенный, сел у окна. То, что происходило за окном, преисполнило его презрения. Два человека без пиджаков мыли автомобиль, старенький. У одного из них подтяжки болтались вокруг ног. Эти люди принесли два ведра воды, и весь двор был залит. Задумчивым, замечтавшимся о золоте взором рыжий принялся разглядывать Франца: «Ну? Что вы на это скажете?» А что тот может сказать? Бедный человек, наполовину потерявший голову, — что такой голошпанник понимает в деньгах Фейтеля из Черновиц, ведь он ему сапог не чистит. Франц ответил на его взор таким же вопрошающим взором. С добрым утром, господин пастор, трамваи всё так же трезвонят, но мы уже знаем, в чем дело, и ни один человек не может дать больше, чем у него есть. Теперь — шабаш, и, если б даже весь снег сгорел, мы палец о палец не ударим, будет, довольно.

Змей, шурша, сполз с дерева. Проклят будь перед всеми скотами, будешь ходить на чреве своем, будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и женою. В боли будешь рождать ты детей, Ева. Адам, проклята земля за тебя, тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травой³⁶.

Не желаем больше работать, не стоит, пускай себе весь снег сгорит, а мы палец о палец не ударим.

Вот это и был тот железный ломик, который Франц Биберкопф держал в руках, с которым он все время сидел, а потом и вышел в дверь. Его уста что-то говорили. Явился он сюда в большой нерешительности, из тюрьмы в Тегеле его выпустили уже несколько месяцев тому назад, он ехал на трамвае, дзинь-дзинь, по улицам, вдоль домов, а крыши сползали на него, и он потом сидел у евреев. Он встал, ну-ка, пойдём теперь дальше, в тот раз я же пошел к Минне, чего я тут еще не видал, айда, идем к Минне, вспомним, как все это было.

Он ушел. Стал слоняться перед домом, где жила Минна. Впрочем, какое мне дело до нее. Пускай себе цацкается со своим стариком. Репа и капуста выпнали меня, если бы мать варила мясо, то остался б я³⁷. Здесь кошки воняют тоже не иначе, чем на даче³⁸. Пропади, зайчишка, как в шкафу коврижка³⁹. Чего ему тут, как идиоту, торчать да на дом глядеть. И вся рота — кругом марш, кукареку!

Кукареку! Кукареку! Так сказал Менелай. Неумьшленно скорбь пробудив в Телемахе; крупная пала с ресницы сыновней слеза при отцовом имени; в обе схвативши пурпурную мантию руки, ею глаза он закрыл.

Той порою к ним из своих благовонных высоких покоев Елена вышла, подобная светлой с копьём золотым Артемиде⁴⁰.

Кукареку! Есть много куриных пород. Но если спросить меня по совести, каких кур я больше всего люблю, я чистосердечно отвечу: жареных. К отряду куриных относятся еще и фазаны, а в Жизни животных Брэма говорится: Карликовая болотная курочка отличается от болотного кулика не только меньшим ростом, но и тем, что самец и самка имеют весною почти одинаковое оперение. Исследователям Азии известен также мониал или монал, называемый учеными блестящим фазаном. Богатство и яркость его оперения с трудом поддаются описанию. Его приманный зов, протяжный жалобный свист, можно услышать в лесу во всякое время суток, однако чаще всего перед рассветом и к вечеру⁴¹.

Впрочем, все это происходит весьма далеко отсюда, между Сиккамом⁴² и Бутаном⁴³ в Индии, и для Берлина является довольно бесплодной книжной премудростью.

*Ибо с человеком бывает как со скотиною;⁴⁴
как эта умирает, так и он умирает*

Скотобойня в Берлине. В северо-восточной части города, между Эльденарштрассе⁴⁵ и Таэрштрассе⁴⁶, через Ландсбергераллее вплоть до самой Котениуштрассе⁴⁷, вдоль окружной железной дороги тянутся здания, корпуса и хлевы скотобойни и скотопригонного двора.

Скотобойня занимает площадь в 47,88 гектаров⁴⁸ и обошлась, не считая зданий и строений за Ландсбергераллее, в 27 083 492 марки, из которых на скотопригонный двор приходятся 7 миллионов 672 844 марки, а на бойни — 19 миллионов 410 648 марок.

Скотопригонный двор, бойни и оптовый мясной рынок образуют в хозяйственном отношении одно нераздельное целое. Органом управления является Комитет скотобойни и скотопригонного двора, в состав которого входят два члена магистрата, один член районного совета, 11 гласных городской думы и 3 депутата от населения. На производстве занято 258 человек, в том числе ветеринары, санитарные врачи, клеймовщики, помощники ветеринаров, помощники санитарных врачей, штатные служащие, рабочие. Правила внутреннего распорядка от 4 октября 1900 года содержат общие положения, регулирующие порядок пригона и содержания скота и доставку фуража. Тариф сборов

заключает в себе таксы рыночного сбора и сборов за простой, за убой и, наконец, за уборку кормушек в свинарниках.

Вдоль всей Эльденаерштрассе тянется грязно-серая каменная ограда, с колючей проволокой поверху. Деревья за ней стоят голые, время зимнее, и деревья в ожидании весны послали все свои соки в корни. Повозки для мяса, с желтыми и красными колесами, запряженные сыгыми лошадьми, подкатывают на рысях. За одной повозкой бежит тощая кобыла, кто-то с тротуара зовет — Эмиль, начинается торг, 50 марок за кобылу и магарыч на восьмерых, кобыла вертится на месте, дрожит, грызет кору с дерева, возница дергает ее, 50 марок, Отто, и магарыч, не то проваливай. Покупатель еще раз ощупывает кобылу: ладно, заметано.

Желтые здания администрации, обелиск в память убитых на войне. А справа и слева длинные бараки со стеклянными крышами, это — хлевы, где скот ожидает своей участи. Снаружи — черные доски: Собственность объединения берлинских мясоторговцев-оптовиков. Устав утвержден правительством. Объявления на этой доске допускаются лишь с особого разрешения, президиум.

В длинных корпусах устроены двери, черные отверстия для впуска скота с номерами: 26, 27, 28. Помещение для крупного рогатого скота, помещение для свиней, самые бойни: место казни животных, царство обрушивающихся топоров, отсюда ты не уйдешь живым. К ним примыкают мирные улицы, Штрасмаништрассе, Либигштрассе, Проскауерштрассе, а затем: зеленые насаждения, где гуляют люди. Люди живут скученно, в тепле, и если кто-нибудь захворает, например, заболит горло, то сейчас же бегут за врачом.

А с другой стороны на протяжении пятнадцати километров проложены пути кольцевой железной дороги. Скот прибывает из провинций, из Восточной Пруссии, Померании⁴⁹, Бранденбурга⁵⁰, Западной Пруссии едут представители овечьей, свиной и бычьей породы. Блеют, мычат, спускаясь по сходням. Свины заходят и обнохивают землю, не догадываясь, куда их ведут, за ними бегут погонщики с палками. Свины ложатся в хлевы и лежат белые, жирные, плотно прижавшись друг к другу, спят, храпят. Ведь их так долго гнали, потом трясли в вагонах, теперь под ними ничего не стучит, только очень уж холодны эти каменные плиты, животные пробуждаются, напирают на соседей. Лежат чуть ли не в два яруса. Вот две свины начинают драться, в загоне есть место, но они то прут, хрипя, друг на друга, норовя укусить противницу в шею или в ухо и вертяться волчком, то затихают, лишь изредка огрызаясь. Наконец, одна, не выдержав, обращается в бегство, перелезая через других, победительница лезет за нею, кусается, нижний ярус приходит в движение, расплзается, и враги проваливаются вниз, продолжая возню.

В проходе появляется человек в холщовой куртке, отпирает ворота и разгоняет свиней дубинкой, дверь открыта, животные устремляются в нее, подымаются визг, хрюканье, крики. И вот все стадо уже несется по проходу. Белых забавных свинушек с толстыми, потешными ляжками, с веселыми хвостика-

ми завитушкой и зелеными или красными пометками на спине гонят по дворах куда-то между бараками. Вот вам дневной свет, дорогие свинки, вот вам земля под ногами, нюхайте, ройте ее — столько-то еще минут. Впрочем, вы правы — нельзя работать с часами в руках. Нюхайте, нюхайте и ройте. Вас зарежут, для этого вы и приехали сюда, вот это, извольте видеть бойня, бойня для свиней. Есть тут и старые здания, но вы попадаете в новейшее, так сказать, — образцовое. Оно светлое, выстроено из красного кирпича, по внешнему виду его можно принять за слесарную или какую-нибудь другую мастерскую, или за канцелярию, или за чертежную. Ну, я пойду с другого хода, дорогие мои свинки, потому что я человек, я пройду вон в ту дверь, а внутри мы снова встретимся.

Толчок в дверь, она пружинит, раскачивается туда, сюда. Ух ты, какой там пар! Что это они там парят? Все помещение заволокло паром, словно в бане, это, может быть, свиней парят в русской бане? Идешь, не видя куда, очки запотели, не лучше ли раздеться догола, пропотеешь, избавишься от ревматизма, ведь одним коньяком не вылечишься, идешь, шлепаешь туфлями. Ничего не разобрать, пар слишком густой. Но этот визг, хрипенье, шлепанье, мужские голоса, лязг каких-то приборов, стук крышек. Здесь где-то должны быть свиньи — они вошли с той стороны, с продольной. Ах, этот густой, белый пар. Э, да вот и свиньи, вон, вон висят, уже мертвые, обрубленные, почти готовые в пищу. Рядом с ними стоит человек и поливает из шланга белые, рассеченные на две половины туши. Они висят на железных кронштейнах, головами вниз, некоторые в целом виде, через задние конечности просунут брусок, что ж, убитое животное ничего уж не может делать, оно не может и убежать. Обрубленные свиные ноги лежат целой грудой. Два человека приносят средь облаков пара на железной штанге только что освежеванную, выпотрошенную свинью. Поднимают ее на блоке, подвешивают на крючья. Там покачиваются уже много ее товаров, тупо разглядывают каменные плиты пола.

Словно в тумане, проходишь по залу. Каменные плиты пола — рифленые, сырые, кое-где кровь. Между кронштейнами ряды белых, выпотрошенных животных. Позади них должны находиться убойные камеры, там непрерывно что-то шлепает, стучит, визжит, кричит, хрипит, хрюкает. А вон там стоят клубящиеся котлы, чаны, откуда и идет весь этот пар, рабочие опускают убитых животных в кипяток, ошпаривают их и вытаскивают красивыми, белыми, другой рабочий счищает ножом щетину, свиная туша становится еще белее, совершенно гладкой. И вот тихо и мирно, беленькие, убоготворенные, словно после утомительной ванны или удачной операции или массажа, лежат свинки рядами на скамьях, на досках, не шевелясь в своем сытом покое, и новых белых сорочках. Все они лежат на боку, у некоторых виден двойной ряд сосков, сколько у свиньи сосков, вот, должно быть, плодовые животные. Но у всех, которые здесь, на шее прямой красный шрам, это очень подозрительно.

Снова раздается шлепанье, сзади открывается дверь, пар уходит в нее, загоняют новую партию свиней, бегите, забавные розовые свинушки с потешными ляжками, веселыми хвостиками завитушкой и пестрыми отметинами на спине, бегите тут, а я пройду там, в раздвижную дверь. Бегут они и нюхают воздух в новой камере. В ней холодно, как и в старой, но тут есть еще какая-то сырость на полу, что-то склизкое, красное, невиданное. Они трутся рылами об эти пятна.

Вот стоит бледный молодой человек с прилипшими ко лбу русыми волосами, с сигарой во рту. Обратите внимание, свинки: это последний человек, который занимается вами! Не подумайте о нем плохо, он делает лишь то, что ему полагается по службе. Ему, видите ли, надо свести с вами кой-какие счета административного характера. На нем только сапоги, штаны, рубаха и подтяжки; сапоги выше колен. Это его спецодежда. Он вынимает сигару изо рта, кладет ее на прибитую к стене полочку и достает из угла длинный топор. Это — эмблема его должности и звания, его власти над вами, подобно жестяному значку у сыщика. Он сейчас вам его предъявит. Это какая-то блестящая штучка на длинной деревянной рукоятке, которую молодой человек подымает до высоты плеча над визжащими у его ног маленькими свинками. Они там безмятежно роются, нюхают, хрюкают, а молодой человек похаживает, опустив глаза, и как будто что-то ищет, ищет. Дело, видите ли, касается розыска и установления личности некой особы, замешанной в уголовном процессе, между А и Б... Хрясь! Вот ему попалась одна, хрясь! еще одна. Молодой человек очень расторопен; он предъявил свой мандат, топор с быстротой молнии опустил, окунулся в самую гущу, обухом на одну голову, еще на одну. Ай да мы! Как это бьется вниз! Как дрыгается! Как моментально валится набок. И больше ничего не сознает. Лежит, и только. А что выделывают ноги, голова! Но это выделывает уж не сама свинья, а ее ноги, это их частное, так сказать, дело. И вот два молодца уже заметили из шпарни, что все готово; они приподымают заслонку в стене убойной камеры и вытаскивают оглушенное животное, а затем цырк-цырк нож о точильный брусок, опускаются на колени и чик-чик свинью по горлу, чик длинный разрез, очень длинный, во всю шею, животное вскрывается, как мешок, глубокие, ныряющие надрезы, животное дергается, трепещет, бьется, оно без сознания, сейчас еще только без сознания, а скоро будет хуже, оно визжит, теперь ему вскрывают шейные артерии. Его бессознательное состояние углубляется, мы вступаем в область метафизики и теологии, дитя мое, ты ходишь уже не по земле, мы витаем теперь в облаках. Скорее, скорее давайте сюда плоскую лохань, струится в нее горячая темная кровь, пенится, пузырится в лохани, мешайте ее, живо! В организме кровь свертывается; говорят, образует пробки, закупоривает раны. А вот, вырвавшись из организма, она не хочет свернуться. Словно ребенок, который зовет еще: мама, мама, когда лежит уже на операционном столе, и о маме не может быть и речи, мама далеко, а он чуть не задыхается под маской с эфи-

ром и зовет, зовет до изнеможения: мама! Чик, чик, артерии справа; чик, чик, артерии слева. Живее, мешайте! Так! Теперь конвульсии прекращаются. Теперь ты лежишь неподвижно. С физиологией и теологией покончено, начинается физика.

Боец⁵¹, стоявший на коленях, подымается. Колени у него болят. Свиныю надо ошпарить, выпотрошить, разрубить, все это делается раз за разом. Упитанный заведующий прохаживается, с трубкой в зубах, среди клубов пара взад и вперед, заглядывая время от времени во вскрытые брюшные полости. А на стене рядом с раскачивающейся дверью висит афиша: В зале Фридрихсхайна⁵² бойцами 1-й категории устраивается большой бал, играет оркестр Кермбаха⁵³. Снаружи висит объявление о матче бокса в залах «Германия»⁵⁴, Шоссештрассе 110, входные билеты от 1,50 марки до 10 марок. 4 квалификационных матча.

Скотопригонная площадка: 1399 голов крупного рогатого скота, 2700 телят, 4654 барана, 18 864 свиньи. Настроение рынка: с рогатым скотом хорошего качества ровно, в остальном спокойно. С телятами ровно, с баранами спокойно, со свиньями вначале твердо, к концу слабее, жирные не в спросе.

По скотопригонным трактам гуляет ветер, льет дождь. Мычат быки и коровы, гуртовщики гонят большой, ревуший рогатый гурт. Животные упрямятся, останавливаются, разбегаются в стороны, погонщики носятся за ними с батогами. Бык покрывает посреди гурта корову, корова убегает от него то влево, то вправо, а он не отстает и, ярясь, все снова и снова вскакивает на нее.

В помещении бойни гонят крупного белого быка. Здесь нет пара, нет камер, как для теснящихся стад свиней. По одному входят эти большие, могучие животные, быки, в сопровождении погонщиков в открытые ворота. Перед белым быком простирается окровавленный зал с развешанными в нем половинами и четвертями туш с разрубленными костями. У быка — широкий лоб. Его подгоняют батогами и пинками к бойцу, который слегка ударяет животное плашмя топором по задней ноге, чтобы оно лучше встало. Теперь один из погонщиков обхватывает быка снизу за шею. Животное стоит, поддается, поддается до странности легко, как будто оно на все согласно и не желает сопротивляться, после того как оно все увидело и знает: такова моя судьба, и ничего тут не поделаешь. А может быть, оно принимает жест погонщика за ласку, потому что этот жест выглядит таким невинным. Словом, оно поддается оттягивающим его рукам погонщика и нагибает голову наискосок в сторону, приподняв морду немного кверху.

Но ведь за ним стоит боец, человек с занесенным молотом⁵⁵. Не оглядывайся! Молот, занесенный сильным человеком обеими руками, навис позади быка, над ним, а затем: б-б-бах, вниз! И мускульная сила здорового мужчины — стальным клином в затылок животного. В тот же самый миг, молот еще не отдернут, вскидываются кверху все четыре ноги животного, и грузное тело его

кажется взлетающим на воздух. А затем, словно у него уже нет ног, животное всей своей массой рушится на пол, на судорожно сведенные ноги, лежит с секунду в таком положении и медленно валится набок. Справа и слева ходит вокруг него палач, добывая его все новыми и новыми ударами, по темени, в виски, спи, спи, ты больше не проснешься. Тогда второй боец вынимает сигару изо рта, сморкается в пальцы, вынимает из ножен длинный, как шпага, нож и опускается на колени позади головы животного, конечности которого уже перестали содрогаться в конвульсиях. Они лишь изредка слабо вздрагивают, а заднюю часть туши бросает туда-сюда. Боец что-то ищет на полу, не пуская в дело нож, и требует, чтобы ему подали лохань для крови. Кровь обращается в туше еще совершенно спокойно, мало возбужденная под пульсацией могучего сердца. Правда, спинной мозг раздавлен, но кровь еще спокойно течет по артериям, легкие дышат, кишки работают. А вот сейчас будет пущен в ход нож, и кровь стремительно хлынет наружу, могу себе представить, толстой, в руку, струей, черная, красивая, ликующая кровь. Тогда все это веселье покинет дом, разойдутся загулявшие гости, подымется сутолока — и нет больше привольных пастбищ, теплого хлева, душистого корма, все исчезло, словно его сдуло, и остались только зияющая дыра и жуткая темь, открывается новый мир. Ого, на сцене появился вдруг господин, купивший этот дом, прокладывается новая улица, конъюнктура улучшается, и дом продан на слом. Приносят большой чан, придвигают его. Огромное животное взбрыкивает задними ногами. Нож вонзается ему в шею возле горла, надо осторожно нащупать артерию, у такой артерии очень прочная оболочка, она хорошо защищена. И вдруг она вскрыта, еще одна, и горячим, дымящимся, черным, исчерна-красным ключом бьет из-под ножа и заливает руки бойца буйная, ликующая кровь, гости, гости идут, происходит сцена превращения, из солнца образовалась твоя кровь⁵⁶, солнце спряталось в твоём теле, и вот оно вновь выходит наружу. Животное мощной струей втягивает воздух, словно от удушья или нестерпимого зуда, хрипит, задыхается. Да, трещат стропила дома. И в то время как бока животного страшно вздымаются, один из бойцов берется помочь ему. Если камень хочет упасть, толкни его!⁵⁷ Этот человек вскакивает на быка, на его тушу, обеими ногами стоит на ней, уминает, топчет брюшную полость, еще и еще, чтобы кровь вытекла скорее, вся вытекла. И предсмертный хрип усиливается. Это — долгая одышка, долгое издыхание, с легкими конвульсиями задних конечностей. Они как будто кому-то украдкой кивают. Жизнь постепенно уходит, дыхание прерывается. Грузно поворачивается задняя часть тела, опрокидывается. Вот она, сила земли, сила притяжения. Боец соскакивает с туши. Его товарищ принимается уже отделять кожу вокруг шеи.

Привольные пастбища, душный, теплый хлев.

Об устройстве освещения в мясных лавках. Освещение лавки и витрины должно быть по возможности гармонично согласовано. Чаще всего предпо-

чение отдается прямому полурассеянному свету. Вообще более целесообразны осветительные приборы для прямого света, потому что хорошо освещены должны быть главным образом прилавки и чурбан, на котором рубят мясо. Искусственный дневной свет, получаемый посредством синих фильтров, для мясных лавок непригоден, потому что мясные продукты постоянно требуют такого освещения, при котором не страдает их натуральный цвет.

Фаршированные ножки. Тщательно очищенные ножки раскальваются вдоль так, чтоб кожа еще держалась, наполняются фаршем, складываются и перевязываются ниткой⁵⁸.

...Послушай, Франц, две недели торчишь ты уже в своей убогой конуре. Твоя хозяйка скоро выставит тебя вон. Ты же не в состоянии платить, а она сдает комнаты вовсе не ради своего удовольствия. Если ты в ближайшее время не возьмешься за ум, придется тебе перебраться в ночлежку. А что будет тогда, да, что будет тогда? Свою конуру ты не проветриваешь, к парикмахеру не ходишь, оброс густой коричневой щетиной, 15 пфеннигов на бритве ты бы уж как-нибудь мог наскрести.

*Беседа с Иовом⁵⁹, дело за тобой,
Иов, но ты не хочешь*

Когда Иов всего лишился, чего может лишиться человек, не более и не менее, он лежал в огороде.

— Иов, ты лежишь в огороде, у собачьей будки, как раз на таком расстоянии от нее, что сторожевой пес не может тебя укусить. Ты слышишь лязг его зубов. Пес лает, когда приближаются шаги. Когда ты поворачиваешься, хочешь приподняться, он рычит, бросается вперед, рвется на цепи, скачет, брызжет слюной, пробует укусить.

Иов, это — дворец и огород и поля, которые тебе когда-то принадлежали. Этого пса ты даже совсем и не знал, и огорода, куда тебя бросили, ты тоже не знал, как не знал и коз, которых по утрам гонят мимо тебя и которые, проходя мимо, щиплют траву, пережевывают, уплетают за обе щеки. Они принадлежали тебе.

Иов, теперь ты всего лишился. По вечерам тебе дозволяется заползть под навес. Боятся твоей проказы. Сияя, ты объезжал верхом свои поместья, и люди толпились вокруг тебя. Теперь у тебя перед носом деревянный забор, забор, по которому ползут улитки. Ты можешь изучать и дождевых червей. Это — единственные живые существа, которые не боятся тебя.

Гноящиеся глаза ты, груды несчастий, живое болото, открываешь изредка.

Что мучает тебя больше всего, Иов? Что ты потерял сыновей и дочерей, что потерял все имущество, что мерзнешь по ночам? Что у тебя язвы в горле, в носу? Что, Иов?

— Кто спрашивает?

— Я — только голос.

— Голос исходит из горла.

— Значит, ты думаешь, что я — человек?

— Да, и потому не хочу тебя видеть. Уйди.

— Я только голос, Иов, открой глаза как можно шире, и ты все же не увидишь меня.

— Ах, значит, это бред! Моя бедная голова, мой бедный мозг, меня еще сведут с ума, теперь у меня отнимают еще и мои мысли.

— А хоть бы и так, разве жалко?

— Но я не хочу.

— Хотя ты страдаешь, так ужасно страдаешь от мыслей, ты не хочешь их лишиться?

— Не спрашивай, уйди!

— Но я же их вовсе не отнимаю. Я только хочу знать, что тебя больше всего мучает.

— Это никого не касается.

— Никого, кроме тебя?

— Да, да! И тебя не касается.

Пес лает, рычит, пробует укусить. Несколько времени спустя тот же голос:

— Сыновей ли ты оплакиваешь?

— За меня никому не придется молиться, когда я умру. Я отрава для земли. Плевать должны мне вслед. Иова надо забыть.

— Дочерей?

— Дочери — увы! Они тоже умерли. Им хорошо. А были красавицы. Они подарили бы мне внуков, но их похитила смерть. Они падали одна за другой, как будто Бог, схватив за волосы, поднимал и бросал их, чтоб они разбились.

— Иов, ты не можешь открыть глаза, они слиплись, они слиплись. Ты жалуешься и горюешь, потому, что лежишь в огороде, и собачья будка и болезнь — последнее, что тебе осталось.

— Голос, голос, чей это голос, и где ты скрываешься?

— Не знаю, почему ты плачешься.

— Ох, ох.

— Ты стонешь и тоже не знаешь почему, Иов.

— Нет, у меня...

— Что у тебя?

— У меня нет силы. Вот в чем дело.

— А ты бы хотел ее иметь?

— Нет силы надеяться, нет желанья. У меня нет зубов. Я мягок, мне стыдно.

— Это ты сказал.

— И это правда.

— Да, ты сам знаешь. Это — самое страшное.

— Значит, оно уже начертано у меня на лбу. Какая я тряпка!

— Вот это, Иов, и есть то, от чего ты больше всего страдаешь. Ты бы не хотел быть слабым, ты хотел бы сопротивляться, или уж лучше быть насквозь продырявленным, чтоб не было разума, чтоб не было мыслей, чтоб быть совсем, совсем скотом. Пожелай себе чего-нибудь.

— Ты меня уж так много спрашивал, голос, теперь я верю, что ты имеешь право меня спрашивать. Исцели меня! Если можешь... Сатана ли, или Бог, или ангел, или человек — исцели меня.

— Ты от любого принял бы исцеление?

— Исцели меня!

— Иов, подумай хорошенько, ты не можешь меня видеть. Если ты откроешь глаза, ты, может быть, испугаешься меня. Быть может, я заставлю заплатить тебя высокой, страшной ценой.

— Это мы увидим. Ты говоришь, как те, которые относятся к делу серьезно.

— А если я сатана или дьявол?

— Исцели меня!

— Я — сатана!

— Исцели меня!

Тогда голос отступил, стал слабее, слабее. Пес залаял. Иов в страхе прислушивался: он ушел, а я хочу чтоб меня исцелили, или хочу умереть. Он визгливо закричал.

Наступила страшная ночь. Голос снова явился.

— А если я — сатана, как справишься ты со мной?

Иов крикнул:

— Ты не хочешь меня исцелить. Никто не хочет мне помочь, ни Бог, ни сатана, ни ангел, ни человек.

— А ты сам?

— Что я?

— Ты же сам не хочешь!

— Что?

— Кто может помочь тебе, раз ты сам не хочешь?

— Нет, нет, — лепечет Иов.

А голос ему в ответ:

— Бог и сатана, ангел и люди — все хотят тебе помочь, но ты сам не хочешь... Бог — по милосердию, сатана — чтоб завладеть тобой впоследствии,

ангел и люди — потому что они помощники Бога и сатаны, но ты сам не хочешь.

— Нет, нет! — вопил, лепетал Иов и бросался наземь.

Он кричал всю ночь. Голос непрерывно взывал:

— Бог и сатана, ангелы и люди хотят тебе помочь, но ты сам не хочешь!

А Иов непрерывно:

— Нет, нет!

Он старался заглушить голос, но голос усиливался, крепчал все более и более, все время преобладал. Всю ночь. К утру Иов пал ниц.

Безмолвно лежал Иов.

В тот день зажили первые его язвы.

*И у всех одно дыхание,
и у человека нет преимущества перед скотиною⁶⁰*

Скотопригонная площадка: свиней 11 548 штуки, крупного рогатого скота 2016 голов, телят 1920, баранов 4450.

А что делает вон тот человек с хорошеньким теленочком? Он ведет его на веревке, вот и огромный зал, в котором режут бычки, человек подводит теленочка к скамье. Таких скамеек там целый ряд, и возле каждой лежит деревянная дубина. Обими руками он подымает теленочка и кладет его на скамью, животное покорно ложится. Он подхватывает его еще снизу и придерживает левой рукой заднюю ножку, чтоб она не дрыгала. А затем берет веревку, на которой привел свою жертву, и крепко привязывает ее к стене. Теленочек терпеливо лежит и ждет. Он не знает, что с ним будет, но ему неудобно лежать на деревянной скамье, он колотится головой о какой-то твердый предмет и никак не может понять, что это такое, а это — кончик дубины, которая стоит на полу и которой ему скоро будет нанесен удар. Это будет его последним соприкосновением с сим миром. И действительно: этот старьёй, простой человек, который стоит тут совершенно один, этот ласковый человек с мягким голосом — он уговаривает теленочка — берет дубину, не очень высоко заносит ее, разве много требуется силы для такого нежного создания, и с размаху опускает ее беспомощному животному на затылок. Совсем спокойно, так, как он привел сюда теленочка и уговаривал его лежать смирно, он наносит удар по затылку, без злобы, без большого волнения, но и без всякого сожаления, что ж поделаешь, раз уж так заведено, а ты у нас хороший теленочек, ты знаешь, что так должно быть.

А теленочек: фр-р-р, фр-р-р, и совсем-совсем цепенеет, замирает, и ножки его вытягиваются. Черные, бархатистые глаза его становятся вдруг очень боль-

шими, застывают, обведены белой каймой, а потом медленно закатываются в сторону. Человеку это уже знакомо, да, так глядят убитые животные, но сегодня предстоит еще много дела, надо торопиться, и он шарит под теленочком по скамейке, где лежит его нож, придвигает ногой лохань для крови. А затем — чик ножом поперек шеи по горлу, одним взмахом перерезаны все хрящики и шейные мускулы, воздух свободно выходит, голова теряет опору и откидывается назад на скамью. Брызжет кровь, темно-красная густая жидкость с пузырьками воздуха. Так, с этим делом покончено. Но человек спокойно, не меняя благодушного выражения лица, режет все глубже и глубже, что-то нащупывает ножом в глубине, ткани еще такие молодые, нежные, и всовывает его между двумя позвонками. Затем он оставляет животное в покое, с шумом бросает нож на скамейку, моет руки в ведре и уходит.

И вот теленочек сиротливо лежит на боку, как его привязали. В зале слышен веселый шум: там работают, что-то таскают, перекликаются. Между ножками скамьи уродливо свисает на полоске шкуры отделенная от туловища голова, залитая кровью и слюною. Распухший и посиневший язык прикушен зубами. И страшно, страшно хрипит на скамье зарезанное животное. Голова трепещет на полоске шкуры. Туловище на скамье сводит судорогой. Ножки дрыгают, брыкают, по-детски длинные, как у ребенка, узловатые ножки. Но глаза совершенно неподвижны, слепы. Это — мертвые глаза. Это — умершее животное.

Благодушный старичок стоит с черной записной книжечкой в руках возле колонны, издали поглядывает на теленочка и что-то подсчитывает. Тяжелые ныне времена, трудно что-нибудь насчитать, трудно угнаться за конкуренцией.

*У Франца открыто окно,
ну и забавные же вещи слышатся на свете*

Солнце всходит и заходит, дни становятся светлее, по улицам разъезжают детские колясочки, на дворе — февраль 1928 года.

До первых чисел февраля пьянствует Франц Биберкопф из отвращения ко всему миру, с горя, так сказать. Пропивает все, что у него есть, ему безразлично, что будет дальше. Он хотел быть порядочным человеком, но на свете есть такие подлецы, мерзавцы и негодяи, что Франц Биберкопф не желает ничего ни видеть, ни слышать из того, что происходит вокруг, и если бы даже ему пришлось стать гопником, он пропьет свои деньги до последнего пфеннига.

И вот, когда Франц Биберкопф докрутился таким манером до первых чисел февраля, просыпается он как-то ночью от шума на дворе. На заднем дворе помещается склад одной оптовой фирмы. Франц, с похмелья, открывает

окно, выглядывает оттуда, да как гаркнет на весь двор: «Убирайтесь к черту, болваны, дураки!» И снова ложится, ни о чем плохом не думая, а те там в один момент стушевались.

Неделю спустя та же история. Франц хотел было уже распахнуть окно и чем-нибудь запустить в нарушителей его покоя, как вдруг подумал: время позднее, около часу, надо бы взглянуть, что это за люди и что они по ночам делают? Что они, в самом деле, тут потеряли и место ли им вообще в этом доме, надо бы проследить.

И верно: ходят они с опаской, с оглядкой, пробираясь вдоль стены. Франц, подглядывая за ними, чуть себе всю шею не свернул, один из них стоит у ворот, на стреме, значит, и вообще они, надо думать, вышли на дело, возьтятся втроем возле большой двери в склад. Ломают замок. И как это они не боятся, что их увидят? Вот что-то скрипнуло — готово, дверь открыта, один остается на дворе, в нише, а двое других уже там, в складе. Тьма — кромешная, на это они, видно, и рассчитывают.

Франц потихоньку закрывает окно. Воздух освежил его. Вот какими делами занимаются люди, день-деньской и даже по ночам, ишь, жулики, взять бы цветочный горшок да садануть им во двор! И что им, собственно говоря, делать в доме, где живут порядочные люди? Абсолютно нечего.

Кругом все тихо, он садится в темноте на кровать, нет, надо еще раз подойти к окну и взглянуть, какого, в самом деле, черта, эти господа хозяйничают на дворе дома, где живет он, Франц. И вот он зажигает восковую свечечку, тянется к бутылке с шнапсом, но, достав ее, не наливает себе.

А в обеденное время Франц спускается во двор. Там уже толпа народу, и плотник Гернер⁶¹ в том числе. Франц с ним знаком, разговоров не оберешься. Опять, говорят, покража. Франц этого Гернера — толк в бок. «Я, — говорит, — всю их компанию видел. Полицию я звать не буду, но если они явятся еще раз во двор дома, где я живу и где я сплю и где им нечего делать, то я сойду вниз и, не будь я Биберкопф, я их раскатаю, хотя бы их было и трое, так, что им костей не собрать». Плотник удержал его за руку. «Если ты что-нибудь знаешь, то вон там агенты уголовного розыска, ступай к ним, можешь подзаработать». — «Оставь меня в покое со своими агентами. Я еще никого не продавал. Пускай себе агенты сами справляются, им за это деньги платят».

И — дальше своею дорогою. А к Гернеру, пока он еще так стоит, подходят два агента и непременно желают узнать, где живет Гернер, стало быть — он сам. Вот ужас-то. Гернер бледнеет до самых мозолей. А затем говорит: «Позвольте-ка, позвольте-ка. Гернер, ну, да, это ж плотник! Позвольте, я вас сейчас проведу». И, не говоря больше ни слова, звонит к себе в квартиру. Жена отпирает, и вся компания вваливается. Последним входит Гернер и толк жену в бок, и палец к губам — молчи, значит, жена-то не знает, в чем дело, а он, руки в брюки, смешивается с другими, с ними еще двое каких-то штатских, оказывается — из страхового общества. Ну, осматривают его квартирку, спрашива-

ют, какой толщины у него стены, да какой пол, постукивают стены да промеривают да записывают. Потому что, видите ли, кражи со склада этой фирмы до того участились, воры настолько обнаглели, что даже пытались проломить стену, после того как на двери и на лестнице была устроена сигнализация, воры успели каким-то образом даже и это пронюхать. Да, стены чертовски тонки, да и весь-то дом чуть держится, не дом, а какое-то пасхальное яйцо крупных размеров, что ли.

Затем все снова выходят во двор, и Гернер за ними следом, словно рыжий в цирке. Теперь подвергают обследованию обе новые железные двери склада. Гернер от них ни на шаг. И вот каким-то случаем посторонился он перед ними, отступил немного, да вдруг задел за что-то ногой, слышит — что-то падает, хват — а это бутылка, и упала-то она на бумагу, так что другим и не слышно. Как это бутылка на двор попала, видно, воры ее забыли, отчего же ее в таком случае не прибрать к рукам, а владельцам она теперь все равно ни к чему. Гернер нагибается, как будто чтоб завязать шнурок от ботинка, а сам бутылку вместе с бумагой — цоп! И так, Ева дала яблоко Адаму, а не упало оно с дерева, оно не досталось бы Еве и не попало бы в адрес Адама⁶². Потом Гернер сунул бутылку себе за пазуху и айда с нею через двор, к жене.

Ну, а жена-то что говорит? Сияет, конечно. «Откуда это у тебя, Пауль?» — «Купил, когда в лавке никого не было». — «Шутишь!» — «Да ты взгляни, настоящий коньяк, что ты на это скажешь?»

Жена сияет, сияет, как медный таз. Опускает занавеску: «Вон там еще такие. Это у тебя оттуда, а?» — «Стояла у стенки, все равно кто-нибудь другой бы взял». — «Послушай, надо ее вернуть». — «С каких же это пор возвращают коньяк, когда его нашли? В кои веки мы можем позволить себе бутылочку коньяку, мать, да еще в такие тяжелые времена? Это было б уж совсем смешно, мать».

В конце концов жена тоже согласилась, что не так оно и страшно, подумаешь, одна бутылка, бутылочка, от этого такая богатая фирма не разорится, и потом, мать, если правильно рассуждать, она вовсе уже не принадлежит фирме, а принадлежит грабителям, и не беречь же ее для них. Это было бы даже противозаконно. И вот супруги попивают коньячок глоток за глотком и рассуждают, что в жизни нельзя зевать и что вовсе не требуется, чтоб все было из золота, потому что и у серебра своя цена есть.

А в субботу опять являются воры, и вот тут-то и начинается интересная вещь. Они вдруг замечают, что по двору ходит кто-то посторонний, вернее, замечает стремщик, который поставлен у забора, ну, те моментально, словно гномы, выскочили со своими карманными фонариками вон из склада и во все лопатки — к воротам, наутек. Но у ворот стоит Гернер, так что те, как борзые, мах-мах через забор на соседний участок. Гернер бежит за ними, боится, что совсем уйдут: «Полно валять дурака, я ж вам ничего худого не сделаю, боже мой, что за остолопы!» Но ему приходится только глазеть, как они сигают

через забор, душа у него разрывается, когда двое уже смылись, только их и видели, вот чумовые, ей-богу, да постойте же! И лишь последний, уже сидя верхом на заборе, пускает ему свет фонарика прямо в лицо. «В чем дело?» Может быть, кто-нибудь из своих сдуру все дело испортил? «Да я же с вами заодно», — шепчет Гернер. Что за диво? «Ну да, заодно. Почему же вы смываетесь?»

Тогда вор, подумав, действительно слезает с забора, один, и принимается разглядывать плотника, который как будто не совсем трезв. Толстому-то, вору-то, теперь не так уж страшно, потому что у плотника нос сизый, и от него спиртом несет. Гернер протягивает ему руку. «Руку, товарищ. Идем вместе». — «Это, верно, ловушка, а?» — «Как так, ловушка?» — «Что ж ты думаешь, я так и поддамся?» Гернер обижен, огорчен, тот, видно, не принимает его всерьез, только бы не убежал, коньяк-то уж больно был хорош, да и жена стала бы ругаться, ух, как стала бы ругаться, если вернуться с длинным носом. И Гернер принимается канючить: «Да нет же, да с какой стати, можешь хоть один зайти, вот тут я живу». — «Да ты кто такой будешь?» — «Управляющий домом, вот кто, ну-ка, может же и мне кой-что в этом деле перепасть». Тут наш вор задумывается; чего, кажется, лучше, самое верное дело, если этот управляющий войдет в компанию, нет ли тут только какого-нибудь подвоха, э, была не была, на что ж у нас револьверы.

Он оставляет лесенку у забора и идет с Гернером по двору. Товарищей его давно уж и след простыл, думают, верно, что он засыпался. Тут Гернер звонит в квартиру на первом этаже. «Послушай, к кому ты звонишь? Кто тут живет?» — «А кто же, как не я? — гордо отзывается Гернер. — Вот, смотри!» Он вынимает из кармана американский ключ и с шумом отпирает дверь: «Ну что, видишь, я или не я?»

И поворачивает выключатель, а жена стоит уже в дверях кухни, вся трясется. Гернер шутливым тоном представляет: «Так что разрешите — моя жена, а это, Густа, — мой коллега». Та трясется, не трогается с места — и вдруг торжественно кивает головой, улыбается, еще бы, ведь это ж пресимпатичный человек, совсем молоденький, красивый человек. Теперь она подходит ближе — вот она: «Послушай, Пауль, нельзя же принимать этого господина так, в коридоре, пожалуйста, зайдите, раздевайтесь, пожалуйста».

Тот охотнее всего ушел бы добру-здорову, но радушные хозяева ни за что не соглашаются, человек диву дается, неужели это возможно, кажется, такие солидные люди, вероятно, им туто живется, ясно, мелким ремесленникам сейчас приходится туго — инфляция и тому подобное. А хозяйка-то все время влюбленно на него поглядывает, ну, он согревается стаканчиком пунша, а затем улетучивается, но дело ему так и остается не совсем ясным.

Как бы то ни было, этот молодой человек, будучи, по-видимому, делегирован шайкой, является уже на следующее утро, сразу после второго завтрака, к Гернерам и весьма деловито осведомляется, не забыл ли он чего у них. Са-

мого Гернера нет дома, только жена, которая встречает его ласково, даже, можно сказать, с покорным смирением и подносит ему рюмочку шнапса, которую он милостиво изволит выкушать.

К великому огорчению обоих супругов, воры не показываются всю неделю. Тысячу раз принимаются Пауль и Густа обсуждать положение, не спугнули ли они чем-нибудь этих молодцов, но нет, ни тот, ни другая не могут себя ни в чем упрекнуть. «Может быть, ты что-нибудь сказал не так, Пауль, у тебя бывает иногда такая грубая манера». — «Нет, Густа, я тут ни при чем, если кто виноват, так это ты, ты делала такое лицо, будто пастор, и это молодого человека и оттолкнуло, потому что он не знал, как себя с нами держать, ужасно, ужасно, что нам теперь делать?»

Густа готова расплакаться; ах, хоть бы пришел опять кто-нибудь из них! И за что это ее попрекают, уж, кажется, она ли не старалась.

И верно, в пятницу наступает великий момент. Стучат. Кажется, стучат. А когда она открывает дверь и ничего не может разобрать, потому что второпях забыла зажечь свет, она уже сразу знает, кто пришел. Так и есть, это длинный, который всегда разыгрывает такого барина, ему, видите ли, нужно переговорить с ее супругом, и он очень серьезен и очень холоден, Густа в ужасе: уж не случилось ли какой беды? Он ее успокаивает: «Нет, нет, у нас будет разговор чисто делового характера»; а затем принимается что-то болтать о помещениях, да о том, что из ничего не может ничего и получиться, и все в таком роде. Они садятся в гостиной, Густа в восторге, что уговорила его остаться, теперь Пауль уж не вправе будет сказать, что это она отвадила его, и она поддакивает и говорит, что она и сама всегда так говорит, и что это, наоборот, совершенно верно, что из ничего ничего и получиться не может. Между ними завязываются долгие рассуждения на эту тему, причем выясняется, что оба собеседника могут привести целый ряд изречений своих родителей, прародителей и родственников по боковой линии в подтверждение того, что из ничего ничего и получиться не может, никогда и нигде, хоть сейчас под присягу, это так, и они оба с этим совершенно согласны. Они приводили друг другу пример за примером из своей собственной жизни, из жизни соседей и так увлеклись разговорами, что едва опомнились, когда раздался звонок и в комнату вошли двое мужчин, предъявивших удостоверения, что они — агенты уголовного розыска, и с ними три страховых агента. Один из агентов уголовного розыска без дальнейших предисловий обратился к гостю: «А вы, господин Гернер, должны нам помочь в этом деле, я говорю по поводу постоянных краж со взломом вот тут на складе. Очень было бы желательно, чтоб вы приняли участие в особой его охране. Владельцы фирмы, вместе со страховым обществом, не откажутся, конечно, возместить все расходы». Потолковали они этак минут десять, а жена Гернера все слушает, и в 12 часов ушли. А оставшиеся впали после этого в такое игривое настроение, что в начале второго между ними произошло нечто совсем неудобосказуемое, что и описать-то

нельзя и от чего им обоим было потом очень даже стыдно. Ибо хозяйке было уже тридцать пять лет, а молодому человеку — лет двадцать, двадцать один. Тут, собственно, суть была не только в годах или в том, что он ростом 1,85 метра, а она — 1,50 метра, а в том, что вообще такое дело случилось, но так уж оно вышло, с разговорами этими да с волнениями да с насмешками над одурченными полицейскими, а в общем и целом было вовсе не плохо, только потом как-то конфузно, по крайней мере для нее, впрочем, это пройдет. Во всяком случае господин Гернер застал в два часа такое веселье и благодушие, ну прямо неопишутые, что лучше и пожелать нельзя. Он и сам тотчас же принял участие в этом веселье.

Так просидели они до 6 часов, и Гернер с таким же восторгом, как и его жена, слушал, что рассказывал длинный. Даже если все это было лишь отчасти правдой, приходилось сознаться, что парни первоклассные ребята, и Гернер только диву давался, какие у нынешних молодых людей разумные взгляды на жизнь. Вот он сам, например, уже немало пожил на свете, а и то с глаз его прямо-таки килограммами спадала чешуя. М-да, когда гость ушел и они стали в 9 укладываться спать, Гернер заявил, что не понимает, как это такие умные парнишки не брезгают его, Гернера, компанией, — вероятно, и Густа должна это признать, в нем есть что-то такое особенное, вероятно, и он представляет какой-нибудь интерес для других. Густа не стала спорить, и старик живо улегся и захрапел.

А утром, перед тем как вставать, он сказал жене: «Знаешь, Густа, я буду не я, если еще раз пойду к какому-нибудь мастеру на стройку и буду там работать. У меня было собственное дело, которое погубило, так что это ж не работа для человека, который был сам себе хозяин, и к тому же меня, того и гляди, рассчитают, потому что я слишком стар. Почему бы мне, в самом деле, не подработать слева, от этой фирмы? Видишь, какие парни-то ловкие? А кто нынче не ловок, тому крышка. Вот я как скажу. А ты?» — «Я и сама давно уж так говорю». — «То-то же. Мне бы, понимаешь, тоже хотелось пожить по-человечески и не отмораживать себе пальцы на работе». Густа на радостях обняла его, в порыве благодарности за все, что он ей давал и еще собирался дать. «А знаешь, старуха, чем нам следовало бы заняться, тебе и мне?» — продолжал Гернер, ущипнув ее за ногу так, что она взвизгнула. — «Валей-ка и ты с нами!» — «Ах, нет, нет!» — «А я говорю да. Ты думаешь, старуха, мы можем обойтись и без тебя?» — «Конечно, ведь вас уже пятеро, и все такие сильные мужчины». Сильные — это да. «Стоять на стреме, — продолжает она ломаться, — и то я не могу. У меня, сам знаешь, расширение вен на ногах».

«Как же я буду вам помогать?» — «Боишься, Густельхен?»⁶³ — «Боюсь? С чего ты взял? А вот было бы у тебя расширение вен и попробовал бы ты тогда бегать! Тут тебя всякий щенок обгонит. А если сцапают меня, то и ты попадешься, потому что я твоя жена». — «А чем я виноват, что ты моя жена?» Он снова с чувством ущипнул ее за ляжку. «Перестань, Пауль. А то ты меня

совсем разволнуешь». — «Ну вот видишь, старуха, будешь совсем другим человеком, если выберешься из этой кислятины». — «Да разве мне самой не хочется? Уж так хочется, так хочется». — «Погоди, все будет, старуха, это еще что, так, пустяки, а ты послушай, что я придумал. Я это дело обделаю сам, один». — «Как так? А другие? Вот тебе и раз!» Ужас какой.

«В том-то и штука, Густа. Мы и без них обойдемся. Знаешь, такие дела с компаньонами никогда не выгорают, это уж старая история. Что, прав я или не прав? Так вот, я и хочу сделаться самостоятельным. Мы к этому делу ближе всех стоим, раз у нас квартира на первом этаже и двор при моем доме. Верно я говорю, Густа, или нет?» — «Да ведь я ж тебе не могу при этом помогать, Пауль, у меня же расширение вен». И вообще — жаль еще и кой-чего другого. И старуха кисло-сладко соглашается на словах, но в душе, где таятся чувства, говорит себе: нет и нет!

Вечером, после того как все служащие в 2 часа ушли со склада и Гернера заперли там вместе с женой, часов в девять, когда в доме все затихло и он как раз собирался приняться за работу, а сторож, вероятно, расхаживал взад и вперед у входа, — что тогда произошло? В дверь склада — стук! Стучат. Как будто стучат, а? Кому ж теперь тут стучаться? Даже непонятно, но факт — стучатся. Ведь некому ж стучаться-то. Склад закрыт. А стучат! Опять стучат. Супруги — ни гугу, пришибились, не отзываются. Опять стучат. Гернер подталкивает жену в бок. «Стучат. Слышишь?» — «Да». — «Что бы это значило?» А она, странно так, совсем не испугалась и только говорит: «Пустяки, не убьют же нас». Нет, убить не убьют, это верно, того, кто там стучится, она хорошо знает, этот ее не убьет, нет, у него длинные ноги и маленькие усики, и, когда он придет, ей будет только приятно. И тут опять постучали, да так настойчиво, хоть и негромко. Господи, да это же условный знак. «Это кто-нибудь, кто нас знает. Не иначе один из наших парней. Мне уже давно так думается, старуха». — «Зачем же ты ничего не говоришь?»

Скок-поскок — Гернер уже у входной двери; откуда эти люди вообще узнали, что он с женой здесь, вот так сюрприз, а тот, за дверью-то, шепчет: «Гернер, открывай!»

И вот, хочешь не хочешь, а приходится открывать. Этакая гадость, такое свинство, так бы и расколотил все кругом вдребезги. А открыть все-таки приходится, это — длинный, один, ее кавалер, но Гернер ничего не замечает, не догадывается, что жена выдала его своему кавалеру, чтобы проявить благодарность. Та-то сияет, когда длинный появляется на складе, и даже не скрывает своей радости, а муж глядит волком, ругается: «Чего зубы скалишь, а?» — «Ах, я так боялась, что это кто-нибудь из дома или сторож». Ну что ж, надо работать и делиться, руганью горю не можешь, такое ведь свинство.

Но когда Гернер попробовал проделать такую штуку вторично, оставив свою старуху дома, потому что она, по его мнению, приносит ему несчастье, — опять постучались, на сей раз уже трое, как будто он их приглашал, и ничего

не поделаешь, когда ты уже у себя в доме не хозяин, попробуй сладь с такими проходами. Тогда Гернер, выведенный из терпения и злой до черта, сказал себе: ладно, сегодня еще поработаем вместе, раз уж я с ними связался, но завтра — шабаш! И если эти сволочи еще раз явятся в мой дом, где я управляющий, и станут вмешиваться в мои дела, то я моментально вызову полицию. Это ж вымогатели, это ж настоящие эксплуататоры.

Итак, они целых два часа работают не покладая рук на складе. Почти всё они перетаскивают в квартиру Гернера, целыми мешками: кофе, сахар, коринку⁶⁴. Подбирают, что называется, подчистó, потом принимаются за ящики со спиртными напитками, всякими наливками и винами, перетащили чуть ли не полсклада. Гернер злится, что все это достанется не ему одному. А старуха его успокаивает. «Я же все равно, — говорит, — не смогла бы столько перетаскать, раз у меня расширение вен». — «А ну тебя с твоим расширением! Давно уж надо было тебе купить резиновые чулки, а ты все экономию наводишь, вечно эта экономия там, где не следует». Из себя выходит старик, а те носят да носят. Густа глядит не наглядится на своего длинного, и он тоже очень гордится ею перед другими парнями, ведь всю эту штуку он сварганил, такой молодец.

Потом, когда они ушли, наработавшись как лошади, Гернер закрывает за ними дверь, запирается у себя в комнате и начинает с Густой выпивать, хоть на этом-то душу отвести. Надо, видите ли, перепробовать все сорта и лучшие из них завтра же с утра сплавить какому-нибудь торгашу, этому они оба заранее радуются, Густа тоже, ведь он же у нее такой хороший муж, и, как-никак, это ее муж, и она ему поможет. Вот и сидят они с 2 часов до 5 утра и пробуют все сорта, да так основательно — с толком, с чувством. И, нализавшись вдрызг, они, весьма довольные результатами этой ночи, валяются с ног, как мешки.

Около обеда надо как будто кому-то открыть дверь. Кто-то звонит, трезвонит, из сил выбивается. Но Гернеры и ухом не ведут. Где уж им, после такой попойки. Но звонки не прекращаются, а вот теперь уже и в дверь колотят — ногами, что ли? Наконец Густа очухалась, вскочила и давай тормошить Пауля: «Пауль, стучат, иди, открой». Тот сперва стал было спрашивать: «Где?», но она выпроводила его, потому, что иначе, того и гляди, дверь разнесут в щепы, вероятно, это почтальон. Ну, Пауль встает, натягивает штаны, отпирает дверь. А посетители — их трое, целая банда — мимо него шасть прямо в комнату, чего им? Неужели это уже наши парнишки за товаром, да нет, это какие-то другие. Да это ж «быки», агенты уголовного розыска, ну и повезло же им на этот раз, а они в себя не могут прийти от изумления, ай да управляющий домом, на полу навалены целые горы, в коридоре, в комнате, как попало, вперемежку, мешки, ящики, бутылки, солома. Комиссар говорит: «Такого свинства я за всю свою жизнь не видывал!»

Ну, а что говорит сам Гернер? Да что ж ему говорить? Ничего он не говорит, ни слова. Таращит глаза на «быков», и мутиг его к тому же, кровопийцы,

будь у меня револьвер, я бы живым не дался, сволочи. Неужели ж всю жизнь стоять на стройке, а господа будут денежки загребать? Эх, дали бы хоть винца глотнуть, но ничего не поделаешь, надо одеваться. «Неужели уж и подтяжки застегнуть нельзя».

А жена его слюни распустила, дрожит. «Да я же ничего, ничего не знаю, господин комиссар, мы ведь не кто-нибудь, а порядочные люди, это нам, верно, кто-нибудь подкинул, вот все эти ящики, потому как мы крепко спали, вы и сами видели, вот, кто-нибудь и сыграл с нами такую штуку, не иначе, как кто-нибудь из нашего же дома, скажите на милость, господин комиссар, Пауль, что же теперь с нами будет?» — «Вы все это в участке расскажете». — «Это, значит, и к нам ночью воры забрались, старуха, — вмешивается в разговор Гернер. — Вероятно, те же самые, которые склад очистили, вот нас и тащат в участок». — «Все это вы можете рассказать потом в участке или в сыскном». — «Не пойду я в сыскное». — «Ну, так мы вас свезем». — «Боже мой, Густа, я же ни звука не слышал, как к нам воры забрались. Спал, как убитый». — «Да ведь и я тоже, Пауль».

Густа хотела было под шумок достать из комода два письма, от длинного, да один из агентов заметил: «Покажите-ка. Или нет, положите обратно. Обыск будет потом».

А она с азартом: «Что ж, ваша сила. И как вам не стыдно врывать в чужую квартиру?» — «Ну, вперед! Пошли!»

Она плачет, на мужа и не глядит, катается по полу, не идет, так что приходится тащить ее силой. А муж ругается на чем свет стоит, вырывается, кричит: «Негодяи, не смейте женщину оскорблять!» Настоящие преступники, грабители, вымогатели, понимаете, скрылись, а его, бедного, всадили в эту грязную историю!

*Топ, топ, топ,
конь снова скачет в галоп⁶⁵*

В пересудах и толках у ворот и на дворе Франц Биберкопф — руки в карманах, воротник поднят, голова втянута в плечи — не принял никакого участия. Он только прислушивался, переходя от одной группы к другой. А затем, когда плотника с его пухленькой супругой повели по двору на улищу, он тоже глазел и стоял в шпалерах⁶⁶ вместе с другими любопытными. Значит, готово дело, застукали. Что ж, ведь и ему пришлось когда-то идти таким манером. Только тогда было темнее. Ишь, как глядят — прямо перед собой. Стыдно им, поди! Да, да, люди могут перебирать других по косточкам, они-то уж знают, каково у преступника на душе. Эх, вот они, настоящие обыватели, сидят за печкой, жульничают, но не попадают. Так ловко мошенничают, что никак

их не пригнешь к ответу. Вон теперь открывают дверцу зеленого Генриха⁶⁷. Пожалуйста, пожалуйста, ребята, маленькая женушка тоже, она как будто выпивши, что ж, она права, совершенно права. Пускай себе смеются. Пускай сами попробуют, каково это. Ну, трогай, пошел!

Люди продолжали еще судачить, а Франц уже за воротами, стужа стояла лютая. Он взглянул на ворота, глянул на улицу. Что человеку теперь делать, что делать? Он переминался с ноги на ногу. Холодно, уж, холодно, чертовски холодно! Нет, наверх идти не стоит. Но что предпринять?

И вот он стоял, переминался — и не замечал, что он так разгулялся. Со всей этой шатией, которая все еще не расходилась и продолжала судачить, у него не было ничего общего. Надо будет подыскать себе другую комнату. Все равно здесь ему житья не будет. И он бодро пускается в путь, вниз по Эльзассерштрассе, вдоль временного забора вокруг строящейся подземной железной дороги, по направлению к Розенталерплац, куда глаза глядят.

Таким образом и случилось, что Франц Биберкопф выполз из своей норы. Управляющий, которого прогнали сквозь строй любопытных, его кругленькая, подвыпившая жена, кража со взломом, зеленый Генрих — все это не выходило у него из головы. Но как только на пути его попался первый кабак, еще до поворота на площадь, так оно и началось. Руки сами собою полезли в карманы, а бутылки, куда бы налить, и нет. Ничего нет. Ни намека на бутылку. Забыл, стало быть, захватить с собою. Забыл у себя в комнате. И все из-за этой дряни. Как пошла вся эта катавасия на дворе, он мигом натянул пальто и айда вниз, а про бутылку-то и не вспомнил. Будь она проклята! Возвращаться? И пошло: нет, да, да, нет. Столько колебаний, туда, сюда, ругани, уступок, сомнений, да в чем дело?, да ах брось!, да не зайти ли? — столько противоречивых чувств давно уже не сталкивалось во Францевой груди. Зайти или не заходить, очень уж пить хочется, но ведь от жажды и сельтерская помогает, а если зайти, то ведь только ради пьянки, эх, пить хочется, до смерти хочется, напиться бы, ч-черт, да нет, лучше не заходить, лучше оставаться здесь, на улице, а то опять свихнешься, опять засядешь в своей конуре, у старухи. И вот снова вспомнились и зеленый Генрих, и супруги Гернеры, ну нет, налево кругом, нечего здесь останавливаться, может быть, когда-нибудь в другой раз, а теперь марш дальше, вперед да вперед!

Итак, Франц Биберкопф, с 1 маркой и 55 пфеннигами в кармане, добрался чуть ли не бегом до Александрплац, хлебнув одного свежего воздуха. Затем, несмотря на некоторое отвращение, заставил себя как следует пообедать в кухмистерской⁶⁸, впервые за несколько недель съесть что-нибудь основательное, телячье рагу⁶⁹ с картофелем. После еды жажда стала как будто меньше, оставалось еще 75 пфеннигов, которые он задумчиво растирал между пальцами. Не пойти ли к Лине, нет, куда ее, не нужна она мне. На языке туповато-кислый вкус, горло жгло словно огнем. Надо выпить еще сельтерской⁷⁰, что ли.

И вдруг, вливая в себя, глотая приятно прохладную и щекочущую пузырьками углекислого газа воду, он понял, куда ему хотелось бы. К Минне, телятину он ведь ей послал, и от передников она отказалась⁷¹. Да, это верно.

Ну-ка, встанем. Франц Биберкопф пошел прихорашиваться перед зеркалом. Но кто остался совершенно недоволен при виде своих бледных, дряблых, угреватых щек, так это Франц Биберкопф. Ну и физиономия у человека! Как-то полосы на лбу — откуда они взялись, эти красные полосы, не от шапки же. А нос? Не нос, а огурец, красный, вспухший, хотя это, может быть, вовсе не от шнапса, а просто потому, что сегодня такой мороз. Вот только эти противные глаза навькат, как у коровы, откуда это у меня такие телячьи глаза и почему я их так пялю, словно не могу ворочать ими? Словно меня сахарной глазурью облили. Но для Минны это ничего, сойдет. Ну-ка, пригладим волосы. Вот так, хорошо. И — к ней. Авось, не откажет дать пару пфеннигов до четверга, а там видно будет.

Итак, айда из столовки на улицу, на мороз. Людей-то, людей! Сколько народу на Алексе, и все чем-нибудь заняты. Подумаешь, очень это им нужно. И вот Франц Биберкопф задал ходу, стреляя глазами направо и налево. Со всем как лошадь, которая, поскользнувшись на мокром асфальте и будучи поднята пинком сапога в брюхо, пускается во весь опор и скачет, как полоумная. Что ж, у Франца мускулы здоровые, недаром он был когда-то членом атлетического клуба. Теперь он дует себе по Александриштрассе⁷² и с удовольствием замечает, какой у него шаг — твердый-претвердый, как у гвардейца. Маршируем мы, значит, ничуть не хуже других.

Бюллетень погоды на сегодняшнее число: по метеорологическим данным следует ожидать некоторого прояснения погоды. Хотя холода еще некоторое время продержатся, но барометр подымается. Солнце уже снова робко выглядывает из-за туч. В ближайшие дни следует ожидать незначительного потепления⁷³.

И всякий, кто сам управляет шестицилиндровым автомобилем NSU, в восторге от него⁷⁴. Туда, туда умчимся, милый, мы с тобой⁷⁵.

И вот, когда Франц уже в доме, где живет Минна, и стоит перед ее дверью, он видит там звонок, широким жестом срывает с головы шляпу, дергает звонок, а когда откроют, кому же и открыть, как не ей самой, мы сделаем вот такой реверанс, если у барышни есть кавалер⁷⁶, кому ж и открывать, как не ей, тили-тили. И вдруг — на тебе! Мужчина! Ее муж! Ну да, это же Карл! Господин слесарь! Ну, не беда. Нечего кислую мину строить.

«Как? Это ты? В чем дело?» — «Послушай, Карл, ты можешь спокойно впустить меня, я никого не укушу». И — в дверь. Вот и мы! Ишь, какой прыткий, видали?

«Почтеннейший господин Карл, хоть ты и специалист-слесарь, а я простой чернорабочий, все-таки нечего тебе такого форсу задавать. Можешь тоже ска-

зять мне здравствуй, когда я тебе говорю с добрым утром». — «Чего тебе тут надо, любезнейший. Разве я тебя впустил? Чего ты в дверь прешься?» — «Ладно, ладно! Жена-то твоя дома? Может быть, я с ней могу поздороваться?» — «Нет, ее дома нет. А для тебя и вообще нет. Для тебя никого дома нет». — «Вот как?» — «Да. Никого нет». — «Ну, а вот ты же дома, Карл». — «Нет, меня тоже нет. Я только поднялся за вязаной жилеткой и должен сейчас же вернуться в мастерскую». — «Что ж, так хорошо идут дела?» — «Хорошо». — «Значит, ты меня выгоняешь?» — «Да я тебя вовсе и не впускал. Собственно говоря, что тебе тут надо? Как тебе вообще не стыдно являться сюда и позорить меня, когда тебя все в доме знают?» — «Пуškai себе лаются, Карл. Это должно нас меньше всего тревожить. В их дела и делишки я тоже не хотел бы заглянуть. Знаешь, Карл, из-за людей тебе нечего беспокоиться. Вот сегодня полиция арестовала у нас одного такого, цехового мастера, плотника, а еще он у нас был управляющим домом. Можешь себе представить? И вместе с женой. Крали они, понимаешь, как сороки. А я разве что-нибудь украл? А?» — «Послушай, мне пора идти. Ступай, брат, не задерживайся. Чего мне тут с тобой канителиться. А если попадешься на глаза Минне, то держись, возьмет она метлу да как начнет тебя ею чистить». Скажите, пожалуйста, много он понимает о Минне! Этакый рогоносец, а еще рассуждает! Ой, потеха! Если у барышни есть кавалер, она его любит на свой манер. Карл подходит к Францу вплотную: «Ну, чего ты еще стоишь? Мы с тобой не родственники, Франц, и — никаких гвоздей. А если тебя выпустили теперь из каталажки, так ты уж сам должен знать, что тебе делать». — «Я, кажется, у тебя денег не просил». — «Нет, а Минна не забыла Иду, сестра ведь ей, и для нас ты все еще тот самый, какой ты был. Покончено у нас с тобой, понимаешь?» — «Да ведь я же Иду не убил. Со всяким может случиться, что у него рука согрешит, когда он в ярости». — «Ида умерла, а ты ступай своей дорогой. Мы люди честные».

Ах ты, собака ты, собака, да еще рогатая, этакый злыдень, уж не сказать ли ему в лицо, как было дело с Минной, да у такого сопляка можно жену живьем из постели взять. «Я свои четыре года отсидел минута в минуту, и ты не можешь измываться надо мной больше, чем суд». — «Какое мне дело до твоего суда? Ступай, брат, проваливай. Раз навсегда! Для тебя этого дома не существует. Раз навсегда!» Что это с ним, с господином слесарем-то, того и гляди, драться начнет.

«Да я ж тебе говорю, Карл, что хочу помириться с вами, после того как отбыл наказание. Вот я тебе руку даю». — «А я ее не беру». — «Это-то я и хотел знать. (Эх, взять бы его, да за ноги, да башкой об стенку!) Вот теперь я это знаю, все равно что по писаному». И с тем же лихим жестом, что и перед тем, нахлобучивает шляпу: «Ну, в таком случае счастливо оставаться, Карл, господин слесарных дел мастер Карл. Поклонись Минне и скажи ей, что я приходил узнать, как дела. А ты, свинья супоросая, самая что ни на есть последняя

сволочь. Заруби это у себя на носу, и на, понюхай мой кулак, если тебе что нужно, только не наткнись на него. Уж такая ты дрянь, что мне Минну жаль за тебя».

И вон из квартиры. Спокойно — вон. И спокойно и медленно — вниз по лестнице. Пусть-ка тот попробует пойти следом, где уж там, не посмеет. А в кабачке напротив Франц опрокинул одну-единственную рюмочку шнапса, на подкрепление души. Авось, тот все-таки явится. Подожду. Да где уж там. И весьма довольный собою, Франц отправился дальше. Деньги? Деньги мы раздобудем где-нибудь в другом месте. И ощущал игру мускулов и — ничего, мы еще выправимся!

— Ты хочешь задержать меня на моем пути и повергнуть наземь? Но у меня рука, которая может задушить тебя, и ты не справишься со мной. Ты наступаешь на меня издеваясь, ты хочешь обрушиться на меня презрением — не на меня, не на меня — я очень силен. Я могу не обращать внимания на твои оскорбления. Твои зубы не проникают сквозь мою броню, от гадюк я заморожен. Я не знаю, кто тебе велит идти против меня. Но ведь я же в силах тебе противостоять.

— Ладно, говори. Как радостно поют птички, спасшись однажды от хорька. Но хорьков много на свете, и пусть себе птичка поет! Пока что у тебя еще нет глаз для меня. Пока что у тебя еще нет нужды глядеть на меня. Ты слышишь болтовню людей, шум улицы, гудение трамвая. Дыши себе, слушай. Среди всего этого ты когда-нибудь услышишь и меня.

— Кого? Кто говорит?

— Не скажу. Сам увидишь. Сам почувствуешь. Закали свою душу. Тогда я буду говорить с тобой. Тогда ты увидишь меня. Но глаза твои ничего не будут источать, кроме слез.

— Ты можешь говорить так хоть еще сто лет. Я же только смеюсь над этим.

— Не смейся. Не смейся.

— Это потому, что ты меня не знаешь. Потому, что не знаешь, какой я, что за человек Франц Биберкопф. Он ничего не боится. У меня кулачищи. Гляди, какие у меня мускулы.

КНИГА ПЯТАЯ

Дело быстро идет на поправку, наш герой снова стоит там, где стоял, ничему не научился и ничего не познал. И вот теперь на него обрушивается первый тяжкий удар. Его втягивают в преступление, он упирается, но вынужден покориться¹.

Он мужественно и отчаянно отбивается руками и ногами, но ничто не помогает, это выше его сил, он вынужден покориться.

*Встреча на Алексе, холод собачий,
в следующем, 1929, году будет еще холоднее²*

Бум, бум — бухает перед рестораном Ашингера на Алексе паровой копер. Он вышиною с одноэтажный дом и шутя забивает в землю железные сваи.

Мороз. Февраль месяц. Люди кутаются в теплые пальто. У кого есть шуба, ходит в шубе, у кого нет шубы, ходит без шубы. Дамочки в тонких чулках отчаянно мерзнут, но зато — красиво. Вся шантрапа куда-то попряталась от холода. Когда потеплеет, эти людишки опять высунут носы на улицу. Тем временем они согреваются двойной порцией шнапса, но что это за шнапс, мне, например, не хотелось бы плавать в нем даже в мертвом виде.

Бум, бум — долбит паровой копер на Александрплац.

Многим людям делать нечего, и они стоят и смотрят, как работает копер. Рабочий, который стоит наверху, все время дергает какую-то цепь. Тогда наверху что-то хлопает, и ба-бах! — молот сваю по башке. И вот вокрут копра стоят мужчины и женщины и в особенности мальчишки и радуются, как это гладко идет: ба-бах! — сваю по башке. Уж свая стала совсем маленькой, с ноготок, а ее все по башке да по башке, хоть ты что. Наконец, она вся ушла в землю, черт возьми, здорово ее засолили, и удовлетворенные зрители расходятся.

Всюду настланы доски. Перед универмагом Тица стояла статуя Беролины с вытянутой вперед рукой, колоссальных размеров бабища, а и ту куда-то утащили. Может, перельют и наделают из нее медалей³.

Словно черви, копошатся рабочие в земле. Сотни их роют и ковыряют ее не переставая ни днем, ни ночью.

Дерг, дерг — громыхают трамваи, желтые, с прицепными вагонами, по усланной досками Александрплац, соскакивать на ходу воспрещается, опасно. Перед вокзалом расчищено уже большое пространство, и однокольный путь ведет мимо Вертгейма на Кенигштрассе. Кому надо попасть в восточную часть города, тот должен обходить кругом, по Клостерштрассе, мимо полицейпрезидиума. Поезда грохочут от вокзала к Янновицкому мосту, паровоз выпускает пары, останавливаясь как раз над Прелатом⁴, пиво Шлосбрей, вход за углом.

По ту сторону сносят все дома, целыми рядами вдоль городской железной дороги, откуда берется столько денег, ну да Берлин — город богатый, а налоги мы заплатим.

Лезер и Вольф⁵ с мозаичной вывеской уже снесен, а в 20 метрах дальше она уже опять красуется, и у самого вокзала еще раз. Торговый дом Лезер и Вольф в Берлине и Эльбинге предлагает сигары высшего качества на все вкусы: бразильские, гаванские, мексиканские, марки Наша утеха, Лилипут, № 8, 25 пфеннигов за штуку. Зимняя баллада, в пачках по 25 штук, 20 пфеннигов за штуку, сигаретки № 10 несортированные, оберточный лист суматрского

табака, по особому заказу, небывало дешево, в ящичках по сто штук, 10 пфеннигов за штуку. Мы побиваем, вы побиваете, они побивают нашими ящичками по пятьдесят штук в картонной упаковке по десяти штук все рекорды, отправка во все пункты земного шара, новинка — марка Бойэро по 25 пфеннигов за штуку, эта новость снискала нам много друзей, я побиваю, ты побиваешь⁶.

Возле Прелата есть свободное местечко, там стоят тележки с бананами. Кормите своих детей бананами. Бананы — самые чистые плоды⁷, так как кожурой они защищены от насекомых, червей и бактерий, за исключением тех насекомых, червей и бактерий, которые проникают сквозь кожуру. Тайный советник Черни вполне убедительно доказал, что даже дети в первые годы жизни. Я разбиваю все, ты разбиваешь все, он разбивает все⁸.

Ветрено на Алексее ужасно; на углу, где Тиц, дует вовсю. Бывает такой ветер, который задувает меж домов и гонит людей в котлованы на работу. Людям хотелось бы укрыться где-нибудь в кабачке, да где уж там, ветер так и свистит в карманах, и люди замечают, что кругом что-то делается, что тут уж не до разговора, а надо пошевелиться в такую погоду. И вот спозаранку тянется народ на работу — из Рейникендорфа⁹, из Нойкельна¹⁰, из Вейсензее¹¹. Холодно или нет, ветрено или нет — давай сюда кофейник, завертывай бутерброды, нам надо трудиться до седьмого пота, а там, на верхах, сидят трутни, спят на пуховиках и высасывают из нас последние соки.

У Ашингера в этом месте большой кафе-ресторан. У кого нет пуза, может его нагулять, у кого есть, может его по желанию увеличить. Природа не дает себя обмануть!¹² Тот, кто воображает, что качество выпеченных из испорченной пшеничной муки хлеба и кондитерских изделий можно улучшить какими-либо искусственными примесями, обманывает себя и потребителя. У природы есть свои жизненные законы, и она карает всякое злоупотребление. Пошатнувшееся почти во всех культурных странах состояние народного здоровья является результатом потребления подобного рода испорченных и искусственно приправленных продуктов питания. Колбасные изделия высшего качества, с доставкой на дом, ливерная и кровяная колбаса, дешево.

А вот интересный журнал — вместо одной марки всего 20 пфеннигов, «Брачная газета», очень интересная и пикантная, всего за 20 пфеннигов. Продавец дымит папироской, на голове у него морская фуражка, я все побиваю.

Из восточных районов города, из Вейсензее, Лихтенберга, Фридрихсхайна, с Франкфуртераллее на площадь сходятся желтые трамваи по Ландсбергерштрассе. № 65 идет от Центрального скотопригонного двора, Большое кольцо — Веддингплац, Луизенплац, № 76 — из Хундекеле по Хубертусаллее¹³. На углу Ландсбергерштрассе устроили полную распродажу товара в бывшем универсаме Фридриха Гана¹⁴, ликвидировали всё до последней ниточки, и вот теперь собираются отправить самый дом к праотцам. Тут остановка трамвая и автобуса маршрута № 19. А дом, где был магазин канцелярских принад-

лежностей Юргенса, уже снесли¹⁵, и на его месте красуется сейчас дощатый забор.

У забора сидит старик с весами для самовзвешивания: контролируйте свой вес. Цена 5 пфеннигов. О, возлюбленные братья и сестры, кишмя кишащие на Алексе, остановитесь на минуточку и загляните в щель рядом с означенными весами на груду строительного мусора на том месте, где некогда процветал магазин канцелярских принадлежностей Юргенса. А универмаг Гана еще стоит, опустелый, очищенный дотла, выпотрошенный, так что остались только какие-то красные лоскутки и бумажки на стеклах витрин. Перед нами куча мусора. От земли ты взят и в землю снова возвратишься¹⁶, стоял здесь когда-то прекрасный дом, а ныне никто и не вспоминает о нем¹⁷. Так погибли Рим, Вавилон, Ниневия¹⁸, Ганнибал¹⁹, Цезарь²⁰, все пошло прахом, помните это. Но я на это скажу, что, во-первых, теперь производятся раскопки этих городов, как показывают нам иллюстрации в последнем воскресном номере газеты²¹, а во-вторых, эти города выполнили свое назначение, и можно приняться за постройку новых²². Ведь не будете же вы горько оплакивать свои старые брюки, если они от времени придут в полную негодность, а просто купите новые, тем мир и держится!

На площади безраздельно властвуют шупо. Они представлены здесь в нескольких экземплярах. Каждый экземпляр с видом знатока поглядывает то в ту, то в другую сторону и знает правила уличного движения наизусть. На ногах у него обмотки, с правой стороны висит резиновая дубинка, руки он поднимает горизонтально в направлении запад — восток, и тогда север — юг должны выжидать, а восток переливается на запад, и запад на восток. Затем экземпляр автоматически переключается: север переливается на юг, а юг на север. Мундир такого шупо лихо скроен в талию. По знаку шупо через площадь бегут по направлению к Кенигштрассе человек 30 всякого звания, часть из них оседает на площадке у остановки трамвая, а другие благополучно достигают противоположной стороны площади и продолжают путь по доскам. Столько же народу скопилось в направлении запад — восток; эти люди меняются местами со своими визави, и у них тоже все обходится благополучно, никто не пострадал.

Тут и мужчины и женщины, и, главным образом, дети, детей большей частью ведут за руку. Всех перечислить и описать их судьбу очень трудно. Это могло бы удалиться лишь в отношении некоторых из них. Ветер равномерно обсыпает их лица мелким снегом. Лицо человека, идущего с востока, ничем не отличается от лиц тех, кто идет с севера, запада или юга, эти люди, кроме того, часто меняются ролями, и тех, кто в данный момент идут через площадь к Ашингеру, можно через час увидеть перед пустым универмагом Гана. И точно так же смешиваются те, кто идет с Брунненштрассе к Янновицкому мосту, с идущими им навстречу. Конечно, многие сворачивают и в сторону, с юга на восток, с юга на запад, с севера на запад, с севера на восток. Все они

распределяются так же равномерно, как те, что едут в автобусах или трамваях. Те сидят себе в разных позах и увеличивают таким образом обозначенный на внешней стороне вес вагона. Кто может выяснить, что в них происходит, необъятная глава романа. А если б даже и удалось, кому от этого польза? Можно было бы написать новую книгу? Да ведь и старые-то не идут, и в 27 году сбыт книги на столько-то процентов понизился по сравнению с 26 годом. Надо просто считать этих людей частными лицами, заплатившими по двадцати пфеннигов за проезд, за исключением владельцев трамвайных карточек и учащихся, с которых берут только по десять пфеннигов, и вот они едут со своим собственным весом, от пятидесяти до ста кило, в одежде, с сумочками, пакетами, ключами, шляпами, искусственными челюстями и бандажами от грыжи, едут через Александрплац и сохраняют таинственные длинненькие полоски бумаги, на которых напечатано: Маршрут № 12, Сименсптрассе DA, Гоцковскиштрассе C, B, Ораниенбургские ворота C, C, Котбузские ворота A. Таинственные знаки²³, кто их разгадает, кто смысл их распознает²⁴, три слова заветных тебе назову²⁵, а билетики эти прокомпостированы четыре раза в определенных местах, и на них значится на том же самом немецком языке, на котором написана Библия и Гражданский кодекс: выдан для достижения цели поездки кратчайшим путем, без обеспечения пересадочного сообщения. Люди читают газеты различных направлений, сохраняют при помощи своего ушного лабиринта равновесие, вдыхают кислород, тупо глядят друг на друга, испытывают боль, не испытывают боли, думают, не думают, счастливы, несчастны и, наконец, ни счастливы, ни несчастны.

Бум, бум — грохочет да грохочет копер, все забью, все забью, ну-ка еще одну сваечку. Жужжание несется по площади со стороны полицейпрезидиума, там что-то клепают, в другом месте бетоньерка вываливает загрузку. Господин Адольф Краун, портье, давно уже любит ее работой. Его необычайно захватывает перекидка тележек. Ишь ты, поди ж ты! Он напряженно следит, как ползет с одной стороны вверх тележка с песком, добирается до верхней точки и трах — опрокидывается, не удобно ли, а что, если бы человека так же вываливали из постели, ногами вверх и головой вниз, лежи себе, как миленький, не поздоровилось бы, пожалуй, ну, а тут все идет как по маслу.

У Франца Биберкопфа снова рюкзак за плечами, и он снова торгует газетами. Квартиру он переменил. Розентальские ворота он покинул и стоит теперь на Александрплац. Он совершенно поправился, ростом в 1,80, правда, убавил в весе, но зато чувствует себя бодрее. На голове у него фуражка газетчика.

Кризис в рейхстаге²⁶, поговаривают о перевыборах в марте, в апреле перевыборы неизбежны, куда, куда ты идешь, Иосиф Вирт?²⁷ Борьба в Центральной Германии продолжается²⁸, предстоит образование примирительного совета, нападение грабителей на Темпельхерренштрассе²⁹. Место Франца — у выхода подземки на Александрштрассе напротив кинотеатра Уфа³⁰, на этой стороне

оптик Фромм открыл новый магазин³¹. Франц Биберкопф глядит вниз по Мюншттрассе, когда в первый раз стоит в этой суতোлке, и думает: а далеко ль отсюда до обоих евреев, ведь они живут где-то тут поблизости, это было после моей первой неудачи, пожалуй, зайду как-нибудь к ним на минутку, могут разок купить у меня экземпляр «Фёлькишер беобахтер»³². Почему бы и нет, а по душе ли он им — мне безразлично, только бы купили. При этой мысли он ухмыляется — уж больно смешон был этот старый еврей в шлепанцах. Он оглядывается кругом, пальцы у него заскорузли от холода, рядом с ним стоит какой-то маленький горбун с совершенно кривым носом, нос, должно быть, сломан. Тревожные дни в рейхстаге, кризис правительства, дом № 17 по Геббельшттрассе вот-вот обрушится³³, жильцы выселены, кошмарное убийство на рыболовном судне³⁴, бунтовщик или сумасшедший?

И Франц Биберкопф и горбун дуют себе в кулаки. Торговля до обеда идет вяло. Какой-то тощий пожилой человек, потертый и засаленный, в зеленой войлочной шляпе, пускается с Францем в разговоры, спрашивает, выгодно ли торговать газетами. Это самое и Франц когда-то спрашивал. «Подходящее ли это для тебя дело, коллега?» — «М-да, мне уж пятьдесят два стукнуло». — «Вот то-то и оно. Ведь после пятидесяти лет начинается мокрец. В полку у нас был старый капитан запаса, лет сорока, из Саарбрюкена³⁵, бывший агент по лотерейным билетам — то есть это он говорил, а может быть, он на самом деле папиросами торговал, — так у него мокрец образовался уже в сорок лет, на пояснице. Но только он от этого мокреца сделал себе такую выправку, что огого! Ходил словно метла на роликах. Он постоянно натирался коровьим маслом. А когда коровьего-то масла больше не стало, году этак в 1917, а выдавали только пальмин³⁶, растительное масло первый сорт, да еще прогорклое, капитана взяли да убили».

«А что ж мне делать? На завод меня уж тоже не принимают. А в прошлом году мне делали операцию, в Лихтенберге, в больнице святого Губертуса. Вырезали яичко, говорят, было заражено туберкулезом, у меня, знаешь, еще и посейчас боли». — «Ну, тогда будь осторожен, а то еще и другое вырежут. Тогда уж лучше тебе сидеть на месте, стать извозчиком, что ли». Борьба в Центральной Германии продолжается, переговоры не дали результатов, посягательство на закон о правах квартиронанимателей³⁷, проснись, квартиронаниматель, у тебя над головой крышу ломают. «Да, да, приятель, — продолжает Франц, — газетами торговать — дело хорошее, но газетчика ноги кормят, а затем надо иметь голос, как у тебя насчет голоса — петь умеешь? То-то же, у нас это — первое дело: уметь петь и уметь бегать. Нам нужны крикуны. Кто громче кричит, тот больше и зарабатывает. Такая уж, я тебе скажу, оголтелая компания. Вот, погляди-ка, сколько здесь грошенов?» — «По-моему — четыре». — «Верно. По-твоему — четыре. В том-то и штука. По-твоему. А если кто торопится и шарит в карманах, а у него только полгрошена, а потом марка или десять марок, то спроси кого хочешь из нашего брата — они все умеют менять

деньги. И до чего они ловко это делают, что твои банкиры! Умеют менять, что и говорить, сразу и процент свой учтут и что угодно, глазом не моргнешь, так это у них все живо».

Старик вздыхает. «М-да, – не унимается Франц, – в твои-то годы, да еще с мокрецом. Но если ты, брат, возьмешься за это дело, то не бегай один, а найми себе двух помощников помоложе, конечно, придется им платить, пожалуй, даже половину всего, но ты будешь вести все расчеты и можешь не утруждать ноги и голос. А затем надо иметь хорошие связи и хорошее место. И еще, для бойкой торговли, требуются спортивные состязания или смена правительства. Вот, например, по случаю смерти Эберта³⁸ у газетчиков, говорят, газеты прямо с руками рвали. Да ты, брат, не огорчайся, все это еще только с полгоря. Вон, взгляни на тот копер и вообрази, что он свалился тебе на голову, чего ж тебе тогда еще долго раздумывать?» Посягательство на закон о правах квартиронанимателей. Поквитались за Цергибеля³⁹. Выхожу из партии предателей⁴⁰. Англия скрывает переговоры с Амануллой⁴¹, Индия ничего не должна знать.

Напротив, у радиомагазина Уэбба⁴² мы заряжаем аккумулятор – пока работает бесплатно – стоит бледная девица в надвинутой на самые глаза шапочке и как будто о чем-то усиленно размышляет. Шофер такси рядом с нею думает: раздумывает ли она, ехать ли ей со мной и хватит ли у нее на это денег, или она кого-нибудь поджидает? Но та только слегка сгибается в своем бархатном пальто, как будто она что-то вывихнула, а затем снова пускается в путь, ей просто немного нездоровится, и тогда у нее всякий раз бывают какие-то ноющие боли внутри. Она готовится к экзаменам на учительницу, посидит сегодня дома и сделает себе согревающий компресс, к вечеру эти боли вообще стихают.

*Некоторое время – ничего,
передышка, дела поправляются*

Вечером 9 февраля 1928 года⁴³, когда в Осло пало рабочее правительство⁴⁴, в Штутгарте заканчивались шестидневные велогонки⁴⁵ – победительницей осталась пара Ван Кемпен–Франкенштейн с 726 очками, покрыв 2440 километров, – а положение в Саарской области⁴⁶, по-видимому, обострилось, вечером 9 февраля 1928 года, во вторник (прошу минуту внимания. Вы видите теперь таинственный облик незнакомки, и вопрос этой красавицы касается всех, в том числе и вас: вы уже пробовали папиросы Калиф⁴⁷ табачной фабрики братьев Гарбати?), так вот в этот вечер Франц Биберкопф стоял на Александрплац у киоска с объявлениями и внимательно изучал приглашение мелких огородников и садоводов районов Трептов-Нейкельн и Бриц на митинг протеста в большом зале Ирмера, повестка дня: самовольный уход с работы. Ниже красова-

лись плакаты: Мучения от астмы и Прокат маскарадных костюмов, богатый выбор для дам и кавалеров. И вдруг рядом с ним маленький Мекк. Эге, Мекк! Да ведь мы ж его знаем! Видишь, вон он идет!⁴⁸

«Ах, Францекен, Францекен, — повторяет Мекк, вне себя от радости. — Франц, братишка, да неужели ж это возможно, неужели ж нам опять привелось свидеться, ну прямо, как будто ты с того света! Я готов был поклясться, что...» — «Ну, в чем дело? Могу себе представить, ты думал, что я опять что-нибудь натворил. Нет, брат, нет». Они трясли друг другу руки, трясли их до самых плеч, трясли плечи до самых ребер, хлопали друг друга по плечу, весь человек раскачивался и приходил в движение.

«Такая уж судьба, что мы не видались, Готлиб. А я торгую в этих местах». — «Здесь, на Алексее? Да что ты говоришь, Франц, как же это мы с тобой ни разу не встретились? Может быть, бежали друг мимо друга, да, видно, глаза не туда глядели». — «Верно, так оно и было, Готлиб».

И — пошли под ручку вниз по Пренцлауерштрассе. «Ты же когда-то хотел торговать гипсовыми головками, Франц?» — «Для гипсовых головок у меня не хватает настоящего понимания. Для гипсовых головок требуется образование, а у меня его нет. Я опять торгую газетами, ничего, кормиться можно. Ну, а ты, Готлиб?» — «Я стою на Шенгаузераллее с мужским платьем — непромокаемыми куртками и брюками». — «А откуда у тебя вещи?» — «Ты все такой же, Франц, все еще постоянно спрашиваешь — откуда да как. Так спрашивают только девицы, когда хотят получать алименты». Франц с минуту молча шагнул рядом с Мекком, а потом, сделав мрачное лицо, сказал: «Смотри, попадешься ты со своими штучками!» — «Что значит “попадешься”, что значит “штучки”, Франц? Надо быть деловым человеком, надо уметь купить товар».

Франц не хотел идти дальше, ни за что не хотел, заупрямился. Но Мекк, продолжая болтать, приставал: «Зайдем в пивную, Франц, может быть, встретим там этих скотопромышленников — помнишь, у которых было судебное дело. Еще они сидели с нами на собрании, где ты достал себе ту бумажку. Так вот, они здорово влипли со своим судебным делом. Они таки приняли присягу, и теперь им приходится выставлять свидетелей для подтверждения того, в чем они присягали. Несдобровать им, брат, полетят они вверх торماشками». — «Нет, Готлиб, уж лучше я все-таки не пойду с тобой».

Но Мекк не уступал, ведь это ж был его добрый старый приятель, пожалуй, самый лучший из всех, за исключением, конечно, Герберта Вишова, но тот стал сутенером, и он не желает его больше знать. И вот они под ручку шагают по Пренцлауерштрассе — водочные и ликерные изделия, мастерские дамских мод, кондитерские, шелк, шелк, рекомендую шелк, как самое модное и нарядное для элегантной женщины!

А когда пробило восемь, Франц сидел с Мекком и еще одним человечком, который объяснялся знаками, за столиком в углу пивной. Пир у них был горой. Мекк и немой только диву давались, как Франц совсем растаял, с наслаж-

дением ел и пил, две порции айсбейна, затем фасоль со свиной и один бокал энгельгардтовского за другим, и угощал их. Они все трое облокатились на столик, чтоб никто другой не подсел и не мешал им; только худая, как щепка, хозяйка допускалась к ним – убрать одно, подать другое, наполнить стаканы. За соседним столиком сидели трое пожилых мужчин, которые время от времени поглаживали друг друга по лысым. Франц, улетающая за обе щеки, посмеивался и, прищурившись и подмигивая в ту сторону, говорил: «Что это они там делают?» Хозяйка придвинула ему горчицу, уже вторую баночку. «Ну, вероятно, любят друг друга». – «Вот именно. И я так полагаю». И все трое принимались гоготать, чавкали, давились. А Франц то и дело повторяла: «Надо себя побаловать. Человек, у которого много сил, должен побольше есть. С пустым брюхом много не наработаешь».

Скот прибывает по железной дороге из провинций, из Восточной Пруссии, Померании, Западной Пруссии, Бранденбурга. Блеет, мычит, спускаясь по сходням. Свины хрюкают, обнюхивают землю. Идешь в тумане. Бледный молодой человек берет топор, и – хрясь, мгновение – и пропало сознание, нет его.

В 9 часов наши приятели убрали локти со стола, сунули себе сигары в жирные рты и начали вместе с отрыжкой выпускать из себя теплый пар закуски. И вот тут что-то завязалось.

Сначала в пивную явился какой-то юнец, повесил на гвоздик пальто и шляпу и принялся отхватывать на пианино.

Пивная стала наполняться. У стойки столпилось несколько человек, затеявших спор. Рядом с Францем за соседний столик сели пожилые мужчины в кепках и один помоложе, в котелке, Мекк знал их, завязался разговор. Тот, что помоложе, с черными сверкающими глазами, третий парень из Хопсегартена, рассказывал:

«Вы спрашиваете, что они вперед увидели, когда приехали в Австралию? Перво-наперво – песок, голую степь, и ни деревьев, ни травинки, ни черта. Настоящую песчаную пустыню. А затем – миллионы, миллионы желтых овец. Они там живут в диком состоянии. Это ими англичане и кормились в первое время. А потом и вывозить их стали в Америку». – «Больно уж нужны американцам овцы из Австралии». – «В Южной-то Америке, сделайте одолжение». – «Да ведь у них там быков хоть отбавляй. Они уж и сами не знают, что со всеми этими быками делать». – «То быки, а то овцы. Шерсть, понимаешь. Тем более что у них в стране столько негров, которые зябнут. Неужели ты думаешь, что англичане да не будут знать, куда им девать овец? Об англичанах, брат, не беспокойся. Но вот что стало с овцами-то? Говорил мне тут один, что теперь в Австралии, как ни старайся, а овец нипочем не увидишь. Все подчистó! А почему? Куда овцы девались?» – «Дикие звери их, что ли?» – «Какие там дикие звери! – отмахнулся Мекк. – Тоже, скажешь: дикие звери! Не дикие звери, а э-пи-зо-о-ти-и⁴⁹. Это всегда самое большое несчастье для страны.

Падет вся скотина, вот ты и нищий». Но тот, который помоложе и в котелке, не соглашался, что тут все дело было в эпизоотиях. «Ну, конечно, были и эпизоотии. Где много скота, там бывают и падежи. А потом пададь-то гниет, и распространяются болезни. Но только тут причина была не та. Нет, просто все овцы побежали да и утопились в море, когда пришли англичане. Потому что у овец такая поднялась паника во всей стране, когда пришли англичане, да начали их ловить да набивать ими вагоны, вот они тысячами и стали кидаться в море»⁵⁰. А Мекк: «Ну-к что ж! Это англичанам только на руку. Пускай кидаются в море. А там уж стоят наготове суда. Так что англичане выгадали бы провоз по железной дороге». — «Как бы не так: выгадали! Ишь ты, какой догадливый. Да ведь сколько времени прошло, пока англичане вообще что-нибудь заметили. Ясное дело, они были заняты во внутренних районах, знай ловят овец и загоняют их в вагоны, да в такой огромной стране да без настоящей организации, как это всегда бывает вначале. Ну, а потом хватились, да поздно, брат, поздно. Овцы-то уже, конечно, в море покидались и опились этой соленой дрянью». — «Ну?» — «Вот тебе и ну! Попробуй-ка сам, когда тебе пить хочется, а жрать нечего, хлебни этой соленой дряни». — «Значит, утонули и околели?» — «А то как же? Говорят, валялись там на берегу моря многие тысячи, и смердило ужасно. Уж их убирала-убирали». — «Да, — подтвердил Франц, — скот — это очень чувствительная штука. Со скотом совсем особая статья. С ним, понимаете, надо уметь обращаться. А кто в этом ничего не смыслит, тому лучше и не браться».

Все выпили в некотором смущении, обмениваясь замечаниями по поводу зря загубленного капитала и по поводу того, какие дела бывают на свете, что в Америке даже пшеницу гноят, целые урожаи — всяко случается. «Да нет, — заявил тот, который из Хопсегартена, черноглазый-то, — я вам про Австралию еще и не такое рассказать могу. Об этом публика ничего не знает, потому что в газетах не пишут, а почему не пишут — неизвестно, может быть, из-за иммиграции, потому что иначе никто туда и не поедет. Например, есть там поро-да ящериц, прямо-таки допотопная, в несколько метров длиною, этих ящериц даже в зоологическом саду не показывают, потому что англичане не разрешают. Наши-то матросы с одного корабля поймали такую, стали было показывать в Гамбурге. Да где уж тут — моментально от начальства вышло запрещение. Что ж, ничего не попишешь. А живут эти ящерицы в трясинах, в вонючей тинистой воде, и никто не знает, чем они питаются. Однажды в такую трясину целый автомобильный транспорт провалился; так не стали даже до-капываться, куда он делся. Шито-крыто! Никто и подступиться не смеет. Вот какие дела». — «Здорово! — заметил Мекк. — Ну, а если газом?» Тот задумался: «Что ж, можно было бы попытаться. Попытка не пытка». По-видимому, идея показалась хорошей.

Один из пожилых мужчин, коротенький, приземистый человек с красным как рак, пухлым лицом и большими, навькат, бегавшими во все стороны гла-

зами, пересел к Мекку и облокотился на его стул. Другие слегка потеснились, чтобы дать ему место. И вскоре между ним и Мекком началось перешептывание. Человек этот был в начищенных до блеска сапогах с голенищами, с холщовым пальто, перекинутым через руку, и с виду казался скотопромышленником. Франц разговаривал через стол с парнем из Хоппегартена, который ему очень понравился. Вдруг Мекк тронул его за плечо, сделал знак головой, и они поднялись, а за ними, добродушно посмеиваясь, и приземистый скотопромышленник. Они отошли в сторонку и встали втроем около железной печки. Франц думал, что речь будет о тех двух скотопромышленниках и их судебном деле и решил сразу же уклониться от этого разговора. Но разговор оказался самым никчемным. Приземистый человечек хотел только пожать ему руку и узнать, чем он, Франц, занимается. Франц вместо ответа хлопнул по сумке с газетами. А не хотел ли бы он при случае заняться фруктами? Человечек, Пумс по фамилии, оказывается, торгует фруктами, и ему нужны еще продавцы в развоз. На что Франц, пожав плечами, отозвался: «Зависит от заработка». Затем они снова сели за столик. Франц обратил внимание, как бойко этот человечек тараторит; пользоваться осторожно, перед употреблением взбалтывать.

Разговор продолжался, и снова завладел им парень из Хоппегартена; говорили об Америке. Парень, придерживая свою шляпу на коленях, рассказывал: «Ну вот, женился тот человек в Америке и ничего плохого не думает. И вдруг жена, оказывается, негритянка. “Что? – говорит он. – Ты негритянка?” И трах! – она у него вылетает вон. Потом ей пришлось раздеться перед судом. Осталась в одних трусиках. Сперва, конечно, стеснялась, ну, а потом ничего. Что, в самом деле? А кожа у нее совсем белая. Потому что была эта женщина метиска. Тогда муж говорит, что она все-таки негритянка. Почему? Потому что ногти у нее на руках не с белым, а с коричневым налетом. Значит, метиска». – «Ну, а чего ей надо было? Развода?» – «Нет, возмещения убытков. Ведь он же на ней женился, это раз, а затем она, может быть, место из-за него потеряла. И, наконец, на разведенной тоже не всякий женится. А была она белая-пребелая и раскрасавица. Ну, происходила, может быть, от негров, когда-нибудь в семнадцатом веке. Так что – плати убытки».

У стойки – скандал. Хозяйка визгливо кричала на какого-то крайне возбужденного шофера. Тот огрызался: «Я себе никогда не позволю таких глупостей с закуской». Торговец фруктами крикнул: «Тише там!» На этот окрик шофер неприязненно оглянулся и уставился на толстяка, но тот убил его улыбкой, и у стойки воцарилась зловещая тишина.

Мекк шепнул Францу: «Наши скотопромышленники сегодня не придут. Они свой товар уже пристроили. На ближайший срок они обеспечены. Взгляни-ка вон на того желтого, он здесь главный воротила».

За этим желтым, на которого указал ему Мекк, Франц наблюдал уже весь вечер⁵¹. Франца сильно влекло к нему. Он был строен, в основательно потер-

той солдатской шинели, — уж не коммунист ли?.. Лицо у него длинное, желтоватое, с высоким лбом, на котором как-то особенно выделялись глубокие поперечные морщины. Этому человеку было никак не более тридцати с небольшим, но и от носа ко рту залегли такие же зияющие борозды. Нос, Франц достаточно пригляделся, был короткий, слегка вздернутый, и торчал деловито. Голова была низко опущена на левую руку, державшую зажженную трубку. Волосы черные, ежиком. А когда он потом пошел к стойке, — волочил ноги, и это выглядело, как будто они постоянно прилипали к полу, — Франц заметил, что он обут в совсем плохонькие желтые ботинки, и толстые серые носки свешивались за борт. Может быть, у него чахотка? Тогда его следовало бы поместить в санаторий, в Белиц⁵² или еще куда, а не позволять ему бегать по чем зря. Чем он, в самом деле, занимается? Тем временем этот человек прилепился обратно, с трубкой во рту, с чашкой кофе в одной руке и стаканом лимонада с торчавшей в нем большой оловянной ложкой — в другой. Он снова сел за свой столик, прихлебывая то глоток кофе, то глоток лимонада. Франц не сводил с него глаз. Какие у него печальные глаза. Вероятно, ему пришлось уже и в тюрьме посидеть; смотрите, вероятно, и он сейчас думает, что я тоже сидел. Так оно и есть, паренек, сидел, в Тегеле, четыре года отсидел, так и знай. Ну, а дальше?

Больше в этот вечер ничего не произошло. Но Франц стал с тех пор часто заглядывать на Пренцлауерштрассе и подружился с человеком в старой солдатской шинели. Это был прекрасный мальчик, только заикался он уж больно сильно, много, бывало, времени пройдет, пока он что-нибудь из себя выдавит, потому и делал такие большие умоляющие глаза. Оказалось, что он еще не сидел, только раз как-то был замешан в одном политическом деле, чуть не взорвали газовый завод, да один из участников выдал товарищей, но до него не добрались. «А что ты теперь делаешь?» — «Торгую фруктами⁵³ и чем придется. Помогаю другим. Когда нечего делать, хожу отмечаться на биржу труда». В темную компанию попал Франц Биберкопф. Большинство из этих людей торговали какими-то странными «фруктами», делали при этом хорошие дела, а приземистый человечек с красным как рак лицом снабжал их товаром, был их оптовик. Франц держался от них подальше, да и они от него. Он никак не мог понять, в чем тут штука. И говорил себе: лучше торговать газетами!

Бойкая торговля живым товаром

В один прекрасный вечер Рейнхольд, так звали того, который в солдатской шинели, разговорился более обыкновенного, как-то легче и скорее справляясь с заиканием, и стал ругать женщин. Франц хохотал до упаду: парень действительно принимал женщин всерьез! Этого он от него не ожидал; значит, у него

тоже винтика не хватает, впрочем, здесь у всех какой-нибудь изъян, у одного то, у другого другое, совсем в порядке никого здесь не было. Вот этот парень, например, был влюблен в жену одного кучера, возчика с пивоваренного завода, ради него она сбежала от мужа, и вся беда была в том, что Рейнхольд теперь ее больше совсем не хотел. Франц сопел от удовольствия, уж больно забавен был этот парень: «Да пошли ты ее к черту!» Тот, заикаясь и делая страшные глаза, с трудом выговорил: «Ах, это так трудно! Женщины никак не хотят это понять, хоть пиши, хоть не пиши». — «Ну, а ты пробовал ей написать, Рейнхольд?» Рейнхольд плюнул и, заикаясь и корчась, промолвил: «Говорил ей раз сто. А она говорит, что не понимает. Что я, должно быть, с ума спятил. Словом — не понимает и не понимает. Что ж мне, держать ее у себя, пока не сдохну?» — «Пожалуй, придется». — «Вот и она так говорит». Франц неистово расхохотался, а Рейнхольд начал уже злиться: «Послушай, не будь же таким дураком». Нет, у Франца это никак не укладывалось в голове. Такой молодчина, чуть не взорвал динамитом газовый завод, а теперь сидит сиднем и нюни распускает. «Возьми ты ее себе», — сказал, заикаясь, Рейнхольд. «А что я с ней буду делать?» — «Ну, ты можешь ее бросить». Тогда Франц пришел в полный восторг: «Хорошо, для тебя уж так и быть, сделаю тебе такое одолжение, можешь на меня положиться, Рейнхольд, но — тебя следовало бы еще в пеленочки пеленать». — «Да ты сперва посмотри ее, а потом уж и говори». И оба довольны.

А на следующий день, после обеда, Френца явилась собственной персоной к Францу Биберкопфу. Когда он услышал, что ее зовут Френцой, он сразу обрадовался: они, значит, как раз подходят друг к другу, потому что его зовут Францем. Она принесла ему от Рейнхольда пару здоровых сапог на толстой подошве; это — цена иудина предательства, усмехнулся про себя Франц, десять серебряников⁵⁴. Сама же и принесла их! Ну и бесстыжий же этот Рейнхольд. Впрочем, — подумал еще Франц, — какая разница, что одна цена, что другая. Вечером он отправился с Френцой искать Рейнхольда, но тот, как полагается, словно в воду канул, затем вспышка ярости у Френцы и финальная сцена утешения в комнате Франца. Уже на следующее утро кучерова жена примчалась к Рейнхольду, и, не дав ему даже и слова вымолвить, так ему и выложила: что, мол, пускай он не беспокоится, ей он совершенно не нужен, у нее есть теперь другой, но кто этот другой, она ему и не подумает сказать. И только она успела убраться, как к Рейнхольду является Франц в новых сапогах, которые ему уже больше не слишком велики, потому что он надел две пары шерстяных носков, и оба приятеля бросаются друг другу в объятия и похлопывают друг друга по спине. Но словами «неужели ж я для тебя бы не постарался» Франц скромно отклоняет все дальнейшие проявления восхищения и благодарности.

Эта кучерова жена тоже с места в карьер влюбилась в Франца, ибо у нее было податливое сердце, о чем она до тех пор не имела понятия. Он был рад,

что она чувствовала в себе прилив этой новой силы, так как был человеколюбом и сердцеведом. Он с удовольствием наблюдал, как она обосновалась у него. Именно эта черта была ему хорошо знакома. Вначале женщины всегда уделяют особое внимание кальсонам и дырявым носкам. Но что она ему по утрам чистила сапоги, да еще те, которые были у него от Рейнхольда, вызывало у него всякий раз новый взрыв веселости. А когда она спросила, чему он смеется, он ответил: «Да потому, что сапоги велики, слишком велики для одного человека. Мы в них с тобой вдвоем влезть можем». Как-то раз они в самом деле попробовали влезть вдвоем в один сапог, но, конечно, это оказалось преувеличением, и из такой попытки ничего не вышло.

У зайки Рейнхольда, у Францева самого любезного приятеля, завелась новая подруга, которую звали Цилли, во всяком случае она уверяла, что ее зовут так. Францу Биберкопфу это было в высшей степени безразлично, иногда он видел на Пренцлауерштрассе и Цилли. Но только в нем поднялось смутное подозрение, когда зайка примерно месяц спустя осведомился о Френце и спросил, сплавил ли он ее уже дальше? Франц ответил, что она — забавная штучка, и сначала было не понял, куда тот метит. Тогда Рейнхольд стал утверждать, что ведь Франц же обещал сплавить ее поскорее. На что, однако, Франц возразил, что еще слишком рано. Новую невесту он заведет себе только весною. Потому что летних платьев, как видно, у Френцы нет, а он купить ей не в состоянии; вот он ее к лету и спровадит. Рейнхольд критически заметил, что Френца уже и сейчас выглядит довольно обносившейся, да и вещи, которые на ней, собственно говоря, вовсе не зимние, а скорее демисезонные и в данный момент совсем не по погоде. Тогда у них завязался долгий разговор о термометрах и барометрах и о предстоящей в ближайшее время погоде. Справились в газетах. Франц стоял на том, что никогда нельзя в точности знать, какая будет погода, а Рейнхольд предсказывал наступление сильнейших морозов. И вот тогда лишь Франц сообразил, что Рейнхольд хочет отделаться от Цилли, которая носила мех из крашеного кролика, так как то и дело заводил речь об этой чудной имитации. «Дались ему эти кролики, — подумал Франц, — вот надоед-то!» А вслух сказал: «Да ты, брат, спятил, куда же мне еще вторую, когда у меня уж одна сидит на шее, дела тоже не блестящи, так что — откуда взять, чтоб не украсть?» — «Да тебе вовсе и не нужно двух. Когда я говорил, чтобы две? Неужели я могу требовать от человека, чтоб он с двумя бабами пугался? Ты же не турок». — «Я про то и говорю». — «И я про то же. Когда ж я говорил, чтоб ты с двумя путался? Почему бы не с тремя, а? Нет, ты первую-то выставь вон, или нет у тебя никого?» — «Как так никого?» Что это он хочет сказать, какие у этого молодчика всё чудачества в голове? «Да ведь ее может же перенять у тебя кто-нибудь другой, Френцу-то эту». Тут наш Франц как обрадуется, и хлоп того по плечу: «Молодец ты, ишь, третий калач, черт возьми, сразу видать, что человек с образованием, я тебе и в подметки не гожусь. Значит, будем перепродавать их из рук в руки, как во вре-

мена инфляции, а?» — «А почему бы и нет? Бабыя этого и так уж слишком много». — «Верно, что слишком много. Черт возьми, Рейнхольд, ну и штука же ты, брат, не продохнуть!» — «Ну, так как же?» — «Ладно, замечано. Так и быть поищу кого-нибудь. Кого-нибудь да найду. А перед тобой я прямо щенок! Фу ты, ну ты!»

Рейнхольд искоса взглянул на него. Человек-то как будто с изъясцем в мозгах. Собственно говоря, дурак феноменальный, этот Франц Биберкопф. Неужели он в самом деле помышлял посадить себе на шею двух баб сразу?

А Франц был настолько восхищен этой сделкой, что тотчас же собрался и навестил маленького горбатого Эде в его норе: мол, так и так, не хочет ли тот перенять девчонку, потому что у него, Франца, намечается другая, а от этой желательно отделаться.

Тому это пришлось как раз кстати, потому что он хотел устроить себе маленькую передышку в работе, тогда он получит пособие по болезни и может себя немножко побаловать, а девчонка стала бы закупать для него продукты и ходить в больничную кассу за деньгами. Но чтоб опутать его, Эде, насовсем — это ни-ни, это не полагается, так он прямо и заявил.

Не откладывая дела, Франц на следующее же утро, перед тем как выйти на улицу, устроил кучеровой жене ни за что ни про что страшнейший скандал. Та не осталась в долгу. Франц с радостью придрался к случаю, и через час все было в порядке: горбун помогал ей собирать вещи, Франц в ярости убежал, а кучерова жена переселилась к горбуну, потому что ей больше некуда деться. Горбун сходил к врачу и заявился больным, и вечером они уже вдвоем ругали Франца Биберкопфа на чем свет стоит.

А к Францу заявила Цилли. Что тебе надо, дитя мое? Болит у тебя что-нибудь? Где у тебя бобо, ах боже мой. «Вот, меня просили передать вам этот меховой воротник». Франц одобрительно разглядывает воротник. Шикарная штука. Откуда это у парня берутся такие хорошие вещи? В тот раз были только сапоги. А Цилли, ничего не подозревая, стрекочет: «Вы, должно быть, очень дружны с моим Рейнхольдом?» — «О, да! — смеется Франц. — Он посылает мне иногда продукты и кое-что из одежды, что у него лишнее. В последний раз он прислал мне сапоги. Только сапоги. Погодите, вы можете ими сами полюбоваться». Уж не стащила ли их эта Френца, эта стерва, дура? Где они, в самом деле? А, вот! «Вот, посмотрите, фрейлейн Цилли, он прислал мне их в прошлый раз. Что вы скажете по поводу этих ботфортов? Тут трое могут поместиться. Ну-ка, всуньте сюда ваши ножки». Она и в самом деле влезает в сапоги, смеется, чистенько так одета, и сама из себя хорошенькая, ну просто так бы и съел ее, ужасно мило выглядит в черном манто с меховой отделкой, вот уж дура-башка этот Рейнхольд, от такой-то ягодки отказываться, и откуда он постоянно таких красоток выкапывает? Она стоит себе, как кот в сапогах. А Франц вспоминает предыдущую ситуацию, что ж это, у него помесячный абонемент на женщин, как на гардероб, что ли, и уже, скинув туфлю, сует за

Цилли ногу в сапог. Цилли визжит, но его нога все-таки влезает; хочет убежать, но они скачут вместе, и ей приходится тащить Франца за собою. А у стола он залезает другой ногой и в другой сапог. Того и гляди, оба полетят вверх тормашками. И в самом деле летят, визг, возня, барышни, обуздайте свою фантазию, дайте вы им повеселиться между собою, у них сейчас прием по особо важным делам, общий прием для членов кассы немного позже, от 5 до 7 часов вечера.

«Послушай, ведь Рейнхольд меня ждет, Франц. Ты ему ничего не скажешь? Пожалуйста, не говори, я тебя очень прошу». — «С какой же стати, киксонька?» А вечером он получил ее, маленькую реву, уже сполна на руки. Потом, вечером, они вдвоем страшно ругали всякие там безобразия, а Цилли — прелестная особа, и гардероб у нее хороший, и манто почти совсем новое, и туфельки бальные, и все это она сразу привезла с собою, черт возьми, неужели все это Рейнхольд тебе подарил, он, верно, в рассрочку покупает.

С восхищением и удовольствием встречал теперь всегда Франц своего Рейнхольда. Работа у Франца нелегкая, и он уже с тревогой подумывает о конце месяца, когда великий молчальник Рейнхольд снова заговорит. И вот в один прекрасный вечер Рейнхольд вырастает перед ним у станции подземной железной дороги на Александрплац напротив Ландсбергерштрассе и спрашивает, что он собирается делать вечером. Что такое, ведь месяца еще не прошло, в чем дело, и к тому же Франца ждет Цилли, но пойти куда-нибудь с Рейнхольдом — с нашим полным удовольствием. И вот они медленно шествуют — как бы вы думали, куда? — вниз по Александрштрассе на Принценштрассе. Франц не отстает до тех пор, пока не выпытывает, куда держит путь Рейнхольд. «К Вальтерхену?»⁵⁵ Кутить?» Нет, в Армию Спасения на Дрезднерштрассе! Хочется, говорит, разок послушать что-нибудь другое. Вот так так! А ведь это совсем похоже на Рейнхольда! Такие заскоки у него бывают. Словом, в тот вечер Франц Биберкопф впервые побывал у солдат Армии Спасения. Было очень смешно, и Франц очень удивлялся.

В половине 10-го, когда начались призывы покаяться в грехах, Рейнхольд стал какой-то совсем странный и выбежал из зала вон, словно за ним гнались, вон, вон, что случилось? А на лестнице стал ругаться: «Этих парней ты остерегайся, — говорит он Францу. — Они будут обрабатывать тебя, так что у тебя дух вон, и ты на все будешь говорить да». — «Что ты, что ты? Это я-то? Шалишь, брат, не на такого напали». Рейнхольд продолжал ругаться в том же духе еще и в пивной на Принценштрассе, и тут-то оно и выплыло наружу. «Я хочу разделаться с этими бабами, Франц, не могу я больше». — «А я-то уж радовался получить от тебя следующую». — «Что ж, ты думаешь, мне так уж интересно прийти на будущей неделе к тебе, чтоб ты взял у меня Труду, блондинку? Нет, на таком основании...» — «С моей стороны, Рейнхольд, задержки не будет, в чем дело? На меня ты можешь положиться. По мне пускай хоть

еще десяток девчонок явится, мы их всех разместим, Рейнхольд». — «Оставь меня в покое с этими бабами. Что поделаешь, раз я не хочу, Франц?» Ну-ка, извольте понять, в чем тут дело, и почему это человек так расстраивается? «Раз ты больше не хочешь баб, то самое простое — не иметь с ними дела. Так или иначе, с ними всегда можно поладить. Ту, которая у тебя сейчас, я еще возьму, а потом — шабаш!» Дважды два — четыре, понятно? Чего ж тут глаза пялить, а Рейнхольд пялит. Что ж, если ему желательно, он может оставить себе последнюю. Ну, в чем дело, вот чудак человек, подходит теперь к стойке за кофе и лимонным соком, сам еле держится на ногах, спиртного не выносит, а туда же — с бабами трепаться. Некоторое время Рейнхольд упорно молчал, а затем, влив в себя три чашки этой бурды, он снова принялся выкладывать.

Против того, что молоко является в высшей степени питательным продуктом, едва ли можно серьезно спорить, оно усиленно рекомендуется детям, в особенности маленьким, грудным детям, а также и больным, как укрепляющее средство, в особенности, если оно употребляется наряду с другой содержащей питательные вещества пищей. Признанным всеми медицинскими авторитетами, но, к сожалению, не достаточно оцененным диетическим питанием является баранина⁵⁶. Так что мы ничего не имеем против молока. Но, разумеется, реклама не должна принимать уродливые формы, во всяком случае, думает Франц, я буду придерживаться пива; когда оно в меру выдержано, против него ничего нельзя возразить.

Рейнхольд вскидывает на Франца глаза — парень выглядит совершенно разбитым, того и гляди разнюнится: «В Армии Спасения я был уже два раза, Франц. С одним я там уже говорил. Скажу я ему “да”, буду держаться, откуда сил хватит, а потом свихнусь окончательно». — «Да в чем дело-то?» — «Ты же знаешь, что бабы мне так быстро надоедают. Сам видишь, брат. Какой-нибудь месяц, и — кончен бал! Почему — я и сам не знаю. Просто не хочу их больше. А до этого схожу с ума по той или другой, вот ты бы поглядел на меня тогда, хоть в камеру для буйных меня запирай, вот до чего доходит! А потом ни черта, прочь ее с глаз, не могу я ее видеть, даже еще и деньги приплатил бы, чтоб только ее не видеть». — «Может, ты и впрямь ненормальный? — удивляется Франц. — Погоди-ка...» — «Так вот, пошел я как-то в Армию Спасения, все рассказал, а потом с одним там помолился...» Франц все больше и больше удивляется: «Что? Молился?» — «А что ж будешь делать, когда так тяжело на душе, и нет тебе выхода?» Черт возьми! Черт возьми! Вот так человек! Видели? «И действительно, помогло, месяца на полтора, на два, мысли какие-то другие появились, энергия, смотришь — как будто и легче на душе». — «Послушай, Рейнхольд, сходил бы ты разок в клинику, на прием. Или, пожалуй, не следовало тебе сейчас смываться оттуда из зала? Ты мог спокойно сесть вперед на скамью кающихся. Передо мною тебе нечего стесняться». — «Нет, нет, я больше не хочу. Мне это уж больше не поможет, и все это чушь, ерунда. С какой стати я полезу туда вперед и буду молиться, я же все равно не верю». —

«Это я понимаю. Раз ты не веришь, то оно и помочь не может, — согласился Франц, вглядываясь в своего приятеля, мрачно уставившегося в пустую чашку. — И могу ли я тебе помочь — этого, Рейнхольд, я не знаю. Надо будет подумать. Может быть, хорошо было бы устроить так, чтоб женщины тебе опротивели, или что-нибудь в этом роде». — «Вот, например, сейчас меня прямо тошнит от Труды-блондинки. А поглядел бы ты на меня завтра или послезавтра, когда появится Нелли или Густа или как ее там будут звать, вот бы ты поглядел на Рейнхольда, как у него уши горят. И как он только и думает: эх, получить бы ее, хотя бы пришлось отдать все деньги, получить ее во что бы то ни стало». — «Что ж тебе в них так особенно нравится?» — «Ты хочешь сказать, чем они меня прельщают? Как тебе объяснить? Ничем. В том-то и штука. У одной скажем, волосы подстрижены не так, как у других, другая остричь умеет. Почему они мне нравятся, я и сам никогда не знаю, Франц. Да и бабы, спроси-ка их, поражаются, когда я вдруг на них распалюсь и готов на них наброситься, как бык на красную тряпку. Спроси хоть Цилли. Но я не могу от этого отделаться, не могу и не могу».

Франц во все глаза глядит на Рейнхольда.

Есть жнец, Смертью зовется он, властью от Бога большой наделен. Сегодня свой серп он точит, приготовить для жатвы хочет, скоро работать он станет, всех нас серпом достанет⁵⁷.

Странный парень. Франц улыбается. Рейнхольд вообще не улыбается.

Есть жнец, Смертью зовется он, властью от Бога большой наделен. Скоро работать он станет.

И Франц думает: Тебя, брат, придется маленько встряхнуть. Придется тебе чуточку спеси-то поубавить. «Хорошо, это дело мы обтяпаем, Рейнхольд. Спрошу-ка я Цилли».

*Франц задумывается над торговлей живым товаром,
и вдруг ему это дело больше не нравится,
ему хочется чего-нибудь другого*

«Цилли, на колени погоди садиться. И не бей меня с места в карьер. Ведь ты же моя кисонька. Ну-ка, угадай, с кем я только что виделся?» — «Совсем не желаю знать». — «Цыпочка моя, пупсик, ну, угадай, ну? С... Рейнхольдом!» Тут Цилли начинает злиться, почему бы это? «С Рейнхольдом? Вот как? Что же он рассказывал?» — «Да много чего». — «Вот как? А ты уж и уши развесил и всему готов поверить, а?» — «Да нет же, нет, детка». — «Ладно, тогда я уйду. Сперва ты заставляешь меня ждать целых три часа, а потом собираешься валять дурака и передавать мне ваш разговор». — «Да нет же. Это ты, детка

(да у нее в голове винтиков не хватает), должна мне кое-что рассказать. Вовсе не он». — «В чем же дело? Теперь я ровно ничего не понимаю». И поехала, и поехала. Цилли, эта маленькая чернушка, вошла в раж, но временами не могла продолжать свое повествование, до того она наддавала пару и до того тискал и целовал ее Франц, потому что уж больно хороша она была при этом, этакая птичка, с яркими перышками, и теперь еще принималась плакать, когда все это вспоминалось. «Так вот, этот человек, этот Рейнхольд, не любовник и не кот и даже вообще не мужчина, а просто бродяга. Он скачет, как воробей, по улице, чирик-чирик, и подбирает девчонок. О нем могут кой-что порассказать тебе десятки женщин. Не думаешь же ты, что я была у него первая или восьмая? Куда там — может быть и сотая. Да если ты его самого спросишь, он и то не сумеет сказать, сколько женщин он имел. Да как имел. Так и знай, Франц, если ты выдашь этого преступника, то получишь от меня — ах, нет, у меня же ничего нет, но ты мог бы пойти в сыскное и получить награду. Когда он сидит, задумавшись, и тянет свой цикорий, бурду эту самую, то так, со стороны, ни за что не догадаться, что это за тип. А он сидит, сидит, да вдруг и привяжется к какой-нибудь девчонке». — «Это он все рассказывал?» — «Вот и начинаешь сомневаться: что, мол, этому парню надо? Шел бы лучше домой и как следует проспался. Но он не отстает, кавалер он хоть куда, удалой, умеет пустить пыль в глаза, я тебе говорю, Франц, схватишь себя этак за голову: что это с ним сделалось, омолодился он по Штейнаху⁵⁸ со вчерашнего дня, что ли? А он-то и так, и сяк, и разговоры, и танцы...» — «Что? Рейнхольд танцует?» — «А то нет? Где ж мы познакомились-то? На танцульке, на Шоссенгтрассе». — «Здорово он, значит, мне пушку забивал». — «Он уж до всякой доберется, Франц, кто бы она ни была. Ему все равно, что замужняя, что девица, уж он не отстанет, пока не добьется своего». — «Ай да молодец!» Франц хохотал до слез. Не сули мне верность, кляtv я не хочу, знаю, тянет всех нас к новому лучу. Сердцу пылкому невыносим покой, сердце ищет, ищет радости живой. Не сули мне верность, друг мой дорогой, дух мой юный ветрен — так же, как и твой⁵⁹.

«Тебе, небось, смешно? Может быть, ты тоже такой?» — «Да нет же, Цилликен, только уж больно он забавный. А мне он опять скулит, что не может отделаться от бабья». Нет, я не в силах расстаться с тобой⁶⁰. Франц снял с себя куртку. «Теперь у него Труда-блондинка, как ты думаешь, не перенять ли мне ее от него?» Боже мой, что тут поднялся за визг! Ох, до чего ж эти бабы визжать умеют! Цилли визжит, как разъяренный тигр. Вырывает у Франца из рук куртку и шварк ее на пол. Позвольте, он куртку-то ведь не на слом купил, этак ее и совсем изорвать можно, с Цилли это станется. «Да ты совсем сдурел, Франц, а белены объелся? Что это у тебя с Трудой, ну-ка, повтори, повтори». Она визжит, как взбесившийся тигр. Если она и дальше будет так кричать, соседи подумают, что ей хотят свернуть шею, и вызовут полицию. Побольше

хладнокровия, Франц. «Пожалуйста, Цилли, не бросайся предметами одежды. Вещь денег стоит, а по нынешним временам ее не так легко и достать. Ну-ка, давай сюда куртку. Кусать ведь я тебя не кусал». — «Нет, но ты немножко чересчур уж наивен, Франц». — «Ладно, пускай я буду наивен. Ну, а если он, Рейнхольд, мой друг и находится в затруднительном положении, так что даже тащится на Дрезденерштрассе в Армию Спасения и, представь себе, хочет молиться, то надо же человеку посодействовать, раз я его друг. Так как же: перенять у него Труду, или нет?» — «А я?» С тобой, с тобой пошел бы я удить. «Вот об этом и надо нам поговорить, давай, обмозгуем, как нам это устроить. А где, собственно говоря, мои высокие сапоги? Ну-ка, взгляни на них». — «Оставь меня в покое». — «Да я ж только хочу показать тебе сапоги, Цилли. Дело в том, что я их, понимаешь, тоже получил от него. А ты — помнишь, ты принесла мне в тот раз меховой воротник? Так! Ну, а до того другая принесла мне от него вот эти сапоги». Надо все спокойно высказать. Почему бы нет? Нечего скрывать, лучше — в открытую.

Она садится на табуретку, смотрит на него. А затем начинает плакать, но ничего не говорит. «Вот какое дело, — продолжает Франц. — Уж такой он человек. Ну, я ему и помог. Потому что он мой друг. И не хочу тебя обманывать». Ух, как она на него глядит. Этакая в ней злость. «Подлец ты, подлец! Знаешь, если уж Рейнхольд негодяй, то ты хуже — хуже самого последнего кота». — «Не правда, я не кот». — «Будь я мужчина...» — «Ладно, ладно, хорошо, что ты не мужчина. Но только не стоит тебе, Цилликен, расстраиваться. Я тебе рассказал про то, что было. Тем временем, как я на тебя глядел, я уже все обдумал. Труду я у него не возьму, а ты останешься здесь». Франц встает, швыряет сапоги за комод. Дело не подходящее, я — пас, Рейнхольд только зря людей портит, я такими делами не желаю заниматься. Тут надо что-нибудь предпринять. «Цилли, — говорит он, — сегодня ты останешься здесь, а завтра утром, когда Рейнхольда не будет дома, ты сходишь к его Труде и поговоришь с ней. Я ей посодействую, она может на меня положиться. Погоди-ка, скажи ей, чтоб она пришла сюда, мы с нею поговорим оба вместе».

Когда после обеда Труда-блондинка сидит у Франца и Цилли, она очень бледна и грустна, и Цилли говорит ей без обиняков, что Рейнхольд, вероятно, обижает ее и не заботится о ней, так оно и есть! А когда Труда принимается плакать, но никак не может понять, что им от нее нужно, Франц ей заявляет: «Человек этот не негодяй. Он — мой друг, и я не позволю ругать его. Но то, что он делает, есть мучительство. Живодерство, да!» И говорит, чтоб она не слушала Рейнхольда и не уходила от него, а он, Франц, со своей стороны... Ну, да там видно будет.

Вечером Рейнхольд является за Францем на место его стоянки, холод адский, Франц принимает предложение выпить за его счет стакан горячего грога, спокойно выслушивает предисловие Рейнхольда, а затем тот немедленно

переходит к делу с Трудой, что, мол, она ему до чертиков надоела и что он от нее сегодня же хочет избавиться.

«Рейнхольд, у тебя уж опять новенькая на примете?» Так оно и есть, и Рейнхольд не отрицается. Тогда Франц заявляет, что с Цилли расставаться не желает, она у него так хорошо прижилась и вообще очень порядочная бабенка, а ему, Рейнхольду, он советует малость попридержаться, как полагается всякому приличному человеку, потому что дальше дело так продолжаться не может. Рейнхольд ничего не соображает и спрашивает, не из-за воротника ли, из-за мехового-то, весь этот разговор? Что ж, Труда принесла бы ему — ну, скажем, что? — часы, серебряные карманные часы, или меховую шапку с ушами, ведь такая вещь Францу пригодилась бы, а? Нет, ничего из этого не выйдет, надо кончать эту канитель. А вещи, которые нужны, и сами купим. И вообще, ему, Францу, хотелось бы поговорить с Рейнхольдом по душе, поприятельски. И выкладывает тому все, что надумал вчера и сегодня. Чтобы, значит, Рейнхольд оставил у себя Труду, хоть тресни. Пусть привыкнет к ней, тогда все пойдет на лад. Человек есть человек, и баба — тоже, иначе он может взять себе за три марки проститутку, которая тем более довольна, что может сейчас же катиться дальше. Но кружить женщинам голову любовью и чувствами, а затем бросать одну за другой — это не годится.

Рейнхольд выслушивает, по своему обыкновению, молча. Медленно попиивает кофе и сонными глазами глядит прямо перед собой. А затем спокойно говорит, что если Франц не желает перенять от него Труду, то и не надо. Обходились же без него раньше. И торопится уйти, времени, говорит, нет.

Ночью Франц просыпается и до утра не может заснуть. Холод в доме адский. Цилли спит, похрапывая, рядом с ним. Отчего ж ему не спится? Вот проезжают внизу на Центральный рынок возы с овощами. Не хотелось бы быть лошадью, тащиться с возом ночью, да еще в такой мороз. В конюшне — да, там тепло. Ну, и спит же такая баба. Здорово, можно сказать, спит. А мне не спится. Отморозил себе пальцы на ногах, вот и зудит теперь, щекочет. И что это у него за штука внутри, сердце ли, легкое ли, дыхание ли, или внутреннее чувство, во всяком случае какая-то штука там, внутри, и ее что-то давит, гнетет. И от чего эта штука — непонятно. Понятно только, что от нее не спится.

Сидит на ветке птичка и спит, а недалеко от нее проползла змея, от шороха этого проснулась птичка, и сидит она теперь, взъерошив перышки, хотя и не почувала змею. Га, надо дышать ровнее, глубже. Франц беспокойно ворочается. Ненависть Рейнхольда лежит на нем, как кошмар, и борется с ним. Проникает сквозь деревянную дверь и будит его. Рейнхольд тоже лежит. Лежит рядом с Трудой. Он спит крепко и во сне кого-то убивает, во сне отводит душу.

Местная хроника

Это произошло в Берлине на второй неделе апреля, когда выпадали уже иногда совсем весенние дни и, как в один голос писали газеты, чудная пасхальная погода манила горожан на лоно природы. В те дни в Берлине русский студент Алекс Френкель застрелил свою невесту, учащуюся высшего художественно-промышленного училища Веру Каминскую, 22 лет, у нее в комнате. Гувернантка Татьяна Занфтлебен, тех же лет, согласившаяся уйти из жизни вместе с ними, в последнюю минуту испугалась своего решения и убежала, когда ее подруга лежала уже бездыханной на полу. Встретив полицейский патруль, она сообщила ему о страшных переживаниях последней минуты и привела агентов туда, где лежали смертельно раненные Алекс и Вера. Немедленно была вытребована на место происшествия сыскная полиция, и следственная комиссия командировала туда своих представителей. Оказывается, Алекс и Вера хотели пожениться, но их браку препятствовали тяжелые экономические условия⁶¹.

До сих пор не установлено, кто виновник трамвайной катастрофы на Герштрассе. Производится дополнительный допрос потерпевших и вагонновожатого Редлиха. Заключение экспертов — инженеров и техников — еще не получено. Лишь по ознакомлении с таковым представится возможность приступить к рассмотрению вопроса, имеется ли налицо вина вагонновожатого вследствие запоздалого торможения вагона, или же катастрофа была вызвана взаимодействием ряда несчастных случайностей⁶².

На бирже преобладало спокойное настроение; курсы акций были крепче, в связи с предстоящим опубликованием баланса государственного банка, дающего, как нам сообщают, весьма благоприятную картину финансового положения, при сокращении обращения кредитных билетов на 400 миллионов марок и вексельного портфеля на 350 миллионов. 18 апреля около 11 часов утра курсы были таковы: И.-Г. Фарбен от 260 с половиной до 267, Сименс и Гальске от 297 до 299, Дессауские газовые от 202 до 203, Вальдгофские целлюлозные 295⁶³. Некоторый интерес наблюдался к германским нефтяным акциям по 134 с половиной.

Возвращаясь еще раз к трамвайной катастрофе на Герштрассе, мы в состоянии сообщить, что все тяжело пострадавшие при этом несчастном случае находятся на пути к выздоровлению.

Еще 11 апреля редактор Браун вооруженной силой был освобожден из Моабита⁶⁴. Это была сцена, достойная фильма из жизни ковбоев, немедленно организовали погоню, заместитель председателя уголовного суда представил в тот же день Министерству юстиции соответствующее донесение о случившемся. В настоящее время продолжают допросы очевидцев и присутствовавших при этом чиновников.

Значительно меньше внимания уделяет сейчас общественность желанию одного из крупнейших американских автомобильных заводов⁶⁵ предоставить солидным германским фирмам исключительное представительство для Северной Германии на свои шести-восьмицилиндровые машины, цены и качество которых — вне конкуренции.

Да послужит сие ко всеобщему сведению, причем я в особенности обращаюсь к живущим в районе телефонной станции Штейнплац⁶⁶: в театре Ренессанс на Гарденбергштрассе состоялось 100-е отмеченное особым юбилейным чествованием представление «Червоного валета»⁶⁷, прелестной комедии, в которой легкий юмор так удачно сочетается с глубиной замысла. И вот берлинцев при помощи больших афиш приглашают содействовать тому, чтоб эта вещь дождала до еще более почтенного юбилея. Тут, конечно, приходится принять во внимание следующие обстоятельства: берлинцев в целом, как общее правило, можно приглашать, но ведь не исключено, что они, в силу разных причин, не в состоянии последовать такому приглашению. Например, они могут быть в отъезде и даже понятия не иметь о существовании выше-названной пьесы. Они могут и не уезжать из Берлина и все же не иметь возможности прочесть расклеенные по городу афиши театра Ренессанс, хотя бы потому, что больны и лежат в постели, а ведь в городе с четырехмиллионным населением таких людей наберется изрядное число. Как-никак, по радио в 6 часов вечера, в рубрике объявления и реклама, им можно было бы сообщить, что «Червоный валет», эта прелестная парижская комедия, в которой легкий юмор так удачно сочетается с глубиной замысла, в 100-й раз идет на сцене театра Ренессанс. Однако подобное сообщение могло бы вызвать в них в лучшем случае сожаление, что они не в состоянии поехать на Гарденбергштрассе, ибо, раз они больны и лежат в постели, они ни в коем случае не могут туда поехать. Тем более, что по сведениям из достоверных источников в театре Ренессанс не принято никаких мер в целях размещения постелей с больными, которые могли бы, в крайнем случае, доставляться туда в санитарных каретах.

Отнюдь не следует оставлять без внимания и такое соображение: в Берлине могут оказаться люди, да, наверняка, и есть такие, которые афишу театра Ренессанс прочтут, но усомнятся в ее реальности, то есть не в том, что такая афиша действительно существует, а в реальности, равно как и в значимости ее воспроизведенного типографскими знаками содержания. Они могли бы с неудовольствием, с чувством неприязненности и отвращения, а может быть даже и с раздражением прочесть там утверждение, что комедия «Червоный валет» — прелестная вещь, позвольте, кого она прельщает, что она прельщает, чем она прельщает, кто вам дал право меня прельщать, абсолютно не нуждаюсь в том, чтоб меня прельщали! Или, например, они могли бы строго поджать губы по поводу того, что в этой комедии легкий юмор сочетается с глу-

биной замысла. Они не желают никакого легкого юмора, относятся к жизни серьезно, настроение у них мрачное, но высокаторжественное, ибо за последнее время у них из числа родственников умерло несколько человек. Они не дают сбить себя с толку указанием на то, что более глубокий замысел сочетается с легким, к сожалению, юмором. Ибо, по их мнению, нейтрализация, обезвреживание легкого юмора вообще невозможны. Более глубокий замысел всегда должен стоять обособленно. А легкий юмор подлежит устранению, подобно тому, как Карфаген⁶⁸ был устранен римлянами, или другие города другими способами, какими — сейчас не вспомнить. Наконец, иные люди вообще не верят в столь восхваляемый в афишах более глубокий замысел пьесы «Червонный валет». Более глубокий замысел: почему более глубокий, а не просто глубокий? Будет ли более глубокий глубже, чем просто глубокий? Вот они как рассуждают.

Совершенно ясно: в таком большом городе, как Берлин, масса людей подвергают сомнению, критикуют и опорочивают очень многое, в том числе и каждое слово в выпущенной директором театра за большие деньги афише. Эти люди вообще ничего не желают слышать о театре. А если даже они не придираются к театру, если даже они его любят, и в особенности любят театр Ренессанс на Гарденбергштрассе, и если даже они готовы признать, что в этой пьесе легкий юмор в самом деле сочетается с более глубоким замыслом, то и в таком случае они могут не пойти туда, потому что в этот день попросту собираются пойти куда-нибудь в другое место. Из-за этого количество людей, которые устремились бы в театр на Гарденбергштрассе и могли бы, например, добиться параллельных постановок пьесы «Червонный валет» в других театрах, должно тоже значительно уменьшиться.

После сего поучительного обзора событий общественного и частного характера в Берлине в июне 1928 года⁶⁹ мы снова возвращаемся к Францу Биберкопфу, Рейнхольду и его неприятностям с женщинами. Следует предположить, что и этими сведениями интересуется лишь весьма небольшой круг читателей. В причинах такого явления мы не будем разбираться. Что касается меня, то это не должно удерживать меня от эпического повествования о похождениях нашего маленького, незаметного человека в Берлине, в центральной и восточной части города. Ибо всякий делает то, что считает необходимым.

*Франц принимает пагубное решение,
он не замечает, что садится в крапиву*

После разговора с Францем Биберкопфом дела у Рейнхольда пошли неважно. Рейнхольду не было дано, по крайней мере до сих пор, быть грубым с женщинами, как Франц. Ему всегда кто-нибудь должен был помогать, и вот в дан-

ный момент он оказался на мели. Все девчонки ополчились против него: Труда, с которой он еще не разошелся, последняя, Цилли и предпоследняя, имя которой он уж успел забыть. Все они шпионили за ним, отчасти из опасения потерять его (последний номер), отчасти из мести (предпоследний номер), отчасти из вновь вспыхнувшей страсти (номер третий с конца). Новенькая, появившаяся у него на горизонте, некая Нелли из Центрального рынка, вдова, немедленно потеряла к нему интерес, после того как к ней поочередно пожаловали Труда, Цилли и, в конце концов, в качестве свидетеля, готового хоть сейчас под присягу, даже мужчина, некий Франц Биберкопф, отрекомендовавший себя приятелем этого самого Рейнхольда, все в один голос предостерегали ее от него. Да, вот что сделал Франц Биберкопф! «Фрау Лабшинская, — так звали Нелли, — я пришел к вам не для того, чтобы чернить моего приятеля, или кто бы он ни был, в ваших глазах. Нет, ни за что. Я вовсе не хочу рыться в чужом грязном белье. Ни в коем случае. Но что правда, то правда. Выбрасывать одну женщину за другой на улицу — этого я не одобряю. И это не называется настоящей любовью».

Фрау Лабшинская презрительно всколыхнула могучую грудь: Рейнхольд? Пускай он себя не утруждает из-за нее. Она ведь, в конце-то концов, тоже не первый раз имеет дело с мужчинами. Тогда Франц продолжал: «Это я слышу от вас с большим удовольствием, этого мне вполне достаточно. В таком случае, вы, конечно, знаете, как вам поступить. Потому, что тем самым вы делаете доброе дело, а для меня это самое важное. Жалко, понимаете, бабенок, которые в общем и целом такие же люди, как и мы, но жалко и самого Рейнхольда. Он от такой жизни, того и гляди, ноги протянет. Из-за этого самого он уж и пива не пьет, и водки не пьет, а только жиденский кофе, не переносит человек ни капли спиртного. В таком случае уж пускай он лучше возьмет себя в руки. В душе-то он ведь хороший парень». — «Хороший. Это верно, что хороший», — всплакнула фрау Лабшинская; Франц серьезно кивнул головой: «Вот в том-то и дело, ему много чего пришлось перенести на своем веку, но дальше так не должно продолжаться, мы не можем допустить этого».

На прощанье фрау Лабшинская подала Францу свою сильную лапищу. «Я вполне полагаюсь на вас, господин Биберкопф». И она могла на него положиться. Рейнхольд не выехал. Он проявлял известную выдержку, но разгадать его намерения было невозможно. Он жил с Трудой уже три недели сверх срока, Франц ежедневно являлся к ней за докладом. Он ликовал: ведь скоро был бы черед и для следующей. Значит, гляди в оба. И верно: Труда, вся дрожа, в один прекрасный день докладывает ему, что Рейнхольд два вечера как выходит в хорошем костюме. На следующий день она уже знала, кто это такая: некая Роза, петельщица, чуть за тридцать. Фамилию не удалось выяснить, только адрес. Ну, тогда дело на мази, шутил Франц.

Но с враждебной силой рока прочен наш союз — до срока. Вот и горе подступает⁷⁰. Если вам больно ступать, то носите обувь от Лейзера⁷¹. Лейзер —

самый шикарный магазин обуви в Берлине. А если вы не желаете идти, то поезжайте: фирма NSU приглашает вас на пробную поездку на шестицилиндровой машине⁷². И как раз в этот самый четверг Франц Биберкопф шел после долгого времени один по Пренцлауерштрассе, потому что ему захотелось навестить так, вообще, своего друга Мекка, которого он давно не видел, а кроме того рассказать ему о Рейнхольде и его историях с женщинами. Пускай Мекк увидит и подивится как он, Франц, обуздал такого субъекта и заставил его повиноваться, чтоб тот привык к порядку, и как тот действительно начинает привыкать.

И вот, когда Франц заворачивает со своим газетным ящиком в пивную, кого зрят его зеницы? Мекка! Сидит он там с двумя другими и харчит. Ну, Франц сейчас же подсаживается и тоже заказывает чего-нибудь поесть, а когда оба посторонние наконец уходят, он выставляет угощение — пару больших кружек светлого пива — и принимается, попеременно жуя и прополаскивая глотку пивом, рассказывать, а Мекк, тоже попеременно жуя и прополаскивая глотку пивом, с удовольствием слушает и удивляется, какие чудачки бывают на свете. Мекк, конечно, никому не скажет, но все-таки это здорово! Франц рассказывает, сияя, чего он уже достиг в этом деле и как он уже отвратил от Рейнхольда эту самую Нелли, фамилия ее фрау Лабшинская, и что Рейнхольду пришлось на три недели дольше срока остаться с Трудой, а сейчас у него на примете некая Роза, петельщица, но только эту петлю мы ему тоже затянем. И так Франц во всю ширь расселся перед своей кружкой пива, жирный, довольный. Грянем застольную песнь, друзья, пустим мы чашу по кругу! Пятью десять — пятьдесят, мы пьем, как стадо поросят⁷³.

А кто стоит у стойки, недалеко от столика, за которым пьют, за которым поют, и улыбается в прокуренную, вонючую пивную? Самый толстый из всех толстых боронов — господин фон Пумс. Он улыбается, то есть это у него называется улыбаться, но его свиные глазки что-то ищут. Видно, придется ему взять метлу и расчистить ею дыру в этом чаду, если он хочет что-либо разглядеть в нем. Но вот к нему подходят трое. Значит, это и есть те парни, которые всегда проворачивают вместе с ним дела, подозрительные типы, очень подозрительные. Видно, одного с ним поля ягоды. Лучше смолodu на виселице болтаться, чем в старости по дворам побираться. Они вчетвером почесывают себе затылки, ржут, ищут еще кого-то в пивной. Надо, надо им взяться за метлу, если они хотят здесь что-нибудь увидеть. Впрочем, вентилятор достигает той же цели. Мекк подталкивает Франца. «У них нет полного комплекта. Им нужны еще люди для товара, толстяк не может набрать достаточно людей». — «Ко мне он уж тоже подкатывался, да не желаю я с ним путаться. Куда мне фрукты? У него, верно, много товара?» — «Почем знать, какой у него товар. Он говорит — фрукты. Не надо слишком много спрашивать, Франц. Но вовсе не так плохо держаться этого человека, от него всегда что-нибудь да перепадет. Человек он ходовой, старик-то, да и другие тоже».

В восемь часов 23 минуты 17 секунд к стойке подходит еще один — раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять — как бы вы подумали: кто? Вы говорите — английский король? Нет, не английский король, который как раз в этот момент едет в сопровождении пышной свиты на открытие парламента⁷⁴ как символ духа независимости английской нации. Нет, не он. Ну кто же тогда? Уж не делегаты ли народов, подписавшие в Париже пакт Келлога⁷⁵ и окруженные полсотней фотографов, а соответствующая событию чернильница не могла быть доставлена на место по причине своей величины, и пришлось удовлетвориться северским гарнитуром?⁷⁶ Нет, и не они. Это только — волочит ноги, серые шерстяные носки свисают на ботинки, очень невзрачная фигура, серая как мышь, — Рейнхольд! И вот они уже пятером чешут себе затылки, рыщут глазами по пивнухе. Да возьмите же метлу, чтоб тут что-нибудь разобрать. Впрочем, вентилятор достигает той же цели. Франц и Мекк напряженно наблюдают за этой пятеркой, что она будет делать и как она садится теперь всей компанией за столик.

А четверть часа спустя Рейнхольд подойдет к стойке за чашкой кофе и лимонадом и будет зорко озираться в пивной. И кто тогда улыбнется ему и станет делать ему ручкой? Уж конечно не доктор Луспе, обербюргермейстер города Нюрнберга, потому что в этот день ему надо произнести приветственную речь по случаю дюрерских торжеств⁷⁷, а после него говорят еще имперский министр внутренних дел Кейдель и баварский министр народного просвещения Гольденбергер, каковое обстоятельство в достаточной мере объясняет отсутствие сегодня здесь и этих последних. Жевательная резинка П.-Р. Ригли укрепляет зубы, освежает рот, улучшает пищеварение⁷⁸. Это всего лишь Франц Биберкопф, который ухмыляется во все лицо. Он страшно рад, что Рейнхольд подходит к нему. Ведь это ж объект его воспитания, это ж его воспитанник, вот он сейчас продемонстрирует его своему другу Мекку. Погляди-ка, как он идет. Он у нас во как в руках. Рейнхольд подходит с чашкой кофе и лимонадом, подсаживается к ним, мурлычет что-то и чуть-чуть заикается. Францу хочется поскорее вызвать его на откровенность, чтоб Мекк сам услышал, и он говорит: «Ну, как у тебя дома, Рейнхольд, все в порядке?» — «М-да, Труда еще у меня, начинаю привыкать». Произносит он это так тягуче, капля за каплей, словно из испорченного крана. Ну что ж, Франц очень доволен. Чуть до потолка не скачет — так доволен. Ведь это ж он сделал. Кто же другой, как не он? И, сияя, обращается к своему другу Мекку, который не отказывает ему в дани восхищения: «А что, Мекк, мы наведем порядок в мире, мы все наладим, попадись нам только кто в руки». И, хлопнув Рейнхольда по плечу, которое нервно дергается: «Вот видишь, брат, стоит только захотеть, тогда всего на свете добьешься. Я всегда говорил: если хорошенько захотеть и не уступать, то все пересилишь». И Франц глядит и не нарадуется на Рейнхольда. Потому что один раскаявшийся грешник лучше, чем 999 праведников⁷⁹.

«А что же говорит Труда, не удивляется, что все идет так мирно и гладко? А сам-то ты не рад, что отделался от всех этих неприятностей с бабами? Знаешь, Рейнхольд, бабы — вещь хорошая и могут доставить удовольствие. Но если ты меня спросишь, что я думаю о бабах, то я скажу: пусть их будет не слишком мало, но и не слишком много. Когда их слишком много, то беда. Руки прочь от них. Об этом я тоже могу кой-что порассказать». Ну да, рассказать про Иду, про сад Парадиз, про Трептов, про белые парусиновые туфельки, а потом — Тегель. Как хорошо, что все это позади, прошло, миновало. «Я уж тебе помогу, Рейнхольд, чтоб у тебя все шло, как следует, с бабами-то. Так что тебе не придется тащиться в Армию Спасения, мы сами все гораздо лучше обтяпаем. Ну, за твое здоровье, Рейнхольд, один-то бокал ты же можешь выпить». Но тот тихонько чокнулся кофейной чашкой. «Что ты тут можешь обтяпать, Франц, почему, каким образом?»

Черт возьми, чуть не проговорился. «Да я только к тому, что на меня ты можешь положиться. И ты должен приучить себя к водке, например — к легкому кюммелю». А тот ему тихим таким голосом: «Тебе, верно, хочется быть моим доктором?» — «Почему бы и нет? В таких вещах я толк знаю. Помнишь, Рейнхольд, я помог тебе уже в деле с Цилли, да и раньше. Неужели же ты сомневаешься, что я тебе и теперь помогу? Франц всегда был друг людям. Он знает, куда какой путь ведет».

Рейнхольд вскидывает на него грустные глаза: «Вот как, ты это знаешь?» Франц спокойно выдерживает его взгляд, не дает омрачить свою радость, пускай себе тот кой-что заметит, ему только на пользу пойдет, если он убедится, что другие не так-то легко поддаются ему. «Да, вот и Мекк может тебе подтвердить, что у нас есть кой-какой опыт, и на него мы и полагаемся. А затем, что касается водки; Рейнхольд, если ты научишься пить водку, то мы отпразднуем это событие, вот здесь, за мой счет — я плачу за всю музыку». Рейнхольд все еще глядит на Франца, гордо выпятившего грудь, и на маленького Мекка, с любопытством наблюдающего за ними. Наконец Рейнхольд опускает глаза и как будто что-то ищет в чашке: «Тебе, вероятно, хотелось бы довести меня своим лечением до того, чтоб я женился?» — «Твое здоровье, Рейнхольд, да здравствует молодожены, пятью пять — двадцать пять, выпил рюмку — лей опять, спой с нами, Рейнхольд, подтягивай, лиха беда начало, да без него конца бы не бывало».

Рота — стой! Ряды — вздвой! Правое плечо вперед, шагом — марш! Рейнхольд отрывает взор от кофейной чашки. Пумс, тот, который с красной, жирной физиономией, стоит возле него, что-то шепчет, Рейнхольд пожимает плечами. Тогда Пумс дует сквозь густой табачный дым и весело каркает: «Я вас уже как-то спрашивал, Биберкопф, как мне быть с вами, вы все еще хотите бегать с бумажным товаром? Сколько же вы на этом зарабатываете? Два пфеннига с экземпляра, пять пфеннигов в час, а?» И начинается у них торг с переторжкой, чтобы, значит, Франц взял тележку с овощами или фруктами,

а Пумс будет доставлять товар, заработок, говорят, блестящий. Но Францу хочется и не хочется, вся эта Пумсова компания ему совсем не по душе, с этими молодцами держи ухо востро, а то как раз надуют. Заика Рейнхольд молчит себе в своем уголке, ничего не говорит. А когда Франц спрашивает его, что он на это скажет, то замечает, что Рейнхольд все время не сводил с него глаз и только сейчас опустил их в чашку. «Ну, как твое мнение, Рейнхольд?» — «Что ж, я ведь тоже с ними работаю», — говорит он, заикаясь. А когда и Мекк говорит, почему бы не попробовать, Франц, то Франц заявляет, что подумает, что не хочет сказать ни да, ни нет, а завтра или послезавтра придет сюда же и договорится с Пумсом, как быть с товаром, как его получать, как рассчитывать и какой район для него самый подходящий.

И вот все уже ушли, пивная почти пуста, Пумс ушел, Мекк и Биберкопф ушли, и только у стойки стоит какой-то трамвайный служащий и беседует с хозяином о вычетах из жалованья, которые больно уж велики. А заика Рейнхольд все еще торчит на своем месте. Перед ним три пустые бутылки шипучего лимонада, недопитый стакан и кофейная чашка. Почему он не уходит домой? Дома спит Труда-блондинка. Он о чем-то думает, размышляет. Наконец, встает и проходит, волоча ноги, по пивной, шерстяные носки свисают у него за борт. Совсем больным выглядит этот человек, изжелта-бледный, с зияющими линиями вокруг рта, со страшным поперечными складками на лбу. Он приносит себе еще чашку кофе и еще одну бутылку лимонада.

Проклят человек, говорит Иеремия, который надеется на человека и плоть делает своею опорой и у которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование — Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной: лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?²⁸⁰

Воды в густом, дремучем лесу⁸¹, страшные, черные воды, вы раскинулись так безмолвно. Так страшно спокойно раскинулись вы. Не шелохнется ваша поверхность, когда буря бушует в лесу, когда гнутся высокие сосны, рвутся меж их ветвями тонкие паутинки и подымается вокруг треск и стон. Вы же раскинулись внизу, в котловине, вы, черные воды, и валяются сучья.

Ветер разрывает лес на клочки, но буре до вас не достать. На дне вашем нет драконов; миновали времена мамонтов, и нет ничего, что могло бы испугать человека, гниют в вас растения, и лениво шевелятся рыбы и улитки. Больше — ничего. Но хотя бы и так, хотя только воды вы, все же до жути страшны вы, черные, грозно спокойные воды.

*Воскресенье, 8 апреля 1928 года*⁸²

«Уж не снег ли собирается, неужели все еще раз станет белым в апреле месяце?» Франц Биберкопф сидел у окна в своей маленькой комнате, опершись левой рукой на подоконник и подперев другой голову. Это было в воскресенье, после обеда, в комнате было тепло, уютно. Цилли истопила печку еще до обеда и спала теперь с котенком на кровати. «Неужели в самом деле снег? Погода совсем серая. Что ж, не худо бы».

А когда Франц закрыл глаза, он услышал звон колоколов. Так он просидел несколько минут, прислушиваясь к звону: бом, бом, дили бом, дили, дили, бам, бам, бом. Пока не обхватил голову руками и не разобрал — да, действительно два более глухих колокола и один звонкий. Вот, перестали.

Почему это теперь звонят? — стал он соображать. И тут же звон раздался снова, очень сильный, властный, буйный. В воздухе так и гудело. И вдруг — конец. Сразу наступила тишина.

Франц снял руку с подоконника и подошел к Цилли. Та уже сидела на кровати, с зеркальцем в руке и шпильками в зубах, и что-то весело мурлыкала себе под нос. «Что сегодня за день, Цилли? Праздник, что ли?» Она продолжала причешиваться. «Ну да же, воскресенье». — «Что ж, что воскресенье. А праздник какой?» — «Может быть, какой-нибудь католический, не знаю». — «Почему ж это так в колокола звонят?» — «Где?» — «Да вот только что». — «Я ничего не слышала. А ты слышал, Франц?» — «Еще бы! Так и гудели, так и гудели». — «Это тебе, верно, приснилось, Франц. Вот ужас». — «Нет, я не спал. Я вот тут сидел». — «Ну и вздремнул маленько». — «Да нет же». Он упорно стоял на своем, весь как-то оцепенел, двигался медленно, сел на свое место за стол. «Как такая вещь может присниться? Ведь я же слышал своими ушами». Он залпом выпил пива. Но чувство страха не рассеивалось.

Он взглянул на Цилли, готовую уже заплакать. «Почем знать, Цилликен, что и с кем сейчас случилось». Он спросил газету. Цилли засмеялась. «Нет газеты, ведь по воскресеньям никогда газет не бывает».

Он стал просматривать утреннюю газету, перечитал в ней заголовки: «Ерунда одна. Нет, это все не то. Как будто ничего не случилось». — «Если у тебя, Франц, в голове звон, то тебе в церковь надо сходить». — «Ах, оставь ты меня в покое со своими попами, куда они мне? Только вот — странное дело: как будто что-то слышишь, а посмотришь — и нет ничего». Он задумался. Цилли, ласкаясь, стояла рядом. «Знаешь, Цилли, пойду-ка я немножко пройдусь. На часок, не больше. Узнаю, не случилось ли что. Вечером выходят “Вельт”⁸³ и “Монтаг морген”⁸⁴, надо будет взглянуть, что там пишут». — «Ну, уж ты со своими мрачными мыслями. Что там пишут? А вот: недалеко от Пренцлауерских ворот потерпел аварию грузовик ассенизационного обоза, и жижа вылилась на улицу. Или, постой-ка, еще новость: такой-то газетчик, меня деньги покупателю, по ошибке дал ему сдачу правильно».

Франц рассмеялся: «Ну, я пойду. До свидания, Цилликен».

«До свидания, Францекен».

После этого Франц медленно спустился по лестнице с пятого этажа и своей Цилли больше уж никогда не видал.

Она прождала его в комнате до пяти. А так как он все не возвращался, то вышла на улицу и стала искать его по всем пивным до самой Пренцлауерштрассе. Он ни в одну не заходил. Но ведь он же хотел прочитать где-нибудь газету после этого глупого случая, когда ему что-то приснилось. Куда-нибудь же он наверно да пошел. Хозяйка пивной на углу Пренцлауерштрассе сообщила: «Нет, тут его не было. Но его спрашивал господин Пумс. Я сказала, где живет господин Биберкопф, и господин Пумс хотел зайти к нему». — «К нам никто не приходил». — «Не нашел, может быть?» — «Вероятно». — «Или встретился с ним на лестнице».

Цилли просидела там до позднего вечера. Пивная наполнилась народом. Цилли все время смотрела на дверь. Один раз она сбегала домой и снова вернулась. Пришел только Мекк, который стал утешать ее и с четверть часа балагурил с нею. Между прочим, сказал: «Этот, небось, вернется. Парень к хлебу-то привык. Так что ты не волнуйся, Цилли». Но в ту же самую минуту ему вспомнилось, как он когда-то сидел вот так же с Линой, и она искала Франца, в тот раз, когда была эта история с Людерсом со шнурками для сапог. И Мекк чуть сам не пошел вместе с Цилли, когда та снова выскочила на грязную, темную улицу; но ему не хотелось расстраивать Цилли еще больше, может быть, все это так, пустяки.

В порыве гнева Цилли вдруг отправилась искать Рейнхольда; может быть, он опять навязал Францу какую-нибудь женщину, и Франц просто бросил ее, Цилли. Но комната Рейнхольда оказалась заперта на ключ, и дома не было даже Труды.

Цилли медленно повернула обратно в пивную. Шел снег, который сразу превращался в слякоть. На Алексе газетчики выкрикивали «Монтаг морген» и «Вельт ам монтаг»⁸⁵. Цилли купила у чужого газетчика газету и посмотрела ее. Прав ли был Франц, случилось ли что-нибудь особенное в этот день? Ну да, крушение поезда в Соединенных Штатах, близ Огайо, столкновение коммунистов с фашистами⁸⁶, нет, в таких делах Франц не участвует, большой пожар в Вильмерсдорфе. На что мне все это? Она медленным шагом миновала сверкавший огнями универмаг Тица⁸⁷ и перешла через улицу по направлению к темной Пренцлауерштрассе. Цилли была без зонтика и порядком промокла. На углу Пренцлауерштрассе, перед маленькой кондитерской, стояла под зонтиком группа уличных фей, загордив весь проход. Сразу за этой группой с Цилли заговорил какой-то толстяк без шляпы, вышедший из подъезда дома. Она поспешила пройти мимо. Но следующее я возьму, что это Франц себе думает? Этаким подлости я еще никогда не видывала.

Было без четверти 10. Страшное воскресенье. В это самое время Франц лежал уже в другой части города на земле, головою в сточной канавке, ногами на тротуаре.

Франц спускается с лестницы. Ступенька, еще ступенька, еще, еще, и так четыре этажа все ниже да ниже. В голове какой-то туман, точно она чем-то забита. Суп готовишь, фрейлейн Штейн⁸⁸, дай мне ложку, фрейлейн Штейн, дай мне ложку, фрейлейн Штейн, суп готовишь, фрейлейн Штейн. Нет, этим у меня делу не поможешь. Ух, и потел же я тогда у той стервы. Надо пойти освежиться на воздухе. Ну и перила в этом доме, даже порядочного освещения нету, так можно и на гвоздь напороться.

На 2-м этаже открывается дверь, и за Францем тяжеловесно плетется какой-то человек. Вот, должно быть, у него пузо, раз он так отдувается, да еще спускаясь по лестнице. Внизу Франц останавливается в дверях. Воздух сер и мягок, верно, скоро пойдет снег. Человек с лестницы пыхтит уже рядом с Францем, это маленький, рыхлый человечек с бледным одутловатым лицом; на голове у него зеленая войлочная шляпа⁸⁹. «У вас, вероятно, сильная одышка, сосед?» — «Да, знаете, ожирение. И потом, хождение по лестницам». Они вместе идут по улице. Тот, который с одышкой, пыхтит: «Это я, понимаете, сегодня уж пять раз подымался на пятый этаж. Сами посчитайте: двадцать лестниц, в среднем по тридцати ступеней — витые лестницы короче, да зато круче — стало быть по тридцати ступеней пять лестниц, это сто пятьдесят ступеней. Извольте-ка: вверх, да вниз». — «Собственно говоря, тут будут все триста. Потому что вниз вам тоже трудно, как я заметил». — «Верно, верно, вниз тоже». — «В таком случае я выбрал бы себе другую профессию».

Снег падает тяжелыми хлопьями, хлопья кружатся, красота! «Да, знаете, я хожу по объявлениям, так что уж тут ничего не поделаешь. Для меня нет будней или воскресений. По воскресеньям даже труднее. По воскресеньям больше объявлений, потому что люди больше всего рассчитывают на воскресенье». — «Ну да, потому что у людей в этот день больше времени, чтобы прочесть газету. Понятно даже без очков. Это ж по моей специальности». — «А вы тоже даете объявления?» — «Нет, я только торгую газетами. А сейчас собираюсь почитать, какая попадется». — «Ну, я их уже все прочел. Вот погода-то. Видали вы когда-либо что-нибудь подобное?» — «Известное дело — апрель! Вчера было еще очень хорошо. И вот, обратите внимание, завтра опять будет ясно. Хотите пари?» Но тот совсем запыхался, отдувается, фонари уже горят, выгаскивает возле одного фонаря из кармана маленькую записную книжечку без переплета, держит ее перед собой как можно дальше и что-то выискивает в ней. «Намокнет она у вас», — говорит Франц, но тот как будто не слышит, сует книжечку обратно в карман, разговор окончен, надо попрощаться, думает Франц. И вдруг этот человечек пристально глядит на него из-под зе-

леной шляпы и спрашивает: «А скажите, сосед, чем вы, собственно, живете?» — «Почему вы спрашиваете? Я — газетчик, вольный газетчик». — «Вот как? И этим вы зарабатываете деньги?» — «Да, помаленьку». Что этому человеку надо, вот чудак-то. «Вот как? А знаете, мне тоже всегда хотелось зарабатывать деньги так, вольным трудом. Должно быть, приятно делать, что вздумается, и если только не лениться, то дело уж пойдет на лад». — «Как когда. Но ведь вот вы, сосед, бегаете, кажется, достаточно? В воскресенье, да еще в такую погоду, как сегодня, немногие побежали бы». — «Верно, верно. Я пробежал сегодня уже полдня. И все-таки ничего не заработал, ничего не заработал. У людей нынче совсем нет денег». — «Чем же, позвольте узнать, вы торгуете, сосед?» — «А я, знаете ли, получаю небольшую пенсию. И вот мне захотелось, понимаете, быть свободным человеком, работать, зарабатывать деньги. Ну да, пенсию я получаю уже три года, а до тех пор я служил на почтамте, и вот теперь я бегаю, как угорелый. Читаю в газетах объявления, а затем хожу и смотрю, на то, что люди через газеты продают». — «Вас интересует мебель?» — «Да что придется: подержанная конторская мебель, рояли фабрики Бехштейна, старые персидские ковры, пианолы, коллекции марок, монеты, гардеробы после покойников». — «М-да, народу много помирает». — «Так и валяются, так и валяются. Ну, я иду по объявлению, смотрю вещи, а затем и покупаю». — «А потом перепродаете, понимаю».

После этих слов астматик снова замолк, как бы весь ушел в свое пальто, они неторопливо шагали по талому снегу. Вдруг толстый астматик, подойдя к следующему фонарю, вытащил из кармана пачку открыток, огорченно взглянул на Франца и протянул ему две штуки со словами: «Вот, прочитайте, сосед». Открытка гласила: «Берлин, число почтового штемпеля. М. Г. Вследствие неблагоприятно сложившихся обстоятельств я вынужден, к сожалению, отказаться от состоявшейся вчера сделки. С совершенным почтением, Бернгард Кауер»⁹⁰. — «Значит, ваша фамилия Кауер?» — «Да, открытки я копирую на копировальном прессе, который мне когда-то привелось купить. Это единственная вещь, которую я приобрел. Вот я на нем и снимаю копии. Получается до пятидесяти штук в час». — «Что вы говорите!?! Ну, а для чего вам это?» У человека, должно быть, в голове одного винтика не хватает, то-то он так глазами хлопает. «Вы прочитайте: вследствие неблагоприятно сложившихся обстоятельств вынужден отказаться. Дело в том, что покупать я покупаю, а заплатить не могу. Ну, а без денег мне вещь не дают. Да на людей за это и сердиться-то нельзя. И вот я все бегаю да бегаю да покупаю да договариваюсь, я рад и люди рады, что дело идет, как по маслу, а я про себя думаю, какая мне удача и какие на свете бывают чудные вещи, например, богатейшие коллекции монет, я вам скажу, и вдруг у людей нет денег, и прихожу я, значит, по объявлению, осмотрю все как следует, а люди мне сейчас все и выкладывают, что да как да почему и что им до зарезу нужны деньги и какая вообще нуж-

да кругом, у вас в доме я тоже кое-что купил, машину для стирки белья и маленький комнатный ледник, деньги этим людям нужны во как, и они были очень рады, что разделались с лишними вещами. А потом я спускаюсь по лестнице, и ужасно мне хотелось бы все купить, но внизу меня уж ждет забота: нет и нет денег!» — «Ну, а у вас же, верно, есть кто-нибудь, кому вы можете перепродать вещи?» — «Э, да чего уж там. Вот я и купил себе копировальный аппарат, на котором делаю копии. По пяти пфеннигов обходится мне каждая открытка — накладные, понимаете, еще расходы. А затем — конец, точка».

Франц выгарашил глаза: «Ой, батюшки, уморили. Неужели вы это всерьез, сосед?» — «Ну да, накладные расходы я иногда сокращаю, экономлю пять пфеннигов тем, что опускаю такую открытку в ящик для писем на дверях у этих людей сразу, как выйду от них». — «Значит, вы бегаєте, не жалея ног, задыхаетесь — чего же ради?»

Они вышли на Александрплац.

Там в одном месте столпился народ, они подошли ближе. Коротенький человечек со злостью взглянул на Франца: «А вот вы попробуйте-ка прожить на восемьдесят пять марок в месяц и больше ни гроша». — «Послушайте, но ведь вам же нужно позаботиться о сбыте. Если хотите, я могу спросить кой-кого из моих знакомых». — «Что за глупости, я вас вовсе не просил, я делаю свои дела один, терпеть не могу вести дела в компании с другими». Они находились теперь в середине толпы, происходила обычная сцена, двое из-за чего-то поругались, Франц стал искать коротенького человечка, но тот уже скрылся, исчез. Неужели он и дальше будет так бегать? — удивлялся про себя Франц. — Лопнуть можно от смеха. Ну а где же произошло то несчастье, из-за которого так в ушах звенело? Он зашел в маленький кабачок, потребовал рюмку кюммеля, просмотрел Форвертс⁹¹, Локальанцайгер⁹². В них тоже не было ничего особенного, кроме того, о чем писали уже в других газетах, большие скачки в Англии, а также в Париже⁹³, что ж, вероятно, были крупные выдачи на тотализаторе. Так что, пожалуй, это бывает и к счастью, когда в ушах звенит.

И вот Франц уже собирается идти домой, вернуться к Цилли. Но надо бы еще перейти на ту сторону и взглянуть, что делается там в толпе. А вот последние новости! Пожалуйте, молодой человек, самые последние новости! Монтаг морген, Ди Вельт, Ди Вельт ам монтаг!

Что вы на это скажете — дерутся двое уже с полчаса, а по какой причине, неизвестно. Здесь мы останемся до завтрашнего утра. Послушайте, вы что же это — абонемент взяли на стоячее место, что ли, что вы так распространяетесь? Нет, который есть блоха, тот не может распространяться. Ишь ты, ишь ты, гляди-ка, всыпет он ему сейчас.

А когда Франц протиснулся вперед, то кто же это там дерется, и с кем? Парни-то ведь знакомые, из пумсовских. Что вы на это скажете? Вот длинный подмял противника под себя, но тот поднатужился и шварк длинного в грязь.

Эх, парень, парень, от такого сморчка полетел. Видно, несдобровать тебе. Это что тут за сборище? Ай-яй, полицаи! Зеленые! Полицаи, полицаи, смывайся. Сквозь толпу пробираются двое полицейских в дождевых капюшонах. Маленький-то сразу шмыг в толпу, задает винталя. А другой, длинный, не может сразу подняться — ушибся, как видно, здорово. Тут Франц проталкивается совсем вперед. Не оставлять же человека на произвол судьбы, ну и публика, никто не поможет. И вот Франц подхватывает длинного под руки и — ходу! Зеленые ищут, спрашивают: «Что у вас тут такое?» — «Да вот, подрались двое». — «Расходись, нечего останавливаться». Зеленые каркают, каркают, а сами всегда на сутки опаздывают. Расходиться? С нашим удовольствием, господин вахмистр, не извольте беспокоиться.

Франц сидит с длинным в слабо освещенном проезде во дворе какого-то дома на Пренцлауерштрассе; только двумя номерами дальше находится тот дом, из которого 4 часа спустя выйдет толстяк без шляпы и заговорит с Цилли. А она пройдет мимо, но следующего непременно возьмет, этакий негодяй этот Франц, этакий подлец.

Франц сидит под воротами и нянчится с этим гнилушкой Эмилом: «Да возьми ты себя в руки, такой-сякой, чтоб мы могли зайти в какую-нибудь пивную, что ли. Нечего притворяться, будто тебе уж совсем капут. Да почистись немножко, а то к тебе вся мостовая прилипла». Они пересекают улицу. «Теперь я сдам тебя в первую попавшуюся пивную, Эмиль, а сам я спешу домой, меня там невеста ждет», — говорит Франц, пожимая ему руку. Тот вдруг еще раз оборачивается: «Ты бы мог сделать мне еще одно одолжение, Франц. Я должен был ехать сегодня с Пумсом за товаром. Так забеги, пожалуйста, к нему, это в двух шагах отсюда, вход с улицы. Сходи, а?» — «Для чего? У меня понимаешь, времени нет». — «Только передать, что я сегодня не могу, ведь он ждет меня, все дело у него стоит».

Франц, хоть и ругается, а идет, ну и погода, черт бы побрал этого Эмиля, надо скорее домой, нельзя же заставлять Цилли так долго ждать, этакий дурак, время-то ведь не казенное. И Франц мчится во весь опор. У фонаря стоит коротенький человечек, читает что-то в книжечке. Кто это? Как будто знакомый? В этот момент человечек подымает глаза и сразу же к Францу: «Ах, это вы, сосед? Ведь вы же из того дома, где продавались машина для стирки белья и комнатный ледник. Да, так вот окажите любезность, потом, когда будете проходить мимо, передайте открытку, как-никак, экономия на марке». И сует Францу открытку: «Вследствие неблагоприятно сложившихся обстоятельств вынужден отказаться...» Затем Франц Биберкопф спокойно продолжает шагать, а открытку надо будет показать Цилли, дело-то ведь не к спеху. Его забавляет этот чудака, этот мелкий почтовый чинуша, который все бегаёт да бегаёт и все покупает, но денег у него нет, а также и винтика в голове, и даже не винтика, а здорового болта.

«Здравствуйте, господин Пумс. Добрый вечер. Вы, верно, удивлены, что я к вам пришел? Что же вам сказать? Иду это я по Алексу. Вижу — у самой Ландсбергерштрассе драка. Ну, думаю, надо посмотреть. И кто же это там дерется? Как бы вы думали? Ваш Эмиль, длинный, с таким маленьким, которого звать, как и меня, Францем, да вы уж знаете». На это господин Пумс отвечает, что он и то уж подумывал о Франце Биберкопфе и что он еще днем заметил между теми двумя что-то неладно. «Стало быгь, длинный не придет? И вы хотите его заменить, Биберкопф?» — «А что надо делать-то?» — «Теперь шестой час. В девять мы должны ехать за товаром. Биберкопф, сегодня воскресенье, вам все равно делать нечего, я возмещаю вам все расходы, а за труды дам — ну, скажем, пять марок в час». Франц начинает колебаться. «Пять марок?» — «Да чего уж там, вы меня очень обяжете, те двое меня сильно подвели». — «Маленький-то ведь еще придет». — «Ну ладно, конечно, пять марок и мои расходы, ладно, пускай будет пять пятьдесят, я за этим не постою».

В душе Франц страшно смеется, когда спускается по лестнице вслед за Пумсом. Вот так удачное воскресенье, ведь такое дело не скоро опять набегит, значит, это верно, что звон в ушах — к счастью, вот я в воскресенье, здорово живешь, загребу марок пятнадцать или двадцать, а какие у меня при этом расходы? И он рад и доволен, в кармане у него шуршит открытка почтового чинуши, у подъезда он хочет попрощаться с Пумсом. А тот с удивлением: «Ну? Я же думал, что у нас дело решенное, Биберкопф?» — «Решенное, решенное, на меня можете положиться. Мне только на одну минуточку, знаете, хе-хе, у меня там невеста дожидается, Цилли, может быть, вы ее даже знаете от Рейнхольда, раньше-то она с ним гуляла. Не могу же я оставить девушку на все воскресенье одну в комнате». — «Нет, Биберкопф, я никак не могу вас теперь отпустить, а то все расстроится, и я же буду в дураках. Нет, Биберкопф, из-за бабы портить все дело — это, знаете, не годится. Не убежит она от вас, я думаю». — «Это я и сам знаю, это вы очень даже правильно заметили, ей можно вполне доверять. Тем более я не могу оставить ее вот так, чтобы она сидела да ничего не слышала, не видела, не знала, что я делаю и где я». — «Бросьте, идемте-ка, все это мы с вами устроим потом».

«Что тут будешь делать?» — думает Франц. Пошли. Опять на Пренцлауерштрассе. Там и сям стояли уже уличные феи, те самые, которых несколько часов спустя увидит Цилли, когда будет бродить в поисках своего Франца. А время идет, и вокруг Франца накапливается всякая всячина. Скоро он будет стоять в автомобиле, и его схватят. Сейчас же он думает о том, как бы отправить открытку того чудака и как бы хоть на минутку сбежать наверх к Цилли, ведь ждет же девчонка.

На Альте-Шенгаузерштрассе⁹⁴ он подымается вместе с Пумсом по лестнице в какой-то боковой флигель, это — контора, говорит Пумс. И действительно, там освещено, и комната выглядит как настоящая контора, с телефоном

и пишущими машинками. По комнате, где сидит Франц с Пумсом, несколько раз проходит пожилая женщина с суровым лицом. «Это моя жена, а это — господин Франц Биберкопф, который согласился принять сегодня участие в нашем деле». Та проходит, словно ничего и не слышала. А пока Пумс что-то ищет у себя в письменном столе, Франц берет лежащую на стуле Бе Цег и читает⁹⁵: 3000 морских миль в ореховой скорлупе — Гюнгер Плюшов, каникулы и кросс-коунтри, драма Лео Лания «Конъюнктура» в исполнении труппы Пискатора⁹⁶ в Лессингтеатре. Режиссура самого Пискатора. Что такое Пискатор, что такое Лания? Что тут оболочка и что содержание, сиречь — сама драма? Запрещение ранних браков в Индии, кладбище для премированного скота. Хроника: Бруно Вальтер⁹⁷ дирижирует на последнем в этом сезоне концерте в воскресенье, 15 апреля, в городской Опере. В программе симфония ми-бемоль-мажор Моцарта⁹⁸, весь чистый доход от концерта поступит в фонд по сооружению памятника Густаву Малеру в Вене⁹⁹. Шофер, сем., 32 года, категория 2а, 3b ищет место в частном предприятии или в грузовом транспорте.

Господин Пумс ищет на столе спички для своей сигары. В эту минуту его жена открывает замаскированную обоями дверь, и в комнату медленно входят трое мужчин. Пумс даже и головы не поднял. Эти все — Пумсовы ребята, Франц здоровается с ними за руку. Жена Пумса собирается уходить, как вдруг Пумс делает Францу знак: «Послушайте, Биберкопф, ведь вы, кажется, хотели отправить какое-то письмо? Так вот, Клара, отправь его, пожалуйста». — «Ах, очень любезно с вашей стороны, фрау Пумс, большое спасибо за одолжение. Так что это даже и не письмо, а простая открытка, а затем сказать моей невесте, что...» И он в точности объясняет, где он живет, пишет адрес на деловом конверте Пумса и просит передать Цилли, чтоб она не беспокоилась, что вернется он домой часам к десяти, и посылает ей открытку...

Так, теперь все в порядке, у Франца стало совсем легко на душе. А тощая злая стерва перечитывает на кухне конверт и сует его в огонь, записку комкает и бросает в мусорный ящик. А затем пристраивается к плите, попивает, как ни в чем не бывало, кофе, ни о чем не думает, сидит, пьет, греется. Радость Франца становится еще более бурной, когда приплелся в кепке, какие носят десятичники¹⁰⁰, и в толстой зеленой солдатской шинели — кто же такой? А у кого еще такие борозды на лице? Кто еще так волочит ноги, как будто ему приходится вытаскивать их одну за другой из вязкой глины? Конечно же, это — Рейнхольд! Тут уже Франц чувствует себя совсем как дома. Вот и прекрасно! С Рейнхольдом он пойдет куда угодно, что бы ни случилось. «Как, и ты с нами?» — тянет Рейнхольд в нос и ходит волоча ноги. «Как это ты решился?» Тогда Франц принимается рассказывать о драке на Алексе, и как он помог длинному Эмилю. Те четверо жадно слушают, Пумс все еще что-то пишет, подталкивают друг друга локтями, а потом начинают попарно перешептываться. Кто-нибудь из них все время занимается Францем.

В 8 часов пускаются в путь-дорогу. Все тепло закутаны, и Франц тоже получает теплое пальто. Он сияет и говорит, что такое пальто охотно оставил бы себе, а также, черт побери, и каракулевую шапку. «А почему бы и нет? — отвечают ему. — Сперва только надо их заслужить».

Пошли, на улице темно, хоть глаз выколи, и слякоть невообразимая. «Что ж мы будем делать-то?» — спрашивает Франц, когда они уже на улице. «Сперва, — отвечают ему, — надо раздобыть автомобиль или два. А затем привезем товар — яблоки¹⁰¹ или что придется». Они пропускают много автомобилей. Наконец, на углу Менцерштрассе стоят две машины, их берут, рассаживаются и айда вперед.

Обе машины едут друг за дружкой добрых полчаса. В темноте не разобрать, куда заехали, не то в Вейсензее, не то в Фридрихсфельде. Ребята говорят: старик, вероятно, сперва хочет справить какие-нибудь дела. А затем останавливаются перед домом на какой-то широкой аллее, может быть, это Темпельгоф, ребята говорят, что тоже не знают, и дьмят вовсю.

Рейнхольд сидит в первом автомобиле рядом с Биберкопфом. Но какой же у этого Рейнхольда теперь другой голос! Он уже не заикается, говорит громко, четко, сидит выгнувшись в струнку, как штабс-ротмистр; он даже смеется, и другие в автомобиле слушают его. Франц берет его под руку и шепчет ему на ухо, под шляпу: «Ну, Рейнхольд, дружище, что скажешь? Разве я не хорошо уладил это дело с бабами? А?» — «Еще бы, прекрасно, прекрасно!» Рейнхольд хлопает его по коленке, ну и рука у этого парня — прямо какая-то железная! Франц так и прыскает со смеху: «Неужели же мы, Рейнхольд, будем ссориться с тобой из-за девчонки, а? Такая еще и не родилась, а?»

Жизнь в пустыне бывает порою очень тяжела¹⁰².

Караван ищет, ищет путь и не находит его, а в один прекрасный день, много времени спустя, обнаруживают только побелевшие кости людей и верблюдов¹⁰³.

Друг за другом едут теперь автомобили по городу, после того как Пумс снова сел на свое место с каким-то чемоданом. Ровно в девять они останавливаются на Бюловплац. И теперь вся компания шествует пешком, разбившись на группы по два человека. Проходят под виадуком городской железной дороги. Франц говорит: «Вот мы уже почти и на Центральном рынке». — «Хорошо, но сперва надо взять товар и доставить его на место».

И вдруг тех, которые шли впереди, уже больше не видать, это близ Кайзер-Вильгельмштрассе, возле самой городской железной дороги, а затем и Франц со своим спутником нырнули в какие-то темные открытые ворота. «Пришли! — говорит спутник Франца. — Сигару можешь теперь бросить». — «Почему?» Тот сдавливает ему руку, вырывает у него сигару изо рта. «Потому что я так сказал!» И тоже исчезает в темном дворе раньше, чем Франц может что-нибудь сделать. Как это понять? Оставляют человека стоять в тем-

ноте. Где ж они все? А когда Франц ощупью пробирается по двору, перед ним вспыхивает карманный фонарик, ослепляет его, это Пумс. «Эй, вы, послушайте, что вам тут нужно? Вам тут делать совершенно нечего, Биберкопф, ваше место у ворот, караулить. Ступайте назад». — «Вот как? А я думал, мне придется носить товар». — «Глупости, ступайте назад, разве вам никто ничего не сказал?»

Свет тухнет, Франц ощупью пробирается назад. В нем что-то дрожит, он с усилием проглатывает слюну: «Что же это тут делается? Где остальные?» Он стоит уже у самых ворот, как вдруг сзади подходят двое... Ах ты дьявол, да ведь тут воруют, ломают замки, прочь, прочь отсюда, Франц, прочь, катись, как с ледяной горы, одним махом, хоть водою до Александрплац. Но его хватают, держат, один из них — Рейнхольд, ну и железная же у него лапа! «Что ж, тебе никто ничего не объяснил? Стой здесь, карауль». — «Кто, что объяснил?» — «Не валяй дурака, дело серьезное. Неужели у тебя своей смекалки нет? Ладно, не притворяйся. А теперь стой и, чуть что, свисти». — «Я...» — «Заткнись, дубина!» И на правую руку Франца обрушивается такой удар, что его всего скорезило.

Франц стоит теперь один в темном проходе. Он дрожит мелкой дрожью. Чего он тут стоит? Надули его, втянули-таки в грязную историю. А этот сукин сын еще и ударил. Те там позади крадут, черт его знает, что крадут, но только это ж не торговцы фруктами, а воры, громилы. Длинная аллея темных деревьев, железные ворота, после вечерней проверки все заключенные обязаны укладываться на покой, летом им разрешается не ложиться до наступления темноты. Это же воровская шайка, и Пумс их главарь! Уйти? Не уходить? Уйти? Что предпринять? Заманили человека; вот сволочи. Заставили стоять на стреме.

Франц все еще стоял, дрожал, ощупывал вспухшую руку. Заключенные обязаны не скрывать заболеваний, но и не измышлять таковых; под страхом наказания. Во всем доме — мертвая тишина; с Бюловплац доносятся автомобильные гудки. А в глубине двора слышались какой-то треск и возня, вспыхивал порою карманный фонарик, или кто-то шмыгал в подвал с потайным фонарем. Одурачили нашего Франца, загнали в угол, но только уж лучше есть черствый хлеб с картошкой, чем стремить тут для таких жуликов. В этот момент на дворе сразу вспыхнуло несколько фонариков, Францу почему-то вспомнился человек с открытками, вот чудак так чудак! И Франц не в силах был сдвинуться с места, словно зачарованный; это с тех пор, как Рейнхольд его ударил, да, с тех самых пор он стоял, точно его гвоздем прибили. Он хотел, очень хотел, но не мог, что-то крепко держало его. Мир сделан из железа, и ничего нельзя с ним поделаться, он надвигается на вас, как огромный каток, ничего не поделаешь, вот он ближе, ближе, бежит прямо на вас, это же танк, и в нем сидят дьяволы с рогами и горящими глазами, терзают вас, рвут

зубами и когтями. Танк бежит на вас, и никто не может уйти от него. Только искры польхают в темноте, а когда станет светло, то видно будет, как все полегло и каким оно было.

Я хочу прочь отсюда, прочь, сволочи, мерзавцы, ведь я же вовсе не хочу заниматься такими делами! Он изо всех сил старался передвинуть ноги, смешное дело, неужели не уйти? Он сделал какое-то движение. Нет! Словно его облепило тестом, никак не отодрать ноги от земли. Но вот, наконец, дело пошло, пошло. С трудом пошло, но пошло. Франц помаленьку продвигается вперед, пускай себе те крадут, а он смоеется. Он снял пальто, вернулся во двор, медленно, боязливо, но пальто надо швырнуть им в рожу, бросил пальто в темноту, к стене дворового флигеля. И снова замелькал свет, мимо Франца пробежали двое, нагруженные целыми тюками таких же пальто, к воротам подъехали обе машины. Пробегая мимо, один из тех двоих снова ударил Франца по руке. Железный удар! «Все в порядке?» Это был Рейнхольд. Пробежали еще двое с корзинами, и еще двое, туда и сюда, без огней, мимо Франца, который только и мог, что кусать губы и сжимать кулаки. Люди носились, как полоумные, по двору и в воротах, вперед, назад, в полной тьме, иначе они испугались бы Франца, ибо это был уже не Франц, тот, кто там стоял. Без пальто, без шапки, с вылезшими на лоб глазами, стоял он, засунув руки в карманы и напряженно вглядываясь, не узнает ли он чье-либо лицо, кто это, это кто, неужели нет ножа, постой, кажется, в куртке, погодите, братцы, вы еще не знаете Франца Биберкопфа, вы его узнаете, если только посмеете его тронуть. Но тут выбежали один за другим четверо с тюками, и кто-то маленький, кругленький взял Франца за руку: «Идем, Биберкопф, поехали, все в порядке».

И Франца грузят вместе с другими в большой автомобиль. Рейнхольд сидит рядом с ним, давит его своим костлявым телом, это другой Рейнхольд. Едут без огней. «Чего ты меня давишь?» — шепчет Франц; эх, нет ножа!

«Молчи ты, заткнись. Чтоб у меня никто пикнуть не смел». Передняя машина мчится вовсю; шофер второй машины оборачивается, дает полный ход, кричит в открытое оконце: «За нами погоня!»

Рейнхольд высовывает голову из окна: «Ходу, ходу, за угол». А та машина не отстает. И тут при свете промелькнувшего фонаря Рейнхольд вдруг видит лицо Франца, Франц так и сияет, и на лице у него блаженство: «Чего смеешься, скотина, совсем одурел?» — «А почему бы мне не смеяться, не твое ведь это дело». — «Не мое дело, что ты смеешься?» Этакий бездельник, этакая дрянь! И вдруг Рейнхольда пронизало что-то такое, о чем он не думал в продолжение всей поездки: это тот же самый Биберкопф, который его подвел, который отбивает у него женщин, это же доказано, этакий наглый, жирный боров, которому я как-то поведал всю свою жизнь. И вдруг Рейнхольд не думает больше о поездке.

Воды в дремучем лесу, вы раскинулись так безмолвно. Так страшно спокойно раскинулись вы. Не шелохнется ваша поверхность, когда буря бушует в лесу, когда гнутся высокие сосны, рвутся меж их ветвями тонкие паутинки и подымается вокруг треск и стон. И буре до вас не достать.

Этого парня, думает Рейнхольд, так и распирает от самодовольства и жира, он, наверно, рассчитывает, что тот автомобиль нас догонит, а я вот сижу перед ним, и он, скотина, говорил мне такие вещи про женщин, а я должен почему-то сдерживаться?

Франц беззвучно продолжает посмеиваться, глядит назад в маленькое оконце на улицу, да за ними погоня, их накрыли; погодите же, это вам в наказание, и если даже он сам, Франц, при этом засыпется, то и им не придется больше над ним измываться, мошенники, бродяги, бандиты!

Проклят человек, говорит Иеремиа¹⁰⁴, который надеется на человека. Он будет как вереск в пустыне и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Лукаво сердце более всего и крайне испорчено; кто его узнает?

Рейнхольд украдкой делает знак сидящему напротив него человеку, в автомобиле сменяются свет и тьма, погоня продолжается. Рейнхольд незаметно просунул руку к дверной ручке, как раз возле Франца. Машина полным ходом заворачивает в какую-то широкую аллею. Франц еще раз оглядывается назад. Но вдруг его хватают за грудь, тянут вперед. Он хочет встать, с размаху бьет Рейнхольда по лицу. Но тот чертовски силен. В автомобиль врывается ветер, влетает снег. Франца толкают наискосок, через тюки товара, к открытой дверце. Он кричит и пытается схватить Рейнхольда за горло. Тогда сбоку ему наносят палкой удар по руке. Второй из едущих в автомобиле сильным ударом толкает его в левое бедро. Франца сталкивают с тюков сукна и выпирают лежащего в раскрытую дверцу; он цепляется ногами за что только может. Руки его обхватывают подножку.

Тут он получает удар палкой по затылку. Нагнувшись над ним, Рейнхольд выбрасывает его тело на улицу. Дверца захлопывается. Автомобиль преследователей с грохотом проносится по живому человеку. В снежной вьюге погоня продолжается.

Какая радость, когда восходит солнце и появляется его живительный свет¹⁰⁵. Газовое освещение может потухнуть, электрическое — тоже. Люди встают, когда задребезжит будильник; значит, начался новый день. Если перед тем было 8 апреля, то теперь — 9¹⁰⁶, а если тогда было воскресенье, то теперь — понедельник. Год не изменился, месяц — тоже нет, и все же произошло какое-то изменение. Мир продвинулся куда-то дальше. Солнце взойшло. В точности еще не установлено, что представляет собой Солнце. Астрономы уделяют много внимания этому телу. Оно, по их словам, является ядром нашей

планетной системы, ибо наша Земля — только маленькая планета, что ж в таком случае мы? Когда восходит солнце и люди радуются, им следовало бы, в сущности, печалиться, ибо что есть человек, ведь Солнце в 300 000 раз больше Земли, и сколько есть еще разных цифр и нулей, которые все говорят лишь одно, что мы нуль или ничто, ровно ничто. Собственно, даже смешно чему-то тут еще радоваться.

И все же люди радуются, когда появляется яркий солнечный свет, на улицах, в комнатах, всюду оживают все цвета, и ясно выступают лица и их черты. Приятно осязать формы руками, но счастье — видеть, видеть, видеть цвета и линии. И люди радуются и могут показать, что они такое, что они делают, что переживают. Мы радуемся и в апреле небольшому количеству тепла, подобно тому, как радуются цветы, что могут расти. Значит, должна же быть какая-то погрешность, какая-то ошибка в этих страшных числах со многими нулями.

Взойди, солнце, взойди, ты нас не испугаешь. Все эти бесконечные километры нам совершенно безразличны, так же, как и твой диаметр или объем. Жаркое солнышко, взойди, яркое светило, взойди. Ты — не велико, ты — не мало, ты — радость!

Из вагона парижского норд-экспреса только что весело вышла маленькая невзрачная фигурка с огромными глазами, в роскошном меховом манто и с двумя крохотными пекинскими собачками, Блэк и Чайна, на руках. Вокруг нее — суетня фотографов и кинооператоров. Раквиль, слегка улыбаясь, покорно выносит всю эту процедуру, больше всего она рада огромному букету бледно-желтых роз, который поднесла ей испанская колония, потому что слоновая кость — ее любимый цвет. Со словами: «Мне безумно интересно взглянуть на Берлин», знаменитая женщина садится в автомобиль и исчезает из глаз приветствующей ее толпы в утреннем тумане города¹⁰⁷.

КНИГА ШЕСТАЯ

Теперь вы уж больше не видите, чтобы Франц Биберкопф пьянствовал или скрывался. Теперь вы видите, что он смеется: по одежке протягивай ножки. Он страшно злится, что его к чему-то принудили, отныне никто его больше ни к чему не принудит, хотя бы и самый сильный человек. Темной силе он грозит кулаком, он чувствует — что-то противостоит ему, но он не в состоянии распознать это, и потому должно еще случиться так, что молот обрушится ему на голову.

Нет оснований отчаиваться. На протяжении всей этой истории, до тех пор, пока я не дойду до ее жестокого, страшного, горького конца, я еще часто буду повторять эти слова: нет оснований отчаиваться. Ибо человек, о котором я вам рассказываю, хотя и не обыкновенный человек, все же является обыкновенным постольку, поскольку мы его прекрасно понимаем и порою говорим себе: мы могли бы шаг за шагом поступать так, как он, и испытать то же самое, что и он.

То, что я рассказываю о Франце Биберкопфе, который, ничего не подозревая, вышел из дому, против своего желания принял участие в краже со взломом и был сброшен под автомобиль, — суцая, страшная правда. И вот он лежит под колесами, он, который, несомненно, делал самые искренние усилия, чтоб вести порядочный, дозволенный и законный образ жизни. Так неужели ж тут нет оснований отчаиваться, какой же, где же смысл в этой наглой, отвратительной и жалкой бессмыслице, какая лжеидея должна быть вложена в нее? А может быть, из нее должна быть даже выведена вся дальнейшая судьба Франца Биберкопфа?

Но я говорю вам: нет оснований отчаиваться. Я уже кое-что знаю, и, быть может, те, кто это читают, тоже кой о чем уже догадываются. Истина медленно обнажает здесь свое лицо, надо пережить это вместе с Францем, и тогда все станет ясно.

Чужое добро идет впрок

Рейнхольд так разошелся, что немедленно предпринял дальнейшие шаги. Домой он вернулся лишь в понедельник, в обед. Прикроем, возлюбленные братья и сестры, огромнейшим, этак метров в десять квадратных, плащом любви к ближнему промежуток времени от воскресенья до этого момента. Сделать то же самое по отношению к предшествовавшему времени мы, к сожалению, не могли. Удовлетворимся установлением факта, что после того, как в понедельник в положенное для этого время взошло солнце, и затем в Берлине началась обычная сутолока и суетня, Рейнхольд ровно в час дня, то есть в 13 часов, выставил из своей комнаты сверхсрочную Труду, которая у него зажилась и не желала убираться. Как хорошо в субботу мне, тулли-тулли, когда козел бежит к козе, тулли-тулли! Другой писатель, по всей вероятности, придумал бы теперь для Рейнхольда какое-нибудь возмездие, но я же, право, не виноват, что такового не последовало. Рейнхольд был в веселом настроении, и вот, для повышения этого веселого настроения, на предмет усиления веселости, он выставил вон Труду, ту самую Труду, которая отличалась постоянством и поэтому не желала выметаться. Собственно говоря, сам он этого тоже не желал, но сей поступок совершился, несмотря на его нежелание, до некоторой степени автоматически, главным образом при участии его среднего мозга: дело в том,

что человек этот был сильно наспиртован. Таким образом, ему содействовала сама судьба. Наспиртование состоялось в те моменты, которые мы отнесли к минувшей ночи, и, чтоб продолжать наше изложение, нам остается только спешно разъяснить некоторые детали. Рейнхольд, этот слабовольный человек, который казался Францу таким смешным и который до сих пор никогда не отваживался сказать женщине резкое или решительное слово, смог вдруг в час дня страшно избить Труду, вырвать ей волосы, расколотить о ее голову зеркало, а под конец, когда она подняла крик, в кровь расквасить ей морду, да так, что эта морда еще вечером, когда Труда пошла показаться доктору, вся вспухла. Девчонка за несколько часов утратила всю свою красоту, а именно вследствие рукоприкладства со стороны Рейнхольда, которого она и хотела привлечь к ответу. Но пока что ей приходилось мазать губы мазью и молчать. И все это, как сказано, Рейнхольд смог потому, что его большой мозг был одурманен несколькими рюмками шнапса, вследствие чего его средний мозг, который был у него вообще более развит, перевесил.

Сам он, к концу дня кое-как очухавшись и придя малость в себя, с изумлением констатировал в своей комнате некоторые перемены, которые можно было только приветствовать. Труда исчезла. И притом — без остатка. Ибо ее корзина тоже исчезла. Далее, зеркало было разбито, а на пол кто-то некультурно наплевал, э, да плевки-то ведь с кровью. Рейнхольд постарался сообразить, откуда сие. Его собственный рот был цел и невредим, значит, это Труда тут наплевала, а он, стало быть, набил ей морду. Это открытие привело его в такой восторг и восхищение самим собою, что он громко расхохотался. Подняв с пола осколок зеркала, он стал смотреться в него: ай да Рейнхольд, здорово ты ее, я от тебя ничего подобного не ожидал! Молодец, Рейнхольдхен, молодец! И рад, и доволен. Даже по щеке себя потрепал.

А затем задумался: Что если ее кто-нибудь другой выставил — Франц, например? То, что произошло вечером и ночью, было ему еще не совсем ясно. Не доверяя себе, он позвал хозяйку, эту старую сводню, и стал у нее осторожно допытываться, был ли у него в квартире какой-нибудь скандал. Ну та и пошла: так и надо, говорит, этой Труде, потому что такая уж она была ленивая скотина, даже нижнюю юбку сама себе выгладить не хотела. Как? Труда носила нижние юбки? Этого Рейнхольд уж совсем не любил. Значит, выпроводил он ее самолично. Рейнхольд почувствовал себя на седьмом небе. И тут он вдруг вспомнил все, что было вчера вечером и ночью. Ай да мы, обделали хорошее дельце, получили большое наследство, всадили этого толстого Франца Биберкопфа в грязную историю, будем надеяться, что тот автомобиль задавил его насмерть, и выставили Труду. Черт возьми, вот так баланс!

Ну, а что нам теперь предпринять? Прежде всего, как следует прифрантиться к вечеру. Пусть-ка нам скажут теперь слово против шнапса. Я не хотел и не хотел его пробовать, и всякая тому подобная ерунда. А теперь — вон сколько силы он придает, и сколько мы через него дел наделали.

В то время, как он переодевается, является посланник от Пумса, шепчется, страшно важничает, переминается с ноги на ногу, заявляет — пускай Рейнхольд немедленно зайдет в пивную. Но проходит добрый час, пока наш Рейнхольд выбирается из дому. Сегодня он хочет потрепаться с бабами, а Пумс пускай себе свои «пумсы» выделывает один. Но в пивной у всех поджилки трясутся, подложил им Рейнхольд свинью с этим Биберкопфом! А что, если он остался жив? Всех их выдаст, непременно выдаст. А если убит? О, черт, тогда еще хуже, тогда же они совсем засыпались. Они наводят исподволь справки в том доме, где он жил; что-то будет, что-то будет?

Но Рейнхольд — счастливчик, и фортуна продолжает ему благоприятствовать. Ничего с ним не поделаешь. Это его счастливейший день с тех пор, как он себя помнит. У него теперь есть шнапс, а женщин он может достать и прогнать сколько угодно, и от любой из них сумеет теперь быстро избавиться — вот что самое интересное! Он намерен сразу же пуститься во все тяжкие, но Пумсова братва не отпускает его, пока он не дает обещания переждать двое суток у Пумса в Вейсензее и никуда не показываться. Надо выяснить, что, собственно, случилось с Францем и какие последствия это может иметь для них. Ну, Рейнхольд такое обещание дает.

И в ту же ночь о нем забывает, и — пошла чертить. Да что ему сделается? А те там сидят в Вейсензее в своей норе и дрожат от страха. На следующий день они тайком приезжают за ним, чтобы увезти к себе, но его неудержимо влечет к некой Карле, которую он вчера только открыл.

И Рейнхольд оказывается прав. О Франце Биберкопфе ни слуху ни духу. Исчез человек с лица земли. Ладно, пусть будет так. И все снова выползают на белый свет и весело возвращаются в свои квартиры.

А у Рейнхольда в комнате дымит эта самая Карла, соломенная блондинка, она принесла ему три больших бутылки шнапса. Он едва прикладывается, зато она усердствует и порою, можно сказать, даже здорово. А он думает: Пей, матушка, пей, я-то буду пить, когда мое время придет, но тогда для тебя это будет значить: адью, проваливай!

Вероятно, кое-кто из читателей беспокоится, что стало с Цилли. Что-то будет с бедной девушкой, если Франц не вернется, если Франца уже нет в живых, если он умер — ну, словом, если его нет и нет? Так вот, эта не пропадет, будьте покойны; о ней совершенно нечего беспокоиться, такие люди всегда падают на ноги, как кошки. У Цилли, например, осталось еще денег дня на два, а во вторник она встречает на улице, как я и предполагал, этого, как его, Рейнхольда, самого шикарного кавалера во всем Берлине-Центр, в настоящей шелковой сорочке. Цилли поражена и, при виде его, никак не может решить, то ли она снова влюблена в этого человека, то ли ей хочется свести наконец с ним старые счеты.

Перефразируя слова Шиллера, она уже носит кинжал в складках своей одежды². Правда, это не кинжал, а кухонный нож, но она пырнет им Рейнхольда в отместку за все его злодеяния, все равно в какое место. И вот она стоит с ним у ворот его дома, а он так любезно с ней беседует, две красные розы, холодный поцелуй³. Ладно, думает Цилли, болтай хоть до завтра, а потом я тебя все равно пырну. Но куда? Этот вопрос ее очень смущает. Нельзя же, в самом деле, портить ножом такой дорогой материал, человек в таком элегантном наряде, и костюм ему, правда, очень к лицу. Уж не Рейнхольд ли, спрашивает она и семенит рядом с ним по тротуару, уж не он ли сманил ее Франца? Почему? Потому что Франц не является домой, и по сей час его нет, а случиться с ним ничего не может, и, кроме того, от Рейнхольда ушла Труда. Значит, — это вернее верного, и даже не о чем спорить. Франц ушел с Трудой, а сплавил ее ему Рейнхольд, в том-то и штука.

Рейнхольд только диву дается, как это она так скоро разузнала. Что ж тут удивляться, Цилли просто сходила к его хозяйке, и та рассказала ей, какой у него вышел скандал с Трудой. Негодяй, ругается Цилли и старается набраться смелости для своего номера с ножом, у тебя уж опять другая? По глазам твоим вижу.

А Рейнхольд за десять метров видит, что: 1. у Цилли нет денег, 2. она зла на Франца и 3. она любит его, щеголя-Рейнхольда. Еще бы, в таком гардеробе его любят все девчонки, в особенности если это — повторение, так называемый «реприз». И вот по пункту 1 он дает ей десять марок. По пункту 2 он ругает Франца Биберкопфа. Где этот лодырь пропадает, хотелось бы знать? (Угрызения совести? Где угрызения совести? Где Орест и Клитемнестра?⁴ Рейнхольд не знает этих господ даже понаслышке. Ему хотелось бы, просто, от души, чистосердечно, чтоб Франц был мертв и чтоб его нельзя было даже найти.) Но Цилли тоже понятия не имеет, где Франц, и это говорит за то, рассуждает, расчувствовавшись, Рейнхольд, что этот человек погиб. Наконец, по пункту 3, по вопросу о любви на предмет повторения, Рейнхольд говорит: «Сейчас, знаешь, место занято, но в мае ты можешь опять наведаться». Да ты с ума спятил, ругается Цилли, не веря своим ушам от радости. У меня все возможно, он прощается с ней, весь сияя, и шагает себе дальше. Рейнхольд, ах, Рейнхольд, прелесть моя, Рейнхольд, мой Рейнхольд, люблю лишь тебя⁵.

Перед каждым кабачком он благодарит создателя, что на свете существуют спиртные напитки. Чтобы он стал делать, если бы вдруг закрылись все кабаки или в Германии ввели сухой закон? Остается только своевременно устроить у себя дома хорошенький запасец. Это мы сейчас и сделаем. Ловкий я парень, думает Рейнхольд, стоя в винном магазине и выбирая разные сорта спиртных напитков. Он знает, что у него надежный большой мозг, а если нужен, то и средний.

Так кончилась или во всяком случае так пока что кончилась у Рейнхольда ночь с воскресенья на понедельник. А если кто спросит, есть ли на свете справедливость, то ему придется удовлетвориться ответом: пока что — нет, во всяком случае до этой пятницы ее не было.

*Ночь с воскресенья на понедельник,
понедельник, 9 апреля*

Большой частный автомобиль, в который укладывают Франца Биберкопфа — он без сознания, ему впрыснули камфару и скополамин-морфий⁶, — мчится целых два часа. Затем прибывает в Магдебург. Возле какой-то церкви его выгружают, и двое мужчин что есть силы трезвонят в клинику: Францу еще в ту же ночь делают операцию. Правую руку отнимают в плечевом суставе, извлекают осколки плечевой кости, ушибы грудной клетки и правого бедра оказываются, насколько можно судить в данный момент, незначительными. Не исключена возможность внутренних повреждений, например — небольшого разрыва печени, но едва ли они особенно серьезны. Надо выждать. Много ли он потерял крови? Где вы его нашли? На N-ском шоссе. Там же лежал и его мотоциклет, вероятно, на него наехали сзади. Ну, а автомобиля вы не видели? Нет. Когда мы наткнулись на него, он уже лежал на дороге. Мы расстались в Z, он поехал налево. Это место мы знаем, там очень темно. Да, там оно и случилось. А вы, господа, еще долго пробудете здесь? Да, несколько дней; это мой зять, жена его приедет сегодня или завтра. Мы остановились в гостинице напротив, на случай, если что-нибудь понадобится. У дверей в операционную один мужчина еще раз обращается к врачам: дело это гнусное, но нам хотелось бы, чтобы с вашей стороны не поступало о нем никаких заявлений. Нам хотелось бы дождаться, пока больной придет в себя, пусть расскажет, что он сам думает насчет этого. Он не любитель судебных процессов. Он... знаете, сам как-то наехал на человека, и потому его нервы... Как вам угодно. Пусть он сперва поправится.

В одиннадцать часов делают перевязку. Понедельник, утро — в то самое время виновники несчастья, включая и Рейнхольда, веселые и пьяные, гуляют у своего притондержателя в Вейсензее, — Франц приходит в себя, лежит на чистой койке, в чистой, светлой палате, грудь у него туго и как-то жутко забинтована; он спрашивает сиделку, где он? Та передает ему что слышала от ночной сиделки и подхватила из разговоров. Он в полном сознании. Все понимает, ошупью ищет свое правое плечо. Сиделка кладет его руку обратно: надо лежать совершенно смирно. Да, помнится, в уличную слякоть текла из рукава кровь, он это ясно чувствовал. А затем около него появились люди, и вот

в тот момент в нем что-то произошло. Что же такое произошло в тот момент в Франце Биберкопфе? Он принял решение. От железных ударов Рейнхольда по рукам, во дворе, на Бюловплац, Франца стало трясти, земля тряслась под ним, Франц ничего не соображал.

Когда он затем ехал в автомобиле, земля все еще тряслась, Франц старался не замечать, но это было так.

А когда он потом лежал в уличной слякоти, 5 минутами позже, что-то в нем зашевелилось. Что-то лопнуло, прорвалось наружу, и звучало, звучало. Франц каменеет, чувствует, что попал под автомобиль, но остается хладнокровным и спокойным. Франц замечает, что ему — крышка и отдает приказания. Если мне каюк, то не беда, но нет, не каюк, выживу. Ну вперед. Ему перетягивают руку подтяжками. Затем хотят везти в больницу в Панков. Но он, словно охотничья собака, следит за каждым движением: нет, не в больницу, и называет адрес. Какой адрес? Эльзассерштрассе, Герберт Вишов, его товарищ с прежних времен, до Тегеля. Точный адрес можно получить моментально. А что-то шевелится в нем, пока он лежит в слякоти, рвется наружу, прорывается, и звучит, звучит. В мгновение ока свершился в нем этот сдвиг, и нет больше никакой неуверенности.

Нет, его ни в коем случае не должны сцапать. Он уверен, что Герберт проживает все там же и в данный момент находится дома. Те, которые подобрали Франца, бегут в указанную им пивную на Эльзассерштрассе и спрашивают некоего Герберта Вишова. И вот сразу встает стройный молодой человек, сидевший рядом с красивой брюнеткой: что случилось, что? В автомобиле? Он выбегает к автомобилю, брюнетка за ним, а следом половина пивной. Франц знает, кто сейчас явится. Он повелевает временем.

Франц и Герберт узнают друг друга, Франц говорит ему шепотом с десяток слов, публика расступается. Франца переносят в заднюю комнату на кровать, вызывают врача, Ева⁷, красивая брюнетка, приносит из дому деньги. Франца переодевают в другое белье и платье. Час спустя после нападения его уже везут в частном автомобиле из Берлина в Магдебург⁸.

После обеда в клинику приходит Герберт и может обменяться несколькими словами с Францем. Франц ни одного лишнего дня не пролежит в клинике, через неделю Вишов опять приедет, а Ева тем временем будет жить в Магдебурге.

Франц лежит смиренно. Огромным усилием воли он взял себя в руки. Ни на пядь не возвращается памятью к тому, что было. И только когда в 2 часа в палату входит Ева с букетом тюльпанов, он плачет, плачет безудержно, навзрыд, и Еве приходится утирать ему лицо полотенцем. Он облизывает губы, щурит глаза, стискивает зубы. Но челюсть у него дрожит, и он должен рыдать и рыдать, так что дежурная сестра, услышав что-то из коридора, стучится в палату и просит Еву лучше уйти, так как свидание, по-видимому, слишком волнует больного.

А на следующий день он совершенно спокоен и встречает Еву улыбкой. Две недели спустя за ним приезжают. Он снова в Берлине. Он снова дышит Берлином. При виде домов Эльзассерштрассе у него что-то подступает к горлу, но до рыданий дело не доходит. Он вспоминает то воскресенье с Цилли, колокольный звон, колокольный звон, вот здесь я живу, здесь меня что-то ждет, и здесь у меня есть какое-то дело, и что-то должно произойти. Это Франц Биберкопф знает совершенно точно и не шевелится и спокойно дает вынести себя из автомобиля.

Надо что-то сделать, что-то произойдет, я с места не сойду, я — Франц Биберкопф. Итак, его вносят в дом, в квартиру его друга Герберта Вишова, именующего себя комиссионером. В Франце все та же не сомневающаяся в себе уверенность, которая откуда-то появилась в нем после падения из автомобиля.

Площадка на скотопригонном рынке: свиней: 11 543 штуки, крупного рогатого скота 2016 голов, телят 920, баранов 14 450. Удар — хрясь! — и вот они лежат.

Свиней, рогатый скот, телят — режут. Так что ж с того? Стоит ли об этом думать? А вот что делается с нами? С нами?

Ева сидит у постели Франца, Вишов подходит все снова и снова: Скажи же, кто это был? как это было? Но Франц — ни полслова. Он выстроил вокруг себя железный ящик, сидит в нем и никого к себе не подпускает.

Ева, Герберт и его друг Эмиль сидят тесным кругом. С тех пор как Франц, попав под автомобиль, был привезен к ним, этот человек представляет для них загадку. Он же не просто попал под автомобиль, тут кроется что-то неладное, что у него вообще были за дела в 10 часов вечера в северной части города, не торговал же он в 10 часов газетами, когда там в такое время и на улице-то никого не встретишь. Герберт стоит на своем: Франц, очевидно, пошел на какое-нибудь дело, и при этом с ним такая штука и случилась, а теперь ему стыдно, что его паршивая газетная торговля не оправдала себя, кроме того тут наверно замешаны и другие лица, которых он не хочет выдать. Ева согласна с Гербертом, что Франц выходил на дело, но как же все-таки могло случиться такое несчастье, теперь он — калека. Ну, да мы уж разузнаем.

Дело выясняется, когда Франц сообщает Еве свой последний адрес и просит перенести сюда его корзину, но не говорить хозяйке, куда. Ну, на этот счет Герберт и Эмиль — мастера, хозяйка сперва было отказывается выдать Францеву корзину, но за 5 марок она это делает, а затем верещит, что чуть ли не каждый день приходят справляться о Франце — кто-кто? — да от Пумса, Рейнхольд и так далее. Ага, Пумс! Вот оно что! Значит, это Пумс со своей шайкой. Ева вне себя, да и Вишов рвет и мечет: уж если Франц опять взялся за старое,

то почему же с Пумсом? Потом-то, конечно, хороши и они, Герберт и Эмиль, а на дело Франц идет с Пумсом, что ж, теперь он — калека, полутруп, не то Герберт поговорил бы с ним иначе.

Ева насилу добилась, чтоб быть при том, когда Герберт Вишов будет рассчитывать с Францем, Эмиль тоже тут, эта история обошлась им ровно в тысячу марок.

«Ну, Франц, — начинает Герберт, — теперь ты более или менее поправился. Скоро ты встанешь, и тогда — что ж ты будешь делать? Ты об этом уже подумал?» Франц оборачивает к нему небритое лицо. «Погоди, дай мне сперва подняться на ноги». — «Ну да, мы ведь тебя не гоним. Пожалуйста, не думай так. Мы тебе всегда рады. Почему ты вообще к нам так долго не приходил? Ведь уж год как ты из Тегеля». — «Нет, года еще нет». — «Ну тогда полгода. Не хотел с нами знаться, что ли?»

Ряд домов, соскальзывающие крыши, темный двор среди высоких стен, несетя клич, как грома гул, ювиваллераллера, с того оно и началось.

Франц переворачивается на спину, глядит в потолок: «Я ж торговал газетами. На что я вам в таком случае?»

В разговор вмешивается Эмиль, орет: «Врешь, ты не торговал газетами». Этаким обманщик! Ева уговаривает Эмиля; Франц замечает — тут что-то не так, они что-то знают, но что? «Я торговал газетами. Спроси Мекка». А Вишов: «Могу себе представить, что скажет Мекк. Ты торговал газетами. Пумсовы ребята тоже торгуют фруктами, знаешь, так, понемножку. А то и рыбой. Тебе ли не знать». — «Ну а я нет. Я торговал газетами. Зарабатывал деньги. Наконец, спроси Цилли, которая сидела у меня целыми днями, что я делал». — «Это две-то марки в день, или три?» — «Бывало и больше; мне хватало, Герберт».

Те трое сбиты с толку. Ева подсаживается к Францу: «Скажи-ка, Франц, ты ведь знал Пумса?» — «Знал». Франц больше не думает о том, что его спрашивают, Франц помнит только одно — он жив! «Ну, и что же? — продолжает Ева, ласково поглаживая его. — Скажи же нам, что было с Пумсом?» — «Да говори уж прямо! — выпаливает Герберт. — Я-то ведь знаю, что у тебя было с Пумсом, где вы были в ту ночь. А ты думал, я не знаю? Да, да, ты принимал участие в том деле. Конечно, это меня не касается. Только одного тебя. Но вот к тому ты идешь, с ним ты знаешься, с этим старым прохвостом, а у нас ты и носа не кажешь». — «То-то и оно, — орет Эмиль, — что мы хороши только тогда, когда...» Герберт делает ему знак. Франц плачет. Не так, как в клинике, но тоже страшно. Он рыдает и плачет и вертит головой во все стороны. Он получил удар по голове, потом его сильно толкнули в грудь и выбросили в дверцу под автомобиль. Этим автомобилем его и переехало. Рука — к черту! Теперь он калека. Герберт и Эмиль выходят из комнаты. Франц продолжает плакать. Ева то и дело утирает ему полотенцем лицо. Наконец, Франц успокаивается

и лежит смиренно, с закрытыми глазами. Она смотрит на него, думает, что заснул. Но тут он открывает глаза и говорит: «Пожалуйста, скажи Герберту и Эмилю, чтоб пришли сюда».

Те входят со смущенным видом. Тогда Франц их спрашивает: «Что вы знаете о Пумсе? Вы о нем что-нибудь знаете?» Те трое переглядываются, ничего не понимают. Ева треплет Франца по руке: «Да ведь ты его тоже знаешь, Франц». — «Словом, я хочу знать, что вы о нем знаете?» — «То, что он отъявленный мошенник, — отвечает Эмиль, — и что он отсидел только пять лет в зонненбургской тюрьме⁹, хотя заслужил пятнадцать или даже бессрочную. Знаем мы его фруктовые тележки!» — «Он вовсе не живет фруктами», — говорит Франц. «Нет, он жрет и мясо, да еще как!» Герберт: «Но, послушай, Франц, ты же не с неба свалился, ты же сам мог догадаться, ведь это же сразу видать по человеку». — «Я думал, что он живет торговлей фруктами». — «Ну, а что же ты имел в виду, когда ты пошел с ним в то воскресенье?» — «Мы должны были съездить за фруктами для рынка». Франц лежит совершенно спокойно. Герберт наклоняется над ним, чтоб видеть его лицо. «И ты этому поверил?»

Франц снова плачет, теперь совсем беззвучно, не раскрывая рта. Ну да, он спускался в тот день по лестнице, какой-то чужак искал в записной книжечке разные адреса, а потом он, Франц, был у Пумса на квартире, и фрау Пумс должна была послать Цилли записку. «Конечно, я поверил. Я только потом уж догадался, что меня поставили стрёмить, и тогда...»

Трое растерянно переглядываются. То, что говорит Франц, несомненно, правда, но это ж невероятно. Ева касается его руки: «Ну, что же было тогда?» Франц уже открыл рот, чтобы сказать, сейчас все будет сказано, сейчас все станет известно. И он говорит: «Тогда я не захотел, и меня выбросили из автомобиля, потому что за ними гнался другой автомобиль».

Шшш, больше ни слова, ну, и вот, попал под этот автомобиль, мог бы оказаться раздавлен насмерть, ведь меня же хотели убить. Он больше не плачет, он вполне овладел собой, стиснул зубы, вытянулся.

Те трое слышат его слова. Наконец-то он сказал. Чистую правду. Все трое это сразу почувствовали. Есть жнец, Смертью зовется он, властью от Бога большой наделен.

Герберт задает еще один вопрос: «Скажи мне только вот еще что, Франц, и мы сейчас уйдем: ты не приходил к нам потому, что хотел торговать газетами?»

Франц не в силах что-нибудь сказать, он думает: Да, я хотел стать порядочным человеком. Я остался порядочным, до конца. Поэтому не надо обижаться, что я не приходил сюда. Вы остались моими друзьями, я никого из вас не выдал. Он лежит молча, те выходят из комнаты.

А потом, когда Франц снова принял порошок от бессонницы, они сидят внизу в кабачке и ни слова не могут из себя выдавить. Избегают глядеть друг

на друга. Ева вся дрожит. Девчонка увлеклась Францем, когда он еще гулял с Идой, но он не бросил Иду, хотя та затеяла уже шашни с бреславльцем. Ева хорошо живет со своим Гербертом, имеет от него все, что хочет, но — она все еще не может забыть Франца.

Вишов заказывает на всех горячего грогу, выпивают его чуть не залпом. Вишов заказывает по второй. Но уста остаются закрытыми. У Евы руки и ноги — как лед, поминутно всю ее обдает холодом, начиная с затылка и шеи, даже бедра мерзнут, она закладывает ногу за ногу. Эмиль, подперев голову рукою, жует губами, причмокивает языком, проглатывает слюну или густо сплевывает на пол. Герберт Вишов, парень молодой, напряженно сидит на стуле, точно на коне, с застывшим лицом; он похож на поручика впереди своего отряда. Все они как будто сидят не в кабачке, обретаются не в своей шкуре, и Ева как будто не Ева, Вишов не Вишов, Эмиль не Эмиль. Вокруг них рухнула какая-то стена, и ворвался к ним другой воздух, какая-то тьма. Они как будто все еще сидят у постели Франца. И трепет перебегает от них к постели больного.

Есть жнец, Смертью зовется он, властью от Бога большой наделен. Сегодня свой серп он точит, приготовить для жатвы хочет.

Герберт оборачивается к остальным и хрипло спрашивает: «Кто бы это мог быть?» Эмиль: «Ты про кого?» Герберт: «Кто его выбросил?» Ева: «Обещай мне, Герберт, что если ты до него доберешься, то...» — «Можешь не продолжать. Как это такую гадину земля носит? Ну, погоди же!» Эмиль: «Герберт, можешь ты себе такую вещь представить?»

Лучше ничего не слышать, не думать. У Евы дрожат колени, она просит, просит: «Герберт, Эмиль, да сделайте же что-нибудь». Скорей бы вон из этой атмосферы. Есть жнец, Смертью зовется он. Герберт заканчивает: «Легко сказать “сделайте”, когда не знаешь, кто виновник. Сперва надо выяснить, кто это. В крайнем случае — да, в крайнем случае мы выдадим всю эту бандитскую Пумсову шайку». Ева: «Но тогда надо будет выдать и Франца?» — «В крайнем случае, говорю, только в самом крайнем случае. А кроме того, Франц даже и не принимал участия, не по-настоящему, это же и слепому видно, ему каждый судья поверит. Да и доказать это можно: ведь его выбросили из автомобиля. Иначе не стали бы выбрасывать». Его даже передергивает. Этакие мерзавцы. Ну, мыслимое ли дело? Ева: «Мне он, может быть, скажет, кто это сделал».

Но кто лежит колода колодой, от которой ничего не добиться, так это наш Франц. Оставьте, оставьте! Руки нет, и она уж больше не вырастет. Из автомобиля меня выбросили, но голова у меня еще осталась на плечах, надо выкарабкиваться. Но сперва надо поправиться.

В эти теплые дни он поправляется изумительно быстро. Ему еще не позволяют вставать, но он все-таки встает, и — ничего! Герберт и Эмиль, у которых деньги не переводятся, пичкают его всем, что ему захочется и что находит

необходимым доктор. А Франц хочет поправиться и потому ест и пьет, что ему ни дадут, и не спрашивает, откуда у них берутся деньги.

Порою между ним и остальными происходят разговоры, Впрочем, ничего существенного, о пумсовском деле при Франце больше не упоминается. Говорят о Тегеле и много об Иде. О ней вспоминают с сочувствием и сожалением, что ее жизнь так печально кончилась — такая молоденькая, но, между прочим, Ева говорит также, что Ида катилась по наклонной плоскости. Словом, между ними все так, как до Тегеля, и никто как будто не знает или просто не говорит, что с тех пор много воды утекло — качались дома и с них собирались соскользнуть крыши, а Франц пел на дворе и поклялся, что не будь он Франц Биберкопф, если не останется порядочным человеком, и что то, что было, быльем поросло.

Франц спокойно лежит себе или сидит с ними. Приходят еще разные старые знакомые, приводят своих барышень или жен. И не задают никаких вопросов и беседуют с Францем так, как если бы он только что был выпущен из Тегеля и с ним произошел несчастный случай. Где и как, ребята даже не спрашивают. Они знают, что такое несчастный случай на производстве, уж можно себе представить. Попадешь в передрагу, и того и гляди получишь свинцовый гостинец в руку, или ноги себе переломаешь. Ну, все равно, все ж это лучше, чем хлебать баланду в Зонненбурге или околевать там от чахотки. Это ж ясно.

Тем временем и Пумсовы ребята пронюхали, где Франц. Ибо кто приходил за Францевой корзиной? Это они моментально установили, э, да мы его знаем! И прежде чем Вишов успеваешь что-нибудь заметить, они уж разузнали, что Франц Биберкопф лежит у него, ведь они же друзья еще с прежних времен, и лишился только одной руки, и больше ничего, вот повезло человеку, стало быть, парень-то еще держится и, почему знать, пожалуй, еще выдаст их. Немногого недоставало, чтоб они набросились на Рейнхольда за то, что он был идиотом и допустил в их шайку такого человека, как этот Франц Биберкопф. Но попробуйте-ка сделать что-нибудь с Рейнхольдом, уж и раньше это было нелегко, а теперь и совсем невозможно, даже самому старику Пумсу — и тому приходится пасовать! Парень-то глядит на вас так, что мурашки по коже бегают, еще бы, с таким-то желтым лицом и с этими страшными поперечными морщинами на лбу. Нет, он нездоров, он и до 50 не доживет, ну а которые нездоровы, те самые отчаянные и есть. От такого только и жди, что он не ровен час с холодной усмешкой полезет в карман, и давай палить.

Как-никак, все это дело с Францем и, главное, то, что он остался в живых, продолжает быть очень неприятным. Только Рейнхольд качает головой и говорит: чего волноваться? Он и не подумает доносить. Разве что ему мало потерять одну руку, тогда он будет рыпаться. Ну и пускай! Может быть, он хочет еще и голову потерять.

Нет, им нечего бояться Франца. Правда, Ева и Эмиль еще раз попробовали добиться от Франца, чтоб он сказал, где это с ним произошло и кто это сделал, и говорили, что если он один не в силах справиться с этим человеком, то ему помогут, на то люди в Берлине найдутся. Но Франц весь как-то съезживается, когда к нему пристают, и только отмахивается: оставьте, мол. И весь бледнеет, с трудом переводит дыхание и вот-вот заплачет. Что за смысл говорить о таких вещах, к чему, рука ведь все равно не вырастет, и вообще, если б только возможно, я б уехал прочь из Берлина, но что может предпринять такой калека? Ева: «Да совсем не в этом дело, ты совсем не калека, но нельзя же допускать такие вещи, вон как тебя обработали-то, еще бы — с автомобиля на ходу!» — «Ну, а от этого у меня рука тоже не вырастет». — «Тогда пусть заплатят». — «Что-о-о?»

Тут в разговор вступает Эмиль: «Так и знай: либо мы проломим башку тому, кто это сделал, либо его союз, если он состоит в союзе, должен выплачивать тебе пособие. Об этом мы с союзом уж договоримся. Значит: либо за него будут отвечать материально его товарищи, либо Пумс и союз выпшвырнут его вон, и тогда пускай-ка он соображает, куда ему пристроиться и как просуществовать. Словом, за твою руку должны заплатить. Это у тебя была правая. Ну, и пусть платят тебе пожизненную пенсию». Франц молча мотает головой. «Что значит, что ты головой мотаешь? Вот увидишь, мы проломим башку тому, кто это сделал, потому что это — преступление. А так как нельзя подать на него в суд, то мы сами должны судить его». Ева: «Франц не состоял ни в каком союзе, Эмиль. Ты же слышал, что он как раз не хотел заниматься такими делами, потому-то его и искалечили». — «Это его полное право, он вовсе не обязан заниматься такими делами. С каких же это пор можно заставить человека делать то, что он не хочет? Мы ведь не дикари какие-нибудь! Пускай тогда обращаются к индейцам».

Франц мотает головой: «Все, что за меня заплачено, вы получите обратно, в точности». — «Да вовсе мы этого не требуем, совсем нам оно не нужно, ни к чему. Нам важно что? Урегулировать дело, черт возьми! Нельзя же оставлять такие вещи безнаказанными».

Ева тоже принимает решительный тон: «Нет, нет, Франц, так оставить это никак нельзя, у тебя нервы расстроены, только потому ты и не решаешься сказать да. Но на нас ты можешь положиться, нам Пумс нервы не расстроил. Ты только послушай, что говорит Герберт: в Берлине будет еще такая кровавая баня, что только держись!» Эмиль поддакивает: «Факт!»

А Франц Биберкопф глядит прямо перед собою и думает: мне дела нет до того, что эти двое говорят. И даже если они что-нибудь сделают, то и тогда мне дела нет. Ведь не вырастет же у меня от этого рука, а затем — совершенно правильно, что я потерял руку. Руку я должен был потерять, и нечего против этого лаяться. И это еще не самое скверное.

И он принимается вспоминать, как все произошло: Рейнхольд, очевидно, возненавидел его за то, что он не перенял от него девчонку, и потому выбросил из автомобиля, и вот он очутился в клинике в Магдебурге. А он-то хотел остаться порядочным человеком, и вот что получилось! Он вытягивается в постели и стискивает на одеяле свой единственный кулак: вот как оно произошло, именно так! Ну, ладно, мы еще посмотрим. Мы еще повоюем!

Франц так и не выдает, кто столкнул его под автомобиль. Его друзья спокойны. Они думают, что в один прекрасный день он все-таки скажет.

*Францу не сделан нокаут,
и ему никак не сделают нокаута*

Купающаяся теперь в деньгах шайка Пумса исчезла из Берлина. Двое ребят отправились по домам в Ораниенбург¹⁰, а Пумс уехал в курорт Альтхейде¹¹ лечиться от астмы — надо же иногда смазать машину. Рейнхольд слегка попивает, ежедневно по несколько рюмочек шнапса, наслаждается человек, привыкает к вину, надо же хоть что-нибудь иметь от жизни, и кажется себе ужасным дураком, что так долго существовал без этого и пил только кофе и лимонад, какая ж это жизнь. У этого Рейнхольда есть пара тысчонок, о чем никто и не догадывается. Ему хотелось бы на эти деньги что-нибудь предпринять, но он еще не знает, что именно. Только не обзаводиться собственной дачкой, как другие. Чтоб не терять времени, он подцепил себе шикарную женщину, которая знавала когда-то лучшие дни, и отделяет ей шикарнейшую квартирку на Нюрнбергерштрассе, туда он и сам может укрыться, если ему вздумается разыгрывать из себя важного барина, или если, например, в воздухе запахнет неприятностью. Таким образом все прекрасно и гладко, у него есть княжеская квартира в лучшей части города, и помимо того — старая конура с какой-нибудь бабенкой, сменяющейся каждые две-три недели, от этого балагана парень никак не может отказаться.

В конце мая несколько ребят из Пумсовой шайки встречаются в Берлине и чешут языки по поводу Франца Биберкопфа. Из-за него, говорят, был крупный разговор в союзе. Этот Герберт Вишов агитирует против Пумсовых ребят, выставляет их подлецами и мерзавцами, уверяет, будто Биберкопф вовсе не хотел принимать участия в деле, будто его заставили насильно, а потом взяли да выбросили из автомобиля. На это Вишову ответили, что Биберкопф собирался выдать товарищей, что о насилии не может быть и речи, потому что его никто пальцем не тронул, но потом действительно ничего другого не оставалось. И вот люди сидят и качают головами, портить отношения с союзом никому не хочется, потому что тогда у вас руки связаны, и вы моментально оказываетесь выброшенными на улицу. Наконец, додумались: надо проявить доб-

рую волю, надо произвести сбор в пользу Франца, потому что, в конце концов, он выказал себя порядочным человеком, надо предоставить ему отдых в каком-нибудь санатории и возместить расходы за лечение в больнице. Нечего скупиться.

Но Рейнхольд остается при своем: этого субъекта, говорит он, надо совершенно устранить. Остальные не против такого предложения, даже совсем не против; но не так-то легко найти исполнителя, и, в конце концов, можно и пощадить этого несчастного калеку с одной рукой. А затеешь с ним дело, так оно еще неизвестно, что будет, потому что этому типу определенно везет. Ну, словом, ребята раскошеляются в складчину на несколько сотенных, только Рейнхольд не дает ни пфеннига, и поручают одному из своих отнести деньги Биберкопфу, но лишь когда Герберта Вишова нет дома.

Франц сидит у себя и мирно читает Моргенпост¹², а затем Грюне пост¹³, которая нравится ему больше всех, потому что в ней нет никакой политики. Он изучает номер этой газеты от 27 ноября 27 года, ишь, какое старье дорожественское, это, значит, когда у Франца была еще полька Лина, что-то она теперь подельвает? В газете пишут о новом зяте бывшего кайзера¹⁴, новобрачной шестьдесят один год, мальчишке — 27, вот-то будет ей это денег стоить, потому что принцем он все равно не станет. Пуленепробиваемые щиты¹⁵ для агентов полиции, ну, в это мы уже давно больше не верим.

Вдруг из кухни доносится, как Ева с кем-то спорит, что такое, голос как будто знакомый. Она кого-то не хочет пустить, надо самому посмотреть. Франц, держа в руке газету, открывает дверь. Оказывается, там Шрейбер, который тоже состоял в шайке Пумса.

Ну, в чем дело? Ева кричит из кухни: «Франц, ведь он пришел только потому, что знает, что Герберта нет дома». — «Что тебе, Шрейбер, надо, ты ко мне, что тебе надо?» — «Да я Еве уже говорил, только она меня не выпускает. Почему? Разве ты тут в плену?» — «Нет, не в плену». Ева: «Вы же только боитесь, что он вас выдаст. Не выпускай его, Франц». Франц: «Стало быть, что тебе надо, Шрейбер? Зайди и ты ко мне, Ева, и пускай он выкладывает, как есть».

Вот они сидят в Францевой комнате. Газета лежит на столе, происходит бракосочетание нового зятя экс-кайзера, два шафера держат сзади над его головой венец. Охота на львов, охота на зайцев, истина восторжествует. «А что вы хотите дать мне деньги? Я же вовсе не помогал вам». — «Ну как? Ты же стоял на стреме». — «Нет, Шрейбер, я не стоял на стреме, я и понятия не имел, вы меня оставили у ворот, а я и не знал, что мне там делать». Вот радость-то, что я ушел от этой компании, что я не стою больше на этом темном дворе, я даже готов приплатить, за то, что на нем больше не стою. «Да нет, это же чужь! А бояться вам меня нечего, я в жизни еще никого не выдал». Ева грозит Шрейберу кулаком. Пусть помнит, что есть еще другие, которые глядят в оба. И как это он рискнул подняться к ним? Будь тут Герберт, он бы едва ли ноги уволок.

И вдруг происходит нечто ужасное. Ева заметила, как Шрейбер сунул руку в карман. Он-то хотел достать деньги и соблазнить Франца видом крупных банкнот. Но Ева не поняла его движения. Она думает, что Шрейбер полез в карман за револьвером и сейчас запалит в Франца, чтобы тот ничего уж не мог больше сказать, словом — что Шрейберу поручено вывести Франца в расход. И вот она срывается со стула, белая, как полотно, со страшно искаженным лицом, пронзительно визжит, не переводя духу, падает, снова подымается¹⁶. Франц вскакивает, Шрейбер вскакивает, что случилось, что с ней такое? А она бежит, скорей вокруг стола к Францу, что ей делать, что ей делать, тот сейчас выстрелит, и — конец, смерть, светопреставление, я не хочу умирать, не надо в голову, ой, все кончено.

Она останавливается, бежит, падает, стоит перед Францем мертвенно-бледная, трясется всем телом, вопит: «Спрячься за шкаф, убивают, помогите, спасите». Орет, от ужаса широко, как плошки, раскрыв глаза, «на помощь». Обоих мужчин мороз подирает по коже. Франц не знает, что случилось, он только видит то движение, что же будет дальше, ага — теперь он понимает: Шрейбер держит правую руку в кармане брюк. И Франца начинает шатать. Совсем как на дворе, когда его заставили стремить, вот оно, все сызнова. Но он не хочет, уверяю вас, он не хочет, он не хочет, чтоб его бросили под автомобиль! Из груди его вырывается стон. Франц отстраняет от себя Еву. На полу лежит газета, болгарин, жениться на принцессе¹⁷. Ну-ка, надо прежде всего заполучить в руки стул. Франц громко стонет. Так как он глядит только на Шрейбера, а не на стул, то он стул опрокидывает. Ну-ка, возьмем в руки стул и двинемся вон на того человека. Ну-ка, как это было? В автомобиле в Магдебург, трезвон у дверей клиники, а Ева все еще кричит. В чем дело? Мы-то уж как-нибудь спасемся, пробьемся вперед, выберемся из этой катавасии. И Франц наклоняется за стулом. Тогда перепуганный Шрейбер мгновенно за дверь, это ж черт знает что такое, ведь тут все с ума спятили! В коридоре открываются двери.

В кабачке тоже слышали крики и грохот. Двое мужчин тотчас бросились наверх. На лестнице они встречают бегущего сломя голову Шрейбера. Тот, однако, не теряется, машет руками, кричит: скорее врача, с человеком удар. И — был таков, вот пес!

А наверху Франц без чувств лежит на полу подле стула. Ева сидит на корточках в сторонке между окном и шкафом и визжит, точно ей явилось привидение. Франца осторожно укладывают в постель. Хозяйка уж знает, что с Евой такие припадки бывают, и льет ей на голову холодную воду. И тогда Ева тихонько шепчет: «Мне бы булочку!» — «Ишь, булочки ей захотелось», — мужчины смеются. А хозяйка приподымает ее за плечи, сажает на стул и говорит: «Это она уж всегда так, когда у нее бывают припадки. Но только это не удар. Просто — нервы и вечные хлопоты с больным. Он, видно, у нее грохнулся. А почему он встает? Все ему чего-то надо вставать, а она волнуется». — «Так по-

чему же на лестнице человек кричал, будто с ней удар». — «Да кто кричал-то?» — «Ну, тот, кто нам только что на лестнице встретился». — «Нет, это недоразумение. Я же знаю мою Еву уж пять лет. У нее мать совсем такая же. Как начнет голосить, то только водой и остановишь».

Когда Герберт вечером приходит домой, он дает Еве револьвер, на всякий случай, и не надо ждать, пока начнет стрелять другой, потому что тогда уж будет поздно. Сам он тотчас же отправляется искать Шрейбера, но того, конечно, нигде не найти. Пумсовы ребята все разъехались на каникулы, да никому и неохота впутываться в это дело. Шрейбера, разумеется, и след простыл. Деньги, которые были собраны для Франца, он прикарманил и уехал к себе в Ораниенбург. А Рейнхольду наврал, что Биберкопф от денег отказался, но с Евой удалось столкнуться, и деньги переданы ей, а она уж все устроит. Чего ж вам еще?

Несмотря на все это, в Берлине наступил июнь месяц. Погода остается теплой и дождливой. На свете происходят разного рода события¹⁸. Дирижабль Италия с генералом Нобиле потерпел аварию, упал на землю и посылает радиотелеграммы с того места, где лежит, а именно — к северо-востоку от Шпицбергена, куда очень трудно добраться¹⁹. Зато одному летчику посчастливилось перелететь на аэроплане, без посадки, из Сан-Франциско в Австралию в семьдесят семь часов и благополучно приземлиться²⁰. Далее, король испанский все препирается со своим диктатором Примо де Риверой²¹, будем, впрочем, надеяться, что дело у них наконец наладится. Приятно поражает состоявшаяся чуть ли не с первого взгляда баденско-шведская помолвка,²² оказывается, принцесса из страны шведской спички вспыхнула любовью к принцу Баденскому. Если представить себе, как далеко находится Баден от Швеции, то невольно приходится удивляться, как это такая штука могла произойти столь скоропалительно. О женщины, от вас всегда я таю, моя вы ахиллесова пята: одну целую, о другой мечтаю, на третью уж гляжу исподтишка. Да, да, о женщины от вас я таю. Что ж делать, я иначе не могу! А если разорюсь, не унывая, на сердце объявление Распродано! прибью²³.

К этим более или менее известным куплетам Чарли Амберг добавляет от себя: Себе ресницу вырву я и заколю тебя. Потом карандашом для губ раскрашу я твой труп. А если злость ты не уймешь, как быть тут с вашим братом? Я закажу глазунью и плесну в тебя шпинатом. Ах, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, я закажу глазунью и плесну в тебя шпинатом²⁴.

Итак, погода остается теплой и дождливой, днем температура доходит до двадцати двух градусов Цельсия²⁵. При такой температуре предстает в Берлине перед судом присяжных убийца одной молодой особы Рутковский²⁶ и должен обелить себя. В этом деле возникает интересный вопрос: является ли убитая Эльза Арндт сбежавшей женой члена педагогического совета семинарии?

Ибо этот господин считает в своем письменном заявлении вероятным, что убитая Эльза Арндт — его жена, а возможно, желал бы, чтобы так оно и было. В утвердительном случае он готов дать суду весьма существенные показания. В воздухе чувствуется какая-то деловитость²⁷, в воздухе что-то чувствуется, да, чувствуется. В воздухе чувствуется какой-то идиотизм, в воздухе чувствуется какой-то гипнотизм, в воздухе что-то чувствуется, да, чувствуется, и никак из воздуха уж не выходит.

А в ближайший понедельник состоится открытие городской электрической железной дороги²⁸. Этим случаем пользуется Управление железных дорог, чтобы вновь обратить внимание пассажиров на опасности, осторожно, внимание, не садиться до полной остановки, обождать, штраф за нарушение правил.

*Воспрянь, мой слабый дух²⁹.
Воспрянь и крепче встань на ноги*

Бывают обмороки, которые представляют не что иное, как смерть в живом организме. Франца Биберкопфа укладывают в обморочном состоянии в постель, и он лежит, лежит в эти теплые дни и понимает, что вот-вот умрет, чувствует, что вот-вот протянет ноги. Эх, Франц, если ты теперь ничего не предпримешь, ничего действительного, окончательного, решительного, если ты не возьмешь в руки дубину или саблю и не пойдешь помахивать ею направо и налево, если, наконец, не убежишь, куда глаза глядят, то, Франц, Францекен, Биберкопф, бобровая головушка, старый дружище, каюк тебе, бесповоротно! Можешь звать тогда гробовщика снимать с тебя мерку!

Он тяжело вздыхает, стонет: не хочется ему, не хочется околевать, и он не околеет. Он оглядывает комнату. Тикают стенные часы. Он еще жив, он еще не на том свете. Меня хотят ухлопать, и Шрейбер чуть-чуть не уложил меня из шпаллера, но этому не бывать. И Франц подымает, как для клятвы, оставшуюся у него руку: нет, не бывать этому.

Его охватывает неподдельный ужас. Он не в состоянии оставаться в постели. И если бы даже ему пришлось сдохнуть на улице, он должен встать, должен выйти из дому. Герберт Вишов уехал с брюнеткой Евой в Цопшот³⁰. У нее есть там платежеспособный кавалер, пожилой биржевик, которого она эксплуатирует. Герберт Вишов поехал инкогнито, Ева работает чисто, они видятся ежедневно, как говорится — вместе наступать, врозь спать. Так что в эту прекрасную летнюю пору Франц Биберкопф снова шагает по улице, снова совсем один, этот единственный Франц Биберкопф, еле держится на ногах, но идет. Это — змея кобра, видите, она ползет, движется, покалечена. Но это все еще

прежняя кобра, хотя и с темными кругами под глазами, да и вся когда-то откормленная зверюга теперь отошала, и брюхо у нее впалое.

Этому парню, который таскается теперь по улицам, чтоб не околеть у себя в конуре, и убегает от смерти, кое-что уже гораздо яснее, чем до сих пор. Жизнь все-таки кой-чему научила его. И вот он поводит носом, принюхивается к улицам, принадлежат ли они еще ему, хотят ли они его еще принять. Он пялит глаза на киоски с объявлениями, словно они — невероятное событие. Да, да, мой милый, сейчас ты не ступаешь широко обеими ногами, сейчас ты цепляешься за землю, стелешься по ней, сейчас ты пускаешь в ход руки и зубы, сколько их ни есть у тебя, и держишься изо всех сил, чтоб только тебя не сшибло с ног.

Адская штука жизнь, не правда ли? Это ты уже однажды познал, в пивной Геншке, когда тебя хотели выставить вон вместе с твоей повязкой и на тебя лез тот долговязый, хотя ты ему ничего не сделал. А ты думал, что мир успокоился, что в нем порядок? Нет, видно, что-то разладилось в этом мире, уж больно грозно стояли те там, перед тобою. Это было какое-то мгновенное прозрение, не так ли?

А теперь подойди сюда, ты, подойди ближе, я тебе кое-что покажу. Великую блудницу, имя же ей Вавилон, сидящую там на водах многих. И ты видишь жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами. И она облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держит золотую чашу в руке своей. И на челе ее написано имя, тайна: Вавилон великий, мать мерзостям земным. И жена упоена кровию праведных³¹.

Франц Биберкопф шляется по улицам, трусит мелкой рысцою и не сдается и ничего другого не хочет, как только хорошенько набраться сил и окрепнуть. Погода теплая, летняя, и Франц колесит из пивной в пивную, из кабака в кабак.

Это он, видите ли, убегает от жары. В пивной перед ним появляются большие кружки пива.

Первая кружка говорит: Я вся из хмеля и солода, прямо с погреба, свежая. Какова я на вкус?

А Франц отвечает: Горьковатая, приятная, свежая.

Да, она свежая, она освежает людей, а потом распаляет их, отнимает у них лишние мысли.

Лишние мысли?

Да, ибо большая часть мыслей — лишняя. Неужели же нет? Ну, пускай будет по-вашему.

Теперь перед Францем стоит маленькая рюмка светло-желтой водки.

Эта откуда взялась? — Из хлеба накурили. — Уж и кусачая же она! Так горло и дерет, точно когтями. — Да ну! На то она и водка. Должно быть, брат,

давно не пробовал? — То-то и оно, водочка, что мы чуть не померли, чуть на тот свет не отправились без пересадки. — Оно и видно! Видно? Ладно, поговорим там. — А вот мы тебя еще раз попробуем, ну-ка, давай-ка. Эх, хоррроша! С огнем, с огнем, сестрица. — Водка льется в глотку: Огонь, да и только.

Дым от этого огня подымается в Франце, сушит ему горло, заставляет его заказать еще кружку пива. Здравствуй, вторая кружечка, одну мы уже пропустили. Ну, что скажешь? А кружка: Сперва, толстячок, ты меня пригубь, а потом уж и спрашивай. — Ладно!

Тогда кружка говорит: Имей в виду, если ты выпьешь еще две кружки пива, еще один кюммель и еще стаканчик грога, ты разбухнешь, как горох. — Да неужели? — Верно говорю. Ты опять станешь толстым, а то на кого же ты сейчас похож, миляга? Неужели тебе не стыдно в таком виде людям на глаза показываться? Ну-ка, хлебни еще разок.

Франц берется за третью, бубнит: Я и то хлебаю. Одну за другой. Каждой свой черед.

А четвертую он спрашивает: Ты что знаешь, душенька? — Та только что-то блаженно лопочет. Франц вливает ее в себя, приговаривая: Верю, голубушка, верю всему, что говоришь. Ах ты моя ярочка, мы с тобой вместе пойдем на лужок.

Третье завоевание Берлина

Таким образом Франц Биберкопф в третий раз появляется в Берлине. В первый раз собирались соскользнуть крыши, но появились евреи, и Франц был спасен. Во второй раз его обманул Людерс, но это он утопил во хмелю. Теперь, в третий раз, Франц остался без руки, но он смело проникает в город. Да, смелость есть у этого человека, хватит ее на двоих и даже на троих.

Герберт и Ева оставили в его распоряжении кругленькую сумму, которая хранится у хозяина кабачка внизу. Но Франц берет из нее только несколько пфеннигов, решил: не пользоваться этими деньгами, а стать самостоятельным. Он отправляется в попечительство о бедных и требует пособия. «Нам необходимо сперва навести справки». — «Ну, а что буду делать тем временем я?» — «Вы? Зайдите к нам через пару деньков». — «Да ведь за эту пару деньков можно и с голодудохнуть». — «Бросьте, так скоро у нас в Берлине никто с голоду не подыхает, это всё зазря болтают. Кроме того, у нас выдают не деньги, а боны, и за квартиру мы платим сами, непосредственно. Адрес у вас указан правильно?»

Тогда Франц уходит из попечительства, и, когда он уже внизу, у него будто чешуя спадает с глаз, там говорят: необходимо навести справки, скажите пожалуйста, навести справки, значит, будут, пожалуй, наводить справки и о

том, куда девалась одна рука и как это вообще случилось? И Франц останавливается перед табачным магазином и раздумывает: значит, будут спрашивать, что случилось с рукой, кто платил за лечение и где я лежал? Очень просто, что будут. Да еще, пожалуй, о том, чем я жил эти последние месяцы. Нет, погодите.

Он раздумывает и медленно движется вперед. Что тут делать? Кого бы спросить, как теперь быть? А тех денег я тоже не хочу касаться.

И вот Франц целых два дня ищет между Алексом и Розенталерплац своего друга Мекка, с которым можно было бы посоветоваться; наконец, к исходу второго дня, находит его на Розенталерплац. Они глядят друг на друга. Францу хочется крепко пожать ему руку — помните, как бурно приветствовали друг друга оба приятеля после той истории с Людерсом? — а теперь Мекк как бы нехотя подает ему руку и не отвечает пожатием. Франц чуть было снова не стал трясти его левой рукой, но маленький Мекк делает такое серьезное лицо. Что это с парнем, уж не обидел ли его Франц? Они поднимаются по Мюнцштрассе, идут, идут, потом возвращаются через Розенталерштрассе, а Франц все еще ждет, когда же наконец Мекк спросит его про руку. Но даже и про это тот не спрашивает, все только глядит куда-то в сторону. Может быть, ему неловко из-за меня перед людьми? И Франц начинает весело расспрашивать про Цилли, что она поделывает.

Ах, ей живется неплохо, почему бы ей жилось плохо? Мекк долго и подробно рассказывает о ней, Франц старается смеяться. А тот все еще не заговаривает о руке, и вдруг Франца осенило, и он спрашивает: «Ты, наверно, еще бываешь в пивной на Пренцлауерштрассе?» — «Да, изредка». Тогда Францу все становится ясным. Он начинает идти медленнее, отставать от Мекка. Очевидно, что-нибудь наговорил про меня Пумс, или Рейнхольд, или Шрейбер, и он считает меня взломщиком. А если начать ему объяснять, то пришлось бы все рассказать, но этого Мекк никогда не дождется, этого Франц ни за что не сделает.

И Франц собирается с духом и останавливается перед Мекком: «Ну, Готлиб, давай попрощаемся, мне пора домой, калеке надо рано ложиться». Мекк в первый раз за весь вечер глядит ему прямо в глаза, вынимает трубку изо рта, хочет что-то спросить, но Франц делает знак, нечего, мол, спрашивать, и уже простился с ним за руку и исчез в толпе. А Мекк стоит, почесывая затылок, и думает, что надо бы поговорить с Францем серьезно, и очень недоволен собою.

Франц Биберкопф шагает по Розенталерплац, чему-то радуется и говорит себе: К чему вся эта болтовня, надо зарабатывать деньги, на что мне Мекк, я должен наживать деньги.

Вот вы бы посмотрели на Франца Биберкопфа, как он пустился в погоню за деньгами! В нем появилось что-то новое, лютное. Ева и Герберт разрешили

ему пользоваться их квартиркой, но Францу непременно хотелось обзавестись своей собственной комнатой. Таким образом, наступил неприятный момент, когда Франц нашел себе комнату и хозяйка подала ему для заполнения регистрационный листок. И вот наш Франц сидит у себя за столом, и снова приходится ему ломать себе голову: если написать, что меня зовут Биберкопф, то сейчас там справятся в картотеке, позвонят в патронат, а оттуда — повестка да распросы: почему совсем больше не показывается, и что случилось с рукой, и где лечились, и кто платил, запугаешься с ними.

Франц со злостью стучит по столу кулаком: Патронат! На что ему патронат или попечительство о бедных? К черту их, не подобает пользоваться ими свободному человеку; он выводит, все еще злясь и волнуясь, на регистрационном листке свое имя, сперва только Франц, а перед глазами мелькают полицейский участок, патронат на Грунерштрассе, автомобиль, из которого его выбросили. Сквозь куртку он прощупывает культипку плечевой кости — спросят, непременно спросят о руке, ну и пускай спрашивают, велика важность, будь они прокляты, я все-таки сделаю так.

И точно дубиной садит он буквы на бумагу; нет, никогда я еще не был трусом, а что касается имени, то никто не посмеет отнять его у меня, так меня зовут, таким я родился, таким и останусь: Франц Биберкопф. Лепится одна жирная буква к другой, встают перед ним тюрьма в Тегеле, аллея, черные деревья, заключенные, занятые клейкой, столярничаньем, починкой мешков. Ну-ка, обмакнем еще раз перо и поставим точку. И не боимся мы ни «зеленых», ни «быков» с жестяными жетонами. Либо я свободный человек, либо вообще не человек.

Есть жнец, Смертью зовется он.

Франц возвращает листок хозяйке, так, с этим делом покончено. Покончено! А теперь подтянем брюки, расправим как следует ноги и победоносно вступим в Берлин.

*Платье делает человека³²,
а у нового человека и глаза новые*

На Брунненштрассе, там, где производится прокладка туннеля для подземки, провалилась в спускную шахту лошадь. Народ уже с полчаса толпится вокруг места происшествия. Прибывают на машине пожарные и продевают лошади спасательный пояс под брюхо. Лошадь стоит на сплетении водопроводных и газовых труб, почем знать — может быть, сломала себе ногу, вся дрожит и испуганно ржет, а сверху видна только ее голова. Животное извлекают из шахты при помощи лебедки, оно отчаянно дрыгает и бьется.

Среди публики — Франц Биберкопф и Мекк. Франц соскакивает в шахту к пожарному и помогает протолкнуть лошадь вперед. Мекк и вся публика поражены, как это Франц так хорошо справляется одной рукой. Они похлопывают взмыленную лошадь, она цела и невредима.

«Франц, а ведь ты, так сказать, молодчина, и откуда у тебя столько силы в одной руке?» — спрашивает Мекк. «Это потому, что у меня крепкие мускулы. Если я захочу, все могу». Они спускаются по Брунненштрассе. Встретились они с тех пор впервые. Мекк тотчас же примазался к Францу. «Да, Готлиб, — продолжает Франц, — это у меня от хорошей еды и питья. А рассказать тебе, что я еще делаю?» погоди, я тебя как следует разыграю. Ты ко мне больше приставать не будешь. Покорно благодарю за таких друзей. «Ну так вот, слушай, у меня теперь шикарная служба. Я стою у карусели на гуляньи на Эльбингерштрассе и выкликаю: Катанье на лошадаках, для дам и мужчин, один раз кругом, — пятьдесят пфеннигов! — а на Роминтенерштрассе, чуточку подалее, я самый сильнейший однорукий человек в мире, но эта служба у меня только со вчерашнего дня. Можешь прийти состязаться со мной в боксе». — «Что ты врешь, с одной рукой, да вдруг бокс». — «А вот приди и посмотри сам. Там, где я не могу прикрыться, я работаю ногами». Франц явно издевается над Мекком, тот только диву дается.

Они идут своим обычным путем на Алекс, частью по Гипсштрассе, где Франц ведет Мекка к старому Дансингпаласу. «Он теперь заново отделан, — говорит Франц. — Можешь полюбоваться, как я там танцую и посиживаю в баре». Мекк не знает, куда деваться. «Что это с тобой, скажи на милость?» — «Верно, я опять принимаюсь за старое. А почему бы и нет? Тебе это не нравится? Ты против? Давай пойдем, а? Погляди, как я танцую с одной-то рукой». — «Нет, нет, тогда уж лучше в Мюнцгоф³³». — «Идет. К тому же в таком виде нас сюда все равно бы не пустили, так что зайди как-нибудь в четверг или в субботу. Что ж, ты думаешь, я стал евнухом, потому что у меня отстрелили руку?» — «Кто стрелял?» — «А у меня вышла маленькая перестрелка с “быками”. Собственно говоря, ни за что, ни про что, так, зря, на Бюловплац. Собралось там несколько ребят, купить ночью товар, парни хорошие, порядочные, но без гроша — откуда взять, чтоб не украсть? Ну вот, понимаешь, иду я и вижу, что делается, а сейчас же за углом двое таких субчиков с кисточками на шляпах. Что тебе сказать? Я моментально обратно, в дом, говорю парнишке, который стоит на стреме, что, значит, так и так, но те и ухом не ведут, не желают беспокоиться из-за пары “быков”. Понимаешь, вот молодцы! Сперва, говорят, надо вынести товар. И вдруг появляются “быки” и начинают делать обыск. Очевидно, кто-то в доме заметил, что на складе работают чужие, ну и. А товар-то был меховой, самый дамский, чтоб согреться, когда угля мало. Ну, мы легли в засаду, и когда “быки” вздумали пройти на склад, то им, понимаешь, никак не открыть дверь. Тем временем вся братва смылась через другой выход. А ко-

гда “бьки” позвали слесаря и тот стал ломать замок, я выстрелил в замочную скважину. Что ты на это скажешь, Мекк?» — «Где ж это было?» — спрашивает тот, и даже в горле у него пересохло. «В Берлине, за углом, на Кайзераллее». — «Полно врать-то». — «Успокойся. Я стрелял холостым патроном. Ну, а те стреляли всерьез, сквозь дверь. Поймать они меня не поймали, потому что, пока ломали дверь, нас и след простыл, но руку мне попортили. Сам видишь». — «Что это значит?» — блеет Мекк. А Франц с театральным жестом протягивает ему руку и говорит: «Ну, пока до свиданья, Мекк. А если тебе что понадобится, то я живу — впрочем, адрес я тебе еще сообщу. Всех благ!»

Уходит по Вейнмейстерштрассе. Мекк совершенно сбит с толку: парень либо издевается над ним, либо — надо будет хорошенько расспросить Пумса. Ведь Пумсовы ребята рассказывали как будто совсем не то.

А Франц шествует по улицам обратно на Алекс.

Как выглядел щит Ахиллеса и чем был вооружен и украшен этот воин, когда шел в бой, я не могу описать в точности³⁴, смутно припоминаю только какие-то поножи и наручи.

Но как выглядит Франц, который идет теперь на новый бой, это я должен рассказать. Так вот, на Франце Биберкопфе его старые, пыльные, забрызганные грязью, это когда он подымал лошадь, вещи — морская фуражка с погнутым якорем и поношенные коричневые пиджак и брюки из дрянной полушерстяной материи.

Он заходит в Мюнцгоф, а минут через 10, пропустив кружку пива, выходит с покинутой кем-то другим, еще довольно хорошо сохранившейся особой и отправляется с ней погулять по Вейнмейстерштрассе и Розенталерштрассе, потому что в пивной душно, а на улице такая чудная погода, хотя и немного мокровато.

У Франца даже дух захватывает — столько он видит всякого обмана и мошенничества, куда ни глянь! Что ж, у нового человека и глаза новые. Как будто он только сейчас прозрел! Девушка и он так и покатываются со смеху. Чего-чего тут нет! Время — шесть часов, даже начало седьмого, дождь льет не переставая, ну да у девушки зонтик.

Вот пивная, они заглядывают в окно.

«Гляди, как хозяин пиво отпускает. Обрати внимание, как он наливает. Видала, Эмми, видала? Пены до этого места». — «Ну и что ж с того?» — «Что пены до этого места? Да это же мошенничество! Мошенничество! Мошенничество! А только он прав, этот дядя, молодец! Так и надо!»

«Однако, послушай! Тогда же он мошенник!» — «А я говорю, молодец!»

Магазин игрушек:

«Знаешь, Эмми, когда я стою вот так и гляжу на эти игрушки, — вон, видишь? — то я, черт возьми, уж не говорю больше: так и надо! Когда я был

маленьким, мне пришлось клеить всю эту дрянь, раскрашенные яички и тому подобное, помогать матери. А сколько нам за это платили, так я и сказать даже не хочу». — «Ну вот, видишь». — «Сволочи. Так бы и разбил им окно. Хлам. А выжимать соки из бедных людей — подлость».

Дамские пальто. Тут он хочет пройти мимо, но она тормозит: «Если хочешь знать, то об этом я могу тебе кое-что порассказать. Шить дамские пальто. Ну ты! Для шикарных дам! Как ты думаешь, сколько платят за такую вещь?» — «Пойдем, пойдем, не знаю и знать не хочу. Сама виновата, раз соглашаешься на расценку». — «Постой, а что бы ты стал делать на моем месте?»

«Да я был бы дураком, если бы делал такую работу за какие-то гроши. Шелковое манто я и сам желаю носить — вот что я бы сказал». — «Попробуй, скажи». — «И постарался бы устроить так, чтоб я и вправду носил шелковое манто. Иначе я был бы дураком, а хозяин был бы прав, когда совал бы мне в руку паршивые восемь грошенов». — «Чего вздор болтаешь?» — «Это ты потому, что у меня брюки в грязи? Знаешь, Эмми, это от лошади, которая упала в шахту подземки. Нет, меня за восемь грошенов не купить, мне, может быть, тысячу марок нужно». — «И ты их получишь?»

Она испытующе глядит на него. «Сейчас-то их у меня нет. Я только говорю, что... Но я их получу — тысячу марок, а не восемь грошенов». Она прижимается к нему, изумлена и счастлива.

Американское заведение для утюжки мужского платья³⁵, окно открыто, видны две дымящиеся доски для утюжения, в глубине сидят и курят несколько далеко не американского вида мужчин, а впереди работает, сняв пиджак, молодой черненький портной. Франц окидывает взором все помещение. Радостно восклицает: «Эмми, крошка Эмми, как чудно, что я тебя сегодня нашел!» Она еще не понимает этого человека, но ей очень лестно, вот-то будет злиться тот, кто ее покинул. «Эмми, милая Эмми, — продолжает Франц, — ты только взгляни, что за лавочка!» — «Ну, много он не заработает своей утюжкой». — «Кто?» — «Да вот этот, черненький». — «Он-то нет, но зато другие». — «Которые? Вон те? Почему ты так думаешь? Я их не знаю». — «Да и я их тоже в первый раз вижу, но я их знаю, — торжествует Франц. — Ты только на них взгляни. А хозяин? В магазине он утюжит, а в задней комнате? — делает что-то совсем другое». — «Сдает на часы?» — «Пожалуй что и так, хотя — нет! Это ж все жулики. Как по-твоему, чьи это костюмы, которые тут висят? Зайди сюда агент уголовного розыска и спроси, как и что, так эти господа живо задали бы ходу, только держись». — «Почему?» — «Потому что все это — краденный товар, сданный сюда на хранение. Заведение для утюжки мужского платья. Как бы не так! Шустрые ребята! А? Ишь, как дымят! Живут себе, не тужат».

Франц и Эмми продолжают прогулку. «Ты бы тоже должна так устроиться, как они, Эмми. Это единственно правильный путь. Только бы, упаси бог, не работать! Выбей ты этот вздор, “работать”, из своей головы. От работы

можно получить мозоли на руках, но не деньги. В лучшем случае — дыру в голове. Трудом праведным не наживешь палат каменных. Это верно. Только мошенничеством. Сама видишь».

«А ты чем занимаешься?» — спрашивает она, преисполненная надежды. «Пойдем-ка дальше, Эмми, я тебе потом скажу». Они снова в самой сутолоке Розенталерштрассе, а затем выходят через Софиенштрассе на Мюншштрассе. Франц бодро шагает. Рядом с ним трубы играют лихой марш. Врага мы победили в открытом бою, тратата, тратата, тратата, мы город захватили и золоту казну, тратата, тратата, тратата.¹³⁶

Парочка веселится от души. Особа, которую подцепил Франц, — женщина с огоньком. Правда, ее зовут всего только Эмми, но через развод и патронат она уже прошла. Оба в прекрасном настроении. Эмми спрашивает: «Где ж у тебя другая рука?» — «Она дома у моей невесты, которая не хотела меня отпустить, так что пришлось оставить у нее руку в залог». — «Надеюсь, твоя рука такая же веселая, как и ты сам?» — «Еще бы! Разве ты еще не слышала? Я открыл дело с моей рукой, стоит моя рука, знаешь, на столе и целый день клянется: Только кто работает, тот и ест³⁷. А кто не работает, должен голодать. Моя рука клянется в этом целый день, за вход десять пфеннигов, а беднота ходит смотреть и радуется». Эмми хохочет до упаду. Франц тоже смеется: «Тише, ты мне еще и вторую руку выдернешь, чумовая!»

У нового человека и голова новая

По городу разъезжает замечательная колясочка — маленький кузов на колесиках, а в ней паралитик, который приводит ее в движение при помощи рук, действуя ими как рычагами. Колясочка разукрашена массой разноцветных флажков, и паралитик едет по Шенгаузераллее, останавливается на всех перекрестках, вокруг него собирается публика, и его помощник продает открытки по десяти пфеннигов за штуку, с таким текстом:

«Кругосветный путешественник! Иоганн Кирбах, родился 20 февраля 1874 года в Мюнхен-Гладбахе, до начала мировой войны был здоров и работоспособен, предел моему трудовому образу жизни был положен правосторонним параличом. Однако я настолько поправился, что мог часами ходить пешком на работу. Благодаря этому моя семья была обеспечена от горькой нужды. В ноябре 1924 года, когда казенные железные дороги освободились от ненавистой бельгийской оккупации, ликовало все население Рейнской области. Многие германские братья выпили на радостях, что и послужило роковой причиной моего несчастья. В тот день я находился на пути домой, когда в трехстах метрах от моей квартиры меня сшибла с ног возвращавшаяся из пивной подгулявшая компания. Падение мое было столь неудачно, что я с тех пор на

всю жизнь калека и никогда больше не буду в состоянии ходить. Я не получаю ни пенсии, ни какого-либо иного пособия. Иоганн Кирбах»³⁸.

В пивной, где в эту чудесную погоду околачивается наш Франц Биберкопф, ибо он ищет хорошего, надежного случая, который двинул бы его вперед, — в этой пивной, стало быть, какой-то юнец, видевший вышеописанную колясочку с паралитиком возле вокзала на Данцигерштрассе, подымает гвалт об этом паралитике, а также о том, что сделали с его, парнишки, отцом, у отца прострелена грудь, и он с трудом может дышать, а теперь вдруг, извольте-ка, объявили, будто это одышка на нервной почве, и потому сократили пенсию, а скоро и совсем отымут.

Его галдеж слушает другой юнец в большой кепке, который сидит на той же скамейке, но пиво перед ним не стоит. У этого парня нижняя челюсть как у боксера. «Брось! — говорит он. — Раз он калека, то на него вообще не следовало бы тратить ни гроша». — «Ишь ты какой ловкий. Сперва, небось, потащили на войну, а потом не платят». — «Так оно и должно быть, братишка. Ведь если ты сделаешь какую-нибудь другую глупость, тебе тоже за нее не заплатят. Если, например, мальчишка прокатится на колбасе, сорвется и сломает себе ногу, ему ведь ни пфеннига не дадут. Да и с какой стати? Сам виноват». — «Положим, когда началась война, тебя еще и на свете не было, или ты в пленках лежал». — «Ладно, не трепись, в Германии вся беда в том и есть, что инвалидам платят пенсии. Ничего эти люди не делают, только место занимают, а им за это еще и деньги плати».

В их разговор вмешиваются другие, соседи по столу: «Да ты чего задаешься, Вилли? Ты сам-то где работаешь?» — «Нигде. Я тоже ничего не делаю. А если мне и дальше будут платить, я и дальше ничего не буду делать. И все-таки глупость останется глупостью, что мне платят». — «Ну и еловая голова!» — смеются другие.

Франц Биберкопф — за тем же столом. Юнец в большой кепке засунул руки в карманы и вызывающе глядит на него, как он сидит, с одной только рукой. Франца обнимает какая-то женщина, спрашивает: «Ты ведь вот тоже однорукий. Скажи, сколько ты получаешь пенсии?» — «А кто это хочет знать?» Женщина кивком головы указывает на юнца: «Вот кто. Он этим делом очень интересуется». — «Нет, я им вовсе не интересуюсь, — возражает тот. — Я только говорю, что кто настолько глуп, чтоб идти на войну, тому... Ну, ладно, точка». А женщина говорит Францу: «Это он просто струсил». — «Чего ж ему меня бояться? Меня ему бояться нечего. Я ж говорю то же самое. Я ничего иного и не говорю. Знаешь, где моя рука, вот та, которая отрезана? Я положил ее в банку со спиртом, и теперь она красуется у меня дома на комодке и каждый день говорит мне оттуда: Здравствуй, Франц, идиот ты этакий!»

Ха-ха-ха. Вот так номер! Занятно! Пожилой мужчина вытащил из кармана парочку толстых бутербродов, завернутых в газетную бумагу, и, разрезав их

перочинным ножом, отправляет кусок за куском в рот. «Мне, например, так и не пришлось побывать на войне, — говорит он. — Меня всю войну продержали в Сибири. Теперь я живу дома, у матери, и страдаю ревматизмом. Так, может быть, и ко мне придут и отымут пособие? Вы что же это — с ума спятили?» — «А откуда у тебя ревматизм-то? — спрашивает юнец. — От торговли на улице? Что, угадал? Так вот, если у тебя кости болят, то не надо, значит, торговать на улице». — «Тогда я сделаюсь, пожалуй, сутенером». Юнец стучит кулаком по столу, по бумажкам от бутербродов: «Конечно! Пр-р-равильно! И смеяться тут вовсе нечему. Поглядели бы вы на жену моего брата, мою невестку, это очень приличные люди, ничем не хуже других, мой брат бегал как угорелый, искал работы, получал пособие, а жена все равно не знала, что ей делать с теми грошами, которые им выдавали по безработице, ведь двое маленьких детей, имейте в виду, так что она даже на поденную работу уходить не могла. Вот она и завела при случае одно знакомство, а потом, может быть, и еще. Пока наконец брат не заметил. Тогда он позвал меня к себе и сказал, чтоб я был при том, когда у него будет разговор с женой. Ну, да не на таковскую он напал. Вот бы вы послушали этот балаган. Словом, мой брат отъехал, словно его водой облили. Жена закатила ему с его жалкими грошами такую отповедь, что мой братец, супруг-то благоверный, только глазами хлопал. И запретила ему являться к ней». — «Что ж, он так и не является?» — «Он бы и рад, да она не желает иметь дело с таким дураком, с человеком, который ходит отмечаться и получает пособие, да еще предъявляет претензии, когда другие зарабатывают деньги».

Тут все оказались более или менее одного мнения. Франц Биберкопф подсаживается к молодому парню, которого зовут Вилли, чокается с ним и говорит: «Знаете, вы всего лет на десять — двенадцать моложе, но лет на сто хитрее нас. Эх, ребята, да разве я бы посмел так говорить, когда мне было двадцать лет? Черт передери-дери, у пруссаков на военной-то один разговор: руки по швам!» — «Так и мы делаем. По швам, да только не по нашим». Хохот.

Пивная переполнена; кельнер отпирает дверь, за нею — узкая задняя комната, пустая. Тогда вся компания переходит туда и располагается под газовым рожком. Жарко, роем носятся мухи, на полу валяется соломенный тюфяк, его поднимают на подоконник, пускай проветрится. Беседа продолжается. Вилли держится крепко, не сдается.

Вдруг другой юнец, которому пришлось перед тем совсем ступшеваться, замечает у Вилли на руке часы на браслетке и удивляется, что они золотые. «Ты их, верно, дешево купил, а?» — «За три марки». — «Значит — краденые!» — «Это меня не касается. Хочешь тоже такие?» — «Нет, спасибо. Чтоб меня задержали да стали спрашивать, откуда они у меня». — «Ишь, боится воровства», — смеется Вилли, озираясь кругом. «Да брось ты». — Вилли кладет руку на стол. «Стало быть, он что-то имеет против моих часов. А для меня они про-

сто часы, которые идут и к тому же золотые». — «Это за три-то марки?» — «Погоди, в таком случае я тебе покажу что-нибудь другое. Дай-ка мне свою кружку. А теперь скажи, что это такое?» — «Кружка». — «Верно. Пивная кружка. Не спорю». — «А это что?» — «Это? Часы. Да чего ты дурака валяешь?» — «Верно. Это часы. Не сапог и не канарейка, но если хочешь, то можешь назвать эту вещь и сапогом, это как тебе угодно, это совершенно в твоей власти». «Не понимаю, куда ты клонишь?» Но Вилли как будто знает, чего хочет, снимает руку со стола, хватая одну из девиц и говорит: «А ну-ка, пройди». — «В чем дело? Куда пройти?» — «Да вот тут, вдоль стены». Она не хочет, но другие кричат ей: «Ну, чего ты, пройди, не ломайся».

Тогда она встает, глядит на Вилли, подходит к стене. «Н-но, лошадка!» — «Ступай!» — командует Вилли. Она показывает ему язык и принимается маршировать, вихляя задом. Публика смеется. «Довольно! Так вот: что она делала?» — «Показала тебе язык». — «А еще что?» — «Бегала». — «Хорошо. Бегала. Тут вмешивается женщина: «А вот и нет. Я танцевала». — «Какой же это танец? — замечает пожилой мужчина, отрываясь от своих бутербродов. — С каких это пор называется танцевать, когда человек выставляет зад?» — «Если ты свой выставишь, то это, конечно, не танец», — огрызается женщина. «По-нашему, она просто бегала», — кричат двое других. Вилли торжественно смеется, слушает. Наконец, говорит: «Ну, а я скажу, что она маршировала». — «В чем же тут соль?» — нетерпеливо спрашивает юнец.

«В чем соль? А вот. Ты слышишь, что говорят? Бегала, маршировала, танцевала, по-всякому. Что, никак не сообразишь? Ну так я тебе еще раз разжую. Например, это вот была до сих пор пивная кружка, но ты можешь назвать ее и плевком, и тогда, пожалуй, всем придется называть эту вещь “плевком”, но пить из нее будут, как и раньше. А когда вон она маршировала, то говорят, что она маршировала или бегала или танцевала. А что было на самом деле, ты ведь видел. Своими глазами видел. Это было то, что ты видел. Точно так же, когда у человека берут часы, вовсе еще не сказано, что это есть кража. Вот видишь, теперь ты, как будто, начинаешь понимать. Просто они взяты, из кармана ли или с выставки в магазине, но чтоб они были украдены? Кто это может утверждать? Я, во всяком случае, не могу». И Вилли откидывается на стуле, а руки у него опять в карманах. «Что же ты говоришь, например?» — «Ты же слышал. Я говорю: они взяты. Переменили своего владельца». Вот так картина! Вилли выставляет вперед свой боксерский подбородок и молчит. Остальные придумались. За столом на мгновение воцаряется жуткая тишина.

Внезапно Вилли обращается резким голосом к однорукому, к Францу: «Вот, например, тебе пришлось служить у пруссаков и побывать на войне. Помоему, это называется лишением человека свободы. Но на их стороне были суд и полиция, и потому, что это так, тебе заткнули рот, и теперь, говорят тебе, эта штука называется уже не лишением свободы, как ты, осел, думаешь, а дол-

гом службы. И ты обязан его исполнять, точно так же, как и платить налоги, хотя бы ты и не знал, на что эти деньги идут».

Женщина жеманно тянет: «Ах, оставь ты, пожалуйста, политику, подумай, как весело!» Второй юнец смеется блеющим смехом и находит выход из положения: «Вот чушь-то! Даже жаль сидеть тут в такую хорошую погоду». — «Тогда ступай на улицу, — гонит его Вилли. — Ты, кажется, воображаешь, что политика — только здесь, в заведении, или что я, чего доброго, специально выдумываю ее для тебя. Как бы не так! Да она, брат, плюет тебе на голову, куда бы ты ни пошел. Плюет, разумеется, в том случае, если ты сам подставляешь голову». — «Довольно, будет! — кричит кто-то из окружающих. — Заткнись!»

Входят два новых посетителя. Женщина принимает грациозные позы, извивается вдоль стены, вихляет задом, кокетливо дразнит Вилли. Он вскакивает, вызывая танцует с ней фокстрот, они прижимаются друг к другу, целуются, продолжительность горения десять минут, утвердивши форму в тесте, обожженную огнем³⁹. Никто не обращает на них внимания. Франц, одноручка, принимается за третью кружку и поглаживает культяпку правой руки. Культяпка как будто горит огнем, горит, горит. Будь он проклят, этот мальчишка, этот Вилли, будь он проклят! Потом выносят вон стол, выкидывают соломенный тюфяк за окно, откуда-то появился гармонист с гармонью, сидит на табуретке, наяривает. Иоганн, мой Иоганн, все ты можешь делать там, Иоганн неутомимый, настоящий ты мужчина⁴⁰.

Люди весело отплясывают, сняв с себя пиджаки, пьют, болтают, обливаются потом. Но тут Франц Биберкопф встает, расплывается и говорит себе: Не такие мои годы, чтоб кутить, да и не хочется, надо зарабатывать деньги. А откуда я их возьму, мне все равно!

Нахлобучил шляпу и — айда!

В обед сидят двое на Розенталерштрассе, хлебают гороховый суп, у одного из них Бе Цет, он читает, смеется: «Кошмарная семейная драма в Западной Германии». — «Ну? Чего ж тут смеяться?» — «Ты слушай дальше: отец бросает своих троих детей в воду. Всех троих сразу. Здорово! Человек серьезный!» — «А где это было-то?» — «В Хамме, в Вестфалии. Что ж, один конец. Понимаешь, дошел человек, должно быть, до точки. Но на такого можно положить. Постой-ка, посмотрим, что он сделал с женой? Он ее, наверно, тоже... Нет, она сделала это сама, еще до него⁴¹. Что ты на это скажешь? Веселенькая семейка, Макс, умела жить! А вот и письмо жены: Обманщик! Побольше восклицательных знаков в обращении, чтоб он услышал. “Так как я больше не в силах продолжать такую жизнь, я решила утопиться в канале. Возьми веревку и повесься. Юлия”⁴². Точка». Тот, который читает, покатывается со смеху: «У них в семье ни в чем, видно, согласия не было — жена в

канал, а муж в петлю. Жена говорит: повесься, а он швыряет детей в воду. Не желает слушаться, да и только. Конечно, из такого брака не могло получиться ничего хорошего».

Оба — пожилые люди, строительные рабочие с Розенгалерштрассе. Но второй не одобряет того, что говорит первый. «По-моему, это очень печальный случай, и если увидеть что-нибудь такое в театре или прочитать в книжке, то и сам заплачешь». — «Ты-то, может быть, и заплачешь. Но вообще — о чем тут плакать, Макс, с чего бы?» — «Да ведь жена же, трое детей. Ну, перестань, довольно!» — «А меня, знаешь, это забавляет, этот человек мне нравится, жаль, конечно, детей, но, с другой стороны, так, за здорово живешь, прикончить в один прием всю семью — это, знаешь, я уважаю, а затем... затем, — он снова прыскает со смеху, — я нахожу, хоть ты меня на куски режь, я нахожу, что это так ужасно смешно, как они до самого конца не перестают спорить. Жена говорит, чтоб он взял веревку, а он: вот нарочно не возьму, Юлия, и топит детей, как щенят, в канале».

Его товарищ надел на нос очки в стальной оправе и перечитывает историю еще раз. «Оказывается, муж остался в живых. Арестован. Ну, не хотел бы я быть на его месте». — «Почем знать? Ты же вовсе не знаешь, каково ему». — «А вот и знаю». — «Знаешь? Я, например, представляю себе так, что он сидит в камере, покуривает табак, если он у него есть, и думает: А ну вас всех в...». — «Много ты понимаешь. Нет, брат, у него теперь угрызения совести. Он, верно, в камере все время плачет, или молчит. Не может заснуть. А ты, брат, напрасно грех на душу берешь». — «Против этого я решительно возражаю. Он прекрасно спит. Раз уж это такой отчаянный человек, то он и хорошо спит, и ест, и пьет, пожалуй, даже лучше, чем на воле. За это ручаюсь». — «Ну, тогда он — подлая собака, — говорит второй, серьезно взглянув на своего собеседника. — И если такому отрубят голову, то так ему и надо». — «Что ж, ты, пожалуй, прав. Он, наверно, тоже сказал бы, что ты совершенно прав». — «Оставим этот разговор. Я закажу себе огурцов». — «Нет, а по-моему, такая газета очень интересная штука. Вот отчаянный-то, а может быть, ему теперь уж и жаль, что он наделал, бывает, иной раз возьмешься за что-нибудь такое, что не по силам». — «Я возьму свиной головы с огурцом». — «И я тоже».

*Новому человеку нужна и новая профессия,
а не то можно обойтись и без всякой профессии*

Когда вы замечаете у себя на рукаве первую дырку, вы знаете, что пора позаботиться о новом костюме⁴³. Обращайтесь тогда немедленно к соответствующей фирме, которая покажет вам в своих магазинах, в светлых, красивых

помещениях, за широкими столами богатый ассортимент совершенно необходимых вам принадлежностей туалета.

«Ничего не поделаешь. Что ни говорите, фрау Вегнер, но мужчина без руки, да еще без правой, никуда не годится». — «Конечно, я не спорю, господин Биберкопф, это очень трудно. Но из-за этого не надо еще так сокрушаться и делать такое лицо. Ведь на вас даже страшно взглянуть». — «А что я могу делать с одной рукой?» — «Получать пособие или открыть торговлю». — «Какую торговлю?» — «Газетами, например, или всякой мелочью, или держателями для носков, или галстуками, перед Тицем или где-либо в другом месте». — «Газетами?» — «Ну да, или фруктами». — «Для этого я слишком стар, тут надо быть помоложе».

Это напоминает прошлое, на это я больше не пойду, не желаю, с этим покончено, раз навсегда.

«Вам надо бы обзавестись невестой, господин Биберкопф, она уж вам все скажет и поможет, где потребуется. Она могла бы везти с вами тележку или продавать за вас с лотка, если бы вам пришлось почему-либо отлучиться».

А Франц — шляпу набекрень и выкатывается на улицу, только не хватает нацепить на себя шарманку и играть по дворам. Где Вилли?

«Здорово, Вилли!» Потом-то уж Вилли говорит: «Конечно, многое тебе сейчас не под силу. Но если ты парень неглупый, то все-таки кое-что можешь. Например, если я тебе буду ежедневно давать что-нибудь на продажу или вообще для сбыта под рукой, а у тебя есть добрые знакомые и вы умеете держать язык за зубами, то ты можешь зарабатывать у меня довольно прилично».

А это Францу как раз и нужно. Этого он как раз и хочет, во что бы то ни стало. Он хочет стоять на собственных ногах. Хочет того, что сразу приносит доход. Работать? Вздор! На газеты он тьфу, плюет и приходит в ярость при виде этих баранов, газетчиков, и поражается, как люди могут быть такими простаками и выматывать из себя жилы, когда другие тут же разъезжают в авто. Станет он работать! Как бы не так! Это, брат, было, да сплыло. Тюрьма в Тегеле, аллея черных деревьев⁴⁴, шатаются дома, вот-вот свалятся прямо на голову крыши, а он, Франц, должен стать порядочным человеком! Смешно, этот Франц Биберкопф непременно желает быть порядочным, что вы на это скажете, ой, умора. Вот смешно-то, вероятно, у меня в ту пору был заскок в мозгах от тюремного сидения. Итак, налево кругом — марш! Денег, денег, человеку нужны деньги.

И вот вы видите Франца Биберкопфа в роли укрывателя, преступника, что ж, у нового человека и новая профессия, погодите, скоро будет еще хуже.

Это — жена, облеченная в порфиру и багряницу и украшенная драгоценными камнями и жемчугом, с золотой чашею в руке. Она смеется. На челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.

И упоена она кровию праведников. Сидит блудница Вавилон, упоенная кровию праведных.

В чем ходил Франц Биберкопф, когда жил у Герберта Вишова?

А что он носит теперь? На нем купленный по случаю за 20 марок наличными безукоризненный летний костюм. В особо торжественных случаях на левой стороне груди красуется Железный крест⁴⁵, исчерпывающим образом объясняя потерю руки и вызывая уважение прохожих и озлобление пролетариев.

Франц выглядит как почтенный кабатчик или мясник, с вытуженными брюками, в котелке, рука в перчатке. На всякий пожарный случай он имеет при себе документы, липовые, конечно, на имя некоего Франца Реккера, который погиб во время беспорядков в 1922 году⁴⁶ и уже многим помог своими бумагами. Все, что значится в этих бумагах, Франц знает назубок: где проживают родители, когда они родились, сколько у вас братьев и сестер, где вы работаете, где работали до этого, и вообще все, что может вдруг спросить какой-нибудь «бык», ну, а насчет остального — там видно будет.

Это случилось в июне. В прекраснейшем месяце июне бабочка, вышедшая из куколки, достигла полного развития. И Франц уже в достаточной мере процветает, когда Герберт Вишов и Ева возвращаются из курорта Цоппота. В Цоппоте произошло многое, о чем можно было бы рассказать, и Франц слушает с большим наслаждением. Например, Евиному биржевику решительно не повезло. В рулетку-то он, правда, выиграл, но как раз в тот день, когда он принес из банка 10 000 марок, случилась кража в его номере в отеле, в то время как он ужинал с Евой. Как это могло случиться? Вот, подите ж! Дверь его номера оказалась аккуратно отпертой подобранным ключом, пропали золотые часы и 5000 марок, которые лежали у него в ночном столике. Это, конечно, с его стороны была большая неосторожность, но кто же мог думать. И как это в первоклассный отель могли забраться воры, где же у портье были глаза, я подам в суд, недостаточность надзора, мы не отвечаем за ценности, не сданные на хранение администрации. Биржевик вне себя, орет на Еву за то, что она так торопила его пойти ужинать, и с какой стати, только чтобы поскорее увидеть этого франта, барона, ты, пожалуй, еще от непомерной любви вздумаешь целовать барону руки или пошлешь ему на мои деньги бонбоньерку. Теперь ты становишься вульгарным, Эрнстхен. А мои пять тысяч марок? Да я-то тут при чем? Ах, поедem домой. Тогда биржевик злобно соглашается: идея недурна, поскорее бы прочь отсюда.

Таким образом, Герберт снова водворяется на Эльзассерштрассе, а Ева снимает шикарную комнату в фешенебельном Вестене⁴⁷, впрочем, оно ей не впервой, и она думает, что это не надолго, что биржевику она скоро надоест, и тогда она опять вернется на Эльзассерштрассе.

Уже в поезде, в купе 1-го класса, где она сидит со своим биржевиком и с отвращением и наигранным блаженством терпит его ласки, она мечтает: Что-то подельвает Франц? А когда биржевик сходит еще до Берлина и оставляет ее одну, она содрогается и все время беспокоится: ведь Франц-то опять исчез. Но зато какая радость, какой неожиданный сюрприз для Герберта, Евы и Эмиля, когда 4 июля (в среду) к ним является — ну, вы уж можете себе представить, кто. Чистенький, прилизанный, с ж. к.⁴⁸ на геройской груди, с карими, преданными, как у верного пса, глазами, с теплой мужественной рукой и сильным пожатием: Франц Биберкопф. Теперь, брат, держись, не то полетишь вверх тормашками. Эмиль-то уж знал про такую перемену и услаждает свой взор изумлением Герберта и Евы. Франц стал настоящим франтом. «Да ты, милейший, кажется, себе ноги шампанским моешь?» — радуется Герберт. А Ева сидит и ничего не понимает. Правый рукав засунут у Франца в карман, новая рука, стало быть, не выросла. Ева обнимает его и целует. «Ах, боже мой, Францекен, а мы-то сидели и ломали себе голову, что-то подельвает наш Франц, и беспокоились — даже поверить трудно». Франц ходит от одного к другому, целует Еву, целует Герберта, и даже Эмиля. «Вот чушь — обо мне беспокоиться? — говорит он, весело подмигивая. — Ну а как я вам нравлюсь в роли героя войны, в спортивном жакете?» — «Да что такое случилось, что случилось? — ликует Ева. — Я так рада, что ты выглядишь таким молодцом». — «Я тоже». — «Ну а с кем ты теперь гуляешь, Францекен?» — «Гуляю? Ах, вот ты про что! Нет, нет, такими делами мы не занимаемся, у меня никого нет». И принимается рассказывать и обещает Герберту выплатить до последнего пфеннига весь долг в течение ближайших же месяцев. Герберт и Ева смеются. Герберт размахивает перед глазами Франца коричневой тысячемарковой кредиткой: «Хочешь, Франц?» Ева просит: «Возьми, Франц». — «Ни за что. Не нуждаемся. В крайнем случае, разменяем эту тысьонку вниз, в кабачке, это мы можем».

*На сцене появляется и женщина,
Франц Биберкопф снова укомплектован*

Друзья благословляют Франца на все, что он делает. Еве, которая все еще любит его, очень хотелось бы пристроить ему одну девицу. Он отнекивается, говорит, что уже знает ее, да нет, ты ее не знаешь, Герберт ее тоже не знает. Каким образом ты мог бы быть знаком с ней, она совсем недавно в Берлине, из Бернау⁴⁹, и приехала сюда только по вечерам, ну, я ее как-то встретила у Штеттинского вокзала, разговорилась с ней и сказала: деточка, ты еще себя погубишь, если будешь приезжать сюда, здесь, в Берлине, никому не устоять. А она засмеялась и ответила, что хочет только повеселиться. И вот, представь себе, Франц, — Герберт эту историю уже знает, и Эмиль тоже — сидит она как-

то поздно вечером, часов в двенадцать, в кафе. Я подхожу к ней, спрашиваю: Ну, что за лицо ты делаешь, смотри, детка, не дури. Тут она расплакалась, говорит, что ее водили в участок, документов при ней не было, что она несовершеннолетняя и боится вернуться домой. Там, где она служила, ее выставили, потому что полиция послала о ней запрос, а потом выгнала ее из дому и родная мать. Плачет девчонка, убивается. Это за то, — говорит, — что мне хотелось хоть немножечко повеселиться. Ведь в Бернау можно по вечерам повеситься со скуки.

Эмиль слушает, как всегда, облокотившись на стол, и говорит: «Девчонка права. Я тоже знаю Бернау. По вечерам там скучища адская».

Ева: «Ну вот я и забочусь о девочке. К Штеттинскому вокзалу я ее больше не пускаю».

Герберт важно курит гаванскую сигару: «Если ты, Франц, мужчина с понятием, то можешь сделать из нее, что угодно. Я ее видел. Девчонка породистая».

Эмиль подтверждает: «Чуть-чуть молода, но породистая, это верно. Кость у нее крепкая». И они продолжают дуть шампанское.

От этой девчонки, которая стучится на другой же день в назначенное время к нему в дверь, Франц в восхищении с первого взгляда. Ева его разлакомила, а кроме того, ему хочется угодить Еве. Но девчонка и в самом деле — прелесть, высший сорт А один, — такого кушанья в его меню еще не встречалось. Она — маленького роста, похожа в легком белом платье без рукавов на школьницу, у нее мягкие, медленные движения, и она как-то незаметно сразу очутилась рядом с Францем. Не прошло и получаса, как он уже не может себе представить свое существование без этой маленькой канашки. Собственно говоря, ее зовут Эмилией Парзунке, но ей хотелось бы, чтоб ее звали Соней. Так назвала ее Ева, потому что у нее такие русские скулы⁵⁰. «А Еву, — просительно говорит она, — по-настоящему тоже зовут не Евой, а Эмилией, как и меня. Это она мне сама сказала».

Франц покачивает ее у себя на коленях, глядит во все глаза на это субтильное, но упругое чудо и только диву дается, какое ему счастье привалило. Замечательно, как это в жизни бывает: то вверх, то вниз. А человека, который так переименовал Еву, он хорошо знает, это ж он сам был, а она была его подружкой до Иды, эх, оставался бы он лучше верен Еве. Ну, да ладно, зато теперь у него вот эта.

Но Соней она зовется у него только один день, а затем он просит пощады, терпеть не может он эти иностранные имена. А раз она из Бернау, то она может называться и как-нибудь иначе. У него, говорит он, было уже много подружек, это она может себе представить, но еще не было ни одной, которую звали бы Марией⁵¹. А такую ему бы очень хотелось иметь. И с тех пор он называет ее своей «Миши»⁵², «Мицекен».

И вот, немного погодя — этак во второй половине июля — у Франца случается с ней хорошенькая история. Но не то чтоб у нее вдруг родился ребенок или чтоб она оказалась больной. Нет, это нечто совсем другое, что пробирает Франца до мозга костей, но, в общем, не представляет ничего страшного. В те дни Штреземан собирается поехать в Париж⁵³, а может быть, и не собирается, в Веймаре обваливается потолок в здании телеграфа⁵⁴, а какой-то безработный едет следом за своей невестой, укатившей с другим в Грац, убивает обоих из револьвера, а затем пускает и себе пулю в лоб⁵⁵. Что ж, такие дела бывают при всякой погоде, к ним следует отнести и гибель от неизвестной причины всей рыбы в Белом Эльстере⁵⁶. Когда читаешь что-нибудь в таком роде, то поражаешься; но произойди то же самое на ваших глазах, оно не покажется таким грандиозным, собственно говоря, такие дела случаются в каждом доме.

Франц частенько стоит перед ломбардом на Альте-Шенгаузерштрассе⁵⁷, беседует в буфете при ломбарде с тем или иным из своих случайных знакомых, изучает в газетах объявления о покупках и продажах, а в обед встречается с Мици. И вдруг он обращает внимание, что Мици приходит к Ашингеру на Алексе, где они постоянно обедают, такой разгоряченной. Она говорит, что проспала и потому очень спешила, но — что-то тут не так. Потом-то он об этом забывает, потому что девчонка с ним так нежна и ласкова, что вы даже не поверите, а в комнате все так чисто и аккуратно, в цветах, тряпочках, ленточках, как у маленькой девочки. И всегда-то комната хорошо проветрена и опрыскана лавандовой водой, так что сердце радуется, когда возвращаешься по вечерам вместе домой. В постели Мици мягка, как пух, и постоянно так спокойна и нежна и счастлива, как и в первый раз. И всегда она чуть-чуть серьезна, и он никак не может ее раскусить — думает ли она о чем-нибудь, когда сидит вот так и ничего не делает, и о чем она думает? А когда он, бывало, ее спросит, она только рассмеется и скажет, что ни о чем не думает и что нельзя же целый день о чем-нибудь думать. С этим он согласен.

На дверях их квартиры висит ящик для писем на имя Франца, на липовую фамилию Реккер, которую он всегда указывает для объявлений и корреспонденции. И вот как-то раз Мици рассказывает ему, что она утром ясно слышала, как почтальон что-то бросил в этот ящик, но когда она вышла, то там ничего не оказалось. Франц крайне удивлен и спрашивает, что бы это могло означать. Тогда Мици высказывает предположение, что кто-нибудь выудил письмо из ящика, вероятно — соседи с той же площадки, они всегда подглядывают в глазок, заметили, должно быть, когда приходил письмоносец, и вытащили письмо. У Франца кровь приливает к голове от гнева. Что это такое, уж не шпионят ли за мной? Вечером он отправляется к соседям, стучится, ему открывает какая-то женщина и сразу же говорит, что позовет мужа. Муж — старик, лет 60, а жена молодая, лет 30, не больше. Ну, Франц его и спрашивает, не попало ли к ним по ошибке его письмо. Муж глядит на жену. «Подавали пись-

мо? Я-то только сейчас домой пришел». — «Нет, мне никто не приносил». — «В котором часу это было, Мици?» — «Около одиннадцати, почтальон всегда приходит около одиннадцати». — «Да, — говорит соседка, — он приходит около одиннадцати. Но ваша барышня всегда сама принимает от него почту, когда что бывает, и он всегда звонит». — «Откуда вы это так хорошо знаете? Я только один раз встретила его на лестнице, и он передал мне тогда письмо, а я его тоже опустила в ящик». — «Этого я уж не знаю, опустили ли вы его в ящик или нет. Я только видела, что он вам передал письмо. Ну а мы-то тут при чем?» — «Значит, — говорит Франц — письма на мое имя тут нет? Моя фамилия Реккер. Сюда, значит, никакого письма не подавали?» — «Упаси бог, не будем же мы принимать письма, которые для других людей. Ящика для писем у нас не имеется, сами видите, да и почтальон к нам почти не приходит». Франц утробно удаляется с Мици, приподымает шляпу. «Извините за вторжение, спокойной ночи». — «Спокойной ночи, спокойной ночи».

Франц и Мици потом еще долго толкуют об этом деле. Франц сомневается, не следят ли за ним соседи. Надо будет посоветоваться с Гербертом и Евой. Он строго-настрого наказывает Мици сказать почтальону, чтоб каждый раз звонил. «Да я и то уж говорила, Францекен, но иной раз приходит новый, заместитель».

А когда несколько дней спустя Франц неожиданно возвращается домой в обеденное время, Мици уж ушла к Ашингеру, он узнаёт разгадку, нечто совершенно новое, то самое, что пробирает его до мозга костей, впрочем, очень больно ему все-таки не было. Входит он в свою комнату, она, конечно, пуста, прибрана, и видит: на столе — ящик дорогих сигар, с запиской от Мици: «Францекену», и две бутылки аллаша⁵⁸. Франц блаженствует, думает, как эта девочка бережно обращается с деньгами, на такой следовало бы жениться, и что вы скажете, канарейку она ему тоже купила, словно сегодня день его рождения, ну, погоди, мышонок мой милый, я тебе тоже. И ищет у себя по карманам деньги, вдруг — звонок, ага, это почтальон, только что-то он сегодня поздно, ведь уж 12 часов, ну, пойду сам ему скажу.

Франц выходит в коридор, открывает дверь, прислушивается — нет никакого почтальона. Ждет, но тот не появляется, ладно, застрял где-нибудь. Франц вынимает из ящика письмо и идет с ним в комнату. В открытый конверт вложено закрытое письмо, и при нем записка, написанная явно измененным почерком: «Доставлено по ошибке», и неразборчивая подпись. Значит, письмо все-таки побывало у соседей, за кем это они шпионят? Письмо адресовано «Соне Парзунке, у господина Франца Реккера». Странно, от кого это она получает письма, из Берлина, несомненно от мужчины. И действительно, кто-то пишет ей: «Сокровище мое, любимая, почему ты так долго не отвечаешь?» Франц не в силах читать дальше, садится — а вон лежат сигары, стоит клетка с канарейкой.

Наконец Франц, белый как полотно, уходит, но идет не к Ашингеру, а к Герберту и показывает ему письмо. Тот начинает о чем-то шептаться в соседней комнате с Евой. И вот уже входит Ева, дарит Герберту на прощанье поцелуй и выставляет его за дверь, а затем бросается Францу на шею: «Францекен, а я получу поцелуй?» Тот таращит на нее глаза. «Да оставь ты меня». — «Францекен, один только поцелуй. Мы же с тобой старые друзья». — «Что с тобой сделалось, Ева, веди себя прилично, что подумает Герберт?» — «Я ж его выпроводила. Вот, гляди — нет его». Она ведет его в соседнюю комнату, в самом деле Герберта нет, ну, и пускай. Ева закрывает дверь: «Теперь ты можешь поцеловать меня. Один разок». И обвивается вокруг него, и в один миг вся охвачена страстным желанием.

«Ева, Ева, — задыхается Франц, — да ты с ума сошла, что тебе от меня нужно?» А она не помнит себя, и он не может с ней справиться, он поражен, отглаткивает ее. Но вдруг в нем что-то переключается. Он не знает, что случилось с Евой, в них обоих — ярость и дикий порыв. Со следами укусов на руках и шее лежат они потом, она — навзничь, поперек его груди.

«Послушай, Герберта в самом деле нет дома?» — бубнит Франц. «Неужели ты не веришь?» — «Ведь это же свинство с моей стороны по отношению к другу». — «Ах, ты такой чудный, я так влюблена в тебя, Франц». — «У тебя теперь вся шея будет в синяках». — «Кажется, я могла бы тебя съесть, так я тебя люблю. А когда ты пришел с письмом, я чуть-чуть не бросилась тебе на шею при Герберте». — «Но, Ева, что он скажет, когда увидит следы, ведь все это пойдет у тебя синими и зелеными пятнами». — «Он даже и не заметит. А потом я пойду к своему биржевику и скажу, что это от него». — «Вот это хорошо, Ева, тогда ты моя хорошая Ева. Потому что я терпеть не могу такого свинства. Ну а что скажет твой биржевик, когда увидит тебя в таком состоянии». — «А что скажет тетя, а что скажет бабушка? Какой ты трусишка, Франц, стыдись».

Потом Ева легла поудобнее, обхватила Франца за голову, неистово расцеловала его, прильнула пылающими щеками к его культике. Наконец, берет у него письмо, одевается, надевает шляпу: «Ну, теперь я ухожу, знаешь, я вот что сделаю: пойду к Ашингеру и переговорю с Мици». — «Ах, нет, Ева, зачем?» — «Потому что я так хочу. А ты оставайся пока здесь. Я скоро вернусь. Дай ты мне сделать по-моему. Неужели ж я не могу позаботиться о такой молодой девчонке, такой неопытной, да еще тут, в Берлине? Так что, Франц». И принимается снова его целовать и чуть-чуть снова не воспаляется, но затем берет себя в руки и убегает. Франц ничего не понимает.

Это было в половине второго; а в половине третьего она уже приходит обратно, серьезная, спокойная, но довольная собою, помогает Францу, который тем временем вздремнул, одеться, освежает ему потное лицо одеколоном. Наконец садится на комод, закуривает папироску и начинает. «Итак, что касается Мици, то она страшно смеялась, Франц. Я, во всяком случае, не позволю сказать о ней ничего плохого». Франц поражен. «Да, Франц, это письмо мне ни

чего не доказывает. Она сидела еще у Ашингера и ждала тебя. Я показала ей письмо. Тогда она спросила, обрадовался ли ты наливке и канарейке». — «Конечно». — «Ну так слушай. Могу тебя уверить, что Мици и бровью не дрогнула. Она мне страшно понравилась. Хорошая девочка. Я тебе не какую-нибудь дрянь всучила». Франц мрачен, ему не терпится поскорее узнать, в чем же тут дело. Ева соскакивает с комода, хлопает его по коленке: «Францекен, ты дуся. Неужели ты не понимаешь? Ведь такой девчонке тоже хочется сделать что-нибудь для мужчины. Что ей с того, что ты целый день носишься, делаешь дела и тому подобное, а она только варит тебе кофе, убирает комнату, и больше ничего. Ей хочется тебе что-нибудь подарить, ей хочется иметь что-нибудь для тебя, чтоб ты был доволен. И ради этого она это и делает». — «Ради этого? И ты веришь таким басням? Ради этого она меня обманывает?» Тут Ева становится серьезной. «Об обмане не может быть и речи. Это она сразу так и заявила: об этом не может быть и речи. А если кто-то написал письмо, то это пустяки, Франц. Бывает, что человек влюбится, вот он и пишет. Это ж для тебя не новость, а?»

Медленно, медленно в Франце что-то проясняется. Вот оно что, вот оно в чем дело! Ева замечает, что он начинает что-то соображать, и продолжает. «Конечно. А то что же? Ей тоже хочется зарабатывать деньги. И разве она не права? Я ведь тоже сама зарабатываю деньги. Вполне понятно, что ей не хочется жить за твой счет, тем более что тебе трудно с одной-то рукой». — «Гм, гм». — «Она мне так прямо и заявила. И глазом не моргнула. Знаешь, это замечательная девочка, на нее можно вполне положиться. Она говорит, ты должен побережь себя после всего, что с тобой было в этом году. А до этого года тебе ведь тоже жилось не сладко — Тегель и все такое, сам знаешь. И потому, говорит она, ей совесть не позволяет, чтоб ты так себя мурьжил. Вот она и хочет тоже подрабатывать. Только не решается тебе сказать».

«Так, так», — поддакивает Франц, и голова его свешивается на грудь. «Ты не поверишь, — говорит Ева, подходя к нему вплотную и поглаживая его по спине, — как эта девчонка к тебе привязалась. Меня же ты не хочешь. Или — ты меня все-таки хочешь, Франц?»

Он берет ее за талию, она осторожно садится к нему на колени, он ведь может держать ее только одной рукой, прижимается головой к ее груди и тихо говорит: «Ты хорошая женщина, Ева, оставайся у Герберта, ты ему нужна, он тоже хороший человек». До Иды она была его подружкой, но не надо об этом вспоминать, не надо начинать сызнова. Ева понимает его. «Ну, тогда иди теперь к Мици, Францекен. Она все еще сидит у Ашингера или ждет тебя у входа. Она сказала, что не вернется домой, если ты ее больше не хочешь».

Очень тихо, очень нежно простился Франц с Евой. Перед Ашингером, который на Алексе, в сторонке, у витрины фотографа, стояла маленькая Мици, когда ее увидел Франц. Тогда он останавливается на другой стороне улицы перед забором и долго глядит на Мици сзади. Она идет на угол, Франц сле-

дит за ней глазами. Это — решение, это — поворотный пункт. Его ноги приходят сами собою в движение. На углу он видит ее в профиль. Какая она маленькая. Она в модных коричневых спортивных туфельках. Вот-вот сейчас с ней кто-нибудь заговорит. Этот маленький, вздернутый носик. Она кого-то ищет. Да, он ведь пришел с той стороны, от Тица, и она его не видела. Его как раз заслонил ашингеровский грузовик с хлебом. Франц доходит вдоль забора до угла, где свалены кучи песку; здесь замешивают цемент. Теперь она могла бы его увидеть, но она не смотрит в ту сторону. На нее уже несколько минут поглядывает какой-то пожилой господин, но она как будто не замечает его и идет дальше до магазина Лезер и Вольф. Франц переходит улицу. Он все время в десяти шагах за нею, остается на том же расстоянии. День солнечный, июльский, продавщица цветов предлагает ему букет, он дает ей двадцать пфеннигов, держит букет в руке и все еще не подходит ближе. Все еще нет. Но цветы так хорошо пахнут, Мици поставила ему сегодня цветы в комнату, и клетку с канарейкой, и наливку.

Тут она оборачивается. Сразу увидела его, он все-таки пришел, и в руке у него цветы. И бросается к нему, лицо мгновенно вспыхивает, пылает, когда она видит цветы в его левой руке. А затем оно бледнеет, остаются только красные пятна.

У Франца бурно колотится сердце. Она берет его под руку, они идут по тротуару на Ландсбергерштрассе и не говорят ни слова. Она украдкой поглядывает на полевые цветы, которые он держит в руке, но Франц шагает как ни в чем не бывало. Мимо с грохотом проносится автобус 19, желтый, двухъярусный, переполненный до отказа. На заборе висит старый плакат. Имперская партия — партия ремесленников и купцов. Улицу как раз нельзя перейти, потому что двинулись автомобили со стороны полицейпрезидиума. Уже на той стороне, около колонны с рекламой Персила, Франц замечает, что все еще держит букет и хочет дать его Мици. И в то время как он глядит на руку, он еще раз спрашивает себя, и что-то в нем вздыхает, и что-то все еще не решено: дать ей цветы или не дать? Ида, ах, да что это имеет общего с Идой или Тегелем, я же так люблю эту девчонку.

И на маленьком рефюже, где красуется колонна с рекламой Персила, он не в силах удержаться и сует в руки Мици цветы. Она несколько раз бросала на него умоляющие взоры, но он ничего не говорил, теперь она цепляется за его левую руку пониже локтя, приподымает кверху его ладонь и прижимается к ней вновь вспыхнувшим личиком. Жар ее лица волной разливается и по нему. Затем Мици останавливается, бессильно опускает руку, и голова ее как бы сама собою склоняется на левое плечо. Она чуть слышно шепчет Францу, который испуганно поддерживает ее за талию. «Ничего, ничего, Франц. Оставь». И они переходят улицу наискосок, туда, где ломают универмаг Гана, и идут дальше. Мици шагает уже совсем бодро. «Что с тобой было, Мици?» — «Ах, я так боялась», — говорит она, и сжимает руку Франца, и отворачивает-

ся, потому что из глаз брызнули слезы, но эта девушка способна очень скоро снова смеяться, раньше, чем он что-нибудь заметит, о, это были страшные минуты.

Они вернулись к себе в комнату, Мици сидит в белом платице⁵⁹ перед ним на скамеечке, окно раскрыто настежь, жара невыносимая, душно, Франц сидит без пиджака на диване, сидит и глаз не сводит со своей девочки. О, как он влюблен в нее; как я рад, что она снова здесь, какие у тебя прелестные ручки, я куплю тебе пару лайковых перчаток, вот увидишь, а еще ты получишь новую блузку, и делай все, что хочешь, так чудно, так чудно, что ты тут, у меня, я так рад, что ты вернулась, детка. И он прячет голову у нее на коленях, и не может наглядеться, нарадоваться на свою девочку, надышаться ею. Теперь он снова стал человеком, снова, снова стал человеком. Нет, он ее не отпустит, не отпустит, что бы не случилось. И он раскрывает рот: «Детка моя, Мицекен, ты можешь делать, что хочешь, я тебя не отпущу».

И как они счастливы. Обнявшись за плечи, они любят канарейкой. Мици роется у себя в сумочке и показывает Францу письмо, то самое, которое пришло в обед. «И из-за такой дряни ты так расстроился, из-за того, что мне тут пишут?» Она комкает письмо, бросает его на пол: «Ну, знаешь, этого добра я могла бы дать тебе целую пачку».

Оборонительная война против буржуазного общества

В ближайшие дни Франц Биберкопф отправляется гулять совершенно умиротворенный. Он уже больше не так волнуется при своих темных делишках, при этой перепродаже от одного скупщика краденого другому или же настоящему покупателю. Плевать ему теперь, если ему что-нибудь не удастся. У него есть время, терпение и покой. Если бы погода была получше, он сделал бы то, что советуют Мици и Ева: поехал бы в Свинемонде⁶⁰ и отдохнул бы; но с погодой — одно горе, дождь так и льет, так и хлещет изо дня в день, и холодно, и ветрено, в Хоппегартене вырваны с корнями большие деревья, каково же должно быть на берегу моря. Франц страшно гордится своей Мици и часто бывает с ней у Герберта и Евы. У Мици есть уже постоянный поклонник, весьма солидный господин, Франц с ним знаком, Франц считается мужем Мици, и с тем господином и еще одним он охотно время от времени встречается по-приятельски, ест и выпивает.

Ишь ты, на какой высоте теперь наш Франц Биберкопф! Как ему хорошо живется, как все изменилось! Ведь он был уже на волосок от смерти, а как он теперь вознесся. Какое он теперь сытое существо, которое ни в чем себе не

отказывает, ни в еде, ни в выпивке, ни в платье. У него есть подружка, которая делает его счастливым, у него есть деньги, больше, чем ему требуется, весь долг Герберту он уже уплатил, Герберт, Ева и Эмиль — его друзья, искренне расположенные к нему. Цельми днями просиживает он у Герберта и Евы, поджидает у них Мици, ездит на Мюгельзее⁶¹, где с двумя знакомыми занимается греблей, левая рука его становится день ото дня сильнее и ловчее. А кой-когда ходит и на Мюнцштрассе послушать, что делается в ломбарде.

Но ведь ты же поклялся, Франц Биберкопф, что хочешь остаться порядочным человеком. Ты вел беспутный образ жизни, ты совсем было опустился, в конце концов ты уколошил Иду и отсидел в тюрьме, это было ужасно. А теперь? Теперь ты в том же положении, только Иду зовут Мици, да ты сам без одной руки, берегись, брат, ты еще сделаешься пьяницей, и все пойдет сначала, но уж гораздо хуже, и тогда тебе крышка.

— Чушь, разве я виноват, разве я напрашивался в сутенеры? Чушь, говорю, я. Я делал все, что мог, я делал все, что в человеческих силах, я дал отчекрывать себе руку. Ну-ка, сунься кто-нибудь ко мне. Нет, будет с меня, довольно! Разве я не торговал, не бегал с утра до позднего вечера? Теперь шабаш! Верно, теперь я не порядочный человек, я — кот! Но мне совсем не стыдно. А вот вы сами кто такие, чем вы сами-то жить изволите, разве не за счет других людей? Что, разве я выжимаю соки из кого бы то ни было?

— Ой, Франц, кончишь ты в каторжной тюрьме, или пырнет тебя кто-нибудь ножом в живот.

— Пусть-ка сунется. Сперва он моего ножа попробует.

Германское государство есть республика⁶², и кто этому не верит, получит в морду. На Кепеникерштрассе, недалеко от Михаэлькирхштрассе, происходит митинг, зал — длинный и узкий, на стульях рядами сидят рабочие, молодые люди в рубашках апаш⁶³ или в зеленых воротничках, среди них расхаживают девушки, замужние женщины, продавцы брошюр. На эстраде, за столиком, стоит между двумя товарищами толстый, наполовину лысый человек, натравливает, обольщает, язвит, провоцирует.

«В конце концов мы тут вовсе не для того, чтобы говорить на ветер⁶⁴. Пусть этим занимаются в рейхстаге. Спросили как-то одного из наших товарищей, не хочет ли он попасть в рейхстаг? В рейхстаг с его золотым куполом и мягкими клубными креслами. А он ответил: Знаешь, товарищ, если я соглашусь и пойду в рейхстаг, то там просто окажется одним лодырем больше. Нет, говорить на ветер у нас нет времени, и это совершенно ни к чему. Вот, например, наши коммунисты говорят без хитрости: мы будем заниматься разоблачительной политикой. Что из этого получается, мы уже видели: коммунисты стали коррупционерами, так что нечего нам тратить слова по поводу разоблачительной

политики. Все это одно надувательство, а то, что надо разоблачить, видит в Германии каждый слепой, и для этого вовсе не требуется идти в рейхстаг, а кто этого не видит, тому нельзя помочь ни с рейхстагом, ни без рейхстага. Что эта говорильня не годна ни на что, как только на обморочивание народа, это прекрасно знают все партии, кроме так называемых представителей трудящихся масс.

Возьмите, например, наших бравых социалистов. Ведь у них есть уже даже религиозные социалисты, дальше, кажется, ехать некуда. Все они должны стать религиозными, и пускай бегут себе к попам. Потому что является ли человек, к которому они бегут, попом или профсоюзным заправилой, бонзой — совершенно безразлично. Главное дело: слушайся команды! (Возглас с места: И верь!) Это само собою. Социалисты ничего не хотят, ничего не знают, ничего не могут. В рейхстаге у них всегда большинство голосов, но что с ними делать, они и сами не знают, впрочем, виноват, знают — просиживать клубные кресла, курить сигары и пролезать в министры. И вот для этого, оказывается, рабочие и отдали свой голос, выгнали в день получки последние гроши из карманов, чтоб еще сотня или полсотни людей жирели на их трудовые денежки. Не социалисты завладевают государственно-политической властью, а государственно-политическая власть завладела социалистами. Век живи, век учись, а все дураком умрешь, но такого дурака, как германский народ, еще и на свете не родилось. Германские рабочие до сих пор берут избирательную повестку, тащатся с ней в помещение, где происходят выборы, сдают ее и думают, что этим все сделано. Они говорят: мы хотим, чтоб в рейхстаге раздавался наш голос; по-моему, в таком случае им лучше уж прямо организовать певческий кружок.

Товарищи, мы отказываемся брать в руки избирательные листки, мы не принимаем участия в выборах. Мы считаем, что в такой воскресный день экскурсия за город гораздо полезнее. А почему? Потому, что выборщик основывается на законности. Законность же есть грубая сила, физическая сила власть имущих. Эти господа, эти шаманы хотят подбить нас на то, чтобы мы делали хорошую мину при их плохой игре, хотят что-то смазать, хотят помешать нам заметить, в чем состоит их законность. Ну а мы не участвуем в выборах, потому что знаем, что такое эта самая законность и что такое государство, и что мы не можем войти в правительство этого государства ни в какие двери или щели. В лучшем случае, мы можем попасть туда в качестве государственных ослов и прочих вьючных животных. На это наши шаманы и рассчитывают. Они хотят поймать нас на удочку и сделать из нас государственных ослов. У большинства рабочих они этого давным-давно достигли. Мы воспитаны в Германии в духе строгой законности. Но, товарищи, нельзя соединять огонь с водой, это рабочий должен был бы твердо помнить.

Буржуазные партии и социалисты радуются и кричат в один голос: благодать же свыше сходит!⁶⁵ От государства, от закона, от установленного правопорядка. Ну что ж, эта благодать на то и похожа. Для всех, кто живет в госу-

дарстве, предусмотрены в конституции разные свободы. Они там зафиксированы, закреплены. Значит, лежат и — ни с места. А свободу, которая нужна нам, нам никто не даст, и мы должны добыть ее сами. Эта конституция, это государственное устройство хотят довести разумных людей до помешательства, но что вы, товарищи, будете делать со свободами, которые только значатся на бумаге, с бумажными свободами? Ведь если вам нужна какая-нибудь свобода, то моментально появляется перед вами «зеленый» блюститель порядка, и хлоп вас по башке, а если вы подымете крик: Позвольте, что такое, в конституции значит то-то и то-то!, он рявкнет: Молчать! Цыц!, и он совершенно прав; он знать не знает никакой конституции, а знает только свой устав, и ему дана в руки дубинка, а вам приказано держать язык за зубами.

Вскоре не будет никакой возможности проводить забастовки в важнейших отраслях промышленности. Вы получили гильотину примирительных камер и можете теперь свободно разгуливать под ее сенью.

Товарищи, устраиваются все новые и новые перевыборы, и вам говорят, что на сей раз будет лучше, вот ужó, вы только постарайтесь, ведите пропаганду у себя дома, на предприятии, надо еще только пять голосов, еще только десять голосов, двенадцать, а потом, вот увидите, ужó погодите, вы дождетесь такого, что. Как бы не так, дождетесь, держи карман шире! Ведь это ж просто вечный круговорот слепоты, и все остается по-старому. Парламентаризм затягивает тяжелое положение рабочего класса. Говорят еще о кризисе правосудия и о том, что необходимо реформировать судебные учреждения, реформировать основательно, во всех отношениях. Судейский состав, говорят вам, будет обновлен в духе республиканства, лояльности, справедливости. Но мы не желаем никаких новых судей. Взамен существующей юстиции мы желаем, чтоб не было никакой юстиции. Мы низвергаем прямым действием весь государственный строй. Мы обладаем для этого государственными средствами: отказом в рабочей силе. Тогда все колесики государственного механизма останавливаются⁶⁶. Впрочем, эта песня не для того, чтобы ее петь. Мы, товарищи, не дадим морочить себя парламентаризмом, социальным обеспечением и прочими социально-политическими трюками. Мы знаем только непримиримую вражду к существующему государственному строю — анархию и самовластие!»

Франц расхаживает с хитрецом Вилли по залу, слушает, покупает брошюрки, набивает ими карманы. В общем, он не любитель политики, но Вилли усердно обрабатывает его, Франц начинает с любопытством прислушиваться, порою все это так ясно, рукой схватить, то оно его затрагивает, то опять не затрагивает. Но от Вилли он не отстает.

— Существующий общественный правопорядок основан на экономическом, политическом и социальном порабощении трудящихся. Он находит свое выражение в праве собственности, монополии владения, и в государстве, монопо-

лии власти. Не удовлетворение естественных человеческих потребностей, а перспектива получения прибыли является основой современного производства. Каждый успех техники беспредельно повышает богатство имущих классов, нагло противопоставляя его нищете широких общественных слоев. Государство служит защите привилегий имущих классов и подавлению широких масс, действует всеми средствами обмана и насилия, чтобы сохранить эти монополии и классовые противоречия. С возникновением государства начинается эпоха искусственной организации сверху вниз. Личность становится марионеткой, мертвым колесиком в огромном механизме. Пробудитесь! Мы добиваемся не захвата политической власти, как все другие, а ее решительного устранения. Не сотрудничайте с так называемыми законодательными органами, ибо они только стремятся заставить раба приложить печать законности к собственному рабству. Мы отвергаем все произвольно проведенные политические и национальные границы. Религией современного государства является национализм. Мы отвергаем какое бы то ни было национальное единство, за ним скрывается господство имущих классов. Пробудитесь...⁶⁷

Франц Биберкопф старается усвоить то, чем пичкает его Вилли. Как-то после митинга начинается дискуссия, они остаются в зале и жестоко сцепляются с одним пожилым рабочим. Вилли его уже знает, а тот думает, что Вилли работает на одном с ним заводе, и хочет склонить Вилли усиленно заняться агитацией, но этот нахал только смеется. «Послушай, — говорит он рабочему, — с каких же это пор я тебе товарищ? Я ведь не работаю на магнатов промышленности». — «Ну, тогда устрой что-нибудь там, где работаешь». — «Там мне нечего устраивать. Там, где я работаю, все уже давным-давно знают, что им делать». Вилли со смеху чуть не валится под стол. Вот чушь-то! Он щиплет Франца за ногу — давай, мол, бегать с горшочком клейстера по улицам и расклеивать для этих господ плакаты. Он смеется в лицо рабочему, у которого длинные, с проседью, волосы и обнаженная грудь. «Постой-ка, ведь ты же торгуешь газетами Пфаффеншигел⁶⁸, Шварце фане⁶⁹, Атеист⁷⁰. Ну а ты сам-то заглянул в них хоть разок, знаешь, что в них пишут?» — «Послушай, товарищ, ты бы мог тоже поменьше горло драть. Хочешь, я тебе покажу, что я сам писал?» — «Оставь, не надо. Значит, к тебе приходится относиться с особым почтением. Но, может быть, ты как-нибудь прочтешь то, что написал, и будешь этого и придерживаться? Вот, например, тут под заголовком Культура и техника пишут:⁷¹ “В Египте рабы десятки лет строили без машин гробницу фараона, а европейские рабочие, пользуясь машинами, десятки лет корпят над созданием частного капитала. Это прогресс? Пожалуй. Но для кого?” Ну, ладно. Потвоему, надо, значит, и мне запрячься в работу, чтобы Крупп в Эссене или Борзиг⁷² или какой-нибудь другой промышленный король имели в месяц еще на тысячу марок больше? Вообще, если поглядеть на тебя, то невольно задума-

ешься, что ты за птица. Это ты так-то хочешь быть сторонником прямого действия. В чем же оно у тебя проявляется? Не вижу. Может быть, ты видишь, Франц?» — «Брось, Вилли». — «Нет, ты мне скажи, в чем ты видишь разницу между вот этим товарищем и любым товарищем из СПГ⁷³»?

Рабочий плотнее усаживается на стуле. Вилли: «На мой взгляд, тут нет никакой разницы, товарищ, вот что я тебе скажу. Разница только на бумаге, в газете. Ладно, прекрасно, пускай у вас будет то, о чем вы мечтаете. Но что вы тогда сделаете, я тебя спрашиваю? Ага! А если ты меня спросишь, что ты делаешь, то я скажу прямо: да то же самое, что и всякий член СПГ. Точь-в-точь, в аккурат то же самое — точно так же стоишь у станка, носишь домой какие-то гроши, а твоё акционерное общество распределяет дивиденды от твоей работы. Словом, европейские рабочие, пользуясь машинами, десятки лет корпят над созданием частного капитала. Может быть, это ты сам и писал?»

Седой рабочий поглядывает то на Франца, то на Вилли, то оборачивается, к стойке, где стоят еще несколько человек, подсаживается ближе к столику и шепотом спрашивает: «А вы что делаете?» Вилли, сверкнув глазами, обращается к Францу: «Скажи ты». Франц сначала не хочет. Он заявляет, что его не интересуют политические разговоры. Но седой анархист не отстает: «Это не политический разговор. Мы только говорим о себе. Ну, какая же у тебя работа?»

Франц выпрямляется на стуле, берет за кружку пива и твердо смотрит анархисту в глаза. Есть жнец, Смертью зовется он, и должен я плакать и стенать на горах и сетовать при стадах в пустыне, ибо они так опустошены, что никто там не блуждает, и все птицы небесные и скот, все погибло⁷⁴. «Какая у меня работа, это я могу тебе сказать, коллега, потому что я тебе не товарищ. Я хожу себе, делаю то, другое, но не работаю, пускай другие за меня работают». Что это он мелет, смеются они, что ли? «Значит, ты сам предприниматель, у тебя есть служащие, сколько человек? И что тебе нужно у нас, раз ты капиталист?» И превращу Иерусалим в груды камней и жилище шакалов, и опустошу города Иудеи, чтоб никто в них не жил⁷⁵.

«Да ты, брат, не видишь, что ли, у меня одна рука. Другую у меня отняли. Вот чем я заплатил за то, что работал. Поэтому я и не хочу больше ничего слышать о честном труде. Понял?» Понимаешь, понимаешь, глаза у тебя есть, чтобы видеть, или надо купить тебе очки? Ну, чего уставился? «Нет, коллега, я все еще никак не возьму в толк, какая у тебя работа. И если это не честный труд, то он — бесчестный».

И тут Франц хлоп по столу, показывает пальцем на анархиста, насадет на него: «Ага, понял-таки. Так оно и есть. Бесчестный труд! Твой честный труд — это ж рабство, ты сам сказал, да так оно и есть на самом деле. Ну а я это принял к сведению». Принял к сведению и без тебя, для этого ты мне совершенно не нужен, ты, душа всмятку, газетный писака, пустомеля.

У анархиста тонкие белые руки, он — мастер точной механики, он разглядывает кончики пальцев и думает: Хорошо бы разоблачить такого негодяя, только компрометирует порядочного человека, надо будет позвать еще кого-нибудь послушать, что тут говорят. Он встает, но Вилли удерживает его. «Куда, коллега? Разве мы уже кончили? Договорись же сперва до чего-либо с этим коллегой, или ты уже сдался?» — «Я хотел только позвать еще кого-нибудь, пускай послушает. А то вас двое на одного». — «С какой стати звать, может, мы вовсе не хотим? Нет, ты сам скажи, что ты ответишь вот этому коллеге Францу?» Анархист снова садится, ладно, обтяпаем дело сами: «Итак, он не товарищ, но и не коллега. Потому что он не работает. А отмечаться, как безработный, он, по-видимому, тоже не ходит».

Лицо Франца становится жестким, глаза его глядят яростно: «Не хожу!» — «Стало быть, он мне не товарищ, и не коллега, и не безработный. В таком случае я спрашиваю только одно, а все остальное меня не касается: что ему тут надо?» Лицо Франца выражает крайнюю решимость: «Вот этого я только и ждал, чтоб ты спросил: что ему тут надо? Ты торгуешь здесь листовками, газетами и брошюрами, а когда тебя спрашивают, как обстоит в действительности дело с тем, что в них пишут, ты кричишь: “Какое право ты имеешь спрашивать? Что тебе тут надо?” Разве ты не сам писал и говорил о проклятом рабстве трудящихся и о том, что мы — отверженные и не можем шевельнуться?» Вставай, проклятем заклеянный, весь мир голодных и рабов⁷⁶. «Вот как? Ну, а дальше ты, значит, уж и не слушал, что я говорил об отказе от работы? Ведь для этого требуется, чтоб сначала человек работал». — «А я сразу отказываюсь от нее». — «Это ни к чему не ведет. В таком случае, ты просто можешь лечь в постель. Я говорил о забастовке, о массовой забастовке, о всеобщей забастовке».

Франц подымает руку, смеется, злится. «Значит, ты называешь прямым действием ходить, бродить, расклеивать воззвания, произносить речи — словом, все то, что ты делаешь? А сам тем временем укрепляешь мощь капиталистов? Эх ты, товарищ, эх ты, скотина, обтачиваешь гранаты, которыми тебя же потом и убьют, а хочешь мне очки втереть? Что ты на это скажешь, Вилли? Я прямо обалдел!» — «Я тебя еще раз спрашиваю, какая у тебя работа?» — «А я тебе еще раз повторяю: никакой у меня нет работы. Ни черта! Как же, так бы я и стал вам работать! Я же не должен работать. По вашей собственной теории. Так, по крайней мере, я не укрепляю мощь капитала. А на всю эту дребедень, на твои забастовки и на грядущие поколения мне вообще наплевать. Каждый сам себе голова. Я сам добываю все, что мне нужно. Я — самоснабженец! Понял теперь?»

Рабочий пьет лимонад, кивает головой: «Ну что ж, тогда попробуй один». Франц неудержимо хохочет. Рабочий продолжает: «Я говорил тебе это уже тридцать раз: один ты ничего не можешь сделать. Нам нужна боевая организация. Мы должны воспитать в массах сознание насильственности государ-

ственной власти и экономической монополии». Франц так и заливается, хохочет. Никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой⁷⁷.

Они молча сидят друг против друга. Старый рабочий в зеленом воротничке уставился на Франца, тот в упор глядит ему в глаза, чего глазеешь? Не можешь раскусить меня, а? Рабочий раскрывает рот: «Вот что я тебе скажу: тебя, товарищ, видно, уж никакими словами не прошибешь. Уж больно ты упрям. Ну что ж, разобьешь себе голову, только и всего. Ты, видно, не знаешь самого главного в пролетариате: солидарности. Нет, не знаешь». — «Послушай, colega, мы сейчас возьмем шляпы и пойдем. Как ты думаешь, Вилли? Хватит, пожалуй? Ты все равно затвердил все одно и то же». — «Конечно, и буду твердить. А вы можете пойти куда-нибудь в подвал и там закопаться, но на митинги вам ходить не следует». — «Ах, простите, пожалуйста, господин учитель. У нас как раз было полчаса свободного времени. Так что спасибо. Хозяин, получите с нас. Вот смотри, я плачу: три бокала пива, две рюмки водки, всего одна марка десять, вот я плачу — прямое действие».

«Ну кто же ты такой, в конце концов?» — не отстает рабочий. Франц забирет сдачу. «Я? Сутенер! Разве не видать сразу?» — «М-да, как будто тебе недалеко до такого». — «То-то! Су-те-нер! Понимаешь? Я тебе говорю, или нет? Ну то-то же! А теперь и ты, Вилли, скажи, кто ты такой». — «Это его не касается». Черт возьми, да это ж действительно жулики, — думает тот. — Очень даже просто. На жуликов и смахивают. Сволочи! Просто, вероятно, зубы мне заговаривали, подкатывались ко мне. «Вы — накипь капиталистического болота. Проваливайте, проваливайте. Вы даже не пролетарии. Таких людей называют босяками». — «Но мы не ходим в ночлежку, — говорит Франц, вставая. — Будьте здоровы, господин Прямое действие. Постарайтесь хорошенько откормить капиталистов. Являться на костоломку к семи часам утра и откладывать пять грошенов⁷⁸ в кубышку для своей старухи». — «Проваливайте. Да смотрите, не показывайтесь здесь еще раз». — «Нет, нет, прямое ты губошлепное действие, мы не якшаемся с холопами капиталистов».

И преспокойно — в дверь. По пыльной улице они идут под руку. Вилли глубоко переводит дух: «Здорово ты его раздела, Франц!» — говорит он. И удивляется, что Франц так молчалив. А Франц разъярен, странно, Франц вышел из зала, полный ненависти и озлобления, в нем что-то бродит, и он сам не знает — почему.

Они встречаются с Мици в Мокка-фикс на Мюнштрассе⁷⁹, там — столпотворение. Франц должен отправиться с Мици домой, должен посидеть, поговорить с ней. Он рассказывает ей, о чем у них был разговор с седьмым рабочим. Мици очень ласкова с Францем, но ему только хочется знать, правильно ли он говорил. Она улыбается, не понимает, гладит его руку, канарейка проснулась, Франц вздыхает, и Мици никак не может его успокоить.

*Дамский заговор,
слово предоставляется нашим милым дамам,
сердце Европы не стареет*

А политика-то у Франца не прекращается. (Почему? Что тебя мучает? Против чего ты защищаешься?) Он видит во всем этом, да, во всем этом нечто такое, отчего ему хочется бить кого-то по физиономии, его постоянно раздражают, он читает «Роте фане»⁸⁰ и «Арбайтслюзен»⁸¹. У Герберта и Евы он часто появляется вместе с Вилли. Но Вилли им не нравится. Францу он тоже не слишком уж симпатичен, но с ним можно потолковать, а в политике он гораздо сильнее их всех вместе. Когда Ева умоляет Франца оставить этого субъекта, который только тянет из него деньги и не представляет собой ничего иного, как самого обыкновенного карманщика, Франц вполне соглашается, что ему, Францу, действительно нет никакого дела до политики и что он никогда за всю свою жизнь не интересовался ею. Но сегодня он обещает больше не водить знакомства с Вилли, а завтра, глядишь, снова разгуливает с этим мальчишкой или берет его с собой кататься на лодке.

«Не будь это Франц, — говорит Герберту Ева, — и не случись такого несчастья с его рукой, я бы уж знала, как его проучить». — «Ну?» — «Спорим, он бы и двух недель не проходил у меня с этим мальчишкой, который с него только тянет деньги. Кто же с такими ходит? Во-первых, будь я на Мицином месте, я бы сумела устроить так, чтоб он засыпался». — «Кто? Вилли?» — «Вилли, или Франц, все равно. Но я бы им уж показала. Как попадет он за решетку, так увидит, кто был прав». — «А ты здорово зла на Франца, Ева». — «Да как же? Для того ли я свела его с Мици, а она теперь мучается с ними с обоими, чтобы Франц выкидывал свои штучки? Нет, брат, немножко слушаться меня Франц тоже должен. Уж и так у него только одна рука. Чем это все кончится? А он себе знай возится с политикой и вконец изводит девочку». — «Да, она очень недовольна. Вчера она мне сама жаловалась. Сидит, сидит, ждет, ждет, а он не является. Что она, в конце концов, имеет от жизни?» Ева целует его. «Вот-вот, и я так думаю. Попробовал бы ты у меня не являться вовремя и делать такие глупости, бегать по митингам! А, Герберт?» — «Ну что тогда было бы?»

«Во-первых, я бы выцарапала тебе глаза, а затем ты мог бы поцеловать меня в зад». — «С большим удовольствием, кисонька». Она дает ему шлепка по губам, смеется, встряхивает Герберта. «Я тебе говорю, не позволю так портить девчонку, Соню эту, мне ее слишком жаль. А сам-то Франц разве еще не довольно пострадал? Да и дело-то ему и пяти пфеннигов не дает». — «А ты вот добейся-ка чего-нибудь от нашего Францекена! Сколько времени я этого парня знаю, всегда он был хорошим и милым, но втолковать ему что-нибудь — все равно что горохом об стену, он даже и не слушает». Ева вспоминает, как она

ухаживала за ним, когда появилась Ида, как предостерегала его, чего-чего не вытерпела от этого человека, ведь она и теперь несчастлива.

«Одно мне только неясно, — говорит она, стоя посреди комнаты. — Вот у него была эта история с Пумсом, это ж преступники, а он палец о палец не ударит. Сейчас-то ему живется неплохо, но, как-никак, рука есть рука». — «Я тоже так думаю». — «А он даже и говорить об этом не желает, факт. Послушай, что я тебе скажу, Герберт. Мици, конечно, знает, что у него случилось с рукой. Но где это было и кто виноват — она тоже понятия не имеет. Я ее уж спрашивала. Говорит, что не знает, да и не хотела бы этого касаться. Уж слишком она у нас мягкая, эта Мици. Ну, теперь-то она, пожалуй, и задумывается насчет этого, когда сидит себе одна и ждет. Верно, думает, где-то теперь Франц и как бы он не засыпался. Она уж немало слез пролила, конечно — не при нем. Этот человек сам лезет в беду. Заботился бы лучше о своих делах. Мици должна натравить его на пумсовскую компанию». — «Ого!» — «Это будет гораздо лучше. Я тебе говорю. Франц должен это сделать. И если он пустит в дело нож или револьвер, разве он не будет вполне прав?» — «Что до меня — сделайте одолжение. Я ведь и сам довольно много возился с этим делом. Но Пумсовы ребята умеют держать язык за зубами. Никто ничего не знает — только и всего!» — «Ничего, найдутся и такие, которые кое-что знают». — «Чего ж ты хочешь?» — «Чтоб Франц вот этим занялся, а не своим Вилли да анархистами да коммунистами и так далее, которые не приносят ему никакой выгоды». — «Ну, смотри, не обожгись на этой штуке, Ева!»

Евин друг и покровитель уехал в Брюссель, так что она может пригласить к себе Мици и показать ей, как все благоустроено у богатых людей. Мици этого еще совершенно не знает. Этот друг и покровитель настолько без ума от Евы, что устроил для нее маленькую детскую комнату, в которой живут сейчас две обезьянки³². «Ты, наверно, думаешь, Соня, что это специально для обезьянок? Как бы не так. Я их посадила сюда только потому, что это такая хорошенькая комнатка, не правда ли, а обезьянками очень увлекается Герберт, они доставляют ему всегда такое удовольствие, когда он сюда приходит». — «Что, ты приводишь его сюда?» — «Ну так что ж. Мой старик знаком с ним, безумно ревнует меня к нему, но это как раз и интересно. Знаешь, если б он не ревновал, он давным-давно выставил бы меня вон. Можешь себе представить — он хочет иметь от меня ребенка, потому и отделал эту комнатку». Они смеются, комнатка уютная, пестро размалеванная, разукрашенная ленточками, с низкой детской кроваткой. По прутьям кроватки лазают вверх и вниз обезьянки; Ева берет одну и затуманенным взором глядит куда-то вдаль: «Я бы не прочь иметь ребенка, но только не от него. Нет, не от него». — «Ну а Герберт не хочет?» — «Нет, мне хотелось бы иметь ребенка от Герберта. Или от Франца. Ты не сердишься на меня, Соня?»

Но Соня делает совсем не то, что ожидает Ева. Соня взвизгивает, лицо у нее какое-то растерянное, она stalkивает обезьянку прочь и страстно, горячо, в упоении, в экстазе обнимает Еву, которая ничего не понимает и только отворачивает лицо, потому что Соня осыпает его поцелуями. «Ах, Ева, Ева, дай мне еще раз тебя поцеловать. Я и не думаю сердиться, я так рада, что ты его любишь. Скажи, как ты его любишь? Тебе хочется иметь от него ребенка. Ну так скажи же ему это!» Наконец Еве удается отстранить ее от себя. «Да что ты, с ума сошла? Скажи на милость, Соня, что с тобой случилось? Скажи мне по правде: ты хочешь сплавить его мне?» — «Нет, зачем же, я хотела бы оставить его себе. Ведь это же мой Франц. Но ты — моя Ева!» — «Что я такое?» — «Моя Ева, моя Ева!»

И Ева не в силах сопротивляться. Соня целует ее в губы, в нос, уши, затылок; Ева не пошевеливается, но когда Соня прячет голову у нее на груди, она обеими руками отстраняет Сонину голову: «Соня, да ты, кажется, лесбиянка?» — «Вовсе нет, — лепечет та, высвобождая голову из рук Евы и прижимаясь лицом к ее щеке, — я просто тебя очень люблю, сама даже и не знала. А вот сейчас, когда ты сказала, что хочешь иметь от него ребенка». — «Ну и что же? Ты обозлилась, а?» — «Да нет же, Ева. Я и сама не знаю, — шепчет Соня, лицо ее пылает, она глядит на Еву снизу вверх. — Значит, тебе правда хотелось бы иметь от него ребеночка?» — «Да что с тобой?» — «Скажи: да, хотелось бы?» — «Ах, я же только так сказала». — «Нет, хочешь, хочешь, а теперь отпираешься, хочешь, хочешь». И Соня снова прячет голову у Евы на груди, прижимается к Еве и блаженно жужжит: «Ах, как это чудесно, что ты хочешь от него ребеночка, ах, как это чудесно, я так счастлива, ах, я так счастлива».

Тогда Ева ведет Соню в соседнюю комнату и укладывает ее на шезлонг: «Кажется, ты все-таки лесбиянка, моя милая». — «Нет, я не лесбиянка, и еще никогда ни к одной женщине не прикасалась». — «Но меня-то тебе хочется ласкать?» — «Да, потому что я тебя так люблю и потому что ты хочешь иметь от него ребеночка. И ты должна иметь». — «Ты с ума спятила, детка». Но та в крайнем возбуждении удерживает руки Евы, собирающейся как раз встать: «Ах, не говори ж нет, ты же хочешь иметь от него ребенка, и ты должна обещать мне это. Обещай мне, что у тебя будет от него ребенок». Ева с трудом отрывается от Сони, которая лежит, обессиленная, с закрытыми глазами, и чмокает губами.

Затем Соня подымается и садится с Евой за стол, горничная подает им завтрак и вино. Соне она приносит кофе и папиросы, Соня все еще о чем-то блаженно мечтает. Она, как всегда, в белом простеньком платьице; Ева — в черном шелковом кимоно. «Ну, Соня, детка, можно говорить теперь с тобой серьезно?» — «Это со мной всегда можно». — «Скажи, как тебе нравится у меня?» — «Очень». — «То-то! А Франца ты ведь любишь?» — «Да». — «Я хочу сказать, что если ты любишь Франца, то приглаждай за ним немножко. Он бол-

тается, где не следует, и все с этим мальчишкой, с Вилли». — «Да, Вилли ему нравится». — «А тебе?» — «Мне? Мне он тоже нравится. Раз он нравится Францу, то он и мне нравится». — «Вот ты какая, детка, в том-то и дело, что у тебя нет глаз, ты еще слишком молода. Это не компания для Франца, я тебе говорю, и Герберт говорит то же самое. Вилли — негодный мальчишка. Он еще толкнет Франца на что-нибудь. Неужели Францу мало, что он потерял руку?»

Соня мгновенно бледнеет, папироса опускается в уголок рта. Соня вынимает ее, кладет в пепельницу и тихо спрашивает: «Что случилось? Ради Бога!» — «Почем знать, что может случиться. Ведь я же не бегаю следом за Францем, и ты тоже нет. Знаю, что у тебя и времени не хватит. Но пусть-ка он тебе расскажет, куда он ходит. Что он тебе говорит?» — «Ах, все только про политику, я в ней ничего не смыслю». — «Вот видишь, он занимается политикой, со всякими там коммунистами, анархистами и прочими, у которых даже цельных штанов нет. И с такой публикой водит компанию наш Франц! И это тебе нравится, и ради этого ты работаешь?» — «Не могу же я Францу сказать: ходи туда или ходи туда! Не могу я этого, Ева, не имею права». — «Не будь ты такая маленькая и молоденькая, следовало бы закатить тебе хорошую плюху! Как это так вдруг ты ничего не можешь ему сказать? Что ж, ты хочешь, чтоб он еще раз попал под автомобиль?» — «Он не попадет под автомобиль, Ева. Я слежу за этим». Странно, у маленькой Сони глаза полны слез, она подтирает голову, Ева глядит на девчонку и никак не разберется в ней; неужели она так его любит? — «На, выпей красного вина, Соня, мой старик всегда пьет красное, ну, давай!»

Она почти насильно вливает Соне в рот полстакана вина, у той скатывается по щеке слезинка, и лицо остается печальным. «Ну-ка, еще глоток, Соня!» Ева отставляет стакан, гладит Соню по щеке и думает, что та вот-вот опять разгорится. Но та только тупо глядит прямо перед собой, встает, подходит к окну и смотрит на улицу. Ева становится рядом с Соней, эту девчонку ни одна собака не поймет. «Ты это не принимай так близко к сердцу, Соня, что я говорила тебе о Франце, я ведь совсем не то хотела сказать. Ты только не должна так много отпускать его с этим дурашливым Вилли, Франц такой добряк, и потом, знаешь, пусть бы он уж лучше занялся Пумсом и тем, кто ему отдал руку, и постарался бы добиться чего-нибудь». — «Я присмотрю за ним», — шепчет маленькая Соня и, не подымая головы, обнимает Еву за талию. Так они стоят минут пять. Ева думает: Этой я уступаю Франца, но больше — никому, никому!

Потом они носятся по комнатам, возятся с обезьянками, Ева показывает Соне все, та восхищается платьями, мебелью, кроватями, коврами. Вы не мечтаете о той чудной минуте, когда вас коронуют королевой Пиксафона⁸³. Курить здесь разрешается? Конечно. Я удивляюсь, как это вы ухитряетесь вот уже сколько лет выбрасывать на рынок такие прекрасные папиросы по такой низкой цене⁸⁴. К собственному своему удовольствию я должен вам признать-

ся, что. Ах, как чудно пахнет! Чудесный запах белой розы, скромный, как этого требует культурная германская женщина, и все же достаточно сильный, чтобы проявить все свое богатство⁸⁵. Ах, жизнь американской кинодивы в действительности значительно отличается от той, которую рисуют созданные вокруг нее легенды;⁸⁶ подают кофе, Соня поет балладу:

В темных дебрях Абрудпанты с шайкой смелых удальцов атаман Гвидон скрывался, благороден, но суров. Он в лесу однажды встретил воеводу дочь-красу. Мильй, я твоя навеки скоро пронеслось в лесу.

Но за ней спешит погоня, вмиг нашли беглянки след, страшно было пробужденье, и для них спасенья нет. Ей — отцовское проклятье, и петля грозит ему. О, отец мой, пожалейте, вместе с ним я смерть приму.

Но Гвидон уже в темнице и оттуда не уйти, Изабелла тщетно мыслит, как любимого спасти. Ей судьба пришла на помощь, и Гвидон освобожден, он от виселицы скрылся, на свободе снова он.

К замку он спешит обратно, жаждет встречи, вновь горя. Поздно, поздно! Изабелла уж стоит у алтаря и готова дать согласие на союз, что ей не мил. В этот миг «Остановитесь!» кто-то грозно возгласил.

И без чувств она упала недвижима и бледна, поцелуи не пробудят Изабеллу, спит она. И Гвидон со взором смелым воеводе говорит: Это ты разбил ей сердце, угасил огонь ланит.

И когда на ложе смерти он ее увидел вновь и к лицу ее склонился, вмиг забились в жилах кровь. Быстро он ее уносит, он бежит от злых людей, он один ее защита, снова жизнь вернется к ней.

Но они должны спастись, им нигде покоя нет, против них закон свирепый, и они дают обет: Вновь скрываться мы не станем. Кубок яда осушив, мы на высший суд предстанем, Богу души посвятив⁸⁷.

Соня и Ева знают, что это — самая обыкновенная песня, которую поют на ярмарках под шарманку, как пояснительный текст к соответствующим лубочным картинкам; но они обе невольно плачут, когда эта песня кончается, и не сразу в состоянии опять взяться за папироски.

*С политикой покончено,
но это вечное бездельничание
гораздо опаснее*

А наш Францекен Биберкопф недолго продолжает еще валять дурака с политикой. У этой удалой головушки, у Вилли, денег не водится, правда, он большая умница, но по карманной части еще новичок и потому широко использует Франца. Когда-то Вилли воспитывался в детском доме, и еще в те времена ему кто-то наговорил, что коммунизм — ерунда, а что умный человек

верит только в Штирнера и Ницше⁸⁸ и делает, что ему нравится; все же остальное — чужь. И вот теперь этому шустрому зубоскалу и насмешнику доставляет громадное удовольствие ходить по политическим собраниям и устраивать с места оппозицию. А из числа посетителей собрания он выискивает себе людей, с которыми хочет обтяпать дельце или над которыми просто издевается.

Итак, Францу уже недолго болтаться с этим мальчишкой. Потом — крышка, с политикой будет покончено, и даже без содействия Мици и Евы.

Как-то, поздно вечером, Франц сидит за столиком с немолодым уже столяром, с которым познакомился на митинге; Вилли стоит у стойки и обрабатывает какого-то посетителя. Франц облокотился на стол, подперев голову рукой, и слушает, что говорит столяр, а тот говорит: «Знаешь, коллега, я пошел на митинг только потому, что у меня жена больна, и я ей по вечерам мешаю, ей нужен покой, и в восемь часов, минута в минуту, она принимает сонный порошок и пьет чай и заставляет меня гасить свет, что ж мне тогда дома делать? Таким-то манером можно и пьяницей стать, если у кого жена больна».

«Положи ее в больницу. Дома — это, знаешь, не то».

«Лежала она у меня и в больнице, да пришлось взять ее оттуда. Пища ей, значит, не нравилась, а кроме того и лучше ей тоже не стало».

«Что ж она очень больна, твоя жена?»

«Матка приросла к прямой кишке, или что-то в этом роде. Ей уж и операцию делали, да ничего не помогает. Живот резали. Теперь доктор говорит, что это все от нервов и что у нее больше ничего нет. А у нее — боли, и она целый день воет».

«Скажи пожалуйста!»

«Доктор-то этот, пожалуй, скоро объявит ее совсем здоровой. С него станется. Уж два раза назначали ей явиться к врачу при больничной кассе, да она, знаешь, не может. А этот, вот увидишь, напишет, что она здорова. Когда у человека большие нервы, то он, значит, здоров».

Франц слушает, слушает, ведь он и сам был болен, ему отдавили колесом руку, и он лежал в клинике в Магдебурге. Но теперь это ему не нужно, это совсем иной мир. «Еще бокал пива?» — «Да, дайте». Столяр глядит на Франца: «Ты в партии, коллега?»

«Нет. Прежде был, а теперь — нет. Не стóит».

К их столику подсаживается хозяин пивной, здоровается со столяром, спрашивается о детях, а затем говорит ему вполголоса: «Не собираешься же ты, Эде, опять стать политическим?»

«Как раз об этом мы и говорили. И не думаю!» — «Вот это хорошо с твоей стороны. Я говорю, Эде, и мой сын говорит то же самое, что и я: с политикой мы не заработаем ни полгрошена, от нее разбогатеет не мы, а только другие».

Столяр глядит на него, прищурился глазами. «Вот как. Стало быть, твой маленький Август то же самое говорит?»

«Парень он у меня хороший, я тебе скажу, его на мякине не проведешь, шалишь, брат. Мы хотим зарабатывать деньги, — и ничего, дела идут себе помаленьку. Только не надо скулить».

«Ну, за твоё здоровье, Фриц, желаю тебе всего»

«Мне, брат, дела нет до марксизма⁸⁹. И плевать я хотел на весь этот марксизм, и на Ленина плевать и на Сталина и на всю их братию. А вот отпустят ли мне товар в кредит, дадут ли денег, на какой срок и сколько — вот на чем, понимаешь, мир держится».

«Что ж, ты кой-чего уже достиг». Затем Франц и столяр сидят молча. Хозяин что-то еще говорит, и вдруг столяра прорывает: «Я в марксизме ничего не смыслю, но имей в виду, Фриц, что дело обстоит вовсе не так уж просто, как ты рисуешь себе в своей башке. На что мне марксизм или, например, Вилли со своим Штирнером. Они-то ведь могут быть неправы. То, что мне нужно, я могу в любой момент перечислить по пальцам. Ведь я же пойму, что это значит, когда мне кто-нибудь накустыляет шею. Или, например, сегодня я на работе, а завтра мне дают расчет, потому якобы, что нет работы, но мастер-то остается и заведующий, конечно, тоже, а выкидывают на улицу только меня — ходи, отмечайся. А если у меня дома трое девчонок, которые учатся в приходской школе, и у старшей кривые ноги от английской болезни⁹⁰, и я не могу отправить ее на курорт, ну да, авось, она когда-нибудь попадет через школу. Пожалуй, моя жена могла бы похлопотать в попечительстве или еще где, но ведь у нее и без того много дел, а сейчас она к тому же больна, она у меня вообще молодец, на все руки, и еще копчушками торгует, а ребята учатся столько же, сколько и мы, можешь себе представить. То-то и оно. Я ведь тоже очень хорошо это понимаю, когда другие учат своих детей иностранным языкам, а летом везут их на курорты, но у нас нет грошей даже на то, чтобы съездить с детьми за город в Тегель. Богатым детям вообще не так-то легко нажить себе кривые ноги. Ну а если, например, у меня ревматизм, и мне нужно к врачу, то нас сидит тридцать человек в приемной, а потом врач меня спрашивает: Ревматизм у вас, вероятно, и раньше был? Сколько лет вы уже работаете? Бумаги у вас все в порядке? Сразу-то он мне и не подумает поверить, а потом идешь к доверенному врачу, и если мне понадобится, чтоб меня послали куда-нибудь в санаторий за счет страхкассы, в которую всегда делают вычеты из заработка, то, я тебе скажу, человек должен быть уж совсем развалиной, чтоб его послали. Эх, Фриц, все это я прекрасно понимаю и без очков. Надо быть верблюдом из Зоологического сада, чтоб этого не понимать, это всякому нынче ясно. Карл Маркс-то для этого нынче не нужен. Но, Фриц, но — что верно, то верно!»

И столяр подымает седую голову и широко раскрытыми глазами глядит на хозяина. Затем он снова сует трубку в рот, попьхивает и ждет, что ему ответят. Хозяин выглядит недовольным, выгягивает губы, бурчит: «Это ты, брат, совершенно прав. У моей младшей тоже кривые ноги, и у меня тоже нет де-

нег для дачи. Но, в конце концов, на земле всегда были богатые и бедные, и мы с тобой этого тоже не изменим».

«Так-то оно так, — говорит столяр, равнодушно попыхивая трубкой. — Но: пускай будет беден тот, кому охота. Пускай будут бедны другие. А мне что-то не хочется. Надоело, понимаешь».

Они говорят совсем спокойно, медленно глотая пиво. Франц слушает, слушает. От стойки подходит Вилли. И Франц встает, берет за шляпу, уходит: «Нет, Вилли, я хочу сегодня пораньше лечь. Сам знаешь, после вчерашнего».

Франц шагает один по душной, пыльной улице. Румм ди бум ди думмель ди дей. Румм ди бум ди думмель ди дей. Погоди-ка, друг, до лета, скоро смерть возьмет тебя, и изрубит на котлеты острой сечкою тебя, погоди, мой друг, до лета, скоро смерть возьмет тебя⁹¹. Черт возьми, куда я иду. Черт возьми, куда я иду. Он останавливается и не может перейти улицу, тогда он поворачивает и шагает назад по душной улице, мимо пивной, где все еще сидят те, где пьет пиво столяр. Нет, в эту пивную Франц больше не пойдет. Столяр сказал правду. Так оно и есть. На что вся эта политика, на что вся эта дрянь? Все равно она не поможет. Все равно ему, Францу, она не поможет!

И Франц снова шагает по душным, пыльным, беспокойным улицам. Август. На Розенталерплац толпа становится гуще, вот стоит человек, продает Берлинер арбайтер цайтунг⁹², марксистский тайный трибунал, чешский еврей — расклеватель малолетних⁹³, развратил двадцать мальчиков и все-таки не арестован. Это мы знаем, сами торговали. Ну и жара сегодня! Франц останавливается, покупает у инвалида газету с зеленым фашистским крестом в заголовке. Э, да это одноглазый инвалид из «Нового мира»⁹⁴. Пей, братец мой, пей, дома заботы оставь, горе забудь и тоску ты рассей — станет вся жизнь веселей⁹⁵.

И он идет дальше по площади, на Эльзассерштрассе, шнурки для ботинок, Людерс, горе забудь и тоску ты рассей — будет вся жизнь веселей. Давно это было, в декабре прошлого года, ух как давно, а вот тут я стоял возле Фабиша и торговал какой-то дребеденью, что это было, держатели для галстуков, что ли, а Лина, да, Лина, полька, толстуха, приходила сюда за мною.

И Франц шагает, сам не зная, чего хочет, обратно на Розенталерплац и застывает у остановки трамвая, около магазина Фабиша, против ресторана Ашингера. Стоит и ждет. Да, вот он что задумал. Он стоит и ждет, и все помыслы его, как магнитная стрелка, обращены — к северу. К Тегелю, к тюрьме, к тюремной ограде! Вон он куда стремится. Вон куда его влечет.

И вот подходит трамвай 41, останавливается, и Франц садится в вагон. Он чувствует: это — правильно. Сигнал, и он едет, и трамвай везет его в Тегель. Он платит 20 пфеннигов, получает билет, и едет в Тегель, все идет как по маслу, вот это дело. Он чувствует себя прекрасно. Да, да, он едет туда. Брунненштрассе, Уферштрассе, Аллеи, Рейникендорф, совершенно верно, все это

существует, стоит на своем месте, и он едет туда. Это — правильно! И в то время как он сидит, все это становится реальнее, строже, грандиознее. И так глубоко испытываемое им удовлетворение, так сильно, так всепокоряюще его благотворное действие, что Франц закрывает глаза и погружается в крепкий сон.

Трамвай миновал в темноте ратушу. Вот Берлинерштрассе, Рейникендорф-Вест и — Тегель, конечный пункт. Кондуктор будит его, помогает ему подняться: «Вагон дальше не пойдет. Вам куда надо-то?» — «В Тегель». — «Ну, тогда приехали». Франц, покачиваясь, выходит из вагона. Ишь, налился, вот как у нас инвалиды свою пенсию пропивают.

А Франца обуяла такая сонливость, что на площади, по которой он проходит, он валится на первую попавшуюся скамейку, за фонарем. Его расталкивает патруль шупо, около трех часов ночи, к нему не придираются, человек, видно, порядочный, не бродяга, просто хватил лишнего, но ведь его же могут тут обобрать. «Нельзя здесь спать, послушайте, где вы живете?»

Франц несколько приходит в себя. Зевает. Поскорей бы баиньки. Да, это Тегель. А что это я здесь хотел, для чего-то ведь я сюда приехал, мысли его путаются, надо скорей в постельку, больше ничего. И грустно глядит он в одну точку: да, это Тегель, тут я когда-то сидел, ну а что дальше? Автомобиль. Да что же это такое было, из-за чего я приехал в Тегель. Послушайте, вы, шофер, разбудите меня, если я засну.

И снова приходит всеильный сон, широко открывает ему глаза, и Франц узнает все.

И вот уж и горы, и старик встает и говорит сыну: пойдём. Пойдём, говорит старик сыну и идет, и сын идет с ним, идет следом за ним в горы, вверх, вниз горы, доли. Далеко ли еще, отец? Не знаю, мы идем в гору, под гору, в горы, иди за мною. Ты устал, дитя мое, ты не хочешь идти со мной. Ах, я не устал; если ты хочешь, чтоб я шел с тобой, я пойду. Да, пойдём. В гору, под гору, доли, долог путь, полдень, мы пришли. Оглянись, сын мой, вон стоит жертвенник. Мне страшно, отец. Почему страшно тебе, дитя мое? Ты рано меня разбудил, мы вышли и забыли агнца для заклания. Да, мы его забыли. В гору, под гору, по дальним долам, это мы забыли, агнца с собой не привели, вот жертвенник, мне страшно. Я должен скинуть плащ, тебе страшно, сын мой? Да, страшно мне, отец. Мне тоже страшно, сын, подойди ближе, не бойся, мы должны это сделать. Что должны мы сделать? В гору, под гору, дальние доли, я так рано встал. Не бойся, сын мой, сделай это охотно, подойди ближе ко мне, я плащ уже скинул, рукава уже не могу окровавить. Но мне все же страшно, потому что в руке у тебя нож. Да, у меня нож, я ведь должен тебя заколоть, должен предать тебя всеожжению, Господь так повелел, сделай это охотно, сын мой.

Нет, не могу я это сделать, я закричу, не трогай меня, не хочу я быть заколотым. Вот ты теперь пал на колени, не кричи же так, сын мой. Да, буду кри-

чать. Не кричи; если ты не хочешь, я не могу это сделать, но захоти. В гору, под гору, почему уж не вернуться домой. Что тебе делать дома, Господь — это больше, чем быть дома. Не могу я, нет, могу, нет, не могу. Подойди ближе, видишь, у меня уже нож в руке, взгляни, он очень остер, он вонзится тебе в шею. Перережет мне горло? Да. И хлынет кровь? Да. Так повелел Господь. Хочешь это исполнить? Я еще не могу, отец. Подойди же скорее, я не могу тебя убить; если я это делаю, то должно быть так, как если б ты сам это сделал. Я сам это сделал? Ах. Да, и не страшиться. Ах. И не прожить жизнь, свою жизнь, ибо ты отдаешь ее Господу. Подойти ближе. Господь Бог наш этого хочет? В гору, под гору, я так рано встал. Ты не хочешь быть трусом? Я знаю, знаю, знаю! Что знаешь ты, сын мой. Приблизь ко мне нож, погоди, я откину ворот, чтоб шея была совсем свободной. Ты как будто что-то знаешь. Ты должен только захотеть, и я должен захотеть, мы оба это сделаем, и тогда Господь позовет, мы услышим его зов: не поднимай руки твоей на отрока. Да иди сюда, дай твою шею. Да. Мне не страшно, я делаю это охотно. В гору, под гору, по дальним долам, вот, приставь нож, режь, я не буду кричать.

И сын закидывает голову, отец заходит сзади, нажимает ему на лоб, правой рукой заносит нож. Сын хочет это. Господь зовет. Оба падают ниц.

Как воззвал глас Господень. Аллилуйя. По горам, по долам, вы послушны Мне, аллилуйя. Вы будете жить. Аллилуйя. Остановись, брось нож в пропасть. Аллилуйя. Я Господь, которому вы послушны и Ему вы должны быть всегда послушны. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, луйя, луйя, аллилуйя, луйя, аллилуйя⁹⁶.

«Мици, кисонька моя маленькая, ну выручай же меня как следует. — Франц пытается привлечь Мици к себе на колени. — Но только вымолви словечко. Что же такое с того, что я немножечко опоздал вчера вечером?» — «Ах, Франц, ты еще попадешь в беду. С кем это ты так?» — «А что?» — «Шоферу пришлось втащить тебя наверх на руках. И я с тобой говорю, а ты ни слова, лежишь и дрыхнешь». — «Да я же тебе говорю, что был в Тегеле, ну да в Тегеле, один, совсем один». — «Скажи-ка, Франц, это правда?» — «Совсем один. Мне, понимаешь, пришлось отсидеть там пару годков». — «Разве ты не все отсидел?» — «Нет, отсидел весь срок, до последнего дня. Ну и вот, захотелось мне взглянуть на эту штуку, так что ж тебе из-за этого сердиться на меня, кисонька».

Потом она сидит с ним и, как всегда, нежно поглядывает на него. «Послушай, брось ты эту политику». — «Да я уж бросил». — «И не будешь больше ходить на митинги?» — «Пожалуй что больше не буду». — «А если пойдешь, то скажешь мне?» — «Да».

Тогда Мици кладет Францу руки на плечо, прижимается лицом к его лицу, оба молчат.

И снова нет на свете человека более довольного, чем Франц Биберкопф, который посылает политику к черту. Вот была охота разбивать себе о нее го-

лову. И он расслаживается теперь по питейным заведениям, поет песни и играет в карты, а Мици свела уже знакомство с одним господином, который почти так же богат, как покровитель Евы, но женат, что даже еще лучше, и который отделяет для нее хорошенькую квартирку в две комнаты.

А того, что задумала Мици, Францу потом тоже не удастся избежать. В один прекрасный день к нему на квартиру является Ева, в конце концов, почему бы и нет, раз Мици сама это хочет, но Ева, если у тебя в самом деле будет дитё, ах, если у меня будет ребенок, то мой старик озолотит меня, то-то он возгордится.

*Муха выкарабкивается, песок с нее сыплется,
скоро она опять зажужжит*

Что же еще рассказать о Франце Биберкопфе, этого молодчика мы ведь уже знаем. Что сделает свинья, когда придет в свой хлев, можно себе легко представить. Впрочем, свинье живется гораздо лучше, чем человеку, потому что, видите ли, она представляет собою кусок мяса и жира, а возможностей, которые предстоят ей, не так уж много, если хватит корму: в лучшем случае, она может еще раз опороситься, а в конце жизни ее ждет нож, что, в сущности, не так уж особенно плохо и трагично. Ибо, прежде чем она что-либо заметит, — а что может заметить такая скотина? — ей уже каюк. Но у человека — у того есть глаза, и в нем таится очень многое, и все вперемежку; и он может вообразить себе черт знает что, и должен подумать о том (у него ужасная на этот счет голова), что с ним еще случится.

Итак, наш толстый, наш славный однорукий приятель Франц Биберкопф, бобровая головушка, живет себе, не тужит, до середины августа. Погода стоит еще мало-мальски теплая, а Францекен научился уже довольно прилично грести левой рукой, и полиция его не тревожит, хотя он давно уже не являлся на регистрацию, что ж, в участке сейчас, верно, каникулы да отпуска, в конце концов у полицейского чиновника тоже, с позволения сказать, только две руки, и за грошное жалованье, которое он получает, он из кожи лезть не станет, и чего ради он стал бы утруждать себя, что такое Франц Биберкопф, подумаешь, какая шишка, с какой же стати так уж беспокоиться именно из-за Франца Биберкопфа, да допытываться, почему у него только одна рука, а не две, как раньше; пускай его дело маринуется в архиве, у людей, в конце концов, есть еще и другие заботы.

Только вот есть еще улицы, где видишь и слышишь всякую всячину, где вспоминается кое-что из прежних времен, чего даже и не хочешь вспоминать, а потом жизнь тянется, тянется изо дня в день, и то сегодня представит какой-нибудь случай, да не успеешь его использовать, то завтра что-нибудь под-

вернется, да потом забудется, словом — всегда с человеком что-нибудь делается. Жизнь возьмет свое, думает Франц. Можно, например, в теплый день поймать с окна муху, посадить ее в цветочный горшок и засыпать песком; если муха здоровая, настоящая, она снова выкарабкается, и весь этот песок ей будет ни почем. Об этом Франц частенько думает, когда видит то или иное, мне живется хорошо, и какое мне дело до всего остального; и до политики мне тоже дела нет, а если люди так глупы, что дают себя эксплуатировать, то я тут ни при чем. Кому охота ломать себе голову ради посторонних людей?

Только от пьянства приходится его сильно удерживать, это у Франца самое больное место. У него какая-то врожденная потребность напиваться, она сидит в нем и все снова и снова проявляется. Он говорит: когда пьешь, то обрастаешь жиром и меньше думаешь. Герберт твердит ему: «Послушай, Франц, не пей ты так много. Ты же счастливчик. Погляди, чем ты был? Газетчиком. А теперь у тебя, правда, нет одной руки, но зато у тебя есть Мици и хороший доход, неужели же ты опять начнешь пьянствовать, как тогда при Иде?» — «Об этом не может быть и речи, Герберт. Если я выпиваю, то только потому, что у меня много свободного времени. Сидишь это, сидишь, ну и выпьешь, а потом еще и еще, ничего не поделаешь. А кроме того, взгляни на меня, мне спиртное идет впрок». — «Это ты говоришь, что оно идет тебе впрок. Правда, ты здорово растолстел, но поглядишь-ка в зеркало, какие у тебя глаза». — «Какие ж такие?» — «Да ты только пощупай, мешки как у старика, а какие твои года, ты старишь себя этим пьянством, от пьянства люди стареют».

«Давай, оставим этот разговор. Что у вас хорошенького? Что ты подельваешь, Герберт?» — «Скоро опять примемся за работу, у нас двое новеньких, молодцы ребята. Знаешь Кнопша, который может глотать огонь? Так вот, это он их откопал. Он им говорит: Что, хотите работать со мною? Тогда сперва покажите, на что вы годны. Лет им по восемнадцати, девятнадцати. Ну вот, Кнопш стоит на углу Данцигерштрассе и ждет, что будет. А они взяли себе на мушку одну старуху, видели, как та получала деньги в банке. Они от нее ни на шаг. Ну, думает Кнопш, толкнут они ее где-нибудь, схватят деньги и — до свиданья! Так нет же, они терпеливо следят за ней, доходят до дома, где она живет, забегают вперед на лестницу, когда старуха еще только пришлапала, заглядывают ей в лицо: вы не мадам ли Мюллер будете? а ее и в самом деле так зовут, они заговаривают ей зубы, пока из-за угла не выезжает трамвай, а затем — молотого перцу ей в лицо, выхватили у нее сумочку, дверь захлопнули и айда бегом через улицу. Кнопш-то потом ругался, говорил, что напрасно они сели в трамвай, потому что, пока бы она открыла дверь да объяснила, что с ней случилось, они могли бы спокойно посидеть в пивной. А тем, что они бежали, они могли только навлечь на себя подозрение». — «По крайней мере, они догадались скоро соскочить?» — «Да. А потом эти двое, когда Кнопш продолжал придирается к ним, выкинули еще такую штуку: забрали с собой Кнопша, взяли просто кирпич, разбили в девять часов вечера витрину часового магазина на

Роминтгенерштрассе⁹⁷, запустили туда лапу и смылись. И не попались. Нахальства у этих ребят — до черта, остановились, понимаешь, потом в самой толчее, и хоть бы что. Да, такие нам нужны». Франц уныло опускает голову: «Удалые ребята!» — «Что ж, тебе этого не требуется». — «Нет, мне не требуется. А над тем, что будет потом, я себе голову ломать не стану». — «Только брось ты это пьянство, Франц».

«Да почему же мне не пить, Герберт, — говорит Франц, заглядывая Герберту в глаза, и все лицо его подергивается, а углы рта опущены. — Что вам всем от меня нужно? Я же ничего не могу, ничего, я инвалид на все сто процентов. И почему это все ко мне пристают, один говорит, чтоб я бросил пить, другой — чтоб я не дружил с Вилли, третий — чтоб я оставил в покое политику». — «Политику? Против политики я, например, ничего не имею, это ты вполне можешь».

Тут Франц откидывается на спинку стула и пристально глядит на своего друга Герберта, а тот думает: у Франца лицо совсем расплывается, и это опасный человек, каким бы вообще добряком он ни был. А Франц толкает его вытянутой рукой, шепчет: «Меня превратили в калеку, Герберт, видишь, я уж ни на что не гожусь». — «Ну, брат, ври, да не завирайся. Скажи-ка это самое Еве или Мици. А?» — «Да, в постели, это я знаю. Но вот ты, ты что-то из себя представляешь, ты что-то делаешь, вместе с ребятами». — «Ну а ты, если тебе уж непременно хочется, можешь делать дела и с одной рукой». — «Но ведь меня же не приняли. Да и Мици не хочет. Настояла на своем». — «А ты не слушай, начинай снова, и все тут». — «Вот ты теперь говоришь: начинай, то — бросай, то — начинай. Как будто я этакая собачонка: прыг на стол, прыг со стола, прыг на стол».

Герберт наливает две стопочки коньяку; надо предупредить Мици, что с парнем что-то неладно, пускай она поостережется, а то он войдет в раж, и тогда может случиться такая же штука, что и с Идой. Франц залпом выпивает коньяк: «Нет, я калека, Герберт, вон, взгляни-ка на рукав — ничего в нем нет, пусто. И ты не поверишь, как у меня по ночам болит плечо, сил нет заснуть». — «Тогда сходи к доктору». — «Не хочу, не желаю, слышать не хочу ничего о докторях, хватит с меня того, что было в Магдебурге». — «Тогда я скажу Мици, чтоб она с тобой куда-нибудь уехала. Таким манером ты вырвешься из этой обстановки, из Берлина и попадешь в другие условия». — «Лучше уж дай мне пьянствовать, Герберт». — «Чтобы ты сделал с Мици то же, что и с Идой?» — шепчет ему на ухо Герберт. «Что-о-о?» — «Да, да». Вот теперь ты смотришь, Франц, смотришь, ну что ж, смотри, верно, мало тебе еще твоих четырех лет тюрьмы. Франц сжимает кулак, подносит его к самому носу Герберта: «Послушай! Ты, верно, того?» — «Нет, я — нет. Ты!»

Ева подслушивала у двери. Она хотела уж уйти, но теперь входит в комнату в элегантном светло-коричневом костюме, толкает Герберта в бок и говорит: «Да пускай он пьет, с ума ты сошел, что ли?» — «Что ж, ты не понимаешь?»

Хочешь, чтобы с ним опять была такая история, как тогда?» — «Ты рехнулся, заткнись!»

Франц тупо глядит на Еву.

А полчаса спустя, у себя в комнате, он спрашивает Мици: «Что ты на это скажешь: могу я пить, или нет?» — «Да, но не до бесчувствия. Не до бесчувствия». — «Может быть, и ты хочешь со мной напиться?» — «С тобой? Да». Франц в восторге: «Мици, Мици, ты хочешь напиться пьяной, ты еще никогда не бывала пьяна?» — «Бывала. Ну, давай, нальемся. Сейчас же!»

И только что еще Франц был печален, а теперь видит, как она вся загорелась, совсем как в тот раз, когда у них был разговор о Еве и ребенке. Франц стоит рядом с ней, какая же она милая, какая же она хорошая, и такая крохотная по сравнению с ним, что он мог бы сунуть ее к себе в карман. Она обнимает его, он держит ее своей левой рукой за талию, и вдруг... и вдруг...

И вдруг Франц теряет сознание на одну секунду. Рука его обвивается вокруг талии Мици и совершенно неподвижна. Но мысленно Франц сделал этой рукой какое-то движение. Лицо его при этом жестко как камень. Мысленно — он держал в руке маленький деревянный инструмент — и сверху вниз — нанес им Мици удар, в грудную клетку — раз, еще раз. И переломал ей ребра. Больница, кладбище, бреславец.

Франц отталкивает Мици, и она никак не может понять, что с ним такое, она бросается рядом с ним на пол, он что-то бормочет, несет какую-то чепуху, ревет, целует ее, плачет, и она тоже плачет, сама не зная о чем. А затем приносит две бутылки водки, и Франц все время твердит: Нет, нет! Но это такое блаженство, да, блаженство, боже мой, как они веселятся, эти двое, как они хохочут. Мици давно уже пора отправляться к своему кавалеру, а она — что ей, бедняжке, делать? — остается у своего Франца, тем более, что она не в состоянии держаться на ногах, не то что идти. Она пьет водку у Франца изо рта, Франц хочет высосать ее обратно, но она течет у Мици уже через нос. Они хохочут до изнеможения, а потом он тяжело храпит до позднего утра.

Отчего это у меня так болит плечо, у меня отрезали руку.

Отчего это у меня так болит плечо, так ужасно болит плечо? И куда девалась Мици? Почему она оставила меня здесь одного?

Отрезали, отрезали мне руку, прочь ее, ай, мое плечо, мое плечо. Проклятые собаки, у меня нет руки, вот что они сделали, собаки, собаки, руку прочь, а меня бросили. Ой, больно, больно плечу, плечо-то мне оставили, а если бы могли, то оторвали бы и плечо, непременно оторвали бы, пускай бы оторвали, не болело бы оно так. Проклятые! Совсем убить меня, им, собакам, не удалось, не посчастливилось им, сволочам, со мной, но и так тоже нехорошо. Вот я теперь лежу, и нет никого около меня, да и кому охота слушать, как я ору: Ой рука болит, ой плечо! Уж лучше б они меня насмерть задавили, собаки, ведь

я ж теперь только получеловек. Ой, мое плечо, мое плечо, ой, ой, я больше не могу терпеть. Проклятые, сволочи, мерзавцы, погубили они меня, что я теперь делать буду, где же Миши, бросили меня одного — лежи. Ой, ой, ой, о-ой.

Муха карабкается и карабкается, сидит в цветочном горшке, песок с нее сыплется, но ей это нипочем, она стряхивает его с себя, высовывает голову, выползает.

И вот сидит на водах великий Вавилон, мать блудницам и всем мерзостям земным. Смотри, как она сидит на звере багряном, с семью головами и десятью рогами, это стоит посмотреть. Каждый шаг твой радует ее. Упоена она кровью праведников, которых терзает. Зверь выходит из бездны и пойдет на гибель, взгляни, взгляни на эту жену, на жемчуг ее, багряницу, порфиру, на оскаленные зубы, на толстые, пухлые губы, залитые кровью⁹⁸. Ими она пила. Блудница Вавилон! Золотисто-желтые, полные яда глаза, дряблая шея! Смотри, как она тебе улыбается.

*Побатальонно, в ногу,
с барабанным боем — вперед марш!*

Внимание! Когда сыплются гранаты, то дело дрянь, вперед, ногу выше, вали напролом, ох страшно, вперед, все равно, двум смертям не бывать, одной не миновать, бба-бах, в ногу, в ногу, ать, два, ать, два, левой, правой, левой, правой.

Так марширует Франц Биберкопф по улицам, твердо дает ногу, левой, правой, левой, правой, пожалуйста, не отговариваться усталостью, и никаких чтобы кабаков, не напиваться, ладно, посмотрим, вот пуля пролетела, посмотрим, посмотрим, либо пан, либо пропал, левой, правой, левой, правой. Побатальонно, с барабанным боем. Наконец-то он дышит полной грудью.

Путь лежит через весь Берлин. Когда по улицам идут солдаты, все девушки из окон вслед глядят им⁹⁹, ах зачем, ах затем, ах, только из-за чингдарада, бумдарада, бум.

Дома стоят неподвижно, ветер веет, где хочет¹⁰⁰. Ах зачем, ах зачем, ах, из-за чингдарада.

Рейнхольд, один из членов шайки Пумса, сидит в своей грязной, душной норе — грязной норе, ах зачем, ах затем, душной норе, ах затем, ах, только из-за чингдарада, бумдарада, бум — сидит, когда по улицам идут солдаты, все девушки из окон вслед глядят им, читает газету, левой, правой, была не была, читает об олимпийских играх¹⁰¹, ать, два, и о том, что тыквенные семечки

служат прекрасным средством против глистов¹⁰². Это он читает очень медленно, вслух, несмотря на свое заикание. Впрочем, когда он один, он как будто и не заикается. Он вырезает из газеты то, что пишут о тырке, когда по улицам идут солдаты, потому что у него когда-то был солигер, по всей вероятности и сейчас есть, может быть это тот же самый, а может быть и новый, отпчковавшийся от старого, надо будет как-нибудь попробовать эту штуку с тырвенными зернами, шелуху, стало быть, надо тоже съесть. Дома стоят неподвижно, ветер веет, где хочет. Конгресс игроков в скат в Альтенбурге¹⁰³, не играю. Кругосветное путешествие за 30 пфеннигов в неделю, включая все расходы¹⁰⁴, ну, конечно, опять какое-нибудь эдакое жульничество. Когда по улицам идут солдаты, все девушки из окон вслед глядят им, ах, зачем, ах, затем, ах, только из-за чингдарада, бумдарада, бум. Стучат, войдите.

Цепь, вперед, марш-марш! Рейнхольд — моментально руку в карман, за револьвером. Вот пуля пролетела — для меня или для тебя? Она его сразила, а мне так больно было, как будто это я, как будто это я¹⁰⁵. Вот он стоит: Франц Биберкопф, руки у него нет, инвалид войны, пьян он, или что? При малейшем движении я всажу ему пулю в лоб.

«Кто тебя впустил?» — «Твоя хозяйка». Наступление, наступаем. «Хозяйка? Вот стерва, с ума она сошла, что ли?» Рейнхольд кричит в дверь: «Фрау Титч! Фрау Титч! Что же это такое? Дома я, или меня нет дома? Когда я говорю, что меня нет дома, так меня и нет дома». — «Извините, господин Рейнхольд, мне никто ничего не говорил». — «Ну, значит, меня нет дома, черт подери! Вы мне еще черт знает кого сюда впустите». — «Может быть, вы говорили моей дочери, а она ушла и ничего мне не передала».

Рейнхольд закрывает дверь, револьвер у него в руке. Солдаты. «Что тебе от меня надо? Какой между нами может быть разговор?» Он снова заикается. Какой это Франц перед ним? Скоро узнаешь. У этого человека некоторое время тому назад отдавили колесом руку, он был порядочным человеком, это можно подтвердить хоть под присягой, а теперь он сутенер, мы еще поспорим, по чьей вине. Барабаны бьют, батальон — смирна-а, вот он стоит. «Послушай, Рейнхольд, это у тебя револьвер?» — «Ну?» — «Что ты с ним хочешь делать? Что?» — «Я? Ничего!» — «Тогда ты можешь его убрать». Рейнхольд кладет револьвер перед собой на стол. «Для чего ты ко мне пришел?» Вон он, тот, который ударил меня в проходе во двор, — это он меня выкинул из автомобиля, а до того ничего между нами не было, была еще Цилли, была лестница, по которой я спускался. Встают перед Францем воспоминания. Луна над водной поверхностью ярче, ослепительнее вечером, колокольный звон. А теперь у этого человека в руках револьвер.

«Садись, Франц, скажи-ка, ты наверно хватил лишнего, а?» Вероятно, это потому, что Франц так тупо глядит, вероятно, он пьян, ведь он же не может отказаться от выпивки. Вероятно, так оно и есть, он пьян, ну да ничего, у меня револьвер. Ах, только из-за чингдарада, бумдарада, бум. И Франц садится.

Сидит. Яркая луна, вся вода так и переливает светом. Вот он сидит у Рейнхольда. Рейнхольд — тот самый человек, которому он помогал в делах с девчонками, у которого он перенимал одну девчонку за другой, а потом этот человек хотел заставить Франца стоять на стреме, но не предупредил его, и теперь я — сутенер, и почем знать, чем еще кончится дело с Мици, м-да, вот какое положение. Впрочем, все это одна умственность. Факт лишь один: Рейнхольд, Рейнхольд вот тут перед ним.

«Я хотел только увидаться с тобой, Рейнхольд». Да, именно: увидаться, взглянуть на Рейнхольда, только взглянуть, этого достаточно. Вот мы сидим. «Уж не собираешься ли ты прижать меня, а, шантажировать, по поводу того, что было тогда, а?» Ой, Франц, держись, не поддавайся. Вперед, братцы, напролом, не испугались же вы какой-то парочки снарядов? — «Маленькое вымогательство, а? Сколько же ты хочешь? Ну, да мы и сами с усами. Тоже, брат, знаем, что ты сутенер». — «Верно. Сутенер. А что мне и делать с одной-то рукой?» — «Итак, что тебе нужно?» — «Ничего, ничего». Только бы сесть поплотнее, да не забыть бы, что это — Рейнхольд, что это у него такая манера подбираться к своей жертве, только бы удержаться, не дать себя опрокинуть.

Но во Франце уже все дрожит. И пришли волхвы с востока¹⁰⁶, и был у них ладан, и курили они им, курили. Совсем заволокло человека дымом. Рейнхольд соображает: либо этот молодчик пьян, тогда он скоро уйдет и больше ничего, либо он все-таки чего-то хочет. Нет, он чего-то хочет, но чего, шантажировать он не хочет, чего же тогда? Рейнхольд приносит водки и думает, что таким образом скорее всего вызовет Франца на откровенность. Уж не подослал ли его Герберт разнохвать, как и что, чтобы навести потом на их след полицию? Но в тот момент, когда Рейнхольд ставит на стол два синих стаканчика, он замечает, что Франц дрожит. Луна, яркая луна высоко взошла над рекою, и никто не может смотреть на нее, я ослеп, что же это со мной делается? Парень-то ведь готов. Сидит прямо, как палка, но готов, совсем готов. Тут Рейнхольда охватывает радость; он медленно берет револьвер со стола, кладет его в карман, наливает стаканчики и снова видит: э, да у него и лапа дрожит, у него трясушка, это ж старая баба, это ж хвастун, который просто испугался револьвера, или меня, хотя его и не трогают. И Рейнхольд становится очень спокойным и даже ласковым, да, ласковым. Вот радость-то, когда он увидел эту дрожь, нет, Франц не пьян, он просто струсил, он еще совсем свянет, в штаны пустит, и это такая-то фитюлька собиралась задаваться передо мной.

И Рейнхольд принимается рассказывать о Цилли, как будто только вчера еще виделся с Францем, что Цилли опять сошлась с ним, жила с ним несколько недель, это бывает, что если я не встречался с женщиной пару-другую месяцев, то могу снова захотеть ее, это — реприз, довольно забавная штука. А затем он приносит папиросы, пачку порнографических открыток и, наконец, фотографии, Цилли там тоже есть, вместе с Рейнхольдом.

Франц не в состоянии вымолвить ни слова, все только глядит на Рейнхольдовы руки, у Рейнхольда две руки, две кисти, а у него, у Франца, только одна, и вот этими самыми двумя руками Рейнхольд сбросил его под автомобиль, ах зачем, ах затем, не следовало ли бы убить эту гадину, ах, только из-за чингдарада. Герберт говорит, ах не то, совсем не то, а что же тогда? Ничего я не могу, ровно ничего. Но я же должен, я же хотел что-то сделать, ах, только из-за чингдарада, бумдарада — я вообще не мужчина, а мокрая курица. И он совсем съеживается, а потом судорожно выпрямляется, хлещет коньяк стаканчик за стаканчиком, ничего не помогает, а затем Рейнхольд тихо, тихо говорит: «Франц, а Франц, мне хотелось бы взглянуть на твою рану. Ах, только из-за чингдарада, бумдарада». Тогда Франц Биберкопф — вот оно что! — распахивает куртку и показывает культю в рукаве рубашки, Рейнхольд болезненно морщится: вид отвратительный, Франц застегивает куртку. «Сначала, — говорит он, — было еще хуже». А затем Рейнхольд продолжает разглядывать нашего Франца, который ничего не говорит и ничего не может сделать и толст, как боров, и даже не в силах рта раскрыть, и Рейнхольда так и подмывает еще над ним поиздеваться, и он никак не может перестать.

«Послушай, ты всегда носишь рукав вот так в кармане? Ты его каждый раз туда засовываешь, или он пришит?» — «Нет, я его каждый раз засовываю». — «Другой рукой? Нет, вероятно, когда ты еще не оделся?» — «Как придется: то так, то этак; когда я в куртке, мне не так удобно». Рейнхольд стоит рядом с Францем, дергает его за рукав. «Ты, смотри, никогда ничего не клади в правый карман, а то упрут». — «У меня не упрут». Рейнхольд все еще что-то придумывает: «Скажи-ка, как это ты делаешь, чтобы надеть пальто, ведь это же должно быть страшно неудобно. Два пустых рукава». — «Ничего. Теперь лето. Неудобство будет только зимой». — «Ты еще увидишь, как это нехорошо. А разве ты не можешь заказать себе искусственную руку, ведь когда у человека отнимают ногу, то делают же ему взамен искусственную». — «Так это потому, что он иначе не мог бы ходить». — «А ты приделай себе искусственную руку, будет гораздо красивее». — «Нет, нет, только стеснять будет». — «Ну а я бы себе непременно купил, или набил бы чем-нибудь рукав. Давай-ка попробуем». — «К чему? Я не хочу». — «Как к чему? Чтобы не бегать с пустым рукавом, будет очень красиво, и никто не заметит, что у тебя нет руки». — «Да на что мне это? Не хочу». — «Давай, не упрямясь, деревяшка не годится. А мы запишем туда несколько пар носков, или рубашки, вот увидишь».

И Рейнхольд горячо принимается за дело, вытаскивает пустой рукав, бросается к комоду, берет, что попало, и начинает запихивать в рукав носовые платки, носки. Франц пробует отбиваться. «К чему все это, оно не может так держаться, получилась колбаса, оставь, пожалуйста». — «Нет, постой. Могу тебе сказать одно, что работа это портновская, портной должен сделать все это как следует, натянуть, где надо, и тогда будет гораздо лучше, и ты не будешь

похож на калеку, просто будто держишь руку в кармане». Носки вываливаются из рукава. «Да, работа эта портновская. Терпеть не могу калек, для меня калека — это человек, который ни на что не годен. Когда я вижу калеку, я говорю: тогда уж лучше совсем с ним покончить!»

А Франц слушает да слушает, и то и дело кивает головой. Помимо его желания по телу пробегает дрожь. Ему чудится, будто он участвует в налете где-то на Алексе, память — как отшибло, вероятно, это — последствия того несчастного случая, или просто нервы, надо же совладать с собою. Но его продолжает трясти. В таком случае — адью, Рейнхольд, пора выметаться до дому, и айда на улицу, в ногу, левой, правой; левой, правой, чингдарада.

И вот толстый Франц Биберкопф, побывав у Рейнхольда, является домой, а рука его все еще дрожит и трясется, и папироса валится изо рта, когда он добирается до своей квартиры. А там Мици сидит с кавалером и только ждет Франца, потому что собирается уехать с этим кавалером на целых два дня.

Франц отводит ее в сторону. «Что же я-то имею от тебя?» — «Ну что мне делать? Боже мой, Франц, что с тобой?» — «Ничего, проваливай». — «Ну хорошо, я вернусь еще сегодня вечером». — «Убиррайся!» Он чуть не орет во все горло. Тогда она делает знак своему кавалеру, наскоро целует Франца в затылок и — за дверь. Внизу она звонит Еве по телефону: «Если у тебя есть время, зайди, пожалуйста, к Францу. Что с ним? Да я и сама не знаю. Значит, придешь?» Но потом оказывается, что Ева прийти не может. Герберт весь день с ней ругался, и ей так и не пришлось выбраться из дому.

Тем временем наш Франц Биберкопф, наша змея кобра, наш железный боец, сидит один, совсем один у себя в своей комнате, у окна, судорожно цепляется рукой за подоконник и раздумывает, не было ли это глупостью, непростительным идиотством, что он пошел к Рейнхольду, и что черт бы всю эту штуку побрал, и что это чушь, когда по улицам идут солдаты, чушь, идиотство, и что из этого положения надо как-нибудь выйти, и что надо сделать что-то другое. И уже он думает, я это, в конце концов, все-таки сделаю, надо пойти туда, так дальше дело продолжаться не может, уж слишком тот меня осрамил, набил мне куртку тряпьем, никому даже рассказать нельзя, как такая шутка могла случиться.

И Франц припадает головой к подоконнику, прижимается к нему, и стыдно ему, уж стыдно: как мог я такую штуку допустить, как позволил? Какой же я идиот, что дрожал перед этим негодяем. И стыд его так велик, так жгуч, Франц скрежещет зубами, так бы, кажется, и растерзал себя самого, я же не хотел этого, я же не трус, хотя у меня только одна рука.

Надо еще раз пойти к нему. И плачет-разливается. Уж вечер, когда Франц принимает решение и встает со стула. Он озирается в комнате. Вон стоит водка, это Мици поставила, нет, пить я не буду. Не хочу стыдиться. Вот бы вы теперь видели его глаза. Я пойду к тому еще раз. Рум дибум, пушки, тромбоны.

Ну, айда, вниз по лестнице, ах негодяй, хотел набить мне куртку, нет, теперь уж, когда я сяду против него, у меня лицо не дрогнет.

Берлин! Берлин! Берлин! Трагедия на дне морском, гибель подводной лодки¹⁰⁷. Команда задохнулась. А если задохнулась, то все, значит, погибли, умерли, и не о чем больше и говорить, вопрос решен, кончено, точка. Вперед, марш-марш. Падение двух военных самолетов¹⁰⁸. Ну и упали, ну и убились летчики, ну и не о чем больше говорить, кто убили, тот убили.

«Добрый вечер, Рейнхольд. Вот видишь, я опять пришел». Тот глядит во все глаза. «Кто тебя впустил?» — «Меня? Да никто. Дверь была открыта, я и вошел». — «Вот как, а позвонить ты не мог?» — «С какой стати я к тебе буду звонить, ведь я ж не пьян».

И вот они сидят друг против друга, курят, и Франц Биберкопф не дрожит, сидит прямо и радуется, что живет, и это лучший день с тех пор, как он попал под автомобиль, и это — лучшее, что он с тех пор сделал; сидеть здесь — хорошая штука, черт подери! Это лучше, чем митинги, и едва ли не лучше — ну да, лучше! — чем Мици. О, да, это — лучше всего: Рейнхольду меня не свалить.

Уже восемь часов вечера, когда Рейнхольд заглядывает Францу в лицо: «Франц, ведь ты знаешь, что у нас с тобой за расчеты. Скажи, что ты от меня хочешь? Скажи совсем откровенно». — «Какие-такие у меня с тобой расчеты?» — «Ну а это дело с автомобилем?» — «Какой смысл, от этого у меня рука не вырастет. А кроме того...» Франц ударяет кулаком по столу: «Кроме того, это было хорошо. Так дальше дело со мной не могло продолжаться. Что-нибудь в таком роде должно было случиться». Ого, вот мы до чего дошли, до этого мы уже давно дошли! «Это ты про уличную торговлю?» — осторожно зондирует Рейнхольд. «Да, и про нее. У меня был заскок в голове. Теперь его больше нет». — «И руки тоже нет». — «Одна еще осталась. А потом у меня есть еще голова и две ноги». — «Что же ты теперь делаешь? Один промышляешь, или с Гербертом?» — «С одной-то рукой? Ничего я не могу делать». — «Ну, знаешь, быть только котом — это же слишком скучно».

И Рейнхольд глядит на него, такого толстого и здоровенного, и думает: с этим молодчиком мне хотелось бы поиграть. Он у меня что-то артачится. Надо будет ему кости пообломать. Очевидно, одной руки ему мало.

Они заводят разговор о женщинах, и Франц рассказывает о Мици, которую раньше звали Соней, и которая так хорошо зарабатывает, и вообще такая славная девушка. Тут Рейнхольду приходит в голову мысль: Вот это чудесно, отобью-ка я ее у него и этим совсем втопчу его в грязь.

Ибо если черви поедают землю и вновь выпускают ее через задний проход, то они вновь и вновь ее поедают. Потому эти твари не могут давать никакой пощады, если набить им кишечник сегодня, то завтра они уже опять голодны и должны что-нибудь заглотать. А с человеком происходит совершенно то же,

что с огнем: когда огонь горит, он должен пожирать, и, если ему нечего пожирать, он гаснет, он неминуемо должен погаснуть.

Франц Биберкопф не нарадуется на себя, как это он мог высидеть у Рейнхольда, без всякой дрожи, совсем спокойно и празднично-весело, как новорожденный. А когда он спускается по лестнице вместе с Рейнхольдом, он снова находит, когда по улицам идут солдаты, левой-правой, что жизнь прекрасна, что человек, который идет с ним, его друг, что никому не свалить его, Франца Биберкопфа, и что пусть лучше и не пробуют. Ах зачем, ах затем, все девушки из окон вслед глядят им.

«Я пойду танцевать», — заявляет он Рейнхольду. Тот спрашивает: «А что твоя Мици, тоже идет?» — «Нет, она уехала на два дня со своим покровителем». — «Когда она вернется, я пойду с вами». — «Отлично, будет рада». — «Ой ли?» — «Раз я тебе говорю! Не бойся, она тебя не укусит».

Франц весел необычайно. Преображенный, счастливый, он протанцевал всю ночь, сначала в старом Дансингпаласе, затем в заведении у Герберта, и все радуются вместе с ним, а он сам больше всех. И, танцуя с Евой, он сильнее всех любит двоих: одна — это его Мици, вот чудно было бы, если б она тоже была здесь, а другой — Рейнхольд! Впрочем, он не осмеливается в этом признаться. И всю ночь, танцуя то с одной, то с другой, любит он только тех двоих, которых здесь нет, и счастлив с ними.

Кулак уже занесен

Теперь всякому, кто дочитал до этого места, ясно, какой наступил поворот: поворот назад, и он у Франца закончен. Франц Биберкопф, силач, змея, кобра, снова появился на сцене. Это далось ему не легко, но он снова перед нами.

Казалось, он появился уже тогда, когда стал Мициным сутенером, котом и начал разгуливать с золотым портсигаром и в фуражке со значком гребного клуба. Но во всей своей красе он предстал перед нами только теперь, когда он так от души веселится и не знает больше ни страха, ни сомнений. Теперь крышки у него уж больше не колеблются, а рука — ну что ж, ничего не подлаешь! Лишний отросток в мозгу у него теперь благополучно вырезан. Сейчас он сутенер, а скоро снова станет преступником, но это ему нисколько не больно, наоборот.

И все находится в том же положении, что и в начале. Но читателю необходимо уяснить себе, что это уж больше не та же змея кобра. Это уж больше, как видно, не наш старый Франц Биберкопф. В первый раз его обманул его приятель Людере, и он полетел вверх тормашками. Во второй раз его заставили стоять на стреме, но он не захотел, и тогда Рейнхольд выбросил его из автомобиля под другую машину, которая и прошла по нему. Теперь с на-

шего Франца довольно, да и со всякого другого простого смертного было бы довольно. Он не удаляется в монастырь, он не кончает с собой, а вступает на тропинку войны, становится не только сутенером и преступником, но и заявляет: а вот я нарочно! И теперь вы увидите Франца, как он не только танцует себе один и наслаждается жизнью и насыщается, но и как он кружится в пляске, в свистопляске с чем-то другим, ну-ка, пусть оно покажет свою силу, посмотрим, кто сильнее из нас двоих.

Когда Франц вышел из Тегеля и снова смог свободно передвигать ноги, он громко произнес клятву: я хочу быть порядочным человеком. Сдержат эту клятву ему не дали. И вот теперь он хочет посмотреть, что он вообще еще может сказать. Он хочет спросить, должен ли он был лишиться руки, и почему? А может быть — почем знать, что делается в голове у такого человека — может быть, Франц хочет раздобыть себе у Рейнхольда новую руку?

КНИГА СЕДЬМАЯ

В ней молот обрушивается, обрушивается
на Франца Биберкопфа.

*Пусси Уль, наплыв американцев,
как пишется по-немецки «Вильма»,
через «ве» или через «фрау»?*

На Александрплац ковыряют да ковыряют. На углу Кенигштрассе и Нойе-Фридрихштрассе собираются снести дом напротив магазина обуви Саламандра, дом рядом уже ломают. Проезд под виадуком городской железной дороги у вокзала Александрплац становится крайне затруднительным — там устанавливаются новые фермы для железнодорожного моста; сейчас можно видеть внизу красиво выложенную кирпичном выемку, в которую будут упираться ноги фермы.

Кто хочет попасть на вокзал, должен подняться и затем спуститься по небольшой деревянной лестнице. Погода в Берлине стала свежее, часто идет дождь, от этого сильно страдают шины автомобилей и мотоциклеток, то и дело машины скользят, происходят столкновения, вызывающие затем предъявление исков об убытках и так далее, достается при этом часто и людям — все из-за погоды. А вы слышали о трагической судьбе летчика Безе-Арнима?¹ Его допрашивали сегодня в сыском как главного виновника убийства старой отставной проститутки Пусси Уль, мир ее праху. Безе, Эдгар, устроил в ее квартире стрельбу, он, как говорят криминалисты, всегда отличался странностями. Однажды, на войне, он был сбит неприятельским летчиком в воздушном бою на высоте 1700 метров, с этого и началась жизненная трагедия летчика Безе-Арнима, лишившегося впоследствии всего состояния и уже под чужой фамилией попавшего в тюрьму; последний акт этой трагедии еще впереди². После поражения в воздухе, Безе уехал на поправку домой, и там директор какого-то страхового общества выманил у него все деньги. Потом оказалось, что этот «директор» — вовсе не директор, а высшей марки аферист, и что таким простейшим способом деньги перешли от летчика к налетчику, и у летчика не осталось ни гроша. С того времени Безе именует себя Оклэром. Ему, оказывается, стыдно перед своей родней, что он так влопался. Все это выяснили сегодня утром в полицейпрезидиуме «бьки» и занесли в протокол. В протоколе значится также, что Безе, он же Оклэр, вступил теперь на путь преступления. Однажды его уже приговорили на два с половиной года тюремного заключения и, так как он именовал себя тогда Крахтовилем, выслали после отбытия наказания в Польшу. После этого как будто и произошла у него в Берлине какая-то особенно скверная и темная история с Пусси Уль. Пусси Уль переименовала его с особыми церемониями, о которых мы лучше не будем распространяться, в «фон Арнима»³, и все, что он с тех пор натворил, он натворил под фамилией фон Арним. А во вторник 14 августа 1928 года фон Арним всадил этой Пусси Уль несколько пуль в живот — за что и как, об этом вся их шайка упорно молчит, что ж, такие люди умеют держать язык за зубами, даже когда стоят

перед палачом! Ибо с какой стати они будут откровенничать с «быками», которые искони являются их заклятыми врагами? Известно только, что в этой истории играет какую-то роль боксер Гейн, и всякий, мнящий себя знатоком человеческой души, ошибется, предполагая, что мы имеем тут дело с драмой ревности. Лично я готов голову отдать на отсечение, что тут нет и тени ревности. А если есть ревность, то ревность на почве денег, причем деньги — главное. Безе, как уверяют в сыскном, совершенно подавлен; блажен, кто верует. Будьте благонадежны, этот молодчик, если он вообще подавлен, то разве только потому, что теперь «быки» будут докапываться до всей его прошлой жизни, в особенности же он злится на себя, что палил в старуху Уль. Ибо чем же он теперь будет жить, и он думает: эх, только б не сдохла, старая стерва! Теперь вы достаточно знакомы с трагической судьбой или жизненной трагедией летчика Безе-Арнима, сбитого неприятелем на высоте 1700 метров, мошеннически лишенного состояния и отсидевшего под чужой фамилией в тюрьме.

Наплыв американцев в Берлин продолжается⁴. Среди многих тысяч приезжающих в германскую метрополию немало выдающихся личностей, прибывших в Берлин по служебным или личным делам. Например, в данный момент здесь (отель Эспланада) находится старший секретарь американской делегации межпарламентского союза⁵ доктор Колл из Вашингтона, за которым через неделю последуют еще несколько американских сенаторов. Затем в ближайшие дни в Берлине ожидают нью-йоркского брандмайора⁶ Джона Килона, который, так же как и бывший министр труда Дэвис⁷, остановится в отеле Адлон⁸.

Из Лондона прибыл Клод Монтефьоре⁹, председатель Всемирного союза либерально-религиозного еврейства, съезд которого пройдет в Берлине с 18 по 21 августа; он остановился с сопровождающей его секретаршей, леди Лили Х. Монтегю, в отеле Эспланада¹⁰.

Так как погода отвратительная, то рекомендуется зайти в какое-нибудь закрытое помещение, например — в Центральный рынок, впрочем, там ужасный шум и гам, вдобавок вас собьют с ног ручными тележками, потому что эти типы даже и не подумают крикнуть поберегись. В таком случае уж лучше поедете с вами в суд по трудовым делам на Циммерштрассе и позавтракаем там. Кому приходится больше возиться с мелким людом, — в конце концов, Франц Биберкопф тоже не бог весть какая шишка! — охотно поедет, разнообразия ради, в западную часть города и посмотрит, что там делается.

Буфет при трудовом суде помещается в комнате № 60, это очень небольшая комнатка, со стойкой и экспресс-машинкой для варки кофе, на стене вывешено меню: «Обед: суп с рисом, рагу из баранины с картофелем (сколько «р») 1 марка». За столом сидит полный молодой человек в роговых очках, обедает. Взглянем на него и убедимся, что перед ним дымящаяся тарелка с

бараньим рагу, соусом и картофелем и что он собирается все это, не теряя времени, проглотить. Его глаза блуждают по тарелке, хотя никто ничего у него не отнимает, никого даже и поблизости нет, он за столом один, но все-таки чего-то беспокоится, режет, уминает еду и поспешно сует ее в рот, раз, раз, раз, раз, и в то время, как он работает, туда вилку, сюда, туда, сюда, в то время, как он режет, давит картошку и набивает себе рот, посапывает, причмокивает и глотает, его глаза поглядывают, его глаза посматривают на все уменьшающуюся порцию на тарелке, стерегут ее со всех сторон, как два злых пса, и прикидывают ее объем. Еще раз вилку в рот, еще раз вон изо рта, и — точка, готово, молодой человек встает, дряблый и тучный, он все сожрал, начисто, и теперь собирается платить. Вынимает бумажник и жирным голосом спрашивает: «Сколько с меня, фрейлейн?» Затем толстяк, сопя, выходит и распускает у себя сзади хлястик на брюках, чтоб животу было просторнее. В желудок у него наложено сейчас добрых полтора кило продуктов питания. И вот в животе начинается теперь работа, животу предстоит справиться со всем, что его хозяин туда навалил. Кишки качаются, колыхаются, весь аппарат извивается и производит глотательные движения, как дождевой червь, железы делают все, что им полагается, выделяют в поглощенную пищу свой сок, брызжут, словно из брандспойта, сверху течет слюна, толстяк глотает, пища проталкивается дальше в кишках, штурмом берет почки, словно универсальный магазин в дни распродажи, и вот уже, извольте, помаленьку, помаленьку просачиваются капельки жидкости в мочевой пузырь, капелька за капелькой. Погоди, брат, скоро ты вернешься тем же коридором к двери, на которой написано: Для мужчин. Такой уж порядок на свете.

За дверями заседание. Домашняя работница Вильма, как вы пишете свое имя, я думал, оно пишется через «ве», а у вас тут через «фау», так что давайте я переправлю. Она стала очень нахальной, начала грубить, вести себя неприлично, соберите-ка вещи и убирайтесь, на это есть свидетели. Она такого не делает, ей самолюбие не позволяет. По 6 число, включая разницу за три дня, десять марок я согласен уплатить, жена моя лежит в клинике. Сколько вы требуете, фрейлейн, иск предъявлен на 22 марки 75 пфеннигов, однако я должен констатировать, не могу же я допускать, чтоб со мной так обращались, стерва и подлая тварь, прошу вызвать и допросить жену, когда она поправится, истица сама первая начала дерзить. Стороны приходят к следующему соглашению.

Дело шофера Папке с прокатчиком кинофильмов Вильгельмом Тоцке. Что это за дело, его только что положили на стол. Ну хорошо, пишете: явился лично прокатчик кинофильмов Вильгельм Тоцке, нет, я только по его доверенности, хорошо, а вы служили у него шофером, значит, сравнительно недолго, у меня произошло это несчастье с машиной, принесите-ка мне ключи, итак, вы говорите, у вас произошло столкновение, а что скажете вы по этому пово-

ду? 28-го числа, в субботу, ему велели заехать за хозяйкой в Адмиральские бани, это было на Викторияштрассе, они могут подтвердить, что он был вдрызг пьян. Он во всей округе известен как пьяница. Плохого пива я и в рот не беру; машина была германская, ремонт обошелся в 387 марок 20 пфеннигов. Так как же произошло столкновение? А так, что в ту же минуту машина заскользила, тормоза на все четыре колеса у нее нет, ну я моим передним колесом в его заднее. Сколько же вы в тот день выпили, ведь пили же вы что-нибудь за завтраком, я был у хозяина, там меня и кормят, хозяин очень заботится о своих служащих, потому что он очень добрый человек. Мы вовсе и не хотим взыскивать с этого человека убытки, а просто уволили без предупреждения, за пьянство, отчего такой случай и произошел. Приходите за своими вещами; они валяются на Викторияштрассе. А хозяин сказал тогда по телефону: вот обезьяна-то, это он так машину исковеркал. Это вы не могли слышать, слышал, ваш аппарат такой громкий, раз человек без образования; кроме того он еще телефонировал, что я украл запасную шину, прошу допросить свидетелей. И не подумаю, вина обоюдная, хозяин сказал не то скотина, не то обезьяна, причем назвал по имени, хотите помириться на 35 марках, сейчас без четверти двенадцать, время еще есть, можете вызвать его по телефону, в крайнем случае до без четверти час он должен быть здесь¹¹.

Внизу, у подъезда, на Циммерштрассе стоит какая-то девушка, она случайно проходила здесь, поднимает кверху зонтик и опускает в кружку письмо. В нем говорится: Дорогой Фердинанд, твои оба письма я с благодарностью получила. Я все-таки сильно ошиблась в тебе, не думала, что дело с тобой примет такой оборот. Ты сам должен признать, что для того, чтоб нам соединиться на всю жизнь, мы слишком молоды. Думаю, ты с этим в конце концов согласишься. Ты, может быть, думал, что я как все другие девушки, да не на такую напал, мой милый. Или, может быть, ты думаешь, что у меня есть деньги? Тогда ты глубоко ошибаешься. Я ведь дочь простых рабочих. Это я сообщаю тебе, чтоб ты мог сообразоваться с этим. Если б я знала, что из всего этого выйдет, я вовсе не начала бы переписку. Ну, теперь ты знаешь мое мнение, сообразуйся с ним, ты же должен знать, что у тебя на душе. С приветом, Анна¹².

В этом же доме, в боковом флигеле, в кухне сидит другая девушка; мать ушла за провизией, девушка тайком пишет дневник, ей двадцать шесть лет, безработная. Последняя запись, от 10 июля, гласит: Со вчерашнего дня я чувствую себя снова лучше; но светлых дней теперь так мало. Я ни с кем не могу поговорить так, как бы мне хотелось. Поэтому я решила все записывать. Когда у меня бывают месячные, я ни на что не способна, и всякая мелочь причиняет мне большие затруднения. Все, что я тогда вижу, вызывает во мне новые мысли, и я никак не могу отделаться от них, бываю очень возбуждена и с тру-

дом могу заставить себя чем-либо заняться. Какая-то сильная внутренняя тревога заставляет меня хвататься то за одно, то за другое, и в конце концов у меня ничего не выходит. Например: рано утром, когда я просыпаюсь, мне совершенно не хочется вставать, но я все-таки заставляю себя это сделать и стараюсь себя подбодрить. Но уже одевание меня утомляет, и продолжается оно очень долго, потому что у меня в это время уже опять голова идет кругом от разных мыслей. Меня постоянно преследует опасение, что я делаю что-то шиворот-навыворот и что это должно плохо кончиться. Очень часто, когда я бросаю в печь кусок угля и при этом взлетают искры, я пугаюсь и непременно должна осмотреть себя с ног до головы, не загорелось ли что-нибудь на мне и не испортила ли я чего и не вспыхнет ли незаметно для меня самый пожар. И так продолжается весь день; все, что мне приходится делать, кажется мне невероятно трудным, если же я все-таки заставляю себя это делать, у меня уходит очень много времени, несмотря на мои старания справиться как можно скорее. Таким образом проходит день, а я ничего не сделала, ведь, что бы я ни делала, я все время занята своими мыслями. И когда у меня, несмотря на все усилия, что-то не ладится в жизни, я прихожу в отчаяние и горько плачу. Так у меня всегда проходят месячные. Они начались у меня на двенадцатом году. Мои родители считают все это притворством. Двадцати четырех лет я пыталась покончить с собой, но меня спасли. В то время я еще не имела половых сношений и возлагала на них большие надежды, к сожалению — напрасно. Я была в этом отношении очень умеренна, а в последнее время ни о чем таком не хочу и слышать, поскольку чувствую себя и физически очень слабой.

14 августа. Вот уже неделя, как я чувствую себя опять совсем плохо. Не знаю, что со мной будет, если так будет продолжаться. Мне кажется, что, если б у меня не было никого на свете, я не задумалась бы открыть на ночь газовый рожок. Но я не могу так огорчить мать. Я, правда, очень хотела бы схватить серьезную болезнь, от которой бы умерла. Я все записала так, как у меня в самом деле на душе¹³.

*Поединок начинается! Стоит
дождливая погода*

Однако, по какой-то причине (целую руку вам, madame¹⁴, целую), по какой-то причине, надо подумать, надо подумать, и Герберт расхаживает в войлочных туфлях у себя по комнате и думает, а дождь льет без конца, без конца, так что даже на улицу не выглянешь, сигары все вышли, а в доме их не купить, и почему это в августе бесперывные дожди, весь месяц уплывает куда-то прочь, а дождь все хлещет да хлещет, и почему это Франц ходит теперь к Рейнхольду и постоянно говорит о нем? (Целую руку вам, madame,

и не кто иная, как Зигрид Онегина¹⁵, услаждала нас своим пением, пока он окончательно не отказался от этого дела, не поставил на карту свою жизнь и тем самым не обрел новую жизнь!) Франц-то наверно знает, почему и по какой причине, он-то уж наверно знает, а дождь все не перестает, Франц мог бы зайти и к ним.

«Послушай, стоит ли над этим задумываться, будь доволен, Герберт, что он бросил эту несчастную политику; к тому же если тот — его друг». — «Что ты говоришь, Ева — его друг? Поставьте-ка точку, фрейлейн. Уж мне ли этого не знать. Он просто чего-нибудь добивается от этого молодчика, просто чего-то хочет...» (По каковой причине, однако, акт продажи утверждается центральным правлением, так что цена должна быть признана соответствующей¹⁶.) «Он чего-то хочет, но чего, и почему он туда ходит и постоянно толкует об этом?.. Потому что хочет порешить там кого-нибудь из них. Он просто хочет втереться к ним, Ева, а когда он войдет в ту компанию, вот увидишь, он сделает пиф-паф, никто и опомниться не успеет». — «Ты думаешь?» — «А то нет?» — «Дело ясное, целую руку вам, madame, ну и дождь!» — «Ты в самом деле так думаешь, Герберт? По правде сказать, мне это тоже казалось с самого начала более чем странным, что человек дает отхватить себе руку, а потом еще идет к ним». — «Вот именно». — «Герберт, а как ты думаешь, неужели так-таки ничего ему и не говорить и делать вид, будто мы ничего не замечаем, совсем слепы?» — «Что ж, по его мнению, мы ослы, с нами можно все себе позволить». — «Пожалуй, Герберт, это будет самое правильное, так мы и сделаем. Ведь это же такой чудак». Акт продажи утверждается центральным правлением, таким образом, предложенная цена, на основании чего, на основании чего, подумать, хорошенько подумать, дождь.

«Вот что я тебе скажу, Ева, молчать-то мы, конечно, сумеем, но держать ухо востро мы все-таки должны. Что, если Пумсовы ребята вдруг почуют неладное? Что тогда? А?» — «Это же и я говорю, я сразу подумала, боже мой, почему это он лезет туда с одной-то рукой?» — «Потому что так надо. Только присматривать за ним придется всюю, и пусть Мици тоже держит ухо востро». — «Хорошо, я ей скажу. А что она может сделать?» — «Не упускать Франца из виду». — «Если только ее старик оставит ей время на это». — «Ну тогда пусть даст ему отставку». — «Да ведь он же поговаривает о женитьбе». — «Ха-ха-ха! Вот, умора! Что, что он хочет? Жениться? А Франц?» — «Конечно, это чушь. Это старик просто зря болтает. Отчего не поболтать?» — «Пускай Мици лучше присматривает за Францем. Вот увидишь, он наметит себе, кого нужно, из этой шайки, и в один прекрасный день — быть покойнику!» — «Ради бога, Герберт, перестань». — «Ах, Ева, покойником ведь не обязательно должен быть Франц. Так вот пускай Мици хорошенько за ним приглядывает». — «Я тоже позабочусь об этом. А знаешь, ведь это гораздо хуже политики». — «Этого ты не понимаешь, Ева. Этого вообще ни одна баба не поймет, я тебе говорю, Ева, с Францем будет дело. Он теперь себя покажет».

Целую руку вам, madame, он победил жизнь, выиграл жизнь, поставив свою жизнь на карту, ну и август же в нынешнем году, гляди-ка, дождь так и льет, так и льет.

«Что ему нужно у нас? Я сказал ему, что он с ума спятил, что он совсем сдурел, да я так ему и сказал, что если к нам приходит человек с одной рукой и хочет принять участие, то. А он». — «Ну, что же он?» — спрашивает Пумс. «Он? Он только смеется и скалит зубы, я же говорю, что он круглый дурак, у него, наверно, с тех пор в голове гайка развинтилась. Сперва я даже подумал, что ослышался. Что? — спрашиваю. — С одной-то рукой? А он смеется, почему бы и нет, силы у меня и в одной руке довольно, вот увидишь, я могу выжимать гири, стрелять, даже лазать, если понадобится». — «Ну и что ж? Это правда?» — «А мне какое дело. Не нравится он мне что-то. На кой черт нам такой нужен? Разве такие тебе, Пумс, для работы нужны? Вообще, когда я только вижу его гнусную морду — нет, благодарю покорно». — «Как хочешь. Я не настаиваю. Ну, мне пора, Рейнхольд, надо еще достать лестницу». — «Смотри, возьми хорошую, стальную, что ли. Складную или выдвижную. И только не в Берлине». — «Знаю». — «А баллон? Гамбург или Лейпциг». — «Это я узнаю». — «Но как мы его доставим сюда?» — «Не беспокойся, устрою». — «Значит, Франца, как сказано, не брать с собой?» — «Рейнхольд, я думаю, что касается Франца, то он для нас будет только обузой, но мы не будем вмешиваться, ты уж сам с ним столкнись». — «Погоди, разве тебе нравится его физиономия? Ты только представь себе: я выбросил его из автомобиля, а он как ни в чем не бывало является сюда ко мне, у него, должно быть, не все дома, представь себе, стоит этот человек, дрожит, как осиновый лист, ну разве не идиот, и зачем этот идиот вообще ко мне пришел? А потом он еще смеется и непременно хочет работать вместе с нами». — «Словом, договорись с ним как хочешь. Мне пора идти». — «Может быть, он хочет нас продать?» — «Возможно, очень возможно. В таком случае, ты лучше держись от него подальше, это будет самое разумное. Ну, пока». — «Он нас продаст, не иначе. Или пристукнет кого-нибудь из нас, при случае, в темном уголке». — «До свиданья, Рейнхольд, я пошел. Лестница, понимаешь».

Дурак этот Биберкопф, дурак, — думает Рейнхольд, — но он что-то от меня хочет. Разыгрывает святошу, а у самого на уме, как бы свести со мной счеты, или что-нибудь в этом роде. Но только тут ты, брат, маху дашь, рассчитывая, что я ничего не предприму. Я тебя, брат, еще во как скручу. Надо выпить. Шнапса, шнапс согревает, эх, хорошо. Коль у тетушки запоры, ей полезны помидоры¹⁷. И с чего он взял, что я должен о нем заботиться, у нас ведь не страховая касса. Пускай он себе, если инвалид с одной рукой, хоть марки приклеивает. (Рейнхольд ходит, волооча ноги, по комнате и разглядывает горшки с цветами.) Ведь вот стоят тут горшки с цветами, и эта баба получает особо две марки в месяц, а цветы так-таки не поливает, на что это опять похоже, сухой песок.

Этакая дура, паскуда ленивая, только даром деньги с меня тянет. Погоди, я тебе потяну. Ну-ка, еще рюмочку. Это я у него научился. А, может быть, я все-таки возьму его, стервеца, с собою, тогда, брат, наплачешься, уж если тебе так хочется. Уж не думает ли он, что я боюсь его? Похоже на то. Пусть только сунется! Этот номер ему не пройдет. Денег ему не надо. У него есть Мици, а потом у него еще этот паршивый мальчишка, этот нахал Герберт, этот старый козел, так что он обеспечен. Где мои сапоги, я ему ноги переломаяю. Приди, приди ко мне на грудь, сердце-радость моя¹⁸. Пожалуйста, молодой человек, на скамью кающихся грешников, у меня как раз есть такая скамья, можете каяться.

И он ходит, волоча ноги, и тычет пальцем в цветочные горшки: ей, стерве, две марки платят, а она не поливает. На скамью кающихся, молодой человек, вот и прекрасно, что вы пришли. А в Армию Спасения я тебя тоже еще затащу, на Дрезденерштрассе, как же, пускай посидит на скамье кающихся, этот боров пучеглазый, этот сутенер, эта скотина, ведь это ж форменная скотина, будет сидеть себе, скотина, в первом ряду и молиться, а я буду смотреть на него и покатываться со смеху.

А в самом деле, почему бы Францу Биберкопфу не сесть на скамью кающихся? Разве это не подходящее для него место? Кто это сказал?

Что можно возразить против Армии Спасения, и почему Рейнхольд, именно Рейнхольд считает себя вправе зубоскалить по поводу Армии Спасения, когда он сам как-то раз, что я говорю раз, не раз, а гораздо чаще, раз пять по крайней мере, бегал на Дрезденерштрассе, да еще в каком состоянии, и ему там помогли. То-то и есть, он уж тогда было совсем язык высунул, а его поставили на ноги, конечно, не для того, чтоб он стал таким негодяем.

Аллилуйя, аллилуйя, Франц это пережил, вот это пение, этот призыв. Нож подступил ему к горлу, Франц, аллилуйя. Он подставляет горло, он ищет свою жизнь, свою кровь. Моя кровь, мое сокровенное, вот оно наконец выходит наружу, что за долгое путешествие, пока оно появилось, Боже, как это было трудно, вот оно, вот я тебя держу, почему я раньше не хотел на скамью кающихся, отчего я не пришел раньше, ах, вот я пришел, прибыл на место.

Так почему бы не сесть Францу на скамью кающихся, когда же наступит блаженный миг, когда он грянет наземь перед своей страшной смертью и откроет рот и сможет запеть вместе со многими другими, которые за ним:

О грешник, не медли, к Иисусу приди, о, узник, воспрянь и на свет выходи, спасенье сегодня же ты обретешь, уверуй, и радость в душе ты найдешь. Припев: Спаситель все узы твои разорвет, Спаситель все узы твои разорвет и к славной победе тебя приведет, и к славной победе тебя приведет¹⁹. Музыка! Дуть во все щеки, греметь, чингдарада: он узы твои разорвет и к славной победе тебя приведет. Трара, трари, трара! Шрум! Чингдарада!

А Франц не уступает, ему ни до Бога, ни до людей нет дела, ему все нипочем, словно пьяному. Он пробирается в комнату Рейнхольда вместе с други-

ми ребятами из Пумсовой шайки, которые не хотят принять его к себе. Но Франц лезет в драку, размахивает единственным своим кулаком и орет: «Если вы мне не верите и считаете меня обманщиком и что я вас продам, то и черт с вами. Больно вы мне нужны, если б я захотел работать! Я ведь могу и к Герберту пойти, и куда угодно». — «Сделай одолжение». — «Сделай одолжение! Тебе ли, обезьяне бесхвостой, говорить мне “сделай одолжение”. На, взгляни на мою руку, ты, это меня вон тот молодчик, ваш Рейнхольд, из автомобиля вытряхнул, да на всем ходу. Я и то стерпел, а теперь я пришел к вам, и нечего тебе говорить мне “сделай одолжение”. Раз я прихожу к вам и заявляю, что желаю работать с вами, то вы должны знать, кто такой Франц Биберкопф. Он еще ни одного человека не подвел, можешь спросить кого хочешь. Плевать мне на то, что было, рука пропала, вас я знаю, вот я весь перед вами, кажется, ясно, — соображаешь?» Но маленький жестящик все еще не понимает. «Все-таки желательно бы знать, почему это тебе теперь вдруг так приспичило, а тогда ты бегал с газетами по Алексу, попробовал бы тебе тогда кто-нибудь предложить пойти работать с нами».

Франц плотнее усаживается на стуле и долго ничего не отвечает, остальные тоже молчат. Ведь он же поклялся, что будет порядочным человеком, и вы сами видели, как он в течение нескольких недель в самом деле был таким, но это была только отсрочка, из милости. Его вовлекают в преступления, он не хочет, он отбивается, но это не помогает, он должен подчиниться, должен. И долго сидят они так и ничего не говорят.

Наконец, Франц заявляет: «Если тебе желательно знать, что за человек Франц Биберкопф, то сходи разок на Ландсберггераллее, на кладбище, там лежит одна. За это я отсидел четыре года. Это дело сделала еще та моя рука. Потом я торговал газетами! Думал стать порядочным человеком».

Франц тихо стонет, глотает слюну: «Что из этого вышло, ты видишь. Если тебе дают такой урок, то живо покончишь и с торговлей газетами, и с чем угодно. Вот потому-то я и пришел сюда». — «Что ж, по-твоему, мы должны приделать тебе новую руку, за то, что мы ее испортили?» — «Этого вы не можете, Макс, с меня довольно уже и того, что я сижу здесь, а не бегаю по Алексу. Я Рейнхольда ни в чем не виню, спроси-ка его, сказал ли я ему хоть слово. Если б я сидел в автомобиле и тут же оказался бы подозрительный тип, я бы тоже знал, как поступить. Ну, да не стоит больше говорить о моей глупости. Если ты, Макс, когда-нибудь сделаешь глупость, то я тебе желаю, чтоб ты тоже при этом чему-либо научился». С этими словами Франц берет шляпу и выходит из комнаты. Вот как обстоит дело.

А там Рейнхольд, наливая себе из фляги рюмочку шнапса, говорит оставшимся: «Для меня это вопрос решенный. Если я в первый раз справился с этим парнем, я и дальше с ним справлюсь. Вы, конечно, можете сказать, что, мол, рискованно связываться с ним. Но, во-первых, хвост у него уже сильно замаран: он сутенер, это он сам признает, и с порядочностью его покончено. Оста-

ется один вопрос: почему он идет к нам, а не к Герберту, который с ним так дружен? Не знаю. Предполагать можно всякое. Словом, мы были бы дураками, если бы не справились с каким-то господином Францем Биберкопфом. Пускай он себе поработает с нами. Если сфальшивит, то получит по кумполу, только и всего. Вот я и говорю: пускай приходит». И Франц приходит.

*Франц, Франц-громила,
не лежит больше под автомобилем,
а важно сидит в нем, он добился своего*

В самом начале августа так называемые господа преступники пребывают еще в покое и в резерве, занятые отдыхом от трудов и всякой дребеденью. При мало-мальски хорошей погоде знаток и специалист этого дела ни за что не пойдет на взлом, да и вообще не станет утруждать себя. Это — занятие зимнее, потому что зимой волей-неволей приходится вылезать из норы. Франц Кирш, например, известный шнифер, специалист по взлому несгораемых касс, бежал месяца два тому назад, в начале июня²⁰, вместе с товарищем из Зонненбургской тюрьмы. Дело в том, что Зонненбург, Солнцеград, как бы ни было красиво это название, мало пригоден для приятного отдохновения, и потому этот Кирш предпочел отдыхать в Берлине, где он провел два сравнительно спокойных месяца, подумывая на досуге о предстоящей работенке. И вдруг, такова уж жизнь, — неприятное осложнение. Понесла, понимаете, этого человека нелегкая прокатиться на трамвае. Откуда ни возьмись — «быки», это теперь-то, в начале августа, снимают его в Рейникендорфе²¹ с трамвая, и прости-прощай отдых и прочее, что ж, ничего не поделаешь. Впрочем кроме Кирша на воле остается еще много других, и они мало-помалу примутся за работу.

Но вперед, мне хотелось бы наскоро просмотреть сведения о погоде по данным берлинской метеорологической станции. Общее состояние погоды: область высокого давления в западной части распространила свое влияние до Центральной Германии и вызвала повсеместное улучшение погоды. Область высокого давления в южной части уменьшается. Таким образом, необходимо считать с тем, что наступившее улучшение погоды не будет устойчивым. В субботу погода у нас все еще будет определяться антициклонами и будет довольно хорошей. Однако депрессия, развивающаяся теперь над Испанией, окажет влияние на погоду и у нас.

Берлин и его окрестности: Пасмурно, затем ясно, небольшой ветер, медленное повышение температуры. В Германии: в западной и южной частях переменная облачность, слабый ветер в северо-восточной части, постепенное потепление²².

Итак, при такой весьма посредственной погоде вся шайка Пумса, включая Франца, медленно приходит в движение; дамы также за то, чтоб кавалеры немного поразмяли себе ноги, ведь потом-то придется выйти на улицу им, дамам, а охотно этого ни одна из них не делает, разве только нужда заставит. Но кавалеры говорят, что сперва надо изучить рынок, подготовить сбыт, поскольку если не идет готовое платье, то надо перейти на меха, что ли. Дамы думают, что такая штука — раз-раз и готово; это потому, что сами они только одно дело и знают, что ж, их дело немудреное, ему скоро научишься, а вот суметь приспособиться, когда конъюнктура плоха, — на это у них смекалки не хватит, а потому им нечего и вмешиваться.

Пумс познакомился с одним жестянщиком, который смыслит малую толику в автогенной резке; стало быть, один уже есть. Потом там имеется еще прогоревший купчик, очень элегантный с виду, работать этот лодырь не хотел, потому мать его и прогнала, но мошенничать он мастер, знает, кто чем торгует, а потому его можно послать куда угодно, чтоб он подыскал что-нибудь подходящее и подготовил «дельце». Пумс говорит ветеранам своей шайки: «В сущности, нам не приходится считаться с конкуренцией, это у нас, конечно, так же, как и всюду, мы друг другу не мешаем. Однако если мы не будем привлекать хороших людей, которые знают свое дело и разбираются в его тонкостях, то можно здорово прогадать. В таком случае лучше просто заняться карманными кражами, каждый на свой риск и страх, а не составлять компанию в шесть или восемь человек».

Так как они специализировались на конфекционе²³ и мехах, то всем, у кого есть ноги, приходится взять их в руки и выискать магазины, куда легко можно было бы загнать товар без особых расспросов и куда сыскная полиция не так часто заглядывает. Ведь все же можно переделать, перешить или просто, наконец, сдать на некоторое время на хранение. Вот только найти бы надежного человека.

Дело в том, что со своим скупщиком в Вейсензее Пумс никак не может поладить. Если работать, как тот, никакого дела не сделаешь. Живи и жить давай другим²⁴. Хорошо. По той причине, что он, скупщик, будто бы прогадал за последнюю зиму — это он говорит! — и даже приплатил из своего кармана и влез в долги, а Пумсовы ребята летом развлекались, — так вот на этом основании требовать обратно деньги и плакаться, что он, мол, прогорел на этом деле — нет, не пойдет! Ну прогорел и прогорел, что ж такого. Значит, он — болван, плохой коммерсант, ничего не смыслит в делах, нам не подходит. Придется поискать другого. Конечно, это легче сказать, чем сделать, но это необходимо, и о таких делах заботится во всей банде один только наш старший Пумс. Странно, где ни спросишь, всюду другие ребята тоже заботятся о том, что делать с товаром, потому что от одной кражи сыг не будешь, а надо еще обработать товар в деньги, но как сказано: только у Пумса все — лежебоки. «У нас есть

Пумс, — говорят они, — он уж все устроит!» Устроит, и устраивает. Ну, а что, если Пумс не может? Ха-ха! Ведь, бывает же и такое. Может же и с Пумсом что-нибудь случиться, тоже ведь, так сказать, человек. Тогда, небось, увидите, на кой черт вам вся «работа», если товар не сбьть. Нынче на свете мало одной только фомки и кислородной резки, нынче требуется еще, чтоб человек был дельцом, с головой.

Поэтому Пумс, когда в начале сентября приходит пора действовать, заботится не только об аппарате для кислородной резки, но и о том, куда сплавить товар. Этим вопросом он занялся еще с августа. А если вы желаете знать, кто такой этот Пумс, так извольте: он состоит вкладчиком в пяти небольших меховых торговлях и скорняжных мастерских — где, не важно, — затем у него вложены деньги в парочку «американских» заведений для утюжки платья, с гладильной доской под окном, за которой стоит, сняв пиджак, портной, он то и дело откидывает и опускает ее, работа кипит, пар столбом, а в задней комнате висят пальто и костюмы, в которых вся суть-то и заключается, мда, именно в них-то и заключается вся суть, а если спросить, откуда они, то ответ гласит: От заказчиков. Только вчера принесены для утюжки и переделки. Вот и адреса, и корешки квитанций, так что если вздумают заглянуть в такое заведение «быки», то все в порядке. Таким образом, наш славный толстый Пумс предусмотрел все для зимнего сезона. Ну, поэтому и мы можем сказать: теперь пора приступить к делу. А если что и случится, то, извините, ни один человек не в силах все предусмотреть; некоторая доля везенья требуется в каждом деле, и над этим мы себе даже не будем ломать голову.

Итак, давайте дальше по тексту. Стало быть, у нас начало августа, и наш элегантный мазурик, который прекрасно умеет подражать голосам животных — впрочем, мы этого не услышим, — Вальдемар Хеллер²⁵ по имени и фамилии, пронюхал-таки в больших конфекционных на Кроненштрассе²⁶ и на Нойе-Валльштрассе²⁷, где можно сделать дело. Он выведал, где входы, где выходы, где парадная дверь, где задняя, кто живет наверху, кто внизу, кто сторожит, где проведены тревожные сигналы. Расходы — за счет Пумса. Пришлось как-то Хеллеру выступить и в роли закупщика для одной только что открывшейся фирмы в Познани; ему говорят, что сперва наведут справки об этой фирме, пожалуйста, сколько угодно, мне-то ведь надо было только посмотреть, какой высоты у вас потолки, на случай если мы пожалуем к вам на этих днях сверху.

В этом деле, в ночь с субботы на воскресенье, впервые участвует Франц. Он добился своего, этот Франц Биберкопф, сидит в автомобиле, все знают, что делать, и у него тоже есть своя роль, как и у других. Дело идет как по маслу. На стреме стоит на сей раз не Франц, то есть собственно говоря, это даже не стрема, потому что три парня просто забрались еще с вечера в типографию

этажом выше, втащили туда по черному ходу в ящиках складную лестницу и аппарат для резки и спрятали их за кипами бумаги, один привез всю компанию на автомобиле, и в 11 вечера те трое бесшумно отперли прибывшим дверь, так что во всем доме ни одна собака ничего не заметила, еще бы — там только магазины и конторские помещения. Затем вся компания преспокойно приступает к работе, один стоит у окна и поглядывает на улицу, другой смотрит во двор, жестянщик, в защитных очках, орудует на полу со своей кислородной резкой, прожигает дыру полметра в квадрате. Когда он проник уже сквозь деревянный настил потолка, внизу раздается треск и грохот, но это ничего, это отвалились куски штукатурки, потолок лопается от жара, в получившееся маленькое отверстие просовывают тонкий шелковый зонтик, и куски штукатурки попадают уже в раскрытый зонтик, то есть большая их часть, всех никак не уловить. Но все спокойно, внизу темно и тихо, как в могиле.

В 10 спускаются вниз; первым — элегантный Вальдемар, потому что он знаком с помещением. Слезает по веревочной лестнице, как кошка, он первый раз в деле, но ни чуточки не робеет, таковы уж эти ветрогоны, им всегда больше всех везет, конечно, лишь до поры до времени, пока не засыплются. За ним лезет еще один, в стальной лестнице — всего два с половиной метра, поэтому эти вдвоем приносят столы, осторожно принимают сверху лестницу и устанавливают ее на верхнем столе, ну, готово, пожалуйста, Франц остается наверху, лежит на животе над дырой, хватает, точно рыбак, рукой тюки материй, которые подают ему снизу, и передает их стоящему за ним человеку. Франц силен. Даже Рейнхольд, который работает внизу вместе с жестянщиком, удивляется, какие Франц штуки выдвывает. Забавная история — идти на дело с одноруким! Его рука работает, как подъемный кран, поразительно, занятный номер. Потом корзины тащат к выходу. Хотя во дворе стоит стремяк, Рейнхольд делает обход. Еще час, и тогда все в порядке. По дому проходит сторож, только не трогать его, авось не заметит, дурак бы он был, если бы позволил себя пристрелить за те гроши, которые ему платят, ну, видишь, вот он и отчаливает, какой порядочный человек, надо будет оставить ему сотенную бумажку рядом с контрольными часами²⁸. Уже два часа, машина приедет в половине третьего. Тем временем те, наверху, всю пируют, только шнапса, пожалуйста, поменьше, а то после него, чего доброго, еще начнешь буянить, наконец бьет половина третьего. Двое из участников вышли на дело с этой шайкой в первый раз — Франц и элегантный Вальдемар. Наспех они бросают монетку: орел или решка, Вальдемар выигрывает, значит, ему выпало наложить печать на сегодняшнее дело, он еще раз спускается по лестнице в темный, обчищенный склад, расстегивает штаны, садится на корточки и выдавливает на пол все, что у него в кишках.

А когда в половине четвертого сгрузили на место всю добычу, наши молодцы живым манером обдельывают еще одно такое же дельце, потому что —

почем знать, когда-то еще придется свидетелься на зеленых берегах Шпрее?²⁹ Тут тоже все проходит гладко. Только на обратном пути их машиной задавило собаку, этакая ведь оказия, что приводит в необычайное волнение Пумса, большого любителя собак, и он принимается ругательски ругать жестянщика, везшего их за шофера, зачем он не давал гудка, выгнали несчастную собачку на улицу, потому что не желают платить налог, а вот этакий остолоп непременно должен ее задавить! Рейнхольд и Франц неистово хохочут над стариком, который так убивается из-за какой-то собаки, видно, голова-то у него начинает сдавать. А жестянщик оправдывается, говорит, что давал гудок, да, и даже два раза, а собака была туга на ухо. С каких же это пор бывают тугоухие собаки? Что ж, может быть, повернуть обратно и свезти собачку в больницу? Ладно, нечего глупости болтать. Лучше бы глядел как следует на дорогу, терпеть не могу такие штуки, примета нехорошая — к несчастью. Тут Франц жестянщика — в бок: Это он с кошками пугает. И все ржут, заливаются.

Два дня Франц не говорит дома ни слова о том, что было. И только когда Пумс присылает ему две сотенные и велит передать, что если они ему не нужны, то он может их вернуть, Франц смеется, деньги всегда нужны, Герберту отдам долг за Магдебург³⁰. А к кому он идет, кому дома заглядывает в глаза, кому, ну, кому? Ты знаешь, для кого хранил я сердце чистым? Лишь для тебя, лишь тебя одной. Мне эта ночь подарит счастье, приди, приди в наш сад густой. Тебе я пылко буду клясться, что наш союз решен судьбой³¹. Мицекен, золотая моя Мицекен выглядит как невеста из марципана, в золоченых туфельках, стоит и ждет, что это ее Франц возится со своим бумажником. А Франц зажал его между колен, вынимает из него деньги, пару крупных кредиток, протягивает ей, кладет на стол, а сам так и сияет, и так нежен с ней, как только умеет этот большой ребенок, и сжимает ее пальцы, какие у нее прелестные, тонкие пальчики.

«Ну, Мици, Мицекен?» — «Что такое, Франц?» — «Да, ничего, я просто радуюсь на тебя». — «Франц!» Как она умеет глядеть, как она умеет сказать: «Франц!» — «Радуюсь, и больше ничего. Видишь, Мици, это так смешно устроено на свете. У меня ведь теперь совсем не так, как у других людей. Им живется не плохо, они себе бегают, носят, зарабатывают деньги, наряжаются. А я — я же не могу так, как они. Мне все приходится оглядываться на свою шкуру, на куртку, на рукав, потому что руки у меня нет». — «Францекен, ты же мой славный Францекен». — «Ну да, так оно уж есть, Мицекен, и мне этого не изменить, да и никому не изменить, но если приходится постоянно думать об этом и возиться с этим, ведь это как открытая рана». — «Да, я знаю, Францекен, знаю. Что это с тобой вдруг, ведь я тут, все уже давно зажило и прошло, и не начинай ты опять вспоминать старое». — «Я и не начинаю. Вот именно, что не начинаю, — он улыбается ей снизу в лицо, ах, какое у нее гладкое, словно

точное, красивое лицо, и что за чудные, живые глаза. — Ты погляди, что на столе-то лежит, деньги! Это я сам заработал, Мици, и дарю тебе». Ну, в чем дело? Почему она делает такое лицо, почему? И смотрит на деньги так, точно они кусаются? Нет, они не кусаются, они хорошие. «Ты сам заработал?» — «Да, детка, это я сам. Видишь, я должен работать, иначе со мной беда. Иначе я пропаду. Ты только никому не говори, это у меня было дело с Пумсом и Рейнхольдом, в ночь на воскресенье. Смотри, не говори Герберту или Еве. Если они узнают, то я для них все равно что умер». — «Откуда у тебя деньги?» — «Я же говорю, мышенок, дело сварганили, с Пумсом, ну и что ж такое, Мици? А это тебе в подарок от меня. Получу я за это поцелуй, или нет, ну, что скажешь?»

У нее голова опущена на грудь, а затем Мици прижимается щекой к его щеке, целует, обнимает его, и ничего не говорит. Даже не глядит на него: «Это ты даришь мне?» — «Ну да, а то кому же?» Что такое с девчонкой, чего она комедию ломает? «А? Почему ты вздумал подарить мне деньги?» — «Что ж, разве ты отказываешься?» Она беззвучно шевелит губами, отпускает его, и теперь Франц видит: она выглядит совсем так, как тогда на Алексе, когда они шли от Ашингера, она вянет, вот-вот хлопнется. И вот она сидит уже на стуле, уставившись в одну точку на голубой скатерти. В чем дело? Вот и пойми этих женщин! «Детка моя, разве ж ты не хочешь? А я так радовался, ну, взгляни хоть разок, ведь мы на эти деньги можем куда-нибудь поехать, отдохнуть, Мици». — «Это верно, Францекен».

И роняет голову на край стола, и плачет, плачет! Что это с ней такое? Франц гладит ее по голове, и так ласков с ней, так нежен, ты знаешь, для кого хранил я сердце чистым? Лишь для тебя, тебя одной. «Детка моя, Мицекен, если мы можем съездить куда-нибудь на эти деньги, то разве ж ты не хочешь, не хочешь со мной поехать?» — «Хочу». И вот она подымает голову, свою милую гладенькую мордашку, а вся пудра смешалась со слезами в какой-то соус, и обхватывает Франца рукой за шею, и прижимается лицом к его лицу, и вдруг быстрым движением отпускает его, словно ее что-то укусило, и снова плачет на краю стола, впрочем, этого не видно, потому что она совсем притихла, не пикнет. Что же это я опять не так сделал, не хочет она, чтоб я работал. «Ну, давай, подыми головку, подыми свою маленькую головку. О чем ты плачешь?» — «Ты хочешь... ты хочешь, — уклоняется она от прямого ответа, — отделаться от меня, Франц?» — «Бог с тобой, детка». — «Не хочешь, Францекен?» — «Да нет же, боже ты мой». — «Тогда почему ты бегаешь, разве я недостаточно зарабатываю? Кажется, достаточно». — «Мицекен, я же только хотел тебе что-нибудь подарить». — «Ну а я не хочу». И снова роняет голову на жесткий край стола. «Как же так, Мици, неужели мне только бездельничать? Я так не могу жить». — «Я и не говорю, но только тебе не надо из-за денег. Я их не хочу».

Мици выпрямляется на стуле, обнимает Франца за талию, блаженно глядит ему в лицо, болтает всякую милую чепуху и просит, умоляет: «Не надо мне их, не хочу. И почему ты ничего не скажешь, когда тебе что надо?» — «Да мне, детка, ничего и не надо. Но неужели мне так-таки ничего не делать». — «Я ведь уж что-то делаю. А иначе на что я тебе, Францекен?» — «Да, но я... я...» Она бросается ему на шею. «Ах, только не сбеги от меня, — лепечет она, и целует его, и манит. — Подари эти деньги кому-нибудь другому, дай их Герберту, Франц». И Францу так хорошо со своей девочкой. Какая у нее кожа. Только глупо было с его стороны рассказывать Мици про Пумса, конечно же, в этом она ничего не смыслит. «Так ты мне обещаешь, Франц, что больше не будешь?» — «Да ведь я же не из-за денег, Мицекен». И только тут приходит ей в голову, что говорила Ева: чтоб она приглядывала за Францем.

Ей становится легче на душе: значит, он в самом деле взялся за это не ради денег, а из-за того, что он говорил перед тем о руке. И верно, деньгами он совершенно не интересуется, деньги ведь он получает от нее, сколько ему надо. И, лаская его, она думает и думает.

Горести и утехи любви

И, когда Франц ее всю расцеловал, она немедленно шмыг из дому и прямо к Еве. «Франц принес мне двести марок. Знаешь, откуда? От тех, ну, как их, ты уж знаешь». — «От Пумса?» — «Вот, вот, он мне сам сказал. Что мне делать?»

Ева зовет Герберта и говорит ему, что Франц ходил в субботу на дело с Пумсом. «А он говорил, где было дело?» — «Нет. Как же мне теперь быть?» — «Скажите, пожалуйста! — удивляется Герберт. — Так-таки взял да и пошел с ними!» — «Ты в этом что-нибудь понимаешь, Герберт?» — спрашивает Ева. «Ни черта! Непостижимо!» — «Что же нам теперь делать?» — «Оставить в покое. Ты думаешь, ему интересны деньги? Вот тебе доказательство, что я прав. Он взялся за дело вплотную, мы о нем скоро что-нибудь услышим». Ева стоит против Мици, этой бледной проституточки, которую она подобрала на Инвалиденштрассе; обе как раз вспоминают, где они встретились впервые; это было в кабачке рядом с отелем Балтикум³². Ева сидела там с каким-то провинциалом, ей это совершенно ненужно, но она любит такие экстравагантности, а крутом много девиц и три-четыре парня. В десять часов вваливаются агенты уголовной полиции, производившие облаву в Центральном районе, и всех препровождают в участок у Штеттинского вокзала, идут гуськом, наглые, с папиросами в зубах. «Быки» шествуют впереди и сзади, пьяная старуха Ванда Губрих, конечно, во главе, ну а потом — обычные скандалы в участке, и Мици, она же

Соня, рыдает у Евы на груди, потому что теперь все станет известно в Бернау, один из «зеленых» выбивает папироску из рук пьяной Ванды, и она одна, нецензурно ругаясь, отправляется в арестантскую камеру и захлопывает за собой дверь.

Ева и Мици смотрят друг на друга. Ева подзуживает: «Тебе придется теперь глядеть в оба, Мици». — «Да что же мне делать?» — канючит та. — «Это твой кавалер, ты сама должна знать, что для него лучше». — «А если я не знаю?» — «Только не реви, пожалуйста». А Герберт сияет. Говорит: «Поверьте, парень в порядке, и я очень рад, что он наконец принялся за дело всерьез, у него, наверно, есть свой план, ведь это третий калач». — «Ах, боже мой, Ева». — «Ну, полно реветь, сказано, не реветь, слышишь? Я тоже за ним присмотрю». Нет, эта в самом деле не заслуживает Франца. Нет, эта нет. И чего она нюни распустила? Не умеет вести себя, дура, вот уж индюшка. Так и хочется закатить ей пару хороших плюх.

Чу! Фанфары! Бой в разгаре, полки шагают, трара, трари, трара, артиллерия с кавалерией, кавалерия с пехотой, пехота и легчики, трари, трара, мы вступаем во вражескую землю. По этому случаю Наполеон сказал: Вперед, вперед, привала нет! Сухо сверху, но мокрый след. Подсохнет — врагу дадим по морде. Милан возьмем, получите орден. Трари, трара, трари, трарам, мы уже скоро будем там, о какая радость быть солдатом!³³

Мици недолго приходится реветь и раздумывать, что делать. Решение само дается ей в руки. Сидит этот Рейнгольд у себя в комнате, сидит у своей шикарной подружки, ходит по магазинам и мастерским, которые Пумс устроил для сбыта товара, и у него остается еще время на размышления. Этот субъект не перестает скучать, и скука ему не впрок. Когда у него есть деньги, они ему не впрок, пьянство ему тоже не впрок, уж лучше ему шляться по кабакам и пивным, прислушиваться, подрабатывать и попивать кофеек. А вот теперь, куда ни придешь, к Пумсу ли или в другое место, — всюду торчит у него перед носом этот Франц, этот остолоп, этот нахал, этот одноручка, корчит из себя важного барина, и всего этого ему еще мало, и прикидывается святошей, словно такой осел и мухи не обидит. Этот стервец чего-нибудь да хочет от меня. Как дважды два четыре. И постоянно-то он весел и куда я ни приду и где ни начну работать, он уж тут как тут. Придется, видно, принять решительные меры, придется.

Ну а что же делает Франц? Кто? Франц? Да что ж ему делать? Гуляет себе по белу свету, являя картину полнейшего покоя и безмятежности, какую только можно себе представить. С этим молодчиком вы можете делать, что угодно, он всегда падает на ноги, как кошка. Бывают такие люди, правда, не так уж их много, но бывают.

Вот, например, в Потсдаме, или близ Потсдама жил человек, которого потом называли «живым трупом». Ну и номер! Выкинул эту штуку некий Борнеман. Когда его изъяли из оборота и он отсиживал свои пятнадцать годиков тюремного заключения со строгой изоляцией, ему вдруг удается бежать, ну, бежит он из тюрьмы, впрочем, виноват, вовсе это не было близ Потсдама, а под Анкланом, называлось это местечко Горке. Встречает наш Борнеман на своем пути из Нойгарда мертвеца – плывет по реке, по Шпрее, у самого берега чье-то мертвое тело, и Нойгард, не-ет – Борнеман из Нойгарда, говорит себе: «Я ведь, в сущности, тоже умер для мира», забирает бумаги утопленника, подсовывает ему свои, и вот теперь он мертв на законном основании. А фрау Борнеман: «Что же мне-то тут делать? Тут больше ничего не поделаешь, умер человек и дело с концом, хоть это и мой муж – слава богу, что это он, потому что потерять такого мужа – не очень уж большое горе, ведь все равно ему пришлось бы сидеть полжизни, так что туда ему и дорога». Но наш Вальтерхен вовсе не умер. Он попадает в Горке и, убедившись, что вода – дело хорошее, да и вообще любя воду, становится рыботорговцем, торгует в Горке рыбой и зовется теперь Финке³⁴. Борнемана, значит, больше не существует. Но спалать его все-таки спалали. А почему и каким образом, это вы сейчас услышите, только держитесь покрепче на стуле.

И ведь должно же было именно так случиться, чтоб его падчерица нанялась прислугой в Горке, вы только подумайте, свет так велик, а ее угораздило приехать именно в Горке, и вот она встречает воскресшего рыбника, который уже сто лет живет в этом месте и как будто покончил все расчеты с Нойгардом, а тем временем девчонка выросла и выпорхнула из родного дома, так что он ее, натурально, не узнаёт, но зато она узнаёт его. И говорит ему: «Скажите, пожалуйста, ты же наш отец?» А он: «Что ты, рехнулась?» И так как она ему не верит, он зовет жену и пятерых (читай: пя-те-рых) детей, которые в один голос подтверждают, что он действительно Финке, торговец рыбой. Ну да, Отто Финке, это все в деревне знают. Ведь знает это каждый здесь, что Финке его звать, а Борнеман утонул давно, о нем и не слышать.

Но ее, хотя он ей ничего худого не сделал, никак не убедить. Кто знает, что происходит в душе девичьей. Ушла девица, но мысль крепко засела в ее голове. И вот она пишет в 4-е отделение уголовного розыска в Берлине: «Я несколько раз покупала у господина Финке, но как я его падчерица, то он не считает себя моим отцом и обманывает мою мать, потому что у него пятеро детей от другой». В результате: имена свои эти дети могли сохранить, но с фамилией у них дело вышло дрянь. Фамилия их оказывается вдруг Хундт, через «дт», то есть девичья фамилия их матери, а сами они все поголовно оказываются внебрачными детьми, для которых в Гражданском кодексе имеется такая статья: Внебрачный ребенок и его отец считаются не состоящими в родстве³⁵.

И вот так же, как этот Финке, являет картину полнейшего покоя и безмятежности и наш Франц Биберкопф. На этого человека напал когда-то хищный зверь и отгрыз ему руку, но он того зверя укротил, так что тот теперь только фыркает, пьшет жаром и ползет за ним. Никто из тех, кто бывает с Францем, кроме одного, не видит, как он этого зверя укротил и довел до того, что тот только ползет, пьшет жаром и фыркает за его спиной, Франц выступает твердо, носит буйную головушку высоко. Хотя он ничего не делает так, как другие, у него такие ясные глаза. А тот, которому он уж абсолютно ничего не сделал плохого, не перестает спрашивать себя: «Что ему надо? Он чего-то хочет от меня». Тот видит все, чего другие не видят, и все понимает. Мускулистый затылок Франца, его сильные ноги, его здоровый сон должны были бы, в сущности, быть ему совершенно безразличны. Но они ему не безразличны, они раздражают его, и он не в силах смолчать. Он должен так или иначе ответить на этот вызов. Но как?

Так от порыва ветра раскрываются ворота, и из загона выбегает большое стадо. Так муха раздражает льва, и бьет он по ней лапицей и страшно-престрашно рычит.

Так надзиратель возьмет маленький ключик, повернет его в замке, и на волю вырвется толпа преступников — убийц, насильников, взломщиков, воров и бандитов.

Рейнхольд рассказывает взад и вперед у себя по комнате или в кабачке у Пренцлаурских ворот и думает, думает, думает так и думает этак. И в один прекрасный день, когда, как ему доподлинно известно, Франц отправился вместе с жестянщиком выработать план нового дельца, Рейнхольд, была не была, подымается к Мици.

А та его до сих пор и в глаза не видала. Смотреть-то не на что в этом человеке, Мици, но с другой стороны ты права, он вовсе не дурен собою, немножко печален, вял, болезненный какой-то, весь желтый, но — недурен!

Да ты посмотри на него как следует, дай ему ручку и взглядишь, сделай одолжение, повнимательнее в его лицо. Это лицо, Мицекен, для тебя поважнее всех лиц, которые существуют на свете, важнее лица Евы и даже важнее лица твоего возлюбленного Францекена. И вот этот человек подымается по лестнице, день сегодня самый обыкновенный, четверг, 3 сентября, ну погляди же, неужели ты ничего не подозреваешь, не знаешь, не предчувствуешь своей судьбы?

Какова же твоя судьба, крошка Мици из Бернау? Ты молода, зарабатываешь деньги, любишь своего Франца, и потому-то в эту минуту подымается по лестнице и стоит перед тобой и пожимает твою ручку Францева, а отныне и твоя, судьба. Лицо этого человека не стоит особенно разглядывать — только руку, обе его руки, обе невзрачные руки в серых кожаных перчатках.

Рейнхольд явился в своем лучшем костюме, и Мици сначала не знает, как ей держать себя с посетителем, то ли его послал Франц, то ли это ловушка со стороны Франца, нет, нет, не может быть. И вот он уже говорит, что Франц ничего не должен знать о его посещении, потому что Франц такой мнительный. Дело в том, что ему, Рейнхольду, необходимо переговорить с ней, потому что с Францем, собственно, трудно работать, поскольку у него только одна рука, да и так ли ему уж нужно работать, этим вопросом интересуются все товарищи. Ну, тут Мици смекнула, куда он гнет, и вспомнила, что говорил Герберт о намерениях Франца и отвечает: «Нет, зарабатывать деньги, если на то пошло, ему не так уж нужно, потому что есть люди, которые ему всегда готовы помочь. Но, может быть, это его не удовлетворяет, ведь мужчина тоже хочет работать». А Рейнхольд: «Совершенно верно, пусть работает. Но только работа-то наша довольно трудная, работа не простая, и заниматься ею может даже не всякий из таких, кто обладает двумя здоровыми руками». Ну, разговор продолжается о том, о сем, бедняжке Мици все никак не понять, что ему нужно, наконец, Рейнхольд просит ее налить ему рюмочку коньяку и говорит, что хотел только справиться о материальном положении Франца и что если дело обстоит так, то, разумеется, он сам и его товарищи будут всячески считаться с желаниями Франца. А затем Рейнхольд выпивает еще рюмочку и спрашивает: «Вы меня, собственно, уже знали, фрейлейн? Он вам про меня ничего еще не рассказывал?» — «Нет», — отвечает она и все старается понять, что этому человеку нужно, и жалеет, что нет тут Евы, которая гораздо лучше нее умеет вести подобного рода разговоры. «Мы-то с Францем давно уж знакомы, еще когда у него не было вас, а была другая, Цилли». Уж не к тому ли он клонит, чтоб очернить Франца в ее глазах? Сразу видать, что человек — себе на уме: «А почему бы у него не могло быть других до меня? У меня сам был раньше другой, но тем не менее Франц теперь мой».

Они преспокойно сидят друг против друга, Мици на стуле, Рейнхольд на диване, и располагаются поудобнее. «Разумеется, он ваш; не думаете же вы, фрейлейн, что я намерен отбить его у вас. Постараюсь воздержаться. Только у меня с ним бывали забавные случаи — он вам ничего не рассказывал?» — «Забавные? А что именно?» — «Очень забавные, фрейлейн. Должен вам откровенно сказать: если Франц участвует в нашей компании, то это только благодаря мне, из-за меня и этих самых историй; потому что мы двое всегда умели молчать, где следует. Да, так вот, я мог бы рассказать вам презабавные вещи». — «Вот как? Ну, а разве у вас нет никакой работы, что вы можете сидеть тут и рассказывать?» — «Ах, фрейлейн, даже Господь Бог устраивает себе иной раз праздник, так мы, люди, должны иметь за то же время по крайней мере два». — «Мне кажется, вы не прочь устроить себе и три». Оба смеются. «Пожалуй, вы не ошиблись. Я щажу свои силы. Ленъ удлиняет нашу жизнь; зато бывают случаи, что потратишь слишком много сил». — «Значит, надо со-

блюдать экономию», — говорит она, улыбаясь. «Вы знаете толк в этом деле, фрейлейн. Но, видите ли, раз на раз не приходится. Так вот, я вам доложу, фрейлейн, мы с Францем постоянно менялись женщинами, что вы на это скажете, а?» Он склоняет голову набок, потягивает из рюмки коньяк и ждет, что скажет Мици. Хорошенькая бабенка, ну да скоро она будет наша, только как бы к ней подступиться?

«Рассказывайте своей бабушке про обмен женщинами и тому подобное. Кто-то мне говорил, что так делают теперь в России³⁶, вы, вероятно, откуда? А у нас этого не бывает». — «Но если я вам говорю?» — «И все-таки это чушь». — «Ну, пусть вам Франц сам подтвердит». — «Хороши же были эти женщины, за пятьдесят пфеннигов из ночлежки, а?» — «Поставьте точку, фрейлейн, на таких мы, кажется, не похожи». — «Скажите, пожалуйста, для чего вы, собственно, городите всю эту чепуху? Какие цели вы при этом, собственно, преследуете?» Ишь ты, какая вострая! Но прехорошенькая, и любит своего Франца, отлично! «Я? Да никаких целей у меня нет, фрейлейн. Я только хотел у вас немного информироваться, Пумс мне это прямо-таки поручил, а засим позвольте откланяться, не пожалуете ли вы как-нибудь к нам в клуб?» — «Ну, если вы и там будете рассказывать мне такие небывлицы». — «Ах, все это вовсе не так страшно, фрейлейн, и, кроме того, я думал, что вы уже и сами знаете. Ну, хорошо, теперь еще один деловой вопрос, Пумс велел передать, что когда я приду к вам и буду спрашивать о деньгах и тому подобное, то чтоб вы ничего никому об этом не говорили, потому что Франц такой щепетильный насчет своей руки. Францу об этом вовсе не нужно даже и знать. Я ведь мог навести справки и у кого-нибудь в этом доме, но затем подумал, зачем так секретно? Вы сидите у себя в квартире, так уж лучше я подымусь к вам и спрошу прямо и открыто». — «Значит, я не должна ему ничего говорить?» — «Да, уж лучше не говорите. Впрочем, если вы непременно хотите, то мы, в конце концов, запретить вам не можем. Словом, как вам будет угодно. Ну, до свиданья». — «Вы не туда пошли. Выход — направо». Замечательная бабенка, дело будет, тю, тю, тю.

А за столом у себя в комнате крошка Мицекен ничего не почувала и не заметила и, только увидев рюмку, подумала, что... да, что же это она такое подумала, ведь вот сейчас она еще что-то думала, а теперь, убирая рюмку, уже больше ничего не помнит. Она так расстроена, этот субъект так расстроил ее, что она вся трясется. Что это такое он рассказывал? Чего он хотел, чего он хотел этим достичь? Она глядит на рюмку, которая стоит в шкафу последней справа, дрожит всем телом, надо сесть, да нет, не на диван, там сидел, развалясь, этот, как его, лучше на стул. И садится на стул и глядит на диван, на котором сидел этот тип. И так страшно она расстроена, так взволнована, что это значит, руки дрожат, сердце неистово колотится. Не такая же Франц свинья, чтоб меняться женщинами. Про этого субъекта, про Рейнхольда, такую шту-

ку еще можно допустить, но Франц... впрочем, его повсюду оставляли в дураках, так что, если это вообще правда.

Она грызет ногти. Если это правда; но Франц в самом деле немного простоват, его можно толкнуть на что угодно. Поэтому его и вышвырнули из автомобиля. Вот это что за люди. И с такой-то компанией он водит знакомство.

Она грызет и грызет ногти. Сказать Еве? Не стоит. Сказать Францу? Тоже не стоит. Лучше никому не говорить. Просто как будто никто и не приходил.

Ей стыдно, она кладет руки на стол, кусает указательный палец. Ничего не помогает, в горле так и жжет. А что, если со мной потом так же поступят, меня тоже продадут?

Во дворе шарманка играет: Я в Гейдельберге сердца своего лишился³⁷. Вот и Мици лишилась своего сердца, потеряла его, оно — тю-тю, и она начинает рыдать — потеряла я свое сердце, нет его у меня. Что-то со мной будет, когда меня потащат в грязь, что со мной, бедной, будет? Но нет, этого мой Франц не сделает, он же не русский, чтобы меняться женщинами, все это враки.

Она стоит у раскрытого окна, на ней голубой в клеточку халатик, и она поет вместе с шарманщиком: Я в Гейдельберге сердца своего лишился (это очень фальшивые люди, и он прав, что хочет их выкурить) однажды в теплый вечерок (когда же Франц наконец вернется, надо будет встретить его на лестнице). Я по уши в красавицу влюбился (я не скажу ему ни слова, такие гадости я ему и передавать не хочу, ни слова, ни слова. Я его так люблю. Надену блузку.) Ее уста смеялись, как цветок. И понял я, когда прощаться стали, с последним поцелуем наших губ (совершенно верно, что говорят Герберт и Ева: те там что-то заподозрили и хотят выпытать у меня, так ли оно, ну да они могут долго ходить, не на таковскую напали), что в Гейдельберге сердце я оставил, на Неккара³⁸ зеленом берегу.

*Виды на урожай блестящи, впрочем,
иной раз можно и ошибиться*

А наш Франц гуляет себе да гуляет по белу свету и являет картину полнейшего покоя и безмятежности. С этим молодчиком вы можете делать, что угодно, он всегда упадет на ноги. Бывают такие люди. Вот в Потсдаме, то бишь в Горке под Анкламом, жил один человек, Борнеман по фамилии, он бежал из тюрьмы, подошел к реке Шпрее. Видит, плавает будто мертвое тело.

«Ну-ка, Франц, давай сядем рядком, Расскажи-ка, как, собственно, зовут твою невесту?» — «Да ты же знаешь, Рейнхольд, ее зовут Мици, а раньше она была Соня». — «Что ж ты нам ее не покажешь? Слишком уж она важная для нас, что ли?» — «Чего это ты, у меня ведь не зверинец, что я должен его не-

пременно показывать. Взаперти я ее не держу. У нее есть свой покровитель, она хорошо зарабатывает». — «Да, но показывать ее ты не желаешь». — «Что значит показывать, Рейнхольд? У нее достаточно других дел». — «Все равно, мог бы ее когда-нибудь привести сюда, говорят — красивая». — «Говорят». — «Хотелось бы ее разок увидеть, или ты против?» — «Ну, знаешь, Рейнхольд, это мы раньше делали с тобой такие дела, помнишь — с сапогами и меховыми воротниками». — «Что было, то прошло». — «Вот именно. На такое свинство я больше не согласен». — «Ладно, ладно, я ведь только так спросил». (Вот сволочь, все еще свинство, все еще говорит свинство. Ну, погоди, брат!)

Итак, когда Борнеман подошел к реке, там покачивалось у самого берега тело утопленника. В голове Борнемана вспыхнула блестящая мысль. Он вынул из кармана свой документ и подsunул его утопленнику. Правда, это я уже рассказывал, но зато так оно лучше запомнится. Потом привязал труп к коряге, а то уплывет — потом и не същут. Сам же, не теряя времени, махнул на поезде в Ганновер, а там взял билет до Берлина, и когда приехал в Берлин, то позвонил из пивной по телефону своей супруге, Борнеман, чтобы она скорее пришла туда-то и туда-то, потому что ее кое-кто желает видеть. Ну, та принесла ему денег и одежду, пошептались они между собою, а потом, к сожалению, пришлось им расстаться. Она обещала ему опознать тот самый труп, а он — посылать ей деньги, когда они у него будут, только откуда их возьмешь? А потом ему пришлось скорей-скорей пуститься в путь-дорогу, и тогда.

«Только одно я хотел бы еще спросить, Франц, ты ее очень любишь?» — «Перестань ты, наконец, все только о девчонках и тому подобное». — «Я ведь только так, к слову. От тебя ведь не убудет». — «От меня-то не убудет, Рейнхольд, вот ты как, ты ж известный бабник». Франц смеется, тот тоже. «Ну как, Франц, что насчет твоей крошки? Так-таки ты мне ее и не покажешь?» (Ишь какой этот Рейнхольд ловкий, сперва выбросил Франца из автомобиля, а теперь подкатывается!) «Да что же тебе от нее нужно, Рейнхольд?» — «Ничего мне от нее не нужно. Просто хочется взглянуть». — «Тебе хочется посмотреть, любит ли она меня? Знаешь, я тебе скажу, она с головы до пят — одно сердце, любящее сердце, вот она у меня какая. Она только и знает любовь и преданность, и больше ничего. Видишь ли, о том, какая она сумасбродная ты даже и понятия не имеешь. Ты ведь знаешь Еву?» — «Да. Ну и что?» — «Так вот, Мици хочет, чтоб от нее... нет, лучше я тебе не скажу». — «В чем дело? Говори уж». — «Даже и представить себе нельзя, но раз уж она такая, подобной штуки ты еще никогда не слыхивал, да и у меня за всю мою практику не встречалось ничего подобного». — «Что, что такое? Что с Евой?» — «Ну, смотри, только не проговорись. Так вот, эта девчонка, эта Мици, хочет, чтоб у Евы был от меня ребенок».

Бумм! Они оба сидят и поглядывают друг на друга. Франц хлопает себя по ляжке и прыскает со смеху. Рейнхольд улыбается, вернее — начинает улыбаться, но сдерживается.

Потом, значит, тот человек достает бумаги на имя Финке, обосновывается в Горке, торгует там рыбой. И вдруг в один прекрасный день появляется его падчерица, поступившая на место в Анклам, хочет купить рыбы, идет с кошелкой в руках к Финке и говорит.

Рейнхольд улыбается, вернее — начинает улыбаться, но сдерживается. Спрашивает: «Может быть, она, гм, гм, лесбиянка?» Франц продолжает хлопать себя по ляжкам, хихикает. «Нет, она любит меня». — «Это я не могу себе представить». (Неужели такие вещи бывают, просто не верится, и у этого дурака такое сокровище, а он еще зубы скалит!) «Как же относится к этому Ева?» — «Они очень дружны, Ева ее хорошо знает, ведь и я-то познакомился с Мици через Еву». — «Теперь ты меня совсем раззадорил, Франц. Скажи, а не мог бы ли я увидеть твою Мици хоть на расстоянии, допустим, двадцати метров, или хоть из-за решетки, что ли, если ты боишься?» — «Да я, брат, вовсе не боюсь. Она верна, как золото, и так мила, что даже вообразить невозможно. Помнишь, я тогда еще говорил, брось ты трепаться с бабами, это разрушает здоровье, и даже самые крепкие нервы не выдерживают. Ведь от такой жизни может и кондрашка хватить. Право, тебе бы следовало остепениться, для твоего же блага. Так и быть, сам увидишь, насколько я прав, Рейнхольд. Я покажу тебе Мици». — «Только чтоб она меня не видела». — «Это почему?» — «Да не хочу я, только и всего. Ты мне ее так покажи». — «Ладно. Ну, я очень рад, это тебе пойдет на пользу».

И вот — три часа пополудни, по улицам идут Франц и Рейнхольд, всякие эмалированные вывески на каждом шагу, эмалированная посуда, немецкие и настоящие персидские ковры с рассрочкой платежа на двенадцать месяцев, материи для дорожек, цветные скатерти, салфеточки для диванов, стеганые одеяла, портьеры и занавеси, торговый дом Лайснер и К³⁹, читайте журнал *Мода для вас*⁴⁰, требуйте бесплатной доставки на дом, осторожно, опасно для жизни, ток высокого напряжения. Франц и Рейнхольд идут к Францу на квартиру. Теперь ты идешь ко мне, мне живется хорошо, ко мне не подступиться, вот увидишь, какой я есть человек, меня зовут Франц Биберкопф.

«А теперь тише, я сейчас открою, взгляну, дома ли она. Нет, не пришла еще. Вот здесь я живу, наверно, она сейчас придет. Ну, ну, полюбуйся, как это у нас делается, настоящий театр, только смотри, не пикни». — «Будь покоен, не пикни». — «Самое лучшее — тебе лечь тут на кровать, Рейнхольд, все равно мы ею днем не пользуемся, а я уж устрою так, чтоб Мици к ней не подходила, а ты можешь глядеть сквозь кисейный полог. Ну-ка, ляг. Что, видно?» — «Ничего, сойдет. Но только, пожалуй, лучше снять сапоги». — «Это верно. Я выставлю их в коридор, а когда будешь уходить, то сам их там и возьмешь». — «Ну, смотри, Франц, как бы не вышло неприятности». — «А ты уж и испугался? Знаешь, я не боюсь, даже если бы она что-нибудь и заметила, ты ее не знаешь». — «Но я вовсе не хочу, чтоб она меня заметила». — «Ложись, ложись, не рассуждай. Она каждую минуту может прийти».

Эмалированные вывески, разного рода эмалированная посуда, немецкие и самые настоящие персидские хорасанские ковры⁴¹, персидские и хорасанские, требуйте бесплатной доставки.

А в Ганновере комиссар уголовного розыска Блум спросил: «Откуда же вы знаете этого человека? По каким приметам вы его узнали, ведь узнали же вы его так или иначе?» — «Дык он же мой отчим». — «Хорошо, поедем с вами в Горке. И если дело обстоит так, как вы говорите, то мы его сразу и задержим».

Кто-то отпирает ключом входную дверь. Франц выскакивает в коридор: «Что, испугалась, Мици? А это я, моя крошка. Ну, входи, входи. Только ничего не клади на кровать. У меня там приготовлен для тебя маленький сюрприз». — «О, тогда я должна скорее взглянуть». — «Погоди, сперва дашь мне клятву. Подними руку, Мици, клянись, все встают, повторяй за мной: клянусь». — «Клянусь». — «Что я не пойду к кровати». — «Что я не пойду к кровати...» — «Пока я не скажу». — «Пока я не подбегу к ней». — «Стой, стой. Еще раз, сначала: клянусь»⁴². — «Клянусь, что я не подойду к кровати». — «Пока я сам тебя туда не положу».

Тогда Мици вдруг становится серьезной, бросается ему на шею и долго остается в таком положении. Он чувствует, что с ней что-то неладно, и хочет оттеснить ее в коридор, потому что дело сегодня явно не клеится. Но она останавливается: «Да не подойду я к кровати, не беспокойся». — «Что такое случилось с моей Мицекен, с моей кисонькой?»

Она подталкивает его к дивану, и вот они сидят рядышком, обнявшись, она молчит. Потом слышится какое-то бормотанье, она дергает Франца за галстук, и вдруг у нее прорывается: «Францекен, можно мне тебе что-то сказать?» — «Ну, конечно же, Мицекен». — «Это насчет моего старика, там у нас произошла неприятность». — «Да что ты, кисонька?» — «Угу». — «В чем же дело, кисонька?» А она знай треплет галстук, что это с ней такое, и как на грех, тот там на кровати.

Тогда комиссар уголовного розыска спрашивает: «На каком основании вы именуете себя Финке? У вас есть документы?» — «Потрудитесь справиться в отделе записей актов гражданского состояния, там все записано». — «То, что делается в отделе, нас не касается». — «Документы у меня тоже есть». — «Вот и отлично, мы их у вас на время заберем. А за дверью стоит один служащий из Нойгарда, у которого в отделении содержался когда-то некий Борнеман из Нойгарда. Вот мы его сейчас попросим сюда».

«Знаешь, Францекен, у моего старика в последнее время каждый раз бывал его племянник, то есть он его и не думал приглашать, а тот сам от себя приходил». — «Понимаю», — бормочет Франц и весь холодеет. Она не отрывает своего пылающего лица от его щеки. «Ты его знаешь, Франц?» — «Откуда ж мне его знать?» — «Я думала. Ну так вот, он постоянно там бывал, а потом —

потом он один раз пошел со мной». Франц весь дрожит. В глазах у него темнеет. «Зачем же ты мне ничего не говорила?» — «Думала, сама от него отделаюсь. Да и что за беда, если человек только так, сбоку припека». — «Ну, а теперь». Судорожные подергивания губ возле шеи становятся сильнее, потом там появляется что-то мокрое, Мици крепко уцепилась за Франца, держится за него и молчит, такая уж у нее, у упрямышцы, манера, и ни один черт ее не разберет, почему она ревет теперь, а тот лежит себе на кровати, эх, взять бы хорошую дубину да хватить как следует по кровати, чтоб он больше уж и не встал, сука проклятая, так меня перед ним осрамила. И дрожит, дрожит... «А теперь что?» — «Ничего, Францекен, ничего, не беспокойся, только не бей меня, ведь ничего же не было. А потом он еще раз был со мной, поджидал меня внизу все утро, пока я уйду от старика, и вот он стоит и умоляет, ну так умоляет меня, чтоб я с ним поехала». — «Ну и, конечно, ты должна была согласиться?» — «Да, должна была, что же мне было делать, Франц, если человек так умоляет. И такой он молоденький. Ну, а потом». — «Где же вы были?» — «Сперва катались по Берлину, потом поехали в Груневальд, уж я и не знаю, потом ходили, я все время прошу его, чтоб он оставил меня, чтоб ушел, а он плачет, клянчит, как ребенок, бросается передо мной на колени, и такой еще молоденький, слесарь». — «Лучше бы работал, лодырь, чем шлендать». — «Не знаю. Не сердись, Франц». — «Да ведь я все так и не знаю, в чем дело. Почему ты плачешь?» А она опять ничего не говорит, прижимается к нему покрепче и тербит его галстук. «Только не сердись, Франц». — «Влюблена в него, что ли?» Молчит. О как страшно ему, какой холод пробежал до кончиков пальцев на ногах. И, забыв о Рейнхольде, он шепчет ей в волосы: «Влюблена? Да?» Она прильнула к нему всем телом, он ощущает ее всю, и из уст ее вылетает чуть слышно: «Да». Ах, ах, он это услышал, да. Он хочет ее оттолкнуть, ударить, Ида, бреславлец, вот-вот начинается, рука его бессильно висит, как плеть, он парализован, а Мици крепко держит его, цепляется, как звереныш, что ей надо, молчит, держит его, спрягала лицо у него на груди, он окаменело глядит поверх нее в окно.

Наконец, встряхивает ее, орет: «Что тебе надо? Пусти меня наконец». На что мне эта сука? «Да ведь я же тут, Францекен. Я же от тебя не ушла, я еще тут». — «Ну так ступай, не надо мне тебя». — «Не кричи так, ах, боже мой, что же я такое сделала?» — «Ступай, ступай к нему, раз ты его любишь, паскуда». — «Я не паскуда, ну, не дуйся, Францекен, я ведь ему уж сказала, что это невозможно, и я твоя». — «Не надо мне тебя. Не хочу я такую». — «Я ему сказала, что я вся твоя, и ушла, а теперь ты должен меня утешить». — «Да ты совсем с ума спятила! Пусти! Совсем рехнулась! Ты в него влюблена, а я же тебя и утешай». — «Да, ты должен утешить меня, Францекен, ведь я же твоя Мици, и ты меня любишь, так что ты можешь меня утешить, ах, а тот-то, беденький, ходит теперь и...» — «Ну-ка, поставь точку, Мици! Ступай к нему, возьми

его себе». Тут Мици принимается визжать, и ему никак от нее не отцепиться. «Ступай, ступай, пусти меня, слышишь?» — «Нет, не пущу. Значит, ты меня не любишь, значит, я тебе надоела, ах, что же я такое сделала».

Наконец Францу удается высвободить руку, вырваться, Мици бежит за ним, в ту же минуту Франц оборачивается и с размаху ударяет ее по лицу, так что она отшатывается, потом толкает ее в плечо, она падает, он бросается на нее и бьет ее своей единственной рукой, куда попало. Она жалобно пищит, корчится от боли, ой как больно, как больно, а он бьет, бьет, она легла на живот, лежит ничком. И, когда он перестает бить, чтоб перевести дух, а комната ходуном ходит вокруг него, Мици поворачивается к нему, силится подняться, молит: «Только не палкой, Францекеен, довольно, только не палкой».

Вот она сидит в растерзанной блузке, с затекшим глазом, с разбитым в кровь носиком, левая щека и подбородок вымазаны кровью.

А Франц Биберкопф — Биберкопф, Либеркопф, Циберкопф, нет ему имени! — стоит, держится за кровать, все вертится вокруг него, только вот эта кровать. Ах, да ведь там лежит этот Рейнхольд, лежит, свинья, в сапогах и пачкает чужую кровать. Что ему тут надо? У него ведь есть своя комната. Выгряхнем-ка мы его оттуда да спустим с лестницы, с нашим удовольствием, всегда готовы. И вот Франц Биберкопф, Циберкопф, Ниберкопф, Видекопф, подскакивает к кровати, хватает того молодца сквозь одеяло за голову, тот брыкается, одеяло слетает, и Рейнхольд — вот он, пожалуйста, полюбуйтесь.

— А ну-ка, выгряхивайся, Рейнхольд, живо, взгляни на эту красавицу, и — айда, вон.

А Мицин широко раскрытый от ужаса, от дикого ужаса рот, землетрясение, удар молнии, гром, железнодорожный путь взорван, рельсы изуродованы, вокзал, будка стрелочника — в щепы, треск, грохот, дым, смрад, пыль столбом, ничего не видать, все погребло, погребло, сметено, стерто с лица земли.

— Ну, чего ты, что струсилось?

Крик, крик неудержимо несется из ее рта, мучительный вопль, крик против того, что виднеется там, за облаком дыма, на кровати — стена криков, острые пики криков против того, что вон там, чуть повыше, камни криков.

— Заткни глотку, да что струсилось? Перестань, я тебе говорю, еще весь дом сбежится.

Крики ширятся, набухают, льются потоком против того, что там, и нет им ни времени, ни часа, ни лет.

И вот уже Франца захлестнула эта волна криков. Он — буйный, буйный, буйный. Он хватается стул, взмахивает им — об пол, вдребезги! А затем бросается к Мици, которая, не переставая, пронзительно визжит, визжит, вопит, вопит, и зажимает ей рот, опрокидывает ее на спину, наваливается грудью ей на лицо. Убью-убью-ее-га-ди-ну.

Визг прекращается, Мици только дрыгает ногами. Рейнхольд оттаскивает от нее Франца: «Ты ж ее задушишь!» — «Убирайся к черту». — «Ну-ну, вставай.

Вставай, тебе говорят». Ему удается оттащить Франца, женщина лежит ничком на полу, запрокинула голову, стонет, хрипит, судорожно отбивается руками. А Франц, захлебываясь: «Ах ты, сволочь ты, сволочь. Ты кого хочешь бить, сволочь?» — «Пойди-ка пройдишь малость, Франц. Надень куртку и возвращайся только тогда, когда совсем успокоишься». Мици слабо стонет, приоткрывает глаза. Правое веко побагровело, вспухло. «Ну, проваливай, брат, проваливай, а то еще убьешь ее. Возьми куртку-то. На!»

Франц пыхтит, сопит, дает надеть на себя куртку.

Тут Мици приподымается, отхаркивает кровь, хочет что-то сказать, выпрямляется, сидит на полу, хрипит: «Франц». Тот уже в куртке.

«Франц... — Мици уже больше не хрипит, к ней вернулся голос. — Франц, я... я... я пойду с тобой». — «Нет, оставайтесь-ка дома, фрейлейн, я вам помогу». — «Ах, Францекен, давай, я пойду с тобой».

Тот стоит, вертит шляпу на голове, жует губами, сопит, сплевывает, идет к двери. Тррах! Захлопнулась.

Мици стонет, подымается на ноги, отталкивает Рейнхольда и ощутую пробирается из комнаты. У двери в коридор силы ее покидают, Франц ушел, спустился уже с лестницы. Рейнхольд переносит Мици в комнату. Когда он укладывает ее в кровать, она, задыхаясь, сползает, харкает кровью, настойчиво указывает Рейнхольду на дверь. «Вон, вон. — И снова: — Вон, вон». Один глаз ее все время в упор глядит на него. Ноги бессильно болтаются. Ишь, слюни распустила, слюнявая. Эта смешанная с кровью слюна вызывает в нем отвращение, чего мне тут, в самом деле, оставаться, еще придут да скажут, что это я ее так обработал, в чужом пиру похмелье. Нет уж — до свиданья, фрейлейн! Шляпу набекрень, и — за дверь.

Внизу он стирает с левой руки кровь — ух, противные слюни, и громко смеется: для этого Франц и брал меня к себе наверх? Вот так театр, ну и дурак! Для этого, значит, он и положил меня с сапогами в свою кровать? Лопнет он, олух, теперь от злости. Заработал он себе такое кроше⁴³, что только держись, где-то его теперь нелегкая носит?

И отчаливает. Эмалированные вывески, разные эмалированные изделия. Эх и занято было там наверху, оч-чень занято! Этакая ведь балда, отлично, отлично, сын мой, большое тебе спасибо, продолжай в том же духе. Ох, умрешь со смеху.

А Борнеман снова попал в заточение, в Ганновер. Вызвали его жену, настоящую. Ах, господин комиссар, оставьте ее, пожалуйста, в покое, она показала под присягой то, что было на самом деле, что ж, 2 годика мне еще накинута, но это мне при моем сроке нипочем.

Вот так вечер в комнате у Франца! Они смеются. Обнимаются, целуются, милуются. «А ведь я тебя чуть-чуть не убил, Мици. Ишь, как я тебя разделал». — «Пустяки. Главное, ты вернулся». — «Ну а тот, Рейнхольд, сразу

ушел?» — «Да». — «Что ж ты меня не спросишь, Мици, зачем он приходил?» — «А зачем спрашивать?» — «Разве тебе не интересно?» — «Нисколько». — «Однако, Мици». — «Да нет же; и ведь все это враки». — «Ты о чем?» — «Будто ты хочешь меня ему продать». — «Ах, Мицекен». — «Теперь я знаю, и теперь все в порядке». — «Он мой друг, Мицекен, но он ужасная свинья с женщинами. Вот я ему и хотел хоть один раз показать, что такое — порядочная девушка. Пускай, думаю, посмотрит». — «Хорошо, хорошо». — «А ты меня еще любишь? Или только своего молодчика?» — «Я — вся твоя, Франц!»

Среда, 29 августа⁴⁴

Она заставляет своего покровителя прождать ее целых два дня, которые она использует только для того, чтобы побыть со своим ненаглядным Францем, съездить с ним в Эркнер⁴⁵ и Потсдам и чтобы любить его. Теперь у нее, у этой канашки, есть своя тайна от него и даже большая, чем прежде, и она уже не беспокоится, что делает ее ненаглядный Франц у Пумса и К^о; теперь она тоже кое-что предпримет. Она сама поглядит, что это, собственно, у них за публика, на танцах или на кегельбане. Франц почему-то никогда не берет ее с собой, хотя Герберт ходит туда с Евой, а Франц говорит: это не про тебя, я не хочу, чтоб ты водила знакомство с такими свиньями и прохвостами.

Но Соня, она же Мицекен, хочет что-то сделать для Франца, наша маленькая кисонька хочет для него что-то сделать, и это даже лучше, чем зарабатывать деньги. Она все разузнает и защитит его.

И в ближайший же вечер с танцами, когда Пумсовы ребята всей компанией выезжают с добрыми друзьями в Рансдорф⁴⁶, там оказывается одна дама, которую никто не знает, ввел ее жестянщик, она его дама, в маске⁴⁷, один тур она танцует и с Францем, но только один, а то он еще узнает ее по духам. Это было в Мюггельхорте⁴⁸, вечером в саду иллюминация, последний пароход отходит переполненный до отказа, когда он отваливает, оркестр играет на прощанье туш, ну а наша компания продолжает плясать и бражничать до самого утра.

И вот там-то и порхает Мицекен с жестянщиком, который страшно важничает, что у него такая шикарная невеста; она видит Пумса с его барьней, и Рейнхольда, который уныло сидит в уголке, — и все-то он хандрит, все хандрит, — и элегантного купчика. В два часа она уезжает с жестянщиком в автомобиле, в автомобиле он может еще целовать ее до исступления, почему бы и нет, она, как-никак, теперь уже кое-что знает, а от его поцелуев ее ведь не убудет. Что же такое Мицекен теперь знает? А то, как выглядят все эти Пумсы, вот что, поэтому жестянщик и может ее тискать, она все равно останется

ся Францевой, машина мчится в ночной темноте, в такую же ночь эти негодяи выбросили ее Франца из автомобиля, а теперь он с ними рассчитается, и он-то уж знает, кто это сделал, и потому все его так и боятся, не то почему бы приходил к ней Рейнхольд, ух, что это за нахал, ах, Франц, Франц, милый, золотой мой, кажется, так бы зацеловала жестяничка до полусмерти, до того я люблю своего Франца, а этот пускай целует, я тебе еще язык откушу, ну и штуки выделяет шофер со своей машиной, так он нас в канаву вывалит, ура, вот чудно провели у вас вечер, куда ехать-то, направо или налево, поезжайте, куда хотите, какая ты прелесть, Мици, а что, Карл, по вкусу я тебе пришла, будешь меня почаще брать с собою, гоп-ля, вот бешеный, да он пьян, он нас еще вывалит в Шпрее.

Нет, это невозможно, потому что тогда бы я утонула, а мне так много еще надо сделать, мне надо присматривать за моим дорогим Францекеном, я не знаю, что он хочет сделать, он не знает, что я хочу, и это должно остаться невысказанным между нами, пока он хочет и я хочу, мы оба хотим одного и того же, одного и того же хотим мы оба, ах как жарко, целуй меня еще, еще, держи меня крепче, Карл, я растекаюсь, я вся растекаюсь.

Вдоль шоссе мелькают черные дубы, Карлуша, Карлуша, ведь ты мне всех милей, 128 дней из года подарю я тебе, и каждый из них с утром, с полднем и с вечером⁴⁹.

А на кладбище пришли два синих шупо, пи-по-па. Сели на могильную плиту и стали расспрашивать всех, кто проходил мимо, не видел ли кто некоего Казимира Бродовича⁵⁰. Этот Бродович, говорят, совершил 30 лет тому назад какое-то преступление, в точности не известно какое, но наверняка еще что-нибудь случится, потому что с этими господами никогда нельзя знать, ну, а теперь, значит, надо снять отпечатки с его пальцев и смерить рост, а лучше всего сперва арестовать его, немедленно доставить его к нам, трари, трара.

Рейнхольд то и дело подтягивает брюки, ходит, волоча ноги, по своей конуре, нет, не впрок ему покой и много денег. Свою последнюю невесту он послал к чертям, а та, шикарная, ему тоже уж надоела.

Надо придумать что-нибудь новенькое. Надо бы затеять что-нибудь с Францем. Теперь этот осел опять расхаживает с сияющей мордой и хвастает своей невестой, как будто у него есть чем хвастать. А не отбить ли ее у него? Нет, уж больно противна она была в тот раз со своими слюнями.

Жестяничка, Маттер по фамилии, известный полиции под именем Оскар Фишер, делает крайне удивленное лицо, когда Рейнхольд спрашивает его о Соне. Тот так-таки напрямик справляется у него о Соне, и Маттер без дальнейших отговорок признается ему, коли знаешь, так чего уж там, во всем. Тогда Рейнхольд берет Маттера одной рукой за талию и спрашивает, не согласился ли бы тот уступить ее для небольшой экскурсии. При этом выясняется, что

Соня принадлежит Францу, а вовсе не Маттеру. Ну, в таком случае Маттер мог бы уговорить девицу прокатиться с ним, с Рейнхольдом, на автомобиле, в Фрейенвальде⁵¹.

«Это ты спроси у Франца, а не у меня». — «С Францем я не могу об этом говорить, с ним у меня старые счеты, а ей я, по-видимому, не нравлюсь. Я уж заметил». — «Ну нет, на это я не согласен. Может, я сам ее хочу?» — «Пожалуйста, сколько угодно. А мне бы ее только на одну поездку». — «Что касается меня, Рейнхольд, ты можешь иметь хоть всех женщин на свете, в том числе и эту, но откуда ее взять, чтоб не украсть?» — «Да ведь с тобой же она гуляет. Послушай, Карл, а если ты получишь от меня коричневую тряпку?⁵²» — «Гони монету».

Двое синих шупо сели на камень и стали спрашивать всех, кто проходил мимо, останавливая все машины: не видел ли кто человека с желтым цветом лица и черными волосами? Такого, говорят, человека они как раз разыскивают. Что он натворил или еще натворит — им неизвестно, но об этом можно прочесть в хронике происшествий. Однако никто такого человека не видел или будто бы не видел. Тогда оба шупо идут дальше по аллее, и к ним присоединяются двое «быков».

В среду, 29 августа 1928 года, после того как этот год потерял уже 242 дня, и ему уже немного остается терять — а дни эти бесповоротно уплыли за некоей поездкой в Магдебург, за поправкой и восстановлением здоровья, за привыканием Рейнхольда к шнапсу, за внезапным появлением Мици, а потом Пумсо-вы ребята совершают свой первый взлом в этом сезоне, и Франц снова являет картину лучезарного покоя и полнейшей безмятежности, — жестяник отправляется с крошкой Мици за город. Ему, то есть Францу, она сказала, что едет со своим покровителем. Почему едет, она и сама не знает. Она только хочет помочь Францу, но как — понятия не имеет. Ночью ей приснился сон, будто их, то есть ее и Франца, кровати стоят в чистой комнате квартирохозяев под висячей лампой, и вдруг портьера на двери начинает шевелиться, из-за нее медленно вылезает что-то серое, какой-то призрак, и входит в комнату. Мици вскрикнула и — проснулась. Франц крепко спал рядом с нею. Я помогу ему, с ним ничего не случится, она снова легла, смешно, как наши кровати катятся вперед в хозяйскую комнату.

Р-р-раз — и они уже в Фрейенвальде, хорошо в Фрейенвальде, это курорт, с красивым садом, с усыпанными желтым гравием дорожками, много по ним ходит всякого народу. Кого-то наша парочка встретит там сразу после того, как она пообедает на открытой террасе рядом с кургаузом?

Землетрясение, молнии, молнии, гром, взорванные железнодорожные пути, разнесенный в щепы вокзал, грохот, дым, смрад, все погибло, удушливый газ, ничего не видеть, удушье, раздирающие крики... я твоя, ведь я же вся твоя.

Пускай подходит, пускай сидит, я его не боюсь, вот не боюсь, могу спокойно смотреть ему в лицо. «Это фрейлейн Мици, ты уже знаком, Рейнхольд?» — «Немного. Очень рад, фрейлейн».

И вот они сидят в саду кургауза в Фрейенвальде; кто-то в помещении величественно играет на рояле. Мици сидит в Фрейенвальде, и Рейнхольд — против нее.

Землетрясение, молнии, удушливый газ, все погибло, а как хорошо, что мы встретились, уж я его обо всем выпрошу, обо всем, что было у Пумса и что там делает Франц, с этим человеком всего можно добиться, если как следует раздражить, разжечь его, тогда он сам в руки дастся. Мици замечталась о том, как счастье ей благоприятствует. Из зала доносится пение: Скажи мне ош, дитя, по-французски скажи да, хоть по-китайски, хоть по-русски. Скажи, как хочешь, безразлично, — любовь ведь интернационалистична. Скажи хоть в нос, скажи обиняком, скажи в экстазе или же тайком, скажи ош, скажи уес, скажи да, и все, что хочешь, дам тебе тогда!⁵³

Кельнер подает заказанные ликеры, и каждый разрешает себе рюмочку-другую. Мици проговаривается, что была на том вечере, и у них завязывается оживленная беседа. Маэстро за роялем исполняет по общему требованию публики: В Швейцарии, в Тироле, слова Фрица Роллера и Отто Странского, музыка Антона Професа⁵⁴. Ах, в Швейцарии, в Тироле! Хорошо там и привольно; ах, в Тироле, ах, в Тироле, молоко из-под коровы; а в Швейцарии Юнгфрау, и высокие там горы. Требуйте во всех нотных магазинах. Мици хочет, подпевает: Ю-ху! и Холороиди! вот сейчас мой милый Францекен воображает, что я у моего старика, а я — у него самого, только он этого не замечает.

А потом — давайте прокатимся на автомобиле по окрестностям. На это согласны и Карл, и Рейнхольд, и Мици, или в обратном порядке — и Мици, и Рейнхольд, и Карл, или еще так: и Рейнхольд, и Карл, и Мици, — словом, все согласны. И вдруг надо же случиться, чтоб зазвонил телефон и кельнер вызвал господина Маттера к аппарату, значит, вот насчет чего ты сейчас подмигивал, Рейнхольд, шельма ты этакая, ну, ладно, так и быть, не выдам тебя, Мици ведь тоже улыбается, по-видимому, вы оба ничего не имеете против приятного времяпрепровождения. И вот Карлхен уже возвращается от телефона, Карлуша, Карлуша, ведь ты мне всех милей, — что случилось, заболел кто-нибудь? Нет, просто экстренно вызывают в Берлин, а ты, Мици, можешь остаться, конечно, почему бы нет, но я непременно должен съездить, сами знаете — дела, дела. Он еще целует Мици на прощанье, смотри, Карл, не проболтайся, да нет же, мышшонок, с какой стати, до свиданья, Рейнхольд, с праздничком тебя, Христос воскрес. И шляпу с вешалки — и айда.

Сидим тут. «Ну, что вы на это скажете?» — «Ах, фрейлейн, вам наемни не стоило так кричать из-за пустяков». — «Это я с перепугу». — «Что вы? Передо мной?» — «В конце концов, ко всякому человеку можно привыкнуть». — «Вы

очень любезны». Ишь как эта канашка умеет глазки строить, этакий лукавый бесенок, пари, что она еще сегодня будет моя. Ой, не дожدهшься, миляга, она собирается только помучить тебя, чтобы ты рассказал ей все, что знаешь. Глаза, глаза-то у тебя какие. Словно ты целый пучок сельдерея съел.

Наконец маэстро за роялем исчерпал весь свой репертуар, да и роялю пора отдохнуть, устал ведь, спать захотел, Рейнхольд и Мици идут погулять, бродят по холмам, заглядывают в лес, говорят о том, о сем, и идут под руку, и этот Рейнхольд вовсе не так уж плох. А когда в шесть часов возвращаются в кургауз, Карл уже вернулся на автомобиле и поджидает их. Неужели же ехать теперь домой, вечером будет полнолуние, мы все вместе отправимся в лес, будет чудесно, что ж, это можно. Так что в восемь часов они втроем отправляются в лес, а потом Карлу поручается вернуться, заказать в гостинице комнаты и распорядиться насчет автомобиля. Встретимся, говорят, потом на террасе у кургауза.

Много в том лесу деревьев, много там ходит людей под ручку, есть там и уединенные тропинки. Рейнхольд и Мици, замечтавшись, идут рядом. Мици все хочется что-то спросить, но не знает, что именно, ах, так хорошо идти под руку с этим человеком, ах, спросить можно и в другой раз, сегодня вечер такой чудный. Но, боже мой, что подумал бы обо мне Франц, надо поскорей уйти из этого леса, хотя тут так хорошо. Рейнхольд предложил ей руку, у него есть правая рука, и он идет слева, Франц всегда идет справа, странно так идти, какая сильная у него рука, настоящий мужчина. Они идут меж деревьев, почва мягкая, а у Франца губа не дура. Надо будет девчонку у него отбить, с месяц она будет принадлежать мне, а он как хочет. Ну а если он станет бузить, то получит при первом же случае по башке, так что даже и встать забудет, красивая баба, черт подери, с огнем, и верна ему.

Идут, болтают о том, о сем. Темнеет. Лучше говорить, чем молчать; Мици вздыхает, опасно, очень опасно идти, не разговаривая и лишь ощущая близость другого. Она только глядит на дорогу, куда она ведет. Не знаю, что мне от него надо, ах, Господи, что же мне от него надо, в самом деле. Они почти все время кружат на одном месте. Мици незаметно тянет в сторону шоссе. Открой глаза, приехали.

Часы показывают восемь. Рейнхольд достает карманный фонарик, они направляются в гостиницу, лес остался позади, ах, птички пели там так чудно, так чудно⁵⁵. Что-то дрогнуло в Рейнхольде. Удивительно тихая была прогулка. У него просветленные глаза. Он мирно шагает рядом со своей дамой. Жестяничек одиноко поджидает их на террасе. «Получил комнаты?» Рейнхольд оглядывается — нет Мици, исчезла. «Где ж моя дама?» — «Ушла к себе в комнату». Он стучится к ней. «Велели сказать, что уже легли».

В нем все дрожит. Ах как было чудно. Темный лес, птички. Что мне, в сущности, нужно от этой девчонки? Эх, какая же у Франца славная подруга, вот ее бы мне. Он сидит с Карлом на террасе; они курят толстые сигары, улы-

баются друг другу. «Собственно говоря, что нам тут делать? Спать мы могли бы и у себя дома». Рейнхольд все еще дышит медленно и глубоко, изредка попьхивает сигарой, темный лес, кружение на месте, она ведет его обратно на шоссе. «Если тебе так хочется — пожалуйста, Карл. Я остаюсь на ночь здесь».

А затем они вдвоем еще раз идут на опушку леса, садятся там и глядят вслед проезжающим автомобилям. Много в том лесу деревьев, нога ступает как по мягкому ковру, много там ходит людей под ручку, какой же, какой же я все-таки подлец.

Суббота, 1 сентября

Это было в среду, 29 августа 1928 года.

Три дня спустя все повторяется сызнова. Жестящик подкатывает с автомобилем, а Мици — Мици сразу сказала да, когда он спросил ее, хочет ли она опять прокатиться в Фрейенвальде, и сообщил, что Рейнхольд просится с ними. На этот раз я буду сильнее, думает она, садясь в автомобиль, и в лес с ним не пойду. Она сразу согласилась, потому что Франц последнее время чем-то расстроен и не говорит почему, а ей необходимо это узнать, во что бы то ни стало. Ведь она и деньги ему дает, и все; ему ни в чем нет отказа, так что ж его еще гнетет?

Рейнхольд сидит в автомобиле рядом с ней и сразу же обнимает ее за талию. Ведь все уже предрешено: сегодня ты в последний раз уезжаешь от своего ненаглядного Францекена, сегодня ты останешься у меня столько, сколько я захочу. Ты моя пятисотая или тысячная женщина, до сих пор всегда все шло хорошо, как по маслу, авось все будет в порядке и на сей раз. Она сидит и не знает, что случится дальше, но я-то знаю, и это хорошо.

Автомобиль они оставляют в Фрейенвальде перед гостиницей, Карл Маттер идет один с Мици гулять по Фрейенвальде, день — суббота, 1 сентября, время — 4 часа дня. Рейнхольд вздумал соснуть часок у себя в номере. После шести он вылезает, возится что-то с машиной, а затем опрокидывает для храбрости рюмочку и отчаливает.

В лесу Мици чувствует себя великолепно. Карл такой милый, и о чем он только не рассказывает, у него был патент, который откупила та фирма, где он работал, буквально за гроши, а сама нажила на этом миллионы, вот так и облапошивают доверчивых служащих, которые должны вперед давать на это письменное согласие, а с Пумсом он работает только между прочим, потому что сейчас конструирует новую модель, которая сведет на нет все, что украла у него та фирма. Такая модель стоит больших денег, он не может выдать Мици, в чем дело, потому что это секрет, большая тайна, если эта штука удастся, все на свете совершенно изменится, трамвай, пожарное дело, ассенизация,

словом — все, это изобретение применимо ко всему, решительно ко всему. Они вспоминают свою поездку на автомобиле после маскарада, по сторонам шоссе мелькают дубы, 128 дней из года подарю я тебе, каждый с утром, с полднем и с вечером.

«Ау, ау!» — кричит Рейнхольд в лесу. Ну да, это же Рейнхольд, и они ему отвечают: «Ау, ау!» — Карл немедленно испаряется, а Мици становится серьезной, когда появляется Рейнхольд.

Тут оба синих шупо поднялись с камня, заявив, что их наблюдения не дали никаких результатов, ничего не поделаешь, здесь бывают лишь совсем незначительные происшествия, можем представить только письменный рапорт по начальству. И благополучно ретировались. Ну а если что-нибудь и случится особенное, то там будет видно, и всякий сможет прочесть об этом на тумбе для афиш и объявлений.

А в лесу шли Рейнхольд и Мици одни, какие-то птички тихонько чирикали и щебетали. Верхушки деревьев начали что-то напевать.

Сперва запело одно дерево, потом другое, потом они пели вместе, потом перестали и наконец запели над самыми головами наших знакомых.

Есть жнец, Смертью зовется он, властью от Бога большой наделен. Сегодня свой серп он точит, приготовить для жатвы хочет.

«Ах, как я, право, рада, Рейнхольд, что мы опять в Фрейенвальде. Помните, на днях, было ведь очень мило, не правда ли, было чудесно?» — «Только уж очень скоро все кончилось, фрейлейн. Вы, наверно, устали, я к вам постучал, но вы не открыли». — «Да, это от воздуха и потом от езды на автомобиле, и вообще». — «Ну а разве это не было тоже очень мило?» — «Конечно, а про что вы говорите?» — «Я только хочу сказать, когда вот так гуляешь. Да еще с такой красивой барышней». — «Красивой барышней? Полноте! Ведь вот я же не говорю: с красивым кавалером». — «Вообще, что вы со мной гуляете». — «Что ж в этом такого?» — «Ну, я думаю, во мне нет ничего особенного. И вот то, что вы все-таки со мной гуляете, фрейлейн, меня действительно ужасно радует». Ах, душка! «А разве у вас нет подруги?» — «Подруги? Кто только не называет себя нынче подругой». — «Ого!» — «А то как же? Всяко, знаете, бывает. Об этом вы, фрейлейн, даже не можете судить. Вот у вас есть друг, человек солидный, и он что-то для вас делает. А барышни только желают веселиться, а чтобы для души — так этого у них нет». — «Однако не везет вам». — «Вот видите, фрейлейн, отсюда и происходят такие дела... ну да, с этим обменом женщинами. Но ведь вы ничего не хотите об этом слышать». — «Нет, расскажите. Как же это у вас было?» — «Это я могу вам в точности рассказать, и теперь вы меня поймете. Разве вы, например, могли бы держать при себе несколько месяцев или хотя бы недель женщину, совсем несостоящую женщину? А? Которая, может быть, треплется или вообще несостоящая, ничего не умеет делать,

во все суется или, может быть, пьющая?» — «Да, это противно». — «Видите, Мици, как раз так и было со мной. И со всяким может случиться. Все это только одна шушера, последний сорт, дрянь. Будто прямо с помойки. Согласились бы вы быть женатым на такой? Я — ни на час. Ну и вот, терпишь это, терпишь неделю, другую, месяц, а потом видишь, что дело не идет, и подруге приходится уходить, а я опять сижу на бобах. Нет, хорошего в этом мало. А зато здесь — прелестно!» — «Ну, маленькое разнообразие тут, верно, тоже играет роль?» — «Что вы хотите этим сказать, Мици?» — смеется Рейнхольд. «Да, да, иной раз хочется чего-нибудь новенького, а?» — «Почему бы нет? В чем дело? Мы, с позволения сказать, тоже люди».

Они смеются, идут под ручку, первое сентября. Деревья не перестают напевать. Теперь это целая длинная проповедь.

Всему, всему свое время, и всякому начинанию на земле свой час, и всякому свой год, чтоб родиться и умереть, посадить и истребить то, что посажено, всему, всему свое время, чтоб погубить и исцелить, сломать и построить, потерять и найти, свое время, чтоб сохранить и бросить, свое время, чтоб разорвать и зашить, молчать и говорить. Всему свое время. Поэтому я и заметил, что нет ничего лучше, как веселиться⁵⁶. Лучше, как веселиться. Веселиться, давайте, веселиться. Нет ничего лучше под солнцем, как смеяться и веселиться⁵⁷.

Рейнхольд ведет Мици под руку, слева от нее. Какая у него сильная рука. «Знаете, Мици, собственно говоря, я все никак не решался пригласить вас, после того случая — помните?» Затем они идут с полчаса и мало разговаривают. Опасно так долго идти и не говорить. И ощущать его правую руку.

Куда бы мне эту милашку посадить? Это совсем особая марка, и, пожалуй, я приберегу эту девчонку на потом, надо же насладиться, а не то заташу ее, пожалуй, в гостиницу, и в эту ночь, в эту ночь, когда месяц не спит. «У вас рука в рубцах и татуирована, грудь тоже?» — «Так точно. Хотите посмотреть?» — «Для чего вы татуируетесь?» — «Смотря по тому, где, фрейлейн?» Мици хихикает, качается на его руке: «Уж могу себе представить, у меня вот тоже был один, еще до Франца, так чего-чего он на себе не нарисовал, прямо и сказать нельзя». — «Да, хоть оно и больно, но зато красиво. Хотите взглянуть, фрейлейн?» Он отпускает ее руку, быстро расстегивает рубашку на груди, показывает — вот! Там наковальня, а кругом лавровый венок⁵⁸. «Ну, хорошо, закройтесь, Рейнхольд». — «Да ты гляди, не бойся». Ах, это пламя в нем, эта слепая страсть, он хватает ее голову, прижимает к груди: «Целуй, ты, целуй, целуй, вот тут!» Она не целует, голова ее остается там, сдавленная его руками: «Пустите меня, слышите?» Он отпускает ее: «Чего ломаешься». — «Я ухожу». Вот стерва, погоди, я тебя еще возьму за горло, как эта паскуда смеет так со мной разговаривать. Рейнхольд застегивает рубашку. Погоди, я до тебя еще доберусь, ишь, фасонится, терпение, брат, терпение. Я же тебе ничего не

сделал, видишь, застегиваюсь. Так! А мужчин ты, я думаю, на своем веку уж видала.

Чего я, собственно, связалась с этим типом, вон, всю прическу мне растрепал, это же настоящий хулиган, я ухожу, будет с меня. Погоди, погоди, всему свое время. Всему, всему.

«Ну, не сердитесь, фрейлейн, это был только такой момент. Бывают, знаете, в жизни иной раз моменты». — «И все-таки нечего вам меня сразу за голову хватать». — «Не надо ругаться, Мици». Я тебя уж и не так облапаю. Опять этот нестерпимый жар. Только бы прикоснуться к ней. «Мици, давайте мириться». — «Ладно, но только ведите себя прилично». — «Есть такое дело». Они снова идут под ручку. Он улыбается ей, она улыбается в траву. «Не так же уж это было страшно, Мици, а? Мы только лаем, а кусаться не кусаемся». — «Я никак не могу понять, для чего у вас на груди наковальня? У других на груди бывает фигура женщины, или сердце, или что-нибудь в таком роде, но наковальня». — «Ну, а как вы думаете, что это означает, Мици?» — «Ничего не думаю, не знаю». — «Это мой герб». — «Наковальня?» — «Да. На нее кто-нибудь должен лечь», — говорит он, осклабясь. «Ну и свинья же вы. В таком случае, уж лучше дали бы изобразить на этом месте кровать». — «Нет, наковальня лучше. Наковальня гораздо лучше». — «Разве вы кузнец?» — «Отчасти и кузнец. Наш брат — на все руки. Но это вы не совсем поняли, как оно обстоит с наковальней-то. Это значит, что ко мне никто не подступайся, фрейлейн, а то загорюсь. Но только, пожалуйста, не думайте, что я сейчас возьму да и укушу. Вас-то я уж и подавно не трону. Мы тут так славно гуляем, и мне только хочется немножечко посидеть в шалашике». — «Вы, должно быть, все такие ребята, у Пумса-то?» — «Как сказать, Мици, пальца нам в рот не клади». — «А что вы такое там делаете?» Эх, как бы заманить ее в шалаш? Кругом — ни души. «Ах, Мици, это ты спроси своего Франца, он все это знает не хуже меня». — «Да, но он ничего не говорит». — «Правильно. Умница он. Лучше ничего не рассказывать». — «Ну а мне?» — «Что же такое тебе хочется знать?» — «Да что вы делаете». — «А поцелуй мне за это будет?» — «Так и быть, если ты мне скажешь».

И вот она уже в его объятиях. Две руки у парня. И как сжимает он ими. Всему свое время, чтоб посадить и истребить, найти и потерять. Мици задыхается. Тот не отпускает. Ух как жарко. Пусти же. Если он еще несколько раз так сожмет, я погибла. Но ведь он сперва должен сказать, что такое делается с Францем, чего добивается Франц, и все, что уже было, и что еще предполагается. «Ну, теперь довольно, пусти, Рейнхольд». — «То-то же». Он отпускает ее, стоит, падает на колени к ее ногам, целует туфельки, с ума он сошел, что ли, целует чулки, выше, платье, руки, всему свое время, выше, шею. Мици смеется, отбивается: «Отстань, уйди, сумасшедший». Ишь, как распалился, под душ бы его поставить. Он тяжело дышит, запыхался, хочет прижаться к ее

груди, что-то лепечет, не понять что, потом сам отпускает ее шею. Это же настоящий бык. Рука его обвивает ее талию. Они идут дальше, деревья что-то напевают. «Гляди, Мици, какой хорошенький шалаш, как раз для нас. Погляди-ка. Да тут уж кто-то хозяйничал, что-то готовил себе. Это мы сейчас уберем. А то только брюки вымажешь». Присесть? Может быть, он тогда скорее разговорится? «Ну, хорошо. Только если бы постлать что-нибудь, было бы еще лучше». — «Постой, я сейчас скину плащ». — «Вот это мило с твоей стороны».

И вот они лежат на откосе над заросшей травой ложбинкой, Мици отшвыривает ногой жестянку из-под консервов, переворачивается на живот, спокойно кладет руку Рейнхольду на грудь. Приехали, стало быть. Она улыбается ему. А когда он расстегивает жилетку, и из-под нее показывается наковальня, Мици уже не отворачивается: «Ну, теперь рассказывай, Рейнхольд». Он прижимает ее к своей груди, приехали, стало быть, ну и отлично, вон она, девчонка-то, вся тут, все идет как по маслу, шикарная бабенка, что надо, эту я придержу подольше, и пусть себе Франц бузит сколько влезет, раньше ее все равно обратно не получит. И Рейнхольд сползает немного ниже по откосу, а затем притягивает Мици на себя, обхватывает ее руками и целует в губы. Он впивается в нее, и нет в нем ни мысли, а только вождление, страсть, похоть, и тут уж наперед известен каждый жест, и пусть уж лучше никто не пытается чему-нибудь тут помешать. Тогда все рушится и разлетается в щепы, и остановить это бессильны даже ураган или горный обвал, это словно снаряд из пушки, словно пущенная мина. Все, что встретится на пути, пробивается, сдвигается в сторону, и дальше, все дальше и дальше.

«Ах, не так крепко, Рейнхольд». Я уже слабею; если я не соберу все свои силы, я погибла. «Мици!» Он подмигивает ей снизу вверх, не отпускает ее: «Ну что, Мици?» — «Ну, что, Рейнхольд?» — «Что ты на меня так смотришь?» — «Послушай, это не хорошо с твоей стороны, что ты со мной делаешь. Сколько времени ты уже знаком с Францем?» — «С твоим Францем?» — «Да». — «Твоим Францем, да разве он еще твой?» — «А то чей же?» — «Ну а я кто же?» — «Как так?» Она хочет спрятать лицо у него на груди, но он с силой приподнимает ей голову: «Скажи, кто же я-то такой?» Она прижимается к нему, старается заткнуть ему рот, Рейнхольд снова разгорается, ах, к нему она ведь тоже не совсем равнодушна, ах, как он потягивается, как он весь пылает. И нет таких потоков воды, нет у пожарных мощных шлангов, которыми можно было бы это залить, жар выбивается из самой середины, растет изнутри. «Ну все. А теперь пусти». — «Чего же ты хочешь, детка?» — «Ничего. Бьгь с тобою». — «Вот видишь. Я тоже твой, не так ли? А что, ты с Францем поругалась?» — «Нет». — «Да уж признайся, что поругалась». — «Говорят тебе, нет. Лучше расскажи мне что-нибудь про него. Ты ведь его давно уже знаешь». — «Ничего я не могу тебе о нем рассказать». — «Ну да!» — «Ничего не расскажу, Мици».

Он грубо хватает ее, валит наземь, она борется с ним. «Не хочу, не хочу». — «Ну, не упрямясь, детка». — «Я хочу встать, здесь еще выпачкаешься». — «А если я тебе что-нибудь расскажу?» — «Тогда — другое дело!» — «Что мне за это будет, Мици?» — «Что хочешь». — «Все?» — «М-м-м — посмотрим». — «Все?» Их лица — вплотную друг к другу, пылают: она ничего не отвечает, сама не знаю, что сделаю, в его голове что-то мелькает, обрывки мыслей, нет, беспамятство.

Он подымается, надо вымыть лицо, фу, что это за лес, в самом деле, только весь выпачкаешься. «Так и быть, расскажу я тебе кое-что про твоего Франца. Я его уж давно знаю. Это, понимаешь, номер. Познакомился я с ним в пивной на Пренцлауераллее. Прошлой зимой. Он торговал газетами и был дружен с одним, как его? — да, с Мекком. Вот тогда я с ним и познакомился. Потом мы с ним часто бывали вместе, а про девчонок я тебе уж рассказывал». — «Значит, это правда?» — «Еще бы не правда! Только он дурак, этот Биберкопф, ужаснейший дурак. Хвастаться ему тут нечем, все шло от меня. А ты думала, что это он мне сплавлял своих женщин? Ах, боже мой, его женщины! Нет, знаешь, послушать бы его, так мы бы давно уже пошли в Армию Спасения, чтоб я там исправился». — «А ты не желаешь исправиться, Рейнхольд?» — «Нет, как видишь. Со мной ничего не поделаешь. Какой есть, такой есть. Уж это вернее верного, все равно что аминь в церкви, и тут ни черта не изменишь. А вот в нем, Мици, ты кое-что можешь изменить. Подумать только, что он — твой кот, ведь ты же лакомый кусочек, детка. Так как же это ты откопала себе такого дядю, однорукого, ты, такая красивая женщина, ведь ты можешь иметь хоть целую сотню». — «Полно чепуху молоть». — «Ну конечно, любовь слепа на оба глаза, но все-таки я тебе скажу... Знаешь, чего он у нас теперь хочет, твой кот-то? Он теперь хочет разгрызывать важного барина. Именно у нас! Сперва он хотел посадить меня на скамью кающихся, в Армии Спасения, но это ему не удалось. А теперь». — «Нет, не надо его ругать. Не желаю слушать». — «Ну да, ну да, знаю, это твой милый Франц, твой Францекен, все еще? А?» — «Ведь он же тебе ничего не сделал, Рейнхольд».

Всему свое время, всему, всему. Ужасный человек, этот Рейнхольд, пусть он меня отпустит, ничего я больше не хочу от него узнать, ничего ему не надо мне рассказывать. «Это верно, он нам ничего не сделал, да оно и не так просто, Мици. А только уж и тип тебе попался, Мици. Он тебе, например, рассказывал про свою руку? Что? Ведь ты его невеста, или была ею, по крайней мере! Ну, иди сюда, Мицекен, ты моя милая, ты мое маленькое сокровище, не ломайся, пожалуйста». Что мне делать, не хочу я его. Свое время, чтоб посадить и чтоб истребить, зашить и разорвать, плакать и плясать, горевать и смеяться. «Ну, иди же, Мици, на что он тебе сдался, этот олух? Ах ты моя красotka. Да не кобенься. Хоть он и твой, все-таки ты же не графиня какая-нибудь».

Радуйся, что ты от него отделалась». Радуйся, чего ж тут радоваться? «А он пусть себе скулит, его Миши тютю, была да сплыла». — «Да будет тебе, и не тискай ты меня так, я ведь не железная». — «Вижу, что не железная, а вся мягонькая, Мицекен, дай мне сюда свою мордашку». — «Да что это такое, в самом деле? Говорят тебе, не лапай. Что ты себе воображаешь? С каких это пор я твоя Миши?»

И — вон из шалаша. Шляпа осталась там. Еще изобьет, пожалуй, надо бежать. И вот уже — он не успел еще подняться — она кричит, кричит: Франц, Франц! — и бежит со всех ног. Тогда он вскакивает, выбегает и в два прыжка догоняет ее, он в рубашке. Оба падают около дерева, лежат. Она бьется, а он наваливается на нее, зажимает ей рот: «Ах, ты кричать? У, стерва, кричать? Зачем кричишь, разве я тебе что-нибудь сделал? Замолчи, слышишь? Он-то тебе наемные кости не все переломал, а у меня будет другой разговор». Он отнимает руку от ее рта. «Не буду кричать». — «Ага, то-то же. А теперь изволь встать, вернуться и забрать свою шляпу. Я женщин не насилюю. За всю свою жизнь ни разу этого не делал. Но только не вводи меня в раж. Вот сюда, сюда».

Он идет следом за нею.

«И нечего тебе задаваться со своим Францем, слышишь, хоть ты и его маруха». — «Ну, тепер я ухожу». — «Что значит “ухожу”? Ополоумела, что ли, не видишь, с кем говоришь? Так ты можешь говорить со своим олухом, понимаешь?» — «Я... я не знаю, что же мне делать?» — «Войти в шалаш и быть паинькой».

Когда хотят зарезать теленочка, ему накидывают на шею петлю и ведут его на бойню, там его берут, кладут на скамью и прикручивают к ней веревкой.

Они подходят к шалашу. Рейнхольд приказывает: «Ложись!» — «Я?» — «Посмей только пикнуть! Детка, я тебя очень люблю, иначе я бы не приехал сюда, но я тебе говорю: хоть ты и его маруха, все-таки ты еще не графиня. Советую тебе со мной не бузить. Знаешь, от такой бузы еще никому не поздоровилось. Будь то мужчина, или женщина, или ребенок, тут я никаких шуток не выношу. Можешь при случае справиться у своего кота. Он тебе кое-что расскажет, если только не постесняется. Да и от меня ты это можешь услышать. Тебе-то я могу рассказать, чтобы ты знала, что он за человек. И что тебя ждет, если ты задумаешь что-нибудь против меня. Ему тоже однажды захотелось сделать так, как он задумал в своей дурацкой башке. Может быть, он даже хотел выдать нас. Ему пришлось, понимаешь, стрёмить в одном месте, где мы работали. А он говорит, что не будет, потому как он порядочный человек и на такие шутки не согласен. Я ему говорю, нет, поедешь. Ему приходится сесть в автомобиль, но я еще не знаю, что мне с ним делать, у него всегда была такая паршивая манера хвастаться, ну, погоди, за нами гонится другая машина, эй, думаю, берегись, парень, со своим хвастовством и разыгрыванием по-

рядочного человека. И — турк его из автомобиля! Теперь ты знаешь, где его рука».

Руки как лед, ноги как лед, вот, значит, кто. «А теперь ложись и будь ласкова, как полагается». Да ведь это же — убийца! «Подлец, негодяй, подлец!» — «Ага! Видишь? Ну, кричи, кричи!» Он сияет: «А подчиниться тебе все-таки придется». Она ревет, плачет: «Подлец ты, ты хотел его убить, ты его искалечил, а теперь и меня хочешь взять, поганый?» — «Да, хочу». — «Негодяй, мерзавец, я тебе в рожу плюну». Он зажимает ей рот. «Ну-ка, попробуй теперь». Она вся посинела, рвется из его рук. «Помогите, убивают, Франц, Францекен, помогите!»

Всему свое время, всему! Время — погубить и исцелить, сломать и построить, разорвать и зашить, всему свое время. Она бросается к выходу, хочет спастись. Они борются в шалаше. Франц, помощи.

Погоди, с тобой-то мы еще справимся, а твоему Францу устроим такой сюрприз, что ему на целую неделю хватит. «Я хочу прочь отсюда». — «Хоти, хоти! Мало ли кто чего хочет!»

Он упирается коленом ей в спину, его руки сжимают ей горло, большие пальцы упираются в затылок, и вот ее тело сводит, судорога сводит ее тело. Время родиться и умереть⁵⁹, родиться и умереть, каждому свое.

Убийца, говоришь, а сама заманила меня сюда и думаешь водить за нос? Брось эти шпучки, плохо ты, значит, знаешь Рейнхольда.

Насилие, насилие, это жнец, которому высшая власть дана. Пусти меня, пусти. Она еще бьется, брыкается, трепыхается. Ничего, мы ее успокоим, а потом пусть хоть собаки съедят то, что от нее останется.

А тело ее все сводит, сводит ее тело, Мицино тело. Убийца, говоришь, ладно, мы тебе покажем убийцу, это тебя, верно, твой милый Франц подучил.

Затем животному наносят деревянной дубиной удар по затылку и ножом вскрывают с обеих сторон шейные артерии. Кровь выпускают в металлический чан.

Уже восемь часов, в лесу начинает смеркаться. Деревья гнутся, качаются. Ух, тяжелая была работа! Что, говорит она еще что-нибудь? Нет, не пикнет больше, стерва. Вот что получается, когда съездишь за город с такой сволочью.

Забросать ее валежником, носовой платок — на ближайшее дерево, чтоб сразу найти, ну, с этим покончено, где же Карл, надо притащить его сюда. Час с лишним спуста — обратно с Карлом, эх и размазня же этот человек, весь трясется, ноги подкашиваются, извольте с такими новичками работать. Совсем уже стемнело, они ищут с карманными фонариками, ага, вот и носовой платок. Захватили с собой лопаты. Групп зарывают в яму, засыпают песком, заваливают хворостом, как бы только не оставить следов сапог, надо их замести, ну, Карл, возьми себя в руки, а то похоже, будто ты и сам мертвец.

— На, вот тебе мой паспорт, Карл, паспорт хороший, и вот тебе деньги, смойся, пока воздух не очистится. Деньги будешь получать аккуратно, не беспокойся. Пиши на адрес Пумса. Я поеду обратно один. Меня никто не видел, а тебе никто ничего не может сделать, у тебя полное алиби. Ну, конечно, валяй.

Деревья качаются, гнутся, каждое, каждое. Всему свое время, всему.

Ни зги не видно. Ее лицо убито, ее зубки убиты, ее глаза убиты, ее уста, ее губы, ее язык, ее шея, ее ноги, ее лоно, я — твоя, ты должен меня утешить, полицейский участок у Штеттинского вокзала, Ашингер, мне дурно, ах, пойдем, мы сейчас будем дома, я — твоя.

Деревья качаются, подымается ветер. У-у-у-у! Ночное время течет своим чередом. Ее тело убито, ее глаза, ее язык, ее уста, ах, пойдем, мы сейчас будем дома, я — твоя. Трещит дерево, оно стоит с краю. У-у-у-у, это буря, она налетает с барабанами и флейтами, вот она стелется поверху над лесом и сейчас же спускается вниз. Когда она так воет, она уже внизу. Этот жалобный вой идет от кучи валежника. Звучит, как если бы что-то царапали, так воет оставленный взаперти пес и визжит, и скулит, слышите, как он скулит, вероятно, кто-то пнул его ногой, каблуком, чтоб было больнее, а вот сейчас перестал скулить.

У-у-у-у, снова налетает буря. Ночь. Лес стоит спокойно, дерево к дереву. Они выросли в тиши и стоят вместе, словно стадо; когда они стоят так густо друг возле дружки, буре не так-то легко добраться до них, только крайним приходится плохо, да слабым. Но они все заодно, смирррно, сейчас ночь, солнце зашло, у-у-у-у, снова начинает завывать, вот она, буря, теперь она и внизу, и наверху, и всюду. Желто-красный свет вспыхивает на небе⁶⁰, а затем снова ночная тьма, желто-красные вспышки — и ночная тьма, визг и свист становятся сильнее. Те, которые с краю, знают, что им предстоит, вот они и стонут. Ну, а былинки? Им-то хорошо, они могут гнуться, они могут стлаться по ветру, но что могут толстые деревья? И вдруг ветер стихает, сдается, он больше не будет, деревья еще стонут и скрипят от него, что-то он теперь сделает.

Когда хочешь разломать дом, то нельзя братья за это голыми руками, надо взять копер или заложить под фундамент динамиту⁶¹. А ветер только немного расправляет могучую грудь. Вот, смотрите: он вдыхает в себя воздух, а затем выдыхает его — у-у-у-у, затем снова вдыхает и снова выдыхает — у-у-у-у. Каждый вдох и выдох тяжелы, как гора, выдохнет — у-у-у-у, и катится гора, вдохнет — у-у-у-у, катится обратно. Туда, сюда. Его дыхание — гиря, тяжелый шар, который таранит лес, рушит его. И хотя бы лес стоял на холмах, подобно стаду, ветер разметет стадо и пронесет дальше.

И вот начинается: вумм-вумм, без барабанов и флейт. Деревья раскачиваются вправо и влево. Вумм-вумм. Но они не могут попасть в такт. Когда деревья как раз перегнулись влево, ветер, вумм, наддает еще больше влево, и

деревья гудят, стонут, скрипят, трещат, раскалываются, ломаются, валятся. Вумм, буря добивает несчастное дерево, вались налево. У-у-у-у, назад, нет, этому не бывать, и вот оно уже лежит на земле, надо только уловить удобный момент. Вумм, вот ветер снова налетает, берегись, вумм, вумм; вумм, это аэробомбы, он хочет снести весь лес, он хочет совершенно уничтожить его.

Деревья воют и раскачиваются, треск, они ломаются, гудят, вумм, борьба не на жизнь, а на смерть, вумм, вумм, солнце скрылось, падают тяжелые гири, ночь, тьма, вумм, вумм.

Я — твоя, пойдём же, вот мы и дома, я вся твоя. Вумм, вумм.

КНИГА ВОСЬМАЯ

Все это нисколько не помогло. До сих пор все это еще нисколько не помогло. Франц Биберкопф получил удар молотом по голове, он знает, что погиб, но все еще не знает почему.

*Франц ничего не замечает,
и все идет своим чередом*

Второе сентября. Франц занимается своими делами, как всегда, едет с элегантным купчиком на пляж в Ваннзее. Третьего числа, в понедельник, он удивляется, что Мицекен еще нет, уехала, не предупредив его, хозяйке тоже ничего не сказала и даже не телефонировала. Ну что ж, может быть, уехала куда-нибудь за город со своим почтенным другом покровителем, в таком случае он скоро доставит ее обратно. Подождем еще до вечера.

После обеда, Франц сидит дома, вдруг звонок, письмо пневматической почтой для Мици, от ее покровителя. Что такое, в чем дело, разве Мици не у него, что случилось? Дай-ка откроем письмо: «и очень удивляюсь, Соня, что ты даже не позвонишь мне. Вчера и третьего дня я, как было условлено, ждал тебя на службе». Что же это значит, куда она девалась?

Франц срывается с места, ищет шляпу, ничего не понимаю, едет к тому господину, на таксомоторе. «Как, она у вас не была? Когда же она была здесь в последний раз? В пятницу? Так, так». Они обмениваются взглядами. «У вас есть племянник, может быть, он тут замешан?» Покровитель приходит в ярость. Что-о-о? Подать сюда этого разбойника, прошу вас чуточку обождать. Тем временем они с Францем медленно тянут красное вино. Является племянник. «Это Сонин жених; тебе известно, где она?» — «Мне? Что случилось?» — «Когда ты ее в последний раз видел?» — «Да это же... Постой... Недели две тому назад». — «Совершенно верно. Это она мне рассказывала. А с тех пор больше нет?» — «Нет». — «И ничего о ней не слышал?» — «Абсолютно. Но в чем же дело, что случилось?» — «Вот этот господин тебе сам скажет». — «Ее нет с субботы, и ни слова не сказала, оставила все как есть, ни слова о том, куда и...» — «Может быть, она завела новое знакомство?» — спрашивает покровитель. «Не думаю». Они принимают за красное вино уже втроем. Франц сидит удрученный: «Пожалуй, придется еще немножко подождать».

Ее лицо убито, ее зубки убиты, ее глаза убиты, ее губы, ее язык, ее шея, ее тело, ее ноги, ее лоно — убиты!

На другой день ее тоже нет. Нет и нет. Все лежит так, как она оставила. А ее нет и нет. Может быть, Ева что-нибудь знает? «Ты с ней не поругался, Франц?» — «Нет. Правда, две недели тому назад было дело, но мы помирились». — «Какое-нибудь новое знакомство?» — «Тоже нет, она мне рассказывала про племянника своего старика, но это не то, я его видел». — «А может быть, хорошо было бы последить за ним, может быть, она все-таки у него?» — «Ты думаешь?» — «Надо бы проверить. С Мици все может статься. Она с норовом».

Ее все нет как нет. Франц два дня ничего не предпринимает, думает, не буду за ней бегать. Но о ней ни слуху, ни духу, и тогда он целый день выслеживает племянника, и на следующее утро, как только племянникова хозяйка ушла из дому, Франц и элегантный купчик — шасть в его квартиру, дверь легко отпи-

рается крючком, в квартире — ни души, в его комнате сплошь одни книги, никаких следов пребывания женщины, на стенах красивые картины, еще книги, нет, ее здесь нет, я же знаю ее пудру, совсем не тот запах, идем, идем, не надо ничего трогать, оставь, хозяйка — бедная, живет сдачей комнат.

В чем же дело? Франц сидит у себя в комнате. Часами. Где Мици? Ушла и весточки не подает. Что вы на это скажете? В комнате все перерыто, кровать разрыта и снова постлана. Бросила меня? Это невозможно! Не-воз-мож-но? Бросила! Что я ей сделал, разве я ее чем-то обидел, нет, не обижал. А то, что было тогда из-за племянника, она мне простила.

Кто там? Ева: «Что ты в темноте-то сидишь, Франц, хоть бы свет зажег». — «Мици меня бросила. Неужто это возможно?» — «Оставь, пожалуйста. Вернется твоя Мици. Она ведь тебя любит, не сбежит от тебя, я ее хорошо знаю». — «Это верно. Ты думаешь, я об этом горюю? Конечно, вернется». — «Ну вот, видишь. Наверно, девчонке что-нибудь такое взбренило — встретила старого знакомого, поехала с ним куда-нибудь. Я ее знаю с прежних времен, когда ты с ней еще не был знаком, она такие штучки уже выкидывала, у девки свои причуды». — «Все-таки это, как-никак, странно. Не знаю, не знаю». — «Да ведь она же тебя любит, чудак-человек. А ты посмотри-ка, потрогай мой живот, Франц». — «А что такое?» — «Это от тебя. Помнишь? От тебя ребеночек. Это она, Мици, так хотела». — «Что?» — «Ну да».

Франц прижимается головой к животу Евы: «Это Мици хотела? Быть не может! Ох, дай сяду!» — «Вот увидишь, Франц, как она будет рада, когда вернется». Тут уж Ева и сама распустила нюни. «Ну, Ева, кто из нас двоих больше волнуется? Ты, конечно». — «Ах, я от всей этой истории так расстроилась. Не понимаю, не понимаю я эту женщину». — «Значит, теперь уж мне приходится тебя утешать?» — «Нет, это только нервы, может быть, оттого, что я в положении». — «Ну смотри, когда Мици вернется, она тебе еще устроит вот за это самое сцену». Ева не перестает реветь: «Что же нам теперь делать, Франц, это так на нее не похоже». — «Здравствуйте! Сперва ты говоришь, что такие случаи с ней и раньше бывали, что она просто взяла да с кем-нибудь уехала прокатиться, а теперь оказывается, это на нее совсем не похоже». — «Ах, я и сама не знаю, Франц».

Ева обхватила голову Франца, держит ее. Глядит на нее: клиника в Магдебурге, руку отняли, Иду он убил, господи, что это с человеком делается. Прямо горе с ним. Мици, наверно, уж больше нет в живых. Над этим Францем тяготеет какой-то злой рок! С Мици наверняка что-нибудь стряслось. И Ева падает на стул. В ужасе всплескивает руками. Франца жуть берет. Ева рыдает, плачет навзрыд. Она знает — над этим человеком тяготеет рок, с Мици случилась беда.

Он пристает с расспросами, она молчит. Затем берет себя в руки: «Аборта я ни за что не сделаю. Тут уж Герберт хоть тресни». — «А разве он говорил

что-нибудь в таком роде?» Мысль мгновенно перескакивает за тридевять земель. «Нет. Он думает, что это от него. Но я ребенка не отдам». — «Хорошо, Ева; я буду крестным». — «Ну вот, настроение у тебя и лучше, Франц». — «Это потому, что меня не так-то легко свалить с ног. А теперь и ты развеселись, Ева. Неужели же я не знаю своей Мици? Она у меня под трамвай не попадет, вся эта история должна в скором времени выясниться». — «В добрый час будь сказано. Ну, до свиданья, Францекен». — «А поцеловать?» — «Как я рада, что ты повеселел, Франц».

У нас есть ноги, у нас есть зубы, у нас есть глаза, у нас есть руки, пусть-ка кто-нибудь сунется нас укусить, или укусить Франца, пусть-ка сунется! У него есть рука, у него две ноги, у него крепкие мускулы, он все расколошматит. Пусть-ка попробуют сунуться к Францу, он ведь не мокрая курица. Что бы ни было у нас позади, что бы ни было у нас впереди — пусть только сунется, а мы в ответ выпьем рюмочку, вторую, третью, девятую.

У нас нет ног, увы, у нас нет зубов, у нас нет глаз, у нас нет рук, всякий может сунуться, кому не лень, может укусить Франца, ведь он же мокрая курица, увы, он не умеет постоять за себя, он умеет только пить.

«Я должна что-нибудь предпринять, Герберт, не могу больше на это смотреть». — «Что же ты хочешь предпринять, Ева?» — «Не могу я больше на это смотреть, сидит себе человек, ничего не замечает и только твердит, что она вернется, а я каждый день просматриваю газеты, нет ли в них чего. Ты-то ничего не слышал?» — «Нет». — «А ты не мог бы поразузнать, не слышал ли кто чего?» — «Это же все чушь, что ты говоришь, Ева. Мерещатся тебе всякие страхи, а для меня дело ясное. Что, в сущности, случилось? Девчонка его бросила. Подумаешь! Не лезть же теперь на стену. Небось, найдет другую подружку». — «Если б что-нибудь случилось со мной, ты бы тоже так говорил?» — «Тишун тебе на язык! Но раз она такая». — «Никакая она не такая. Ведь я же сама ее для него выбрала. Знаешь, я уж и в морге была, искала ее там, вот увидишь, Герберт, с ней что-нибудь стряслось. Горе с этим, Францем. Рок над ним такой, что ли? Значит, ты так-таки ничего не слышал?» — «Да ты про что?» — «Ну, ведь другой раз бывает, что у вас в союзе что-нибудь да и расскажут. Может быть, ее видели? Не могла же она пропасть бесследно. Я — коли она скоро не отыщется, пойду и заявлю в полицию». — «Вот, вот! Так и сделай!» — «Не смейся, так и сделаю. Я должна ее разыскать, Герберт, тут что-нибудь не то, она не по своей воле исчезла, она не ушла бы таким манером от меня и от Франца тоже. А тот сидит себе и в ус не дует». — «Брось чепуху молоть, уши вянут, а теперь пойдем-ка мы с тобой, Ева, в кино».

В кино они смотрят картину.

Когда, в 3-м действии, благородного кавалера убивает бандит, Ева испускает вздох. И в ту минуту, как Герберт оглядывается на нее, она соскальзывает

вает с сидения и, нате вам, лишается чувств. Потом они в молчании идут под ручку по улицам. Герберт поражается: «Вот-то обрадуется твой старик, если ты правда в положении». — «А тот ведь его застрелил, ты видел, Герберт?» — «Это же только так, нарочно подстроено, ты не обратила внимания. Да ты и сейчас еще вся дрожишь». — «Ты должен что-нибудь сделать, Герберт, так больше продолжаться не может». — «Тебе надо уехать отсюда, скажи своему старику, что ты больна». — «Я не про то. Ты должен что-нибудь предпринять. Сделай же что-нибудь, Герберт, ведь ты помог Францу в тот раз, когда у него была эта история с рукой, сделай же что-нибудь и теперь. Я тебя так прошу». — «Да не могу я, Ева. Что такое я, по-твоему, должен сделать?» Она горько плачет. Приходится усадить ее в автомобиль.

Францу не надо идти попрошайничать, Ева дает ему денег, сколько может, от Пумса он тоже получил некоторую сумму, на конец сентября у них опять намечено дельце. В конце сентября снова появляется жестящик Маттер. Он был за границей, на монтаже или что-то в этом роде. Францу он при встрече рассказывает, что ездил за границу лечиться, легкие не в порядке. Выглядит он скверно и как будто совсем не поправился. Франц говорит ему, что Мици, которую он, кажется, знал, ушла от него, но только не надо об этом судачить, потому что есть люди, которые смеются до упаду, когда человека бросает его любовница. «Так что ни слова Рейнхольду, с ним у меня в прежнее время были кой-какие неприятности из-за женщин, и он себе живот надорвал бы со смеху, если б узнал такую вещь. Другой, — с улыбкой продолжает Франц, — у меня тоже еще нет, да я и не хочу». На лбу и вокруг рта у него скорбные складки. Но он гордо закидывает назад голову, и губы у него плотно сжаты.

В городе большое движение. Танни остался чемпионом мира, но американцы, собственно говоря, не слишком довольны, этот человек им что-то не нравится. На седьмом раунде он лежал до девяти. После этого Демпси выдыхается. Это был последний мастерский удар Демпси, его последняя ставка. Матч окончился в 4 часа 58 минут 23 сентября 1928 года¹. Об этом матче говорят очень много, а также о рекордном перелете Кёльн—Лейпциг². По слухам, предстоит экономическая война между апельсинами и бананами³. Впрочем, ко всему этому прислушиваются без особого интереса, поглядывая сощуренными в узкую щелочку глазами.

Каким образом растения защищаются от холода? Многие растения не выдерживают даже легкого мороза. Другие вырабатывают в своих клеточках средства защиты, обладающие химическими свойствами. Наиболее действительным является превращение содержащегося в клеточках крахмала в сахар. Правда, такое образование сахара мешает использованию некоторых огородных культур, лучшим доказательством чему служит становящийся от промерзания сладким картофель. Но зато бывают случаи, когда вызванная действием

мороза сахаристость растения или плода только и делает таковые годными в пищу, как, например, дикорастущие плоды. Если оставить их на кустах или деревьях до наступления легких морозов, то они тотчас же выделяют столько сахара, что их вкус совершенно меняется и в значительной мере улучшается. Сказанное относится и к плодам шиповника⁴.

Кажется, не так уж важно, что в Дунае утонули, катаясь на байдарке, два молодых человека из Берлина⁵ или что Нунгессер упал и разбился со своей «Белой птицей» у берегов Ирландии⁶. Что это выкрикивают на улицах? Купишь такую газетку за десять пфеннигов, а потом бросишь ее или оставишь где-нибудь. Или вот, например, хотели линчевать венгерского премьер-министра за то, что его автомобиль наехал на крестьянского мальчика. Значит, если б его действительно линчевали, заголовок в газете гласил бы: «Линчевание венгерского премьер-министра близ города Капошвара». От этого шум и крик только усилились бы, образованные люди прочитали бы вместо «lynching», линчевание, — «lunching», угощение завтраком⁷, и что-нибудь сострили бы по этому поводу, а остальные 80 процентов сказали бы: жаль, что только одного, хотя и на том спасибо, ну да это нас не касается, собственно говоря, следовало бы устроить такую штуку и у нас.

В Берлине любят посмеяться. У Добрина⁸, на углу Кайзер-Вильгельмштрассе, сидят за столиком трое: толстый, как клецка, весельчак со своей содержаночкой, этакой пышечкой, вот только бы она не так взвизгивала, когда смеется, да еще один мужчина, это — приятель толстяка, мелкая сошка, которого тот угощает, а он только слушает и обязан смеяться. Люди, как будто, из общества. Пухленькая содержаночка каждые пять минут чмокает своего богатого покровителя в губы и кричит: Ну и затейник! Толстяк присасывается к ее шее, это длится добрых две минуты. Что думает о них тот, который только смотрит, их не касается. Они пьют бульон. Толстяк рассказывает анекдот.

«Рыбак подходит к озеру — видит, на берегу сидит девушка, он ей говорит: “Ну что, мамзель рыбачка, когда будем рыбачить вместе?” А она отвечает: “Меня зовут не рыбачкой, а ночной пташкой”. — “Так тем лучше!”». Все трое ржут от удовольствия. Содержаночка, захлебываясь, говорит: «Ну и затейник, ну и голова!»

«Послушай-ка, а этот знаешь? Фрейлейн спрашивает: “Скажите, а что все-таки значит à rгоро?” — “À rгоро? Да то и значит, не как обычно, а в попу!” — “Вот видите, — говорит она, — я так и знала, что это что-нибудь неприличное! Ап-чхи!”» Они веселятся от души, дамочка шесть раз выходит оправиться. «Гут курица и говорит петуху. Обер, получите с нас, я плачу за три рюмки коньяка, два бутерброда с ветчиной, три чашки бульона и три резиновые подметки». — «Резиновые подметки? Это были сухари». — «Ну, вы говорите сухари, а я говорю резиновые подметки. У вас помельче не найдется? Дело в том, что у нас дома лежит в колыбельке новорожденный, которому я каждый раз сую

в рот монетку пососать. Так! Ну, мышонок, идем. Час забавы окончен, за кассу, в Кассель!¹⁹»

По Александрштрассе и Александрплац ходит немало девиц и замужних женщин, которые вынашивают в себе зародыш, и этот зародыш пользуется защитой закона¹⁰. А в то время как дамы и девицы адски потеют при такой жаре, зародыш спокойно сидит в своем уголку, у него в помещении поддерживается равномерная температура, он гуляет себе по Александрплац и не тужит, но многим зародышам придется впоследствии туго, так что нечего им слишком рано торжествовать.

А кроме этих, там бегают еще и другие люди и тащат, что попадет под руку, у одних брюхо набито, а другие еще только раздумывают, чем его набить. Универмаг Гана уже весь снесен¹¹, вообще же во всех домах — контора на конторе, магазин на магазине, но это только одна видимость, будто там делаются дела, в действительности это одна реклама, сплошное зазывание, чирканье, чивик-чивик, птичье щебетанье без леса.

И я обратился вспять, и увидел всю неправду, творившуюся на земле. И увидел слезы тех, кто терпел неправду; и не было у них утешителя, ибо те, которые обижали их, были слишком могущественны. И восхвалил я тогда мертвых, которые уже умерли.

Мертвых я восхвалил. Всему свое время — зашить и разорвать, сохранить и бросить¹². И восхвалил я мертвых, которые лежат под деревьями и спят непробудным сном.

И снова прибегает Ева: «Франц, да когда ж ты наконец что-нибудь предпримешь? Ведь уж три недели прошло; знаешь, если б ты был моим и так мало заботился...» — «Я никому не могу про это сказать, Ева, вот ты знаешь, да Герберт, а потом еще жестянщик, и больше никто. Никому не могу сказать. Меня только засмеют. И в полицию заявить нельзя. Если ты не хочешь мне сколько-нибудь дать, то и не надо, Ева. Я... опять... пойду на работу». — «Как это ты нисколечко не горюешь, ни слезинки... Так бы, кажется, и тряхнула тебя! Пойми ты, я ничего не могу поделать». — «И я не могу».

*Дело идет к развязке,
преступники не поладили между собой*

В начале октября происходит в шайке тот крупный разговор, которого так опасался Пумс. Вопрос — о деньгах. Пумс, как всегда, считает главным для шайки делом сбывать товар. Рейнхольд и другие, в том числе Франц, переносят центр тяжести на его добывание. Они настаивают, чтоб распределение выруч-

ки было поставлено в зависимость от этого момента, а не от реализации, и находят, что Пумс все время получал слишком много, за счет других, и что вообще этот Пумс злоупотребляет своей монополией в сношениях с укрыва-телями и скупщиками, а потому надежные скупщики не желают иметь дело ни с кем другим, кроме как с Пумсом. Братва, хотя Пумс идет на значительные уступки и соглашается на любой контроль, видит: тут надо что-то пред-принять. Она более склонна к кооперативной системе. Пумс говорит: она у нас уж есть. Но в этом-то ему и не верят.

Подвертывается дело со взломом на Штралауерштрассе. Хотя Пумс уже совершенно не в состоянии работать активно, он все-таки принимает участие. Место действия — фабрика перевязочных материалов в одном дворовом фли-геле на Штралауерштрассе¹³. Наводчик сообщил, что в несгораемой кассе в кабинете директора хранятся крупные суммы. Таким образом, это дело — выпад против Пумса: не товар, а деньги. При распределении денег уже никак не смошенничаешь. Поэтому-то Пумс и примазался самолично. Они по двое поднимаются по пожарной лестнице и преспокойно вывинчивают замок вход-ной двери в контору. Жестянщик принимается за работу. Тем временем остальные взламывают все конторские столы, там оказываются только не-сколько марок наличными и почтовые марки, в коридоре находят две фля-ги бензина — пригодятся. Потом сидят и ждут результатов работы Карлхена, жестянщика, над сейфом. И вот надо же случиться, что он обжигает себе ап-паратом для кислородной резки руку и не может больше работать. Рейнхольд пытается его заменить, но у него нет навыка, тогда за трубку берется сам Пумс, и тоже ничего не получается. Дело, очевидно, сорвалось. Надо кончать, скоро должен явиться сторож.

От досады они берут фляги с бензином, обливают всю мебель, не исклю-чая проклятого сейфа, бросают туда горящие спички. Пумс будет торжество-вать, не так ли? Но этого ни за что не допустят. Да и много ли нужно? Чуть раньше брошенная в бензин спичка, чуть подпаленный Пумс, неужели не спра-вятся? И вообще, чего он тут пугается, только мешает. Так что Пумсу сожгли всю спину, а на лестнице побежали и машут ему: «Сторож идет!», Пумс толь-ко только успел плюхнуться в автомобиль. Недурно проучили молодчика, а? Однако где все-таки взять денег?

Пумс может посмеиваться в кулак. Товар был и остался более выгодным делом. Надо быть специалистом. Что тут поделаешь? Пумса выставляют экс-плуататором, хозяйчиком, архиплутом. Но почему знать, если переборщить с ним, то он еще, пожалуй, использует свои связи и образует новую шайку. В четверг, в клубе, он заявит: я, мол, делаю все, что в моих силах, и могу, если угодно, представить оправдательные документы, под него, стало быть, не под-копаешься, а если отказаться с ним работать, то в союзе скажут: мы тут ни при чем, раз вы сами не хотите, человек делает все, что может, а если ему и до-стается чуточку больше других, то нечего вам из-за этого в бутылку лезть, у

вас, как-никак, есть девчонки, которые тоже подрабатывают, а у него — старуха и больше ни шиша. Так что придется и дальше с ним, треклятым, маяться, с этим эксплуататором и хозяйчиком.

Вся ярость обрушивается на жестянщика, который так оскандалился на Штралауерштрассе и оставил их всех с носом. Такого маралы, говорят, нам не нужно! А он здорово обжег руку, лечит ее и, хотя всегда хорошо работал, слышит сейчас только ругань.

Ну да, со мной не церемонятся, распалается жестянщик. Меня надули с моей мастерской, когда у меня еще была мастерская; стоит мне слегка въшить, как моя жена уж подымает целый скандал, а под Новый год, когда я неожиданно вернулся домой, то кто закатился на всю ночь? Она, сволочь. Является только в семь утра, спала с другим, стало быть, изменила мне. Значит, у меня — ни мастерской, ни жены. А что было с крошкой Мици, этакий сукин сын, этот Рейнхольд! Она была моя, она вовсе не хотела к нему, она со мной поехала на вечер, по аллее, вот умела целоваться-то, а он отнял ее у меня, потому что я нищий. И такой ведь мерзавец, убил ее, душегуб, за то, что она не захотела его, а теперь разыгрывает важного барина, и вот теперь меня угрозило повредить руку, а я еще помогал ему тащить. Это ж бандит, это ж настоящий убийца. А я-то чуть было не взял на себя все дело, за такого мерзавца. Ну и дурак же я!

*Присматривайте за Карлушкой-жестянщиком,
с ним что-то творится*

Карлушка-жестянщик ищет человека, с которым мог бы поговорить по душе. Он сидит в пивной на Александрквеле напротив Тица¹⁴, с ним — двое питомцев из приюта для трудновоспитуемых и какой-то субъект, о котором неизвестно, кто он такой, сам он говорит, что занимается разными делами, какие подвернутся под руку, по специальности же он — каретник. Он хорошо рисует, они сидят вчетвером за столиком, едят копченую колбасу, а молодой каретник рисует в своей записной книжке похабные картинки, голых баб и мужчин и все в таком роде. Приютские страшно довольны. Карлушка-жестянщик поглядывает издали и думает: хорошо, черт его подери, рисует парень. Ребята так и заливаются хохотом, приютские особенно веселы, потому что, оказывается, они только что были на Рюккерштрассе, а туда пришли с облавой, и им с трудом удалось удрать по черному ходу. Тут жестянщик встает и подходит к стойке.

Как раз в этот момент по пивной медленно проходят двое, озираются направо и налево, с кем-то заговаривают, тот предъявляет документы, эти двое просматривают их, обмениваются несколькими словами и уже стоят у столика

наших юнцов, те, конечно, в страхе, но не сморгнули, не пикнули. Продолжают беседовать, как ни в чем не бывало, ясно, что это агенты, те самые, которые были в пивной на Рюккерштрассе и заприметили их. А каретник рисует себе, не смущаясь, похабные картинки, и вот один из агентов говорит ему шепотом: «Агент уголовного розыска», распахивает куртку, показывает жестяной значок на жилетке. Его товарищ, рядом с ним, продельзывает ту же процедуру с двумя другими. У тех никаких документов, у каретника только больничный листок и письмо от какой-то девицы, всем троим приходится прогуляться в участок на Кайзер-Вильгельмштрассе. Парнишки сразу выкладывают все, начисто, и никак не могут очухаться, когда им говорят, что их вообще не видели на Рюккерштрассе и что их замели в этой пивной совершенно случайно. Какого ж черта было рассказывать, что мы удрали из приюта? Все смеются. Агент хлопает их по плечу. «Вот заведующий-то обрадуется, когда вы вернетесь», — утешает он их. «Да ведь он же в отпуске!» Каретник стоит в дежурной у шупо, он в состоянии удостоверить свою личность, адрес указан им правильный, вот только почему у него такие мягкие для каретника руки, этого один из агентов никак не возьмет в толк, и все рассматривает его руки; тот говорит, что уже целый год ходит без работы; сказать вам, за кого я вас принимаю, спрашивает агент, за гомосексуалиста, да я даже не знаю, что это значит.

А час спустя он снова появляется в пивной. Карлушка-жестящик все еще сидит за тем же столиком, каретник сразу примазывается к нему.

«Чем ты живешь?» Было уже около двенадцати, когда Карл стал его спрашивать. «Чем? Чем придется. А ты что делаешь?» — «Делаю что подвернется». — «Видно, не доверяешь мне, боишься сказать?» — «Что ж, да ведь ты не каретник». — «Такой же каретник, как ты — жестящик». — «Ну этого ты не скажи. Во, взгляни на мою руку, ожог, я даже и слесарную работу исполняю». — «На этом деле ты, наверно, и обжегся, а?» — «Дело, нечего сказать! Ничего из этого дела не выгорело». — «А с кем же ты работаешь?» — «Ишь, плутишка, хочет из меня все вымотать! — смеется Карл. — А ты в союзе состоишь?»¹⁵ — «В Шенгаузенском районе». — «Вот как, в Кегельклубе?» — «Так ты его тоже знаешь?» — «Как же не знать? Спроси-ка там, знают ли меня, Карла-жестящика, там у вас есть еще каменщик Пауль». — «Да что ты говоришь? Значит, ты его знаешь? Это ж мой друг-приятель!» — «Мы с ним вместе были когда-то в Бранденбурге». — «Правильно. Так, так. Послушай, в таком разе ты бы мог одолжить мне пять марок, у меня, понимаешь, ни бум-бум, хозяйка грозит выставить вон, а в ночлежку идти мне не с руки, там всегда можно нарваться». — «Пять марок? Получай! Только и всего?» — «Большое спасибо. А не поговорить ли нам о деле?»

Каретник, оказывается, из молодых, да ранних, пугается то с бабами, то с парнями. Когда вода подступает к горлу, стреляет в долг или промышляет воровством. Он, жестящик, и еще один парень из Шенгаузенского союза моментально организуются в самостоятельную компанию и — рота, в ружье! —

живым манером обдeldьваот пару-другую делишек. Где что можно взятъ — сообщают им из союза, в котором состоит каретник. Первым долгом, они стьрили мотоциклетки, таким образом им обеспечена свобода передвижения и возможность любоваться окрестностями. Кроме того, они теперь не связаны с Берлином, на случай если подвернется работенка где-нибудь в другом месте.

Одно дело, которое они обтяпали, вышло очень комично. На Эльзассерштрассе есть большой конфекционный магазин, а в союзе — несколько портных, которые могут такой товар с легкостью пристроить. И вот однажды, когда ребята стояли втроем перед этим магазином, часа этак в три ночи, подходит к ним ночной сторож и тоже поглядывает на дом, который он сторожит. Каретник его и спрашивает, что помещается в этом доме, остальные подхватывают разговор, то да се, между прочим упоминают о кражах и налетах, да, мол, сейчас такое время, что эти самые воры и грабители ходят обыкновенно с револьверами в кармане, а если им помешать в работе, то не задумаются и ухлопать человека. Нет, говорят остальные, на такую штуку они бы вовсе не пошли; да и стоит ли огород городить из-за лавчонки готового платья? Есть ли там вообще товар? «А то как же? Там полным-полно товару: мужское платье, пальто — все, что угодно». — «В таком случае, надо бы зайти и одеться во все новенькое». — «Да вы очумели, что ли? — подначивает один из компании. — Не станете же вы ни за что ни про что причинять человеку неприятности». — «Неприятности? Почему неприятности? Господин сосед, в конце концов, тоже человек, и денег у него, наверно, не густо; скажи, коллега, сколько тебе платят за то, что ты тут сторожишь?» — «Ах, знаете, это такие гроши, что не стоит и спрашивать. Когда человеку шестьдесят лет, как мне, и приходится существовать на одну пенсию, то с ним можно делать, что угодно». — «Про это ж мы и говорим, что вот заставляют старого человека стоять тут всю ночь, только ревматизм наживешь, на войне вы, верно, тоже были?» — «Ландштурмистом, в Польше, да не думайте, что на земляных работах, — в окопах». — «Кому вы говорите? У нас было точно так же. Пожалуйте в окопы, у кого еще голова на плечах, за это самое ты и стоишь тут, коллега, и сторожишь, чтоб никто ничего не спер у этих важных господ. Как ты думаешь, сосед, не сделать ли нам с тобой хорошее дельце? Где ты, собственно, помещаешься, сосед?» — «Нет, нет, знаете, слишком уж это рискованно, как раз рядом — хозяйская квартира, а ну как услышит хозяин, у него сон легкий». — «Да мы шуметь не будем, тебе говорят. Пойдем-ка, выпьем с тобой кофейку, спиртовка-то у тебя найдется, а ты нам что-нибудь расскажешь. Неужели ты будешь распинаться за него, за борова жирного?»

И вот они сидят вчетвером у сторожа в конторе, и пьют кофе, каретник, как самый хитрый, заговаривает сторожу зубы, а в это время те двое потихоньку смываются, работают. Сторож то и дело порывается встать, чтобы сделать обход, и ничего не хочет знать о каком бы то ни было деле, наконец ка-

ретник ему говорит: «Да оставь ты их в покое; раз ты ничего не заметил, то с тебя и взятки гладки». — «Что значит: ничего не заметил?» — «Знаешь, что мы сделаем? Я тебя свяжу, будто на тебя напали, ведь ты же старик, где ж тебе справиться, если, например, я сейчас действительно накину тебе на голову большой платок, то ты и ахнуть не успеешь, как у тебя будет кляп во рту и ноги связаны». — «Шутишь?» — «Шучу, шучу! А только ты все-таки не ломайся, с какой стати ты дашь проломить себе голову ради такого богача, ради этого борова откормленного? Давай выпьем-ка еще кофею, а послезавтра мы рассчитаемся, напиши вот тут, где ты живешь, поделимся с тобой по-братски, честное слово». — «Сколько ж это на брата получится?» — «Зависит от того, что возьмем. Сто марок тебе уж во всяком случае обломаются». — «Двести». — «Идет!» Затем они закуривают, допивают кофейник, связывают товар. Теперь бы надежный автомобильчик. Жестящик звонит по телефону, куда надо, им везет, полчаса спустя своя грузовая машина пыхтит уже внизу у дверей.

Ну а теперь — пошла потеха: старик сторож садится в кресло, каретник берет кусок медной проволоки и связывает ему ноги, не очень туго, потому что у старика расширение вен, и ноги у него очень чувствительны. Руки ему обматывают телефонным проводом, и вот все трое начинают издеваться над стариком, спрашивают, сколько он хочет получить: может быть, триста или триста пятьдесят? Потом приносят две пары брюк для мальчиков и летнее пальто попроще. Брюками привязывают сторожа к креслу. Тот говорит, что уже довольно. Но его дразнят еще больше, а когда он вздумал было огрызнуться, ему закатывают пару плюх, и не успел он опомниться, как ему уже обмотали голову этим самым пальто, да еще предосторожности ради обвязали его полотенцем. Товар преспокойно выносят в автомобиль. Каретник пишет на куске картона: «Осторожно! Не садиться!» и нацепляет это объявление сторожу на грудь. Затем — прощайте, не поминайте лихом! Давненько не добывали мы денег с такой легкостью.

Сторожу становится страшно, и он весь кипит от злости в своих путах. Как бы выбраться из этого положения? А кроме того, грабители забыли запереть за собою дверь, ведь могут войти другие и тоже поживиться. Рук ему никак не высвободить, но проволока на ногах распускается, только бы что-нибудь видеть. Старик сгибается в три погибели, ступает маленькими шажками, пробирается с креслом на спине, как улитка со своим домиком, наугад через всю контору, руки крепко прикручены к туловищу, ни за что их не распутать, да и толстого пальто с головы не снять. То и дело на что-нибудь наткываясь, он добрался наконец до двери в вестибюль, но в дверь пролезть не может, и вот он входит в раж, отступает на шаг, а затем со всей силой дубасит креслом вперед и боком в дверь. Кресло держится, не сползает, но дверь трещит всю, так что гул разносится по всему дому. Ничего не видя перед собой, сторож топчется на месте и знай бухает в дверь, должен же в конце концов кто-нибудь явиться, освободить несчастного, погодите, сволочи, будет вам, вот

только бы освободиться от пальто, он кричит караул, но его не слышно, мешает пальто. Впрочем, шум продолжается не больше двух минут, просыпается хозяин, со второго этажа тоже сбегаются люди. А старик как раз в этот момент валится в кресло и свисает на бок, в обмороке. Вот гвалт-то поднялся, ай, батюшки, ограбили, ай, сторожа связали, а почему берут в сторожа такого старика, непременно хотят наводить экономию, экономят там где не надо.

Ликование маленькой шайки.

На кой черт нам теперь Пумс и Рейнхольд и вся эта компания?

Дело налаживается, но совсем иначе, чем они думают.

*Дело налаживается,
Карлушка-жестящик засыпается
и выкладывает все*

В пивной на Пренцлауерштрассе Рейнхольд подходит к жестящику и требует, чтоб тот шел к ним, они, говорит, искали слесаря, да не нашли, и потому Карл должен вернуться к ним. Они направляются в заднюю комнату. Рейнхольд спрашивает: «Почему ты не хочешь идти к нам? Что ты вообще делаешь? Мы уже кое-что слышали». — «Потому что не желаю, чтоб мной помывкали». — «Значит, у тебя есть сейчас другая работа?» — «Это вас не касается, какая у меня работа». — «Я вижу, у тебя есть деньги, но, знаешь, сперва работать с нами, заработать денег, а потом говорить: больше не желаю, до свидания, — это, брат, не полагается». — «Хорошенькое дело — “не полагается”». Сперва вы на меня орете, что я ничего не умею, а потом вдруг — нате вам: Карл должен явиться». — «И должен, потому что у нас нет никого другого, или верни те деньги, которые получил за прежнюю работу. Гастролеров нам не нужно». — «Эти деньги тебе придется взыскивать с меня судом, Рейнхольд, потому что их у меня уж больше нет». — «В таком случае, ты обязан пойти на дело вместе с нами». — «А я не желаю, я тебе уже сказал». — «Карл, ты же знаешь, мы тебе все ребра переломаем — с голоду подохнешь». — «Смешно, ей-богу. Ты, верно, хватил лишнего, а? Принимаешь меня за некую маленькую сучку, с которой можно делать что хочешь?» — «Ах вот ты как? Ладно, брат, ладно! Сучка ты или нет — мне наплевать. Но — хорошенько обмозгуй, что я тебе сказал. Мы еще к этому вернемся». — «Отлично!» Есть жнец.

Рейнхольд обсуждает с другими, что бы такое предпринять? Без слесаря им не обойтись, при этом сезон в разгаре, у Рейнхольда есть поручения от двух скупщиков, которых он благополучно отбил у Пумса. Все — одного мнения, что Карлушку-жестящика надо взять в оборот, что это жулик, который, в случае чего, моментально вылетит из союза.

Жестящик видит, что против него что-то затевается. Он отправляется к Францу, который много сидит дома, чтоб тот сообщил ему, в чем дело, или даже стал на его сторону. Но Франц заявляет: «Сперва ты подвел нас в этом деле на Штралауерштрассе, а теперь и вовсе не желаешь нас знать, о чем же тут говорить?» — «Потому что я не хочу иметь дело с Рейнхольдом. Он — мерзавец, ты его не знаешь». — «Нет, он парень хороший». — «Дурак ты, дурак, ты же понятия не имеешь, что делается на свете, у тебя глаз нет!» — «Не морочь мне голову, Карл, с меня и так довольно, мы хотим работать, а ты нас подводишь. Берегись, плохо тебе придется». — «От кого? От Рейнхольда? Погляди-ка, как я смеюсь! Во все горло! Вон как у меня живот трясется! Пожалуй, силы у меня не меньше, чем у Рейнхольда. Он, верно, принимает меня за некую маленькую сучку, которую... Ну, ладно, я ничего не сказал. Пусть-ка он меня тронет». — «Проваливай, брат, проваливай, но я тебе говорю — берегись!»

И вот, надо же быть такому случаю, что два дня спустя жестящик идет с двумя товарищами на дело на Фриденштрассе и при этом попадает. Каретника тоже замели, и только третьему, который стоял на стреме, удалось смыться. А в сыском живо докопались, что Карл принимал участие и в деле на Эльзассерштрассе, отпечатков пальцев на кофейных чашках больше чем довольно!

Почему же я, однако, засыпался, думает Карл, как это «быки» могли пронюхать? Не иначе этот мерзавец Рейнхольд донес! По злобе! За то, что я не пошел с ними. Он, сука, хочет меня закопать, этакая сволочь, заманил нас в ловушку. Этакий бродяга, этакий негодяй, каких еще свет не видывал! Каретнику Карл дает знать, что во всем виноват Рейнхольд, это он сделал накатку¹⁶, надо пришить его к делу. Каретник, при встрече в коридоре, кивает в знак согласия. Тогда Карл просится к следователю, и еще в сыском заявляет: «Третьим с нами был Рейнхольд, но он успел скрыться».

Рейнхольда задерживают еще в тот же день. Он все отрицает и может доказать свое алиби. Он бледнеет от злости, когда встречается у следователя тех двоих и ему устраивают с ними очную ставку, и эти сволочи показывают, что он тоже принимал участие в краже в конфекционном магазине на Эльзассерштрассе. Следователь слушает, поглядывает на их искаженные ненавистью лица, думает, тут дело не чисто, — уж больно они злы друг на друга. И верно, два дня спустя выясняется, что алиби Рейнхольда правильно, что он сутенер, но в этом деле не замешан.

Время — начало октября.

Рейнхольда выпускают на свободу. В сыском знают, что он нечист, и будут вдвойне следить за ним. А на каретника и на Карла следователь накричал, чтоб они не смели зря оговаривать людей, поскольку Рейнхольд доказал свое алиби. Ну, им крыть нечем.

Карл в камере так и пышет злобой. На свидание к нему приходит шурин, брат его бывшей жены, с которым он остался в очень хороших отношениях. Через него он получает адвоката, настаивает на том, чтоб тот был опытный специалист по уголовным делам. Этого адвоката, малость попытав его, насколько тот понимает толк в юридических тонкостях, он спрашивает, что полагается за содействие при погребении трупа? «Как так? Что такое?» — «Ну, если найдешь человека, который уже мертв, и закопаешь его?» — «Может быть, такого, которого вы хотели скрыть, который был застрелен полицией, или что-нибудь в этом роде?» — «М-да, во всяком случае, такого, которого не сам убил, но все-таки не хочешь, чтоб его нашли. Что полагается за это по закону?» — «Что ж, вы этого убитого знали, вы ожидали какую-нибудь выгоду от того, что вы его закопали?» — «Выгоды никакой, просто так, по дружбе, для оказания помощи, потому что труп лежит, мертвец, а не хотелось бы, чтоб его обнаружили». — «Чтобы кто обнаружил? Полиция? Собственно говоря, тут только сокрытие находки. Но при каких обстоятельствах этот человек погиб?» — «Не знаю. Меня при этом не было. Я же только для примера спрашиваю, по чужому делу. Я и не помогал даже. Даже и не знал ничего, ровно ничего. Лежит человек, мертвый. И вот говорят: давай, закопаем его». — «Кто же вам это говорит?» — «Чтоб закопать? Да все равно кто. Я только хочу знать, что мне за это может быть? Совершил ли я какое преступление, если помог закапывать?» — «Постойте, постойте. Так, как вы мне рассказывали, это, собственно, не есть преступление, или, во всяком случае, не тяжкое. Конечно, если вы совершенно непричастны к самому убийству и не заинтересованы в нем. Но почему же вы тогда помогали?» — «Я же говорю, что я только помогал закапывать, по дружбе, ну да это все равно, во всяком случае в убийстве я не принимал никакого участия, и у меня не было никакого интереса в том, найдут труп или нет». — «Что ж, человек был убит по приговору тайного трибунала из своих же?» — «Предположим, что так». — «Послушайте, держитесь вы подальше от таких дел. Я, собственно, все еще не понимаю, куда вы гнете?» — «Ну, большое вам спасибо, господин защитник, то, что мне надо было узнать, я теперь знаю». — «Может быть, вы мне объясните подробнее?» — «Надо будет подумать».

Всю ночь после этого Карлушка-жестящик ворочается на койке и никак не может заснуть, все только думает, злобится: Самый я что ни на есть дуралей на свете, хотел пришить Рейнхольда к делу, а теперь он, наверно, почуял неладное и дал тягу, ищи теперь ветра в поле. Дурак я, дурак. Этакий он подлец, бродяга, сделал на меня накатку, но погоди, я до тебя еще доберусь.

Карлу кажется, что ночь тянется бесконечно, когда же наконец первый звонок? Была не была, все одно, за простую помощь при закапывании ничего не припаяют, а если и дадут пару месяцев, то того закатают на всю жизнь, а то и вовсе у него луковку снимут. Когда же явится этот несчастный следователь, который теперь час, а Рейнхольд, пожалуй, тем временем сидит уже

в поезде и подъезжает к границе. Такого негодяя еще земля не носила, а Биберкопф с ним дружит, чем же он теперь жить будет с одной-то рукой, инвазидам войны тоже, поди, не сладко приходится.

Затем в паноптикуме, именуемом тюрьмою, пробуждается жизнь, Карл, не теряя времени, вывешивает сигнал, и в одиннадцать часов он уже у следователя. Тот строит недовольное лицо. «Однако злы же вы на Рейнхольда. Второй донос на него делаете. Как бы вам самому не влопаться, милейший!» Но Карл дает такие точные показания, что сразу после обеда берут машину, туда садятся сам следователь, два дюжих полицейских и, между ними, Карл со связанными руками. Ну, поехали, в Фрейенвальде.

Вот они едут по тем же дорогам. Хорошо ехать. Проклятье, знать бы только, как выбраться из этого автомобиля. Сволочи, связали руки, ничего не поделаешь. Револьверы у них тоже есть. Так что ничего не поделаешь, ровно ничего. Едут, едут, шоссе летит им навстречу. Сто восемьдесят дней подарю я тебе, Мици, у меня на коленях, какая милая девушка, а этот негодяй, этот Рейнхольд, шагает по трупам, ну погоди, брат. Ах, еще бы разок увидеть Мици, я укушу тебе язык, вот умела целоваться-то, куда ехать, направо или налево, мне все равно, милая, милая девушка.

Затем идут по холму, в лес.

Хорошо в Фрейенвальде, это — курорт, маленький курорт. Дорожки в саду кургауза аккуратно посыпаны желтым гравием, вон там, в стороне, ресторан с террасой, где мы тогда втроем сидели. Ах, в Швейцарии, в Тироле, хорошо там и привольно; ах, в Тироле, ах, в Тироле молоко из-под коровы, а в Швейцарии — высокие горы¹⁷. Потом тот пошел с нею в лес, а я за какие-то паршивые сотняжки остался на бобах, продал бедную девчонку этому мерзавцу, и вот теперь из-за него еще и сижу.

Вот и лес, он стоит в осеннем уборе, светит солнце, верхушки деревьев не шелхнутся. «Надо идти вот в этом направлении, у него был карманный фонарь, найти будет нелегко, но если я то место увижу, то сразу узнаю, это была прогалина, а на ней совсем покосившаяся ель и шалаш». — «Шалашей тут много». «Погодите-ка, господин комиссар. Кажется, мы зашли слишком далеко, от гостиницы это было не дальше, как минутах в 20 или 25 ходьбы. Так далеко это, во всяком случае, не было». — «Но вы же говорили, что бежали?» — «Да, но только в лесу, по дороге мы, конечно, не бежали, это показалось бы подозрительным».

А вот и прогалина с покосившейся елью, все осталось так, как было в тот день. Я — вся твоя, а сердце ее убито, глаза убиты, уста убиты, не пройтись ли нам еще немножко, ах, не жми так крепко. «Видите черную ель? Тут оно и есть!»

Ехал отряд всадников на низкорослых гнедых лошадках, ехал издалека. Всадники все время спрашивали про дорогу, пока не добрались до воды, до большого озера, там они спешились, привязали коней к развесистому дубу,

а сами пали ниц на берегу озера и стали творить молитву, потом раздобыли лодку и переправились на другую сторону. Они воспевали озеро, они обращались к нему с речью. Но не клад искали они в этом озере, они хотели только поклониться ему, великому озеру, потому что вождь их покоился на дне его. Вот почему тут эти люди¹⁸.

Полицейские захватили с собой заступы, Карл-жестянщик походил, походил и наконец указал место. Они вонзили туда заступы и сразу же заметили, что почва рыхлая, стали забирать глубже, выбрасывая землю из ямы, ясно, тут уже копали, в земле попадались еловые шишки, Карл стоит и смотрит, смотрит и ждет. Ведь это ж было тут, вот на этом самом месте, тут-то они девчонку и закопали. «На какой глубине вы ее закопали?» — «С четверть метра будет, не больше». — «Тогда мы должны были бы ее уже найти». — «Да я знаю, что это тут. Ройте глубже». — «Ройте, ройте. А если тут ничего нет?» Почва вся перерыта; из глубины выкапывают зеленую еще траву, значит, тут кто-то копал не дальше как сегодня или вчера. Ну теперь-то она должна вот-вот показаться, Карл все время зажимает себе нос рукавом, ведь она, наверное, уже совсем разложилась, вон сколько времени с тех пор прошло, да и погода стоит мокрая. Один из тех, что работают в яме, вдруг спрашивает: «А какое на ней было платье?» — «Темная юбка и розовая блузка». — «Шелковая?» — «Может быть, и шелковая. Во всяком случае, светло-розовая». — «В таком роде?» В руках полицейского кусочек кружевной оборки, она вся в земле выпачкана, но видно, что розовая. Полицейский показывает свою находку следователю. «Может быть, это от рукава?» Копают дальше. Ясно: тут что-то лежало. Вчера или даже, пожалуй, сегодня тут кто-то работал. Карл стоит, как громом пораженный; значит, так оно и есть, значит, Рейнхольд почуял опасность, вырыл труп и, вернее всего, бросил его куда-нибудь в воду, ай да молодец! Следователь совещается в сторонке с комиссаром, разговор у них долгий, комиссар что-то записывает в книжечку. Затем они втроем возвращаются к машине; один полицейский остается на месте.

По дороге следователь спрашивает Карла: «Стало быть, когда вы явились, девушка была уже мертва?» — «Да». — «Как вы это докажете?» — «А что?» — «Как что? А если ваш Рейнхольд скажет, что это вы ее убили или помогли ему убивать?» — «Тащить я ему действительно помогал. С чего мне убивать эту девушку?» — «Да с того же, с чего он ее убил, или предположительно убил». — «Но ведь я же вовсе и не был с нею в тот вечер». — «Зато вы были с ней днем». — «Да потом-то я с ней ведь не был. Потом-то ведь она была еще жива». — «Во всяком случае, вам трудно будет доказать свое алиби».

В автомобиле следователь снова обращается к Карлу: «А где вы были вечером или ночью после этого дела с Рейнхольдом?» Ах ты, чтоб тебя, ну да уж пойдем вчистую! «Я уехал за границу, он дал мне свой паспорт, я и уехал, чтобы, если дело откроется, я мог доказать свое алиби». — «Странно, очень странно. А зачем вы вообще это сделали, ведь это же черт знает что, разве

вы были такими друзьями?» — «Отчасти. А кроме того, я бедный человек, а он дал мне денег». — «Что ж, теперь он уже больше вам не друг? Или, может быть, у него больше нет денег?» — «Он — мой друг? Нет, господин следователь. Вы же знаете, почему я здесь сижу, за дело со сторожем и так далее. Это он меня продал».

Следователь и комиссар переглядываются. Машина мчится стрелой, ныряет в ухабах, подскакивает, шоссе несется навстречу, здесь, здесь я проезжал с нею, сто восемьдесят дней подарю я тебе. «Стало быть, между вами что-то произошло, и дружба ваша полетела к черту?» — «Да уж так оно в жизни бывает (эге, это он хочет заставить меня что-нибудь выболтать, нет, брат, шалишь, не на дурака напал, стой, знаю!). Дело в том, господин следователь, что этот Рейнхольд человек отчаянный и хотел пустить в расход и меня». — «Вот как, разве он что-нибудь предпринимал против вас?» — «Нет, но он делал кое-какие замечания». — «И больше ничего?» — «Нет». — «Хорошо, посмотрим».

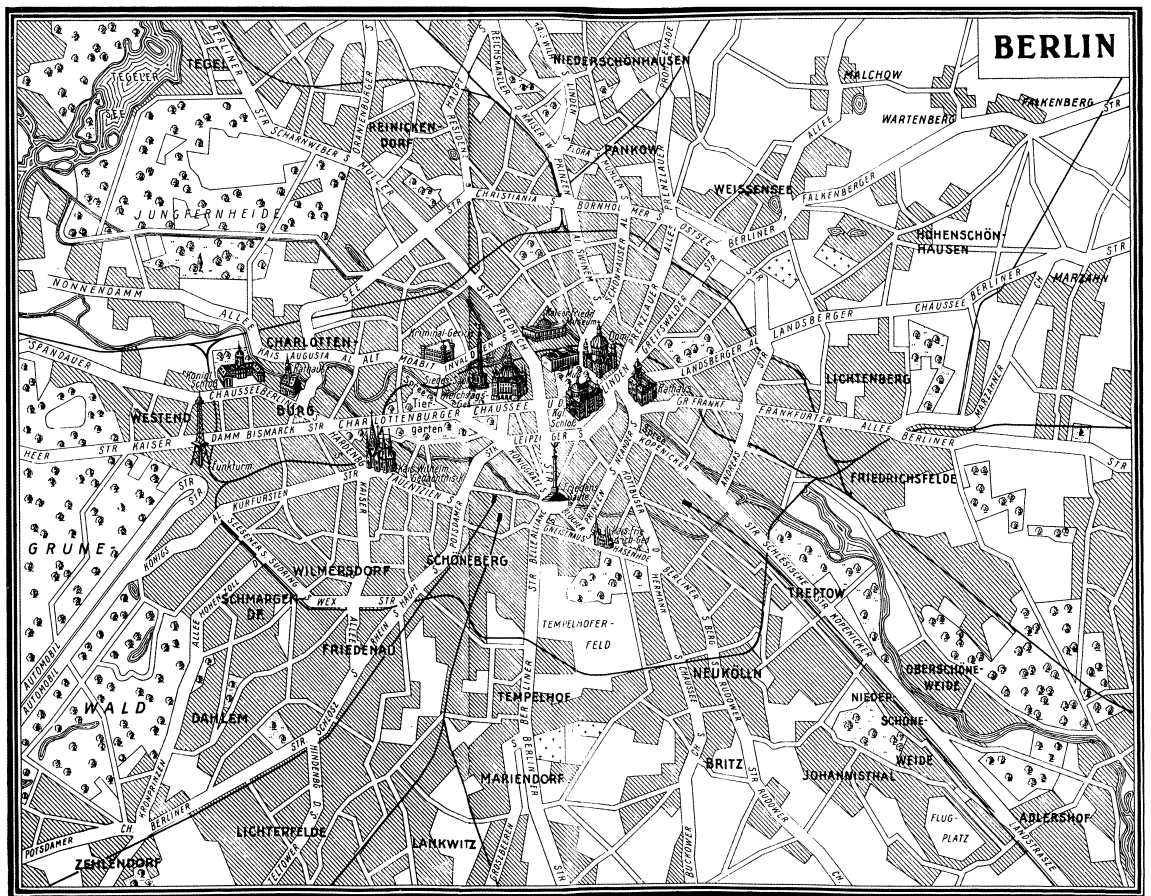
Труп Мици находят два дня спустя в одном километре от шалаша, в том же лесу. Сразу же, как только об этом деле заговорили в газетах, два огородника заявляют в сыскное, что видели в тех местах проходившего по лесу человека с чемоданом, должно быть, очень тяжелым. Они еще высказывали разные предположения, что такое он тащит, а потом этот человек присел отдохнуть в шалаше. Когда они возвращались полчаса спустя той же дорогой обратно, он все еще сидел там, без пиджака. Чемодана они тогда уж больше не заметили, — вероятно, он стоял внизу. Они довольно подробно описали наружность этого человека: ростом он примерно 1,75 метра, очень широк в плечах, в черном котелке, светло-сером летнем костюме и пальто светло-серого цвета, волочит ноги, будто не совсем здоров, а лоб у него очень высокий и весь в поперечных морщинах. В том месте, которое указали огородники, много шамальски подходящие ямы. В одной из них уже после нескольких ударов заступом наталкиваются на большую коричневую картонку, перевязанную веревочкой. Когда комиссары открывают ее, в ней оказываются принадлежности женского туалета: рваная сорочка, длинные светлые чулки, старое коричневое шерстяное платье, грязные носовые платки и две зубные щетки. Картонка, правда, мокрая, но не насквозь; похоже на то, будто она лежит тут недолго. Непонятно! На убитой была ведь розовая блузка.

А вскоре находят в другой яме и чемодан, труп помещается в нем в сидячем положении, крепко стянут шнурками от штор. Вечером телеграф разносит описание предполагаемого убийцы во все полицейские участки, городские и иногородние.

Рейнхольд еще в тот раз, когда его допрашивали в сыскном, сразу догадывается, чем пахло. И вот он спешит впутать в это дело Франца. Почему бы



Ил. 1. Александрплац



Ил. 2
Карта Берлина и окрестностей. Начало 1920-х годов



Ил. 3. Берлинская
ратуша



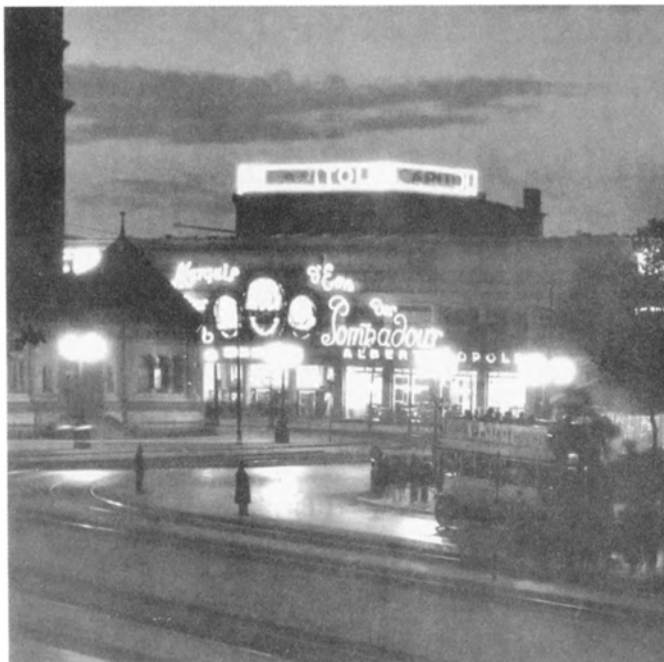
Ил. 4. На Фридрих-
штрассе



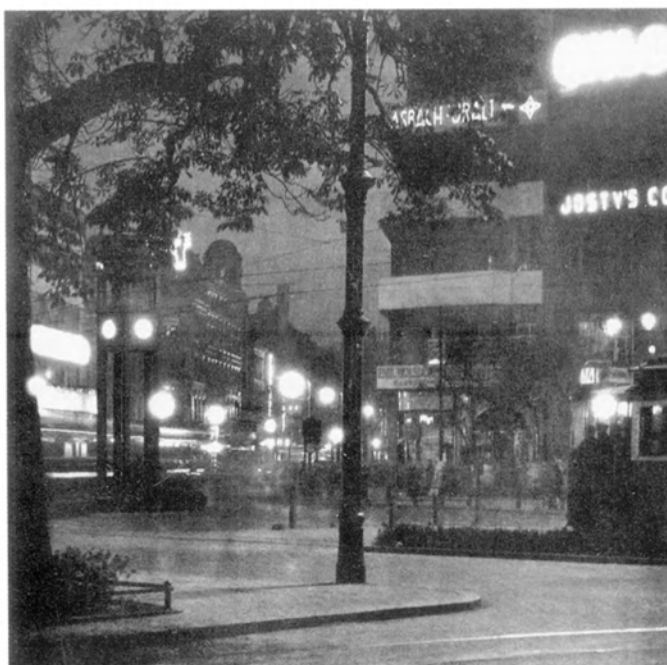
*Ил. 5. Фридрих-
штрассе*



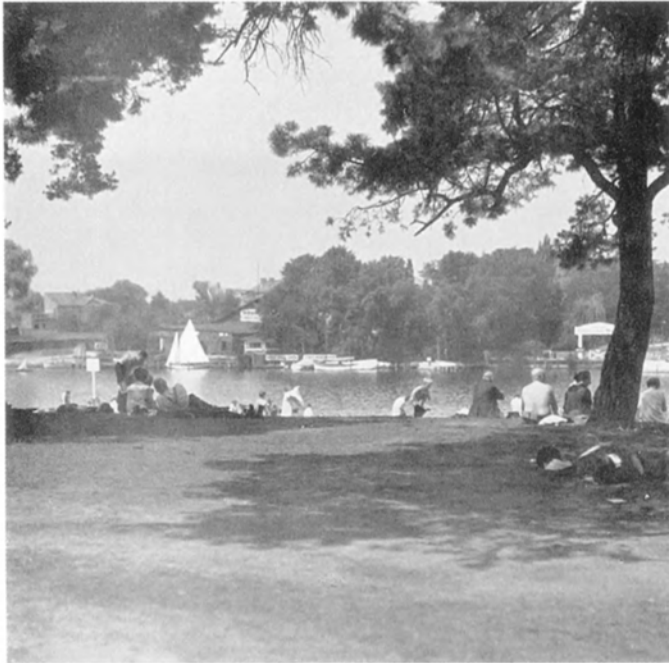
*Ил. 6. Универмаг
Вертейма*



Ил. 7. Кинотеатр
«Капитоль»



Ил. 8. Потсдамер-
плац



Ил. 9-10
На Мюггелъзее



Ил. 11. В Тиргартене



Ил. 12
«Дорога для автомобильного движения и упражнений» (АФУС) в Грюневальде



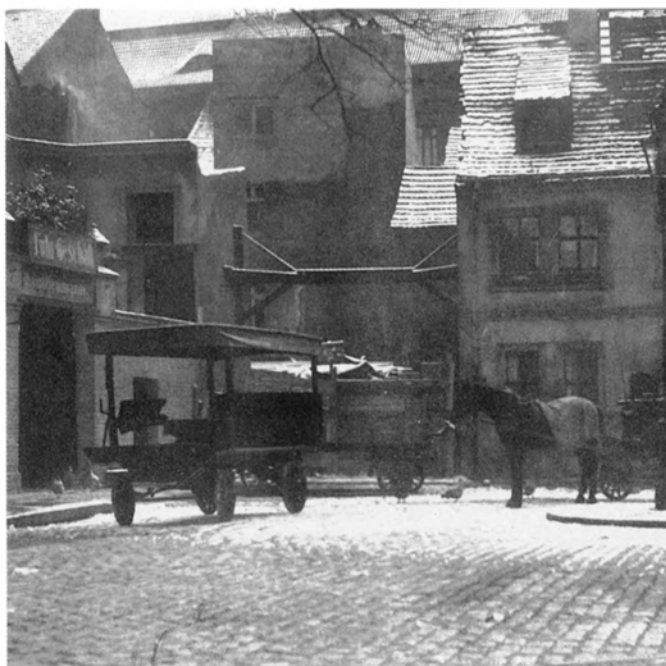
Ил. 13. Берлинская
Колонна
Победы



Ил. 14. Полицей-
президиум



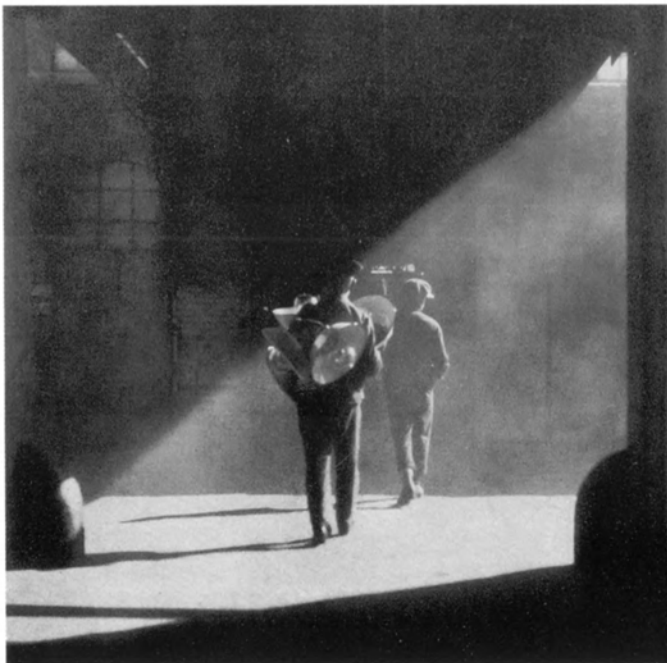
Ил. 15. Еврейский
кваргал



Ил. 16. Юденхоф



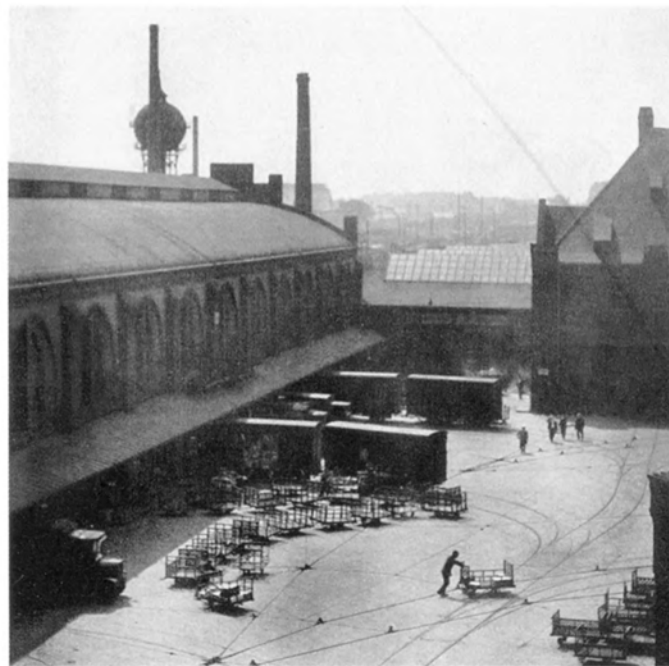
Ил. 17. Біловілац



Ил. 18. На скотобойне



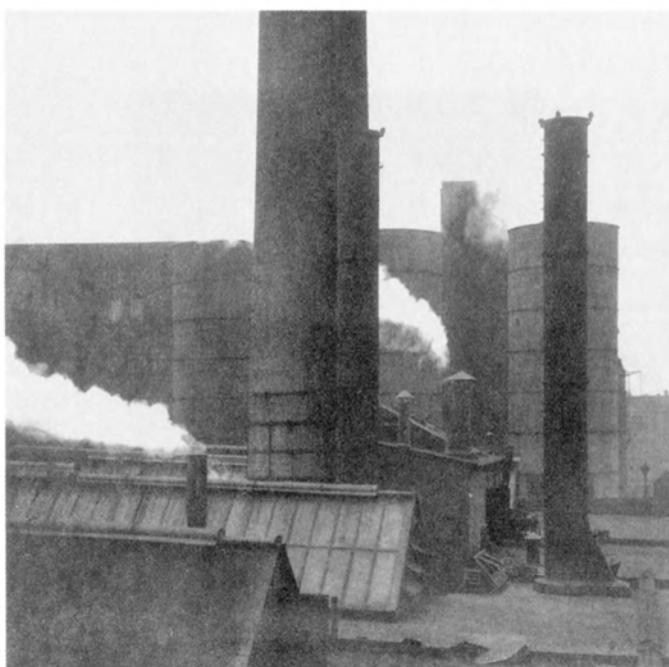
Ил. 19. Вид на Шпрее



Ил. 20. Силезский вокзал



Ил. 21. Берлинские
скотобойни



Ил. 22. Турбинный
завод АЕГ



Ил. 23. Вид на
Музейный
остров



Ил. 24. «Неизвестная из Сень».
Гипсовая маска

Alfred Döblin

BERLIN
ALEXANDER-
PLATZ

Alfred Döblin

BERLIN
ALEXANDER-
PLATZ

DIE GESCHICHTE
VOM FRANZ BIBERKOPF

J. Fischer Verlag

Von einem einfachen
MANN wird hier er-
zählt, der in BERLIN
am ALEXANDERPLATZ

als
händler
MANN



Strassen,
steht. Der
hat vor

anständig zu sein,
da stellt ihm das

Leben hinterlistig ein
Bein. Er wird betrogen, er wird in Verbrechen

reingezogen,
BRAUT
rohe Weise



zuletzt wird ihm seine
genommen und auf
umgebracht.

Ganz
aus ist es mit dem MANN
FRANZ BIBERKOPF.



erhält er eine sehr klare



Am Schluss aber
Belehrung:

MAN FÄNGT NICHT SEIN LEBEN MIT
GUTEN WORTEN UND VORSÄTZEN AN,
MIT ERKENNEN UND VERSTEHEN
FÄNGT MAN ES AN UND MIT DEM
RICHTIGEN NEBENMANN.

Rampioniert steht er
ALEXANDERPLATZ,
hat ihn mächtig

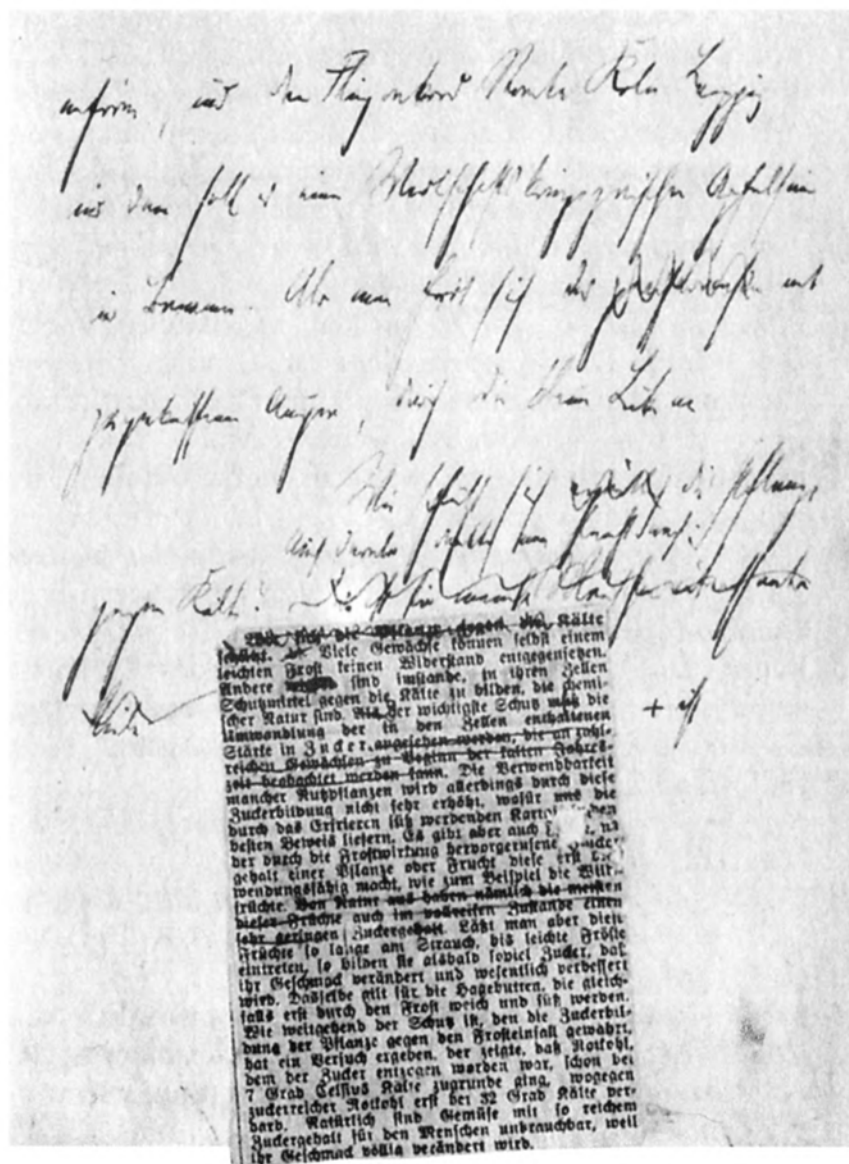


zuletzt wieder am
das Leben
angefasst.

G. SALTER



Ил. 25. Супербложка первого издания романа «Берлин Александрплац»



Ил. 26. Страница рукописи романа «Берлин Александрплац» с вырезанной из газеты статьей с правкой А. Дёблина



Ил. 27. Александрплац в 1925 г. Открывка из коллекции А. Дёблина



Beide Beine
vollständig gelähmt
Eise ich allein durch
Deutschland
(OhneRente)
Johann Kirbach

Weltreisender!

Joh. Kirbach, geb. 20. Februar 1874 zu M. Gladbach, bis zum Ausbruch des Weltkrieges gesund und schaffensfreudig, wurde meinem arbeitsreichen Streben durch einen rechtsseitigen Schlaganfall ein Ziel gesetzt. Jedoch erholte ich mich wieder soweit, daß ich allein stundenweit gehen konnte, um meinen Beruf auszuführen. Dadurch wurde meine Familie vor der größten Not geschützt. Im Nov. 1924 jauchzte die ganze rheinische Bevölkerung als die Staatsbahn von der drückenden belg. Besatzung befreit wurde. Viele deutsche Brüder hatten sich vor Freude einen Rausch angetrunken, was für mich das Verhängnis wurde. Ich befand mich an dem Tage auf dem Heimwege als keine 300m von meiner Wohnung entfernt ich von einem aus der Wirtschaft kommenden TruppMänner umgeworfen wurde. Der Fall war so unglücklich, daß ich lebzeiten ein Krüppel bin und nie wieder gehen kann. Der Urheber meines Unglückes (Peter Paulußen zu M. Gladbach) wurde im Juni 1925 zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Was nutzte es mir nun, wenn derselbe (ein armer Bahnarbeiter) die Strafe verbüßte und habe ich auf meine persönliche Fürsprache hin veranlaßt, daß ihm die Strafe erlassen wurde. Vollständig gelähmt auf beiden Beinen, habe ich mich entschlossen eine Reise mit meinem Handfahrwerk durch Deutschland zu machen um durch den Verkauf meiner Ansichtskarte meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Ich beziehe keine Rente oder sonstige Unterstützung.

Johann Kirbach

Ил. 28. Открывка с фотографией путешественника Иоганна Кирбаха



Ил. 29. Отто Грибель. Витрина с дешевым товаром. 1923



Ил. 30. Карл Хуббух. Убийство из удовольствия. 1930



Ил. 31. Карл Рёслинг. Берлинский
уличный торговец. 1931



Ил. 32. Конрад Феликсмюллер.
Агитатор. 1920



Ил. 33. Георг Шольц. Будка железнодорожного сторожа. 1924



Ил. 34. Афиша фильма Ф. Ютци «Берлин Александрплац» (1931)

ему не быть убийцей? Что может доказать Карлушка-жестянщик? Весьма сомнительно, чтоб Рейнхольда видели в Фрейенвальде. А если кто и видел его в гостинице или на шоссе, то не беда, надо попробовать, Франц должен на время скрыться, тогда непременно подумают, что и он замешан в этом деле.

В тот же день, когда Рейнхольда выпустили из сыскного, он приходит к Францу. Карлушка-жестянщик, говорит он, нас выдал, тебе надо смываться. Франц собрался в четверть часа, Рейнхольд ему помогает, они вдвоем на чем свет стоит ругают Карла, затем Ева пристраивает Франца у своей старой подруги Тони в Вильмерсдорфе. Рейнхольд едет с ним в автомобиле в Вильмерсдорф, они вместе покупают чемодан, Рейнхольд намеревается укатить за границу, ему нужен поместительный чемодан, сперва он было выбрал сундук, но потом все-таки решает взять фанерный чемодан самого большого размера, который можно самому нести в руках, на носильщиков нельзя положиться, они только шпионят за приезжими, мой адрес я тебе сообщу, Франц, кланяйся Еве.

Страшная катастрофа в Праге, 21 труп извлечен, 150 человек засыпаны. Лишь несколько минут тому назад эта груда строительного мусора была семиэтажной строящейся громадой, теперь под нею лежат убитые и тяжело раненные. Все железобетонное сооружение, весом в восемьсот тысяч кило, рухнуло в оба подвальные этажа. Стоявший на улице постовой полицейский, услышав подозрительный треск, предупредил прохожих. Не растерявшись, он вскочил в приближавшийся вагон трамвая и собственноручно затормозил его¹⁹. На Атлантическом океане бушует сильнейший шторм, из Северной Америки движутся в восточном направлении один за другим глубокие циклоны, в то время как оба антициклона, центры которых находятся в Центральной Америке и между Гренландией и Ирландией, задерживаются на месте²⁰. Газеты уже и сейчас помещают в своих столбцах большие статьи по поводу «Графа Цепелина» и его предстоящего перелета. Каждая деталь конструкции воздушного корабля, личность его командира и шансы этого перелета подвергаются самому тщательному обсуждению, причем германской изобретательности, равно как и техническому совершенству цепелинов, посвящаются восторженные передовицы. Несмотря на всю пропаганду в пользу аэропланов, следует предположить, что будущее в области воздухоплавания принадлежит воздушным кораблям. Но этот цепелин что-то не летит, Эккнер не хочет напрасно подвергать его опасности²¹.

Чемодан, в котором лежала Мици, раскрыт. Она была дочерью трамвайного кондуктора в Бернау. Их было трое детей в семье, ее мать бросила мужа и уехала, почему — неизвестно. Мици осталась одна со всем хозяйством на руках. По вечерам она иногда ездила в Берлин и ходила на танцульки, к Лестману²² или напротив; несколько раз ее брали в гостиницу, потом уж было поздно возвращаться домой, и она ночевала в Берлине, тогда она и познакомилась с Евой, так оно и пошло. Они были зарегистрированы в участке у Штет-

тинского вокзала. Для Мици, которая сперва именовала себя Соней, началась приятная жизнь, у нее было много знакомых и немало друзей, но потом она вступила в постоянную связь с одним, это был сильный человек, одноручка, которого Мици полюбила с первого взгляда и любила до самого своего конца. Плохой это оказался конец, печальный, тот, что был Мици уготован. За что, за что, что она такое сделала? Она приехала из Бернау в водоворот Берлина, не была невинна, разумеется, но была полна искренней, неугасимой любви к тому, кто стал ей мужем и кого она пестовала, как дитя малое. И ее раздавили, потому что она случайно оказалась тут, рядом с этим человеком, такова жизнь, и трудно ее понять. Мици поехала в Фрейенвальде, чтоб защитить своего друга, при этом ее задушили, удавили, вычеркнули из списка живых, истребили, такова жизнь.

А затем делают слепок с ее шеи и лица, и Мици является уже только вещественным доказательством в уголовном деле, явлением технического порядка, вроде проведения телефонного кабеля, вот до чего она сошла на нет. С нее делают слепок и раскрашивают его в натуральные цвета, получается бюст из какого-то материала, как будто целлулоида²³, как две капли воды похожий на Мици. И вот эта вторая Мици, вернее ее лицо и шея, стоит в шкафу, где хранятся вещественные доказательства, ах, пойдем же, пойдем, мы скоро будем дома, Ашпингер, ты должен меня утешить, я — твоя. А она стоит под стеклом, и лицо ее убито, ее сердце убито, ее лоно убито, ее улыбка убитая, ты должен меня утешить, ах, приди же.

*И обратился я вспять,
и узрел всю неправду, творимую на земле²⁴*

Франц, почему ты вздыхаешь, Францекен, почему Еве все время приходится навещать к тебе и спрашивать, о чем ты думаешь, и не получать ответа и так и уходить без ответа, почему ты такой удрученный, почему весь как-то съежился и делаешь только маленькие, крохотные шажки? Ты же знаешь жизнь, ты же ведь не с луны свалился, у тебя есть нюх на многое, и ты мог бы кое-что заметить. Ты ничего не видишь, ничего не слышишь, но ты что-то чувствуешь, ты только не дергаешь обратить на это свой взор, скашиваешь глаза в сторону, но и не обращаешься в бегство — для этого ты слишком решительный человек, ты не трус, ты стиснул зубы, но не знаешь, что из всего этого выйдет и можешь ли ты взвалить на себя такое бремя, достаточно ли сильны твои плечи, чтоб выдержать эту тяжесть.

А сколь много страдал Иов, муж из земли Уц, пока не испытал всего, пока ничто уж не могло на него обрушиться. Напали на его волов и ослиц савяне и взяли их, а отроков поразили острием меча, огонь Божий пал с неба и опа-

лил его овец и отроков и пожрал их, халдеи взяли его верблюдов, а отроков поразили острием меча, сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и все они умерли.

Это было уже много, но все еще недостаточно. Иов разодрал верхнюю одежду свою, искусал руки свои, остриг голову свою, посыпал ее прахом. Но и этого было еще мало. Проказою лютою поражен был Иов, от подошв и по самое темя был покрыт он струпьями, и сидел в пепле и навозе и весь гноился, и взял он черепицу и скоблил себя ею.

И явились друзья его, Елифаз феманитянин, Вилдад савхейнин и Софар наамитянин, и увидели его таким, они прибыли издалека, чтоб утешить его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и не узнали Иова, ибо так жестоко поражен был Иов, у которого было семь сыновей и три дочери, 7000 овец, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц и весьма много прислуги²⁵.

Ты, Франц Биберкопф, не столько потерял, сколько Иов в земле Уц; кроме того, несчастья обрушиваются на тебя исподволь. И шагком за шагком подвигаешься ты к тому, что случилось, уговариваешь себя тысячью красивых слов, оболыщаешь себя, ибо ты хочешь отважиться, ты решил приблизиться, ты приготовился к худшему, но, увы, готов ли ты и к самому-самому худшему? Нет, не к этому, только не к этому. Ты сам себя уговариваешь, сам себя утешаешь: ах, пойдем, ничего не будет, ведь все равно невозможно уклониться! Но что-то в тебе хочет и не хочет. Ты вздыхаешь: откуда мне ждать защиты, несчастье обрушивается на меня, за что мне уцепиться? Оно приближается, приближается! И ты тоже приближаешься, как улитка, ты не трус, у тебя не только сильные мускулы, ты — Франц Биберкопф, ты — змея кобра. Смотри, как она, извиваясь, подползает все ближе и ближе, сантиметр за сантиметром, к чудовищу, которое стоит на месте и готово вот-вот схватить ее.

Ты не потеряешь денег, Франц, но сам будешь испепелен до глубины души! Смотри, как уже ликует блудница! Блудница Вавилон! И пришел один из семи ангелов, держащих семь чаш, и сказал: Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящею на водах многих. И сидит жена на звере багряном и держит золотую чашу в руке, а на челе написано имя, тайна. И упоена жена кровию праведников²⁶.

Теперь ты догадываешься о ней, чуешь ее. Но будешь ли ты силен, не погибнешь ли?

В хорошенькой светлой комнате садового флигеля дома на Вильмерсдорферштрассе сидит Франц Биберкопф и ждет.

Змея кобра свернулась колечком, лежит на солнышке, греется. Как все скучно, он полон сил, и ему хочется что-нибудь предпринять, довольно бездельничать, у них еще не договорено, где встретиться, толстуха Тони купила ему темные роговые очки, надо бы мне купить и совершенно новую одежду и, пожалуй, сделать себе шрам на щеке, как у студентов. Вот кто-то бежит по

двору. Ну и торопится он. У меня ничего не бывает слишком поздно. Если бы люди не так спешили, они жили бы вдвое дольше и достигали бы вдвое большего. Та же самая история, что и при шестисуточных велогонках, там гонщики тоже знай нажимают на педали, совершенно спокойно, потому что у них терпения много, и молоко не перекипит, а публика пускай себе свистит; что она, в конце концов, понимает?

В коридоре стучат. В чем дело, почему же не звонят? Черт подери, возьму-ка я да уйду из дому, вот досада — один только выход. Ну-ка, послушаем, что там говорят?

Ты подвигаешься маленькими шагами, уговариваешь себя тысячью красивых слов, обольщаешь себя. Ты готов к худшему, но не к самому худшему, ах, не к самому-самому худшему.

Ну-ка, послушаем. Что это? Голос как будто знакомый. Вскрик, плач, плач. Надо взглянуть. Ах, откуда этот страх, этот ужас, о чем ты думаешь, Франц Биберкопф? О чем только ни думается. Но эту я знаю. Это ж Ева.

Дверь раскрыта настежь. На пороге стоит Ева, толстуха Тони обвила ее руками. Та плачет, разливается, что с ней такое? О чем тут только ни подумаешь, что случилось, Мици кричит, Рейнхольд лежит в кровати. «Здравствуй, Ева, ну, Ева, в чем дело, да возьми ты себя в руки, разве что-то случилось, может быть, оно и не так страшно». — «Оставь меня». Ишь как огрызается. Побили ее, что ли, отлупили на все корки? Постой-ка, вероятно, она что-нибудь брякнула Герберту, и Герберт догадался, чей ребенок. «Уж не Герберт ли тебя избил, а?» — «Оставь меня, не прикасайся ко мне». Какие она делает глаза. С чего это она вдруг не хочет меня знать, ведь она же сама тогда хотела. Что случилось, что с ней такое, того и гляди, придут люди, надо поплотней закрыть дверь. А Тони торчит тут же, хлопчет вокруг Евы, уговаривает ее: «Ну, Ева, ну, милая, ну, успокойся, скажи, что с тобой, да зайди же, а где Герберт?» — «Не хочу, не войду». — «Ну, ну, пойдем, Ева, пойдем, посидим, выпьем кофейку. А ты, Франц, проваливай». — «Почему мне проваливать, я же ничего худого не сделал».

Тут Ева широко раскрывает глаза, в ужасе раскрывает глаза, словно собираясь его съесть, взвизгивает, хватая Франца за жилетку, кричит: «Нет, пусть идет с нами, пусть, я хочу, чтоб он был с нами, иди-ка, иди-ка сюда». Что это с ней, не иначе как рехнулась, или ей что-нибудь наговорили? И вот Ева сидит, трясется на диване рядом с жирной Тони. Она вся как будто опухла, и у нее одышка, это у нее оттого, что она в положении, но ведь в положении она от меня, так неужто я ее могу обидеть? И вот Ева обеими руками обнимает Тони за шею и что-то шепчет ей на ухо, сперва никак не может выговорить, но наконец это ей удается. Тони, потрясенная, всплескивает руками, а Ева вся дрожит и достает из кармана совсем смятую газетину, неужели же обе с ума спятили, комедию они ломают со мной или что, а может быть, в этой газете есть что-нибудь про дело на Штралауерштрассе, вот дуры-бабы, Франц встает, орет: «Обезьяны вы, обезьяны. Вы мне балаган-то не устраивайте, за дурач-

ка меня, что ли держите?» — «Ох, боже мой, ох, господи», — бормочет толстуха, а Ева молчит, дрожит только и плачет. Тогда Франц через стол выхватывает из рук толстухи газету.

Там — рядом два снимка, что, что, ужас, ужас, это же — я, это же я, но почему же, из-за дела на Штралауерштрассе, почему же, ужас, это же я, а затем Рейнхольд, и надпись: Убийство, убийство проститутки близ Фрейенвальде, убитая — Эмилия Парзунке из Бернау. Мици! Что это значит? Я. За печуркой сидит мышь, погоди ж²⁷.

Его рука судорожно комкает газету. Он медленно опускается на стул и сидит словно весь уйдя в себя. Что это пишут в газете? За печуркой сидит мышь.

А тут на него во все глаза глядят две женщины, плачут, ну, чего уставились, в чем дело, убийство, как же это так, Мици, я схожу с ума, как же так, что все это значит? Его рука снова тянется к столу, ну-ка, что пишут в газете, надо прочесть: моя фотография, я и Рейнхольд, убийство, Эмилия Парзунке из Бернау, в Фрейенвальде, да как же она очутилась в Фрейенвальде? Что это вообще за газета, ага, Моргенпост. Рука с газетой подымается, рука с газетой опускается. А Ева, что делает Ева, выражение ее глаз изменилось, она бросается к нему, уж больше не воет: «Ну, Франц?» Голос, кто-то говорит, надо что-то ответить, две женщины, убийство, что такое убийство, в Фрейенвальде, это я убил ее в Фрейенвальде, я же никогда в жизни не был в Фрейенвальде, где это вообще? «Да промолви хоть слово, Франц, что ты на это скажешь?»

Франц глядит на нее, его большие глаза глядят на нее, он держит газету на раскрытой ладони, голова его трясется, он читает, отрывисто, скрипит. Убийство близ Фрейенвальде, Эмилия Парзунке из Бернау, родившаяся 12 июня 1908 года. Ну да, это Мици. Он скребет себе щеку, глядит на Еву пустым, невидящим, мутным взором, страшно заглянуть ему в глаза. Ну да, это Мици. Да. Что ты на это скажешь, Ева? Она убита. Поэтому-то мы ее и не нашли. «Ведь и про тебя тут пишут, Франц». — «Про меня?»

Он снова поднимает газету, глядит в нее. Это же мой портрет.

Его корпус начинает раскачиваться. Ради бога, Ева, ради бога. Ей становится жутко, она придвинула к его креслу стул. Франц продолжает раскачиваться всем корпусом. Ради бога, Ева, ради бога, ради бога. И раскачивается и раскачивается. А потом принимается пыхтеть и сопеть. Теперь у него такое лицо, как будто его что-то смешит. «Ради бога, Ева, что мы будем делать, что мы будем делать?» — «Почему же тебя тут изобразили?» — «Где?» — «Да тут». — «Понятия не имею. Ради бога, что же это такое, как это случилось, ха-ха, смешно». И он смотрит на нее, так беспомощно, так трепетно, а она рада этому человеческому взору, и слезы вновь набегают у нее на глаза, толстуха тоже начинает скулить. Франц кладет свою руку Еве на плечо, прижимается лицом к ее груди, всхлипывает: «Что же это такое, Ева, что стряслось с нашей Мицекен, что такое случилось, она умерла, с ней что-то случилось, теперь все

ясно, она вовсе не бросила меня, а ее убили, Ева, нашу Мицекен кто-то убил, Мицекен, Мицекен, что это с тобой сделали, неужели это правда, скажи мне, что это не правда».

И он думает о своей Мицекен, как вдруг в нем что-то подымается, какой-то безотчетный страх, вот он, этот жнец, имя которому Смерть, он шествует со своим серпом, играет на дудочке, а затем разевает пасть и берет трубу²⁸, а когда он затрубит в трубу и ударит в литавры, появится страшный черный таран, вумм, тихо-тихо так, вумм.

Ева слышит скрежет Францевых зубов²⁹, как будто они что-то медленно перемальвают. Она держит Франца. Голова его трясется, он хочет что-то сказать, но голос срывается, замирает. Слово осталось не произнесенным.

Когда-то он лежал под автомобилем, тогда было так, как теперь, это какой-то жернов³⁰, какая-то каменная глыба, которая обрушивается на меня, как бы я ни крепился, что бы я ни делал — все ни к чему, я должен быть раздавлен, и будь я хоть стальной балкой, я должен быть сломлен.

Франц скрежещет зубами и бормочет. «Что-то будет». — «Что будет-то?» Что это за жернова, от какой мельницы, от ветряной, от водяной? Колеса вертятся, вертятся. «Смотри, остерегайся, ведь тебя же разыскивают». — «Значит, думают, что это я ее убил, я?» Его снова охватывает дрожь, на лице снова появляется усмешка, я, правда, как-то раз поколотил ее, а думают, вероятно, что я ее, как Иду. «Сиди дома, Франц, не выходи на улицу; куда тебя несет? Тебя же ищут, сразу узнают по руке». — «Не бойся, Ева, если я не захочу, меня не найдут, можешь быть спокойна. Я хочу вниз, прочитать объявление. Я должен это увидеть. Я должен прочитать в пивной все газеты, что там пишут про то, как все было». Он останавливается перед Евой, смотрит на нее в упор и не в силах вымолвить ни слова, как бы только сейчас не расхотаться: «Ну взгляни на меня, Ева, разве во мне есть что-нибудь такое, ну взгляни же». — «Нет, нет», — кричит та и не пускает его. «Да ты хорошенько взгляни, есть что-нибудь, или нет, должно же что-нибудь быть, а?»

Нет, нет, — кричит она и воет, а он берет с комода шляпу, улыбается, подходит к двери и — пошел.

*И были это слезы тех, кто терпел неправду,
и не было у них утешения³¹*

У Франца есть искусственная рука, которую он носит очень редко, но теперь он идет с ней на улицу, засунув ее в карман пальто, а в левой сигара. Выбрался он из квартиры с великим трудом. Ева голосила, что было сил, и упала перед ним на пороге, пока он не обещал ей никуда не соваться и быть осторожным. «К кофе вернусь», — сказал он и стал спускаться.

Франца Биберкопфа так и не забрали, пока он сам не дался. По правую и по левую сторону его постоянно шли два ангела, которые отклоняли от него взоры³².

В четыре он возвращается домой к кофе. Герберт тоже там. И тут они впервые слышат от Франца длинную речь. Он прочел в пивной газету, прочел о своем друге-приятеле, Карле-жестянщике, что тот их оговорил. Зачем он это сделал, Францу непонятно. Оказывается, Карл тоже был в Фрейенвальде, куда заташили Мици. Это Рейнхольд сделал насильно. Вероятно, он нанял автомобиль проехать с Мици, а потом к ним подсел Карл, и они вместе держали ее и увезли в Фрейенвальде, может быть, даже и ночью. А может быть, они ее убили еще по дороге. «Да почему же Рейнхольд это сделал?» — «Ведь он же и выбросил меня из автомобиля, теперь можно сказать, он это сделал, но ничего, я на него зла не держу, человек должен чему-нибудь научиться, а если он не научился, то он ничего и не знает. Живешь тогда дурак дураком и ничего-то на белом свете не смыслишь, нет, я злобы на него не держу, нет, нет. А теперь он хотел, чтоб я ему поддался, думал, я у него уже в кармане, но не тут-то было, он это скоро заметил, и потому отнял у меня Мици и сделал над ней такое. Но только чем же она-то была виновата?» Ах зачем, ах затем. Бьют барабаны, батальон — вперед, марш. Когда по улицам идут солдаты, ах зачем, ах затем, ах, только из-за чингдарада, бумдарада, бум. Так я пошел к нему, и так он ответил, и проклятие, и не правильно, что я пошел к нему.

Не правильно, что я пошел к нему, не правильно, не правильно.

Ну да ничего, теперь уж безразлично.

Герберт широко раскрывает глаза, Ева не может произнести ни слова. Герберт: «Почему же ты ничего не сказал Мици?» — «Я тут ни при чем, против этого ничего нельзя поделать, с таким же успехом тот мог застрелить меня, когда я приходил к нему на квартиру. Я вам говорю, с этим уже ничего не поделаешь».

И было у зверя семь голов с десятью рогами, а в руке жены чаша, наполненная мерзостями и нечистотою. Теперь они совсем доканают меня, и ничего уже не поделаешь.

«Сказал бы ты, чудак, хоть слово, и я тебе ручаюсь, что Мици была бы и сейчас жива, а кто-то другой держал бы под мышкой собственную голову». — «Я тут ни при чем. Никогда нельзя знать наперед, что такой сделает. Нельзя также знать, что он делает вот в данную минуту, этого никак не разузнать». — «Я разузнаю». А Ева умоляет: «Не связывайся ты с этим человеком, Герберт, я тоже боюсь». — «Мы осторожно. Только бы разведать, где он, не далее как через полчаса его бы уже взяли “быки”». Франц качает головой. «Не трогай его, Герберт, он не тебе принадлежит. Дашь мне в этом руку?» А Ева: «Дай ему руку, Герберт. А что ты намерен сделать, Франц?» — «Не во мне дело. Меня вы можете выбросить на помойку».

А затем он быстро отходит в угол и поворачивается к ним спиной.

И слышат они рыдания, рыдания и стоны, он плачет над собой и над Мици, они слышат это, и Ева плачет и кричит, упав головой на стол, на котором лежит еще газета с заголовком «Убийство», Мици убита, никто ничего не сделал, это свалилось на нее.

*И восхвалил я тогда мертвых,
которые уже умерли³³*

Под вечер Франц уже опять пускается в путь. На Байришперлац³⁴ над ним кружат пять воробьев. Это пять отъявленных плутов и негодяев, которые уже частенько видели нашего Франца Биберкопфа³⁵. Они обсуждают, что им с ним делать, что решить по поводу него, как бы напугать его, сбить с толку, о какой бы камень заставить его споткнуться.

Один кричит: Вон он идет. Поглядите, братцы, у него искусственная рука, он, значит, считает игру еще не проигранной, раз он не хочет быть узнанным.

А второй: Чего только сей господин уже ни натворил? Это тяжкий преступник, которого следовало бы посадить за решетку, да на всю жизнь. Убил сперва одну женщину, потом занимался кражами, взломами, а теперь убил и вторую, не иначе, как его рук дело. Чего ж ему еще?

Третий: А он еще пьжится, изображает невинность. Разыгрывает из себя порядочного человека. Нет, вы только полюбуйтесь на этого прохвоста. Когда появится агент сыскной полиции, мы собьем с этого молодчика шляпу.

Первый подхватывает: Да и для чего такому субъекту еще жить? Все равно подохнет в тюрьме. Сними шляпу, обезьяна, сними свои дурацкие очки, ты ведь не редактор, болван ты этакий, ты даже и таблицы умножения не знаешь, так чего ж ты на себя роговые очки нацепил, словно профессор, вот погоди, увидишь, заберут тебя.

А четвертый: Да не галдите вы так. Что вы с ним поделаете? Вы только взгляните на него, у него есть голова, он ходит на двух ногах. Мы, маленькие воробушки, можем только сделать ему на шляпу.

А пятый: Ну-ка, все разом на него. Он ведь уж заговаривается, у него уже одного винтика не хватает. Он ходит гулять с двумя ангелами, а подружка его — слепок в сыском, неужто мы с ним не справимся. Кричите же.

И они принимаются летать, кричать, яростно чирикать над его головою. Франц поднимает голову. Мысли его — обрывки, воробьи продолжают ссориться и ругаться между собою.

Погода стоит осенняя, в Тауенцинпаласе³⁶ идет картина «Последние дни Франциско»³⁷, в казино Егерского полка³⁸ выступают пятьдесят красавиц танцовщиц, за букет сирени вы можете меня поцеловать³⁹. И тут Франц находит, что жизнь его кончилась, что ему каюк, словом — с него довольно.

Трамваи идут по улицам, все куда-то едут, не знаю, куда бы поехать. № 51 идет по маршруту: Норден, Шиллерштрассе, Панков, Брейтештрассе, вокзал Шенгаузераллее, Штеттинский вокзал, Потсдамский вокзал, Ноллендорфплац, Байришерплац, Уландштрассе, вокзал Шмаргендорф, Груневальд, ну-ка сядем да поедем. Здравствуйте, вот мы и сидим, и можете везти нас, куда угодно. И Франц начинает разглядывать город, словно собака, потерявшая след. Что это за город, какой огромный город, и какую жизнь, какие жизни он, Франц, в нем уже прожил. У Штеттинского вокзала он выходит, затем идет по Инвалиденштрассе, вот и Розентальские ворота. Конфекционный магазин Фабиша, вот тут я когда-то стоял и торговал держателями для галстуков, в прошлом году под Рождество. Он едет на 41-м в Тегель⁴⁰. И, когда показываются красные стены, слева красные стены, черные ворота, Франц как будто успокаивается. Тут прошла часть моей жизни, и на это мне хочется еще раз взглянуть, да, взглянуть.

Стены стоят, красные, как всегда, и перед ними протянулась длинная аллея, ее пересекает трамвай, по Генерал-Папештрассе. Вест-Рейникендорф, Тегель, грохочет завод Борзига. Франц Биберкопф, постояв перед красной оградой, переходит на другую сторону улицы, где пивная. Красные здания за оградой начинают дрожать и колебаться и раздувать щеки. У всех окон стоят заключенные, стучаются лбами о прутья решетки, волосы острижены под ноль, от недоедания вид у всех нездоровый, лица серые и небритые, заключенные закатывают глаза, ноют. Стоят там убийцы, взломщики, воры, мошенники, насильники, словом — все статьи, и ноют, и жалуются с серыми лицами, вон, вон сидят они, серые, это они удавили Мици.

И Франц Биберкопф бродит вокруг громадной тюрьмы, которая не перестает дрожать и колебаться и звать его, бродит по полям, по лесу и возвращается опять на улицу, где посажены деревья.

Вот он на этой улице. Ведь не я же убил Мици. Не я. Мне тут нечего делать, что было, то прошло, мне в Тегеле нечего делать, я не знаю, как все это случилось.

Уже шесть часов вечера, когда Франц решает, я хочу к Мици, я хочу на кладбище, где ее зарыли.

Пятеро негодяев, воробьев, снова тут как тут, сидят на телеграфных проводах и кричат оттуда: Ну и ступай к ней, бродяга, ступай, только хватит ли у тебя смелости, хватит ли совести пойти к ней? Она звала тебя, когда лежала в шалаше. Пойди же, полюбуйся ею на кладбище.

За упокой наших умерших сограждан. В 1927 году в Берлине умерло, не считая мертворожденных, 48 742 человека:

4570 от туберкулеза, от рака 6443, от болезни сердца 5656, от болезней кровеносных сосудов 4818, от апоплексии 5140, от воспаления легких 2419 и от коклюша 961, детей умерло от дифтерита 562, от скарлатины 123, от кори 93. Грудных младенцев умерло 3640. За это же время родилось 42 696 человек⁴¹.

Покойники лежат на кладбище на своих местах, сторож ходит с палкой, накальвает ею и подбирает бумажки.

Сейчас половина седьмого, еще довольно светло, на могиле, под сенью бука, сидит совсем молодая женщина в меховой шубке, без шляпы, опустила голову и молчит. Руки у нее в черных лайковых перчатках, она держит записку, маленький такой конвертик, Франц читает: «Не могу больше жить. Передайте последний привет моим родителям, моему милому ребенку. Жизнь для меня сплошная мука. Биригер виноват в моей смерти. Желая ему много удовольствия. На меня он смотрел как на игрушку и так со мной и поступил. Гнусный негодяй и подлец. Только из-за него я приехала в Берлин, и только он довел меня до этого, из-за него погибаю»⁴².

Франц возвращает ей конверт: «О горе, горе: Мици здесь?» Не надо горевать, не надо. Он плачет, твердит: «О горе, горе, где моя маленькая Мици?»

А вот могила, словно большой, мягкий диван, там лежит ученый профессор и улыбается Францу. «Чем вы так расстроены, сын мой?» — «Мне только хотелось бы взглянуть на Мици. Я пройду здесь сторонкой». — «Видите ли, я уже умер, не надо так близко принимать к сердцу жизнь, да и смерть тоже. Все можно себе облегчить. Когда я заболел и решил, что с меня довольно, то что я сделал? Неужели я стал бы дожидаться, пока у меня образовались бы пролежни? Чего ради? Я попросил поставить около меня пузырек с морфием, а затем сказал, чтоб играли на рояле, фокстроты, самые последние новинки. И попросил читать мне вслух Платона, Пир⁴³, это прекрасный диалог, тем временем я впрыскивал себе под одеялом шприц за шприцем, по счету, тройную, смертельную дозу. И все слышал веселые звуки, а мой чтец говорил о старике Сократе⁴⁴. Да, бывают умные люди и менее умные люди».

«Читать вслух? Морфий? Но где же Мици?»

Ах, какой ужас, под деревом висит человек, а рядом стоит его жена и, когда Франц подходит ближе, кричит не своим голосом: «Идите, идите скорей, обрежьте веревку. Он не хочет оставаться в могиле, а все залезает на деревья и висит криво». — «Господи, да почему же?» — «Ах, мой Эрнст был так долго болен, и никто не мог ему помочь, а послать его куда-нибудь тоже не хотели — говорили, будто симулирует. Тогда он пошел в подвал и захватил с собой гвоздь и молоток. Я еще сама слышала, как он стучал в подвале молотком, подумала, что это он там такое делает, может быть, сколачивает домик для кроликов, даже еще порадовалась, что он нашел себе занятие, а то все сидел так, без дела. А потом его до самого вечера все нет и нет, страшно мне стало, думаю, куда это он запропастился, на месте ли ключ от подвала, а ключа-то и нет. Тогда уже соседи пошли вниз посмотреть, а потом позвали полицию. Это он, значит, вбил в потолок здоровенный гвоздище, а сам был такой шупленький, видно, хотел действовать наверняка. Что вы тут ищете, молодой человек? Чего вы плачете? Вы хотите покончить с собой?»

«Нет, у меня убили невесту, но я не знаю, лежит ли она здесь».

«А вы поищите вон там, у ограды, новенькие-то все там».

Потом Франц лежит возле свежей могилы, он уже не может плакать, он грызет землю: Мици, что же это такое, за что с тобой так поступили, ты ведь ни в чем не виновата, Мицекен. Что я теперь буду делать, почему меня тоже не бросят в такую могилу, сколько мне еще мучиться?

Наконец он встает, идет пошатываясь, но затем берет себя в руки, уходит по дорожкам среди могил с кладбища.

У выхода Франц Биберкопф, господин с неподвижной рукой, садится в автомобиль, который доставляет его на Байришерплац. Еве много хлопот и возни с этим человеком. Заботы и хлопоты денно и ночью. Он не живет и не умирает. Герберт показывается редко.

Проходит еще несколько дней, когда Франц и Герберт гоняются за Рейнхольдом. Это главным образом Герберт, который вооружился до зубов, всюду шныряет и во что бы то ни стало хочет добраться до Рейнхольда. Франц сперва не хочет, но потом следует его примеру, ведь это его последнее лекарство на сем свете.

*Крепость осаждена со всех сторон,
делаются последние вылазки,
но это только для виду*

Первые числа ноября. Лето давно прошло. Дожди затянулись до глубокой осени. Далеко позади осталось то время, когда на улицах стояла жара, и люди ходили в легкой одежде, а женщины чуть ли не в одной рубашке; вот и Францева девочка, эта Мици, носила беленькое платьице и маленькую, плотно прилегающую к голове шапочку, потом эта Мици как-то поехала в Фрейенвальде и больше уж не вернулась, да, это было летом. А теперь в суде слушается дело Бергмана, который был паразитом в экономической жизни страны, социально опасным и ни перед чем не останавливавшимся субъектом⁴⁵. Граф Цепелин прибывает в Берлин в пасмурную погоду, хотя в 2 часа 17 минут утра, когда он поднялся в Фридрихсгафене, небо было совершенно чистое. Чтоб избежать плохой погоды, которая по сведениям физической обсерватории стоит над Центральной Германией, воздушный корабль берет курс на Штутгарт, Дармштадт, Франкфурт-на-Майне, Гиссен, Кассель и Ратенов. В 8.35 он пролетает над Науеном, в 8.45 — над Штакеном. За несколько минут до 9 часов цепелин появляется над Берлином, несмотря на дождь, крыши были усеяны зрителями, восторженно приветствовавшими воздушный корабль, который, проделав над городом несколько кругов, продолжил путь. В 9.45 в Штакене был сброшен первый причальный трос⁴⁶.

Франц и Герберт рыщут по всему Берлину; их почти не бывает дома. Франц заходит в ночлежки Армии Спасения, в общежития для мужчин, в убежище на Аугустштрассе, ищет, выслеживает. Сидит на Дрезденерштрассе⁴⁷, в Армии Спасения, где был когда-то с Рейнхольдом, распевает с этими людьми хоралы, хорал № 66:⁴⁸ Зачем еще медлить, о брат мой? Воспрянь и последуй за мной! Спаситель тебя призывает, дарит тебе мир и покой. Хор: Зачем, зачем, зачем ты не идешь за мной? Зачем, зачем, зачем не влечет тебя мир и покой? О брат мой, ты чуешь ли в сердце духа живого влечение? Грехи искупить ты не хочешь? Спеши же скорее к спасенью! Зачем же ты медлишь, о брат мой? Уж близится смерть, и суд тебя ждет! Приди же, врата ведь открыты, кровь Христова тебя спасет!

Франц ходит и в ночлежный дом на Фребельштрассе, не там ли Рейнхольд. Ложится на койку, на «проволочную перину», сегодня на ту, завтра на другую, стрижка 10 пфеннигов, бритье 5, ночлежники сидят, приводят в порядок свои бумаги, торгуют рубашками и сапогами, ты, брат, должно быть, первый раз здесь, раздеваться тут нельзя, а то мигом всё упрут. А сапоги? В сапоги, гляди-ка, ты должен вставить по одиночке ножки кровати, тогда ничего, уцелеют, иначе тебя тут живым манером обчистят, все унесут, даже вставную челюсть. Хочешь татуироваться? Тише там, уж ночь. Тише. Полный мрак, храп и свист, как на лесопилке, я его не видел. Тише. Динь-динь-динь, что такое, уж не тюрьма ли, я думал, что я в Тегеле. Побудка. Вон двое дерутся. И Франц снова на улице, шесть часов утра, у ворот толются женщины, поджидают своих любовников, идут с ними в притон, проигрывают настрелянные гроши.

А Рейнхольда нет и нет, нелепо искать его таким образом, ведь он, поди, опять охотится за какой-нибудь девчонкой, Эльфридой, Эмилией, Каролиной, Лилли, брюнеткой или блондинкой.

По вечерам Ева видит перед собою окаменевшее лицо Франца, он больше не замечает ни ласки, ни доброго слова, говорит и ест мало, только льет в себя водку и кофе. Лежит у Евы на диване и ревя ревет. Не найти и не найти проклятого. «Да брось ты его, Франц». — «Не найдем мы его. Что нам делать, Ева?» — «Брось ты это дело, ведь это ж безумие, ты только весь изведешься». — «Значит, ты не знаешь, что нам делать? Ты этого не испытала, Ева, потому и не понимаешь, Герберт — тот немножко понимает. Что же нам делать, что делать? Если б только его найти, я бы пошел в церковь и помолился бы на коленях, когда б его нашел».

Но все это не правда. Все, все не правда, вся эта погоня за Рейнхольдом — не правда, это просто мученье и жуткий страх. В данную минуту бросают его жребий. Франц знает, какой ему выпадет. Все обретет смысл, неожиданный, страшный смысл. Игра в прятки продлится уже недолго, голубчик.

Франц следит за квартирой Рейнхольда, глаза его не видят ничего другого, он уставился в одну точку и ничего не чувствует. Много людей проходит

мимо этого дома, многие заходят туда. Да он и сам заходил, ах, только из-за чингдарада, бумдарада, бум. Дом раздражается смехом, когда видит, что Франц стоит перед ним. Так бы, кажется, и сорвался с места, чтоб созвать соседние дома и все свои боковые и поперечные флигеля, пускай полюбуются на человека в парике и с искусственной рукой, который стоит тут, не шелохнется, налит доверху водкой, весь горит и что-то бормочет себе под нос.

— Здравствуй, Биберкепфхен, бобровая головушка. Сегодня у нас двадцать второе ноября. Погода-то все еще дождливая. Ты что это подумал, насморк хочешь получить? Шел бы ты лучше в свой разлюбозный кабак да выпил бы коньячку.

— Давай его сюда!

— Не сюда, а туда!

— Давай его сюда, Рейнхольда!

— Поезжай-ка, брат, в Вульгартен⁴⁹, ты ведь совсем свихнулся.

— Давай его сюда!

А затем Франц Биберкопф однажды вечером что-то возится в этом доме, прячет флягу с керосином и бутылъ.

— Ну, выходи, ага, прячешься, подлая тварь, сука паршивая. Боишься выйти?

А дом:

— Кого это ты зовешь, раз Рейнхольда тут нет? Зайди сам, убедись.

— Я не могу заглянуть во все щели.

— Да нет его здесь, тебе говорят. Не такой же он дурак, чтобы сидеть здесь.

— Подавай мне его сюда. Иначе плохо тебе будет.

— Вот я все слышу: плохо будет, да, плохо будет. Поди-ка, брат, лучше домой и проспись, а то ты ведь с мухой, это потому, что ты ничего не ешь.

На следующее утро Франц является сразу после газетчицы. Фонари видят, как он бежит, и покачивают головами: быть пожару!

И вот — дым, языки огня вырываются из слуховых окон. В 7 часов приезжают пожарные, Франц сидит в это время уже у Герберта, сжимает кулаки.

«Я ничего не знаю, и ты ничего не знаешь, это можешь мне и не говорить, а теперь ему, по крайней мере, некуда деваться, пусть-ка поищет, сунется. Да, поджег я, и все тут». — «Чудак человек, да ведь он же там больше не живет. Вернется он туда, как же, жди!» — «Это была его берлога, и он знает, что если она выгорела, так это моих рук дело. Словом, мы его выкурили, вот увидишь, как он теперь прискачет». — «Гм, не думаю, Францекен». И действительно, Рейнхольд не появляется, Берлин стучит и гремит и грохочет себе, как ни в чем не бывало, да и в газетах не пишут, что он попался, нет, он благополучно удрал, бежал за границу, его никогда не поймают.

Франц стоит перед Евой, ревет, скрутило его. «Ничего не могу я поделать, должен терпеть, он меня искалечил, девочку мою убил, а я стою тут, как мокрая курица. Такая несправедливость, такая несправедливость».

«Франц, так ведь это же всегда так». — «И я ничего не могу поделать, я конченный человек». — «Да почему же ты конченный человек, Францекен?» — «Я сделал все, что мог. Такая несправедливость, такая несправедливость».

И вот идут рядом с ним два ангела, зовут их Саруг и Терах⁵⁰, и говорят между собою, Франц стоит в толпе, движется в толпе, он нем, но они слышат, как он отчаянно воет. Мимо проходят по делам службы «быки», но не узнают Франца. По обе стороны его идут ангелы.

Почему ангелы, и что это за чушь, что рядом с человеком идут ангелы, да еще на Александрплац в Берлине, в 1928 году, рядом с бывшим убийцей, а теперь — сутенером и взломщиком. Да, повесть о Франце Биберкопфе, эта правдивая и поучительная повесть о его тяжелой жизни, подходит к развязке. Тем яснее становится в ней все, чем больше кипит и бурлит Франц Биберкопф. И уже недалеко тот момент, когда все будет ясно.

Ангелы рядом с ним разговаривают между собою, имена же им Саруг и Терах, и, в то время как Франц разглядывает выставленные в витринах у Тица новые товары, у них происходит такой разговор.

«Как ты думаешь, Саруг, что случилось бы, если предоставить этого человека самому себе, ну, например, уйти от него вот сейчас, его бы арестовали?» Саруг: «В сущности, разница была бы невелика, мне кажется, потому что так или иначе его все равно арестуют, этого ему не миновать. Он долго разглядывал красное здание в Тегеле, он совершенно прав, не пройдет и двух-трех недель, как он будет там». Терах: «Значит, ты считаешь, что мы, собственно говоря, излишни?» Саруг: «Отчасти, раз нам не разрешено совсем убрать его отсюда». Терах: «Ты еще ребенок, Саруг, ты видишь то, что делается на свете, лишь несколько тысяч лет. Ну а если мы уберем человека отсюда и перенесем его в другое место, в другие условия, разве он выполнит то, что мог выполнить здесь?» — «Но с какой же стати, Терах, охранять именно этого человека, он самый заурядный, обыкновенный человек, никак не возьму в толк, чего ради мы его охраняем». — «Обыкновенный, необыкновенный — что это означает? Является ли нищий обыкновенным человеком, а богач — необыкновенным? Ведь завтра богач может оказаться нищим, а нищий — богачом. Сей человек подошел вплотную к тому, чтобы прозреть. До этого доходили многие. Но он недалеко и от того, слышишь, недалеко и от того, чтоб почувствовать, осознать. Видишь ли, Саруг, кто многое пережил, многое испытал, тот весьма склонен ограничиться одним знанием, а затем — уклониться от дальнейшего, умереть. Он больше не хочет бороться. Он измерил весь путь переживаний и устал, тело и дух его истощались. Понимаешь ты это?» — «Да».

«Но если после того, как человек многое пережил и познал, он все же еще хочет чего-то придерживаться, не опускаться, не умирать, а тянуться, стремиться, чувствовать, не уклоняться, а противопоставить свой дух и выдержать до конца, вот это — подвиг. Ты ведь не знаешь, Саруг, как ты стал тем, что ты есть,

чем ты был и как могло случиться, что ты идешь со мною и охраняешь другие существа». — «Это верно, Терах, я этого не знаю, память у меня словно отшибло». — «Ничего, она постепенно вернется. Никогда не бываешь сильным сам по себе, от себя одного, а должна быть какая-то опора. Сила хочет быть приобретенной, ты же не знаешь, как ты ее приобрел, и вот ты стоишь, и многое, что является пагубным для других, не представляет для тебя никакой опасности». — «Но ведь он нас вовсе не хочет, этот Биберкопф, ты и сам говоришь, что он желает от нас избавиться». — «Ему хочется умереть, Саруг, никто еще не делал очень большого шага, такого страшного шага, без того, чтоб не хотеть умереть. И ты прав, тут-то большинство и срывается». — «Значит, на этого человека ты надеешься?» — «Да, потому что он силен духом и неистощим, и потому что он уже дважды выдержал испытание. Поэтому останемся у него, Саруг, я тебя очень об этом прошу». — «Хорошо».

Перед Францем сидит молодой доктор, фигура — вроде бомбы: «Здравствуйте, господин Клеменс. Вам необходимо куда-нибудь уехать, после смерти близкого человека это часто бывает. Вы должны создать себе совершенно иную обстановку, Берлин будет вас только угнетать, вам нужен другой климат. Вам следует немного развлечься. А вы — его свояченица? У него есть кто-нибудь, кто мог бы сопровождать его?» — «Я и один могу поехать, если это необходимо». — «Необходимо; я говорю вам, господин Клеменс: единственное, что вам требуется, это — покой, отдых, немного развлечься. Я говорю “немного”, то есть не надо пересаливать. Обычно такое настроение переходит в резко противоположное. Поэтому — все в меру. Сейчас везде еще самый разгар сезона. Куда бы вам, например, хотелось поехать?» Ева: «А укрепляющие средства, разве ему не надо их принимать, например, лецитин⁵¹, и потом, чтоб лучше спать?» — «Хорошо, я пропишу ему, что бы такое, ну, адалин⁵². — «Адалин я ему уже давала. Не надо мне этой травы». — «Тогда мы возьмем фанодорм⁵³, каждый вечер по таблетке с мятным чаем; мятный чай — очень полезная вещь, и это средство будет лучше усваиваться. Ну, а затем, можете сходить с ним в Зоологический сад». — «Не люблю я зверей». — «Тогда в Ботанический, немножко рассеяться, но только не слишком». — «Пропишите ему, пожалуйста, еще какое-нибудь средство от нервов, для укрепления». — «Не дать ли ему немного опия, для поднятия настроения?» — «Господин доктор, я и так пью». — «Позвольте, опий — это нечто совершенно другое, а впрочем, я пропишу вам лецитин, совсем новый препарат, способ употребления указан на упаковке. И, наконец, ванны, успокаивающие ванны, ведь у вас в квартире имеется ванна, сударыня?» — «Разумеется, все есть». — «Вот видите, это — преимущество квартир в новых домах. Вы говорите “разумеется”. А вот у меня все было вовсе не так просто. Все пришлось устраивать самому, и это стоило мне немалых денег, но зато у меня ванная комната — прямо загляденье, вы пришли бы в восторг, если бы увидели, такой прелести у вас тут нет. Итак, лецитин и ванны, через день, по утрам, а затем

пригласите еще массажиста, пусть он ему как следует растирает все мускулы, чтоб ускорить кровообращение». — «Да, это будет хорошо», — соглашается Ева. «Как следует мять и растирать, вот увидите, господин Клеменс, вам сразу станет легче. Увидите, как вы скоро поправитесь. А затем — поезжайте куда-нибудь». — «Это с ним не так просто, господин доктор». — «Ничего, все будет хорошо. Ну так как же, господин Клеменс?» — «Что такое?» — «Не падать духом, регулярно принимать микстурку и средство от бессонницы, а затем — массаж». — «Постараюсь, господин доктор; до свиданья, благодарю вас».

«Ну, теперь твоя душа спокойна, Ева?» — «Да. Я схожу, принесу тебе лекарство и соль для ванн». — «Хорошо, сходи». — «Смотри, без меня не уходить». — «Хорошо. Хорошо, Ева».

Тогда Ева надевает пальто и спускается вниз. А четверть часа спустя уходит и Франц.

*Завязывается бой. Мы летим
к черту в пекло, летим с музыкой*

Поле брани манит, манит!

Мы летим к черту в пекло, летим с музыкой, к этому миру мы не питаем никаких нежных чувств, пропади он пропадом, вместе со всем, что есть в нем, под ним и над ним. Со всеми живущими на земле людьми, мужчинами и женщинами, со всей этой проклятой мелюзгой. Ведь ни на кого же нельзя положиться. Если б я был птичкой⁵⁴, я бы взял кусочек навоза, отбросил бы его от себя обеими лапками и улетел бы. А если б я был лошадкой, собакой или кошкой, тоже не сумел бы сделать ничего лучшего, как гадить на землю, и затем как можно скорее прочь, прочь отсюда.

Скучно жить на свете, у меня сейчас даже нет никакой охоты опять напиться пьяным, а то мог бы пить, пить до бесчувствия, но потом эта чертова гадость начинается сызнова. Пусть мне попы растолкуют, на кой черт сотворил Господь Бог наш мир? Впрочем, Он сотворил его лучше, чем попы предполагают, ибо Он дал нам возможность на... чхать на всю эту прелесть, и дал нам две руки и веревку, и — к черту тогда эту мерзость, да, это мы можем, и тогда конец, каюк, крышка, наше вам с кисточкой, счастливо оставаться, а мы летим к черту в пекло, летим с музыкой.

Попадись Рейнхольд мне в руки, моя ярость была бы удовлетворена, я мог бы взять его за шиворот и свернуть ему шею, покончить с ним, и мне было бы тогда гораздо лучше, я был бы сыт, и это было бы справедливо, и я нашел бы покой. Но этот мерзавец, который сделал мне столько зла, который снова толкнул меня на преступленье и лишил руки, сидит теперь где-нибудь в Швей-

царии и смеется надо мной. Я бегаю, как последняя собака, а он может делать со мной, что угодно, никто мне не поможет, никто, даже сыскная полиция мне не содействует, а наоборот — разыскивает меня и собирается арестовать, как будто я убил Мици, это же он, мерзавец, так подстроил, чтоб и меня в это дело впутать. Но — повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. Довольно я терпел и старался, больше не могу. Никто не может сказать, что я не противился изо всех сил. Но всему бывает предел. И так как я не могу убить Рейнхольда, то покончу с собой. Лечу к черту в пекло, с музыкой.

Кто ж это стоит на Александрштрассе и медленно-медленно переступает с ноги на ногу? Зовут этого человека Франц Биберкопф, а чем он занимался — вы уже знаете. Сутенер, тяжкий преступник, бедняга, конченный человек, настал его черед. Будь они прокляты, те кулаки, которые били его! Ах и страшна же та рука, которая схватила и держит его! Другие руки, стиснутые в кулак, били его и затем отпускали на все четыре стороны, оставались следы побоев, подтеки, раны, но они могли зажить, сам же Франц не менялся и мог продолжать свой жизненный путь. Но теперь рука не пускает его, кулак — чудовищной величины, она захватила Франца целиком, его тело и его душу. Франц шагает маленькими шажками и знает, что его жизнь ему уж больше не принадлежит. Он не знает, что должен теперь сделать, но с Францем Биберкопфом покончено раз и навсегда.

На дворе — ноябрь, время вечернее, часов около девяти, братва шатается по Мюнцштрассе, стоит невообразимый шум от трамваев, автобусов и газетчиков, из ворот казармы выходит отряд шупо с резиновыми дубинками.

По Ландсбергерштрассе шагает демонстрация с красными знаменами. Вставай, проклятьем заклеянный.

«Мокка-фикс», Александрштрассе, имеются лучшие сигары, вне конкуренции, выдержанное мюнхенское пиво в специальных кувшинах, играть в карты строго воспрещается, почтеннейших посетителей просят самих следить за гардеробом, так как я не принимаю на себя никакой ответственности. Владелец. Завтраки с 6 часов утра до 1 часу дня 75 пфеннигов — чашка кофе, 2 яйца всмятку и бутерброд⁵⁵.

В закусную на Пренцлауерштрассе является Франц и садится за столик, его приветствуют возгласами: «А, господин барон!» С него стаскивают парик, Франц отстегивает искусственную руку, заказывает кружку пива, пальто он кладет себе на колени.

В закусной находятся три человека с какими-то странно серыми лицами; верно, это тюремные постояльцы, бежали, должно быть. Сидят и трещат без умолку.

Ну захотелось мне выпить, вот я и думаю, зачем далеко ходить, тут как раз подвал, живут в нем поляки, я показал им колбасу и папиросы, а они, даже не спросив, откуда у меня товар, сразу покупают и угощают меня шнапсом,

я оставляю товар у них, а на следующее утро, дождавшись, чтоб они ушли, я — в подвал, отмычки, у меня с собой, а там всё на месте, и колбаса, и папиросы, так я все забрал и — до свиданья. Хорошенькое дельце, а?

Полицейские собаки, а что они могут? Вот у нас, например, бежали пять человек через ограду. Каким манером? А вот я тебе сейчас в точности объясню. Ограда-то ведь обита с обеих сторон листовым железом, миллиметров в восемь толщиной. Так они подкопались под ограду, врешь, фундамент-то цементный, ей-богу, они по вечерам рыли да рыли ямку, а оттуда — под ограду. Потом уж охрана говорит: мы должны были бы это слышать. Ну, а мы спали. Как же нам тогда услышать, и почему именно нам?

Смех, веселье, о радостная, о счастливая, идет песнь застольная по круту⁵⁶.

А последним появляется, конечно, кто? Конечно, наш вахтер, старший вахмистр Шваб, и форсит и говорит, что он слышал об этом еще третьего дня, но был в командировке. Уж известно: как что случится, начальство оказывается в командировке. Мне еще пива, мне тоже, и три папиросы.

Какая-то девушка причесывает за столиком долговязому блондину волосы, он напевает: «О Зонненбург, о Зонненбург»⁵⁷. А когда в закуской становится тише, он начинает петь в голос:

«О Зонненбург, о Зонненбург, зеленые листочки! Где сидел я прошлым летом? Не в Берлине, не в Штеттине, не сидел я в Кенигсберге. Ну, так где же я сидел? Нет, приятель, ты не знаешь: в Зонненбурге, в Зонненбурге.

О Зонненбург, зеленые листочки. Вот образцовая тюрьма, царит в ней с утра до ночи высокая, высокая, высокая гуманность. Там нас не бьют, не обижают, не цукают, не оскорбляют. Там все, что надо, вдоволь есть, чтоб выпить, покурить, поесть.

Там чудесные перины, папиросы, пиво, вина. Да, приятель, там жить можно, надзиратели надежны, преданы нам телом и душой, мы чинодрамам отдадим сапоги, а вы достаньте папирос нам и жратвы. Выдайте выпить, нам всем телом и душой, ну, а мы вам отдадим шинели, гимнастерки, сапоги. Носить мы их не будем, вы можете загнать их, ведь деньги очень пригодятся нам, бедным арестантам.

Но есть у нас два молодчика, они хотят нас выдать, мы им переломаем кости, подумать им бы не мешало, пусть веселятся вместе с нами, не то расплатятся боками, не то мы им дадим на память, не будет мало.

Слабоват только наш господин директор, он совсем не замечает ничего. А вот недавно к нам один явился и хотел ревизовать свободное исправительное заведение Зонненбург, — ну, с ним случилось нехорошее дело. Про то, что с ним случилось, сейчас я расскажу. Сидели все мы в кабаке, два надзирателя и мы, и вот, когда мы все сидели в кабаке, кто пришел, кто к нам пришел, ну кто же к нам пришел.

К нам пришел, бум, бум, к нам пришел, бум, бум, господин ревизор, — что вы скажете на это? Да здравствует! — вскричали мы. — Пускай живет, ревизор-

чик наш, пускай живет, пусть прилипнет к потолку, пусть закажет коньяку, пусть присядет в уголку.

Что сказал нам господин ревизор? Это я, господин ревизор, бум, бум, это он. Это я, господин ревизор, бум, бум, это он. Сейчас я всех вас в карцер упеку и надзирателей, и арестантов; вам нечего смеяться, пора готовиться. Бум, это он, бум, бум, это он, бум, бум!

О Зонненбург, о Зонненбург, зеленые листочки. Тут разозлили мы его тройне, и он пошел домой к жене и злость свою излил. Бум, бум, господин ревизор. Так он остался с носом в этот раз, но только пусть не сердится на нас».

Коричневые штаны и черный суконный бушлат! Один из молодчиков вынимает из свертка коричневый арестантский бушлат. Продается с торгов, цены снижены до крайности, коричневая неделя, бушлат отдается почти задаром, всего за одну рюмочку коньяку, налетай, кому надо! Веселье, радость, выпьемка еще по одной! Вторым номером пойдет пара парусиновых туфель, хорошо знакомых с местными условиями каторжных тюрем, с соломенными подошвами, особенно пригодны для побегов, третьим номером — одеяло. Послушай, ты бы хоть одеяло-то коменданту сдал.

Неслышно входит хозяйка и, осторожно закрывая за собою дверь, говорит: Тише, тише, там у нас гости. Один с тревогой поглядывает на окно. Его сосед смеется: «В окно? Этот номер не пройдет. Если что, то вот — гляди, — он нагибается под стол и подымает люк. — В погреб, а оттуда на соседний двор, не надо и карабкаться, все ровная дорога. Только не снимать шапки, а то обратят внимание».

Какой-то старик бурчит: «Хорошая песня, которую ты спел, но есть еще и другие. Тоже не плохи. Эту вот знаешь?» Он достает из кармана исписанную кривыми каракулями и сильно потрепанную бумажку. «Смерть кандалника». — «А она не очень жалостливая?» — «Что значит “жалостливая”? Правдивая она, и подходящая, точь-в-точь как твоя». — «Ну ладно, ладно, понятно, только ты не расстраивайся».

«Смерть кандалника. Хоть и бедный, но веселый, шел он честною стезею, свято чтит он благородство, чуждо было ему злое. Но несчастья злые духи на его дороге встали, обвинен он был в злодействе, и шпики его забрали. (Ах, эта травля, эта травля, эта проклятая травля, как они меня травили, эти псы проклятые, как травили, ведь чуть совсем не убили. Чем дальше, тем больше, без конца, без конца, не знаешь, куда деваться, так скоро бежать невозможно, а бежишь, бежишь, что есть сил, и в конце концов все равно тебя догонят. Вот теперь загнали, затравили Франца, ладно, хватит с меня, довольно, отдамся я им, ладно уж, нате вам, подавитесь!»)

Как ни плакал он, ни клялся, суд не верил его слову, все улики были против, в кандалы он был закован. Судьи мудрые ошиблись (ах эта травля, эта травля, эта проклятая травля), их не правым приговором (ах как эти прокля-

тые псы меня травили) заклеямен он был навеки несмываемым позором. Люди, люди, — восклицал он, слезы горя подавляя, — отчего мне нету веры, никому не сделал зла я. (Чем дальше, тем больше, ниоткуда нет спасенья. Бежишь, бежишь без конца, а так скоро бежать невозможно, нет сил, я сделал все, что мог.)

А когда из стен темницы вышел чуждым пилигримом, то весь мир переменялся, да и сам уж стал другим он. Он бродил по краю бездны, путь потерял безвозвратно, и его, больного сердцем, гнала бездна в ночь обратно. И бедняк, людьми презренный (ах эта травля, эта гнусная, проклятая травля), потерял тогда терпенье, он пошел и стал убийцей, совершил он преступленье. В этот раз он был виновен.

(Виновен, виновен, виновен, ах, в том-то и дело, что надо было стать виновным, надо было бы стать виновным, надо было бы стать в тысячу раз более виновным!) Строже рецидив карают, и опять в тюрьму беднягу суд жестокий отправляет. (Франц, аллилуйя, ты слышишь? Стать в тысячу раз более виновным, в тысячу раз!) Вот еще раз он на воле, грабит, режет, жжет и душит, чтобы мстить проклятым людям за поруганную душу. Погулял, вернулся снова, отягченный преступленьем, и за это присужден был он без срока к заключению. (Ах эта травля, эта проклятая проклятая травля, тот, про которого поют, прав, так им и надо.)

Но теперь уж он не плачет, над собой дает глумиться, и в ярме он научился лицемерить и молиться. Исполняет он работу, день за днем все то же дело, дух его угас давно уж, раньше, чем угасло тело. (Ах эта травля, эта травля, эта гнусная травля, меня постоянно травили, а я ведь всегда делал все, что мог, теперь меня загнали в тупик, и я в этом не виноват, что же мне было делать? Меня зовут Франц Биберкопф, и это все еще я, имейте в виду.)

Он недавно жизнь окончил, и в весеннее веселье он лежал уже в могиле, арестанта лучшей келье. И ему привет прощальный колокол тюремный слал, кто потерял был для мира, смерть свою в тюрьме принял. (Внимание, господа, вы еще не знаете Франца Биберкопфа, этот себя за грош не продаст, если уж ему суждено лечь в могилу, то у него на каждом пальце будет по одной душе, которой придется докладывать о нем Боженьке: сперва мы, а потом уж Франц. И нечего тебе удивляться, Боженька, что этот Биберкопф пожалует к тебе со столькими фореяторами, ведь его самого так травили, он сам был на земле такой мелкой сошкой, что теперь ему можно проехать в карете и показать всем на небесах, кто он такой.)»⁵⁸.

Те все еще продолжают тянуть песню, Франц Биберкопф до сих пор сидел, словно в каком-то отупении, а теперь чувствует себя бодрым и свежим. Он надевает парик, прикрепляет ремнями искусственную руку, руку мы потеряли на войне, всегда приходится воевать. Война не прекращается, пока человек жив; главное — твердо держаться на ногах.

И вот Франц стоит уже возле железной лестницы закусочной, на улице. На улице слякоть, дождь так и льет. На Пренцлауершттрассе — тьма-тьмушая и обычная толкотня и сутолока. А напротив, на Александршттрассе, какое-то необычайное скопление публики. Много полиции. Франц поворачивается и медленно направляется в ту сторону.

*На Александрплац
находится полицейпрезидиум*

Двадцать минут десятого. Во дворе полицейпрезидиума стоят несколько человек и разговаривают. Рассказывают друг другу анекдоты и переминаются с ноги на ногу. Подходит молодой комиссар, здоровается. «Ведь уже десятый час, господин Пильц, вы не забыли напомнить, что нам нужна машина ровно в девять?» — «Сейчас звонят по телефону в Александровскую казарму; машину мы заказали еще вчера днем». Подходит третий. «Оттуда отвечают, что машина была послана без пяти девять, но что-то перепутали, и она пошла в другое место, сию минуту высылают другую». — «Хорошенькое дело — “перепутали”, а мы тут стой, дожидайся». — «Я спрашиваю, где же машина, а он говорит: а кто у телефона, я говорю: секретарь Пильц, а он говорит: поручик такой-то. Тогда я ему говорю: так что, господин поручик, по распоряжению господина комиссара мне приказано справиться, потому что мы вчера заказали транспортному отделу подать машину для облавы в девять часов, заявка была дана в письменной форме, и мне приказано просить о подтверждении, поступила ли к вам наша письменная заявка. Вот бы вы послушали, как он сейчас же переменял тон и стал рассыпаться в любезностях, этот господин поручик, ну, конечно, говорит, все в порядке, машина уже послана, но в пути случилась маленькая задержка и так далее».

Наконец грузовики прибывают. На один садятся мужчины и женщины, агенты уголовного розыска, комиссары и агенты-женщины. Это та самая машина, на которой некоторое время спустя привезут сюда среди 50 арестованных также и Франца Биберкопфа, ангелы уже покинули его, взгляд его будет не тот, с которым он вышел из закусочной, но ангелы запляшут, уважаемые читатели и читательницы, верующие ли вы или не верующие, но это так будет.

Грузовик с мужчинами и женщинами в штатском уже в пути, это не боевая колесница, но все же орудие борьбы и правосудия, люди сидят на скамьях, и грузовик катится через Александрплац среди безобидных такси и автомобилей торговых фирм, люди на этой машине выглядят довольно миролюбиво, ведь это ж не настоящая война, объявления войны не было, просто едут по долгу службы, кто спокойно покуривает трубку, кто — сигару, дамы переговариваются, спрашивают, кто вон тот господин впереди, не газетчик ли, зна-

чит, завтра все будет сообщено в газетах. Итак, они преспокойно едут вверх по Ландсбергерштрассе, едут, так сказать, задворками к своей цели, потому что иначе все эти заведения слишком рано узнали бы, что им предстоит. А прохожие на улице видят грузовик, глядят ему вслед, но недолго, плохая это штука, плохие с ней шутки, вот — промчался, стало быть, полиция хочет устроить облаву на преступников, ужас, что такие вещи еще бывают на свете, надо तो ропиться в кино.

На Рюккерштрассе грузовик останавливается, все высаживаются и продолжают путь пешком. Маленькая улица безлюдна, отряд идет по тротуару, а вот и бар!⁵⁹

Занимают выход, оставляют караульного у двери, караульного по ту сторону улицы, остальные вваливаются в бар. Добрый вечер! Кельнер ухмыляется, знаем, мол, не впервой. Что прикажете подать? В другой раз, времени нет, получите со всех деньги; облава; пожалуйста все в сыскное. Смех, протесты, видали? Ну, ну, не задавайтесь, ругань, истерический хохот. Да вы не расстраивайтесь. Но у меня же есть документы. Тем лучше для вас, значит, через полчаса вы будете свободны. А что мне с того, мне на работу надо. Брось, Отто, стоит ли волноваться? Бесплатный осмотр полицейпрезидиума при вечернем освещении. Поживей пошевеливайся, публика. Грузовик набит до отказа, кто-то запекает модный фокстрот: Ах, кто ж это сыр на вокзал покати, ведь это же наглость, кто так подшутил?⁶⁰

Машина отъезжает, все подхватывают: Ах, кто ж это сыр на вокзал покати?

Что ж, дело идет как по маслу. А мы с вами — пешком. Какой-то элегантный господин пересекает улицу, кланяется, это начальник отделения, здравствуйте, господин комиссар! Они заходят вдвоем в подъезд ближайшего дома, остальные разделяются, кто куда, сбор — на углу Пренцлауер- и Мюнцштрассе.

Заведение на Александрштрассе битком набито, пятница, кто получил зарплату, идет sprysnutь ее, музыка, громкоговоритель, «быки» проталкиваются мимо стойки, молодой комиссар говорит с каким-то господином, оркестр перестает играть: облава, сыскная полиция, все в полицейпрезидиум. Посетители сидят за столиками, смеются, не трогаются с места, болтают, кельнер продолжает подавать. В коридоре плачет и кричит взятая вместе с двумя другими девица: Я же там выписалась, а здесь меня еще не успели прописать, ну так что ж, переночуешь ночь, только и всего, не пойду, не пойду, не смейте меня хватать, от этого еще никому не поздоровилось. Отпустите меня, пожалуйста, здесь я вас не могу отпустить, придем на место, тогда поговорим, ведь машина только что ушла, а почему вам дают так мало машин, пожалуйста, вы нас не учите, сами знаем. Кельнер, бутылку шампанского — ноги помыть. Слушайте, мне же надо на работу, я работаю здесь рядом, у Лау, кто же мне за прогул заплатит, ничего не поделаешь, отпустить вас никак не могу, да я ж вам

говорю, мне на постройку надо, это же лишение свободы, все должны идти, все, кто здесь есть, да ты, брат, не расстраивайся, надо ж этим людям облавы устраивать, а то они уже и сами не знают, за что им жалованье платят.

Задержанных уводят небольшими партиями. Грузовики непрерывно снуют в полицейпрезидиум и обратно, «быки» похаживают туда-сюда, в дамской уборной крик и шум, одна из девиц лежит на полу, кавалер ее стоит рядом с нею. Как это мужчина попал в дамскую уборную? Сами видите, что с этой дамой сделалась истерика. «Быки» многозначительно улыбаются, спрашивают, есть ли у «кавалера» удостоверение личности? Нет? Так и надо было ожидать! Тогда потрудитесь остаться здесь, вместе с «дамой». Та продолжает кричать, однако имейте в виду, что, когда все разойдутся, она встанет, как ни в чем не бывало. И эта парочка пустится танцевать танго. Кто-то грозит, что уложит кулаком всякого, кто только посмеет тронуть его. Бар уже почти опустел. Возле двери стоит человек, которого крепко держат за руки два шупо, орет: «Я был в Манчестере, в Лондоне, в Нью-Йорке, и ни в одном городе нет таких безобразий, ни в Манчестере, ни в Лондоне». Его выпроваживают на улицу. Вали, вали, не задерживайся, как поживаете, помаленечку, кланяйтесь вашей покойной собачке.

В четверть одиннадцатого, когда вся эта процедура уже приближалась к концу и только впереди, где ступеньки на эстраду, и сбоку, в углу, оставалось еще несколько занятых столиков, входит вдруг какой-то мужчина, хотя, собственно говоря, сюда давно уже никому не полагается входить. Шупо неумолимы и никого не впускают, хотя то и дело заглядывают в дверь девицы: ах, я же сговорила, нет, фрейлейн, вам придется зайти еще раз часов в двенадцать, до тех пор ваш знакомый задержится у нас в полицейпрезидиуме. Но этот старый господин был при том, как отправляли последнюю партию и видел, как шупо еще напоследок пустили в ход резиновые дубинки, потому что в грузовик хотело набиться больше народу, чем он мог поднять. Машина отъехала, у входа стало посвободнее, и этот человек спокойно прошел в дверь мимо обоих «быков», которые как раз глядели в другую сторону, потому что там уж опять кто-то насильно лез в бар и ругался с не пускавшими его полицейскими. В тот же момент из казармы подходит, под улюлюканье толпы на противоположной стороне улицы, новый отряд шупо, люди на ходу затягивают потуже пояса. Тем временем седой мужчина входит в заведение, требует у стойки бокал пива и подымается с ним по ступенькам, а в уборной все еще кричит та самая дамочка, и несколько человек за столиками смеются, болтают и делают вид, будто все это их совершенно не касается.

Этот человек садится за отдельный столик, прихлебывает пиво, оглядывается по сторонам. И вдруг его нога наталкивается на какой-то предмет на полу, около самой стены, он нагибается, шарит рукой, э, да это револьвер, верно, кто-нибудь бросил, что ж, недурно, теперь, значит, у меня целых два. На каждом

пальце будет по душе, а если Боженька спросит, почему, то можно ответить, еду в карете, как барин, чего не было на земле, то можно позволить себе на небесах. Вот устроили тут облаву, правильно, иначе и быть не может. Это значит, кто-нибудь из начальства в сыском хорошо позавтракал, а потом и говорит, пора опять устроить большую облаву, чтоб было о чем писать в газетах. Потому что высшее начальство должно видеть, что мы не сидим без дела. Или, может быть, кому-нибудь хочется получить повышение по службе или прибавку, или его жене нужно меховое пальто, вот и мучают людей, да еще непременно в пятницу, когда бывает получка.

Седой мужчина остался в шляпе, правая рука у него засунута в карман, левая тоже, когда он не берется за бокал. Один из агентов, с кисточкой щетины на зеленой охотничьей шляпе, проходит по залу, подгоняет, всюду пустые столики, на полу папиросные коробки, газетная бумага, обертки от шоколада. Агент торопит оставшихся, сейчас повезут последнюю партию. Спрашивает старого господина: «Вы уже расплатились?» Тот глядит прямо перед собой, ворчит: «Я ведь только что пришел». — «Совершенно напрасно, но теперь вам придется прогуляться с нами». — «Это уж мое дело». Агент, плотный, широкоплечий мужчина, оглядывает его с головы до ног, это что за тип? Тоже, нашел время бузить. Агент молча поворачивается, спускается по ступенькам вниз и вдруг чувствует, как его пронзает сверкающий взгляд старика, ну и глаза ж у него, тут что-нибудь да не так. Агент подходит к двери, где стоят другие, шепчется с ними, и они всей гурьбой выходят вон. Несколько минут спустя дверь снова раскрывается. «Быки» возвращаются, кричат: «Ну-ка, все, кто тут есть, пожалуйста». — «В следующий раз вы и меня заберите с собой, — смеется кельнер. — Уж больно любопытно посмотреть, что у вас там за комедия происходит». — «Не беспокойтесь, через час у вас опять будет работы хоть отбавляй, там, у входа, есть уже такие, которые из первой партии, так и рвутся сюда».

«Ну, вы, господин, тоже пожалуйста». Это он мне. Если невестою ты обладаешь и безгранично ей доверяешь, лучше не спрашивай, где и когда, — лишь бы ласкаться умела она⁶¹.

Господин — ни с места. «Да что вы, оглохли? Встаньте, я вам говорю». Тебя мне прислала весна. Нет, пусть их наберется побольше, одного недостаточно, ехать так ехать, у меня карета цугом.

И вот у лесенки уже три шупо, один из них подымается вверх, агенты проходят по залу, с молодым долговязым комиссаром во главе, торопят, видно. Меня они довольно травили, я сделал все, что мог, человек я или не человек?

Он вынимает левую руку из кармана и, не вставая, стреляет в первого полицейского, который как раз собирается яростно наброситься на него. Ббах! Итак, мы покончили все наши расчеты на земле и летим к черту в пекло, летим с музыкой.

Полицейский, шатаясь, — в сторону, Франц встает и хочет прислониться к стене, но остальные толпой бросаются от двери в зал. Ну и прекрасно, чем больше, тем лучше. Он снова подымает руку, кто-то пытается обхватить его сзади, Франц отшвыривает его в сторону плечом, но тут на него обрушивается удар за ударом — по руке, по лицу, по голове, по предплечью. Ай, рука моя, рука, ведь у меня только одна и осталась, ай, сломают мне еще и эту, что я тогда буду делать, убьют меня, сперва Мици, а потом и меня. Все это ни к чему, все ни к чему, все, все ни к чему.

И валится, падает почти замертво около самых перил.

Свалился раньше, чем мог еще раз выстрелить, упал наш Франц Биберкопф. Игра проиграна, сдался, проклял жизнь, сложил оружие. Вот он лежит.

«Быки» и шупо отодвигают в сторону столики и стулья, опускаются возле него на колени, переворачивают его на спину, э, да у него искусственная рука и два револьвера, а ну-ка посмотрим его документы, постойте, да на нем парик. Франц Биберкопф открывает глаза, когда его дергают за волосы. Тогда его встряхивают, толкают, тащат за плечи, ставят на ноги, стоять он может, нахлобучивают на голову шляпу. Остальные все уже разместились на грузовике, Франца выводят из двери, на левой руке — цепь. А на Мюнцштрассе толпа, шум, гам невообразимые, ну да, стреляли же ведь, вот он, вот, тот самый, который стрелял. Раненого полицейского уже раньше увезли на автомобиле.

Это и есть тот самый грузовик, на котором в половине десятого выехали из полицейпрезидиума комиссары, агенты уголовного розыска и агенты, теперь грузовик едет обратно, на нем Франц Биберкопф, ангелы покинули его, как я уже упоминал. На дворе полицейпрезидиума партии арестованных выгружаются, их ведут по узкой лестнице наверх, в широкий, длинный коридор, женщин помещают отдельно, а кого освобождают, документы оказались в порядке, тому приходится пройти еще через контроль, тут обыскивают агенты, ощупывают всего, от груди до сапог, мужчины смеются, в коридоре ругань, давка, молодой комиссар и чиновники расхаживают взад-вперед, уговаривают публику не волноваться, не терять терпения. Все выходы заняты шупо, в уборную не пускают без провожатого.

В канцелярии сидят за столами чиновники в штатском, допрашивают арестованных, просматривают документы, если таковые имеются, и заполняют большие бланки: место совершения преступления, в районе какого участка, место задержания, и тому подобное. Итак, ваша фамилия, приводеды есть, когда были в последний раз арестованы, отпустите сперва меня, мне надо на работу. Полицейпрезидиум, 4-е отделение⁶², время поступления: утром, днем, вечером, имя и фамилия, сословие или занятие, число месяц и год рождения, место рождения, адрес, постоянного адреса нет, арестованный не мог указать адреса, указанный арестованным адрес оказался по выяснению на месте вы-

мышленным. Вам придется подождать, пока ваш участок ответит, так скоро это не делается, ведь у них тоже только две руки, а кроме того бывали случаи, когда люди указывают адрес правильный, и по этому адресу действительно проживает лицо, которое зовут так, как вас, а на поверку выходит, что это совсем другой человек, и у арестованного его документы, которые он украл, или получил по-приятельски, или еще какое-нибудь мошенничество. Справка в картотеке, приносят личную карточку, личной карточки не имеется. Составляется опись приобщаемым к делу вещественным доказательствам, предметам, имеющим отношение к настоящему или какому-либо иному преступному деянию, и, наконец, предметам, оказавшимся при задержанном, которыми он мог бы причинить повреждение себе или другим, как то: трости, зонтики, ножи, револьверы, кастеты и т. п.

Приводят Франца Биберкопфа. Спета песенка Франца Биберкопфа. И он попался. Его ведут в кандалах. Голова опущена на грудь. Его хотят допросить внизу, в первом этаже, в дежурном помещении. Но этот человек ничего не говорит, на него напал какой-то столбняк, правый глаз у него затек от удара резиновой дубинкой, и он часто проводит рукой по лицу. Но рука быстро опускается, по ней тоже пришлось несколько ударов.

Внизу, по мрачному двору, проходят на улицу те, которых уже отпустили, идут под руку со своими девицами. Если невестою ты обладаешь и безгранично ей доверяешь, а теперь мы пойдем, мы пойдем, а мы с песней пойдем в другой ресторан⁶³. Правильность означенной описи подтверждаю, подпись заверена, следуют фамилия и служебный номер чиновника, принявшего вещи на хранение. В суд Центрального района города Берлина, комната 151, следователю IA⁶⁴.

Последним предстает и допрашивается Франц Биберкопф. Этот человек стрелял во время облавы в баре на Александрштрассе, но за ним есть еще и другие нарушения Уголовного кодекса. Его задержали там в бесчувственном состоянии, в какие-нибудь полчаса выяснилось, что наряду с восемью разыскивавшимися полицией рецидивистами и неизменными беглецами из колонии для малолетних преступников, в руки властей попал необычайно крупный пассажир. Ибо у человека, который свалился там без чувств после стрельбы, оказалась искусственная правая рука, а на голове седой парик. На основании этого, а также благодаря нашедшейся в сыскном фотографии, было немедленно установлено, что задержанный не кто иной, как подозреваемый в соучастии в убийстве проститутки Эмилии Парзунке в Фрейенвальде и уже имеющий судимость за убийство и сутенерство Франц Биберкопф.

Этот субъект уже давно уклонялся от регистрации в патронате, что ж, одного мы поймали, скоро попадетсЯ и другой.

КНИГА ДЕВЯТАЯ

Теперь земной путь Франца Биберкопфа окончен. Пора ему на слом. Он попадает в руки темной силы, которая именуется смертью и кажется ему подходящим пристанищем. Но он узнает, какого она о нем мнения, способом, которого он никак не ожидал и который превосходит все, что постигло его до сих пор.

Она говорит с ним начистоту. Она открывает ему глаза на его ошибки, на его высокомерие и несознательность. И таким образом терпит крушение старый Франц Биберкопф, жизненный путь его обрывается.

Этот человек разбит, уничтожен. Но вам покажут другого Биберкопфа, которому прежний и в подметки не годится и от которого можно ожидать, что он лучше справится со своей задачей.

*Черные дни для Рейнхольда. Впрочем,
эту главу можно и пропустить*

И как предполагали в полиции: «одного мы поймали, скоро попадется и другой», так оно и случилось. Только не совсем так, как думали. Они-то рассчитывали — скоро попадется другой. Но — он уже попался, он прошел через то же красное здание полицейпрезидиума, был пропущен через другие комнаты и руки и уже сидит в Моабите¹.

У Рейнхольда все делается скоро, так что он в два счета покончил и с этим делом. Этот молодчик не любит долго канителиться. Вы еще помните, как он поступил тогда с Францем? Ну так вот, в несколько дней он выясняет, какую игру повел против него Франц, и немедленно делает контрход.

Как-то вечером Рейнхольд отправился на Моцштрассе², а затем говорит себе, объявление о выдаче вознаграждения за поимку убийц расклеены на всех столбах, надо сделать так, чтоб попасться с липовым документом, например — выхватить сумочку, или что-нибудь в этом роде, потому что тюрьма самое верное убежище в случае серьезной опасности. Что ему и удастся, только той дамочке он уж очень здорово заехал в рожу. Ну да не беда, думает Рейнхольд, лишь бы поскорей убраться со сцены. А в сыском у него извлекают из кармана липовые документы на имя польского вора-гастролера Морошкевича и — пожалуйте в Моабит. Так там в сыском и не заметили, что за гусь лапчатый к ним попал, что ж, парень еще ни разу не сидел, и разве всех разыскиваемых преступников упомнишь? Незаметно среди других проходит слушание и его дела в суде, чуть ли не тайком, тихо и бесшумно, так как он сам проходил по сыскому. Но ввиду того, что он — разыскиваемый польскими властями рецидивист и что этот субъект имел наглость выйти на улицу в аристократической части города и ни с того ни с сего наброситься на приличную даму, избить ее и вырвать у нее из рук сумочку, это ж неслыханно, мы, слава богу, живем не в России-Польше, что вы себе собственно думали, то его надо наказать построже, и ему дают четыре года со строгой изоляцией, лишением прав на пять лет, отдачей после отбытия наказания под надзор полиции, и все такое, кастет конфискуется. На осужденного возлагаются судебные издержки, объявляется перерыв на десять минут, здесь очень жарко, надо открыть окно, что вы имеете еще заявить?

Рейнхольд, конечно, ничего не имеет заявить, оставляет за собой право просить о пересмотре дела, и очень доволен, что с ним разговаривают таким образом, значит, здесь с ним ничего плохого не случится. А два дня спустя все уже кончено, все, все позади, мы перевалили через вершину горы. Паршивое это было дело с Миши и этим ослом Биберкопфом, но на первое время мы все устроили так, как хотели, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Вот оно, значит, какое положение; и в тот момент, когда забирают Франца и везут в сыское, настоящий убийца, Рейнхольд, сидит уже в Бранденбур-

ге³, никто о нем и не вспоминает, позабыт он, позаброшен, и хоть весь мир погибни, все равно никто его не разыщет. А его самого не мучают никакие угрызения совести, и, если б все делалось по нем, он сидел бы там и поныне или же задал бы винта где-нибудь в пути, при пересылке в другую тюрьму.

Но вот на свете так уж устроено, что оправдываются самые идиотские словищы, и если человек думает, ну теперь все в порядке, то это может быть вовсе не так. Человек, говорят, предполагает, а Бог располагает⁴, и сколько вору не воровать, а кнута не миновать. Каким образом все ж таки добираются до Рейнхольда, и как ему в конце концов приходится пройти свой скорбный путь — я вам сейчас расскажу. Но если кого-либо это не интересует, то пусть он просто пропустит эту и следующие страницы. Все, что повествуется в книге Берлин-Александрплац о судьбе Франца Биберкопфа, происходило на самом деле, и книгу эту надо перечесть два или три раза и постараться хорошенько запомнить описанные в ней события, в них есть своя правда, наглядная, осязаемая. Но роль Рейнхольда на этом заканчивается. И только потому, что он олицетворяет бесстрастную силу, в которой ничто не изменяется в сем мире, я намерен показать ее вам в ее последней жестокой схватке. Вы увидите его твердокаменным и непреклонным до конца, незыблемым даже там, где Франц Биберкопф стелется по земле как былинка, и словно элемент, подвергнутый действию известного рода лучей, переходит в другой элемент⁵. Ах, ведь так легко сказать: все мы люди, все — человеки. О радостная, о счастливая, льется песнь застольная. Коли есть Господь... все мы отличаемся друг от друга не только нашими хорошими или дурными качествами, у каждого из нас есть и другая натура, и другая, своя жизнь, и все мы не похожи ни по характеру, ни по происхождению, ни по нашим стремлениям. А теперь выслушайте еще последнее о Рейнхольде.

И ведь надо же было так случиться, что Рейнхольду пришлось работать в бранденбургской тюрьме в циновочной мастерской вместе с одним поляком, но только настоящим, который в самом деле был известным карманщиком и лично знаком с Морошкевичем. Тот, как услышал: Морошкевич — э, да ведь я его знаю, где ж он? Глядит на Рейнхольда и думает: да ну неужели он так изменился, и как это возможно. Ну, он делает вид, будто ничего не знает и вовсе не знаком с Морошкевичем, а в уборной, когда их отпустили покурить, примазывается к Рейнхольду, угощает его папиросой, заговаривает с ним, и оказывается, этот Морошкевич еле-еле маракует по-польски. Рейнхольду польская беседа пришлась совсем не по душе, и он старается смыться из циновочной мастерской, а так как он симулировал иногда приступы слабости, мастер переводит его уборщиком в боковой флигель, где ему приходится меньше соприкасаться с другими заключенными. Но Длуга, поляк этот, не отстает. Рейнхольд ходит от камеры к камере, кричит: Сдавай готовую работу! А когда он с мастером останавливается у камеры Длуги и мастер как раз пере-

считывает циновки, Длуга шепотом говорит Рейнхольду, что знает одного Морощкевича, тоже карманщика, из Варшавы, не родственник ли? Рейнхольд с перепугу сует поляку пачку табаку, идет дальше, кричит: Сдавай готовую работу!

Поляк очень рад табаку, дело, видать, нечистое, и он начинает шантажировать Рейнхольда, вымогать у него подачки, потому что у того всегда каким-то образом водятся деньги.

Дело могло бы принять для Рейнхольда весьма скверный оборот, но на сей раз ему еще повезло. Он отражает удар. Он распространяет слух, будто Длуга, его земляк, задумал лягнуть его, так как знает про кой-какие старые его дела. И вот, во время обеденного перерыва происходит жестокое побоище, Рейнхольд тоже принимает деятельное участие в избиении поляка. За это его сажают на семь суток в строгий карцер, с койкой и горячей пищей лишь на третий день. Но когда он выходит из карцера, кругом все тихо-мирно, и никто его не беспокоит.

Но затем Рейнхольд сам подкладывает себе свинью. В продолжение всей жизни женщины приносили ему счастье и несчастье, на этой самой любви он и на сей раз сломал себе шею. История с Длугой привела его в сильнейшее возбуждение и ярость, приходится бесконечно сидеть тут и подвергаться всяким гадостям со стороны всяких негодяев, и не видишь никакой радости и живешь в таком одиночестве, подобного рода мысли сверлят его и сверлят, с недели на неделю все глубже и глубже. А когда он дошел уже до того, что охотнее всего зарезал бы этого Длугу, он сближается с одним молодым парнем, взломщиком, который тоже в первый раз сидит в Бранденбурге и в марте месяце уже выходит на волю. Сперва эти двое сходятся на почве торговли табаком и всяческих поношений Длуги, а затем становятся настоящими, закадычными друзьями, такого у Рейнхольда еще никогда не было, и хотя это и не женщина, а мальчик, все же с ним очень хорошо, и Рейнхольд радуется в бранденбургской тюрьме: проклятая история с Длугой имела такие хорошие последствия. Жаль только, что парнишке уже скоро срок выходит.

«А мне еще так долго носить черную суконную шапку и коричневую куртку, и в то время как я буду сидеть здесь, где-то будешь ты, мой маленький Конрад?» Парнишку зовут Конрадом, или, по крайней мере, он так себя называет. Он из Мекленбурга⁶ и проявляет все данные стать со временем настоящим бандитом. Из тех двоих, с которыми он работал по взломам в Померании, один сидит тут же с десятью годами. И вот, когда оба друга накануне освобождения Конрада, в какую-то злосчастную среду, в последний раз сошлись вдвоем в камере, Рейнхольд ну прямо разрывается от горя, что опять останется один и никого у него не будет — авось найдется другой, дай срок, Рейнхольд, и ты попадешь в колонию в Вердер⁷ или еще куда, — и никак не может успокоиться, не укладывается у него в голове и не укладывается, почему ему так

не повезло, все из-за этой суки, из-за дуры Мици, и из-за этой скотины, Франца Биберкопфа, и какое мне дело до таких остолопов, до таких ослов, я мог бы жить теперь на воле важным баринном, а здесь сидят одни голоштанники, которые ни тпру ни ну. И тут Рейнхольду точно моча в голову ударила, ноет и скулит и умоляет Конрада взять его с собой, возьми да возьми. Тот утешает его, как умеет, но нет, это немисливо, здесь никому не рекомендуется бежать.

Они раздобыли у одного полировщика из столярной мастерской бутылочку политуры, Конрад дает ее Рейнхольду, тот пьет, Конрад тоже. Нет, бежать совершенно немисливо, вот на днях двое бежали, вернее пыгались бежать, так один добрался уже до Нойндорферштрассе и только хотел сесть в повозку, как патруль его и замел, потому что уж больно он был окровавлен от этого проклятушего битого стекла, которым усыпан гребень ограды, пришлось положить его в лазарет, и еще неизвестно, заживут ли у него руки. А другой, тот был умнее, тот, как заметил стекло, сразу соскочил обратно во двор.

«Ничего у тебя не выйдет с побегом, Рейнхольд». И тут наш Рейнхольд совсем раскисает, распускается. Как, еще четыре года сидеть ему в этой дыре из-за какого-то баловства на Моцштрассе, из-за стервы Мици и обормота Франца? И он усердно прикладывает к политуре, ему становится легче на душе, вещи Конрада уже собраны, ножик положен сверху на узелки, вечерняя поверка уже была, дверь заперта на ключ, койки спущены. Оба друга шепчутся на койке Конрада. Рейнхольд — в самом минорном настроении: «Я, брат, тебе скажу, куда тебе пойти в Берлине. Как только ты выйдешь отсюда, отправляйся к моей невесте, черт ее знает, чья она теперь невеста, я тебе дам адрес, и сообщи мне, как и что, ты уж сам знаешь. А затем разузнай, чем кончилось то мое дело, понимаешь, потому что Дуга как будто что-то пронюхал. В Берлине был у меня один знакомый, этакий форменный дурачина, Биберкопф по фамилии, Франц Биберкопф...»

И Рейнхольд шепчет и шепчет и рассказывает и обнимает Конрада, который только знай настораживает уши и говорит на все да, да, и вскоре уже в курсе дела. Потом Конраду приходится раздеть Рейнхольда и уложить его на койку, так тот плачет от злости и отчаяния и досады на свою судьбу и на то, что он ничего не может поделать и сидит в западне. Тут уж не помогают слова Конрада, что четыре года, мол, пустяки, Рейнхольд и слушать не хочет, нет, он этого не вынесет, он не может так жить, словом, припадок самого настоящего тюремного помешательства.

Это было в среду вечером. В пятницу Конрад у невесты Рейнхольда в Берлине, его радушно принимают, заставляют целый день рассказывать о тюремном житье-бытье и под конец снабжают деньгами. Это было в пятницу, а во вторник для Рейнхольда уже все пропало! Случилось так, что Конрад встретил на Зеештрассе одного товарища, с которым был в приюте для трудновос-

питуемых. Товарищ этот в данное время безработный. И вот Конрад начинает перед ним хвастаться, как ему, Конраду, хорошо живется, платит за него в пивной, а потом они отправляются с девчонками в кино. Конрад рассказывает невероятные истории про Бранденбург. Развязавшись с девчонками, они еще полночи просиживают на квартире у того товарища, это было в ночь с понедельника на вторник, и Конрад выбалтывает, кто такой Рейнхольд, Морошкевичем он только назвался, это замечательный парень, такого на воле не так скоро найдешь, его даже полиция разыскивает по серьезному делу, почему знать, может быть, за его голову большая награда назначена. И только он это сказал, как уж понял, что сморозил большую глупость, но товарищ клянется и божится, что никому — ни-ни, ни слова, как можно, за кого ты меня принимаешь, и получает еще по этому случаю от Конрада 10 марок.

Затем наступает вторник, и вот этот товарищ стоит в вестибюле сыскного и изучает объявления, верно ли, что такого разыскивают, верно ли, что этот, как его, да, Рейнхольд в числе разыскиваемых, и верно ли, что за него назначена награда, или Конрад только пушку заливал.

И он совершенно обалдевает и даже сперва не верит своим глазам, когда читает это имя, боже ты мой, убийство проститутки Парзунке в Фрейенвальде, имя это в самом деле тут значит, да тот ли это Рейнхольд, господи боже мой, 1000 марок награды, с ума сойти, 1000 марок! Она так ошеломляет его, эта 1000 марок, что он тотчас же бежит к своей подружке и возвращается с ней еще в тот же день в сыскное, та говорит, что встретила Конрада и что Конрад про него спрашивал — видно, почуял неладное, что же теперь делать, заявить или нет, конечно, заявить, чудак человек, как можно сомневаться, ведь это ж убийца, и какое тебе до него дело, ну а Конрад, подумаешь, будешь ты считаться с Конрадом, когда еще с ним придется встретиться, да и в чем дело, откуда он узнает, что это ты заявил, а деньги-то какие, ты подумай, 1000 марок, сам ты ходишь без работы, а сомневаешься, брать или не брать 1000 марок. «А ну как это не тот?» — «Ладно, ладно, идем».

И вот этот товарищ Конрада сообщает дежурному комиссару коротко и ясно все, что знает: Морошкевич, Рейнхольд, Бранденбург, откуда он это знает, не говорит. Так как у него нет удостоверения личности, ему и его подруге приходится посидеть в сыском, до выяснения. Ну, а потом — все в порядке.

А когда Конрад едет в субботу в Бранденбург навестить Рейнхольда и передать ему всякую всячину от невесты и от Пумса, то в купе лежит газета, старая вечерняя газета, от четверга, и на первой ее странице: «Раскрыто убийство в Фрейенвальде. Убийца скрывался в тюрьме под чужой фамилией». Колеса громыхают под Конрадом, стучат на стыках, вагон качает. От какого числа эта газета? Какая? Локальанцайгер, четверг, вечерний выпуск.

Докопались, значит. Успели, оказывается, даже перевести Рейнхольда в Берлин. Вот что я наделал.

Женщины и любовь приносили ему, Рейнхольду, на протяжении всей его жизни счастье и несчастье, и из-за них же он, в конце концов, и погиб. Его переправили в Берлин, он вел себя как бесноватый. Немного недоставало, чтоб его поместили в то же учреждение, где сидел его бывший друг-приятель Биберкопф. И вот, несколько успокоившись в Моабите, он ждет, какой оборот примет его дело и что последует с той стороны, со стороны Франца Биберкопфа, который будто бы был не то его сообщником, не то подстрекателем, впрочем, неизвестно, что с этим Биберкопфом вообще еще будет.

*Психиатрическая больница в Бухе,
арестантский барак⁸*

В арестном доме при полицейпрезидиуме, в паноптикуме, правда, сперва предполагали, что Франц Биберкопф симулирует, что он только прикидывается сумасшедшим, так как знает — дело идет о его голове, но потом арестованного осматривает врач, его везут в лазарет в Моабит, там тоже не выжать из него ни слова, этот человек, по-видимому, действительно свихнулся, лежит неподвижно и едва моргает глазами. После того как он два дня отказывался от пищи, его переводят в психиатрическую больницу в Бухе, в арестантский барак. Это во всяком случае правильно, потому что надо же так или иначе подвергнуть его наблюдению.

На первых порах Франца поместили в изолятор, потому что он постоянно лежал совершенно голый, не покрывался одеялом и даже срывал с себя рубашку, это было единственным признаком жизни, который в течение нескольких недель подавал Франц Биберкопф. Веки у него были все время плотно сомкнуты, он лежал совсем смиренно, отказываясь от какой-либо пищи, так что пришлось кормить его через зонд только молоком и яйцами, с небольшой добавкой коньяку. От такого режима этот здоровенный мужчина сильно исхудал, как бы растаял, санитар мог без посторонней помощи с легкостью переносить его в ванну, ванны Франц принимал очень охотно⁹ и, сидя в воде, обыкновенно произносил несколько слов, а также приоткрывал глаза, вздыхал и стонал, но из всех этих звуков ничего нельзя было понять.

Психиатрическое заведение Бухе находится несколько в стороне от деревни, арестантский барак расположен отдельно от барачных других пациентов, которые не совершили никакого преступления, а только больны. Арестантский барак стоит на юру, в открыгой, совершенно плоской местности, ветер, дождь, снег, холод, день и ночь теснят его со всех сторон, со всей силой и мощью. Никакие улицы не преграждают доступа стихиям, перед барачком растет лишь несколько деревьев и кустов да торчат телеграфные столбы, вообще же там только дождь и снег, ветер и холод, день и ночь.

Вумм, вумм, ветер расправляет свою могучую грудь, задерживает дыхание, а потом выдыхает, словно из бочки, каждый выдох его тяжел, как гора, гора надвигается, наваливается на барак, грохочет басом. Вумм, вумм, деревья качаются, не в силах попасть в такт, надо перегнуться вправо, а они еще согнуты влево, и вот ветер наддает с новой силой, и они ломаются. Обрушиваются тяжелые гири, стон стоит в воздухе, скрип, треск, грохот, вумм, вумм, я вся твоя, приди же, приди, вумм, ночь, мрак.

Франц слышит этот призыв. Вумм, вумм, треск и грохот не прекращаются, что бы им уж перестать. Санитар сидит за столом и читает, вон я его вижу, ему вой бури не мешает. А я уже долго лежу. Ах эта травля, эта проклятая травля, затравили меня вконец, все во мне разбито, руки, ноги перебиты, шейный позвонок переломан. Вумм, вумм, пускай грохочет, я лежу уже долго, я уж больше не встану, Франц Биберкопф больше не встанет. И если бы даже вострубили громогласные трубы Страшного суда, Франц Биберкопф не встанет. Пускай себе кричат, что хотят, приходят со своим зондом, теперь мне вводят зонд уже через нос, потому что я не хочу открывать рот, но в конце концов я все-таки умру с голоду, и никакая медицина тут не поможет, пускай делают что угодно. Сволочи, проклятые, все уже позади. Вот теперь санитар пьет пиво, и это тоже уже позади.

Вумм — удар, вумм — другой, вумм — тараном, вумм — ворота в щепы! Сшибаясь и сталкиваясь, с треском и грохотом сходятся повелители бури, а время ночное, и совещаются, как бы сделать так, чтобы Франц проснулся, не то чтоб они хотели переломать ему ребра, но кругом такие толстые стены, а он не слышит, что ему кричат, будь Франц на открытом воздухе, ближе к зовущим его, он почувал бы их и услышал бы, как кричит Мици. И тогда смягчилось бы его сердце, пробудилась бы совесть, и он встал бы, и все было бы хорошо, а так, прямо даже не знаешь, что делать. Если взять топор и всадить его в твердую древесину, то закричит даже самое старое дерево. Но такое оцепенение, такое упорное углубление в свое горе, это — хуже всего, что только может быть. Мы не должны уступить; либо мы влопимся в арестантский барак, выбив в нем стекла, либо сорвем с него крышу; когда этот человек нас почувет, когда услышит крики, услышит Мицин вопль, который мы до него донесем, тогда он оживится и будет лучше сознавать, что делается вокруг. Мы должны напугать его, нагнать на него страху, чтоб он не находил покоя на своей койке, эх, сорвать бы с него одеяло, смести его на пол, сдуть у санитара со стола книгу и пиво, вумм, вумм, опрокинуть лампу, разбить электрическую лампочку, может быть, тогда получится короткое замыкание, начнется пожар, вумм, вумм, пожар в доме умалишенных, пожар в арестантском бараке.

Франц затыкает уши, замирает в неподвижности. Вокруг арестантского барака сменяются день и ночь, ясная погода, дождь.

У ограды стоит молоденькая девица из деревни и беседует с санитаром: «А что, видно, что я плакала?» — «Нет, только одна щека немножко как будто вспухла». — «Какое там одна щека, не одна щека, а вся голова, затылок, словом — все. Вот как». Девица плачет и достает из сумочки носовой платок, лицо стягивается, как от чего-то очень кислого. «И при этом я ничего не сделала. Мне надо было сходить в булочную за хлебом, ну а я знакома там с продавщицей и спрашиваю ее, что она сегодня делает, она и говорит, что идет на бал, который устраивают булочники и пекаря. Нельзя же постоянно сидеть дома, да еще в такую скверную погоду. У нее, оказывается, есть лишний билет, и она предлагает мне идти с нею. Билет — бесплатный. Ведь это же очень мило с ее стороны, не правда ли?» — «Ну конечно». — «А вы бы послушали моих родителей, в особенности мать. Не смей идти туда. Да почему же, ведь это же очень приличный бал, и человеку иной раз хочется повеселиться, уж и так-то жизни не видишь. Нет и нет, не пустим тебя, погода такая плохая, и отец к тому же нездоров. А я все-таки пойду. Вот за это меня и отгаскали, разве это справедливо?» Она плачет сильнее, всхлипывает. «Весь затылок трещит. Изволь-ка теперь, говорит моя мать, остаться дома. Это уж чересчур. Почему бы мне не пойти, ведь мне уж 20 лет, а мать говорит, что я достаточно гуляю по субботам и воскресеньям, но чем же я виновата, что у той барышни билет на четверг?» — «Если хотите, я могу одолжить вам носовой платок». — «Ах, я заплакала их уже шесть штук, у меня к тому же насморк, еще бы, целый день плакать, и что я скажу той барышне, не могу же я идти с такой щекой в булочную. А мне так хотелось пойти на бал, чтоб рассеяться. Вот тоже эта история с Сеппом, вашим товарищем. Я написала ему, что между нами все кончено, а он мне не отвечает, так что теперь действительно все кончено». — «Да бросьте вы его. Его можно видеть в городе каждый день с другой». — «Ну а если он мне нравится? Вот потому-то я и хотела развеяться».

К Францу подсаживается на койку старик с багровым от пьянства носом. «Послушай, брат, открой ты, наконец, свои буркала, меня-то хоть послушай. Я ведь тоже филоноу. Home, sweet home*, сиречь дом мой, дом родной — для меня он в земле сырой. Раз у меня нет своего крова, то пусть меня похоронят. Эти микроцефалы¹⁰ хотят превратить меня в троглодита¹¹, в пещерного человека, и заставить меня жить в этой пещере. Ты же ведь знаешь, что такое троглодит, это — мы, вставай, проклятьем заклеименный, весь мир голодных и рабов, вы жертвою пали в борьбе роковой, любви беззаветной к народу, вы отдали все, что могли, за него, за жизнь его, честь и свободу. Это мы, понимаешь? А деспот пирует в роскошном дворце, тревогу вином заливая, но грозные буквы давно на стене чертит уж рука роковая¹². Я, брат, самоучка, я до всего, что знаю, сам, своим умом дошел, по тюрьмам да по крепостям, а теперь вот

* Дом, милый дом¹³ (англ.).

засадил меня сюда, народ берет под опеку, я, понимаешь, угрожаю общественной безопасности. Что ж, так оно и есть. Я — вольнодумец, могу тебе сказать, вот ты меня видишь, как я тут сижу, и я самый тихий человек в мире, но если меня раздражить. Но падет произвол и воспрянет народ, великий, могучий, свободный, прощайте же, братья, вы честно прошли свой доблестный путь благородный¹⁴.

Знаешь, коллега, открой-ка чуточку глаза, чтоб я заметил, что ты меня слушаешь, вот так, больше не надо, не бойся, я тебя не выдам... а что ты такое натворил? Убил кого-нибудь из этих тиранов? Смерть палачам и супостатам¹⁵, ну-ка, давай споем. А то, знаешь, лежишь-лежишь, я всю ночь не могу заснуть, на дворе-то погода разыгралась, вумм, вумм, слышишь, того и гляди снесет весь наш барак. Так ему и надо. Ну вот, сегодня я всю ночь высчитывал, сколько Земля делает оборотов вокруг Солнца в одну секунду, считаю я, считаю, решил, что 28, и вдруг мне кажется, что рядом со мной спит моя старуха, и я ее будто бужу, а она мне говорит: ты, старичок мой, не расстраивайся, но только все это был сон.

А посадили меня сюда за то, что я пью, а когда я пью, я бываю злой-презлой, но только на себя самого, и тогда меня так и подмывает разбить, разнести на кусочки все, что ни попадется мне под руку, поскольку я тогда над собою не волен. Вот раз, понимаешь, пришлось мне пойти в казначейство за пенсией. Вижу я, сидят в канцелярии этикие субчики, грызут вставочки и воображают себя важными господами. Я ка-ак распахну дверь, да ка-ак гаркну! А они меня спрашивают: Что вам тут надо, кто вы вообще такой? Тут я ка-ак хвачу кулаком по столу! С вами, — кричу, — я даже не желаю разговаривать. С кем имею честь? Моя фамилия Шегель, прошу дать мне телефонную книгу, я желаю говорить с президентом республики. Ну а потом я устроил там настоящий погром — переколотил в канцелярии все, до чего успел добраться, не исключая двоих из этих субчиков».

Вумм — удар, вумм — другой, вумм — тараном, вумм — ворота в щепы! Грохот, раскаты, треск, гул. Кто же этот изолгавшийся субъект, этот Франц Биберкопф, этот сломанный паяц? Он, кажется, хочет дожидаться первого снега, тогда, думает он, мы сойдем со сцены и больше не появимся. Уж что он может надумать, ведь такой человек вовсе не в состоянии думать, на это у него в башке смекалки не хватит, и такой-то человек хочет лежать тут и фасон задавать. Погоди, мы тебе покажем, где раки зимуют, у нас, брат, кости железные, трррах — держитесь, ворота, бабах — трещите, ворота, дыра в воротах! Держитесь, тррах — и нет уже ворот, зияет брешь, пролом, вумм, вумм, держитесь, вумм, вумм!

И вот в завывании бури слышится вдруг какой-то стук, среди рева и воя все громче и громче какое-то щелканье. Женщина поворачивает свою шею на багряном звере. У него — семь голов и десять рогов¹⁶. Она регочет, в руке у нее

бокал, она издевается, поглядывает за Францем, а с повелителями бури лезет чокаться: га-га-га, га-га-га, не волнуйтесь, пожалуйста, господа, совершенно не стоит волноваться из-за этого человека, ведь у него осталась только одна рука, и мяса и жира на нем тоже нет, скоро ему совсем крышка, ему кладут уже грелки в постель, и кровью его я уж тоже упилаась, крови у него осталась самая малость, кичиться ею ему больше не придется, где уж там. Так что я вам говорю, господа, не волнуйтесь.

Это происходит у Франца на глазах. Блудница вертится, хохочет, подмигивает. Зверь медленно ступает под нею, трясет своими семью головами.

*Виноградный сахар и впрыскивание камфары,
но в конце концов в дело вмешивается
кто-то другой*

Франц Биберкопф борется с врачами. Он не может вырвать у них из рук резиновую трубку, он не может вытащить ее из носа, они льют масло на резину, и зонд проскальзывает в зев и в пищевод, и яйца и молоко текут в желудок. Но, когда кормление окончено, Франц начинает давиться, и его рвет. Это очень тяжело и мучительно, но достигнуть этого можно, даже когда у вас связаны руки и вам никак не засунуть себе пальца в рот. Можно вполне научиться выблевывать таким образом все что угодно, и мы еще посмотрим, кто кого переупрямит, врачи ли Франца или Франц врачей, и сумеют ли они заставить его остаться жить в этом проклятом мире. Я тут вовсе не для того, чтоб врачи делали надо мной всякие опыты, а что со мною на самом деле, они все-таки не знают.

И Франц как будто одерживает верх и день ото дня все слабеет и слабеет. Врачи пробуют взять его и так, и сяк, уговаривают, щупают пульс, кладут повыше, кладут пониже, делают ему впрыскивания кофеина и камфары,вливают в вены поваренную соль и виноградный сахар, обсуждают у его койки шансы применения питательных клизм, а может быть, следовало бы заставить его подышать кислородом, потому что ведь маску он с себя стащить не может. А Франц думает: чего это господа врачи так обо мне беспокоятся? Ведь вот умирает же в Берлине ежедневно не менее 100 человек, но когда кто заболет, то доктора ни за что не дозваться, если у больного нет денег. Ко мне же они так и льнут, хотя и вовсе не для того, чтобы помочь. Сам по себе я для них так же глубоко безразличен сегодня, как был глубоко безразличен вчера, а представляю интерес лишь потому, что они не могут со мной справиться. Вот они и сердятся, и не хотят с этим примириться, нипочем, потому что умирать здесь не полагается, потому что умереть — есть нарушение порядка и дисциплины в этом заведении. Если я умру, им, пожалуй, будет нагоняй, а кроме того меня

хотят судить из-за Миши и еще за что-то, так что сперва меня надо поставить на ноги, ведь это ж настоящие холуи, подручные палача, не сам палач, а именно его подручные, а еще расхаживают в докторских халатах, ни стыда у них, ни совести.

Среди заключенных арестантского барака ползет язвительный шепоток после каждого такого посещения, когда врачи, бывало, намучаются с Францем, а он себе лежит и хоть бы что! Уж они ему и новые впрыскивания, и то, и се, чего доброго, его еще на голову поставят, выдумали теперь сделать ему переливание крови, да откуда ее взять, кровь-то, такого дурака тут, пожалуй, не найти, чтоб согласился дать кровь, уж оставили бы беднягу в покое, вольному воля, спасенному рай¹⁷, раз человек так хочет, то уж он хочет. В конце концов, во всем бараке только и разговору что о том, какое впрыскивание сделали нашему Францу сегодня, и арестанты злорадно посмеиваются вслед докторам, потому что с Францем им не справиться, руки коротки, это кремь-парень, самый что ни на есть крепкий, и он им всем покажет, он знает, чего хочет.

Господа врачи надевают в ординаторской белые халаты, это — главный врач, его ассистент, стажер и практикант, и все они в один голос говорят: ступорозное состояние¹⁸. Молодые врачи придерживаются особого мнения; они склонны считать состояние Франца Биберкопфа психогенным¹⁹, то есть что его оцепенение вызвано душевными переживаниями и представляет собой болезненное состояние внутреннего торможения и связанности, которое можно было бы, пожалуй, при помощи анализа, объяснить как возврат к древнейшим формам сознания²⁰, если бы — ах это «если бы», это досадное «если бы», как жаль, это «если бы» все дело портит, — если бы Франц Биберкопф наконец заговорил и вместе с ними принял участие в совещании, как ликвидировать этот конфликт. Молодые врачи имеют в виду проделать с Францем Биберкопфом нечто вроде Локарно²¹. Из этих молодых врачей, двух стажеров и одного практиканта, кто-нибудь каждый день после утреннего или вечернего обхода является к Францу в маленький, защищенный решетками изолятор и по мере возможности пытается завести с больным разговор. Для этого применяется, например, метод игнорирования: с Францем говорят, как будто он все слышит, да так оно и есть на самом деле, и как будто его можно таким образом соблазнить выйти из своей изоляции и прорвать блокаду.

Когда это не удается, один из стажеров добивается того, что из физиотерапевтического кабинета приносят электрический аппарат и принимаются лечить Франца Биберкопфа фарадизацией²², подвергая действию тока верхнюю часть тела, главным образом — челюсти, шею и дно рта. Эту последнюю часть следует подвергнуть особенному возбуждению и раздражению.

Старшие врачи — люди покладистые, бывалые, охотно заглядывающие в арестантский барак, чтобы поразмять себе ноги, смотрят на все эти затеи

сквозь пальцы. Главный врач сидит в ординаторской за столом, перед грудой бумаг, которые кладет ему слева на подпись старший санитар, — молодежь, молодая гвардия, ассистент и практикант, стоят у окна. Говорят о том о сем²³. Список снотворных средств просмотрен, новый санитар представился начальству и уже вышел вместе со старшим санитаром, господа врачи — в своей компании, перелистывают протокол последнего съезда в Баден-Бадене²⁴. «Скоро вы станете утверждать, что и паралич обусловлен душевной деятельностью, — говорит главный врач, — и что спирохеты²⁵ являются чем-то вроде вшей в мозгу. Ох уж эта мне душа, сплошные сантименты! Медицина на розовой водичке».

Оба молодых врача молчат, улыбаются про себя. Старое поколение любит поговорить, начиная с известного возраста в мозгу отлагается известь, и человек уже ничему не способен научиться. Главный врач попыхивает папироской, подписывает бумагу за бумагой, и говорит, говорит:

«Вот видите, электричество уже много лучше, гораздо лучше этой пустой болтовни. Но если вы возьмете слабый ток, то он ничего не даст. А возьмете сильный, — может получиться неприятность. Знаем мы эту штуку, лечение сильными токами, знаем еще с войны, дорогой мой. Не разрешается, нельзя, потому что это — современный способ пытки». Тут молодые врачи берут на себя смелость спросить, что же следует предпринять в таком, например, случае, как с Биберкопфом? «Прежде всего ставится диагноз, и если возможно, правильный. Кроме неоспоримой души — мы ведь тоже помним еще нашего Гёте и Шамиссо²⁶, хотя и много воды с тех пор утекло, — так вот, я говорю, кроме души, существует на свете и кровотечение из носу, и мозоли, и переломы ног. Их нужно лечить так, как этого требует от врача всякая порядочная сломанная нога или всякая мозоль. Со сломанной ногой вы можете делать, что хотите, она все равно не заживет от уговоров, хотя бы вы при этом играли на рояле. Нога хочет, чтоб как следует вправили кости и положили ее в лубок, и тогда дело пойдет на лад. То же самое и с мозолями. Мозоль требует, чтоб ее смазывали, или чтобы человек купил себе более удобные сапоги. Последнее обходится дороже, но зато целесообразнее». Мудрость лиц, имеющих право на пенсию, уровень умственного развития равен нулю. «Следовательно, что же делать в данном случае с Биберкопфом, как вы полагаете, господин главный врач?» — «Поставить правильный диагноз. Таковым будет, по моей давным-давно устаревшей диагностике, кататонический ступор²⁷. Впрочем, это в том случае, если за ним не скрываются резкие органические изменения в мозговой оболочке, например, опухоль в среднем мозгу, вы ведь знаете, с чем приходится встречаться при так называемом головном гриппе, по крайней мере нам, старикам? Может быть, нас еще ожидает какая-нибудь необычайная сенсация при вскрытии, такое было бы не впервой». — «Кататонический ступор?» Ему бы самому купить себе новые сапоги, вот что! «Ну да. Все случаи, когда больной лежит в оцепенении, с внезапными потами, а сам, между прочим, подми-

гивает и превосходно за нами наблюдает, но ничего не говорит и не ест, — все такие случаи мы относим к кататонии. Симулянт или психогенный субъект в конце концов все-таки непременно на чем-нибудь да сорвется. Никогда он себя не допустит умереть с голода». — «А что же выигрывает больной от такого диагноза, господин главный врач, от этого ему ведь тоже не легче». Что, попался? Теперь ты у нас попляшешь. Главный врач раскатисто смеется, подходит к окну и хлопает ассистента по плечу. «Во-первых, он избавляется от вас обоих, дорогой коллега, и может, таким образом, спокойно дрыхнуть. Это для него, во всяком случае, большое преимущество. Неужели вы думаете, что ему не надоела эта канитель, которую вы и ваш коллега тянете с ним изо дня в день? А знаете, кстати, чем я могу неопровержимо подкрепить свой диагноз? Вот, послушайте. Этот больной давным-давно воспользовался бы удобным случаем, если бы дело было в так называемой “душе”. Когда такой отпетый каторжник видит, что вот собрались этикие молодые люди, которые ни черта в нем не понимают — простите, но ведь мы между собою, — и хотят его вылечить разговорами, то для такого субъекта вы прямо клад. Таких-то ему и нужно. И знаете, что он тогда делает, давно бы сделал? Видите ли, коллега, если бы у парня имелось соображение и расчет». Ишь ты, теперь эта слепая курица воображает, что наконец-то нашла зерно; и кудахчет, кудахчет. «Но ведь в том-то и дело, господин главный врач, что у него наблюдается торможение. Это и по нашему мнению есть ступорозное состояние, но обусловленное в данном случае психическими моментами, — утрата контакта с действительностью после разочарований или неудач, а затем детские, инстинктивные претензии к действительности и бесплодные попытки восстановить этот контакт». — «Психические моменты? Чушь, ерунда! Уж если на то пошло, то у него были бы совершенно иного рода психические моменты. Он сразу покончил бы со скованностью и торможением. Подарил бы их вам обоим на Рождество. Через неделю он с вашей помощью встает. Боже, какой же вы тогда великий целитель, честь и хвала новой терапии, вы посылаете приветственную телеграмму Фрейдю в Вену²⁸, неделю спустя парень идет с вашей помощью гулять по коридору, чудо, о чудо, аллилуйя, еще неделя, и он уже в точности исследовал двор, а неделей позже, благодаря вашему любезному содействию, он за вашей спиной — аллилуйя, айда, и был таков». — «Не понимаю, надо было бы попробовать, не думаю, господин главный врач». (Я все знаю, ты ничего не знаешь, кудах-кудах-кудах, мы все знаем.) «А я думаю. Ну, вы еще увидите. Поживите-ка с мое. Словом, не мучьте вы человека. Поверьте, все это ни к чему». (Надо зайти еще в барак № 9, вот олухи-то желторотые, на Бога надейся, а сам не плошай, который же теперь, собственно, час?)

Франц Биберкопф — без сознания, в беспамятстве, изжелта-бледный, с отеками на лодыжках, опухший от голодовки. От него пахнет голодом, при-

торным ацетоном, и кто входит в это помещение, сразу замечает: здесь происходит что-то необычайное.

Душа Франца Биберкопфа достигла уже низшей ступени бытия, и лишь порою проявляется его сознание. Теперь его понимают серые мыши, гнездящиеся в складе, и белки, и полевые зайцы, прыгающие за стенами барака. Мыши сидят в норках, между арестантским бараком и электрической станцией. Туда устремляется какая-то частица Францевой души и ищет, шепчет, и спрашивает, слепая, и возвращается в оболочку, которая все еще лежит за крепкой стеною на койке и дышит.

Мыши приглашают Франца откусать с ними и не грустить. Отчего, спрашивают, он такой грустный? И тогда выясняется, что ему вовсе не легко говорить. Мыши убеждают его решительно положить конец этому состоянию. Человек — гадкое животное, всем врагам враг, отвратительнейшее из всех созданий на земле, хуже кошки.

Он говорит: ах, как нехорошо жить в человеческом образе, гораздо лучше скрываться под землей, бегать по полям и есть, что попадет, веет ветер, дождь идет, холод сменяется теплом, все это лучше, чем жить в образе человеческого.

Мыши бегают, Франц — полевая мышь и роется в земле вместе с ними.

Он лежит на койке в арестантском бараке, приходят врачи, поддерживают его физические силы, в то время как он бледнеет, угасает. Они сами говорят, что его нельзя больше спасти. То, что было в нем животного, бежит по полю.

И вот от него отделяется что-то такое, что он лишь изредка и смутно ощущал в себе, украдкой покидает его, ощупью отыскивает свой путь. Оно плывет над мышьиными норками, ищет что-то меж стеблей трав, шарит по земле, где растения таят свои корни и ростки. Что-то с ними заговаривает, и они это понимают, какое-то дуновение проносится туда и сюда, слышится какой-то шелест, как будто семена падают на землю, это Францева душа возвращает земле свои ростки. Время, однако, неподходящее — холодно, морозно, кто знает, сколько их примется, но места на полях хватит, и много ростков во Франце, каждый день высевает он новые семена.

*Смерть поет свою унылую,
протяжную песнь²⁹*

Повелители бури теперь затихли, и началась другая песнь, все знают эту песнь, а также и того, кто ее поет. Когда этот певец возвышает голос, всегда все смолкают, даже те, кто самые буйные на земле.

Смерть затянула свою унылую, протяжную песнь. Она поет как косноязычная, повторяя каждое слово; пропев один стих, она повторяет первый и начинает сначала. Она поет, словно визжит пила. Заводит чуть слышно, затем вливается глубже, визжит громче, звонче, выше, и вдруг обрывает на каком-нибудь тоне и отдыхает. А затем медленно-медленно тянет обратно, скрежещет, и выше, сильнее становится ее звук, и она взвизгивает и вливается в тело.

Протяжно поет Смерть.

— Пора, пора мне явиться к тебе, потому что уже семена летят из окна, и ты вытряхиваешь свою простыню, как будто ты уже больше и не ляжешь. Я не только косарь, я не только сеятель, но мне полагается быть здесь, потому что мое дело — также и охранять. О да! О да! О да!

О да, таков в конце каждой строфы припев Смерти. Так поет она. А когда она делает резкое движение, она тоже припевает: О да, потому что ей так нравится. Но те, кто это слышат, закрывают глаза, ибо для них это нестерпимо.

Уныло, протяжно поет Смерть, слушает ее блудница Вавилон, и повелители бури слушают ее.

— Вот я стою здесь и должна отметить: тот, кто лежит здесь и не дорожит жизнью и своим телом, Франц Биберкопф. Где бы он ни был, он знает, куда идет и чего хочет.

Это, конечно, очень красивая песнь. Но слышит ли ее Франц, и что это значит: так поет Смерть? Когда это напечатано в книге или читается вслух, то получается что-то вроде поэзии. Шуберт, например, сочинял такие песни, Смерть и девушка³⁰, но что это значит в данном случае?

Я хочу говорить одну только правду, чистую правду, и эта правда гласит: Франц Биберкопф слышит Смерть, эту Смерть, и слышит ее косноязычное пение, с постоянными повторениями, визгливое, как вливающаяся в дерево пила.

— Я должна отметить, Франц Биберкопф, что вот ты лежишь и хочешь ко мне. Ты совершенно прав, Франц, что пришел ко мне. Как может жить человек, если он не ищет смерти? Истинной смерти, настоящей смерти. Ты всю свою жизнь оберегал себя. Оберегать, оберегать — таково трусливое стремление человечества, и потому оно стоит на месте, но так продолжаться не может.

Когда тебя обманул Людере, я впервые заговорила с тобой, но ты стал пить и ты себя — сберег! Тебе сломали руку, жизнь твоя, Франц, была в опасности, но сознайся, ты ни на секунду не думал о смерти, я послала тебе все, но ты не узнавал меня, и если ты даже догадывался, что это я, то лишь с тем большим ужасом и отчаянием убегал от меня. Тебе никогда не приходило в голову отречься от себя и от того, что ты предпринимал. Ты судорожно цеплялся за силу, и все еще не прошли эти судороги, хотя, как ты сам видел, сила ничем не может помочь, ничем, наступает такой момент, когда она ничем не может

помочь, и смерть не споеет тебе свою ласковую песнь и не наденет тебе на шею свое ожерелье, которое тебя задушит. Я — жизнь и истинная сила, и наконец-то, наконец-то ты не хочешь больше оберегать себя³¹.

— Что? Что ты говоришь обо мне? Что ты хочешь со мною сделать?

— Я — жизнь и подлинная сила³², сила моя сильнее самых огромных пушек, ты не хочешь жить где-нибудь в безопасности от меня. Ты хочешь испытать себя, познать себя, жизнь без меня ничего не стоит. Приблизься ко мне, чтоб меня видеть как следует. Ведь ты же лежишь на дне пропасти. Я дам тебе лестницу, и у тебя появится новый кругозор. Ты взберешься теперь ко мне, я протяну ее тебе, правда, у тебя только одна рука, но ухватись ею покрепче, ноги у тебя сильные, ухватись покрепче, полезай смело, иди сюда, иди.

— Я не вижу твоей лестницы в темноте, где ж она у тебя, да и с одной рукой мне никак не влезть.

— Ты полезешь не рукой, а ногами.

— Я не смогу удержаться, то, что ты требуешь, невысказано.

— Ты просто не хочешь приблизиться ко мне. погоди, я тебе посвечу, тогда ты найдешь дорогу.

Тогда Смерть вынимает правую руку из-за спины, и выясняется, почему она прятала ее за спиной.

— Если у тебя не хватает смелости прийти ко мне в темноте, то я посвечу тебе, ну, ползи.

И в воздухе сверкает топор, сверкает, гаснет.

— Ползи, ползи.

И когда она взмахивает топором, взмахивает им сверху за его головою вперед и дальше по дуге, описывая рукою круг, то кажется, что топор вот-вот со свистом вырвется и улетит. Но уже снова вздымается ее рука за его головою и снова взмахивает топором. Топор сверкает, падает, рассекает воздух, вонзается, вонзается, и уже снова свистит, свистит, еще и еще.

Взлети вверх, пади вниз, вонзись, вверх, вниз, хрясь, вверх, вниз, хрясь, вверх, хрясь, вверх, хрясь.

И при вспышках света и в то время, как топор взлетает, сверкает и рубит, Франц ползет ощупью по лестнице и кричит, кричит, кричит. Но назад не ползет. Кричит Франц. Вот она, смерть.

Франц кричит.

Кричит Франц, ползет и кричит.

Он кричит всю ночь. Пустился-таки в путь наш Франц.

Он кричит до зари.

Он кричит до утра.

Вверх, вниз, хрясь.

Кричит до обеда.

Кричит после обеда.

Вверх, вниз, хрясь.

Вверх, хрясь, хрясь, вверх, вверх, хрясь, хрясь, хрясь.

Вверх, хрясь.

Кричит до вечера, до самого вечера. Наступает ночь.

Кричит в ночь, Франц кричит в ночь.

Тело его продвигается все дальше вперед. От его тела отрубается на плахе кусок за куском. Его тело продвигается вперед автоматически, должно продвигаться, не может иначе. Топор вихрем крутится в воздухе. Сверкает и падает. Отрубается с каждым ударом по сантиметру. А по ту сторону этого сантиметра тело не мертво, оно медленно продвигается вперед, медленно и безостановочно, вперед и вперед, и ничего, не падает, все продолжает жить.

Те, кто проходят мимо его койки, останавливаются возле нее и приподнимают у него веки, чтобы посмотреть, сохранились ли рефлексy, и щупают пульс, который — как ниточка. Они вовсе не слышат этого крика, они только видят, что Франц открыл рот, и думают, что ему хочется пить, и осторожно вливают ему несколько капель жидкости, только бы его не вырвало, хорошо уж и то, что он больше не стискивает зубы. Как это возможно, чтоб человек был таким живучим?

— Я страдаю, я страдаю.

— Это хорошо, что ты страдаешь. Нет ничего лучше, чем то, что ты страдаешь.

— Ах, не мучь меня. Покончи со мной поскорее.

— Чего же кончать? Дело уж и так идет к концу.

— Покончи, покончи со мной. Это в твоих руках.

— У меня в руках только топор. Все остальное — в твоих руках.

— Да что же у меня такое в руках? Покончи скорее!

Но теперь голос ревет и становится совсем другим.

Ах эта безмерная в нем ярость, Неукротимая ярость, эта дикая, неукротимая, звериная ярость!

— Ага, вот оно до чего дошло? Значит, мне приходится стоять тут и разговаривать с тобой таким образом? Значит, по-твоему, я здесь в роли живодера или палача и должна придушить тебя, как ядовитую, кусающуюся гадину? Я звала тебя снова и снова, а ты принимаешь меня за шарманку, за граммофон, что ли, который можно завести, когда захочется, и тогда я должна звать тебя, а когда тебе надоест, то ты просто останавливаешь меня? Так вот за кого ты меня принимаешь? Ладно, ладно, принимай, но сейчас ты увидишь, что дело обстоит несколько иначе.

— Что ж я такое сделал, разве я не довольно мучился? Я не знаю никого, кому пришлось бы в жизни так же плохо, так же тяжело, как мне.

— Да ведь тебя же никогда не было, дрянной ты человек. Я за всю свою жизнь не видывала Франца Биберкопфа. Когда я послала тебе Людерса, ты

не продрал глаз, а согнулся пополам, как складной нож, и принялся глушить шнапс, пьянствовать и больше ничего.

— Я хотел быть порядочным человеком, а тот меня обманул.

— Я ж тебе говорю, что ты даже не продрал глаз, сукин ты сын! Ругаешь жуликов и жульничество, а не посмотришь на человека и не спросишь, как и почему. Что же ты за судья над людьми, раз у тебя нет глаз? Ты был слеп и к тому же нахален и задира л нос, ты, господин Биберкопф из аристократической части города, и хотел, чтоб мир был таким, какой угоден вашей милости. Но он, брат, не таков, это ты теперь, вероятно, заметил. Ему до тебя нет никакого дела. А когда тебя сгрел Рейнхольд и столкнул с автомобиля, и при этом тебе отрезало руку, то наш милый Франц Биберкопф даже и не подумал сдаться. Уже лежа под колесами, он еще клянется: хочу быть сильным. Не говорит: пора взяться за ум, пора хорошенько подумать, нет, этого он не говорит, а говорит: хочу быть сильным. Ты не желал понять, что это я с тобой говорю. Ну, зато теперь ты меня слышишь.

— Не желал понять? Почему? Что именно?

— А напоследок эта Мици... Стыдись, Франц, стыдись, скажи: стыд, позор. Кричи: стыд, позор.

— Не могу я. Я же не знаю, почему?

— Кричи: позор. Она пришла к тебе, такая прелестная, берегла тебя, радовалась на тебя, а ты? Что значил для тебя этот человек, такой человек, как цветок, а ты идешь хвастаться им перед Рейнхольдом. Для тебя это, видно, высшее наслаждение. Ты же только хочешь быть сильным. Ты счастлив, что можешь тягаться с Рейнхольдом, что ты сильнее его, вот ты и лезешь к нему и задираешь его. Поразмысли-ка, не виноват ли ты сам, что Мици больше нет в живых. И ни слезинки ты по ней не проронил, по той, которая умерла за тебя, а то за кого же?

Ты все только ныл: «я» да «я», да «какую я терплю несправедливость», да какой я благородный, какой хороший, а мне не дают выказать, что я за человек. Говори: стыд, позор! Кричи: позор.

— Но я не знаю...

— Войну ты, братец, теперь проиграл. Тебе, братец, крышка. Можешь собирать свои пожитки. Можешь дать себя пересыпать от моли нафталином. Для меня ты больше не существуешь. Можешь пиццать и скулить, сколько угодно. Этакая мразь. Человеку дано сердце, голова, глаза и уши, а он воображает, что хорошо уже, если он остается порядочным, а что он называет «порядочным», и ничего вокруг не видит и не слышит — живет себе помаленьку, ничего не замечая, хоть ты тут тресни.

— А что же, что же мне было делать?

— Ничего я тебе больше не скажу, — в ярости рычит Смерть. — Надоел ты мне своей дурацкой болтовней. Ведь все равно у тебя нет ни головы, ни ушей. Ты, брат, как будто вовсе не родился, не появился на свет. Ты — недоносок с

бредовыми идеями. С бесстыжими идеями. Надо было родиться этому римскому папе Биберкопфу, чтоб мы заметили, как все устроено в жизни. Миру нужны не такие как ты, не темные, самонадеянные, а такие, которые видят, как все устроено на свете — не из сахара, а из сахара и дерьма, попеременно. Ну-ка, брат, давай сюда свое сердце, чтоб покончить с тобой. Чтoб я поскорее выбросила его на помойку, где ему самое подходящее место. Рыло свое ты можешь оставить себе.

- Ах, погоди еще. Дай мне опомниться. Хоть немножечко. Самую малость.
- Давай сердце.
- Ну, еще чуточку.
- Тогда я сама возьму. Слышишь?
- Еще чуточку.

*И вот Франц слушает
протяжную песнь Смерти*

Сверкание сверкание сверкание, сверкание сверкание прекращается. Взмах падение хрясь, взмах падение хрясь прекращаются. Вот уже вторая ночь, что Франц кричит. Падение и рубка прекращаются. Он больше не кричит. Сверкание прекращается. Глаза его мигают. Он лежит неподвижно, вытянувшись во всю длину. Перед ним какое-то помещение, какая-то палата, по ней ходят люди. Не надо сжимать губы. Ему вливают в рот что-то теплое. И нет сверкания. Нет рубки. Крутом — стены. Чуточку, еще чуточку, а что чуточку? Он закрывает глаза.

И как только Франц закрыл глаза, он начинает что-то делать. Вам вот не видно, что он делает, и вы, вероятно, думаете, что он просто лежит и скоро скапугится и палец о палец не ударит. А он зовет и бродит и странствует. Он сзывает все, что имеет к нему отношение. Он выходит в окно на поля, встряхивает былинки, заползает в мышьиные норки: ну-ка, вылезай, вылезай, всё, что там есть, всё, что имеет отношение к Францу Биберкопфу. Он встряхивает былинки: вылезай, вылезай, ни к чему вся эта ерунда, вы мне нужны, я не могу вас отпустить, у меня самого работы много, все вы нужны, наперечет, ну-ка веселей.

Ему вливают бульон, он глотает, его не рвет. Он не хочет, ему не хочется, чтоб его рвало.

Слово Смерти у Франца на устах, и его никто у него не вырвет, и он ворочает его во рту, и оно — камень, каменный камень, и никакой пицци из него не сочтется. В таком положении умерло бесчисленное множество людей. Для них

не существовало никакого дальше. Они не знали, что им остается причинить себе еще одну-единственную боль, чтоб продвинуться дальше, что необходимо лишь один небольшой шаг, чтоб продвинуться дальше, но этот шаг они не могли сделать. Они не знали этого, все происходило недостаточно быстро, была какая-то слабость, какое-то судорожное сплетение минут или секунд, и вот они уже на том берегу, где их больше не зовут Карлом, Вильгельмом, Минной или Франциской, насыщенные, раскаленные докрасна яростью и отчаянием, засыпали они непробудным сном. И не знали того, что, раскались они добела, они стали бы мягкими, и все было бы по-новому.

Подпустить ближе эту ночь, черную, как ничто. Подпустить ближе эту темную ночь, и поля, на которые легла изморозь, и скованное морозом шоссе. Подпустить ближе одинокие кирпичные домики, в которых светит красноватый огонек, подпустить ближе озябших путников, возчиков, едущих в город на телегах с овощами, и запряженных в эти телеги лошадок. И обширные, плоские, безмолвные равнины, по которым мчатся местные и курьерские поезда, бросая в темноту по обе стороны полотна яркие снопы света. Подпустить ближе людей на станции, там — прощанье одной девочки с родителями, она едет с двумя старыми знакомыми далеко, в Америку, билеты у нас уж взяты, ах, боже мой, такая маленькая девочка, ну да ничего, привыкнет, осталась бы только хорошей и честной, и тогда все образуется. Подпустить ближе все города, которые расположены по одной железнодорожной линии: Бреславль, Лигниц, Зоммерфельд, Губен, Франкфурт-на-Одере, Берлин, поезд минует их от вокзала к вокзалу, города как бы всплывают на поверхность у вокзалов, города с большими и малыми улицами, Бреславль со Швейдницерштрассе, Берлин с грандиозным кольцом Кайзер-Вильгельмштрассе, с Курфюрстенштрассе, и всюду, всюду есть квартиры, в которых греются люди, любовно глядят друг на друга или равнодушно тянут лямку друг подле друга, есть лавчонки с разным хламом и пивные, где захудалый тапер играет Пупсик³³, такой старый шлягер, будто в 1928 году нет ничего нового, например: «Мадонна, ты прекрасней»³⁴ или «Рамона»³⁵.

Подпустить ближе — автомобили, экипажи, ты помнишь, в скольких ты сидел, и рессоры дребезжали, ты был один или рядом с тобой сидел один или одна, автомобиль номер 20147.

В печь сажают хлеб³⁶.

Печь стоит на открытом воздухе, вблизи крестьянского дома, за нею пашня, печь похожа на небольшую грудку кирпичей. Женщины напильили кучу дров, натаскали хвороста, все это свалено теперь около печи и то и дело подбрасывается в топку. Вот одна из женщин проходит по двору с большими формами, в которые выложено тесто. Мальчик с шумом открывает дверцу печки, оттуда жар так и пышет, так и пышет; ай да жар, вот это жар, женщина

вдвигает туда формы ухватом, тесто в формах подымается, лишняя влага испарится, хлебы зарумянятся.

Франц сидит, наполовину приподнявшись на койке. Он ждет, почти все, что покинуло его, опять при нем. Он дрожит: что это говорила Смерть? Он должен знать, что она говорила. Дверь открывается. Сейчас начнется. Представление начинается. Этого мы знаем. Это Людерс. Только его мы и ждали.

И они входят³⁷, он ждет их с трепетом. Что может быть с Людерсом? Франц делает какие-то знаки. Санитар подумал, что у него болит грудь от долгого лежания ничком, но ему просто хочется лечь повыше, в более сидячем положении. Потому что — сейчас придут те. Ну вот, теперь удобно. Начинайте.

Они входят поодиночке. Вот Людерс, маленький, жалкий человечек. Посмотри-ка, что с ним такое. Он подымается со шнурками для ботинок по лестнице. Да, такими делами мы занимались. Прямо хоть пропадай в своих отрепьях, все это еще старое барахло с военной службы, шнурки для ботинок, мадам, я хотел только спросить, не можете ли вы дать мне чашку кофе, а что с вашим мужем, кажется, убит на войне? Затем Людерс нахлобучивает шляпу: А деньги? Пожалуйста-ка! Да, это Людерс, он торговал когда-то в компании со мной. У дамочки лицо пылает, а одна щека — белее снега, дамочка роется в портмоне, кричит, того и гляди свалится. Людерс шарит в ящиках, — эх, одна старая оловянная дрянь, надо бежать, не то еще подымется шум, крик. По коридору, за дверь, вниз по лестнице. Да, Людерс это сделал. Крадет. Крадет много. А мне передают записку от нее, ну, что это такое со мной, ноги у меня как отрубленные, почему же я не могу встать. Послушайте, Биберкопф, не хотите ли коньяку, умер у вас кто-нибудь, что ли? Почему? Потому! Почему у меня отрублены ноги, я не знаю. Надо спросить Людерса, надо заговорить с ним. Послушай, Людерс, здравствуй, Людерс, как поживаешь? Неважно? Я тоже, подойди ко мне, сядь-ка вот тут на стул, да не уходи же, что я тебе сделал, ну, не уходи.

Подпустить ближе. Подпустить ближе черную ночь, автомобили, замерзшие дороги, прощанье маленькой девочки с родителями, девочки, которая уезжает в Америку с какими-то мужчиной и женщиной и со временем привыкнет к другой жизни, только бы осталась хорошей и послушной, а остальное приложится. Подпустить ближе...

Рейнхольд? А, Рейнхольд, фу, черт! Сволочь, явился-таки, что тебе тут нужно, хочешь похвастаться передо мной? Да ведь тебя никакой дождь не вымоет добела, тебя, бродягу, убийцу, каторжника, изволь выпнуть трубку из пасти, когда я с тобой говорю! Хорошо, что ты пришел, тебя, гада, мне только и не доставало, тебя еще не сцапали, а у тебя синее пальто, смотри, засыплешься в нем. «Ну, а ты сам-то кто же, Франц?» — «Я? Ах ты, бродяга! Во всяком случае я не убийца. Да знаешь ты, кого ты убил?» — «А кто показал мне девчон-

ку, а кто нисколько не дорожил ею и заставил меня лечь на кровать, кто? Хвастун ты несчастный!» — «Это еще не причина, чтоб ты ее задушил». — «Что ж тут такого? Разве ты сам чуть не забил ее до смерти? Эх, ты! А потом, говорят, есть еще некая особа, которая лежит на Ландсбергераллее и тоже не сама от себя попала на кладбище. Что, выкусил, крыгть-то, видно, нечем? Ну-ка, что скажет на это господин Франц Биберкопф, по профессии горлопан, трепач и пустомеля?» — «Да ведь ты же и меня столкнул под автомобиль, так что мне отрезало руку». — «Ха-ха-ха, можешь подвязать себе руку из папье-маше. Чем я виноват, что ты такой идиот и связываешься со мной». — «Идиот?» — «А ты думал, не идиот? Вот ты сейчас в Бухе и прикидываешься сумасшедшим, а я живу себе, не тужу. Кто же из нас двоих идиот, а?»

И вот он идет, и адский пламень сверкает в его глазах, и вырастают рога на его голове, и он визжит: Ну что ж, давай поборемся, давай, покажи, какой ты есть, Францекен, Францекен Биберкопф, бобровая головушка, ха! А Франц плотно смыкает веки. Не надо мне было с ним связываться, не надо было с ним тягаться. И на кой черт он мне дался?

— Что ж ты, Францекен, призадумался? Покажи, кто ты такой, есть ли у тебя силенки?

Не надо было мне с ним тягаться. Он подначивает, подзуживает меня и сейчас, о, это отчаянный человек, и мне не надо было с ним связываться. С ним я все равно не справлюсь, и мне не следовало вовсе и начинать.

Видно, силенок у тебя нет, Францекен.

Не надо мне было никакой силы против этого человека. Теперь я вижу, что это было не правильно. А я-то, чего только я ни делал. Вон, вон его.

Но тот не уходит.

Убирайся вон, убирайся...

Франц кричит во все горло, ломает руки: Мне надо видеть кого-нибудь другого, почему больше никто не приходит, почему этот стоит и не уходит?

— Знаю, знаю, ты меня не любишь, не по вкусу я тебе. Ну и ладно, сейчас явится другой!

Подпустить ближе. Подпустить ближе обширные, плоские, безмолвные равнины, одинокие кирпичные домики, из которых струится красноватый свет. Города, лежащие по одной железнодорожной линии, Франкфурт-на-Одере, Губен, Зоммерфельд, Лигниц, Бреславль, города эти всплывают возле вокзалов, города с большими и маленькими улицами. Подпустить ближе едущие экипажи, скользящие, мчащиеся стрелой автомобили.

Но вот Рейнхольд собирается уходить, а затем еще раз останавливается и, сверкнув глазами, спрашивает: «Ну, кто ж из нас сильнее, Францекен, кто победил?»

А Франц дрожит: Я не победил, это я знаю.

Подпустить ближе.

Сейчас войдет кто-то другой.

И Франц еще больше приподнимается на койке, стискивает кулак.

В печь сажают хлеб, в огромную печь. Жар неимоверный, вся печь трещит.

Ида! Ах, наконец-то он ушел. Слава богу, Ида, что ты пришла. Только что у меня был величайший негодяй, какой есть на свете. Хорошо, Ида, что ты пришла, тот меня все время подначивал и подзуживал. Что ты на это скажешь? Мое дело плохо, вот я сижу теперь здесь, в Бухе, ты знаешь, что это такое: Бух? Это — дом умалишенных, меня посадили сюда для наблюдения, сошел ли я уже с ума. Ида, да подойди же, не поворачивайся ко мне спиной. Что это она там делает? Стоит на кухне. Да, стоит на кухне. Чего-то там хлопочет. Вероятно, вытирает посуду. Но почему она все сгибается набок, все на один бок, словно у нее прострел? Как будто ее кто бьет по боку. Да не бей же ты, эй, ты, послушай, как тебя, ведь это же бесчеловечно, оставь, оставь ее, слышишь, да, да, кто ж это ее так бьет, ведь она уж и стоять не может, да стой ты прямо, девонька, повернись, взгляни на меня. Кто ж это тебя так страшно бьет?

— Ты, Франц, это ты меня забил до смерти.

Нет, нет, не правда, это установлено на суде, я только причинил тебе телесное повреждение, я не повинен в твоей смерти. Не говори так, Ида.

— Да, ты забил меня до смерти. Берегись, Франц.

Он кричит: нет, нет, он сжимает кулак, закрывает рукою глаза, и все же он видит.

Подпустить ближе. Подпустить ближе чужих путников, они несут на спине мешки с картофелем, за ними какой-то мальчик тащит ручную тележку, у него страшно мерзнут уши, потому что на дворе десять градусов мороза. А вот Бреславль со Швейдницерштрассе, Берлин с Кайзер-Вильгельмштрассе, с Курфюрстенштрассе.

А Франц стонет: В таком случае уж лучше умереть. Кто может это выгнать. Пусть уж лучше придут и убьют меня, я этого не делал, я же этого не знал. Он жалобно скулит, мычит, еле ворочая языком, говорить членораздельно он не может. Санитару кажется, что больной чего-то хочет, чего-то просит. Он дает Францу глоток подогретого красного вина; оба других больных, лежащих в той же палате, настаивают, чтоб вино было подогрето.

Ида продолжает сгибаться. Ах, Ида, не надо, довольно, ведь я уж отсидел свое, в Тегеле. И вот она перестает сгибаться, садится, опускает голову, становится все меньше и чернее. И вот она лежит — в гробу и — не шелохнется.

Но эти стоны, эти стоны, Франц стонет, стонет. А его глаза. Санитар подсаживается к нему, берет его за руку. Пускай это уберут, пускай унесут гроб, не могу же я сам встать, не могу же я.

Франц делает движение рукой. Но гроб — ни с места. Ведь Францу не достать до него. Тогда Франц в отчаянии плачет. И иступленно глядит и гля-

дит на гроб. И от слез его и отчаяния гроб исчезает. Но Франц плачет, не переставая.

Но о чем же, читатели и читательницы, плачет Франц Биберкопф? Он плачет о том, что он страдает, и о чем страдает, а также над собой. О том, что он все это наделал и был таким, — вот о чем плачет Франц Биберкопф. Теперь Франц Биберкопф плачет над собой.

Светит солнце, полдень, в бараке разносят обед, внизу тележка с котлами как раз отъезжает обратно на кухню, тележку везут санитар-раздатчик и двое легко больных из барака.

И вот после обеда к Францу является Мици. У нее совсем спокойное, ласковое лицо. Она в выходном платье и плотно облегающей голову шапочке, закрывающей уши и лоб. Открыто, спокойно и любовно глядит она на Франца, такая, какой он ее помнит, когда ему случалось встретить ее на улице или в ресторане. Он просит ее подойти поближе, и она подходит. Он хочет, чтоб она дала ему свои руки. Она протягивает ему обе руки. Она в кожаных перчатках. Сними же перчатки. Она снимает их, подает ему руки. Ну, подойди сюда, Мици, не будь такой чужой и поцелуй меня. Она спокойно подходит к нему вплотную, с нежной любовью глядит на него и целует его.

— Останься со мной, — говорит он ей, — ты мне так нужна, ты должна мне помочь.

— Не могу, Францекен. Я же умерла, ты ведь это знаешь.

— Ах, останься.

— Мне очень хотелось бы, но не могу.

Она снова целует его.

— Ты же знаешь, Франц, что было в Фрейенвальде? И ты не сердись на меня, а?

И уж нет ее. Франц извивается на своей койке. Широко раскрывает, таращит глаза. Нет, не видать ее. Что я наделал! Почему нет ее больше у меня? Не связывался бы я с Рейнхольдом, не показывал бы ее ему. Ах, что я наделал, что я наделал. А теперь.

Со страшно искаженным лицом он выдавливает из себя неясное бормотанье: Пускай она еще вернется. Санитар улавливает только слово «еще» и вливает ему еще вина в раскрытый, пересохший рот. Францу приходится пить, ничего другого не остается.

В жару лежит тесто, тесто всходит, дрожжи поднимают его, образуются пузырьки, хлеб поднимается, подрумянивается.

И голос Смерти, голос Смерти, голос Смерти:

На что тебе сила, на что тебе желание быть порядочным, о да, о да, взгляни на них. Познай, раскайся.

Все, что есть у Франца, повергается ниц. Он ничего не удерживает.

*Здесь надлежит изобразить,
что есть страдание*

Здесь надлежит изобразить, что есть страдание и горе, и как жжет и разрывает душу страдание. Ибо к Францу подступило страдание. Многие в стихах описывали страдание. Кладбища ежедневно видят страдания и муку.

Здесь надлежит описать, что делает страдание с Францем Биберкопфом. Франц не выдерживает его, отдается, приносит себя в жертву этому страданию. Он ложится в пылающий огонь жертвенника, чтоб огонь умертвил его, уничтожил, испепелил. И надо с ликованием отметить, что делает страдание с Францем Биберкопфом. Здесь надлежит поговорить о разрушении, которое производится страданием. Ломает, отсекает, повергает во прах, растворяет — вот что делает страдание.

Всему свое время: губить и исцелять, ломать и строить, плакать и смеяться, горевать и плясать, искать и терять, рвать и зашивать. А сейчас время губить, горевать, искать и рвать³⁸.

Франц борется и ждет смерти, желанной смерти.

Он думает, вот-вот наступит смерть, милосердная, желанная. Он весь дрожит, когда к вечеру снова садится на койке, чтоб достойно встретить ее.

И во второй раз являются те, кто повергли его днем во прах. Франц говорит: Да совершится все, я готов, с вами отходит Франц Биберкопф, возьмите меня с собой.

С глубоким трепетом встречает он образ жалкого Людерса. Вот выступит, волоча ноги, злодей Рейнхольд. С таким же глубоким трепетом воспринимает он слова Иды и образ Мици, вот она, теперь все свершилось. Франц горько, горько плачет, я во всем виноват, я не человек, я скотина, чудовище.

Умер в этот вечерний час Франц Биберкопф, бывший перевозчик мебели, взломщик, сутенер и убийца. На койке остался кто-то другой. У этого другого те же документы, что и у Франца, он и с виду похож на Франца, но в ином мире он носит новое имя.

Такова, стало быть, гибель Франца Биберкопфа, которую хотелось мне описать, от исхода Франца из тюрьмы в Тегеле до его кончины в психиатрической больнице в Бухе зимою 1928/29 года.

Теперь мне остается только добавить несколько слов о первых часах и днях некоего нового человека. у которого те же документы, что и у того.

*Отступление злой блудницы
и триумф великого заклателя,
барабанищика и громовержца*

В оголенной местности, вокруг красной ограды психиатрической больницы, лежит на полях грязный снег. Слышится несмолкаемая барабанная дробь. Проиграла дело блудница Вавилон, Смерть осталась победительницей³⁹ и гонит ее, преследует барабанным боем.

Блудница злобно ругается, брызжет слюной и кричит: «Ну что тебе с него, на что он тебе дался, этот несчастный Франц Биберкопф? Так и быть, возьми его себе, цапкайся с ним, с этим лодырем».

А Смерть выбивает на барабанах дробь: «Мне не видно, что у тебя в чаше, гиена. Этот человек, Франц Биберкопф, здесь, передо мною, я его совсем разбила. Но так как он силен и добр, пусть несет новую жизнь, прочь с дороги, нам обеим больше нечего сказать».

А так как блудница продолжает артачиться и изрыгать хулу, Смерть приходит в движение, наступает, раздувается ее огромный серый плащ, и становятся видны картины и ландшафты, расстилающиеся вокруг нее и обвиняющие ее с ног до груди. И вокруг нее – клики, пальба, шум, восторг и ликование. Зверь под блудницей пугается, начинает брыкаться.

Вот река Березина, и отступающие легионы⁴⁰.

Легионы переправляются через Березину, в зимнюю стужу, при леденящем ветре. Они пришли сюда из Франции, ведет их великий Наполеон. Ветер воет, снег бешено крутится, пули свистят. Солдаты бьются на льду, идут в атаку, падают. И несутся несмолкаемые клики: Да здравствует император! Да здравствует император! Жертва, жертва, это и есть Смерть.

Или вот: грохочут поезда, бухают пушки, с треском рвутся ручные гранаты, заградительный огонь, Шменде-Дам⁴¹ и Лангемарк⁴², отчизна, сохрани покой, отчизна, сохрани покой. Развороченные снарядами блиндажи, скошенные ряды солдат. Смерть размахивает плащом, припевает: О да, о да!

Вперед, марш, марш! Бодрым шагом в поход, с нами 100 музыкантов идет⁴³. И в зарю, и в закат видим ранней смерти взгляд⁴⁴, 100 музыкантов играют: тарарам, тарарам, коль не будет удачи, так плохо всем нам, тарарам, тарарам.

Смерть размахивает плащом и припевает: О да, о да.

Ярко пылает печь, ярко пылает печь, а перед нею стоит мать с семью сыновьями. Кругом стонут люди. Они должны отречься от веры отцов. Они спокойно стоят, лица их сияют. Их спрашивают: хотите отречься и покориться нам? Первый говорит нет и приемлет муку, второй говорит нет и приемлет муку, третий говорит нет и приемлет муку, четвертый говорит нет и приемлет муку, пятый говорит нет и приемлет муку, шестой говорит нет и приемлет

муку, седьмой говорит нет и приемлет муку. А мать стоит тут же и ободряет сыновей. Под конец и она говорит нет и тоже приемлет муку⁴⁵. Смерть размахивает плащом и поет: О да, о да.

Блудница понукает зверя с семью головами, но зверь не подымается.

Вперед марш, марш! Бодрым шагом в поход, с нами 100 музыкантов идет. Музыканты идут, в барабаны бьют, тарарам, тарарим, иному удача, но плохо другим, один остается, но трупы за ним, один бежит дальше, другой недвижим, тарарам, тарарим.

Клики и ликование, шагают по шестеро и по двое и по трое в ряд, проходит французская революция, проходит русская революция, проходят крестьянские войны, проходят анабаптисты⁴⁶, все они идут следом за Смертью, за ней буйное ликование, вперед к свободе, к свободе, весь мир насилья мы разроем, засветись, лучшей жизни заря, тарарам, тарарим, по шестеро, по двое, по трое в ряд. Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу грудью проложим себе, в ногу, левой, правой, тарарам, тарарам, тарарам.

Смерть размахивает плащом, смеется и сияя поет: О да, о да.

Наконец, великой блуднице удастся поднять зверя, он пускается вскачь, мчится по полям, проваливается в снег. Она оборачивается, изрыгает хулу на победоносную Смерть. От этого беснования зверь падает на колени, и женщина сползает и повисает на шее зверя. Смерть запахивается в плащ. Она сияет и поет: О да, о да.

Лиха беда начало

В Бухе бледного как смерть коечного больного, который был некогда Францем Биберкопфом, как только он начал говорить и глядеть осмысленно, много допрашивали следственные власти и врачи: следственные власти — чтоб выяснить, какие за ним грехи и прегрешенья, а врачи — в целях постановки диагноза. От следственных властей этот человек узнал, что ими задержан некий Рейнхольд, который, как будто, играл немалую роль в его жизни, в его прежней жизни. Ему рассказывают о Бранденбурге, спрашивают, не знает ли он некоего Морошкевича и где этот Морошкевич в настоящее время. Приходится повторять все это больному по несколько раз, и он остается совершенно равнодушным. В этот день его больше не тревожат. Есть жнец, Смертью зовется он. Сегодня свой серп он точит, приготовить для жатвы хочет. Беречь, цветок голубой⁴⁷.

На следующий день он дал показание следователю, к делу в Фрейенвальде он совершенно непричастен, а если Рейнхольд утверждает что-либо иное, то Рейнхольд ошибается. Исхудавшему, истощенному Биберкопфу предлага-

ют доказать свое алиби. Проходит несколько дней, пока это становится возможным. Все в нем противится тому, чтоб еще раз пройти по следам прошлого. Путь этот словно закрыт. Биберкопф со стоном приводит кое-какие данные. Он умоляет, чтоб его оставили в покое. Глядит трусливо, как побитая собака. Прежний Биберкопф погиб безвозвратно, а новый все еще спит да спит. Он ни единым словом не оговаривает Рейнхольда. Все мы лежим под топором. Все мы — под топором.

Его показания подтверждаются, они совпадают с показаниями Мициного покровителя и его племянника. Врачам становится ясней картина его болезни. Диагноз кататония отступает на задний план. Нет, это была психическая травма, вызвавшая нечто вроде ступорозного состояния. У больного довольно плохая наследственность, сразу видно, что он на дружеской ноге со спиртными напитками. В конце концов весь спор по поводу диагноза — ни к чему, человек этот во всяком случае не симулянт, у него действительно был припадок душевного расстройства, такой, что мое почтение, в том-то и штука. Итак — конец, точка, и за стрельбу в баре на Александрштрассе он подпадает под действие 51-го параграфа Уголовного кодекса⁴⁸. Интересно, поставим ли мы его снова на ноги?

Человек, которого зовут в честь умершего Биберкопфом, сам не понимает, как он, пошатываясь, ходит по бару и немножко помогает разносить пищу по палатам, и удивляется, что его больше не допрашивают. Он не знает, что творится за его спиной. Агенты уголовного розыска стараются докопаться, что за история была у него с рукой, при каких обстоятельствах он ее потерял и где он лечился. Наводят справки в магдебургской клинике, это ж дела давно минувших дней, да, но «быки» интересуются такими делами, даже если с тех пор прошло два десятка лет. Но им ничего не удастся раскопать, мы приближаемся к благополучной развязке, Герберт, оказывается, тоже сутенер, у всех этих молодчиков шикарные девчонки, на них всё и сваливают, говорят, что все деньги — от них. Конечно, никто из «быков» этому не верит, может, конечно, статья, что иной раз нашим молодчикам перепедают деньги и от их марух, но все-таки они кое-когда работают и от себя. Но об этом братва — ни гу-гу.

Итак, гроза, и эта гроза минует Франца Биберкопфа. На сей раз ему все прощается. На сей раз ты получил обратный проездной билет, сын мой.

И вот наступает день, когда его отпускают на волю. Полиция не скрывает от него, что он и на воле будет находиться под ее наблюдением. Из кладовой приносят то, что принадлежало прежнему Францу, и он все снова получает на руки, надевает свои старые вещи, на куртке видна запекшаяся кровь, это один из шупо хватил его тогда резиновой дубинкой по голове. Искусственную руку я не хочу брать, парик тоже ваш, оставьте себе, может пригодиться, когда будете давать представления. У нас что ни день представление, только без

париков, удостоверение вы получили, прощайте, господин старший санитар, до свиданья, навестите нас как-нибудь в Бухе, когда будет хорошая погода, непременно, благодарю вас, давайте, я вам отопру.

Ну вот и это, это теперь тоже осталось позади.

*Отчизна, сохрани покой, не влипну я,
я не такой⁴⁹*

Во второй раз покидает теперь наш Биберкопф заведение, где его держали в неволе, мы достигли конца нашего длинного пути и делаем вместе с Францем еще один-единственный небольшой шаг.

Первое заведение, которое он покинул, была исправительная тюрьма в Тегеле. Растерянно жался он тогда к красной ограде, а когда оторвался от нее и поехал на подошедшем 41-м трамвае в Берлин, дома не стояли смирно, и крыши хотели соскользнуть на Франца, так что ему пришлось долго ходить и сидеть, пока все вокруг него не успокоилось и сам он не стал настолько сильным, чтоб остаться в городе и начать все сызнова.

Сейчас он совершенно обессилен. На свой барак он не мог глядеть без отращения. Но вот когда он вышел у Штеттинского вокзала, со стороны платформы пригородного сообщения и перед ним вырос огромный отель Балтикумто, все стоит-и-не-шевеливается. Дома стоят неподвижно, крыши лежат на них прочно, он может спокойно ходить под ними, и не надо ему забираться ни в какие темные дворы. Да, этот человек — давайте называть его Францем-Карлом Биберкопфом⁵⁰, чтоб отличить его от первого, потому что при крещении Францу было дано еще и второе имя по деду, отцу его матери, — так вот, этот человек медленно шагает теперь по Инвалиденштрассе, минуя Аккерштрассе, по направлению к Брунненштрассе, мимо желтого здания рынка, спокойно поглядывает на магазины и дома и на то, как суетятся и бегают во все стороны люди, давненько я всего этого не видел, а теперь я снова вернулся. Биберкопф довольно-таки долго был в отсутствии. Теперь Биберкопф снова на месте. Ваш Биберкопф снова с вами.

Подпустить ближе, подпустить ближе обширные равнины, красные кирпичные домики, в которых горит свет. Подпустить ближе озябших путников с тяжелыми мешками за спиной. Это — свидание, это — больше, чем свидание.

На Брунненштрассе он заходит в пивную и просматривает газеты, не пишут ли в них о нем или о Мици или о Герберте или о Рейнхольде? Нет, ни слова. Куда ж я пойду, куда? К Еве, хочу взглянуть на нее.

Она уже не живет у Герберта. Открывает дверь хозяйка: Герберт засыпался, «быки» перерыли все его вещи, назад он не вернулся, вещи стоят на чердаке, продать их, что ли, я узнаю. Еву Франц-Карл находит в квартире ее по-

кровителя. Она принимает его. Она охотно принимает Франца-Карла Биберкопфа.

«Да, Герберт засыпался, ему припаяли два года, я делаю для него все, что в моих силах, про тебя его тоже много спрашивали, на первых порах он в Тегеле, ну а как твои дела, Франц?» — «Мои дела неплохи. Из Буха меня выпустили, признали невменяемым». — «Я читала об этом на днях в газете». — «О чем только не пишут в газетах. Но я очень слаб, Ева. На казенном пайке не разгуляешься».

Ева видит его взор, тихий, темный, ищущий взор, такого она еще никогда не видела у Франца. И она ничего не рассказывает ему о себе, хоть с ней тоже случилось что-то, что касается и его, но нет, он слишком еще слаб, она находит ему комнату, помогает ему, он не должен ни о чем заботиться. Он и сам, когда сидит у себя и Ева собирается уходить, говорит: Не-ет, сейчас я ничего не в состоянии делать.

Ну а что же он делает потом? Потом он мало-помалу начинает выходить на улицу и разгуливать по Берлину.

Город Берлин расположен на 52° 31' северной широты и 13° 25' восточной долготы, 20 вокзалов для поездов дальнего следования, 121 вокзал для пригородного сообщения, 27 станций окружной железной дороги, 14 — городской железной дороги, 7 сортировочных станций, трамвайное сообщение, автобусы, надземная и подземная железная дорога⁵¹. Есть лишь один императорский город, есть только Вена одна⁵². Заветная мечта женщины в трех словах, три слова заключают в себе все мечты женщины⁵³. Представьте себе, что какая-нибудь нью-йоркская фирма рекламирует новое косметическое средство, придающее желтоватой сетчатой оболочке чистый голубой оттенок, который бывает только в молодости. Самые красивые глаза, от темно-синих до бархатисто-карих, можно устроить себе при помощи такого простого тюбика⁵⁴. К чему тратить так много денег на чистку меховых вещей⁵⁵.

Франц-Карл разгуливает по городу. Там есть много чего, что может исцелить человека, если только сердце у него здоровое.

Первым долгом Алекс. Он все еще существует. Нового на нем ничего не увидишь, потому что всю зиму стояли такие холода, что почти не пришлось работать, и все осталось как было, большой копер стоит теперь близ Георгенкирхплац, там убирают строительный мусор, оставшийся от снесенного универмага Гана, в этом месте забили много железных свай, может быть, тут будет вокзал. Да и вообще жизнь кипит на Алексе, но главное — он есть! Публика снует туда-сюда, а грязь — невообразимая, потому что берлинский магистрат — учреждение благородное, гуманное, он дает всей этой массе снега самой постепенно превратиться в грязь, чтоб у меня до него никто пальцем не дотронулся. А когда проезжает автомобиль, можешь спрятаться в ближайший подъезд, иначе рискуешь получить в физиономию бесплатно целый воз гря-

зи, а потом тебя же еще, пожалуй, привлекут к ответственности за расхищение городского имущества. Наше старое кафе «Мокка-фикс» закрылось. На углу открылось теперь новое заведение «Мексико», мировая сенсация; в окно видна обстановка индейского лагеря и старший повар у вертела, а вокруг Александровской казармы поставили глухой забор, почему знать, что там делается, в нижнем этаже перестраивают помещения под магазины. Вагоны трамвая ходят переполненные до отказа, все едут по делу, проезд все еще стоит 20 пфеннигов, одну пятую марки наличными. Если пожелаете, можете заплатить и тридцать или купить себе маленький форд. Надземная дорога тоже работает прекрасно, там нет первого и второго классов, а есть только третий, и все сидят на мягких сиденьях, если не приходится стоять, что тоже бывает. Вход и выход во время движения воспрещен, за нарушение штраф в размере до 150 марок, как же, станут вам выходить во время движения, рискуя быть убитым электрическим током. Блестят, как солнце, сапоги. В чем дело? Это крем Эги!⁵⁶ Входить и выходить как можно быстрее, при переполнении стоять в среднем проходе.

Все это очень хорошие вещи, которые могут помочь человеку встать на ноги, даже если он немного слаб, лишь бы сердце было здоровое. Не останавливаться у двери. Ну что ж, Франц-Карл Биберкопф здоров, всем бы быть такими здоровыми, как он. Разве стоило бы рассказывать про человека такую длинную историю, если бы он едва держался на ногах? Однажды, когда какой-то букинист стоял с товаром на улице в страшнейший дождь и громко проклинал свои плохие дела, к его тележке подошел поэт и писатель Цезарь Флайшлен, спокойно выслушал ругань, а затем, похлопав его по плечу, сказал: «Брось ругаться! Имей солнце в сердце своем!»⁵⁷ И, утешив его такими словами, скрылся из виду. Это послужило ему впоследствии поводом для его известной поэмы о солнце. Такое солнце, правда несколько иного характера, имеет в сердце своем и Биберкопф, а если добавить к этому рюмочку водки и изрядное количество мальц-экстракта⁵⁸, примешиваемого к супам, то немудрено, что его силы поменьше восстанавливаются. Настоящим честь имею предложить вам долю в бочке превосходного белого вина марки Трабнер Вюрцгартен 1925 года по исключительно сходной цене 90 марок за пятьдесят бутылок, включая упаковку, без доставки, или по 1,60 марки за бутылку, без посуды и ящика, которые я принимаю обратно по цене накладной⁵⁹. Диодил⁶⁰ — лучшее средство при артериосклерозе! У Биберкопфа нет артериосклероза, он чувствует лишь некоторую слабость, ведь он упорно постился в Бухе, чуть не умер от голода, и поэтому требуется время, чтобы человек опять вошел в тело. За этим ему нечего обращаться и к врачу-магнетизеру, куда его хочет направить Ева, потому что тот когда-то помог ей советом.

И вот когда Ева неделю спустя отправляется с Францем на могилу Мици, то ей есть чему удивляться, она замечает, как он поправился. Никаких слез;

он только кладет на могилу букет тюльпанов и гладит рукою крест, и уже берет Еву под руку и уходит.

Потом сидит с ней напротив в кондитерской, ест в честь Мици миндальные пирожные, потому что та могла есть их без конца, они и в самом деле довольно вкусные, хотя и не так уж особенно. Ну вот мы и побывали у нашей крошки Мици, очень-то много по кладбищам ходить тоже нечего, только еще простудишься, пожалуй, можно будет опять прийти в будущем году, в день ее рождения. Знаешь, Ева, мне вовсе не нужно, поверь мне, бегать к Мици, она и так, без кладбища, всегда передо мною, и Рейнхольд тоже, да, Рейнхольда я тоже никогда не забуду, даже если б у меня выпросла новая рука, не забуду. Потому что есть такие вещи, надо быть старой тряпкой, чтоб их забыть, а не человеком. Такие речи ведет Биберкопф с Евой и ест миндальные пирожные.

Было время, когда Ева хотела стать его подругой. Но теперь — теперь она сама больше не хочет. Сперва дело с Мици, а затем дом умалишенных — это уж слишком, как она к нему ни расположена. Да и ребенок, которого она от него ожидала, так и не появился на свет, у нее случился выкидыш, а как было бы хорошо, не суждено ей, значит⁶¹, в конце концов, пожалуй, оно и к лучшему, в особенности, раз нет Герберта, ну и ее покровителю в десять раз приятней, что у нее нет ребенка, потому что в конце концов этот добрейший человек догадался, что ребенок может быть и не его, что ж, обижаться на него за это нельзя.

И вот сидят они тихо и мирно друг подле друга, вспоминают былое и обсуждают будущее, и едят миндальные пирожные со взбитыми сливками.

В ногу — левой, правой, левой

Мы встречаемся с этим человеком еще на процессе Рейнхольда и жестянщика Матгера, он же Оскар Фишер, по обвинению их в убийстве Эмилии Парзунке из Бернау 1 сентября 1928 года в Фрейенвальде близ Берлина и в сокрытии следов этого преступления. Биберкопфу никакого обвинения не предъявлено. Однорукий человек возбуждает всеобщий интерес, огромная сенсация, убийство возлюбленной, любовная драма «на дне», после ее смерти он повредился в уме, его подозревали в соучастии, трагическая судьба.

На суде однорукий человек, который, как гласит заключение экспертов, теперь совершенно здоров и в состоянии подвергнуться допросу, показывает: убитая, он называет ее Мици, не состояла в любовной связи с Рейнхольдом. Рейнхольд и он, свидетель, были большими друзьями, но у Рейнхольда было страшное, неестественное влечение к женщинам, и вот так оно и случилось. Был ли Рейнхольд садистом, он не знает. Он предполагает, что Мици оказа-

ла Рейнхольду там, в Фрейенвальде, сопротивление, и тогда он в ярости это и совершил. Знаете ли вы что-либо о детстве подсудимого? Нет, в то время я с ним не был знаком. А подсудимый вам ничего о себе не рассказывал? Скажите, свидетель, вы не замечали, что подсудимый сильно пьет? М-да, тут дело обстоит так: сначала он ничего не пил, а под конец стал выпивать — сколько, свидетелю неизвестно, в начале их знакомства подсудимый не переносил ни глотка пива, пил только содовую воду, лимонад или кофе.

И больше из Биберкопфа не извлечь ни слова о Рейнхольде. Ни слова о потере руки, ни слова о их ссоре, о их борьбе, не надо было мне начинать, не надо было с ним связываться. Среди публики — Ева и несколько человек из Пумсовых ребят. Рейнхольд и Биберкопф в упор глядят друг на друга. Но не жалость чувствует одноручка к сидящему на скамье подсудимых между двумя конвойными человеку, которому грозит высшая мера, а какую-то странную привязанность. Был у меня товарищ, мне самый дорогой. Биберкопф не может оторвать от него глаз. Самое важное для него — глядеть и глядеть на него. Мир создан из сахара и дерьма, я могу спокойно, не мигая, смотреть на тебя. Я знаю, кто ты такой, я вижу тебя тут на скамье подсудимых, на воле я тебя, браток, увижу еще тысячу раз, но от этого мое сердце вовсе не превратится в камень.

Рейнхольд собирался было, если б на суде дело обернулось для него уж очень скверно, разоблачить всю Пумсову лавочку, он бы продал их всех до единого, если бы его стали топить, он приберегал этот козырь в особенности на тот случай, если бы Биберкопф, этот сукин сын, из-за которого вся каша и заварилась, начал чересчур задаваться перед судьями.

Но в публике сидят Пумсовы ребята, сидит Ева, сидят несколько человек агентов уголовного розыска, знаем их, «быков»-то. И Рейнхольд берет себя в руки, успокаивается, обдумывает положение. Без поддержки бывших товарищей никак не обойтись, придется же когда-нибудь выйти на волю, в тюрьме они и тем более нужны, а «быкам» доставлять такое удовольствие совершенно нет смысла. Кроме того, этот Биберкопф ведет себя на удивление прилично. Говорят, он сидел в Бухе. Смешно, как этот олух изменился, какой у него странный взгляд, как будто он не может вращать глазами, верно, заржавели они у него в Бухе, и говорит-то он теперь так медленно, словно у него до сих пор еще не все дома.

Биберкопф знает, что ничем не обязан Рейнхольду, когда тот ни слова не упоминает об их общих воровских делах.

Десять лет со строгой изоляцией дали Рейнхольду, убийство в запальчивости и раздражении, алкоголизм, неуравновешенный характер, беспризорное детство. Рейнхольд отказывается от кассации, принимает наказание.

При оглашении приговора кто-то вскрикивает в местах для публики, а затем начинает громко рыдать. Это Ева, слишком уж сильно нахлынули на нее воспоминания о Мици. Биберкопф оборачивается на скамье свидетелей, когда

слышит этот крик. А затем грузно оседает мешком и закрывает рукою лицо. Есть жнец, Смертью зовется он, я вся твоя, такой прелестной пришла она к тебе, оберегала тебя, а ты, позор, стыд, кричи, позор, стыд.

Сразу же после процесса Биберкопфу предлагают место привратника на небольшом заводе. Он поступает на это место. О его дальнейшей жизни нам здесь нечего рассказывать.

Мы подошли к концу нашего повествования. Оно несколько затянулось, но оно должно было растягиваться и растягиваться, пока не достигло той высшей точки, того поворотного пункта, откуда только и пролился свет на все в целом.

Мы шли темной аллеей, в начале ее не горело ни одного фонаря, было только известно, что надо держаться такого-то и такого направления, дальше будет постепенно все светлее и светлее, вон там висит фонарь, и наконец под ним можно прочесть название улицы. Здесь процесс постепенного высветления протекал по-особому. Франц Биберкопф не шел по улице, как мы. Он бежал со всех ног по этой темной улице, он натыкался на деревья, и чем сильнее был его разбег, тем чаще натыкался он на деревья. Было и без того темно, а он, натыкаясь на деревья, еще в испуге жмурил глаза. И чем больше он натыкался, с тем большим ужасом жмурил глаза. С разбитой головой, едва не лишившись рассудка, он наконец все же добежал. Свалившись, он еще раз открыл глаза. И увидел, что фонарь ярко горит над самой его головой, и можно прочесть на дощечке название.

В конце концов он служит привратником на небольшом заводе. Он не стоит больше одиноко на Александрплац. Есть люди по правую его сторону и по левую, и перед ним идут люди, и за ним тоже.

Много бед происходит оттого, что идешь один. Совсем иное дело, когда идешь гурьбой, надо привыкать слышать других, ибо то, что говорят другие, касается и тебя. Тут-то ты и замечаешь, кто ты такой и какие цели можешь себе поставить. Всюду вокруг идет бой, который непосредственно касается и тебя, приходится быть начеку: не успеешь оглянуться, как ты втянут.

Биберкопф служит привратником на заводе. Что же такое судьба? Когда я один, она сильнее меня. Если нас двое, то ей уже труднее быть сильнее меня. Когда нас десять — еще труднее. А когда нас тысяча или миллион — то совсем трудно.

Но оно и приятнее и лучше быть с другими. Так я и чувствую и знаю все вдвое лучше. Корабль не может стоять на месте без большого якоря, а человек не может существовать без большого количества других людей. Я буду теперь лучше разбираться в том, что правильно и что не правильно. Я уже раз попался, что поверил слову, и дорого заплатил за свою доверчивость, в другой раз такая штука с Биберкопфом не случится. Слова надвигаются на человека со всех сторон, так что только ходи да поглядывай, чтоб тебя не раздавило. Переходи улицу не зевая, берегись автобуса и трамвая. Не так

то легко я теперь чему-либо поверю. Отчизна, сохрани покой, не влишну я, я не такой.

Под его окном часто проходят люди со знаменами, музыкой и песнями, Биберкопф хладнокровно взирает на них и преспокойно остается дома. Марш, марш, шагай не рассуждай. Если идти с ними, то придется расплачиваться своими боками за то, что выдумали другие. Поэтому надо сперва все обмозговать, и если дело в порядке и подходящее, то мы соответственно с этим и будем действовать. У человека есть смекалка, а за осла решает палка.

Биберкопф добросовестно исполняет обязанности привратника, принимает номерки, контролирует подводы, наблюдает, кто входит, кто выходит.

Надо быть начеку, постоянно быть начеку, в мире что-то как будто готовится. Мир сделан не из сахара. Если будут бросать газовые бомбы⁶², придется погибнуть от удушья, почему их будут бросать — неизвестно, но не в этом дело, времени подумать ведь было достаточно.

Когда начинается война и человека призывают, а он и не знает, за что война, тем более что война и без него война, он все-таки виноват, да и поделом ему. Надо быть начеку, и не надо быть одному. Если идет град или дождь, то против этого ничего не поделаешь, но против многого другого можно защищаться. Тут уж не будешь кричать, как прежде: судьба, судьба! Перед этим не преклоняться надо, как перед судьбой, а надо взглядеться, ухватить и уничтожить это.

Надо быть начеку, не смыкая глаз, надо быть всегда готовым, все эти тысячи составляют одно целое, и кто упустит момент, будет поднят на смех или — на штыки.

Дробью рассыпается за Биберкопфом барабан. Вперед, вперед, бодрым шагом в поход, с нами 100 музыкантов идет. И в зарю, и в закат видим ранней смерти взгляд.

Биберкопф — незаметный труженик. А мы что знаем, то знаем. Досталось нам это знание дорогой ценой.

*Вперед, к свободе, к свободе, весь мир насилья мы разроем,
вставай, заря освобожденья.*

*В ногу, левой, правой, левой, правой, вперед, вперед, бодрым шагом
в поход, с нами сто музыкантов идет, в трубы трубят, в барабаны бьют,
тарарам, тарарам, тарарим, иному удача, и плохо другим,
один остается, но трупы за ним, один бежит дальше,
другой недвижим, тарарам, тарарим.*

Конец

ДОПОЛНЕНИЯ





Альфред Дёблин

БЕРЛИН И ХУДОЖНИКИ

Ответ на анкету:

*Правда ли, что Берлин мешает и отвлекает
от художественного творчества?*

Я отвечаю на эти вопросы по отдельности. Во-первых: отвлекает ли город от художественного творчества? И затем: мешает ли художественному творчеству Берлин? Ответы касаются исключительно моей персоны. Во время войны я поневоле провел эксперимент: запертый на долгие, долгие месяцы в маленьком провинциальном городке¹ — большой деревне, идиллической до отвращения, я частенько ездил по делам служебного и личного характера в эльзасский Страсбург. Меня будто ударяло электрическим током, когда, выходя из вокзала, я видел городские дома, садился в трамвай, заглядывал в универсальный магазин. Поток гуляющих по Клеберплац² людей, сотни лиц, сотни дел, тумбы с афишами, чистильщики сапог, воззвания властей, линейки новых улиц, огромный почтамт — они были моей стихией. Все это было намного большим, чем одинокая фабричная труба в моей деревне или моя тамошняя отрада — сортировочная станция. Меня оставляют равнодушными зеленые луга любителей выбираться по выходным за город, так сказать на сентиментальное лоно природы, — я знаю природу, но она отлична от природы тех, кто отдыхает (с перерывом на обед) близ Эркнера³ или на Вольтерсдорфских шлюзах⁴, сидит на шатких, выкрашенных зеленым складных стульчиках и заканчивает свой отдых прогулками на катере. В городских универсальных магазинах ничто не раздражает меня так, как книжный отдел; обычно его располагают между ночными горшками и щипцами для завивки волос — чересчур неподъемный для меня цинизм торговцев. Это бесстыдство, но бесстыдство замечательное, я бы и сам поступил так же. В городе все обладает живительной, могучей, вдохновляющей силой. Только здесь я — человек⁵, только здесь мне и разрешается быть человеком. Я не придумываю: возбуждение улиц, магазинов, машин — вот пламя, которое непременно должно пульсировать во мне, когда я работаю, собственно говоря, практически всегда. Это бензин, питающий мой мотор.

Теперь о Берлине. Хаос городов. Скоро он превратится в Лондон, станет таким же интернациональным; поначалу — смешение народа, нынче смеше-

ние народов. Я ношусь здесь вот уже тридцать четыре года, мне все любопытно, наблюдаю за тем, как все здесь движется и стремительно развивается. Эти изменения затронули всех, оставаться в стороне было невозможно, нужно было принимать в них участие. Искусство, картины, скульптуры, книги, романы, театры, поэзия — все душещипательное, ласковое, драгоценное, расфуфыренный пестрый вздор для созерцания и услады — мне было неинтересно. Я против наслаждения. «Наслаждение развращает»⁶ — утверждение почти верное, но лучше сказать так: наслаждение придумано для дам и мямлей. Им же я подарю и «дух»; меня завораживают новые дома, фабричные ворота. Я совсем ничего не понимаю в математике и механизмах, но динамо-машина, гудящая в подвале, мимо которого я прохожу, способна хорошенько меня встряхнуть; и я иду одаренный, будто во сне, ее звук — призыв, я заново обретаю силы.

Берлин чудесен. Конки канули в небытие, над улицами протянули электрические провода: город оказался под вибрирующей, охваченной напряжением сетью. Затем вгрызлись в землю; у Шпиттельмаркта вырыли туннель; в районе Трептова прошли под Шпрее⁷, Александрплац изменилась, другой стала Виттенбергплац: город ширится, растет! Рядом с Лейпцигерплац волшебное здание универмага Вертхейма, лицо улицы, каким ничтожным в сравнении с ним кажется здание Верхней палаты прусского парламента — дом утонувших, давно похороненных господ. Здания АЕГ⁸ у Шифбауэрдамма, на Брунненштрассе, — одно наслаждение! А дальше за пределами города, в Тегеле — завод Борзига⁹, а в Обершённевейде снова АЕГ. Здесь все волнуется, плетутся заговоры, собираются левые, собираются правые, проводятся демонстрации, квартиранты, домовладельцы, евреи, антисемиты, люмпены, пролетарии, борцы с классовой несправедливостью, спекулянты, нищие интеллектуалы, невинные девушки, проститутки, школьные учителя, родительские советы, профсоюзы, пара сотен организаций, десять тысяч газет, двадцать тысяч доносов, пять истин. Всюду жизнь! Я бы покривил душой, не сказав о том, что мне частенько хочется сбежать из этого города — да только нет денег; но так же часто я бы возвращался обратно. Самсон, которому нужны его волосы¹⁰.



Альфред Дёблин

К ВОСТОКУ ОТ АЛЕКСАНДРПЛАЦ

Солнечное утро; я отправляюсь на прогулку по окрестностям Александрплац. Меня манит бурлящий людской поток; хоть раз я хочу обследовать периферию этого могучего организма. Широкие улицы, похожие на бульвары, ведут к площади, я подхожу к ней торопливым шагом со стороны Лихтенбергера. На Франкфуртераллее, посередине, — зеленые полосы газонов; улица стала выделяться. Вдоль улицы — магазины; витрины оформлены простовато, для бедных, много барахла. Из одного двора доносится песня, ищу откуда, захожу. Во дворе, по-театральному жестикулируя, поет смешной и жалкий молодой человек — что же он поет? Слава, слава тебе в победном венке¹. С начала до конца; я слышу эту песню впервые с 1918 года и не верю своим ушам. Люди подсмеиваются, некоторые смущены, молодой человек надрывается во всю глотку. Он не бьет на сентиментальность. Заканчивает, начинает извиняться, раскланивается, и в его поведении нет никакой фальши: «Только не осуждайте меня. Я всего лишь делаю свое дело — как любой другой. Рабочий мне ничего не подаст, у него ничего нет». Алые, цвета крови, плакаты на стенах домов; все одинаковые: «Ты! Ты борешься за правое дело?» Листок бумаги — на нем изображен спасательный круг, брошенный в море, — агитирует за какую-то рабочую партию. Листовки, расклеенные на стенах домов, — барометр политических настроений. Я заглядываю в пивные; в них пусто. Хозяин одной рассказывает мне о том, что я и без него знаю: высокие цены; одна пивоварня даже была вынуждена продать половину своих лошадей, перешла на выпуск продовольствия. Жалеть нечего: хлеб лучше пива. На Штраусбергерплац, перед газетным киоском, толпится народ: в центре — длинноволосый юноша невысокого роста в рубашке с шиллеровским воротником² спорит с рабочим — спокойным пожилым человеком. Пожилой говорит: «Вы защищаете евреев». Молодому, вспыльчивому, помогает товарищ: «Мы отнюдь не защищаем евреев. Но мы знаем, что капитализм коренится в классе, а не в национальности». Это первые услышанные мной уличные споры рабочих по вопросу антисемитизма. Но антисемитизм никому не интересен; вокруг — люди опытные.

Смешной торговец газетами; прибил к киоску табличку: «Просмотр газеты — пятьдесят процентов от цены». У садовой ограды толкается народ, я думаю: несчастный случай или политическая агитация (разницы, впрочем, никакой)? А всего-то иллюстрированная криминальная газета: глазают на статьи про «медведя, задровавшего многодетную мать», и «любовную трагедию в Италии».

Я сворачиваю на Веберштрассе, тесная улица. Низенькие дома, всё в запустении; с фасадов отваливается штукатурка. Левая сторона тротуара заставлена тележками мелких торговцев; по тротуару идут бедно одетые женщины — на руках маленькие дети, покупки; на тележках — цветная капуста, жирные селедки, сыр в ящиках, свежая рыба на льду, отменный лук. За тележками — оптовый склад; продавцам — скидки, покупают и продают штгемпельную бумагу. Многочисленные продуктовые погреба, цены указаны на табличках, прибитых к дверям, нацарапаны мелом. «Бюро скупки драгоценных металлов» (какая гордость!). В одной из витрин сидит портной, шьет: «Срочный пошив и ремонт одежды». Все продается и покупается и снова продается; повсюду спрашивают мешки, веревку. У одного из комиссионных магазинов на витрине: пивная кружка, телефонные трубки, отрезанные от аппаратов, мольберт, набор для курения, армейские сапоги. Библиотека — целая витрина с пестрой макулатурой: «Магазинные воришки»³, «Разврат в большом городе»⁴, серия «Зверобой»⁵, «Винога, последний из могикан»⁶. Под картинками на обложках — подписи: «Гром и молния, вождь умер», «Ты получил сполна, предатель». Книжный магазин для рабочих; на вывеске изображена рука, лежащая на раскрытой книге, на книге нарисован серп и молот; под ними: «Чтобы больше производить — нужно больше знать».

Я пересекаю Ландсбергерштрассе. На углу, рядом с сапожником, сидит миловидная девушка, в чулках, без ботинок, с серьезным лицом; сапожник орудует ножом, подрезает каблуки ее ботинок, стучит по ним обувным молотком. Гольцновштрассе. Мрачная улица, вся раздолбанная, еще хуже чем Веберштрассе. Пролетарии и люмпены. Снова склады, «сортировочные пункты». На кафе зазывная вывеска: «Сюда переехало Ванзее!»⁷ Плакат кричит: «Вы владеете сокровищами, о которых даже не догадываетесь!» — магазинчик почтовых марок. Сокровища — старые письма, валяются на полу. Ужасно грязные, фантастически дряхлые дома. Несмотря на это, брадобрей в одном из невероятно убогих домов обещает: «Превосходное, чистое обслуживание! Без очереди». Седобородые, жалкие старики в рваных кафтанах проходят мимо. Продуктовые магазины на первых этажах. У мебельных магазинов, у магазинов поношенной одежды стоят хозяева и посматривают на прохожих.

На Бюловплац — помпезный театр «Фольксбюне»;⁸ он окружен складами железного лома, рельсов. Оживленное транспортное движение; толпятся люди. Все для случайных покупок, суконные лавки, часовые мастерские, обувь. Налево — Гренадиерштрассе. Здесь, кажется, вечное столпотворение. Тротуар заполнен людьми; они заходят во дворы старых домов, выходят из

них. Это самый восточный квартал, здесь преобладает гортанный идиш. Немногочисленные лавки пестрят еврейскими названиями; мне на глаза попадают имена: Шайя, Ушер, Шанаин. В витринах — афиши еврейского театра: «Слепой еврейчик. Пьеса в пяти актах Йозефа Латейнера»⁹. Еврейские мясные лавки, еврейские мастерские, еврейские книжные магазины. Все здесь в беспорядочном движении, еврейство наблюдает за тобой из окон, кричит, собирается вместе, сплетничает в темных подъездах. На углу улицы толпа окружила вполне себе берлинского зазывалу, весельчака: белая мышь бежит по его шляпе, он показывает фокусы с фальшивыми миллионными банкнотами, чтобы продать мыло: «Чистая вода — лучшее доказательство, господа хорошие!»

Я пробираюсь, протискиваюсь сквозь толпу к Мюнцштрассе. Прохожу мимо кинотеатров, где целыми днями показывают фильмы в сопровождении ярмарочного органа, звук которого разносится по улице; можно посмотреть «Силача Марко»¹⁰, «Судьбу достойной женщины»¹¹. Поток людей, поток машин; Александрплац рядом. Среди бедно одетых женщин, выискивающих кого-то среди спешащей толпы, медленно прохаживаются люди, по всей видимости, знакомые друг с другом, они здороваются, расходятся по разным сторонам улицы, у них в руках дорожные сумки. Фланеры. Много молодых бездельников в шикарных кепках. Вот казарма, охраняемая шупо, бесконечно тянется здание универмага Тица; угол универмага выглядит как кукольный дом. Потом — открытое пространство, зеленые газоны, Александрплац, походная кухня Армии Спасения, окруженная зеваками, бедняки и старики стоят в очереди, суровое красное здание полицейпрезидиума.



Альфред Дёблин

[БЕРЛИН]

Невозможно говорить о Берлине в той же манере, с той же интонацией, с какой, к примеру, рассказывают о Париже, допустим, вот так: «Рекламные огни бьют в глаза, без умолку трещат мегафоны, кучи товаров навалены в витринах, которые раньше оформлялись скромно и со вкусом. Огромные автобусы (а в автобусах туристы со всех континентов) пронесаются по причудливым улицам, блистающим фальшивой интернациональной роскошью, а между тем на городских окраинах...» Или так — каким Париж изобразил Бальзак: «Все дымится, кружится, сверкает, все шумит, пылает, исчезает, гаснет, вспыхивает вновь, искрится, мерцает, исчезает»¹. Берлин — прозаичный, неяркий, но очень конкретный город. Большие автобусы с туристами отходят от Зоологического сада, Потсдамерплац или Унтер-ден-Линден, но будьте уверены — водитель и гид проведут экскурсию не по настоящему Берлину, а по городу-миражу из литературных фантазий. Я прекрасно знаю: это будет не та экскурсия, какая должна бы быть, — поездка по Парижу, не по Берлину. Автобус провезет экскурсантов по Тиргартену, им покажут Триумфальную колонну, затем — огромную Зигесалее, потом — Бранденбургские ворота, Унтер-ден-Линден, дворцы, арсенал, музеи...² Что там еще?... Обратите внимание на ратушу, на здание городского совета, после этого автобус проедет через Потсдамерплац к набережной Лютцовуфер, а затем к Гедехтнискирхе³, и дальше — к Сансу-си⁴; вот — магазин, вот — еще один. Приезжий посмотрит на все это, и, коли он человек разборчивый, лицо его скривится в недовольной гримасе: подобное — причем намного лучше — есть и в Париже, и в Лондоне. В Берлине приезжий обнаружит великое множество увеселительных заведений, но если он человек бывалый, то в них ему придется лишь зевать от скуки, в них он, быть может, даже взгрустнет по родному дому. В конце концов приезжий поймет: в этом городе не происходит ничего особенного. Про себя он отметит: он оказался не там, куда воображал попасть, Берлин — огромный, скучный, беспокойный город. Бесцветный город. Кажется, будто какие-то одержимые манией созидания чудаки, прогуливаясь здесь, понастроили — совершенно

невпопад — различных зданий: один поставил замок, другой — музей, третий — Сансуси; этими чудаками, говорят, были короли. Нынче их добро стоит без пользы, это — ненужные подарки, которые они сделали городу, местные жители не знают, как к ним подступиться, обходят их стороной, занимаются своими повседневными делами — как и жители других городов. Приезжий, а вместе с ним и недалекий берлинец могут посетовать: даже строился Берлин бессистемно.

*

Это, конечно, так. Берлин состоит из двух частей: во-первых, из того, что досталось ему в наследство от умерших, и, во-вторых, из того, что строят сегодняшние люди.

Первая составляющая этого города доступна любому — достаточно лишь объехать с экскурсией местные церкви, кое-что из нарядов и недвижимости, доставшихся в наследство от покойников, вполне можно сфотографировать. А вот большую часть другого Берлина сфотографировать не получится, не стоит фотографировать. Иными словами: Берлин, по сути в общем-то, невидим. Удивительная вещь: ведь с Франкфуртом-на-Майне или же с Мюнхеном все обстоит совсем иначе, верно? Может, вообще все современные города должны стать незримыми — и пускай будут видны лишь наряды, доставшиеся в наследство от покойников? Вот бы штука была! Случись такое — это был бы отличный символ нынешней духовной жизни. Ведь не иначе обстоит дело с нашими представлениями и мыслями: они, по большей части, принадлежат прошлому и позапрошлому, сегодня бесконечно медленно просачивается в наши мысли. Так же медленно застраиваются города, возможно, лет через 50—100 можно будет увидеть Берлин, разумеется, сегодняшний.

*

Я должен рассказать о практически невидимом нынешнем городе Берлине, который расположен в провинции Бранденбург, на 52°31' северной широты и 13°25' восточной долготы, на высоте 36 метров над уровнем моря и окружен областями Тельтов, Цаух-Бельциг, Беесков-Шторков с юга, Остхавельланд с запада, Нидербарним с востока и севера. Рельсы, проложенные во всех направлениях, ведут из города и в город, в ведении рейхсбандирекции⁵ находятся 20 вокзалов для поездов дальнего следования, 121 вокзал пригородного сообщения, 27 станций окружной железной дороги, 14 — городской железной дороги, 7 сортировочных станций, 7 депо.

На работу, за покупками, на отдых горожане отправляются на подземке, на трамваях, на автобусах. В 1925 году поездами дальнего следования, отходящими от берлинских вокзалов, воспользовалось почти 13 миллионов человек.

Еще в 1871 году в столице проживало лишь 900 000 человек. 20 лет понадобилось для того, чтобы количество жителей увеличилось до 2 миллионов. За последние 30 лет эта цифра удвоилась.

Кто-то скажет: ага, раз дело обстоит так, значит, город таки можно фотографировать. Ведь 2 миллиона жителей уж точно не поместятся в старых домах, они-то наверняка построили что-нибудь для себя. Верно, построили; сейчас я скажу и о том, где они живут, и о том, где они работают. Они живут в многоподъездных домах — эти дома называют «съемными казармами»; работают берлинцы на фабриках, в бюро, в магазинах. Тому, кто захочет узнать, как выглядит этот новый город, нужно пройтись лишь по одной улице, где бы она ни находилась — на восточной ли, северной или южной окраине, достаточно запечатлеть на пленке лишь одну улицу: Берлин — удобный для фотографа город, 95 процентов улиц выглядят одинаково. Один дом не отличить от другого, бытовые постройки тянутся вдоль бесконечных улиц, потом — безликий многоподъездный дом, рядом — другой, такой же безликий. И все же у целого есть лицо!

Если посмотреть на пчелиный улей, можно увидеть: соты состоят из шестигранных ячеек, при этом каждая ячейка существует не по отдельности: ее расположение и форма постигаются только тогда, когда понятно устройство всего большого улья: каждая ячейка связана с потребностями и духом всего пчелиного племени. В правомерности такого сравнения можно засомневаться, проходя бесконечными берлинскими улицами, минуя пустые фасады домов. Но нужно помнить — это дома живых людей (постройки, поставленные мертвецами, имеют весьма характерный вид, они, так сказать, красивы и называются «достопримечательностями»). Поезжайте на окраинный юг Берлина или на запад, хоть раз окунитесь поздним вечером в это каменное море, с открытым сердцем взгляните в потрясающий лик этого города. Вы поймете — перед вами современный город, прекрасный город, здесь живут люди сегодняшнего дня. Улицы плохо освещены, трамвай мчит тебя с остановки на остановку, ты уже в Берлине, но не можешь ничего различить, только новые улицы, широкие улицы. И еще переулки, потому что там — яркий свет, должно быть, кинотеатр, внезапный световой вихрь, но — слишком незначительный в этой темноте; на вокзалах неприметные, торопящиеся по своим делам люди, и снова трамваи, многоподъездные дома, заводские трубы, мосты. Во всем этом проявляется монотонность воистину гигантского существа. Малое — иное: смышленное, симпатичное, вертлявое, грациозное.

В Берлине взору открывается огромное мощное целое. Никто не скажет чего-нибудь толкового лишь о какой-то одной части Берлина; нельзя указать лишь на одну-единственную постройку (потому что в Берлине таких построек сто тысяч). Только целое имеет лицо и смысл — лицо и смысл исполинского, целесообразного, современного города, репродуктивного массового поселения людей.

*

На юге города, в Брице, в новых жилых кварталах — и в других, похожих друг на друга окраинных районах, наглядное выражение находит простая и грандиозная идея сосуществования огромных людских масс: собственными глазами видишь мощь единообразия — оно отчетливо выказывает себя. В старом городе массы были стеснены, подавлены, в известной мере разнородны, они не осознавали себя. Здесь же — покой, чувство собственного достоинства. Впрочем, и тут каждый живет сам по себе — лишь громадные постройки, знающие больше, чем люди, говорят о том, что происходит. Жизнь здесь дисциплинирует, как ежедневная беззвучная молитва.

Фабрики расположены на окраинах города, на юге, на севере, на востоке, в Тегеле, в Обершённенвейде, они вторгаются в город. В этом городе, на этой земле властвует лишь одна-единственная сила — колоссальное воление к труду, каждый, кто попадает в его атмосферу, — а он вполне может быть и выходцем из беззаботной Вены, — будет мгновенно поглощен напором, настойчивостью, серьезностью, пуританской суровостью этого воления. Здесь не пользуются популярностью увеселительные заведения, даже несмотря на то, что берлинец — существо, созданное для удовольствий, и поныне обладает опаснейшим остроумием. Но его чувство юмора иного свойства, не то, на которое все еще рассчитывают нынешние куплетисты и авторы шванков — их юмор предназначен для людей вчерашнего и позавчерашнего дня — для типичного представителя уже исчезнувшей мелкой буржуазии. Новые берлинские типы острее, злее, они выросли в индустриальном мире, в фабричных стенах, вокруг них веют ветра политики и классовый борьбы.

Весь день рабочий люд проводит на больших и маленьких фабриках, кто-то, правда, полеживает на улице или стоит в очереди на бирже труда. Магазины заполнили все большие улицы города: они есть в каждом квартале — маленькие, средние, огромные; самые крупные магазины Берлина — универмаги Вертгейма и Тица.

В Берлине приблизительно 300 000 различных предприятий, на которых работает больше полутора миллионов человек, из них 600 000 — женщины. К числу самых развитых индустрий города относится электротехническая промышленность, в ней занято 200 000 человек. Столько же — в текстильной промышленности.

О жителях мегаполиса, об их телесном здоровье, заботятся 30 000 человек, более 3000 из них — врачи.

Получить картину социальной дифференциации в Берлине можно, если учесть, что 70% мальчиков посещают народные школы, остальные учатся в высшей и средней школе. У девочек социальное разделение выражено еще более отчетливо: 80% учатся в муниципальных образовательных заведениях.

Я должен был бы переписать — страницу за страницей — городской статистический ежегодник — только так возможно очертить подлинный образ этого растущего, невидимого Берлина; потом прибавить сведения обо всех рожденных и умерших, обо всех основанных в городе учреждениях, о ликвидациих предприятий, о банкротствах, рассказать о страховых кассах, о бирже труда, о спасательных станциях и отделениях скорой помощи, о сумасшедших домах, о больницах, приютах, о центрах для юношества и молодежи, об интернатах, о детских садах. А напоследок добавить еще кое-что: указать на особое устройство города, на его своеобразную организацию. Каждый квартал выделяется чем-то особенным: южная Фридрихштрассе — это район кинотеатров, неподалеку отсюда — Кохштрассе и Циммерштрассе — газетный квартал, далее — quartier latin* с многочисленными больницами и медицинскими институтами, он расположился к северу от вокзала Фридриха — с начала Луизенштрассе и до Инвалиденштрассе; в районе Гедехтнискирхе и Тауэтцинштрассе находится квартал увеселительных заведений и дорогих магазинов, и, наконец, — подозрительный, криминальный район между Мюншштрассе и Розенталерплац.

Ну вот, дорогой приезжий, пора выходить из экскурсионного автобуса; засунь руки в карманы, посмотри на дома вокруг; и вправду: смотреть-то не на что! Но замри на мгновение, прислушайся, оглядись, сделай глубокий вздох, повернись; здесь что-то происходит, это современный, совсем юный город с большим будущим! Неожиданно ты проникнешься монотонностью этих домов: ты поймешь характерные черты берлинцев — их жизнелюбие и храбрость, узнаешь, какими разными могут быть эти берлинцы; посмотри: здесь они живут, здесь работают и строят, здесь, вот на этой песчаной земле, возлежит, здесь покоится гигантское массовое существо Берлин.

* латинский квартал (*фр.*).



Альфред Дёблин

МОЯ КНИГА
«БЕРЛИН АЛЕКСАНДРПЛАЦ»

Журнал «Дер Лезециркель» пригласил меня рассказать на одном из своих вечеров о том, как я писал эпическое сочинение «Берлин Александрплац», опубликованное в 1929 году, и о его стиле, а также высказать мнение по поводу прозвучавших в прессе критических замечаний в адрес этой книги. Я принял приглашение и с удовольствием пойдю навстречу пожеланию редакции, попросившей предварить доклад парой слов.

Можно было бы долго рассказывать, как и почему я пришел к материалу и основному мотиву этой книги. Здесь же я хочу сказать вот о чем: работая врачом, я нередко сталкивался с преступниками. Долгие годы я имел возможность наблюдать за ними. Среди них встречалось немало интересных персонажей, достойных того, чтобы поведать о них миру. И поскольку таких персонажей на моем пути было много, у меня сложилась собственная картина общества: получалось, что нет никаких четких границ между преступниками и не преступниками во всех слоях общества, или, лучше сказать, в тех слоях общества, за которыми я наблюдал, повсюду окопались преступники. Одно это открывало совершенно особенную перспективу.

Теперь о другом. Я знаю восточную часть Берлина десятки лет, потому что здесь я родился, здесь ходил в школу, потом открыл практику. Если раньше превозносил фантазию, притом фантазию по возможности безграничную, то в последние десять лет мой взгляд, точнее, мое внимание сосредоточилось на том, что меня окружает, на ландшафте, в котором я обитаю, сконцентрировалось на востоке Берлина. Здесь я разглядел любопытную, обладающую несомненной подлинностью и еще не описанную породу людей. Я имел возможность наблюдать эту породу в разное время, в самых разных обстоятельствах, причем наблюдать единственно верным способом, то есть с ней со-существовая, с ней со-трудничая, ей со-страдавая. Я видел этих людей в мирной жизни, в войну я наблюдал за ними, когда мне представлялась такая возможность, приезжая сюда в увольнительные; потом я снова оказался среди них во

время спартаковского восстания 1919 года¹, в годы инфляции и после. Какими я увидел этих людей — показывает книга.

Далее я коснусь философии или, скорее, метафизики. Каждое мое большое произведение покоится на духовном основании. Эпическое произведение — это принявшее художественную форму продолжение, конкретизация и испытание определенной идеологической позиции, обретенной благодаря предварительной духовной работе. Поэтому, когда произведение закончено, эта позиция, как правило, преодолевается, она поколеблена. Все начинается с уверенности и кончается новым вопросом. Позиция, ставшая главной, основной в книге «Александрплац» и изложенная в более ранней натурфилософской работе «Я над природой» звучит так: наш мир — мир двух божеств. Это одновременно мир Созидания и мир Распада. В потоке времени между ними идет борьба, мы являемся ее участниками. Соединим теперь эту мысль с разговором о преступности, с которого мы начали. Я сказал, что общество подтачивается преступностью. Что это значит? Есть порядок и есть разложение. Но порядка, то есть только формы и бытия, не существует без стремления к разложению, без фактического разрушения. И вот в книге «Берлин Александрплац» Франц Биберкопф выходит из тюрьмы. Он, что называется, добр от природы и к тому же, раз обжегшись, дует и на воду. И вот, поглядите, он идет в мир, он хочет быть порядочным, хочет честно и послушно исполнять законы этого мира, как он себе его представляет, — и... И у него ничего не выходит! Не выходит. Удар за ударом обрушиваются на него и приканчивают; я мог бы также сказать, приканчивают эту идеологическую позицию.

По поводу стиля книги и критических выпадов — лишь пара замечаний. Постоянно, а особенно теперь, после публикации английского и американского перевода, мне указывают на Джойса². Но когда я работал над первой четвертью книги, Джойса я не знал. Потом его произведение, о чем я не раз говорил и писал, действительно привело меня в восторг, стало попутным ветром для моего корабля. Одно и то же время способно породить сходные, даже одинаковые явления в разных местах и независимо друг от друга. Остальное понять нетрудно. Некоторые критики превозносили мою книгу до небес, другие хвалили не всё, лишь половину, другую половину ругали, кто-то разнес ее в пух и прах. Все они правы. Остальное — при выступлении.



Вальтер Бенъямин

КРИЗИС РОМАНА

К РОМАНУ ДЁБЛИНА «БЕРЛИН АЛЕКСАНДРПЛАЦ»

В эпике бытие — это море. Нет ничего более эпического, чем море. Разумеется, к морю можно относиться по-разному. Можно, например, лежать на пляже, вслушиваться в шум прибоя и собирать раковины, выносимые на берег набегающими волнами. Так поступает эпический автор. А можно отправиться по морю в плавание. С различными целями или без цели. Можно отправиться в морское плавание и кружить там, где не видно земли, где лишь небо и море. Так поступает романист. Он и в самом деле одинок, нем. Эпический человек только отдыхает. Эпос — это отдохновение народа после трудового дня; народ внимает, грезит, собирается в единый круг. Романист отгораживается от народа, от всего того, чем народ живет. Родильная палата, где роман появляется на свет, — это индивид в своем одиночестве, он не может больше выговориться о своих важнейших желаниях и устремлениях, не может ни спросить, ни дать совета. Писать роман — значит, изображая человеческое бытие, доводить до крайности неизмеримое. Тот, кто вспомнит о творениях Гомера или Данте, почувствует отличие романа от эпоса. Материал эпики — передающееся из уст в уста — обладает иными качествами, нежели составляющие романа. Тот факт, что роман не происходит из устного творчества и не примыкает к нему, отличает его от прочих прозаических форм — сказки, легенды, половицы, шванка. Но в первую очередь это отделяет его от рассказывания, представляющего собой суть эпики в чистом виде.

Разумеется, ничто не содействует опаснейшему онемению внутреннего человека, ничто не уничтожает дух повествования так основательно, как наглое вторжение романов во все области нашей жизни. Поэтому-то и раздаётся голос прирожденного рассказчика, возражающий романисту: «Не буду говорить и о том, что считаю освобождение эпического произведения от связи с книгой полезным делом, полезным прежде всего с точки зрения языка. Книга — смерть для настоящего языка. Эпик, который только пишет, живет в отрыве от присущих языку важнейших формообразующих сил». Флобер бы такого не сказал. Это тезис Дёблина. Он представил свой обстоятельный от-

чет об этом в первом ежегоднике секции литературы Прусской академии искусств, и его «Построение эпического произведения»¹ — это мастерская и точная статья о кризисе романа, сопряженном с реституцией эпического, происходящей во всех жанрах вплоть до драмы. Тому, кто внимательно вдумается в доклад Дёблина, нет нужды задерживаться дальше на внешних приметах этого кризиса, сопряженного с подъемом и усилением радикально-эпического. Штормовой прилив биографических и исторических романов совсем не удивляет Дёблина. Дёблин-теоретик, весьма далекий от того, чтобы примириться с этим кризисом, обгоняет его и берет на себя его работу. Последняя книга Дёблина показывает, что теория и практика идут у него рука об руку.

Как нельзя более наглядно эта позиция Дёблина проявляется в сравнении с той, столь же независимой, столь же смело проводимой на практике, столь же четкой, но все же во всем противоположной позицией, которую занял Андре Жид в своем недавнем «Дневнике фальшивомонетчиков»². В противостоянии двух критических умов наиболее отчетливо проявляется нынешнее состояние эпики. В автобиографическом комментарии к своему последнему роману Жид развивает учение о «roman pur»*. Он идет на все мыслимые ухищрения для того, чтобы устранить простое, прямолинейное, последовательное рассказывание (первостепенное достоинство эпики) ради совершенно романских (в данном случае это значит еще и романтических) приемов. Мнение персонажей относительно того, что происходит, мнение автора об этих персонажах, о своей писательской технике — все это само по себе должно стать неотъемлемой частью его текста. Одним словом, этот «roman pur» есть нечто исключительно внутреннее, не знающее ничего внешнего, и в этом смысле он представляет собой полную противоположность чисто эпической манере, то есть повествованию. Идеал романа по Жиду — и он представляет собой резкую противоположность идеалу Дёблина — это роман исключительно о пишущем и о письме. Жид, возможно, последний, кто придерживается флюберовских позиций насчет романа. И неудивительно, что доклад Дёблина содержит самое острое возражение на это: «Вы схватитесь за голову, услышав, как я предлагаю авторам, работающим над эпическими произведениями, решительно прибегать к лирике, к драматургическим средствам и даже к саморerefлексии. Но я на этом настаиваю».

С каким бесстрашием он это продельвает, показывает беспомощность некоторых читателей перед его новой книгой. В самом деле: мало кто так рассказывал, такие высокие волны событий и рефлексии по их поводу редко подвергали сомнению читательский уют, никогда раньше читатель так не промокал до мозга костей под брызгами разговорной речи. Но не стоит, размышляя об этом произведении, оперировать терминами искусствоведения,

* «чистом романе» (*фр.*).

рассуждать о «dialogue intérieur»* или сослаться на Джойса³. Речь на самом деле идет о чем-то совершенно другом. Стилистический принцип этой книги — монтаж. Мелкобуржуазное чтение, скандальные истории, несчастные случаи, сенсации 1928 года, народные песни, объявления сыпятся в текст, как снег на голову. Монтаж взрывает «роман», подрывает его композицию и стиль и открывает новые, чрезвычайно эпические возможности. Прежде всего формального толка. Далеко не все может быть материалом монтажа. Настоящий монтаж основывается на документе. Дадаизм⁴ в своей фанатичной борьбе против произведения искусства с помощью монтажа привлек на свою сторону повседневную жизнь. Именно дадаизм, поначалу, может, и неуверенно, провозгласил единовластие аутентичности. В своих лучших произведениях кинематограф намеревался приучить нас к монтажу. А тут монтаж впервые пригодился эпике. Строки из Библии, статистические данные, тексты шлягеров — это то, с помощью чего Дёблин придает авторитет эпическому событию. Они соответствуют формульным стихам старого эпоса.

Этот монтаж такой плотный, что автору почти негде взять слово. Он оставляет себе только зачины книг романа, звучащие наподобие моригатов; в остальном же он не спешит высказаться. (Но свое слово он произнесет.) Удивительно, как долго он будет следовать за своими героями, прежде чем рискнет призвать их к ответу. Не спеша, как и положено эпическому автору, приближается он к вещам. Все, что происходит, в том числе и самое неожиданное, кажется тщательно подготовленным. На это, впрочем, автора вдохновляет сам дух берлинской речи. Неспешно ее течение. Берлинец говорит как знаток, с любовью к тому, как он говорит. Он наслаждается процессом говорения. Он ругается, шутит, грозитя так же, как и завтракает — не торопясь. Берлинские стекольщики по-театральному подчеркивают свой диалект. У Дёблина эта особенность берлинской речи понята в ее эпической глубине; суденышко жизни Франца Биберкопфа тяжело нагружено, ему никак нельзя наскочить на мель. Эта книга — монумент всему берлинскому, ибо рассказчик относится к родному городу не как писатель-«почвенник», не агитирует за него. Он говорит изнутри родного города. Берлин — это его мегафон. Берлинский диалект — одна из тех сил, что оборачиваются против замкнутости старого романа. Эта книга не замкнута. В ней есть своя мораль, которая даже имеет отношение к берлинцам. («Абрагам Тонелли» Тика⁵ уже однажды развязывал берлинский рот, но еще никто не решался его лечить.)

Стоит проследить за исцелением Франца Биберкопфа. Что же с ним произошло? — Но прежде о том, почему в названии сначала стоит «Берлин Александрплац» и только потом уже «История о Франце Биберкопфе»? Что значит Александрплац для Берлина? Это место, где вот уже два года происхо-

* «внутреннем диалоге» (*фр.*).

дят самые значительные изменения, непрерывно работают экскаваторы и копёры, земля под ногами дрожит от их работы, от колонн автобусов и подземки; глубже всего внутренности большого города проглядываются на задворках Георгиенкирхплац, но лучше, чем где бы то ни было — в нетронутых лабиринтах около Марсилиусштрассе (где в многоподъездный дом впахнули сотрудников отдела полиции по работе с иностранцами), в районе Кайзерштрассе (где проститутки вечерами занимаются своим древнейшим делом) — здесь сохранился городской пейзаж девяностых годов девятнадцатого столетия. Ни одного промышленного предприятия; лишь торговля; мелкая буржуазия. Отсюда и отрицательные социальные элементы: воры и мошенники, число которых пополняется безработными. Один из них — Биберкопф. Он вышел из тюрьмы Тегель безработным, какое-то время побыл порядочным, торговал на улице, опустился и стал членом банды Пумса. Тысячу метров, не более, охватывает радиус подобного существования. Александрплац управляется бытием Биберкопфа. Жестокий правитель, если угодно. Наделенный неограниченной властью. Читатель забывает обо всем, что находится рядом с площадью и вне ее, он сам начинает жить в этом пространстве, и ведь как мало было ему известно об Александрплац! Все там, конечно, иначе, не так, как представлял себе читатель, вынимающий роман Дёблина из дорогого книжного шкафа. Это произведение совсем не похоже на «социальный роман». Никто из героев романа не ночует в приюте для бездомных. У каждого есть своя комната. Жилья-то никто из героев и не ищет. Кажется, даже чёрта рядом с Александрплац никто не боится. Но и этим людям плохо. Они страдают в своих комнатах. Как это так? Как же так получилось?

На то есть две причины. Большая и малая. Большая: беда — совсем не такова, какой ее представляют себе наивные люди. Она — ничто по сравнению с тем, чего нужно бояться. Не только люди — сами нужда с бедой должны по одежке протягивать ножки, они нынче с трудом пробивают себе путь в этой жизни. Их агенты — любовь и алкоголь — нередко пыгаются отбиться от рук. И нет ничего скверного в том, что беда с нуждой должны с этим смириться. В этой книге беда поворачивается к людям своей привлекательной стороной. Она делит с ними трапезу, разговор от этого не прерывается, за одним столом им весьма удобно — образумишься и вкушай дальше. Это правда, о которой новейший натурализм задних лестниц не желает ничего знать. Чтобы эта правда вновь зазвучала, должен был появиться большой рассказчик. О Ленине говорили, что лишь одно он ненавидел фанатичнее, чем беду: быть с бедой в сговоре. Потому что быть заодно с бедой — это ведь и в самом деле нечто буржуазное; халтура не только по мелочам, но и с точки зрения истины. В этом смысле история Дёблина — буржуазна, и к тому же ограничена, как по своей тенденции и намерению, так и по происхождению. Все, что может здесь пленить, — так это появляющееся вновь великое волшебство Чарльза Диккенса, у которого буржуа и преступник замечательно находят общий язык, потому

что их интересы (разумеется, противоположные) лежат в одной плоскости. Мир воров гомогенен миру буржуа; путь Франца Биберкопфа — от сутенера до мелкого буржуа — описывает лишь героическую метаморфозу буржуазного сознания.

Роман — так кто-нибудь ответил бы на теорию «*roman pur*» — подобен морю. Он — чистая соль. Так в чем же соль этой книги? С эпической солью дело обстоит так же, как и с химическим веществом: она делает вещи, с которыми соединяется, долговечней. Долговечность — иного толка, нежели у произведений других жанров — это критерий эпического произведения. Долговечность не имеет ничего общего со временем, но она сохраняется в читателе. Настоящий читатель читает эпическое произведение, чтобы запомнить его, сохранить в себе. В этой книге читателю определенно запомнятся две вещи: история с рукой и случившееся с Мици. Как же так произошло, что Франца Биберкопфа бросили под колеса автомобиля, как же он потерял руку? Почему у него увели подругу, зачем сгубили ее? Ответ на эти вопросы находится уже на второй странице книги: «Ибо он требовал от жизни большего, чем хлеб с маслом». В данном случае, не только сытной еды, денег или женщин, а чего-то намного хуже. То, чего желала его ненасытная харя, вещь гораздо более аморфная. Голод по судьбе извел его, вот что. Этот человек каждый раз заново должен рисовать — *al fresco* — чёрта; и совершенно неудивительно, что тот каждый раз снова и снова приходит к нему, хочет его заполнить. То, как утоляется голод по судьбе — на всю жизнь и человек начинает довольствоваться бутербродом, то, как мошенник превращается в мудреца, — вот неторопливый сюжет этого романа. К концу Франц Биберкопф освобождается от гнета судьбы, становится, как говорят берлинцы, «*helle*» — «толковым», «с головой». Дёблин демонстрирует обретение Францем зрелости с помощью незабываемого искусного приема. Так же как евреи во время бармицвы открывают ребенку его второе имя, хранившееся до того момента в тайне, так и Дёблин дает Биберкопфу второе имя. Отныне он зовется Франц-Карл. Причем с этим Францем-Карлом, работающим ночным сторожем на фабрике, случается нечто совершенно необычайное. И хотя Дёблин зорко следит за своими персонажами, мы не можем поручиться, что здесь кое-что не ускользнуло от его внимания. На этом месте Франц Биберкопф вдруг перестает быть примером и живьем переносится прямо в пантеон романских героев. На этих небесах, в сторожке, с неудавшейся жизнью его будут примирять надежда и воспоминания. Но мы не сможем проследить за его жизнью в сторожке. Существует закон романной формы: как только герой сумел помочь себе, нам его бытие больше не поможет. И если эта истина — великолепно и безжалостно — проявилась во флюберовском «Воспитании чувств», то история Франца Биберкопфа — это «воспитание чувств» мошенника. Крайняя, головокружительная, последняя и передовая ступень старого буржуазного романа воспитания.



Альфред Дёблин

[КРИЗИС РОМАНА?]

На вопрос, который мне недавно задали: не пребывает ли жанр романа в кризисе, я хочу ответить следующим образом.

Кризис возникает там, где есть неуверенность. Кто уверен в себе, отрицает наличие кризиса и продолжает делать то, что ему по душе. Тот, кто идет на ощупь, кто еще не созрел, у кого мало таланта, тому кризис видится везде, где на его пути возникают трудности. Всегда есть слабаки, которые объявляют себя первопроходцами; они охотно поднимают крик о насущных нуждах эпохи и даже не замечают, что всего лишь кудахчут, как куры, которым некуда откладывать яйца.

В любую эпоху существует множество течений, за настоящее цепко держится прошлое, свои сигналы посылает будущее; это — если рассматривать все в общем и целом — объективные факты. Повсюду в настоящем обнаруживает себя уже давно отжившее, но оно исподволь продолжает свою неспешную черную работу; а что-то уже навсегда мертво и осталось бесплодным; тогда начинает шевелиться новое. В жанре романа работает немало авторов приличного и среднего уровня, овладевших ремеслом написания старого романа и с помощью своих навыков выдающих на горá романы психологические, исторические, на злобу дня и т. п. Эти романы хорошо и легко читаются, люди в них нуждаются, они идут нарасхват. Здесь ни о каком кризисе не может быть и речи. Подобные книги существовали всегда, они будут всегда, они должны быть. Эти книги, собственно, и заслужили свое название — роман; подобных книг, самых разных, очень много: от произведений об индейцах в ярких обложках, до таких, о каких я даже и говорить не буду.

Еще есть несколько авторов, по-особому утонченных; у каждого из них своя «специализация»: один, к примеру, по-особенному чувствует природу или замечательно пишет о технике, другой мастер рассуждает на социальные темы, о душе человеческой. Эти писатели жадно копят жизненный опыт и внешние впечатления и затем привносят их в роман. У такого романа будет иное лицо,

нежели у романа, написанного на потребу публики. Но все же это старый роман. Эти господа отстают в развитии. Им есть что сказать, но вода, так сказать, льется из старого шланга. Конечно, они начинают жаловаться: старый шланг уже продырявился, но что поделать? Ситуация такая же, как в одной стране, которая считается республикой; республиканцы хотели бы видеть у власти республиканцев, но повсюду только монархисты. Вот здесь-то и намечается нечто вроде кризиса. Большинство этих господ, разумеется, ничего не замечают, а свое копошение в песочнице они величают новым романом.

Роман же вообще ни на что не годен, он как старая мебель. Ни рыба ни мясо. Этот факт признало уже немало людей. Если быть точнее, то так считает один молодой автор, который не без оснований находит всю прежнюю романную писанину нелепой и несостоятельной. Этот господин и в самом деле обнаружил кризис романа. И он отвернулся от старого романа и написал серию эссе в свободной форме¹. Там, правда, тоже — в известной мере — имеются и сюжет, и действие. Все целиком вышло у него вполне приличным, серьезным; это был решительный шаг. Другой, немолодой, автор пошел по его стопам: написал и издал тысячестраничный роман, в котором сюжета и действия еще больше², они, правда, оттеснены на задний план. Оба автора задались целью выстроить, обозначить «особое мировоззрение»; вещь чисто умозрительную; получился очаровательный, интересный жанр — среднее между философией и романскими потугами. Роман возникает здесь отчасти в виде непринужденной болтовни, отчасти как фельетонистика, эссеистика. В целом — незамысловатая писанина, которая показывает, что эти господа впустую растрачивают свое время; там можно найти пару приятных мыслей, но эта писанина имеет такую же художественную ценность, как и философские трактаты, кичащиеся своей исключительной сухостью.

Вот где колебание, неуверенность, кризис. Роман как таковой должен бы исчезнуть. Эти авторы бьют мимо. В самом определении романа есть что-то, но они этого не видят. Самое главное: роман — это искусство. А значит, для того, чтобы создать его, нужны две вещи: фантазия и художественный талант. Роман должен тяготеть не к философии, а к художественной форме. И цель здесь — не рассеивание, а стягивание. Новой формы можно добиться либо подражанием газетному стилю, либо с помощью гекзаметра³ <...>.



[ПИСЬМО] ЮЛИУСУ ПЕТЕРСЕНУ¹

18 сентября 1931

Уважаемый господин профессор, большое спасибо за работу, написанную в рамках Вашего семинара, которую Вы мне прислали; она, разумеется, представляет для меня особенный интерес <...>. Я бы хотел дополнить автора, сравнивающего меня с Джойсом², и указать на свои ранние произведения, как полагаю, ему не известные. Стилистический анализ моих ранних вещей мог бы отчетливо выявить и некоторые сходства с Джойсом, и отличия от него. Моя писательская техника сформировалась прежде всего под влиянием психоаналитической практики³, но я вижу и ограниченность психоанализа, ведь там тоже существует формирующая целенаправленность.

На острую критику заключительных страниц романа, вызывающих недоумение и кажущихся кое-как приделанными, я хотел бы возразить вот что: 1. Эта книга была задумана как первая в дилогии. Вторая книга должна была (или должна?) рассказать об активном человеке, хотя, наверное, это будет не тот же самый персонаж; финал — этот, так сказать, мост, другой берег, правда, отсутствует. Основополагающий для меня духовный «натурализм» вступил нынче в особенную фазу взаимодействия двух его элементов: трагически окрашенный пассивно-воспринимающий элемент теснит оптимистический, активный элемент, «я в Природе» вместо «я над природой». В романе «Берлин Александрплац» я хотел привести Франца Биберкопфа к активной фазе, но у меня не получилось. Вопреки моей воле, просто потому, что того требовал план книги и логика сюжета, роман закончился так, как закончился; бороться было бесполезно, и у меня опустились руки. Собственно говоря, финал книги должен был разворачиваться на небесах: еще одна душа спасена и т. д., но такой конец точно был бы невозможен; с другой стороны, я не мог закончить книгу на радостной ноте: все должно быть обосновано психологически. Я и теперь вижу, что этот дуализм не удалось

снять. Для более глубокого понимания романа я бы посоветовал автору работы обратиться к моей предпоследней книге, эпической поэме «Манас», и внимательно прочитать ее; уже там можно найти прообраз Биберкопфа, а пропасть между двумя позициями преодолена на индийско-мистический манер — путем реинкарнации героя. <...>

Доктор Альфред Дёблин



Вилли Хаас

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ РОМАНА

<...> Роман — это не форма. Тот, кто пытается сделать роман закрытой формой, а этого, начиная с 1800-х годов, хотяг все, — создает дисгармоничное, бесформенное произведение. Ведь форма — это не роман, а повествование; и масштаб повествования — это ширь, это все области, которые оно может охватить, это выдумка, безудержная фантазия, цикличное, это сотворение такого пространства, в котором все связано между собой видимыми или невидимыми нитями. Рабле¹ прозрачней, органичней, нежели Флобер². Величайший роман всех времен — «Тысяча и одна ночь»³; я говорю «роман», потому что любое повествование, действие которого разворачивается на тысячах страниц, называется теперь «романом», а вообще, я не знаю ни одного точного определения «романа». Гёте не знал определения этого термина, ни когда писал «Вильгельма Мейстера», ни даже тогда, когда писал «Годы странствий»⁴. <...>

«Берлин Александрплац» — переходное произведение исключительной важности. Разумеется, это всего лишь промежуточный продукт, привязанный к субъекту — предмету старого морально-психологического кризисного романа а-ля Достоевский или Флобер, — к прямолинейной, однобокой, изолированной, разумеется, весьма обогащенной новелле или анекдоту <...> но эта ошибка Дёблина — вовсе не ошибка, это нормальное переходное состояние. Предмет — кризис субъекта, Франца Биберкопфа, и всеохватная — единственно возможная — форма повествования с трудом согласуются друг с другом. Тем важнее это произведение как один из этапов развития.

Настоящий рассказчик не будет конструировать своих персонажей. Он знает, что они существуют и без него. Рассказывание — это самое интуитивное из искусств, гораздо более тонкое, нежели лирика. Поколение романистов 1800-х годов превратило рассказывание в искусство интеллектуальное; подумайте, например, о Флобере. Рассказчик Дёблин, так же как и рассказчик Рабле, так же как и рассказчик Гриммельсгаузен⁵, так же как и автор историй об Али-Бабе и Зобеиде⁶, знает: я могу только назвать имена персонажей, боль-

ше сделать я ничего не могу. Имя само поднимется с земли и проложит себе дорогу. А я послезу за ним. И вперед — рассказывать!

Разумеется, сегодня, после Флобера, Золя⁷ это нелегко. Рассказчик должен найти себя. Сотни лет его учили относиться к герою диалектически, бросить всю свою интеллектуальную мощь на то, чтобы сосредоточиться на герое, «выстроить» его. Так больше нельзя. Но старый навяз в крови писателей. Значит, нужно освободиться от него мелкими шажками, шутя, с иронией. Пробивать окольные пути, вон того человека слева оставить лежать там, где он лежит; подойти к другому — для того, чтобы в итоге прийти к самому себе. Я должен — целиком — быть самим собой, и только так ты, Франц Биберкопф, останешься Францем Биберкопфом! Необходимо восстановить изначальный параллелизм рассказчика и повествования. Наивность исчезла, значит: самоутверждение вместо утерянной наивности. Самое субъективное — это кажущаяся свобода ассоциаций. Ассоциация, как известно из психоанализа, вернее всего приведет к себе самому. Поэтому Дёблин использует самое субъективное из возможного: ассоциации, звукопись, постоянные мотивные переключки, затянутые побочные сюжетные линии — они ведут писателя в глубь самого себя. <...>

Выше мы употребили выражение «параллелизм рассказчика и повествования». Теперь мы можем сказать об этом кое-что существенное: этот параллелизм заходит у Дёблина очень далеко. Франц Биберкопф — провоцирующий тип, поэтому провоцирует и Дёблин. Его форма повествования <...> и есть провокация. Провокационная форма становится вызовом для всех, прежде всего для читателя (да каким вызовом!), затем, для себя самой, каждый момент ей нужно занимать определенную позицию по отношению ко всему, что происходит в романе, и проявлять себя во всех мыслимых формах; и, наконец, для всех персонажей романа, которых автор ироническими или страстными возгласами провоцирует, словно боксеров на арене, ринуться в бой. <...>

Этот параллелизм становится тем, что Кьеркегор называет «повторением личности в форме»: форма начинает бессознательно соотносить себя с содержанием. Франц Биберкопф живет несвязно, день за днем, от встречи к встрече, без цели, без смысла. И так же <...> чтобы быть параллельным своему герою, поступает рассказчик: в этом мире мы живем по принципу несвязного соположения; улицы, целые районы Берлина бессмысленно наставлены друг рядом с другом. И такой же беспечной, как жизнь в большом городе, без причины, без следствия, без смысла должна стать форма. Параллелизм должен быть радикальным. Вместо строгой, хотя и «объективной», но отделенной от содержания формы старого романа, здесь, с выдающейся последовательностью, используется принцип гомогенности. Это то исключительно новое, что есть в этой книге. <...>

Жизнь — вот абсолютная сила в этом произведении; даже смерть в романе говорит свои слова, оглядываясь на опыт жизни. «Берлин Александрплац»,

впрочем, не роман, а эпос. Здесь не дается никаких реальных оснований для индивидуальной трагедии героя (они, например, всегда присутствуют у Достоевского); так и у Гомера, так и в «Тысяче и одной ночи». Здесь форма полностью становится собственным содержанием. У Флобера, Бальзака, Достоевского «я» писателя диалектически соотносится с «он» героя: но в любой момент они способны поменяться местами, и тогда наступит кризис. У Дёблина «я» писателя существует как настоящее полноценное «я» рядом с «он» героя: подмена невозможна, нет никакой диалектики, не будет и кризиса.

Старый роман — эпико-драматический гибрид (Достоевский показывает это наиболее явственным образом), который в наши дни уже не может сказать ничего существенного. Дёблин выработал по-настоящему эпическую форму, именно так, можно сказать с уверенностью, будет написан величайший эпос нашего времени. Перед нами его великолепный пролог. И у нас есть все основания ожидать, что Дёблин — с помощью новых средств — напишет такое произведение, которое в некотором приближении станет тем, чем была в свое время «Человеческая комедия»⁸.



Бернард фон Брентано

ЧЕЛОВЕКА БОЛЬШЕ НЕ СОТВОРИТЬ

Буржуазная пресса и ее читатели посчитали роман Альфреда Дёблина «Берлин Александрплац» <...> пролетарским романом; возможно, только поэтому и приняли его с таким воодушевлением. В любом случае, произведения на «социальные» и «революционные» темы уже не кажутся современными; но читатель охотно берется за новый материал, он с удовольствием погружается в неизученную среду, ему там интересно, он хочет побыть там подольше, — так чувствует себя путешественник, оказавшийся на экзотическом острове, когда в кармане у него лежит обратный билет. Пребывание, вдобавок ко всему, приятно тем, что роман Дёблина по своему содержанию и структуре исключительно буржуазен <...>.

Но не материал книги, а то, как она написана, отличает ее от всех остальных современных романов. Роман Дёблина — это первое произведение новой литературы, написанное без оглядки на сюжет, он шел изнутри самого писателя. Рейнхольд убивает Мици. Дёблин пишет: «Он упирается коленом ей в спину, его руки сжимают ей горло, большие пальцы упираются в затылок, судорога сводит ее тело. Время родиться и умереть, родиться и умереть, каждому свое»¹. Любой другой романист, вне всяких сомнений, не упустил бы здесь возможности передать мысли, пронесшиеся в голове каждого из сцепившихся в страшной борьбе персонажей. Дёблин описывает только происходящее. Более того: он не просто описывает происходящее в данный момент, он видит, как гибнет человек, он описывает гибель всего человечества. Автор здесь тот, кто с отстраненным спокойствием сидит на стуле и наблюдает за толкотней на Александрплац. Вместо микрофона перед ним бумага и чернила, он поверяет, что видит, чернилам и бумаге. Вот — особенная манера письма Дёблина, и такое письмо стоит посредине между буржуазным романом, которого больше не может быть, и такой писательской задачей, какая соответствует новому, изменившемуся порядку вещей в мире. В буржуазном романе персонажи разговаривали друг с другом: у Дёблина говорит только писатель, и *он* —

тот, кто сообщает нам, что произошло, он рассказывает о том, что люди говорят друг другу. Вот в чем разница.

Именно поэтому в романе Дёблина людей больше и нет <...>. В этом романе автору замечательно удалось лишь второстепенные персонажи, и повествование об их судьбах способно по-настоящему растрогать читателя. К главному герою, Францу Биберкопфу, остаешься совершенно равнодушным, потому что старая психология Франца Биберкопфа — он живет, как живется — еще сильнее, нежели дёблиновское письмо; единственная фигура, которую автор сотворил, способна его уничтожить.

У Дёблина гораздо больше таланта, нежели у Томаса Манна, он талантливей, чем даже Густав Фрейтаг². Но настоящий роман, буржуазная форма искусства, теперь не может быть написан не потому, что у Дёблина много таланта. Больше не существует буржуазного общества, поэтому оно и не может быть изображено. <...>



Альфред Дёблин

ЗАМЕТКИ О РОМАНЕ

С эпосом, «низким» и «высоким», в последнее время работали вредители. Я хочу вышибить дверь и ворваться в этот эпический дом.

В его комнатах не следят за порядком: стремление авторов держать читателей в напряжении разрушает роман, издатели поощряют такое стремление и, значит, сами рубят под собой сук. Издатели постепенно забывают, что их дело — публиковать эпос; у них все больший перекося в сторону драмы: им подавай завязку и развязку конфликта (в том или ином виде), зрелищность, трагедийность, комедийность. В роман втиснулось нечто такое, что определенно пришло не от немцев, скорее — от французов: маниакальная тяга к лаконичности, кратким и ясным формулировкам проблемы, абстрактной строгости, крепким балочным конструкциям, решительности на стадии возведения крыши и финала. Похоже, все это подсмотрено у романной формы — которой на самом деле нет и в таком виде не может быть — с предварительным чертежом, каркасом, четким архитектурным обликом.

Все это — обманчивая видимость, очковтирательство. Нам показывают какие-то действия, людей и события «от яйца»; лучше всего, чтобы было как можно меньше людей, а задний план просто затемнен; добавьте еще стаффаж, то есть «начинку» из второстепенных персонажей, немного «среды», то есть декорацию, — и больше ничего не нужно; все это лишь привесок; все упрощено и сведено к одному — гладко, четко, поступательно развивающемуся действию. Такую игру я должен тут же разоблачить: нам лгут, перед нами замаскированный драматург, он предлагает нам пересказанные на бумаге драмы. Это не новая художественная форма, вообще не художественная форма, — какое горделивое словосочетание! — а элементарная творческая беспомощность и врожденная склонность к плагиату. Настоящий роман не имеет ничего общего с действием; мы знаем, что поначалу и драма не имела с действием ничего общего, и еще вопрос — хорошо ли, что она свернула на свой нынешний путь. Упрощать, подправлять и подрезать материал, добываясь эффек-

ного развития действия, — это не дело эпика. В романе надо чередовать слои, громоздить кучи, перекачивать и передвигать громады; в драме, сегодняшней, сведенной до одного лишь действия, прободенной этим действием-интригой, там да: «Вперед!» Но паролем романа *Вперед* быть не может.

Упрощение романа до последовательно развивающегося действия связано с прогрессирующей, умело поощряемой неспособностью публики к чтению. Времени для чтения у людей достаточно, но их совершенно испортили газеты. Нетерпение стало для них мерой всех вещей, увлекательность — альфой и омегой оценки книги. Полтора часа такой пытки — и книга выплевывается, она уже исполнила свой долг. Что не увлекательно, то нагоняет скуку; мысль эта есть неприкрытое, наивное бесстыдство: она выдает дефекты за преимущества и даже требует такие дефекты воспроизводить. В ту же дуду, что и газеты, дует кинематограф. Для романа это полная катастрофа. И хотя лучшие романисты не позволяют дурить себе голову, от этого мало что меняется. Публика ведет себя нагло, а издатель, как правило, — на ее стороне.

Когда-то в драме центральной и главной частью была большая патетическая сцена; все остальное — вокруг да около, какое-то подобие действия в виде предисловия, послесловия, междусловия. Позже зрителям понравилось обнюхивать того или иного героя, а особенно ту или иную героиню, чтобы «человечески приблизиться к ним». И очень скоро акцент был перенесен на «интеллектуальное», удобное для понимания, интересное в силу близкого соседства — на жизнь героев. Психологизм пристрелил Патетику. Старое варево сделали совсем жиденьким, добавив в него идею «развития», и с тех пор подают на стол в более аппетитном виде. Понятие «развитие действия» зверски дожирает все то, что еще гордо пузырится, милостью Искусства, на сцене и в романе.

Потрясения, радости, смеха, сведения счетов с самим собой — всего этого, видите ли, недостаточно. Назовем своим именем то, что нынче происходит: плохая публика старается от всего этого уклониться. Вот мы и сорвали с нее вторую маску. Читатель или зритель не хочет, чтобы к нему приближались вплотную, он ненавидит бестактную доверительность, он не позволит другому совершать над ним хирургическую операцию, копаться в его внутренностях, он не желает оказаться беззащитным, пред кем бы то ни было, он даже вооружился противогазом: он требует увлекательности. Этому ему довольно. Вместо молитв — слова, вместо потрясения — интеллектуальная деятельность, вместо поэзии — действие. Все прочее — его, читателя, уступки, его подарки; прочее — это прочее, то есть лишнее.

Предполагать — и исходя из такого предположения работать над литературным произведением или читать его, — что человек есть главный предмет изображения в драме или романе, — уже извращение. Оба жанра не имеют ничего общего ни с людьми как таковыми, ни с идеей первостепенной важно-

сти одного-единственного героя или его проблем. Этим всем пусть занимаются педагоги, священники, психологи, психиатры; облеченная в поэтическую форму психология – чудовищный нонсенс. В романе или драме, как ни крути, речь идет о жизненном событии – пестром или монохромном, радостном или грустном, имеющем глубину или плоском. Но, конечно, человек и его заботы остаются здесь же – протяни руку и достанешь; мы у себя дома, проблема, конфликт разложены на полу, небольшой навьк конструирования тут тоже не окажется лишним: вот мы и проползли быстренько вокруг очередной поэтической пирамидки.

Только было бы лучше, если бы мы ориентировались на Гомера и Сервантеса, еще на Данте. И Достоевского тоже нельзя не упомянуть¹. Все они учат нас, что момент за моментом находит оправдание в себе самом, что каждое мгновение нашей жизни есть совершенная – круглая, наполненная – реальность. «Здесь я стою, здесь умру»², – говорит каждая страница. Если роман нельзя, как дождевого червя, разрезать на десять кусков, каждый из которых будет самостоятельно двигаться, – значит, он ничего не стоит.

Горбуны в часовне Святого Ремакля у Шарля де Костера – это эпическая поэзия. Шутки и приключения Уленшпигеля³ – из того же источника. Неслыханная конструкция Дантова «Ада» вообще не поддается анализу, ни в деталях, ни как целое – сталкиваясь с ней, ты просто теряешь дар речи. Рогожин в «Идиоте» Достоевского, сцена с банкнотами, брошенными в огонь, разговор проститутки и барышни, попытка кражи, совершенная опустившимся генералом, – примеры укорененного в почве развития-роста. А какие примеры из «Дон Кихота» я мог бы упомянуть – сражение с мельницами, толстого оруженосца? Одиссей в борьбе со свободными стихиями, его встреча со свинопасом, беседы богов на Олимпе, так называемые описательные пассажи в «Илиаде» – кто сегодня сумел бы так описывать? – описания вооружения, кораблей, расположения войск, поединков... Предлагать отказаться от всего этого ради «поступательного развития действия» – все равно что использовать статую работы Микеланджело как подставку для факела, то есть как предмет мебели.

Десять новелл, даже если их собрать вместе, не составят роман. Ничто в романе не должно вырождаться в новеллу; и тем не менее взаимосвязи в нем имеются. Автору романа следует балансировать на грани между нанизыванием отдельных арий, характерным для старой оперы, и нескончаемой мелодией Вагнера⁴.

Роману трудно утвердить себя, если он хочет быть высказыванием на злободневные темы, облеченным в художественную форму; поэтому столь расплывчата граница между подробным газетным репортажем, обладающим явными признаками романа, и романом как таковым. Все правильно. Жизнь – непревзойденный сочинитель; приглашать к ней в соавторы еще и Искусство, как правило, совершенно ни к чему. Близость к повседневным сообщениям

только дискредитирует роман, делает его в глазах некоторых читателей самым низким из жанров искусства. Это не должно смущать эпика. Эпик вообще искусство презирает. Кажущуюся невыгодность своей позиции он превращает в преимущество: он ведь больше других приближен к живой жизни — благодаря материалу, с которым работает, слову. А от искусства ему лучше держаться подальше. Простая речь, повествующая и изображающая, — дар Божий, и эпик не вправе допустить, чтобы грабители отняли у него этот дар. Стиль нельзя наложить *поверх* того, что описывается, — как влажное полотно. Стиль — это всего лишь молоток, то есть максимально практичное орудие для обработки предмета изображения. Если читатель обращает внимание на стиль, это уже значит, что автор допустил ошибку.

Необозримо пространна та область, откуда эпик может черпать свой материал. Но, как мы видим, мало что из нее попадает в эпические произведения. Среднестатистический романист остается на уровне заурядного писателя: сам он, как правило, ничего из окружающей жизни не прочувствовал, а кроме того, ему не хватает потребной для ее изображения творческой силы. Он просто, без долгих размышлений, берется за тему взаимоотношений мужчины и женщины — за первый попавшийся ему комплекс материалов. Настоящий же роман, разумеется, имеет с любовью не больше общего, чем живопись — с физиологией женщины или мужчины. Поставив все на эту одну карту, злободневный роман подверг себя полной стерилизации. Ведь для жизни нужны еще и кости, мускулы, легкие, почки — не только половые органы. Злободневный роман излечится от своих недугов не раньше, чем усвоит фундаментальный принцип: *mulier taceat**, или, говоря по-немецки: больше никакой любви. Всеми порицаемый приключенческий роман, Карл Май⁵, бульварная литература — и то лучше. Такая литература сильнее бьет из источника, более мощной струей, — да и источник ее соединен с более могучими, богатыми и чистыми пластами человеческих инстинктов.

* женщинам подобает молчать⁶ (лат.).



Альфред Дёблин

ПОСТРОЕНИЕ ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ЭПИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОВЕСТВУЕТ О СВЕРХРЕАЛЬНОСТИ

Я начну с вопроса: можно ли считать сообщение основообразующей формой эпического повествования, а если нет, то что же тогда является решающим признаком эпичности? Мы знаем о драме, что (так, по крайней мере, кажется) характерная для нее основообразующая форма — диалог.

Беру первый попавшийся роман и читаю: «К тому времени, когда полковник Шпринг фон Шпрингенау после выхода в отставку переселился из Ратенова, последнего города, где он служил, не в Висбаден, как большинство его коллег, а в Партенкирхен, Фридерике как раз исполнилось семнадцать лет. Была весна, из окон дома, куда въехала семья, открывался вид на крыши и баварские горы вдаль, и день за днем, уже за завтраком, полковник восхвалял перед женой и детьми, как особо счастливый случай, то обстоятельство, что ему, еще крепкому человеку, едва перешагнувшему порог шестидесятилетия, удалось, сбросив с себя должностные обязанности, бежать от душливых испарений и затхлости большого города и, следуя сердечной потребности, всецело предаться наслаждению природой, о чем он мечтал еще с юношеской поры»¹. Что ж, несомненно, здесь вроде бы сообщается о чем-то. Вроде бы.

Я раскрываю газету, там в разделе местной хроники значит: «Несчастный случай с двумя полицейскими. Сегодня утром двое полицейских из участка на Врангельштрассе врезались на своем мотоцикле в тележку дворника. Один из них, полицейский вахмистр Вихерт, двадцати пяти лет, получил перелом ключицы; другой, полицейский вахмистр Вилли Вольф, двадцати лет, — тяжелые ранения головы и сотрясение мозга. Оба были доставлены в больницу на Фридрихсхайн». Это — тоже сообщение, оно тоже разворачивается в форме имперфекта. Но, очевидно, первое сообщение отличается от второго тем, что второе — настоящее, то есть оно сообщает о том, что действительно случилось, тогда как первое только имитирует такое сообщение. Полковник Шпринг фон Шпрингенау наверняка не за каждым завтраком восхвалял как особо счастливый случай то обстоятельство, что теперь он может всецело предаться насла-

дению природой, да и к тому, что Фридерике исполнилось ровно семнадцать лет, я отношусь с сомнением. Может, ее звали вовсе не Фридерикой и ей было только шестнадцать. Так или иначе, таким утверждениям я не верю даже тогда, когда они преподносятся в форме имперфекта. Но мы ведь все понимаем, что сей полковник отнюдь не всегда восхвалял за завтраком, как особо счастливый случай, то обстоятельство, что теперь он может наслаждаться природой, и любой читатель знает, что Фридерике не исполнилось ровно семнадцать лет, что автор пишет это просто так, и тем не менее — автор это пишет, а мы принимаем! Что же это, собственно, значит: что человек своим сообщением никого не обманывает, даже не хочет никого обмануть, и все же намеренно имитирует подлинное сообщение? Я вообще против имитации; но в данном случае хотелось бы все же разобраться, в чем ее смысл. Не сомневаюсь: разумный спокойный человек, который на первой странице газеты читает хронику дневных происшествий, написанную в имперфекте, по праву возмущился бы, если бы однажды в подвале газеты что-то сообщалось в той же форме имперфекта, но ни одно слово в этом сообщении не соответствовало бы действительности; человек этот по праву воспринял бы такое манерничанье как глупое недоразумение, как злоупотребление служебным положением, и впредь избегал бы чтения подвальных статей. Что же мне сказать о таком романном сообщении, где тот, кто сообщает, сам не верит в свое сообщение, и тот, кто это сообщение слышит, тоже в него не верит? Это какое-то надувательство с распределением ролей. Мне могут возразить: это, мол, «искусство»; но я, хоть и с сожалением, вынужден возразить, что, на мой взгляд, по всем протокольным признакам, речь скорее идет о глупейшем надувательстве. Мне будут энергично шептать на ухо: ты сам глуп, автор романа всегда ведет себя так, как если бы он что-то сообщал, вспомни о старине Файхингере, имея дело с искусством, мы попадаем в сферу «как-если-бы»², и ни одна из сторон не обязана ничему верить, ведь зритель в театре тоже не верит происходящему на сцене, только дети или крестьяне иногда попадают в эту ловушку, на самом же деле все это лишь кажимость, иллюзия.

Все это я выслушаю: вот, наконец, правильное объяснение, и тут мы сталкиваемся с нашей, предстающей во всей своей красе, псевдо-рационалистической оглушенной эпохой (рационализм порой достигает великолепных высот, но наша эпоха не рационалистична). С помощью такого объяснения — со ссылками на иллюзию, кажимость, «как-если-бы», — поэзию *замораживают*. Если словесное искусство не может не существовать, а основополагающая форма эпического повествования заключается в том, что оба, автор и читатель, притворяются, и нам эта махинация заранее ясна, — тогда, значит, писателю нет смысла писать хоть слово.

Но в действительности дело с формой сообщения обстоит совершенно иначе. Когда фрейлейн Амалия Лэммеркальб³ читает отрывок из своего по-

следнего романа и там рассказывает о чем-то — нет, я ей не верю. Ни единому слову писательницы я не верю, и фактически это обговорено между ею и мной. *Но что происходит, когда начинает рассказывать Гомер, когда Данте странствует по кругам Ада, когда Дон Кихот вскакивает на коня и отправляется в путь, а за ним трусит на осле Санчо Панса — неужели и в этих случаях нам просто формально о чем-то сообщается?*

Закоренелые эстеты скажут: конечно, и здесь тоже просто формально о чем-то сообщается, Дон Кихот не упоминается ни в каких исторических документах, а ослы, конечно, по Испании трусили, ослы трусят по всем дорогам и во все времена, но существование именно этого конкретного осла — с Санчо Пансой на нем — тоже ничем не подтверждается.

Что же делает заслуживающим доверия именно этого конкретного осла — более, чем всех прочих? Тут я подхожу к самому важному пункту. Очевидно, помимо сферы исторических, документально засвидетельствованных фактов, имеется еще одна экзистенция, или сфера экзистенции, о которой тоже можно делать формальные сообщения в имперфекте; и такое сообщение тоже требует от меня, читателя или слушателя, веры — а значит, при таких обстоятельствах писание вновь становится осмысленным, поскольку здесь между автором и слушателем вновь возникает честное отношение, базирующееся на обоснованном взаимном доверии.

То, что переносит любое выдуманное событие, заключенное в форму сообщения, из области просто придуманного и записанного в другую, высшую, правдивую сферу, сферу именно эпического повествования, — это *парадигматический характер события и персонажей*, которые изображаются и о которых рассказывается в форме сообщения. Речь идет о значимых — парадигматических — ситуациях, об элементарных ситуациях человеческого бытия, вновь и вновь прорабатываемых человечеством, об элементарных позициях человека, которые оказываются проявленными в этой сфере и о которых, поскольку они, даже будучи тысячекратно расколотыми, остаются правдивыми, можно сообщать как о чем-то правдивом. Более того, эти образы (а отнюдь не платонические идеи) — этот Одиссей, Дон Кихот, странствующий Данте — и эти парадигматические ситуации человеческой жизни даже превосходят в плане самобытности, истинности и продуктивной силы осколочные повседневные истины. Выше сферы действительности пребывает целый ряд образов, — впрочем, их не так уж и много, — о которых можно вновь и вновь слагать поэтические произведения.

Мне нет нужды особо подчеркивать, что как раз способность переноситься в эту парадигматическую и лишенную ухищрений сферу отделяет эпического художника от обычного романиста, занимающегося солидно-буржуазной, по-своему полезной ремесленной деятельностью. Это ремесло — не проникая в реальность и, уж конечно, не пробивая ее насквозь — имитирует некоторые

ее поверхностные слои. Действительно же продуктивный художник должен сделать два шага: он должен подойти к реальности совсем близко — почувствовать ее вещную плотность, ее кровь, ее запах — и затем пробить ее насквозь, в чем, собственно, и состоит его работа. Первый шаг — шаг любого хорошего писателя, из чего следует: каждый эпический автор сперва должен стать просто хорошим писателем. Сегодня повсюду, в том числе в сфере эпического, встречаются неплохие и даже хорошие поэтические дарования, но наделенный таким дарованием человек, как правило, — слабый писатель. Поэтому эпические произведения у них, естественно, не рождаются. Ибо как человек может надеяться пробить реальность насквозь, если он не прошел необходимую подготовку, а часто даже и не способен за эту реальность ухватиться? Кроме того, имеется предостаточно (хотя на самом деле еще не вполне достаточно) просветительских и описательных романов, процветающих лишь в сфере писательского ремесленничества, но их авторы и не ставят перед собой более амбициозных задач — или же, как и их публика, не подозревают о существовании таковых. Но худшую, третью, группу составляют псевдо-поэтические произведения, навевающие скуку, ибо каждый читатель видит: это не настоящий эпический писатель, он ведь совсем не любит реальность, он даже не дает себе труда попробовать ухватиться за нее, а фантазирует просто «из головы». Гомер, конечно, был слепым певцом, но, прежде чем сделаться певцом, он обладал безупречным — острым и неподкупным — зрением: греческую и троянскую земли и тамошних людей он изучил досконально.

Я только что объяснил, в чем я усматриваю оправдание использованию формы сообщения в эпическом произведении, а теперь хотел бы представить ту же картину — гипотетически — как историческую последовательность.

Очевидно, в раннюю эпоху о поэтических сюжетах, то есть о человечестве вообще, можно было только сообщать, формально сообщать; и тому, о чем сообщалось, действительно верили — верили всегда. Сообщение подразумевало и веру в него; «сообщать» значило «сообщать правду». Тогда реальность, сны и фантазии были разграничены гораздо менее четко, чем сегодня, к тому же отсутствие точных знаний, любопытство и страх побуждали людей неизменно верить во все то, что им говорили или сообщали. Это «сумеречное» прасостояние сохраняется и сегодня у примитивных личностей и первобытных народов; и когда во время судебных заседаний мы сталкиваемся с феноменами принесения присяги или дачи ложных показаний, то и сегодня у некоторых малообразованных людей можем наблюдать это детское прасостояние сознания, в котором смешиваются сны, фантазии и реальность. Но я бы хотел подчеркнуть, что во времена, когда пел Гомер, те вещи, о которых он сообщал, еще казались правдоподобными: все думали, что Одиссей действительно застрелял на острове у Калипсо, что сирены действительно ему пели;⁴ и, между нами говоря, теперь мы знаем: в этих мифах и сагах действительно содержит-

ся больше правды, даже исторической, чем предполагалось раньше. У нас же, сегодняшних, дела обстоят так: никто ни во что не верит; реальность, фантазии и желания четко и трезво отделены друг от друга.

Что же касается искусства, то мы сделали вот что: мы вытолкнули произведения искусства из сферы реальности в царство иллюзии, или, говоря попросту, в царство обмана. Всерьез мы воспринимаем «жизнь», а для искусства выделили резервацию — смехотворную в своей убогости сферу развлечений. Мы, серьезные занятые люди, уделяем внимание искусству лишь в те часы, когда расслабляемся: с восьми до десяти вечера, в театре, а если среди дня, то разве что в автобусе. Так же мы поступили и с религией. Для нее мы отвели воскресенья и праздничные дни и назначили специальных чиновников, чтобы они ею управляли. Конечно, в какой-то мере почитание религиозных святынь еще сохраняется. Дело в том, что и в сфере религии, и в сфере искусства находятся люди, которые осознают сложившуюся ситуацию, но воспринимают ее совсем иначе, нежели большинство их современников. Как благочестие, ограничивающееся воскресными днями, не есть последнее слово религии, так же и старина Файхингер — не последнее слово в искусстве. Искусство было и остается редкостью. Произведение искусства выполняет двойную функцию: познания (именно познания, что бы ни думали об этом «философы») и порождения нового. Поэтому я закончу свой исторический обзор третьим высказыванием об искусстве:

Произведения искусства имеют дело с правдой.

Эпический художник и сегодня может с полной серьезностью пользоваться формой сообщения.

ЭПИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОТВЕРГАЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Приведя аргументы, которые оправдывают использование формы сообщения в эпическом повествовании, я готов перейти к следующему пункту в своих рассуждениях, но, уже собравшись покинуть прежний и в последний раз оглянувшись на него, вдруг в замешательстве останавливаюсь, осознав, что достиг еще одного, противоречащего первому, результата. Итак, я перечитываю пару страниц «Дон Кихота» и вижу: то, что там говорится, — неправда, причем осознаваемая в качестве таковой обеими сторонами, автором и читателем! *И тем не менее, нет, именно потому — так обстоят дела — здесь выбрана форма сообщения!* Внезапно я замечаю это *именно-потому*. Автор выбирает именно форму сообщения, которая допустима только в сфере так называемых фактов, он применяет ее для описания заведомых нефактов, и получается что-то волнующее, доставляющее удовольствие, — огромная квота удовольствия. Здесь мы имеем дело с характерной для эпохи научного материализма пере-

ориентацией искусства. Мы сталкиваемся с великолепным, не связанным никакими ограничениями, фактически имеющим место феноменом свободного сочинительства. Что же такое сочинительство, это дерзкое и безудержное низзявание на нить повествования сообщений о не-фактах, о заведомых не-фактах? Это — игра с реальностью; или, если воспользоваться словами Ницше, способность человека смеяться, с сознанием своего превосходства, над фактами, над реальностью как таковой⁵. Отсюда понимание: то, что я говорю, — неправда; и мысль: но, чтобы высказать эту неправду, мне нужна форма сообщения. Здесь человек соревнуется с каменной, прочной, непробиваемой реальностью — и колдует над ней, и выдувает мыльные пузыри из той же материи, из которой Творец некогда создал всю тяжелую землю, и небо, и многочисленных зверей с их судьбами. Мы оказались в очень достойной, достойной человека области: в сфере свободной фантазии.

Форма сообщения свидетельствует о том, что суверенная воля человека — или, по крайней мере, автора — побуждает его, вопреки всем знаниям и всем наукам, играть с реальностью. В такой игре становится осуществимым все, что только можно помыслить, сила тяготения упраздняется, упраздняются и прочие физические законы; но при этом человек сознает: сила тяготения и прочие законы сохраняют свою действенность, просто мы, мы сейчас, способны на все, потому что рассказываем — в форме сообщения — о совсем ином мире. Поэзия больше, чем сон. Сны тоже играют с реальностью, но, по нашему ощущению, остаются фатально и тягостно с нею связанными. В поэзии же легкость обращения с реальностью и способность смеяться над ней достигают совершенства. Отсюда — огромный выигрыш удовольствия, и для автора и для слушателя; и гарантирует удовольствие именно присущая сочинительству форма сообщения.

А теперь сопоставьте с тем качеством легкости, о котором я говорил, неуклюжесть и тяжеловесность большинства современных — и более ранних — романов. Их авторы по своей наивности даже не подозревают, что за инструмент дан им в руки. Они — заложники рационализма и естественнонаучной эпохи, которая попыталась добить поэзию, словно раненого зверя, ударом в затылок. Эти авторы полагают, будто их дело — обнюхивать реальность, а вовсе не играть с нею или отгалкивать ее от себя. Они полагают, будто сделали лучшее, что могли, если им удалось писать максимально достоверно, «оставаясь верными природе». Можно подумать, человек на такое способен! Природе в брюхо не заползешь, да и в пажах, поддерживающих шлейф, она не нуждается. А еще эти авторы гордятся тем, что они-де очень правдиво, почти документально изобразили историю какой-то эпохи, или какой-то семьи, или какого-то человека — максимально достоверно, максимально близко к действительности. Иногда даже прибегая к методам теоретика, историка. Если сравнить их усилия и достигнутый ими результат со сверхреальной сферой (на

которую я указал вначале как на опорный столп формы сообщения) и с фантастической сферой, или сферой сочинительства (вторым ее опорным столпом), то сколь убогими, жалкими, даже бурлескными покажутся такие натуралисты, полагающие, что должны понимать форму сообщения в буквальном смысле. Но, главное, вы теперь ясно видите соотношение между обеими сферами искусства, связанными, как я показал, с формой сообщения в эпическом повествовании: фантастической сферой, или сферой сочинительства, которая является чистым отрицанием реальной сферы и гарантирует возможность игры с реальностью, и – сверхреальной сферой, то есть сферой новой правды и совершенно особой реальности.

Значит, и сегодня человек вправе, как прежде, повествовать в форме сообщения. Значит, эта форма снова становится правдивой в сфере эпического художественного произведения, и здесь речь уже не идет о надувательстве, о нелепых фантазиях; здесь поэзия перестает быть чем-то нечестным, путанным и неправдоподобным, не деградирует до уровня субъективистской забавы – и если подлинная эпическая поэзия пользуется имперфектом и гордо сообщает о чем-то, то этим она лишь показывает, что помнит свое происхождение, осознает свое место и ранг в духовной жизни.

ЭПОС НЕ РАССКАЗЫВАЕТ О ПРОШЛОМ, НО УСТРАИВАЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Итак, я ответил на поставленный вопрос: если сообщение есть базовая форма эпического повествования, то сама эта форма определяет и обосновывает, когда и почему сообщение должно стать базовой формой эпического произведения. Но я присовокуплю к сказанному еще одно замечание, не столь существенное. Я говорил об имперфекте и о сообщении, и у моих слушателей могло сложиться ложное впечатление, будто эта форма прошедшего времени – единственная из глагольных форм, пригодная для построения эпического произведения. На самом деле ни о чем подобном речь не идет. Пишет ли эпик в настоящем времени, в имперфекте или перфекте, совершенно неважно, это – чисто технический вопрос, и автор вправе менять временные модусы по своему усмотрению.

Важно другое, и помнить об этом – отнюдь не лишнее. Неверно то, о чем нам часто приходится читать: что драматург якобы изображает действие, происходящее в настоящем, тогда как эпик рассказывает об уже свершившемся. Это – поверхностное и смехотворное мнение. Для каждого, кто читает эпическое произведение, события, о которых там повествуется, происходят *сейчас*, читатель со-переживает их *сейчас*, независимо от того, употреблен ли в повествовании презенс (настоящее время), перфект или имперфект (завершенное или незавершенное прошедшее время). Мы, эпика, представляем события

такими же сейчасными — и они воспринимаются соответственно, — какими их изображает драматург. И мы, и драматурги устраиваем представление. А всякое представление есть нечто сейчасное, как бы оно ни было устроено с формальной точки зрения. Разница между эпиком и драматургом состоит лишь в том, что драматург устраивает представление, рассчитывая на органы чувственного восприятия — глаза и уши; эпик же в качестве места для своего представления выбирает фантазию. Только выбор того или иного места духовного события — сценических подмостков или фантазии — отличает эти два вида поэтического искусства друг от друга. Я намереваюсь дальше еще вернуться к вопросу о близости эпоса и драмы.

ПУТЬ К БУДУЩЕМУ ЭПОСУ

Рассказав о сообщении как базовой форме эпоса, я бы хотел теперь добавить одно практическое замечание, хотя, возможно, оно вас удивит; хотел бы дать авторам совет, который резко противоречит уже сказанному — или только кажется, что противоречит. Дело в том, что я не советую использовать форму сообщения как единственную форму эпического произведения. Вы знаете: Гомер, Данте, Сервантес, то есть три величайших эпика, пользовались исключительно формой сообщения, и все сегодняшние романы в Германии, насколько мне известно, развиваются в пределах этой формы: они представляют события, сообщая, рассказывая о них. Я не сторонник такой практики. Это все-таки две разные вещи: эпическое произведение и форма сообщения как средство эпического повествования. Нигде не написано, что эпик должен только «сообщать». В старом театре, в старой драме встречались вкрапления, вообще не имевшие ничего общего с текущим действием, — например, выступления хора. Шекспир тоже, пусть и стыдливо, иногда позволяет какому-нибудь персонажу встать перед закрытым занавесом и что-то рассказать. И правильно делает. Это ведь тоже догма, впрочем уже готовая рухнуть, — что драма якобы может существовать лишь в форме диалогового действия; я с удовольствием наблюдаю, как фильм, то есть повествование в зримых образах, уже теперь в экспериментальном порядке посягает на законы театра, пытаясь разрушить обветшавшую форму диалоговой драмы — когда актеры играют на сценическом возвышении, играют друг с другом, не вступая в непосредственную связь со мной.

Вы схватитесь за голову, услышав, как я предлагаю авторам, работающим над эпическими произведениями, решительно прибегать к лирике, к драматургическим средствам и даже к саморефлексии. Но я на этом настаиваю. Мы не обязаны в эпической работе жертвовать своей свободой только потому, что существует определенная традиция, уже превратившаяся в догму, и мы сделаем из романа всё, что сочтем нужным. Германия — в том, что касается эпи-

ческого повествования, — всегда педантично придерживалась принципа реалистичности. Под «реалистичностью» я понимаю убеждение авторов, что они должны сообщать только о реальных или псевдореальных фактах. Во Франции пишут легче, там к таким вещам уже давно относятся с большей гибкостью. «Выше» художника — лишь очень немного стабильных законов художественного творчества; большую часть законов художник устанавливает для себя сам. Эпическое произведение — отнюдь не жесткая художественная форма; эпос, как и драма, должен постоянно развиваться, причем в противоборстве с традицией и ее поборниками. Сегодняшний театр застыл, приняв форму диалога действующих лиц где-то наверху, на сцене; нам, зрителям, отказано в благотворном праве вмешательства (посредством комментирующих, лирических или насмешливых реплик), мы не только не участвуем в свободной двусторонней художественной акции, но запрещены даже обращенные непосредственно к нам реплики актеров, то есть мы недостаточно задействованы в происходящем наверху. И точно так же обстоит дело в эпической сфере, где форма сообщения стала железным занавесом, отделяющим читателей и автора друг от друга. Этот железный занавес я советую поднять.

Признаюсь: прежде я сам безусловно почитал форму сообщения, догму железного занавеса. Так называемая объективность рассказчика в моих глазах была важнее всего. Более того, еще и сегодня сообщения о подлинных фактах, исторические документы дарят мне ощущение счастья — но знаете, почему именно они? Потому что через них со мной говорит величайший эпик, Природа, и я, сознавая свою малость, стою перед старшим братом и радуюсь, как здорово это у него получается. И когда я писал тот или иной исторический роман, порой мне было трудно сдержаться, чтобы не переписывать документы целиком; я даже от изумления впадал в своего рода ступор и говорил себе: лучше, чем здесь, я это описать не смогу. А когда я работал над книгой о борьбе людей-гигантов против великой Природы, я с трудом сдерживался, чтобы не копировать целые географические статьи: течение Роны, то, как она вырывается из горного ущелья, как называются отдельные долины и притоки, какие города раскинулись по ее берегам, — все это настолько великолепно и уже при простом перечислении звучит столь эпично, что мое авторское «я» оказалось здесь совершенно лишним.

Однако человек не способен всю жизнь сохранять такой взгляд на вещи. Однажды он открывает для себя и что-то другое, помимо Роны, ее долин и притоков: человек открывает для себя самого себя. Я таков — самое безумное и смущающее переживание, какое может испытать эпический поэт. Поначалу кажется, что переживание это станет для него смертельным ударом. Но эпический поэт лишь до тех пор ощущает себя в опасности, обремененным всяческими трудностями, пока не поймет, что художественное произведение — дело рук самого художника; вовсе не прошлое диктует мне законы, закон устанав-

ливаю я сам, а для меня эпическое произведение с некоторых пор стало уже не тем, чем было прежде. Вправе ли автор в эпическом произведении говорить наравне со своими персонажами, вправе ли он впрямую в созданный им мир? Ответ: да, он имеет право, более того, он даже обязан так поступить. И теперь я припоминаю, что сделал Данте в «Божественной комедии»: он сам прошел через свою поэму, он выстукал, как врач, всех своих персонажей, он вмешивался в события, причем не играючи, но вполне всерьез, и каждый из главных персонажей, в свою очередь, понял его — в ключевом месте соответствующей песни. Данте принимал деятельное участие в жизни своих персонажей. Он, подобно царю Давиду, плясал перед их победоносным воинством⁶.

Когда я говорю, что при написании эпического произведения мы должны обращаться также к лирике и к драматургическим средствам, даже к саморефлексии, я вовсе не призываю к беспорядочному смешению форм. Мы должны вновь вернуться к первичному, свежему ядру эпического произведения, туда, где эпическое еще не застыло, отгеснив автора на присущую ему сегодня позицию, которую мы ошибочно принимаем за нормальную позицию эпика. По моему мнению, это означает: нам предстоит вернуться во времена, отстоящие от нас еще дальше, чем эпоха Гомера.

В такой великий и опасный момент важнее всего: мочь и быть. Эта древнейшая форма поэзии напоит живой водой всех, кто сумеет к ней приблизиться, но и принесет много бед. Ибо к Великим Матерям⁷ вправе приближаться лишь тот, кто происходит от Великих Матерей. Я уже вижу: однажды придет эпическая поэзия, которая, взорвав традицию и навязываемую этой традицией задачу сохранения формы сообщения, сумеет действительно задеть нас за живое. Я хотел бы вновь и вновь напоминать авторам, что не они должны служить форме, какой бы она ни была, а она — им.

И тогда будет преодолена одна особая трудность, которая сегодня очень нас угнетает. Я предлагаю сделать эпическую форму совершенно свободной, чтобы автор мог пользоваться всеми изобразительными средствами, каких требует его материал. Если его сюжет хочет пуститься в лирический танец, пусть автор позволит ему лирически танцевать. Авторы нынче со всех сторон призывают к актуальности, к созданию соответствующих сегодняшнему дню поэтических произведений. Если уж говорить начистоту: сегодня люди вообще не желают никакой поэзии, считают ее пройденным этапом, искусство навеивает на них скуку, всех интересуют факты и только факты. На это я скажу: браво и трижды браво! Мне тоже ни к чему пустые фантазии. Полковник Шпрингенау⁸ мгновенно нагоняет на меня скуку. *Настоящий поэт во все времена сам был фактом*. Задача поэта — показать и доказать, что он есть факт и кусок реальности, еще и в наше время столь же добротный и фактичный, как добротное изобретение триэргона⁹ или ячейки Каролуса¹⁰. Авторы не должны красть факты из газет и подмешивать их в свои произведения, этого недостаточно.

Бежать вслед за реальностью и фотографировать ее — недостаточно. Самому быть фактом и создать пространство для этого в своих произведениях — вот что делает человека хорошим автором; и такого автора, если он работает в сфере эпического, я сегодня призываю сбросить с себя навязанную ему маску Сообщающего и двигаться в своем произведении так, как он считает нужным.

РАЗНИЦА
МЕЖДУ СЕГОДНЯШНИМ — ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИМ —
СПОСОБОМ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕЖНИМ,
КОЛЛЕКТИВНЫМ

Я вовсе не собираюсь рассматривать здесь все формальные проблемы, связанные с эпическим повествованием, не собираюсь даже затрагивать или просто перечислять наиболее существенные из них; я хочу лишь прогуляться вокруг этой цитадели, изучить ее передовые укрепления, подойти к подъемному мосту и воротам. И вот я спрашиваю, находясь еще далеко, снаружи: какие внешние влияния формируют эпическое произведение? Раньше эпический поэт пел и, странствуя среди своего народа, распространял сказки, шванки или саги, которые и без него имели хождение в народе и над которыми сам он, как правило, работал очень мало, лишь иногда добавляя новые варианты сюжета или придумывая новый способ исполнения песни. Такой человек решал определенную задачу — он должен был как-то обеспечивать свою жизнь, а слушатели его были строгими судьями, и, если им не нравилось, как он поет, ему приходилось голодать. Это весьма ощутимо влияло на формирование его произведений, это была живейшая и очень продуктивная критика, ее даже уместно назвать совместной работой автора и публики; хлеб, деньги — убедительный аргумент для автора и солидный фактор, влияющий, пусть и непрямым путем, на форму повествования.

Как же дела обстоят теперь? Теперь автор сидит у себя в комнате, покупает карандаш или ручку и ждет, когда ему в голову придет что-то стоящее. Деньги он тоже не прочь заработать, но в этом смысле прежним певцам и вагантам было намного легче: они постоянно находились в контакте со своей публикой и быстро подмечали, чего от них ждут; сегодняшний автор, конечно, может выйти на улицу, он может поговорить со своим издателем, почитать газеты, послушать, о чем болтают люди вокруг, однако ни о каком «контакте» с кругом его читателей речь уже не идет. Мы все, так сказать, сидим на скамье для запасных игроков — ситуация малосимпатичная и, по большому счету, не способствующая продуктивному труду. Сегодняшнее положение дел в культурных странах повсюду приводит к появлению авторов-индивидуалистов, поскольку большие объединения людей, крупные коллективы у нас формируются на политической или экономической основе, сильных коллек-

тивов, воодушевленных духовными интересами, вообще нет — или, во всяком случае, нет для подавляющего большинства авторов. Такая атмосфера, вообще говоря, не способствует появлению значительных драматических или эпических творений.

На современного автора, кроме того, обрушилось бедствие книгопечатания. Книга имеет неограниченную протяженность, книгу всегда можно сделать еще протяженнее, можно растянуть на два тома, три тома — откуда же автору, эпическому автору, узнать, что пришла пора закончить свое произведение? По сути, такая необходимость назревает лишь тогда, когда он исчерпает все запасы бумаги. И это отсутствие ограничивающего фактора тоже влияет на внешнюю форму сегодняшних произведений. И еще: *как* мы должны говорить, *кто* будет регулировать наш голос? Внезапно мы чувствуем, что вообще лишились голоса: у нас его отняли, подсунув взамен унылые типографские литеры. Но как могут литеры влиять на ритм нашей речи, если только живая речь, живое дыхание, каденции интонаций, связанные со смыслом, строят предложения и выстраивают их друг за другом? И еще: *что* должен сегодняшний автор писать, *для кого* он пишет? Куда попадают его книги, он не знает; очень может быть, они так и остаются в Лейпциге, на складе издательства; автор говорит в пустоту, никакого общенародного мышления уже нет, машины и экономика разорвали его в клочья. Ситуация абсолютно катастрофичная.

Нет больше таких историй, которые были бы интересны всем: никакого «народного менталитета», похоже, не существует — или же он остался лишь в самом рудиментарном виде. И вот сидит в своей комнатухе этот бедный сегодняшний автор, в самом плачевном состоянии, почти уже анахронизм; деньги и он тоже не прочь бы заработать, ибо бедность его — отнюдь не анахронизм. Как же сегодня, когда люди пишущие (в своем качестве авторов) перебиваются каждый по одиночке, даже если в жизни они имеют близких людей, — как сегодня протекает процесс формирования эпического произведения: чувствует ли автор себя просто функционером, ставит ли он перед собой некую задачу, которая и придает форму его произведению, заглядывает ли ему все-таки кто-то через плечо? Я хотел бы теперь описать сегодняшний процесс творчества.

ОПИСАНИЕ ИНКУБАЦИОННОЙ СТАДИИ В СЕГОДНЯШНЕМ ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Пока автор ходит по своим делам, выполняет повседневные обязанности, уделяет внимание обычным бытовым хлопотам, внутри у него, в благоприятную для того пору, что-то обособляется и, сгущаясь, сжимается в шар — образно я бы это так описал. Совершается некая внутренняя работа. Она представ-

ляет собой, если выразиться точнее, мышление без мыслей. Что-то там втайне назревает, человек чувствует себя так, будто что-то вот-вот стронется с места — или уже стронулось. Весь его организм, его душа приходят в состояние готовности, но состояние это всякий раз бывает слегка иным — окрашенным особой сосредоточенностью, или меланхолией, или диковатой разнузданностью. Я сказал, что оно всякий раз бывает слегка иным, и это важный момент, поскольку разнузданность, или печаль, или сосредоточенность указывают на общую тональность того, что теперь должно прийти, что придет как откровение; это — сигнал от того протекающего внутри процесса, который вскоре начнет отражаться и на всем поведении автора, не постоянно, конечно, а преимущественно в некоторые моменты, когда о происходящем внутри будут свидетельствовать и изменившаяся мимика, и другие внешние приметы. Автор пока составляет со своим произведением одно целое: он переживает протромальную, или инкубационную, стадию производства¹¹, то есть находится в той непроясненной ситуации, когда назревающее произведение, если можно так выразиться, еще переполняет его, еще не отделилось от него в достаточной мере; когда произведение, видимо, еще отбирает у него, вытягивает из него все жизненные силы.

Вот мы и добрались до момента, который я хотел бы особо отметить и который очень важен, поскольку речь идет не о том, что характерно для меня лично, а о явлении общераспространенном, пусть и в разных модификациях. Начинается все, как правило, с инкубационной стадии, которая может иметь разную временную протяженность; человек чувствует, как что-то притягивает его, и об этом «что-то» он должен заботиться. Вообще мне не нравится, что автора и его произведение часто сравнивают с матерью и ребенком; но в данном случае, на инкубационной стадии, мы действительно сталкиваемся с подобием материнской ситуации. Здесь существуют две инстанции: одна, вынашивающая, наблюдающая, легко приходящая в беспокойство, которая заботится о необходимом питании, — и другая, вынашиваемая. Думающее, сознающее себя «я» — имеется в виду «я» эпического автора, сегодняшнего, — в это время выполняет совершенно определенную функцию: оно должно где-то добывать и приносить своему питомцу питательный материал. Человек ощущает себя зверем возле кормушки — и одновременно следит, чтобы зверь этот получал достаточно корма. Иногда зверь от корма отказывается, иногда тот, кто ищет корм, совершает роковые ошибки; и у меня, когда я читал эпические романы, порой возникало впечатление, что там говорят вещи, сами по себе хорошие и правильные, но только автор взялся не за тот материал, у него оказалась невезучая рука — ведь без везения тоже не обойтись, когда хочешь найти правильный корм. Бывает и так, что ты еще добываешь для своего зверя всякую всячину, а та особая внутренняя ситуация уже исчерпала себя. И ты оказываешься в положении курицы, не сумевшей высидеть соб-

ственное яйцо. А потом внезапно, я неслучайно сказал «внезапно», оно уже здесь — что?

Я молча сижу за столом; я начитался, наслушался того да сего, и многое уже успел позабыть, но теперь *внезапно* что-то выпрыгивает из меня — и вот уже я, сам не зная как, захвачен, в беспамятстве захвачен в полон — нет, очарован некоей картиной. Это не видение, не галлюцинация, но многое сразу: душевное состояние особой просветленности, не притупление чувств, а необыкновенная духовная ясность, благодаря которой все загадки сами собой разгадываются и ты ощущаешь себя Зигфридом, отведавшим драконьей крови, — тебе теперь внятны все языки и вообще всё¹². Так было, например, когда я начинал писать исторический роман «Валленштейн»¹³: движимый смутным импульсом, я просматривал горы исторических документов, перелистывал публикации писем, что-то подхватывал то там, то сям. Нечто, во мне уже находившееся в состоянии готовности, сосало, сосало эту питательную смесь, и потом внезапно передо мной возникла картина флотилии, не видение, а что-то более всеобъемлющее: Густав Адольф переправляется через море¹⁴. Да, но как он переправляется? Я вижу корабли: ганзейские коггены¹⁵ и фрегаты, высокие, над серо-зеленой водой с белыми гребешками пены, над Балтикой; корабли переправляются через море, как всадники, корабли качаются на волнах, как всадники на спинах коней, они, как издавна повелось, нагружены пушками и людьми, море перекачивается под ними, они плывут в Померанию. И это — восхитительная картина, неодолимо околдовывающая меня. Я чувствую: это касается меня лично; как если бы я долго вертел в руках клубок ниток, а теперь наконец ухватился за свободный конец. Ради этой блистательной ситуации я решился писать и теперь уже точно знал: отсюда я и начну, начну писать свое сообщение; собственно, я хочу написать книгу лишь для того, чтобы сохранить эту ситуацию, восхвалить ее, рассказать о ней всем.

Это озарение, благословенное зримыми образами, этот нагруженный особым знанием миг автор переживает как миг первичной концепции. Иными словами: то, что этому предшествовало (на инкубационной стадии), уже развилось настолько, что смогло перешагнуть через некий порог и попасть в поле зрения. В поле зрения автора — или чье? Тут следует обратить внимание на два момента, важных для понимания стадии первичной концепции.

Первый момент: целое, о котором мы говорим, достигло определенного уровня, набрало определенный вес; питание было хорошим, зверь насыщался подходящей для него пищей; теперь может появиться картина — она и вспыхивает, с необыкновенной яркостью. Но теперь «я», которое до сей поры методом проб и ошибок училось заботиться о звере, получает другую функцию, другую задачу — это и есть второй момент. Теперь «я» видит, с чем, собственно, оно имеет дело, видит, кого оно выкормило на своей груди. «Я» рассматривает это существо и — занимает по отношению к нему какую-то позицию.

Чтобы сразу все было ясно: *с этого мгновения автор уже не сидит один у себя в комнате*, погрузившись в раздумья или вынашивая свою концепцию. Он, правда, и не бродит среди народа, как вагант или сказочник в прежние времена, не поет, что ему закажут, не подстраивается к желаниям своих слушателей. Но зато с этого мгновения автор, так сказать, носит народ в себе.

Это наблюдающее «я» в наше время принимает на себя ту роль и функцию, которую в прежние времена, для вагантов, исполнял народ. *«Я» становится публикой, становится слушателем, причем со-работающим слушателем.* (Но предупреждаю, что его не надо путать с «идеальным слушателем» Гёте¹⁶.) С этого мгновения имеет место кооперация, совместная работа «я» и поэтической инстанции. Это «я», которое все подмечает, обдумывает и оценивает, постоянно находится во взаимосвязи с поэтической инстанцией, побуждает ее двигаться дальше или вернуться назад, подкармливает — то есть руководит ею, плохо ли, хорошо, но осуществляет регулирующее воздействие. Поэтому нелепо говорить, применительно к эпическому автору — да наверняка и с автором-драматургом дело обстоит так же, — нелепо говорить о слепой безудержной тяге к сочинительству, о бессознательном поэтическом творчестве. Бессознательна только инкубационная стадия, вторая же стадия по-особому осознанна, насыщена мыслью, проникнута ценностями среды, к которой принадлежит автор: его сословия, класса, социальной прослойки, народа. И все перечисленное — собственные мысли автора, ценности окружающего мира — теперь, в соревновательной совместной работе с другой инстанцией, поэтической и очень личной, постепенно формирует произведение.

Замечу впрочем, для полноты картины, что на этой стадии, как правило, происходит и еще кое-что, очень странное. Осознанное думающее «я» не всегда остается на той ступени, что предназначена для публики, зрителя и со-работника, иногда оно специфическим образом втягивается в рабочий процесс; формирующееся произведение в некоторые моменты, требующие от автора полного раскрепощения, воздействует на «я» так, что очаровывает, околдовывает его, и тогда могут возникнуть — без прекращения думанья и сотрудничества — две ситуации: сперва «я», со-работник, теряет свое ведущее положение по отношению к произведению — оно примеряет на себя разные маски, пассивно *претерпевает* произведение, танцует вокруг него. «Я» оказывается вовлеченным в игровую ситуацию формирующегося произведения и — по крайней мере, частично — утрачивает контроль над ним. Автор все глубже погружается в темный поток поэтического творчества. (Думай о будущем произведении и старайся говорить голосами этих глубин! Наберись мужества, дерзай, напряги все силы!) Хотя состояние общей просветленности сохраняется, позиция автора по отношению к произведению теперь более неопределенна, само же произведение вот-вот утратит всякую форму, но это лишь означает, что в нем не просматривается формула, которую легко объяснить;

зато подспудно что-то формируется – произведение обретает глубинную поэтическую структуру.

И тогда дело может дойти до второй ситуации, до второго уровня воздействия колдовских чар, то есть до того момента, когда автор не сумеет устоять на ногах перед своим же произведением, когда произведение проглотит и автора, и его осознанное «я»: мы теперь говорим о стадии длительной анонимной разработки первичной концепции.

Итак, интересующий нас производственный процесс имеет колебательный характер: за возникновением первичной концепции следуют большие промежутки рациональной ясности и обозримого формального членения текста; с ними чередуются более спокойные отрезки пути, заполненные фантазией, после которых, вновь и вновь, – биение концептуального пульса: вдруг что-то поднимается из глубин, как новый остров при подводном землетрясении, и тогда опять – кульминационный пункт, и все начинается заново. Бывают разные типы авторов; не все авторы поймут, что я имею в виду. Вы теперь видите: заниматься поэтическим творчеством – значит не только вершить суд над собой (как говорил Ибсен)¹⁷ или вершить суд над собой и другими (как думают авторы, увлекающиеся политикой и склонные к морализаторству). Это предполагает еще и гораздо большее – например, дать себе полную волю, с головой окунуться в игру; или, например, набраться мужества, чтобы поддаться внутренним искушениям и стать их жертвой, в формальном и в содержательном плане.

ДЕТАЛИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА

а) Эпическое произведение предстает перед читателем *in statu nascendi**

Я бы хотел теперь вкратце обрисовать дальнейшее протекание творческого процесса и воздействие на него некоторых формообразующих факторов. Работу над эпическим произведением начинают в несколько приступов, как если бы автор был пловцом, который очертя голову бросается в море. Он еще не знает, насколько велико это море, но полагается на свои силы и испытывает желание плыть все дальше. Неважно, начнет ли человек писать, как придется, или, чтобы распределить свои силы, предварительно составит «сценарий». У него есть первичная концепция и смутно ощущаемый базовый настрой, ему нужно просто продвигаться вперед, держа курс на центральную ситуацию, которая пока отнюдь не ясна. Видите ли, дамы и господа, в большинстве случаев все начинается с такого неотчетливого влечения, и лик произведения

* в состоянии рождения (*лат.*).

приоткрывается лишь по ходу работы над ним. Вы полагаете, что автор хочет сообщить вам о чем-то, что он пишет об известных ему вещах. Нет, он не знает ничего или почти ничего, он именно очертя голову бросается в авантюру, лишь смутно что-то предчувствуя и ощущая собственную силу. Он приписывает себя к своей теме, то есть приближается к ней издалека и постепенно. А значит, читатель становится со-участником в производственном процессе. Все эпические произведения связаны со становлением и событийностью, а потому вполне в порядке вещей, хотел бы я подчеркнуть, что эпическое сообщение не предстает перед читателем в готовом виде, не устремляется к нему, подобно пуле, выпущенной из пистолета, но читателю приходится переживать его *in statu nascendi*.

Принимаясь за любое эпическое повествование большого объема, читатель должен знать, что он не имеет дело с «закругленным», замкнутым в себе, совершенным художественным произведением, но присутствует при самом процессе рождения произведения, его развития и роста — ситуация в корне отличная от того, что происходит с произведениями пространственных искусств и, возможно, отчасти с драматическими произведениями. Но нечто подобное свойственно и некоторым — по крайней мере — пьесам, причем не самым худшим. И уж совсем похоже обстоят дела с великими музыкальными произведениями (музыка ведь тоже искусство, связанное со временем): темы там развиваются не только друг из друга, согласно музыкальным законам, но и, действительно, в актуальном времени — они возникают прямо сейчас. И это придает им, как и эпической композиции, не только особое обаяние, но и своеобразную правду, и достоверность, и прозрачность: ибо когда мы видим, как что-то возникает на наших глазах, нам легче приписать этому феномену качество правдивости, он кажется нам более убедительным. Так преломляется в эпическом повествовании закон причинно-следственной связи.

Это истечение эпического потока, осуществляющееся у нас на глазах, имеет еще и то преимущество, что оно — в равной мере и одновременно, без всякого принуждения — ведет автора и слушателя от неожиданности к неожиданности, от одного колдовского очарования к другому. Преимущество здесь в том, что всякая ситуация естественно порождает следующую. В этом главная особенность потока, и именно такой способ формообразования здесь нужен, потому что, ведя эпический рассказ, никогда нельзя, ориентируясь на эстетические критерии, предусмотреть, насколько протяженным получится тот или иной кусок; можно, конечно, вчерне набросать рамки целого, но если автор попытается сделать больше, если станет вбивать разметочные кольшечки слишком близко друг к другу, он лишь испортит свою концепцию, потому что позже окажется, что кольшечки эти совсем не на месте в тех точках, которые были для них заранее предназначены.

б) Эпическое произведение по своей природе не имеет границы

Хочу остановиться еще на одной особенности эпического произведения: его неограниченности. Для художественной формы это очень странный признак, ведь по сути он равнозначен принципу бесформенности; но он существует, чего нельзя отрицать, и мы должны пристально к нему присмотреться, сознавая его важность и то, что, пока мы держимся за него, мы останемся на твердой почве эпического повествования. Положение дел сегодня даже на поверхностный взгляд выглядит так: эпик располагает формой книги, но книга, всегда будучи в каком-то смысле началом, никогда не имеет конца. Поэтому — мое дело просто начать, и да поможет мне Бог, чтобы я когда-нибудь кончил. Когда меня предупреждают, что я должен буду выступать с докладом в течение часа, мне приходится продумать свое выступление и набросать его план. Сегодня, похоже, существует только одна возможность принудить эпическое повествование принять внешне закрытую форму: чтобы такое произошло, количество страниц в книге должен определять издатель. Однако тот же признак — неограниченность формы — существовал, если мы вправе рассуждать о таких вещах, еще во времена самых первых рассказчиков. Потому что этот внешний признак есть вместе с тем внутренняя суть эпического повествования. Ранние эпосы тоже едва ли имели начало, а уж конца у них определенно не было. Человек вечером заканчивал свой рассказ, на завтра продолжал рассказывать дальше; люди всегда хотят услышать что-нибудь новое, но поскольку сюжетов вообще немного, а интерес слушателей, как правило, возрастает, если новые сюжеты увязываются со старыми, то в обиход вошла серийная работа — работа над очередным томом, потом его продолжениями, и так без конца. В драме герой умрет ровно через два часа после начала представления; эпик более человеколюбив: сегодня он позволяет герою умереть, а завтра, может быть, позволит ему воскреснуть. Это правильный эпический метод, для эпоса характерно тиражирование ситуаций и персонажей, и вас не должно сбивать с толку то, что нынешние псевдоэпические романы идиотски имитируют драму; из большинства современных романов при желании можно дистиллировать что-то наподобие драмы — именно потому, что их создатели исходят из неверного формального принципа. Придуманные ими ситуации и персонажи полностью исчерпывают себя на протяжении двух сотен страниц. Взгляните теперь на роман Сервантеса: да, может, вы и превратите в драму эпизод борьбы Дон Кихота с мельницами — это трудно, но не исключено во все. Однако *все* эпическое произведение, *всю* книгу «Дон Кихот» переработать в драму не сумеет никто, потому что в ней сотни раз, во все новых вариациях, повторяется одно и то же: Дон Кихот вновь и вновь сражается со все новыми разновидностями мельниц, и Сервантесу этого достаточно; а то, что Дон Кихот однажды все-таки умирает, — чистая случайность, всего лишь наклейка с

внешней стороны гигантского здания. Сервантесу однажды просто надоело все это, и он позволил Дон Кихоту умереть; Сервантес поступил как индивидуалист уже тогда, однако его последователям ничто не мешало создавать новые поэтические версии великого сюжета. В этом и заключается признак неограниченности, обусловленный как внутренними, так и внешними обстоятельствами; мы же теперь вплотную приблизились к процессу структурирования формы.

в) Динамика и пропорциональность
как формальные законы, помогающие
выстраивать содержание

И теперь я — одновременно с тем, о чем говорилось выше, — вижу противоположную тенденцию, другой закон многих эпических произведений, а именно, их стремление к обретению закрытой формы. Однако оба признака противоположны друг другу лишь в определенном, узком смысле. Ведь каждое эпическое произведение стремится, как и «Дон Кихот», обрести завершение, конец, а значит, закрытость и обеспечивающую такую закрытость форму. Эпос как таковой, конечно, ничем не ограничен, он формы не имеет; отдельное же произведение должно на чем-то прервать неограниченный эпос и для такого конкретного случая создает себе особые правила и принципы формообразования. Скажем, я хочу изобразить революционное брожение в некоем народе, и в качестве начала мне навязывает себя одна яркая сцена: нападение на высокопоставленного государственного чиновника, ночной эпизод. Я чувствую, что это подходящее вступление, своего рода глухая барабанная дробь, одноразовая сильная разрядка — и потом тишина. Я полностью разрабатываю все детали, помня о том, что моя интродукция должна иметь бурный и жутковатый характер. Теперь я уже не волен выбирать, что последует дальше. Дальше должен последовать гигантский отрезок действия, иначе пропорции окажутся нарушенными, и должен соблюдаться принцип динамики. Я начну медленно, широко, может быть, только с одним персонажем — чтобы потом добраться до мощного крещендо. Эти пропорции и эту динамику — как формообразующие тенденции — я ощущаю совершенно живо, и теперь, когда заработала моя фантазия, когда она непрерывно поставляет все новые материалы, высшим мериллом, или штаб-квартирой, из которой поступают решающие директивы, для меня становится этот формальный закон, требующий медленного, плавного развертывания действия. И вот, после того, как я словно бы протащил на ниточке один-единственный персонаж, теперь я бросаю в этот процесс-поток все персонажи, одного за другим, пока не будет достигнута определенная степень насыщения.

Я, значит, начал свой китайский роман¹⁸ с такого удара в литавры, с глухой барабанной дробью подспудной революции. Собственно, все там начинается —

я бы сказал, из музыкальных соображений — с сообщения об одном-единственном человеке, и далее из одного сообщения я тку широкое полотно, и человек этот становится красной нитью, с которой переплетутся другие нити: я группирую вокруг него людей и еще людей, принуждаю его к действиям, чтобы вокруг собиралось все больше и больше народу, и делаю его главным героем, делаю двигателем движения, потом присовокупляю еще несколько эпизодов, чтобы расширить тканное полотно, — теперь, в чисто художественном плане, начало моей книги готово. Нет, пока не готово, я должен продолжать. Эта воля к динамике и пропорциональности — по сути, музыкальная тенденция, тенденция архитектурной музыки — требовала именно таких персонажей, такого их накопления и таких, характерных для них способов развития; не только требовала, но и участвовала в их создании. Формальный закон, должен сказать, собственно, и породил содержание в его конкретном и окончательном виде. Эпическая же тема изначально была такой: некий одиночка тщетно и бессильно борется против власти — слабый герой, поистине слабый.

Рассмотрим теперь другое место романа. Революционное движение в стране достигает ужасной кульминации. Краски этих сцен непереносимо яркие; требуется переход к более спокойным, торжественным тонам. Тут я уже не могу использовать своего героя. Я позволяю ему пережить внутреннее потрясение, он оставляет секту, его следы теряются. Но для величественно-торжественных тонов мне нужно найти новые персонажи и новый сюжетный ход. Тогда-то и выныривает тибетский папа; я ищу и, найдя, описываю совсем другие, хотя тоже очень жесткие сцены: монастырь, ледяную страну Тибет и помпезное путешествие папы в Китай, к великому маньчжурскому императору. Прежде всех деталей уже прочно выстроена эта структура отрывка. Его базовый план.

Внутри самого отрывка, в конкретных деталях, действует та же формальная схема. С узловых пунктов просматриваются целые отрезки повествования, но в содержательном плане они пусты, они видны мне только в своей динамике и, приблизительно, в протяженности. Туда, в этот шланг, потом устремится фантазия и заполнит его. Я бы сравнил этот процесс с некой сетью напряжения, динамической сетью, которая постепенно распространяется на весь роман, оказывается привязанной к определенным концепциям, и именно в ее ячейках застревают те или иные эпизоды и персонажи. Вы понимаете теперь, что эпические произведения такого рода не похожи ни на старый тип эпоса с характерной для него безграничностью, ни на современный — плохой — тип драматизированного романа. Я здесь говорил только об одном — развивающемся — типе современных эпических произведений, которые отличаются тем, что воплощают в себе вполне определенные формальные законы. Я привел легко поддающиеся анализу примеры такого построения из собственных книг.

Если меня спросят, чему можно уподобить эти произведения — произведения, следующие таким формальным законам, — я скажу, что ответ подсказан

проделанным выше разбором примеров: их можно уподобить симфониям. Ничего удивительного: люди, занимающиеся музыкой и поэзией, то есть двумя искусствами, связанными со временем, попытайся они осмыслить характер этих искусств, обнаружили бы множество точек соприкосновения между ними.

ЯЗЫК В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

В заключение я хотел бы привлечь ваше внимание к роли языка в производственном процессе.

Как только вспыхивает первичная концепция, возникает озадачивающая ситуация — ситуация озадаченности. Автор должен говорить или писать, он и хотел бы говорить или писать, но тут обнаруживается одна странность, которую наблюдали многие: автор (не всякий, конечно) замечает, что в тот момент, когда он говорит или пишет, он переносится в совсем другой мир — или, скажем так, на другой духовный уровень. Его концепция перестает быть прежней — во всяком случае, по самоощущению многих авторов. Концепция изменилась при первой же попытке высказать ее или записать: она, может, пока еще кажется автору вполне приличной, но уже не сверхвеликолепной, как было вначале. Итак: вселение концепции в языковое тело существенно все меняет; скажем прямо: отчасти даже оказывает на нее деструктивное воздействие. Авторы (отваживающиеся признаться в этом) теперь ощущают: они лишились того, что, собственно, было для них самым важным, — уверенности в уникальности, неповторимости своей концепции; и потому они не вполне удовлетворены «языком». Может, такие авторы имеют концепции и интуитивные прозрения совершенно особого рода. У некоторых, и у меня в том числе, в этом плане все обстоит иначе.

Я лично языком удовлетворен. Язык оказывает мне необыкновенно полезные услуги, он для меня — наилучший помощник в работе. Существуют разные типы взаимосвязей и отношений между первичной концепцией и языком. Для тех, кого претворение концепции в письменный текст сильно разочаровывает, язык, очевидно, — лишь средство, рабочий инструмент или материал, потребный для воплощения их неизвестно откуда взявшихся идей и фантазий. Однако язык можно воспринимать и совсем иначе, да и сам он может быть чем-то совсем иным. Сошлюсь в подтверждение этой мысли на собственные мои наблюдения.

Бывают такие идеи, которые безъязыки. Автору лучше проявить осторожность и не записывать их сразу, иначе его ждет то специфическое разочарование, о котором шла речь выше. Идею надо дать время созреть, она сама построит для себя языковое тело. Рано или поздно наступит момент, когда человек, находящийся в подобной ситуации, найдет одну-единственную подходящую фразу — тогда, считай, он поймал зверя за хвост и зверь от него

никуда не убежит. Потому что действительно уже записанный эпизод не идентичен концепции этого эпизода — он богаче, конкретнее, жизнеспособнее, чем концепция! И прежде всего, в эпическом повествовании: он толкает действие дальше. Концепция, конечно, и сама по себе может включать идею движения, но уже написанное — последовательность фраз, постепенно ткущаяся мелодия — не оставляет автору ни минуты покоя. Насколько же насыщенные и ценнее такое записывание, чем концепция, которая в конечном итоге будет звучать в тексте лишь как генерал-бас.

Бывает, правда, и так — хотя звучит это очень странно, — что одновременно с идейной концепцией появляется другая, языковая. В этом нет ничего сверхъестественного, ситуация в чем-то близка сновидческой, ведь и во сне человек иногда слышит отдельные слова или фразы.

Возможен и третий вариант: когда автор вообще не имеет никакой идейной концепции, но ему вдруг западают в голову несколько нужных фраз, выхваченных бог весть откуда, и такая ситуация для него — самая счастливая. Прежде я уже упоминал о плавании Густава Адольфа по Балтийскому морю. Эта концепция долго оставалась немой, из нее ничего не выходило. Я боялся облекать ее в слова. Потом однажды, посреди обычной работы, когда я изучал иерархию придворных чинов во времена императора Фердинанда II¹⁹, я прочитал одну фразу — и она стала для меня *языковой концепцией*. А языковая концепция ничем не хуже концепции чисто идейной, для эпического же автора практика языка — вообще важнее всего. Та фраза гласила: «Когда Богемия потерпела поражение, никто не радовался этому так, как император. Еще никогда...» Дальше — ничего интересного. Но это было великолепно, это было началом для моей книги, здесь присутствовали и мелодия, и ритм — я мог начинать, не опасаясь больше никаких серьезных препятствий. Если бы меня попросили объяснить соотношение между концепцией и ее языковым оформлением, я бы сказал: концепция — это всего лишь слова песни, а язык — сама песня, музыка. Поэтому вместе с языком к концепции прибавляется что-то чрезвычайно важное, ведь песня не готова, пока для нее не найдена правильная мелодия.

Но как для текстовика нет ничего важнее, чем адекватность переложения его слов на музыку, так и для автора важнее всего наличие глубинной связи между концепциями, идеями и языком. Если плохо подобранное языковое оформление может вконец испортить его концепцию, то удачно подобранный язык, удачная языковая концепция снимает с него половину работы, даже когда он фантазирует или изобретает. Потому что удачно подобранный язык ведет его в правильном направлении, ведет, не нарушая смысла исходной концепции, к новым концепциям, язык ведь сам по себе — *производительная сила*. Величайшая формальная опасность для эпического автора заключается в том, что он может запрыгнуть в не соответствующий его задачам языко-

вой ареал. Филологи оказали бы благодеяние авторам и читателям, если бы составили лексикон немецких языковых стилей и специфических языковых ареалов. Такая работа сыграла бы очень важную роль в обучении авторов и в отпугивании дилетантов. В немецком языке не так уж много поддающихся четкому разграничению языковых стилей и стилистических ареалов. Имеется, например, разговорный язык, различающийся в разных общественных слоях, да и языковая разница между историческими областями отнюдь не исчерпывается диалектными особенностями. Кроме того, существуют особые языковые ареалы — газетчиков, биржевиков и других профессиональных групп. Но авторы, к сожалению, не уделяют им серьезного внимания — а жаль, было бы очень неплохо, если бы они чаще окунались в эти полноводные потоки человеческой жизни. Авторы куда больше ценят некоторые стили письменного языка: например, стиль Лютеровского перевода Библии²⁰. Этот стиль сохранялся на протяжении многих поколений, в настоящее время он занимает определенный литературный уровень, распространен в определенном ареале духовной жизни, и тот, кто вступает в этот ареал, должен сознавать, куда именно он попал, должен понимать, к чему этот язык будет его подталкивать; знать, что, даже если он воспользуется немногими фразами, они погонят его к другим фразам того же ареала, более того — к соответствующим мыслям и представлениям. Иными словами: *каждый языковой стиль есть производительная сила, которая к чему-то обязывает*, то есть он воздействует и на форму произведения, и на его идейное содержание.

Дилетанты охотно этим пользуются, потому что так им легче писать: они ведь не замечают, что почти не участвуют в игре, что пожертвовали своей языковой и идейной автономией; им достаточно бросить монетку в автомат, и машина сделает все за них. Но и настоящему писателю угрожает такая опасность, хотя для него сказанное мною не новость: человек думает, что он говорит, а на самом деле *и*, человеком, говорит некий язык; или: человек думает, что он пишет, а на самом деле некий язык пишет его рукой. Возвращаясь к нашей лексике, к языковым стилям и соответствующим им духовным ценностям, напомним, что имеются еще ямбический стиль Шиллера, проза старого Гёте, проза Генриха Гейне, влияние которой прослеживается и в сегодняшнем фельетонизме, классицистический стиль Платена²¹ и другие. Каждый из этих языковых стилей располагает своим ареалом духовной жизни, и потому его воздействие, с одной стороны, плодотворно и поучительно, а с другой, прежде всего для самостоятельных авторов, — катастрофически неблагоприятно, губительно. Только люди несведущие полагают, будто есть один-единственный немецкий язык и на нем можно думать, как угодно. Знаток же понимает: существует несколько языковых ареалов, и всякое движение языка происходит только в их границах. Тот, кто хочет быть духовно самостоятельным, кто хочет сказать — как поэт — что-то свое, находится в большой опасности, в бед-

ственном состоянии. Лучше всего, чтобы он знал об этой опасности; и не новость, что тот, кто хочет сказать свое слово, должен сперва оттолкнуть от себя старые способы говорения, чтобы, подобно птице, петь сообразно величине собственного клюва.

Что же касается формирующей силы языка, то я, собственно, — как с очевидностью вытекает из сказанного выше, — вижу в ней производительную силу одновременно формального и идеального характера; в процессе думающего писания или пишущего думанья сила эта проявляет себя тем, что гонит весь процесс от предложения к предложению, от периода к периоду. Время от времени усиливается влияние ритмических законов; иногда, похоже, ведущая роль переходит к аллитерации, иногда — к регулярным созвучиям. Идеальные концепции, пребывающие на одном уровне, борются с языковыми концепциями, пребывающими на другом. Победителем — у хорошего автора — всегда остается «язык». Кто сам не пережил этого, не знает основополагающего факта: что существует *живой язык*, отнюдь не идентичный тому, который знаком нам по работам филологов и по словарям. Живой язык — цветущий, конкретный феномен, который знать не знает никаких «слов» (как и мир не знает отдельных предметов), а представляет собой поток слов и предложений: доступный для зрения и исполненный мысли, постигаемый в ощущениях и насквозь проникнутый чувством. Я мог бы многое сказать по поводу банального противопоставления прозы и поэзии, прозаического и поэтического языков. Как бы то ни было, в настоящих эпических произведениях внимательный наблюдатель разницы между тем и другим не усматривает.

На этом я закончу свои рассуждения о языке, о свойственной ему производительной силе, действующей как в формальной, так и в духовной сферах, о его способности принуждать. Не буду говорить и о том, что считаю освобождение эпического произведения от связи с книгой хотя и трудным, но очень полезным делом, полезным прежде всего с точки зрения языка. Книга — смерть для настоящего языка. Эпик, который только пишет, живет в отрыве от присущих языку важнейших формообразующих сил; я уже давно сформулировал лозунг: «Прочь от книги!», но не вижу пока никакого другого пути для сегодняшнего эпика, разве что путь к некоему... новому театру. Это — в продолжение уже сказанного о необходимости возрождения и обновления эпоса.

Что делает эпическое произведение таковым? Умение его автора вплотную приблизиться к реальности и затем пробить ее насквозь, чтобы добраться до простых, но великих парадигматических ситуаций и фигур человеческого бытия. Во-вторых, чтобы создать живое произведение словесности, автор должен мастерски владеть искусством фонтанирующей фантазии. И, в-третьих, все это должно излиться в поток живой речи, по теченью которого автор только и может продвигаться вперед.



Альфред Дёблин

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН И МЫ

ЛЮБОЙ РОМАН НУЖДАЕТСЯ В КУЛИСАХ РЕАЛЬНОСТИ

Чем отличается исторический роман от любого другого?

Вот начало одного романа в обычном смысле: «Ночь опустилась над садом. За домом, из скопления деревьев, по переплетающимся ветвям которых она уже несколько часов карабкалась вверх, теперь вынырнула красноватая луна. Клаус открыл окно и, перегнувшись через подоконник, выглянул в ночной сад. Как всегда, его чувства были захвачены тихими бессловесными чарами. Рут, которая начала играть именно по его просьбе, резким движением захлопнула крышку рояля, недовольная тем, что Клаус перестал уделять ей внимание. Клаус обернулся...»¹ — и так далее.

Каждый из нас, читая процитированные строки, понимает: ничего этого на самом деле не было, да и сам автор, когда писал, не испытывал даже мимолетного желания обмануть нас, представив дело так, будто этот Клаус и эта Рут действительно жили на свете и будто именно в ту лунную ночь, в ночь с определенной датой, произошли события, о которых он собирается нам поведать. Мы ведь находимся не где-нибудь, а внутри романа, в сфере сочинительства, хотя — в чем и состоит ее своеобразие — здесь о событиях рассказывается так, как если бы они произошли в реальности и были фактами истории. Да, дело обстоит таким образом, и это важно, хотя и чрезвычайно странно, это наводит на размышления: если в романе, даже не историческом, события не описаны так, как если бы они действительно произошли или как могли бы произойти, и если сам сюжет не внушает нам доверия, то есть кажется (в сравнении с реальностью) неправдоподобным, то мы такой роман просто откладываем в сторону. Это плохой роман.

В нашем случае, как только Клаус и Рут впервые появляются на сцене, мы уже готовы за ними следовать — а почему? Потому что такие ночи, когда луна медленно карабкается вверх по ветвям деревьев — удачный зрительный образ, — действительно существуют. И некто Клаус — заметьте, *некто*, здесь обозначенный именем Клаус, — который, перегнувшись через подоконник, выгля-

дывает в сад (а звать его могут Максом или Эриком, это не имеет значения), тоже мог бы существовать. И нас не удивляет, что при таких обстоятельствах обнаруживается еще и некая Рут, которая играет на рояле и сердится, что Клаус смотрит не на нее, а в окно. И вот мы уже втянуты в текст, потому что все это могло бы быть; даже необязательно, чтобы так оно и было на самом деле. Мы принимаем правила игры: необязательно, чтобы так оно и было, но мы согласны участвовать в игре лишь при одном условии — все в ней должно быть, по крайней мере, правдоподобно.

Итак, даже роман в обычном смысле, «придуманный из головы», — даже такой роман, чтобы мы его приняли, нуждается в кулисах реальности. А если мы зададимся вопросом, давно ли так повелось и почему мы не чувствуем себя вправе позволить себе совершенно неправдоподобную игру, забаву стопроцентно абсурдную, то получим ответ: это наследственная черта нашего сегодняшнего романа. Он ведь представляет собой остаток — вернее сказать, определенную ступень развития — того повествовательного искусства, которое действительно сообщало о реально происходивших событиях. Когда-то эпос был *единственной* формой сообщения, распространения и хранения информации о реально происходивших событиях. В те времена люди еще не имели ни газет, ни даже письменности как таковой. Поскольку передавать информацию они могли только устно, к ней часто подмешивался сказочный элемент. Чтобы надежнее хранить сообщение, его фиксировали в стихах: стихотворная форма облегчала запоминание и в какой-то мере обеспечивала сохранность информации; оба эти обстоятельства, а вовсе не «эстетические соображения», собственно, и привели к тому, что ранний эпос и вообще ранние повествования дошли до нас в стихотворной форме. Четкое разграничение «правды» и «поэзии» произошло позднее², когда оно стало возможным благодаря появлению новых форм передачи и хранения информации, прежде всего — письменности и печатной книги; и лишь после этого начали развиваться наши, современные формы повествовательной и информативной прозы. Однако и теперь — много времени спустя после того, как получили всеобщее распространение письменность и книгопечатание, — у нашего романа сохранились старые, в определенном смысле еще доисторические отметины, и об одной из них мы только что говорили: мы хотим, имея дело с романом, который, как мы понимаем, есть плод художественного вымысла, все-таки верить в события, о которых он повествует, — эти события, пусть даже они не историчны, должны быть, по крайней мере, правдоподобными. А значит, перед сегодняшним автором стоит двойная задача: во-первых, узнаваемо и убедительно отобразить реальность, причем реальность определенную — если не во временном, то в пространственном смысле; и, во-вторых, из этих фрагментов реальности соорудить нечто такое, что сделает получившееся сооружение, как целое, романом. Признайтесь, что здесь мы сталкиваемся с курьезным феноменом. Автор и его

слушатель вступают в тайное соглашение, и автор принимается за работу, стараясь удовлетворить желание слушателя, и выставляет перед слушателем факты нашего мира, интересные и важные, но обобщенные и представленные не так, как они где-либо действительно имели место, а так, как это нравится слушателю. Автор и слушатель, распределив между собою роли, делают нечто такое, что каждую ночь и повсюду делает сон — только в более сжатой и примитивной форме, притом в голове одного человека, сновидца: одновременно и автора, и слушателя.

Нет ни одного типа повествования — я имею в виду повествование эпическое, — где бы не требовалось соблюдение той видимости правдоподобия, которую мы обнаружили в романе, даже современном. Когда в известной сказке Гензель и Гретель отправляются в лес и встречают там ведьму из пряничного домика³, то здесь и события, и персонажи, и вся ситуация совершенно невероятны. Ни о какой историчности и речи быть не может. Слишком много несуразностей. Происходят вещи, которые противоречат известным нам физическим законам. Но даже и здесь, в этой чистейшей поэтической форме, требуется — а иначе сказка покажется глупой и нелепой — наличие четко просматриваемого остатка реальности, то есть подлинной действительности и сообщения о ней. Сам факт присутствия детей, их детское поведение, их желания: все это реально. Встреча с негодьями, которые хотят завлечь детей в свои сети и воспользоваться их беспомощностью — это тоже реально. И бессловесными, но громоздкими кулисами за всем этим стоят собственная наша воля и наше чувство, побуждающие нас вмешаться в действие, поспособствовать его дальнейшему развитию: мы видим, как ведут себя дети, мы догадываемся, к чему это приведет, и мы хотели бы детям помочь — так и должно развиваться действие. А значит, действие — или повествование, или эта форма поэзии — черпает реальность в нас самих. На примере сказки видно еще отчетливее, чем на примере романа, в котором остатков реальности неизмеримо больше, чем в ней, почему мы проглатываем такого рода продукт и почему хотим его проглотить. Последовательность событий, преподнесенная в таком виде, дает нам чувство удовлетворения. Мы нуждаемся в подобных остатках реальности, потому что хотим иметь мир в своем распоряжении, нуждаемся в них как в представителях, заместителях мира — чтобы теперь, после всех унижений, которым нас подвергала подлинная действительность, после всех наших неудач в повседневности, мы могли свободно и самостоятельно, самовластно ими распорядиться. Мы хотим, наконец, применить к ним законы наших потребностей, а не физического мира.

Роман — сегодняшняя форма сказки. (Это, конечно, не значит, что роман — своего рода «сказка» и что мы должны ориентироваться на прежние сказки, когда решаем, как нам его строить сегодня. Дуракам и заигравшимся, которые поступают именно так, мы не будем мешать показывать подобные фоку-

сы: ведь, в конце концов, и они тоже — «поэты».) Но дело в том, что вся наша картина мира, построенная на причинно-следственных связях, — иная, чем у детей и у примитивных народов. Мы не переносим колдовских фокусов, противоречащих естественным наукам. Мы требуем, даже от романа, правдоподобия и достоверности, отвечающих нашим потребностям. Наше требование — чтобы изображение соответствовало реальности — подразумевает очень многое: не только логичность или допустимость описанного с точки зрения физических законов и причинно-следственных связей, но и логичность или допустимость в политическом, общественном и психологическом смыслах. Но коль скоро все эти условия выполнены, рассказчик может приступить к делу, и тут уже начинается его царство, то есть начинается — по обоюдному согласию автора и читателя — царство Как-если-бы⁴, царство некоей мнимой реальности, которая нас радует, раскрепощает, укрепляет и возвышает.

ОБОБЩЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ В РОМАНЕ

Итак, в романе мы строим реальность именно такого рода — мнимую реальность, если говорить в общем и целом. Если же быть более конкретным, то реальность в романе имеет еще одну особенность, на которую мне хотелось бы указать. На этом стоит остановиться, прежде чем мы перейдем к собственно историческому роману.

Мы ограничимся примером с тем Клаусом и той Рут, о которых шла речь в романе, процитированном в самом начале. В романе рассказывается, как мы уже говорили, о некоем Клаусе и некоей Рут. То есть мы видим — причем на первом плане — таких персонажей и такие связанные с ними события, которые имеют обобщенный характер. Эта обобщенность персонажей и событий, обнаруженная нами на первом плане, как раз и представляет собой ту особенность, на которую мне хотелось бы обратить внимание и к которой стоило бы пристальней присмотреться.

Мы должны задаться вопросом о смысле подобного обобщения. Почему автор выдвигает и хочет выдвинуть на первый план *некоего* Клауса и *некую* Рут, а также их действия? Ответ: прежде, в эпоху устной традиции, реальность, о которой хотели сообщить, могла быть передана в сообщении только в обобщенном виде. Нетрудно понять, почему: при устной передаче сообщения его содержание всегда упрощается и обедняется, что-то всегда «урезается», так легче запомнить главное. И устный сказитель — не намеренно, а в силу необходимости — ступает на путь, по которому следует всякое мышление и даже философия: на путь абстракции. Что-то он выпускает, а что-то, наоборот, выделяет, «приподнимая» над остальным. Когда, много позже, мы сталкиваемся с такими обобщениями, как *некий Клаус* и *некая Рут*, то имеем перед собой хотя и не понятия, какие порождает философия, но — промежуточный продукт, что-то близкое к ним. Сформулируем эту мысль так: персонажи и собы-

тия в эпическом произведении помещаются где-то на полпути между конкретной, индивидуальной реальностью и понятием. Значит, когда-то существовала закономерность, обусловленная устройством нашей памяти и природой устного сообщения, которая приводила к обеднению и упрощению информации, принимавшим форму обобщения. Одновременно и наряду с этой закономерностью работала другая сила — она действовала в том же направлении, но имела позитивный характер. Человек ведь не только вынужден, но и сам хочет что-то в своем рассказе выпустить, а другое, наоборот, «приподнять». Мы в данном случае сталкиваемся не с академической практикой. Повествовательная традиция знает лишь одну практику: человек хочет сориентироваться в жизни и настроиться на какую-то позицию, подготовиться к действиям. Это достигается посредством создания идеальных фигур и репрезентативных сюжетов.

Обе упомянутые древние силы — необходимость выпустить что-то и желание что-то «приподнять», придав ему обобщенный характер, — были унаследованы современным романом. Сила, принуждающая выпустить какую-то часть сообщения, сегодня уже не обусловлена той закономерностью, которая была характерна для эпохи устной традиции, — мы ведь давно научились фиксировать информацию письменно и даже в печатном виде, — но теперь появились новые обстоятельства, приводящие к точно такому же результату. Автор вынужден отказываться от описаний конкретного и индивидуального, от полного соответствия изображения действительности хотя бы уже потому, что не дело романиста всем этим заниматься. Во-первых, романист на это не способен. Здесь он не может конкурировать с фотографами и газетными репортерами. Технические средства, которыми он обладает, для этого недостаточны. Во-вторых, сегодня авторы романов все чаще предпочитают планомерно заниматься созданием идеальных конструкций и обобщений. Ведь в этой сфере оказывается задействованной очень живучая сила, присущая писателю: индивидуальная фантазия, склонность изобретать и комбинировать, получать удовольствие от свободной игры идей. (Правда, «свободу» таких идей не стоит переоценивать.)

Процедура обобщения, о которой мы говорим, касается главным образом определенных персонажей и определенных событий: тех, которые в романе выдвигаются на первый план и с которыми автор хочет свободно играть в своем воображении и в своих фантазиях. Все же в целом должно быть вмонтировано в абсолютно подлинную реальность — каждый раз, в каждом эпизоде, — и тут мы, читатели, не потерпим никаких фокусов. Хотя в обыкновенном (не историческом) романе, если говорить в общих чертах, выстраивается мнимая реальность, она должна опираться на фундамент солидной, выдерживающей проверку реальности общественной жизни. Главный сюжет, разворачивающийся на первом плане, может носить обобщенный и фантазийный характер, но и он подчиняется законам реальности — хотя бы уже потому, что разворачивается на совершенно реальном фоне и обусловлен им.

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН —
ЭТО, ВО-ПЕРВЫХ, РОМАН И, ВО-ВТОРЫХ,
НИКАКАЯ НЕ ИСТОРИЯ

Так как же обстоит дело с историческим романом? Приведу два примера. «Нет, не стану я пить эту чашу!» — выкрикнул Йост Фриц в окружавший его широкий простор, и если бы рядом с ним шел товарищ — но Йост шагал один, сморщив лоб в гневные складки, — то этот попутчик в столь погожий день вряд ли сообразил бы, что выпшагивающий в рыцарском облачении Йост переругивается с воображаемым небесным собеседником, с ангелом, скажем так, навязчиво предлагающим ему неприятное питье. Йост хмуро смотрел себе под ноги, на камни...» — и так далее. Это отрывок из прекрасного романа Реглера «Посев»⁵. А вот начало оригинальной и сильной книги Германа Кестена «Фердинанд и Изабелла»⁶: «Король Иоанн был в дурном расположении духа. Он думал о своей жизни. Вот уже пятьдесят лет пребывает он здесь, на этой доброй и красивой земле. Последние тридцать шесть лет правит здесь он, Иоанн Второй. Или все-таки правителем был тот другой: Альваро, обезглавленный сегодня в Вальядолиде, Альваро Первый, — он был правителем сердца короля? Когда страшный свет утренней зари забрезжил за оконным переплетом, король украдкой покинул спальный покой». И так далее.

Мы читаем это и сразу понимаем (мы, сегодняшние люди, но не исключено, что дикарь или человек из другой эпохи рассудил бы иначе): перед нами роман, а на самом деле все происходило по-другому. К сюжетам и персонажам, с которыми мы здесь столкнулись, вполне приложимо то, что мы установили раньше, когда анализировали роман вообще: нам предлагается мнимая реальность, в общих чертах достоверная и правдоподобная; но в данном случае к этому присовокупляется и нечто особенное: авторы обоих романов предпочли воспользоваться историческими персонажами и событиями. Вообще, то, что автор прибегает к историческим фактам, после сказанного ранее не должно нас удивлять. Ведь эпик издавна испытывал тягу к реальным событиям, в особенности — масштабным, бросающимся в глаза. И в этой тяге мы распознаем старую, исконную и неискоренимую функцию романа: сохранять память о великих событиях и доводить их до сознания масс, коллектива. Да, но как нам оценить эту атавистическую тягу, когда она проявляется сегодня, спустя несколько тысячелетий после изобретения письменности? Необходимость в том, чтобы именно писатель сохранял информацию, отпала. Есть люди, которые на этом основании — из-за использования подлинных исторических событий и личностей для построения некоей мнимой реальности — вообще отвергают исторический роман и считают данный жанр извращением. Они не правы. Только один смешанный жанр плох, поскольку не отличается чистотой и лишь сбивает читателей с толку, — очень распространенный ныне и очень любимый жанр биографий: произведений, которые, так

сказать, ни рыба ни мясо, ибо их авторы никак не могут решиться четко определить характер возделываемой ими нивы. Тут, собственно, легче сказать, что автору не удалось, нежели объяснить, в чем он преуспел: не удастся таким авторам нарисовать подкрепленную надежными документами историческую картину и не удастся создать исторический роман. Подобное бесполезное разбазаривание исторического материала в сочетании с его искажением, естественно, претит хорошему вкусу. Но с историческим романом дело обстоит иначе. Потому что не существует принципиальной разницы между обычным романом и романом историческим. Исторический роман — это, во-первых, роман и, во-вторых, никакая не история.

Это роман. Почему? Потому что в нем, с начала и до конца, рассказывается о вещах, которые — в таком виде — исторически не прослеживаются, для которых у автора нет документального подтверждения. Автор лишь придает им *видимость* реальности. А в конечном счете работает с механизмами, поддерживающими напряжение, то есть пытается возбудить наш интерес, порадовать нас, потрясти, полностью завладеть нашим вниманием, бросить нам вызов. Он, стало быть, воздействует на нас теми же методами, что и автор обычного романа или художник вообще, — пользуясь привлекательностью своего материала, языка. Значит, исторический роман — просто обыкновенный роман.

А как же насчет истории, к которой такой роман будто бы не имеет отношения? Ведь в таком романе истории предостаточно, автор наверняка перевернул целые тома — да, но историю он искажает, фальсифицирует, передергивает, еще в большей степени, чем любой биограф. В сравнении с автором исторического романа биограф кажется прямо-таки джентльменом, воплощением порядочности. Но тогда почему исторический роман должен оцениваться выше, чем биография? Признаем сразу: сильнейшей потребности многих наших современников в чистоте отображения действительности, их решительному стремлению к правде и правдоподобию соответствуют только подлинные исторические сочинения — чистое, неискаженное, голое описание фактов, какими они предстают в исторических документах. Мы требуем, чтобы события изображались именно так: безо всяких добавлений и пропусков, как они происходили в действительности. Уже попытка по-особому аранжировать факты кажется нам смехотворной и даже бесстыдной. Нас интересуют сами события, а не автор посвященной им книги. В лучшем случае мы готовы принять авторский комментарий к этим событиям — четко отделенный от их описания. А что же остается «искусству»? Мы предпочитаем, чтобы искусство в эту сферу не вмешивалось. Мы не дети. Правда об исторических событиях — вот чего все мы жаждем; и, если жажду эту нечем удовлетворить, мы погибаем, потому что нас тогда окружает сплошное вранье. Я был бы рад поверить, что такая точка зрения оправдана. Хотя ее сторонники, допуская они вообще существование искусства, наверняка прокляли бы исторический роман как нелепую фальсификацию.

Тот, кто так думает, скорее всего не откажется от своего приговора, но, быть может, смягчит его, если вместе с нами присмотрится теперь более пристально к двум обстоятельствам: одно из них касается самой истории, а другое — роли истории в романе.

ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЯ? ОТ ИСТОРИИ ХОТЯТ — ЧЕГО?

Поговорим теперь о самой истории.

История как таковая, я имею в виду историографию, — вовсе не однозначное и неприкрашенное описание того, что произошло. Она никак не является чистым и неприкрашенным отображением реальных событий. Полистаем исторические книги — Плиния⁷, Тацита⁸, Цезаря⁹ и так далее, вплоть до Буркхардта¹⁰, Тэна¹¹, Ранке¹², Трейчке¹³ и прочих великих историков. Разумеется, уж они-то не портят свой материал. Даты приведены правильно — по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев. С описаниями событий тоже все в порядке — стоп, как это у меня вырвалось «в порядке»? Ведь ученые никак не могут договориться между собой. Одно и то же событие один описывает так, другой — совершенно иначе. Шиллер в «Прологе» к «Валленштейну» говорит об исторической личности своего героя: «В истории приязнь или вражда | Его могучий образ искажают»¹⁴. Он говорит «искажают» — Шиллер, профессор истории, который уж точно читал исторические сочинения своего времени. Все историки, как правило, пользуются одними и теми же источниками, только черпают из них разное и по-разному. Кроме того, дошедшие до нас документы имеют лакуны, и историки эти лакуны заполняют, тоже по-разному. Описывать события, не составив о них собственного суждения, невозможно, а суждение сказывается уже на композиционном членении материала. Но суждение имеет свое основание в историке — в его личности, в общественном классе, к которому он принадлежит, в его времени. И потому искажается не только образ Валленштейна, но и образы многих других исторических деятелей — собственно, всех. Недавно вышло новое исследование о Нероне¹⁵, которого нам всегда представляли как олицетворение безумия римских императоров. И вот мы внезапно слышим, что старые источники ничего не стоят, что Тацит и иже с ним из-за своих реакционных взглядов лгали нам, подтасовывали факты и так далее, что Нерон был прогрессивным человеком, а в смысле нравственности — не хуже прочих своих современников. Вот до чего мы докатились. И ведь никто не поручится, что завтра не пошатнется какая-нибудь другая, даже самая незыблемая фигура. Общее «шатание», замечу в скобках, в историографии начинается всякий раз, когда на историческую сцену выходит новый общественный класс. И тот, кто, желая спастись от вранья и фальсификаций, которыми славятся авторы биографий и романов, попытается найти прибежище в «солидной и правдивой» историографии,

попадет из огня да в полымя. Очень скоро его охватит отчаянье — если, конечно, он не удовлетворится одной-единственной исторической книгой! Это лучшее, что ему можно посоветовать: придерживаться одной-единственной книги и твердо верить, что в ней заключена правда. Потому что уже две книги вызовут у него раздражение, а три — вообще исключают возможность панорамного обзора. Допущение существования двух или трех книг на одну тему — это уже, собственно, дурной культурный большевизм. Церковь всегда это понимала и признавала только одну Книгу. Итак, окинув взглядом историографию, мы вынуждены признать: *честна только хронология*. Уже при попытке как-то упорядочить даты начинается манипулирование историей: *от истории всегда чего-то хотят*. А теперь мы со всей надлежащей скромностью вернемся к историческому роману.

Историк, как правило, не сознает своей воли или не выдает, в чем она состоит, автор же романа свою волю знает. Историк — если, конечно, он не занимается исключительно хронологией — хочет вызвать к жизни образную картину оставшейся в прошлом реальности; романист хочет того же, но его интересует картина меньших масштабов, зато более насыщенная и конкретная. В чем тогда разница между историком и автором исторического романа? Приблизительно можно сформулировать так: автор-художник — работает решительно и осознанно, он обращается со своим не очень обширным материалом как хозяин и мастер; историк же копается в материале, тщательно исследует его, но при этом не чувствует себя свободным и постоянно испытывает угрызения совести. Потому что историк руководствуется бессмысленным идеалом правды, бессмысленным идеалом объективности — идеалом, которому заведомо противоречат все его, историка, концепции и все попытки как-то упорядочить материал. Автор романа ничего из себя не корчит, не занимается перед нами притворством, историк же нацепляет седую бороду и талдычит: всемирная история, мол, — это суд над миром.

Итак, мы немного смягчили ужасное подозрение, что авторы исторических романов грешат против истории. Только смягчили — о большем речь не идет. Найдутся люди, которые и теперь будут говорить: даже если история, написанная историком, тоже представляет собой своего рода исторический роман, нас все же устраивает именно и только такая форма романа.

Но хочет ли автор исторического романа конкурировать с историком, руководствуется ли он этим соображением или какими-то другими? Я уже ясно сказал: исторический роман — это, во-первых, роман и, во-вторых, никакая не история. Могу выразиться еще яснее: исторический роман — это, во-первых, роман, и, во-вторых (в-третьих, сколько угодно раз), роман и только роман.

«Но, — возразят мне, — вы говорите ужасные вещи, зачем тогда вообще нужна в романе история, какую роль она в нем играет, и неужели никого не заботит проблема подлинности?» Многие авторы романов определенно стремятся к «подлинности», демонстрируют чрезвычайную начитанность. Вспом-

ните хотя бы о Флобере и его «Саламбо»¹⁶. Когда Флобер прибавил к простой мнимости обыкновенного романа еще и особую мнимость, особое очарование исторически далекого от нас ландшафта, сделал ли он это только ради «экзотики»? Мы должны прояснить вопрос о «подлинности в историческом романе». Это кардинальный вопрос. От его решения зависит, можно ли вообще признать существование такого романного жанра.

НОВАЯ ФУНКЦИЯ РОМАНА:
СООБЩЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ И О ЛИЧНОСТИ.
ЛЮБОЙ ХОРОШИЙ РОМАН
ЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

Повторю: автор использует для целей своего романа какой-то доступный ему исторический материал точно так же, как может использовать газетные заметки или события, знакомые ему по личному опыту. Он ведет с собой и со своим слушателем или читателем ту примечательную игру, о которой мы уже говорили.

Однако легко заметить, что сегодняшней обыкновенный роман отличается от сказки, помимо прочего, сильнейшим, даже гипертрофированным акцентированием той массы материала, которую он вбирает в себя и несет с собой. Да, мы видим: целые комплексы материала, целые пространства реальности, которых никогда не обнаружить в других жанрах письменной литературы, находят себе место в романе и только в нем. Речь идет об интимных и интимнейших моментах частной и общественной жизни, о вещах, связанных с самим индивидом, половыми отношениями, любовью, браком, дружбой. Обо всех этих и других крайне важных и сильно воздействующих на нас феноменах невозможно составить точное и глубокое представление, ориентируясь только на газеты и исторические исследования. Репутация всякого хорошего современного автора — настоящая репутация, а не поверхностная — обусловлена именно его умением достоверно изображать такие индивидуальные и общественные феномены. И это не мы придумали, это констатация существующего положения вещей, что подтвердит любой читатель и что хорошо известно авторам — хотя автор, по своему усмотрению, обычно резервирует для себя определенное игровое поле и в большей или меньшей степени отклоняется от описанного нами направления в сторону сказки.

Итак, мы установили, что, утратив функцию сообщения, обыкновенный роман приобрел *новую, специфическую функцию примерно такого же характера*: функцию специального сообщения о феноменах личной и общественной реальностей. *Отсюда и возникает прирастающее к роману совершенно особое качество подлинности*. Я имею в виду такую подлинность, которую мы чувствуем непосредственно, которая, например, присуща «Госпоже Бовари» Флобера, или «Преступлению и наказанию» Достоевского, или «Воскресенью» Толстого, не

говоря уже о многих книгах Золя, о новеллах Мопассана... Любому читателю сразу бросается в глаза эта подлинность. Читатели, как и критики, прежде всего хотят знать, создает ли автор такое ощущение подлинности, и уже по одному этому можно заключить, что здесь мы имеем дело с важнейшим признаком романа.

Дело в том, что значимы и достойны записывания не только грубые, очевидные, собственно исторические факты — верхушечная история, если мне позволят так выразиться, — но и события глубинной истории, то есть истории отдельных людей и тех общественных условий, в которых они живут. *С точки зрения такой глубинной истории любой хороший — обычный — роман есть исторический роман; и ему несомненно (это поддается проверке) присуще качество подлинности.*

Мы должны теперь проследить эту мысль дальше. Мы обнаружили новое — решающее — обстоятельство. Хотя роман определенно есть только роман и ничего больше, ныне эта форма отягощена и даже, если угодно, разрушена, взорвана другой тенденцией — давлением, требующим, чтобы роман передавал сообщения, касающиеся упомянутых выше реальностей. В развитии романа произошел поворот. Роман и после изобретения письменности и книгопечатания не оскудел, не обеднел, не скукожился, став разновидностью сказки.

Если мы представим себе древний эпос как ствол могучего дерева, то можно сказать, что за прошедшие эпохи ствол этот расщепился на сколько-то ветвей. Уже после того, как журналистика и историография стали отдельными ветвями, развилась как самостоятельная ветвь и сказка. Наряду с журналистикой, историографией и сказкой, роман нашел для себя место на самом стволе, он не есть ответвление сказки. Роман — это новое, особое, своеобразное явление; он тоже занимается, помимо прочих своих функций, познанием реальности.

Мы установили, что в сегодняшнем романе перекрещиваются разные направления. За роман борются две тенденции: сказочная, подразумевающая максимум художественной обработки и минимум материала, и собственно романная, для которой, напротив, характерны максимум материала и минимум художественной обработки.

Поскольку познание действительности, прежде всего индивидуальной и общественной, есть особая задача романа, от романа отделилась еще одна, совсем новая ветвь, форма, которая почти полностью отказалась от традиционной художественной обработки: репортаж.

Сегодняшний роман оказался в противоречивой ситуации. И тому, кто хочет понять, как раздирают роман две упомянутые тенденции, я советую обратить внимание на еще одно обстоятельство, о котором сейчас скажу. Очень многие читатели говорят или даже требуют: книга не должна меня слишком сильно задевать. Пусть интерес к ней остается факультативным. Хорошо, конечно, чтобы сюжет и персонажи были как-то связаны с нашей жизнью, чтобы мы могли в большей или меньшей мере идентифицировать

себя и свою жизненную ситуацию с тем, о чем читаем. Но в то же время мы должны помнить: все-таки в книге все происходит не совсем так, как у нас. Должна сохраняться некоторая дистанция. Мы, то есть большинство читателей, только при соблюдении необходимых мер безопасности соглашаемся приблизиться к предмету, который кажется нам не вполне безопасным. Мы, так сказать, позволяем автору вовлечь нас в ситуацию, которая может, смотря по обстоятельствам, возбуждать нас или пугать, но в глубине души знаем: с нами ничего плохого не случится, это всего лишь игра, да и не о нас идет речь. Согласно некоторым эстетическим теориям, мы испытываем ощущение разрядки, облегчения и освобождения, когда заканчиваем чтение литературных произведений многих типов, в том числе и романов. Я же, честно говоря, хотя и соглашаюсь с такой точкой зрения, думаю, что за этим ощущением кроется еще и доля злорадства, удовлетворения оттого, что вовсе не с нами играли таким образом, не с нами злая судьба обошлась так-то и так-то. Можно сказать и иначе: время от времени мы все же чувствуем себя участниками романного действия, оказываемся вовлеченными в него, но — позволяем автору принести в жертву, вместо нас, нескольких воображаемых персонажей.

**АВТОР — ЭТО ОСОБОГО РОДА УЧЕНЫЙ.
ПОЭЗИЯ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ФОРМОЙ ИДИОТИИ**

Теперь, после приведенного выше разъяснения, понятно, почему возникали дискуссии по вопросу: правомерно ли относить роман к искусству, к поэзии, и является ли автор романа поэтом или «просто» писателем? В момент, когда роман принимает на себя новую функцию исследования и изображения специфических сфер реальности, его автора трудно назвать поэтом или писателем — *он становится особого рода ученым*. Он представляет собой специфический сплав психолога, философа, наблюдателя общественной жизни. Я хотел бы прибавить, что, к сожалению, в Германии сейчас сравнительно мало писателей, которые могут быть причислены к таким ученым. Современные авторы, как правило, предпочитают, не утруждая себя, эксплуатировать старые наблюдения, и одна книга живет жизненными соками другой, если это можно назвать жизнью, и пишется тоже заимствованным у предшественников языком, который, если у сочинителя большие амбиции, приобретает нарочито «художественный», манерный характер. Я отнюдь не готов признать того или иного автора поэтом только потому, что он утратил всякую связь с реальностью. Поэтом человека делают — помимо знания реальности, которую он лично наблюдал или пережил, — умение обрабатывать исходный материал, фантазия и подлинное владение искусством слова.

Впрочем, уже сегодня мы видим, что некоторые авторы, наоборот, чувствуют себя скованными старой романной формой. При всей оригинальности сво-

их переживаний, наблюдений и жизненного опыта, они не находят для себя в рамках старого романа никакой подходящей формы выражения. Новый автор-ученый восстает против автора-романиста. А общий тон задают грубые внешние факторы, необходимость добиваться популярности на книжном рынке. Поэтому совсем не случайность, что периодически откуда-то выныривают романы экспериментального характера, свидетельствующие о неудовлетворенности их создателей старой формой.

Мы сможем проконтролировать достоверность того, о чем говорилось выше, если бросим взгляд на сообщество авторов. Сразу видно: все они делятся на «проснувшихся» и «заснувших». Проснувшиеся — а я хочу говорить только о них — имеют близкие и естественные отношения с реальностью. Они вовсе не витают в облаках, чего от них ждали в эпоху плюшевой мебели. Многие поэты тогда пошли навстречу таким ожиданиям, и в результате их вежды смежил сон, а всей капиталистической эпохе, конечно, именно этого и хотелось: чтобы фундамент ее существования и фатальный задний план оказались завуалированными. Для этого ей требовались слепцы, пенкосниматели, краснобаи, еще лучше — рифмоплеты, стихотворцы, витающие в облаках и оторванные от земли; но на худой конец сгодились бы и поэты-идиоты. А что поэзия есть форма идиотии, тогда знал каждый порядочный буржуа. Если же поэт идиотом не был, ему прививали это качество воспитательными мерами — не оплачивая его работу. Но, мягко говоря, это чистой воды романтизм, когда Шиллер — не кто иной как деятельный придворный советник Шиллер¹⁷ — вдруг заявляет, что, когда шел раздел земли, для поэтов остались только небеса¹⁸. Это он просто по-кошачьи выгибает спину перед великим герцогом Веймарским¹⁹. Да, конечно, буржуазия всегда плохо платила своим лакеям, но на земле она употребляла плоды их деятельности весьма успешно — точнее, злоупотребляла этими плодами, как злоупотребляла и плодами разных религий, в результате лишившихся всякого кредита доверия. Однако писатель и поэт, повторю еще раз, — особого рода ученые, и потому они крепко стоят на земле. В силу своих научных интересов они имеют свободный доступ к реальности, да и доступна им реальность более обширная, чем многим другим, кому их скромная политическая, управленческая или коммерческая деятельность представляется единственной возможной реальностью.

Если я и жду чего-то от сегодняшнего художника, то только одного: чтобы он превосходно ориентировался в земных делах. Жду ли я от него мистического дара? Ни в коем разе. Не жду и никакой особой мистической или невротической восприимчивости. Жду — более комплексного зрения и мышления, более глубокого чувствования, более развитой комбинаторной способности. Я вообще придерживаюсь мнения, что тип художника воплощает в себе не вырождение, а норму — в сравнении с остальным человечеством, демонстрирующим явные признаки упадка.

Ну, поставьте теперь настоящего, не оглупевшего художника перед реальностью — или вообразите, что он сам поставил себя перед ней или погрузился в какой-то исторический материал, — неужели вы думаете или опасаетесь, что он будет сочинять так, как обычно понимают сочинительство, то есть фантазировать «из головы»? Ничего подобного — парень неподкупен, пронизителен, хладнокровен. И этого у него не отнять. Тут может что-то прояснить понятие резонанса. Художник заключает в себе особо чувствительный, совершенный резонатор. Когда определенные, волнующие его исторические феномены (момент волнения тут обязателен) подступают к нему достаточно близко, резонатор в нем начинает колебаться — и он, ученый, докажет, что он также писатель или поэт, если сумеет преобразовать этот резонанс в слова и поэтические образы. Не владение новой или старой формой, а интимная близость с реальностью делает человека хорошим или даже превосходным автором — то есть, в конечном счете, все дело в его резонаторе. С каждой удавшейся книгой наша земля увеличивается в размерах, наше богатство приумножается, плавание нового Колумба, открывшего для нас новую Индию, благополучно заканчивается.

Я и на сей раз, увы, не имею возможности выразить в достаточной мере свою неприязнь к ненастоящим художникам, которые злоупотребляют своим даром: к игрокам от искусства, заигрывающим с ним, творящим искусственное искусство; к тем, кто занят только стилистическим украшательством и пыгается приспособить неукротимые силы природы и искусства к требованиям буржуазных салонов. Ничто так не способствовало нынешнему плачевному состоянию искусства, соскальзывающего в конъюнктурщину, как предшествовавший этому феномен вырождения искусства в чистый артистизм.

СВОЕОБРАЗИЕ ПРОЦЕССА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Думаю, мы лучше поймем многие важные вещи, касающиеся вопроса о реальности в романе и, особенно, проблемы подлинности, если один раз полностью проследим процесс возникновения исторического романа.

Нечто, корнящееся в личной ситуации автора и в его общественном положении, толкает этого автора к определенной массе материала. Он уже не может освободиться от такого материала — скажем, от древнего Карфагена и Саламбо, от Испании и изгнания из нее евреев, от крестьянской войны²⁰, Валленштейна²¹. Тот механизм резонанса, о котором я говорил, уже сработал: сродство между автором и давно прошедшей эпохой обнаружилось — или только теперь возникло и укрепляется по мере того, как к автору поступают новые факты. Автор осознает, что прекрасно «понимает» свою эпоху, что мог бы вызвать ее к жизни. Он не намерен копаться в этих могилах, как археолог, — ради того лишь, чтобы обогатить какой-то музей; он хочет то, что уже погру-

зилось в пучину времени, *живым* перенести в наш мир — открыть уста мертвым, заставить двигаться их истлевшие кости. Он чувствует себя способным на это в тем большей мере, чем больше подробностей узнает. Он переживает стадию воодушевления, состояние, чем-то напоминающее самоощущение Зигфрида из «Песни о нибелунгах», когда тот отведал драконьей крови: он после этого стал понимать язык птиц²². Так и автору кажется, что он «понимает» ту эпоху и может перенести ее в наш мир — чуть ли не снова сделать живым полноценным миром. На этой стадии автор, несмотря на такие странности, не превращается в дурака, а, напротив, обретает чрезвычайно ясное зрение и чуткий слух. Он теперь делает — что очень характерно — выборку из своего материала, и тем в общем и целом уже определяет сюжетную линию книги. Поначалу это выглядит так: автор чувствует, что может сесть в лодку и отчалить от берега. И он отчаливает. Теперь происходит нечто, что не сильно отличается от исследовательского плаванья Колумба, хотя автора романа, увы, не ожидают на горизонте никакие золотиносные поля. Автор радостно гребет в своей лодке, и вот: все вдруг оказывается другим. Все происходит совсем не так, как он предполагал. Все меняется: автор рассчитывал, что будет иметь какие-то ориентиры, что сама история предпишет ему то-то и то-то, но многие опорные пункты ему теперь не подходят, в других же он более не нуждается. Страшно много балласта приходится выкидывать за борт. И что же он привезет в итоге в свой мир? Действительно ли ему удастся вернуть в наш мир то погрузившееся в пучину время, которое прежде так воодушевляло его? Он думал раньше, что уже почти держит в руках Валленштейна, или короля Филиппа²³, или вожаков восставших крестьян, — потому что знает о них все. Но теперь, когда, казалось бы, осталось «только» их оживить, облечь плотью, — и Валленштейн, и все другие внезапно меняются. Они вообще уже не те люди, о которых автор читал, которых имел в виду, разрабатывая свой замысел. Что же это? Это — переход одной реальности в другую. Превращение реальности, заимствованной из книг — призрачной, — в реальность подлинную, то есть заряженную намерениями и аффектами. Вливание исходного материала в прочную форму и одновременно — его специфическое преобразование. Это, собственно, и есть момент рождения романа.

И если мы зададимся вопросом, что же здесь происходит, то увидим: здесь происходит нечто такое, что с историком произойти не может. Первая заповедь для историка: оставить все факты как они есть. Автор следует иному принципу: он должен продумать и прощупать, пядь за пядью, весь свой материал, и если уж он хочет за что-то ухватиться и в самом деле за что-то ухватывается, то движет им не бессмысленная идея объективности, а единственный подлинный импульс, возможный для индивида на этой земле: *фрикционность действующего*.

Эмоционально окрашенное ощущение сродства с материалом никуда не делось и не позволяет с собой шутить. Оказавшись лицом к лицу с этим ма-

териалом, автор теперь пусть не до конца, но осознает, что, собственно, этот материал для него значит и что здесь вообще происходит. А происходит здесь *разговор* особого рода — особого в том смысле, что ведется он не отдельно от материала, а именно *посредством персонажей и развития сюжетной линии*. Мы знаем, что и в сновидении разговор ведется точно так же — через посредство материала сновидения и с самим этим материалом. Автору не вполне понятно, чем именно так привлек его этот материал, почему он, автор, вцепился зубами в какое-то одно место, почему одолжил свой голос такому-то и такому-то персонажу, почему так странно влюблен в тот или иной эпизод. Чем удачнее был выбран исходный материал, тем в большей мере и более исчерпывающим образом автор может развернуть в нем себя самого, всю свою деятельную человечность. Куски истории, ее части, которые автор позаимствовал, становятся кусками его самого, и он выставляет их наружу, один за другим; и так рождается действительно живой, жизнеспособный мир, постепенно разворачивающийся перед нами.

И за этим пробуждением к жизни, за отождествлением автора с его материалом следует еще что-то, другое. Ибо если автор открытый и цельный человек, он не будет вести с выбранным им материалом чисто приватный разговор, но привнесет в то далекое время жар сегодняшней ситуации. Это и будет то, что мы всегда ищем: реальность и подлинность исторического романа. Чем в большей мере исчезающая эпоха обретет в авторе своего представителя и «ключника», тем с большей охотой она станет раскрываться перед ним. И тогда без принуждения начнут выстраиваться в цепочку события, и все будет так, как если бы слепо обрушившиеся вниз камни ждали только взмаха этого посоха — посоха живого, страждущего, деятельного человека, — чтобы вновь вознестись вверх, сложившись в стройную колонну.

Насколько хватает у нас человечности, человеческого думанья, чувствования, внимания к общественной жизни — ровно настолько возможна подлинность в поэзии, то есть подлинный доступ к иному. Ибо мы сделаны из того же теста, что и те, в могилах; обстоятельства же, в которых мы живем, позволяют нам дать, хотя бы на время, приют и им, лишь по видимости отличным от нас.

ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ СЕГОДНЯШНЕГО РОМАНА И ИХ НОСИТЕЛИ

Я вернусь к мысли, высказанной мною вначале: сегодняшний роман, не только исторический, испытывает на себе воздействие двух течений. Одно из них движется со стороны сказки, другое — со стороны сообщения. Оба течения происходят не из воздушного пространства эстетической теории, но из реальности нашей жизни. Нам всем — в той или иной степени — свойственна склонность к обоим течениям. Но мы не обманываем себя, когда говорим: активные, прогрессивные слои общества сегодня больше тянутся к сообщению; неактив-

ные, умиротворенные и пресытившиеся — к сказке. Это, конечно, сильно обобщенная, упрощенная картина, но в целом она соответствует тому, что мы наблюдаем. Кто еще может любить тепленькую романную микстуру, мечтать о туманно-голубой поэзии, радоваться традиционным стилям и языковым формам, при этом не проявляя никакого интереса к реальности, — кто, если не тот, кому живется хорошо, кто хочет и дальше жить комфортно? Разве что те, у кого уже не осталось надежд, кто живет плохо и кто тоже хочет хоть немного комфорта. Таким нужны сны, покой, утешения. И против этого нечего возразить. Но они вообще ничего другого не хотят. А вот против этого возражать можно и нужно. Как бы то ни было, буржуазная масса в основном склоняется к игровому роману, активная же часть пролетарских слоев и борцы из слоев буржуазных предпочитают читать сообщения о фактах или рассуждения, касающиеся нашей индивидуальной и общественной жизни.

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН В ЛИТЕРАТУРЕ НАШЕЙ ЭМИГРАЦИИ. В ЧЕМ МОЖЕТ ВЫРАЖАТЬСЯ СЕГОДНЯ ПРИСТРАСТНОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО?

Пора наконец задаться вопросом: почему вообще сегодня зашел разговор об историческом романе?

Многие из нас живут сейчас в эмиграции. Нас уже не окружает то общество, с судьбой которого мы срослись, язык которого — наш язык. Мы выпали из силового поля общества, в котором жили прежде — по крайней мере, жили в физическом, материальном смысле, — а в никакое новое силовое поле не попали. Здесь мы находим мало таких вещей, в которых нуждается человек деятельный и которые могут служить для него жизненным стимулом. Большая часть окружающей повседневности — по крайней мере, в долгий период привыкания — ничего его сердцу не говорит. Так происходит во всякой эмиграции. И это, в определенном смысле, принуждает автора обратиться к жанру исторического романа. Такое положение — ненормальное, бедственное. Сам по себе исторический роман, конечно, не есть признак бедственного положения. Однако всякий раз, когда писатели оказываются в эмиграции, они охотно обращаются к историческому роману. Понятно почему: ведь наряду с таким фактором, как оскудение их нынешней жизни, здесь сказывается желание найти к ней исторические параллели, сориентироваться в историческом пространстве, оправдать себя, а также необходимость осмыслить свою прежнюю жизнь, найти какое-то утешение и — хотя бы в воображении — отместить врагам.

Еще до того, как нам пришлось уехать из родной страны, мы сталкивались с эмиграцией у себя дома. Можно ведь быть эмигрантом и в своей стране. И такими эмигрантами в Германии были не только многие писатели, но и целые группы населения — те, что по своей или чужой воле оказались исключенны-

ми из политической жизни. Мы, немцы, вообще имели очень много мистической, религиозной и сказочной литературы, литературы просветителей, скептиков, людей бездеятельных — много мнимо объективных повествований. У нас было мало активной литературы, порожденной пристрастностью деятельных натур: литературы, которая знакомила бы нас со своими открытиями в личной и общественной сферах или вела бы разговор с современной эпохой. Как раз исторических романов в Германии хватало, они писались отнюдь не эмигрантами, но что это были за романы? Были популярные романы египтолога Эберса²⁴, потом романы о римлянах и готах Феликса Дана²⁵, еще — историческая серия Густава Фрейтага «Предки»²⁶. Почему все эти книги давно покрылись пылью? Совсем не по причине литературной беспомощности авторов, ибо работали над ними выдающиеся мастера. А потому, что эти авторы, из-за политической кастрации, которой подвергались тогда все немцы, оказались неспособными мобилизовать свой исторический материал. Они не стремились к той единственной подлинности, которая позволила бы им осуществить такую мобилизацию, — к пристрастности деятельной природы, к воле страждущего и агрессивного человека; они хотели лишь одобрять и прославлять уже существующее. Они были со всем согласны.

Мы — несогласные. Я говорил сегодня об историческом романе. Моя тема была сформулирована так: «Исторический роман и мы». Теперь, напоследок, я хотел бы привлечь ваше внимание к этому «мы».

Читатель (он же слушатель) садится читать роман, и это становится *его* делом, его жизненным опытом. Речь в романе идет о нем, в более или менее внятной форме. Автор интересен читателю именно тогда, когда говорит с ним о *его*, читателя, деле. Так в чем же состоит сегодня наше общее — автора и читателя — дело, каковы принципы, по которым автор отбирает исторический материал, проникает в него и деятельно его преобразует? Нам достаточно оглянуться вокруг, и мы сразу это поймем.

Еще там, в стране, которую нам пришлось покинуть, мы видели не только экономическую анархию, дурацкую борьбу всех против всех, но и растерянность потерявших опору людей, их внутреннюю опустошенность, кошмарный нигилизм, который проник во все сферы жизни и привел к тому, что каждый старался жить, как умеет — равнодушно взирая на беды ближних, не гнушаясь гнильцой, с максимальным удобством устраивая собственную жизнь. Все это дополнялось сильнейшей озабоченностью больших и сильных народных масс, которые имели самые благие намерения, но оказались отстраненными не только от реальной политики, но и от участия в культурной жизни; которые были отравлены удручающим ощущением, что их лишили законного наследства и даже надежды на то, что они когда-нибудь сумеют это наследство вернуть. На такой почве могли произрастать только ненависть и жажда мести. И этой ужасной, но естественной ненависти противостояла лишь пози-

ция господ. Вымирающий господствующий класс разбрасывал свои нагло высокомерные суждения над массой среднего сословия — буржуазии, которая с удовольствием эти суждения присваивала. Народным же массам неоткуда было узнать, что в действительности представляет собой общество, — этому не учили ни в школе, ни за ее пределами. Зато народ завлекали и опьяняли представлениями, заимствованными из сферы жизни господ и рыцарей: образами насилия, войны, техники, успеха, рекорда. Естественную любовь каждого человека к земле, на которой он живет, к людям, вместе с которыми рос, такие учителя извращали, представляя как ненависть к соседу яростное и неутолимое желание расширить границы своей земли.

Нужно разоблачить и заклеить этот чудовищный процесс вырождения — вот первое напутствие, которое хотелось бы дать сегодняшнему начинающему писателю: как творческую задачу и как побуждающую силу, способную привести в движение его волшебный посох. Это негативное напутствие.

Теперь напутствие позитивное: писатели должны как можно дальше отойти от сферы насилия, презрения к людям и жестокости. Им следует избегать — в собственном поведении — трусости и удобных недомолвок. Им можно посоветовать изображать страшное не ради него самого, но чтобы показать, насколько оно отвратительно и уродливо. Неустанная борьба всех людей, особенно бедных и угнетенных, за свободу, мир, подлинно человеческое общество и жизнь, созвучную с природой, дает достаточно примеров мужества, силы и героизма. И тот, кто будет искать такие примеры, найдет их в истории любой эпохи — в гораздо большем количестве, чем могут предположить его омертвевшие душой противники, эти убогие оболочки, наполненные волей к насилию.



Альфред Дёблин

О ЛИЦАХ И ИЗОБРАЖЕНИЯХ И ОБ ИХ ПОДЛИННОСТИ

1. ПОДЛИННЫ ЛИ КОНКРЕТНЫЕ ЛИЧНОСТИ, А ЕСЛИ НЕТ, ТО ЧТО ПОДЛИННО?

В средневековой Европе разгорелся один небезызвестный ученый спор. Примерно тысячу лет назад. Участники спора называли себя номиналистами и реалистами¹. Очевидно, что спор этот продолжается и сегодня, хотя теперь оппоненты называют себя иначе. Сегодня трудно выразить одной фразой, о чем тогда — тысячу лет назад — шла речь, потому что с тех пор смысл многих слов изменился, но в самых общих чертах я бы описал ситуацию так: номиналисты придерживались мнения, что только конкретные вещи по-настоящему реальны и существуют; реалисты же, напротив, по-настоящему реальными и существующими признавали только всеобщности, универсалии, — ну, скажем, какой-то вид живых существ или, например, идею. Какое это имеет отношение к лицам и изображениям? Скоро я объясню, но сперва мы поговорим о двух типах нивелировки: о нивелировке человеческих лиц смертью и о той нивелировке, которую производит общество с его классами. Что я понимаю под нивелировкой? Сглаживание, стирание личностных и частных различий, их исчезновение под воздействием «чекана», которым манипулирует более мощная сила, в нашем случае, собственно, две силы — сила смерти и сила человеческого общества.

2. НИВЕЛИРОВКА ЛИЦ И ИЗОБРАЖЕНИЙ СМЕРТЬЮ

Когда-то из вод Сены извлекли тело молодой женщины. Неизвестную — несомненно, самоубийцу — доставили в парижский морг. И там она произвела на всех очень сильное впечатление. Чем именно, я скоро скажу. С незнакомки из Сены (*L'Inconnue de la Seine*) сняли посмертную маску². Многие люди приобрели потом репродукции этой маски или ее копии.

Что же такого удивительного было в молодой незнакомке, и по какой причине столь многие люди приобретали фотографию или отливку ее посмертной маски? Я попытаюсь дать приблизительное описание, по фотографии.

Мы видим лицо девушки или молодой женщины двадцати — двадцати двух лет. У нее гладкие прямые волосы, разделенные на прямой пробор. Глаз ее мы не видим, ее глаза не видят — теперь, когда девушка мертва, — а в последний раз глаза эти видели берег Сены и воды Сены, потом закрылись, и потом были: миг холодного ужаса, головокружение, быстрое наступление удушья, притупление сознания. Но тем дело не кончилось. Я думаю, девушка бросилась в реку отнюдь не в радостном настроении. А что с ней произошло после приступа отчаянья и короткого периода удушья, это мы видим теперь, на фотографии, читаем по ее лицу — и именно из-за этого от девушки, о которой мы говорим, не смогли отделаться так просто, как от сотен других тел, попавших в тот же морг. Рот незнакомки слегка ввалился, губы немного выпячены, щеки тоже ввалились, и теперь нам видится, хотя глаза спокойно закрыты (они закрылись от соприкосновения с холодной водой и еще — чтобы целиком сосредоточиться на внутренних образах), — и теперь нам видится, ниже этих глаз, вокруг рта, подлинно нежная улыбка: не улыбка восторга и блаженства, но улыбка приближения к блаженству, улыбка ожидания, означающая призыв или шепот и видение чего-то такого, к чему девушка обращается на «ты». Незнакомка определенно приближается к неведомому нам счастью. Впрочем, если учесть, как выглядит это лицо и как его передает фотография, во всем этом кроется некий жутковатый соблазн, некое искушение. И если всякой мысли о смерти присуще, в той или иной степени, умиротворяющее воздействие, то это лицо непосредственно источает что-то вроде завлекающих чар.

Что я хочу сказать таким толкованием? Вернемся к высказанной ранее мысли о нивелировке человеческих лиц смертью. Существуют собрания помертвых масок. Каталог одного из них лежит сейчас передо мной. Если его полистать — а там есть и маска прекрасной Незнакомки, — то бросится в глаза довольно большое сходство между изображенными персонажами. Сами лица конечно же разные: лицо Виланда³, разумеется, отличается от лиц Фридриха Великого⁴ и Джонатана Свифта⁵, от бородатого волевого лица Оливера Кромвеля⁶ или полного и широкоскулого — Лоренцо Медичи⁷. Некоторые лица, кажется, прямо-таки пышут здоровьем, другие осунулись от долгих болезней. Но всех их объединяет то, что можно назвать негативным признаком: всем этим людям чего-то не хватает. Они не просто закрыли глаза, что придает им вид неживых или, быть может, всего лишь спящих. С этих лиц стесано множество моментальных подвижных черточек. Смерть основательно их подретушировала.

И что же остается после работы Великого Ретушера, после такой подчистки? Остается человеческое лицо en bloc*, результат жизненной работы этого конкретного человека и работы жизни над его плотью и костями, над чертами его лица, над формой лба, носа и губ. Эти лица, сохраненные в виде по-

* целиком, без деталей (фр.).

смертных масок, выражения этих лиц — то же, что камни, обкатанные и отшлифованные многовековой работой моря, и на них не удержалось, не сохранилось ни единого моментального движения. То, что мы имеем перед собой, — это результат en bloc. Работа уже завершена. То, что заставило эти лица замереть, нивелировало их и сделало похожими друг на друга, было единой для всех людей смертью. Индивидуальными, персональными, единственными эти лица сделались при жизни, благодаря двум мощным процессам: благодаря отчетливому впечатку их расы и личным задаткам, постоянно развивавшимся, — и благодаря внешним факторам, то есть природе и обществу, которое отчасти способствовало такому развитию, отчасти же препятствовало ему. Однако теперь ничто более ничему не способствует и не препятствует; эти глаза по праву закрылись, поскольку от их обладателей, людей, уже нечего ждать. И мы чувствуем, глядя на этих умерших, что они не просто немые и замкнуты в себе, а стали чем-то еще более умаленным: предметами в чужих руках. Когда-то они действовали, и это сформировало их лица. Теперь они лишь претерпевают что-то, они пассивны, их форма подвергается переделке. Смерть выступает как позитивное начало. Существовали какое-то время Гуго Вольф⁸, Данте, Фокс⁹, Фридрих Великий, но теперь они все — побежденные, умиротворенные, пребывающие в покое объекты.

Блок жизни, сказал бы я, вот что остается. Но почему же обольстительница из Сены улыбается? Да, тут мы сталкиваемся с воздействием незнакомой нам анонимной силы. Не все люди с легкостью соглашаются, чтобы их забрали отсюда. Многие в лучшем случае засыпают, иначе говоря: в лучшем случае, ступая на порог анонимного царства смерти, они впадают в расслабленно-умиротворенное состояние сна. Однако бывают и такие, кто переживает это событие как приближение к счастью. Индивидуальная жизнь постоянно швыряла таких людей из стороны в сторону, воздвигала препятствия на их пути. Теперь они освободились от всех препятствий. Теперь, когда глаза их закрыты для индивидуального бытия, они могут улыбнуться навстречу другой, иного рода, анонимной для нас ступени существования; могут даже по-детски выпятить губы — так выражая свое сладостное ожидание, предвкушение чего-то иного.

3. НИВЕЛИРОВКА ЛИЦ И ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЩЕСТВОМ

Вот передо мной еще одна папка — с изображениями живых. Эти люди еще не погрузились в гигантский чаң, где с них будут смыты все личные черты и все следы их деятельности. Вода, шлифующая эти камни, как мы видим, еще их покрывает. Они еще перекачиваются в том море, что качает на своих волнах всех нас. И если, сталкиваясь с посмертными масками, мы ощущаем мощное воздействие на них анонимной силы, всегда одной и той же, — мы как бы вглядываемся в обширный и своеобразный лунный ландшафт, — то что мы

видим здесь — индивидов? Поразительно. Нам кажется, что мы видим индивидов. Но потом внезапно мы замечаем, что и здесь ни о каких индивидах речи нет! Правда, это уже не величественно-монотонный лунный ландшафт смерти, отсвет которой падает на все лица, это нечто другое. Тогда — что? Мы сейчас говорим об удивительной нивелировке лиц и изображений человеческим обществом, классами, соответствующей им культурной ступенью. Это — вторая анонимная сила, которая тоже уравнивает людей и приводит их к единообразию. Если воспользоваться словом, которое я употребил вначале, рассказывая о средневековом споре: мы недавно убедились во *всеобщности* смерти, проявляющей себя как подлинная реальная власть и сила; хотя, признавая это, мы не можем сказать, что она собой представляет — выглядит ли как жница с косой или как прекрасная дарительница мира. Теперь же, рассматривая изображения живых, мы встретились *со второй всеобщностью*, тоже реальной, действительной и проявляющей себя как сила: мы встретились с коллективной силой человеческого общества, класса, культурной ступени.

4. УТОЧНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ТАКОГО РОДА

Каждый из нас знаком со сколькими-то людьми и всегда узнает их, где бы ни встретил, по определенным, сугубо персональным признакам. Мы общаемся только с конкретными личностями, и каждая личность имеет имя, а также свойственные ей, совершенно особые, неповторимые характерные черты. Нам даже незачем смотреть на отпечатки пальцев, которые, как известно криминалистам, могут принадлежать только единственной конкретной личности, почему личность и идентифицируют по таким отпечаткам. Повторю: мы не нуждаемся в этом криминалистическом средстве. В повседневной жизни нам вполне хватает других признаков, которые, правда, не столь отчетливы и не переводятся с легкостью в цифры, но и они тоже достаточно однозначны. Любой человек имеет такой-то рост, такую-то манеру держаться, такое-то лицо (чудовищно сложный комплекс примет, но мы привыкли охватывать его с первого взгляда), а еще у человека такой-то голос, такая-то походка, такие-то жесты — и даже малой части всего этого, как правило, достаточно, чтобы надежно идентифицировать человека. А идентифицировать — значит признать его уникальным существом. Уникальность любого человека для нас самоочевидна.

Но что мы скажем о муравейнике? Вот на тропинке, под корнем или среди камней, мы видим примерно пять сотен муравьев, пребывающих в быстром и хаотичном (на наш взгляд) движении. В ста шагах отсюда трудятся муравьи из другого муравейника. Как бы пристально мы ни наблюдали за этими крохотными живыми существами, мы в лучшем случае распознаем их видовые признаки и сможем констатировать тот факт, что между отдельными

особыми существуют незначительные различия. Но идентификация конкретных муравьев — абсолютно нереальная для нас задача. А между тем, несомненно — или, во всяком случае, мне так хочется думать, — что и в муравейнике, и в сообществе пчел насекомые не только знают «своих», но и способны отличать одну особь от другой.

Что я этим хочу сказать? Хочу напомнить об известной закономерности (редко прилагаемой к людям), а именно: при наличии определенной дистанции все различия стираются; когда дистанция достаточно велика, индивид исчезает, остаются одни универсалии. А значит, соотношение индивидуального и коллективного (или универсального) зависит — о соломоново решение! — от того, как далеко находится наблюдатель. Поскольку мы люди, мы имеем дело только с индивидами — если, конечно, речь идет только о людях! Правда, уже с неграми нам, европейцам, разобраться сложнее. А будь мы слоны, мы бы, наверное, делили людей — в зоопарке, я имею в виду, — на тех, что просто проходят мимо, и тех, что дарят нам кусочки сахара; зритель представлял бы в наших глазах отдельную группу, был бы особым видом человека. Способность так смотреть на людей, то есть на нас самих, дает огромные преимущества. И не обязательно принимать точку зрения слона — позиция ученого-естественника, историка, философа или экономиста уже гарантирует достаточную удаленность от предмета наблюдения. Заняв такую позицию, мы вдруг оказываемся чужими для самих себя и узнаём о себе что-то новое. А это необыкновенно полезно — узнавать о себе что-то новое. Сумеет ли мы воспользоваться тем, что узнали, это второй вопрос, но уже само такое знание — благо. В данный момент, когда мы рассматриваем фотографии, речь тоже идет о расширении нашего поля зрения. Сейчас я покажу, почему это так. Перед нами великолепный учебный материал.

5. ВСЕ ФОТОГРАФЫ ДЕЛЯТСЯ НА ТРИ ГРУППЫ

Не думаю, что линза фотоаппарата видит принципиально иначе, чем человеческий глаз. Она, скорее всего, видит хуже, поскольку лишена подвижности, однако показывает нам то же, что можем увидеть и мы. Пластика за линзой, в отличие от сетчатки глаза, надежно удерживает изображения, и фотографии потом этими изображениями по-разному пользуются, точнее, используют их для разных целей. Это, конечно, частное дело фотографов; но нам важно, что фотографии, как и художники, могут научить нас видеть что-то определенное или определенным образом смотреть.

Бывают, во-первых, фотографии, которые смотрят на мир глазами художника: для них человеческое лицо — только материал для изображения, их больше всего привлекают эффекты эстетического порядка. О сделанных ими снимках обычно говорят: «Очень интересно», или: «Очень красиво», или:

«Оригинально»; все это хорошо, но здесь мы ничего не узнаём о людях и ничего не найдем лично для себя.

Бывают другие фотографии — их встречаешь повсюду, как лесные или полевые цветы. Они, хотя их так много, для нас все же более значимы, чем отнесенные к первой группе «художественные натуры». Они стараются создать «похожее» изображение позирующего им человека. Сделать «похоже» — значит запечатлеть на фотографии персональное, приватное, уникальное в данном конкретном человеке. Оглянемся назад и вспомним, с чего мы начали: такие добивающиеся сходства фотографии — те же номиналисты, не желающие ничего слышать о великих универсалиях. Мы, может быть, оказываем этим господам слишком много чести, когда говорим, что они заняли определенную позицию в знаменитом интеллектуальном споре, решительно приняв сторону номиналистов. Как бы то ни было, бесспорно и очевидно одно: фотографии этой группы привержены, пусть и отчасти, реализму — они ведь ориентируются на заработок.

И, наконец, есть еще третья группа. Я не считал страниц в лежащей передо мной стопке, не подсчитывал и произносимые фразы, но знаю, что уже самое время размахивать флажком: ибо мы наконец добрались до финишной прямой и переходим непосредственно к фотографиям. Как обстоит дело с третьей группой фотографов, вы уже более или менее поняли, ведь не напрасно я с вами говорил. Эта третья группа (но я грубо обобщаю, когда говорю о «группе», в действительности таких фотографов очень мало, а если иметь в виду Германию, то кроме Зандера никого и не вспомнишь) — так вот, те, кого можно отнести к третьей группе, осознанно принимают сторону реализма, признают великие универсалии силами действительными и реальными; а когда они что-то фотографируют — посмотрите на эти снимки, — то получаются у них не «похожие» изображения, на которых мгновенно, не прилагая усилий, можно опознать господина X или госпожу Y; нет, на их фотографиях мы распознаем и должны распознавать — я сейчас скажу, что.

6. ЧТО ЗДЕСЬ ДОЛЖНО РАСПОЗНАВАТЬ

Все, о чем я рассказывал, — гигантский воздушный шар, к которому будет подвешена крошечная гондола. Но мне мало что осталось сказать. Момент истины подготовлен, и я уступаю место философу. Изображения, которые мы сейчас увидим, — слова этого философа и говорят не только каждое по отдельности, но и в своей совокупности; говорят гораздо яснее, чем мог бы сказать я.

То, что мы видим, — своего рода культурологическое (точнее, социологическое) исследование, проводившееся на протяжении последних тридцати лет. Мы видим, как можно написать книгу по социологии, ничего вообще не записывая, а просто создавая изображения — изображения человеческих лиц, а не, скажем, национальных костюмов; все это заслуга фотографа, обладающего

острым взглядом, умом, наблюдательностью, обширными познаниями и, не в последнюю очередь, умением превосходно фотографировать. Как существует сравнительная анатомия, без которой не обойтись, если хочешь понять устройство и принципы развития человеческого организма, так же и этот фотограф занялся *сравнительным* фотографированием — и так нашел для себя научную точку зрения, позволяющую сверху обозревать то, что не доступно для восприятия фотографов, которых заботят лишь частные детали. Каждый из нас может, глядя на фотоснимки, вычитывать ту информацию, которая интересна ему, — здесь очень много разной информации; но как целое эта коллекция снимков представляет собой превосходный — ослепительно яркий — материал для реконструкции культурной, классовой и экономической истории Германии последних тридцати лет.

На фотографиях мы видим типы крестьян — очевидно, мало подверженные изменениям, ибо сама форма мелкого крестьянского хозяйства издавна обладает определенной стабильностью. Эта социальная группа и сегодня не исчезла, не растворилась, она лишь несколько потеснена в своей значимости. Мы видим крестьянские, закрытые от посторонних семьи и понимаем — хотя ни полей, ни пахотных орудий на снимках нет, — что люди эти занимаются тяжелым, грубым, однообразным трудом: работа сделала их лица жесткими, обветренными. И мы видим, как позже, при новых условиях жизни, те же лица меняются — как рост благосостояния, переход к более легкой работе смягчают резкость физиогномических черт.

В нашей воле — перейти теперь, листая альбом, к обитателям маленьких городков; потом к следующей группе — ремесленникам из крупных городов; а тех, в свою очередь, сравнить с работниками современных промышленных предприятий: с пролетариатом сегодняшних метрополий. Мы таким образом получим возможность быстро окинуть взглядом развитие экономики за последние несколько десятилетий. И, чтобы правильно понять ход этого развития, важно не пропустить последние снимки серии, запечатлевшие типы рабочих-комитетчиков, анархистов и революционеров.

Человека формируют: потребляемая им пища, привычная для него воздушно-световая среда, работа, которую он совершает или *не* совершает, идеология общественного класса, к которому он принадлежит. Чтобы понять это, вам не нужно читать пространные отчеты или копаться в правовых документах — достаточно посмотреть на фотографии третьей группы, запечатлевшие бюргеров и их детей. Напряженность нашего времени становится очевидной, когда мы видим этих студентов, которым параллельно с учебой нужно работать, а рядом с ними — *такого* профессора или *такую* бюргерскую семью: очень спокойную, укоренившуюся в самодовольном спокойствии, еще не догадывающуюся ни о каких переменах.

Быстрое изменение нравственных представлений в последние десятилетия, текучесть поведенческих норм. Среди персонажей четвертой группы — еван-

гелический пастор (блистательный фотоснимок): пастора окружили воспитанники, чьи лица откровенно дисгармонируют как с выражением лица их духовного наставника, так и с его таларом. Или вот еще: по проселочной дороге шагает школьный учитель, человек с окладистой бородой и в очках, — судя по его виду, безупречно честный идеалист, мечтатель. Член студенческой корпорации, в фуражке и со шрамами на лице, явно ни на секунду не забывает, что озарен отблеском славы сообщества, к которому он принадлежит. Невозможно-важный купец с женой тоже относятся к четвертой группе: опять картинки на тему «приход-расход», но с темой крупной индустрии они не связаны. Это типы из прошлого, не им теперь быть на первых ролях. Общество переживает мощную встряску, большие города чудовищно разрослись, кое-где еще можно встретить отдельных оригиналов, но уже готовится появление новых типов человека. К «новым», похоже, стоит отнести сегодняшнего молодого торговца, сегодняшнего гимназиста — кто мог предвидеть, еще лет двадцать назад, что возрастные градации настолько смешаются, что юность перейдет в наступление? А эта вот ученица лицея, в костюме молодой дамы, — она уже выглядит как миниатюрная женщина, как юная самка! Мы зрительно схватываем признаки размывания возрастных границ, доминирующего положения молодежи, стремления всего общества к обновлению и омоложению, пусть даже ценой нарушения биологических законов.

Чуть ли не каждая фотография заслуживает отдельной истории, можно сказать, приглашает к сочинительству; готовый материал для писателей: снимки вкусней и питательней той стряпни, которой по большей части потчуют нас газеты.

К этому, собственно, я и хотел привлечь ваше внимание. Всякий, кто умеет смотреть, быстро и многому научится, рассматривая хорошие фотографии: они лучше, чем доклады или теории, помогают понять как других людей, так и самого себя.



Альфред Дёблин

О ПОЛЬЗЕ МУЗЫКИ ДЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Польза эта заключается в том, что музыка может служить для литературы моделью. Сказанное нуждается в пояснении.

Сперва ситуативная ремарка: я сижу вечером за письменным столом, передо мной раскрытая книга, за спиной — включенное радио. Говорит диктор, слова мне мешают, потом начинается музыка. И происходит следующее. Только что я читал, следил, скучая, за рассуждениями автора — теперь я прислушиваюсь к звукам. Тут тоже кто-то «говорит». Нет, именно этот «кто-то» говорит по-настоящему. Говорит он очень умно. То, что я слышу, приковывает мое внимание. Это не слова и не «мысли» — нет, все же мысли, но из другой сферы мышления. Я их понимаю. Мне кажется чудом и благом, что я могу за ними следить. Что же там играют? Современную музыку? Не имею понятия. Квартет Штайнера исполняет попури, шлягеры, танцы¹. Как только раздаются первые звуки «симфонического произведения», я вообще теряю контроль над собой: это уже «литература»; это то же самое, как если бы я опять принялся за чтение книги.

О чем здесь идет речь? Раньше от «музыки» ждали страсти, мечтательности или красоты, душевного тепла, грусти; она могла нести на себе отпечаток маршевого или танцевального ритма, что превращало ее в конкретный жанр. Теперь — она «думает». Я наблюдаю, я слышу, как соединяются понятия. То, что я слышу, и есть музыкальные «понятия»! Это что-то особое, но мне теперь понятно, что для ушей тоже имеются свои понятия и своя логика.

Впрочем, удивляться стоило бы, если бы это было не так. Ведь каждый человек способен и слушать, и смотреть, и рисовать, и писать, и думать. «Думает»-то он постоянно — только иногда так, иногда иначе. Ибо мозг заведует всеми видами его деятельности. Мышление же, о котором мы сейчас говорим, осуществляется посредством ведения голосов. Голоса соединяются, вступают в союз друг с другом, начинают формулировать какую-то мысль, заканчивают ее — потом эта мысль обсуждается и оспаривается. Может, здесь присутствует и аффективный, чувственный, аспект — но не он играет главную роль.

Потому что не важно, что или кто здесь себя выговаривает, важно, что здесь вообще что-то выговаривается, и важно — как.

Понятно, что музыка может очень далеко отклониться от сферы духа, погрязнуть в материальном: то есть перестать быть размышлением, превратиться в сонное оцепенение, которое часто путают с «чувством». Плоха та симфоническая музыка, которая питается из источников, к музыке отношения не имеющих; плохо, если именно там берут начало ее натянутые (в этом случае правильнее сказать: перепутанные) голосовые линии. Но к чувству упомянутые сторонние источники никакого отношения не имеют. А если и имеют, то к чувствам смутным, не столько человеческим, сколько органическим, животного-вегетативным, из зоны *perivus sympathicus**. Неорганизованные стоны, бессознательные порывы, вздохи, смех, бессмысленный лепет. Это музыка для нервных узлов. Но даже в ней можно уловить остатки духовного, логичного, управляемого головным мозгом — как раз в ее фактуре, которая есть говорение, да и в самой потребности говорения.

Околдовывающая музыка — самая опасная: она насилует слушателя своим «содержанием». Слушатель тогда увязает в самом музыкальном материале. Не бывает мышления, науки, искусства без материала — но их тем более не бывает без овладения материалом, без «познания» материала. Мы множество раз наблюдали и переживали проигранные боксерские поединки или поединки других борцов: материя повсюду одерживает верх над людьми, которым не хватило умения, чтобы с ней справиться.

Что же такое хаос, материя в литературе? Под «романом» может подразумеваться многое: долгое размышление, фельетон, говорение, изображение, пустая болтовня. Но: мы читаем у Карла Маркса главу о товаре и деньгах², строго расчлененный анализ движения товара, превращающегося в деньги и в новый товар — процесс этот противопоставляется движению денег, превращающихся в товар и прибавочную стоимость, — и вдруг начинаем воспринимать эту строгую и в то же время плавно текущую мысль как «музыку». Почему именно как музыку, а не, скажем, архитектуру? Потому что любое движение сопряжено со временем, а значит, музыка и работа духа связаны теснейшими узами. И если я говорю, что мы воспринимаем развитие мысли как «музыку», то это не вздорная поэтическая метафора, а констатация факта: оба феномена подчиняются одному и тому же структурному закону.

Итак, в сфере духа возможна музыка.

В музыкальной стихии духу даже легче проявить себя, чем в языковой. Расчлененная последовательность, в сочетании с синхронностью, то есть с одновременностью в глубине, — в музыке этого можно добиться быстро и легко. В музыке человек думает легче и свободнее, и при этом глубже, чем в языке.

* симпатического нерва (*лат.*).

Мышление, привязанное к языку, хромает — оно беспомощно. Музыка, уже по своей структуре, ближе к науке, чем поэзия. Строгость и логичность, свойственные настоящей музыке, не доступны (по крайней мере, пока еще не доступны) поэзии (которая слишком сильно пахнет «орфическим», то есть всем тем, что связано с *sympathicus*), зато они доступны науке. Поэтому было бы уместнее называть определенную последовательность умозаключений не логической, а музыкальной, да и саму «логику», как научную дисциплину, называть учением о фундаментальных музыкальных законах.

Слушая по радио музыкальные шлягеры, я удивляюсь — я, пришелец из другой страны, страны Литературы, которая, как следует из вышесказанного, не может считаться родиной Духа, — я все больше удивляюсь тому, как обретают форму музыкальные массы, или музыкальные группы, или музыкальные фразы. Насколько же добротен сработан такой предмет искусства, как форма песни! В каждой из своих частей. Логика и строгость мышления сами по себе приводят здесь к «форме», к «искусству»! Пусть мне покажут хотя бы одно «стихотворение», способное в этом плане сравниться с песней, — немецкое, ибо в китайской поэзии, как я слышал, дела обстоят лучше. Используя музыкальные формы, мы обретаем способность думать — на протяжении длинных отрезков проходимого мыслью пути — безупречно точно!

Музыка может служить моделью для литературы. Я постарался это вкратце показать. Поэтому писателю не обойтись без подлинной музыкальности, то есть без понимания чуть ли не сверхдуховной, сверхлогической природы музыки.



Альфред Дёблин

Я РАССПРАШИВАЮ, Я ПРОВЕРЯЮ СЕБЯ

Ни у кого из нас нет оснований хвалиться проделанной работой.

Я проаживаюсь по комнате, порой присаживаюсь и подолгу сижу. Я чувствую: что-то принуждает меня подвести итог моей жизни, рассчитаться с собой, как если бы я ступил на порог смерти. Я должен вспомнить, как я дошел до такого состояния, что я сделал и что оставил несделанным.

Я, собственно, рос как растение, добывал себе пропитание, где придется, так оно все и продолжалось. О том, что меня гонит по жизни, побуждая хотеть того и сего, я никогда всерьез не задумывался. Меня что-то гнало, а я, ничтоже сумняшеся, полагал: я сам и есть движущая сила гона. Я никогда не приглядывался к тому, что представлялось мне моим «я» и что по ходу этого гона чего-то хотело, а другое отвергало. Сократ учил: «Познай самого себя!» Но как человеку познать себя, если он — познающий и познаваемое одновременно? Я всегда очень пристально приглядывался ко всему вокруг, пытаясь добиться остроты взгляда и точности суждений, и накапливал впечатления, когда же садился и начинал писать, остерегался проявлять свои чувства, ибо считал это слабостью. На протяжении многих десятилетий я бодро крутился в самой гуще людей и был человеком, как и они: крошечным живым организмом, микробом, попавшим в водоворот вместе с миллионами себе подобных.

А что в итоге лежит у меня за спиной, да и под ногами, — это я и хочу увидеть, должен наконец увидеть.

День Страшного суда? Вовсе нет. Не мое это дело вершить суд, и уж тем более над собой — нет, мне бы только оглянуться назад, посмотреть на пройденный путь.

Так каким же он был, этот путь?

Я родился шестьдесят два года назад — в 1878-м, в Штеттине. Мой отец владел швейным ателье, мать происходила из более зажиточной семьи. Впрочем, как складывались отношения между матерью и отцом, я описал еще двенадцать лет назад, в маленькой книжечке, которая увидела свет, когда мне

было далеко за пятьдесят¹. Что мне дала такая домашняя обстановка? Отец ходил на работу и вообще ходил... своими путями. Наша добрая матушка занималась хозяйством, а также нами, пятью детьми, и молча страдала. Мы все были на ее стороне. И порой становились свидетелями кошмарных домашних сцен.

Я учился в начальной школе при реальной гимназии и посещал шестой класс, когда отец — ему тогда было сорок — сбежал с девушкой на двадцать лет моложе его, швеей из принадлежавшей ему мастерской, бросив на произвол судьбы и дом, и семью. Он уехал в Америку. Не хочу никак комментировать это несчастье, обрушившееся на нас.

В 1888-м мы покинули Штеттин и переселились — не имея никаких средств, рассчитывая лишь на материальную поддержку со стороны братьев матери — в Берлин, в восточную часть города. Воспоминания о 1888-м — о дороге в Берлин, о нищенском существовании, которое началось там, о нашей бедности — не оставляют меня до сих пор. Это и было моим взрослением. Это то главное, что дал мне мой дом.

Это осталось во мне: что мы — что я принадлежу к беднякам. И целиком определило тип моей личности. К этому народу, к этой нации я принадлежал: к беднякам.

Меня определили в приходскую школу на Фридрихсхайн, а через три года приняли в гуманитарную гимназию, с освобождением от платы за обучение. Я и раньше всегда был года на три старше большинства одноклассников. А теперь попал в гимназию, где оставался до получения аттестата в 1900 году. Что нового узнал я там, чему научился? Там преподавали прусские учителя-чиновники, профессора, и они давали ученикам так называемое гуманитарное образование, а также старались сформировать у них прусско-официозный образ мыслей. Это подразумевало, среди прочего, обретение таких качеств, как дисциплинированность и трудолюбие. В гимназии много чего изучали, в том числе и классическую древность; а еще, например, — немецкие героические саги и немецкую литературу вообще, которую ученики в итоге знали очень прилично. Велось там и преподавание истории, с упором на Пруссию и Германию. Мы были молоды и легко всё воспринимали, но в гимназии царил именно государственная система образования, и она сохраняла свою значимость все время, пока я учился.

А как обстояло дело с моим еврейством? Я слышал от родителей, еще в Штеттине, что они по происхождению евреи и что наша семья — еврейская. Иных признаков еврейства, помимо этих утверждений, я внутри семьи практически не замечал. Снаружи — там мне, само собой, доводилось сталкиваться с антисемитизмом, и положение мое в этом смысле мало чем отличалось от положения тех соучеников, которым дома говорили такие же вещи. На протестантские уроки закона Божьего мы не ходили, с уроками же иудаизма все

было как-то неопределенно и вообще они считались «необязательными». Учеба отменялась на время всех христианских праздников, а для нас, сверх того, — и двух-трех праздников иудейских. Вот что, собственно, я мог видеть и наблюдать. Родители мои отмечали только два больших праздника: Новый год и День искупления². Тогда, нарядно одевшись, они шли в храм — как правило, вечером и на следующее утро, — а потом весь день не работали. В храм они брали с собой книги — молитвы и отрывки из Ветхого Завета, также псалмы, набранные в две колонки, на немецком и на иврите. На уроках иудаизма (которые проводились от случая к случаю) я тоже начал заниматься ивритом, но дальше самой начальной стадии не продвинулся. Какой мне был интерес учить — помимо латыни, греческого, французского — еще и иврит, если мне никогда не нравилось иметь дело с опустевшими языковыми постройками? Увлекаясь «Илиадой» и «Одиссеей», «Эддой», «Нибелунгами» и «Песнью о Гудрун», я не видел смысла в изучении ранней истории израильского народа³, который потом подвергся рассеянию и по сути перестал существовать как народ. Что же касается иудейского религиозного учения, то о нем мне приходилось и читать, и слышать. Но чтение это было и оставалось поверхностным. Оно не вызывало у меня никакого ответного отклика, не приводило к ощущению причастности.

Зато мама моя умела читать по-еврейски, и меня трогало, как эта женщина, которая много и тяжело работала, заботилась о нас и редко когда находила время просмотреть газету, по большим праздникам тихо присаживалась в углу комнаты. В руке она держала раскрытую книгу и какое-то время негромко читала из нее вслух, на иврите. Иногда мы слышали только бормотание. Всякий раз, когда я думаю о еврействе, перед глазами встает эта картина. Мама надрывалась ради нас, детей, в то время как наш отец, ее муж, вернувшись из Америки, жил в Гамбурге с той самой девицей и периодически забрасывал письмами прежнюю большую семью. А мама могла бы еще немного порадоваться жизни, хотя бы на закате дней, но у нее начался дрожательный паралич, тяжелая нервная болезнь, и она умерла в доме моего старшего брата, заменившего нам отца. Мы написали на ее могиле: «Любовь не кончается». Так что душа моя навсегда привязалась к ней — тихо сидящей в комнате, с книгой, и молящейся.

Но как же я загорелся — это и стало первым жизненным проявлением той сумеречной стороны бытия, с которой потом я уже никогда не расставался, считая ее своей истинной сущностью, нисколько не сомневаясь, что уж эта-то сущность мне хорошо известна (а может, то, что я о ней знал, в самом деле было «мною»?), — как же я загорелся, когда мне впервые попала «Пентесилея» фон Клейста⁴, и как обрушил свой гнев на холодного, слишком «хорошо темперированного» Гёте, в свое время отвергнувшего это произведение! К Клейсту, которого я заключил в свое проснувшееся сердце, вскоре присоединился

Гёльдерлин⁵. Клейст и Гёльдерлин стали богами моей юности. «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим... ибо Я Господь, Бог твой»⁶ — это я читал и слышал, но на том все и кончилось. Ибо разве Он доказал мне, что Он — Бог? Мир тек снаружи, зримый, доказуемый, поддающийся исчислению, — без вмешательства Бога, по естественным законам. Он тек «естественно». Я тогда еще не задавался вопросом, что значит «естественно». И история тоже текла — в рамках государства и человеческого общества. И если почитатели Бога, не желавшего видеть рядом с собой других богов, в Него верили, то они, конечно, имели право так поступать, но это было их личное дело. Мое же «личное дело» состояло в другом.

«Гипериона» Гёльдерлина я между 1898 и 1900 годами носил с собой повсюду⁷, в виде книжечки издательства «Реклам», под конец совершенно расклеившейся. Наверное, так внимательно и с таким увлечением этот роман в те годы вообще никто не читал. Они оба, Клейст и Гёльдерлин, были — в духовном плане — моими крестными отцами. Вместе с ними я стоял против Самоуспокоенности, Мещанства, Сытости и Умеренности.

Направляли ли меня эти двое? Умел ли я следовать за ними? Я знаю: они так и не постарели. Ибо, думая о них сегодня, я понимаю: они были первыми, кто меня разбудил, и до сих пор остаются моими друзьями. Направлять меня они не могли. Но я по-прежнему и неизменно люблю их как товарищей, как братьев: двух этих великолепных... несчастливцев.

Итак, я ступил на этот путь. И, начав учиться в Берлинском университете, в 1902 году, сделал — почти сразу одно за другим — два открытия. В маленьком библиотечном абонементе на Шёнхаузерштрассе, где я иногда брал что-нибудь почитать, я наткнулся сперва на Достоевского, а потом — на Ницше.

Мне тогда исполнилось двадцать четыре года, и я изучал медицину. Еще раньше на моем музыкальном небосклоне взошла звезда Рихарда Вагнера⁸, соревновавшаяся в яркости свечения со звездой Иоганна Брамса⁹. Очень скоро сияние Вагнера потускнело. И меня уже манила новая звезда — Гуто Вольф. Тогда-то в руки мне и попали «Раскольников»¹⁰ Достоевского и несколько книг Ницше. «Раскольников» чудовищно меня взволновал. Это было чем-то неизмеримо большим, чем обычное волнение при чтении захватывающей книги. Нет, я вообще не чувствовал, что читаю роман, — эта книга вывела меня за пределы литературной сферы; и не в том даже дело, что на моих глазах оказались взорванными границы литературы. Меня — после опыта с Гёльдерлином и Клейстом — опять привели в какую-то неведомую мне область. «Раскольников» стал событием: он раскрыл передо мной новую реальность, как и «Гиперион» был для меня отдельной реальностью.

И Ницше. Помню: как я сижу в комнате и после чтения «Генеалогии морали»¹¹ закрываю книгу, откладываю ее в сторону и прикрываю тетрадкой — в буквальном смысле дрожа, меня бьет озноб, — и как потом, не в силах спра-

виться с собой, встаю, и начинаю ходить по комнате, и останавливаюсь, прислонившись к печке. Я не понимал, что со мной случилось, что со мной сделали.

Знал ли я тогда Бога, несмотря ни на что? Бога, против которого направлена эта книга? Знал ли я о Нем? Догадывался ли, предчувствовал ли, что Он есть? Не могу сказать. Но я видел, что здесь, в книге, все ужасающе серьезно, что разговор идет о Боге и что я к этому причастен.

Как и в случае с моими несчастными друзьями Клейстом и Гёльдерлином, я здесь встретился и не с литературой, и не с философией в собственном смысле. Я наткнулся — еще раз — на Первоисток. Читая эти произведения, я чувствовал себя как человек, который, не будучи альпинистом, вдруг узнаёт, что должен совершить опасное восхождение к глетчеру, — но он выдерживает это авантюрное испытание и лишь в ходе экспедиции, а по-настоящему еще позднее, понимает, что внутри него всколыхнулось, какие силы он в себе носит. Ведь именно так обстоят дела с жизнью в нашем буржуазном — нет, наверняка в любом — обществе. Только малая толика нашего естества как-то выражает себя во внешнем мире, по большей же части мы существуем в сонном оцепенении, многие важные вопросы никогда не ставятся, жизнь наша протекает в тесном, жестко ограниченном кругу. Мы, как ежи, сворачиваемся в шар и выпускаем наружу иголки. И тогда — где еще остались проблемы, о каких вообще проблемах может идти речь? Кроме обеспечения пропитания, крыши над головой, удобства и бесперебойных семейных отношений? Когда мы, как умеем, справляемся с проблемами голода и холода, с потребностью в сексе и жилье и, может, еще с удовлетворением своего честолюбия, что нам еще остается?

На остальную часть человеческого существования — неизмеримо огромную часть! — наброшен пыльный чехол.

Итак, я плыл по течению и учился. Благосостояние в стране, где я жил, росло, и я чувствовал себя вполне комфортно. Как вдруг с неба упала молния и ударила в землю прямо рядом со мной, и в ослепившей меня вспышке света я увидел то, чего не видел никогда прежде. Эта вспышка была: Достоевский, и метания Раскольникова, и разговоры братьев Карамазовых, и потом «Генеалогия морали» — гром, целая гроза, одна молния за другой; так попавший под грозу, испугавшись, уже жалеет о прежней голубизне неба.

А почему я вообще занялся изучением медицины? Потому что хотел правды, но не той, что заключена в понятия, которые ее разжижают или расчлениют на волокна. Я не хотел никакой абстрактной философии, еще меньше меня привлекала миловидная иллюзорность искусства. Я успел пережить многое; забавы избалованных жизнью людей были мне не по вкусу, а от «художественности» — по крайней мере такой, какую я видел вокруг — меня и вовсе тошнило. В противоположность этому, та жизнь, которую я наблюдал

повседневно, была заряжена серьезностью и энергией; и еще меня поражала неумолимость, ужасность Природы, частью которой являемся и мы. И тут пришел Ницше; он не изучал медицину и мало что понимал в естественных науках, но зато с тем, что знал и чем владел, он умел обращаться. Он был честен, требовал правды и только правды. (Но нередко и одержимость при-мешивалась к какой-нибудь из его правд, которая в результате переставала быть правдой.)

Затаив дыхание, я следил за тем, какую волну он гонит, вслушивался в его слова. Я и не принимал его мысли, и не отвергал их. Я позволял им на меня воздействовать. Для меня они были просветлением и потрясением.

Существует два типа встреч, за которые человек должен быть благодарен. Первый: встречи с людьми, выполняющими наши желания или отвечающими на поставленные нами вопросы. Второй: встречи с людьми — а также книгами, событиями, картинами, — которые порождают в нас новые желания и новые вопросы. Встречи второго типа подобны весеннему дождю в пустыне: после него земля покрывается обильной растительностью, хотя еще вчера была желтым раскаленным песком, не дающим никаких оснований предполагать, что в нем скрывается так много драгоценных семян.

Этими двумя способами нас и выводят наверх, к заливающему наш мир свету. Такими мне видятся волшебники, о которых я говорил. Я долго бился над какими-то персонажами и образами Клейста, Гёльдерлина, Достоевского, над фразами Ницше и потом — оставлял их в покое. Но это не значит, что я их безвозвратно терял; нет, я еще много раз возвращался к ним, и всякий раз они снова трогали и волновали меня.

Я все сижу и сижу в своей клетушке, на кровати, и все спрашиваю себя, как я до такого дошел.

И все ясней и ясней осознаю: был бы я таким, как большинство выпешших из дому одновременно со мной, или тех, кого я встретил позднее, уже в пути, — я бы к настоящему моменту сделался холодным как лед и непоколебимо уверенным в себе. Их-то ничему не научило несчастье, которое выгнало нас из Германии, а теперь гонит и из страны, где мы обрели приют. Они железной хваткой держат то знамя, которое держали и раньше. Знамя... речь в конечном счете всегда о знамени... Какое знамя держал я сам? Какое держу сейчас? А те другие — могут сказать, какое знамя держат они и держат ли его сознательно?

Я всегда принимал сторону бедных; это единственное, в чем я твердо уверен. Время от времени, по тем или иным — не очень важным — причинам, я проходил какой-то отрезок пути, следуя за очередным «знаменем». Правда, вступать за это знамя в открытый бой мне никогда не хотелось.

Поздно, году в 1935-м, уже в Париже, мне встретился еще один волшебник: Кьеркегор¹². Он тоже, но в меньшей степени, чем другие боги, всколыхнул во мне мощную внутреннюю борьбу — правда, не принесшую очевидно-

го результата. Думая об этом несчастном, я всякий раз вспоминаю, как Г. фон Клейст, познакомившись с философией Канта, впал в отчаянье¹³. Кьеркегор хочет добиться правды любой ценой. Он говорит, что хочет, — но на самом деле правда ему ни к чему. Он уже ею обладает — не правдой, конечно, а своей правдой. И крепко ее держит — точнее, держится за нее. Не отваживаясь отойти ни на шаг. Совесть подталкивает его к новым поискам. Он утверждает: совесть-де мешает ему найти искомое. Но то, что ему мешает, — совсем не совесть. А его закоснелая гордость. И потому он ведет себя как собака, привязанная к столбу: лает и лает, что-то вынюхивает, бегая по кругу, но фактически не может сдвинуться с места. Это грешный человек, сам закрывший для себя доступ к правде. Какие патетические усилия, какое сверхнапряжение! Он был бы счастлив, если б кто-то взял его за руку и льстивыми словами помог освободиться от собственных добровольных обязательств, — а потом отвел бы в сторонку.

Я не хочу забывать: в первой половине 20-х годов в Берлине произошли события, очень похожие на еврейский погром, — на востоке города, на Гольновштрассе и в ближайшей округе. Это случилось на фоне ландскнехтской психологии тех лет¹⁴: нацизм только что родился и издал первый крик. Тогда лидеры берлинского сионизма стали приглашать мужчин еврейского происхождения на собрания, где обсуждались эти события, их контекст и цели сионизма. После одной из таких дискуссий ко мне домой пришел человек и стал уговаривать меня уехать в Палестину, но мне это было чуждо. Однако его слова все-таки повлияли на меня, иным образом. Хотя я и не согласился ехать в Палестину, но решил, что должен наконец составить себе представление о евреях. Я понял, что, собственно, евреев не знаю. Моих знакомых, которые называли себя евреями, сам я евреями не считал. Они не были евреями ни по вере, ни по языку — и в лучшем случае представляли собой остаток исчезнувшего народа, давно растворившегося в новом окружении. Поэтому я спрашивал себя и спрашивал других: где же еще остались евреи? Мне говорили: в Польше.

И я поехал в Польшу. Потом рассказал об этом в книжке¹⁵. Да, я там бывал и впервые в жизни увидел евреев. Их вид глубоко меня тронул. Я не забыл того, что видел в варшавском гетто, в Вильне и Кракове, а еще в Гура-Кальварии — городке, который служит резиденцией великому раввину. Люди там носили одежду немецкого средневековья — длинные черные облачения, называемые кафтанами. Говорили они на средневерхненемецком языке¹⁶, остановившемся в развитии и перемешанным со словами, заимствованными у соседних и других народов, с которыми евреи сталкивались в своих многовековых скитаниях. Я видел на улице стайку учеников, мальчиков в возрасте от десяти до двенадцати лет: с обеих сторон лица у них свисало по длинному завитому локону, а на ногах были туфли и чулки, как у пажей. Я их воспринимал как самобытный народ, как вообще другой мир. Они имели свою ре-

лигию, свой язык, привычное окружение. Но как бы мало я ни причислял себя к ним, они меня причисляли к себе.

После этой поездки я начал испытывать живой интерес к судьбе евреев. Я вдруг понял план создания особой страны для бездомных и повсюду гонимых остатков этого народа. Может, евреям, которые давным-давно оторвались от родной почвы и вот уже два тысячелетия дрейфуют между народами, удастся вновь обрести какую-то землю, на которой они станут развиваться по-своему, опираясь на свои силы. Националистический сионизм я отвергал: он казался мне слишком европейским и слишком буржуазным.

И я тогда прибился к «территориалистам»¹⁷. Я даже пытался учить идиш. Я совершал поездки, писал статьи и выступал с докладами в поддержку этого движения. Но я так и остался «снаружи». Мои слова здесь ничего не значили, и сам я тоже не получал новых впечатлений. Еще одно знамя, которое я не сумел удержать...

Далее, многие годы в Берлине я был причастен к социализму — с момента, когда закончилась Первая мировая война и еще долго после нее. Рабочие — это в самом деле была моя среда. И социалистическая мысль, неизвращенная, лежащее в ее основе ощущение человеческого братства — это было мое. Но я наблюдал за партиями и видел повсюду засилье бонз. Так свертывалась живая кровь социалистической мысли. И под конец я остался в Берлине с маленькой группой друзей, которые были осколками самых разных партий, по сути же — разочаровавшимися людьми, утратившими всяческие иллюзии. Мы, осколки, старались держаться вместе, пока террор не разметал нас в разные стороны.

Какое же дело я выбрал в итоге в качестве «своего»?

Выброшен ли я на берег, сейчас?

Собравшись плыть через океан, я построил себе слишком легкий кораблик. Неудивительно, что на бортах его вмятины. Днище, сделанное, как оказалось, из бумаги, размокло. Я влекся дальше, пока погода позволяла, потом — порыв ветра, еще порыв, кораблик перевернулся, и моему плаванью пришел конец.

Я ведь еще и писал. Помогло это мне? Уберегло от опасностей? Что это вообще было? Во мне образовывался некий особый климат, некая метеорологическая ситуация, которой соответствовало определенное душевное давление. Я не знал ни минуты покоя, пока не садился перед чистым листом бумаги и не начинал покрывать его словами и предложениями. Я должен был открыть потайную дверцу и войти в тихое, только мне принадлежащее помещение, плотно закрыть за собой дверь — тогда я оказывался в полном одиночестве и начиналось такое, что, сопровождаясь волнением и предельным напряжением сил, приносило мне благо, а часто и заполняло меня целиком, как пьянящее ощущение счастья; это было тихим событием за закрытыми дверями.

Процесс писания (ибо теперь я писал) не имел ничего общего с осознанным размышлением и постепенным прояснением того, о чем думаешь. Он сам по себе был реальностью, которая не нуждалась ни в каком оправдании посредством отсылки к другой реальности, даже если действительно соприкасалась с ней. Я вижу себя внезапно поставленным перед зримыми картинами, перенесенным в ландшафты и ситуации, которые возникли во мне же, — но я не решаюсь сказать, что это я их придумал или изобрел. Ведь такие фантазии я не мог ни призвать по своему желанию, ни защититься от них, даже если бы захотел.

На этом пути имеется особо значимый пункт. Добравшись до него, человек уже не будет в одиночестве, хотя ему может казаться, что это именно так. Я никогда не садился за письменный стол один. В тот момент меня всегда окружала многочисленная компания: слова, сам язык. Слова приходили сюда вместе со мной. Но здесь слова становились уже чем-то другим, не тем, что слова снаружи, которые служат лишь для общения между людьми и для обозначения различных предметов. Те слова, что переступали через порог моей комнаты, служили: для сооружения новых построек, игры и создания зримых образов. Все эти слова носят, так сказать, духовные одеяния. Иначе они не могли бы сюда войти; ничего иного они сюда привнести не могут. Странное это дело — писать. Я никогда не принимался за писание, прежде чем мои идеи не достигали определенной степени зрелости, а достигали они ее тогда, когда появлялись передо мной в языковом облачении. Только заполучив такой образ, я отваживался на нем — моей лоцманской лодке — выйти из гавани; и вскоре замечал ждущее меня «снаружи» судно, большой океанический пароход; я поднимался на его палубу, судно отчаливало, и я оказывался в своей стихии — путешествовал и делал открытия; и лишь через много месяцев возвращался из такого большого плавания домой, насытившийся впечатлениями, и мог снова сойти на привычный берег. Мои плавания за закрытой дверью приводили меня в Китай, Индию, Гренландию, в другие эпохи, выводили даже вообще за пределы времени¹⁸. Что это была за жизнь!

Но привозил ли я из этих плаваний что-то домой?

С помощью слов я «путешествовал», и их же использовал для создания своих образов и фантазий. Но что я мог привезти из таких путешествий? Под конец передо мной лежала новая книга. И я чувствовал себя удовлетворенным, насытившимся — пока беспокойство и ощущение пустоты не начинали осаждать меня снова, и тогда во мне просыпалась прежняя тяга, она нарастала и превращалась в томление по иному, в неодолимое стремление путешествовать, странствовать, летать, самому во что-то превращаться. Мне казалось недостаточным иметь только этот единственный облик, быть только этим конкретным человеком.

Но вот что я помню и не хочу забывать: этот конкретный человек, помимо всех увлекавших его авантур и опытов с искусством превращения, имел в жизни, знал еще и что-то другое. Через его ландшафт тянулась узкая речка. И он никогда не уставал шагать по ее берегу.

Он рано узнал о тайне — тайне существования мира. Он знал, хотя никто его этому не учил, что перед лицом тайны уместно лишь одно человеческое движение — благоговейно опуститься на колени. Это я хорошо понимал. И когда я писал о Природе, когда мысленно пытался проникнуть в ее суть, мною двигало только стремление приблизиться к этой тайне и выразить свое благоговение перед ней. И к такому благоговению причастны все мои книги. Все мои авантюры и путешествия происходили под этим знаком. В определенном смысле все они были молитвами.

Мне, однако, приходилось мириться с тем, что меня принимают за атеиста — из-за моего окружения, а также потому, что, пытаясь обнаружить «изначальный смысл» вещей, я ограничил сферу своих поисков Природой и Историей. От великих имен, на которые ссылаются люди верующие, я старался держаться подальше.

Теперь, сидя здесь, я вдруг понимаю: я, собственно, не был ограблен Катастрофой¹⁹ — наоборот, она-то впервые и заставила меня раскрыться. От того, что попал в бедственное положение, я, собственно, только выиграл.

Вывод из признания «изначального смысла»: к нему причастна и справедливость. Не только природные формы должны иметь свой смысл, но и события — История. Подлинные глубины Истории для нас не доступны. Но если сейчас справедливость не заявит о себе — это единственное, в чем я твердо убежден после Катастрофы и обнаружения бедственности собственного моего положения, — тогда я должен буду признать: наш мир — не единственный.

Нехватка справедливости в этом мире доказывает, что он — не единственный. Изначальный смысл распространяется не только на этот, доступный нашему чувственному восприятию мир. Его воздействие, а также его справедливость, объемлют и пронизывают как зримые, так и незримые миры.

Значит, существуют и другие миры, незримые. Какая простая и сама собой напрашивающаяся мысль! В ту минуту, когда я об этом думаю, я уже не чувствую себя просто гонимым по волнам скитальцем.

Из незримых миров в наш зримый мир попадают иногда намеки и совпадения — знаки. Это свидетельствует о странном размягчении реальности. Реальность становится прозрачной. Впрочем, она всегда такова. Только не всегда есть человеческие глаза, способные увидеть ее такой. Мы ведь привыкли довольствоваться тем, что видим наши деревья, животных и города — то есть лишь внешнюю поверхность, поверхностное.



Альфред Дёблин

ЭПИЛОГ

Пожалуй, пришло время написать эпилог.

Имеется в наличии куча книг — «в наличии» тут не очень подходит, следовало бы сказать: эти книги существуют, они написаны мною за пятьдесят лет, но уж никак не «имеются в наличии». Кое-что переиздается, бóльшая часть забыта. Гордился бы я, если бы все они стояли на полке в моей комнате и если бы у меня, как у очень высоко ценимых авторов, было свое «собрание сочинений»? Думаю, нет. Сейчас не время для «собраний сочинений», для роскошных толстых томов. Сейчас никто не вправе корчить из себя невесть что.

Когда города лежат в руинах, когда каждый вынужден рассчитывать только на себя, когда все мы страдаем из-за прошлого и никто не знает, что́ будет завтра, а надежда на благоприятные перемены пока даже и не брезжит (и не может забрезжить), тогда уместен в лучшем случае томик «избранного»: обломки, да безголовые торсы, свезенные отовсюду на тачках и собранные на одной площади. Где оно начинается, где кончается? Таких вопросов не задают.

Для чего создавались эти книги? Об этом я еще помню. Я, пока по-прежнему ощущающий себя как «я», ничего ими не добивался. Я не создавал их с определенной целью, ничего не хотел, не намеревался ничего достичь. Просто в какой-то момент некое сообщение или рассказ приковывали к себе мое внимание. Это в любом случае должна была быть особая информация, особым образом поданная, — ибо, когда она вспыхивала, и воздействовала на меня, и я за нее хватался, она принимала на себя роль ядра в перенасыщенном маточном растворе: и начинался процесс кристаллизации.

Я мог бы сказать и иначе: что мне в руки попадала шерстинка — кончик смотанной в клубок нити, — и я разматывал этот клубок, пока не добирался до другого конца. То, что я разматывал, что вытекало из меня в виде поэтических образов, было, конечно, мною же, моей тогдашней натурой, но и чем-то сверх того: чем-то таким, что работало во мне безлично, как природа, и

предпочитало выражать себя в духовно-фантастических формах: подобно метеору, то есть каменному образованию, оно отделялось от моей субстанции.

В конце я каждый раз был доволен, что это уже позади.

С годами такое случалось со мной все чаще, ведь подобные вещи (о чем можно прочесть в специальных научных исследованиях) относятся к повседневной психологии «продуктивного» труда. Потом я уже не хотел видеть это мое порождение, мой «продукт», а если он все-таки попадался мне в руки, я с трудом его узнавал и отодвигал от себя подальше. Он у меня вызывал ощущение легкой тошноты. Характерно для таких периодов временное умственное помешательство, или «аура». Она наделяла меня особым знанием, чем-то вроде ясновидения. Что я знал о Китае или о Тридцатилетней войне? Я жил в атмосфере той и другой далекой эпохи очень недолго, только пока писал книгу. Но все это время передо мной назойливо, с кричащей отчетливостью теснились пластические сцены. Я их хватал, записывал и стряхивал с себя. И они оказывались зафиксированными черным по белому. А я радовался, что больше не имею с ними ничего общего.

Работа за письменным столом рано стала моей неодолимой страстью. В четырнадцать лет я уже делал первые заметки, в маленькой синей тетради. И что же я записывал? Что Бог есть добро. Он — все доброе в нашем мире. Это, мол, и есть решение «загадки Бога».

Я рано заметил, что подвержен влиянию религии и метафизики — и пытался от него уклониться. Я читал тогда до жути много, не столько «художественную», сколько философскую литературу (еще в гимназический период, то есть до 1900 года): Спинозу¹, Шопенгауэра² и Ницше. Прежде всего — Спинозу.

Почему я хотел уклониться от метафизики и религии? Может, потому что они раскалывали меня на две сущности. Я мало что мог сказать по поводу тех вещей, которые меня действительно занимали. В студенческое время все много дискутировали, но мне тогда не встретилось ничего и никого, способного оказать акушерскую помощь в процессе моего духовного рождения. И в итоге я, живший в буржуазном обществе, остался просто врачом и человеком, который очень интересуется происходящим вокруг и старается во всем участвовать, а ориентируется как сам умеет (беспорядочно, без самодисциплины, без чьих-либо директив). Однако мое тогдашнее «я» заключало внутри себя еще одну фигуру, которая постоянно ссорилась с этим внешним человеком, с этим врачом, этим просто-живущим и не приходила с ним ни к какому соглашению. К соглашению, впрочем, они и не могли прийти.

Я, когда писал, считал важным не соревноваться с природой. Мне с самого начала было ясно, что человек этой реальности противостоит. И я хотел, поскольку повсюду натуралистический принцип провозглашался главным требованием к писателю, показать именно такое противостояние.

Около 1900 года, в конце обучения в гимназии и в начале моего студенчества, я познакомился с Гервартом Вальденом³ (он жил, как и я, в восточной части Берлина, на Хольцмарктштрассе, его отец занимал должность советника по санитарии). Мы с ним высмеивали тогдашних кумиров буржуазии, Герхарта Гауптмана⁴ с его псевдосказочными привидениями, классицистические потуги Стефана Георге⁵. Уже тогда существовал автор «Будденброков»⁶, но о нем вопрос не стоял. Мы встречались с Ласкер-Шюлер⁷, Петером Хилле⁸ — в «Café des Westens»*, иногда у Далбелли на Потсдамском мосту. Поддерживали связь с Рихардом Демелем⁹, Ведекиндом¹⁰, Шеербартом¹¹.

Тогда (в 1905 году) я написал пьесу «Лидия и Максхен. Глубокий поклон в одном акте», которую сыграли в 1906 году в Резиденц-театре, в Берлине, на одном утреннике, вместе с пьесой Шеербарта. Это был бунт написанной и сыгранной пьесы против ее автора. Персонажи и декорации порой оживают и обретают самостоятельность. Действующие лица говорят и действуют иначе, чем автор, как ему казалось, предопределил. Во время спектакля они вдруг прогоняют со сцены автора и режиссера и, осуществляя дерзкую провокацию, подводят безобидную по замыслу пьесу к жуткому концу.

Впрочем, сам я тогда находился в Регенсбурге, работал врачом-ассистентом в окружной психиатрической лечебнице и писал длинное абстрактное эссе (уже не помню, как я до такого дошел), озаглавленное «Беседа с Калипсо о музыке и о любви». Этотopus частично был напечатан в «Штурме»¹². В «Штурме» я опубликовал и свои ранние новеллы, фантастические, бурлескные и гротескные, которые позже вошли в сборник «Убийство одуванчика». Господам из «Штурма» (с которыми периодически сотрудничали Рудольф Блюмнер¹³, Лотар Шрейер¹⁴, Штрамм¹⁵ и Малер¹⁶, а также Франц Марк¹⁷ и Кокошка¹⁸) эти вещи нравились. Ибо казались «экспрессионистскими» — плотью от их плоти и кровинкой их крови. Но когда я поднял забрало и обнажил шпагу, в «Ван Луне»¹⁹ (1912), их благодушному отношению ко мне пришел конец — я же впервые принялся за дело всерьез. Ни одного слова не проронили ни Вальден, ни кто-то еще из этого круга ортодоксов по поводу моего романа. Но мы остались друзьями. Они (ведомые Штраммом и Небелем²⁰) стали в полном смысле художниками слова, художниками вообще. Я же шел иными путями. Я их, оставшихся по другую сторону, понимал хорошо, они меня — нет.

Экспрессионизм и связанные с ним виды искусства напоминают восточно-азиатскую философию дзен. Как дзен уклоняется от «нормальной», то есть замороженной, логики и от разума, так же искусство экспрессионизма отворачивается от приглаженной, плоской «красивости». Оно атакует и разрушает ее. Тут речь не только о повороте к формализму, хотя борьба и ведется вокруг формы.

* «Западном кафе»²¹ (нем.).

Но мне этого было недостаточно. Я отвернулся от традиционной «красивости» еще радикальнее, чем мои друзья-экспрессионисты, и именно потому меня сочли предателем. Я вообще не считал литературу и искусство таким уж серьезным делом. Мне казалось, что слова и литературу следует использовать для других, действительно важных целей. Для каких же?

Я видел, как мир — природа, общество — подобно многотонному железному танку подминает под себя людей, каждого человека в отдельности. Ван Лунь, герой моего первого большого романа, испытал это на себе. Он, чудом оставшийся в живых, вместе с кучкой таких же, как он, раненых уходит от насильничающего, враждебного человеку мира — и тем самым, хоть и не нападает на него, бросает ему вызов. И все же гусеницы мира-танка прокатываются по нему и его друзьям. Это доказывает, что, в данном случае, мир оказался сильнее. Больше здесь не доказывается ничего.

Все это произвело на меня слишком тяжелое и темное впечатление, чтобы я мог остановиться на достигнутом. Я должен был проследить развитие событий дальше. Я, кроме того, не хотел, чтобы это тяжелое и темное сделало меня своим пленником. И тогда я резко переменял курс и без всякого предварительного намерения, даже против воли, очутился в области светлого, свежего и бурлескного. За «Борьбой Вадцека с паровой турбиной»²² должна была еще последовать «Борьба с дизельным двигателем». Но когда я написал «Паровую турбину», разразилась война (1914–1918 гг.), я служил военным врачом в Лотарингии и Эльзасе, и меня окружали шумы войны, страдания раненых. Со стороны Вердена много недель доносился грохот канонады²³.

Тогда я спрыгнул со своего конька по имени «Вадтек» и пересел на другого жеребца — «Валленштейна»²⁴. В «Вадцеке» человек трепыхался, как бездыханная рыба, рядом с техническим механизмом: сучил ногами и руками, кричал, падал, распластав все четыре конечности, потом на его месте появлялся другой и тоже суетился, бегал, пыхтел. В «Валленштейне» же один человек прочно стоит на ногах, и его не сдвинешь с места. Собственно, я должен был бы назвать книгу его именем: «Фердинанд Другой»²⁵. Я это понимал. Но зато название «Валленштейн» сразу вводит в ту эпоху и в конкретные обстоятельства. С этим романом я дал себе полную волю. Я буквально купался в фактах. Я был влюблен в документы и отчеты, воодушевлен ими. Охотнее всего я бы использовал их вообще ничего не меняя. Факты, какими они предстают в исторических источниках, казались мне и подлинными, и совершенными.

Между ними, как их предводитель и командир (или как мотор), стоял некий деловой человек, закулисный двигатель истории: Валленштейн, ветвь от ее древа, железо, выплавленное из ее железной руды, глыба ее гранита — но определенно не плоть от плоти ее, ибо плотью там и не пахло. И если бы я предоставил этого человека самому себе, то в итоге получилась бы именно Тридцатилетняя война. Но зачем же изображать такое, зачем пробуждать вос-

поминание о подобных вещах, когда и без того со стороны Вердена грохочут пушки? Ни Тридцатилетняя война, ни верденская канонада ничего моему сердцу не говорили.

Итак, Фердинанд Другой, император (его мне предстояло сотворить). Я заставил его вступить в диалог со всемогущими фактами. Он ответил на грохот пушек. И каков же был результат? Он отказался от всякого стремления к результату.

Так я тогда смотрел на вещи. Подобно Ван Луню, Фердинанд самоустранился из «мира».

Нет, человеку не остается ничего иного, кроме как отказаться от любых стремлений. Это в то время было главным моим прозрением. Я и открыто, и втайне находил удовольствие в грандиозных феноменах. Я хорошо видел человека, его «я», его страдания. Но не жалел ни людей, ни себя.

Так я пришел еще раз к тому же самому. Ибо «обертки» исторических процессов, какими бы красивыми они ни были, не обманывали меня: не мешали видеть слабость позиции человека, нерешительность и малодушие, проявляющиеся в его самоубийственном противостоянии миру.

И тогда я сосредоточил внимание не на каком-то изолированном историческом событии, но на технике вообще, на заложенной в человеке силе — и начал писать «Горы моря и гиганты»²⁶. Тема на сей раз была предельно обобщенной: что станет с человеком, если он будет продолжать жить, как прежде? (Позже время показало нам несколько возможных моделей.) Я, можно сказать, призвал себя к порядку.

В книге, переносщей читателя через эпохи и континенты, я сумел рассказать о развитии техники и злоупотреблении ею, о том, как она переходит на уровень биологической практики, вызывает изменения в самом человеке, ее создателе, и потом отбрасывает его далеко назад, в меловой период. Как затем человек — или то, что от него осталось — в ужасе падает на колени и смиренно приносит жертвы древним стихиям.

«Жертва» и «смирение» — вот что я обнаружил; обнаружил это знание, но еще не источник необходимой мне внутренней силы. Я таким образом прошел до конца путь масс и великих коллективных сил. Да, до тех пор — вплоть до завершения книги о «гигантах» — я увлекался грандиозностью тварного мира и принимал его сторону. Ценой изматывающего напряжения, коего мне стоила книга о гигантах, я сделал в этом отношении достаточно.

Потом наступила пауза — и я вновь попытался сориентироваться, где же я теперь нахожусь. Такое определение жизненной позиции одни люди осуществляют с помощью чтения, другие — в разговорах или посредством длительных упорных размышлений. Нечто подобное предшествует и моим книгам.

Но настоящий процесс осмысления и определения позиции происходит у меня по ходу писания. Своеобразное, горькое, фатальное заключается вот в чем: каждая книга заканчивается (для меня) вопросительным знаком. Каждая книга как бы перебрасывает мяч следующей.

Когда я прошел до конца «путь масс», он вывел меня к отдельному человеку, человеку вообще. Я не сделал этот вывод осознанно, на основании всего предшествующего, — к такому выводу пришло мое бессознательное, которому я всегда беспечно позволял подспудно на меня работать.

Однажды я нашел (в Берлине, в городской библиотеке на Марсовом поле) путевые записки об Индии, со многими иллюстрациями и кое-какими историями. Место действия было для меня чужим и показалось подходящим для приключений: тропически роскошным. Я увлекся описаниями индуизма, бога Шивы, царства мертвых. Я мысленно увидел, как туда проникает человек, человек из нашего мира, который хочет быть разодранным на части теми страданиями, которые находит в мире умерших. Он желает, чтобы вся земная боль обрушилась на него, хочет неразрывно связать себя со всей болью, потому что по опыту войны знает: все мы суть одно и то же, суть братья — убийцы и убитые, палач и его жертвы.

Он отваживается на страшное путешествие и терпит крах. Однако Савитри, его жена (на самом деле она богиня, божественная Любовь), помогает ему воспрянуть; он возвращается на землю как новый человек, как полубог.

Это — «Манас»²⁷, эпическая поэма, написанная в свободных ритмах.

До той поры мои книги имели хоть некоторый — основанный на уважении — успех. Конечно, книжный рынок заполняли другие авторы. Они разрабатывали любовные, семейные, криминальные сюжеты, обильно приправляя их психологией; а кроме того, образованная публика хотела, чтобы роман повышал ее образовательный уровень: ей подавали на стол злободневные вопросы, культурные проблемы — в философской упаковке. Я имею в виду фельетонную, эссеистическую форму вырождения романа.

Мои книги в этом участвовать не могли. Я предлагал поэтические образы, и все у меня было насыщенным, чересчур насыщенным для тех, кто привык читать в основном газеты.

Кроме того, каждая моя книга имела свой стиль, отнюдь не наброшенный на сюжет откуда-то сверху. У меня не было никакого «моего» стиля, раз навсегда готового («Стиль это и есть человек»²⁸), который я таскал бы с собой, — я извлекал стиль из самого материала.

Здесь, в «Манасе», — свободные ритмы и индийский колорит. Оказалось, что это уже слишком: книгу не приняли.

«И как вы только додумались до такого?» — с возмущением спросил, уже после ее провала, мой издатель, старший Фишер²⁹.

На мой же взгляд, книга удалась. Именно с нее начался ряд романов, в которых все вертится вокруг отдельного человека и способа его экзистенции.

Манас³⁰, и он тоже, оставил меня неудовлетворенным, хотя я и позволил ему вернуться в его мистический ландшафт в качестве полубога. Вопрос, который бросила мне эта книга, звучал так: как живет доброму человеку в нашем обществе? Надо бы присмотреться, как он себя ведет и каким ему видится наше существование. Так возник «Берлин Александрплац» (заголовок, который издатель наотрез отказался принять — мол, это всего лишь название станции метро; и мне пришлось добавить подзаголовок: «История о Франце Биберкопфе»).

Разумеется, эту книгу я написал — или, точнее, она написалась — уже не в свободных ритмах, а в тональности берлинской разговорной речи. Однако критики нашей эпохи — еще более близорукие, чем прежние, — не долго думая, вынесли вердикт: «Последователь Джойса»³¹. Если бы я в самом деле нуждался в том, чтобы от кого-то зависеть или за кем-то следовать (чего мне совсем не надо: я обхожусь своими силами и в плане поиска материала, и в плане стилистики; мой девиз: «Я живу в своем доме, никогда никому не подражал и смеюсь над любым мастером, не способным себя высмеять»), — так вот, если бы я хотел за кем-то следовать и нуждался в чьих-то наработках, то зачем мне понадобился бы Джойс, ирландец, если его способу письма, его методу (знаменитому, вызывающему у меня восхищение) я мог бы научиться там же, где научился он, — у экспрессионистов, дадаистов и так далее. Книга «Александрплац» имеет соответствующий ей стиль — так же, как «Манас» или «Валленштейн» (романы, с которыми ее критикам тоже неплохо было бы познакомиться).

Эта книга имела у публики успех, и меня накрепко пришили к «Александрплац» (неправильно понятому как описание мира берлинских низов). Что, впрочем, не помешало мне и дальше идти своим путем — разочаровывая читателей, которые ценят только шаблонную работу.

Тема «Александрплац» — жертва. На такую мысль должны были бы навести образы скотобойни и принесения в жертву Исаака, а также сквозная цитата: «Есть жнец, и имя ему Смерть»³². «Хороший» Франц Биберкопф с его претензией, что он имеет право на жизнь, до самой смерти не позволяет себя сломить. Однако он не мог не сломаться, он должен был отказаться от борьбы, и не только внешне. Я, правда, и сам не знал, почему это происходит. Факты набрасываются на человека, и упорное противостояние им ни от чего не спасает.

После, чтобы до конца исчерпать эту тему, чтобы проникнуть в тайну душевного срыва и такого рода поворота, я снова заставил двигаться некоего персонажа, расположившегося в своей плоти не менее комфортно, чем Франц Биберкопф, но на сей раз действительно избыточно мужественного — вавилонского бога. Я попытался принудить его сдаться. Этот бог Конрад³³ отягощен виной, и потому гораздо более серьезный преступник, чем Франц Биберкопф, простой транспортный рабочий из Берлина. И еще менее, чем тот, проявляет склонность что-то с собой предпринять, над собой сотворить.

Книга «Вавилонское странствие» высмеивает — очень неприятным образом — ту идею жертвенности, которой проникнут «Александрплац». Бог Конрад не собирается ни в чем каяться, он даже не ощущает себя свергнутым с трона, отстраненным от дел — и упрямо сохраняет такую позицию. Я вообще не понимаю, как эта моя идея выкатилась на скользкую дорожку записывания. Не иначе, какой-то озорной кобольд³⁴ решил сыграть со мной злую шутку. Кончилось все неудачей. Но ведь я вел борьбу, в которой случаются и победы, и поражения.

С этой книгой я и отправился в изгнание, в 1933-м. Она не позволяла мне двинуться вперед и даже вызывала внутреннее сопротивление, какую-то блокировку и оцепенение во мне самом. Я будто чувствовал приближение чего-то враждебного и забаррикадировался изнутри.

В 1934-м, уже в Мэзон-Лафитт под Парижем (в изгнании времени для думанья мне хватало), я возился с маленьким берлинским романом «Прощения не будет» — семейной историей с автобиографическим уклоном. «Автобиографическим», сказал я. Это уже был прогресс. Я отважился приблизиться к своему семейному очагу. Прежде я с гордостью сознавал и говорил: «У эпиков есть глаза, они могут видеть, что происходит снаружи». Лирику я не любил, хотел изображать лишь процессы, события, образы, сплошной каменный фасад — но не психологию. (Хотя наблюдать мне довелось много всего, и моей врачебной специальностью была психотерапия — других людей.)

Очень скоро после этого прощупывания романной формы я натолкнулся на Кьеркегора, в парижской Национальной библиотеке, и пролистал, сперва не находя в том особого удовольствия, его двухтомного «Дон-Жуана»³⁵. Но книга не отпускала меня. Впервые за долгое время я при чтении брал на заметку какие-то фразы. И даже делал для себя выписки.

Но там же, в этой огромной библиотеке, мне попалось на глаза и нечто другое, что я всегда любил: географические атласы. И еще — этнографические труды с великолепными иллюстрациями. Я тут же проглотил приманку. Это отвлекло меня от Кьеркегора. Карты Южной Америки с рекой Амазонкой: какая радость! Я всегда испытывал особое чувство к воде, к этой стихии морей и рек. В «Я над природой»³⁶ я уже писал о воде, в своей утопической книге восславил море³⁷.

Теперь, значит, — Амазонка. Я углубился в изучение характера этого удивительного существа: реки-моря, первобытной стихии. Берега, вместе с животными и людьми, — тоже ее неотъемлемая часть.

Одно влекло за собой другое. Я стал читать об индейцах-аборигенах, углубился в их историю и узнал, как на эту территорию вторглись белые люди. И

к чему же я пришел? Опять — к своей старой песне, к гимну Природе, к воспеванию чудес и красот нашего мира? То есть — к еще одному тупику?

Вскоре я уже начал писать, действительно с одной-единственной мыслью: воздать должное этой реке-море, изобразить также относящихся к ней людей и не допустить в свой роман белых. Так возникла первая часть трилогии, «Земля без смерти»³⁸. (О как медленно все мы продвигаемся!)

Но под самый конец в происходящее вмешался Лас Касас³⁹. Он начал жаловаться. И шелест царственных вод не мог заглушить его голос. Я выпустил этого человека в свой торжественный гимн — и сам не заметил, как закончил следующий том, а мяч полетел дальше.

Появление Лас Касаса в конце первого тома превратило все прочее в прелюдию. Мой путь оказался вовсе не тупиковым.

И теперь меня уже занимал крупномасштабный проект создания на реке Паране республики иезуитов. Христианство тогда вступило в борьбу с Природой, а также — с «несовершенными христианами». Новая для меня тема: я хотел, работая над ней, научиться чему-то, испытать себя. Уклониться от этой темы я не мог, она преследовала меня, она впервые замаячила передо мной в самом конце первого тома, «Земли без смерти», когда еще казалось, что я сумею ее избежать.

В тот первый раз я все-таки от нее уклонился, обошел ее, довольно незаметно и легко. Потому и появилось во втором томе, «Синем тигре»⁴⁰, вибрирующее мерцание стиля, потому — веселость (от Конрада, который не хочет ни в чем каяться), потому — поклонение природным первостихиям. Но посреди всего этого неподвижно высится робкое и глубокое благоговение. Стоит и молчит — вера.

В заключительной части своей южноамериканской трилогии я уже не мог не изобразить страшное, безутешное, давящее чувство потерянности, остающееся после всего.

Потом опять на первый план выступил Кьеркегор, в 1936-м я проглатывал его тома один за другим (тогда у меня еще были хорошие глаза, я мог читать и читать).

Я выписывал длинные куски, исписывал целые тетради. Он меня потрясал. Он был честен, трезв и правдив. Но достигнутые им результаты интересовали меня не в такой мере, как сам способ его рассуждений, избранное им направление и присущая ему воля. Он подталкивал меня не к правде, а — к честности.

И когда моя тяга к приключениям наконец нашла удовлетворение в южноамериканской эпопее, я снова обратил взгляд к родным берегам. Я вспомнил о Берлине, теперь далеко от меня городе, и попытался прояснить для себя, в духовном плане, — как в 1934-м, когда писал «Прощения не будет», — из-за чего все так получилось. Я хотел восстановить старый ландшафт — и

запустить в этот ландшафт человека (зонд), еще одну ипостась Манаса и Франца Биберкопфа, чтобы он испытал и узнал самого себя (меня).

Сперва я набросал ландшафт: построил (в первом томе эпопеи «Ноябрь 1918-го»⁴¹) декорацию того эльзасского лазарета, где в последний период войны, в 1917–1918 годах, сам работал врачом-ординатором. И вскоре мне на встречу шагнул человек, больной, — которого я же и создал, решив, что в повествовании он будет нести груз своих (и моих) забот.

Две сюжетные линии развиваются в книге параллельно, но образуя некое единство: трагическое иссякновение потока немецкой революции 1918 года и темный жребий этого конкретного человека. Перед ним встает вопрос, как ему перейти к действиям. Он хочет этого. Но — исходя из чего ему действовать, с какой позиции? Постепенно он понимает, что должен вообще отказаться от принятия решения. Ибо бессмысленно выбирать между двумя или тремя песчаными отмелями, если не хочешь строить дом на песке. Это история о небесных и адских силах. Человека, Фридриха Беккера, преследуют галлюцинации. Он должен пройти сквозь «врата ужаса и отчаянья». Он остается в живых. И в конце концов ощущает себя сломленным, но преображенным, подобно Христу. (Этот процесс описывается во втором и третьем томах.)

Обретенное им христианство он пронесит через заключительную часть эпопеи («Карл и Роза»). В нем продолжают бороться небо и преисподняя. Внешне он превращается в опустившегося человека; внутри — совершенно истерзан. Тем не менее ему удается возвыситься над собой.

Книга «1918» с самого начала виделась мне как целое. Я закончил ее в 1941-м, в Калифорнии. Между томами третьим и четвертым вклинился 1940 год, мрачный период вторжения немцев во Францию. И моего «судьбоносного путешествия» по стране, о котором я написал позднее⁴².

Именно тогда мне на долю выпало то, чего мой Конрад не испытал, но что произошло с Фридрихом Беккером: просветление. Просветление оказалось полным. Мне была дарована некая позиция, точка зрения. С ней сопрягались другая картина мира, другое мышление. В книге «Бессмертный человек» я исследовал свою новую ситуацию⁴³. Осмотрелся в доме, куда только что попал. Прошелся по комнатам, двери которых раскрылись передо мной. Я не хотел говорить людям ничего нового, не хотел ничего придумывать, а только — сообщить, что я здесь обнаружил и как это выглядит. Не роман, нет — сообщение, описание и сравнение с тем, что я видел раньше; отсюда — диалог и фигура младшего собеседника.

Когда я все это записал, изложил — я чувствовал себя не так, как обычно после завершения романа. Я и раньше включал в промежутки между своими работами длинные периоды осмысления пережитого, когда в сознании, в мыслях — а не с помощью поэтических картин и образов — формулировал то, что личность, носившая мое имя, хотела высказать о себе и своем существо-

вании. Так, однажды я написал (после «Гор морей и гигантов») «Я над природой», в другой раз (после «Александрплац») — «Наше бытие»⁴⁴. С каждым таким просветлением я продвигался чуть дальше, но что с того... «Я» обнаружило: создание поэтических образов и позиция *vis-à-vis** по отношению ко всему вихревидному миру действительно позволяют продвинуться, контакт с этой действительностью что-то да значит. Теперь же — как мог я заново подступить к такого рода вещам? Как должен был я, в прошлом почитатель «мира», предстать перед ним после своего просветления? Но вопрос заключался даже не в этом. Все мои эпические книги, до сей поры, были тестами. Теперь время «испытаний» закончилось. Мне надлежало встать перед «миром». Речь шла о том, чтобы как можно прочнее, надежнее укрепиться именно на земле, а не на скользкой песчаной отмели.

Я не потерял себя, не стал невеждой. Неожиданно из меня выскочили несколько рассказов, я их быстро записал и признаюсь, что сам не понимаю, как к ним пришел: не иначе опять кобольдовы штучки. Это были «Полковник и поэт» и еще две истории, более жизнерадостные, — бурлескные шутки, смесь серьезности и клоунады: «Сказка о материализме» и «Пассажирское сообщение с потусторонним миром».

Но я набросал, помимо этих маленьких рассказов, еще и другие. Мне пришло в голову, что их можно было бы объединить в некое целое⁴⁵. Нужно только, подумалось мне, формально организовать дело так, чтобы кто-то их рассказывал, как в «Тысяча и одной ночи»⁴⁶. Так как же они будут рассказываться и для кого?

Пока я задавал себе эти вопросы, я незаметно для себя уже начал писать и даже придумал человека, которому могли бы предназначаться такие истории.

Он лежит больной, путается в своих мыслях, его раздирают сомнения — это Эдвард⁴⁷, который вернулся с войны, но не может обрести мира с собой. Он становится кем-то вроде Гамлета, без конца задает вопросы окружающим. Судить он никого не хочет, у него более серьезная и неотложная забота: он хочет понять, что сделало его самого и всех других больными, испорченными.

Действительно: в доме сложилась ужасная ситуация, и этот человек постепенно проясняет ее. Правда, одна только правда может вернуть ему здоровье. И из многих рассказов, цель которых — развлечь его и отвлечь от происходящего, выкристаллизовываются сначала косвенные, потом все более и более открытые намеки, а затем, наконец, — прямые сообщения и признания. Обнажается гнилостное, инертное состояние постепенно деградирующей семьи. Под конец раздражается трагедия, но вместе с ней приходит и катарсис.

Будь я моложе, эта книга могла бы открыть новую, третью серию моих романов. Но наступает момент, когда всякое вопрошание кончается. «Гамлет»⁴⁸, по большей части, писался уже на немецкой земле.

* напротив, лицом к лицу (*фр.*).

Итак, вот что было написано мною за прошедшие десятилетия, и, оглянувшись назад, придется признать: «Это и есть я».

Все в целом представляет собой род мышления, иногда (в исключительных случаях) абстрактного, а как правило связанного с тысячами фактов и данностей. Мышление не любит отправляться в путь обнаженным, оно обычно хватает несметное множество фактов и напяливает их себе на голову, как кашпошон. Я умею задавать вопросы и формулировать мысли. Но целое — этот маскарад (почему именно такой, а не другой?), эта пестрая смесь — есть нечто совершенно особое. Это поэзия, то есть уплотнение, рост, образование наростов, — феномен, относящийся к области духовного прорастания, произрастания и образования отводков. (А слово «искусство» — темное, оно ни о чем не говорит.)

Продукты такого рода взламывают форму индивида. Как в телесной ткани при опухоли образуются метастазы, так же и дух выгалкивает из себя такие продукты. Предшествующую этому фазу абстрактного мышления уместно истолковать как стимулятор, необходимый для подобного почкования.

Я никогда не задавался вопросом, влияет ли этот процесс на других людей, на «народ». Но всегда сознавал, что, даже если человек не смотрит на окружающий мир, мир этот неизменно существует рядом с ним. Человек не растет в одиночестве. Даже если он уже перестал расти и больше не дает почек, он остается вплетенным в бесконечную духовную ткань и продолжает присутствовать рядом с нами.

Может, все это мне только грезится.

Что я, собственно, знаю? Я знаю, что нам, живущим в нынешнюю мировую эпоху, нам, изгнанным, отторгнутым, загнанным в мрачный и тягостный круг этого зона⁴⁹, — что нам, людям, приходится нелегко. Мы стираем в кровь руки, хватаясь за окружающие нас стены. Мы колотим по ним кулаками, слыша удары наших же кулаков и то, как сами кричим. Мы пытаемся вырваться из своей каторжной тюрьмы, и в этом заключается второй смысл слова «поэзия»: так называются все такого рода «творческие», умственные, поэтические усилия.

Но мы не знаем покоя. Не довольствуемся достигнутым. Наш нечестивый дух не желает утихомириваться. Это его Каинова печать. В каждый из дней нашей жизни повторяется грехопадение. Дух же наш грезит и, вопреки всему, продолжает надеяться, что достигнет чего-то лучшего — он сам не знает, чего.

Сатана бродит меж нами. Несомненно. И не обманывайтесь на сей счет, видя свет дня. Электричество тоже дает свет, но не подлинный; взрыв атомной бомбы нас не освободит.

Но существует вечный, благой, справедливый Бог. Только представ перед Ним, мы осознаём весь ужас своего положения. Понимаем, насколько от Него

отдалились. Подавленность, безнадежность, убожество здешней жизни — вопиют к Нему.

Как солнце и радость еще сохраняются здесь в качестве знаков и остатков небесного совершенства, так же существует над нами все небо, и вечный Бог — которого мы именуем «Иисусом» — однажды уже спускался в нашу плоть и снова зажег в этом опустевшем жилище огонь.

Только хвалить Бога, только прославлять небесные силы подобает человеку, и главным образом это движение души защищает нас от Ничто: ведь Иисус Назарянин, выношенный кроткой Богородицей, лежавший в колыбели, повзрослевший и ставший дарителем благодати, чудотворцем, учителем среди людей, взошел на мученический крест, дабы очистить наш мир от тлена и брожения — от человеческой гнили. Ибо он видел: сами мы не в силах себе помочь.

Какой еще смысл может иметь наше земное бытие, какие задачи перед нами ставить, чем оправдывать нашу темноту, если не этим: мы все должны очиститься, возвыситься, выпрямиться, подготовиться для освобождения от зла, выпутаться из этой ловушки — из постыдного унижения злом.

Хорошо тому, кто привык полагаться на большее, чем собственные глаза, чем человеческая логика и математика. Счастливы, кто повзрослел, не прикладывая к тому усилий. Но хорошо и нам, на протяжении всей жизни мучившимся вопросами, искавшим ответы на них и блуждавшим в потемках: хорошо, если мы, пусть даже как жертвы кораблекрушения, все-таки попадем под конец в надежную гавань и сумеем прильнуть к подножию маяка, который всегда оставался зримым для нашего внутреннего ока.

ПРИЛОЖЕНИЯ



Н.С. Павлова

ЭПИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В РОМАНАХ АЛЬФРЕДА ДЁБЛИНА

Альфред Дёблин — один из крупнейших немецких писателей XX века. Его творчество не менее значительно, чем творчество Томаса Манна или Германа Гессе. Но русскому читателю это творчество, по сути, мало знакомо. Экспериментатор по духу, Дёблин пробовал себя в разных жанрах, точнее находился в постоянном поиске жанра. Он написал множество романов, среди них две трилогии, сочинял рассказы, пьесы, выпускал натурфилософские сочинения, был плодовитым эссеистом и театральным критиком. Его книги не только занимают большое пространство в немецкой литературе XX века — они осуществляют в ней особые возможности. Могучая эпичность Дёблина не имела аналогий, во всяком случае в первой половине века, представляя собой по художественной своей задаче противоположность высокому интеллектуализму Гессе или Манна. И в прошлом Дёблину близки иные традиции. Для него, как и для его коллег-современников, важен опыт Жан-Поля, а отчасти и Гёте, но опыт этот воспринят иной стороной. Не Жан-Поль — «дух, необычайно легко и свободно играющий, живой тканью сопрягающий все противоположности» (*Hesse H. Jean Paul // Hesse 1970/12: 212*), а Жан-Поль, приверженный стихии вещественного; не Гёте-классик, а Гёте-естествоиспытатель, стремившийся обнаружить законы, связывающие воедино живую и неживую природу. В отличие от Гессе или Т. Манна Дёблин опирался на немецкое барокко, на «Симплициссимуса» Гриммельсгаузена, где Тридцатилетняя война, увиденная глазами ее современника, была представлена в ужасающей реальности, а в искусстве конца XIX века высоко ценил натурализм, не исчерпавший еще, по его мнению, своих возможностей.

Признаком подлинного эпического таланта Дёблин считал любовь к материалу, к материи жизни. Его опьяняло творчество «великого эпика» — природы, истории. Работая над романом «Валленштейн» (1920), он, как признавался потом, еле удерживался, чтобы не вставлять в текст целые страницы из хроник и географических описаний. Реальность — сотни лиц, событий, многоголосый шум жизни, ее краски, запахи, формы, чересполосица малого и великого: от названия шедшего на экранах в 1928 году фильма, которое упоминается в романе «Берлин Александрплац», до космических сдвигов, запечатленных в утопическом романе «Горы моря и гиганты» [sic!] (1924), — придвинута в его книгах вплотную к читателю.

Интерес Деблина к реальности демократичен: он не желал изгонять из своих книг ту повседневность, где существенны были «служебные неприятности или невозможность уйти в отпуск, а «идеи» обнаруживали свою сомнительность» (*Döblin A. Berlin und die Künstler // Döblin 1968: 81–82*). Духовность, интеллектуализм, изощренное мастерство современников-романистов Деблин хотел заменить в своих книгах жизнью. Рассуждения и рефлексия на страницах романов свидетельствовали, с его точки зрения, об отсутствии эпического дара, о неспособности автора к эпическому изображению¹. Его не удовлетворял и «психологизирующий реализм», снимавший, по его мнению, слишком тонкий слой с реальности. Свой стиль Деблин определял словом «густой» (*dicht*).

*

Альфред Деблин родился в Штеттине, на северо-востоке Германии. Он рос в бедности и, когда отец оставил семью, вынужден был бросить школу, которую закончил лишь через несколько лет, в Берлине. В 1905 году он получил диплом невропатолога и психиатра на медицинском факультете Берлинского университета. В довоенные годы был практикующим врачом в бедных кварталах Берлина, а потом — военным врачом на полях Первой мировой войны. Медицина казалась ему более достойным занятием, чем литература. Но сам он между тем писал рассказы, объединенные в 1915 году в сборник «Убийство одуванчика», и романы: «Борьба Вадцека с паровой турбиной» (1918) и «Черный занавес» (1919). Самым значительным среди ранних произведений Деблина стал роман «Три прыжка Ван Луня» (1916).

В «Трех прыжках Ван Луня» рассказывается об одном из многочисленных в Китае конца XVIII века религиозно-оппозиционных движений. Легко и уверенно, с всегдашней неистощимостью выдумки автор вводит читателя в незнакомый мир. Сын рыбака, бедняк и вор, Ван Лунь становится проповедником, повторяя некоторые идеи древнего китайского философа Лао-цзы. Толпы бедняков стекаются к нему. Движение не преследует никаких практических целей. Соединившись вместе, оказывая помощь больным и бедным, отказываясь от любой наживы и от личного имущества, сторонники Ван Луня преданы одной идее: не сопротивляться! Ван Лунь призывает к «недеянию»:

Лягушка, как бы ни пыжилась, не проглотит аиста. <...> путь мира есть нечто жесткое, негибкое, не отклоняющееся в сторону. Если хотите бороться — что ж, поступайте, как знаете. Вы ничего не добьетесь <...>. Я хочу быть бедным, чтобы ничего не терять. <...> Не действовать; быть как прозрачная вода — слабым и уступчивым (Деблин 2006б: 81).

Этот роман, принесший автору первый заметный успех и премию имени Фонтане, в художественном отношении был попыткой передать столкновение двух

¹ Особенно подозрителен был Деблину Томас Манн. В письме к А. Кутчеру (7 января 1947 г.) он говорит об «эпической слабости» манновских произведений, об эссеистичности, скрывающей неспособность изображать события (см.: *Döblin 1970a: 361*).

сил — огромной массы объединившихся бедняков и наступавших на них правительственных войск — без посредничества автора, без описаний, без раскрытия внутреннего мира героев, без разрушения поверхности жизни, на которой происходила борьба. Это был несчастый в тогдашней литературе опыт максимального приближения к эпосу в его первоначальном виде, эпосу, суть которого — действия героя, испытывающего давление внешних обстоятельств.

На протяжении более чем четырехсот страниц, лишенных интриги и лишь представляющих «картины действительности», писатель держит читателя в напряжении столкновением противоборствующих сил: «В горах Чжили, на равнинах, под многотерпеливым небом обитали те, против кого снаряжалась, готовя свои доспехи и стрелы, армия императора Цяньлуна» (Дёблин 2006б: 11). Стрелы еще не выпущены, доспехи еще не надеты, но уже этой первой фразой романа читатель введен в напряжение непрекращающегося взаимодействия. Порой оно показано нам на близком расстоянии: враги «вгрызаются» друг в друга, и тогда эти сцены, как впоследствии сцены из романа «Валленштейн», напоминают гриммельсгаузеновского «Симплиссимуса» и литературу немецкого барокко, в которых телесное показывалось в такой неоспоримой наглядности и весомости, что, казалось, содержало в себе какой-то важный, всеобщий и высший смысл. Порой события поданы с дальней дистанции, общим планом, — и тогда мы видим, как снимаются с места, стекаются, сливаются в одно целое сотни людей, против которых стоят наготове войска императора.

Мир романов Дёблина — это всегда широкое поле, необъятное пространство. Вплоть до «Гамлета», где горизонт сужается, автора занимает, как судьба задевает всех. Его мир населен тысячей лиц, представляет ли он Германию XVII века, Китай XVIII или Берлин 1928 года. Дёблин хочет дойти до предела — показать действительность во всех разновидностях каждого ее явления. В «Трех прыжках Ван Луня», применяя экспрессионистский способ нанизывания и перечисления (один из вариантов разработанной в романе «Берлин Александрплац» техники монтажа), он упоминает среди примкнувших к Ван Луню и убийцу, и подруг его жертвы, и благополучных отцов семейств, и добропорядочных служащих, охваченных неутолимой жаждой изменения. Перед нами тысячи снявшихся с места людей — всеобщее бегство, начало исторического сдвига, кризис эпохи.

В современной автору критике «Ван Лунь» был оценен как роман о непротивлении (см.: Minder 1961: 147). Но для Дёблина эта проблема имела и общий, космический отсвет. Характерная для его творчества трагическая коллизия состояла в том, что человек не только противостоял действительности — он был включен в эту действительность. Лишь с известной долей неточности мы говорили выше о противостоянии человека и мира: против действительности, природы, космоса сражался тот, кто сам был подчинен ее общим законам.

Среди книг Дёблина роман «Три прыжка Ван Луня» наиболее виталистичен. Десятками уподоблений (Ван Лунь сравнивается, например, с выпнувшим спину зверем), а также показывая неразумность, иррациональность своих героев, внезапность их решений и душевных порывов, Дёблин подчеркивает включенность людей в природное целое. Человек изображен не размышляющим, а по преимуществу действующим. В романе мало разговоров, а сказанное часто передается в форме косвенной речи, как когда-то произнесенное, но оторвавшееся от человека, ставшее

частью жизни, «цитатой». Скупые диалоги часто лишены обычных «сказал», «ответил» — они присутствуют как объективно развивающаяся реальность. Поток действительности несет человека:

Его злило, что он утратил волю, не может решиться ни на что, а только бродит без цели. Он чувствовал себя так, как когда купался на дальней отмели Хуньганцуни в момент начала отлива: только что его вынесли на берег сильные волны, и вот они уже тащат его, слегка покачивая, назад по песку (Дёблин 2006б: 13).

Роман вырос на почве экспрессионизма: действуя согласно экспрессионистической эстетике, автор выводит внутреннее наружу, материализует душевное состояние в жесте, в движении, в одежде, в обстановке (дымящаяся штанина возмущенного Вана во время разговора с бродягами). Отказавшись от «фантазмагии психологизирующего реализма», «сломав гегемонию автора» (тезисы его так называемой «Берлинской программы» 1913 (см.: Döblin 1963: 16, 18)) и тем самым отбросив попытки проникнуть вглубь, к истокам человеческих чувств, писатель представил простейшие реакции человека, выливающиеся в действия, порывы десятков и сотен людей.

Главным героем романа «Три прыжка Вана Луня» является не только лицо, давшее ему название, не только друг и антагонист Вана — Ма Ноу (оба представляют разные варианты идеи непротивления), но и масса, некое органическое единство, почти что природное образование, плазма, растекающаяся повсюду: «Возбужденные люди собирались в группы, которые распадались и вновь образовывались» (Дёблин 2006б: 401).

Острее и раньше других немецких романистов («Ван Лунь» писался в 1912–1913 годах) Дёблин осознал значение масс — движущей силы современной истории, как и вообще удельный вес массы в современном мире («Для эпоса непригодны отдельные лица с их так называемыми судьбами» (цит. по: Soergel 1926: 875)). Многие годы спустя, в приветствии по поводу 60-летнего юбилея писателя, Б. Брехт отмечал «новаторское значение» выработанной Дёблином «в этой области писательской техники», без изучения которой вряд ли может обойтись тот, кто «посвятил себя описанию больших массовых движений» (цит. по: Döblin 1968: 544). Эта техника много раз применялась впоследствии самим Дёблином — вплоть до его грандиозной тетралогии о революции в Германии «Ноябрь 1918. Немецкая революция» (1939).

Однако присутствие масс в романах Дёблина имело и другой смысл. Масса, скопление людей, нагляднее, чем отдельная судьба, демонстрировала для писателя подвластность человека общим законам природы. Масса — сообщество, объединенное одной идеей или единым устремлением, — существовала для Дёблина по тем самым физическим законам резонанса (отклика, звучащего в унисон), который действует не только в неорганическом мире, но и в живой природе, являясь основой объединения животных, насекомых, растений по общности потребностей, положения, «интересов». Разительно отличаясь в этом смысле от большинства современных ему немецких писателей, Дёблин был заворочен количеством. Его привлекали групповые соединения, комья, глыбы действительности (такой же отзывчивостью на «количество», масштаб, размер среди романистов XX века отличались американцы

Томас Вулф и Уильям Фолкнер). Дёблиновские герои (не только в упоминавшемся уже утопическом романе «Горы моря и гиганты») — часто почти великаны (таков Ван Лунь), большие, тяжелые, заметные в окружающей среде. Их сопоставимость с миром подчеркнута размером. Каждый из них должен быть заметным и в космическом крутовращении.

Разные состояния массы — взволнованность или спокойствие, движение или остановка, натиск или расслабление — перемежаются в «Ван Луне» как вдох и выдох, как смена дня и ночи, как неизменный круговорот года. Именно это создает музыку книги, ее ритм, основанный, как и в самой природе, на законах соответствия и симметрии, на чередовании противоположностей. «Мы включены, — писал Дёблин в 1933 году в своей философской книге «Наше бытие», — в течение всей нашей жизни в гораздо более стабильный порядок, чем это рисуется нашим воображением» (Döblin 1964: 113). Человек работает, думает, любит, строит планы, надеется. А параллельно, лишь иногда властно напоминая о себе, идет деятельность желез внутренней секреции, распад, старение — одинаковые и неотвратимые у всех людей. «От земли ты взят — в землю возвратишься», — лейтмотивом звучит на страницах «Берлин Александрплац». Но суть дела заключалась для Дёблина не столько в трагической краткости всякого пребывания на земле (хотя он яростно опровергал Гёте, утверждавшего, что человек умирает тогда, когда исчерпаны его творческие возможности). Важнее для писателя была сама — успокоительная и драматичная — включенность человека в целое. Чувство включенности в общую цепь и вместе с тем трения между «я» и миром было у Дёблина настолько острым, что как нечто чужеродное по отношению к «я» он ощущал даже само человеческое тело — то, что могло болеть, причинять «мне» страдания. Соотношение внутреннего и внешнего, бесконечное трение внутреннего «я» о шершавую поверхность мира оставалось, существенно изменяясь, главной художественной коллизией в творчестве писателя. Исходной точкой была все та же замороженность материей, материальной поверхностью жизни. И в экспрессионизме Дёблину была близка мистифицировавшаяся предметность — «натурализм» экспрессионизма. Сам материал казался важнейшим для содержания и формы нового искусства.

Дёблин написал роман о широком антиправительственном народном движении, которое противопоставило насилию императора идею непротивления. В Германии накануне Первой мировой войны это звучало предостережением против грядущего насилия и взаимоуничтожения народов. Но альтернатива насилию — непротивление, как было сказано, включалась для Дёблина и в более широкий контекст. «Поистине слабые» должны были растечься по стране, раствориться, уничтожиться как организованное целое. Предлагался рецепт существования, подобный тому, которому следовали участники таинственного путешествия в страну Востока у Г. Гессе («Паломничество в страну Востока», 1932). Однако действительность у Дёблина не принимала «поистие слабых». Его вселенная, жизнь, космос, «Дао» не были, как у Гессе, необъятным целым, способным охватить любые противоречия. Его «Дао», «путь мира», было «жестким, негибким, не отклоняющимся в сторону» (конец первой книги «Трех прыжков Ван Луна»). Растворение нарушало вечный закон живого существования — закон столкновения противосил. Интерес, с которым читается роман «Три прыжка Ван Луна» — отвлеченно-философское произведение на тему

из старокитайской истории, — обусловлен именно тем напряжением, с которым хочет осуществиться и раз за разом терпит поражение попытка людей, включенных в природу, слиться с ней до конца.

В «Трех прыжках Ван Луня» Дёблин стремился к почти аскетической объективности. Он хотел показать процессы всемирного трения в обнаженном виде — без рефлексивного анализа, без взгляда со стороны, без прослойки духа. «Содержание эпического произведения, — полагал он в то время, — это обездушенная реальность» (*Döblin A. Berliner Programm // Döblin 1963: 17*). Человек существовал в романе для единоробства с действительностью. Пережить эту действительность и это единоробство должен был не герой и не автор-рассказчик — пережить ее предстояло читателю.

В «Трех прыжках Ван Луня», как и в других ранних произведениях Дёблина (романах «Борьба Вадцека с паровой турбиной», «Валленштейн», «Горы моря и гиганты»), перевес сил на стороне внешнего, на стороне действительности. Художественно это выразилось в полной включенности в нее человека. Провозгласив высокую идею непротивления и самопожертвования, герои романа, за исключением нескольких эпизодических персонажей, не были сами этой идеей возвышены. Желая оградить своих сторонников от соблазна сопротивления в момент, когда город уже окружен императорскими войсками, Ван Лунь с жестокостью одержимого сыплет яд в питьевую воду. В муках гибнут сотни людей.

Произведение Дёблина должно было, по замыслу автора, остаться хроникой, незаинтересованным сообщением (*Vericht*), представляющим, а не описывающим и не истолковывающим действительность. Книга будто не хотела становиться романом с его концептуальностью и «лирикой». Дёблин твердо противостоял Гёте, определившему жанр романа как «лирическую эпопею», а вместе с ним и многим писателям-современникам².

Но если не героям, то читателю дано было ощутить в «Трех прыжках Ван Луня» тайную лирику. Говорили сама организация материала, выверенная конструкция книги, главный закон ее построения — череда ударов человека о глыбу жизни. Форма содержала в себе ту философию, боль, духовность, которые были изгнаны из романной действительности.

*

Город Берлин расположен на 52°31' северной широты и 13°25' восточной долготы, 20 вокзалов для поездов дальнего следования, 121 вокзал для пригородного сообщения, 27 станций окружной железной дороги, 14 — городской железной дороги, 7 сортировочных станций, трамвайное сообщение, автобусы, надземная и подземная железная дорога (с. 361 наст. изд.).

На читателя романа Дёблина «Берлин Александрплац» (1929) обрушивается лавина сведений о жизни Берлина в неспокойном 1928 году. На страницах романа мелькают названия фильмов («Без родителей, судьба одной сироты в 6 действиях»

² Эта позиция сохранилась у Дёблина до конца его жизни: он всегда был противником «субъективизма» в романе (письмо А. Кучеру от 7 января 1947 г. (см.: *Döblin 1970a: 361*)).

(с. 25 наст. изд.) и рекламные объявления («Диодил — лучшее средство при артериосклерозе!» (с. 362 наст. изд.)), выдержки из речи рейхсканцлера Маркса и неофициальная интерпретация его идей («Германское государство есть республика, и кто этому не верит, получит в морду» (с. 214 наст. изд.)). Ломают большой универмаг, что на углу Александрплац (в просторечии — Алекс); разные партии проводят свои митинги; кто-то, забредший на вокзал, удивляется: «Откуда у людей столько денег на разъезды?» (с. 41 наст. изд.); бегут трамваи по маршрутам № 41, № 99 и № 129 — шумит большой город Берлин.

Шум жизни оглушает. Отдельные голоса перебивают друг друга, будто кто-то крутит ручку радиоприемника. В информацию о политическом положении в стране врываются спортивные новости, а еще один голос твердит свое о погоде. Роман Дёблина с первой же фразы погружает читателя в ту гущу городской — бытовой, социальной, общей, обыденной — действительности, которая присутствует у Гессе и Томаса Манна в «снятом», просветленном, поднятом до уровня философских проблем виде. По сравнению с книгами Гессе и Т. Манна «Берлин Александрплац» производит то самое впечатление, которое получал его автор, возвращаясь в столицу после жизни на лоне природы:

Меня будто ударило током, когда на вокзале я видел вокруг дома, сиделся в трамвай, входил в магазин. Людской поток на Клеберплац, сотни лиц, сотни занятий, столбы, облепленные афишами, чистильщики сапог, воззвания властей, прямые, как стрела, кварталы вновь отстроенных улиц, торжественное и деловое здание почтамта — это была моя стихия. Я ничего не понимаю в математике и машинах, но меня возбуждает шум динамо-машины в подвале, мимо которого я прохожу... Он действует как оклик, я вновь ощущаю прилив сил (*Döblin A. Berlin und die Künstler // Döblin 1968: 81–82*).

Но важны и другие отличия творчества Дёблина, а также близких ему в разных отношениях писателей (Джойса, Дос Пассоса, из соотечественников — Б. Брехта, Э. Кестнера, Г. Кестена) от того типа творчества, который представлен Т. Манном и Г. Гессе. Ведь и у Т. Манна поражает завлекающая, тщательно выписанная предметность. Способность этого автора к описанию вещей — как простых, так и наиболее сложных, близких и весьма отдаленных — не знает пределов. Бесспорно и неизменное пристрастие Томаса Манна к безбрежности эпоса, так убедительно проявившее себя в тетралогии «Иосиф и его братья».

С другой стороны, и романы Дёблина вряд ли могут, да и хотели бы обмануть нас простой имитацией жизни; на самом деле они не менее интеллектуальны и философичны, чем романы Гессе и Манна. Важно заметить, однако, и их расхождение.

Отличие начинается уже с малого — с иного характера самой предметности в романах Дёблина.

Очень зримо, со всеми подробностями описал Т. Манн в «Волшебной горе» ренессансное кресло, обитое плюшем, в котором расположился в ожидании Клавдии Шоша Ганс Касторп. Такого кресла «с высокой прямой спинкой и без ручек», или другого, но столь же подробно описанного, не найти в романах Альфреда Дёблина. В его наполненных бурлящей реальностью книгах (исключение представляет последний роман Дёблина «Гамлет») кресло будет или вовсе не замечено, или в лучшем

случае опробовано на вес — как некий груз, как масса. В «Берлин Александрплац» к креслу будет привязан старик сторож в ограбленной конторе, и этим же креслом, поднявшись на ноги, он попытается выломать заваленную грабителями дверь. Больше того, у Дёблина не описан Берлин, который с такой реальностью встает перед нами в его знаменитом романе. Мы узнаем о количестве вокзалов, но не об их особенностях. Не замечаем общего колорита города. Едем с героем в тесноте надземки, как и он, смотрим в окно, но не видим открывающейся панорамы.

Нет ничего более противоположного манере Дёблина, чем описание. В его романах ничто не описано, не осмотрено чьим-то внимательным взглядом, как то ренессансное кресло в «Волшебной горе». «Описывать — неверное выражение», — бросает он тотчас по поводу собственной фразы о войне, «описанной» в «Валленштейне» (*Döblin A. Entstehung und Sinn meines Buches «Wallenstein» // Döblin 1970a: 839*). «В романе, — гласит его формула, — надо чередовать слои, громоздить кучи перекачивать и передвигать громады (*schichten, haufen, walzen, schieben*)» (с. 396 наст. изд.).

В творчестве Дёблина все показано в беспрестанном взаимодействии, столкновении, накоплении сил, трении. На полях сражений Тридцатилетней войны бьются и уничтожают друг друга народы (роман «Валленштейн»). В утопическом романе «Горы моря и гиганты» навстречу людям, сумевшим растопить лед Гренландии, движется огромная масса: ожили тысячи погребенных подо льдом древних организмов; раздавленные, разорванные члены срстаются в чудовищном смешении — круглые существа скатываются с гор в долину, вбирая в себя все, что встречается на пути.

В центре внимания Дёблина то, что оставалось за пределами романов Томаса Манна и Германа Гессе, — картина непосредственного столкновения. Это и определяет композицию его романов. Главное в ней — не воспитание и развитие, не плавная восходящая кривая, а серия схваток, наскоков, прерывистая, рвущаяся линия. Именно этот смысл имеет название романа «Три прыжка Ван Луния» — три попытки героя разными способами сладить с действительностью. Три раза поднимается поверженный Франц Биберкопф, и все в сюжете будто начинается сначала: герой обзаводится новой любовью, снова выбирает себе занятие и утверждает в новом роде активности.

Важнейшим отличием романов Альфреда Дёблина является не обилие в них конкретных примет действительности (их лавина поражает лишь в «Берлин Александрплац»). Важнейшим является иной принцип изображения: человек и мир познаются через характер их реакций друг на друга.

В немецкую литературу Дёблин вошел как художник, воссоздавший облик современного города. Но его новаторство отнюдь не в теме (изображению города были посвящены, например, и страницы многих произведений натуралиста Макса Кретцера). Новаторство — в способах изображения.

Город Берлин не описан у Дёблина: он живет и действует — существует в его романе.

Он стоял за воротами тюрьмы в Тегеле, на свободе. Вчера еще он копал картошку вон там на огороде вместе с другими, в арестантском платье, а теперь он в желтом летнем пальто; те там продолжают копать, а он свободен. Он пропуская трамвай за трамваем, прислонясь спиной к красной ограде, и не

уходил. Караульный у ворот несколько раз прошел мимо него <...> но он не двигался с места. И так, страшный момент наступил (страшный, Франц, почему страшный?), четыре года истекли. Черные железные створы ворот, на которые он поглядывал вот уже целый год с возрастающим отвращением (отвращением, почему отвращением), захлопнулись за ним. Его снова выставили вон. Там, внутри, сидели остальные, столяричили, что-то лакировали, сортировали, клеили, кому оставалось еще два года, кому пять. А он стоял у остановки трамвая. Наказание начинается (с. 12 наст. изд.).

Таковы первые строки романа «Берлин Александрплац» о бывшем цементнике и транспортном рабочем Франце Биберкопфе, отсидевшем свой срок за нечаянное убийство, а теперь во что бы то ни стало желающем стать порядочным. Можно прочесть этот фрагмент, так сказать, психологически — с пониманием и сочувствием к человеку, отвыкшему от свободы и страшющемуся новой жизни. Но тот же маленький кусок текста несет в себе и «информацию» о характере художественного мира, в котором оказался читатель. Привыкнув к законам этого мира, уже нельзя будет уйти от впечатления, что автор поведал нам сразу, с энергичной краткостью, о столкновении двух сил. Одна — человек, только что вышедший из тюрьмы. Но что прижало его спиной к красной кирпичной стене? Что держит его у ворот, несмотря на повторяющиеся самоуверенные «свободен, свободен»? С первых же строк ощутим напор действительности на человека. Еще не описанный, неведомый читателю Берлин уже присутствует в повествовании как сила, перед которой — лицом к лицу с ней — замер герой.

Потом в горячем воображении огуленного городом Франца крыши будут соскальзывать с пошатнувшихся зданий, улицы предстанут как бесконечная непроницаемая стена, окружившая человека. Но и в дальнейшем, когда Биберкопф утвердится в своей новой позиции, автор найдет десятки, может быть, менее очевидных, но зато разнообразных способов, чтобы продемонстрировать экспансию города в сознании человека.

Однако и добродушный Биберкопф оказывается не всегда безобидным.

Роман «Берлин Александрплац» часто истолковывался как книга о добром человеке, который меняется под неумолимым давлением обстоятельств. «И <...> пока у него были деньги, он оставался порядочным. А затем у него все деньги вышли» (с. 36 наст. изд.), — так писал А. Дёблин о своем герое. Роман действительно вообрал в себя широкий слой социальной действительности, в том числе и весьма характерную для тогдашней политической ситуации способность среднего человека меняться под давлением обстоятельств. В каком-то существенном смысле Франц Биберкопф и был тем добрым, но слабым человеком, тем «чистым листом», на котором история могла начертать любые письмена. Его участие в грабительских рейдах шайки Пумса—Рейнхольда, о котором мы узнаем позже, как и вся отраженная в романе атмосфера укorenившейся преступности, несомненно, были предвестиями назревавшей в Германии политической катастрофы.

Однако Дёблину интересен не только политический аспект этой проблемы. Как у всякого большого художника, у него есть некий постоянный угол зрения, некая исходная ситуация, в которых запечатлелось характерное для него мировосприя-

тие. Человек в представлении Дёблина всегда противостоит действительности. Биберкопф в качестве последовательно доброго или слабого человека, Биберкопф в роли брехтовского Гэли Гэя (пьеса «Что тот солдат, что этот», 1926), послушно превращающегося на наших глазах из безответного бедняка в жестокого солдата колониальных войск и так повторяющего общий изгиб действительности, не привлёк бы внимания Дёблина. Его герой периодически наливается силой. Он вновь и вновь бросается в атаку на жизнь, на устроенный по непонятным законам мир, на Берлин.

Мы ничего не знаем о внешности возлюбленной Франца Мици, но сразу узнаем о ее мягких руках, о том, как нежно и ласково она прижималась к Францу. Мици в романе — воплощение мягкости и любви. Она свободна от мук «трения» и даже способна позволить подруге Еве завести ребенка от Франца, ее — Мици — любимого. Мици будто сошла из рая, где люди и звери живут в полном согласии, «где никто не мучит другого», — рая, ироническое отношение к которому как к некоей немислимости проходит лейтмотивом по всей книге. Только к концу романа, когда Мици уже зверски убита дружкой Франца Рейнхольдом, мы читаем в полицейском отчете, что одета она была в тот день в черную юбку и розовую блузку. Это сообщение поражает читателя как нечто подсмотренное со стороны, чужим глазом, как нарушение нашего интимного контакта с героиней, как сказанное о той, которую мы узнавали в живой трепетности поступков.

Герой Т. Манна — «рассказанный человек» (Манн 1960: 386). О Рейнхольде, роковом друге Франца, нам не рассказано ничего. Лишь один раз мелькает его старая шинель, и по этой детали можно догадаться, что в формировании судьбы Рейнхольда главную роль сыграл не твердый уклад родительского дома, не строгий, одетый в черное дед-сенатор, а война, вытолкнувшая его в деклассированные низы и сделавшая преступником. Мы не знаем внешнего облика Рейнхольда, мы видим только его слабые, волочащиеся, как у больного, ноги, а в сцене ночного грабежа вдрут чувствуем, как его стальная рука мертвой хваткой вцепляется в плечо Франца. Качество палача и жертвы в их конкретном, наглядном, действенном проявлении (слабые ноги, стальная рука) — все это перемешано в Рейнхольде, личности, вобравшей в себя черты времени. Писателя занимает прежде всего характер «сцепления» героя с миром. Не случайно и Франц, сброшенный Рейнхольдом под грузовик, теряет в этом своем первом поражении именно руку — слабеет его способность к борьбе и отпору. «У нас есть ноги, у нас есть зубы, у нас есть глаза, у нас есть руки, пусть-ка кто-нибудь сунется нас укусить <...>! <...> У нас нет ног, увы, у нас нет зубов, у нас нет глаз, у нас нет рук, всякий может сунуться, кому не лень <...>» (с. 290 наст. изд.), — так говорится в романе.

Сама поза и жест у Дёблина материализуют степень внедрения героя в мир, запечатленный момент их соприкосновения, единоборства. «<...> Но теперь он, широко расставив ноги, прочно утвердился на берлинской почве, и если он говорит, что хочет быть порядочным человеком, то мы можем ему поверить, — он им и будет» (с. 37 наст. изд.) — так стоит «утвердившийся» Франц Биберкопф. Но в предыдущей, первой, книге романа все выглядело по-другому:

<...> наш герой стоял в вестибюле чужого дома и не слышал ужасного шума улицы, и не было перед ним обезумевших домов. Выпятив губы и стиснув

кулаки, он хрюкал и подбадривал себя. Его плечи в желтом летнем пальто были приподняты, как бы для защиты (с. 13–14 наст. изд.).

«Мир сделан из железа, и ничего нельзя с ним поделаться, он надвигается на вас, как огромный каток <...>» (с. 169 наст. изд.) — читаем мы в «Берлин Александрплац». Но жизнь человека, по концепции Дёблина, есть бесконечное прорубание штольни в этом неумолимо надвигающемся массиве.

*

«Берлин Александрплац», самая знаменитая книга Дёблина, дала критике основания для сопоставления дёблиновского творчества с рядом явлений мировой культуры 20-х годов. Этот роман постоянно сравнивали с «Улиссом» Джойса (1922, нем. пер. 1927) и с «Манхэттеном» Дос Пассоса (1925, нем. пер. 1927). Писали и о близости «Берлин Александрплац» искусству так называемой «новой деловитости», характерному порождению немецкой действительности этого десятилетия.

Следует, однако, отметить не только зависимость дёблиновского типа романа от перечисленных выше образцов, но и его своеобразие: свойственное ему иное пространство художественного мира.

Несомненное соответствие с творчеством Дос Пассоса, Брехта и другими художественными явлениями, типичными для 20-х годов, обнаруживается в напряженном внимании к тем процессам непрерывного трения, которыми связаны человек и действительность.

В воображении Дёблина, как живая картина, стояла грандиозная механика мироздания, подчиненного законам симметрии, периодичности, сохранения энергии и т. д. Многим его художественным произведениям предшествовали философские эссе и книги, писавшиеся ради решения последних вопросов, ради уяснения собственной концепции бытия. В 1927 году Дёблин опубликовал фантастическую «эпическую поэму» «Манас», написанную по мотивам восточного фольклора. Ей предшествовала философская работа «Я над природой», вызревавшая в течение первых послевоенных лет. Роман «Берлин Александрплац» также был воплощением, а отчасти и преодолением идей философской книги Дёблина «Наше бытие», опубликованной лишь в 1933 году. Дёблина как автора философских книг гипнотизировала масштабность единых для всего сущего процессов. Практикующий врач Дёблин пытался смотреть на природу с позиций натуралиста. Если для Томаса Манна дух был прерогативой человека, а человек — центром Вселенной, то Дёблин посвятил книгу «Наше бытие» обзору человеческого, животного, растительного, органического и неорганического миров, чтобы патетически восславить их единообразие. Расширяя понятия «поступок» и «действие» до таких пределов, чтобы они охватывали и физиологические процессы в организме, Дёблин объединял людей, животных, растения, вообще органическую природу на основании того, что всем им присущи одинаковые процессы обмена веществ, роста, распада. Но его страсть ко всеохватывающей системности этим не исчерпывалась: особый пафос Дёблин вкладывает в описание роста кристаллов, протекающего по тем же законам симметрии, что определяют строение человеческого организма. «Человек как минерал» названа одна из глав

«Нашего бытия». Томас Манн видел мир в четких разграничениях и, в отличие от своего персонажа композитора Леверкюна, не был склонен уравнивать неодинаковое. Дёблин, напротив, со страстью включал органическое в систему неорганической природы, видел общее — «торжество числа» — в движении небесных светил, расположении жилок на древесном листе, симметрии человеческого тела.

Натурфилософские работы Дёблина не имели научного значения хотя бы потому, что проповедовали давно известное, и при этом — в духе вульгарного материализма («Бернары!» — мог бы воскликнуть Митя Карамазов). Однако они обладают колоссальной значимостью как документы, выражающие муку художника, который до известного момента, до начала работы над «Гамлетом», полагал, будто человек наглухо заперт в механизме космоса. В разные годы в своих работах Дёблин подчеркивал то одухотворенность мира — и тогда человеческое «я» оказывалось связанным со сверхчувственным «я» природы (эссе «Я над природой»), — то его мертвенную механистичность. Но свобода личности в обоих случаях могла быть только мнимой: по убеждению Дёблина, лелеющий свою независимость человек пронизан токами изменяющей его действительности³.

Роман «Берлин Александрплац» подтверждает (на разных уровнях) интерес Дёблина к трению материальных поверхностей жизни, ко взаимному сцеплению отдельных ее элементов, к тем самым процессам сочленения, зажима и внедрения, о которых писали в 20-х годах теоретики конструктивистской архитектуры.

Именно как столкновение предметов изображено в романе убийство Иды: сильным двухкратным ударом Франц «привел в соприкосновение с грудной клеткой» (с. 79 наст. изд.) своей подруги венчик для сбивания сливок. То, что произошло дальше, тоже показано через геометрические образы и физические формулы (см. с. 80 наст. изд.): тело Иды приобретает «горизонтальное [положение]» (с. 81 наст. изд.), ее ребра ломаются согласно «законам ломкости и упругости, действия и противодействия» (с. 80 наст. изд.), и т. д. и т. п. Человек рассмотрен как физическое тело, включен в механику всеобщего круговращения. (Любопытно вспомнить в этой связи аналогичный пример из «Улисса» Джойса, когда Блум, лежа в постели, рассказывает Марион о прошедшем дне: «В каком направлении лежали слушательница и рассказчик? Слушательница на восток — юго-восток; рассказчик на запад — северо-запад, на 53 градусе северной широты и 6 градусе западной долготы; под углом в 45° к земному экватору. В каком состоянии — покоя или движения? В состоянии покоя относительно себя и друг друга. В состоянии движения, поскольку обоих уносило к западу непрерывающимся движением Земли»⁴).

Подобно близким ему романистам-современникам (Э. Кестнеру, Г. Кестену, Дос Пассосу), Дёблин строил сюжет «Александрплац» как множество лишь однажды соприкасающихся, а затем обрывающихся линий. В романах немецкой «новой деловитости», как и в «42-й параллели» или «Манхэттене» Дос Пассоса, появлялись десятки персонажей — и тут же бесследно исчезали. Человек рассматривался как

³ Натурфилософские книги Дёблина соприкасаются с экзистенциализмом, переосмысляющим мир с позиции личности. Сам Дёблин осознал эту связь в 30-е годы, в пору своего увлечения Кьеркегором, который сыграл огромную роль в формировании различных экзистенциалистских концепций XX в.

⁴ Джойс Д. Улисс. Пер. В. Хинкиса, С. Хоружего.

отдельный кирпич, как строительный блок в огромном здании целого. Он был носителем не столько индивидуальных, сколько общих характеристик. Проследить дальше его судьбу (или хотя бы упомянуть где-то вновь, намекнув на неслучайность его присутствия в романе и в жизни) не имело смысла, так как ничья индивидуальная судьба не несла в себе влияющего на жизнь содержания.

Как и многие писатели 20-х годов, Дёблин скептически смотрел на возможности человека — «части и противочасти мира» (Döblin 1964: 30). «Нельзя требовать от человека слишком многого!» — назвал он одну из глав «Нашего бытия». «Тот, кто потребует от человека слишком многого, — варьировал ту же мысль Герман Кестен, — придет либо к разочарованию, либо к насилию» (Kesten 1965: 182). По существу, не менее скепичен был в этом отношении и Бертольд Брехт. В рядах немецкой революционной литературы, с которой он все теснее сближался к концу 20-х годов, не существовало другого писателя, который столь же придирчиво относился бы к духовной высоте и доброте человека («Такие люди есть, но их не так много», — будет сказано потом в его пьесе о стойком пролетарии и бунтаре Матти). Отличаясь от Дёблина верой в возможность изменения жизненных обстоятельств революционным пролетариатом, Брехт не слишком верил в возможности отдельного человека.

Несмотря на стремительные взлеты и падения в судьбах персонажей писателей 20-х годов (материальный успех и внезапное разорение, любовь, человеческая близость и обязательно следующий за ней разрыв), скачки сюжета в конечном счете выравнивались в прямую линию, столь любимую архитекторами-конструктивистами⁵. Благородство и доброта на редкость бессильны, всякое высокое чувство тотчас снижается его практической бесполезностью... Эта литература — а вместе с ней, несомненно, и Дёблин — была сосредоточена не на процессе развития, приводящем к новому качеству. Процесс казался неизменным, обозримым и вечным: он сводился к бесконечному трению. Вдуматься следовало не в сцепление причин и следствий, а в толщу и сутолоку одновременных событий, их рядоположенность (Nebeneinander).

Не менее существенны, однако, и различия.

Если бы роман «Берлин Александрплац» был выстроен автором на одной лишь горизонтальной плоскости, если бы, нарушая классические каноны, этот роман показывал, подобно многим характерным произведениям 20-х годов, лишь втянутость человека в тысячи внешних материальных зависимостей, он в принципе не отличался бы от замечательного по-своему образца литературы подобного рода, уже упоминавшегося нами в связи с творчеством Дёблина: «Манхэттена» Дос Пассоса. Излюбленная Дёблином «симультанность»⁶ предстала бы тогда лишь во внешнем ее проявлении — как одновременность не связанных между собой существований. Таких примеров действительно можно найти в дёблиновском романе сколько угодно.

Но существо расхождений Дёблина с «новой деловитостью» и родственными ей явлениями в мировом искусстве 20-х годов как раз и состоит в том, что «Берлин Александрплац» отнюдь не сосредоточен лишь на ситуации времени, замкнувшей в себе человека. Дёблин будто ведет с читателем двойную (а может, и тройную) игру.

⁵ «В современном городе должна господствовать прямая линия... Прямая линия оздоравливает город», — писал Ле Корбюзье (*Ле Корбюзье. Архитектура XX века*. М.: Прогресс, 1978. С. 29).

⁶ Сам Дёблин видел истоки этой техники в экспрессионизме.

В книге присутствуют все приметы распространенного в 20-х годах мироощущения с его безысходностью и цинизмом, отразившимися в горькой сатире рисунков Отто Дикса и Георга Гросса, в песенках Вальтера Меринга, в стихах и прозе Кестнера. Но в нем есть и насмешка над ограниченностью подобного восприятия жизни.

На каком-то уровне повествования Дёблин, как и многие авторы «новой деловитости», представил читателю мир в момент, о котором еще не успело сложиться суждение. «За сейчас следует новое сейчас» (Döblin 1964: 216), — писал он в цитированной выше философской книге, будто обосновывая жизнью, какой она ему представлялась, одно из главных своих требований к современному эпическому роману: роман не есть повествование о прошлом, как часто считают, его эстетический смысл — не в упорядочивающем обзоре уже отошедших в небытие событий; действие романа, даже относящегося к прошлому, всегда разыгрывается перед читателем в настоящем, «сейчас» (см. с. 405—406 наст. изд.).

Однако миг текущего времени, «сейчас», наполнен у Дёблина, в отличие от многих авторов «новой деловитости», огромным напряжением: именно здесь происходит реализация всех скрытых в действительности энергий, здесь сталкиваются, вызывая вспышки и взрывы, разнозаряженные полюсы жизни. Ни рассказ о прошлом, ни предчувствие будущего не сравнимы с этим моментом по интенсивности. Для Дёблина они — лишь слабый отблеск того, что каждый человек чувствуетсию минуту.

В романах писателя прошлое и будущее так или иначе втянуты в настоящее. С плеч полководца Тилли в экспрессионистическом эпосе «Валленштейн» свисают, цепляясь за воротник, рукава, пояс, целые полки давно погибших солдат. Но и в последующие годы, когда экспрессионистическая техника вошла как органическая часть в реалистическое письмо Дёблина, он не выносил того, что называл «репродуцированием» действительности (а Брехт в те же годы — ее «пустым отражением»). Его не устраивало, например, натуралистически точное описание трупов на поле боя. По Дёблину, в той же реальности должен присутствовать и страх еще не погибших солдат, и муки и счастье родившей их матери. Время и жизнь в романе организованы по принципу, действовавшему в Библии: «Уже входят в дверь те, кто вынесет тебя отсюда» (Деян. 5: 9). Важен каждый отрезок времени, каждое «сейчас», в котором «даны одновременно не только жизнь и бытие, но также исчезновение и полная смерть» (Döblin 1964: 217).

Дёблин воспринимает действительность в той ее нерасчлененности — перемешанности разных слоев и фактов, отзвуков прошлого и предчувствий будущего, — в которой она видится живущему, действующему человеку.

Но толща сиюминутности разверста и вглубь. В тексте «Берлин Александрплац» то и дело наталкиваешься на ироничные оповещения об этом, третьем измерении. Нам видны строки письма, заклеенного в плотный конверт, да к тому же опущенного в почтовый ящик. Нам сообщают о содержимом желудка только что отобедавшего человека. Мир показан как нечто, совершающееся во внутреннем и во внешнем. «Здесь я стою, здесь умиру, — говорит каждая страница», — писал Дёблин о своем многослойном видении жизни еще в 1917 году. Дальше следовала знаменитая формула: «Если роман нельзя, как дождевого червя, разрезать на десять кусков, каждый из которых будет самостоятельно двигаться, — значит, он ничего не стоит» (с. 397 наст. изд.).

Эта идея часто понималась литературоведами как требование линейной организации материала, обязывающее делить сюжет на серию коротких сцен. В ней видели принцип «новой эпичности», детально разработанной в театре Брехта, но находившей и множество других параллелей (так был построен, к примеру, «драматический роман» Фейхтвангера «Томас Вендт», 1920). Суть данного приема, однако, для Дёблина состоит не столько в членении сюжета, повышающем внимание к каждой сцене и, напротив, снижающем интерес к итогу-развязке, сколько в содержательности каждого «отрезка», его «протяженности» в глубину. Объясняя свою мысль, Дёблин приводит примеры из мировой литературы. Ганечка Достоевского, бросающий банкноты в огонь, Дон Кихот, сражающийся с ветряными мельницами, — каждая из этих сцен, писал Дёблин, затрагивает глубинные основы человеческой психики в их сцеплении с ситуацией в мире, в каждой полностью выражен характер отношений героя к жизни, так что, по существу, отпадает необходимость в дальнейшем сюжетном развитии, в каждой сжаты прошлое и будущее, истоки и перспективы (см. с. 397 наст. изд.).

В отличие от многих авторов «новой деловитости» Дёблин постоянно предлагает читателю не ограничиваться объективной данностью, попытаться постичь глубинный смысл жизни. Через все его творчество как некий сигнальный знак проходит многозначительное у этого автора слово «бурить». Можно еще не почувствовать его необычной нагрузки, когда в романе «Три прыжка Ван Луня» мы читаем: «На юго-востоке, над болотом Далоу, уже давно сияла нитевидная каемка облака; но теперь *солнце пробурвило сквозную дыру, воронку, — и оттуда ударили длинные лучи* (курсив наш. — Н. П.), под которыми зелень травы и деревьев разгоралась все ярче» (Дёблин 2006б: 146), — можно, хотя фраза переполнена обычной для Дёблина энергией взаимного столкновения. Но и более чем через тридцать лет, в романе «Гамлет», дознание, которое станет вести герой, будет определено все тем же словом. В «Берлин Александрплац» бурят саму площадку города, бурят с особенным рвением в районе Алекса, где скрещиваются пути героев. Земля разворочена и разрыта. Приходится перебираться через глубокие рвы по доскам. Строят метро, подземку. Но эта фактографическая деталь, которая могла бы встретиться в газетном очерке о Берлине 1928 года, имеет у Дёблина и вневременный, символический смысл. Читателю предлагается заглянуть в скрытые под поверхностью жизни бездны.

Но расхождение с «новой деловитостью» не исчерпываются этим.

В романе «Берлин Александрплац» Дёблин отчасти отказался от представления о неспособности человека вырваться из железных оков материального мира. Это означало огромный сдвиг в творчестве писателя, проявившийся не только в романе, но и в предшествовавшем ему стихотворном эпосе «Манас».

Дёблин начинал, как мы помним, с полного изгнания всякой субъективности, в том числе субъективности автора и героя. Сознание Ван Луня в романе не было представлено — только реализация этого сознания в поступках. «Лирику я не любил, — писал Дёблин в 1948 году о своем раннем творчестве, — хотел изображать лишь процессы, события, образы, сплошной каменный фасад — но не психологию» (с. 470 наст. изд.).

Отменив свои ригористические требования к эпосу, Дёблин ввел в роман «Берлин Александрплац» думающее, чувствующее, страдающее «я» героя и автора. Совершился прорыв сквозь непрозрачную кору действительности, имевший для

Дёблина колоссальные художественные следствия. Эпик, задачей которого было, как он считал, обращать внимание на объективное и внешнее, впервые заглянул внутрь. Во взаимодействие с материальной поверхностью жизни вступил поток сознания человека. Главная художественная коллизия творчества Дёблина — столкновение и трение — по-новому раскрылась на этой новой творческой фазе. Но тот психологизм, который разрешил себе автор, без которого он теперь считал невозможным глубокое постижение мира, по-прежнему существенно отличался от психологизма Томаса Манна и Гессе.

Отражение сиюминутности сочеталось отныне в творчестве Дёблина с постоянным присутствием «я». «Слово “есть”, — писал Дёблин в книге “Наше бытие”, — так же не сопоставимо со словами “было” и “будет”, как никакое другое слово не сопоставимо со словом “я”» (Döblin 1964: 214). В «Берлин Александрплац» Дёблин, по сути, развивал свой старый тезис о непосредственном восприятии жизни, без всяких прослоек и дистанций, — в момент ее течения, вдобавок не кем-нибудь, не другим, не третьим лицом, но именно «мною»: «В мир входят только через ворота “я”» (Ibid.: 15).

Вальтер Бенъямин отметил в рецензии на «Берлин Александрплац», что автор долго не дает своим героям слова, лишает их возможности заговорить (см. с. 383 наст. изд.). На первых десятках страниц Франц Биберкопф действительно почти не разговаривает — он стонет, охает, мычит, хрюкает, издает, подобно немой скотине, нечленораздельные звуки. Потом его эксплицирующаяся в диалогах речь то и дело сочетается с (или замещается) тем, что звучит в его душе. Фиксация такого — не произносимого вслух — слова порой занимает целые страницы. Но внутреннее слово дёблиновского героя совсем не похоже на четкие размышления, каким, например, предается Гёте в романе Томаса Манна «Лотта в Веймаре».

Т. Манн и Г. Гессе тоже иногда изображали душевную жизнь своих персонажей в форме внутреннего монолога. Они прибегали к этой технике при описании мгновений высокого духовного напряжения героя, когда он прозревал то, чего не было дано в окружающей материальности, что пока могло осуществиться только как мысль, как работа духа. Параллель к дёблиновскому методу скорее следует искать не у этих писателей, а у Джеймса Джойса. «Поток сознания» создает в обоих случаях эффект присутствия читателя при душевной работе персонажа. Человек увиден не только снаружи, но и изнутри. Отпадает необходимость описывать внутреннюю жизнь или характеризовать ее через «соответствующую» состоянию героя обстановку. Внутренняя жизнь, как и внешние события, при таком методе предстает без опосредований: она просто свершается.

Читатель вынужден сам разносить отдельные слова и реплики, отзывающиеся в душе героя, по их принадлежности тому или другому персонажу. В тексте дёблиновского романа они часто следуют друг за другом нерасчлененным потоком. «Руки как лед, ноги как лед, вот, значит, кто» (это сознание Миши за несколько секунд до ее изнасилования и убийства Рейнхольдом). «А теперь ложись и будь ласкова, как полагается» (услышанная ею реплика Рейнхольда). «Да ведь это же — убийца» (оставшаяся произнесенной ужасная догадка). «Подлец, негодяй, подлец!» (с. 284 наст. изд.) (то, что только и вырвалось наружу — как оборона, отпор, активное действие). Результатом такой манеры письма стала необычайная энергия стиля, его экономность и многослойность. Были представлены не только действия, но и реакции, трепещущее сознание героев.

Благодаря разработанной Дёблином технике ему удается втянуть в калейдоскоп романной действительности десятки персонажей. В «Улиссе» Джойса поток сознания представлен на нескольких срезах — на уровне бессознательного, на уровне обыденного мышления и, наконец, на уровне высокого интеллектуализма. В романе Дёблина нет интеллектуала, подобного Стивену Дедалу, и внутренняя жизнь его героев уже поэтому менее духовна. Впрочем, что значит менее духовна? Поток сознания запечатлевает порывы низменные, но и высокие, подсознательные и разумные — остающиеся, однако, у необразованных героев Дёблина неготовыми для оформления в слове. Проблема инстинкт/разум у Дёблина не решается однозначно. Во многих своих романах писатель подчеркивал присутствие в человеке бессознательных, темных и страшных движений души, его неспособность сопротивляться воздействию на него потоку. Представление о том, что человек все-таки способен оказывать сопротивление, появляется и постепенно усиливается лишь в позднем творчестве Дёблина. Вообще же Дёблин всегда считал, что человек «не сильнее волны, которая его несет» (*Döblin A. Ulysses von Joyce // Prangel 1975: 50*). «Поток сознания» открывает читателю сложную смесь из мыслей и чувствований героев. Произнесенное же слово в сравнении с ним кажется негибкой, застывшей материей, из-за своей однозначности не способной передать все богатство оттенков внутренней жизни.

О романе «Берлин Александрплац» нередко писали, что его автор перенял технику потока сознания у Джойса. Сам Дёблин неоднократно признавал свою близость к Джойсу, как и то, что он восхищается М. Прустом, но при этом с обидой подчеркивал, что не нуждается в заимствованиях⁷.

Для Дёблина в потоке сознания скрыта своя актуальность. Специфически дёблиновский смысл этой техники сводится к возможности показать трение внутреннего и внешнего пластов действительности, то есть все то же внедрение жизни в сознание человека («бурение»).

<...> Франц через стол выхватывает из рук толстухи газету.

Там — рядом два снимка, что, что, ужас, ужас, это же — я, это же я, но почему же, из-за дела на Штралауерштрассе, почему же, ужас, это же я, а затем Рейнхольд, и надпись: Убийство, убийство проститутки близ Фрейенвальде, убитая — Эмилия Парзунке из Бернау. Миши! Что это значит? Я (с. 309 наст. изд.).

Содержание отрывка можно обозначить разговорным словом «дошло!». Мастерство Дёблина в том, что он показал, как «доходит». Строй фразы, повторы, прерывистость мысли, спотыкания демонстрируют сопротивление сознания, его неготовность воспринять факт. При этом поток действительности шире «потока сознания» героя. Отрывков вроде приведенного выше в романе Дёблина бесчисленное множество. «Поток сознания» никогда не растягивается, как у Джойса и Пруста, на десятки страниц: он то и дело прерывается, перемежается, сталкивается не только с разнообразными формами материальной действительности, но и с представленным короткими врезками сознанием многих других героев, а также, что еще более важно, с потоком сознания автора.

⁷ Об отношении Дёблина к Джойсу см.: Prangler 1975: 44, 48–52. О М. Прусте Дёблин писал в статье «Mit dem Blick zur Latinität» (1930) (см.: Döblin 1968: 401).

Появление автора на страницах романа «Берлин Александрплац» особенно значимо. Мы здесь отчасти имеем дело с авторским сознанием, которое централизует, собирает повествование в единый фокус, — такое сознание отсутствовало в «Улиссе» Джойса и в «Ван Луне» самого Дёблина. Вместе с тем задачи этого автора-рассказчика не традиционны.

Повествователь у Дёблина — не скрытый от читателя всеведущий автор. Он пребывает внутри романа, живет в романной действительности. Повествователь у Дёблина — это еще один звучащий в романе голос, еще одно сознание, комментирующее, оценивающее, вслушивающееся и вглядывающееся в главную действительность романа. Но, вслушиваясь и вглядываясь, комментируя и оценивая события и героев, дёблиновский повествователь — и в этом его отличие от рассказчиков у Томаса Манна — никогда ничего не описывает, не «повествует» о той реальности, которая ему открывается. Он не может этого сделать хотя бы уже потому, что точка зрения, с которой он видит действительность, все время меняется. Кругозор повествователя то слит с кругозором героев (в совершенно необычной мере), то охватывает иные просторы. Его голос то почти теряется в шуме действительности, то звучит с определенной дистанции.

Главная материя «Берлин Александрплац» — непрерывный поток льющей речи, «говорящей действительности». Этот роман «звучит» даже там, где он показывает нам твердую материю жизни.

Мороз. Февраль месяц. Люди кутаются в теплые пальто. У кого есть шуба, ходит в шубе, у кого нет шубы, ходит без шубы. <...> Вся шантрапа куда-то попряталась от холода. Когда потеплеет, эти людишки опять высунут носы на улицу. Тем временем они согреваются двойной порцией шнапса, но что это за шнапс, мне, например, не хотелось бы плавать в нем даже в мертвом виде (с. 132 наст. изд.).

В этом отрывке из пятой книги романа отчетливо виден Берлин в зимнем месяце феврале. Но написанное трудно принять просто за объективную картину. Кто-то как будто говорит. Явственно слышен чей-то рассуждающий, оценивающий ситуацию голос. Он не нисходит с небес, это голос человека. Его обладатель прекрасно знаком с некоторыми прописными жизненными истинами (например, с разницей между «иметь» и «не иметь»). Часто он вступает с этими прописными истинами в полемику, и тогда на страницах романа причудливо переплетаются и сталкиваются разные голоса, разные точки зрения: сознание автора и застывшее в стереотипном слове сознание некоего усредненного обывателя.

На углу Ландсбергерштрассе устроили полную распродажу товара в бывшем универсаме Фридриха Гана, ликвидировали всё до последней ниточки, и вот теперь собираются отправить самый дом к праотцам. <...> А дом, где был магазин канцелярских принадлежностей Юргенса, уже снесли, и на его месте красуется сейчас дощатый забор.

У забора сидит старик с весами для самовзвешивания: контролируйте свой вес. Цена 5 пфеннигов. <...> Перед нами куча мусора. От земли ты взят и в землю снова возвратишься, стоял здесь когда-то прекрасный дом, а ныне никто и

не вспоминает о нем. Так погибли Рим, Вавилон, Ниневия, Ганнибал, Цезарь, все пошло прахом, помните это. Но я на это скажу, что, во-первых, теперь производят раскопки этих городов, как показывают нам иллюстрации в последнем воскресном номере газеты, а во-вторых, эти города выполнили свое назначение, и можно приняться за постройку новых <...> тем мир и держится (с. 133–134 наст. изд.).

Последнее слово осталось за омертвевшим сознанием, ориентированным на сиюминутную действительность. Катастрофы прошлого теряют свой трагический смысл, будучи втиснутыми в ряд текущей информации. Однако те же события по-иному воспринимаются иным сознанием и комментируются иным голосом: «Перед нами куча мусора. От земли ты взят и в землю снова возвратишься» (с. 134 наст. изд.). Авторский голос далеко не всегда звучит так торжественно. Он оперирует не только библейскими афоризмами, но и обыденной речью. Кому, в самом деле, принадлежит следующая за процитированной фраза: «<...> стоял здесь когда-то прекрасный дом, а ныне <...>» (с. 134 наст. изд.). Авторская мысль о бренности бытия выражена как будто и в чужом, «обывательском» стиле, в форме тех присказок, песенок, поговорок, стереотипных речевых оборотов, которые во множестве рассыпаны по страницам романа («Ручками мы хлоп, хлоп, хлоп, ножками мы топ, топ, топ» (напр., с. 38 наст. изд.); «Виды на урожай блестящи, впрочем, иной раз можно и ошибиться» (с. 265 наст. изд.) — и т. д., в бесчисленных вариантах). Индивидуальная и субъективная правда автора в романе Дёблина «прорезывается» через городскую действительность, через звучащую объективность городской речи. Более того, порой она разлита в ней.

Чем ближе к концу романа, тем вольнее и изощренней Дёблин перемежает и сталкивает субъективное и объективное, эпос и изгоняющуюся им раньше лирику, зримую действительность и кадры из потока сознания автора и героев.

Некоего второстепенного персонажа, Карлушку-жестянщика, помогавшего Рейнхольду скрывать следы совершенного им убийства, полицейские приводят в лес, чтобы он указал место, где закопано тело: «А вот и прогалина с покосившейся елью, все осталось так, как было в тот день. Я — вся твоя, а сердце ее убито, глаза убиты, уста убиты, не пройтись ли нам еще немножко, ах, не жми так крепко. “Видите кривую ель? Тут оно и есть!”» (с. 302 наст. изд.). Если прочитать этот отрывок в полагающийся ему черед, то есть в середине восьмой книги романа, имея позади предыдущие, то он будет звучать разными голосами, напоминая читателю в кратком «резюме» то, что тому уже известно. «А вот и прогалина...» — это проносится в голове Карлушки, участника недавних событий. «Я — вся твоя» — это «из Мици», из ее приводившихся ранее слов, обращенных к Францу. Дальше после запятой: «сердце ее убито, глаза убиты» — «цитата» из причитаний автора, отзвучавших сразу после убийства. «Не пройтись ли нам еще немножко, ах, не жми так крепко» — из диалога Мици и Рейнхольда в счастливом начале прогулки по Фрейенвальду. Кроме того, те же слова можно соотнести и с ощущениями свидетеля: руки его перетянуты веревкой, а думает он о том, как найти то самое место.

Совершается постоянное перемещение перспективы. Действительность увидена разными глазами. Как будто не только Карлушка с полицейскими, но и Франц, Мици, Рейнхольд, повествователь идут вместе с ними к прогалине с темной елью.

Или: будто сюда, в это дышащее прошлым мгновение, переносятся вдруг на секунду, в хватком сцеплении, их чувства и мысли из прежних дней.

Но если слово и мысль автора существуют в таком взаимопроникновении с чувствами и с действительностью героев, то каким же образом автор отделен в книге от так полно представленной им обыденности?

Каждый, кто читал «Берлин Александрплац», помнит суровые предупреждения повествователя о смысле истории Франца Биберкопфа, которую предстоит узнать читателю, и о ее страшном конце. Предупреждения эти, набранные особым шрифтом, помещены перед каждой частью и перед началом романа. Они не только заранее оповещают о том, что произойдет в очередной книге (наподобие надписей на экране, оповещающих зрителей в театре Брехта о содержании следующей сцены), но и несут в себе дидактическую идею, напоминающую те моралиты, которые заключают у Генриха Манна каждую главу его дилогии «Юность и зрелые годы Генриха IV». Разрушение секрета дальнейшего хода событий нужно Дёблину не только для того, чтобы сосредоточить внимание читателей на каждом очередном эпизоде, но и чтобы подчеркнуть неотвратимость ожидающей Франца судьбы.

«Берлин Александрплац» может показаться одной из самых мрачных книг Дёблина: судьба героя предрешена. Но тот же плывущий над романной действительностью, порой ироничный, шутовской голос создает ощущение свободы, воздуха, говорит о том, что и в конце рассказанной нам мрачной истории остается проблеск надежды: «Но я говорю вам: нет оснований отчаиваться. Я уже кое-что знаю, и, быть может, те, кто это читают, тоже кой о чем уже догадываются» (с. 174 наст. изд.).

Насмешливая, дистанцированная позиция повествователя, его внутренняя свобода сквозят в той стихии иронии и пародирования, которой пронизана книга: «Как выглядел меч Ахиллеса <...>, я не могу описать в точности, — замечает, к примеру, повествователь, — но как выглядит Франц Биберкопф <...> это я должен рассказать» (с. 196 наст. изд.). Или: «Бюллетень погоды на сегодняшнее число: по метеорологическим данным следует ожидать некоторого прояснения погоды. <...> Солнце уже снова робко выглядывает из-за туч. <...> И всякий, кто сам управляет шестицилиндровым автомобилем NSU, в восторге от него. Туда, туда умчимся, милый, мы с тобой» (с. 128 наст. изд.).

Ирония появляется на страницах романа по самым разным поводам. Но автор предусмотрел для нее и одну постоянную задачу. Ирония взрывает видимость благополучности жизни, желательной для Франца Биберкопфа и множества других людей, населяющих большой город Берлин. Характерна часто встречающаяся форма зарифмованной и ритмизированной фразы. Обернувшиеся присказкой или стишком строчки будто утверждают в жизни свой порядок. Однако порядок этот непрочный, смешной и детский: «Ручками мы хлоп, хлоп, хлоп, ножками мы топ, топ, топ» — звучит назойливый рефрен. Мысль обывателя инфантильна и беспомощна. Она о материализовалась, застыла. Перед нами полая форма мышления (без процесса думанья), мысль в обрубках, в окончателности, а не в развитии и протяженности, слово, которое обрело застылость предмета. Эту-то предметность и эту застылость взрывает своей иронией автор. Ироническая позиция повествователя дает Дёблину неограниченную свободу — возможность высказать свое критическое суждение, не только по частным поводам, но и вообще о Германии накануне фашистского переворота.

Но главный смысл произведения, его «лирика» выражены в самой организации материала. Основной принцип организации — техника монтажа. У Дёблина это прием не столько «объективный», сколько субъективный и идеологический.

На всем протяжении повествования автор сочленял как будто не имеющие никакого отношения друг к другу, выхваченные из разных эпох и «действительностей» куски, настойчиво прочерчивая одну внутреннюю тему, в бесчисленных ее отражениях и вариантах. Поэтому он с полным основанием называл свой роман «гомофоническим» (см.: Minder 1966: 192).

Уже в первом вставном куске — рассказе встреченного Биберкопфом старика еврея об удачливом албанце Цанновиче и его печальном конце — читателю, по сути, подсказывается потаенная мысль романа или, во всяком случае, один из главных ее аспектов: мысль об обреченности всякой самонадеянной силы в поединке с действительностью. Если в упомянутом эпизоде еще можно найти отрицательную моральную характеристику такой силы (безответственная авантюризм нечистого на руку Цанновича), то из следующих монтажных кусков становится очевидно: речь для Дёблина идет совсем не о морали и нравственности (во всяком случае, в их общепринятом смысле), а о жестоких и бессмысленных, с точки зрения сиюминутности и отдельного человека, законах мироздания, согласно которым эта сиюминутность и эта отдельность подлежат уничтожению. Не в первый раз со времен «Ван Луна» и не в первый раз в самом «Александрплац», где та же тема, выявленная иным способом, прозвучала уже в первой фразе романа, Дёблин задает свой главный вопрос: может ли человек противостоять миру? Без всяких уже переходов в повествование о судьбе Биберкопфа вклинивается рассказ о погибшем от дифтерита ребенке. Этот рассказ предвещает удар, который судьба вскоре нанесет самому Францу. Несомненную параллель к судьбе героя представляет и знаменитая глава о берлинских скотобойнях. Эта глава разорвана на две части, каждая из которых озаглавлена предупреждающей фразой из Ветхого Завета: «Ибо с человеком бывает как со скотиною; как эта умирает, так и он умирает» (с. 108 наст. изд.), и: «И у всех одно дыхание, и у человека нет преимущества перед скотиною» (с. 117 наст. изд.).

Монтаж весьма экономным образом расширяет пространство вместившейся в роман жизни. Легко объединяя разные куски единой темой, он позволяет увидеть одновременно разные сферы действительности: от низшей, биологической и физиологической, до высшей, заоблачной, — вечных библейских, а иногда и античных мифов. Монтаж мощно раздвигает границы и средней, человеческой, исторической сферы, превращая «Берлин Александрплац» в один из самых впечатляющих художественных анализов действительности Германии конца двадцатых годов⁸. Именно в этой сфере Франц, Рейнхольд, шайка Пумса, содержанки Ева и Мици действуют и чувствуют как определенные социальные типы. Подобно Гермине у Гессе

⁸ Сразу по выходу в свет романа немецкая пролетарская критика справедливо отметила, что писатель не отразил революционного движения, достигшего в Германии к концу 20-х годов небывалого размаха. Франц Биберкопф осуждался в этой связи как неудавшийся образ пролетария (см., напр.: *Biha O. Herr Döblin verunglückt in einer Linkskurve // Die Linkskurve*. 1930. № 6. S. 24). Однако с дистанции десятилетий ясно, что Дёблин запечатлел в своем романе другие важные социально-психологические процессы, в частности, уже отмечавшееся деформирующее давление социальных обстоятельств на сознание человека.

(«Степной волк»), Мици и Ева с восторгом слушают записанные на пластинки модные шлягеры. Но насколько же эти героини Дёблина каждой своей чертой ближе к нечистому месиву жизни, к обману и кражам, к убийствам, совершенным не картонным ножом, насколько они банальнее, вульгарнее, насколько более многомерны и убедительны!

Однако благодаря сосуществованию в романе трех различных сфер Франц Биберкопф воспринимается не только как социальный тип. Вмонтированный между «небом» и «преисподней», он становится еще, как Касторп у Томаса Манна, человеком как таковым, *evegutap*, точкой, в которой сошлись и соприкоснулись все сферы. Дёблин развертывает в своем романе историю хоть и жестокую, но не исключительную, обыкновенную и банальную, банальную в том самом смысле, в каком банальны душераздирающие городские романсы и пародирующие их (и подражающие им!) баллады молодого Брехта или пьесы австрийца Эдена фон Хорвата. Банальное, а не высоты духа, отражает, по убеждению этих авторов, самое существенное в жизни отдельного человека и в человеческом общежитии⁹. Именно поэтому Дёблин претендует на то, что, показывая читателю своего героя в некоторых простейших, распространенных, элементарных ситуациях, творит эпос современного мира.

Но монтаж не только расширяет эпическое пространство, он еще и воплощение «лирики». Ведь и Брехт, неоднократно писавший, что зрителю в его «эпическом театре» предоставлена полная свобода самому делать выводы из показанного на сцене, был в действительности концептуалистом и «лириком», и это в значительной мере определяло структуру его драматургии.

Так же и «большой», композиционный монтаж в «Берлин Александрплац» настойчиво доносит до нас «лирический голос» автора. Мы говорили о ряде побочных параллельных сюжетов, в которых главный для Дёблина вопрос — может ли человек противостоять миру? — получает отрицательное решение. Но стоит обратить внимание и еще на одну мысль, которую хотят внушить нам его картины.

Рассказ о судьбе Биберкопфа прерывается в момент, когда его предал друг («первый удар»), картиной берлинских скотобоен. Но и эта картина разорвана вклинившейся вставку — главой «Беседа с Иовом, дело за тобой, Иов, но ты не хочешь». Оторвавшись от монументальной картины гибели животных, автор переносит нас за облака: с библейским Иовом, лежащим в огороде у собачьей конуры (и тут монтажное сочленение разных пластов действительности), говорит голос Бога. Лишившийся своего имущества и близких, всеми покинутый, с ног до головы покрытый язвами, Иов молит об исцелении. Почему же «дело за тобой, Иов» и чего он «не хочет»?

Ответ на этот вопрос имеет отношение к сокровенной сути творчества Дёблина. Не только в романе «Берлин Александрплац», но и во многих других он ставится на различных уровнях, в разных сферах действительности.

⁹ По этому поводу Брехт писал: «Нельзя исправить вкусы публики, освободив фильм от безвкусицы <...>. Пошлость вкусов у массы глубже коренится в действительности, чем вкусы интеллигентов» (*Brecht B. Schriften zur Literatur und Kunst. Frankfurt a. M., 1967. Bd. 1. S. 165*).

Измученный, жалкий, больной Иов страдает, согласно Дёблину, больше всего оттого, что он внутренне сломлен, что он перестал быть собой, что в нем нет желаний и силы. Подобное состояние, по убеждению писателя, непереносимо для человека. Об этом, а не только об активности и пассивности, о борьбе и непротивлении, был, в сущности, написан роман «Три прыжка Ван Луня». О том же с удивительной психологической достоверностью рассказано и в «Берлин Александрплац». Любящий Миши и живущий на ее содержании Франц Биберкопф не может выдержать этого состояния не просто из нравственных соображений: он не выдерживает его потому, что так он — ничто и, по чуткому замечанию своего друга Герберта, может еще невзначай, ни за что ни про что, убить Миши, как когда-то нечаянно убил свою невесту Иду (до этого и действительно едва не доходит дело на следующих страницах романа). Героя что-то неумолимо тянет, как Раскольникова к Порфирию Петровичу, к самому опасному для него месту — в дом чуть не убившего его Рейнхольда, на свидание с ним. Сидя напротив Рейнхольда и «не дрожа» (так и вспоминается знаменитый вопрос: «Тварь ли я дрожащая или право имею?»), более того, потребовав своего возвращения в шайку Пумса, Франц впервые с того времени, как был покалечен, чувствует себя совершенно счастливым и сильным. Он весь наливается этой силой, идет в атаку. Все последующие передвижения Биберкопфа по полю романа, вплоть до его окончательного краха, сопровождаются маршевой музыкой, маршевыми ритмами, на его пути то и дело встречаются марширующие по тем же улицам колонны солдат: «Какая радость быть солдатом!» (с. 260 наст. изд.) и «Побатальонно, в ногу, с барабанным боем — вперед марш!» (с. 235 наст. изд.).

Ту же самую силу, тот же внутренний напор «голос» замечает в умирающем Иове: «Ты бы не хотел быть слабым, ты хотел бы сопротивляться, или уж лучше быть насквозь продырявленным, чтоб не было разума, чтоб не было мыслей, чтоб быть совсем, совсем скотом» (с. 116 наст. изд.). Как только этот напор иссякает, как только Иов, совершенно отчаявшись, падает, как бездумная скотина, без надежд и желаний наземь, совершается чудо: заживают его раны.

Неверно и плоско было бы толковать вышеизложенное как уравнивание человека со скотом (кстати, как будто бы не раз проявившееся и в главе о скотобойне). Дёблин стремится как раз к обратному, к утверждению духовного начала человека. Он мучительно ищет, каким образом человек может противостоять миру. Возможности разума, реализацию которых Дёблин видел прежде всего в техническом прогрессе, в этом смысле все-таки ограничены (роман «Горы моря и гиганты»). Единственное, чем человек может противостоять железной механике мироздания, в которую сам он включен как живой организм, это не ответ силой на силу, а нечто прямо противоположное: сознательный отказ от силы, слабость.

В «Берлин Александрплац» Дёблин вмонтировал библейскую притчу об Аврааме, принесшем в жертву своего сына. У Дёблина эта сцена присутствует в «озвученном» и драматизированном виде, как спор голосов — отца и сына. Отклоняясь от библейского текста, отец уговаривает мальчика согласиться на жертвоприношение, которое иначе будет простым убийством, то есть, проща говоря, он уговаривает его захотеть своей гибели. Снова и снова проходит столь неслучайная для Дёблина тема жертвы. И все-таки главное — не эта тема как таковая. Даже у Гессе мотив жертвы имел гораздо более прямой и конкретный смысл, так как предполагал служение и

растворение единичного в целом. Дёблина как художника не интересовало назначение жертвы. Самоотречение захватывало его как парадокс, по логике которого, отказавшись от себя, человек высвобождается из железных и примитивных механизмов природы, ибо становится возможным свободное проявление его духа¹⁰.

Не один только Дёблин, но и другие немецкие романисты парадоксальным образом высоко оценили в то напряженное время, на рубеже 20–30-х годов, слабость или, выражаясь в других «терминах», доброту человека. (В начале романа «Берлин Александрплац» Дёблин называет своего Биберкопфа «добрым», беря это слово, как делает, по сути, и Брехт, в кавычки. В конце романа, когда, чудом избежав смерти, пережив трудный душевный кризис, смирившись и не имея больше строптивой силы, Франц-Карл Биберкопф — у него теперь и имя другое — тихо служит привратником на заштатной фабрике, он для автора действительно добр.) Немецкоязычные писатели (Р. Музиль, Г.-Х. Янн) в эти годы как будто держат своих героев в некоторой незавершенности, не дают их судьбе отлиться в «развитие» и «путь», настороженно улавливая во времени и в человеке разные, в том числе и опасные, возможности. Главное — не действие, а решение «вопроса о том, как правильно жить»¹¹.

Многих, писавших о творчестве Дёблина, не удовлетворяла концовка романа «Берлин Александрплац»¹². Широкая социальная панорама тут внезапно сужалась до ситуации одного человека. Шум и натиск города утихали. На последних двух-трех страницах Франц-Карл жил жизнью, о которой и «рассказывать нечего». Однако совершившийся в герое душевный переворот не становится от этого менее значительным. Его всепрощение и доброта не так уж бессодержательны: он научился «слушать других, ибо то, что говорят другие, касается и тебя» (с. 365 наст. изд.), и отучился от бездумной доверчивости к словам, обещаниям, декларациям, лозунгам.

Надо быть начеку, постоянно быть начеку, в мире что-то как будто готовится. <...> Когда начинается война и человека призывают, а он и не знает, за что война, тем более, что война и без него война, он все-таки виноват, да и делом ему. Надо быть начеку, и не надо быть одному (с. 366 наст. изд.).

Состояние дел в современном мире впервые в творчестве Дёблина было поставлено в зависимость от душевной собранности и ответственности героя. Значение каждого человека и его ответственности повышалось. Если по поводу погибшей от руки Биберкопфа Иды говорилось: «Франц убил свою невесту Иду, фамилия тут, извините, ни при чем» (с. 79 наст. изд.), и тут разговор обрывался, если смерть Иды была, как гибель скотины, смертью экземпляра, дополнительные сведения о котором неинтересны, то дальнейший ход романа перечеркивает такой взгляд на чело-

¹⁰ Получалось нечто похожее на самоубийство Кириллова в романе Достоевского «Бесы». Но приносящих себя в жертву героев Дёблина занимает не столько собственная способность проявить «свободу воли», сколько место духа в механике космоса.

¹¹ Мысль Р. Музиля (см.: *Musil R. Der Mann ohne Eigenschaften // R. Musil Gesammelte Werke: In 9 Bd. / Hg. von A. Frise. Hamburg: Rowohlt, 1978. Bd. 1. S. 255*).

¹² См., напр., одну из первых рецензий на роман, принадлежащую А. Эггебрехту: *Eggebrecht A. A. Döblins neuer Roman // Prangel 1975: 64*).

века, как и на все живое. И после гибели Мици перед читателем неожиданно распахивается все ее прошлое: «Чемодан, в котором лежала Мици, раскрыт. Она была дочерью трамвайного кондуктора в Бернау. <...> ее мать бросила мужа и уехала, почему — неизвестно. Мици осталась одна <...>. По вечерам она иногда ездила в Берлин и ходила на танцульки к Лестману или напротив; несколько раз ее брали в гостиницу, потом уж было поздно возвращаться домой <...>» (с. 305 наст. изд.) — рассказ льется и льется дальше. «Всему, всему свое время, — переиначивает Дёблин слова библейского Экклезиаста, — чтобы погубить и исцелить, сломать и построить <...> разорвать и зашить <...>. И восхвалял я мертвых, которые лежат под деревьями и спят мертвым сном» (с. 279 наст. изд.). После гибели Мици эти деревья «качаются, гнутся, каждое, каждое» (с. 285 наст. изд.) — так еще раз пронзительной нотой звучит эта важная автору мысль, эта его сокровенная идея о ценности каждой жизни.

Потом, в романе «Прощения не будет» (1935) и в тетралогии «Ноябрь 1918» (1937–1941), дёблиновский герой свяжет свою судьбу с движением революционных масс. Его внутренний мир будет показан в состоянии той активности, для которой уже из-за владевшего автором «Берлин Александрплац» «духовного “натурализма”» (с. 388 наст. изд.) (читай — детерминизма) не нашлось места в этом романе. Но уже в «Берлин Александрплац» интерес к внутреннему миру и духовным возможностям человека — взгляд не только вширь, но и вглубь — привел к решительному изменению художественной структуры романа по сравнению с «Ван Лунем» — к введению потока сознания автора и героев. Продолжая двигаться по этому пути, Дёблин в дальнейшем существенно изменил созданный им тип романа.

*

В 1956 году увидел свет последний роман Альфреда Дёблина: «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу». Он писался в течение двух послевоенных лет, в 1948–1949-м, то есть через два десятилетия после «Берлин Александрплац». Именно в «Гамлете» наиболее отчетливо отразились изменения, произошедшие за это время в художественном мышлении писателя.

По сравнению с «Берлин Александрплац» последний роман Дёблина — это сдержанная, молчаливая книга. Еще слыша торопливый перебив голосов, раскрывавших нам в «Александрплац» разные сознания, читатель берет в руки дёблиновского «Гамлета» и поражается тому, что голоса молчат, мысли героев не выведены наружу. Подобное впечатление в сопоставлении с «Берлин Александрплац» производит именно стиль книги. На самом деле в респектабельном, по-английски чинном доме известного писателя Гордона Аллисона, куда после пребывания в клинике возвращается его искалеченный на войне сын Эдвард, обитатели только и делают, что рассказывают, собираясь по вечерам, длинные истории, в которых как будто с полной откровенностью раскрываются их жизненные позиции.

И все же, встречая уже на первых страницах романа слова вроде следующих: «Было ясно, что он много думал о мертвом», или: «Он скрестил на груди руки и задумался», мы замечаем, что мысли и чувства героев отгорожены от нас: они не высказаны все целиком, а остаются какой-то сокровенной своей частью в той самой груди со скрещенными на ней руками.

Многое связывает этот роман с предшествующим творчеством Дёблина¹³. Хотя пространство и сжато — вопреки декларации молодого Дёблина — до событий, происходящих в одном доме, перед нами все тот же великолепный эпик, пользующийся любыми способами, чтобы развернуть пестрый ковер действительности. Расширение поля романа в значительной мере достигнуто за счет вставных новелл, и в былые годы разрывавших повествование дёблиновских романов, а теперь составивших существенную часть текста.

Не ослабло и напряжение, с которым герой атакует действительность. «Гамлет» — это роман-расследование, предшественник разного рода дознаний и разбирательств, которые вскоре станет вести, пережив мировую войну и фашизм, мировая культура. На протяжении всей книги Эдвард пытается найти виновных в войне, выяснить степень виновности своих близких. Он, как Бекман в пьесе В. Борхерта, неустанно стучится в дверь (в одной из вставных новелл этот образ воссоздан буквально: мать, потерявшая на войне сына, стучит в двери церкви, добываясь ответа у самого Господа Бога).

Как всегда у Дёблина, этот конкретный современный — социальный и политический — пласт содержания не исчерпывает всего его объема. По справедливому замечанию Роланда Линкса, «используя Эдварда в качестве “зонда”, Дёблин исследует не только поведение человека или группы людей, но и ищет — после пережитых военных “котлов”, городов, стертых с лица земли, летчиков-самоубийц и газовых камер — ответа на вопрос: “Существует ли человек?”» (Links 1976: 198). Существует ли человек? — это тоже старая дёблиновская проблема. Существует ли та сила, то человеческое в человеке, которое способно противостоять происходящему в мире; где возродившийся к новой жизни Франц-Карл Биберкопф; или, как формулируются те же сомнения в романе «Гамлет»: «Совершается ли история без участия в ней человека?», или же «Человек все-таки есть?».

Но как раз во взаимоотношениях человека и мира в романе «Гамлет», по сравнению с «Берлин Александрплац», произошли существенные изменения. Эти изменения опять-таки отчетливо заметны уже в форме и стиле. Умолкли «голоса», иссяк поток сознания (на страницах «Гамлета» его заменяет внутренний монолог: нам открываются в лучшем случае не произнесенные вслух мысли героев, но уже не беспорядочная сумятица едва оформленных чувств), а человек и мир будто бы разошлись в разные стороны, перестали вгрызаться друг в друга. Объективная подробность существует сама по себе — она больше не часть внутреннего мира героя и не соотнесена с его сознанием, как была соотнесена с сознанием Биберкопфа шумная и многообразная действительность Берлина. Внутреннее и внешнее сопрягаются посредством традиционного «как», подчеркивающего и их отдаленное сходство, и несомненную раздельность. Повествование потеряло в силе и краткости. Из обжигающего «сейчас» действие перенесено в какое-то общее время. События отделились на некоторую дистанцию. Изображение заменено описанием, которое Дёблин прежде отвергал, считал противоположенным созданному им типу романа.

¹³ Эти связи отчасти прослежены в одной из первых рецензий на роман — отзыве К.-А. Хорста (см.: *Horst K.-A. Alfred Döblin im Spiegel der zeitgenössischen Kritik*. Bern, 1973. S. 430).

В «Гамлете» мы следим за людьми, но они не раскрываются перед нами. Только присутствие всезнающего автора позволяет проникнуть в души героев. И автор не спешит поделиться своим знанием. Свое творчество Дёблин определял как раздумье в образах (см. с. 468, 474 наст. изд.). В «Гамлете» это выразилось в постепенном, но непрерывном (не рвущемся на части, как прежде) ходе повествования, растворившего в себе течение все более и более углубляющейся мысли. В самом построении романа сказалось присутствие загадки, тайны, которая существует и в жизни, подойти к решению которой можно лишь при пристальном, терпеливом взгляде в каждый предмет.

Задумываемся о смысле новелл, которые рассказывают персонажи романа, и об их назначении в структуре целого.

Распространенной ошибкой в интерпретации дёблиновского «Гамлета» стало противопоставление общественных позиций Гордона и Эдварда Аллисонов. Действительно, из рассказанной Гордоном Аллисоном новеллы о Триполитанской принцессе следует, что люди совершают поступки отнюдь не по велению сердца и разума, а под влиянием воображения, фантазии или — развивают дальше его мысли слушатели — под давлением получивших широкое распространение идей, представлений, правил поведения, идеологий. Такая точка зрения не устраивает Эдварда: ему важно найти твердое зерно в человеке, определить его способность сопротивляться социальным механизмам. Именно поэтому Эдвард «бурит все глубже и глубже». Противопоставление двух позиций все более заостряется. Из слов отца Эдвард делает вполне последовательный вывод, что, по мнению первого, человек есть не что иное, как марионетка, фантом, не способный управлять не только историей, но и самим собой. «Мы все более отходим от самих себя», — соглашается Гордон Аллисон. В романе к нему пристала кличка «лорд Креншоу» — имя героя его рассказа, «вечного пассажира» автобуса, ездившего по кругу в надежде обрести утраченное «я» и, как хамелеон, менявшего личину в зависимости от окружения.

Долгое время Гордон Аллисон кажется читателям романа человеком-оборотнем, спрятавшимся в панцире своего тучного тела. Он любит расплывчатость и неясность, Эдвард же и его мать Алиса — абсолютную обнаженность и четкость мысли. Новелла, рассказанная Алисой о матери, ожидающей на Монмартре после конца войны своего пропавшего без вести сына, утверждает абсолютную устойчивость и неизбежность человека и его чувств: «Что может случиться с матерью и ее ребенком? Они вместе, они едины. Как сердце не может выпасть из груди, так и дитя нельзя оторвать от его матери» (Гамлет: 110).

Дальнейший ход романа вносит, однако, существенные коррективы, заметные при внимательном чтении. Ближе к концу грудь Алисы оказывается (в переносном, разумеется, смысле), по не случайно употребленному автором слову, именно «разверстой», и Алиса теряет вместе с доверием сына если не сердце, то «свою душу». На следующих страницах Гордон Аллисон роняет в разговоре с Джеймсом Макензи еще одну немаловажную фразу. Вспомнив свой рассказ о принцессе Триполитанской, он говорит, что мысль о бессилии человека, его зависимости от «моды времени» не была его, Гордона, «действительным убеждением»: «Я целил в Алису, ее фантазии. Я видел, что на меня надвигается» (Гамлет: 409).

Истории, рассказанные героями, не являются, как кажется поначалу, отражением их жизненной позиции — чаще они выражают реакцию на происходящее, на некую сиюминутную ситуацию. Новеллы — не ярлыки, помогающие опознанию героев. Все в этом романе подвижно, все познается постепенно.

В «Берлин Александрплац» ветхозаветные мотивы подтверждали, подкрепляли, поддерживали главную идею печального повествования о бывшем каменщике и цементном рабочем Франце Биберкопфе. В романе «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу» старые сюжеты и образы связаны с ситуациями и героями менее прочными нитями. Миф, как и вставные новеллы, отражает сиюминутное состояние героя или возможный, но не единственно допустимый взгляд на него.

Алиса — легкая, светлая Прозерпина, прекрасная дочь античной Деметры, похищенная и силой взятая в жены властителем подземного царства Плутоном. Таково возможное мифологическое отражение судьбы Алисы и Гордона. Но Алиса — это еще и танцующая Суламифь, одержимая звериными страстями. К концу романа Гордон Аллисон открывается читателям как натура гораздо более цельная и самоотверженная, чем лелеющая свою неудовлетворенность, предающаяся фантазиям Алиса.

В рассказе Джеймса Макензи, переосмысляющем шекспировского «Лири», Гордон Аллисон представлен как дикий кабан, неотступно преследующий свою цель. Но то же уподобление Макензи относит и к Эдварду, к его неотступному, порой разрушительному правдолюбию.

Новеллы, старые сюжеты, мифы, как и любые истории о жизни людей, шире как будто бы вытекающих из них тезисов. Каждый сюжет поэтому подключается к ходу повествования по несколько раз: между сюжетами обнаруживаются все новые и новые точки соприкосновения. Даже Гамлет, вопрошающий принц датский, образ которого осеняет историю о молодом правдолюбце, ищущем виноватых во Второй мировой войне, связан с Эдвардом Аллисоном не навечно. Как это вообще характерно для романа XX века, давно вошедший в наше сознание образ (Одиссей в «Улиссе» Д. Джойса, Фауст в «Докторе Фаустусе» Т. Манна) придает и большую определенность, и многозначительную широту поведенной читателям современной истории. Вызванная из прошлого — завершившаяся — действительность раздвигает границы повествования, создавая простор для обобщающих истолкований.

Но сопоставление с «Гамлетом» пригодно автору не до конца. «Долгая ночь» кончается для его героев, по крайней мере, дважды. Она кончается, когда под напором расспросов сына рушится мирная жизнь в доме Гордона Аллисона. Бежит, чтобы в конце концов опуститься на самое дно жизни и там погибнуть, Алиса; исчезает, чтобы перед смертью вновь обрести любовь жены, Гордон. Правдолюбие Эдварда, его вечное «бурение» (*bohnen*) обрушилось на семью Аллисонов «как камнепад. Были убитые». Но оно оказалось необходимым, потому что в результате сместились — и стали ближе к истине — представления людей о себе и друг о друге.

Однако и сами расспросы, сама позиция Гамлета не являются абсолютно и вечно истинными. Если «человек движется не по кругу», как утверждает в финале романа Эдвард, если движение содержит смысл развития, то в конце концов всякие расспросы должны привести к результату, к хотя бы временной остановке в

пути. «Прогони призрак Гамлета», — говорит Эдвард своему дяде на последней странице романа. «Долгая ночь» кончается для самого героя именно теперь, потому что теперь он замечает и принимает вызов того, частью чего является, — «этой ужасающе огромной жизни, этой массы, связанной со мной, с человеком, с его внутренним миром» (Гамлет: 507).

В отличие от требований, предъявлявшихся Дёблином к «Берлин Александрплац», он явно желал, чтобы последний его роман начинался с неопределенности. И не использовал в нем все те приемы, которые помогали читателю «Александрплац» понять не только героев (поток сознания), но и замысел автора (присказки-рефрены, параллельный монтаж, комментарий повествователя и т. д.). Смысл «Гамлета» открывается постепенно. Как справедливо отмечал Р. Линкс, читатель не раз готов удивиться сужению повествования, начавшегося с поисков виновных в войне, до рамок банальной семейной истории (см.: Links 1976: 200).

Подобное впечатление, однако, ложно. И дело не только в том, что Дёблин не отстраняется от актуальных проблем современности, но решает их в этом романе, как Томас Манн в «Докторе Фаустусе», на некотором отлете от событий истории, на материале, по видимости (но только по видимости!) частном.

Чтобы представить себе полное содержание романа «Гамлет», надо вдуматься в смысл его новой для Дёблина формы. Если прежде главной задачей писателя было изображение постоянного трения человека и мира как двух материальных противосил, если эта борьба показывалась во всей ее бескомпромиссности, без дистанции и каких-либо опосредствований, без взгляда со стороны, без «прослойки духа», если в этой механике не было тайн, если она не знала качественного развития, то в романе «Гамлет» есть тайна, определившая само построение романа. Эта тайна — человек.

Франц Биберкопф не менялся вплоть до эпилога, и композиция романа лишь множила его атаки на действительность. Построение «Гамлета» опровергает однозначное представление о героях.

Подобно многочисленным авторам последних десятилетий, Дёблин будто демонстрирует нам изменчивость и неустойчивость личности, способной менять личины и маски. Следуя логике детективного жанра, он вводит нас в заблуждение то насчет одного, то насчет другого персонажа. Однако смысл превращений, происходящих с его героями, особый. Как и Эдвард, дублирующий в этом романе труд автора, Дёблин ищет твердое зерно, светлое начало в человеке. Внутренний мир героев до времени скрыт от нас или показан нам лишь отчасти, но не по той причине, что (как это было в «Ван Луне») он не имеет значения и веса в круговращении жизни. Напротив, значение его для автора «Гамлета» стало так велико, что не поддается быстрому и полному учету. Именно поэтому непосредственное отражение жизни во всей ее сиюминутной полноте заменено столь неожиданным для Дёблина, прежде яростно им отвергавшимся описанием. Традиционное описание более скромно и терпеливо: ему доступна лишь видимая действительность. Описание следует за ходом событий, за изменением и развитием человека, постепенно нащупывая зерно личности. В поисках этого зерна Дёблин проводит своих героев через горнило страданий, заставляет соприкоснуться с жестокостью жизни, чтобы открыть в этом соприкосновении, на что способен — в крайней для него ситуации —

человек. Когда на последних страницах Алиса Аллисон говорит по частному поводу, что вряд ли кто-либо способен теперь превратить ее в зверя, это имеет несомненное отношение к антивоенной теме романа. Железные механизмы действительности обрели противовес в тайне человеческой личности.

«Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу» — последний роман Дёблина. Дёблин писал его, вернувшись из эмиграции, после того как прожил несколько лет сначала на юге Франции, потом в США. В 1946—1951 годах он издавал в Майнце литературный журнал «Золотые ворота», стал одним из основателей Майнцской академии. Однако как писатель он чувствовал себя забытым. Новый взлет известности и славы пришел тогда, когда Дёблина уже не было в живых. Он умер в 1956 году в санатории около Фрейбурга.

ПРИМЕЧАНИЯ

Альфред Дёблин

Берлин Александрплац История о Франце Бибиркопфе

Роман Альфреда Дёблина «Берлин Александрплац. История о Франце Бибиркопфе» (1929) является одним из ключевых текстов немецкой литературы XX века. Вместе с искусством художников «новой вещности», фильмами «Берлин. Симфония большого города» («Berlin – Die Symphonie der Grosstadt», 1927) Вальтера Рутгмана (1887–1941) и «Люди в воскресенье» («Menschen am Sonntag», 1929) Курта Сиодмака (1902–2000), фотоальбомами Августа Зандера (1876–1964) и Марио фон Буковича (1884–1950) роман Дёблина принадлежит к важнейшим немецким произведениям на урбанистическую тему, авторы которых в конце 1920-х годов активно экспериментировали над содержанием и формой, пытаясь найти новые художественные средства и возможности, для того, чтобы выразить опыт жизни человека в изменившихся социальных, экономических и политических условиях Германии времен Веймарской республики и зарегистрировать сдвиги, произошедшие на векторе от XIX к XX веку, запечатлеть и понять «современность».

Во многом именно стремление приблизить нынешнего читателя к чрезвычайно важной для всей культуры XX века, по сути революционной эпохе 1920–1930-х годов и обусловило выбор текста, взятого за основу этого издания. Текст романа публикуется не по известному изданию 1961 года (см.: *Дёблин А.* Берлин, Александрплац: Повесть о Франце Бибиркопфе / Пер. Г.А. Зуккау под ред. Н. Португалоу; предисл. Л. Копелева. М., 1961), а по первому русскому анонимному переводу, вышедшему с предисловием Мих. Алевского (см.: *Дёблин А.* Берлин – Александрплац. М., 1935).

В отличие от неоднократно перепечатывавшегося издания 1960-х годов перевод 1935 года намного точнее (что, возможно, объясняется временной близостью оригинала и перевода) передает своеобразие дёблиновского письма, например, разные стилистические регистры, используемые писателем. Так, встречающийся у Дёблина воровской жаргон, в русской версии 1935 года переводчик пытается передать с помощью такого же жаргона, типичного для советской уголовной среды тех лет, тогда как в издании 1961 года редактор все время «облагораживает» подобное словоупотребление. В переводе 1935 года библейские цитаты, фрагменты текста, где автор подражает языку Библии, переданы, как и в оригинале, нарочито архаичным языком, в то время как перевод 1961 года зачастую нормализует архаический стиль этих отрывков.

Текст взятого за основу перевода был сверен с оригиналом по историко-критическому изданию 1996 года (см.: *Döblin A. Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf* / Hg. von W. Stauffacher. Zürich; Düsseldorf, 1996) и подвергнут значительному редактированию. Специально для данного издания переведены отсутствовавшие в предыдущих русских переводах фрагменты романа, изъятые в одних случаях по политическим причинам (например, имплицитная критика политического курса Ленина и Сталина в книге второй романа), в других — ввиду их непристойности. В начале книги второй восстановлены пиктограммы, отсутствовавшие во всех русских изданиях. Таким образом, русский читатель впервые имеет возможность познакомиться с полным текстом романа. В соответствии с современной орфографической нормой было исправлено написание некоторых слов и названий («матрац» вместо «матрац», «шкаф» вместо «шкап» и т. п.).

Наибольшие изменения, однако, претерпел синтаксический и графический облик текста, не учитывавшийся в предыдущих редакциях переводов. Так, «зачины» в начале каждой книги с самого первого немецкого издания по просьбе Дёблина оформлялись в виде блоков, которые визуально должны были напоминать об однотипных берлинских домах (о них Дёблин пишет в своем предисловии к фотоальбому «Берлин» (см. с. 378 наст. изд.). Настоящее издание впервые следует этому пожеланию автора. Не следует забывать и о том, что «Берлин Александрплац» — во многом новаторское, экспериментальное произведение, автор которого зачастую решительно порывал с правилами и нормами пунктуации, синтаксиса и вообще языковой логики, чтобы придать своему тексту максимально аутентичный характер. Значительная часть романа написана в технике потока сознания, в котором сливается множество голосов. «Стилистический принцип этой книги — монтаж, — писал один из критиков о романе Дёблина. — Мелкобуржуазное чтение, скандальные истории, несчастные случаи, сенсации 1928 года, народные песни, объявления съпятся в текст, как снег на голову» (с. 383 наст. изд.). При этом Дёблин часто никак не маркирует элементы, из которых состоит внутренний монолог. К примеру, в оригинале, в одной и той же главе название магазина или газеты, строка из шлягера или стихотворения, цитаты, которые писатель вырезал из газет и журналов и вклеивал в рукопись, могут быть как закавычены, так и не закавычены. Иногда в немецком тексте несколько различных, часто взаимоисключающих голосов соединяются в одном длинном предложении. Порой неожиданно возникают не вписывающиеся в логику повествования вкрапления. Подобное объясняется, разумеется, не «невнимательностью» автора или немецкого редактора романа, которую необходимо исправить или пояснить: поставить кавычки, разбить длинное предложение на несколько коротких (именно так и поступали редакторы предыдущих изданий романа на русском языке), но является намеренным приемом и несет важную смысловую нагрузку.

Особо следует оговорить принципы оформления прямой речи. В большинстве случаев, в оригинальном тексте реплики в диалогах начинаются не с красной строки, а стремительно следуют одна за другой в пределах абзаца для того, чтобы воссоздать поток непрекращающейся речи. В пределах этих абзацев реплики героев взяты в кавычки в одних случаях, и не закавычены в других. Иногда диалоги оформлены в соответствии с привычными пунктуационными правилами. Предыдущие русские издания не учитывали этих характерных особенностей стиля Дёблина: все

диалоги передавались в соответствии с русской нормой. Настоящее издание романа Дёблина и в этом отношении максимально следует авторской воле.

В итоге отечественный читатель имеет возможность познакомиться с текстом, не только кардинально отличным от уже имеющихся по графическому, синтаксическому облику, по ритму, но и с иначе расставленными смысловыми акцентами, с текстом, не оставляющим никаких сомнений в своем революционном новаторстве и видном месте в ряду наиболее значительных памятников мировой литературы.

При подготовке примечаний к роману были частично использованы следующие издания: *Sander G. Alfred Döblin. Berlin Alexanderplatz. Erläuterungen und Dokumente. Stuttgart: Reklam, 1998*; *Döblin A. Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte von Franz Biberkopf / Hg. von Werner Stauffacher. Zürich; Düsseldorf: Walter, 1996*; *Döblin A. Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte von Franz Biberkopf / Hg. von Helmuth Kiesel. München: Artemis & Winkler, 1993*.

[ПРОЛОГ]

¹ *Трижды обрушивается оно на нашего героя...* — Под тремя ударами некой высшей силы имеются в виду: предательство Людерса (книга третья), участие ФБ в ограблении и потеря им правой руки (книга пятая), убийство Мици (книга седьмая) — события, которые должны «научить» героя «правильной жизни», но на которые (до самого конца романа) ФБ почти никак не реагирует или реагирует, по мнению Дёблина, «неправильно». Мотив трех ударов отчетливо возникает в книге второй БА (см. гл. «Вот он какой, наш Франц Биберкопф! Под стать античным героям»): Дёблин цитирует из «Орестей» Эсхила (см. примеч. 188 к книге второй) именно то место в «Агамемноне» (первой части Эсхиловой трилогии), где жена Агамемнона, царица Клитемнестра, сообщает, что *третия ударами* секиры убила своего мужа, вернувшегося с Троянской войны (см.: *Эсхил. Агамемнон. 1372–1398*). По мнению Т. Циолковского, таким образом акцентируется сходство построения и проблематики дёблиновского романа со структурой и проблематикой античной трагедии: в романе Дёблина, как и в греческой трагедии, показывается путь героя от неведения к знанию, «роман Дёблина — это сознательная травестия классической греческой трагедии и большинства характерных для нее элементов» (Ziolkowski 1969: 136; см. также: 99–137). Кроме «Орестей», Циолковский ссылается на «Царя Эдипа» Софокла. Известно, что Дёблин интересовался античной литературой и хорошо знал греческую трагедию. В годы учебы в Берлинском университете (1900–1904 гг.) писатель посещал лекции по греческой литературе известнейшего филолога-классика, оппонента Ницше, Ульриха фон Виламовиц-Мёллендорфа (1848–1931), автора основополагающего «Введения в греческую трагедию» (1889). Следы глубоких познаний Дёблина в области античной трагедии обнаруживаются во многих произведениях писателя, в частности, в тетралогии «Ноябрь 1918. Немецкая революция» (1937–1943), сюжет и характеры героев которой писатель выстраивает на основе «Антигоны» Софокла. Помимо античной трагедии, БА имеет точки соприкосновения и с другими классическими текстами немецкой драматургии: средневековыми мистериями, немецкой барочной трагедией, т. н. *Trauerspiel* (см. примеч. 37 к книге девятой), трагедией К.-Ф. Геббеля (1813–1863) «Гиг и его кольцо» (см. примеч. 42 к книге седьмой), драмой (Schauspiel) Г. фон Клейста (1777–1811) «Принц Фридрих Гомбургский» (см. примеч. 89, 90 к книге второй) и «Фаустом» И.-В. Гёте. Многие из этих известных тек-

стов Дёблин цитирует или пародирует в своем романе. Очевидна близость сюжета БА к средневековому моралите об имьяреке, на что указывает большинство комментаторов романа: «Дёблиновская история о Франце Биберкопфе, берлинском пролетарии, совершенно “обычном человеке” — это все та же старая притча об имьяреке — рассказ о пути виновного, грешного человека в мире, из тьмы он выходит на свет познания» (Ziolkowski 1969: 136). Сюжет об имьяреке был популярен в немецкой драматургии начала XX в.; так, в 1911 г. в берлинском цирке Шумана режиссером-экспериментатором Максом Рейнгардтом (1873–1943) была поставлена пьеса «Имярек» Г. фон Гофманстала (1874–1929); этот образ не раз использовался и в театре экспрессионизма. Стоит отметить, что элементы драматических жанров и текстовые переключки с драматическими произведениями немецких драматургов вообще играют важную роль в романах Дёблина, начиная с его первых литературных опытов (обратим внимание на «театральное» название второго романа Дёблина «Черный занавес» (1902–1903; опубл. 1912) и на многочисленные реминисценции в этом романе из трагедии Г. фон Клейста «Пентесилея») и до последнего произведения писателя — романа «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу» (1946; опубл. 1956) (см.: Гамлет: 503). О «драматических элементах» в романах Дёблина см.: Kleinschmidt 1980–1983; Best 1972. О тенденции к драматизации романического в БА писал немецкий исследователь Фриц Мартини в одном из первых научных анализов романа:

<...> [у Дёблина] мир превращается в событие (Geschehen), происходящее одновременно и снаружи, и изнутри; не только как наличествующее бытие, но и как непрекращающаяся сила и неостановимое движение. Моторика современного существования, как и судьба, не знает покоя. Поэтому к языку предъявляются такие имитационно-миметические и динамические требования, которые обычно возможно удовлетворить лишь в драме. Роман Дёблина пользуется, вплоть до угрозы разрушения эпического, чрезвычайно широко и очевидно намеренно всеми возможными в прозаическом повествовании драматическими формами; по меньшей мере потому, что в них сохраняется миметическая выразительная ценность. <...> Язык рассказчика приближается к языку на сцене, приобретает драматическую жесткую форму. Этот роман, таким образом, являет собой типичный образец современной тенденции разрушать границы жанровых форм, с тем чтобы разрабатывать новые, самые разнообразные способы художественного выражения. Дёблин <...> не признает никаких различий между драмой и романом, то есть он далек от традиционных мнений, будто драма обращается к глазу и уху, а роман — к фантазии и представлениям <...>. Его цель — это драматизация прозы, а следовательно, значительное расширение эпического выразительного пространства. Эта драматизация наиболее явно выражается в «сценической» повествовательной манере у Дёблина (Martini 1954: 354).

² ...случается порой требовать от жизни нечто большее, чем только сытое существование. — Дёблин пародирует библейский афоризм: «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа» (Втор. 8: 3). Ср. также с Евангелием от Матфея: когда дьявол искушает Иисуса в пустыне, призывая обратить камни в хлеб, тот отвечает: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4: 4).

КНИГА ПЕРВАЯ

¹ Обращенные одновременно и к читателю, и к герою, небольшие назидательные зачины (*Vorsprüche*) в начале каждой книги романа в оригинале написаны ритмической прозой. Обращения (а так же названия некоторых глав), с одной стороны, сообщают читателю о содержании книги, «предупреждают» его о том, что произойдет с героем дальше, а с другой — очевидно несут аллегорическую и дидактическую нагрузку. Подобные обращения типичны для немецких народных календарей (*Volkskalender*), встречаются в лубочном романе, текстах народных певцов (*Bänkelsänger*), в плутовском романе (напр., в цикле из шести сатирических романов Г.-Я.-К. фон Гриммельсгаузена (1621?–1676) о Симплициссимусе (1668–1675)). Подобный прием — прямое обращение к читателю с дидактическими целями, напоминающее о той же народной традиции, — любил использовать в своих произведениях и Бертольд Брехт (1898–1956), с которым Дёблин был дружен.

² *...Франц Биберкопф покидает тюрьму в Тегеле...* — Тегель — район на северо-западе Берлина. Строительство большой тюрьмы в Тегеле (Зайдельштрассе, 39) началось в 1894 г.: существовавшие в то время берлинские тюрьмы Зонненбург и Моабит уже не справлялись с огромным количеством заключенных. Значительный рост арестантов в те годы был связан с территориальным расширением Берлина и стремительным прибавлением населения прусской столицы, а соответственно, и ростом числа преступлений и преступников. Тюрьма в Тегеле стала функционировать уже через четыре года после начала строительства: первые заключенные были помещены в нее 2 октября 1898 г.

³ *На 41-м номере в город.* — В работе над романом Дёблин использовал транспортную схему Берлина с обозначением трамвайных и автобусных маршрутов, улиц и остановок, выпущенную в мае 1928 г. Трамвай № 41, который шел от Тегеля до другого периферийного района Темпельгоф-Шёненберг, соединял, как видно из дальнейшего текста романа, крайний Тегель с центром города. Описания трамвайных и автобусных маршрутов играют в БА важную роль: указания на конкретные остановки и улицы должны подчеркивать «реальность» города, изображенного в романе.

То внимание, которое писатель уделяет транспорту и транспортному сообщению, не случайно. Во второй половине XIX в., не без влияния литературы натурализма, большой город начинает мыслиться как организм, и транспортные линии, соединяющие разрозненные части города, играют в функционировании этого организма самую важную роль: районы, достигаемые для транспорта, считались «здоровыми и прогрессивными», те же части мегаполиса, куда транспорт не доходил, оценивались как «больные, подрывающие естественный порядок, опасные» (Schivelbusch 1977: 171–172). Транспортное сообщение, таким образом, характерный признак современного мегаполиса. Дёблин писал в одном из своих эссе: «Город посылает транспортные составы во все стороны, этими составами вагоны, люди, товар вторгаются со всех сторон в его гигантское тело. Чтобы поддерживать общегородской обмен вещами, в Берлине функционируют 20 больших вокзалов, 121 железнодорожная станция, 7 депо. Построили <...> подземку, скоростные поезда стремительно проносятся по городу в основных направлениях» (Döblin 1962: 225–230). Вальтер Ра-

тенау (1867–1922), видный германский политик, промышленник и философ, писал о том, что «видимые и невидимые сети транспортного движения пронизывают на земле и под землей ущелья улиц и по два раза на дню перекачивают поток человеческих тел, устремляющихся от сердца города к остальным частям его организма и обратно. Вторая, третья, четвертая сети распределяют воду, тепло и энергию, электрическая нервная система транслирует продукты духа» (цит. по: Слотердаик 2001: 477). Стремительное развитие транспортных путей в мегаполисах рассматривалось многими мыслителями того времени (в том числе Дёблином) как один из главных признаков механизации мира и опасного обезличивания человека в современном обществе. Непрерывающаяся ни на минуту транспортная перевозка ставит знак равенства между живым и неживым, людьми и вещами, товаром. Например, строительство берлинской подземки финансировала фирма AEG (президентом которой с 1915 г. был Ратенау) — первые линии должны были соединить крупные заводы этой фирмы, располагавшиеся в разных частях Берлина, для удобства перевозки деталей машин и рабочей силы с одного предприятия на другое (о транспорте и механизации жизни в Веймарской республике см.: Слотердаик 2001: 475–483; о мотивах и образах романа, связанных с берлинским транспортом, см.: *Roskoth J. Überrollt. Alfred Döblins «Berlin Alexanderplatz» als neusachlicher Verkehrsroman // Klassiker der deutschen Literatur: Epochen-Signaturen von der Aufklärung bis zur Gegenwart / Hg. von G. Rupp. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1999. S. 212–231; Klotz V. Agon Stadt. Alfred Döblins «Berlin Alexanderplatz» (1929) // Klotz V. Die erzählte Stadt. Ein Sujet als Herausforderung des Romans von Lesage bis Döblin. München, 1969. S. 376–378).*

Наконец, мотивы и образы, связанные с постоянным, непрерывающимся движением (*Verkehr, Bewegung*), изображение транспортных средств — наземных, подземных, воздушных (трамваев, автомобилей, метро, самолетов, дирижаблей и т. д.) вообще играли важнейшую роль в литературе и искусстве «новой вещности» и конструктивизма. Динамизм был неотъемлемой чертой культуры и жизни Веймарской республики. Эта «озабоченность движением» в 1920–1930-е годы была связана не только с идеей стремительного технического прогресса, но имела во многом своим истоком коллективный шок, вызванный Первой мировой войной:

В динамизме, витализме и опьянении движением, которые были свойственны культуре Веймара, незримо и вездесуще продолжает сказываться травма, пережитая в 1915–1916 гг.: страх перед засасывающей грязью; страх, что атака может захлебнуться в затопленном рву; шок от внезапной утраты возможности двигаться <...> страх перед разложением тела в грязи могилы. Это великое Невысказанное <...> того времени, однако как воплощенный в практике миф оно оказывало свое действие везде и всюду (Слотердаик 2001: 461).

Этот миф выражался, например, «в страстной тяге к автомобилизму» (там же). Примечательно, что работа ФБ до тюрьмы и в финале романа связана с транспортом и транспортировкой. До тюрьмы он «бывший цементщик и грузчик» (*нем. Zement- und Transportarbeiter* — букв.: цементный и транспортный рабочий). В конце книги ФБ — сторож на заводе, «контролирует подводы, наблюдает, кто входит,

кто выходит» (с. 366 наст. изд.). Употребленное по отношению к ФБ слово «цементщик», по всей видимости, уже намекает на то, что произойдет с главным героем, слово «цемент» — «пластичная масса, приобретающая камневидное состояние» — намекает на суть происходящего с героем в романе — на процесс его «формирования», заканчивающийся каталептическим ступором в последней книге БА.

В этом дотюремном занятии ФБ («цементщик и транспортный рабочий») вообще отражается ситуация, характерная для культурной и психологической жизни Германии после Первой мировой войны, характеризовавшаяся диалектикой застоя (цемент) и динамизма (транспорт).

⁴ *Он стоял за воротами тюрьмы в Тегеле...* — Образ «тюрьмы в Тегеле», один из лейтмотивов романа, появляется также в книгах первой, четвертой, шестой и восьмой БА, т. е. после каждого «удара». В книге четвертой, после предательства Людерса Биберкопф отказывается от идеи отомстить Людерсу, так как боится снова оказаться в Тегеле (см. с. 105 наст. изд.); ср. также с реакцией Биберкопфа на арест Гернера (с. 127 наст. изд.); в книге шестой, когда, потеряв руку, герой в забытьи едет в Тегель. Тюрьма, отгороженное от внешнего мира пространство, где жизнь подчинена строгому распорядку, возникает в его представлении как место, где можно укрыться от хаоса и жестокости обрушивающейся на него действительности (см. с. 228—229 наст. изд.). В книге восьмой после убийства Рейнхольдом Мици, когда Биберкопф снова оказывается у тюремной стены, ужас перед тюрьмой и тоска по жизни в заключении соединяются (см. с. 313 наст. изд.).

⁵ *Вчера еще он копал картошку вон там на огороде...* — Основным условием пребывания заключенных в Тегеле был ежедневный труд. Справочник «Тюрьмы Управления юстиции Пруссии» от 1900 г. обосновывал необходимость трудовой повинности заключенных следующим образом: во-первых, это ужесточает наказание: «трудовая повинность означает регламентированную и поднадзорную деятельность, во время которой телесные и душевные силы заключенных должны использоваться и напрягаться по принуждению, при полном отказе от свободного волеизъявления»; во-вторых, способствует тому, что «заключенные исправляются: труд приучает к регулярной работе, порядку и послушанию; участие в производственной деятельности приносит заключенным пользу: оно учит ценить работу, прививает или развивает склонность и любовь к труду»; в-третьих, при длительном пребывании в тюрьме, душевное и физическое здоровье заключенных, если они трудятся, не подвергается опасности; и, наконец, после освобождения из заключения, привычка к труду облегчает полноценную адаптацию в обществе, благодаря «заново обретенной в заключении склонности к работе и работоспособности» (см.: Die Gefangnisse der Justizverwaltung in Preußen. Berlin, 1900).

⁶ *...теперь он в желтом летнем пальто...* — Цветовая символика играет в романе Дёблина важную роль: цвет соотносится с важнейшими темами и мотивами романа. Так, в книге первой преобладают упоминания желтого, оранжевого и красного. Красный цвет традиционно ассоциируется с кровью и очищением (ср. с темой жертвы и искупления в БА), связывается с огнем и гибелью (мотив Апокалипсиса в романе). Сходную смысловую нагрузку несет и оранжевый; это, кроме того, и «цвет отчаяния», он имеет «зловещий и трагический характер». Желтый — цвет солнца — роман изобилует пассажами о солнце и солярной символикой (см. примеч. 131 к книге второй), — но одновременно он символизирует болезнь, трусость и ложь (напр.,

желтое пальто Биберкопфа, бросающийся в глаза желтый оттенок кожи Рейнхольда); в христианской иконографии желтый — цвет предательства, с желтыми бородами изображают Каина и Иуду. В следующих книгах желтый и красный цвета сменяются зеленым и коричневым (цвета, традиционно связываемые со смертью и чертом).

⁷ *... (страшный, Франц, почему страшный?)...* — Голос, обращающийся в книгах первой, четвертой, шестой и восьмой к ФБ, — в книге четвертой разговор с этим голосом ведет также Иов (см. с. 114–117 наст. изд.), — по мнению большинства комментаторов, принадлежит не рассказчику, как предполагали первые рецензенты романа (см., напр., статью В. Беньямина «Кризис романа» (с. 381–385 наст. изд.)), а аллегорическому персонажу — Смерти, что становится очевидным в конце БА: «Эти примечательные фразы в скобках — сигнатуры не психологического, но религиозного романа <...>. С самого начала это был голос Смерти, которая разговаривала с глумом» (Schöne 1963: 298f.; см. также: Müller-Salget 1972: 308–310).

⁸ *Наказание начинается.* — А. Шёне рассматривает страх ФБ перед наказанием как типичный симптом «психоза выхода на свободу» («Entlassungspsychose») (Schöne 1963: 292), когда внезапное окончание ставшей привычной, строго регламентированной жизни в заключении, приводит к растерянности, дезориентации, приступам страха. Мюллер-Зальгет пишет, что эта фраза романа характеризует «смутное ощущение [ФБ] того, что пребывание в тюрьме ничему его не научило, что он не использовал его, как должен был бы» (Müller-Salget 1972: 306). В этом смысле все происходящее с ФБ после выхода из тюрьмы может интерпретироваться как наказание за то, что он не вынес никаких уроков из своей прежней жизни. Литературовед-психоаналитик школы О. Ранка Б. Виддих интерпретирует выход ФБ из тюрьмы в начале романа, как «новое рождение» («Wiedergeburt») героя (см.: Widdig 1992: 144–178).

В любом случае в следующих за этой фразой пассажах Дёблин-психиатр достаточно точно описывает шок бывшего заключенного, оказавшегося в мире, решительно отличающемся от того, в котором он жил до заключения: за несколько лет и быт, и социально-психологический климат в Германии изменились коренным образом. Беспокойная жизнь большого города, реклама, автомобили, яркие витрины — все это производило ошеломляющее впечатление на людей, переживших послевоенную разруху, бедность, нестабильность первых годов Веймарской республики.

Реально произошедшую резкую и радикальную смену климата ощутили в особенности те <...> кто, проведя несколько лет в тюрьме, был изолирован от новой повседневности Веймарской республики <...>. Более четко, чем все прочие, они зарегистрировали возросшие требования, которые <...> капиталистический модерн предъявил жизненной воле (Слотердайт 2001: 541–542).

⁹ *Зеештрассе* — улица на северо-западе Берлина, недалеко от которой находились тюремные здания Тегеля.

¹⁰ «*Цвельф-ур-миттагсцайтунг*» — ежедневная берлинская газета, издававшаяся в те годы.

¹¹ «*Бе Цет*» — вошедшая в языковой обиход аббревиатура названия влиятельной ежедневной газеты «Берлинер цайтунг», т. е. «Берлинской газеты», основанной в 1877 г. и издающейся по сей день.

¹² ...последний номер «Иллюстрирте»... — Имеется в виду свежий номер газеты «Берлинер иллюстрирте цайтунг», т. е. «Берлинской иллюстрированной газеты». С 1892 по 1945 г. газета издавалась крупнейшим печатным концерном Германии, принадлежавшим издателю Хейнцу Ульштайну

¹³ «Функштунде». — Газета «Ди функштунде» была официальным печатным органом Берлинского радио (1920-е годы в Берлине отмечены, кроме прочего, и стремительным развитием радио). В ней, кроме новостей, публиковались расписания радиотрансляций и анонсы передач. Первый номер газеты вышел 16 ноября 1924 г. Дёблин живо интересовался радиотехникой и радиовещанием, с 1925 г. он на регулярной основе сотрудничал с «Берлинским радио», писал эссе для радиозифра (все тексты, написанные Дёблином для радио, а также его радиointервью собраны в изд.: Döblin 1992). В 1929 г. писатель принял участие в сценарии радиопостановки на основе его драмы «Лузитания» (1920), посвященной гибели в 1915 г. английского парохода, торпедированного немецкой подводной лодкой (радиопьеса вышла в эфир 18 октября 1929 г. под названием «Гибель Патагонии» («Der Untergang der Patagonia»)). За несколько недель до премьеры пьесы на радио, Дёблин выступил на конференции «Литература и радио» в Касселе, организованной Прусской академией искусств и Немецким радиовещательным обществом, где сделал доклад о новых возможностях, которые открывает радио перед литераторами, прежде всего для расширения и завоевания аудитории. В начале 1930 г. Дёблин по заказу Берлинского радио приступил к работе над радиопостановкой «Берлин Александрплац»; пьеса была записана и подготовлена к эфиру в сентябре того же года. Главную роль в ней читал актер Генрих Георг, позже сыгравший ФБ в вышедшем в 1931 г. на экраны фильме по роману. В 1931 г. была выпущена пластинка с записью радиопостановки. Текст радиопьесы «Берлин Александрплац» опубликован в изд.: Döblin 1983. См. также: Kleinschmidt E. Döblin's Engagement with the New Media: Film, Radio and Photography // Companion: 161–182.

¹⁴ Шупо (нем. Schupo; сокр. от Schutzpolizist). — Так в Берлине до 1945 г. называли сотрудников городской патрульной полиции.

¹⁵ Розенталерплац — площадь недалеко от центра Берлина.

¹⁶ ...у трамвайной остановки напротив ресторана Ашингера... — Имеется в виду пивная на Розенталерштрассе, принадлежавшая семье южно-немецких предпринимателей Ашингеров. Ашингеры владели в Берлине сетью из сорока недорогих пивных, пользовавшихся особенной популярностью у малоимущих слоев населения и представителей богемы: еду там подавали очень большими порциями и вместе с ней бесплатный хлеб в любом количестве, который можно было уносить с собой.

¹⁷ Розенталерштрассе — улица, начинающаяся от Розенталерплац (см. примеч. 15). Расположенные на Розенталерштрассе (к северо-западу от Александрплац) жилые кварталы считались неблагополучными, там жили представители городских низов. Сам Дёблин описывал этот район как «криминальный» и «подозрительный» (см. предисловие к фотоальбому «Берлин» (с. 378 наст. изд.)).

¹⁸ ...они втыкали или куски мяса себе в рот... — Образы, связанные с мясом (напр., куски телятины, которые Франц приносит Минне; описания мясных блюд и т. д.), играют важную роль в романе. Они соотносятся с темой жертвы: «Тема “Александрплац” — жертва. На такую мысль должны были бы навести образы скотобойни», —

писал Дёблин в своем эссе «Эпилог» (с. 469 наст. изд.). Мотив жертвы был особенно подчеркнут Дёблином в сценарии радиопостановки «Берлин Александрплац» (см.: Sander 2001: 254). С другой стороны, то обстоятельство, что ФБ постоянно акцентирует внимание на мясе, — возможно, еще одна психиатрически точная деталь, связанная с потрясением, которое герой испытал на фронте (неслучайно мясные блюда и военная тема в романе часто возникают в одном контексте). Образ войны (а затем и человеческого существования вообще) как грандиозной скотобойни актуализируется в европейской литературе начала XX в. во многом под впечатлением от ужасов Первой мировой войны. Так, немецкий поэт Август Штрамм (1874–1915) в одном из писем (от 14 февраля 1915 г.) делился со своим издателем Гервартом Вальденом (1878–1941?), с которым был дружен и Дёблин, фронтовыми впечатлениями: «Видел ли ты когда-нибудь мясную лавку, где на продажу выставлены освеженные человеческие трупы? И с ужасающим грохотом катятся машины, забивают все новые одушевленные механизмы. А тебе при этом все равно, боже мой! Ты и мясник, и убойный скот» (Stramm 1997: 181–182); ср. с соответствующими образами в БА на с. 108 и след. наст. изд.).

Многие исследователи склонны рассматривать фигуру главного героя и особенности поэтики романа сквозь призму профессионального психиатрического опыта писателя, живо интересовавшегося пограничными психическими состояниями с медицинской точки зрения (см., напр., послесловие к одному из немецких изданий романа: Kiesel 1993: 541–546). Часто указывается на то, что Дёблин весьма подробно описывает симптомы «военного невроза» — нервного заболевания, которому подвержены солдаты и офицеры, вернувшиеся с фронта. Симптоматика этого невроза была хорошо известна писателю и по специальной психиатрической литературе, и на практике: в Первую мировую войну Дёблин служил в лазаретах. Стоит заметить, что герой, страдающий «военным неврозом», — типичный персонаж в произведениях Дёблина (см., напр.: Гамлет: 506).

¹⁹ *Он прошел... мимо универсального магазина Тица...* — Знаменитый универсальный магазин Тица располагался на Александрплац с северной стороны площади. Был назван по имени своего владельца, Германа Тица. На самом деле, Биберкопф, идущий по Розенталерштрассе, должен был сначала пройти мимо другого крупнейшего берлинского универсального магазина — магазина Вертейма (Wertheim), который находился на пересечении Розенталерштрассе и Кёнигштрассе (об этих магазинах см. также в предисловии к фотоальбому «Берлин» (с. 377 наст. изд.)). В поздних переизданиях романа, эта ошибка была исправлена редакторами. Для Дёблина важно указать на то, что ФБ проходит магазина Тица скорее всего потому, что одним из первых занятий героя на свободе будет торговля мелким товаром «от Тица» в розницу.

²⁰ *Софиенштрассе* — улица в центре Берлина, к северо-востоку от Александрплац. На Софиенштрассе и соседних с ней улицах проживали евреи; здесь также располагались еврейская школа, семинар для подготовки раввинов, больница еврейской общины и синагога.

²¹ *Арестантов содержат в изоляторе...* — Здесь и далее (см., напр., с. 83 наст. изд.) Дёблин дословно цитирует «Служебный и исполнительный кодекс для тюрем, находящихся в подчинении Управления юстиции Пруссии» («Dienst- und Vollzugsordnung für die Gefangenanstalten der Justizverwaltung in Preußen»), принятый в 1923 г.

Кодекс устанавливал правила внутреннего распорядка в прусских тюрьмах, включая Тегель.

²² *...только бы крыши не соскальзнули...* — Образ «соскальзывающих крыш» неоднократно появляется в романе: он связан со страхом героя перед окружающей его действительностью и непониманием ФБ своего места в мире. Не случайно в финале романа, после «метаморфозы» героя, говорится: «Дома стоят неподвижно, крыши лежат на них прочно <...>» (с. 360 наст. изд.).

²³ *Это был еврей с большой рыжей бородой...* — Согласно переписи населения 1925 г., в Берлине в то время жило 173 тыс. евреев, это составляло приблизительно 4,5% от всего городского населения; четверть еврейского населения Берлина составляли эмигранты из Польши и России, перебравшиеся в Германию после революции 1917 г. (см.: *Juden in Berlin 1671–1945. Ein Lesebuch*. Berlin: Nicolaische Verlag, 1988. S. 178f.). С начала 1920-х годов усиливается интерес Дёблина к иудаизму и сионистскому движению (в последние годы жизни, впрочем, замалчивавшийся писателем в связи с его переходом в католичество в 1941 г.). Интерес к «еврейским корням и религии предков», по всей видимости, был связан с любовным романом Дёблина и Шарлотты (Йоллы) Никлас (1900–1977), дочерью крупного берлинского банкира и профессиональным фотографом (под ее влиянием Дёблин начал интересоваться фотографией). Роман Дёблина и Йоллы, которая была намного моложе его, продолжался долгие годы, вплоть до начала 1940-х годов; все это время Дёблин не решался развестись со своей женой Эрной, боясь причинить своим детям психическую травму, подобную той, которую, как он считал, нанес ему в свое время отец. Никлас ввела писателя в берлинскую еврейскую общину. В августе 1921 г. Дёблин опубликовал эссе «Сион и Европа», в котором выступил с жесткой критикой как радикального сионизма, так и европейского антисемитизма; это эссе, как считают исследователи творчества писателя, может послужить и наглядной иллюстрацией тех личных проблем, с которыми столкнулся писатель в поисках культурной самоидентификации (см.: *Döblin 1985*: 314f.). Еврейские погромы в германской столице в ноябре 1923 г. не только потрясли Дёблина своей жестокостью, но и пробудили в нем чувство национальной солидарности. В 1924–1925 гг. он пишет несколько сочувственных статей о еврейской культуре в Берлине. В марте 1924 г. на собрании «Сионистского клуба» Дёблин прочитал доклад «Сионизм и западная культура» (вместе с другими статьями и эссе Дёблина на эту тему, см.: *Döblin 1995*), из которого, однако, видно, что, несмотря на некоторые перемены в мировоззрении писателя после погромов 1923 г., его отношение к ортодоксальному иудаизму и сионизму по-прежнему оставалось прохладным. В сентябре 1924 г. по заказу своего издателя Самюэля Фишера Дёблин совершил поездку в Польшу, где должен был написать цикл репортажей о жизни восточноевропейских евреев. С конца октября 1924 г. эти репортажи регулярно печатались в газете Фишера «Фоззише цайтунг», и в ноябре следующего года вышли отдельной книгой под названием «Поездка в Польшу». За два месяца Дёблин посетил еврейские кварталы в Варшаве, Вильне, Люблине, Лемберге, Кракове и прочих городах Польши и Прибалтики. Дёблин был потрясен бедностью людей, живших в этих кварталах. Писателю казалось, что он «очутился в средневековье»; отчуждение, которое вызвал у него «край предков», усугублялось незнанием языков, на которых общалось местное еврейское население (идиша, русского, польского), и недостаточной осведомленностью в еврейских обычаях и ритуалах.

Дёблин признавался в «Путешествии», что не смог понять тайный смысл религиозных обрядов, которые наблюдал во время своей поездки, и описывал их как «жуткие», «противоестественные», «атавистические». Писатель, однако, был поражен силой духа польских евреев, которые, несмотря на бедность, притеснения со стороны властей и католической церкви, не теряли жизнелюбия и оптимизма. Позже он писал о польских евреях так: «Во время своей польской поездки к так называемым “евреям”, так ведь величают теперь остатки иудейского народа, я встретился и поговорил с самыми утонченными, остроумными и глубокомысленными людьми из всех, кого когда-либо знал» (Döblin 1986: 63). Поэтому не случайно, что именно евреи — первые, кого вышедший из тюрьмы Биберкопф встречает в Берлине, и первые, кто пытается помочь бывшему заключенному, дать ему совет. В то же время в Польше Дёблин испытывает первое глубокое потрясение, связанное с христианской религией: он поражен видом алтарей в католических церквях в Вильне и Варшаве, но особенно в краковской церкви Св. Девы Марии, алтарь которой был выполнен скульптором Фейтом Штоссом (1450—1533). После поездки в Польшу в мировоззрении Дёблина происходят существенные изменения. Писатель, как считается, отходит от своего прежнего, проникнутого пессимизмом представления о сути человеческого существования, и от взгляда на человечество как на «пассивный, коллективный природный организм» (Natursein), он начинает мыслить человека как активное, духовное (Geistiges), действующее «я», способное влиять на окружающий его мир (эссе «Дух натуралистической эпохи» (см.: Döblin 1989: 170f.)). Кроме того, многие приемы характерного для БА дёблиновского письма (например, коллажи из газетных статей и рекламных лозунгов) впервые встречаются именно в тексте «Поездки в Польшу» (исследователи часто называют «Поездку» «ключевой» в развитии дёблиновского стиля кон. 1920-х — нач. 1930-х годов). Польская книга была с негодованием встречена берлинской еврейской общиной: писателя обвинили в субъективизме, полном незнании истории и религии еврейского народа. Дёблин не остался в долгу, в своих воспоминаниях он так отзывался о берлинской еврейской общине:

Эта так называемая [берлинская] еврейская община <...> у которой я время от времени находил поддержку, но ни в коем случае не радикальную, и которая не демонстрирует никакой духовной решительности (скорее напротив — шум, инертность, бюргерскую затхлость), — эта община не была моей <...> я познакомился лишь с неприглядной стороной еврейского характера: стремлением унижить, подозрительностью, злобной ненавистью к инакомыслящим — все это я принял во внимание (Döblin 1986: 63).

Впрочем, в 1930-х годах Дёблин неоднократно обращался к «еврейскому вопросу», выступая за создание отдельного еврейского государства.

²⁴ «Несется клич, как грама гул». — Начальные строки популярнейшей патриотической песни композитора Карла Вильгельма (1815—1873) «Стража на Рейне» («Die Wacht am Rein», 1854) на слова швабского кушца Макса Шнекенбургера (1819—1849). Стихи Шнекенбургера были поэтическим откликом на так называемый «рейнский кризис» 1840 г., когда французские власти предложили провести границу между Францией и германскими княжествами по Рейну. Предложение французов вызвало волну негодования во всех германских землях, во многом способствовав подъему на-

ционального самосознания у немцев. В кайзеровской Германии «Стража на Рейне» считалась неофициальным гимном. Во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. была любимейшей песней немецких солдат, ее называли даже «лирическим походным снаряжением», а Бисмарк как-то отозвался о «Страже на Рейне» в том духе, что одна эта песня стоит сотни армий. Песня была популярна и среди солдат во время Первой мировой войны. Строки из этой шовинистской песни лейтмотивом проходят в романе (см., напр., с. 15, 73, 104, 105).

²⁵ *А затем припев: «Ювиваллераллера»... — «Ювиваллераллера» (Juvivallerallera) — слово из припева популярной немецкой студенческой песни «Темно-коричневое пиво».*

²⁶ *Горманнитрассе — улица к северу от Александрплац, на которой располагались большая гимназия и военное кладбище.*

²⁷ *В городе Сузе жил некогда муж по имени Мардохей, и воспитал он у себя в доме Эсфирь... и была эта девушка прекрасна лицом и станом. — Парафраза ветхозаветной Книги Есфири, ср.: «Был в Сузах, в городе престольном один Иудеянин, имя его Мардохей. Сын Иаира, сын Семея, сын Киса из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехониею, царем Иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадассы — она же Эсфирь, — дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девушка эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери, Мардохей взял ее к себе вместо дочери» (Есф. 2: 5–7). Эсфирь (Есфирь) — в иудаистской мифологии прекрасная, отважная героиня, спасшая свой народ от истребления в эпоху правления персидского царя Артаксеркса, главный персонаж ветхозаветной Книги Есфири. После того, как гордая царица Астинь отказалась явиться на званый царский пир и показать там свою красоту, Артаксеркс удалил ее от двора и приказал собрать самых красивых девушек со всего персидского царства; его выбор пал на еврейку Эсфирь, и он сделал ее своей женой. Через Эсфирь ее дядя Мардохей предупредил царя о готовящемся против него заговоре и спас ему жизнь. Мардохей, однако, отказался поклониться царскому визирю Аману, пользовавшемуся властью с крайним высокомерием и деспотизмом, и к тому же кровному врагу Мардохея. Уязвленный этим, Аман решил погубить и самого Мардохея и весь его народ и уговорил Артаксеркса издать приказ о поголовном истреблении иудеев. Мардохей потребовал от Эсфири, чтобы та заступилась за свой народ. Эсфирь, нарушив строгий придворный этикет, незваной явилась к царю и пригласила его на пир, во время которого молила царя о защите своего народа от козней Амана. Амана казнили, а царь издал указ, разрешающий евреям «собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними» (Есф. 8: 11). Мардохей занял место Амана при царском дворе. Упоминание о добродетельной Эсфири, по-видимому, предвещает в романе образ Миши.*

²⁸ *В первый день Пасхи лишь неверные могут хоронить покойника ~ то же верно и для первых двух дней Нового года. — Дёблин цитирует предписания вавилонского Талмуда.*

²⁹ *Раббанан («Заповеди мудрецов, числом семь») — одно из основных учений в иудаизме.*

³⁰ *...кто вкусит от ее кишок или зоба, тот осквернится? — Дёблин приводит иудейские кошерные правила по ветхозаветной Книге Левита (см.: Лев. 11; 17).*

³¹ *Ребе* — уважительное обращение к раввину.

³² *Говорил Иеремия ~ жителей Вавилона.* — Отрывок представляет собой монтаж цитат из библейской Книги пророка Иеремии (см.: Иер. 51: 9; 50: 8; 50: 35). С Вавилоном в то время отождествлялись все большие города, в том числе и Берлин.

³³ *Поучение на примере Цанновича.* — Название главы напрямую отсылает к средневековому жанру *exemplum* (лат. — пример), т. е. назидательному аллегорическому рассказу, а также указывает на один из важных принципов построения романа, типичный для писателя (см.: Гамлет: 502–552): все истории, рассказываемые параллельно центральному сюжету, являются непрямым комментарием к основному действию и должны проиллюстрировать главный назидательный смысл произведения. Постоянные параллельные рассказы, мифологические, исторические, естественнонаучные и прочие аллюзии и аналогии, сопровождающие историю героя, вписывают его судьбу в широкий — почти бесконечный — контекст: его индивидуальная судьба, таким образом, теряет сугубо временные ориентиры, растворяется, становится одной из многих подобных историй. История Цанновича содержит многочисленные аллюзии на судьбу Франца и одного из ключевых персонажей Рейнхольда, появляющегося позже.

³⁴ *...взял Ной в свой ковчег ~ От каждой твари по паре.* — Ср.: «И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным пред Мною в роде сем; и всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского» (Быт. 7: 1–2). Писатель также постоянно подчеркивает «апокалиптический» характер погоды в Берлине: в Берлине Дёблина почти всегда либо холодно, либо идет дождь (см. примеч. 58). Ср.: «Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились: и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей» (Быт. 7: 10).

³⁵ *...я вам расскажу про Цанновича...* — Дёблин считал, что рассказывание истории имеет исцеляющую силу и помогает лечить душевные расстройства. Источник истории о Цанновиче неизвестен. Скорее всего, Дёблин услышал или записал ее во время своей поездки в Польшу в 1924 г. Важно, что первая «поучительная история» в романе — это история жизни афериста.

Феномен аферизма играл значительную роль в культурном сознании Веймарской республики.

Обман и ожидание приобрели здесь характер эпидемии <...> постоянно существовал риск, что за абсолютно уважаемым и надежным видом скрывается нечто, не имеющее основы, хаотическое <...>. В таком лишенном надежности и всяческих гарантий мире аферист становится главенствующим типом эпохи *par excellence*. Дело не только в том, что резко возрастает количество случаев обмана, мошенничества, брачных афер, шарлатанства и т. п.; аферист — как в том убеждает себя, основываясь на опыте, общественное сознание — становится неслучайной и неизбежно присутствующей фигурой, созданной эпохой, и мифическим шаблоном. Во взгляде на афериста лучше всего реализуется потребность в наглядном воплощении этой двусмысленной жизни, в которой все то и дело выходит не так, как «задумывалось», «подра-

зумевалось», «хотелось» и «имелось в виду». Наблюдая за тем, как устраивает свой маскарад обманщик, укрепляются в убеждении, что и вся действительность устроена точно так же, и в ней сплошь и рядом все орудуют под масками (Слотердайк 2001: 519–520).

В конце 1910–1920-х годов в немецких газетах неоднократно публиковались сенсационные материалы с разоблачениями аферистов и мошенников, появлялись многочисленные литературные произведения об обманщиках и самозванцах, выходили мемуары аферистов и мошенников. Одним из самых известных аферистов Веймарской республики был Гари Домела (1905–1978?), выдававший себя за наследника княжеской фамилии Гогенцоллернов. В 1927 г. вышли его воспоминания (которые и по сей день популярны у читателей), а несколько лет спустя — снятый на основе этих воспоминаний фильм, имевший сенсационный успех. См. также мотив маски в романе, смены героями имен и т. п.

История о Цанновиче — единственная в романе, обращенная напрямую к ФБ; герой слышит ее от двух человек (в чем преломляется один из важных принципов поэтики БА: целое непременно должно дробиться на части, такова действительность, которую пыгается воссоздать писатель), а выводы, которые делает каждый из двух рассказчиков, становятся затем лейтмотивами романа.

³⁶ *Пастровица* — деревня недалеко от города Котора в Черногории.

³⁷ *...стал выдавать себя... за... барона Варту.* — Вымышленное имя персонажа соответствует названию реки в Польше; Варта — правый приток Одера.

³⁸ *...обезьяна знает больше, чем иной человек ~ ни у одного человека нет такой тяжелой участи...* — Образ обезьяны неоднократно встречается в романе (см. с. 222–223 наст. изд.). Это животное обычно символизирует низшие силы, тьму. В Средние века считалось, что обезьяна — символ издевательств дьявола над божьим творением, существовало мнение, что она проявляет особую склонность к меланхолии, предаваясь грусти при убывании луны. Обезьяне уподобляется, в частности, ФБ. См. ниже по тексту: «Лицо у него было печальное, сморщенное <...>» (с. 20 наст. изд.); «он ползал на четвереньках <...>» (с. 24 наст. изд.).

³⁹ *Скандербег* Георг Кастриоти (1405–1468) — национальный герой Албании, возглавивший освободительную борьбу албанцев против османских завоевателей.

⁴⁰ *Курфюрст саксонский.* — Скорее всего, имеется в виду Август Второй Сильный (1670–1733), курфюрст Саксонии и король Польский (1697–1796, 1709–1733 гг.). В 1700–1721 гг. участвовал в Северной войне на стороне России.

⁴¹ *...кронпринц прусский, который впоследствии прославился как великий полководец...* — Очевидно, это Фридрих II Великий (1712–1786), выдающийся политик и военачальник. За время правления Фридриха II (1740–1786 гг.), в результате его политики, территория Пруссии удвоилась. Во время Семилетней войны (1756–1763 гг.) он отвоёвал у Австрии и присоединил к Пруссии Силезию.

⁴² *...австриячка, императрица Терезия, трепетала на своем троне.* — Мария Терезия (1717–1780) — австрийская эрцгерцогиня с 1740 г., из династии Габсбургов. Утвердила свои права на владения Габсбургов в войне за австрийское наследство, но потеряла при этом Силезию.

⁴³ *Настроение бездеятельное, к концу дня значительное падение курсов, с Гамбургом вяло, Лондон слабее.* — Нетрудно заметить, что название главы иронично переклика-

ется с сексуальной неудачей Франца. Так Дёблин вводит в роман важный аспект жизни того времени: в контексте «новой деловитости» экономика была тесно связана с сексуальностью: «в период инфляции 1921–1923 годов <...> понятия “Берлин”, “проституция” и “спекуляция” прочно увязались в единое целое» (Слотердаjk 2001: 230). Название главы сопрягает неуспех ФБ на любовном фронте с экономической ситуацией того времени, с ее нестабильной финансовой системой, инфляцией и кризисами.

В следующих главах эта связь экономики и секса подчеркивается тем, что женщины начинают функционировать в жизни Биберкопфа как «составные части системы имущественного обмена, связанного с увеличением товарной стоимости посредством вовлечения женщины в проституцию. Стоимость женщины зависит <...> от посторонней оценки. Биберкопф показывает Мици Рейнхольду, и <...> ждет его приговора, который является необходимым условием оценки его собственности» (Widdig 1992: 166–167). Стоит обратить внимание и на следующую деталь: каждая новая женщина приносит Францу «подарок» от Рейнхольда, который можно истолковать как символическую прибыль.

⁴⁴ *Мюнцштрассе* – улица, которая ведет на Александрплац.

⁴⁵ *Ишь ты, строят подземную дорогу...* – Строительство берлинского метрополитена, начавшееся в 1902 г., вызывало живой интерес писателя. Дёблин любил наблюдать за строительными работами на берлинской подземке. Сохранились фотографии Дёблина на фоне строительных площадок берлинского метро.

⁴⁶ *А вон и кино.* – Известен интерес Дёблина к кино: писатель был страстным любителем кинематографа; в одном из автобиографических эссе он вспоминал: «Были годы, когда я ходил в кино по меньшей мере раз в неделю. У меня не было никаких особенных пожеланий к создателям фильмов. Мне было хорошо уже тогда, когда они отказывались от высокодуховных окольных путей и просто предлагали зрителю веселое и захватывающее приключение» (Döblin 1972: 65). Дёблин интересовался техническими возможностями кино, которые позволяли по-новому отображать действительность, его специфическая эстетика и особенные выразительные возможности кинематографического языка. По его мнению, опыт кинематографа должен был расширить и обогатить возможности литературы. Уже в 1913 г., в программном обращении «К писателям и критикам», опубликованном в журнале Г. Вальдена «Штурм» («Der Sturm»), Дёблин употребляет термин «кинофильм» (Kinostil), предлагая современным авторам использовать его в своем письме. «Кинофильм», по мнению Дёблина, может сделать писательскую технику созвучной духу времени. «Кинофильм» Дёблин определяет как «симультианность плюс монтаж – и все в бешеном темпе» («Simultalität + Montage und das ganze in einem möglichst gasanten Tempo»). С «кинофильмом» связано дёблиновское понятие «деперсонализации» (Depersonation). Как и понятие «кинофильм», термин «деперсонализация» принадлежит самому Дёблину; писатель намеренно отличает его от психиатрического термина «деперсонализация» (Depersonalisation), уже введенного в то время в научный обиход. При этом «деперсонализация» у Дёблина, по сути, означает то же самое, что и «деперсонализация», т. е. максимальное отчуждение субъекта (в случае Дёблина – пишущего субъекта) от собственного «я» (а так же и от описываемых событий). По Дёблину, в современном мире эпическое произведение мыслится лишь как отражение «бездушности действительности» («entseelte Realität»), как (почти) механическая

запись происходящих событий (*gestalteter, gewordener Ablauf*), исключая любое присутствие в этом описании рефлектирующего авторского сознания. «Гегемония автора должна быть нарушена <...> я — это не я, а улицы, фонари, такое-то и такое-то событие, не более того» (Döblin 1963: 17). Таким образом, позиция автора в эпическом произведении, по Дёблину, сравнима с объективом кинокамеры, который не видим зрителю, но всегда подразумевается, и который, с одной стороны, беспристрастно запечатлевает обыденные вещи и события, а с другой — при помощи смены планов, замедленной и ускоренной съемки, акцентировании деталей и т. п. открывает иные стороны этих вещей, иные закономерности жизни, не доступные обычному взгляду. Наиболее удачным воплощением «киностиля» в творчестве Дёблина исследователи считают как раз БА. Уже первым рецензентам романа бросилось в глаза сходство романа с кинофильмом. Один из критиков писал (после премьеры фильма «Берлин Александрплац», в 1931 г.): «В романе Дёблина уже угадывалась киноформа. Это был, так сказать, написанный кинофильм» (Kraakauer 1931: 859–860). Немецкий литературовед Ф. Мартини в своем анализе БА более подробно обозначил сходство между языком кино и поэтикой дёблиновского романа:

Композиция романа ориентируется на ассоциативную образную и повествовательную технику фильма, основанную на безостановочном нанизывании эпизодов. Сходство романа с фильмом определяется тем, что и тут, и там мы имеем дело с гипнотическим потоком образов и сцен, головокружительным движением, постоянно сменяющимися планами внутренних и внешних событий, которые наслаиваются друг на друга в плотном единстве (Martini 1954: 360).

Связь достижений кино того времени с поэтикой БА является одной из главных тем дёблиноведения. Один из постоянно возникающих в этой связи вопросов — в какой мере на концепцию романа повлиял вышедший на экраны в 1927 г. фильм Вальтера Рутгмана (1887–1941) «Берлин. Симфония большого города». В 1973 г. немецким исследователем Э. Кеммерлингом по отношению к роману Дёблина был применен термин «кинематографическое письмо» («filmische Schreibweise»). В своей работе Кеммерлинг обстоятельно сравнивает приемы Дёблина с такими техническими приемами кинематографа, как рапид, ускоренная съемка, наезд, крупный план, общий план, резкий монтаж, символический монтаж, перекрестный монтаж и т. д. (см.: *Kaemmerling E. Die filmische Schreibweise // Prangel 1975: 185–198*; критика концепции Кеммерлинга см.: *Hage V. Collagen in der deutschen Literatur. Zur Praxis und Theorie eines Schreibverfahrens. Ein Modell zur vergleichenden Analyse von literarischen Texten und filmischen Adaptionen. Frankfurt a. M.; Bern: Lang, 1984. S. 95–108*; *Hurst M. Erzählsituation in Literatur und Film. Ein Modell zur vergleichenden Analyse von literarischen Texten und filmischen Adaptionen. Tübingen: Niemeyer, 1996. S. 245–283*). В кон. 1930 — нач. 1931 г., через год после выхода книги, началась работа над экранизацией БА. Сценарий фильма был написан при участии самого Дёблина. На главную роль пригласили популярного в те годы актера Генриха Георге (1893–1946); он же озвучивал роль Биберкопфа в радиопостановке). Режиссером киноленты был Фил Ютци (1896–1946), автор многочисленных фильмов о жизни рабочих. Съемки фильма и его выход на экран сопровождалась широкой рекламной кампанией в прессе. Фильм пользовался успехом у зрителей, но не оправдал чаяний критиков.

В экранизации практически полностью отсутствовали намеки на политические реалии Веймарской республики, так как продюсеры не хотели скандала, подобного разгоревшемуся в 1930 г. вокруг голливудской экранизации романа Э.-М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» и приведшего к запрету этого фильма. Большинство критиков с разочарованием отметило, что фильм не передает уникального духа Берлина, так хорошо ощущавшегося в книге. Рецензенты недоумевали по поводу того, что сюжетная линия фильма сосредоточена лишь вокруг любовного треугольника Биберкопфа, Рейнхольда и Мици. В фильме отсутствовали и символические сцены, которые годом раньше — в сценарии радиопостановки — писатель вывел на первый план. Оптимистический конец фильма разительно отличался от вызывавшего споры финала романа. Способности Дёблина-сценариста также были восприняты без энтузиазма: самым большим курьёзом, связанным с экранизацией фильма, критики посчитали именно тот факт, что «автором совершенно недёблиновского (döblinfremde) сценария является сам Дёблин». В один голос критики объявили экранизацию неудачной. Известный германист и культуролог Л. Кройцер объяснил тот факт, что первый фильм по роману Дёблина был признан неудачным, так:

Это простая экранизация некоторых эпизодов из жизни Франца Биберкопфа. Его (фильма «Берлин Александрплац». — А. М.) место в киноэстетике того времени таково: с помощью самых новейших технических средств кинематографа и звукового кино из романа было аккуратно вычленено то, что связывало его с эстетикой XIX в.; если в случае с книгой речь идет о таком эстетическом методе, который позволил Дёблину опередить свое время, то в случае с фильмом дело обстоит совершенно наоборот — новейшие технические достижения соединились с эстетикой вчерашнего дня, превратив «словесный фильм» («Wortfilm») Дёблина в воспитательный роман в картинках (Buck, Kreutzer, Peters 1977: 93).

Недавно было установлено, что сценарий Дёблина и его соавтора Ганса Вильгельма (1904—1980) был изначально намного сложнее и в значительной степени приближался к книге (см. послесловие Э. Клейншмидта в: Döblin 1983), однако большинство сценарных идей не было реализовано, во многом из-за того, что фильм по популярному роману изначально задумывался хозяевами крупной киностудии как коммерческое предприятие, рассчитанное на непритязательную массовую публику. См. также ил. 34.

⁴⁷ *...Без родителей, судьба сироты в 6 действиях.* — «Без родителей, судьба сироты в 6 действиях» — фильм режиссера Франца Хофера (1882—1944?), премьера которого состоялась в 1927 г. Содержание фильма Дёблин не без иронии пересказывает в следующих нескольких абзацах.

⁴⁸ *Оркестрион* — музыкальный инструмент, механическое пианино, внешним видом напоминающее небольшой орган.

⁴⁹ *Ландштурмист* — в Германии до 1945 г. немолодой военнообязанный (запаса 3-й очереди) или служащий войскового формирования вспомогательного назначения.

⁵⁰ *Эберсвальде* — курортное местечко к северу от Берлина, известное своими целебными источниками и водопадом.

⁵¹ *Кайзер-Вильгельмштрассе* — в те годы одна из центральных улиц Берлина. Названа в честь Вильгельма I (1797–1888), прусского короля (с 1861 г.) и германского кайзера (с 1871 г.), при котором началось объединение Германии и была провозглашена Германская империя.

⁵² *Бюловплац* — площадь в центре Берлина, названная в честь прусского военного теоретика А.-Г.-Д. фон Бюлова (1757–1807).

⁵³ *Я знал двух детей королевских, они полюбили друг друга.* — Первые строки популярной народной песни «Королевские дети» (XII в.), включенной романтиками А. фон Арнимом (1781–1831) и К. Бренгано (1778–1842) в сборник народных песен «Волшебный рог мальчика» (1808). Ср. в пер. Л. Гинзбурга: «Я знал двух детей королевских, | Печаль их была велика: | Они полюбили друг друга, | Но их разлучала река».

⁵⁴ *Если пёс с колбасой по канавам — прыг!* — Берлинская детская присказка.

⁵⁵ *Цып-цып-цып, моя курочка, цып-цып-цып, петушок.* — Слова припева детской песни «Крошка Фриц сказал отцу».

⁵⁶ *Отчизна, сохрани покой...* — Первая строка припева песни «Стража на Рейне». См. примеч. 24.

⁵⁷ *В его голове кружились обрывки каких-то стишков ~ дай мне клецок, фрейлейн Штейн.* — Имеются в виду слова из детской песенки того времени.

⁵⁸ *Дождь все еще идет.* — Многочисленные упоминания о погоде, в основном ненастной, несут в романе символическую нагрузку, они предвещают тревожные события в жизни героя (см. также прогнозы и описания ненастной погоды в книгах пятой, седьмой, восьмой). Большинство прогнозов — вырезки из газет зимы 1927/28 г., вклеенные Дёблином в текст романа. Нельзя не отметить, что (как это часто бывает в произведениях Дёблина) события в жизни героя соотносятся с природными ритмами, что навеивает мифологические ассоциации: например, ФБ выходит из тюрьмы весной, первый удар получает осенью, затем «затаивается»; знакомится с Мици в апреле, убийство Мици происходит в сентябре, финальная метаморфоза случается с Биберкопфом под Рождество и т. д.

⁵⁹ *Половая потенция возникает в результате взаимодействия ~ и проч.* — Точный источник этого экскурса в физиологию человека не установлен. Скорее всего, Дёблин цитирует медицинский учебник или пособие по сексологии, к которым он обращался в своей врачебной практике.

⁶⁰ *Эльзассерштрассе* — в те годы улица в северной части Берлина, в районе Ораниенбург. Любопытно, что почти все близлежащие к Эльзассерштрассе улицы были названы в честь немецких писателей-романтиков.

⁶¹ *Если у бабышни есть кавалер, она его любит на свой манер.* — Строчка пародирует припев дуэта из оперетты популярного композитора Вальтера Колло (1878–1940) «Барон глупости» (1913; возобновлена в Берлине в 1923 г.). В 1920-х годах Дёблин сотрудничал с различными газетами и журналами, писал рецензии на берлинские театральные постановки. Писатель регулярно посещал театральные премьеры, в том числе и спектакли «легкого жанра» — оперетты, музыкальные ревю, представления многочисленных берлинских варьете. Увлечение этими театральными жанрами отражается в БА: Дёблин постоянно цитирует и пародирует строки из популярных музыкальных номеров, тексты шлягеров и т. п., которые он хорошо знал. В статье «Мораль шлягеров» (опубл. 12 февраля 1924 г. в: Berliner Tagesblatt. 1924. 53.

Jg. №. 73) Дёблин писал о том, что популярные песни облегчают жизнь народа в тяжелые времена, объединяют людей. Нетрудно, однако, заметить, что в БА отрывки из шлягеров не только несут на себе символическую нагрузку, непрямо, зачастую иронично, комментируя основное действие романа, но и указывают на эмоциональную и мыслительную несамостоятельность героев: популярные песни заставляют мыслить шаблонами, «рассчитывают на людей несамостоятельных <...> на таких, которые не способны выразить свои эмоции и переживания, потому ли, что эта способность у них отсутствует, или потому, что она атрофировалась под гнетом табу цивилизации. Они поставляют суррогаты чувств людям <...> снабжают их именно теми чувствами, о которых новейшее издание идеала личности говорит, что их нужно иметь» (Адорно 1999: 31). Ту же функцию выполняют в романе солдатские и патриотические песни. Цитаты из шлягеров в основном сопровождают женские персонажи; как контрапункт к ним возникают строки солдатских и патриотических песен, связанные с образом Биберкопфа.

⁶² *...в чулках из искусственного шелка от Бемберга, и глаза у нее черные, как смоль...* — Имеются в виду чулки, изготовленные на берлинской текстильной фабрике «Бемберг». Фраза «глаза у нее черные, как смоль» пародирует популярный слоган того времени из рекламы этих чулок.

⁶³ *«Теодор, что ты подумал ~ когда ты звал меня на ужин с вином?»* — Слова припева песни «Вчера на прогулке» из музыкального ревю «Грехи мира».

⁶⁴ *А ты знаешь, что значит тоска по родине?* — Этими словами начинается в немецком переводе известная песня знаменитого американского композитора, автора произведения, считающегося неофициальным гимном Америки («Боже, храни Америку») Ирвинга Берлина (1888–1989) «Навсегда».

⁶⁵ *...налью тебе рюмочку Мампе...* — «Мампе» — горький ликер, настоящий на травах, выпускавшийся фирмой с таким же названием.

⁶⁶ *Сперва у пруссаков в окопах гнил...* — ФБ воевал на фронтах Первой мировой войны. См. также примеч. 18.

⁶⁷ *«...Пей Мампе, пока пьется, все позабудь!»* — Дёблин обыгрывает один из рекламных слоганов «Мампе». См. также примеч. 65.

⁶⁸ *Шуцман* — общеупотребимое название полицейских в Германии до 1945 г.

⁶⁹ *Тестифортан, патентованный препарат... от полового бессилия доктора Магнуса Гиршфельда и доктора Бернгарда Шапиро ~ является нередко весьма полезным.* — Писатель цитирует рекламную листовку лекарства от импотенции «Тестифортан». Лекарство было разработано сексопатологами М. Гиршфельдом и Б. Шапиро в Институте сексуальных наук, который они основали и возглавляли. Гомеопатическое средство, выписывавшееся в дополнение к психотерапевтическому лечению, выпускалось немецкой фармацевтической фирмой «Promonta» вплоть до середины 1980-х годов. Наследники Гиршфельда и Шапиро получали высокие проценты с доходов от продажи этого лекарства. Магнус Гиршфельд (1868–1935) — берлинский сексопатолог, известный правозащитник, основатель Берлинского Института сексуальных наук, просуществовавшего с 1919 по 1933 г. С 1897 г. Гиршфельд возглавил основанный им «Научный гуманитарный комитет» — организацию по борьбе за права гомосексуалистов, которых он считал людьми «третьего пола». Автор монументального труда «Сексология» в пяти томах (1925–1930). После прихода Гитлера к власти в 1933 г., институт Гиршфельда был разгромлен, а обширная

библиотека института в 10 000 томов — публично сожжена. Бернгард Шапиро (1885—1966) — дерматолог и уролог, соратник Гиршфельда. В Институте сексуальных наук Шапиро давал консультации по контрацепции, занимался изучением венерических заболеваний и их профилактикой. Главный интерес Шапиро был сосредоточен на проблемах, связанных с потенцией: он возглавлял отделение, занимавшееся вопросами лечения расстройств потенции и исследования гормонов.

⁷⁰ *Инвалиденштрассе* — большая улица на севере—северо-западе Берлина.

⁷¹ *Аккерштрассе* — большая улица на севере Берлина.

⁷² *Драгонерштрассе* (букв.: улица драгунов) — улица в центре Берлина, недалеко от Александрплац.

⁷³ *...руммер ди буммер ди кикер ди нелль, руммер ди буммер.* — Берлинская считалочка.

⁷⁴ *...на стене старый кайзер, и француз в красных шароварах вручает ему свою шпагу...* — Картина изображает финальный эпизод франко-прусской войны 1870—1871 гг. 2 сентября 1870 г. французский император Наполеон III (1808—1873), сдавшись под Седаном в плен Вильгельму I (см. примеч. 51) вместе со своей армией в сто тысяч человек, вручил прусскому королю свою шпагу. Дёблин описывает эту же картину и в другом своем произведении — романе «Прощения не будет» (1935).

⁷⁵ *...я сдался, сдался.* — Начало патриотической песни, написанной в 1820 г. на слова мюнхенского ученого и поэта Ганса Фердинанда Массманна (1797—1874), автора многочисленных солдатских песен.

⁷⁶ *...звуки трубы оборвались...* — Звук трубы — один из центральных лейтмотивов романа. Более подробно см. примеч. 85.

⁷⁷ *...сладко пел душа-соловушка...* — начало первой строфы стихотворения «Ответ соловья» (1844) немецкого поэта Генриха Гофмана фон Фаллерслебена (1798—1874). Незамысловатые стихи Фаллерслебена в XIX в. часто и охотно перелагали на музыку; песни на его стихи есть у Ф. Листа, И. Брамса, Р. Шумана, Р. Штрауса и др.

⁷⁸ *Во сколько ценится жена между друзьями? ~ выйти замуж за своего любовника.* — Данный абзац представляет собой текст газетной заметки, которая была вклеена в рукопись романа; точный источник не установлен.

⁷⁹ *...курьерский Берлин—Гамбург—Альтона, отходит в 18 часов 5 минут, приходит в 21.35...* — Дёблин дословно цитирует расписание немецких железных дорог на зимний сезон 1927/28 г. Альтона — район Гамбурга.

⁸⁰ *...Трептов с кафе Парадиз...* — Трептов — район на юго-востоке Берлина. Название кафе перекликается с символика и мотивами, связанными с библейской историей о грехопадении (см. начало книги второй романа: «Жили некогда в Раю...» (с. 38 наст. изд.). См. также примеч. 1 к книге второй.

⁸¹ *...растекается, как вода...* — В мифологической картине мира Дёблина вода играет важнейшую роль (ср.: Гамлет: 504). В 1930 г. Дёблин написал текст для оперы «Вода» немецкого композитора Эрнста Тоха. В БА Дёблин вполне в духе культурных представлений эпохи, актуализировавшихся после Первой мировой войны, связывает воду с женским — стихийным, эротическим началом (см.: Becker-Santarino 1997: 373). Биберкопф же в этой сцене воплощает мужское начало — стихию огня (о стихии огня и связанных с ней образах у Дёблина см.: Гамлет: 503; ср. также описания сцены убийства Биберкопфом Иды и сцены убийства и изнасилования Мици Рейнхольдом, построенные по сходному принципу (см. с. 280 наст.

изд.)). Встреча Минны и Франца, таким образом, переходит в символическое измерение, иллюстрируя дёблиновскую идею «вечной борьбы в природе воды и огня», являющуюся одной из центральных в естественнонаучном трактате писателя «Я над природой», написанном и опубликованном в 1927 г. Вода пытается «убежать от огня, становясь газом, превращаясь в пар». «Область газов», однако, Дёблин характеризует как «разрушение всех физических связей», «распад». Идея борьбы воды и огня связана у писателя с представлениями о том, что все природные объекты и организмы находятся в постоянном «дисгармоничном непокое», который противостоит гармонии «изначального смысла мира» («Ur-Sinn der Welt») (см.: Döblin 1964: 65f.).

⁸² ...нет центробежной силы. — Центробежная сила — сила, с которой движущаяся материальная точка действует на тела, стесняющие свободу ее движения, и вынуждающие ее двигаться криволинейно. В конце 1920-х годов Дёблин начинает разрабатывать свою сложную естественнонаучную картину мира (в работах «Наше бытие» и «Я над природой»). В духе психофизического монизма начала XX в. Дёблин рассматривает мир как одухотворенное единство всех вещей и живых существ, бытие каждого из которых наделено смыслом. Дёблин считал, что всюду в природе действуют одни и те же известные (химические, физические, математические, экономические) и неизвестные законы, порядки, правила. Органическое и неорганическое связывается воедино с помощью *формы* и *резонанса* (Form, Formung durch Resonanz); форма придает «ирреальной пространственно-временной целостности мира вид структурированной системы, которая с математической строгостью» (посредством «монотонии числа») «располагает единичное в целом». Это одухотворенное целое, в котором пребывают все вещи в природе, Дёблин называет «пра-я» («Ur-Ich»); частицы «пра-я» содержатся, согласно теории писателя, во всех сформировавшихся существах (людях, животных, растениях и даже в кристаллах, которые и являют собой наиболее явное, прозрачное, воплощение этого «единого закона»). Они и есть *резонанс*, который звучит в каждом и вокруг каждого из нас: «<...> поведение людей в видимом и невидимом мире определяется резонансом. За одним резонансом мы следуем, другой — ответный резонанс — исходит из нашего бытия и переживаний и достигает самых глубоких глубин. Мы об этом ничего не знаем, но факт существования резонанса — само собой разумеющийся <...> он [резонанс] слышится в нас, движет нами, но мы не знаем, что это такое» (Döblin 1933: 171; см. также: 171—182). Принцип резонанса является одним из важнейших для понимания построения и поэтики БА, где писателем выстраивается целая система мотивных и тематических переключек и взаимоотражений. Иногда этот «неясный» резонанс становится вдруг слышимым (см., напр., с. 328 наст. изд.).

⁸³ *Кинетическая теория газов* — теория, которая объясняет неравновесные свойства газов (явления переноса энергии, массы, импульса) на основе законов движения и взаимодействия молекул.

⁸⁴ *Индукция* — возбуждение переменным магнитным полем электродвижущей силы в проводниках.

⁸⁵ *Вот трубы затрубили, гусары, вперед, аллилуйя!* — Начальная строчка «Песни о фельдмаршале» (1813), написанной Э.-М. Арндтом (1768—1860), немецким поэтом, публицистом и историком, стихи и труды которого в значительной мере способствовали росту национального самосознания немцев. Проходящие в романе лейтмоти-

вом упоминания о трубном звуке связаны с темой Апокалипсиса. Ср. с Откровением Иоанна Богослова: «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить» (Откр. 8: 6).

⁸⁶ *Полицейпрезидиум, отделение 5 ~ Форма № 968а.* — В период работы над романом (1927–1928 гг.) писатель был дружен с тогдашним вице-полицейпрезидентом Берлина и часто бывал в Полицейпрезидиуме, который располагался недалеко от Александрплац, рядом с медицинской практикой Дёблина. Именно там он, возможно, и позаимствовал формуляры цитируемых им полицейских документов.

⁸⁷ *Грунерштрассе* — улица в центре Берлина, на которой располагался Полицейпрезидиум.

⁸⁸ *...а о Вас мы наведем справки... и Вы обязаны являться... на регистрацию.* — Герой Дёблина, по всей видимости, вспоминает слова одного из работников патроната.

КНИГА ВТОРАЯ

¹ *Жили некогда в раю два человека, Адам и Ева ~ царила одна лишь радость.* — Вольный пересказ начала Ветхого Завета (см.: Быт. 1: 29; 2). Мотив грехопадения является одним из центральных в романе и связывается с темой знания/неведения героя. В тексте БА неоднократно возникают библейские цитаты из книги Бытия и многочисленные аллюзии на историю соблазнения Евы змеем и изгнания первых людей из рая. Исследователи романа сходятся во мнении, что змею-искусителю Дёблин уподобляет или Людерса (история с вдовой в книге третьей) или Рейнхольда (история с ограблением фруктовой лавки — кражей яблок (!); предательство Рейнхольда, которое приводит к тому, что ФБ теряет правую руку; убийство Рейнхольдом Миши). В этом случае напрашивается параллель между ФБ и Адамом. Однако можно заметить, что и сам ФБ не раз сравнивается со змеем (напр., в истории с Идой: он знакомится с ней в кафе «Райские сады», а затем вовлекает ее в проституцию).

² *Ручками мы хлоп, хлоп, хлоп, ножками мы топ, топ, топ...* — Слова песенки из первого действия сказочной оперы Энгельберта Хампердинка (1854–1921) «Гензель и Гретель» (1891). Ее герои — глупые дети, брат и сестра, отправляются на поиски своего отца в лес и попадают к злой ведьме, которая собирается их съесть. Опера Хампердинка, ученика Рихарда Вагнера, имела неслыханный успех, а номера из нее популярны и по сей день. В немецких театрах эту оперу обычно показывают на Рождество. В книгах второй и третьей БА Дёблин также несколько раз цитирует слова песен из этой оперы (см., напр., с. 78, 96).

³ *Франц Биберкопф вступает в Берлин.* — Помещенные ниже пиктограммы представляют собой герб Берлина и десять эмблем, символизирующих различные отрасли городского хозяйства. Рисунок Дёблин вырезал из бюллетеня, выпущенного берлинским городским магистратом в 1928 г.

⁴ *О публикации плана земельного участка.* — Следующие три абзаца — цитаты из сообщений, опубликованных в третьем и четвертом номерах «Официального бюллетеня города Берлина» за 1928 г. (от 15 и 22 января); Дёблин, однако, изменил названия улиц и имена.

⁵ *Ан-дер-Шпандауэр-Брюкке* — улица и железнодорожная станция к северо-западу от Александрплац.

⁶ *Клостерштрассе* — большая улица недалеко от Александрплац.

⁷ *Мастер скорняжного цеха...* — Ср. с образом скотобойни в книге четвертой (с. 108 и след. наст. изд.).

⁸ *Переменная, скорее ясная погода ~ Дневная температура, вероятно, понизится.* — См. примеч. 58 к книге первой.

⁹ *Маршрут трамвая № 68...* — Если первый трамвай (№ 41, см. примеч. 3 к книге первой), на котором ехал Биберкопф, отправлялся от Тегеля, то конечная остановка второго трамвайного маршрута, упоминающегося в тексте романа, — психиатрическая лечебница. Таким образом, эти два трамвайных маршрута указывают на начальный (тюрьма) и конечный (психиатрическая лечебница) пункты движения главного героя романа в Берлине.

¹⁰ *Проезд стоит ~ вход и выход во время движения сопряжены с опасностью для жизни.* — Дёблин цитирует правила проезда в городском транспорте, висевшие в те годы на трамвайных остановках, а также сведения, вывешенные в трамвайных вагонах.

¹¹ *Лукутат* — гомеопатический медицинский препарат, широко рекламировавшийся в 1927 г. Лукутат якобы изготавливался из плодов одноименного кустарника, произрастающего в индийских джунглях, и способствовал «омоложению организма»: «омолаживал кровь и половые железы, чистил печень и укреплял сердце», благодаря лукутату, сообщала реклама, слоны и индийские йоги доживали до ста лет. Впоследствии выяснилось, что за лукутат выдавали перебродившее сливовое пюре.

¹² *...презервативы Фрамма...* — «Фромм» — торговая марка берлинской резиновой мануфактуры. В представлениях социологов того времени, жизнь в большом городе характеризовалась полным отсутствием интереса к биологическому продолжению рода (в отличие от жизни в деревне), поэтому примечательно, что герой Дёблина акцентирует внимание на этой вывеске.

¹³ *Брунненштрассе* — большая улица, которая вела из центра на северную окраину Берлина; в Брунненштрассе переходила Розентаалерштрассе.

¹⁴ *Гумбольдхайн* — парк на севере Берлина.

¹⁵ *АЕГ... согласно телефонной книге на 1928 год...* — Как указывает сам Дёблин, сведения о фирме АЕГ — одном из самых крупных промышленных предприятий в Берлине того времени — он почерпнул из берлинской телефонной книги за 1928 г.

¹⁶ *Набережная Фридриха Карла.* — Находилась на северо-западе Берлина, в промышленном районе, недалеко от транспортного вокзала и порта.

¹⁷ *Оберштрее* — район и железнодорожная станция на юго-востоке Берлина.

¹⁸ *Геннингсдорф* — город в Бранденбурге к северо-западу от Берлина.

¹⁹ *Рейнштрассе* — улица находится на юго-западной окраине города.

²⁰ *Вильгельминенгофштрассе* — большая улица на юго-восточной окраине Берлина.

²¹ *Руммельсбургершоссе* — шоссе на востоке Берлина.

²² *...турбинный завод NW на Гуттенштрассе 12–16.* — Дёблин часто бывал на этом заводе фирмы АЕГ, расположенном на северо-западе Берлина, когда работал над своим «берлинским» романом «Борьба Вадцека с паровой турбиной» (1914; опубл. 1918).

²³ *Инвалиденштрассе* — большая улица, которая ведет с северо-запада на север города.

²⁴ *Штеттинский вокзал* — вокзал на северо-западе Берлина, крупный транспортный узел.

²⁵ *Вот вчера рано утром ~ записалась под чужой фамилией.* — Источник этой новости, вклеенной в рукопись, неизвестен.

²⁶ *Рыба — продукт весьма питательный ~ здоровье и бодрость.* — Текст рекламного объявления в газете «Берлинер тагесблат» за 13 марта 1928 г.

²⁷ *Эльзассерштрассе* — большая улица на севере Берлина.

²⁸ *Беккер и Фибих, строительная контора, Берлин В35.* — Строительная контора «Беккер и Фибих» существовала в действительности; Дёблин дает адрес по берлинской адресной книге за 1928 г.

²⁹ *...у Лотрингерштрассе в трамвай № 4 село четверо...* — Трамвай № 4 не останавливался у Лотрингерштрассе. В рукописи БА был указан правильный номер маршрута, остановка которого находилась в этом месте, — № 1. Лотрингерштрассе — улица на севере Берлина, в которую переходит Эльзассерштрассе.

³⁰ *Грюнау* — зеленый район в пригороде Берлина, на берегу реки Даме.

³¹ *Извещение о его смерти будет гласить: 25 сентября ~ Мария Рюст.* — Текст некролога, вырезанный из газеты; Дёблин лишь заменил упоминавшиеся в нем фамилии.

³² *...Ввиду невозможности ~ слово.* — Также вырезка из газеты, вклеенная в текст рукописи, Дёблин заменил адрес и имена.

³³ *Кроше* — в боксе: сокрушительный удар сбоку.

³⁴ *Прости-прощай, родная сторона.* — Начальные слова народной песни (1857) на стихи пастора Августа Дюссельхофа (1829–1903).

³⁵ *Я не элин, я берлинец.* — Ср. с названием последней главы книги второй: «Вот он какой, наш Франц Биберкопф! Под стать античным героям!» и с монтажом цитат из «Орестей» Эсхила в той же главе (см. с. 79–82 наст. изд.).

³⁶ *...попахивает покушением на самоубийство.* — В те годы покушение на самоубийство считалось преступлением и уголовно преследовалось.

³⁷ *Из трамвая маршрута 99...* — Маршрут проходил практически через весь Берлин и связывал юго-восточную и северную части города.

³⁸ *Вейнбергсвег* — улица на севере Берлина.

³⁹ *Тунтхен* (уменьшительно-ласкательное от нем. Tunte) — на сленге тех лет — женоподобный гомосексуалист; но здесь — ласковое обращение к женщине.

⁴⁰ *«Ярмарочные торговцы считают ~ благотворительности».* — Дёблин дословно цитирует открытое письмо, опубликованное в одной из берлинских газет, по всей видимости, в ноябре 1927 г. Газетная вырезка прилагалась к рукописи романа.

⁴¹ *Стража на Рейне.* — См. примеч. 24 к книге первой.

⁴² *С крупным скотом тихо.* — Ср. далее с мотивом скотобойни (см. с. 108 и след. наст. изд.).

⁴³ *Мейнинген* — городок на юго-востоке Германии в южной Тюрингии.

⁴⁴ *Мейнинские пряники* — по всей видимости, выдумка автора.

⁴⁵ *Немецкий Михель* — появившееся в немецком словообращении еще в XVI в., после выхода сборника пословиц и поговорок Себастиана Франка (1499–1542), обозначение простого, необразованного человека. В XIX в. — излюбленный персонаж сатирических рисунков: простодушный, глуповатый бюргер, которого обычно изображали в панталонах и домашнем халате. Синоним ограниченного немецкого провинциального обывателя; в политическом отношении — символ реакционности и шовинизма.

⁴⁶ *Скат* — карточная игра, распространенная в Германии.

⁴⁷ *Знал я одного коммуниста... в девятнадцатом, дрался вместе с нами на баррикадах в Берлине.* — Имеются в виду события нач. 1919 г., так наз. Берлинское восстание (восстание «Союза Спартака»), когда после отречения Вильгельма II от престола рабочие и коммунисты под руководством Карла Либкнехта (1871–1919) и Вильгельма Пика (1876–1960) вступили в вооруженную борьбу с только что созданным германским правительством. Восстание было жестоко подавлено правительственными войсками, а Коммунистическая партия Германии попала под запрет. Дёблин был свидетелем этих революционных событий; во время уличных боев погибла его старшая сестра Мета. События Ноябрьской революции в Германии, начавшейся 19 ноября 1918 г. с Кильского восстания, легли в основу тетралогии Дёблина «Ноябрь 1918. Немецкая революция» (1937–1943).

⁴⁸ *Когда у нас... наступает неприятная погода... нас... влечет... в Италию. Кто настолько счастлив, что может последовать этому влечению.* — Источник, откуда Дёблин вырезал этот рекламный текст, неизвестен. С середины XVIII в. Италия в немецкой культуре воспринималась как идиллический край, своего рода рай на земле. См. далее пародию на известную песнь Миньоны из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» «Ты знаешь край лимонных рощ в цвету» (с. 128, 313 наст. изд.).

⁴⁹ *Фаталистская речь рейхсканцлера Маркса...* — Далее Дёблин цитирует статью из нацистской газеты «Фёлькише беобахтер», опубликованную 19 ноября 1927 г. и называвшуюся «“Папаша” Маркс — канцлер немецкого Рейха “провидением божьим”», снабжая ее ироническим комментарием. Вильгельм Маркс (1863–1946) — немецкий политик центристского толка, четырежды избирался рейхсканцлером Германии (в 1923–1925 и в 1927–1928 гг.).

⁵⁰ *Живи так, как ты бы того хотел, умирая, приятного аппетита.* — Берлинская поговорка, представляющая собой пародийное переложение второй строфы стихотворения немецкого писателя Кристиана Фюрхтерготта Геллерта (1715–1769) «О смерти», ставшего чрезвычайно популярным у немецких протестантов еще при жизни автора; ср. в дословном пер.: «Живи так, как ты бы того хотел, умирая».

⁵¹ *...спит... в ночлежке на Фребельштрассе...* — По адресу: улица Фребельштрассе, 15, на северо-восточной окраине Берлина, располагался один из самых известных городских приютов для бездомных (см. также с. 316 наст. изд.). Приют был частью целого комплекса учреждений для бедных, в который входили также инфекционная больница и госпиталь.

⁵² *«Роте фане»* («Красное знамя») — официальный печатный орган Коммунистической партии Германии.

⁵³ *Шоссештрассе* — большая улица в северной части Берлина, там располагались военные части.

⁵⁴ *Ораниенбургские ворота.* — Этими воротами заканчивается Шоссештрассе.

⁵⁵ *Фабиш и К°.* — «Фабиш и К°», большой и известный в то время магазин мужской одежды, находился по адресу Розенталерштрассе, 1. См. также с. 228 наст. изд.

⁵⁶ *...веселье бычьих глаза.* — Дёблин впервые проводит параллель между ФБ и скотом, забой которого будет описан в книге четвертой романа.

⁵⁷ *Крокодил* — кафе в Берлине, название которого, как и в ряде других случаев, Дёблин дает без кавычек.

⁵⁸ ...сзади лежал в стеклянном гробу Жолли... — Жолли — известный в то время голодарь, т. е. циркач, подолгу голодавший на публике. Представление Жолли — он голодал в течение 44 дней, лежа в стеклянном гробу, — вызвало в 1928 г. сенсацию в Берлине. За полтора месяца на него пришлось посмотреть 350 тыс. человек, а на продаже билетов Жолли заработал 130 тыс. марок. После окончания голодания артист был уличен в мошенничестве, его обвинили в обмане зрителей. В «Берлинер цайтунг» за 15 октября 1928 г. была опубликована заметка под названием «Жолли предстал перед судом».

⁵⁹ *Ведь не придется же вбивать вам это в голову кувалдой.* — Ср. с мотивом молота, обрушивающегося на голову жертвы в книге четвертой и далее (см. с. 112–113, 279 наст. изд.).

⁶⁰ ...по плану Дауэса... — Чарльз Гейтс Дауэс (Доус) (1865–1951) — американский банкир и политик, лауреат Нобелевской премии мира (в 1925 г.), вице-президент США от республиканской партии в 1925–1929 гг., затем — посол США в Великобритании (1929–1932 гг.). После Первой мировой войны комиссия под его руководством разработала репарационный план для Германии, утвержденный 16 августа 1924 г. на Лондонской конференции, суть которого состояла в предоставлении Америкой займов и кредитов (2,5 млрд золотых марок ежегодно) для восстановления промышленности Германии.

⁶¹ *Раз сюда, раз туда, раз кругом, в том нет труда.* — Слова припева одной из песенок из оперы Э. Хампердинка «Гензель и Гретель». См. также примеч. 2, примеч. 3 к статье «Исторический роман и мы».

⁶² *Но представь себе такого оратора в рейхстаге, Бисмарка или Бебеля...* — ФБ приводит в пример двух немецких политических деятелей, прославившихся своим красноречием. Князь Отто фон Шёнхаузен Бисмарк (1815–1898), министр-президент Пруссии и первый рейсканцлер Германской империи, осуществивший объединение Германии, был одним из самых выдающихся ораторов своей эпохи. Август Бебель (1840–1913) — основатель и один из руководителей социал-демократической партии Германии и Второго интернационала, много раз избирался в рейхстаг, где прославился своими блистательными речами в защиту прав женщин и против прусского милитаризма. В молодости Дёблин был поклонником Бебеля. В первом произведении Дёблина, написанном им еще в гимназические годы, — рассказе «Модерн. Картина из нашего времени» (1896) — чувствуется явное влияние идей Бебеля.

⁶³ *Карлштрассе* — улица на северо-востоке Берлина, недалеко от центра.

⁶⁴ *Гакеский рынок* — рыночная площадь недалеко от Александрплац.

⁶⁵ *Смеющаяся жизнь* — Имеется в виду журнал «Смеющаяся жизнь», выходивший в те годы в Берлине; издание пропагандировало нудизм и «телесную культуру».

⁶⁶ *Фигаро* — «Фигаро. Журнал духовной и телесной культуры». Официальный печатный орган Союза пелагианцев, общества народного просвещения посредством ухода за телом и гигиеничной сексуальной жизни», был основан в 1924 г. и выходил два раза в месяц. Не путать с французским изданием «Le Figaro».

⁶⁷ *Брак.* — Имеется в виду «Ежемесячный журнал о браке, науке, праве и культуре», издававшийся в Берлине с 1926 по 1933 г.

⁶⁸ *Идеальный брак.* — Речь идет об издании «Идеальный брак. Ежемесячный журнал о телесном и духовном воспитании в браке», выходившем в Берлине с 1927 по 1928 г.

⁶⁹ *Женская любовь* — «Женская любовь. Еженедельник о дружбе и сексуальном просвещении». Выходил с 1926 по 1933 г.

⁷⁰ *Не состоящие в браке*. — Полное название этого «еженедельника новой сексуальной этики» — «Не состоящие в браке и женатые». Журнал выходил всего два года — с 1926 по 1928 г.

⁷¹ *Попытка регулировать путем договора половую жизнь ~ можно себе представить*. — Дёблин цитирует статью автора Карлхайнца Тидта «Плен или свобода любви в браке?» из седьмого номера журнала «Не состоящие в браке и женатые» за 1927 г. Тидт в своей статье разбирает роман д'Аннунцио (о романе см. примеч. 72).

⁷² *Я приведу пример из романа д'Аннунцио, Сладострастие...* — «Сладострастие», или «Наслаждение» («*Il piacere*», 1889; в нем. пер. «*Lust*»), — скандальный роман итальянского писателя и политика Габриеле д'Аннунцио (1863–1938). Одно из первых произведений писателя, роман принес своему автору всемирную славу. Символистские стихи, романы и пьесы д'Аннунцио пользовались в Европе того времени исключительной популярностью. Считалось, что писатель снискал себе всемирный успех исключительно тем, что, по выражению Макса Нордау, приукрашивал сладострастие и проповедовал «подчинение разума всем капризам чувственности» (Нордау 1995: 354). Дёблин пересказывает содержание предпоследней главы последней книги романа.

⁷³ *...Великая пустота и молчание наполнили после этого ее душу*. — Еще одна, немного измененная, цитата из статьи Тидта (см. примеч. 71), который, в свою очередь, цитирует роман д'Аннунцио (см. примеч. 72).

⁷⁴ *Дружба* — «Еженедельник просвещения и духовной поддержки идеальной дружбы», выходивший в Берлине с 1919 по 1933 г.

⁷⁵ *Параграф 175*. — Печально знаменитый § 175 уголовного кодекса Пруссии квалифицировал гомосексуализм как уголовное преступление и гласил: «Противоестественные развратные действия, в которые вступают два лица мужского пола, наказываются тюремным заключением». Ведущим борцом за либеризацию прав гомосексуалистов в кайзеровской Германии, а затем и в Веймарской республике был М. Гиршфельд (см. примеч. 69 к книге первой), неоднократно направлявший прусскому правительству петиции против § 175. Прошения Гиршфельда поддерживали многие деятели культуры и искусства, в том числе Л.Н. Толстой и Э. Золя. Дёблин также неоднократно публично высказывался против этой статьи уголовного кодекса. Так, в 1929 г. Дёблин вместе с другими деятелями культуры и литературы Веймарской республики выступил за легализацию мужской проституции (см.: «*Unzucht zwischen Männern?*». Ein Beitrag zu Strafrechtsreform unter Mitwirkung von Magnus Hirschfeld, Gotthold Lehnerdt, Peter Martin Lampel / Hg. von Richard Linsert. Berlin, 1929). Гомосексуальная тематика явно или имплицитно присутствует почти во всех произведениях Дёблина, начиная с его первых романов «Черный занавес» и «Три прыжка Ван Луны». Причину интереса Дёблина к этой теме биографы писателя обычно видят в неоднозначных отношениях самого Дёблина с отцом: в 1888 г., когда писателю было 10 лет, его отец, Макс Дёблин, влюбился в швею Генриетту Цандер, двадцатью годами моложе его, и бежал с ней в Америку. С этого времени будущий писатель находился под влиянием своей властной матери. Большинство героев-протагонистов мужского пола в произведениях Дёблина находятся в сложных амбивалентных отношениях любви/ненависти. В БА так связаны ФБ и Рейнхольд,

Мици и Ева. В романе гомосексуальная тема вводится не только рассуждениями об отмене § 175, но также обширной цитатой из бульварного романа о лесбийской любви (см. с. 61 наст. изд.; примеч. 86) и историей о «лысом господине» (см. с. 60 наст. изд.). Интересно, что в газетной публикации, предварявшей выход романа, Рейнхольд зарабатывает деньги гомосексуальной проституцией (что, впрочем, можно рассматривать как еще один знак, указывающий на «нечистое» происхождение этого героя; см. примеч. 51 к книге пятой). В 1924 г. Дёблин написал подробный документальный репортаж «Подруги-отравительницы» о всколыхнувшем в 1923 г. Берлин уголовном деле — убийстве двумя любовницами, Элой Линк и Гретой Бенде, мужа одной из них (см.: Дёблин 2006а). Один из первых исследователей творчества Дёблина Роберт Миндер увязывал гомосексуализм в БА с предчувствием фашизма:

Из «Александрплац» можно сделать один ясный социологический вывод: о сексуальных основах власти. Этот роман не в меньшей степени, чем другие произведения Дёблина — гомосексуальная книга в традиционном понимании этого слова. Ведь большинство книг Дёблина, за редким исключением, — книги без женщин. В центре произведений Дёблина почти всегда — бессознательная, ожесточенная и яростная любовная связь двух партнеров-мужчин. Связь, которая, однако, находится на ином уровне, которая есть нечто большее, чем просто сексуальные отношения; связь, целиком предопределяющая поведение персонажей и имеющая своей скрытой причиной преувеличение отцовского авторитета, которое сторонние наблюдатели могли заметить в Германии и в немецком образе жизни на рубеже XIX–XX вв. <...>. В этой же ситуации кроются и гомосексуальные корни нацизма (*Minder R. Alfred Döblin zwischen Osten und Westen // Minder 1966: 174*).

⁷⁶ ...состоится доклад в Александрпаласе на Ландсбергерштрассе... — Зал «Александрпалас», где собирались гомосексуалисты и лесбиянки, находился на Ландсбергерштрассе, 39, в непосредственной близости от Александрплац.

⁷⁷ ...доклад о положении в Хемнице, где, согласно административному распоряжению... гомосексуалистам запрещается выходить на улицу... — Административное распоряжение, упоминаемое Дёблином, не было найдено комментаторами романа в городском архиве Хемница, но кажется вполне правдоподобным для тех лет. Хемниц — город на востоке Германии.

⁷⁸ ...без конца кружил его вокруг фонтана Роланда на Зигесаллее. — Вдоль большой Зигесаллее (аллее Победы) в парке Тиргартен были установлены мраморные бюсты членов княжеского рода Гогенцоллернов и памятники видным политическим деятелям Пруссии. Аллея Тиргартена и по сей день — одно из известных мест встречи берлинских гомосексуалистов. См. также далее историю о «лысом господине» (с. 60 наст. изд.).

⁷⁹ Менада. — Менады — в греческой мифологии спутницы Диониса, бога вина и растений. Полуобнаженные менады, со спутанными волосами, украшенные виноградными листьями и плющом, подпоясанные змеями, сокрушают все на своем пути, в экстазе рвут на части диких животных и пьют их кровь. Здесь: разъяренная женщина (см. также конец книги второй, с. 79 и след. наст. изд.).

⁸⁰ *«Ты — мое солнышко, ты — мое золотко»*. — Предположительно Дёблин цитирует слова одного из многочисленных шлягеров 1920-х годов.

⁸¹ *... две бутылки коньяка марки Асбах...* — то есть знаменитого дорогого немецкого коньяка (Weinbrand), который и по сей день изготавливают в городе Рюдельсхейм.

⁸² *Гельголанд* — набережная на противоположном Тиргартену берегу Шпрее, напротив замка Бельвию.

⁸³ *...бюрократизм, который повелся еще от Карла Великого...* — Во времена правления Карла Великого (747–814), основателя Священной Римской Империи Германской Нации, были созданы первые государственные административные учреждения.

⁸⁴ *Дансинг-палас «Волшебная флейта»...* — В Берлине того времени не было дансинг-паласа с таким названием.

⁸⁵ *Трансвеститы ~ Свобода любви на всем фронте...* — Текст рекламного объявления, вклеенный в рукопись; источник неизвестен.

⁸⁶ *Ясное звездное небо глядело на темные жилища людей*. — Дёблин цитирует отрывок из романа с продолжением «Осознание» писательницы З. Эглер, активистки лесбийской субкультуры и основательницы женского клуба «Эррато» — одного из многих подобных учреждений в Веймарской республике. Дёблин вырезал два фрагмента романа из № 47 журнала «Женская любовь» (см. примеч. 69) за ноябрь 1927 г. и вклеил в рукопись БА. Саркастические замечания и комментарии в скобках принадлежат Дёблину.

⁸⁷ *...малюсенькие гусиные ножки...* — По-немецки кавычки называются «Gänsefüßchen», «гусиные лапки».

⁸⁸ *...двинулся на боевой участок...* — Немаловажная деталь: город впервые открыто уподобляется в романе полю боя (в оригинале Дёблин употребляет слово «Kampf-front» — военный фронт). Таким образом, жизнь в большом городе — вполне в духе времени (см.: Слотердайт 2001: 424–561) сравнивается с войной (см. воспоминания ФБ о событиях на фронте). Аналогия между жизнью в большом городе и войной будет становиться к концу романа все более очевидной.

⁸⁹ *...Лина... предприняла самостоятельную диверсию а-ля принц Гомбургский...* — С помощью принца Фридриха-Артура Гомбургского (1633–1703) прусский курфюрст Фридрих Вильгельм Гомбургский (1620–1688) смог одержать победу над шведами в битве при Фербелине (1675 г.). В 1810 г. немецкий писатель Генрих фон Клейст (1777–1801) посвятил принцу Гомбургскому одноименную пьесу; отступив от исторической правды, он изобразил Фридриха мечтательным и тщеславным юношей, который послушался приказа курфюрста Фридриха Вильгельма и бросил свою армию на шведов, вопреки тактическим планам и приказу военачальника. За это в пьесе Клейста курфюрст приговаривает принца к смертной казни, и лишь раскаяние — признание принцем своей вины и справедливости приговора спасает его от гибели. Как и Фридрих Гомбургский, ФБ в конце романа Дёблина — после раскаяния и признания своей вины, — получает «второй шанс». Творчество Клейста вообще оказало заметное влияние на Дёблина. В своих автобиографических эссе Дёблин даже называл Клейста богом своей юности.

⁹⁰ *...Мой благородный дядюшка Фридрих Маркский! Наталья! Оставь!.. ведь он теперь погиб, но все равно, все равно.* — Монтаж цитат из пьесы Г. фон Клейста «Принц Фридрих Гомбургский»; ср. в пер. Б. Пастернака:

Наталья
(на коленях)
Светлейший дядя, Фридрих Бранденбургский!

Курфюрст
(отложив бумаги)
Наталья!
(Хочет поднять ее.)

Наталья
Полно!
<...>
У праха ног твоих, как мне пристало,
О милости для Гомбурга прошу.
(Д. 4, явл. 1)

Маркский — значит принадлежащий правящему роду маркграфства Бранденбург (нем. Mark Brandenburg). Наталья — возлюбленная главного героя пьесы Клейста.

⁹¹ ...на фоне табачного магазина Шрёдера... — Район Розенталерплац славился своими многочисленными табачными лавками и магазинами; табачный магазин фирмы «Schröder, Fechner & Co. GmbH» находился по адресу: Дельбрюкштрассе, 28, на окраине города.

⁹² Черновицы — город на Украине, расположен на территории, принадлежавшей в те годы Румынии.

⁹³ ...перед кабачком Эрнста Кюммерлиха... — Название выдуманно Дёблином: в городском справочнике за 1928 г. заведение с таким названием не значится.

⁹⁴ Гилька — сорт тминной водки.

⁹⁵ А теперь, о бессмертные, ты всецело принадлежишь мне... (На террасе перед дворцом появляются придворные дамы, офицеры и факелы.) — Монтаж из реплик и слеска измененных авторских ремарок к последней сцене пьесы Г. фон Клейста «Принц Фридрих Гомбургский». Ср. в пер. Б. Пастернака: «Теперь, бессмертье, ты в моих руках»; «<...> фрейлины, офицеры и прочие. Факелы показываются на лестнице замка» (д. 5, явл. 10–11).

⁹⁶ Так будем же вновь веселиться, друзья... — текст припева одного из шлягеров того времени.

⁹⁷ ...отправляются на Хазенхейде, в Новый мир... — Хазенхейде — «народный парк» в районе Нойкёльн, на юго-западе Берлина, любимое место досуга берлинских пролетариев. Танцевальный клуб «Новый мир» находился в этом парке.

⁹⁸ «Пей, братец мой, пей, дама заботы оставь ~ станет вся жизнь веселей». — Здесь и далее в этой главе Дёблин цитирует слова популярного в Германии и по сей день шлягера Вильгельма Линдемана (1887–1941) «Пей, пей, братец» (1927).

⁹⁹ Вы можете за 50 пфеннигов купить длинную палку ~ и оборачиваетесь. — Дёблин пародирует текст рекламного объявления.

¹⁰⁰ Рейхсверовцы. — Рейхсвер — вооруженные силы Германии в 1919–1935 гг., ограниченные по составу и численности Версальским договором 1919 г. Вербовались по найму.

¹⁰¹ ...*только его и видели.* — В оригинале цитата последней строки баллады И.-В. Гёте (1749–1832) «Рыбак» (1778). Ср. в пер. В.А. Жуковского: «И след навек пропал».

¹⁰² ...*разомлев от... трех бокалов пильзенского.* — Имеется в виду светлое пиво.

¹⁰³ *Взгляд в будущее ~ счастье подле него.* — Дёблин монтирует фрагменты ярмарочных астрологических текстов; два текста подобного рода приложены к рукописи романа.

¹⁰⁴ ...*чудный месяц плывет над рекою...* — Первые строки песни поэта и композитора Теодора Энслина (1787–1851) «Чудный месяц плывет над рекою».

¹⁰⁵ ...*инвалид прохрипел...* — Возможно, этот персонаж — первый из посланников, о которых в последней книге романа говорит Смерть (см. с. 346 наст. изд.). Не случайно он инвалид: в послевоенной Германии было почти одиннадцать миллионов инвалидов. Биберкопф должен был бы обратить внимание на то, что у инвалида нет глаза (ср. с предупреждением евреев: «главное в человеке — это глаза и ноги» (с. 20 наст. изд.)) и на нем «странная полосатая бумажная фуражка» (с. 64 наст. изд.). (Дёблин, возможно, намекает на один из атрибутов нечистой силы: обычную в традиционной европейской иконографии пародийную корону.) Также не случайно дальнейшее описание танца по кругу: кружение на одном месте соотносится в БА с представлениями о пляске смерти (см. также примеч. 29 к книге девятой) и перекликается с тем, что ФБ не развивается, движется по кругу, не меняется «от удара к удару». Движение по кругу свойственно и маршрутам героя по Берлину: нетрудно заметить, что в своих прогулках по городу Биберкопф все время возвращается к одним и тем же местам.

¹⁰⁶ *Гемютлихкайт* (нем. Gemütlichkeit) — уют, безобидное веселье.

¹⁰⁷ *Айсбайн* (нем. Eisbein) — традиционное блюдо немецкой кухни: вымоченные в соляном растворе и разваренные копченые свиные ножки.

¹⁰⁸ *Кто изгоняет нас огненным мечом из раю, это архангел, и мы туда уж не вернемся.* — Видоизмененная цитата из библейской Книги Бытия: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 3: 24).

¹⁰⁹ *Гартмансвейлеркопф* — стратегически важная вершина в Южных Вогезах (Верхний Эльзас), за которую в Первую мировую войну шли ожесточенные бои между немцами и французами; с декабря 1915 г. и до окончания войны ее удерживали немцы.

¹¹⁰ *Штаргард* — небольшой город на Балтийском море в Померании, к востоку от Штетина, ныне — польский.

¹¹¹ *Шторков* — городок в часе езды от Берлина.

¹¹² *Кто раз целовался на бреге морском ~ тот, верно, с любовью знаком.* — Предположительно слова одного из шлягеров того времени.

¹¹³ *Франц торгует теперь фашистскими газетами.* — Самым известным фашистским изданием того времени была газета «Фёлькише беобахтер» («Народный наблюдатель»), выходящая с 1918 г. В 1926 г. одним из редакторов этой газеты стал Йозеф Геббельс, гаулейтер Берлина, который фактически превратил ее в центральный печатный орган национал-социалистической партии Германии.

¹¹⁴ ...*порядок нужен и в раю, всяк знает истину сию.* — Одна из распространенных поговорок тех лет.

¹¹⁵ *Стальной шлем*. — Военизированный союз национал-консервативного толка «Стальной шлем» был основан в ноябре 1918 г. Францем Зельдте (1882–1947) и состоял из бывших фронтовиков Первой мировой войны. Его численность к началу 1930-х годов составляла 500 тыс. человек. «Стальной шлем» прославился тем, что его члены вступали в жестокие уличные бои со своими политическими противниками, нередко заканчивавшиеся кровопролитием. Политическая близость этого союза к национал-социалистической партии Германии привела в 1933 г. к слиянию двух организаций. В 1935 г. «Стальной шлем» был распушен.

¹¹⁶ *Потсдамерплац* — большая площадь к западу от центра Берлина.

¹¹⁷ *...на Фридрихштрассе у Пассажа...* — Берлинский пассаж в «ренессансном стиле» — застекленный проход длиной в 124 м, соединял улицы Унтер-ден-Линден и Беренштрассе (угол большой Фридрихштрассе); был построен в 1871–1873 гг. Под стеклянной крышей располагались дорожные магазины, паноптикум и кафе.

¹¹⁸ *Германскому народу к началу рождественского поста*. — Предположительно отрывок статьи одной из фашистских газет; источник неизвестен.

¹¹⁹ *...суд над рыцарями рейхсбаннера...* — В ноябре 1927 г. в Мюнхене начался процесс против рейхсбаннера: членов организации обвинили в жестоком убийстве мюнхенского рабочего, партайгеноссе национал-социалистической партии Гиршмана. Рейхсбаннер — военизированная организация в Германии в 1924–1933 гг., созданная под руководством социал-демократической партии с целью защитить Веймарскую республику от монархической реакции. После прихода Гитлера к власти была запрещена.

¹²⁰ *«В то время, как пишутся эти строки ~ это избивение»*. — Дёблин цитирует статью, опубликованную 19 ноября 1927 г. в газете «Фёлькише беобахтер»; соответствующая вырезка прилагается к рукописи.

¹²¹ *«Истинный федерализм — это антисемитизм ~ Вальтеру Аммеру»*. — Фрагмент еще одной статьи из «Фёлькише беобахтер» за 19 ноября 1927 г. Писатель не изменил имени упоминающегося в статье председателя собрания — Оберлерер (нем. — старший учитель), но заменил имя другого партайгеноссе на Аммер (нем. Ammer — овсянка, небольшая и невзрачная птица с коричневым оперением).

¹²² *Красная ли повязка у человека, золотая или черно-бело-красная...* — Красный цвет — цвет коммунистической партии; черно-красно-золотым был республиканский флаг, черно-бело-красным — флаг кайзеровской Германии.

¹²³ *Аррас* — город в Северной Франции, древняя столица исторической области Артуа. За Аррас во время Первой мировой войны шли ожесточенные бои между немецкими и французскими войсками.

¹²⁴ *Ковно* — название литовского Каунаса до 1917 г. Город был легко взят немецкими войсками уже в августе 1914 г.

¹²⁵ *Рихардхен* — уменьшительно-ласкательная форма от имени Рихард.

¹²⁶ *...пошла уже иная потеха... в Берлине, и в Галле, и в Киле...* — Намек на события немецкой Ноябрьской революции 1918–1919 гг. Писатель неоднократно обращался к этим событиям в своих многочисленных фельетонах и политических статьях 1920-х годов.

¹²⁷ *Была у нас тут инфляция...* — Огромные репарационные платежи, которые Германия должна была выплатить по Версальскому договору 1919 г., и потеря промышленных и экономически важных районов — Эльзаса, Лотарингии и Силезии —

привели к нестабильной экономической ситуации в стране. К началу 1923 г. достигла своего пика инфляция, и лишь к ноябрю 1923 г. удалось, во многом благодаря введению новой марки, остановить стремительное обесценивание денег и добиться определенной стабилизации финансовой системы Веймарской республики. Страх перед внезапной инфляцией, потерей всего, что есть, однако, сохранялся, и являлся одной из самых характерных черт мироощущения в Веймарской республике. Дёблин не раз с иронией и даже с определенной долей цинизма упоминал об инфляции в своих театрально-критических рецензиях для «Прагер тагесблатт» и своих политических сатирических статьях, которые он публиковал под псевдонимом Линке Поот в 1920-е годы.

¹²⁸ *Весело мы Францию поьем.* — Припев солдатской песни времен Франко-прусской войны, которую немецкие солдаты распевали и в годы Первой мировой.

¹²⁹ *Отборный жареный кофе ~ доставка не менее 18 кг разного товара бесплатно.* — Текст рекламного объявления, вклеенный Дёблином в рукопись романа.

¹³⁰ *Под потолком, возле печной трубы кружится пчела...* — В мифологии пчелы и шмели часто соотносятся со смертью; это также известный солярный символ. В XVIII–XIX вв. пчелиный улей нередко соотносился с идеальным устройством общества — коллективом, где каждый выполняет свою, строго определенную функцию. «Достаточно обратить внимание на существенную черту природы пчел, — писал М. Метерлинка в своей «Жизни пчел», — которая объясняет необыкновенное скучивание во время их работы. Пчела прежде всего существо общественное. Она не может жить иначе, чем в обществе других. Когда пчела выходит из улья, где так тесно, что она головой должна пробивать себе путь через живые стены, она выходит из собственной стихии, но под угрозой смерти необходимо, чтобы она через правильные промежутки возвращалась подышать толпой. Находясь в одиночестве, пчела погибает через несколько дней именно от этого одиночества. В улье индивид — ничто, он имеет только условное существование, он — только безразличный момент, вся его жизнь — это полная жертва существу бесчисленному и непрерывно возобновляющемуся, часть которого он составляет» (*Метерлинка М. Жизнь пчел / Пер. Л. Вилькина // М. Метерлинка. Разум цветов. Жизнь пчел. СПб.: Амфора, 1999. С. 247*). Ср. с соответствующими пассажами самого Дёблина в предисловии к фотоальбому «Берлин» (см. с. 376 наст. изд.).

¹³¹ *А солнечный свет, беззвучно льющийся...* — Следующий далее отрывок про свет (но еще в большей степени размышления о солнце в конце книги пятой БА (см. с. 171–172 наст. изд.)) напоминает о естественнонаучных эссе Дёблина (напр., о статье «Воздействие света на людей», 1914), которые он публиковал в 1910-х и 1920-х годах в различных журналах, а затем объединил и переработал в книгу «Я над природой», где развивал, среди прочих, и идею о соотношении единичного и всеобщего: человеческого коллектива и отдельного его члена, бесконечно большого мира и каждого человека. Взаимоотношения солнца и человека, по Дёблину, повторяют связи прая (Ur-Ich) с каждой отдельной частью мира (см. также примеч. 81 к книге первой; рассуждения о солнце внутри Биберкопфа (см. с. 362 наст. изд.) и о крови убитых животных — ступке солнца (см. с. 113 наст. изд.)). Представления Дёблина хорошо вписываются в научный и псевдонаучный контекст эпохи и напоминают, в частности, размышления из вышедших в те годы огромными тиражами научно-популярных книг Б. Брюгеля, астронома времен Веймарской республики:

Все, что происходит вокруг нас, подчиняется волновым колебаниям. Тысячи сил вызывают маятниковые движения. Звуковые волны разносятся с колокольни маленькой церкви. Световые волны стремительно мчатся со скоростью мысли от далеких звезд к маленькому шару Земли, электрические волны бушуют вокруг меня, отправляясь в свой путь с высоких радиомачт через страны и моря. Волны, полные удивительных тайн, существуют в нас самих. Они — проявление действия великого закона в малом Я. <...> А из дней складывается год. Та же мощная волна в происходящем на Земле! Но и день, и год уходят — крохотные волны в море вечности. <...> И культуры, которые на столетия накладывали свой отпечаток на лик Земли, — это тоже волны в жизни человечества. <...> И солнце погаснет, так что на этой маленькой планете Земля все покроется мраком и льдом, погрузится в безмолвие вечной смерти» (цит. по: Слотердаjk 2001: 502–503).

Слотердаjk, который приводит в своей «Критике цинического разума» этот фрагмент, говорит о склонности к «астрономическому мышлению», чрезвычайно распространенному в Веймарской республике, в этой склонности «находит выражение глубинный слой веймарского чувства жизни. Субъекты инстинктивно солидаризируются с тем, что уничтожает их и лишает значимости» (там же).

¹³² *Навуходоносор* (ок. 604–562 до н. э.) — могущественный и воинственный царь Вавилона, при котором Вавилонское царство достигло своего расцвета. В старости Навуходоносора поразила необычайная болезнь: он отдалился от двора и «как вол» стал питаться растениями. Иудеи видели в этом Божье наказание за то, что он поклонялся «неистинным богам».

¹³³ *Он... легок... светозарен, высоко с небес дошел он.* — Первые строки рождественской песни на слова Мартина Лютера (1483–1546).

¹³⁴ *...и Розу убили и Карла Либкнехта.* — Роза Люксембург (1871–1919) и Карл Либкнехт (1871–1919) — деятели германского и международного рабочего движения, основатели Коммунистической партии Германии. После разгрома восстания «Союза Спартака» в Берлине, 15 января 1919 г. были арестованы, отвезены в парк Тиргартен и убиты солдатами правительственных войск. Труп Розы Люксембург был сброшен в Ландверканал, и был обнаружен лишь четыре месяца спустя. Последние дни жизни Карла Либкнехта и Розы Люксембург и их убийство Дёблин описал в заключительной части тетралогии «Ноябрь 1918» — романе «Карл и Роза».

¹³⁵ *...посмотри на Россию, на Ленина. Вот где люди держатся, вот где есть спайка.* — Дёблин, придерживавшийся левых взглядов, не разделял энтузиазма многих своих современников и коллег-литераторов (напр., Б. Брехта, И. Бехера и проч.) по поводу Ленина и революционных событий в России, в то же время он находил многие ленинские идеи интересными. В эссе «Наше бытие» он писал о Ленине так: «Он хотел добра: свергнуть угнетателей и освободить место для бедных, слабых рабов. Нищета с одной стороны, злоба, бесконечное равнодушие — с другой, были так велики, что он не мог быть снисходительным. Он применил насилие, систематическое, с полным осознанием того, что делает. Но так целая масса людей осуществила свои законные права, и вот уже одним позорным пятном меньше на свете» (Döblin 1964: 433). К концу 1930-х годов, как видно из тетралогии «Ноябрь 1918», позиция Дёблина по отношению к Ленину стала значительно более критической.

¹³⁶ *Кровь полетит... как вода.* — Измененные слова припева песни революционного студенчества; студенты распевали ее на баррикадах немецкой революции 1848 г.; написана левым политиком, революционером Фридрихом Францем Карлом Хекером (1811–1881), поэтом и называется «Песня Хекера». Одна из самых популярных песен в Веймарской республике.

¹³⁷ *...заворачивает трамвай № 9.* — Кольцевой маршрут трамвая № 9 проходил по восточной и юго-восточной окраинам Берлина.

¹³⁸ *Цинновиц* — курортное местечко на Балтийском море, в Померании.

¹³⁹ *Селедки «Бисмарк»* — большие жирные селедки.

¹⁴⁰ *Рольмонсы в маринаде* — традиционное блюдо немецкой кухни: свернутое в трубочку филе сельди под особым маринадом.

¹⁴¹ *Слова, шум, звуковые волны, полные содержания...* — См. примеч. 131.

¹⁴² *...в январе пойдем с демонстрацией в Фридрихсфельде, к Карлу и Розе...* — Ежегодно 15 января в день расправы над К. Либкнехтом и Р. Люксембург коммунисты устраивали марш памяти к месту их убийства и демонстрацию. См. также примеч. 134.

¹⁴³ *...надо придвинуть щегленка ближе к окну... переносит... клетку с беспокойно бьющейся птичкой...* — В традиционной европейской иконографии щегол понимается как символ страданий.

¹⁴⁴ *Когда глаза красивые манят, когда стаканы полные блестят, тогда опять, опять есть повод выпивать.* — Берлинский тост того времени.

¹⁴⁵ *«Интернационал»* — международный гимн революционного рабочего класса. Слова песни были написаны в июне 1871 г. французским поэтом Э. Потье (1816–1887), а музыка — композитором П. Дегейгером (1848–1932).

¹⁴⁶ *«Смело, товарищи, в ногу»* — революционная песня Л.П. Радина (1860–1900). Немецкое переложение песни сделал в 1918 г. немецкий солдат Г. Шерхен, услышавший ее в русском плену. См. также с. 358 наст. изд.

¹⁴⁷ *Каль хочеш, человеке новий ~ Сей мир — юдаль великих бед!* — Дёблин, по всей видимости, пародирует библейские псалмы (см.: Пс. 84: 6–7).

¹⁴⁸ *Сказано у Гёте: Жизнь наша только ликованье в эмбриональном состоянии!* — Псевдоцитата. Здесь и дальше Дёблин пародирует монолог Мефистофеля в первой части трагедии И.-В. Гёте «Фауст» (1808–1831) (см.: ч. 1. Пролог на небесах); фраза отсылает также к известному афоризму Аристотеля: «Самое лучше для человека — вовсе не родиться».

¹⁴⁹ *«Она — не высшее из благ!»* — Слегка измененная финальная реплика трагедии Фридриха Шиллера (1759–1805) «Мессинская невеста, или Враждующие братья» (1803). Ср. в пер. Н. Вильмонта: «Пусть жизнь — не высшее из благ, | Но худшая из бед людских — вина».

¹⁵⁰ *...продали своих товарищей-рабочих капиталистам...* — Имеется в виду Социал-демократическая партия Германии (СДП), которая в глазах левых того времени, предав интересы немецкой революции, вступив в тайный сговор с антидемократическими, антиреспубликанскими силами. Дёблин в своих политических эссе и статьях, которые он публиковал под псевдонимом Линке Поот в начале 1910-х годов в журнале «Нойе рундшау» не раз резко отзывался, например, о президенте веймаровской Германии Фридрихе Эберте (1871–1925), заключившем в 1918 г. тайное соглашение с представителями верховного военного командования о введении

в Берлин воинских частей для подавления революции (см., напр., эссе «Немецкий маскарад» («Der deutsche Maskenball», 1920)). С другой стороны, Дёблин не одобрял и агрессивные методы «классовой борьбы» тогдашних левых социалистов и коммунистов. С 1917 по 1921 г. писатель был близок к Независимой социал-демократической партии Германии, с 1921 по 1926 г. — сочувствовал Социал-демократической партии Германии; охлаждение к этой партии наступило после того, как партия поддержала ряд законов, против которых Дёблин активно выступал.

¹⁵¹ «*Был у меня товарищ ~ со мной в одном ряду!*» — Дёблин пародирует известное стихотворение «О хорошем товарище» немецкого поэта Людвиг Уланда (1787–1862), в котором варьируется распространенный лирический сюжет — смерть молодого солдата на поле боя. Ср. в пер. В.А. Жуковского:

Был у меня товарищ,
Уж прямо брат родной.
Ударил тревогу,
С ним дружным шагом, в ногу
Пошли мы в жаркий бой

Вдруг свистнула картеча...
Кого из нас двоих?
Меня промчалось мимо;
А он... лежит, родимый,
В крови у ног моих.

Пожать мне хочет руку...
Нельзя, кладу заряд.
В той жизни, друг, сочтемся;
И там, когда сойдемся,
Ты будь мне верный брат.

Как и многие стихи Уланда, это стихотворение было положено на музыку (композитором Ф. Зильхером в 1825 г.) и стало солдатской песней. Традиционное представление о «товариществе» — «Kameradschaft» — в 1920-х годах в Веймарской республике подверглось метаморфозе: толкуемое изначально как солдатское братство, лишенное политической окраски, оно постепенно стало одной из основ национал-социалистской идеологии (определение слова «Kameradschaft» в Толковом словаре Брокгауза см., напр.: Der Sprach-Brockhaus. Deutsches Bldwörterbuch für jedermann. Leipzig: F.A. Brockhaus, 1935). Строки из этого стихотворения появляются в романе несколько раз: сначала, когда Биберкопф ссорится со своим фронтowym другом, а затем — когда на сцене появляется новый «товарищ» Биберкопфа — Рейнхольд (см. с. 236 наст. изд.).

¹⁵² *Хакенкрейцлер* (букв.: свастиканосец). — Так называли первых нацистов в Австрии.

¹⁵³ ...человек... видит себя самого, слышит себя, но как бы издалека. — Описание точно соответствует симптоматике истерических припадков, с которой Дёблин-психиатр был хорошо знаком как по научной литературе, так и по клинической практике. Как считалось в психиатрии того времени, «ядро истерической личности»

проявляется у мужчин «очень выражено», и чаще всего у бывших военных: последствиями пребывания на фронте являются «отчетливые кризисы, панические реакции <...> шатания с потерей памяти, зрительные расстройства» и т. п. (Энциклопедия глубинной психологии. М.: Когито-центр, 1998. Т. 1: Зигмунд Фрейд. Жизнь, Работа, Наследие. С. 633). См. также исключительно верное описание истерического припадка Евы в книге шестой (см. с. 188 наст. изд.).

¹⁵⁴ *Но ведь некогда в раю жили два человека, Адам и Ева.* — Ср.: Быт. 2: 23. См. также примеч. 1.

¹⁵⁵ *Лесопромышленники настаивают на таком-то пункте договора...* — Предположительно газетная цитата; источник не установлен.

¹⁵⁶ *...Крупн предоставляет своим пенсионерам умирать с голоду, в Германии полтора миллиона безработных, за две недели число их возросло на 226 000.* — Монтаж из заголовков статей передовицы газеты «Роте фане», официального органа Коммунистической партии Германии, за 19 декабря 1927 г. Крупнейший промышленный концерн Германии, принадлежавший семье Круппов, возглавлял в те годы Густав Крупп (1870—1950). Зимой 1928/29 г. официальное число безработных в Германии составляло 2,4 млн человек.

¹⁵⁷ *Пусть презренные подлецы-ренегаты... обливают грязью советскую конституцию.* — Источник цитаты неизвестен; предположительно фрагмент статьи из коммунистической газеты зимы 1927/28 г.

¹⁵⁸ *Шейдемановцы* — сторонники Филиппа Шейдемана (1865—1939), деятеля правого крыла германской социал-демократии. По профессии он был типографским рабочим. С 1911 г. стал членом правления СДПГ. Неоднократно избирался в рейхстаг. В октябре 1918 г., стремясь предотвратить революцию, вошел в правительство Макса Баденского; 9 ноября провозгласил республику. Тогда же возглавил правительство (Совет народных уполномоченных), но вскоре (в июне 1919 г.) был вынужден уйти с поста главы правительства из-за несогласия с условиями Версальского мирного договора. После этого он неоднократно высказывался против милитаристского курса и реакционных тенденций в Веймарской республике, чем навлек на себя неприязнь правых. Шейдеман, однако, был излюбленной мишенью для критики не только со стороны реакционеров, но и со стороны левых, которые клеймили его как предателя «революционного рабочего класса».

¹⁵⁹ *На 14 детей — одна фарфоровая чашка. Распоряжение министра Хиртцифера ~ проводится образцово.* — Заметка, опубликованная в газете «Роте фане» 29 декабря 1927 г. Хиртцифер Генрих (1876—1941) стал в 1921 г. министром Пруссии по социальным вопросам; будучи центристом, он сочувствовал левым партиям, много занимался вопросами улучшения материального благосостояния низших слоев общества. В 1933 г. Хиртцифер был арестован и заключен в концентрационный лагерь.

¹⁶⁰ *«Славься в победном венке, селедкин хвост с картошкой в горшке».* — Популярная пародия на гимн кайзеровской Пруссии, написанный в 1790 г. композитором Генрихом Херрисом (1762—1802) и начинавшийся словами: «Слава тебе, в победном венке, | Правитель отчизны! | Слава тебе, кайзер!»

¹⁶¹ *Янновицкий мост* — мост через Шпрее и район на востоке Берлина.

¹⁶² *...танцевальный зал Вальтерхена.* — Трактир с танцевальной площадкой при небольшой гостинице у Янновицкого моста, хозяином которой был некто Г. Вальтер.

¹⁶³ ...*Вестник мира, воскресный выпуск*. — «Вестник мира» — еженедельная газета, издававшаяся «Христианским трактатным обществом» в Касселе.

¹⁶⁴ «*Через несчастье — к счастью!*» — Статья, опубликованная в «Вестнике мира» № 25 за 17 июня 1928 г. См. также примеч. 163.

¹⁶⁵ *Ручками мы хлоп, хлоп... рыбы, птицы, весь день — рай*. — Фраза составлена из слов песни из оперы Э. Хампердинка (см. примеч. 2 и 61 к книге второй; примеч. 3 к статье «Исторический роман и мы») и начала библейской Книги Бытия (см.: Быт. 1: 20–22).

¹⁶⁶ ...«*Лучше вдвоем*» Э. Фишера: «*Не лучше ли вдвоем ~ подскажет он тебе куда идти*». — Дёблин полностью цитирует первую, вторую, четвертую и пятую строфы (из шести) стихотворения некоего Э. Фишера «*Лучше вдвоем*», напечатанного в том же номере «Вестника мира», что и статья «Через несчастье — к счастью» (см. примеч. 164); вырезка из газеты была приложена к рукописи. См. также примеч. 163.

¹⁶⁷ *Гольцмарктштрассе* — большая улица вдоль реки Шпрее на востоке Берлина, в районе Янновицкого моста.

¹⁶⁸ *Он силен как кобра...* — См. примеч. 1 к книге второй.

¹⁶⁹ *Эринии* — в греческой мифологии богини мести, обитающие в царстве Аида и карающие муками тех, кто нарушил закон.

¹⁷⁰ ...*например, Орест, который убил Клитемнестру...* — Далее Дёблин вкратце пересказывает один из самых известных античных мифов — миф об Оресте, перемежая древний сюжет реминисценциями об убийстве главным героем своей подруги Иды. Орест был сыном микенского царя, предводителя греческого войска в Троянской войне, Агамемнона и его супруги Клитемнестры. Клитемнестра вместе со своим любовником Эгисфом убила вернувшегося с войны Агамемнона; Орест отомстил за отца, убив Клитемнестру, после чего его начали преследовать эринии, карающие грех матерубийства. По совету Аполлона, Орест обратился за помощью к Афине, которая предала дело об убийстве Клитемнестры на рассмотрение созываемого ею специального суда афинских старейшин. Благодаря заступничеству Афины, голоса делятся поровну, что по условиям суда означает оправдание Ореста. Миф об Оресте лег в основу трагедии Эсхила «Орестея».

¹⁷¹ *Без арф... происходит эта пляска эриний...* — Дёблин парафразирует слова хора из трагедии Эсхила «Эвмениды» (ст. 330). Ср. в пер. С. Алта: «Высушит мозг, сердце скует | Чуждый струнам гневный напев. | Черная песнь Эриний» (ст. 332–334). В оригинале здесь: монтаж цитат из «Орестей» Эсхила в популярном немецком переводе драматурга и музыкального критика, ученика Р. Вагнера, Ганса фон Вольцогена (1848–1938), первое издание которого вышло в 1877 г.

¹⁷² *Бреславлеу* — житель Бреславаля, города в Польше.

¹⁷³ *Первый закон Ньютона гласит ~ одинаковое с ней направление...* — Формулировки законов и формулы приводятся, скорее всего, по немецкому гимназическому учебнику физики, изданному ок. 1900 г. Точный источник не известен.

¹⁷⁴ ...*Франц убил бы, как разъяренный лев...* — Сравнение героя со львом переключается с дальнейшим упоминанием о Киферском лесе (см. с. 81 наст. изд.). В этом лесу обитал опустошавший окрестности кровожадный лев, который был убит Гераклом.

¹⁷⁵ «*Хой-хо-хой!*» — Дёблин пародирует реплики хора Эриний из трагедии Эсхила «Эвмениды».

¹⁷⁶ *О ужас... проклятый богом человек у алтаря, с обагрёнными кровью руками.* — Намек на Ореста, каким он предстает перед зрителями в начале трагедии Эсхила «Эвмениды».

¹⁷⁷ *Пала Троя, и запылали оттуда сигнальные огни...* — Когда Троя была взята греками, на Иде (горная цепь в Малой Азии) зажгли костер; его увидели на заморской горе и зажгли другой костер, и так, от горы к горе, известие о победе дошло до Халкиды и до столичного Аргоса. В оригинале Дёблин парафразирует рассказ Клитемнестры из трагедии Эсхила «Агамемнон». Ср. в пер. С. Апта: «Гестест, пославший с Иды витовой огонь. | Огонь огню, костер костру известие | Передавал» (ст. 293–295).

¹⁷⁸ *Киферский лес* — лес у подножья горы Киферон, в горной цепи между Беотикой и Аттикой. Считалось, что в этой горе, знаменитой своими пещерами, живут эринии. См. также примеч. 174.

¹⁷⁹ *...свет, сердце, душа, счастье, экстаз!* — Здесь и дальше Дёблин пародирует патетический стиль экспрессионистских манифестов. Интересно, что первая драма экспрессионизма — «Троянки» (1915) Ф. Верфеля (1890–1945) — была написана на мифологический сюжет из истории Троянской войны.

¹⁸⁰ *Озеро Горгопис* (или Горгопино озеро) — находится на Коринфском перешейке.

¹⁸¹ *Арахнейон* (или Утес Арахны) — гора недалеко от Аргоса.

¹⁸² *Агамемнон возвращается!* — Реплика Вестника из трагедии Эсхила «Агамемнон»; ср. в пер. С. Апта: «<...> он идет сюда, | Владыка Агамемнон <...>» (ст. 27–28).

¹⁸³ *Генрих Герц* (1857–1894) — немецкий физик. Экспериментальным путем доказал существование электромагнитных волн. Подтвердил тождественность основных свойств электромагнитных и световых волн.

¹⁸⁴ *Мы посылаем радиogramмы ~ поступил перед тем в аппарат.* — Еще одна искаженная цитата из учебника по физике (см. примеч. 173). Радиотехника была одним из хобби Дёблина, что отразили многочисленные фотографии писателя.

¹⁸⁵ *Агамемнон у себя дама.* — Далее возобновляется пересказ событий трагедии Эсхила «Агамемнон».

¹⁸⁶ *«Горе мне, я погиб!»* — Эшил. Агамемнон. 1344; ср. в пер. С. Апта: «Еще один удар! О горе, горе мне!»

¹⁸⁷ *«Кто это там себя оплакивает?»* — Там же. 1343 (реплика хора); ср. в пер. С. Апта: «Тише! Кто-то стонет, кто-то насмерть поражен!»

¹⁸⁸ *«Покончила я с ним... третьим ударом отправила я его в Гадес».* — Там же. 1380; ср. в пер. С. Апта:

Ударила его я дважды. Дважды вскрикнул он
И рухнул наземь. И уже лежавшему —
В честь Зевса Подземельного, спасителя
Душ мертвецов, — я третий нанесла удар.
(Ст. 1383–1386)

¹⁸⁹ *«Восхищены мы смелостью твоих речей».* — Там же. 1398; ср. в пер. С. Апта: «Дивимся мы речам твоим и наглости».

¹⁹⁰ *Эмпиема плевры* — скопление гноя в плевральной полости.

¹⁹¹ *Ландсбергералле* — проспект на северо-востоке Берлина; рядом с Ландсбергералле находилось одно из самых больших кладбищ города.

¹⁹² *Теперь она лежит под землей...* — Рассказывая историю Иды, а затем Мици, Дёблин использует типичный для средневековой и барочной литературы и иконографии мотив *vanitas* — скоротечности, бренности всего сущего, связанный с образом «безжалостной смерти», разрушающей преходящую плотскую красоту. Вообще в романе возникают почти все известные в европейской культуре образы смерти: смерть-победитель (*mors triumphans*), пляска смерти (*Todestanz*), «безжалостная смерть» из народной песни о смерти и девушке и т. д.

¹⁹³ *С каких это пор бабушка твоя играет на тромбоне...* — Предположительно слова популярного в 1920-е годы шлягера.

¹⁹⁴ *...Мой попугай не любит яйца всмятку.* — Слова популярнейшего шлягера В. Колло на слова Г. Фрея.

¹⁹⁵ *Коты* — вид мужской обуви, галоши.

¹⁹⁶ *Кто-то из одиночников пишет: «Впустите сюда солнце ~ люди должны работать и хиреть без живительного солнечного света».* — Текст письма принадлежит самому Дёблину; его содержание приобретает метафорический и зловещий характер, если вспомнить, что несколькими абзацами выше речь шла об Иде, похороненной на кладбище, находящемся на северо-востоке Берлина (ср. с «северо-восточными сторонами флигелей» в письме). О мотиве солнца см. примеч. 131.

¹⁹⁷ *«В прокуратуру при ландгерихте ~ допущена небрежность».* — Дёблин, по всей видимости, цитирует подлинный документ. Ландгерихт — земский суд.

¹⁹⁸ *...ромашка всегда может пригодиться.* — Слоган рекламы ромашкового чая тех лет.

КНИГА ТРЕТЬЯ

¹ *Вчера еще на гордых конях.* — Третья строка второй строфы известной «Утренней песни всадника» Вильгельма Гауфа (1802–1827). В этом стихотворении, которое представляет собой литературную обработку народной солдатской песни времен Тридцатилетней войны, встречается еще один распространенный в европейской литературе мотив, связанный со смертью: смерть молодого солдата на поле боя (см. примеч. 151 к книге второй о стихотворении Уланда). Представление о том, что большой город — это поля боя, где ты можешь быть сражен в любой момент, было расхожим местом в литературе «новой деловитости» (этот же мотив присутствует в романах Э.-М. Ремарка «Возвращение», Э. Кестнера «Фабиан», Э. Юнгера и др.).

² *Рюдерсдорфские мятные лепешки* — сладкая выпечка, наподобие пряников, которую делают в городке Рюдерсдорф, недалеко от Берлина.

³ *По пивной проходит молодой человек в коричневой кепке...* — Этот персонаж можно истолковать как одного из посланников Смерти, который предупреждает ФБ перед первым ударом. См. также примеч. 105 к книге второй.

⁴ *Сегодня навьлет прострелена грудь.* — Четвертая строка второй строфы «Утренней песни всадника» (см. примеч. 1).

⁵ *Это было в чудесном раю ~ заговорил с Адамом и Евой.* — Парафразы из библейской Книги Бытия (см.: Быт. 1: 20; Быт. 3: 1). См. также примеч. 1 к книге второй.

⁶ *...дело есть дело.* — Крылатое выражение, которое восходит к названию комедии французского писателя Октава Мирабо (1850–1917) «Дела есть дела» (1903).

⁷ *А завтра в сырой могиле...* — Последняя строка второй строфы «Утренней песни всадника» (см. примеч. 1, 4).

⁸ *От земли ты взят и в землю возвратишься.* — Ср.: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься ты в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3: 19).

⁹ *Херцберге* — один из самых больших домов для умалишенных в то время.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

¹ *На Александрплац разворачивают мостовую для подземки.* — Ср. с началом романа (с. 12 наст. изд.). Дёблин писал в неопубликованном прологе к роману: «Подземка заправляла происходившим на Алексее в 1928 и 1929 г. Площадь была изрыта; жутко и потрясающе» (Ptangel 1975: 32). См. также примеч. 45 к книге первой.

² *Германцы! Никогда ни один народ не был обманут более гнусно... чем германский народ.* — Писатель цитирует либо статью из газеты националистского толка, либо надпись на плакате, или же одну из нацистских листовок. Цитируемый Дёблином текст напоминает также речь Ф. Шейдемана (см. примеч. 158 к книге второй), произнесенную им 9 ноября 1918 г.

³ *Помните, как... Шейдеман обещал нам мир, свободу и хлеб?* — См. примеч. 158 к книге второй.

⁴ *...сон есть лечебное средство, Райские кровати Штейнера.* — Этот рекламный лозунг — еще один сигнал, который иронично отсылает к мотиву рая и к «летаргии и бездействию» Биберкопфа, см. дальше название главы: «Биберкопф под наркозом, Франц забился в свою нору, Франц ни на что не желает глядеть».

⁵ *Закон о защите прав квартиронанимателей ~ судебный исполнитель пожинает обильную жатву.* — Источник, из которого Дёблин заимствовал эту цитату, установить не удалось. «Закон о защите прав квартиронанимателей», так называемого «Mieterschutzgesetz», вокруг которого в Рейхстаге развернулись бурные дебаты, был принят 17 февраля 1928 г.

⁶ *Карамельно-солодовое пиво Энгельгардта* — слабоалкогольное пиво, которое изготовляли из сильно обжаренного карамелизованного солода.

⁷ *Охранные общества охраняют всё...* — Названия всех перечисляемых в этом абзаце охранных обществ и прачечных Дёблин позаимствовал из берлинской телефонной книги за 1928 г.

⁸ *...воспитатель Флакман...* — «Воспитатель Флакман» (1901) — популярная в начале XX в. в Германии комедия Отто Эрнста (1862–1926), экранизированная в 1920 г.

⁹ *Принадлежит ли дикий кролик в герцогстве Саксен-Альтенбург к животным, на которых распространяется Положение об охоте?* — Источник Дёблина — подлинный юридический текст: решение берлинского городского суда от 14 июня 1927 г. Подготовительные материалы к БА содержат многочисленные газетные вырезки о судебных процессах, конспекты, выписки приговоров и постановлений по различным уголовным и гражданским делам, напр., по делу «Половые болезни по собственной вине» (с. 100 наст. изд.), также многочисленные сообщения о делах, связанных с разращением малолетних, абортах и злоупотреблениях страховками.

¹⁰ *Значение жиров для питания ~ боль в подошвах при ходьбе.* — Цитата из медицинского учебника или пособия; источник не установлен.

¹¹ *По уголовному делу А 8 780—27 ~ Берлин NW 52, Моабит, 12а.* — Дёблин, скорее всего, использовал аутентичную адвокатскую переписку, изменив упоминавшиеся в тексте переписки имена и номер дела. Моабит — район на северо-западе Берлина; по этому адресу находилась тюрьма предварительного заключения.

¹² *Половые болезни по собственной вине...* — В этом фрагменте Дёблин использует аутентичный материал (см. примеч. 9). Заражение венерической болезнью, без разницы, преднамеренное или нет, считалось уголовным преступлением и наказывалось тюремным заключением или штрафом.

¹³ *Штауб Герман (1856—1904)* — прусский юрист, автор популярных «Комментариев Штауба к Торговому кодексу», выдержавших огромное количество переизданий.

¹⁴ *Планк Готлиб (1824—1910)* — редактор «Комментариев Планка к Уголовному кодексу» — основополагающего в то время пособия для юристов, неоднократно переиздававшегося и перерабатывавшегося.

¹⁵ *Склероз венечных сосудов (иначе: склероз коронарных сосудов)* — обывательские названия сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу.

¹⁶ *Перерождение сердечной мышцы* — патология: изменение сердечной мышцы, вызванное ожирением.

¹⁷ *...ребенок весь день в детском очаге...* — то есть в детском саду.

¹⁸ *Талар* — длинное платье, форменное одеяние должностного лица судебного ведомства.

¹⁹ *Хоппегартен* — пригород Берлина.

²⁰ *...Не потерял ли ты своего сердца в природе ~ скрытые в недрах земли металлы...* — Пассаж не принадлежит Дёблину; вырезка с этим текстом прилагалась к рукописи; однако установить автора текста или его источник невозможно.

²¹ *Путь в сверхчувственный мир, публичные лекции.* — Дёблин, скорее всего, приводит объявления или текст рекламной брошюры одной из многочисленных религиозных организаций или сект того времени; возможно, также, что писатель пародирует анонсы семинаров антропософского общества, основанного теософом Р. Штайнером (1861—1925); одна из работ Штайнера называлась «На пороге духовного мира». С работами Штайнера по детской психологии Дёблин был знаком в связи с профессиональным интересом.

²² *День поминовения усопших* — то есть 2 ноября. Даты проведения лекций (ноябрь) приблизительно соответствуют времени действия последних глав романа, а названия лекций, что нетрудно заметить, отсылают к событиям последней книги БА (см. разговор Биберкопфа со Смертью, с. 345 и след. наст. изд.).

²³ *Декламаториум «Павел» (1836)* — оратория Феликса Мендельсона-Бартольди (1809—1847) на библейский текст.

²⁴ *...Карлу Либкнехту мы в этом поклялись, Розе Люксембург протягиваем руку.* — Слова припева популярной рабочей песни «Братья, берите оружие! Мы рождены для борьбы».

²⁵ *...гордо вьется черно-бело-красное знамя...* — Начальная строка марша германских военных моряков.

²⁶ *...в серо-зеленой солдатской шинели...* — См. примеч. 6 к книге первой.

²⁷ *Мы встанем крепкою стеной, не отдадим наш Рейн родной.* — См. примеч. 24 к книге первой.

²⁸ *«Ах, жил ли ты на Рейна прекрасном берегу?»* — Правильное название этого фильма режиссера Джеймса Бауэра (1884–1940) — «Любил ли ты на рейнском берегу?». Премьера фильма состоялась в Берлине 7 ноября 1927 г.

²⁹ *«Король полузащиты»* — фильм режиссера Фрица Фрейзеля (1881–1955) о футболе, считающийся классикой спортивного кинематографа: режиссер применил в нем новаторскую технику съемки сцен футбольных матчей. Премьера состоялась 24 ноября 1927 г. в Берлине.

³⁰ *Мы — рабочий люд, мы — пролетариат.* — Немного измененные слова припева песни «Рабочий люд».

³¹ *Штралауская асфальтовая компания.* — Штралау — в те годы окраинный район на юго-востоке Берлина.

³² *...пиксафон, патентованное средство для рощения волос...* — «Пиксафон» — линия средств по уходу за волосами; косметическая компания «Пиксафон» была известна тем, что проводила конкурсы красоты среди своих покупательниц, победительницы которых, так наз. «королевы Пиксафона», становились «лицом» компании. Рекламные плакаты с изображением «королевы» украшали городские улицы, продавались также открытки с фотографиями этих «королевы», отличавшихся особенно роскошными волосами и прическами.

³³ *Галиция* — историческое название части западно-украинских земель; с 1918 г. была частью Польши.

³⁴ *Спать, спать, у кого есть кровать, у кого ее нет, ложись на паркет.* — Распространенная в те годы пародия на военную команду «отбой».

³⁵ *Голиаф* — библейский персонаж, филистимлянин-великан, был повергнут Давидом (см.: 1 Цар. 17).

³⁶ *Змей, шурша, сполз с дерева ~ будешь питаться полевой травой.* — Ср.: Быт. 3: 14–18.

³⁷ *Репка и капуста выгнали меня, если бы мать варила мясо, то остался б я.* — Популярная немецкая поговорка.

³⁸ *...на даче.* — На уголовном жаргоне: в тюрьме.

³⁹ *Протади, зайчишка, как в шкафу коврижка.* — Немецкая детская поговорка.

⁴⁰ *Так сказал Менелай ~ Артемиде.* — Дёблин пародирует строки из «Одиссеи» Гомера:

Так он сказав, неумышленно скорбь пробудил в Телемахе.
Крупная пала с ресницы сыновней слеза при отцовом
Имени; в обе схвативши пурпурную мантию руки,
Ею глаза он закрыл; то увидя, Атрид догадался;
Долго, рассудком и сердцем колеблясь, не знал он, что делать:
Ждать ли, чтоб сам говорить о родителе юноша начал,
Или вопросами выведать все от него понемногу?
Тою порой, как рассудком и сердцем колеблясь, молчал он,
К ним из своих благовонных, высоких покоев Елена
Вышла, подобная светлой с копьем золотым Артемиде.
(Гомер. Одиссея. IV. 114–123. Пер. В.А. Жуковского)

⁴¹ ...в *Жизни животных Брэма* говорится ~ перед рассветом и к вечеру. — Дёблин цитирует, немного изменив, оригинальный текст немецкого зоолога Альфреда Эдмунда Брэма (1829–1884) из второго тома «Жизни животных», посвященного птицам (см.: Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs. Leipzig, 1913. Bd. 2. S. 83). Брэм, просветитель и путешественник, на протяжении многих лет директор Гамбургского зоопарка, создатель Берлинского аквариума (1867), путешествовал по Африке, Европе, Западной Сибири, во время путешествий наблюдал и описывал жизнь животных. Его наблюдения затем легли в основу шеститомной «Жизни животных» (1863–1869) — труда, который и в наши дни является одним из лучших и популярных справочников по зоологии. В духе XIX в. Брэм описывает животных, придавая им антропоморфные черты: например, говорит об их «характерах» и т. п. Дёблин любил эту книгу и советовал начинающим писателям внимательно ее прочитать (см.: *Döblin A. Unbekannter junger Erzähler // Die Literarische Welt. 1927. 18. März. S. 1*).

⁴² *Сиккам*. — В источнике Дёблина, «Жизни животных» А.-Э. Брэма, и в самой рукописи романа, было указано верное название этого бывшего княжества, ныне индийского штата — Сикким. См. также примеч. 41.

⁴³ *Бутан* — королевство в Южной Азии, в Восточных Гималаях.

⁴⁴ *Ибо с человеком бывает как со скотиною...* — Ср.: «Потому что участь сынов человеческих, и участь животных — участь одна» (Екк. 3: 19).

⁴⁵ *Эльденарштрассе* — улица на восточной окраине Берлина.

⁴⁶ *Таэрштрассе* — большая улица на восточной окраине Берлина.

⁴⁷ *Котениусштрассе* — улица на восточной окраине Берлина.

⁴⁸ *Скотобойня занимает площадь в 47,88 гектаров...* — Берлинские скотобойни вместе с мясным рынком были в то время самыми большими в Европе. В работе над этой главой Дёблин использовал собственные впечатления: посещение скотопригонного двора и клефов было бесплатным, а посещение скотобойни и наблюдение за умерщвлением животных и работой мясников разрешалось по специальным билетам, продававшимся в кассах. Кроме того, Дёблин цитирует и различные дополнительные материалы: цеховой журнал мясников, «Памятку к открытию нового берлинского мясного рынка», выпущенную в октябре 1925 г. и т. д.

Исследователи расходятся в ответе на вопрос о смысле и функции, которую выполняют сцены скотобойни в романе. Существуют две основные точки зрения по поводу этих впечатляющих — почти пророческих, если подумать о преступлениях германских нацистов, пришедших к власти через четыре года после выхода романа, — описаний массовых убийств животных.

В основе первой лежит толкование самого Дёблина, который неоднократно, начиная с середины 1930-х годов, подчеркивал особенное значение этих символических эпизодов. В автобиографическом «Эпизоде» он писал о том, что они напрямую соотносятся с главной темой, центральной идеей романа: «Тема “Александрплац” — жертва. На такую мысль должны были бы навести образы скотобойни и принесения в жертву Исаака, а также сквозная цитата: “Есть жнец, и имя ему Смерть”» (с. 469 наст. изд.). Первые комментаторы романа, особенно те, кто был лично знаком с Дёблином (В. Мушг, Р. Миндер, Ф. Мартини), неоднократно делали акцент именно на таком истолковании этих глав.

В романе «Берлин Александрплац» два героя [Биберкопф и Берлин] тесно связаны друг с другом <...> большой город, ужасающее место «жертвоприношений» (ср. с символической функцией сцен на скотобойне. — А. М.), представляющий собой, при всей хаотической атомизации и технической автоматизации его инструментов, неодолимую, иррациональную, впечатляющую и угнетающую силу (Martini 1954: 349).

Роберт Миндер, близкий друг и в последние годы жизни писателя его официальный биограф, даже называет БА «первой большой религиозно-дидактической поэмой» Дёблина, в которой образы жертвоприношения становятся «олицетворением главной проблемы творчества писателя: сила или бессилие? подчинение или бунт?» (см.: Minder 1966: 175–213). Наконец, В. Мушг в своем послесловии к БА говорит об «анонимном чудовище Берлине, где на скотобойнях под музыку новейших шлягеров <...> с ужасающей синхронностью происходят ежедневные массовые убийства <...> стальные руки давят человеческую жижу <...> Франц Биберкопф лишь один из бесчисленных человекоскотов, орудующих в этом городе» (см.: Muschg 1929: 1–15).

Позже, однако, появляется и иное толкование этих символических глав БА, которые теперь понимаются как отголосок *credo* писателя в те годы, считавшего, что человек должен осознать свое место в этом мире, освободиться от цепей, сковывающих его «я» (*Abbau der Ichverkrampfung*), должен действовать, сопротивляться враждебной среде любой ценой (см. далее в книге пятой рассказ об овцах, которые топят в море, — своего рода антигезу к сценам скотобойни (с. 108 и след. наст. изд.)). Эти главы — своего рода «предупреждения» для читателя и героя. Такая интерпретация основана, в первую очередь, на тщательном анализе текста и сопоставлении различных редакций романа (Дж. Рейд, К. Мюллер-Зальгет, Р. Линкс). Приверженцы этой точки зрения утверждают, в частности, что в случае с авторским толкованием этих сцен как выражающих идею «жертвы», читатели и исследователи имеют дело с ретроспективным изменением взгляда автора на им же написанное. Это изменение было связано со сломом, произошедшим в мировоззрении писателя в конце 1930-х годов, который в 1941 г. принял католичество:

При внимательном анализе довольно быстро выясняется, что само понятие «жертва» здесь не уместно. Жертва имеет адресат, или по крайней мере смысл <...>. Покориться чему-либо по Божьей воле <...> Биберкопф не может, потому что Божественная инстанция в «Александрплац» отсутствует (Müller-Salget 1972: 318–319).

Первоначальное расположение сцен скотобойни в газетном варианте романа (после сообщений о том, что «Франц вконец опустился и начал пить» и слов смерти: «Берегись, Франц, берегись, добром это не кончится. Совсем ты опустился») дает основания для того, чтобы считать сцены на скотобойне своеобразным знаком ФБ, критикой его бездействия и апатии.

Бык и теленок никоим образом не демонстрируют образцового подчинения судьбе <...> их смерть в большей степени представляет собой предупреждение: так закончит Франц, если не отступится от своего глупого упрямства <...>

сцены на скотобойне <...> показывают нам, что Францева «сила» без знания должна привести к глупому концу <...> кроме того, в контексте четвертой книги эти сцены перекликаются с саморазрушением Биберкопфа, с его попыткой спрятаться в пьянстве, с его падением до уровня скота (Müller-Salget 1972: 320–324).

Реминисценции из этих глав неоднократно и далее появляются в тексте романа, например, в главе, посвященной убийству Миши в книге седьмой романа (ср. убийство Миши и убийство теленка (с. 283–284 наст. изд.)).

⁴⁹ *Померания* – герцогство на побережье Балтийского моря, в 1815–1945 гг. прусская провинция.

⁵⁰ *Бранденбург* – прусская провинция.

⁵¹ *Боец* – работник скотобойни, забивающий и освежевывающий скотину.

⁵² *Фридрихсхайн* – район и большой парк на северо-восточной окраине Берлина.

⁵³ *...играет оркестр Кермбаха*. – Оркестр под руководством композитора и дирижера Карла Фридриха Отто Кермбаха (1882–1960) исполнял легкую музыку.

⁵⁴ *«Германия»* – известный в то время спортивный зал на северо-западе Берлина.

⁵⁵ *...стоит... человек с занесенным молотом*. – Ср. с мотивом молота и «трех ударов» (см. примеч. 1 к прологу).

⁵⁶ *...из солнца образовалась твоя кровь...* – См. примеч. 131 к книге второй.

⁵⁷ *Если камень хочет упасть, толкни его!* – Аллюзия на афоризм Фридриха Ницше (1844–1900): «Но я говорю: что падает, то нужно еще толкнуть!» (Так говорил Заратустра. О старых и новых скрижалях. 20. Пер. Ю.М. Антоновского под ред. К.А. Свасьяна).

⁵⁸ *Фаршированные ножки ~ складываются и перевязываются ниткой*. – Писатель цитирует этот традиционный для немецкой кухни рецепт по одной из поваренных книг.

⁵⁹ *Беседа с Иовом...* – Иов – герой ветхозаветной Книги Иова, которую Дёблин пересказывает в главе «Беседа с Иовом», расставляя по-новому, в сравнении с библейской версией, акценты. Иов – страдающий праведник, испытываемой сатаной с дозволения Яхве; Иов в Библии «непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла» (Иов. 1: 1). При встрече с сатаной Яхве спрашивает: «Обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? Ибо нет такого, как он, на Земле» (Иов. 1: 8), на что Сатана отвечает: «<...> разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли крутом оградил его и дом его и все, что у него? <...> Прости руку твою и коснись всего, что у него, – благословит ли он тебя?» (Иов. 1: 9–11). После этого Яхве разрешает Сатане начать испытание Иова: Иов теряет свои стада, своих погонщиков и пастухов, дочерей и сыновей. Иов раздирает на себе одежду, обривает голову в знак траура, повергается на землю и произносит слова, достойные его прежней истовости: «Господь дал, Господь и взял <...> да будет имя Господне благословенно» (Иов. 1: 20). Сатана наводит на Иова страшную болезнь. Жена предлагает Иову похулить Бога и умереть, три докучных утешителя говорят, что Иову нужно признать свою виновность, мудрец Елиуя утверждает, что страдание посылается Богом не как кара, а как средство духовного побуждения. В конце концов Яхве возвращает Иову все его богатство в полной мере, у Иова рождаются новые сыновья и дочери. В новом блаженстве Иов живет еще долгие годы. Иов – это третий «кающийся» персонаж (пос-

ле Ореста (см. примеч. 170 к книге второй) и принца Гомбургского (см. примеч. 89 к книге второй)), с которым очевидно сравнивается Биберкопф.

⁶⁰ *И у всех одно дыхание, и у человека нет преимущества перед скотиною.* — Ср.: «<...> и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом» (Екк. 3: 19).

⁶¹ *...плотник Гернер...* — История, произошедшая с Гернером (см. с. 119–127 наст. изд.), — еще одно предупреждение Биберкопфу, которое остается незамеченным.

⁶² *...Ева дала яблоко Адаму, а не упало оно с дерева... не попало бы в адрес Адама.* — Искраженный пересказ библейского сюжета. См.: Быт. 3: 6.

⁶³ *Густельхен* — уменьшительно-ласкательная форма от имени Густа.

⁶⁴ *Коринка* — сорт изюма.

⁶⁵ *Гоп, гоп, гоп, конь снова скачет в галоп.* — Начальные слова известной немецкой детской песенки.

⁶⁶ *Шпалеры* — ряды, шеренги войск, по пути следования лица, которому оказывают воинские почести.

⁶⁷ *Зеленый Генрих.* — Так берлинцы называли выкрашенные в болотный цвет полицейские машины для перевозки арестованных.

⁶⁸ *Кухмистерская* — небольшая столовая.

⁶⁹ *...сестра что-нибудь основательное, теллячье рагу...* — См. примеч. 18 к книге первой.

⁷⁰ *Селтерская* — минеральная газированная вода.

⁷¹ *...и от передников она отказалась.* — ФБ противоречит себе (ср. с. 32 наст. изд.)

⁷² *Теперь он дует себе по Александрштрассе...* — Неточность: согласно тексту романа, Минна живет на Акерштрассе (см. с. 29 наст. изд.); Александрштрассе находится в противоположной стороне.

⁷³ *Бюллетень погоды ~ следует ожидать незначительного потепления.* — По всей видимости, цитируется по газете; источник не установлен. См. также примеч. 58 к книге первой.

⁷⁴ *...кто сам управляет шестицилиндровым автомобилем NSU, в восторге от него.* — Текст рекламной листовки того времени; фирма NSU (основана в 1873 г.) была одним из первых производителей велосипедов, мотоциклов (с 1901 г.) и автомобилей (с 1903 г.) в Германии. Шестицилиндровая модель автомобиля NSU 6/30 была выпущена на рынок в начале 1928 г.

⁷⁵ *Туда, туда умчимся, милый, мы с тобой.* — Пародия на знаменитую песню Миньоны, см.: *Гёте И.-В.* Годы учения Вильгельма Мейстера. Кн. III. Гл. 1. Ср. в пер. Б. Пастернака: «Ты знаешь край лимонных рощ в цвету | <...> Туда, туда, | Возлюбленный, нам скрыться б навсегда».

⁷⁶ *...если у барышни есть кавалер...* — Слова марша-дуэта из оперетты В. Колло «Барон глупости». См. примеч. 61 к книге первой.

КНИГА ПЯТАЯ

¹ *...он ...вынужден покориться.* — Аллюзия на фразу главного героя пьесы Г.-Э. Лессинга (1729–1781) «Натан Мудрый» (1779): «Никто не должен покоряться» (д. 1, явл. 2). Ср. в пер. В.С. Лихачева: «Он может быть обязан и к тому, | к чему никто обязан быть не может?».

² *...холод собачий, в следующем, 1929 будет еще холоднее.* — Мотив холода, характеризующий состояние ФБ и то, что с ним происходит, является сквозным для этой

главы, как и мотив обещания тепла, намечающийся к ее концу. О роли описаний погоды и об интерполяциях метеосводок в тексте романа см. примеч. 58 к книге первой.

³ *Перед универмагом Тица стояла статуя Беролины... и ту куда-то утащили. Может, перельют и наделают из нее медалей.* — Беролина, бронзовая статуя девы-воительницы, была в те годы одной из достопримечательностей Берлина и считалась символом города. Статуя высотой почти в восемь метров была выполнена по модели скульптора Эмиля Хундризера (1846–1911) и в 1895 г. установлена на Александрплац. В середине 1920-х годов, в связи со строительством подземки и реконструкцией площади, скульптуру демонтировали. В 1933 г. Беролина вернулась на прежнее место, а в 1944 г. была переплавлена.

⁴ *...паровоз выпускает пары, останавливаясь... над Прелатам...* — Имеется в виду пивная «У прелата» («Zum Prälaten») на железнодорожном вокзале Александрплац, одна из самых больших и популярных пивных в городе в то время, любимое место Дёблина.

⁵ *Лезер и Вольф.* — Знаменитый табачный магазин «Лезер и Вольф» находился на Александрплац по адресу Александрштрассе, 1. Был частью крупнейшей немецкой табачной корпорации, владевшей в Германии четырьмя сигаретными фабриками и имевшей 120 табачных киосков по всему Берлину. Принадлежавшая еврейским предпринимателям, корпорация была реорганизована в 1940 г.

⁶ *...я побиваю, ты побиваешь.* — Писатель пародирует рекламный лозунг немецкого коньяка «Хамм», звучавший так: «Хамм побивает всех!»

⁷ *Бананы — самые чистые плоды...* — Очевидно, текст рекламного щита.

⁸ *Тайный советник Черни... доказал, что... дети в первые годы жизни. Я разбиваю все, ты разбиваешь все, он разбивает все.* — Монтаж цитат из медицинской статьи и рекламного слогана коньяка «Хамм» (см. примеч. 6). Винченц Черни (1842–1916) — знаменитый немецкий хирург и изобретатель грудных имплантантов. С 1901 г. был председателем Немецкого хирургического общества.

⁹ *Рейникендорф* — в те годы северный пригород Берлина.

¹⁰ *Нойкельн* — в те годы южный пригород Берлина.

¹¹ *Вейсензее* — крайний район на юго-востоке Берлина.

¹² *Природа не дает себя обмануть!* — Дёблин, по-видимому, цитирует рекламный проспект; первоисточник не установлен.

¹³ *Из восточных районов города ~ по Хубертусаллее.* — Описание маршрутов, которое дает автор, не совсем ясно. «Большим кольцом» называли маршрут трамвая № 3, не упомянутого здесь Дёблином.

¹⁴ *...в бывшем универмаге Фридриха Гана...* — Имеется в виду один из нескольких знаменитых универмагов на Александрплац, закрытый в 1928 г. в связи с реконструкцией и перестройкой площади, после чего магазин уже больше не открылся.

¹⁵ *...там, где был магазин канцелярских принадлежностей Юргенса, уже снесли...* — Магазин фирмы «Л. Юргенс» находился в те годы по адресу Нойе-Кёнигштрассе, 4. После реконструкции Александрплац — Нойе-Кёнигштрассе, 43.

¹⁶ *От земли ты взят и в землю снова возвратишься...* — Измененная цитата из Ветхого Завета, ср.: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. 3: 19).

¹⁷ ...стоял здесь когда-то прекрасный дом, а ныне никто и не вспоминает о нем. — Дёблин пародирует стихотворение А.-Д. фон Бинцлера (1793—1868) «О товариществе», которое начинается так: «Мы построили прекрасный дом | И положились на Господа».

¹⁸ *Так погибли Рим, Вавилон, Ниневия...* — Упомянутые города в мифологических (в первую очередь библейских) текстах служат эмблемами упадка, высокомерия, неугодности Богу. Согласно библейско-иудаистской традиции, люди там погрязли в пороке, не боялись Бога, поэтому эти города должны были быть стерты с лица Земли. Цитаты из Откровения Иоанна Богослова о вавилонской блуднице приобретут далее в романе характер лейтмотива (см., напр., с. 191, 204, 235 наст. изд.). Роль мифов о Вавилоне и Ниневии и образы метрополий важна и в других произведениях Дёблина, особенно в «Вавилонском странствии» и в романе «Горы моря и гиганты». О. Шпенглер (1880—1936) в своем монументальном труде «Закат Европы» (см.: Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2. Гл. «Города и народы») неоднократно сравнивает современные ему «мировые столицы» Берлин, Лондон, Нью-Йорк, Париж и т. д. с крупнейшими древними городами «мирового значения» — Римом, Вавилоном, Карфагеном, предрекая первым судьбу их предшественников: «рождение города влечет за собой и его смерть <...> гигантский город <...> требует и заглатывает все новые массы людей, до тех пор пока сам не придет в упадок, и не умрет в почти безлюдной пустыне», ведь существование человека в городе (цивилизации), его оторванность от природы приводит к «бесплодию»:

Человек крупных городов не хочет больше жить. Возможно, человек тянется к жизни как индивидуум, но не как тип, не как масса. В этом существе как таковом теряется страх перед смертью <...>. На этой стадии во всех цивилизациях начинается <...> период ужасного падения численности населения. Исчезают <...> способные к созиданию культуры люди <...> город <...> губит сам себя (Шпенглер 2000: 778—810).

Ниневия — древний город в Ассирии, знаменитый своей библиотекой, разрушенный вавилонянами в VII в. до н. э.

¹⁹ *Ганнибал* (247/46—183 до н. э.) — карфагенский полководец, одержавший победы над римлянами в ходе Второй Пунической войны; в 202 г. до н. э. карфагенское войско во главе с Ганнибалом было разгромлено римской армией.

²⁰ *Цезарь* Гай Юлий (102/4—44 до н. э.) — римский полководец, диктатор, увеличивший территорию Римской империи.

²¹ ...теперь производятся раскопки этих городов, как показывают нам иллюстрации в последнем воскресном номере газеты... — Выяснить, на какую газету ссылается Дёблин, комментаторам не удалось. Сенсационные раскопки древнего Вавилона, которые под патронажем Немецкого восточного общества вел археолог Роберт Кольдеви (1855—1925), начались еще в 1899 г. и официально были завершены в 1917 г.; впрочем, интенсивные археологические раскопки на Ближнем Востоке продолжались и в 1920-х годах.

²² ...эти города выполнили свое назначение, и можно приняться за постройку новых. — Ср. с тезисом О. Шпенглера о том, что, возвышаясь до уровня «мировых столиц», те или иные города становятся средоточием истории и вытесняют в разряд про-

винциальных прежние столицы, которые приходят в упадок. Это, по мнению Шпенглера, постоянный процесс (см.: Шпенглер 2000: 778–810).

²³ ...*Машрут № 12. Сименсштрассе DA ~ Котбусские ворота А. Таинственные знаки...* — Трамвай соединял северо-западные окраины Берлина с юго-восточными. Буквами А, В, С и D на билетах того времени обозначали определенные отрезки маршрутов, что позволяло кондуктору контролировать пассажиров.

²⁴ ...*кто их разгадает, кто смысл их распознает...* — Аллюзия на одну из фраз Фауста в его разговоре с Маргаритой в саду из первой части трагедии И.-В. Гёте «Фауст»: «Назвать его кто смеет откровенно? | Кто исповедать может дерзновенно...» (*Гёте И.-В.* Фауст. Ч. 1, сц. 16 «Сад Марты», ст. 3432–3434. Пер. Н.А. Холодковского).

²⁵ ...*три слова заветных тебе назову...* — Фраза отсылает к первой строке стихотворения Ф. Шиллера «Слова веры» (1797). Ср. в пер. Л. Гинзбурга: «Три слова разносит людская молва, | В них кроется жизни начало».

²⁶ *Кризис в рейхстаге...* — Споры в рейхстаге вокруг закона о школах привели зимой 1927/28 г. к расколу так называемой «большой правительственной коалиции». 9 февраля 1928 г., несмотря на настоятельные просьбы президента Гинденбурга к рейхсканцлеру Марксу выработать в рейхстаге консенсус по поводу проекта этого закона, случился правительственный кризис: согласие так и не было достигнуто, правительственная коалиция развалилась, в результате чего были назначены новые выборы, состоявшиеся 20 мая 1928 г.

²⁷ *Йозеф Вирт.* — Карл Йозеф Вирт (1879–1956) — дипломированный математик и политик-центрист стал в марте 1920 г. министром финансов Веймарской республики, а год спустя — самым молодым рейхсканцлером Германии. На своем посту он неудачно попытался создать большую правительственную коалицию; в ноябре 1922 г. ушел в отставку. Прославился как сторонник парламентаризма и защитник демократии от нападок со стороны реакционных правых сил. Вирту принадлежат знаменитые слова, сказанные им в рейхстаге после убийства В. Ратенау в июне 1922 г.: «Есть враг, который по капле вливает яд в рану немецкого народа. Есть враг — и нет сомнений, что этот враг у нас — справа!» В конце 1920-х годов этот независимый политик снова вошел в правительство, став в 1929 г. министром внутренних дел.

²⁸ *Борьба в Центральной Германии продолжается...* — Скорее всего, воспроизводится заголовок статьи о стачках рабочих в Магдебурге в середине января 1928 г. или же о массовой демонстрации республиканцев против закона о школах в Дрездене 22 января 1928 г. Источник, который цитирует Дёблин, не установлен.

²⁹ ...*нападение грабителей на Темпельхеррештрассе.* — Сообщения об этом нападении в газетах того времени не найдено.

³⁰ ... *напротив кинотеатра Уфа...* — «Уфа» (UFA) — крупнейшая немецкая — и европейская — кинокомпания того времени, производившая и прокатывавшая свои фильмы, которые по размаху, бюджету и т. д. успешно конкурировали с голливудской продукцией и нередко даже превосходили ее.

³¹ ...*оптик Фромм открыл новый магазин.* — Речь идет о сети оптик, принадлежавшей фирме «Александр Фромм & К°».

³² «*Фёлкшиер беобахтер*». — См. примеч. 113 к книге второй.

³³ ...*дом № 17 по Геббельштрассе вот-вот обрушится...* — Писатель приводит заголовок статьи в газете «Берлинер тагеблатт» за 19 января 1928 г. В абзацах книги

пятой БА, цитируя самые различные заголовки и отрывки из новостей, Дёблин, не без иронии, запечатлевает еще одну особенность мироощущения Веймарской республики, характерную для современности, уже подмеченную многими мыслителями того времени: средства массовой информации способствуют тому, что распадается представление о действительности как едином и иерархическом целом, индивид теряет четкие ориентиры и не может больше определить свое место в миропорядке: газеты, радио, реклама выстраивают «в один ряд большое, малое, важное, неважное, сумасбродное, серьезное, исчезает “особенное” и “подлинно действительное” <...> глаза <...> утрачивают способность различать вещи в их индивидуальности и существенности» (Слотердайк 2001: 546–548). Геббельштрассе – небольшая улица в берлинском районе Шарлоттенбург.

³⁴ *... кошмарное убийство на рыболовном судне...* – В рукописи романа эта вырезка из газеты датирована 8 февраля; точный источник не установлен.

³⁵ *Саарбрюкен* – город на юго-западе Германии.

³⁶ *Пальмин*. – «Пальмин» – немецкая торговая марка, под которой с 1892 г. продается кокосовое масло.

³⁷ *...посягательство на закон о правах квартиронанимателей...* – См. примеч. 5 к книге четвертой.

³⁸ *...по случаю смерти Эберта...* – Ф. Эберг (см. примеч. 150 к книге второй) умер 28 февраля 1925 г. от перитонита, вызванного разрывом аппендикса.

³⁹ *Поквитались за Циргибеля*. – Социал-демократ Карл Циргибель (1878–1961) до ноября 1930 г. был берлинским полицейспрезидентом. В 1928 г., для того чтобы предотвратить постоянные уличные стычки сторонников различных политических течений и партий, он издал указ о запрете в городе демонстраций. В мае 1929 г. по его приказу полиция расстреляла рабочую демонстрацию, в результате чего погибло семь человек.

⁴⁰ *Выхожу из партии предателей*. – См. примеч. 150 к книге второй.

⁴¹ *Аманулла*. – Аманулла-Хан (1892–1960) – афганский король, добившийся в 1919 г. полного признания независимости Афганистана от Великобритании; в начале 1928 г. совершал поездку по Европе; 23 февраля прилетел в Берлин, о чем сообщили газеты.

⁴² *...у радиомагазина Уэбба...* – Имеется в виду магазин радиотехники со множеством филиалов по всему Берлину. Главный офис и самый большой магазин фирмы находились на Александрплац.

⁴³ *Вечером, 9 февраля 1928 года...* – 9 февраля 1928 г. было четвергом, кроме того, далеко не все указанные далее события произошли именно в этот день (см. примеч. 44–46).

⁴⁴ *...когда в Осло пало рабочее правительство...* – Падение социал-демократического правительства в Осло произошло 7 февраля 1928 г.

⁴⁵ *...в Штутгарте заканчивались шестидневные велогонки...* – Заключительный этап этой велогонки прошел в ночь с 8 на 9 февраля 1928 г.

⁴⁶ *...паломение в Саарской области...* – В 1919 г. по Парижскому миру Саарская область была передана в управление комиссии Лиги Наций, а угольные копи – в собственность Франции; такая ситуация не раз приводила к многочисленным волнениям шахтеров и различного рода конфликтам. Статья о положении в Сааре была напечатана в «Фёлькише беобахтер» 7 февраля 1928 г.

⁴⁷ ...вы уже пробовали папиросы Калиф... — Папиросы марки «Калиф» активно рекламировались в газетах зимой 1927/28 г.

⁴⁸ *Видишь, вон он идет!* — Первая строка популярной берлинской польки.

⁴⁹ ...*Дикие звери их, что ли... Не дикие звери, а э-ти-зо-о-ти-и.* Эпизоотия — широкое распространение инфекционной болезни животных, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости на данной территории.

⁵⁰ «...*вот они тысячами и стали кидаться в море.*» — См. примеч. 48 к книге четвертой.

⁵¹ *За этим желтым... Франц наблюдал уже весь вечер.* — В этом абзаце Дёблин вводит один из ключевых персонажей романа — Рейнхольда и дает его подробный портрет. Автор не раз подчеркивает «дьявольскую» природу Рейнхольда и его связь со смертью: начиная с внешних, физиогномических признаков (короткий, приплюснутый нос, нахмуренный, морщинистый лоб, желтый, больной цвет лица, жесткость, «волосы ежиком»), прямо соответствующих традиционной иконографии дьявола. Образ Рейнхольда напрямую перекликается с мотивом ада, который, согласно традиционному представлению, является местом, где, с одной стороны, нестерпимо холодно (девятый круг ада, ледяное озеро у Данте), а с другой — невыносимо жарко (ад как огненное море, печь, гигантская кузница, где души расплющиваются на огромных наковальнях). Так, каждое появление Рейнхольда сопровождается упоминанием о холодах, а на левой стороне груди у него татуировка с изображением молота и наковальни (ср. также с мотивом «трех ударов», см. примеч. 1 к прологу). Кроме того, именно с появлением Рейнхольда в тексте романа начинается постоянно возникать еще одна сквозная цитата-лейтмотив: «Песнь жнеца» из сборника народных песен «Волшебный рог мальчика» (см. с. 148, 183, 194, 278 и след. наст. изд.; см. также примеч. 57). Отдаленным прообразом Рейнхольда, возможно, послужил знаменитый маньяк-гомосексуалист Фриц Хаарман, самый известный убийца в Веймарской республике, прозванный «гамбургским мясником» — ср. с символикой мяса и скотобоен в романе (см. примеч. 18 к книге первой, примеч. 48 к книге четвертой). Хаарман убил и расчленил более двадцати подростков, и был казнен в 1925 г. (см. далее в романе цитаты из песни про «гамбургского мясника», напр., с. 228 наст. изд.). См. также примеч. 6 к книге первой.

⁵² *Белиц* — курортное место под Потсдамом, известное своими санаториями и пансионатами для страдающих легочными заболеваниями.

⁵³ «*Торгую фруктами...*» — Ср. с мотивом грехопадения в романе (см. с. 38 и след. наст. изд.).

⁵⁴ ...*цена Иудина предательства... десять серебряников.* — В Евангелии от Матфея говорится о 30 серебряниках, за которые Иуда Искариот предал Иисуса (см.: Мф. 26: 15).

⁵⁵ *К Вальтерхену?* — См. примеч. 162 к книге второй.

⁵⁶ *Против того, что молоко ~ диетическим питанием является баранина.* — Автор пародирует многочисленные диетологические пособия того времени.

⁵⁷ *Есть жнец, Смертью зовется он ~ всех нас серпам достанет.* — Немного измененная первая строфа немецкой духовной песни (1637), обработанной Клеменсом Брентано (1778—1842) и включенной им в сборник «Волшебный рог мальчика» под названием «Урожайная песня» («Erntelied»). Первая строка этой песни в оригинале звучит так: «Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, | Hat Gewalt vom höchsten Gott. | Heut wezt er das Messer, | Es schneidt schon veil besser» (ср. у Дёблина: «Es ist ein Schitter, der heißt

Тод, hat Gewalt vom großem Gott. Balt wird er drein schneiden»). В романе строки из этой песни связаны с образом Рейнхольда (см. примеч. 51).

⁵⁸ ...*малодился он по Штейнаху...* — Эйген Штейнах (1861–1944) — австрийский физиолог, автор трудов по изменению пола; считал, что можно изменить пол у млекопитающих путем пересадки и удаления половых желез. Практиковал операции по перевязке семенного протока, добываясь при этом значительного омоложения организма.

⁵⁹ *Не сули мне верность, клятва я не хочу ~ дух мой ветрен юный — так же, как и твой.* — Предположительно слова одного из шлягеров времен Веймарской республики.

⁶⁰ *«Нет, я не в силах расстаться с тобой».* — С этих слов начинается фокстрот из реву В. Колло «Туда-сюда» (1926). Особенно популярным в те годы этот фрагмент был в исполнении певицы Труды Хестерберг.

⁶¹ *В те дни в Берлине русский студент Александр Френкель ~ препятствовали тяжелые экономические условия.* — Сообщение из газеты «Берлинер цайтунг» за 18 апреля 1928 г. В контексте романа эта цитата читается как убийство Мици.

⁶² *До сих пор не установлено, кто виновник трамвайной катастрофы ~ была вызвана взаимодействием ряда несчастных случайностей.* — Цитата из газеты «Берлинер цайтунг» за 17 апреля 1928 г. Статья, которую использовал Дёблин, называлась «Кто в ответе за трамвайную катастрофу 15 апреля 1928 г.?». Последнее сообщение статьи — «все <...> находятся на пути к выздоровлению», очевидно, переключается с состоянием самого ФБ.

⁶³ *На бирже преобладало спокойное настроение ~ курсы были таковы... Сименс и Гальске... Валдгофские целлюлозные 295.* — Сообщение из раздела биржевой хроники в газете «Берлинер цайтунг» за 18 апреля 1928 г. Фирма «Сименс и Гальске», основанная в 1840 г., занималась монтажом и производством телеграфного и осветительного оборудования (электрические и газовые фонари), здесь так же собирали динамо- и электромоторы и оборудование для железных дорог. Заводы этой фирмы были одной из достопримечательностей Берлина.

⁶⁴ *...11 апреля редактор Браун... был освобожден из Моабита.* — Дёблин пересказывает сообщение из «Берлинер цайтунг» о побеге из тюрьмы Моабит пресс-секретаря Коммунистической партии Германии Отто Брауна.

⁶⁵ *Значительно меньше внимания уделяет сейчас общественность желанию одного из крупнейших американских автомобильных заводов... — Речь идет, скорее всего, о фирме «Форд».*

⁶⁶ *Штейнплац* — площадь в берлинском районе Шарлоттенбург.

⁶⁷ *...на Гарденбергштрассе состоялось 100-е... представление «Червоного валета»...* — Сообщение повторяет афишу берлинского театра «Ренессанс». Следующие за этим ироничные пассажи о сотом представлении популярнейшей в те годы пьесы И. Натансона «Червоный валет», состоявшемся 8 апреля 1928 г., напоминают рецензии Дёблина на берлинские театральные постановки, публиковавшиеся в «Прагер тагесблат».

⁶⁸ *Карфаген* — некогда один из самых могущественных городов античного мира, столица одноименного государства; был завоеван и стерт с лица земли римлянами во время Третьей Пунической войны (146 г. до н. э). См. также примеч. 18.

⁶⁹ *После этого поучительного обзора событий... в Берлине в июне 1928 года...* — Автор противоречит своему же утверждению о том, что все перечисленные им собы-

тия имели место в апреле 1928 г. (см. с. 160 наст. изд.). В рукописи указано: «В начале 1928 года» («Frühjahr 1928»).

⁷⁰ *Но с враждебной силой рока прочен наш союз — до срока. Вот и горе подступает.* — Дёблин пародирует стихи из баллады Ф. Шиллера «Песнь о колоколе» (1800). Ср. в пер. И. Миримского: «Но судьба хитра и лжива, | Краток с ней союз счастливый. | Срок пришел — и горе в дом».

⁷¹ *...обувь от Лейзера.* — «Лейзер», — основанная в 1891 г. обувная фирма. В 1920-х годах ей принадлежали самые большие обувные магазины в Берлине.

⁷² *...NSU приглашает вас на пробную поездку на шестицилиндровой машине.* — Здесь Дёблин цитирует рекламное объявление, размещенное в газете «Берлинер тагеблат» за 10 апреля 1928 г. См. также примеч. 74 к книге четвертой.

⁷³ *Грянем застольную песнь, друзья, пустим мы чашу по кругу... мы пьем, как стадо поросят.* — Писатель достаточно свободно перелагает немецкую застольную «Студенческую песнь».

⁷⁴ *...английский король, который как раз в этот момент едет в сопровождении пышной свиты на открытие парламента...* — Событие имело место 7 февраля 1928 г.; английским королем в те годы был Георг V (1865—1936).

⁷⁵ *...делегаты... подписавшие в Париже пакт Келлога...* — Еще одна хронологическая, возможно намеренная, ошибка Дёблина: пакт Келлога—Бриана (так наз. «Парижский пакт») был заключен 27 августа 1928 в Париже. По этому соглашению, под которым подписались представители 15 государств, война больше не могла быть орудием национальной политики. Идея этого пакта была выдвинута Ф.-Б. Келлогом (1856—1937), занимавшем в те годы пост государственного секретаря США.

⁷⁶ *Северский гарнитур.* — В Севре, небольшом городке недалеко от Парижа, находится самый известный во Франции фарфоровый завод.

⁷⁷ *...доктор Луппе, обербюргермейстер города Нюрнберга, потому что в этот день ему надо произнести... речь по случаю дюферских торжеств...* — 10 апреля 1928 г. в Нюрнберге начались официальные торжества по поводу четырехсотлетия Альбрехта Дюрера (1471—1528). Торжества, по сообщению газеты «Берлинер тагеблат» за 11 апреля, открывали обер-бургомистр Нюрнберга (1920—1933), Герман Луппе (1874—1945) и искусствовед Генрих Вёльфлин (1864—1945). Министр внутренних дел Вальтер фон Кейдель (1884—1973) и министр народного просвещения Баварии Франц Ксавье Гольденбергер (1867—1948) выступали на следующий день, 11 апреля, на открытии приуроченной к юбилею выставки произведений художника. Таким образом, и здесь Дёблин не следует точной хронологии событий.

⁷⁸ *Жевательная резинка П.-Р. Ригли укрепляет зубы... улучшает пищеварение.* — Автор цитирует рекламу американской жевательной резинки, опубликованную в «Берлинер тагеблат» за 11 апреля 1928 г.

⁷⁹ *...один раскаявшийся грешник лучше, чем 999 праведников.* — Ср. с Евангелием от Луки: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15: 7).

⁸⁰ *Проклят человек, говорит Иеремия ~ кто узнает его?* — Ср. с ветхозаветной Книгой пророка Иеремии (см.: Иер. 17: 5—9); парафраза этих слов из Библии появляется в тексте БА несколько раз.

⁸¹ *Воды в... дремучем лесу...* — Бездонный омут является одним из сквозных образов в творчестве Дёблина (см.: Гамлет: 504, 518).

⁸² *Воскресенье, 8 апреля 1928 года.* — То есть пасхальное воскресенье (см. далее упоминание о колокольном звоне). Погода, по сообщениям газет, в тот день была солнечной и теплой; снежная буря, описываемая в этой главе, является вымыслом автором. См. также примеч. 58 к книге первой.

⁸³ *«Вельт»* — влиятельная немецкая газета, выходящая и по сей день.

⁸⁴ *«Монтаг морген».* — Непонятно, какую газету имеет в виду Дёблин: газеты с таким названием не существовало; возможно, речь идет о приложении к берлинской газете «Дер Монтаг».

⁸⁵ *«Вельт ам монтаг»* — немецкая газета с подзаголовком «Независимая газета о политике и культуре»; выходила с 1925 по 1933 г.

⁸⁶ *...крушение поезда в Соединенных Штатах, близ Огайо, столкновение камминистов с фашистами...* — Заголовки газетных сообщений выдуманы Дёблином.

⁸⁷ *...сверкавший огнями универмаг Тица...* — Магазин Тица был знаменит своими большими витринами и огромным стеклянным глобусом на фасаде, который подсвечивался по ночам. В архиве писателя сохранилось несколько открыток с изображениями этого магазина. См. примеч. 19 к книге первой.

⁸⁸ *Суп готовишь, фрейлейн Штейн...* — См. примеч. 57 к книге первой.

⁸⁹ *Зеленая войлочная шляпа* — традиционный атрибут черта в европейском фольклоре и литературе (см., напр., описание черта в новелле И. Готхельфа «Черный паук»). По всей видимости, это еще один посланник смерти (символичны также занятия этого «рыхлого толстяка» — покупка вещей умерших и его реплика о частых смертях: «Так и валяются» (с. 163 наст. изд.)), предупреждающий Биберкопфа о новом «ударе» (см. примеч. 1 к прологу).

⁹⁰ *Кауер.* — Фамилия Кауер скорее всего образована Дёблином от нем. *kauegn* — сидеть на корточках, затаиться.

⁹¹ *Форвертс.* — Газета «Форвертс» — центральный печатный орган социал-демократической партии Германии, издавалась с 1884 г. (до 1890 г. имела название «Берлинер фольксблат»).

⁹² *Локальанцайгер.* — Имеется в виду «Локальанцайгер» — берлинская газета объявлений и рекламы.

⁹³ *...большие скачки в Англии, а также в Париже...* — В первые недели апреля 1928 г. ни в Англии, ни во Франции большие скачки не проводились.

⁹⁴ *Альте-Шенгаузерштрассе* — улица в центре Берлина.

⁹⁵ *...Франц берет... «Берлинер цайтунг» и читает...* — Далее Дёблин дословно цитирует заголовки и сообщения из газеты «Берлинер цайтунг» за 11 апреля 1928 г.

⁹⁶ *...драма Лео Ланца «Конъюнктура» в исполнении труппы Пискатора...* — Лео Ланца (1896–1961) был помощником известного театрального режиссера Эрвина Пискатора (1893–1969), к постановкам которого Дёблин проявлял живой интерес. Упоминаемая Дёблином комедия Ланца была поставлена в начале 1928 г. В 1925 г. Дёблин познакомился с Пискатором и под его влиянием написал драму «Супружество», основной задачей которой было показать, как «современная экономика <...> разрушает традиционные брак и семью» (Döblin 1983: 172). Сценическое воплощение этой пьесы, навеянной революционными спектаклями Пискатора и Брехта, в 1930 г. в Мюнхене, привело к грандиозному скандалу: Пискатор и Брехт обвинили

Дёблина в плагиате, и в краже концепции «эпического театра»; Дёблин подал на обоих в суд за клевету. Через две недели после премьеры пьеса была снята с репертуара Мюнхенского камерного театра, за «пропаганду коммунизма»; против запрета «Супружества» высказывались многие выдающиеся авторы того времени, в том числе и Томас Манн. В 1931 г. спектакль по пьесе Дёблина был возобновлен Берлине и имел оглушительный успех.

⁹⁷ *Бруно Вальтер* (1876–1962) — выдающийся дирижер, в 1925–1929 гг. директор Берлинской оперы, ученик Г. Малера и первый исполнитель поздних произведений выдающегося композитора — «Песни о земле» и 9-й симфонии.

⁹⁸ ...*симфония ми-бемоль-мажор Моцарта*... — Перу выдающегося композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791) принадлежат четыре ми-бемоль-мажорные (Es-Dur) симфонии: № 1 (Op. 16; 1764–1765), № 19 (Op. 132; 1772), № 26 (Op. 184; 1773) и № 39 (Op. 543; 1788). Какую из них имеет в виду Дёблин — не понятно.

⁹⁹ ...*фонд по сооружению памятника Густаву Малеру в Вене*. — В 1927 г. в Вене был создан комитет с целью финансировать воздвижение монумента великому австрийскому композитору Густаву Малеру (1860–1911). Бруно Вальтер, который с 1894 г. был ассистентом Малера в Гамбургской опере, а затем работал вместе с ним в Вене, принимал самое активное участие в работе этого комитета. Проект памятника был заказан известному австрийскому скульптору-монументалисту Антону Ханаку (1875–1934), который из-за разногласий с членами комитета так и не смог предоставить его окончательного варианта. После смерти Ханака проектом занялся его ученик, венский скульптор Фриц Вотруба (1907–1975). В 1938 г. комитет прекратил свое существование, а венский памятник Малеру так и не был возведен.

¹⁰⁰ *Десятник* — старший над группой рабочих (преимущественно на строительных работах).

¹⁰¹ *А затем привезем товар — яблоки*... — Ср. с мотивом грехопадения в БА (см., напр., с. 38). См. также примеч. 1 к книге второй.

¹⁰² *Жизнь в пустыне бывает порою очень тяжела*. — Пассаж взят Дёблином из четвертого тома («Млекопитающие») книги Брэма «Жизнь животных» (см.: *Vrehms Tierleben*. Leipzig; Wien, 1916. Bd. 4. S. 51). См. также примеч. 41 к книге четвертой.

¹⁰³ ...*в один прекрасный день, много времени спустя, обнаруживают... побелевшие кости людей и верблюдов*. — Это предложение Дёблин цитирует и в начале своего второго романа — «Горы моря и гиганты».

¹⁰⁴ *Проклят человек, говорит Иеремия*... — См. примеч. 80.

¹⁰⁵ *Какая радость, когда восходит солнце и появляется его живительный свет*. — Этот отрывок отсылает к естественнонаучному трактату Дёблина «Воздействие света на людей» (1914). См. также примеч. 131 к книге второй.

¹⁰⁶ *Если... было 8 апреля, то теперь 9...* — В двух первых немецких изданиях романа, как и в тексте рукописи, указаны 11 и 12 апреля, начиная с 3-го издания, Дёблин исправил эту ошибку.

¹⁰⁷ *Из вагона парижского норд-экспресса только что вышла... Раквиль... знаменитая женщина садится в автомобиль и исчезает... в утреннем тумане города*. — Источник этого сообщения не установлен. Также непонятно, какую «знаменитую женщину» Дёблин имеет в виду.

КНИГА ШЕСТАЯ

¹ *Как хорошо в субботу мне ~ тулли-тулли.* — Дёблин цитирует шансон Артура Марсея Верау (1887—1931) на слова Ганса Пфланцера (ум. 1958). Особенной популярностью в Веймарской республике этот шансон пользовался в исполнении певицы Клер Вальдофф (1884—1957).

² *Перефразируя слова Шиллера, она уже носит кинжал в складках своей одежды.* — Ироническая отсылка к первым строкам баллады Ф. Шиллера «Порука» (1799):

Мерос проскользнул к Дионисию в дом,
Но скрыться не мог от дозорных, —
И вот он в оковах позорных.
Тиран ему грозно: «Зачем ты с мечом
За дверью таился, накрывшись плащом?»
(Пер. В. Левика)

³ *...две красные розы, холодный поцелуй.* — Аллюзия на припев шлягера «Две красные розы, нежный поцелуй» (1926) В. Колло на слова Курта Робичека.

⁴ *Где Орест и Клитемнестра?* — См. примеч. 170 к книге второй.

⁵ *Рейнхальд, ах, Рейнхальд, прелесть моя ~ люблю лишь тебя.* — Дёблин пародирует припев популярнейшего шлягера тех лет «Пупсик, ты звезда моих очей!». См. также с. 351 наст. изд.

⁶ *...ему впрыгнули камфару и скопаламин-морфий...* — Камфара стимулирует работу сердца и дыхание, а морфий оказывает обезболивающее действие. В конце романа Биберкопфу также делают инъекции камфары (см. с. 341 наст. изд.).

⁷ *Ева.* — Имя героини недвусмысленно отсылает к Ветхому Завету. Характерно, что в конце романа Ева беременеет от Биберкопфа (см. с. 289 наст. изд.). См. также примеч. 1 к книге второй.

⁸ *Магдебург* — город к западу от Берлина.

⁹ *...он отсидел... пять лет в зонненбургской тюрьме...* — Зонненбург — тюрьма, которая находилась почти в центре Берлина.

¹⁰ *Ораниенбург* — пригород Берлина.

¹¹ *Альтхейде* — курорт под польским городом Вроцлавом.

¹² *Моргенпост* — Имеется в виду газета «Берлинер моргенпост», издававшаяся печатным концерном Ульшштейна с 1898 по 1945 г.

¹³ *Грюне пост.* — «Грюне пост» — еженедельная бульварная газета. Статьи и репортажи, содержание которых приводит дальше Дёблин, были напечатаны в № 34 за 27 ноября 1927 г.

¹⁴ *В газете пишут о новом зяте бывшего кайзера...* — Имеется в виду русский эмигрант Александр Зубков, который 4 декабря 1927 г. в возрасте 27 лет женился в Бонне на вдовой шестидесятиоднолетней принцессе Виктории Маргарете цу Шаумбург-Липпе. Это событие анонсировала «Грюне пост».

¹⁵ *Пуленепробиваемые щиты...* — Часть подписи под одной из фотографий в вышеуказанном номере газеты «Грюне пост»; полностью: «Победа техники. Пуленепробиваемые щиты для агентов полиции прошли испытание на полигоне Халензее под Берлином».

¹⁶ *И вот она срывается со стула... падает, снова подымается.* — Происходящее с Евой в точности соответствует клинической картине истерического припадка. Как врач-психиатр, Дёблин прекрасно знал симптоматику истерии и разделял фрейдистские представления о травматическом происхождении истерических припадков (см. комментарий хозяйки: «Просто — нервы и вечные хлопоты с больным» (с. 188 наст. изд.)). При этом Дёблин отрицательно относился к психологизации современной ему литературы считая, что психологизму не место в романе (в отличие от психиатрии, единственной, как он считал, науки, которая ограничивается записью внешних событий и движений больного, не проникая в его душу).

¹⁷ *... болгарин, жениться на принцессе.* — См. примеч. 14.

¹⁸ *На свете происходят разного рода события.* — Дёблин далее пересказывает сообщения из газеты «Берлинер цайтунг» за 9 июня 1928 г.

¹⁹ *Дирижабль Италия с генералом Нобиле потерпел аварию... к северо-востоку от Шпицбергена, куда... трудно добраться.* — Итальянский генерал и дирижаблестроитель Умберто Нобиле (1885–1978) руководил итальянской экспедицией к Северному полюсу в 1928 г.; 24 мая его дирижабль «Италия» потерпел крушение, и лишь через месяц, 24 июня экспедиция Нобиле была спасена советским ледоколом «Красин». Спасение команды Нобиле было центральной темой газетных передовиц на протяжении всего лета 1928 г.

²⁰ *Зато одному летчику повезло перелететь на аэроплане... из Сан-Франциско в Австралию... и благополучно приземлиться.* — Имеется в виду успешный перелет экипажа самолета Fokker F.VII «Souther Cross» в составе Ч. Кингсфорда Смита, Ч. Ульма, Г. Личфелда и Т. МакВильямса через Тихий океан, стартовавший 31 мая 1928 г.

²¹ *...король испанский все прецирается со своим диктатором Примо де Риверой...* — Испанский король Альфонс XIII (1886–1941) постоянно конфликтовал с генералом маркизом де Эстелья Мигелем Примо де Риверой (1870–1930); эти конфликты привели к военному путчу в Испании в 1923 г., после которого в стране был введен режим военной диктатуры. В 1925 г. военное правительство сменилось гражданским кабинетом министров под руководством Примо де Риверы, однако политика, проводимая кабинетом, вызывала нарекания как со стороны дворянства, так и со стороны левых, и в 1930 г. генерал был вынужден уйти в отставку.

²² *...баденско-шведская помолвка...* — 8 июня 1928 г. состоялась помолвка принца Бертольда Баденского и шведской принцессы Ингрид, дочери кронпринца Густава Адольфа.

²³ *О женщины, от вас всегда я таю ~ объявление Распродано! прибыю.* — Песня из кинофильма «Женщины — моя слабость» («Ja ja die Frauen sind meine schwache Seite»), режиссера Э. Хойбергера с популярным актером Хансом Альберсом в главной роли. Премьера фильма состоялась 12 июня 1928 г. в Берлине. Как и слова из нижеследующего шансона (см. след. примеч.), песня, по-видимому, предупреждает читателя о событиях книги седьмой романа — убийстве Миши.

²⁴ *...Чарли Амберг добавляет от себя: Себе ресницу вырву я и заколю тебя... плесну в тебя шпинатом.* — Парафраза слов припева популярного фокстрота Фреда Раймонда (1900–1954) на текст Чарли Амберга (1894–1946).

²⁵ *...погода остается теплой и дождливой... температура доходит до двадцати двух градусов Цельсия.* — Дёблин цитирует прогноз погоды из газеты «Берлинер цайтунг» за 9 июня 1928 г. См. также примеч. 58 к книге первой.

²⁶ *...предстает... перед судом... убийца... Рутковский...* — Цитируемая писателем статья о процессе над убийцей Гутковским была напечатана в газете «Берлинер цайтунг» 9 июня 1928 г.; Дёблин изменил имена, упоминаемые в статье. Пассаж также можно рассматривать как еще одну неявную отсылку к событиям книги седьмой БА. В 1920-е годы два громких процесса над серийными убийцами привлекли к себе внимание широкой общественности в Германии: в 1921 г. полиция арестовала Карла Грассмана, обвиненного в изнасиловании и убийстве 20 молодых женщин, но на суде обвинению удалось доказать причастность Грассмана лишь к трем из двадцати убийств. О другом знаменитом маньяке времен Веймарской республики — Фрице Хаармане — см. примеч. 91.

²⁷ *В воздухе чувствуется какая-то деловитость...* — Писатель пародирует слова титульной песни из ревью «В воздухе пахнет деловитостью», премьера которого состоялась 15 мая 1928 г. в Берлине; текст песен ревью был написан Марцелусом Шиффером (наст. имя: Петер Винтер; 1892–1932), а музыка — композитором Мишей Сполианским (1898–1985).

²⁸ *...в ближайший понедельник состоится открытие городской электрической железной дороги.* — Анонс из газеты «Берлинер цайтунг» за 9 июня; в 1928 г. железная дорога в Берлине была переведена с паровой тяги на электрическую. В качестве дополнения к этому анонсу — его фрагменты Дёблин цитирует далее — в газете была размещена информация рейхсбандирекции (Управления железными дорогами) о новых правилах пользования железными дорогами, которую также частично приводит писатель.

²⁹ *Воспрянь, мой слабый дух.* — Берлинская поговорка, пародирующая начало евангельской церковной песни Иоганна Риста (1607–1667) «Взбодрись, мой слабый дух» (1642). В 1927 г. в канун Рождества — 25 декабря — в «Берлинер тагеблат» было напечатано эссе Дёблина с этой берлинской поговоркой в заголовке.

³⁰ *Цоппот* — морской курорт в Данцигской бухте.

³¹ *Великую блудницу, имя же ей Вавилон ~ жена упоена кровию праведных.* — Ср. с Откровением Иоанна Богослова (см.: Откр. 17: 1–6); этот пассаж из Апокалипсиса становится в дальнейшем одним из лейтмотивов в БА (см. с. 204–205, 235, 307, 341, 346, 357–358 наст. изд.). В литературе и искусстве XX в. — прежде всего у экспрессионистов — с Вавилоном ассоциировались большие индустриальные города. Слово «город» (Stadt) в немецком языке женского рода, что только подчеркивало связь между двумя образами — большого города и Вавилонской блудницы. Художники и графики того времени нередко символически изображали город в виде обнаженной женщины. См. также примеч. 18 к книге пятой.

³² *Платье делает человека...* — Ставшее в немецком языке крылатым выражением название новеллы (1866) швейцарского писателя Готфрида Келлера (1819–1890).

³³ *Мюнцгоф* — пивная на Мюнцштрассе.

³⁴ *Как выглядел щит Ахиллеса... я не могу описать в точности...* — Наиболее полно образ одного из героев Троянской войны Ахилла воспроизведен Гомером в «Илиаде»: в песнях XVIII и XIX эпической поэмы обстоятельно описываются доспехи, полученные Ахиллом от бога Гефеста. В XVIII в. это гомеровское описание играло важную роль в дебатах немецких просветителей о подражательных возможностях различных искусств, особенно у Лессинга в его трактате «Лаокоон, или О границах

живописи и поэзии» (1766). Дёблин считал это место поэмы одним из самых значительных достижений литературы и непревзойденным образцом для подражания (см. его статью «Признание натурализму», 1920).

³⁵ *Американское заведение для утюжки мужского платья...* — Телефонная книга Берлина за 1928 г. содержит адреса шести подобных заведений, но ни одно из них не находилось там, где фланируют ФБ и Эмми.

³⁶ *Врага мы победили в открытом бою ~ тратата!* — Слова одной из военных песен того времени; источник не установлен.

³⁷ *...Только кто работает, тот и ест.* — Пословица восходит ко Второму Посланию к Фессалоникийцам апостола Павла, ср.: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3: 10).

³⁸ *«Кругосветный путешественник! ~ Иоганн Кирбах».* — Дёблин весьма точно приводит содержание фотооткрытки, на которой изображен сам Кирбах (приложена к рукописи), сократив ее текст.

³⁹ *...утвердивши форму в тесте, обожженную огнем.* — Пародия на «Песнь о колоколе» Ф. Шиллера. Ср. в пер. И. Миримского: «Вот уж форма затвердела, | Обожженная огнем».

⁴⁰ *Иоганн, мой Иоганн ~ настоящий ты мужчина.* — Переиначенные слова популярной фривольной песенки тех лет, автор которой неизвестен, «Иоганн неутомимый, настоящий ты мужчина». «Иоганн» — распространенный в то время эвфемизм, обозначающий половой член.

⁴¹ *«Кошмарная семейная драма в Западной Германии ~ она сделала это сама, еще до него.* — Дёблин, по всей видимости, пародирует газетный стиль того времени; статьи с таким названием и содержанием в «Берлинер цайтунг» не было.

⁴² *Обманщик... я решила утопиться в канале... Юлия.* — Упоминаемое имя героини статьи («Юлия»), ее смерть («решила утопиться в канале»), форма обращения к мужу (письмо) и реакция строительных рабочих (см. след. абзац: «если... такое... прочитать в книжке, то и сам заплачешь») дают возможность предположить, что Дёблин не без сарказма пародирует стереотипы сентиментального искусства, основы которого заложил в частности Ж.-Ж. Руссо своим романом «Юлия, или Новая Элоиза», в котором Юлия умирает, простудившись в холодной воде. Смерть в воде была одним из излюбленных способов самоубийства героинь сентиментальных романов.

⁴³ *Когда вы замечаете у себя на рукаве первую дырку... пора позаботиться о новой костюме.* — Предположительно реклама магазина мужской одежды.

⁴⁴ *...аллея черных деревьев...* — Один из повторяющихся образов в романе (см., напр., с. 276 и след. наст. изд.).

⁴⁵ *Железный крест* — знак отличия, введенный прусским королем Фридрихом Вильгельмом III во время освободительной войны против Наполеона в 1813 г. С 1914 г. Железным крестом отмечались солдаты, проявившие особую храбрость на фронтах Первой мировой войны.

⁴⁶ *...погиб во время беспорядков в 1922 году...* — Имеется в виду кровавое столкновение между сторонниками Коммунистической партии Германии и полицией 2 мая 1922 г. перед берлинской ратушей, приведшее к человеческим жертвам.

⁴⁷ *Вестен* — западная часть города.

⁴⁸ Ж. к. — См. примеч. 45.

⁴⁹ *Бернау* — окраина на севере Берлина, известная своими целебными источниками.

⁵⁰ *...ее зовут Эмилией Парзунке, но ей хотелось бы, чтоб ее звали Соней... потому что у нее такие русские скулы.* — Во многих произведениях Дёблина центральным женским образом является «благородная проститутка» (напр., женские персонажи в романе «Три прыжка Ван Луны»), типаж, ставший популярным в европейской литературе рубежа XIX—XX вв. Одним из первых, кто ввел подобных героинь в литературу, был Ф.М. Достоевский, и, видимо, не случайно одно из имен, которым называют Эмилию Парзунке в БА, — Соня — напоминает о Соне Мармеладовой, героине «Преступления и наказания».

⁵¹ *...не было ни одной, которую звали бы Марией...* — Еще одно прозвище героини — Мария — отсылает к библейской кающейся блуднице Марии Магдалине.

⁵² *...с тех пор он называет ее своей «Мици»...* — Имя Мици (Mieze) — уменьшительно-ласкательная форма имени Мария, это также имя героини ранней пьесы Дёблина «Графиня Мици» (1909) в основу которой легли материалы нашумевшего в 1908 г. уголовного процесса о проституции. Ср. с названием комедии Артура Шницлера «Графиня Мици, или Семейный день» (1908).

⁵³ *...Штреземан собирается поехать в Париж...* — Министр иностранных дел Веймарской республики Густав Штреземан (1878—1929) подал в отставку 25 июля 1928 г.; несмотря на отставку, он, однако, поехал в Париж на подписание пакта Келлога (см. примеч. 75 к книге пятой).

⁵⁴ *...в Веймаре обваливается потолок в здании телеграфа...* — Заметка из газеты «Форвертс», номер за 25 июля 1928 г., рассказывала о том, что в здании Веймарского телеграфа по неустановленным причинам обвалился потолок.

⁵⁵ *...безработный — пускает и себе пулю в лоб.* — Заметки с таким содержанием берлинские газеты в июле не печатали; скорее всего, выдумка Дёблина.

⁵⁶ *...гибель от неизвестной причины всей рыбы в Белом Эльстере.* — Заметка о загадочной гибели рыбы в Шпрее (а не в Эльстере) была напечатана в газете «Берлинер тагеблат» 26 июля 1928 г.; Эльстер — один из притоков реки Заале на востоке Германии.

⁵⁷ *Франц... стоит перед ломбардом на Альте-Шенгаузерштрассе...* — Телефонная книга Берлина за 1928 г. сообщает о 100 городских ломбардах, но ни один из них не находился на Альте-Шенгаузерштрассе. Два ломбарда находились на соседней улице — Нойе-Шенгаузерштрассе.

⁵⁸ *Аллаш* — ароматный ликер, настоянный на тмине, анисе, укропе и прочих травах. Изначально производился в пригороде Ричи, по которому и был назван.

⁵⁹ *...Мици сидит в белом платье...* — Интерпретаторы возводят мотив «белого платья» у Дёблина к образам Шарлотты в романе И.-В. Гёте «Страдания юного Вертера» (Шарлотта, возлюбленная главного героя, одета в белое платье, когда тот видит ее в первый раз) и Анны из романа Г. Келлера «Зеленый Генрих» (1855); и у Гёте, и у Келлера белое платье героини выступает своего рода эмблемой соединения любви и смерти (см.: Ogasawara 1996: 136).

⁶⁰ *Свинемюнде* — ныне польский город Свиноуйсьце: приморский бальнеогрязевой курорт на острове Узедом (польск. Узнам), недалеко от Щецина на Балтийском море.

⁶¹ *Мюггелъзее* — озеро в живописной местности недалеко от Берлина.

⁶² *Германское государство есть республика...* — Пародия на первый параграф конституции Веймарской республики, десятилетие со дня принятия которой отмечалось в августе 1928 г.

⁶³ *Апаш* — мужская рубашка с открытым воротом и отложным воротником.

⁶⁴ *В конце концов мы тут вовсе не для того, чтобы говорить на ветер.* — Следующий пассаж до слов «анархию и самовластие!» (с. 216 наст. изд.), как видно из рукописи романа, основывается на аутентичном тексте выступления одного из ораторов на каком-то политическом собрании (конспект доклада приложен к рукописи); речь, скорее всего, идет о собрании, приуроченном к выборам в рейхстаг 1928 г. (см. примеч. 26 к книге пятой). Дёблин прекрасно знал работы теоретиков анархизма: М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина, Г. Ландауэра и др.; следы идей анархистов можно обнаружить в его произведениях и теоретических работах. Очевидно влияние на Дёблина работ князя Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921), которые в начале 1900-х годов выходили на немецком языке в переводе Густава Ландауэра (1870–1919). Особенный интерес к «гуманистическому анархизму» Дёблин стал проявлять после Ноябрьской революции, по мере того, как он разочаровывался в политическом развитии Веймарской республики. В эссе «Немецкий маскарад» Дёблин — в духе анархистской мысли — противопоставляет «кайзеровской немецкой республике» (как он называет Веймарскую республику) «плюралистическое, децентрализованное, демократическое» государство. Исследователь Д. Рейд, первым из исследователей творчества писателя указавший на сочувственное отношение Дёблина к анархизму, обращает внимание на то, что эпизод с собранием анархистов фактически находится посередине книги, и делает из этого соответствующий вывод:

<...> если обратить внимание на то, что эпизод с анархистом является центральным, то тогда становятся понятными и формальные качества новеллы <...>. Техника монтажа и свободные ассоциации являются абсолютно естественным способом построения романа, где анархизм, но не анархия, является доминирующим принципом поэтики (Reid 1967: 222).

⁶⁵ *...благодать же свыше сходит!* — Парафраза последней строки первого четверостишия стихотворения Ф. Шиллера «Баллада о колоколе». Ср. в пер. И. Миримского: «Труд наш, если Бог поможет, | Славу мастера умножит».

⁶⁶ *Тогда все колесики государственного механизма останавливаются.* — Парафраза рефрена «Гимна для всеобщего германского рабочего союза» (1863), слова которого были написаны немецким поэтом Георгом Гервегом (1817–1875). Гервег был близким другом русского анархиста М. Бакунина (1814–1876).

⁶⁷ *Существующий общественный порядок ~ Пробудитесь...* — Дёблин дословно цитирует содержание одной из анархистских листовок (приложена к рукописи); автор текста и происхождение листовки неизвестны.

⁶⁸ *Пфаффеншипель.* — Газета «Пфаффеншипель» с подзаголовком «Еженедельная газета против социал-реакционного клерикализма» выходила в Берлине с 1927 по 1929 г.

⁶⁹ *Шварце фане* («Черное знамя») — газета пацифистской направленности; издавалась в Берлине в 1925–1929 гг.

⁷⁰ *Атеист*. — Газета «Атеист» выходила в Лейпциге с 1905 по 1933 г., являлась официальным печатным органом «Союза вольнодумцев Австрии и Общества пролетарского свободомыслия в Германии».

⁷¹ ...под заголовком *Культура и техника пишут...* — По всей видимости, далее Дёблин цитирует статью «Культура и техника», опубликованную в одной из вышеуказанных газет; источник Дёблина точно установить невозможно, поскольку большинство номеров этих газет не сохранилось.

⁷² ...*Крупп в Эссене или Борзиг...* — Члены семей промышленников Круппа и Борзига принадлежали в то время к богатейшим людям Германии. Фридрих Крупп основал в 1811 г. сталелитейное производство в Эссене. Август Борзиг открыл в 1836 г. в Берлине (на Шоссештрассе, а затем в Тегеле) машиностроительный завод, на котором собирались локомотивы (с 1841 г.), а также другие сложные машины и станки. Завод Борзига в Тегеле был одним из самых больших в Европе, а фирма Борзига — одним из главных работодателей для жителей прусской столицы (отсюда прозвище членов семьи Борзига — «короли Берлина»).

⁷³ *СПД* (нем. SPD) — Социал-демократическая партия Германии. Одна из старейших немецких политических партий, основана в 1863 г.

⁷⁴ ...и должен я плакать и стенать на горах и сетовать при стадах в пустыне, ибо... все погибло. — Ср. с соответствующим местом в библейской Книге пророка Иеремии: «О горах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах — рыдание, потому что они выжжены, так что никто там не проходит, и не слышно блеяния стад: от птиц небесных до скота — все рассеялись и ушли» (Иер. 9: 10).

⁷⁵ *И превращу Иерусалим в груды камней... и опустошу города Иудеи, чтоб никто в них не жил.* — Ср.: «И сделаю Иерусалим грудой камней <...>» (Иер. 9: 11).

⁷⁶ *Вставай, проклятым заклейменный, весь мир голодных и рабов.* — Начало «Интернационала». См. примеч. 145 к книге второй.

⁷⁷ *Никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой.* — Еще одна цитата из «Интернационала». См. примеч. 76; примеч. 145 к книге второй.

⁷⁸ *Грошен* — мелкая монета в Германии, равнялся 12 пфеннигам.

⁷⁹ *Они встречаются... в Мокка-фикс на Мюнцштрассе...* — Дёблин дважды (см. также с. 321) сообщает неправильный адрес: кафе «Мокка-фикс» находилось на Фридрихштрассе.

⁸⁰ *«Роте фане»* («Красное знамя») — газета, основанная Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом. Была центральным печатным органом Коммунистической партии Германии («Союза Спартака»), выходила ежедневно с 1918 по 1933 г. В романе уже цитировались статьи из этой газеты (см. примеч. 156, 159 к книге второй).

⁸¹ *«Арбайтслюзен»* (правильнее «Арбайтслюзе») — газета анархистского «Союза свободных рабочих», выходила в Дрездене с 1921 по 1932 г.

⁸² ...*покровитель... устроил для нее... комнату, в которой живут... две обезьянки.* — См. примеч. 38 к книге первой.

⁸³ *Вы не мечтаете о той чудной минуте, когда вас коронуют королевой Пиксафона.* — Летом 1928 г. фирма «Пиксафон» проводила очередную акцию по выбору

«королевы Пиксафона»; текст объявления, который дословно приводит Дёблин, был напечатан почти во всех берлинских газетах. См. также примеч. 32 к книге четвертой.

⁸⁴ *Я удивляюсь, как это вы ухитряетесь... выбрасывать на рынок... папирсы по такой низкой цене.* — Отрывок рекламного текста; источник не установлен.

⁸⁵ *Ах, как чудно пахнет! Чудесный запах белой розы, скромный... и все же достаточно сильный, чтобы проявить все свое богатство.* — Дёблин пародирует рекламу косметики, в большом количестве размещавшуюся в бульварных газетах.

⁸⁶ *Ах, жизнь американской кинодивы... значительно отличается от той, которую рисуют созданные вокруг нее легенды.* — Писатель пародирует стиль статей в иллюстрированных бульварных газетах, в первую очередь «Грюне пост». См. примеч. 13.

⁸⁷ *В темных дебрях Абрудпанты ~ Богу души посвятив.* — Текст был вырезан из книги или журнала и вклеен в рукопись романа; источник установить не удалось.

⁸⁸ *...умный человек верит только в Штирнера и Ницше...* — В своем главном труде — «Единственный и его собственность» (1845) немецкий философ Макс Штирнер (наст. имя Каспар Шмидт; 1806—1856) проводил идею «крайнего солипсизма». В конце XIX в. его работы приобрели чрезвычайную популярность, Штирнера стали рассматривать как предтечу Фридриха Ницше (1844—1900). В отличие от Штирнера, труды которого не вызвали у Дёблина особенного интереса, работы Ницше произвели на писателя сильное впечатление. В юности Дёблин называл его одним из своих кумиров (вместе с Клейстом и Достоевским); с произведениями Ницше Дёблин познакомился еще будучи гимназистом. В 1902 и 1903 гг. он написал два пространных эссе, посвященных критическому разбору работ Ницше «Воля к власти» и «Генеалогия морали» (Дёблин критиковал в первую очередь «недопустимое», по его мнению, соединение у Ницше «метафизики и эмпирии»). Следы влияния ницшеанской философии можно найти практически во всех произведениях писателя (при том что Дёблин не раз заявлял: «Я не ницшеанец!»).

⁸⁹ *Мне, брат, дела нет до марксизма.* — В годы написания БА Дёблин еще с симпатией относился к теории К. Маркса (см. эссе писателя «Знать и изменять!», 1931); он, однако, отвергал марксистское представление о классовой борьбе, придерживаясь «домарксистской» точки зрения на социалистическое общество как на общество «человеческой индивидуальной свободы и спонтанной солидарности» (Döblin 1972: 142). С 1929 по 1933 г. писатель посещал семинары «Кружка критического марксизма», которые проводил известный политический деятель, теоретик Коммунистической партии Германии Карл Корш (1886—1961).

⁹⁰ *Английская болезнь* — рахит.

⁹¹ *Погоди-ка, друг, до лета... скоро смерть возьмет тебя.* — Популярнейшая в Веймарской Германии песенка о ганноверском маньяке Фрице Хаармане, слова которой были положены на музыку шлягера В. Колло из оперетты «Мариетта» (1924); у Колло припев начинался словами: «Подожди еще немного | Скоро будешь счастлив ты». Брошюра о процессе над Хаарманом «Хармаан. История оборотня», приговоренным к смерти и казненным в 1925 г., вышла в той же серии «Аутсайдеры общества. Преступники наших дней», для которой Дёблин написал свое эссе «Подруги-отравительницы». См. также примеч. 26.

⁹² *Берлинер арбайтер цайтунг* — еженедельная газета, издававшаяся Национал-социалистической рабочей партией Германии.

⁹³ *...марксистский тайный трибунал, чешский еврей — растлитель малолетних...* — Заголовки на передовице номера «Берлинер арбайтер цайтунг» за 19 августа 1928 г.

⁹⁴ «Новый мир». — См. примеч. 97 к книге второй.

⁹⁵ *Пей, братец мой, пей ~ станет вся жизнь веселей.* — См. примеч. 98 к книге второй.

⁹⁶ *И вот уж и горы ~ алмлуйя.* — Дёблин пересказывает ветхозаветную историю об Аврааме и Исааке (см.: Быт. 22: 1–12). Как и в случае с историей об Иове в книге четвертой БА, писатель довольно свободно обращается с библейским материалом.

⁹⁷ *Роминтенерштрассе* — улица в берлинском районе Шарлоттенбург.

⁹⁸ *И вот сидит на водах великий Вавилон ~ губы, залитые кровью.* — См. примеч. 18 к книге пятой.

⁹⁹ *Когда по улицам идут солдаты, все девушки из окон вслед глядят им...* — Парофраза текста песни из фарса А. Козмара (1805–1841) «Морские разбойники» (1839). См. также с. 235, 239, 241 наст. изд.

¹⁰⁰ *...ветер веет, где хочет.* — Ср. с Евангелием от Иоанна: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит <...>» (Ин. 3: 8). См. далее описание бури и ветра в сцене убийства Миши (см. с. 285–286 наст. изд.).

¹⁰¹ *... читает об олимпийских играх...* — Олимпийские игры в 1928 г. проходили в Амстердаме с 29 июля по 12 августа. Подробные репортажи с них можно было прочитать в газете «Грюне пост».

¹⁰² *...тыквенные семечки служат прекрасным средством против глистов.* — Очевидно, текст рекламного объявления.

¹⁰³ *Конгресс игроков в скат в Альтенбурге...* — По всей видимости, текст рекламного объявления; источник неизвестен. Альтенбург — город на востоке Германии.

¹⁰⁴ *Кругосветное путешествие за 30 пфеннигов в неделю, включая все расходы...* — Дёблин дословно приводит рекламу немецкого еженедельного журнала «Дюрх алле вельт» («Вокруг света»), размещенную в газете «Грюне пост» 13 ноября 1927 г.

¹⁰⁵ *Вот пуля пролетела ~ как будто это я.* — Слова из «Утренней песни всадника». См. также примеч. 1 и 4 к книге третьей.

¹⁰⁶ *И пришли волхвы с востока...* — Неточная цитата из Евангелия от Матфея: «<...> Пришли в Иерусалим волхвы с востока <...>» (Мф. 2: 1).

¹⁰⁷ *Трагедия на дне морском, гибель подводной лодки.* — О гибели итальянской подводной лодки во время маневров в Средиземном море немецкие газеты сообщали 8 августа 1928 г.; погиб 31 член экипажа.

¹⁰⁸ *Падение двух военных самолетов.* — Сообщение об авиакатастрофе является вымыслом Дёблина. «Тревожные новости» о подводной лодке и о столкновении самолетов, предвещают убийство Миши в следующей книге.

КНИГА СЕДЬМАЯ

¹ *А вы слышали о трагической судьбе летчика Безе-Арнима?* — Далее Дёблин достаточно свободно пересказывает репортаж криминальной хроники, опубликованный в газете «Берлинер цайтунг» за 15 августа 1928 г. Нетрудно заметить, что писатель акцентирует внимание на тех моментах этой истории, которые представляют

ся существенными в общем контексте романа (аферизм, проституция, смена имени и т. д.). Рассказ о летчике перекликается с дальнейшими событиями в книге седьмой: «любовным треугольником» между Биберкопфом, Рейнхольдом и Мици, а, кроме того, фраза: «<...> трагедия летчика <...> под чужой фамилией попавшего в тюрьму» (с. 244 наст. изд.) — недвусмысленно указывает на историю Рейнхольда (см. книгу восьмую).

² *...последний акт этой трагедии еще впереди.* — 6 сентября 1928 г. выпущенный под залог на время следствия летчик Эдгар Безе убил Пусси Уль, после чего покончил с собой. Об этом на следующий день рассказала газета Социал-демократической партии Германии «Форвертс» (номер за 7 сентября 1928 г.). См. также примеч. 1.

³ *Фон Арним* — фамилия старого прусского дворянского рода, к которому принадлежал, в частности, писатель-романтик Людвиг Ахим фон Арним (1781—1831), известный, кроме литературных трудов, своей благородной красотой.

⁴ *Наплыв американцев в Берлин продолжается.* — Далее Дёблин дословно цитирует статью из газеты «Берлинер цайтунг» за 14 августа 1928 г.: текст статьи был вырезан и вклеен в рукопись. В 1920-е годы Берлин с его атмосферой вседозволенности, сексуальной распушенности, ощущением «веселого апокалипсиса» привлекал огромное количество американцев, причем туда приезжали не только туристы, там поселялись американские звезды музыки и кино, художники и писатели. Не стоит забывать также то обстоятельство, что промышленность Германии после Первой мировой войны во многом восстанавливалась на американские деньги и что разрушенная войной страна представляла собой исключительно важный рынок сбыта для американских товаров и многие американские компании имели в Берлине крупные представительства.

⁵ *Межпарламентский союз* — одна из старейших международных организаций; основана Францией, США и Швейцарией в Париже в 1889 г. Ее цель — налаживание связей между парламентами различных государств, развитие демократических институтов, борьба за мир и защита прав человека. Во времена Дёблина членами союза были уже более 1000 парламентариев.

⁶ *Брандмайор* — начальник пожарного департамента города.

⁷ *... министр труда Дэвис...* — Джеймс Дэвис (1873—1947) — министр труда США с 1921 по 1930 г.

⁸ *Адлон.* — Отель «Адлон» (и упоминаемый ниже отель «Эспланада») находится в центре Берлина, недалеко от Тригартена; в них не раз останавливались представители европейской и американской элиты.

⁹ *Клод Монтефьоре.* — Клод Джозеф Голдсמיד Монтефьоре (1858—1938) — еврейско-английский религиозный мыслитель, один из крупнейших еврейских деятелей своего времени, реформатор иудаизма и противник сионизма, основатель так называемого британского либерального иудаизма. С 1926 г. возглавлял Всемирный союз прогрессивного иудаизма.

¹⁰ *Эспланада.* — См. примеч. 8.

¹¹ *За дверями заседание — он должен быть здесь.* — Источник, который использовал Дёблин для написания этого пассажа романа, неизвестен; скорее всего, писатель использовал конспекты настоящих протоколов судебных заседаний тех лет, изменив имена участников.

¹² *Дорогой Фердинанд, твои оба письма ~ С приветом, Анна.* — Текст оригинального письма; письмо приложено к рукописи БА.

¹³ *Со вчерашнего дня я чувствую себя... лучше ~ на душе.* — «Дневниковые записи» представляют собой аутентичные фрагменты исповедальных писем к Дёблину одной из его пациенток, Шарлотты Крётч; писатель подверг их лишь незначительной редактуре.

¹⁴ *...целую руку вам, madame...* — Этими словами начинается танго Ральфа Эрвина (1896—1943), которое исполнял тенор Рихард Таубер (1891—1948). В 1928 г. это танго было настолько популярным, что уже 17 января 1929 г. в Берлине прошла премьера фильма с таким же названием, главную роль в котором сыграли Таубер и Марлен Дитрих.

¹⁵ *Зигрид Онегина* (1891—1943) — знаменитая шведская оперная певица; в апреле 1928 г. она была в Берлине и принимала участие в концерте оркестра под управлением Б. Вальтера (упоминание об этом концерте см. с. 167 наст. изд.).

¹⁶ *По каковой причине ~ признана соответствующей.* — Очередная интерполяция. По всей видимости, Дёблин цитирует оригинальный документ.

¹⁷ *Коль у тетушки запоры, ей полезны помидоры.* — Припев популярного фокстрота Вальтера Колло на слова Германа Фрея.

¹⁸ *Приди, приди ко мне на грудь, сердце-радость моя.* — Дёблин пародирует слова одного из гимнов Армии Спасения, причем здесь — с очевидным гомосексуальным подтекстом. См. также примеч. 19.

¹⁹ *О грешник, не медли, к Иисусу приди ~ к славной победе тебя приведет.* — Слова первой строфы гимна Армии Спасения; оригинальный текст принадлежит Уильяму Буту.

²⁰ *Франц Кириш... бежал месяца два тому назад, в начале июня...* — Грабитель и аферист Франц Кириш, бежал из тюрьмы 3 июля 1928 г., о чем сообщили берлинские газеты, но уже в конце августа было снова схвачен.

²¹ *Рейникенсдорф* — район на севере Берлина.

²² *Общее состояние погоды ~ постепенное потепление.* — Прогноз был вырезан Дёблином из газеты и вклеен в текст рукописи; вырезанный прогноз, как установлено исследователями, не относится к лету 1928 г. См. также примеч. 58 к книге первой.

²³ *Конфекцион* — готовое платье и белье; магазин, торгующий этими товарами.

²⁴ *Живи и жить давай другим.* — Крылатое выражение, которое впервые встречается в переписке И.-В. Гёте и немецкого композитора и педагога К.-Ф. Цельтера; Гёте приписывал это высказывание Кристофу Мартину Виланду (1733—1813); Ф. Шиллер употребляет его в своей драматической поэме «Лагерь Валленштейна» (ч. I, явл. 6). Ср. в пер. Л. Гинзбурга: «Сам не робей и других не тревожь». Этот фразеологизм встречается и во французском языке.

²⁵ *...наш элегантный мазурик, который... умеет подражать голосам животных... Вальдемар Хеллер...* — Возможно, этот персонаж — еще один посланник Смерти, на что намекает способность Вальдемара Хеллера «подражать голосам животных» (черт может перевоплощаться в любое животное, кроме агнца и голубки), и то обстоятельство, что, ведя машину, Вальдемар переезжает собаку (как когда-то переехали Биберкопфа). Фамилию Хеллер (Heller) можно возвести к древнегерманскому корню helle — ад. Примечательно, что 4 апреля 1928 г. газета «Берлинер цайтунг»

сообщила о поимке грабителя, специализировавшегося на кражах одежды со складов, по фамилии Хелер (Heler).

²⁶ *Кроненштрассе* — улица на юго-западе Берлина, недалеко от центра.

²⁷ *Нойе-Вальштрассе* — улица в центре Берлина.

²⁸ ...*надо будет оставить ему тенистую бумажку рядом с контрольными часами.* — Сторожа в Берлине того времени обычно охраняли сразу несколько объектов и каждый свой обход отмечали на особых контрольных часах.

²⁹ ...*почем знать, когда-то еще придется свидетелься на зеленых берегах Шпрее?* — Дёблин цитирует слова припева популярной песни «На зеленых берегах Шпрее» Г. Вилкена (1835—1886) на музыку Р. Бьяля (1834—1881).

³⁰ ...*Герберту отдал долг за Магдебург.* — Дёблин противоречит себе: в книге шестой уже сообщалось, что Биберкопф отдал Герберту долг за лечение (см. с. 214 наст. изд.).

³¹ *Ты знаешь, для кого хранил я сердце чистым? ~ наш союз решен судьбой.* — Автор этой песни, цитируемой Дёблином, установить не удалось.

³² *Отель Балтикум.* — Имеется в виду отель «Балтикум» при Штеттинском вокзале в Берлине.

³³ ...*о какая радость быть солдатом!* — Дёблин пародирует слова популярной солдатской песни: «Так приятно быть солдатом, Розмари».

³⁴ *Вот, например, в Потсдаме ... жил человек, которого... называли «живым трупом»... Выкинул эту штуку некий Борнеман ~ зовется теперь Финке.* — Источник, на котором основывается этот эпизод, неизвестен; в любом случае в 1928 г. в Горке проживал некто по фамилии Финке, в 1930—1931 гг. по тому же адресу жил Отто Борнеман; после выхода БА разразился скандал: Борнеман подал в суд на писателя и издательство, требуя изменить в книге подлинные имена и фамилии. Скандал удалось замять лишь после того, как издатель Дёблина выплатил семье Борнеману 1300 рейхсмарок и поменял в новом издании фамилии и места, упоминавшиеся в книге. Нетрудно, однако, заметить, что и эта история перекликается с судьбой героев БА. Сюжет о «живом трупе» — аферисте, живущем по документам умершего человека, — пользовался популярностью в Веймарской Германии: в 1928 г. в Берлине была поставлена пьеса на схожий с дёблиновским сюжет, имевшая успех.

³⁵ ...*в Гражданском кодексе имеется такая статья: Внебрачный ребенок и его отец считаются не состоящими в родстве.* — Дёблин цитирует § 1589.2 Гражданского кодекса Германии того времени.

³⁶ *Кто-то мне говорил, что так делают теперь в России...* — Ироническая отсылка к сообщениям в немецких газетах того времени о весьма свободных нравах в коммунистической России (см., напр., труды австрийского психиатра Вильгельма Райха, который в конце 1920-х годов изучал в России психологию и быт в комсомольских коммунах).

³⁷ ...*Я в Гейдельберге сердца своего лишился.* — Парафраза текста шлягера Беды и Эрнста Нойбахов (музыка Фреда Раймонда) «Я в Гейдельберге сердце потерял»; написанная в 1925 г., эта песня была чрезвычайно популярна, и уже в 1926 г. на экраны вышел фильм, а год спустя в Вене был поставлен зингшпиль с тем же названием.

³⁸ *Неккар* — река на юго-западе Германии, приток Рейна.

³⁹ *Лайснер и К°* («Лайснер и К°») — сеть магазинов; главный находился на Лейпцигштрассе, 38.

⁴⁰ ...читайте журнал *Мода для вас*... — Непонятно, что за журнал имеется здесь в виду; модный журнал с таким названием в Германии не выходил.

⁴¹ *Хорасанские ковры* — дорогие ковры из провинции Хорасан с особым узором в виде орнамента из пальмовых ветвей.

⁴² «*Погоди, сперва ты дашь мне клятву ~ Еще раз сначала: клянусь*». — Дёблин пародирует сцену из трагедии немецкого писателя, автора монументальных драм на мифологические сюжеты Фридриха Геббеля (1813—1863) «Гит и его кольцо» (1856).

⁴³ *Крошэ* — то же, что и хук; прямой удар в боксе.

⁴⁴ *Среда, 29 августа*. — Анахронизм, вполне возможно, намеренный. До этого Дёблин уже говорил о 3 сентября (см. с. 262 наст. изд.) и о начале сентября (см. с. 255 наст. изд.). Кроме того, 29 августа 1928 г. было воскресенье.

⁴⁵ *Эркнер* — живописный пригород Берлина на реке Шпрее.

⁴⁶ *Рансдорф* — в то время рыбацкий поселок на берегу Мюггельзее.

⁴⁷ ...она его дама, в маске... — См. с. 306 наст. изд.

⁴⁸ *Мюггельхорт* — название кафе в Рансдорфе.

⁴⁹ ...*Карлуша, Карлуша, ведь ты мне всех милей, 128 дней из года подарю я тебе, и каждый из них с утром, с полднем и с вечером*. — Предположительно слова или парафраза текста одного из шлягеров того времени; к этому моменту ФБ знаком с Мици только 3 месяца.

⁵⁰ ...не видел ли кто некоего *Казимира Бродовича*. — Ср. с историей о Морошкевиче (см. с. 332—334).

⁵¹ *Фрейенвалде* — живописный курорт к северо-востоку от Берлина, на берегах реки Одер; знаменит своими лесами, зелеными холмами и минеральными источниками, одно из любимых мест отдыха берлинцев.

⁵² ...получишь от меня *коричневую тряпку?* — «Коричневой тряпкой» в Германии того времени называли купюру в 1000 марок.

⁵³ *Скажи мне ои, дитя, по-французски ~ что хочешь, дам тебе тогда!* — Скорее всего, текст одного из шлягеров того времени; точный источник цитаты не установлен.

⁵⁴ ...*В Швейцарии, в Тироле, слова Фрица Роллера и Отто Странского, музыка Антона Професа*. — Дёблин цитирует слова популярной песни и называет ее авторов.

⁵⁵ ...*ах, птички пели так чудно, так чудно*. — Слова заключительной строфы стихотворения Л. Уланда «О хорошем товарище», которая была досочинена анонимным поэтом в годы Первой мировой войны. См. также примеч. 151 к книге второй.

⁵⁶ *Всему... свое время ~ нет ничего лучше, как веселиться*. — Монтаж цитат из Екк-леснаста (см.: Екк. 3: 1—7; 12).

⁵⁷ *Нет ничего лучше под солнцем, как смеяться и веселиться*. — Начальные строки венской песни «Ночью, ночью так хитро улыбается луна».

⁵⁸ *Там наковальня, а кругом лавровый венок*. — О значении татуировки см. примеч. 51 к книге пятой.

⁵⁹ *Время родиться и умереть...* — См.: Екк. 3: 2. См. также примеч. 56.

⁶⁰ *Желто-красный свет вспыхивает на небе...* — Ср. с символикой красного и желтого цветов в романе (см. примеч. 6 к книге первой).

⁶¹ *Когда хочешь разломать дом, то нельзя братья за это голыми руками, надо взять копер или заложить под фундамент динамиту*. — Ср. со сценой, когда ФБ наблюдает, как сносят универмаг Гана (см. с. 133, 293 наст. изд.); теперь становится понятно, что эта сцена имела зловещий характер.

КНИГА ВОСЬМАЯ

¹ *Танни остался чемпионом мира... После этого Демпси выдыхается... Матч окончился в 4 часа 58 минут 23 сентября 1928 года.* — «Бой века», поединок между Джини Танни (1898–1978) и Джеком Демпси (1895–1983), популярнейшими боксерами своего времени, на самом деле состоялся ровно за два года до указанной Дёблином даты — 23 сентября 1926 г.; репортаж об этом бое под заголовком «Танни отправил Демпси в нокаут. Танни остался чемпионом мира» был опубликован в «Берлинер цайтунг» в июле 1928 г. 23 сентября Танни успешно защитил свой титул в Нью-Йорке, в бою против новозеландца Тома Хими, о чем сообщила 26 сентября «Берлинер цайтунг»; 15 августа «Берлинер тагеблат» написала о том, что Танни хочет оставить профессиональный спорт; в конце сентября «Берлинер цайтунг» сообщила в передовице о предстоящей свадьбе боксера.

² *...говорят... также и о рекордном перелете Кёльн–Лейпциг.* — Источник этого сообщения неизвестен; подобных сообщений в берлинских газетах того времени не было.

³ *...предстоит экономическая война между апельсинами и бананами.* — Источник этой цитаты не установлен; намек на бойкот немцами итальянских товаров, поводом для которого стали политические разногласия между Германией и Италией из-за Тироля в 1928 г.

⁴ *Каким образом растения защищаются от холода? ~ Сказанное относится и к плодам шиповника.* — Текст был вырезан писателем из газеты или журнала, незначительно отредактирован и вклеен в рукопись романа; источник не установлен; в контексте романа этот фрагмент представляет собой достаточно прозрачную аллегорию развития героя (ср. также с мотивом холодов в романе, напр., в книге пятой).

⁵ *...в Дунае утонули, катаясь на байдарке, два молодых человека из Берлина...* — Текст газетной заметки, вклеенный в рукопись; источник не установлен. В БА упоминается о том, что Биберкопф ездит иногда заниматься спортом в гребной клуб (см. с. 241 наст. изд.).

⁶ *...Нунгессер упал и разбился со своей «Белой птицей» у берегов Ирландии.* — Авиакатастрофа, о которой упоминает Дёблин, произошла в сентябре 1927 г. Таким образом, автор объединяет — умышленно или ненамеренно — в единый контекст происшествия самых разных лет. Шарль Нунгессер (1892–1927) — французский летчик-путешественник, легендарный ас первой мировой войны; его самолет «Белая птица» исчез во время попытки трансатлантического перелета Париж — Нью-Йорк. Ни самолет, ни останки Нунгессера не были найдены.

⁷ *...хотели линчевать венгерского премьер-министра... заголовок в газете гласил бы: «Линчевание венгерского премьер-министра...»... люди прочитали бы вместо «lunching», линчевание, — «lunching», угощение завтраком...* — Ни попытка линчевания премьер-министра Венгрии, графа Иштвана Бетлена (1874–1946), ни официальный прием-ланч с его участием не упоминаются в прессе того времени. Писателя, по всей видимости, занимают не сами по себе факты или точность хронологии, а практика и стиль бульварной прессы, соединяющей разнородные и несопоставимые по значимости события в едином контексте, а также то, что в этих событиях так или иначе отражается судьба главного героя.

⁸ *У Добрина.* — Недорогая кондитерская «У Добрина» в центре Берлина находилась недалеко от Александрплац.

⁹ *...за кассу, в Кассель!* — Игра слов, подобная игре слов Lutsch/Lutsch (см. примеч. 7). Название города Кассель в Центральной Германии по-немецки пишется почти так же, как и слово «касса» (Kassel/Kasse).

¹⁰ *...этот зародыш пользуется защитой закона.* — Имеется в виду закон, по которому аборт запрещался и приравнивался к уголовно наказуемому преступлению.

¹¹ *Универмаг Гана уже весь снесен...* — См. примеч. 14 к книге пятой.

¹² *И я обратился вспять, и увидел всю неправду ~ время — зашить и разорвать, сохранить и бросить.* — Инверсированный монтаж измененных цитат из книги Еккесиаста (ср.: Екк. 4: 1–2; 3: 6–7).

¹³ *...фабрика перевязочных материалов в одном дворовом флигеле на Штралауерштрассе.* — Согласно адресной книге Берлина за 1928 г., на Штралауерштрассе и в самом деле находилась такая фабрика: «Фирма М. Каннемана мл.».

¹⁴ *Он сидит в пивной на Александрквелье напротив Тица.* — Скорее всего, имеется в виду пивная «Ашингерс Бирквелле», одно из заведений Ашингера. См. также примеч. 16 к книге первой.

¹⁵ *...ты в союзе состоишь?* — Имеется в виду союз в дурном значении — банда.

¹⁶ *...сделал накатку...* — То есть «тайно донес», на уголовном жаргоне.

¹⁷ *Ах, в Швейцарии ~ высокие горы.* — Слова фокстрота «В Швейцарии и Тироле». См. также примеч. 54 к книге седьмой.

¹⁸ *Ехал отряд всадников ~ Вот почему тут эти люди.* — Дёблин пародирует стиль немецкого писателя Карла Майя (1842–1912), автора приключенческих романов об индейцах, популярных в те годы; Дёблин был знатоком такой литературы.

¹⁹ *Страшная катастрофа в Праге ~ собственноручно затормозил его.* — Сообщение об этом событии было опубликовано в «Берлинер иллюстрирте цайтунг» за 21 октября 1928 г.; Дёблин значительно изменил текст статьи. На том же развороте газеты можно найти и статью о «Графе Цепелине» (см. примеч. 21).

²⁰ *На Атлантическом океане бушует сильнейший шторм ~ задерживаются на месте.* — Писатель вклеил в рукопись метеорологическую сводку, вырезанную, по всей видимости, из какой-то газеты; источник не установлен. См. также описание бури во время убийства Мици (с. 285–286 наст. изд.). О функции сообщений о погоде в романе см. примеч. 58 к книге первой.

²¹ *Газеты уже и сейчас помещают в своих столбцах... статьи по поводу «Графа Цепелина» ~ Эккенеер не хочет напрасно подвергать его опасности.* — Как только инженер Гуго Эккенеер (1868–1954), сотрудник конструкторского бюро графа Фердинанда Цепелина (1838–1917) и директор цепелиновского завода, объявил о подготовке к первому перелету пассажирского дирижабля через Атлантику, в берлинской прессе началась истерия по поводу этого события. Успешный перелет большого дирижабля модели LZ 127 из Берлина в Нью-Йорк состоялся 11 октября 1928 г., а три дня спустя, 14 октября, «Берлинер иллюстрирте цайтунг» посвятила почти весь свой номер этому событию.

²² *...она... ездила в Берлин и ходила на танцумки, к Лестману...* — Танцевальный клуб «Салон Лестмана» находился по адресу: Шоссештрассе, 19.

²³ *А затем делают слепок с ее шеи и лица ~ бюст из какого-то материала, как будто целлулоида...* — Описание маски напоминает о популярнейшем в Европе 1920-х го-

дов предмете украшения интерьера — маске «Неизвестной из Сены» («L'Inconnue de la Seine»), тиражировавшейся в Германии в огромных количествах. Бронзовый, гипсовый или пластиковый слепок с лица и шеи неизвестной девушки, с зачесанными назад волосами и загадочной улыбкой, а также фотографии этой маски стояли в квартирах многих немцев (главным образом в спальнях). Происхождение маски стало излюбленной темой спекуляций, причем не только в бульварной литературе. Предполагали, что слепок был сделан в полиции с лица девушки, утонувшей в Сене или убитой маньяком и брошенной в реку; существовало также мнение, что в серийное производство маска была запущена скульптором-неудачником, который сделал слепок с лица своей дочери. «Неизвестной из Сены» посвящали свои произведения и серьезные авторы — например, австрийский драматург Эдён фон Хорват (1901—1938) (драма «Неизвестная из Сены»), Р.-М. Рильке (1875—1926). История «неизвестной» интересовала и Дёблина. В своем предисловии к фотоальбому Августа Зандера «О лицах и изображениях и об их подлинности» писатель упоминает эту маску (см. с. 442—443 наст. изд.). См. также ил. 24.

²⁴ *И обратился я вспать, и узрел всю неправду, творимую на земле.* — Измененная цитата из книги Екклесиаста. Ср.: «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем» (Екк. 4: 1).

²⁵ *А сколь много страдал Иов — и весьма много прислуги.* — Монтаж цитат из книги Иова (см.: Иов. 1: 2).

²⁶ *И пришел один из семи ангелов — И упоена жена кровию праведников.* — См.: Откр. 17: 1—6.

²⁷ *За печуркой сидит мышь, погоди ж.* — Слова припева популярнейшего шлягера «Папа, мама, дочка, братик» (1899), написанного Робертом Штейдлем, ставшие немецкой детской считалочкой.

²⁸ *...вот он, этот жнец... затем разевает пасть и берет трубу...* — Аллюзии на образы Откровения Иоанна Богослова: зверь из моря с пастью, как у льва (см.: Откр. 13: 2) и трубы (см.: Откр. 8: 1, 6).

²⁹ *Ева слышит скрежет Францевых зубов...* — «Скрежетание зубов» — повторяющийся у Дёблина мотив, который встречается во всех больших произведениях писателя (см., напр.: Гамлет: 505).

³⁰ *...это какой-то жернов...* — Ср.: «И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле <...>» (Откр. 14: 19—20).

³¹ *И были это слезы тех, кто терпел неправду, и не было у них утешения.* — Измененная цитата из Книги Екклесиаста, ср.: «<...> и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет <...>» (Екк. 4: 1).

³² *По правую и по левую сторону его... шли два ангела, которые отклоняли от него взоры.* — Если Вавилонская блудница появляется в романе в сопровождении «семи ангелов Апокалипсиса», то здесь, возможно, по контрасту, рядом с ФБ идут два ангела-хранителя. Этот мотив Дёблин заимствует из ветхозаветной книги Бытия (см.: Быт. 19), а так же из каббалистических текстов.

³³ *И восхвалил я тогда мертвых, которые уже умерли.* — Ср.: «И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе» (Екк. 4: 2).

³⁴ *Байришерплац* — площадь в центре Берлина недалеко от Тиргартена.

³⁵ ...над ним кружат пять воробьев. Это пять отъявленных плутов и негодяев, которые уже частенько видели нашего Франца Биберкопфа. — Этот отрывок романа напоминает об эпической поэме Дёблина «Манас» (1927), где в главе «Поле мертвых» к герою слетаются птицы. В традиционных мифологических представлениях птицы воплощают души мертвых; воробей же обычно символизирует меланхоличность, низость, драчливость, жадность, похотливость. Пять негодяев — это, возможно, посланники смерти, уже появлявшиеся в БА. См. примеч. 105 к книге второй, примеч. 3 к книге третьей, примеч. 61 к книге четвертой, примеч. 89 к книге пятой, примеч. 25 к книге седьмой.

³⁶ Тауенцинпалас — Кинотеатр «Тауенцинпалас» находился недалеко от Кюрфурстендама, около Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, на так называемом «берлинском Бродвее».

³⁷ «Последние дни Франциско». — О премьере этого фильма газета «Берлинер тагеблат» сообщила 12 октября 1928 г. Оригинальное американское название фильма «Старый Сан-Франциско» (1927).

³⁸ Казино Егерского полка — танцевальный клуб на Егерштрассе, в центре Берлина.

³⁹ ...за букет сирени вы можете меня поцеловать. — Слова шлягера тех лет; точное авторство песни не установлено.

⁴⁰ Он идет на 41-м в Тегель. — Этот трамвайный маршрут соединял северную и западную части города. См. также примеч. 3 к книге первой.

⁴¹ За упокой наших умерших сограждан ~ родилось 42 696 человек. — Текст статьи, вырезанной из газеты и вклеенной в рукопись романа; источник Дёблина неизвестен; похожая заметка была напечатана 13 марта 1928 г. в газете «Берлинер тагеблат».

⁴² ...«Не могу больше жить ~ из-за него погибаю». — Дёблин полностью, лишь с небольшими отступлениями, цитирует прощальное письмо, написанное, по всей видимости, одной из его пациенток; оригинал письма приложен к рукописи.

⁴³ ...читать мне вслух Платона, Пир... — Имеется в виду «Пир», диалог древнегреческого философа Платона (428–348 до н. э.) о происхождении, природе и цели любви. Дёблин основательно изучил труды Платона во время учебы в Берлинском университете. Одно из главных произведений молодого Дёблина по теории литературы и музыки — «Разговор с Калипсо о любви и музыке» (1906; опубли. 1910) представляло собой подражание платоновским диалогам.

⁴⁴ Сократ (470–399 до н. э.) — древнегреческий мыслитель, один из основателей философии как отдельной дисциплины, учитель Платона (см. примеч. 43).

⁴⁵ ...в суде слушается дело Бергмана, который был... ни перед чем не останавливавшимся субъектом. — Заметка, выдержки из которой приводит Дёблин, была опубликована в газете «Берлинер цайтунг» 5 ноября 1928 г.

⁴⁶ Граф Цепелин прибывает в Берлин ~ сброшен первый причальный трос. — Монтаж цитат репортажа о «благополучном возвращении дирижабля из США в Германию», напечатанного в «Берлинер цайтунг» 5 ноября 1928 г. См. также примеч. 21.

⁴⁷ Дрезденерштрассе — улица на юго-востоке Берлина.

⁴⁸ Хорал № 66. — Слова хорала, написанные американским композитором, автором популярных песен Г.-Ф. Роотом (1820–1895), были вырезаны Дёблином из брошюры, распространявшейся Армией Спасения, и приложены к соответствующему месту в рукописи. Далее Дёблин цитирует три строфы хорала, причем первая и

третья строфы текста полностью соответствуют оригиналу, в то время как авторство второй строфы принадлежит, по всей видимости, самому писателю.

⁴⁹ *Поезжай-ка, брат, в Вульгартен...* — В Вульгартене, на востоке Берлина, находилась клиника для эпилептиков.

⁵⁰ *И вот идут рядом с ним два ангела, зовут их Саруг и Терах...* — Дёблин дает ангелам, упоминающимся в Ветхом Завете, измененные древнееврейские имена. Серух (Саруг) — сын Рагава из рода Сима, один из сыновей сын Ноя (см.: Быт. 11: 20). Фарра (Тирах) — внук Серуха (см.: Быт. 11: 24), предок Авраама. Ср. с образами двух евреев из книг первой и четвертой БА (см. с. 15–24, 106–107 наст. изд.).

⁵¹ *Лецитин* — средство, повышающее иммунитет и помогающее восстановить структуру нервной ткани; получают из мозга крупного рогатого скота.

⁵² *Адалин* — название барбитурата, успокоительного снотворного медикамента, применявшегося при неврастении, истерических припадках и расстройствах сна.

⁵³ *Фанодорм* — успокоительное средство, как и адалин (см. примеч. 52).

⁵⁴ *Если б я был птичкой...* — Слова немецкой народной песни, включенной К. Брентано и А. фон Арнимом в их сборник «Волшебный рог мальчика», и неоднократно перелавшавшуюся на музыку (в том числе К.-М. Вебером (1786–1826) и Ф. Абтом (1819–1885)).

⁵⁵ *«Мокка-фикс» ~ 2 яйца всмятку и бутерброд.* — Дёблин перечисляет надписи на табличках в кафе «Мокка-фикс».

⁵⁶ *...о радостная, о счастливая, идет песнь застольная по кругу.* — Начальная строка немецкой рождественской песни композитора Генриха Хольцшера (1798–1847).

⁵⁷ *...«О Зонненбург, о Зонненбург».* — Существует множество различных песен, посвященных берлинской тюрьме Зонненбург; в большинстве из них совпадает текст припева («О Зонненбург»). Дёблин в оригинале пародирует ритм и рифмы популярной немецкой рождественской песни о елочке («О, Tannenbaum»).

⁵⁸ *«Смерть кандалника ~ кто он такой.»* — Писатель целиком приводит стихи некоего Вальтера Экарта из Зальцведела (Саксен-Анхальт); на Экарта писатель ссылается на полях рукописи. Никаких биографических сведений об авторе стихов не найдено. О репликах, заключенных в скобки, см. примеч. 7 к книге первой.

⁵⁹ *На Рюккерштрассе грузовик останавливается... а вот и бар!* — Ни бара, ни пивной на Рюккерштрассе в те годы не было.

⁶⁰ *Ах, кто ж это сыр на вокзал покати... кто так подшутил?* — Слова припева популярного в те годы уанстепа Франца Штрассмана.

⁶¹ *Если невестою ты обладаешь ~ лишь бы ласкаться умела она.* — Дёблин, по-видимому, пародирует шлягер В. Колло «Если у барышни есть кавалер». См. примеч. 61 к книге первой.

⁶² *Полицейпрезидиум, 4-ое отделение...* — Отделение криминальной полиции, обслуживавшее берлинский район Пренцлауэрберг. Далее следует текст, представляющий собой монтаж различных полицейских документов (в первую очередь так называемого «Протокола о задержании»). Образцы бланков и формуляров прилагались к рукописи.

⁶³ *...а теперь мы пойдем, мы пойдем, а мы с песней пойдем и в другой ресторан.* — Первая строка популярной в Берлине песни; автор неизвестен.

⁶⁴ *...следовательно IA.* — Буквы IA, скорее всего, обозначают инициалы следователя.

КНИГА ДЕВЯТАЯ

¹ *Моабит*. — Об этой берлинской тюрьме на западе города Дёблин уже упоминал в книге пятой (см. с. 152 наст. изд.). См. примеч. 64 к книге пятой.

² *Моцштрассе* — большая улица на западе Берлина, в районе Шарлоттенбург.

³ *...настоящий убийца... сидит... в Бранденбурге...* — Имеется в виду берлинская тюрьма, находившаяся по адресу: Нойдорферштрассе, 90.

⁴ *Человек, говорят, предполагает, а Бог располагает...* — Поговорка восходит к библейскому афоризму: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Притч. 16: 9).

⁵ *...словно элемент, подвергнутый действию известного рода лучей, переходит в другой элемент.* — См. примеч. 131 к книге второй.

⁶ *Мекленбург* — историческая область на северо-востоке Германии.

⁷ *Вердер* — местность под Берлином, рядом с Потсдамом, известная своими живописными полями и садами.

⁸ *Психиатрическая больница в Бухе, арестантский барак.* — В психиатрической лечебнице Бух на северо-востоке Берлина Дёблин в течение двух лет (1906—1908 гг.) работал ассистентом. В одном из отдельных корпусов этой больницы (так наз. «арестантском бараке») находилось закрытое отделение психиатрического освидетельствования преступников.

⁹ *...ванны Франц принимал очень охотно...* — Символическая деталь, связанная с «очищением» героя. Ср. также с символикой воды в других произведениях Дёблина (см.: Гамлет: 504).

¹⁰ *Микроцефал* — человек с ненормально маленьким черепом и небольшим размером головного мозга при нормальных пропорциях остальных частей тела.

¹¹ *Троглодит* (букв.: пещерный человек (греч.)). — В своих естественнонаучных эссе Дёблин называл троглодитом «зоологического человека, лишённого божественного начала, “пра-основы”» (Döblin 1947: 138).

¹² *Дам, милый дам.* — Знаменитые слова песни из оперы английского композитора Говарда Пэйна «Клари, девушка из Милана» (1823).

¹³ *А деспот пирует в роскошном дворце ~ чертит уж рука роковая.* — В оригинале Дёблин использует немецкий текст песни композитора и дирижера Германа Шерхена (1891—1966) «Бессмертная жертва». Песня Шерхена, популярная в Германии в 1920-х годах, была, в свою очередь, переложением русской революционной песни на стихи А. Архангельского (ум. после 1893) «Вы жертвою пали...».

¹⁴ *Но падет произвол, и воспрянет народ ~ свой доблестный путь благородный.* — См. примеч. 13.

¹⁵ *Смерть палачам и супостатам...* — Слова первого куплета песни польских рабочих «Красное знамя».

¹⁶ *Женщина... на багряном звере. У него — семь голов и десять рогов.* — Еще одна аллюзия на библейский образ блудницы. См. примеч. 31 к книге шестой

¹⁷ *...вальному валя, спасенному рай...* — Устойчивое словосочетание, которое можно найти уже в словаре немецких выражений (1663) ученого XVII в. Ю.-Г. Шоттеля и которое не раз видоизменялось и пародировалось.

¹⁸ *Ступорозное состояние.* — Дёблин-психиатр дает достаточно впечатляющее, точное и подробное описание ступора, т. е. состояния обездвиженности с отсутствием

реакций на внешние раздражители. Состояние ступора, по Дёблину, является самым адекватным воплощением прежнего Биберкопфа: стоявшего «как скала», не желавшего ничего знать и менять в своей жизни, застывшего в своем развитии, несмотря на уроки и удары судьбы.

¹⁹ ...они склонны считать состояние Франца психогенным... — то есть вызванным психическими травмами. С психиатрической точки зрения, ступор Франца мог быть обусловлен как убийством Мици, так и «военным неврозом» (см. примеч. 18 к книге первой).

²⁰ ...болезненное состояние... которое можно... при помощи анализа, объяснить как возврат к древнейшим формам сознания... — Скорее всего, имеется в виду аналитическая психология и теория К.-Г. Юнга (1875–1961).

²¹ Молодые врачи имеют в виду проделать с Францем Биберкопфом нечто вроде Локарно. — Намек на 16 октября 1925 г., когда в швейцарском городе Локарно после обсуждения на конференции, инициированной германским министром иностранных дел Штресеманном, были парафированы несколько важных для Веймарской республики договоров. Основным документом стал гарантийный пакт, заключенный между Германией, Францией, Бельгией, Великобританией и Италией о неприкосновенности германо-французской и германо-бельгийской границ и сохранении демилитаризации Рейнской зоны. В данном случае молодые медики подразумевают, что подобно тому, как Локарнские договоры относительно безболезненно помогли Германии сохранить ее территориальную целостность в середине 1920-х годов, так и ступор Биберкопфа можно попробовать вылечить без применения физической силы.

²² Парадизация — применение низкочастотного переменного тока для лечения мышечных атрофий, вялых параличей и т. п.

²³ Говорят о том о сем. — Последующий разговор врачей о методах лечения Биберкопфа является отдаленной пародией на саркастический спор друзей Иова (см.: Иов. 3–31), а так же на «Пролог на небесах» из гётевского «Фауста» (см. прямую отсылку к Гёте, с. 343 наст. изд.).

²⁴ ...протокол последнего съезда в Баден-Бадене. — Конгресс психотерапевтов проходил в Баден-Бадене с 20 по 22 апреля 1928 г.

²⁵ Спирахеты — бактерии, возбудители сифилиса.

²⁶ ...мы ведь тоже помним... Гёте и Шамиссо... — Имеются в виду трагедия Гёте «Фауст» (1831) и новелла немецкого писателя Адельберта фон Шамиссо «Необычная история Петера Шлемиля» (1814, опубл. 1841), герои которых заключают пакт с чертом: Фауст продает Мефистофелю свою душу, а герой Шамиссо отдает черту свою тень.

²⁷ Кататонический ступор. — Кататония — психическое расстройство с преобладанием двигательных нарушений.

²⁸ ...вы посылаете приветственную телеграмму Фрейду в Вену... — Отношение Дёблина к учению венского психоаналитика З. Фрейда (1856–1938) было противоречивым: как профессиональный врач-психиатр он интересовался теорией и работами Фрейда, но во многом не принимал психоанализ, считая, что его можно применять лишь как побочный метод лечения (см.: Sander 2001: 342–343). В 1926 г., однако, выступая на вечере, посвященном семидесятилетию Фрейда, Дёблин назвал

его «вождем», открывшим науке путь в «королевскую область души» (т. е. бессознательное). Дёблин также ходатайствовал о присуждении в 1930 г. Фрейду престижной премии Гёте.

²⁹ *Смерть поет свою унылую, протяжную песнь.* — Название главы вызывает ассоциации с распространенным в искусстве мотивом пляски смерти (Totentanz); в стихах и на гравюрах на эту тему смерть изображалась в виде скелета со скрипкой в руках.

³⁰ *Шуберт, например, сочинял такие песни, Смерть и девушка...* — «Смерть и девушка» (1817) — одна из самых известных песен Франца Шуберта (1797–1828), она была написана на текст известного стихотворения «Смерть и девушка» поэта Маттиаса Клаудиса (1740–1815). В 1824 г. Шуберт сочинил знаменитый скрипичный квартет ре-минор с таким же названием.

³¹ *...наконец-то, наконец-то ты не хочешь больше оберегать себя.* — Слова Смерти напоминают об афоризмах ницшевского Заратустры: «Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не воздаёт ее: ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя»; «Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут они по мосту» (*Ницше Ф.* Так говорил Заратустра. Ч. 1. Предисловие Заратустры. 4. Пер. Ю.М. Антоновского под ред. К.А. Свасьяна.)

³² *Я — жизнь и подлинная сила...* — Намек на слова Иисуса в Евангелии от Иоанна: «Я есмь путь, и истина, и жизнь» (Ин. 14: 6).

³³ *...тапер играет Пупсик...* — Имеется в виду популярнейший шлягер «Пупсик, ты звезда моих очей» из поссе «Пупсик» (1912) Жана Жильбера (1879–1942) на либретто Альфреда Шёнфельда.

³⁴ *«Мадонна, ты прекрасней»* — первые слова припева слюфокса австрийского композитора Роберта Кэтчера (1894–1942) из реву «Полуночные поцелуи» (1925).

³⁵ *«Рамона»* — заглавная песня-танго из голливудского фильма (1928), снятого по популярному роману (1884) американской писательницы Хелен Хант Джексон.

³⁶ *В печь сажают хлеб.* — Следующий далее рассказ о хлебе переключается с судьбой самого Биберкопфа, с которым — после разговора со Смертью — происходит метаморфоза. Изменение Биберкопфа вполне соответствует тезису Дёблина тех лет: «Знать и изменять!» (по названию философско-политического трактата 1930 г.): знание своего места в мире помогает человеку разрушить архаическое представление о необоримой судьбе, разбивает одиночество, изоляцию индивидуума и дает ему возможность действовать, помогает осознать свою собственную, хоть и относительно по возможностям, силу.

³⁷ *И они входят...* — События этой главы напоминают последний акт немецких трагедий XVI–XVII вв., когда протагонист ведет диалоги с призраками и различными аллегорическими фигурами (напр., финалы трагедий А. Грифиуса «Екатерина Грузинская» (1650) или Д.-К. фон Лознштейна «Агрипина» (1665)).

³⁸ *Всему свое время — искать и рвать.* — См. примеч. 56 к книге седьмой.

³⁹ *Проиграла дело блудница Вавилон, Смерть осталась победительницей...* — В немецком языке слово «смерть» (der Tod) — мужского рода. Эта глава БА является одним из излюбленных предметов рефлексии комментаторов. Новейшие интерпретации романа рассматривают ее как одну из ключевых: в ней отражаются типичные представления того времени об опасной женской сексуальности (воплощением

которой является фигура Вавилонской блудницы), которую побеждает «мужской принцип» — насилие (см.: Tatar 1995: 132–152; Becker-Cantarino 1997: 367–374).

⁴⁰ *Вот река Березина и отступающие легионы.* — Аллюзия на события войны 1812 г., когда при переправе через белорусскую реку Березину (26–28 ноября) наполеоновская армия потеряла две трети своего состава (50 тыс. человек) и фактически перестала существовать как организованная сила.

⁴¹ *Шменде-Дам* — место к северо-востоку от Парижа, ставшее в начале 1917 г. ареной тяжелых боев между немецкой и французской армиями.

⁴² *Лангемарк* — фламандский город недалеко от Ипра. Бои за Лангемарк в 1914 г. были одними из самых жестоких и кровавых в Первой мировой войне; название города стало в националистских правых кругах синонимом героической смерти, а в риторике левых — символом напрасных жертв; кроме того, именно под Лангемарком и Ипром немецкие войска впервые применили во время сражения отравляющий газ.

⁴³ *Бодрым шагом в поход, с нами 100 музыкантов идет.* — Предположительно цитата из солдатской песни.

⁴⁴ *И в зарю, и в закат видим ранней смерти взгляд...* — Парафраз первых строк «Утренней песни всадника». См. примеч. 1 к книге третьей.

⁴⁵ *Ярко пылает печь ~ и тоже приемлет муку.* — В этом абзаце мотив метаморфозы в огненной печи (см. примеч. 36) соединится с апокрифическим ветхозаветным сказанием о семи братьях-мучениках и их матери, которых царь Антиох живыми приказал бросить в огонь (см.: 2 Макк. 7).

⁴⁶ *Анабаптисты* (или перекрещенцы) — сторонники радикального реформаторского движения, требовавшего повторного крещения в зрелом возрасте. Согласно воззрениям анабаптистов, крещение во младенчестве — это лишь формальность, и только публичное признание в грехе, покаяние и принятие веры, скрепленное крещением в зрелом возрасте, являет собой истинное крещение. Человек, как считали анабаптисты, не должен караться за грех до тех пор, пока он не осознает природу добра и зла и не станет способен проявить свободу воли в принятии либо отрицании крещения. Анабаптисты подвергались гонениям, почти все лидеры движения были казнены или умерли в тюрьмах.

⁴⁷ *Берегись, цветок голубой.* — Немного измененная последняя строка первой строфы из народной песни «Урожайная» в обработке А. Арнима и К. Брентано (в оригинале: «Hüt dich, schönes Blümelein», т. е. букв.: «Берегись, красивый цветок»). См. также примеч. 57 к книге пятой.

⁴⁸ *...он подпадает под действие § 51 Уголовного кодекса.* — Этот параграф определял невменяемость обвиняемого.

⁴⁹ *Отчизна, сохрани покой, не влипну я, я не такой.* — Строка из песни «Стражи на Рейне», проходящей лейтмотивом через весь роман. См. примеч. 24 к книге первой.

⁵⁰ *...давайте называть его Францем-Карлом Биберкопфом...* — Имя Карл восходит к древнескандинавскому корню, означающему «человек».

⁵¹ *...Берлин расположен на 52°31' северной широты ~ железная дорога.* — Сведения, которые Дёблин приводит также в своем предисловии к фотоальбому Марио фон Буковича «Берлин» (см. с. 375–376 наст. изд.), взяты из «Статистического ежегодника города Берлина» за 1927 г.

⁵² *Есть лишь один императорский город, есть только Вена одна.* — Слова песни на текст знаменитого немецкого кинорежиссера австрийского происхождения Фрица Ланга (1890–1976), посвященной Вене.

⁵³ *Заветная мечта женщины в трех словах, три слова заключают в себя все мечты женщины.* — Начало рекламного стихотворения; Дёблин вырезал его из газеты и вклеил в рукопись; предположительно анонс кинофильма.

⁵⁴ *Представьте себе, что какая-нибудь нью-йоркская фирма ~ простого тюбика.* — Парафраз одного из рекламных текстов того времени.

⁵⁵ *К чему тратить так много денег на чистку меховых вещей.* — Рекламный слоган того времени, источник не установлен.

⁵⁶ *Блестят, как солнце, сапоги. В чем дело? Это крем Эги!* — Рекламный слоган того времени.

⁵⁷ *...Цезарь Флайшлен, спокойно выслушал ругань... сказал «Брось ругаться! Имей солнце в сердце своем!»* — Дёблин пересказывает берлинский анекдот того времени а затем пародирует первые строки популярного «Стихотворения о солнце» Ц. Флайшлена (1864–1920), писателя-натуралиста, главного редактора популярного сатирического журнала «Пан»: «Впусти солнце в сердце свое, | И пусть за окном — дождь и метель». Слова этого стихотворения пели на мелодию популярного шлягера «Пришел май».

⁵⁸ *Мальц-экстракт* — то есть солодовый экстракт, широко применяемый в пищевой промышленности.

⁵⁹ *Настоящим имею честь предложить вам ~ по цене накладной.* — Текст рекламного объявления винного магазина, приложенный к рукописи; источник неизвестен.

⁶⁰ *Диодил* — медицинское средство, которое помогало бороться с высоким давлением и инфекциями кровеносной системы.

⁶¹ *...а как было бы хорошо, не суждено ей, значит...* — слова песни зингшпиля Виктора Несслера (1841–1890) «Трубач из Зекингена», написанного по мотивам эпической поэмы Йозефа Виктора фон Шеффеля (1826–1996) с таким же названием.

⁶² *Если будут бросать газовые бомбы...* — Намек на события Первой мировой войны.

ДОПОЛНЕНИЯ

В разделе «Дополнения» представлены: во-первых, работы Альфреда Дёблина, важные для понимания основных идей и поэтики романа, а также места, которое «Берлин Александрплац» занимает в творческой биографии писателя; во-вторых, критика романа, в том числе знаменитая статья Вальтера Беньямина «Кризис романа». Условно «Дополнения» можно разделить на четыре группы. В первой — материалы о Берлине, в них встречаются темы и образы, которые затем возникают в романе. Затем — наиболее известные критические отклики современников писателя о романе и ретроспективная оценка Дёблином самого известного своего произведения. Третья группа материалов — это литературная теория Дёблина, которую он сформулировал в конце 1920-х — середине 1930-х годов. Завершают «Дополнения» два автобиографических эссе.

*Альфред Дёблин*БЕРЛИН И ХУДОЖНИКИ
BERLIN UND DIE KÜNSTLER

Вместе с ответами нескольких деятелей искусства — художников Ганса Балусхека (1870—1935), Макса Пехштейна (1881—1955), поэтессы Эльзы Ласкер-Шюлер (1869—1945), писателя Бернгарда Келлермана (1879—1951) и др. ответ Дёблина на анкету о влиянии большого города на творчества, был напечатан в газете «Фозише цайтунг» за 16 апреля 1922 г. См.: Vossische Zeitung. 1922. № 180. 16. April. Beilage 1. S. 1.

Пер. выполнен по изд.: Döblin 1986: 37—40.

¹ *Во время войны я поневоле провел эксперимент: запертый на долгие... месяцы в маленьком провинциальном городке...* — В декабре 1914 г. Дёблин добровольцем ушел на фронт и два года прослужил военным врачом в лазарете в лотарингском городе Сааргемюнде.

² *Клеберплац* — центральная площадь Страсбурга.

³ *Эркнер* — зеленый пригород Берлина.

⁴ *Вальтерсдорфские шлюзы*. — Находятся недалеко от Эркнера.

⁵ *Только здесь я — человек...* — Гёте И.-В. Фауст. Ч. I, сц. «У городских ворот», 940. Ср. в пер. Н. Холодковского: «Здесь вновь человек я <...>».

⁶ *«Наслаждение развращает»...* — Гёте И.-В. Фауст. Ч. II. Акт IV, сц. «Высокий горный хребет», 10 259. Ср. в пер. Н. Холодковского: «А наслаждение только опошляет».

⁷ *...в районе Третьова прошли под Шпрее...* — Речь идет о так называемом «Шпреетуннеле» на юго-востоке Берлина.

⁸ АЕГ. — См. примеч. 15 к книге второй БА.

⁹ *Завод Борзига*. — Фирма «Борзиг», основанная в 1837 г., была в то время вторым в мире производителем локомотивов и паровых турбин. Завод в Тегеле был открыт в 1898 г.

¹⁰ *Самсон, которому нужны его волосы*. — Аллюзия на ветхозаветный сюжет. Самсон был наделен невиданной физической силой, с помощью которой одолевал своих врагов филистимлян, под чьим игом находился Израиль. Источник этой силы заключался в волосах, которые он не должен был стричь (см.: Суд. 13—16).

*Альфред Дёблин*К ВОСТОКУ ОТ АЛЕКСАНДРПЛАЦ
ÖSTLICHT UM DEN ALEXANDERPLATZ

Данный текст считается одним из ранних эскизов к БА. Ср., напр., приведенное здесь описание еврейского квартала и образ певца, распевającego гимн «Слава тебе, в победном венке», с гл. «На 41-м номере в город» книги первой.

Впервые опублик. в: Berliner Tageblatt. 1923. 52. Jg. № 458. 29. September.

Пер. выполнен по изд.: Döblin 1990: 298—302.

¹ *Слава... тебе в победном венке* (Heil Dir im Siegerkranz). – Вместе со «Стражей на Рейне» (см. примеч. 24 к книге первой) – неофициальный гимн кайзеровской Германии с 1871 по 1918 г. Песня была написана в честь датского короля Кристиана VII (1749–1808) немецким теологом и поэтом Генрихом Харрисом (1762–1802).

² *...юноша... в рубашке с шиллеровским воротником...* – Рубашки с таким воротником (отложным) были в моде со времен Первой мировой войны до конца 1920-х годов.

³ *«Магазинные ворюшки»* – название серии, скорее всего, выдуманное Дёблином.

⁴ *«Разврат в большом городе»* – сочинение прусского юриста Иоганна Вертхауэра (1866–1938). С 1919 г. Вертхауэр был сотрудником Института сексуальных наук Магнуса Гиршфельда (см. примеч. 69 к книге первой БА) и активно выступал за реформу семейного кодекса.

⁵ *«Зверобой»* – серия немецких приключенческих романов об индейцах, писавшихся анонимными авторами и продававшихся по 15 пфеннигов; выходила с 1915 по 1924 г. Название серии дал роман американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789–1851) «Зверобой, или Первая тропа войны» (1841).

⁶ *«Винога, последний из могикан»* – название серии дешевых романов об индейцах, регулярно выходившей с 1921 по 1924 г. Характерной чертой этой серии были красочные обложки с рисунками и крупными подписями.

⁷ *Ванзее* – название двух озер в берлинском округе Штеглиц–Целендорф и район у этих озер, любимое место отдыха берлинцев.

⁸ *«Фольксбюне»* – «Народный театр»; основан в 1890 г. с целью культурного просвещения немецкого рабочего класса. Здание театра в стиле «модерн» было построено в 1913–1914 гг. по проекту архитектора Оскара Кауфмана (1876–1953).

⁹ *«Слепой еврейчик. Пьеса в пяти актах Йозефа Латейнера»*. – Пьеса драматурга Й. Латейнера (1853–1935), одного из пионеров современного еврейского театра, автора многочисленных пьес на идише. Латейнер, румынский еврей по происхождению, эмигрировал сначала в Одессу, а затем в Америку, основал театр еврейской драмы, где спектакли шли исключительно на идише.

¹⁰ *«Силач Марко»*. – Марко – псевдоним немецкого режиссера Джо Штёкеля (1894–1959), а также имя главного героя его фильмов, популярных в 1920-е годы.

¹¹ *«Судьба достойной женщины»*. – По всей видимости, имеется в виду фильм «Трагедия соблазненной» (1920) режиссера Джозефа Рёмера (годы жизни неизвестны).

Альфред Дёблин

[БЕРЛИН]

Настоящий текст является предисловием к фотоальбому Марио фон Буковича «Берлин» (см.: Bukovich 1928: VII–XII).

Марио фон Букович (1884–1950) – австрийский фотограф, выпустивший несколько фотоальбомов, посвященных большим городам: Берлину, Парижу, Мехико и Нью-Йорку.

Пер. выполнен по указ. изд.

¹ *Или так – какли Париж изобразил Бальзак: «Все дымится, кружится... исчезает»*. – Источник цитаты не установлен. Возможно, это псевдоцитата, придуманная симим Дёблиным.

² *Автобус провезет экскурсантов по Тиргартену, им покажут Триумфальную колонну... Зигесалле... Бранденбургские ворота, Унтер-ден-Линден, дворцы, арсенал, музеи...* — Дёблин описывает туристический маршрут по монументальному, официальному Берлину, свидетелю величия и славы германского оружия. Тиргартен — самый большой парк Берлина, бывшее охотничье угодье курфюрста Бранденбургского, на территории которого расположены знаменитые достопримечательности города. В их числе Триумфальная колонна (или Колонна Победы), возведенная по приказу Вильгельма I в честь победы Пруссии в Датской войне 1864 г., и Зигесалле (букв.: аллея победы) — бульвар, построенный в 1895–1901 гг. по инициативе кайзера Германии Вильгельма II. Этот бульвар, прозванный берлинцами «Кукольной аллеей», украшен памятниками всем маркграфам и курфюрстам Бранденбурга и королям Пруссии. Бранденбургские ворота — один из символов Берлина, единственные сохранившиеся городские ворота, которые венчает шестиметровая квадрига с богиней победы Викторией. Бульвар Унтер-ден-Линден (букв.: под липами) некогда был дорогой, по которой «Великий курфюрст», Фридрих Вильгельм Бранденбургский ездил верхом из королевского дворца в свои охотничьи угодья в Тиргартене.

³ *Гедехтнискирхе* — мемориальная церковь кайзера Вильгельма; возведена в 1891–1895 гг. на бульваре Курфюрстендамм; долгое время была одной из самых высоких построек в городе.

⁴ *Сансуси* — знаменитый дворец в городе Потсдаме под Берлином; резиденция прусского императора Фридриха II (1712–1786), построенная по эскизам самого короля.

⁵ *Рейхсбанддирекция* — Управление государственными железными дорогами.

Альфред Дёблин

МОЯ КНИГА «БЕРЛИН АЛЕКСАНДРПЛАЦ» MEIN BUCH «BERLIN ALEXANDERPLATZ»

Статья написана в 1923 году.

Впервые опубликована в: *Der Lesezirkel*. Zürich, 1932. 19. Jg. № 5. 15. Februar. S. 70–72. Пер. выполнен по изд.: Döblin 1986: 215–217.

¹ *...я... оказался среди них во время спартаковского восстания 1919 года...* — См. примеч. 47 к книге второй БА.

² *Постоянно... мне указывают на Джойса.* — Немецкий перевод знаменитого романа «Улисс» ирландского писателя Джеймса Джойса (1882–1941) вышел в октябре 1927 г. Рецензенты, в первую очередь английские (см., напр.: *Shackleton E. A German James Joyce. Alfred Döblin // Evening Standard*. L. 1931. № 33), а также другие, настроенные к Дёблину враждебно, проводили параллель между автором БА и Джойсом, находя общие черты в технике написания БА и «Улисса» (использование монтажа, «поток сознания», стремительная смена различных повествовательных форм и т. д.) или же намекая на «вторичность» дёблиновского новаторства. Некоторые из них предполагали прямое влияние Джойса на Дёблина. Самого автора БА, к слову, это сравнение раздражало (см. эссе «Эпилог», с. 469 наст. изд.; статью Н.С. Павловой к наст. изд.).

Вальтер Беньямин
КРИЗИС РОМАНА
KRISIS DES ROMANS

Рецензия философа и эссеист Вальтера Беньямина (1892–1940) на роман А. Дёблина «Берлин Александрплац».

Впервые опублик. в: Die Gesellschaft. Internationale Revue für Sozialismus und Politik. Berlin, 1930. 7. Jg. Bd. 1. S. 562–566.

Пер. выполнен по изд.: Prangler 1975: 108–114.

¹ «*Построение эпического произведения*» — доклад, прочитанный А. Дёблином в Берлинском университете 10 декабря 1928 г. (см. с. 399–422 наст. изд.).

² ...*Андре Жид в своем недавнем «Дневнике фальшивомонетчиков»*. — «Дневник фальшивомонетчиков» — книга, в которой французский писатель А. Жид рассказывал о работе над своим романом «Фальшивомонетки» (1926).

³ ...*не стоит... ссылаться на Джойса*. — См. примеч. 2 к статье «Моя книга “Берлин Александрплац”».

⁴ *Дадаизм* — модернистское художественное течение, возникшее в Цюрихе в годы Первой мировой войны среди культурэмигрантов, бежавших в Швейцарию. Считавшие логику и рассудок главными причинами войн и конфликтов, дадаисты призывали к их уничтожению, разрушению. Одним из приемов такого «разрушения» для дадаистов и был монтаж, в процессе которого разрушались предметы повседневного обихода, из фрагментов которых затем создавались произведения искусства.

⁵ ...«*Абрагам Тонелли*» *Тика*... — Имеется в виду сатирическая повесть немецкого писателя-романтика Л. Тика (1773–1853) «Достопамятное описание Его Величества Абрагама Тонелли» (1798).

Альфред Дёблин
[КРИЗИС РОМАНА?]

Сохранившийся в бумагах писателя набросок неопубликованной статьи, являющейся, по всей видимости, ответом на критику Беньямина; датируется 1930 годом.

Впервые опублик. в: Die Vertriebung der Gespenster. Autobiographische Schriften. Betrachtungen der Zeit. Aufsätze zu Kunst und Literatur. Berlin: Beyer, 1968.

Пер. выполнен по изд.: Döblin 1989: 274–276.

¹ ...*так считает один молодой автор... он отвернулся от старого романа и написал серию эссе в свободной форме*. — Скорее всего, речь идет о Гансе Хенни Янне (1894–1959) и его «экспериментальном романе» «Перрудья», вышедшем практически одновременно с БА осенью 1929 г.

² *Другой, немолодой, автор пошел по его стопам: написал... роман, в котором сюжета и действия еще больше...* — Имеется в виду австрийский писатель Р. Музиль (1880–1942) и его роман «Человек без свойств», первый том которого увидел свет в октябре 1929 г.

³ *Новой формы можно добиться... с помощью гекзаметра*. — Дёблин намекает на собственное произведение — стихотворный эпос «Манас» (1827).

Альфред Дёблин

[ПИСЬМО] ЮЛИУСУ ПЕТЕРСЕНУ

Впервые опубликовано: Döblin 1970a: 165–167.

Перевод выполнен по указанию издателя.

Печатается в сокращении.

¹ *Юлиус Петерсен* (1878–1941) — известный немецкий литературовед, ученик Вильгельма Дильтея и Генриха Вёльфлина и, пожалуй, самый влиятельный немецкий германист 1920-х — 1930-х годов.

² *Я бы хотел дополнить автора, сравнивающего меня с Джойсом...* — О ком идет речь точно не установлено. Возможно, Дёблин ссылается на критика Эфраима Фриша, писавшего в своей рецензии на БА: «Первый, кто приходит на ум при чтении [романа Дёблина] — это Джойс. Та же плотность языка, ассоциативное письмо, темные массы бессознательного, внезапно озаряемые словами-знаками, будто вспышками маяка, рапсодическое <...>» (Frankfurter Zeitung. 1929. 29. Dezember). См. также примеч. 2 к статье «Моя книга “Берлин Александрплац”».

³ *Моя писательская техника сформировалась... под влиянием психоаналитической практики...* — Дёблин был не психоаналитиком, а клиническим психиатром. К психоанализу, который Дёблин использовал выборочно и о котором часто размышлял в своих литературно-теоретических работах, он относился двойственно — признавая его терапевтическое значение, но в то же время сознавая и его опасность, особенно если применять его догматически (см.: Sander 2001; Гамлет: 493).

Вилли Хаас

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ РОМАНА
«БЕРЛИН АЛЕКСАНДРПЛАЦ» АЛЬФРЕДА ДЁБЛИНА
BEMERKUNGEN ZU ALFRED DÖBLINS ROMAN
«BERLIN ALEXANDERPLATZ»

Вилли Хаас (1893–1974) — австрийский публицист и кинокритик; в 1920–1930-е годы активно работал как киносценарист.

Впервые опубликовано: Die neue Rundschau. Berlin, 1929. 40. Jg. Heft 12. S. 835–843.

Перевод выполнен по изданию: Prangler 1975: 76–86.

Печатается в сокращении.

¹ *Рабле* Франсуа (ум. 1553) — французский писатель-сатирик, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», одного из самых важных прозаических произведений европейской литературы.

² *Флобер* Гюстав (1821–1880) — выдающийся французский писатель, создатель романских персонажей «нового типа»: герои его произведений («Госпожа Бовари», «Воспитание чувств») — «обычные» люди, лишённые выдающихся качеств.

³ *Величайший роман всех времен — «Тысяча и одна ночь»...* — «Тысяча и одна ночь» — памятник средневековой арабской литературы, собрание историй, обрамленное рассказом о царе Шахрияре и его жене Шахерезаде. Соединяющий в себе все литературные жанры и формы арабский сборник, наряду с «Дон Кихотом» Сервантеса, «Вильгельмом Мейстером» Гёте и проч., представлял в глазах немецких критиков XIX — первой пол. XX в. «идеальный роман» (в романтической интерпретации этого термина), т. е. синкретический жанр, смешанную форму, «универсальную поэзию», «произведение универсальное по своей цели и охвату» (Ф. Шлегель).

⁴ *Гёте не знал определения этого термина [роман], ни когда писал «Вильгельма Мейстера», ни даже тогда, когда писал «Годы странствий».* — «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1796) и «Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся» (1821) — романная диалогия И.-В. Гёте. Под «определением термина» здесь имеется в виду романтическое толкование романа как «универсального жанра» — именно так был понят роман Гёте о Вильгельме Мейстере романтиками. Сам Гёте не считал свое произведение ни «поэтическим», ни «универсальным» и, даже наоборот, постоянно указывал на «неполноценность» романного жанра, его зависимость от злободневных тем и невозможность выразить в нем «вечное».

⁵ *Гриммельсгаузен* Ганс Якоб Кристоффель фон (1622—1676) — немецкий писатель, автор популярного плутовского романа «Приключения Симплициссимуса» — одного из самых значительных произведений немецкого барокко.

⁶ *...автор историй об Али-Бабе и Зобеиде...* — то есть автор «Тысячи и одной ночи». См. примеч. 3.

⁷ *Зоя Эмиль* (1840—1902) — французский писатель-натуралист, автор больших романов серий (напр., «Ругон-Макары»; 1871—1893), «экспериментальных» романов, основным художественным принципом которых он провозглашает перенос в литературу модели научного мышления своей эпохи.

⁸ *«Человеческая комедия»* — собрание сочинений французского писателя Оноре де Бальзака (1799—1850), состоящее из 137 произведений и ставящее целью воспроизвести своего рода анатомию общества.

Бернард фон Брентано

ЧЕЛОВЕКА БОЛЬШЕ НЕ СОТВОРИТЬ KEINE ERSCHAFFUNG VON MENSCHEN MEHR

Рецензия Бернарда фон Брентано (1901—1964), немецкого романиста и литературного критика, написана в 1930 году.

Впервые опублик. в: Der Scheinwerfer. Essen, 1930. 3. Jg. Heft 12. S. 15—17.

Пер. выполнен по изд.: Alfred Döblin im Spiegel der zeitgenössischen Kritik / Hg. von I. Schuster und I. Brode. Marbach; Bern; München, 1973. S. 212—215.

Печатается в сокращении.

¹ *...«Он уперся коленом ей в спину ~ каждое свое».* — С. 284 наст. изд.; см. также примеч. 59 к книге седьмой БА.

² *Густав Фрейтаг* (1816—1895) — немецкий писатель, автор исторических романов. См. также примеч. 26 к статье «Исторический роман и мь».

Альфред Дёблин

ЗАМЕТКИ О РОМАНЕ
BEMERKUNGEN ZUM ROMAN

Статья написана в 1917 году.

Впервые опублик. в: *Neue Rundschau* 28 (1917). Berlin, 1929. S. 410–413.

Пер. выполнен по изд.: Döblin 1963: 19–23.

¹ ...было бы лучше, если бы мы ориентировались на Гомера и Сервантеса, еще на Данте. И Достоевского тоже нельзя не упомянуть. — Отсылку к «классическим эпикам» Гомеру, Мигелю де Сервантесу (1547–1616) и Данте (1265–1321) нужно понимать здесь в литературно-историческом ключе. Начиная с середины XVIII в. все трое признавались ключевыми фигурами в истории литературы, классическими авторами эпохальных литературных произведений. Дёблин постоянно называет всех троих своими «великими предшественниками», притом что следы их прямого влияния на Дёблина обнаружить довольно трудно. Непосредственное же влияние Достоевского на Дёблина неоднократно показывалось как самим писателем, так и литературоведами. Наиболее очевидно влияние Достоевского в трех первых романах Дёблина («Черный занавес», «Три прыжка Ван Луния» и «Валленштейн»), в чем сам писатель признавался в своих статьях: «Когда я писал свои толстые книги [“Ван Луния” и “Валленштейна”], я для своей работы <...> каждый день перечитывал “Идиота”» (цит. по: *Weymberg-Boussart M. Alfred Döblin und F.M. Dostojewski // Revue des langues vivantes*. 1969. № 35. S. 511; см. также S. 381–404, 505–530). В библиотеке Дёблина были все немецкоязычные издания романов Достоевского.

² «Здесь я стою, здесь умру»... — слова Мартина Лютера, сказанные им в Вормском рейхстаге 18 апреля 1521 г.

³ Горбуны в часовне Святого Ремакля у Шарля де Костера... Шутки и приключения Уленшпигеля... — Ссылка на фрагмент романа Ш. де Костера «Легенда об Уленшпигеле» (1867–1869) (кн. III, гл. 10). Шарль де Костер (1827–1879) — бельгийский франкоязычный писатель, его роман о борьбе Нидерландов против испанского господства в XVI в., написанный на основе старинных хроник и прочих аутентичных документов эпохи, считается первым произведением национальной фламандской литературы. Дёблин высоко ценил это произведение, находя творческий метод де Костера созвучным собственной поэтике.

⁴ Автору романа следует балансировать на грани между нанизыванием отдельных арий, характерным для старой оперы, и нескончаемой мелодией Вагнера. — То есть по сути совмещать старую и новую традиции. См. также примеч. 8 к эссе «Я расправляю, я проверяю себя».

⁵ Карл Май. — См. примеч. 18 к книге восьмой БА.

⁶ Женщинам подобает молчать. — Принцип Католической церкви: «Женщинам подобает молчать в храме», который обыгрывается, например, в высказывании Наполеона: «Женщинам подобает молчать в политике». Оба варианта упоминаются Ф. Ницше в книге «По ту сторону добра и зла».

Альфред Дёблин

ПОСТРОЕНИЕ ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
DER BAU DES EPISCHEN WERKS

Доклад, прочитанный А. Дёблином в Берлинском университете 10 декабря 1928 года.

Впервые опублик. в: *Jahrbuch der Sektion für Dichtkunst*. Berlin, 1929. S. 228–262. Пер. выполнен по изд.: Döblin 1963: 103–133.

¹ *Беру первый попавшийся роман и читаю ~ порывы*. — Дёблин приводит сильно измененную цитату из романа австрийского писателя Артура Шницлера (1862–1931) «Тереза» (1928).

² *...вспомни о старине Файхингере, имея дело с искусством, мы попадаем в сферу «как-если-бы»...* — Имеется в виду немецкий философ-идеалист Ханс Файхингер (1852–1933), который в своем главном сочинении «Философия как если бы» (1911) разработал концепцию фикционализма, или «критического позитивизма». Он считал научные и философские понятия фикциями, которые не имеют теоретической ценности, но практически важны.

³ *Амалия Лэммеркальб* — лицо, выдуманное Дёблином.

⁴ *...Одиссей... застрял на острове у Калипсо... сирены... ему пели...* — О пребывании Одиссея на острове нимфы Калипсо см.: *Гомер*. Одиссея. V; о сиренах — см.: Там же. XII.

⁵ *Это... если воспользоваться словами Ницше, способность человека смеяться, с сознанием своего превосходства... над реальностью как таковой*. — Неточная цитата из эссе Ф. Ницше «Несвоевременные размышления: «Шопенгауэр как воспитатель»» (§ 3). Ср. в пер. Семена Франка: «<...> гений не должен бояться вступать в самое враждебное противоречие с существующими формами и порядками, когда хочет вознестись к свету высший порядок и истину, которые живут в нем».

⁶ *...подобно царю Давиду, плясал перед их... воинством*. — Библейская аллюзия. См.: 2 Цар. 6: 21.

⁷ *Великие Матери* — в мифологии многих народов мира олицетворяют силы природы.

⁸ *Полковник Шпрингенау* — измененное Дёблином имя героя романа «Тереза» А. Шницлера (см. примеч. 1). Ср. с началом статьи.

⁹ *...изобретение триэргона...* — «Триэргон» (Tri-Ergon) — система синхронной записи звукового сопровождения к фильму и его последующего воспроизведения; разработана тремя немецкими инженерами: Гансом Фогтом (1870–1979), Йозефом Энглеком (1893–1942) и Йозефом Массоле (1889–1952); запатентована в 1919 г.

¹⁰ *Ячейка Каролуса* — одно из устройств для передачи изображения на расстоянии, использовавшееся в эпоху изобретения телевидения; разработано немецким физиком Августом Каролусом (1893–1972) в 1923 г.

¹¹ *Автор пока... переживает продромальную... стадию производства...* — Дёблин пользуется здесь медицинской лексикой: продромальный период — период первых, неспецифических симптомов инфекционного заболевания; он сменяется периодом развернутой клинической картины заболевания.

¹² ...ты ощущаешь себя Зигфридом, отведавшим драконьей крови, — тебе теперь вняты все языки и вообще всё. — Аллюзия на сцену из оперы Р. Вагнера «Зигфрид»: убив дракона Фафнера и случайно попробовав его крови, герой начинает понимать язык птиц и узнает о кольце, дающем власть над миром.

¹³ «Валленштейн» — ранний роман А. Дёблина. См. примеч. 1 к статье «Заметки о романе»; Основные даты жизни и творчества Альфреда Дёблина (1917, 1919, 1920); статью Н.С. Павловой к наст. изд.

¹⁴ Густав Адольф переправляется через море. — Густав II Адольф (1594—1632) — шведский король. Историческая переправа Густава Адольфа через Северное море ознаменовала вступление Швеции в Тридцатилетнюю войну. Погиб в бою при Люцене.

¹⁵ Ганзейские когены. — Когген (или когг) — деревянное палубное судно с высокими бортами и мощным корпусом. В XIII—XV вв. являлся основным судном городов Ганзейского союза — объединения свободных североевропейских городов, созданного для защиты торговли и купечества от феодалов и пиратов.

¹⁶ ...его не надо путать с «идеальным слушателем» Гёте. — У Гёте нет никакого особенного определения «идеального слушателя».

¹⁷ ...заниматься поэтическим творчеством — значит... вершить суд над собой (как говорил Ибсен)... — Цитата из «Четверостишия» Г. Ибсена (1868—1906). Ср. в пер. В. Адмони: «Творить — это суд суровый, | Суд над самим собой».

¹⁸ Я... начал свой китайский роман... — Имеется в виду роман «Три прыжка Ван Луна», работу над которым Дёблин начал в 1912 г.

¹⁹ Фердинанд II (1578—1637) — австрийский эрцгерцог из династии Габсбургов; король Чехии и Венгрии; с 1619 г. император Священной Римской империи.

²⁰ ...стиль Лютеровского перевода Библии. — Мартин Лютер положил в основу немецкого перевода Библии саксонское наречие, бывшее официальным языком правительственных учреждений Германии, т. е., по сути, языком бюрократии. При этом, однако, он широко использовал и элементы разговорной речи.

²¹ ...классицистический стиль Платена... — Август фон Платен (1796—1835) — немецкий поэт и драматург; в раннем творчестве испытал влияние романтической традиции, однако последовательно эволюционировал в направлении классицистической ясности и рациональности, вплоть до открытого неприятия стиля современных ему немецких романтиков, которых высмеял в своих поздних комедиях.

Альфред Дёблин

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН И МЫ DER HISTORISCHE ROMAN UND WIR

Статья написана в 1936 году.

Впервые опублик. в: Das Wort 1 (1936). Heft 4. М., 1936. С. 56—71.

Пер. выполнен по изд.: Döblin 1963: 19—23.

¹ Вот начало одного романа в обычном смысле ~ Клаус обернулся... — Источник цитаты исследователями не установлен. Скорее всего, текст сильно изменен или выдуман самим Дёблином.

² Четкое разграничение «правды» и «поэзии» произошло позднее... — Аллюзия на книгу И.В. Гёте «Поэзия и правда».

³ ...в известной сказке Гензель и Гретель отправляются в лес и встречаются там ведьме из пряничного домика... — Имеется в виду популярная сказка братьев Гримм, герои которой, дети дровосека, Гензель и Гретель, оставленные в лесу злой мачехой, попадают к ведьме, которая хочет их съесть. См. также примеч. 2 к книге второй БА.

⁴ ...царство Как-если-бы... — аллюзия на книгу немецкого философа Ханса Файхингера. См. также примеч. 2 к докладу «Построение эпического произведения».

⁵ ...отрывок из... романа Реглера «Посев». — Речь идет о романе немецкого писателя и журналиста Густава Реглера (1898–1963) «Посев» (1936), повествующем о восстании «Башмака» в Германии.

⁶ А вот начало... книги Германа Кестена «Фердинанд и Изабелла»... — Роман немецкого писателя, уроженца Галиции Германа Кестена (1900–1996) «Фердинанд и Изабелла» опубликован в 1936 г. В 20-е годы Кестен был одним из главных представителей литературного течения «новой вещности».

⁷ Плиний Старший (23–79 н. э.) — римский ученый, автор «Естественной истории» в 37 томах, энциклопедии всевозможных знаний, накопленных древним миром к началу новой эры. Для того чтобы написать ее, Плиний изучил колоссальное количество источников. Этот труд стал образцом для всех последующих энциклопедий.

⁸ Тацит Гай Корнелий (ок. 56 — ок. 117 н. э.) — римский историк, автор «Истории» (ок. 110 н. э.) в 14 книгах и «Анналов» (ок. 117 н. э.) в 16 книгах. Эти труды представляют собой хроники правления римских императоров соответственно с 69 по 96 и с 14 по 68 г. н. э. Считается, что при написании своих сочинений Тацит использовал огромное количество документов и устных свидетельств.

⁹ Цезарь Гай Юлий (ок. 100–44 до н. э.) — римский политик, полководец и писатель, автор «Записок о галльской войне» и «Записок о гражданской войне» (точные даты написания неизвестны).

¹⁰ Буркхардт Якоб (1818–1897) — швейцарский историк культуры, автор книги «Культура Возрождения в Италии» и др.

¹¹ Тэн Ипполит (1828–1893) — французский философ, историк, искусствовед, основатель культурно-исторической школы, автор работы «История французской революции» и др.

¹² Ранке Леопольд (1795–1886) — один из основоположников немецкого идеалистического историзма, официальный историограф Прусского государства, автор двенадцатитомной «Прусской истории», работы «Папы Римские в последние четыре столетия» и др.

¹³ Трейчке Генрих (1834–1896) — немецкий историк и публицист, официальный историограф Прусского государства (с 1886 г.), автор «Немецкой истории в XIX веке» и др.

¹⁴ ...«В истории приязнь или вражда | Его могучий образ искажают». — Шиллер Ф. Валленштейн. Пролог. Пер. Н.А. Славятинского.

¹⁵ Недавно вышло новое исследование о Нероне... — Скорее всего, имеется в виду научно-популярный труд английского историка Артура Вейгала (1880–1934) «Нерон, поющий император» (1930).

¹⁶ Вспомните хотя бы о Флобере и его «Саламбо». — «Саламбо» (1862) — исторический роман Гюстава Флобера (1821–1880) о восстании наемников в Карфагене в III в. до н. э.

¹⁷ ...*деятельный придворный советник Шиллер*... — В 1787 г. Фридрих Шиллер получил звание придворного советника (гофрата) в Веймаре.

¹⁸ ...*когда шел раздел земли, для поэтов остались только небеса*. — Имеется в виду стихотворение Ф. Шиллера «Раздел земли» (1795).

¹⁹ ...*он [Шиллер]... по-кошачьи выгибает спину перед великим герцогом Веймарским*. — Имеется в виду герцог Карл-Август Саксен-Веймарский-Эзенахский (1757–1828), покровитель Ф. Шиллера и И.-В. Гёте, при дворе которого они оба служили.

²⁰ *Крестьянская война* — народное восстание 1524–1525 гг. на германских землях.

²¹ *Валленштейн* Альбрехт фон (1583–1634) — знаменитый полководец Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.), воевавший на стороне католиков. Попытавшись вести переговоры о мире за спиной Католической лиги, он впал в немилость у Габсбургов и был убит. Неоднозначная фигура Валленштейна не раз привлекала внимание писателей; он герой многочисленных литературных произведений, в том числе одноименной драматической трилогии Ф. Шиллера и романа Дёблина «Валленштейн» (1920). См. Основные даты жизни и творчества Альфреда Дёблина (1916, 1919, 1920).

²² ...*самоощущение Зигфрида из «Песни о нибелунгах», когда тот отведал драконьей крови: он после этого стал понимать язык птиц*. — В «Песни о нибелунгах» этого сюжета нет; там рассказывается лишь о том, как Зигфрид, убив дракона и искупавшись в его крови, стал неуязвимым. Речь идет о сцене из второго действия оперы Вагнера «Зигфрид» (см. примеч. 12 к докладу «Построение эпического произведения»).

²³ *Король Филипп*. — Имеется в виду испанский король Филипп III (1578–1621), вступление которого на трон ознаменовало собой начало упадка Испании.

²⁴ *Были популярны романы египтолога Эберса*... — Немецкий египтолог Георг Мориц Эберс (1837–1898) написал ряд романов на сюжеты из древнеегипетской истории: «Дочь фараона» (1864), «Уарда» (1877), «Клеопатра» (1894) и др.

²⁵ ...*романы о римлянах и готах Феликса Дана*... — Феликс Дан (1834–1912) — немецкий историк и писатель; автор романов «Битва за Рим» (1876), «Аттила» (1895) и др.

²⁶ ...*историческая серия Густава Фрейтага «Предки»*. — Имеется в виду серия исторических романов «Предки» (1872–1880) Густава Фрейтага, где идет речь о судьбах многих поколений одного немецкого рода. См. также примеч. 2 к рецензии Б. фон Brentано «Человека больше не сотворить».

Альфред Дёблин

О ЛИЦАХ И ИЗОБРАЖЕНИЯХ
И ОБ ИХ ПОДЛИННОСТИ
VON GESICHTEN, BILDERN
UND IHRER WAHRHEIT

Предисловие к фотоальбому Августа Зандера «Лицо нашего времени». Август Зандер (1876–1964) — выдающийся немецкий фотограф, с 1909 и до середины 50-х годов работавший над проектом «Люди XX века». В 1929 г. вышла его книга «Лицо нашего времени», содержащая 60 фотопортретов.

Впервые опубликовано в: *Sander A. Antlitz der Zeit: sechzig Aufnahmen deutscher Menschen des 20. Jahrhunderts / Einleitung von Alfred Döblin*. München: Transmare-Verlag, 1929. S. I–III.

Пер. выполнен по указ. изд.

¹ *В средневековой Европе разгорелся один... спор... Участники... называли себя номиналистами и реалистами.* — Речь идет о разделении в раннем Средневековье схоластики на два лагеря по вопросу о значении общего. Номиналисты полагали реальным лишь существование единичных вещей; общие понятия, создаваемые нашим понятием, по их мнению, не отражают их качеств и свойств. Реалисты же, наоборот, приписывали действительность общим идеям, предшествующим единичным вещам.

² *С незнакомки из Сены (L'Inconnue de la Seine) сняли посмертную маску.* — См. примеч. 23 к книге восьмой БА.

³ *Виланд Кристоф Мартин (1733–1813)* — прославленный немецкий писатель и просветитель.

⁴ *Фридрих Великий.* — См. примеч. 41 к книге первой БА.

⁵ *Джонатан Свифт (1667–1745)* — англо-ирландский писатель-сатирик, публицист и общественный деятель. Наиболее известен как автор популярного романа «Путешествия Гулливера».

⁶ *Оливер Кромвель (1599–1658)* — выдающийся английский политик, предводитель Английской революции.

⁷ *Лоренцо Медичи Великолепный (1449–1492)* — глава Флорентийской республики, покровитель наук и искусств.

⁸ *Гуго Вальф (1860–1903)* — австрийский композитор-неоромантик, автор около 300 песен на слова Гёте, Микеланджело, Гейне и др.; его важнейшая заслуга в том, что считавшийся «легким» камерный жанр песни он сумел наполнить эмоциональной глубиной и драматизмом. Умер в результате сифилитического поражения мозга.

⁹ *Фокс Гай (1570–1606)* — самый знаменитый участник заговора 1605 г. (так наз. «Порохового заговора») фанатически настроенных католиков против английского короля Якова I (1566–1625, правил в 1603–1625 гг.).

Альфред Дёблин

О ПОЛЬЗЕ МУЗЫКИ ДЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ NUTZEN DER MUSIK FÜR DIE LITERATUR

Статья написана в 1930 году.

Впервые опубликовано в: *Die Musikpflege 1 (1930/31)*. Berlin, 1931. S. 158–160.

Пер. выполнен по изд.: *Die Zeitlupe / Hg. von W. Muschg*. Olten; Freiburg i. Br.: Walter-Verlag, 1962. S. 158–160.

¹ *Квартет Штайнера исполняет попури, шлягеры, танцы.* — Имеется в виду исключительно популярный в Германии «Квартет братьев Штайнер», исполнявший легкую музыку. Его пластинки продавались огромным тиражом.

² *...мы читаем у Карла Маркса главу о товаре и деньгах...* — Имеется в виду раздел 1 книги I «Капитала» (1867).

Альфред Дёблин
Я РАССПРАШИВАЮ, Я ПРОВЕРЯЮ СЕБЯ
ICH PRÜFE UND BEFRAGE MICH

Фрагмент книги А. Дёблина «Судьбоносное путешествие» («Schicksalreise») написан в 1941 году в Голливуде.

Впервые опубликован в 1949 году во Франкфурте-на-Майне без выходных данных, указана только типография (J. Knecht-Carolusazuckerei).

Пер. выполнен по изд.: *Döblin A. Autobiographische Schriften und letzte Aufzeichnungen* / Hg. von E. Pässler. Olten; Freiburg i. Br., 1980. S. 205–215.

¹ ...как складывались отношения между матерью и отцом, я описал в маленькой книжечке, которая увидела свет, когда мне было далеко за пятьдесят. — Имеется в виду роман «Прощения не будет» (1935).

² День искупления — самый важный праздник в иудаизме, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в сентябре—октябре.

³ Увлекаясь «Илиадой» и «Одиссеей», «Эддой», «Нибелунгами», «Песню о Гудрун», я не видел смысла в изучении... истории израильского народа. — Речь идет о больших национальных эпосах (входивших, кроме прочего в гимназическую программу того времени): «Илиада» и «Одиссея» — древнегреческие эпические поэмы Гомера (ок. VIII в. до н. э.); «Эдда» (XIII в.) — скандинавский эпос; «Песнь о нибелунгах» (XII—XIII в.) и «Песнь о Гудрун» (XIII в.) — средневековые немецкие эпические произведения. Эти произведения были важны для Дёблина отсутствием в них типичного для литературы XIX в. «психологизма», обобщениями, их глубинной связью с «вневременным», с мифом. См. также статью «Заметки о романе» (с. 397–398 наст. изд.).

⁴ «Пентесилея» фон Клейста — знаменитая романтическая драма на античный сюжет о любви царицы Амазонок Пентесилеи к греческому герою Ахиллу, в центре которой конфликт глубоко чувствующей личности и общества, законам которого эта личность вынуждена подчиняться. Пентесилея у Клейста влюбляется в Ахилла, забыв о том, что обыкновенная любовь и замужество, по древнему закону, амазонкам запрещены: они должны брать себе женихов, победив их на поле боя. Красота Пентесилеи привлекает Ахилла, и после победы над амазонками он разыгрывает спектакль, будто не он победил Пентесилею, а наоборот. Но истина быстро выходит наружу. Пентесилея узнает, что проиграла бой, верховная жрица амазонок обвиняет героиню в том, что она нарушила закон. Посланец Ахилла передает ей вызов на поединок: по мнению ахейского героя, это единственная возможность соединиться с возлюбленной; но Пентесилея, не поняв замысла Ахилла, вышедшего на бой безоружным, спускает на него псов и вместе с ними в приступе безумия раздирает героя. Придя в себя, Пентесилея умирает от горя. Клейст, кроме прочего, толковал античный сюжет о Пентесилее и как аллегория борьбы между полами. «Пентесилея» Клейста послужила моделью для первого романа Дёблина «Черный занавес», мотивы и сюжетные ходы которого отчасти переключаются с драмой Клейста. См. также Основные даты жизни и творчества Альфреда Дёблина (1901, 1904).

⁵ *Гёльдерлин* Фридрих (1770–1843) — один из самых значительных немецких поэтов и мыслителей кон. XVIII — нач. XIX в., автор философской лирики. Творчество Гёльдерлина, мало ценимое его современниками, заметно повлияло на философию и литературную теорию XX в. В одном из своих главных произведений — романе «Гиперион, или Отшельник в Греции» (1792–1799), рассказывающем о борьбе греков за независимость, Гёльдерлин прославляет свободу чувствующей личности и красоту природы, на лоне которой такая личность может найти утешение. Нужно заметить, что во времена учебы Дёблина в гимназии, ни Клейст (см. примеч. 4), ни Гёльдерлин не считались классиками немецкой литературы. Интерес к их творчеству в Германии возник незадолго до Первой мировой войны, уже после того, как Дёблин написал свои первые произведения.

⁶ «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим... ибо Я Господь, Бог твой»... — Исх. 20: 3, 5.

⁷ «Гипериона» Гёльдерлина я... носил с собой повсюду... — См. примеч. 5.

⁸ *Рихард Вагнер* (1813–1883) — выдающийся немецкий композитор и общественный деятель, значительно повлиявший на литературу, эстетику и политику своей эпохи. В годы юности Дёблина Вагнер принадлежал к числу самых популярных фигур в Европе. Одним из главных элементов музыкальной поэтики Вагнера является лейтмотив, который может быть создан тематически, гармонически или с помощью определенных инструментов. Лейтмотивы у Вагнера меняют свой облик в зависимости от обстоятельств и контекста, выявляя образные, психологические, мнемотехнические и даже метафизические уровни смысла в произведении и образуют так называемую «бесконечную мелодию». Техника «лейтмотивов» заметно повлияла на литературу модернизма, в том числе и на поэтику Дёблина.

⁹ *Йоганн Брамс* (1833–1897) — выдающийся немецкий композитор-романтик, сумевший в своем творчестве совместить классическую традицию с новаторскими приемами, сделав это таким образом, что его новаторство было на первый взгляд незаметно.

¹⁰ «Раскольников». — Первый перевод романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» на немецкий язык назывался «Раскольников: Вина и искупление».

¹¹ «Генеалогия морали» (1887) — сочинение Ф. Ницше. В этом произведении Ницше рассматривает историю происхождения предрассудков, связанных с «богоданностью» морали как таковой.

¹² *Кьеркегор* Сёрен (1813–1855) — датский философ, теолог и писатель, «экзистенциальная» философия которого с ее представлением о трех стадиях существования человека (эстетической, этической и религиозной) в значительной мере повлияла на Дёблина. Следы этого влияния заметны в романе «Ноябрь 1918. Немецкая революция», но в особенности в последнем большом произведении писателя — романе «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу», главный герой которого, Эдвард, проходит путь от «эстетического» к кьеркегоровскому «религиозному» человеку (подробнее см.: Kiesel 1986: 438; Гамлет: 536).

¹³ *Думая об этом несчастном, я всякий раз вспоминаю, как Г. фон Клейст, познававшийся с философией Канта, впал в отчаянье.* — Клейст писал в одном из писем: «Мысль о том, что мы здесь, на земле, ничего, совсем ничего не знаем об истине, и то, что мы называем здесь истиной, после смерти называется совсем иначе, что

поэтому стремление создать себе достояние, которое можно было бы унести с собой в гроб, совершенно беспечно и бесплодно, — эта мысль потрясла святая святых моей души» (Kleist 2001: 967. Письмо Ульрике фон Клейст от 23.03.1801).

¹⁴ *Это случилось на фоне ландскнехтской психологии тех лет...* — Ландскнехты — немецкие наемные солдаты, происходившие из самых бедных сословий. Ландскнехты славились своей жестокостью и не чуждались грабежей и разбоя.

¹⁵ *И я поехал в Польшу. Потом рассказал об этом в книжке.* — Имеется в виду книга «Путешествие в Польшу» (1925).

¹⁶ *Говорили они на средневерхненемецком языке...* — то есть на немецком языке, каким он был в сер. XI — сер. XIV вв.

¹⁷ *«Территориалисты».* — Территориалистское еврейское движение существовало с начала XX в. Территориалисты разрабатывали и пытались осуществить различные проекты создания еврейского государства, предполагавшие, например, массовые переселения евреев в Австралию, Канаду, Кению или Ливию.

¹⁸ *Мои плаванья за закрытой дверью приводили меня в Китай, Индию, Гренландию, в другие эпохи, выводили даже вообще за пределы времени.* — Дёблин имеет в виду свои романы: «Три прыжка Ван Луня. Китайский роман» (1916), «Манас» (1927), «Горы моря и гиганты» (1924), «Валленштейн» (1920), «Вавилонское странствие» (1934), романную трилогию «Амазонка» (1937–1948).

¹⁹ *...я... не был ограблен Катастрофой...* — Имеется в виду начало Второй мировой войны и вынужденная эмиграция Дёблина (см. Основные даты жизни и творчества Альфреда Дёблина).

Альфред Дёблин

ЭПИЛОГ EPILOG

Эссе написано в 1948 году.

Впервые опублик. в: *Döblin A. Auswahl aus dem erzählenden Werk* / Hg. von P.E.H. Luth. Wiesbaden: Limes-Verlag, 1948.

Пер. выполнен по изд.: Döblin 1986: 287–321.

¹ *Спиноза* Бенедикт (1632–1677) — нидерландский философ, одна из ключевых фигур новоевропейской философии. Дёблина привлекал пантеизм Спинозы, которому было важно тождество Бога и природы — вечной и бесконечной субстанции, исключающей существование какого-либо другого начала и тем самым являющейся причиной самой себя. Признавая реальность бесконечно многообразных отдельных вещей. Спиноза понимал их как совокупность единичных проявлений единой субстанции. Эти идеи Спинозы позже получили развитие в философских трудах Дёблина.

² *Шопенгауэр* Артур (1788–1860) — немецкий философ-идеалист, популярный во второй пол. XIX — нач. XX в.

³ *Гервафт Вальден* (наст. имя — Георг Левин; 1878–1941?) — немецкий издатель, прозаик, драматург, поэт, критик, музыкант; в 1910 г. основал журнал «Штурм» и

одноименное издательство. В 1932 г. эмигрировал в СССР, в 1941 г. был арестован и погиб в саратовской тюрьме.

⁴ *Герхарт Гауптман* (1862–1946) – немецкий драматург-натуралист, лауреат Нобелевской премии. Дёблин нередко отзывался о творчестве Гауптмана в нелестном ключе.

⁵ *Стефан Георге* (1868–1933) – выдающийся немецкий поэт, оказавший значительное влияние на немецкую литературу начала XX в.

⁶ ...автор «*Будденброков*»... – Имеется в виду Томас Манн (1875–1955). Первый роман Манна – «*Будденброки*» вышел в 1901 г. Пренебрежительный отзыв об этом романе в «*Эпилоге*» связан с конфликтом между Дёблином и Манном в первые послевоенные годы, когда, стремясь получить влияние на немецкой литературной сцене, Дёблин призвал своих коллег исключить «образцового бюргера-дегенерата Манна» из канона немецкой литературы (см.: Döblin 1970a: 353).

⁷ *Ласкер-Шюлер* Эльза (1869–1945) – немецкая поэтесса, драматург, прозаик. В 1933–1939 гг. жила в Швейцарии, с 1939-го – в Палестине. Первая жена Г. Вальдена (1901–1911 гг.) (о нем см. примеч. 3).

⁸ *Петер Хилле* (1854–1904) – немецкий поэт, прозаик и драматург, одна из самых заметных фигур берлинской богемы кон. XIX – нач. XX в.

⁹ *Рихард Демель* (1863–1920) – немецкий поэт и драматург.

¹⁰ *Ведекинд* Франк (1864–1918) – немецкий драматург, поэт, прозаик.

¹¹ *Шеербафт* Пауль Карл Вильгельм (1863–1915) – немецкий писатель-фантаст и график.

¹² «*Штурм*» – экспрессионистский журнал, основанный в 1910 г. немецким издателем, прозаиком, драматургом, поэтом, критиком и музыкантом Гервартом Вальденом, с которым активно сотрудничал Дёблин. См. также примеч. 3.

¹³ *Рудольф Блюмнер* (1871–1945) – немецкий актер, близкий к кругу Г. Вальдена (см. примеч. 3). Вел собрания и вечера, устраивавшиеся журналом «*Штурм*».

¹⁴ *Лотар Шрейер* (1886–1966) – немецкий поэт, драматург, прозаик, театральный критик, режиссер, живописец; вместе с Р. Блюмнером организовывал вечера «*Штурма*» (в 1916–1917 гг.).

¹⁵ *Штрамм* Август (1874–1915) – немецкий поэт, драматург; погиб на Восточном фронте.

¹⁶ *Малер* Густав (1860–1911) – австрийский композитор и дирижер, одна из центральных фигур европейской культуры рубежа XIX–XX вв.

¹⁷ *Франц Марк* (1880–1916) – немецкий художник-экспрессионист и писатель. Погиб на фронте под Верденом.

¹⁸ *Коккошка* Оскар (1886–1980) – австрийский художник и драматург; принимал активное участие в издании журнала «*Штурм*». Организатором первой выставки Коккошки (в 1912 г.) был Г. Вальден. См. также примеч. 3.

¹⁹ «*Ван Луна*». – Имеется в виду роман Дёблина «*Три прыжка Ван Луны*». См. Основные даты жизни и творчества Альфреда Дёблина (1912, 1913, 1915, 1916); статью Н.С. Павловой к наст. изд.

²⁰ *Небель* Отто (1892–1973) – немецкий живописец, поэт и актер.

²¹ «*Западное кафе*» – кафе в Берлине на Курфюрстендамм, где происходили встречи экспрессионистов – литераторов и художников.

²² *«Борьба Вадцека с паровой турбиной»* — роман Дёблина. См. Основные даты жизни и творчества Альфреда Дёблина (1914).

²³ *«Со стороны Вердена... доносился грохот канонады»*. — Верден — город во Франции, где во время Первой мировой войны находился Западный фронт. Противостояние англо-французских и немецких войск под Верденом в 1914—1916 гг. и состоявшаяся там битва (21 февраля — 18 декабря 1916 г.) считаются одной из самых кровопролитных военных операций в истории; менее, чем за два года под Верденом погибло более 300 тыс. человек.

²⁴ *«Валленштейн»* — роман Дёблина. См. примеч. 21 к статье «Исторический роман и мы».

²⁵ *«Фердинанд Другой»*. — Имеется в виду Фердинанд II (1578—1637) — австрийский эрцгерцог из династии Габсбургов, возглавлявший габсбургско-католический лагерь в начале Тридцатилетней войны. См. также примеч. 19 к докладу «Построение эпического произведения».

²⁶ *«Горы моря и гиганты»* — научно-фантастический роман Дёблина. См. Основные даты жизни и творчества Альфреда Дёблина (1924, 1932).

²⁷ *«Манас»* — написанный свободными размерами стихотворный эпос по мотивам индийских мифов. Кроме имени главного героя, «Манас» Дёблина не имеет ничего общего с одноименным киргизским народным эпосом. Дёблиновский «Манас» рассказывает об индийском царевиче Манасе и его жене Савитри, ценой своей жизни вызволяющей Манаса из Царства мертвых. См. Основные даты жизни и творчества Альфреда Дёблина (1926, 1927).

²⁸ *«Стиль это и есть человек»* — афоризм французского естествоиспытателя Жорж-Луи Леклерка де Бюффона (1707—1788).

²⁹ *Старший Фишер*. — Имеется в виду немецкий издатель Самуэль Фишер (1859—1934).

³⁰ *Манас*. — Главный герой стихотворного эпоса А. Дёблина «Манас». См. примеч. 27.

³¹ *«...вынесли вердикт: «Последователь Джойса»*. — См. примеч. 2 к статье «Моя книга “Берлин Александрплац”».

³² *«...сквозная цитата: «Есть жеңу, и илға ему Смерть»*. — См. примеч. 51, 57 к книге пятой БА.

³³ *Бог Конрад*. — Главный герой сатирического романа Дёблина «Вавилонское странствие», вавилонский бог Мардук, путешествующий по Европе XX в. под именем Конрад.

³⁴ *Кобальд* — в германской мифологии дух, живущий под землей и охраняющий сокровища.

³⁵ *«...я наталкнулся на Кьеркегора... и пролистал... его двухтомного «Дон-Жуана»*. — Имеется в виду работа Сёрена Кьеркегора «Или-или» (1843), одна из частей которой называется «Дневник обольстителя».

³⁶ *«Я над природой»* — философский трактат Дёблина. См. также примеч. 82 к книге первой БА; Основные даты жизни и творчества Альфреда Дёблина (1927).

³⁷ *«...в своей утопической книге восславил море»*. — Имеется в виду трактат «Наше бытие» (1933). См. Основные даты жизни и творчества Альфреда Дёблина (1932, 1933).

³⁸ Так возникла первая часть трилогии, «Земля без смерти». — «Земля без смерти» (с 1947 г. — «Земля без смерти. Роман о Южной Америке в 3-х частях») — романная трилогия о завоевании европейцами южноамериканских земель, над которой Дёблин работал в конце 1930-х годов. Состоит из романов «Земля без смерти», «Синий тигр» и «Новые джунгли».

³⁹ ...*вмешался Лас Касас*. — Имеется в виду Бартоломе де Лас Касас (1484—1566), испанский священник, доминиканец, первый постоянный епископ Чиаласа; автор книги «Кратчайшая реляция о разрушении Индий» (1552), где описываются зверства конкистадоров в Америке.

⁴⁰ «Синий тигр». — См. примеч. 38.

⁴¹ ...*в первом таме эпопеи «Ноябрь 1918-го»*... — Речь идет о романе «Бюргеры и солдаты» (1939).

⁴² ...*моего судьбоносного путешествия по стране, о котором я написал позднее*. — Имеется в виду путешествие Дёблина по Франции в 1940 г. (см. Основные даты жизни и творчества Альфреда Дёблина (1940)). Впечатления от двух летних месяцев, проведенных в дороге, Дёблин отразил в Биографической книге «Судьбоносное путешествие» (1941).

⁴³ В книге «Бессмертный человек» я исследовал свою новую ситуацию. — Дёблин создавал свой религиозный трактат «Бессмертный человек» в американской эмиграции, вскоре после того как принял католичество. Написанный в жанре философского диалога, трактат состоит из двух частей и представляет собой спор молодого атеиста и пожилого христианина о смысле жизни и основах бытия в результате которого атеист во многом принимает недогматическое христианство своего пожилого собеседника. Некоторые исследователи творчества Дёблина считают, что два героя «Бессмертного человека» — это персонификации самого Дёблина: в 1930-е годы и после католического крещения (см., напр.: *Emde F. Alfred Döblin. Sein Werk zum Christentum*. Tübingen: Narr, 1999. S. 276).

⁴⁴ «Наше бытие». — См. примеч. 37.

⁴⁵ ...«Полковник и поэт» и еще две истории... «Сказка о материализме» и «Пассажирское сообщение с потусторонним миром»... *Мне пришло в голову... их... объединить в некое целое*. — Эти три рассказа были написаны Дёблином в Америке в 1943—1944 гг. И если в мрачном рассказе «Полковник и поэт» речь идет о нацистском преступнике, который должен раскаяться в своих преступлениях, то два других рассказа отличаются радостной интонацией. В 1948 г. «Сказка о материализме» и «Пассажирское сообщение...» были выпущены под одной обложкой в сборнике «Светлая магия».

⁴⁶ ...*формально организовать так... как в «Тысяча и одной ночи»*. — Речь идет о замысле романа Дёблина «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу». Надо заметить, что в итоге «Гамлет» Дёблина оказался устроен иначе, не так, как о том говорит здесь сам писатель. Если сюжеты историй Шахерезады никак не связаны между собой и объединены только рамочной конструкцией, то в «Гамлете» вставные новеллы, рассказываемые героями романа, самым тесным образом переплетаются и с центральным сюжетом романа, и взаимоотражают друг друга. О «Тысяче и одной ночи» см. примеч. 3 к статье В. Хааса «Замечания по поводу романа «Берлин Александрплац»».

⁴⁷ *Эдвард* — главный герой романа «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу».

⁴⁸ «*Гамлет*» — рабочее название последнего романа Дёблина «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу». См. Основные даты жизни и творчества Альфреда Дёблина (1945, 1956).

⁴⁹ *Эон* (греч. αἰών — век, путь жизни) — в античности высшие силы, властвующие над определенной мировой эпохой и мировым порядком.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АЛЬФРЕДА ДЁБЛИНА

- 1878**
10 августа Родился в прусском г. Штеттине (ныне польский Щецин). Отец — портной, владелец ателье Макс Дёблин (1846—1921), мать, Софи Дёблин, урожденная Фрейденхейм (1844—1920), — дочь торговца деревом.
- 1888** Макс Дёблин влюбляется в швею Генриетту Цандер, которая моложе его на двадцать лет, и бежит вместе с ней в Америку. Альфред с матерью, братьями и сестрами переезжает в Берлин, где они живут на деньги отца и богатого брата матери.
- 1890** Отец Дёблина возвращается из Америки, обосновывается в Гамбурге и пытается спасти свой прежний брак. Софи Дёблин с детьми переезжает к мужу, но вскоре обнаруживается его новая измена. Окончательный разрыв родителей. Мать Дёблина вместе с детьми возвращается в Берлин.
- 1896** У Альфреда пробуждается «страсть к письму». Первое произведение — «рассуждение» о Берлине «Модерн. Картина из современности» («Modern. Ein Bild aus der Gegenwart»). Неопубликованный при жизни писателя прозаический фрагмент написан под впечатлением от чтения труда Августа Бебеля «Женщина и социализм». В центре повествования судьба «безработной швеи Берты», которая разрывается между «пагубной любовной страстью» и «христианским благочестием».
- 1900** В возрасте 22 лет Дёблин с трудом (из-за проблем с математикой) заканчивает гимназию. В гимназические годы на него сильное впечатление производит музыка Р. Вагнера, И. Брамса и Г. Вольфа, а так же философия Спинозы, А. Шопенгауэра, св. Августина и Ф. Ницше. К любимым авторам Дёблин причисляет Г. фон Клейста (гётевская критика пьесы Клейста «Пентесилея» отвращает начинающего писателя от немецкой классики), Ф.М. Достоевского и Ф. Гёльдерлина. К началу 1900 г. он заканчивает свой

- первый роман — «Загнанные лошади» («Jagende Rosse»). Часть рукописи молодой автор посылает философу и литературному критику Францу Маутнеру, но она теряется на почте. Герой «Загнанных лошадей» — «метафизический чудака, которого жизнь подвергает тяжелейшим испытаниям»; в финале романа герой обретает счастье на лоне природы, «величайшего врача человеческой души». Сохранившиеся фрагменты романа при жизни Дёблина опубликованы не были.
- 17 октября Приступает к учебе в Берлинском университете. Его образование на медицинском факультете (отделение неврологии и психиатрии) финансируют старший брат Людвиг и родственники матери. Дёблин не ограничивается одной медициной: он посещает занятия по филологии и философии. Интенсивные занятия музыкой и начало многолетней дружбы с Г. Вальденом, будущим издателем экспрессионистского журнала «Штурм», который учится игре на фортепьяно у того же преподавателя, что и Дёблин.
- 1901 Пишет новеллы «Пробуждение» («Erwachen», при жизни неопубл.) и «Адонис» («Adonis», опубл. 1923). Начинает работу над романом «Черный занавес» («Der schwarze Vorhang»).
- 1903 Принимает участие в собраниях берлинской богемы в «Café des Westens» и в винном погребе «Dalbelli»; значительно расширяется круг его общения. Знакомится с Э. Ласкер-Шюлер, П. Хилле, Р. Демелем, Э. Мюзамом, П. Шеербартом, Ф. Ведкиндом и др. Участники собраний читают свои произведения, обмениваются мнениями о литературе, искусстве, музыке и т. д. Дёблин пишет два эссе о ницшеанской философии.
- 1904 Переезжает во Фрайбург-им-Брайслау. Практика в частной психиатрической клинике и подготовка к государственному экзамену по медицине.
- апрель Сдает выпускные экзамены в Берлине. Знакомится с А. Хольцем и Д. фон Лилинекромом. Возвращается во Фрайбург. Практикует в городской психиатрической клинике. Готовит докторскую диссертацию на тему «Нарушения памяти при корсаковском психозе» (опубл. 1905). Заканчивает работу над романом «Черный занавес. Роман о словах и случайностях» («Der schwarze Vorhang. Roman von den Worten und Zufallen», опубл. 1912), который продолжает традиции литературного символизма. Р.-М. Рильке читает роман по просьбе одного из издателей, которому Дёблин послал рукопись книги. Приговор Рильке неутешителен, в своем отзыве он сообщает об «извращенном отношении автора [книги] к выбранному материалу» и оценивает работу начинающего автора как «бесплодную и напрасную».

- 1905** Успешно защищает диссертацию; сдает последний государственный экзамен.
- начало года
- 16 ноября Приступает к работе в психиатрической лечебнице Регенсбурга.
- 1 декабря Пьеса Дёблина «Лидия и Максхен. Глубокий поклон в одном акте» («Lydia und Mäxchen. Tiefe Verbeugung in einem Akt») поставлена на берлинской сцене силами «Объединения искусства» Г. Вальдена в один вечер с фарсом П. Шеербарта «Господин камердинер Кнечке» (вместо имени автора на афише указан псевдоним – Альфред Бёрне).
- 1906** С начала года работает в должности врача-ассистента в берлинском сумасшедшем доме Бух. Знакомится с шестнадцатилетней медсестрой Фридой Кунке. Избранница Дёблина не еврейка, поэтому ему приходится держать свою любовную связь в тайне от родственников, исповедующих ортодоксальный иудаизм. Работает над новеллами сборника «Убийство одуванчика» («Ermordung der Butterblume»). Интенсивно занимается наукой.
- 1908** Новелла «Монахиня и смерть» («Das Stiftsfraulein und der Tod») опубликована в издающемся Г. Вальденом журнале «Дас Магацин». Новое место работы – городская больница Урбан; одновременно устраивается врачом неотложной помощи в муниципальную больницу в берлинском районе Темпельхоф. Проявляет интерес к заболеваниям внутренних органов; приходит к выводу, что патологические процессы во внутренних органах и нарушение обмена веществ приводят к психическим патологиям.
- 1909** Начало близких отношений с Эрной Рейсс, дочерью преуспевающего еврейского промышленника, студенткой медицинского факультета Берлинского университета, которая проходит практику в больнице в Темпельхофе. Пишет пьесу «Графиня Мицци» («Comtess Mizzi»), основанную на материалах нашумевшего уголовного дела, связанного с проституцией (при жизни не опубликовано; три литографии к рукописи пьесы выполнил в 1913 г. друг Дёблина, художник-экспрессионист Л. Кирхнер).
- 1910** Г. Вальден основывает журнал «Штурм» – один из главных печатных органов литературного экспрессионизма. Дёблин становится постоянным автором и сотрудником этого журнала. Публикует в первом номере «Штурма» около 10 статей и заметок, несколько очерков о Берлине, три новеллы и трактат «Разговоры с Калыпсо. О музыке» («Gesprache mit Kalypso. Über die Musik»), в котором формулирует свои взгляды на искусство и принципы своей поэтики.
- 1911** В журнале «Штурм» с продолжением печатается роман «Черный занавес», в каждом номере журнала – новеллы Дёблина и обзор

	ры культурной жизни Берлина: многочисленные рецензии на берлинские театральные постановки, музыкальные представления, концерты и книги.
октябрь	Открывает собственную медицинскую психиатрическую практику в одном из рабочих кварталов Берлина
14 октября	На свет появляется первенец Дёблина — Бодо, ребенок Фриды Кунке.
1912	Свадьба с Эрной Рейсс.
23 января	
12 апреля	Официально признает отцовство своего незаконнорожденного сына Бодо и дает ему свою фамилию.
март	Г. Вальден публикует в своем журнале «Футуристический манифест» Ф.-Т. Маринетти.
16 мая	Открытие выставки футуристов в галерее журнала «Штурм». Дёблин лично знакомится с Маринетти и другими итальянскими футуристами. Он находится под сильным впечатлением от футуристических манифестов. В статье «Картины футуристов» («Die Bilder der Futuristen») Дёблин называет футуристическую живопись и провозглашенные футуризмом принципы «величайшим прорывом в искусстве».
27 октября	Рождение первого сына в браке с Эрной — Петера. Дёблин официально выходит из своей еврейской общины и крестит сына по протестантскому обряду.
ноябрь	Двенадцать новелл, опубликованных в журнале «Штурм» в 1910–1911 гг., выходят отдельной книгой под заглавием «Убийство одуванчика» («Ermordung der Butterblume»). За Дёблином закрепляется слава ведущего прозаика экспрессионистского поколения.
в течение года	Начинает работу над «китайским» романом «Три прыжка Ван Луня» («Die drei Sprünge des Wang-lun»), изучает литературу, связанную с историей и культурой Китая, восточными религиями, мифологией Востока и т. п. Письменные консультации с философом М. Бубером по вопросам восточных религий.
1913	Заканчивает работу над «Тремя прыжками Ван Луня»; безуспешно ищет издателя для этого объемного (рукопись на 2000 листах) романа. Разочаровывается в творчестве футуристов, обнаруживая, что изложенная в манифестах теория футуризма во многом расходится с литературной практикой направления. Дёблина возмущает авторитаризм Маринетти; публикует в журнале «Штурм» «Открытое письмо Ф.Т. Маринетти о его футуристической словесной технике» («Futuristische Worttechnik. Offener Brief an F.T. Marinetti») и «Берлинскую программу» («An Romanautoren und ihren Kritiker. Berliner Programm»), в которых подвергает критике твор-

- ческие методы футуристов, дистанцируясь от этого направления. Конфликт с Г. Вальденом. В манифестах (ненапрямую защищающих непривычную поэтику романа «Три прыжка Ван Луня») призывает своих коллег заложить основы новой литературной техники, которая «соответствовала бы духу времени». Получает одобрительное письмо от Г. Ашполинера, где тот называет манеру своего немецкого коллеги «дэблинизмом».
- Открывает медицинскую практику в новом месте, в рабочем районе на восточной окраине Берлина.
- 1914**
август–декабрь Работает над «берлинским» романом – «Борьба Вадцека с паровой турбиной» («Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine»). Посещает заводы фирмы AEG, где собирает материалы для своего нового произведения, главным предметом изображения которого должен стать современный писателю Берлин.
- август Начало Первой мировой войны. Служит военным врачом в Лотарингии. Приветствует успехи немецкой армии.
- 1915**
17 марта Находит издателя для «Трех прыжков Ван Луня»: Самуэль Фишер, владелец издательского дома «S. Fischer», соглашается напечатать роман. Фишер становится затем постоянным издателем Дёблина.
- Рождение сына Вольфганга.
Пишет цикл рассказов «Лобенштейнеры едут в Богемию» («Die Lobensteiner reisen nach Bohmen», опубликован 1917); Большая их часть рассказов посвящена Берлину.
- 1916**
март Служит в одном из лазаретов в относительной близости от Вердена, где в это время идут ожесточенные бои.
- Из печати выходит роман «Три прыжка Ван Луня» (годом издания указан 1915); критики (за исключением бывших коллег по «Штурму») с воодушевлением принимают роман и в один голос объявляют его важной вехой в истории новой немецкой литературы.
- август Дёблину присуждают самый престижный немецкий литературный приз – премию Теодора Фонтане. Тревожная атмосфера «воздушной войны» и жуткие впечатления от службы в лазарете (Дёблин ухаживает за тяжелоранеными) приводят писателя к мысли создать грандиозную эпопею о Тридцатилетней войне. Начинает собирать материалы для своего романа об австрийском императоре Фердинанде II и полководце Валленштейне.
- 1917**
март Тяжело заболевает тифом.
- конец апреля Оправившись от болезни, несколько недель изучает материалы о Тридцатилетней войне в Гейдельберге (куда был направлен на лечение), в университетском архиве.

- 20 мая Рождение третьего сына в браке с Эрной — Клауса.
В результате конфликта с главным врачом лазарета (Дёблин возмущен «неподобающим уходом за солдатами»), Дёблина переводят в городок Хагенау под Страсбургом. В Страсбурге писатель проводит свободное от работы время в архивах и городской библиотеке, изучая документы, материалы и литературу времен Тридцатилетней войны. Начало работы над романом «Валленштейн» («Wallenstein»).
Литературно-теоретические работы «О романе и прозе» («Über Roman und Prosa») и «Замечания по поводу романа» («Bemerkungen zum Roman»), в которых формулирует собственную теорию эпического произведения.
- 1918
19 января Фрида Кунке умирает от туберкулеза.
- ноябрь Начало революции в Германии. Возвращается с семьей из Эльзаса в Берлин и становится свидетелем революционных событий. Вновь открывает частную медицинскую практику в том же районе, что и до войны.
Манифест «О свободе художника» («Von der Freiheit eines Dichtermenschen») — важный документ позднего немецкого экспрессионизма.
- 1919
начало года Завершает работу над монументальным романом «Валленштейн» («Wallenstein»).
- 12 марта Умирает сестра Дёблина Мета, которая была тяжело ранена случайной пулей во время уличных боев в Берлине в дни Спартаковского восстания.
Под псевдонимом Линке Поот публикует критические статьи о политической жизни в Веймарской республике.
Финансовое положение семьи Дёблинов ухудшается из-за инфляции.
- 1920 Из печати выходит «Валленштейн» — один из важнейших исторических романов немецкой литературы.
Вместе с коллегами по писательскому цеху основывает профсоюз, призванный защитить литераторов от издательского произвола.
Читает труды К. Маркса и Ф. Лассаля.
Посещает собрания различных политических партий левого толка.
Пьеса «Лузитания» («Lusitania») о катастрофе английского пассажирского парохода, торпедированного немецкой подводной лодкой в 1915 г. (поставлена в 1926 г.).
Многочисленные публикации на политические темы.
Смерть матери.
- 1921
февраль Знакомится на маскараде с Шарлоттой (Йоллой) Никлас, известным фотографом, дочерью берлинского банкира; Йолла моложе

Дёблина почти на 20 лет. Их любовная связь продолжается вплоть до 1940-х годов. Йолла увлекает Дёблина фотографией. Вновь вступает в берлинскую еврейскую общину, что в конце года выливается в статью «Сион и Европа» («Zion und Europa»).
 Мрачная пьеса о «религиозном экстазе и борьбе полов» «Кемнадские монахини» («Die Nonnen von Kempnade») на сюжет из жизни средневековой Германии (впервые поставлена в Лейпциге в 1923 г.).
 Статьи о Достоевском: «Гёте и Достоевский» («Goethe und Dostojewski»), «За и против Достоевского» («Für und wider Dostojewski»).
 Начинает работу над научно-фантастическим романом «Горы моря и гиганты» («Berge Meere und Giganten»).
 Пишет книгу критических статей о политической жизни Веймарской республики — «Немецкий маскарад» («Der deutsche Maskenball») под псевдонимом Линке Поот.
 По финансовым соображениям начинает работать берлинским корреспондентом газеты «Прагер тагблатт» и пишет многочисленные рецензии и обзоры культурной жизни Берлина.
 Смерть отца.

1922—1923

Журналистская работа в различных немецких газетах.
 Натурфилософское эссе «Вода» («Das Wasser»).
 Окончание работы над романом «Горы моря и гиганты».

1924

Из печати выходит роман «Горы моря и гиганты» — грандиозный визионерский опус о «конflikте между природой и техникой» в третьем тысячелетии. Дёблин описывает мир будущего, где у власти стоят марионеточные правительства, лоббирующие интересы «инженерной и биотехнической олигархии», мутацию людей в расу гигантов, крайнее духовное оскудение масс и попытку ученых растопить льды Гренландии, которая приводит к грандиозной экологической катастрофе. Усложненное построение романа и его сюжет приводят критиков в замешательство.

осень

По заказу своего издателя С. Фишера совершает поездку в Польшу. К концу года подготавливает книгу репортажей о жизни польских евреев. Сильное впечатление на писателя оказывает убранство польских католических храмов, в особенности алтарь в краковской церкви Св. Девы Марии, при созерцании которого у Дёблина начинаются галлюцинации.

Документальная проза «Подруги-отравительницы» («Die beiden Freudinninen und ihr Giftmord») на основе материалов нашумевшего уголовного процесса. Дёблин пытается «реконструировать» мотивы преступления и психологию убийц. Книга открывает популярную серию, редактируемую писателем Р. Леонгардом, «Аутсайдеры общества. Преступники наших дней».

конец года

Публикует эссе «Дух натуралистической эпохи» («Das Geist der naturalistischen Zeitalters»), где, несмотря на апокалиптический

- взгляд на будущее в романе «Горы моря и гиганты», с оптимизмом высказывается о перспективах западной цивилизации.
- 1925** Публикует «Путешествие в Польшу» («Reise in Polen»). Сближается с радикально-левыми писателями – И. Бехером, Э. Блохом, Г. Казаком, Э. Вайсом и Б. Брехтом. Последний высказывает исключительное восхищение произведениями Дёблина. Входит в число учредителей «Группы 1925» – левого объединения писателей.
- 1926** Работает над эпосом «Манас» на сюжет из индийской мифологии. Погружается в изучение древнеиндийских философских трактатов, индийской литературы и мифологии. Произносит торжественную речь на 70-летнем юбилее Зигмунда Фрейда.
- 7 декабря Рождение сына Стефана.
- 1927**
май В издательстве С. Фишера выходит экспериментальный эпос «Манас» («Manas»), написанный белым стихом; лишь два критика восторженно отзываются об этом необычном для немецкоязычной литературы произведении – австрийский писатель и эссеист Р. Музиль и редактор издательства Фишера О. Лёрке. Естественнонаучное эссе «Я над природой» («Ich über der Natur»), вышедшее отдельной книгой в издательстве С. Фишера, как и «Манас», не имеет успеха. С. Фишер намеревается расторгнуть контракт с Дёблином.
- осень Начинает работу над романом «Берлин Александрплац» («Berlin Alexanderplatz»).
- 1928**
начало года Становится действительным членом Прусской академии искусств. Пишет рецензию на немецкий перевод романа Джеймса Джойса «Уллис».
- 10 декабря Выступает перед студентами Берлинского университета с докладом «Построение эпического произведения» («Der Bau des epischen Werkes»).
- 1929**
октябрь Из печати выходит роман «Берлин Александрплац. История Франца Биберкопфа», который мгновенно становится бестселлером и признается критиками вехой в немецкой литературе. Роман приносит писателю всемирное признание, почти сразу же переводится на все европейские языки. История бывшего «цементщика и грузчика» Франца Биберкопфа разворачивается на фоне Берлина времен Веймарской республики, а Дёблин пользуется необычными для литературы его времени техническими приемами, такими как монтаж, к которому широкая читающая публика в те годы еще не была привычна. Коллеги по писательскому цеху предлага-

- ют выдвинуть Дёблина на Нобелевскую премию по литературе от Германии.
- Пишет пьесу «Супружество» («Die Ehe») о том, как «современная капиталистическая экономика разрушает традиционную семью и брак», в манере «эпического театра» Брехта.
- 1930**
начало года
- Постановка пьесы «Супружество» в Мюнхене приводит к скандалу: Э. Пискатор обвиняет Дёблина в плагиате концепции «эпического театра», пьесу запрещают как «пропаганду коммунизма», а Дёблин подает в суд на Пискатора за клевету и выигрывает дело. Менее чем за год немецкий тираж романа «Берлин Александрплац» достигает 30 000 экземпляров. В прессе к этому времени опубликовано больше 100 рецензий на роман.
- Поездка во Франкфурт. В качестве представителя Прусской академии искусств в дирекции самой престижной немецкой премии того времени – премии Гёте, Дёблин прилагает все усилия для того, чтобы премия досталась З. Фрейду.
- июнь
- Поправляя здоровье после желудочной операции на одном из австрийских курортов, встречается с Фрейдом.
- осень
- Начинает работу над сценарием фильма «Берлин Александрплац». По настоянию жены, семья писателя переезжает из бедной восточной части Берлина в престижный район на западе города, но Дёблин чувствует себя там неуютно; он закрывает практику и возвращается на восточную окраину города.
- Оратория композитора Эрнста Тоха «Вода» («Das Wasser») на текст Дёблина.
- Старший брат Дёблина Людвиг кончает жизнь самоубийством.
- 1931**
- Двадцатитрехлетний Г.-Р. Хоке, будущий историк искусств и писатель, обращается к Дёблину с открытым письмом от имени немецкой молодежи с просьбой помочь в выборе верных духовных ориентиров. Ответ Дёблина – политико-философское эссе «Знать и изменять! Открытое письмо молодым людям» («Wissen und Verändern! Ein offenes Brief an jungen Menschen»), которое становится предметом активного обсуждения в самых различных кругах немецкого общества и подвергается резким нападкам со стороны левых: Дёблин критикует коммунистов и призывает отказаться от практики классовой борьбы.
- Премьера фильма «Берлин Александрплац», который вызывает восторг зрителей и резкое неприятие критиков.
- 1932**
- Завершает многолетнюю работу над естественнонаучным трактатом «Наше бытие» («Unser Dasein», опублик. 1933).
- Роман «Гиганты» («Giganten») – новая версия книги «Горы моря и гиганты», рассчитанная на массового читателя.
- 1933**
28 февраля
- После поджога рейхстага и прихода к власти национал-социалистов, по настоянию друзей, бежит из Берлина.

- Поначалу обосновывается в Цюрихе, но в ноябре переезжает с семьей в Париж.
- Одна из глав трактата «Наше бытие» («Обновление еврейства» — призыв к созданию независимого еврейского государства) выходит отдельной брошюрой в Амстердаме.
- Работает над сюрреалистическим романом «Вавилонское странствие» («Babylonische Wanderung»), в котором непрямо отражаются впечатления от бегства из Германии.
- 1934** В Амстердаме выходит «Вавилонское странствие».
- Работа над «маленьким берлинским романом» «Прощения не будет» («Pardon wird nicht gegeben»), во многом автобиографическом произведении, написанном под влиянием французской психологической прозы XIX в. (опубл. 1935).
- 1935—1936** Замысел романа «Земля без смерти» («Land ohne Tod») — о завоевании европейцами южноамериканских земель и разрушении аборигенской цивилизации.
- Отвергает предложение Брехта об эмиграции в Данию.
- В московском журнале «Слово», издаваемом немецкими эмигрантами, опубликована литературно-теоретическая статья Дёблина «Исторический роман и мы» («Der historische Roman und wir»).
- Чтитаает труды С. Кьеркегора, И. Таулера и Б. Паскаля.
- Принимает французское гражданство.
- 1937** Знакомится с молодым германистом из Эльзаса Робертом Миндером, который до конца жизни писателя останется его ближайшим другом и доверенным лицом.
- июнь Интенсивно изучает материалы для «южноамериканского романа» в Парижской национальной библиотеке.
- конец года В Амстердаме выходит роман «Земля без смерти» (с 1947 г. — под названием «Амазонка»).
- Завязывает знакомство с П. Сартром и С. де Бовуар.
- Начинает работу над монументальным циклом о Немецкой революции 1918 г. Писатель уверен, что ему удастся нащупать истоки фашизма в исторических событиях и политических разочарованиях 1918 г.
- 1938** На торжествах в честь шестидесятилетия Дёблина присутствуют почти все знаменитые немецкие эмигранты; с приветственными речами выступают А. Зегерс и Г. Манн.
- август Окончательно понимает, что должен отказаться от занятий медициной в пользу литературы и общественной деятельности; это повергает его в тяжелую депрессию.
- 1939** Попадает в автокатастрофу и почти месяц проводит на больничной койке.
- март Едет в США, где принимает участие в работе международного PEN-клуба в Нью-Йорке, городе, который производит на него неизгладимое впечатление.
- конец апреля

11 мая	На банкете в честь деятелей культуры Дёблин представлен американскому президенту Ф. Рузвельту.
с октября	Работает во французском Министерстве информации, занимаясь вместе с Р. Миндером подготовкой пропагандистских листовок.
1940 начало мая	Угроза оккупации Франции немецкими войсками. Жена Дёблина и его младший сын Стефан покидают Париж; Дёблин вынужден оставаться в Париже в связи с работой в министерстве; когда он в июне эвакуируется из города, выясняется, что он потерял своих близких из виду. Дёблин разыскивает родных по всей Франции, не расставаясь в своих поисках с тяжелыми чемоданами, в которых перевозит с собой печатную машинку и внушительную рукопись романа «Ноябрь 1918».
16 мая	Завершает работу над первыми романами тетралогии «Ноябрь 1918».
21 июня	Сын Дёблина Вольфганг (Винсан), участник Французского сопротивления, кончает с собой, чтобы избежать ареста. (Дёблин узнает о смерти сына лишь после войны.)
20-е числа июня	В городе Менде, когда Дёблин «истово молится перед алтарем с фигурой распятого Иисуса» в кафедральном соборе, у него начинаются видения; клянется принять католичество, если ему удастся найти семью. Одновременно его посещают мысли о самоубийстве.
начало июля	Случайно узнает, что его жена и сын находятся в Тулузе, еще не захваченной немцами, и отправляется к ним навстречу. В Тулузе семья принимает решение эмигрировать в Америку, где к тому времени уже обосновался старший сын писателя Петер.
конец июля	Через Мадрид, Барселону и Лиссабон добирается до Атлантического побережья и покидает Европу.
начало октября	Переезжает из Нью-Йорка в Голливуд, где работает на голливудскую кинокомпанию MGM в качестве сотрудника сценарной группы.
1941 январь	Биографическая книга «Судьбоносное путешествие. Робинзон из Франции» («Schicksalsreise. Robinson aus Frankreich»).
октябрь	В Лос-Анджелесе тесное общение с философом Л. Маркузе. У Дёблина заканчивается контракт с MGM. Кинокомпания отказывается его возобновлять; не помогают ни письменные обращения к дирекции MGM Томаса Манна, ни то обстоятельство, что два фильма («Случайная жатва» М. Ле Роя и «Миссис Минивер» У. Вайлера, оба фильма вышли в 1942 г.), над сценариями которых он работал, имеют кассовый успех и выдвинуты на премию «Оскар». Материальное положение Дёблинов значительно ухудшается. Писатель и его жена с младшим сыном вынуждены жить за счет пособия для безработных, мизерной материальной поддержки Петера Дёблина и финансовой помощи еврейского банкира А. Росина.

- 30 ноября Альфред, Стефан и Эрн Дёблин на тайной церемонии принимают католическое крещение в одной из церквей Лос-Анджелеса. В тот же день сын Дёблина Петер крестится по католическому обряду в Филадельфии.
- 1942—1944** Работает над религиозным трактатом «Бессмертный человек» («Der Unsterbliche Mensch», опубл. 1946) и завершает работу над романным циклом «Ноябрь 1918. Немецкая революция» («November 1918. Eine deutsche Revolution») в четырех томах: «Бюргеры и солдаты», «Народ, который предали», «Возвращение с фронтов», «Карл и Роза» (опубл. 1948—1950).
- 1943**
август Банкет в честь шестидесятилетия Дёблина, в котором принимают участие многие знаменитые немецкие культурэмигранты. Младший брат Дёблина Курт вместе со своей семьей уничтожен в Освенциме.
- 1945**
апрель Получает телеграмму от сына Клауса, который участвовал во Французском сопротивлении и был членом еврейской антифашистской организации. Через несколько дней узнает о смерти своего сына Вольфганга. Сообщение вызывает у него тяжелейший душевный кризис.
Стефан Дёблин, которому исполнилось 18 лет, изъявляет желание вернуться в Европу и служить во французской армии.
- май Дёблины возвращаются во Францию, а затем переезжают в Германию.
- с 9 ноября Служит военным цензором в Баден-Бадене. Особенную неприязнь вызывают у него Г. Бенн и Э. Юнгер, произведения которых он всеми возможными способами пытается не пропустить в печать. Вынужден ежемесячно прочитывать по 60—70 рукописей, из-за этого его зрение резко ухудшается.
Начинает работу над последним романом — «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу» («Hamlet, oder Die lange Nacht nimmt ein Ende»), посвященным памяти сына Вольфганга.
- 1946** Основывает литературный журнал «Золотые ворота» («Das goldene Tor»), с которым сотрудничают многие видные литераторы того времени. В нем публикует свои поздние рассказы. В критических статьях рубрики «Ревизия литературных приговоров» резко высказывается против Т. Манна, называя его «дегенератом от немецкой литературы» и провоцируя тем самым один из самых громких скандалов в послевоенной немецкой литературе.
Пишет документальный репортаж о Нюрнбергском процессе, который выходит в виде брошюры невероятным тиражом в 200 тыс. экземпляров (под псевдонимом Ганс Фиделер), но не имеет абсолютно никакого спроса.
- 1949** Переезжает в Майнц; становится соучредителем Майнцской академии науки и литературы.

- 1950**
4 марта Читает доклад «Поэзия, ее природа и ее роль» («Die Dichtung, ihre Natur und ihre Rolle»).
Политическая позиция Дёблина, который критикует культурную политику западногерманского правительства, приводит к конфликту с властями. Попытки сделать Майнц культурным центром послевоенной Германии оказываются неудачными.
- 1952**
20 сентября Переносит инфаркт. Находится в больнице до января 1953 г.
- 1953**
апрель Случайно оказывается на празднике Христианско-демократической партии Германии и наблюдает, как «стройные колонны участников демонстрации под звуки марша из оперы “Аида” приветствуют Вилли Брандта». Сцена напоминает ему о нацистских демонстрациях, и он принимает решение немедленно уехать из Германии.
- 29 апреля Навсегда покидает родину. Брехт настаивает на переезде Дёблина в ГДР, но Дёблин с семьей отклоняет предложение и возвращается во Францию. Писателя снова выдвигают на получение Нобелевской премии по литературе.
«Дневник 1952–1953» (при жизни не опубликован).
- 1954** Здоровье Дёблина резко ухудшается. С 1954 по 1957 гг. Дёблин вынужден большую часть времени проводить в больницах и санаториях.
- 1956** В ГДР выходит последний роман «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу», для которого Дёблин безуспешно пытался найти издателя в течение 10 лет. Критики благосклонны к «Гамлету» и рассматривают его как квинтэссенцию всего творчества писателя. Успех романа у критиков и читателей воодушевляет Дёблина.
- 1957** Незавершенное автобиографическое эссе «О жизни и смерти, которых нет» («Von Leben und Tod, da es beide nicht gibt»).
- 26 июня В полдень умирает.
- 28 июня Похоронен на деревенском кладбище в Усера во французских Вогезах, рядом с сыном Вольфгангом. Родственники Дёблина держат смерть писателя в тайне, чтобы не допустить на похороны немецких журналистов. Широкая общественность узнает о его смерти из американских газет через несколько дней после похорон.
- 15 сентября Жена Дёблина Эрна кончает жизнь самоубийством.

**ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ,
УПОМИНАЕМЫЕ В ТЕКСТЕ РОМАНА
ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЁБЛИНОМ
ПРИ МОНТАЖЕ**

- «Арбайтслозе» («Безработный») (Der Arbeitslose)
- «Атеист» (Der Atheist)
- «Бе Цет» (BZ) – см. «Берлинер цайтунг»
- «Берлинер арбайтер цайтунг» («Берлинская рабочая газета») (Berliner Arbeiter Zeitung)
- «Берлинер иллюстрирте цайтунг» («Берлинская иллюстрированная газета») (Berliner Illustrierte Zeitung)
- «Берлинер моргенпост» (Berliner Morgenpost)
- «Берлинер тагеблат» («Берлинский ежедневный листок») (Berliner Tageblatt)
- «Берлинер цайтунг» («Берлинская газета») (Berliner Zeitung)
- «Вельт» («Мир») (Die Welt)
- «Вельт ам монтаг» («Мир в понедельник. Независимая газета о политике и культуре») (Welt am Montag. Unabhängige Zeitung für Politik und Kultur)
- «Вестник мира» (Der Friedensbote)
- «Грюне пост» (Die Grüne Post)
- «Ди функ штунде» («Час радио. Газета Берлинского радио») (Die Funk Stunde. Zeitschrift der Berliner Rundfunkstelle)
- «Дружба. Еженедельник просвещения и духовной поддержки идеальной дружбы» (Die Freundschaft. Wochenschrift für Unterhaltung und geistige Hebung der idealen Freundschaft)
- «Дюрх алле вельт» («Вокруг света») (Durch alle Welt)
- «Ежемесячный журнал о браке, науке, праве и культуре» (Monatsschrift für Ehe, Wissenschaft, Recht und Kultur)
- «Женская любовь. Еженедельник о дружбе и сексуальном просвещении» (Die Frauenliebe. Wochenschrift für Freundschaft und sexuelle Aufklärung)

-
- «Идеальный брак. Ежемесячный журнал о телесном и духовном воспитании в браке» (Die Ideal-Ehe. Monatsschrift für Geistes- und Körpererziehung zur Ehe)
- «Локальанцайгер» (Lokalanzeiger)
- «Монтар морген» (Montag Morgen)
- «Не состоящие в браке и женатые» (Die Ehelosen und Eheverbundenen)
- «Пфaffenшпигель. Еженедельная газета против социал-реакционного клерикализма» (Der Pfaffenspiegel. Wochenzeitung gegen den sozialreaktionären Klerikalismus)
- «Роте фане» («Красное знамя») (Die Rote Fahne)
- «Смеющаяся жизнь» (Lachendes Leben)
- «Фёлькише беобахтер» («Народный наблюдатель») (Völkischer Beobachter)
- «Фигаро. Журнал духовной и телесной культуры» (Figaro. Halbmonatsschrift für Geist- und Körperkultur)
- «Форвертс» («Вперед») (Vorwärts)
- «Цвельф-ур-миттагцайтунг» («Полуденная газета») (Zwölf Uhr Mittagszeitung)

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Ил. на с. 5.* Альфред Дёблин. Кон. 1920-х годов. Частная коллекция.
- Ил. 1.* Александрплац. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 2.* Карта Берлина и окрестностей. Нач. 1920-х годов. Оpubл. в изд.: Griebens Reisebücher. Berlin: Grieben, 1923. — 176 S., mit 6 Karten u. 8 Grundrissen. Bd 6: Berlin und Umgebung.
- Ил. 3.* Берлинская ратуша. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 4.* На Фридрихштрассе. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928. Здание торгового пассажа на Фридрихштрассе.
- Ил. 5.* Фридрихштрассе. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 6.* Универмаг Вертгейма. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 7.* Кинотеатр «Капитоль». Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 8.* Потсдамерплац. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 9–10.* На Мюггельзее. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 11.* В Тиргартене. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 12.* «Дорога для автомобильного движения и упражнений» (АФУС) в Грюневальде. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 13.* Берлинская Колонна Победы. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.

- Ил. 14.* Полицейпрезидиум. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 15.* Еврейский квартал. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 16.* Юденхоф. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928. Площадь в еврейском квартале Берлина.
- Ил. 17.* Бюловплац. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 18.* На скотобойне. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 19.* Вид на Шпрее. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 20.* Силезский вокзал. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 21.* Берлинские скотобойни. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 22.* Турбинный завод АЕG. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 23.* Вид на Музейный остров. Фотография. Фот. Марио фон Букович (1884–1950). Оpubл. в изд.: Viscovich 1928.
- Ил. 24.* «Неизвестная из Сены» («L'Inconnue de la Seine»). Фотография. Воспр. в изд.: *Bronfen E.* Nur über ihrer Leiche. Tod, Weiblichkeit und Ästhetik. München: Verlag Antje Kunstmann, 1994. S. 296.
- Ил. 25.* Суперобложка первого издания романа «Берлин Александрплац». Худ. Георг Зальтер (1897–1967). Оpubл. в изд.: *Döblin A.* Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf. Berlin: S. Fischer, 1929.
- Ил. 26.* Страница рукописи романа А. Дёблина «Берлин Александрплац». Оpubл. в изд.: Alfred Döblin. 1878–1978. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum, Marbach am Neckar / Ausstellung und Katalog Jochen Meyer in Zsarb. mit Ute Doster. München: Kösel, 1978. Страница с вырезанной из какой-то газеты статьей с правкой Дёблина и несколькими написанными над вырезкой рукой Дёблина предложениями.
- Ил. 27.* Александрплац в 1925 г. Оpubл. в изд.: Alfred Döblin. 1878–1978. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum, Marbach am Neckar / Ausstellung und Katalog Jochen Meyer in Zsarb. mit Ute Doster. München: Kösel, 1978. Коллекция открыток А. Дёблина.
- Ил. 28.* Открытка с фотографией путешественника Иоганна Кирбаха. Оpubл. в изд.: Alfred Döblin. 1878–1978. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum, Marbach am Neckar / Ausstellung und Katalog Jochen Meyer in Zsarb. mit Ute Doster. München: Kösel, 1978. Текст открытки дословно воспроизведен в романе «Берлин Александрплац» (см. с. 198–199 наст. изд.). См. также примеч. 38 к книге шестой БА.

-
- Ил. 29.* Витрина с дешевым товаром. Акварель. Худ. Отто Грибель. 1923. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва).
- Ил. 30.* Убийство из удовольствия. Акварель. Худ. Карл Хуббук. 1930. Собрание Франка Бранганга (Висбаден).
- Ил. 31.* Берлинский уличный торговец. Рисунок. Худ. Карл Рёслинг. 1931. Государственный музей Линденау (Альтенбург).
- Ил. 32.* Агитатор. Масло. Худ. Конрад Феликсмюллер. 1920. Национальная галерея (Берлин). Изображен немецкий левый коммунист Отто Рюле (1874–1943), который наряду с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург участвовал в основании группы и журнала «Интернационал», а также «Союза Спартака».
- Ил. 33.* Будка железнодорожного сторожа. Масло. Георг Шольц. 1924. Музей искусств (Дюссельдорф).
- Ил. 34.* Афиша фильма Ф. Ютци «Берлин Александрплац» (1931). Опул. в изд.: *Sander G. Alfred Döblin. Berlin Alexanderplatz. Erläuterungen und Dokumente.* Stuttgart: Reclam, 1998. S. 239.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Адорно 1999 – *Адорно Т.* Введение в социологию музыки / Пер. А.В. Михайлова // Т. Адорно. Избранное: Социология музыки. М.; СПб.: Университетская книга, 1999. С. 7–190.
- БА – Берлин Александрплац. История Франца Биберкопфа.
- Гамлет – *Дёблин А.* Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу / Пер. с нем. Л. Чёрной; примеч. А. Маркина; под ред. А. Маркина, М. Эдельштейна. М.: Просодия, 2002.
- Дёблин 2006А – *Дёблин А.* Подруги-отравительницы / Пер. с нем. С. Панкова. Тверь: Колонна, 2006.
- Дёблин 2006Б – *Дёблин А.* Три прыжка Ван Луня. Китайский роман / Пер. Т. Баскаковой. Тверь: Митин журнал: Kolonna Publications, 2006.
- Манн 1960 – *Манн Т.* Собр. Соч.: В 10 т. М., 1960.
- Нордау 1995 – *Нордау М.* Вырождение. Современные французы. М.: Республика, 1995.
- Слотердайк 2001 – *Слотердайк П.* Критика цинического разума / Пер. с нем. А.В. Перцева. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001.
- ФБ – Франц Биберкопф
- Шпенглер 2000 – *Шпенглер О.* Закат Европы. М.: АСТ; Минск: Харвест, 2000.
- Ausstellung – *Alfred Döblin 1887–1978. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar: DLA, 1978.*
- Becker-Cantarino 1997 – *Becker-Cantarino B.* Die Hure Babylon: Zur Mythisierung von Gewalt in Döblins «Berlin Alexanderplatz» // Methodisch reflektierte Interpretation. Festschrift für Harmut Laufhütte zum 60. Geburtstag. Passau: Rothe, 1997. S. 367–374.
- Best 1972 – *Best O.* «Epischer Roman» und «dramatischer Roman». Einige Überlegungen zum Frühwerk von Alfred Döblin und Bertold Brecht // Germanisch-Romanische Monatsschrift. 1972. № 22. S. 281–309.
- Buck, Kreuzer, Peters 1977 – *Buck E., Kreuzer L., Peters J.* Die schöne Leiche aus der Rue Bellechasse. Einiges über Schreiben Spielen Filmen. Reinbeck: Rowohlt, 1977.
- Bucovich 1928 – *Bucovich M. von.* Berlin / Gleitwort von A. Döblin. Berlin: Albertus-Verlag, 1928.
- Companion – A Companion to the Works of Alfred Döblin / Ed. R. Dollinger, W. Koepke, H. Thomann Tewarson. N.Y.: Camden House, 2003.

- Döblin 1933 – *Döblin A.* Unser Dasein. Berlin: Fischer, 1933.
- Döblin 1946 – *Döblin A.* Der unsterbliche Mensch: Ein religionsgespräch. Freiburg i. Br., 1946.
- Döblin 1962 – *Döblin A.* Die Zeitlupe. Olten; Freiburg i. Br.: Walter-Verlag, 1962.
- Döblin 1963 – *Döblin A.* Aufsätze zur Literatur. Olten; Freiburg i. Br.: Walter-Verlag, 1963.
- Döblin 1964 – *Döblin A.* Unser Dasein. Olten; Freiburg i. Br.: Walter-Verlag, 1964.
- Döblin 1968 – *Döblin A.* Die Vertreibung der Gespenster. Berlin: Rütten und Loening, 1968.
- Döblin 1970a – *Döblin A.* Briefe. Olten; Freiburg i. Br.: Walter-Verlag, 1970.
- Döblin 1970b – *Döblin A.* Wallenstein. Berlin: Rütten: Loening, 1970.
- Döblin 1972 – *Döblin A.* Der deutsche Maskenball. Olten; Freiburg i. Br.: Walter-Verlag, 1972.
- Döblin 1983 – *Döblin A.* Drama, Hörspiel, Film. Olten; Freiburg i. B.: Walter-Verlag, 1983.
- Döblin 1985 – *Döblin A.* Kleine Schriften. Olten; Freiburg i. Br.: Walter-Verlag, 1985. Bd. 1: 1902–1921.
- Döblin 1986 – *Döblin A.* Schriften zu Leben und Werk. Olten; Freiburg i. Br.: Walter-Verlag, 1986.
- Döblin 1989 – *Döblin A.* Schriften zur Ästhetik, Poetik und Literatur. Olten; Freiburg i. Br.: Walter-Verlag, 1989.
- Döblin 1990 – *Döblin A.* A Kleine Schriften / Hg. von A.W. Riley. Olten; Freiburg i. Br.: Walter-Verlag, 1990. Bd. 2: 1922–1924.
- Döblin 1992 – *Döblin A.* Kritik der Zeit: Rundfunkbeiträge 1946–1952. Olten; Freiburg i. Br.: Walter-Verlag, 1992.
- Döblin 1995 – *Döblin A.* Schriften zu jüdischen Fragen. Zürich; Düsseldorf: Walter-Verlag, 1995.
- Hesse 1970 – *Hesse H.* Gesammelte Werke: In 12 Bd. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1970.
- IADK – Jahrbuch für Internationale Germanistik. Reihe A: Kongressberichte: Internationale Alfred Döblin Kolloquien.
- Keller 1990 – *Keller O.* Döblins «Berlin Alexanderplatz». Die Großstadt im Spiegel ihrer Diskurse/ Bern; Frankfurt a. M.; P.: Peter Lang, 1990.
- Kesten 1965 – *Kesten H.* Der Scharlatan. Roman. Wien; München; Basel: K. Desch Verlag, 1965.
- Kiesel 1986 – *Kiesel H.* Literarische Trauerarbeit. Das Exil- und Spätwerk Alfred Döblin. Tübingen: Niemeyer, 1986.
- Kiesel 1993 – *Kiesel H.* Nachwort // Döblin A. Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte von Franz Biberkopf / Hg. von H. Kiesel. München: Artemis & Winkler, 1993. S. 511–555.
- Kleinschmidt 1980–1983 – *Kleinschmidt E.* Der Roman – eine «neue Bühne». Zur Poetik des dramatischen Romans bei Alfred Döblin // IADK. Basel; N.Y.; Freiburg, 1980/81/83. S. 383–401.
- Kleist 2001 – *Kleist H. von.* Sämtliche Werke und Briefe. München: Dt Taschenbuch Verlag, 2001.

- Krakauer 1931 – *Krakauer S.* Literarische Filme // *Neue Rundschau*. 1931. № 42. S. 859–860.
- Links 1976 – *Links R.* Alfred Döblin. Leben und Werk. Berlin: Volk und Wissen, 1976.
- Martini 1954 – *Martini F.* Alfred Döblin «Berlin Alexanderplatz» // *F. Martini. Wagnis der Sprache*. Stuttgart: Klett-Cotta, 1954. S. 336–372.
- Minder 1961 – *Minder R.* Alfred Döblin // *Deutsche Literatur im 20. Jahrhundert. Gestalten und Stukturen* / Hg. von H. Friedmann, O. Mann. Heidelberg: Rothe Verlag, 1961. Bd. 2.
- Minder 1966 – *Minder R.* Dichter in der Gesellschaft: Erfahrungen mit deutscher und französischer Literatur. Frankfurt a. M.: Insel, 1966
- Müller-Salget 1972 – *Müller-Salget K.* Alfred Döblin. Werke und Entwicklung. Bonn: Bouvier, 1972.
- Muschg 1929 – *Muschg W.* Nachwort des Herausgebers // *A. Döblin. Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte von Franz Biberkopf*. Olten; Freiburg i. Br.: Walter-Verlag, 1961.
- Ogasawara 1996 – *Ogasawara Y.* Literatur zeugt Literatur: Intertextuelle, motiv- und kulturgeschichtliche Studien zu Alfred Döblins Poetik und dem Roman «Berlin Alexanderplatz». Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1996.
- Prangler 1975 – *Materialien zu Alfred Döblins «Berlin Alexanderplatz»* / Hg. von M. Prangler. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1975.
- Prangler 1987 – *Prangler M.* Alfred Döblin. Stuttgart: Metzler, 1987.
- Reid 1967 – *Reid J.H.* Berlin Alexanderplatz – A Political Novel // *German Life and Letters*. 1967. Vol. 21. P. 214–223.
- Sander 1998 – *Sander G.* Alfred Döblin. Berlin Alexanderplatz. Erläuterungen und Dokumente. Stuttgart: Reklam, 1998.
- Sander 2001 – *Sander G.* Alfred Döblin. Stuttgart: Reklam, 2001.
- Schivelbusch 1977 – *Schivelbusch W.* Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit in 19. Jahrhundert. Frankfurt a. M.: Fischer, 1977.
- Schöne 1963 – *Schöne A.* Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz // *Der deutsche Roman. Vom Barock bis zur Gegenwart. Struktur und Geschichte* / Hg. von B. von Wiese. Düsseldorf: Bagel, 1963. Bd. 2. S. 291–325.
- Soergel 1926 – *Soergel A.* Dichtung und Dichter der Zeit // *Im Banne des Expressionismus*. Leipzig: Voigtlander Verlag, 1926.
- Stauffacher 1996 – *Stauffacher W.* Nachwort // *Döblin A. Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte von Franz Biberkopf* / Hg. von W. Stauffacher. Zürich; Düsseldorf: Walter, 1996. S. 837–875.
- Stramm 1997 – *Stramm A.* Gedichte. Dramen. Prosa. Briefe. Stuttgart: Reklam, 1997.
- Tatar 1995 – *Tatar M.* Lustmord. Sexual Murder in Weimar Germany. Princeton: Princeton University Press, 1995.
- Widdig 1992 – *Widdig B.* Männerbünde und Massen. Zur Krise männlicher Identität in der Literatur der Moderne. Opladen: VS, 1992.
- Ziolkowski 1969 – *Ziolkowski T.* Dimensions of the Modern Novel: German Texts and European Context. New Jersey: Princeton University Press, 1969.

СОДЕРЖАНИЕ

Альфред Дёблин
БЕРЛИН АЛЕКСАНДРПЛАЦ
ИСТОРИЯ О ФРАНЦЕ БИБЕРКОПФЕ

[Пролог]	9
КНИГА ПЕРВАЯ	11
На 41 номере в город	12
Он все еще не пришел в себя	15
Почтение на примере Цанновича	16
Неожиданный финал этого рассказа, который восстановил душевное равновесие человека, выпущенного из тюрьмы	21
Настроение бездеятельное, к концу дня значительное падение курсов, с Гамбургом вяло, Лондон слабее	24
Победа по всему фронту! Франц Биберкопф покупает телятину	29
А теперь Франц клянется всему миру и себе, что останется порядочным человеком в Берлине, с деньгами или без них	33
КНИГА ВТОРАЯ	37
Франц Биберкопф отправляется на поиски, надо зарабатывать деньги, без денег человек не может жить. Кое-что о горшечном торге во Франкфурте	46
Лина задает ходу гомосексуалистам	56
Хазенхейде, «Новый мир», не одно, так другое, и не надо делать себе жизнь тяжелее, чем она есть	62
Франц — человек широкого размаха, он знает себе цену	70
Вот он какой, наш Франц Биберкопф! Под стать античным героям!	78
КНИГА ТРЕТЬЯ	85
Вчера еще на гордых конях	86
Сегодня навьлет прострелена грудь	89
А завтра в сырой могиле, нет, мы сумеем воздержаться	93

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ	97
Горсточка людей вокруг Алекса	98
Биберкопф под наркозом, Франц забился в нору, Франц ни на что не желает глядеть	102
Франц бьет отбой, Франц играет обоим евреям прощальный марш	104
Ибо с человеком бывает как со скотиной; как эта умирает, так и он умирает	108
Беседа с Иовом, дело за тобой, Иов, но ты не хочешь	114
И у всех одно дыхание, и у человека нет преимущества перед скотиною	117
У Франца открыто окно, ну и забавные же вещи случаются на свете	118
Гоп, гоп, гоп, конь снова скачет в галоп	126
 КНИГА ПЯТАЯ	 131
Встреча на Алексе, холод собачий, в следующем, 1929, году будет еще холоднее	132
Некоторое время — ничего, передышка, дела поправляются	137
Бойкая торговля живым товаром	142
Франц задумывается над торговлей живым товаром, и вдруг ему это дело больше не нравится, ему хочется чего-нибудь другого	148
Местная хроника	152
Франц принимает пагубное решение, он не замечает, что садится в крапиву	154
Воскресенье, 8 апреля 1928 года	160
 КНИГА ШЕСТАЯ	 173
Чужое добро идет впрок	174
Ночь с воскресенья на понедельник, понедельник, 9 апреля	178
Францу не сделан нокаут, и ему никак не сделают нокаута	186
Воспрянь, мой слабый дух. Воспрянь и крепче встань на ноги	190
Третье завоевание Берлина	192
Платье делает человека, а у нового человека и глаза новые	194
У нового человека и голова новая	198
Новому человеку нужна и новая профессия, а не то можно обой- тись и без всякой профессии	203
На сцене появляется и женщина, Франц Биберкопф снова уком- плектован	206
Оборонительная война против буржуазного общества	213
Дамский заговор, слово предоставляется нашим милым дамам, сердце Европы не стареет	221
С политикой покончено, но это вечное бездельничание гораздо опаснее	225

Муха выкарабкивается, песок с нее сыплется, скоро она опять зажуужит	231
Побатальонно, в ногу, с барабанным боем — вперед марш!	235
Кулак уже занесен	241
КНИГА СЕДЬМАЯ	243
Пусси Уль, напльв американцев, как пишется по-немецки «Вильма», через «ве» или через «фау»	244
Поединок начинается! Стоит дождливая погода	248
Франц, Франц-громилла, не лежит больше под автомобилем, а важно сидит в нем, он добился своего	253
Горести и утечи любви	259
Виды на урожай блестящи, впрочем, иной раз можно и ошибиться	265
Среда, 29 августа	272
Суббота, 1 сентября	277
КНИГА ВОСЬМАЯ	287
Франц ничего не замечает, и все идет своим чередом	288
Дело идет к развязке, преступники не поладили между собой	293
Присматривайте за Карлушкой-жестянщиком, с ним что-то творится	295
Дело налаживается, Карлушка-жестянщик засыпался и выкладывает все	299
И обратился я вспять, и узрел всю неправду, творимую на земле	306
И были это слезы тех, кто терпел неправду, и не было у них утешения	310
И восхвалил я тогда мертвых, которые уже умерли	312
Крепость осаждена со всех сторон, делаются последние вылазки, но это только для виду	315
Завязывается бой. Мы летим к черту в пекло, летим с музыкой	320
На Александрплац находится полиейпрезидиум	325
КНИГА ДЕВЯТАЯ	331
Черные дни для Рейнхольда. Впрочем, эту главу можно и пропустить	332
Психиатрическая больница в Бухе, арестантский барак	337
Виноградный сахар и впрыскивание камфоры, но в конце концов в дело вмешивается кто-то другой	341
Смерть поет свою унылую, протяжную песнь	345
И вот Франц слушает протяжную песнь Смерти	350
Здесь надлежит изобразить, что есть страдание	356
Отступление злой блудницы и триумф великого заклателя, барабанщика и громовержца	357
Лиха беда начало	358

Отчизна, сохрани покой, не влипну я, я не такой	360
В ногу — левой, правой, левой	363

ДОПОЛНЕНИЯ

<i>Альфред Дёблин</i> . Берлин и художники. <i>Пер. А. Маркина</i>	369
<i>Альфред Дёблин</i> . К востоку от Александерплац. <i>Пер. И. Алтуховой</i>	371
<i>Альфред Дёблин</i> . [Берлин]. <i>Пер. А. Маркина</i>	374
<i>Альфред Дёблин</i> . Моя книга «Берлин Александерплац». <i>Пер. А. Маркина</i>	379
<i>Вальтер Бенъямин</i> . Кризис романа. <i>Пер. А. Маркина</i>	381
<i>Альфред Дёблин</i> . [Кризис романа?]. <i>Пер. А. Маркина</i>	386
<i>Альфред Дёблин</i> . [Письмо] Юлиусу Петерсену. <i>Пер. А. Маркина</i>	388
<i>Вилли Хаас</i> . Замечания по поводу романа. <i>Пер. А. Маркина</i>	390
<i>Бернард фон Брентано</i> . Человека больше не сотворить. <i>Пер. А. Маркина</i>	393
<i>Альфред Дёблин</i> . Заметки о романе. <i>Пер. Т. Баскаковой</i>	395
<i>Альфред Дёблин</i> . Построение эпического произведения. <i>Пер. Т. Баскаковой</i>	399
<i>Альфред Дёблин</i> . Исторический роман и мы. <i>Пер. Т. Баскаковой</i>	423
<i>Альфред Дёблин</i> . О лицах и изображениях и об их подлинности <i>Пер. Т. Баскаковой</i>	442
<i>Альфред Дёблин</i> . О пользе музыки для литературы. <i>Пер. Т. Баскаковой</i>	450
<i>Альфред Дёблин</i> . Я расспрашиваю, я проверяю себя. <i>Пер. Т. Баскаковой</i>	453
<i>Альфред Дёблин</i> . Эпилог. <i>Пер. Т. Баскаковой</i>	463

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>Н.С. Павлова</i> . Эпическое начало в романах Альфреда Дёблина	479
Примечания. <i>Сост. А.В. Маркин</i>	509
Основные даты жизни и творчества Альфреда Дёблина <i>Сост. А.В. Маркин</i>	608
Газеты и журналы, упоминаемые в тексте романа или используемые Дёблином при монтаже	621
Список иллюстраций	623
Список сокращений	626

Дёблин А.

Берлин Александрплац. История о Франце Биберкопфе / Альфред Дёблин: пер. с нем.; изд. подгот. А.В. Маркин, Н.С. Павлова, Т.А. Баскакова. — М.: Ладомир: Наука, 2011. — 634 с., ил. (Литературные памятники)

ISBN 978-5-86218-490-7

ISBN 978-5-94451-046-4

«Берлин Александрплац. История о Франце Биберкопфе» (1929) — самое известное сочинение немецкого прозаика и эссеиста Альфреда Дёблина (1878–1957), один из ключевых романов 20-го столетия. Читателю впервые предлагается полный текст произведения (для настоящего издания переведены многочисленные, как идеологические, так и случайные, купюры, восстановлен графический облик оригинала, чему сам автор придавал особое художественное значение).

Писателю удалось не просто воссоздать предельно точный портрет своей эпохи, но соединить новаторскую технику письма с вечными проблемами бытия. История бывшего грузчика, отсидевшего четыре года в тюрьме за убийство подружки, перемежается картинками жизни Берлина 20-х годов прошлого века, подлинной рекламой и газетными заметками того времени. Столь необычная монтажная техника письма позволяет погрузиться в атмосферу большого города, над которым уже витает тень фашизма. Книга стала настоящей сенсацией, сразу же вызвав громкие споры в среде немецких интеллектуалов о значении и судьбе прозаических жанров в литературе XX в.

Эта полемика отражена в Дополнениях к основному тексту (ранее на русском языке не издававшихся), где помещена рецензия современника Дёблина, немецкого философа Вальтера Беньямина, «Кризис романа», и ответ Дёблина; здесь же представлена подборка о Берлине в жизни писателя, его очерки о поэтике и эстетике, автобиографические сочинения.

Экспериментальный, жанрово смелый для своего времени, но актуальный до сих пор и изначально кинематографичный по форме, роман лег в основу культового фильма Райнера Вернера Фасбиндера (1980).

Научное издание

Альфред Дёблин
БЕРЛИН АЛЕКСАНДР ПЛАЦ

*Утверждено к печати
Редакционной коллегией
серии «Литературные памятники»*

Редактор
М.Б. Смирнова

Корректор
И.В. Лебедева

Компьютерная верстка
О.А. Кудрявцевой

Обработка иллюстраций и препресс
В.Г. Курочкина

ИД № 02944 от 03.10.2000 г.
Подписано в печать 23.03.2011.
Формат 70 × 90^{1/16}. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Гарнитура «Баскервиль».
Печ. л. 39,5. Тираж 2000 экз. Зак. №К-5487.

Научно-издательский центр «Ладомир»
совместно с ООО «ВРС»
124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а
Тел. склада: 8-499-729-96-70
E-mail: ladomirbook@gmail.com

Отпечатано
в ГУП «ИПК «Чувашия»
428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13

ISBN 978-5-86218-490-7



9 785862 184907



НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ВЫПУСТИЛ

СЕРИЯ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

УИЛЬЯМ ХЭЗЛИТТ

Застольные беседы

Впервые публикуемое на русском языке, одно из наиболее знаменитых произведений известнейшего английского писателя и критика Уильяма Хэзлитта (1778–1830) «Застольные беседы» (1821) представляет собой тридцать три очерка на самые разные темы (о великом и малом, о прошлом и будущем, о невежестве ученых, о гении и здравом смысле, о живописном и идеальном, о боязни смерти, о путешествиях и др.).

Своеобразие Хэзлитта как эссеиста проявляется в его поразительном умении всесторонне изучить рассматриваемый предмет, каждый раз отыскать в обыденном что-нибудь новое, неожиданное, восхититься привычным, высказать оригинальную мысль об истертых до банальности вещах. Он никогда не впадает в нравоучительный тон, в заумные рассуждения, его философия — это философия обычного человека, отвлекшегося от повседневности, увидевшего за серостью жизненной рутины красочный мир реальности и искусства. Особенный интерес вызывают у писателя человек, его жизнь, черты характера, способности и таланты, достоинства и недостатки; природа как основа бытия и главное мерило для художественного творчества; общественные явления; искусство и литература — причем обо всем Хэзлитт порой толкует таким образом, что полностью обрушивает или заставляет критически пересмотреть давным-давно сложившиеся у нас представления о мире.

Свои глубокие, нередко парадоксальные мысли автор очерков заключает в лаконичные по форме, но емкие по содержанию высказывания, вошедшие в «золотой фонд» афоризмов.

О блестящем таланте английского современника восторженно отзывался Генрих Гейне, который следовал его литературному методу в своих «Путевых картинах». Два тома хэзлиттовских сочинений хранились в библиотеке Пушкина, и на некоторых страницах видны «отметки резкие ногтей»...

Помимо «Застольных бесед», в настоящее издание включены очерки из других сборников писателя: о шекспировских персонажах — Гамлете и короле Лире, о выдающихся писателях, живших в одно время с Хэзлиттом, — лорде Байроне и сэре Вальтере Скотте, а также некоторые другие.

Издание снабжено научными статьями (о жизни и творчестве Хэзлитта, о его эстетических взглядах и об одном из его очерков); обстоятельными примечаниями, помогающими раскрыть необыкновенную эрудицию автора в области литературы и искусства; указателями имен, литературных и художественных произведений; иллюстрациями.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ВЫПУСТИЛ

СЕРИЯ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

ФР. ШИЛЛЕР *Духовидец. Из воспоминаний графа фон О****

К. ГРОССЕ *Гений. Из записок маркиза К* фон Г***

Г. ЦШОККЕ *Абеллино, великий разбойник*

Под одним переплетом публикуются три романа конца XVIII в., и сегодня интересные тем, что не только некогда вызвали ажиотажный интерес у читателей по всей Европе, но и породили множество переводов, продолжений и подражаний, отголоски которых встречаются до сих пор. Романы объединяет ряд общих мотивов: мистика и ее разоблачение, могущественные тайные общества, заговоры, приключения, неожиданные перипетии, связанные с переодеваниями и «узнаваниями», мнимые смерти и воскрешения, волнующие любовные коллизии.

В романе «Духовидец» (1789) великого немецкого поэта и мыслителя Фридриха Шиллера (1759–1805) главный герой, на время обосновавшийся в Венеции немецкий принц, становится жертвой политических козней и мистификаций со стороны загадочных и далеко не безобидных проходимцев, напоминающих великих авантюристов 18-го столетия (графов Калиостро и де Сен-Жермен).

«Гений» (1791–1795) Карла Гроссе (1768–1847), писателя, который сам сочинял себе судьбы и придумывал маски, облечен в форму мемуаров некоего испанского маркиза. Герой переживает головокружительные приключения, в том числе и любовные, путешествует по свету, попадает в сети тайного братства, вознамерившегося любыми средствами установить новый миропорядок. Гроссе принадлежит к числу тех, кто остался в истории «автором одного романа», однако ему удалось создать произведение, существенным образом повлиявшее на европейскую литературную традицию. Его читали М. Шелли и Дж. Остин, а последняя даже причислила «Гения» к своеобразному готическому «канону», поставив в один ряд с «Итальянцем» и «Удольфскими тайнами» А. Радклиф.

Третий автор, швейцарец Генрих Цшокке (1771–1848), покорила не только Западную Европу, но и Россию. Его роман «Абеллино, великий разбойник» (1794), вышедший анонимно и получивший широкую известность (после его перевода на английский язык М.-Г. Льюисом, автором знаменитого «Монаха»), повествует о благородном разбойнике, разоблачившем коварный заговор против венецианского дожа.

Все три истории по-разному трактуют схожие темы и предлагают читателю не только насладиться тонкой разработкой характеров (Шиллер), литературной игрой с традиционными жанрами (пастораль, плутовской роман, готический роман и др. — Гроссе), но и погрузиться в мир страстей, героев-«суперменов» (Цшокке), намечая рождение новых жанров — детектива и триллера.



НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ВЫПУСТИЛ

СЕРИЯ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

МЭРИ ШЕЛЛИ

Франкенштейн, или Современный Прометей
Последний человек

В издании представлены два наиболее значительных романа английской писательницы Мэри Уолстонкрафт Шелли (1797–1851) — одной из ключевых фигур в литературе британского и европейского романтизма. Знаменитый «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818) — плод затеянного лордом Байроном на швейцарской вилле Диодати в июне 1816 г. состязания в сочинении «готических» историй — оказался первой и, как со временем выяснилось, главной книгой Мэри Шелли, навсегда вписавшей ее имя в историю литературы и культуры. Оригинальный философский роман, один из ярчайших образцов романтической «готики», «Франкенштейн» вместе с тем явился отправной точкой научно-фантастической традиции в повествовательной прозе Нового и Новейшего времени. За неполные два столетия эта книга, концептуально восходящая к античному мифу о Прометее, сама породила обширную и влиятельную культурную мифологию, прирастающую все новыми текстами, образами и смыслами: имя дерзкого швейцарского ученого-экспериментатора Виктора Франкенштейна прочно запечатлелось в памяти западной культуры, а придуманный автором книги трагический и страшный сюжет оказался открытым для всевозможных художественных, идеологических и научных интерпретаций. В настоящем издании «Франкенштейн» печатается в редакции 1831 г., которая заметно отличается от текста первоиздания и являет собой окончательное воплощение авторской творческой воли; вместе с тем в комментарии — впервые на русском языке — публикуются все значимые для переводной версии книги фрагменты первой редакции, также представляющей немалый литературный интерес. Они дают полноценное представление об эволюции идейно-философских взглядов и художественных установок Мэри Шелли.

Впервые публикуется в русском переводе и роман «Последний человек» (1826), который роднит с дебютной книгой автора тема экзистенциального испытания личности, вовлеченной волею судьбы и логикой истории в неизбежно трагические жизненные обстоятельства. Апокалиптические настроения и антиутопические мотивы (позволяющие считать это произведение ранним образцом футурологической фантастики) сочетаются в «Последнем человеке» с пронзительной любовной историей и явными элементами «романа с ключом» — классической литературной формы, предполагающей «кодирование» в тексте реальных лиц и подлинных ситуаций, известных читателю: в слегка завуалированном виде в книге изображены ключевые фигуры из романтического окружения Мэри Шелли — лорд Байрон, Перси Биш Шелли, Джейн Клер Клермонт и др.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ВЫПУСТИЛ

СЕРИЯ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

*Песнь
о крестовом походе против альбигойцев*

Поэма «Песнь о крестовом походе против альбигойцев» (первая пол. XIII в.) – единственный памятник староокситанской литературы, объединивший в себе историческое повествование и эпос. Начатая около 1214 г. клириком Гильемом из Туделы, в 1228 г. поэма была продолжена анонимным поэтом, состоявшим в свите Раймона VII, последнего графа Тулузского.

В 1208 г. Папа Иннокентий III призвал баронов и простолюдинов в крестовый поход против альбигойских еретиков, а в 1209 г. армия во главе с папским легатом Арно Амори вступила на цветущие земли юга Франции и принялась беспощадно разорять города и замки, уничтожая всех, кто оказывал сопротивление. «Убивайте всех, Господь разберется», – так отвечал легат на вопрос, каким образом отличить еретика от католика. Имена предводителя похода графа Симона де Монфора и его «правой руки» – епископа Тулузы Фолькега, бывшего трубадура, стали едва ли не нарицательными, олицетворяя для крестового воинства благочестие и добродетель, а для южан – жестокость, ложь и лицемерие.

Начатая Папой борьба с альбигойцами (иначе именуемыми катарами) скоро переросла в захватническую войну французских феодалов, а потом и самого короля Франции за присоединение богатых земель и владений юга к французской короне. Кабальный договор, подписанный в 1229 г., положил конец альбигойским войнам и независимости южнофранцузских земель.

Вдохновленный описаниями заморских крестовых походов, Гильем из Туделы создал поэтическую хронику альбигойской войны, воспев Монфора и его воинство, отважно разящее еретиков. Продолживший его сочинение Аноним перевел конфликт в сферу трагического столкновения идеалов, выработанных окситанским обществом (Честь, Доблесть, Рыцарство), с насилием и вероломством, насаждаемыми Монфором и его баронами. В строках анонимного автора религиозная распря отступила на второй план, а на первый вышла идея национального единства Окситании, борьба за независимость южнофранцузской нации и посрамление ее врагов. Эпический размах, присущий отдельным пассажам поэмы Гильема, в поэме Анонима достиг кульминации. Оба автора создали произведение, обогатившее не только окситанскую, но и мировую литературу Средневековья, и оно по праву заняло достойное место среди поэтических памятников прошлого.

Издание снабжено научными статьями, сопоставительной хронологией исторических событий с их изложением в поэме, примечаниями, картами, иллюстрациями, указателями имен и географических названий. Также представлен отрывок из прозаической версии поэмы.



НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ВЫПУСТИЛ

СЕРИЯ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

БЮССИ-РАБЮТЕН

Любовная история галлов

Роже де Рабютен, граф де Бюсси, называемый Бюсси-Рабютен, — один из самых литературно одаренных, остроумных, насмешливых и язвительных авторов XVIII в. Некоторые эпизоды биографии этого кузена знаменитой мадам де Севинье сами кажутся взятыми из приключенческого романа. За свое произведение «Любовная история галлов» — ходившую в рукописях и подпольных изданиях сатирическую любовную хронику французского двора в период начала царствования короля Людовика XIV — он одновременно и удостоился прозвища «французский Петроний», и угодил более чем на год в Бастилию, причем заключение пришлось буквально несколькими месяцами позже принятия широко прославившегося писателя во Французскую академию (это произошло в марте 1665 г.).

Сочинение «Любовная история галлов», написанное для развлечения возлюбленной Бюсси, маркизы де Монгла — яркий образец популярного в XVII–XVIII вв. жанра — «роман с ключом». В нем даны живые, поразительные по схожести портреты современников писателя: короля Людовика XIV, Великого Конде, Великой Мадемуазель, герцога де Ларошфуко, кардиналов де Реца и Мазарини, маршала де Тюренна, герцогинь де Шеврёз и де Лонгвиль, маркизы де Севинье и многих других. Тогдашним придворным и завсегдатаям парижских салонов даже не надо было разъяснений, кто из названных вымышленными именами персонажей кого изображает: благодаря мастерству автора все узнавали за сатирическими, отнюдь не льстивыми масками реальные лица.

Помимо «Любовной истории галлов» в книгу входят еще два произведения Бюсси-Рабютена: «Карта страны Легкомыслия» и «Максимы любви», а также другие тексты.

Любые книги «Ладомира»

можно заказать наложенным платежом в издательстве

по адресу: 124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а, НИЦ «Ладомир».

Тел.: 8-499-717-98-33; тел. склада: 8-499-729-96-70.

E-mail: [ladomirbook@gmail.com](mailto:ladorirbook@gmail.com) (в реквизитах электронного письма, в разделе «Тема», укажите: «Ладомир»)

Для получения бесплатного перспективного плана изданий «Ладомира» и бланка заказа вышлите маркированный конверт по адресу издательства



ВНИМАНИЮ
ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ,
ИСТОРИКОВ И ПЕРЕВОДЧИКОВ

Если вы хотели бы принять участие в подготовке томов серии «Литературные памятники», отправляйте, пожалуйста, свои предложения в Научно-издательский центр «Ладомир» по адресу: 124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а, НИЦ «Ладомир».

E-mail: ladomirbook@gmail.com (в реквизитах электронного письма, в разделе «Тема», укажите: «Ладомир»).

ВНИМАНИЮ
СОБИРАТЕЛЕЙ СЕРИИ «ЛП»

Любые книги «Ладомира»

можно заказать наложенным платежом в издательстве
по адресу: 124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а, НИЦ «Ладомир».

Тел.: 8-499-717-98-33; тел. склада: 8-499-729-96-70.

E-mail: ladomirbook@gmail.com (в реквизитах электронного письма, в разделе «Тема», укажите: «Ладомир»)

Для получения бесплатного перспективного плана изданий «Ладомира» и бланка заказа вышлите маркированный конверт по адресу издательства

АЛЬФРЕД БЕРЛИН
ДЕБАМИН АЛЕКСАНДРИПЛАЦ

АЛЬФРЕД ДЕБАМИН



БЕРЛИН

АЛЕКСАНДРИПЛАЦ

